



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все примечания, ирмечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

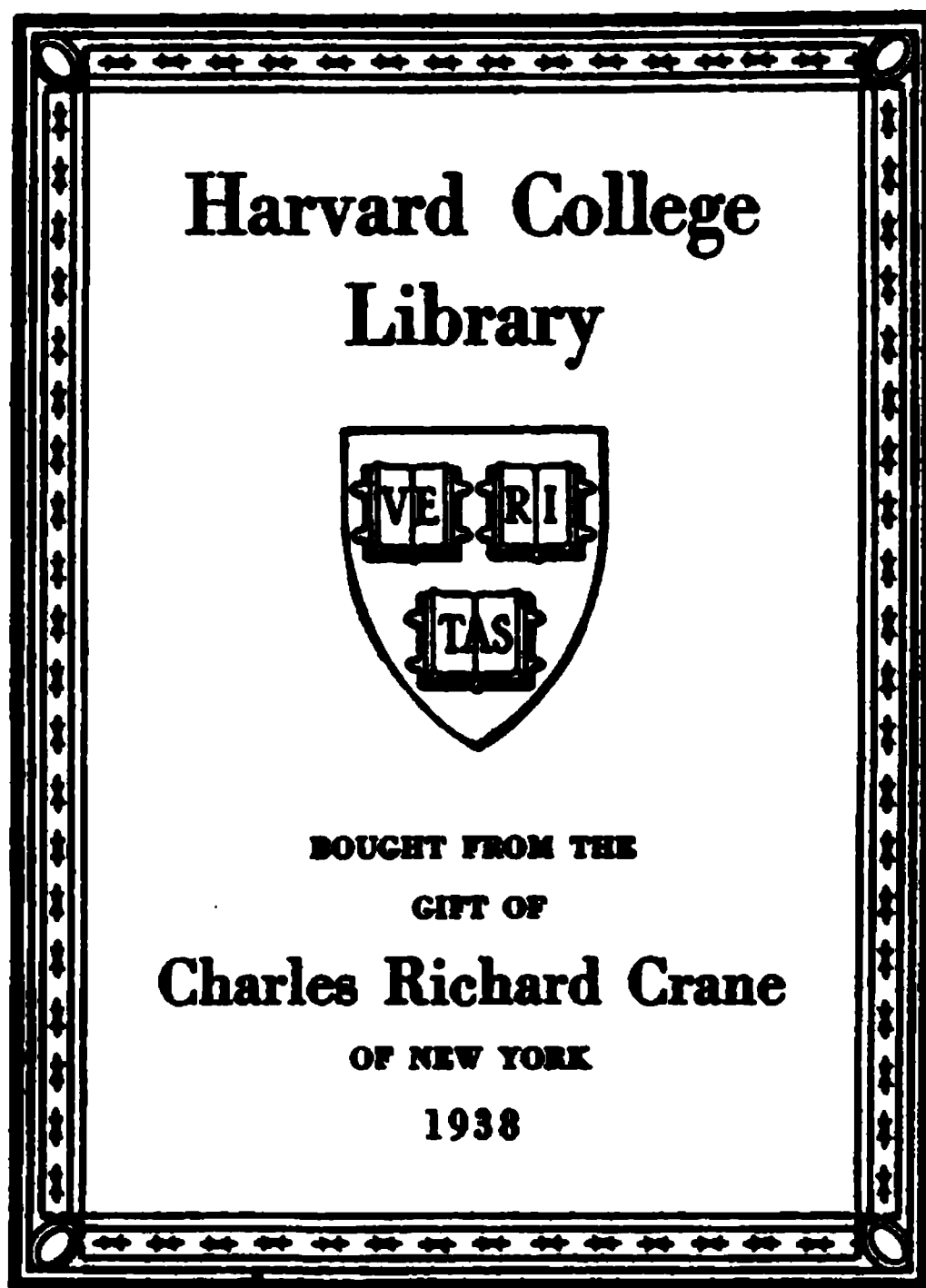
- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



Slav 4347.36.5













СОЧИНЕНІЯ

В. Н. МАЙКОВА

ВЪ ДВУХЪ ТОМАХЪ.

---

Съ портретомъ автора и вступительной статьей  
Г. В. АЛЕКСАНДРОВСКАГО.

---

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

---

I. Критическія статьи.

*Второе изданіе.*

---

Изданіе Б. К. ФУКСА.

КІЕВЪ.

Б. Владимірская, 49.



✓ Slav 4347.36.5

**YARVARD COLLEGE LIBRARY**  
**FROM THE GIFT OF**  
**CHARLES RICHARD CRANE**  
**APRIL 29, 1938**

---

Дозволено цензурою. Київъ, 11 іюня 1901 года

---

Київъ.  
Типо-литографія Р. К. Лубковскаго, Б. Владимирская, № 49.  
1901.

Е

Manning





## ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ-РЕДАКТОРА

---

По свидѣтельствамъ современниковъ (Бѣлинскаго, Тургенева, Гончарова и др.), Валеріанъ Николаевичъ Майковъ съ достоинствомъ занялъ мѣсто Бѣлинскаго въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Уходъ Бѣлинскаго и замѣна его Майковымъ не отозвались на успѣхѣ журнала талантливныя статьи молодого критика, воодушевленные исканіемъ истины, сразу заинтересовали русскую публику.

Валеріанъ Майковъ сталъ учителемъ русскаго общества, когда его сверстники не вышли еще изъ стадіи изученія школьных тетрадокъ. Но, несмотря на свою молодость, Майковъ выступилъ совершенно самостоятельнымъ и оригинальнымъ мыслителемъ. Его статьи по общей эстетической теоріи, критическіе этюды о русской литературѣ, наконецъ, большія политико-экономическія статьи стояли гораздо выше своего времени; быть можетъ, только теперь настало время объективной оцѣнки даровитаго мыслителя.

Незнакомству русской публики съ произведеніями Майкова способствовало то, что до 1891 г. его журнальныя статьи, часто даже не подписанныя, оставались несобранными. Въ 1891 г. появилось изданіе сочиненій Майкова, просмотрѣнное его братьями: Аполлономъ и Леонидомъ. Затѣмъ появлялись менѣе полные сборники статей. Неполнота однихъ сборниковъ и дороговизна другихъ побудили меня дать возможно болѣе полное и возможно болѣе дешевое изданіе сочиненій В. Н. Майкова.

Въ изданіе входятъ всѣ крупныя статьи В. Майкова. Исключены только мелкія бібліографическія рецензіи, имѣющія только временный интересъ и не освѣщающія личности Майкова.

*Б. К. Фуксъ.*

---

# Валеріанъ Майковъ

и его литературная дѣятельность.

Историко-литературный очеркъ Г. Александровскаго.

## I.

Необычайная судьба постигла Валеріана Майкова. Выступивъ на литературное поприще въ такіе годы, когда другіе, по словамъ некролога, написаннаго И. А. Гончаровымъ, еще не успѣли проститься со школьными тетрадями, онъ въ теченіе 15-и мѣсяцевъ, пока внезапная смерть не прекратила существованія этой замѣчательной личности, успѣлъ занять видное положеніе среди литераторовъ сороковыхъ годовъ и, несмотря на молодость, сказалъ „свое слово“, которое и до сихъ поръ не потеряло значенія и только теперь, въ наше время, можетъ быть вполне оцѣнено. Выдающіеся литературные дѣятели, бывшіе свидѣтелями успѣха молодого писателя, оставили непреложное доказательство того, какъ высоко цѣнили они дѣятельность В. Майкова. Такъ, В. Г. Бѣлинскій, который, по словамъ Тургенева, незадолго до смерти начиналъ сознавать, что настало время выйти изъ тѣснаго круга литературной критики, и вопросы историческіе и литературные должны малу по малу смѣниться болѣе широкими—политико-экономическими, устранилъ однако себя отъ этой работы и „указывалъ другое лицо, въ которомъ видѣлъ своего преемника—на В. Н. Майкова“. Такимъ образомъ, „праведникъ литературы русской“, несмотря на нѣкоторое принципиальное разногласіе съ В. Майковымъ, открыто призналъ въ немъ грядущую силу и добровольно уступалъ ей мѣсто. Самъ Тургеневъ, лично хорошо знавшій В. Майкова, тоже очень цѣнилъ его литературное дарованіе и находилъ,



что онъ съ успѣхомъ можетъ замѣнить въ „Отечественныхъ Запискахъ“ Бѣлинскаго. Впослѣдствіи, много лѣтъ спустя вспоминая о В. Майковѣ, онъ высказывалъ искреннее сожалѣніе о преждевременной кончинѣ талантливаго молодого писателя, жизнь котораго прервалась въ самомъ началѣ многообѣщавшаго литературнаго поприща. Не менѣе любопытенъ отзывъ о нашемъ авторѣ и Ѳ. М. Достоевскаго. Вспоминая о немъ въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, Достоевскій писалъ, что В. Майковъ, занявъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ мѣсто Бѣлинскаго, „принялся за дѣло горячо, блистательно, съ свѣтлымъ убѣжденіемъ, но онъ умеръ въ первый же годъ своей дѣятельности. Много общала эта прекрасная личность, и, можетъ быть, многого мы съ ней лишились“. Въ некрологахъ, появившихся вслѣдъ за смертью В. Майкова въ „Современникѣ“, „Отечественныхъ Запискахъ“ и одной изъ лучшихъ тогдашнихъ газетъ „Русскомъ Инвалидѣ“, отмѣчается крупное значеніе литературной дѣятельности рано погибшаго писателя. Нѣкоторые его взгляды нашли себѣ отраженіе въ послѣднихъ статьяхъ Бѣлинскаго.

Казалось-бы, при такой, можно сказать, блестящей литературной дѣятельности, выдающіяся свойства которой засвидѣтельствованы цѣлымъ рядомъ корифеевъ русской литературы, въ томъ числѣ и „властителемъ думъ“ людей 40-хъ и отчасти шестидесятыхъ годовъ—В. Г. Бѣлинскимъ, имя и сочиненія В. Майкова не должны были подвергаться забвенію. На дѣлѣ однако вышло иначе. Въ приснопамятные шестидесятые годы о Валеріанѣ Майковѣ совсѣмъ забыли. Яркимъ метеоромъ пронесся онъ на горизонтѣ русской журналистики и такъ же внезапно исчезъ, какъ и появился, а между тѣмъ въ теченіе сравнительно долгаго времени на глазахъ у всѣхъ сіяло солнце русской литературы и прогрессивной мысли—В. Г. Бѣлинскій. Съ другой стороны, оглушительный потокъ новыхъ идей и вѣяній, охватившій лучшую часть русскаго общества въ „эпоху великихъ реформъ“, стремительно уносилъ впередъ и впередъ, не давая времени слишкомъ глубоко задуматься надъ прошлымъ, внимательно всмотрѣться въ выдающихся, хотя и мало извѣстныхъ его представителей. Вотъ почему въ шестидесятые годы мы находимъ одни отрывочныя упоминанія о В. Майковѣ, и онъ оказывается „забытымъ писателемъ“. Только въ началѣ семидесятыхъ годовъ, благодаря А. М. Скабичевскому, помѣстившему въ „Отечественныхъ Запискахъ“ свою статью „Сорокъ лѣтъ русской критики“, русское общество вспомнило о В. Майковѣ. Значительно позднѣе, въ 1886-мъ году, К. К. Арсеньевъ посвятилъ Майкову въ „Вѣстникѣ Европы“ обстоятельную статью, выясняющую литературный обликъ безвременно угасшаго критика. Однако желающіе ближе познакомиться съ сочиненіями этого оригинальнаго автора могли это сдѣлать только съ большимъ трудомъ, такъ какъ для этого приходилось бы рыться въ старыхъ журналахъ и изданіяхъ, какъ напримѣръ, „Финскій Вѣстникъ“, „Карманный словарь иностранныхъ словъ“ Кириллова или же „Отечественныя Записки“, гдѣ, по обы-

чаю того времени, статьи Майкова не были даже подписаны. Въ 1891-мъ году появилось отдѣльное изданіе сочиненій В. Майкова, предпринятое редакторомъ—издателемъ „Пантеона Литературы“ А. Н. Чудиновымъ при непосредственномъ участіи братьевъ покойнаго писателя Аполлона (извѣстный поэтъ) и Леонида (ученый академикъ) Николаевичей Майковыхъ, съ большой тщательностью возстановившихъ по рукописямъ текстъ его сочиненій и снабдившихъ изданіе любопытными матеріалами для біографіи и литературной характеристики. Появленіе въ отдѣльномъ изданіи „Критическихъ опытовъ“ В. Майкова вызвало вскорѣ нѣсколько статей, посвященныхъ оцѣнкѣ его дѣятельности. Такова, напримѣръ, статья г. Протопопова въ „Русской мысли“ за 1891 годъ, № 10 „Объективный методъ въ литературной критикѣ“, очеркъ В—на въ февральской книгѣ „Вѣстника Европы“ за 1892 годъ, статья А. Мухина въ „Историческомъ Вѣстникѣ 1891 г. № 4 г. и нѣк. другія. На дѣятельности Валеріана Майкова останавливаются также г. Волинскій въ своей книгѣ „Русскіе критики“ и г. Ивановъ въ большомъ излѣдованіи „Исторія русской критики“.

Несмотря однако на то, что разборомъ сочиненій В. Майкова занималось не мало изслѣдователей, до сихъ поръ не установилось опредѣленнаго взгляда на значеніе его литературной дѣятельности. Тогда какъ одни (г. Скабичевскій, Арсеньевъ, А. В—нъ) признаютъ за нимъ выдающіяся заслуги, говорятъ, что онъ въ своей эстетической доктринѣ приблизился къ современному намъ взгляду на искусство, соотвѣтствующему его громадной и сложной задачѣ (Арсеньевъ), отдаютъ должное его оригинальнымъ и вѣрнымъ сужденіямъ по различнымъ вопросамъ, которые онъ разрабатываетъ въ своихъ статьяхъ, другіе (Протопоповъ, Волинскій, Ивановъ), ставятъ очень низко литературную дѣятельность В. Майкова, не придаютъ ей никакого самостоятельнаго значенія, готовы признать, что его извѣстность въ литературныхъ кругахъ объясняется только тѣмъ, что онъ занялъ мѣсто Вѣлинскаго въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Это разногласіе указываетъ на то, какъ, въ сущности, мало еще изслѣдована дѣятельность этого писателя. На чьей сторонѣ правда, станетъ, надѣмся, ясно изъ послѣдующаго разбора его сочиненій.

Еще менѣе оказывается изслѣдованной жизнь покойнаго критика. Въ некрологахъ Гончарова, Плещеева и Порѣдкаго, посвященныхъ В. Майкову, очень много говорится о привлекательныхъ свойствахъ его личности, но почти нѣтъ ясныхъ фактическихъ указаній на то, какимъ путемъ и подъ чьими вліяніями слагалась эта оригинальная натура. Братья покойнаго критика также поспупись дать болѣе или менѣе обстоятельныя свѣдѣнія на этотъ счетъ, и потому біографія пока не можетъ быть разработана съ желательной полнотой и ясностью. Тѣмъ цѣннѣе тѣ указанія и намеки, исходя изъ которыхъ можно со зна-

чительной долей вѣроятности возстановить духовный обликъ и кратковременную жизнь В. Майкова.

## II.

Валеріанъ Николаевичъ Майковъ родился въ Петербургѣ 28 августа 1823 года. Семья Майковыхъ заключала въ себѣ цѣлый рядъ выдающихся, даровитыхъ личностей. Его отецъ, Николай Аполлоновичъ, былъ извѣстный живописецъ первой половины прошлаго столѣтія, имѣвшій званіе академика и работавшій въ области религіозной и исторической живописи. Мать его также не была чужда искусства: въ „Библіотекѣ для Чтенія“ и нѣкоторыхъ другихъ журналахъ она помещала въ сороковые и пятидесятые годы свои стихотворенія и повѣсти. Всѣмъ извѣстенъ старшій братъ Валеріана Майкова—Аполлонъ Николаевичъ, одинъ изъ крупныхъ поэтовъ послѣ-пушкинскаго періода, а также его младшій братъ Леонидъ Николаевичъ, видный ученый изслѣдователь, много и плодотворно работавшій въ области исторіи русской литературы. Наконецъ, четвертый сынъ Майковыхъ—Владиміръ тоже былъ причастенъ къ литературѣ; онъ довольно долгое время издавалъ дѣтскіе журналы „Подснежникъ“ и „Семейные Вечера“, въ которыхъ помещалъ свои переводы и компіляціи. Такимъ образомъ, любовь къ искусству, литературнымъ и научнымъ занятіямъ были той атмосферой, которая окружала Валеріана Майкова еще въ раннемъ дѣтствѣ, когда онъ вмѣстѣ со своими родными жилъ въ одной изъ подмосковныхъ деревень, и вмѣстѣ съ картинами русской природы способствовала быстрому развитію его духовной организаціи.

А организація эта отличалась рѣдкими достоинствами. По словамъ Гончарова, который хорошо зналъ В. Майкова, онъ былъ одаренъ свѣтлымъ, проницательнымъ и воспріимчивымъ умомъ и съ необыкновенною легкостью пріобрѣталъ познанія, черпая ихъ какъ изъ книгъ, такъ и на лету, въ разговорахъ. „Ему довольно было одного намека на идею, и онъ быстро усваивалъ ее себѣ, тотчасъ подвергалъ ее своему врожденному тонкому анализу и мгновенно дѣлалъ изъ нея какой-нибудь блистательный, часто неожиданный, но всегда строго логическій выводъ, избѣгая съ необыкновеннымъ искусствомъ всего, что есть парадоксъ и софизмъ“. Л. Н. Майковъ въ матеріалахъ для біографіи своего брата говоритъ, что природа щедро надѣлила его способностями для отвлеченной умственной дѣятельности, и тѣмъ самымъ отмѣчаетъ его врожденную склонность къ спекулятивному мышленію. Таковы были умственные качества В. Майкова. Сюда надо прибавить еще тонкій эстетическій вкусъ, проявившійся у Майкова съ ранняго возраста и нашедшій себѣ обильный матеріалъ для развитія и совершенствованія въ домашней обстановкѣ, и способность блестяще владѣть словомъ. Эти качества соединялись у В. Майкова съ рѣдкой сердечностью, которая очаровывала всѣхъ, кто зналъ его. Авторы некрологовъ съ поразитель-

нымъ единодушіемъ въ самыхъ теплыхъ выраженіяхъ говорятъ объ этой сторонѣ его духовной личности. „Въ немъ,—говоритъ Гончаровъ,—соединялись двѣ, не всегда уживающіяся вмѣстѣ, одинаково счастливыя организаціи—головы и сердца. Ему такъ же легко и доступенъ былъ путь къ сердцу всякаго, съ кѣмъ судьба сталкивала его, какъ и дорога къ знанію. Онъ, сближаясь съ человѣкомъ, всегда умѣлъ найти въ немъ добрую сторону, полюбить ее и дать ей вѣсь въ глазахъ того человѣка и въ своихъ собственныхъ“. „Довольно было сойтись съ нимъ разъ,—писалъ о В. Майковѣ Плещеевъ,—чтобы увидѣть, сколько любви заключалось въ этомъ сердцѣ, какъ горячо умѣло оно сочувствовать всему благородному и высокому и какъ возмущалось при видѣ всего, что унижаетъ человѣческое достоинство. Будучи весь доброта, весь симпатія, этотъ человѣкъ не могъ имѣть враговъ: онъ никогда не рѣшился-бы оскорбить никого даже словомъ. А если когда-нибудь въ разговорѣ ему и случалось невольно уязвить чье-нибудь самолюбіе, то, замѣтивъ это, онъ тотчасъ удваивалъ свои ласки къ оскорбленному и всячески старался заставить его забыть обиду, видимо беспокоившую его“. Почти тоже говоритъ и авторъ третьяго некролога г. Порѣцкій. Эти свидѣтельства о врожденныхъ особенностяхъ В. Майкова близко знавшихъ его людей показываютъ, какъ богато одаренъ былъ отъ природы этотъ человѣкъ, которому только преждевременная смерть помѣшала развернуть во всемъ блескѣ свои дарованія.

Годы ученія В. Майкова складывались такъ, что его богато одаренная натура нашла вполне благопріятныя условія для своего развитія.

Въ 1834-мъ году семейство Майковыхъ переехало въ Петербургъ. Вскорѣ литературно-художественные вкусы и стремленія семьи Майковыхъ нашли себѣ поддержку и сочувствіе въ близкихъ знакомыхъ, въ числѣ которыхъ мы находимъ такихъ лицъ, какъ И. А. Гончаровъ, И. С. Тургеневъ, Ѳ. М. Достоевскій, В. Т. Бенедиктовъ, И. И. Панаевъ, С. С. Дудышкинъ и др. Это были лучшіе представители тогдашней литературы, умные и талантливые люди, съ широкими эстетическими и просвѣтительными интересами. Такая среда не могла, конечно, не оказать своего благотворнаго вліянія на общее развитіе впечатлительнаго и отзывчиваго мальчика.

Быстрому духовному росту В. Майкова способствовали и его учителя, занимавшіеся съ нимъ дома. Въ числѣ первыхъ изъ нихъ слѣдуетъ отмѣтить Соломина, соредактора Сенковского по „Библіотекѣ для Чтенія“, имѣвшаго обширную библіотеку, которая жадно перечитывалась его даровитымъ ученикомъ, несмотря на то, что имѣвшіяся въ ней книги далеко не соответствовали его возрасту. Нѣсколько позднѣе ему давалъ уроки словесности извѣстный впоследствии поэтъ И. А. Гончаровъ. Говоря о домашнемъ воспитаніи В. Майкова, послѣдній называетъ его „разумнымъ, свободнымъ, чуждымъ застарѣлыхъ, педантичныхъ формъ“, но въ чемъ заключались эти цѣнныя свойства домашняго вос-

питанія В. Майкова, мы къ сожалѣнію, не можемъ опредѣлить за неимѣніемъ вѣданныхъ.

Совсѣмъ еще юношей, 15-ти лѣтъ, поступилъ В. Майковъ на юридическій факультетъ Петербургскаго университета. Университетскіе годы, съ одной стороны, способствовали общему широкому образованію В. Майкова, съ другой—развили въ немъ склонность къ изслѣдованію вопросовъ философскаго и соціальнаго характера. Программа юридического факультета того времени, кромѣ наукъ, посвященныхъ изученію права, заключала въ себѣ такіе общеобразовательные предметы, какъ исторія, а также исторія русской и иностранной литературъ. Изъ числа спеціальныхъ курсовъ особенно заслуживали вниманія лекціи Калмыкова по энциклопедіи права, который знакомилъ слушателей и съ общими философскими вопросами и тѣмъ побуждалъ наиболѣе любознательныхъ и воспріимчивыхъ изъ нихъ къ занятіямъ въ этой области, и особенно чтенія по политической экономіи В. С. Порошина. Историкъ Петербургскаго университета за первые 50 лѣтъ его существованія г. Григорьевъ говоритъ о Порошинѣ, что онъ, благодаря обширнымъ познаніямъ и гуманистическимъ тенденціямъ, былъ однимъ изъ любимыхъ петербургскихъ профессоровъ и пользовался такимъ вліяніемъ, какъ Грановскій въ Москвѣ. Благодаря лекціямъ Калмыкова и особенно Порошина, Майковъ сталъ усердно заниматься вопросами политической экономіи и соціологіи. Параллельно съ этимъ въ его душѣ впервые возникаетъ вопросъ о взаимоотношеніи науки и жизни. Этотъ вопросъ, повидимому, сильно занимаетъ молодого студента. По крайней мѣрѣ, рѣшенію его посвящена первая литературная работы 16-ти лѣтняго В. Майкова. Это небольшой рассказъ, помѣщенный въ рукописномъ литературномъ сборникѣ, который былъ составленъ въ 1839 году членами семьи и близкими друзьями Майковыхъ, и озаглавленный „Жизнь и наука“. Основная мысль рассказа—наука и жизнь—два непримиримыхъ врага, находящихся въ непрерывной борьбѣ и взаимномъ преслѣдованіи. Этотъ рассказъ, очевидно, созданъ Майковымъ въ то время, когда незрѣлая мысль еще не пришла къ твердому рѣшенію возникшаго передъ его сознаніемъ вопроса. По крайней мѣрѣ, черезъ короткое время онъ становится на діаметрально противоположную точку зрѣнія и проповѣдуетъ сближеніе науки съ жизнью и жизни съ наукой.

Если во время пребыванія въ университетѣ В. Майковъ усердно занимался общими философскими и политико-экономическими и соціальными вопросами, то спрашивается, какіе авторы имѣли вліяніе на выработку его міровоззрѣнія. Обращаясь за отвѣтомъ на этотъ вопросъ къ свидѣтельству лицъ, близко знавшихъ В. Майкова, мы наталкиваемся на кажущееся съ перваго взгляда противорѣчіе. Такъ, В. П. Боткинъ въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Анненкову ставитъ въ заслугу В. Майкову, что онъ не зараженъ нѣмецкими теоріями и получилъ французское образованіе. Гончаровъ, наоборотъ, утверждаетъ, что его ученикъ на ряду съ политико-экономическими науками изучалъ преимущественно

современную нѣмецкую философію. Единственно вѣрный путь для рѣшенія этого вопроса заключается въ анализѣ сочиненій нашего автора и въ разборѣ тѣхъ замѣчаній о французской и нѣмецкой философіи, которыя разсѣяны у него въ различныхъ мѣстахъ его сочиненій. Уже поверхностное чтеніе ихъ не оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что В. Майковъ былъ довольно близко знакомъ съ идеями О. Конта и французскимъ позитивизмомъ; мало того, въ примѣчаніи къ одной изъ библиографическихъ замѣтокъ онъ даже обѣщаетъ написать статью о положительной философіи. Въ одной крупной своей статьѣ (Общественныя науки въ Россіи) онъ прямо заявляетъ о своей симпатіи къ французской философіи, въ которой онъ видитъ органическое сліяніе анализа съ синтезомъ. Въ этомъ случаѣ В. Майковъ вполне примыкалъ къ передовой русской молодежи сороковыхъ годовъ, для которой Франція играла ту же роль, какую въ 30-е годы для Бѣлинскаго и его кружка Германия. Одинъ изъ сверстниковъ В. Майкова М. Е. Салтыковъ говорилъ какъ-то по этому поводу: „изъ Франціи лилась на насъ вѣра въ человѣчество; отсюда возсіяла намъ увѣренность, что золотой вѣкъ находится не позади, а впереди насъ. Въ Россіи мы существовали лишь фактически—духовно мы жили въ Франціи“. Но, съ другой стороны, нельзя отрицать нѣкоторой доли правды и въ замѣчаніи Гончарова о вліяніи на Майкова нѣмецкой философіи. Это только не была философія Гегеля, столь сильно увлекавшая кружокъ Герцена и Бѣлинскаго. Изъ нѣмецкихъ мыслителей на В. Майкова оказалъ наиболѣе сильное вліяніе Марксъ. Недостатокъ біографическихъ данныхъ не даетъ возможности прослѣдить тѣ пути, по которымъ передавалось это вліяніе, а также опредѣлить степень его интенсивности, но наличность его не подвергается никакому сомнѣнію. Ниже мы будемъ имѣть случай указать отголоски марксизма въ сочиненіяхъ нашего писателя. Наконецъ, В. Майковъ, владѣвшій, кромѣ французскаго и нѣмецкаго, англійскимъ языкомъ, изучалъ также и англійскихъ мыслителей, мѣткія замѣчанія о которыхъ разсѣяны въ различныхъ мѣстахъ его сочиненій. Такимъ образомъ, въ теченіе университетскаго курса В. Майковъ очень широко и разнообразно занимался, какъ общими философскими вопросами, такъ въ особенности социальными науками. Но этимъ не ограничивались занятія даровитаго студента. По словамъ Гончарова, какъ любознательный человѣкъ, онъ успѣвалъ заглядывать въ область науки и другого разряда; такъ, онъ урывками учился химіи и, страстно любя искусство во всѣхъ его видахъ, не мало посвятилъ времени теоретическому и практическому знакомству съ вопросами эстетики. Ко времени пребыванія въ университетѣ относятся и первыя извѣстныя намъ литературныя работы В. Майкова. Кромѣ упомянутаго уже разсказа „Жизнь и наука“ въ это время онъ сдѣлалъ переводъ „Писемъ о химіи“ Либиха и написалъ статью „Объ отношеніи производительности къ распредѣленію богатства“, представляющую не мало цѣннаго въ политико-экономическомъ отношеніи.



Въ 1842-мъ году В. Майковъ окончилъ университетъ со степеню кандидата и поступилъ на службу, по министерству государственныхъ имуществъ въ департаментъ сельскаго хозяйства. Но менѣе, чѣмъ черезъ годъ, вслѣдствіе разстроеннаго здоровья, какъ говорятъ его біографы, а вѣрнѣе, не чувствуя охоты работать въ чуждой для него области, онъ вышелъ въ отставку и вмѣстѣ съ братомъ Аполлономъ уѣхалъ за границу, гдѣ прожилъ около семи мѣсяцевъ въ Германіи, Италіи и Франціи. Мы почти не имѣемъ свѣдѣній объ этомъ любопытномъ періодѣ въ жизни В. Майкова. Извѣстно только, что онъ занимался исторіей, политической экономіей, вопросами эстетики и философіи и посѣщалъ въ Парижѣ вмѣстѣ съ братомъ лекціи въ Сорбоннѣ и College de France.

Вскорѣ по возвращеніи въ Петербургъ В. Майковъ выступилъ на литературное поприще: онъ принялъ очень близкое участіе, въ изданіи „Карманнаго словаря иностранныхъ словъ вошедшихъ въ составъ русскаго языка“, официальнымъ редакторомъ котораго состоялъ нѣкій Кирилловъ, отставной артиллеристъ.

Это изданіе настолько характерно для В. Майкова, что на немъ необходимо остановиться нѣсколько подробнѣе. Кирилловъ былъ въ сущности, подставнымъ лицомъ, во главѣ-же всего предпріятія стоялъ Майковъ и его близкій пріятель Петрашевскій, герой печальнаго по своимъ ужаснымъ послѣдствіямъ извѣстнаго политическаго процесса „петрашевцевъ“. По ихъ замыслу, „Карманный словарь“ по плану и направленію долженъ былъ служить тѣмъ же самымъ для Россіи, чѣмъ былъ „Dictionnaire philosophique“ Вольтера для Франціи. Кромѣ сжатаго, но обстоятельнаго объясненія отдѣльныхъ словъ и выраженій, употребляемыхъ въ изящной литературѣ и ученыхъ сочиненіяхъ, въ немъ, въ видѣ отдѣльнаго приложенія, предполагалось помѣстить особую алфавитную энциклопедію, въ которой имѣлось въ виду дать ожатое изложеніе исторіи каждой науки и ея современнаго состоянія. Задуманной мыслью Майкова было показать русскому обществу при помощи словаря необходимость обновленія обветшалыхъ и отжившихъ формъ жизни, важность общественной гармоніи и солидарности. По его мнѣнію, изданіе подобнаго рода могло служить могущественнымъ средствомъ къ распространенію новыхъ взглядовъ и уничтоженію старыхъ. Таковы были тѣ широкія общественныя задачи, которыя имѣлъ въ виду В. Майковъ, выступая на литературное поприще. Къ сожалѣнію, задуманное предпріятіе могло осуществиться лишь въ очень незначительной степени: второй выпускъ словаря былъ изъятъ изъ продажи, и самое изданіе прекращено. Впослѣдствіи въ 1849 году, во время суда надъ Петрашевскимъ, какъ на одно изъ обстоятельствъ, значительно отягчавшихъ его вину, указывалось на изданіе имъ „Карманнаго словаря“, имѣвшаго въ виду, по мнѣнію обвинителей, подорвать государственныя основы.

Вышедшій въ свѣтъ выпускъ словаря носитъ на себѣ въ значительной степени слѣды работы надъ нимъ В. Майкова: кромѣ общей редакціи, ему при-

надлежить нѣсколько важнѣйшихъ руководящихъ статей. Всѣ онѣ написаны съ большимъ знаніемъ дѣла, соотвѣтствуютъ уровню современной науки, иногда проникнуты тонкимъ публицистическимъ ядомъ, порой намекаютъ на новыя перспективы общественной и политической жизни. Изъ отдѣльныхъ статей В. Майкова, помѣщенныхъ въ „Карманномъ словарѣ“, представляется наиболѣе любопытной для характеристики его научно-философскаго міросозерцанія статья объ анализѣ и синтезѣ. Рисуя на пяти столбцахъ сжатой, энергичной рѣчью исторію развитія научнаго знанія съ древности до настоящаго времени, онъ съ особеннымъ воодушевленіемъ и сочувствіемъ говоритъ о роли аналитической мысли, которая разрушаетъ наслѣдственные предубѣжденія и предрасудки, укоренившіяся въ теченіе долгихъ годовъ, и, ставя науку въ непосредственную связь съ дѣйствительной жизнью, тѣмъ самымъ могущественно содѣйствуетъ прогрессивному развитію этой послѣдней. Такимъ образомъ, прежній провозвѣстникъ неизбежнаго разлада и антагонизма между наукой и жизнью теперь является передъ нами страстнымъ защитникомъ ихъ взаимодействія, которое онъ считаетъ необходимымъ для прогрессивнаго развитія жизни. Эта мысль является одной изъ главныхъ руководящихъ идей въ послѣдующей дѣятельности В. Майкова и неоднократно высказывается имъ по тому или иному поводу. Глубокое убѣжденіе въ великомъ значеніи взаимодействія жизни и научнаго знанія, съ одной стороны; и съ другой—любовь къ наукѣ и широко развитое чувство общественности дѣлаютъ то, что В. Майковъ во все время своей короткой, но обильной и плодотворной литературной дѣятельности неустанно стремится провести въ сознаніе русскаго общества плодотворнѣйшія, по его мнѣнію, научныя истины и поставить на строго научную почву объясненіе такого могучаго фактора, воздѣйствующаго на жизнь, какъ искусство.

Работа надъ „Карманнымъ словаремъ“ Кириллова была первой попыткой В. Майкова выступить въ качествѣ общественно-литературнаго дѣятеля. Приготовивъ къ печати первый выпускъ словаря, Майковъ, по мало извѣстнымъ для насъ причинамъ, оставляетъ это изданіе и становится во главѣ возникающаго большого журнала „Финскій Вѣстникъ“, въ которомъ онъ работаетъ не только какъ сотрудникъ, но и въ качествѣ второго редактора. Въ общей программѣ журнала, написанной Майковымъ, мы находимъ тѣ же самыя идеи, которыя были высказаны имъ въ статьяхъ „Карманнаго словаря“. По его замыслу, новый журналъ долженъ былъ стать органомъ аналитическаго направленія въ наукѣ. Одной изъ ближайшихъ задачъ своего изданія редакція полагала въ анализѣ различныхъ сторонъ русской жизни. „Мы дожили, писалъ Майковъ въ программѣ журнала,—до эпохи самосознанія; мы начинаемъ обращаться къ критическому изслѣдованію насъ самихъ: таковы непременно должны быть первые шаги на пути истинной цивилизаціи“. Подвергая критическому изслѣдованію русскую жизнь, журналъ имѣлъ въ виду также „подвергнуть критическому раз-



бору всѣ стихіи цивилизаціи, которою призваны мы пользоваться позже всѣхъ другихъ народовъ Европы“. Такимъ образомъ, несмотря на узко-спеціальное заглавіе, журналъ Майкова ставилъ себѣ очень широкія общественныя задачи, какъ бы предвосхищая то направленіе въ русской журналистикѣ, которому суждено было расцвѣсть пышнымъ цвѣтомъ почти два десятилѣтія спустя. Боевой статьей перваго номера „Вѣстника“ было широко задуманное изслѣдованіе Майкова, подъ заглавіемъ „Общественныя науки въ Россіи“, котораго онъ не успѣлъ окончить. Тѣмъ не менѣе, и то, что написано, представляется очень цѣннымъ матеріаломъ для характеристики автора, который, выступая на литературное поприще, счелъ необходимымъ обратить вниманіе читателей на вопросы общественнаго благосостоянія. Ниже, при выясненіи общаго міросозерцанія Майкова, мы будемъ имѣть случай останавливаться на этой статьѣ, а теперь перейдемъ къ дальнѣйшему разсмотрѣнію его жизни. Не прошло и полугода, какъ В. Майковъ, по выходѣ первыхъ двухъ книжекъ журнала, прекратилъ свое сотрудничество въ немъ вслѣдствіе недовольства на отвѣтственнаго редактора Ѳ. К. Дершау, который вообще очень небрежно относился къ своему изданію и ничего не предпринималъ, чтобы доставить ему успѣхъ.

Послѣ разрыва съ „Финскимъ Вѣстникомъ“ В. Майковъ около года ничего не печаталъ. Какъ прошелъ этотъ годъ въ жизни Майкова, въ какомъ направленіи развивалась его растущая зрѣющая мысль,—объ этомъ мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣній. По всей вѣроятности, на ряду съ другими отраслями знанія его вниманіе было занято изученіемъ вопросовъ эстетики: по крайней мѣрѣ, въ первой статьѣ, написанной послѣ годичнаго перерыва, рѣшенію этихъ вопросовъ удѣлено не мало мѣста. Межъ тѣмъ въ началѣ 1846-го года обстоятельства приняли такой оборотъ, что В. Майковъ сразу занялъ видное мѣсто въ литературѣ. Дѣло было такъ. Бѣлинскій, будучи не въ состояніи выносить эксплуатаціи Краевского и его безобразнаго отношенія къ себѣ, кончилъ тѣмъ, что ушелъ изъ „Отечественныхъ записокъ.“ Краевскій, такимъ образомъ, очутился въ очень затруднительномъ положеніи: критическій отдѣлъ, которымъ завѣдывалъ Бѣлинскій, въ то время былъ наиболѣе читаемымъ въ журналѣ, и не имѣть для веденія его хорошаго сотрудника значило навѣрное погубить изданіе. Къ счастью для Краевского, ему на помощь пришелъ И. С. Тургеневъ, посоветовавъ пригласить для веденія критическаго отдѣла „О. З.“ В. Майкова. Краевскій воспользовался совѣтомъ Тургенева—и не раскаивался: В. Майковъ сумѣлъ поддержать критическій отдѣлъ журнала на той высотѣ, на какой онъ находился при Бѣлинскомъ. Благодаря этому, уходъ знаменитаго критика вовсе не отразился на успѣхѣ журнала.

Принимая предложеніе Краевского, Майковъ бралъ на себя такую работу, которая до сихъ поръ была для него совершенно незнакома; ученый изслѣдователь промѣнялъ свое призваніе на перо литературнаго критика. Любопытно от-

мѣтить тѣ соображенія, которыми руководствовался молодой ученый, принимался за новое, ответственное дѣло. Въ одномъ письмѣ къ Тургеневу Майковъ говорилъ впоследствии по этому поводу слѣдующее: „я никогда не думалъ быть критикомъ въ смыслѣ оцѣнщика литературныхъ произведеній; я чувствовалъ всегда непреодолимое отвращеніе къ сочиненію отрывочныхъ статей. Я всегда мечталъ о карьерѣ ученаго и до сихъ поръ нимало не отказался отъ этой мечты. Но какъ добиться того, чтобы публика читала ученые сочиненія? Я видѣлъ и вижу въ критикѣ единственное средство заманить ее въ сѣти интереса науки. Есть люди, и много, которые прочтутъ ученый трактатъ въ „Критикѣ“ и ни за что не станутъ читать отдѣла „Наукъ“ въ журналѣ, а тѣмъ болѣе ученой книги. У меня два соображенія: во-первыхъ, я уже пишу въ „Критикѣ“ „О. З.“ ученые статьи и, сколько могу, содѣйствую тому, чтобы серьезное чтеніе дѣлалось все сносно и сносно нашей публикѣ; во-вторыхъ, я надѣюсь, что мои толки о доказательности подѣйствуютъ на людей моихъ лѣтъ, которымъ придется тоже писать критику“. Это письмо является въ высшей степени цѣннымъ для характеристики настроенія В. Майкова въ періодъ его сотрудничества въ „О. З.“ Глубоко вѣруя въ спасительную силу науки, въ необходимость ея воздѣйствія на русское общество, онъ принимается за чуждую ему пока область литературной критики, надѣясь при помощи этой отрасли литературы, наиболее интересующей читателей, проводить въ сознаніе русскаго общества различныя плодотворныя идеи, могущія содѣйствовать совершенствованію жизни и движенію ея по пути прогресса. Отсюда ясно, что молодой писатель былъ весь проникнутъ идеей общественнаго служенія, которому онъ стремился отдаться со всѣмъ пыломъ молодости.

Заступая въ „О. З.“ мѣсто Бѣлинскаго, В. Майковъ не только самъ очень много писалъ для критическаго отдѣла журнала, но постарался привлечь въ качествѣ сотрудниковъ лучшихъ спеціалистовъ по вопросамъ критики и библіографіи. По его приглашенію, въ критико-библіографическомъ отдѣлѣ „О. З.“ участвовали Дудышкинъ, А. Майковъ, Милюковъ, Милютинъ, Солоницынъ, Тургеневъ и др. Распредѣляя между ними работу, онъ самъ писалъ только о тѣхъ книгахъ, которыя интересовали его своимъ содержаніемъ, и по поводу которыхъ можно было высказать тѣ или другія, казавшіяся ему цѣнными, мысли по различнымъ вопросамъ. Вслѣдствіе этого почти всѣ статьи В. Майкова посвящены не столько разбору сочиненій, которыми онѣ были вызваны, сколько разсмотрѣнію разнообразныхъ эстетическихъ и другихъ вопросовъ, по поводу которыхъ, точно предчувствуя близкую кончину, спѣшилъ высказаться молодой критикъ.

Очень непродолжительная, всего пятнадцатимѣсячная критическая дѣятельность В. Майкова, хотя и не оставила, вслѣдствіе своей кратковременности, глубокаго слѣда въ сознаніи массы читателей, но успѣла произвести сильное впечатлѣніе въ литературныхъ кругахъ, гдѣ въ лицѣ В. Майкова сразу признали

крупную величину. Въ началѣ своей критической дѣятельности В. Майковъ нѣсколько неодобрительнымъ отзывомъ о дѣятельности Бѣлинскаго вызвалъ было недовольство противъ себя со стороны друзей знаменитаго критика, видѣвшихъ въ этомъ стремленіе угодить Краевскому. Однако это недоразумѣніе вскорѣ улеглось, особенно послѣ подкупающаго своей смѣлостью и искренностью письма Майкова къ Тургеневу, въ которомъ онъ оправдываетъ себя отъ оскорбительныхъ подозрѣній. Несмотря на нѣкоторое разногласіе въ отдѣльных частныхъ вопросахъ между Бѣлинскимъ и Майковымъ (объ этомъ будетъ рѣчь ниже), послѣдній настолько былъ близокъ по духу и общему направленію своей дѣятельности къ Бѣлинскому, что въ началѣ 1847-го года сталъ работать вмѣстѣ съ нимъ въ обновленномъ „Современникѣ“, продолжая въ то же время сотрудничество въ „Отечественныхъ Запискахъ“.

Повидимому, наступало время, когда дарованіе Майкова должно было развернуться со всей мощью. Но судьба судила иначе. Безсмысленный случай, возмущающій умъ своей неожиданностью и нелѣпостью, прекратилъ жизнь восходящаго свѣтила русской литературы. Лѣтомъ 1847-го года В. Майковъ отправился съ другими членами своей семьи навѣстить однихъ своихъ знакомыхъ, жившихъ верстахъ въ 50 отъ Петербурга въ е. Новомъ Петергофскаго уѣзда. На другой день по пріѣздѣ туда, онъ неосторожно выкупался послѣ продолжительной прогулки подъ палящимъ солнцемъ и скончался отъ апоплексическаго удара. Это было 15-го іюля 1847-го года. Тѣло В. Майкова погребено въ слободѣ Ропшѣ, въ 38 верстахъ отъ Петербурга, на церковномъ кладбищѣ.

### III.

Мы возстановили здѣсь, насколько это было возможно при сравнительно скудныхъ біографическихъ данныхъ, жизнь и основныя черты личности и міросозерцанія В. Майкова. Остается разсмотрѣть его литературно-критическую дѣятельность и выяснить, насколько справедливы тѣ разнорѣчивые отзывы о значеніи ея, которые выше были приведены.

Мы знаемъ изъ біографіи В. Майкова, какъ разнообразны и широки были познанія нашего критика въ различныхъ областяхъ знанія. Неудивительно поэтому, что въ его статьяхъ мы находимъ разработку цѣлаго ряда разнообразныхъ вопросовъ. Изъ нихъ первое мѣсто какъ по важности предмета, такъ и по тому освѣщенію, какое придавалъ имъ В. Майковъ, занимаютъ вопросы эстетики. На разборъ его эстетической доктрины мы и остановимся теперь, пользуясь для изложенія ея, главнымъ образомъ, его первой статьей о Кольцовѣ, а также отдѣльными замѣчаніями, разбросанными въ другихъ мѣстахъ его сочиненій.

Всякій предметъ, доступный нашему сознанію, говоритъ В. Майковъ, вызываетъ въ насъ двоякое къ себѣ отношеніе: съ одной стороны, онъ возбужда-

еть въ насъ любопытство, будить интересъ къ изученію его, съ другой—симпатическое чувство, сердечное, кровное сочувствіе. „Любопытное владѣть нами только въ силу своей новости и дѣлается безразличнымъ сейчасъ-же по усвоеніи, между тѣмъ какъ симпатическое вѣчно будетъ имѣть для насъ интересъ, если только мы сами не потеряемъ способности чувствовать“. Та отрасль чело-вѣческой дѣятельности, которая направлена на изученіе любопытной, занимательной стороны предметовъ и явленій, называется наукой, наоборотъ, все, въ чемъ мы находимъ хоть нѣкоторую долю самихъ себя, все, что пробуждаетъ въ насъ чувство симпатіи, относится къ области искусства и, будучи возсоздано творческой дѣятельностью чело-вѣка, можетъ быть названо изящнымъ.

Такимъ образомъ, для искусства „нѣтъ на свѣтѣ предмета неизящнаго, неплѣнительнаго, если только художникъ, изображающій его, можетъ отдѣлять безразличное отъ симпатическаго и не смѣшиваетъ симпатическаго съ занима-тельнымъ“. Это значитъ, что всякій предметъ, всякое жизненное явленіе можетъ быть сюжетомъ искусства, если только художникъ сумѣетъ изобразить ихъ такъ, чтобы изображеніе заключало въ себѣ что-либо общее съ мыслями, чувствами и стремленіями тѣхъ, для кого оно предназначается. Что, напримѣръ, казалось-бы, можетъ быть привлекательнаго въ ландшафтѣ, изображающемъ „какое-либо пло-ское захолустье, двѣ-три кривыя березки да сѣренькія тучки на непрозрачномъ горизонтѣ, напоминающемъ своими колерами цвѣтъ снятого молока?“ Въ дѣй-ствительной жизни мы часто отворачиваемся отъ подобной невеселой картины, навѣвающей на душу тяжелое раздуміе, гнетущей вольный полетъ мысли. Межъ тѣмъ мы съ наслажденіемъ смотримъ на картину съ подобнымъ сюжетомъ. Объяснить это не трудно: „во всѣхъ ея печальныхъ подробностяхъ чело-вѣкъ на-ходитъ частичку самого себя, узнаетъ плоскость, которая такъ надоѣла ему въ дѣйствительности; узнаетъ березки, которыя всегда казались жалкими усиліями бѣдной, но все-таки заботливой природы скрасить безотрадную гладь поляны; узнаетъ дождевыя тучки, отъ которыхъ онъ куталъ обвѣянное вѣтромъ лицо свое въ высокій воротникъ пальто, когда возвращался изъ департамента на да-чу,—и эта странная встрѣча съ самимъ собою проливаетъ для него неизъяс-нимую прелесть на какой-нибудь ландшафтѣ, потому что онъ не можетъ не лю-бить самого себя, не интересоваться и не любоваться собою, какъ бы ни былъ плохъ для другихъ. Ужъ такъ онъ устроенъ, что всюду онъ себя отыщетъ и об-радуется находкѣ и полюбитъ ее“. И не только однообразный, унылый ландшафтъ, удручающимъ образомъ дѣйствующій на насъ въ дѣйствительности, можетъ слу-жить предметомъ воспроизведенія въ искусствѣ: всѣ самыя грязныя и отвратитель-ныя явленія дѣйствительной жизни достойны быть предметомъ искусства. Все за-виситъ отъ того, какъ принимается художникъ за изображеніе ихъ. Если онъ избѣгаетъ изображать зло „въ отрѣшенномъ, изолированномъ видѣ, независимо отъ причинъ, которыя произвели его“, если онъ рисуетъ грязную дѣйствитель-

ность такъ, чтобы она намекала на какія-нибудь явленія, съ которыми находится она въ тѣсной, органической связи, и которыя приобщаютъ ее къ сферѣ человѣческихъ интересовъ,—то въ такомъ случаѣ „всякое зло, всякая грязь, всякая гнусность, пройдя сквозь призму художественнаго созерцанія, сбрасываетъ съ себя ту печать отверженія, которую налагаетъ на него обыкновенный, прозаическій взглядъ на жизнь. Видъ всякой язвы отвратителенъ. Но когда вы встрѣчаете ее на тѣлѣ живого человѣка, въ которомъ признаете своего брата, второго себя,—въ васъ заговоритъ любовь, вы почувствуете на самомъ себѣ эту язву, вы схватитесь за собственную грудь и ощутите собственными нервами ту самую боль, которая сводитъ въ судороги члены вашего брата. Все дѣло въ томъ, чтобы вы узнали въ прокаженномъ себя самого: а въ этомъ распознаваніи никто не можетъ вамъ помочь такъ, какъ истинный художникъ“

Спрашивается, что же требуется, чтобы твореніе художника стало истиннымъ произведеніемъ искусства? Старая эстетика говорила, что созданное художникомъ будетъ изящнымъ, т. е. истиннымъ произведеніемъ искусства, только тогда, если въ немъ заключается сліяніе идеи съ художественной формой. Это опредѣленіе изящнаго не выдерживаетъ однако, по мнѣнію Майкова, никакой критики, такъ какъ остается совершенно неизвѣстнымъ, что нужно разумѣть подъ художественной формой. Сверхъ того, на основаніи этой теоріи приходится предполагать, что все отличіе искусства отъ дѣйствительности заключается именно въ художественности формы, ибо другой признакъ изящнаго, указанный въ приведенномъ опредѣленіи, сліяніе идеи съ формой, характеренъ не только для созданія искусства, но и для всякаго предмета, существующаго въ мірѣ. На самомъ дѣлѣ, вся суть искусства заключается не въ художественныхъ формахъ, которыя „всегда останутся тождественными съ формами дѣйствительности“, ибо „воображеніе никогда не породитъ ничего такого, въ чемъ бы не было хоть одной капли дѣйствительности“, существенный признакъ, отличающій искусство отъ другихъ видовъ человѣческой дѣятельности, заключается въ поэтической мысли, такъ называемой „художественной идеѣ“ Эта идея рѣзко отличается отъ идеи научной; „голая мысль ученаго и живая мысль художника двѣ силы существенно различны“. Художественная идея—„не что иное, какъ чувство тождества, чувство общенія какой бы то ни было дѣйствительности съ человѣкомъ“, иными словами, отличительной чертой ея является чувство симпатіи, которое она пробуждаетъ въ душѣ человѣка, созерцающаго произведеніе искусства. Положительный признакъ ея, совершенно отсутствующій въ научной идеѣ, состоитъ въ томъ, что она не только можетъ быть понята, какъ эта послѣдняя, но и *прочувствована*, ибо „она рождается въ формѣ живой любви или живого *отвращенія* отъ предмета изображенія“. Тайна творчества состоитъ въ способности вѣрно изображать дѣйствительность съ ея симпатичной стороны. Иными словами, худо-

художественное творчество есть пересоздание действительности, совершаемое не изменением ее формъ, а возведением ихъ въ міръ человѣческихъ интересовъ.

Отсюда ясно, что точная копіровка действительности, которую нѣкоторые считаютъ искусствомъ, не имѣетъ, въ сущности, ничего общаго съ нимъ, ибо художникъ долженъ не только воспроизвести действительность, но, главнымъ образомъ, гуманизировать ее, перевести въ область человѣческихъ интересовъ, онъ долженъ проникнуться какимъ либо опредѣленнымъ чувствомъ и изобразить предметъ такъ, чтобы это чувство заражало зрителя. Художнику предоставляется самый широкій просторъ въ выборѣ предметовъ творчества и формы для выраженія художественной идеи; самое важное въ искусствѣ—наличность самой идеи.

Будучи въ значительной степени окрашена чувствомъ, художественная идея, какъ всякое чувство, возникаетъ безсознательно. Но это не значитъ, что она вовсе не подвергается контролю сознанія художника, и онъ „не вѣдаетъ, что творитъ“. Бываетъ зачастую и такъ, что художникъ разлагаетъ ее анализомъ и объясняетъ ее значеніе, но отъ этого она отнюдь не теряетъ своихъ специфическихъ особенностей. Важно только, чтобы художникъ, при созданіи своего произведенія, опять вернулся къ прежнему настроенію, не ставилъ на мѣсто чувства силлогизмъ, образовавшійся въ умѣ его въ силу такого разложенія. Подъ эту теорію, такимъ образомъ, подходятъ, какъ тѣ произведенія искусства, которыя возникли подъ вліяніемъ безотчетной потребности въ творествѣ, такъ и такія, созданіе которыхъ освѣщалось опредѣленной идеей нравственнаго или какого-либо другого характера.

Но если писатель подвергъ художественную идею логическому анализу и отправляется въ своемъ творствѣ отъ обычной идеи, его созданіе не можетъ быть отнесено къ области искусства. Въ такомъ случаѣ возникаетъ особый видъ произведеній, которымъ Майковъ даетъ названіе беллетристики. Беллетристика представляетъ собою середину между произведеніями строго художественными и строго дидактическими (научными); она заимствуетъ отъ поэзіи одну внѣшнюю форму (образы), не одухотворенную поэтической идеей, въ которую выливается простая наблюдательность автора и его размышленія. Образцомъ беллетристическаго произведенія Майковъ считаетъ „Кто виноватъ“ Герцена. Здѣсь авторъ поражаетъ читателя несравненно болѣе умомъ, чѣмъ художественностью, такъ что „на всю его художественную дѣятельность мы не можемъ смотрѣть иначе, какъ средство выраженія идей въ самой популярной формѣ, возводимой иногда наблюдательностью до художественности“.

Мы изложили здѣсь основные принципы эстетической доктрины В. Майкова. Идея ея заняла очень немного мѣста, но она не безъ труда поддается опредѣленію, ибо В. Майковъ, какъ замѣтилъ еще Достоевскій, не успѣлъ вполне сформироваться, и изслѣдователю, желающему уяснить себѣ основаніе его ученія, до



искусствѣ, приходится сопоставлять отдѣльные, порою нѣсколько противорѣчивыя мнѣнія его объ одномъ и томъ же вопросѣ, выбирать изъ нихъ руководящіе принципы его эстетической теоріи и объединять ихъ въ одно цѣлое. Теорія эта, какъ это видно изъ ея изложенія, далеко не охватываетъ собою всѣхъ основныхъ вопросовъ искусства и представляетъ собою только общій очеркъ, схему ученія, которое нуждается въ очень подробной разработкѣ. Несомнѣнно, проживъ В. Майковъ дольше, онъ создалъ бы стройную и законченную эстетическую теорію, на необходимость которой для надлежащаго пониманія искусства онъ указывалъ не разъ, но даже и тѣ идеи объ этомъ предметѣ, которыя ему удалось высказать, имѣютъ очень большую цѣну, особенно если сопоставить ихъ съ господствующими нынѣ взглядами на искусство.

Въ ней, прежде всего, обращаетъ на себя вниманіе признаніе широкой и полной свободы за художникомъ. „Современная теорія,—говоритъ онъ,—никакъ не считаетъ себя въ правѣ запрещать писателю выражать свои мысли въ какой ему угодно формѣ—будетъ-ли то форма строго художественная, строго дидактическая или, наконецъ, смѣшанная. Она не называетъ беллетристика художникомъ но отводитъ ему такое же почетное мѣсто въ литературѣ, какъ художнику и ученому... Если у васъ есть какой-нибудь талантъ—дидактическій, художественный или беллетристическій,—пишите сколько угодно и какъ угодно, только не выходите изъ предѣловъ своей способности, не думайте, что одинъ родъ таланта выше другого рода; пишите безъ претензій и безъ рецепта—современная критика признаетъ васъ талантливымъ писателемъ“. Насколько въ этомъ отношеніи Майковъ ушелъ впередъ даже сравнительно съ Бѣлинскимъ, видно изъ того, какъ эти два критика смотрѣли на сатиру: тогда какъ Бѣлинскій считаетъ ее „ложнымъ родомъ“ и сравниваетъ съ каррикатурой, Майковъ видитъ въ ней только особую форму искусства.

Въ высшей степени также удачно намѣчена В. Майковымъ мысль о бессознательности художественнаго творчества въ смыслѣ пониманія отвлеченной идеи создаваемого произведенія. „Художникъ,—говоритъ онъ,—очень часто и даже большею частью самъ не понимаетъ идеи своего произведенія въ отвлеченной формѣ“. Этимъ и подобными замѣчаніями В. Майковъ проникъ въ одинъ изъ современныхъ вопросовъ психологіи творчества, который выяснился вполне именно въ смыслѣ, указанномъ Майковымъ, значительно позднѣе, три-четыре десятилѣтія спустя. Настоячивымъ произведеніемъ мысли о преобладаніи въ художественномъ творествѣ бессознательнаго элемента онъ хотѣлъ, повидимому, оградить искусство отъ чуждаго ему элемента дидактики.

Но въ то же самое время онъ отнюдь не былъ сторонникомъ такъ называемаго „чистаго искусства“. Въ основномъ положеніи своей теоріи, по которому суть художественнаго произведенія заключается въ художественной идеѣ, рождающейся въ формѣ живой любви или живого отвращенія отъ предмета изобража-

нія, онъ полагаетъ задачу искусства въ воспроизведеніи дѣйствительности съ ея симпатической стороны, т. е. ставитъ искусство въ непосредственную связь съ дѣйствительностью, но только гуманизированной, переведенной въ сферу человѣческихъ интересовъ. Отстаивая за искусствомъ право черпать матеріалъ для своихъ твореній изъ самыхъ разнообразныхъ сферъ дѣйствительности, но въ то же самое время тщательно отдѣляя простую копировку дѣйствительности, фотографированіе ея, отъ творческаго воспроизведенія, Майковъ очень близко подходитъ по своимъ взглядамъ къ современнымъ французскимъ теоретикамъ искусства. Если у него теорія искусства намѣчена только въ самыхъ общихъ чертахъ, то зато нѣтъ у него тѣхъ крайностей нео-реализма, вѣрнѣе, натурализма, въ которыя впадалъ, напр. Золя и его послѣдователи. Наболѣе близко по своимъ эстетическимъ взглядамъ подходитъ В. Майковъ къ Гюйо, и его теорія искусства напоминаетъ собою „Искусство съ точки зрѣнія соціологіи“ французскаго мыслителя. Въ положеніи о томъ, что искусство заражаетъ читателя или зрителя тѣмъ чувствомъ, настроеніемъ, какое пережилъ художникъ, нельзя не видѣть сходства съ основной идеей въ опредѣленіи искусства въ извѣстномъ трактатѣ Л. Толстого: „Что такое искусство“. Наконецъ, мысль о роли чувства сходства въ эстетическихъ эмоціяхъ, впервые высказанная Майковымъ, нашла себѣ развитіе и оказалась очень плодотворной въ сочиненіяхъ французскихъ и англійскихъ эстетиковъ нашего времени.

Послѣ сдѣланныхъ бѣглыхъ замѣчаній о цѣнности общей эстетической доктрины В. Майкова нельзя не пожалѣть о томъ, что этому глубоко вдумчивому и оригинальному мыслителю-критику не суждено было съ достаточной полнотой развить свои взгляды. Если бы судьба распорядилась иначе съ этой многообѣщающей жизнью, русская философская мысль, по справедливости, могла бы гордиться тѣмъ, что одинъ изъ юнѣйшихъ представителей ея въ сороковые годы пришелъ къ такому рѣшенію эстетическихъ вопросовъ, какое послѣ долгихъ усилій только на исходѣ истекшаго столѣтія удалось найти наболѣе виднымъ западно-европейскимъ теоретикамъ искусства.

#### IV.

Но приведенными сужденіями нашего критика относительно общихъ положеній искусства далеко не исчерпывается все, сказанное имъ въ этой области. Неоднократно въ той или другой критической статьѣ онъ высказываетъ порою чрезвычайно мѣткія и оригинальныя и всегда вѣрныя сужденія по различнымъ вопросамъ литературы. Еще въ началѣ своей критической дѣятельности, на первыхъ страницахъ статьи о Колцовѣ, Майковъ съ полнымъ убѣжденіемъ высказалъ мысль о ничтожной разработкѣ у насъ теоретическихъ вопросовъ искусства. „Мы убѣдились, писалъ онъ, что множество вопросовъ, о которыхъ говорятъ у насъ какъ о рѣшенныхъ окончательно, если взглянуть на нихъ попристальнѣе, никто



и не думалъ рѣшать логически, что почти всѣ мы только увѣрили себя, буди заниматься ими—дѣло азбучное, что вовсе нѣтъ у насъ открытыхъ ученій, которыя могли бы мы противопоставить тѣмъ, кто смотритъ на вещи совершенно иначе“. И вотъ, какъ бы желая восполнить этотъ пробѣлъ, Майковъ подвергаетъ разсмотрѣнію различные литературные вопросы и спѣшитъ высказать по поводу ихъ хоть мимоходомъ нѣсколько мыслей. Таково, напр. чрезвычайно сжатое и вѣрное опредѣленіе задачъ литературы, которое онъ даетъ попутно, въ концѣ статьи о сочиненіяхъ кн. Одоевскаго. Еще болѣе любопытнымъ представляется, впервые выдвинутая имъ не только въ области русской, но и западно-европейской исторіи литературы мысль, о томъ, что „исторія литературнаго произведенія заключается не только въ процессѣ его созданія подъ вліяніемъ личности писателя, характера времени и особенностей общества, но и въ степени вліянія этого произведенія на общество, въ большемъ или меньшемъ его успѣхѣ“. Это та мысль, которая впоследствии, уже въ послѣднюю четверть истекшаго столѣтія, была подробно разработана французскимъ изслѣдователемъ Геннекеномъ въ его „Эстопсихологіи“, признанной своего рода „новымъ словомъ“ въ дѣлѣ изслѣдованія историко-литературныхъ вопросовъ. Не менѣе важны экскурсы В. Майкова въ область теоріи поэзіи. Такъ, разборъ курса теоріи словесности Чистякова даетъ поводъ нашему критику высказать нѣсколько мыслей о теоріи словесности, остающихся и до сихъ поръ въ силѣ. Его поражаетъ отсутствіе въ этой наукѣ опредѣленныхъ основаній, строго обозначенныхъ предѣловъ, на которые она распространяется. „Разверните,—говоритъ онъ,—любой курсъ словесности: что вы тамъ встрѣтите? нѣсколько заимствованій изъ логики, нѣсколько свѣдѣній психологическихъ и нѣсколько страницъ, принадлежащихъ собственно словесности, хотя законность этого собственного владѣнія можетъ быть оспариваема, какъ сомнительная“. Причину такой пестроты и хаотичности этой науки В. Майковъ видитъ въ томъ, что она „не знаетъ еще опредѣленно своего дѣла и за неимѣніемъ собственного капитала пользуется чужимъ на основаніи берегового права“. Въ этой же статьѣ онъ намѣчаетъ тотъ путь, по которому должна развиваться наука о словесныхъ произведеніяхъ. По его мнѣнію, истинный интересъ этой науки заключается въ изслѣдованіи эволюціи поэтическихъ формъ, въ разсмотрѣніи послѣдовательнаго развитія словесныхъ произведеній. Сознвая несостоятельность многихъ господствующихъ теоретическихъ понятій о поэзіи, Майковъ не разъ, по тому или другому поводу, разбираетъ эти ложныя положенія и устанавливаетъ болѣе правильныя, какъ это онъ, напр., дѣлаетъ въ статьѣ по поводу поэмы Сушкова „Москва“ и въ нѣкоторыхъ другихъ.

Всѣ эти „набѣги“ въ область теоріи поэзіи отнюдь не утомляютъ читателя, ибо написаны съ большой ясностью мысли, иллюстрируются многими разнообразными примѣрами и всегда поставлены въ тѣсную связь съ разбираемымъ произведеніемъ. Имѣя громадное значеніе для современниковъ критика, они не потеряли

своей цѣны и теперь, толкая мысль вдумчиваго читателя на рѣшеніе общихъ литературныхъ вопросовъ и указывая правильный путь въ этомъ направленіи.

До сихъ поръ шла рѣчь объ одномъ изъ составныхъ элементовъ критическихъ статей В. Майкова—о стремленіи отыскать теоретическія основанія какъ для общихъ вопросовъ эстетики, такъ и разрѣшить отдѣльные, болѣе частные случаи недоумѣнія, которые возникаютъ у читателя, задумывающагося надъ рѣшеніемъ проблемъ искусства. Нельзя не отмѣтить также другой, хотя и менѣе яркой, ибо ей отводится сравнительно мало мѣста, но тѣмъ не менѣе очень характерной черты въ критическихъ статьяхъ В. Майкова. При разборѣ отдѣльныхъ литературныхъ произведеній онъ обыкновенно старается поставить ихъ, гдѣ это возможно, въ связь со средой и эпохой, въ которыя они возникли, опредѣлить ихъ взаимоотношеніе съ различными элементами создавшей ихъ жизни. Благодаря такому освѣщенію литературныхъ явленій, они ставятся въ непосредственное органическое отношеніе съ общимъ теченіемъ жизни, способствуя тѣмъ лучшему пониманію ихъ, съ одной стороны, и съ другой—болѣе правильному и всестороннему объясненію самихъ этихъ произведеній.

Есть еще одна очень любопытная особенность въ критическихъ статьяхъ В. Майкова, которая почему то обыкновенно упускается изъ виду изслѣдователями, писавшими объ этомъ критикѣ. Это—отголоски экономического ученія Маркса, которое, надо полагать, было знакомо не только В. Майкову, но и другимъ представителямъ передовой молодежи его времени, какимъ, напр. былъ даровитый В. А. Милютинъ, работавшій одновременно съ Майковымъ въ „О. З.“ и такъ же, какъ и онъ, безвременно погибшій трагической смертью. Идеи знаменитаго экономиста нашли себѣ отраженіе кромѣ отдѣльныхъ политико—экономическихъ статей Майкова, главнымъ образомъ, въ его рецензіяхъ по поводу новыхъ книгъ, посвященныхъ разработкѣ экономическихъ вопросовъ. На этомъ любопытномъ явленіи мы еще остановимся при разсмотрѣніи его работъ этого отдѣла.

## V

Изъ цитированнаго выше письма Майкова къ Тургеневу ясно видно, какими побужденіями руководствовался молодой ученый, принимая на себя обязанности литературнаго критика: онъ былъ глубоко убѣжденъ, что это наиболѣе удобный путь для проведенія въ сознаніе общества различныхъ научныхъ идей, которыя, онъ вѣрилъ, однѣ только могутъ содѣйствовать жизненному прогрессу. Вотъ поему въ своихъ критическихъ статьяхъ онъ всегда пользуется случаемъ, чтобы остановиться на выясненіи того или другаго вопроса, не имѣющаго сплошь и рядомъ ни какого отношенія къ искусству, но ближе касающагося жизни. Такъ, онъ, на примѣръ, неоднократно и съ большою обстоятельностью говоритъ о значеніи исторіи и важности изученія ея для разрушенія тормозящихъ развитіе человѣчества предрассудковъ (разборъ „Руководства къ всеобщей исторіи“ Лоренца), рассматри-

даетъ пользу занятій естественными науками, толкуетъ о сущности мистицизма, объ отживающихъ свой вѣкъ идеяхъ и предрассудкахъ и т. д. Изъ такихъ отступленій наиболѣе представляются характерными для В. Майкова его разсужденія о народности и славянофилахъ; на нихъ мы и остановимся теперь.

Вопросъ о національности представлялся однимъ изъ наиболѣе жгучихъ для современниковъ Майкова. Неустанная борьба между славянофилами и западниками съ Бѣлинскимъ во главѣ, если не раздѣлила все мыслящее русское общество на два лагеря, то, во всякомъ случаѣ, заставляла чутко прислушиваться къ тѣмъ сужденіямъ, которыя высказывались съ обѣихъ сторонъ. До какой степени занимали эти вопросы нашу литературу въ сороковые годы, можно судить, напр. по тому, съ какой настойчивостью возвращались къ нимъ авторы критическихъ и иныхъ статей при всякомъ удобномъ случаѣ. „Сколько насъ есть на лицо въ русской землѣ критиковъ и библіографовъ,—говорить по этому поводу В. Майковъ,—мы всѣ безъ исключенія только и толкуемъ во всеуслышаніе, что о натуральности да о народности“. Естественно поэтому, чтобы такой чуткій къ вопросамъ современности писатель, какимъ является В. Майковъ, былъ заинтересованъ тѣмъ или другимъ разрѣшеніемъ этого вопроса, и дѣйствительно, мы видимъ, что онъ занимаетъ его чуть-ли не во все время его литературной дѣятельности и получаетъ одно или другое рѣшеніе. Впервые высказалъ В. Майковъ свое сужденіе о народности въ первой большой своей статьѣ: „Общественныя науки въ Россіи“, помѣщенной въ „Финскомъ Вѣстникѣ“. Здѣсь онъ, главнымъ образомъ, обсуждаетъ отношеніе народности къ общечеловѣческой цивилизаціи. По мнѣнію Майкова, національный элементъ въ жизни отдѣльныхъ человѣческихъ обществъ не только не препятствуетъ росту общечеловѣческой цивилизаціи, но, наоборотъ, способствуетъ ему, ибо „правильное и энергическое развитіе частей служитъ условіемъ правильнаго и энергическаго развитія цѣлаго“. При этомъ „оригинальность части не вредитъ единству цѣлаго, ибо единство въ реальности предполагаетъ извѣстную степень разнообразія, и человѣческій умъ, основываясь на явленіяхъ, понимаетъ его не иначе, какъ въ формѣ разнообразной дѣйствительности“. У каждаго народа, вслѣдствіе существованія національных особенностей есть свои особыя, оригинальныя черты въ наукѣ, искусствѣ, нравственности, и это только способствуетъ всестороннему развитію человѣчества, такъ какъ „національное воззрѣніе есть не что иное, какъ одна сторона воззрѣнія, свойственнаго всякому человѣку, а національный характеръ есть одна изъ составныхъ частей характера цѣлаго человѣчества“. Такъ, напримѣръ, синтетическая мысль нѣмца или же анализъ англичанина обнаруживаютъ такія стороны предметовъ, которыя никакъ нельзя было бы усмотрѣть безъ усиленнаго развитія этихъ особенностей ума. То же самое можно наблюдать и въ области искусствъ, морали и общественно-политическихъ формъ, что и подтверждается у Майкова нѣсколькими примѣрами. Такимъ образомъ, „народность, съ какой бы стороны

мы на нее ни смотрѣли, не служить препятствіемъ къ успѣхамъ человѣчества,“ напротивъ того, она составляетъ одно изъ условій этого успѣха.

Изложенныя только что мысли В. Майкова объ отношеніи національнаго элемента въ человѣчествѣ къ прогрессивному развитію цивилизаціи показываютъ, какъ здраво смотрѣлъ нашъ писатель на одинъ изъ наиболѣе спорныхъ вопросовъ его времени. Въ этомъ отношеніи онъ вполне примыкаетъ къ Бѣлинскому, стоявшему на такой же приблизительно точкѣ зрѣнія. Тѣмъ не менѣе проблема о роли и значеніи національных особенностей въ человѣчествѣ не переставала и впослѣдствіи занимать Майкова. Очень скоро, почти только черезъ годъ, во второй статьѣ о Кольцовѣ, онъ даетъ обширную и подробно мотивированную теорію о народности, теорію, которая по своимъ основнымъ выводамъ является прямо противоположной взглядамъ, высказаннымъ имъ объ этомъ предметѣ въ статьѣ „Общественныя науки въ Россіи“. Исслѣдователь жизни и дѣятельности В. Майкова не располагаетъ въ настоящее время достаточнымъ матеріаломъ, чтобы уяснить съ большей или меньшей ясностью причины такого рѣзкаго переворота въ міровоззрѣніи нашего автора. По всей вѣроятности, онъ кроется въ стремленіи Майкова кореннымъ образомъ уничтожить всѣ основанія, на которыхъ покоилось несимпатичное ему славянофильское ученіе. Какъ бы то ни было, но теперь Майковъ, какъ бы совершенно забывъ о высказанныхъ недавно взглядахъ на національность, является энергичнымъ проповѣдникомъ самаго широкаго космополитизма.

Поводомъ къ этому послужила мысль нѣкоторыхъ панегиристовъ Кольцова о томъ, что онъ является типичнымъ представителемъ русской натуры. Ставя очень высоко Кольцова, Майковъ не соглашается съ этимъ, ибо убѣжденъ, что „человѣкъ, котораго можно назвать типомъ какой бы то ни было націи, никакъ не можетъ быть не только великимъ, но и необыкновеннымъ“. Эту мысль онъ доказываетъ издалека, цѣлымъ рядомъ посылокъ. Основныя положенія Майкова представляются приблизительно въ такомъ видѣ. Не привыкнувъ вдумчиво относиться къ окружающей жизни, мы иначе не можемъ представить себѣ человѣка, какъ французомъ, нѣмцемъ, русскимъ и т. п., словомъ, принадлежащимъ къ какой-либо національности; „идеальный, ничѣмъ не занятый человѣкъ начинаетъ представляться намъ существомъ безкровнымъ, отрѣшеннымъ отъ органическихъ условій жизни и по тому самому чѣмъ-то крайне уродливымъ, не нормальнымъ“. Межъ тѣмъ такая точка зрѣнія, по мнѣнію Майкова, очень ошибочна. Существуетъ „въ безконечномъ множествѣ органическихъ типовъ типъ *человѣка*, который нельзя смѣшать ни съ типомъ минерала, ни съ типомъ растенія, ни съ типомъ животнаго“; всякій поэтому индивидуумъ, какой бы онъ націи ни былъ, принадлежитъ по натурѣ своей къ разряду существъ, называемыхъ людьми, а не французами, нѣмцами, англичанами и т. п. Этотъ идеальный человѣкъ надѣленъ добродѣтелями, которыя, какъ силы, составляющія сущность человѣческой природы, при-

рождены ей; что же касается до пороковъ, то они объясняются внѣшними обстоятельствами, подѣ влияніемъ которыхъ сложились и племенные особенности. Такимъ образомъ, наличность племенныхъ признаковъ, иначе говоря, національныхъ особенностей, свидѣтельствуешь объ уменьшеніи чистоты человѣческаго типа. Чѣмъ эти особенности рѣзче выражены, тѣмъ болѣе удаляется данное лицо отъ идеальнаго человѣка. Такъ что тотъ, кто является типичнымъ представителемъ своей націи, отнюдь не можетъ быть выдающимся человѣкомъ. Великіе люди тѣмъ и велики, что они отрѣшаются отъ слабостей и недостатковъ, свойственныхъ ихъ націи; „мы уважаемъ въ нихъ *силу противодѣйствія внѣшнимъ обстоятельствамъ*, препятствующимъ каждому изъ насъ приблизиться къ идеалу богоподобнаго человѣка“. Отношеніе національныхъ особенностей къ типу чистаго человѣка и путь, по которому народы стремятся къ идеалу, достаточно виденъ изъ слѣдующаго „закона“: „каждый народъ имѣетъ двѣ фізіономіи; одна изъ нихъ діаметрально противоположна другой; одна принадлежитъ большинству, другая—меньшинству. Большинство народа всегда представляетъ собою механическую подчиненность влияніямъ климата, мѣстности, племени и судьбы; меньшинство-же впадаетъ въ крайность отрицанія этихъ явленій“. Вѣрность этого закона Майковъ пытается доказать нѣсколькими примѣрами, одинъ изъ которыхъ представляетъ собою разсмотрѣніе, въ духѣ приведеннаго закона, національныхъ особенностей русскаго народа. Въ объясненіи этихъ особенностей дѣйствіемъ климатическихъ условій, почвы и т. д. Майковъ до извѣстной степени предупреждаетъ идеи Бюлля, высказанныя имъ въ „Исторіи цивилизаціи Англіи“.

Новое ученіе о національности заключало въ себѣ полное осужденіе славянофильства. Представители этого ученія очень настойчиво проводили мысль о важности для русскаго народа развитія въ національномъ духѣ, межъ тѣмъ Майковъ старался доказать, что столь защищаемыя ими національныя особенности только противодѣйствуютъ достиженію настоящей, идеальной цивилизаціи. „Особенности русскаго, француза, нѣмца, англичанина, италіянца, испанца и проч.—все это такія силы, которыя удаляютъ cadaго изъ нихъ отъ идеала человѣка, слѣдовательно, и отъ идеальной цивилизаціи“... „Истинная цивилизація—одна, какъ одна на свѣтѣ истина, одно добро; слѣдовательно, чѣмъ меньше особенностей въ цивилизаціи народа, тѣмъ онъ цивилизованнѣе“.

Не трудно указать слабыя стороны этой парадоксальной теоріи Майкова о народности. Представляется неразрѣшимой загадкой, какъ могъ этотъ проповѣдникъ строго научнаго анализа въ рѣшеніи всякихъ вопросовъ исходить въ своихъ сужденіяхъ изъ совершенно отвлеченнаго представленія объ идеальномъ, „безтемпераментномъ“ человѣкѣ, воскрешать фантазіи Руссо о естественномъ человѣкѣ, павшемъ подѣ давленіемъ внѣшнихъ обстоятельствъ. Не менѣе бездоказательнымъ, лишеннымъ всякаго основанія, представляется созданный имъ „законъ“, по которому всякій народъ дѣлится на двѣ взаимно-враждебныя группы. Если бы

ето было въ дѣйствительности такъ, то оказалась бы немислимой государственная жизнь націи. На самомъ дѣлѣ можно наблюдать скорѣе обратное тому, на что указываетъ въ своей теоріи Майковъ: великіе люди, вышедшіе изъ той или другой націи, не только не стяхнули съ себя національныхъ чертъ, но являются болѣе типическими выразителями своего народа, чѣмъ обыкновенный средній человѣкъ. Не на чемъ иномъ, какъ на полномъ произволѣ, основано также утверждение Майкова объ источникахъ добродѣтелей и пороковъ, по которому послѣдніе являются продуктами внѣшнихъ вліяній, а первыя—врожденные свойства идеальнаго человѣка.

Но хотя новое ученіе Майкова о народности и построено на шаткихъ основаніяхъ, оно внесло свѣжую струю въ русскую теоретическую мысль, и эта струя не замедлила дать свои плоды. Въ этой теоріи впервые у насъ было высказано рѣшительное отрицаніе народности и предпочтеніе ей общечеловѣческихъ принциповъ. „Можно смѣло сказать,—говоритъ по этому поводу г. Скабичевскій,—что только со статьи В. Майкова началась настоящая оппозиція славянофильству. Въ этой оппозиціи противъ славянофиловъ встали уже не западники, не защитники усвоенія западной цивилизаціи, а проповѣдники той новой, будущей цивилизаціи, которая должна явиться не въ западномъ или восточномъ, а въ общечеловѣческомъ духѣ, которая должна въ своемъ результатѣ сломать всѣ китайскія стѣны различныхъ народностей, уничтожить ихъ вѣчное соперничество... и сдѣлать изъ французовъ, нѣмцевъ, англичанъ и русскихъ—людей, которые жили бы въ единеніи любви и братства. Надо ли говорить, что таковъ былъ духъ всей послѣдующей эпохи движенія мысли нашей въ концѣ пятидесятихъ и въ началѣ шестидесятихъ годовъ. Передовые люди этой эпохи твердо стояли на общечеловѣческой почвѣ, были чужды всякихъ народныхъ пристрастій, и ихъ отнюдь не слѣдуетъ смѣшивать съ западниками сороковыхъ годовъ“. Такимъ образомъ, парадоксальная теорія народности, созданная Майковымъ, была чѣмъ то совершенно новымъ и неожиданнымъ даже для передовыхъ людей сороковыхъ годовъ, какими были западники съ Бѣлинскимъ во главѣ. Ведя ожесточенный споръ съ славянофильской школой о тѣхъ путяхъ, какими должна развиваться Россія, Бѣлинскій и его друзья вполнѣ были солидарны со своими антагонистами въ томъ отношеніи, что признавали вмѣстѣ съ ними необходимость національнаго элемента въ развитіи народа,—вѣрили, что цивилизація можетъ развиваться только въ духѣ народности. В. Майковъ рѣзко разошелся съ западниками, доказывая, что народность есть нѣчто враждебное цивилизаціи, и основная задача послѣдней—вывести человѣка изъ узкой колеи народности на широкую дорогу общечеловѣчности. Какъ вполнѣ справедливо указано въ приведенной выше цитатѣ, Майковъ своими космополитическими идеями примыкаетъ къ представителямъ нашей передовой мысли въ шестидесятые годы, и поэтому нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что онъ встрѣтилъ горячій отпоръ со стороны Бѣлин-



скаго, стоявшаго въ вопросахъ національности на другой точкѣ зрѣнія. Въ статьѣ „Взглядъ на русскую литературу 1846 г.“ Бѣлинскій подробно опровергаетъ мнѣніе Майкова, называетъ его ученіе фантастическимъ космополитизмомъ, всесторонне мотивируетъ мысль о томъ, что „народности суть личности человѣчества, и безъ національностей человѣчество было бы мертвымъ логическимъ абстрактомъ, словомъ безъ содержанія, звукомъ безъ значенія“. Здѣсь же знаменитый критикъ выясняетъ опредѣленно свое отношеніе къ славянофильскому ученію, признавая въ немъ многія позитивныя стороны. Такимъ образомъ, своеобразная космополитическая доктрина Майкова, заставившая Бѣлинскаго вновь пересмотрѣть свое отношеніе къ славянофильству, была первой попыткой новаго рѣшенія національнаго вопроса, которое возобладало у насъ среди передовыхъ представителей поколѣнія шестидесятыхъ годовъ.

## VI.

До сихъ поръ говорилось, такъ сказать, о составныхъ элементахъ критическихъ статей В. Майкова, рассматривались тѣ отступленія отъ темы, которыя встрѣчаются въ нихъ въ томъ или другомъ мѣстѣ, и выяснилось значеніе этихъ отступленій. Чтобы покончить съ обзоромъ дѣятельности Майкова, какъ литературнаго критика, необходимо остановиться еще на общей оцѣнкѣ его статей, вѣрнѣе, тѣхъ мѣстъ ихъ, гдѣ рѣчь идетъ о разбираемыхъ произведеніяхъ.

И въ этомъ отношеніи статьи Майкова представляются очень интересными не только съ точки зрѣнія поколѣнія сороковыхъ годовъ, но и для современнаго намъ читателя. Обладая широкимъ научнымъ и литературнымъ кругозоромъ, столь необходимымъ для критика, а также болѣе или менѣе ясно сознанной въ своихъ общихъ чертахъ теоріей искусства, В. Майковъ въ то же время отличался тонкимъ эстетическимъ чутьемъ, помогающимъ ему безошибочно угадывать истинные таланты <sup>1)</sup>. Все это дало возможность Майкову занять въ короткое время видное положеніе въ русской критикѣ. Цѣлый рядъ писателей нашелъ въ его статьяхъ мѣткую, апорой и обстоятельную оцѣнку своей дѣятельности или же удачный разборъ отдѣльныхъ произведеній. По большей части, статьи его посвящены, главнымъ образомъ, явленіямъ текущей литературы хотя въ нихъ не рѣдко попадаются замѣчанія о древней литературѣ и о писателяхъ 18-го и начала 19-го вѣка, которые ко времени Майкова сошли со сцены. Такъ, онъ вскользь высказываетъ мѣткія

<sup>1)</sup> Сохранились любопытныя свѣдѣнія, свидѣтельствующія о томъ, насколько сильно было у Майкова врожденное художественное чутье. Гончаровъ, близко стоявшій въ семьѣ Майковыхъ читалъ имъ свою „Обыкновенную исторію“, желая выслушать замѣчанія о своемъ произведеніи. В. Майковъ, присутствовавшій при чтеніи, хотя и былъ самымъ юнымъ изъ слушателей, высказалъ несколько мѣткіхъ сужденій о новомъ романѣ, что Гончаровъ считалъ нужнымъ сдѣлать въ немъ нѣкоторыя поправки и измѣненія согласно его указаніямъ.

замѣчанія о „Словѣ о полку Игоревѣ“, о значеніи изученія народныхъ сказокъ, о дѣятельности Ломоносова, Сумарокова и другихъ писателей 18-го столѣтія, о Пушкинѣ и Лермонтовѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ подвергаетъ очень остроумной и глубокомысленной критикѣ романтическое направленіе, которое тогда еще далеко не было сдано въ архивъ, и отстаиваетъ принципы гоголевской школы. Не посвятивъ Гоголю ни одной законченной статьи, Майковъ однако постоянно останавливается на той или другой особенности его сочиненій, говоритъ о громадномъ значеніи его дѣятельности для русской жизни и литературы, ищетъ въ его поэтическихъ созданіяхъ подтвержденія своихъ эстетическихъ принциповъ. Подобно Бѣлинскому, онъ считаетъ Гоголя основателемъ новой школы въ области искусства видѣть въ немъ могучую силу, дѣйствіе которой выходитъ далеко за предѣлы искусства и двигаетъ русское общество по пути прогресса. Наиболѣе сильное впечатлѣніе произвели на Майкова „Мертвыя души“. Много разъ говорилъ онъ о неисчерпаемомъ значеніи этого произведенія, тѣмъ не менѣе не успѣлъ посвятить ему сколько-нибудь обстоятельной статьи. Въ этомъ отношеніи Майковъ вполне примкнулъ къ остальнымъ современнымъ критикамъ, изъ которыхъ никто, не исключая и Бѣлинскаго, не далъ сколько-нибудь полнаго разбора „Мертвыхъ душъ“. Это молчаніе критики Майковъ объясняетъ силою впечатлѣнія, произведеннаго знаменитымъ созданіемъ Гоголя. Впечатлѣніе это, по его словамъ, было настолько могущественно, что не могло быть сразу подвергнуто точному анализу. Нельзя не пожалѣть, что нашему критику не удалось высказать систематически и въ законченномъ видѣ своихъ сужденій о главѣ натуральной школы: тѣ многочисленныя мелкія замѣчанія о немъ, которыя разсыпаны у него въ разныхъ мѣстахъ сочиненій, ручаются за то, что это былъ бы одинъ изъ лучшихъ разборовъ литературной дѣятельности этого замѣчательнаго писателя.

Изъ статей о другихъ русскихъ писателяхъ особенно обращаетъ на себя вниманіе критическій очеркъ, посвященный разбору стихотвореній Кольцова. Несмотря на то, что стройность его нарушается длинными отступленіями (въ этихъ статьяхъ изложена сущность эстетической теоріи В. Майкова и его новая теорія о національности), все же она читается съ большимъ интересомъ и даетъ полную и вѣрную въ эстетическомъ и общественномъ смыслѣ оцѣнку поэта Кольцова.

Большой интересъ также представляетъ коротенькая статья Майкова о стихотвореніяхъ Жадовской. Критикъ вполне справедливо видитъ въ ней „полную, хотя краткую исторію, женской души, исполненной стремленія къ нормальнымъ условіямъ жизни, но встрѣчающей на каждомъ шагу противорѣчія и преграды“ не только извнѣ, но и въ своихъ собственныхъ колебаніяхъ, недоразумѣніяхъ и самообольщеніяхъ.

Отмѣтимъ еще, какъ наиболѣе выдающіяся критическія статьи Майкова о русской художественной литературѣ, его разборъ „Юрія Милославскаго“ Заго-



сина, сочиненій кн. Одоевскаго, стихотвореній Плещеева, стихотворенія Тургенева „Разговоръ“, „Петербургскихъ Вершинъ“ Буткова. Всѣ эти статьи написаны настолько занимательно, такъ блестятъ тонкимъ художественнымъ анализомъ и оригинальными идеями, что съ большимъ удовольствіемъ и пользой могутъ быть прочитаны даже въ томъ случаѣ, если произведенія, которымъ онѣ посвящены, окажутся неизвѣстными.

Изъ критическихъ очерковъ, посвященныхъ разбору сочиненій иностранныхъ авторовъ, представляютъ выдающійся интересъ и для современнаго намъ читателя статьи о Вальтерѣ Скоттѣ, Евгеніи Сю, всеобщей исторіи Лоренца и „Исторіи консульства и имперіи“ Тьера. Въ первой изъ нихъ, на ряду съ выясненіемъ особенностей литературнаго дарованія В. Скотта и общаго значенія его дѣятельности, опредѣляется сущность историческаго романа, указывается на то вліяніе, какое имѣла дѣятельность В. Скотта какъ на развитіе историческаго романа, такъ и на разработку исторіи Западной Европы, причемъ тутъ же, попутно, дѣлаются не лишеныя интереса замѣчанія о постепенномъ ростѣ исторической науки. Статья о Евгеніи Сю, не смотря на свой незначительный объемъ, даетъ яркую характеристику его творчества. Разборъ труда Лоренца представляется цѣннымъ въ томъ отношеніи, что выясняетъ всю важность изученія исторіи. Обширная рецензія на сочиненіе Тьера даетъ ясное понятіе объ этой книгѣ, о толкахъ вызванныхъ ею, и о тѣхъ недостаткахъ въ общей точкѣ зрѣнія на изображаемую эпоху, которые необходимо имѣть въ виду при ея чтеніи.

Цѣлый рядъ критическихъ разборовъ книгъ, относящихся къ исторіи и теоріи словесности, свидѣтельствуетъ о глубокомъ знакомствѣ автора съ историко-литературными вопросами. Его замѣчанія по поводу тѣхъ или другихъ явленій исторіи литературы поражаютъ своей вѣрностью и стоятъ на уровнѣ современныхъ намъ историко-литературныхъ знаній. Всѣ эти разборы посвящены книгамъ, которыя въ наше время потеряли всякое значеніе и болѣе или менѣе знакомы развѣ только спеціалистамъ; но это не должно смущать читателя, ибо интересъ ихъ сосредоточивается не столько на знакомствѣ съ тѣмъ или инымъ разбираемымъ изслѣдованіемъ, сколько на вызванныхъ имъ замѣчаніяхъ критика. Изъ такихъ статей Майкова наиболѣе любопытны въ указанномъ отношеніи разборы руководствъ по исторіи литературы Пласина и Аскоченскаго, а также работъ по теоріи словесности Чистякова.

## VII.

Чтобы покончить съ общимъ обзоромъ литературной дѣятельности В. Майкова, необходимо отсавиться еще на его статьяxъ и рецензіяхъ, посвященныхъ политико-экономическимъ вопросамъ. Изъ нихъ на первомъ планѣ по важности затрагиваемыхъ вопросовъ должна быть поставлена статья Майкова подъ заглавіемъ „Объ отношеніи производительности къ распредѣленію богатства“, по-

явившаяся въ печати только въ 1891 году. Эта юношеская работа Майкова, написанная еще на университетской скамьѣ, посвящена разработкѣ одного изъ самыхъ жгучихъ экономическихъ вопросовъ, волнующихъ теперь образованное общество Западной Европы. Въ высшей степени любопытна та постановка вопроса объ отношеніи производительности къ распредѣленію богатства, которую придаетъ ему Майковъ. Начинаетъ онъ изслѣдованіе съ разбора взглядовъ на улучшение участи промышленныхъ классовъ Смита и Сисмонди, а также нѣкоторыхъ другихъ политико-экономовъ. Подвергнувъ остроумной и сокрушительной критикѣ различныя теоретическія соображенія, имѣющія цѣлью способъ улучшить положеніе рабочихъ классовъ, онъ приходитъ затѣмъ къ раскрытію самой слабой, по его мнѣнію, но почему то обходимой молчаніемъ стороны теоріи Смита, именно ученія о „задѣльной платѣ“. Анализъ этого ученія приводитъ Майкова къ убѣжденію въ полной несправедливости существующаго порядка вознагражденія рабочихъ. По его мнѣнію, „поденщина есть порожденіе безчеловѣчнаго расчета на бѣдственное положеніе рабочаго класса“; она противна праву собственности, необходимо влечетъ за собою насилие и совершенно устраняетъ естественный способъ распредѣленія богатства по качеству труда. Взамѣнъ „задѣльной платы“ Майковъ предлагаетъ ввести „дольщину“, при которой каждое лицо, чей трудъ или капиталъ участвуетъ въ производствѣ промысла, получаетъ свою долю изъ чистыхъ барышей. Последняя часть статьи объясняетъ разнообразныя преимущества „дольщины“ какъ для рабочаго класса, такъ и для всего строя общественной и государственной жизни.

Черезъ всю эту статью юнаго экономиста (см. также рецензію на книгу „О духовномъ образованіи земледѣльческаго класса въ Россіи“) красной нитью проходитъ мысль, что экономическія отношенія между людьми господствуютъ надъ всѣми прочими въ жизни, что только послѣ урегулированія ихъ можно съ успѣхомъ ожидать реформъ въ другихъ сферахъ жизни. Такъ, напр., Майковъ считаетъ прямо бесполезными всякіе толки о просвѣщеніи рабочаго класса и усиленіи его политическаго значенія, пока не обеспечено его матеріальное благосостояніе. Такимъ образомъ, въ основу этого замѣчательнаго для того времени изслѣдованія Майкова положено ученіе объ экономическомъ матеріализмѣ, созданное Марксомъ, которому суждено въ наши дни сыграть громадную роль въ исторіи развитія западно-европейскаго и русскаго общества. Вотъ почему талантливо написанная, плѣняющая своей логической стройностью, разрабатывающая въ духѣ господствующей въ наши дни экономической теоріи одинъ изъ самыхъ насущныхъ вопросовъ статья Майкова представляется какъ бы вчера написанной и потому съ большими интересомъ можетъ быть прочитана всякимъ.

Гораздо менѣе интереса въ современномъ смыслѣ представляетъ другая (не законченная) статья „Общественныя науки въ Россіи“. Въ сущности, объ общественныхъ наукахъ въ Россіи въ ней не говорится ни слова: этотъ вопросъ

долженъ былъ стать предметомъ обсужденія во второй части изслѣдованія, отъ которой сохранилось только нѣсколько отрывковъ. Вся первая часть статьи посвящена доказательству мысли о томъ, что „философія общества“ (соціологія) должна существовать, какъ наука объ общественномъ благосостояніи, объединяющая собою право, политическую экономію и педагогику. Чтобы выяснитъ роль каждой изъ названныхъ наукъ въ соціологіи, авторъ подробно характеризуетъ ихъ хаотическое состояніе, происходящее оттого, что нѣтъ начала, ихъ организующаго, затѣмъ точно опредѣляетъ область каждой отрасли знанія, входящей въ составъ соціологіи.

Предметъ статьи, выбранный Майковымъ, заставилъ его затронуть не мало различныхъ вопросовъ и высказать по поводу ихъ множество самыхъ разнообразныхъ мыслей, изъ которыхъ сравнительно немногія развиты съ надлежащей полнотой и ясностью. Это дѣлаетъ „Общественныя науки въ Россіи“, при всей стройности ихъ плана, не вполне удобочитаемыми; онѣ представляютъ въ настоящее время интересъ лишь для спеціалистовъ. Тѣмъ не менѣе; въ сороковые годы эта статья имѣла немаловажное общественное значеніе. Майковъ является здѣсь проповѣдникомъ новой соціальной науки, о которой до него въ Россіи ничего не говорилось. Общая точка зрѣнія на соціологію выработалась у Майкова подъ вліяніемъ идей Конта, высказанныхъ въ его „позитивной философіи.“ Характерно, что въ то время идеи этого мыслителя почти не были распространены даже во Франціи, межъ тѣмъ В. Майковъ прекрасно съ ними знакомъ и придаетъ имъ большое значеніе.

## VIII

Кратковременная дѣятельность В. Майкова совпала съ расцвѣтомъ литературной славы и вліянія замѣчательнаго русскаго критика В. Г. Бѣлинскаго, съ именемъ котораго связывается представленіе о цѣломъ направленіи въ жизни русскаго общества. Въ какомъ отношеніи находился В. Майковъ къ этому вождю русскаго общества, является-ли его дѣятельность дальнѣйшимъ развитіемъ идей, намѣченныхъ Бѣлинскимъ, или же онъ шелъ по своему собственному, оригинальному пути? Выше отчасти былъ затронутъ этотъ вопросъ, но теперь, ибо это поможетъ выяснитъ общее значеніе дѣятельности В. Майкова, мы остановимся на немъ нѣсколько подробнѣе.

Прежде всего, о личныхъ отношеніяхъ Майкова къ Бѣлинскому, какъ литературному критику. Онъ признаетъ за нимъ неспоримыя заслуги въ области русской критики. По его словамъ, Бѣлинскій принесъ въ нашу критику жизненность и могучую силу эстетическаго чувства, разрушилъ ложныя принципы искусства, способствовалъ водворенію въ литературѣ гоголевской натуральной школы. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ видитъ въ критикѣ Бѣлинскаго нѣкоторыя не-

симпатичныя ему черты. Онъ обвиняетъ его въ бездоказательности сужденій, видитъ въ немъ склонность къ диктаторству. Эти мысли Майковъ поспѣшилъ высказать въ первой же своей критической статьѣ, точно торопясь заявить читателямъ о своей независимости отъ всѣми признаннаго авторитета. Едва-ли въ этомъ безусловно несправедливомъ обвиненіи можно видѣть только своего рода молодой задоръ: нѣсколько позднѣе, въ частномъ письмѣ къ Тургеневу, онъ снова настойчиво повторяетъ ту-же мысль, и это трудно признать простымъ упорствомъ, потому что все письмо подкупаетъ своимъ искреннимъ и убѣжденнымъ тономъ. По всей вѣроятности, какъ это справедливо замѣтилъ г. Арсеньевъ, дѣло идетъ не о бездоказательности взглядовъ Бѣлинскаго, а объ отвлеченности, метафизичности доказательствъ, на которыхъ они построены. Майковъ, какъ извѣстно, ставилъ не очень-то высоко философію Гегеля, на которую опирался въ своихъ выводахъ Бѣлинскій. Онъ стремился основать свою эстетическую доктрину на началахъ точной науки, развить ее строго научно въ духѣ современной позитивной философіи. Всякія другія доказательства, напр., метафизическаго свойства, въ его глазахъ не имѣли никакой цѣны.

Уже изъ этого краткаго разъясненія видно, какое положеніе занялъ Майковъ по отношенію къ Бѣлинскому въ вопросахъ искусства. Его дѣятельность въ этомъ отношеніи есть прямое продолженіе и развитіе тѣхъ взглядовъ за которые ратовалъ знаменитый критикъ. Основныя эстетическія понятія уже были проведены въ сознаніе русскаго общества Бѣлинскимъ, дорога была расчищена, и Майковъ, основываясь на томъ, что сдѣлано его предшественникомъ, могъ идти теперь дальше. Какъ и Бѣлинскій, Майковъ является горячимъ поклонникомъ натуральной школы въ литературѣ, но только болѣе убѣдительно отстаиваетъ ея право существованія. Свою эстетическую теорію онъ, какъ извѣстно, стремится свести къ простѣйшимъ тѣмъ не менѣе несомнѣннымъ основаніямъ и тѣмъ самымъ какъ бы подводитъ фундаментъ и заканчиваетъ зданіе, на возведеніе котораго было затрачено столько труда его предшественникомъ. Не отличаясь страстнымъ, захватывающимъ лиризмомъ, которымъ въ высокой мѣрѣ обладалъ Бѣлинскій, Майковъ дѣйствовалъ на читателей другой стороной своего дарованія—последовательнымъ, логическимъ умомъ, вліялъ не столько на ихъ чувство, сколько на умъ, и вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ содѣйствовалъ водворенію реализма въ русской литературѣ, въ то же время создавая свою самобытную эстетическую теорію, въ которой онъ въ значительной степени предупредилъ современныхъ намъ изслѣдователей искусства. Такъ что, продолжая дѣло, начатое Бѣлинскимъ, Майковъ значительно шагнулъ впередъ въ дѣлѣ правильнаго истолкованія искусства, но во всякомъ случаѣ, несмотря на нѣкоторыя разногласія, онъ долженъ быть признанъ борцомъ одного съ нимъ лагеря.

Майковъ напоминаетъ Бѣлинскаго не только общностью своихъ взглядовъ на искусство, но и стремленіемъ при помощи литературной критики вліять на

общественное развитіе, вносить въ сознаніе читателей плодотворныя идеи, способствующія пересозданію окружающей дѣйствительности. Изъ приводимаго раньше отрывка изъ письма Майкова къ Тургеневу мы знаемъ, что этотъ молодой критикъ ставилъ цѣлью своей дѣятельности самыя широкія общественныя задачи и тѣмъ самымъ вполне примыкалъ къ Бѣлинскому, въ послѣдній періодъ своей критической дѣятельности страстно боровшемуся съ „россійской гнусной дѣйствительностью“. И статьи Бѣлинскаго, и статьи Майкова положили собою начало такъ называемой публицистической критикѣ, достигшей у насъ расцвѣта подъ перомъ Добролюбова, Писарева и другихъ шестидесятниковъ и ихъ послѣдователей. При этомъ Майковъ въ своихъ статьяхъ коснулся, между прочимъ, такихъ вопросовъ, которые были чужды Бѣлинскому; это вопросы политической экономіи и соціологій, послужившіе темой двухъ первыхъ крупныхъ его статей и впоследствии затронутые въ нѣкоторыхъ рецензіяхъ. И здѣсь, какъ въ разработкѣ эстетической теоріи, Майковъ значительно опередилъ своихъ современниковъ, проявляя интересъ къ той области знанія и общественной жизни, которая привлекала къ себѣ вниманіе русскаго общества значительно позднѣе.

Послѣ всего сказаннаго о жизни и дѣятельности В. Майкова едва-ли можетъ быть сомнѣніе въ пользѣ общедоступнаго изданія его сочиненій. Статьи этого критика вводятъ въ сознаніе читателя широкій кругъ разнообразныхъ идей, разработанныхъ, по большей части, согласно нынѣшнему уровню знаній, будятъ его критическую мысль, заставляя вдумываться и въ современную дѣйствительность, даютъ вѣрную историко-литературную оцѣнку цѣлаго ряда русскихъ и иностранныхъ сочиненій и вообще способствуютъ широкому самообразованію, стремленіе къ которому, къ счастью, все сильнѣе и сильнѣе пробуждается въ русскомъ обществѣ. Сочиненія Валеріана Майкова могутъ дать въ высшей степени полезную пищу этому симпатичному стремленію и способствовать его дальнѣйшему росту и прогрессивному развитію. Въ этомъ значеніе и польза дешеваго изданія сочиненій В. Майкова.

*Г. Александровскій.*

I.

# КРИТИЧЕСКІЯ СТАТІИ.

## ИЗЯЩНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ.

А. В. Кольцовъ.

Стихотворенія Кольцова. Съ портретомъ автора, его факсимиле и статьею о его жизни и сочиненіяхъ, написанною В. Г. Бѣлинскимъ. Изданіе Н. Некрасова и Н. Прокоповича. С.-Петербургъ. 1846.

I.

Ничто такъ не раздражаетъ человѣка, ничто такъ не вызываетъ желанія сказать свое слово, какъ недосказанная или затаенная другими похвала тому, что кажется ему достойнымъ полнаго вниманія и глубокаго, увлекающаго сочувствія. Легче снесетъ онъ всякаго рода насмѣшку надъ предметомъ его симпатіи, чѣмъ нерѣшительныя одобренія, изъ-подъ которыхъ проглядываетъ тайная мысль сказать гораздо болѣе. Все покажется ему неблаговиднымъ въ благоразумной холодности цѣнителя: и вѣрный расчетъ не показаться энтузіастомъ въ глазахъ публики, и искусство выдержать роль человѣка, уже прошедшаго школу увлеченій, человѣка осмотрительнаго при раздачѣ вѣнковъ, на которые такъ таровата восторженная юность, и этотъ невозмутимый *à plomb*, который даетъ ему выгодная позиція...

Такое чувство приходится безпрестанно испытывать каждому *живому* человѣку при отзывахъ, расхолаживаемыхъ опасеніемъ прослыть, напримѣръ, слѣпымъ патріотомъ или безжизненнымъ космополитомъ, упорнымъ старовѣромъ или отчаяннымъ новаторомъ, мелочнымъ аналитикомъ или туманнымъ синтетикомъ, сухимъ индустріалистомъ или непристойнымъ романтикомъ, и проч., и проч. Прочаго наберется много въ наше время при безпокойныхъ требованіяхъ всѣхъ идей—старыхъ и новыхъ, полустарыхъ и полуновыхъ, пользующихся популярностью и стремящихся къ ней,—особенно у насъ, въ обществѣ, которое только что собирается жить, которое не позволяетъ обращаться съ собою, какъ съ человѣкомъ рѣшительно страхнувшимъ съ себя отяжелѣніе богатырскаго сна, потому что этотъ сонъ въ самомъ дѣлѣ еще не прошелъ. Свѣтъ истины еще рѣжетъ намъ глаза; мы хотѣли бы смотрѣть на него, по крайней мѣрѣ, сквозь дымку: все



какъ-то спокойнѣе... Но это-то полупробужденіе и сердить того, кто чувствуетъ въ составѣ своемъ совершенное возстановленіе силъ, кто жаждетъ принять нервами и разложить мысль впечатлѣніе полныхъ, нерасплесканныхъ волнъ свѣта и жизни...

Повторяемъ: полуобразованность и полустремленіе хуже дикаго невѣжества и коснаго упрямства. Зато и противодѣйствіе несется имъ навстрѣчу со всѣмъ упоеніемъ отчаянія, гоня далеко передъ собою всякую экономію силъ, не размышляя ни минуты о выгодахъ борьбы и презирая страшнѣйшимъ изъ всѣхъ опасеній, опасеніемъ комической развязки...

Сознаемся, что все это неречуствовали мы при чтеніи отзывовъ о стихотвореніяхъ Кольцова: наслажденіе, испытанное при чтеніи самыхъ стихотвореній, собранныхъ въ одно цѣлое, увеличивало силу нашего негодованія, и не разъ выражалось оно прямо и косвенно въ статьяхъ, предназначенныхъ для печати. Но таковъ современный человѣкъ, что самый живой восторгъ его души вдругъ остываетъ и склоняется передъ сомнѣніемъ и анализомъ: мы не рѣшались печатать разборъ „Стихотвореній Кольцова“, подозревая себя въ припадкѣ энтузіазма. Время, однакожъ, идетъ, и мнѣніе наше не перемѣняется: чувствуемъ, что восторгъ нашъ сознательнъ, и приступаемъ, наконецъ, къ обнаруженію идей, укрѣпившихся въ нашемъ сознаніи изученіемъ поэзіи и личности Кольцова.

Самыя сильныя похвалы критиковъ, выразившихъ печатно свое мнѣніе о Кольцовѣ и его произведеніяхъ, ограничиваются, какъ извѣстно читателю, такимъ приговоромъ, что поэтическаго таланта Кольцова могло хватить только на возведеніе въ поэзію русскаго крестьянскаго быта, а личность обозначалась сочетаніемъ основныхъ стихій русской національности. Не соглашаясь съ этимъ приговоромъ, мы могли бы ограничиться опроверженіемъ его, если бъ считали себя вправѣ не обращать вниманія на такія сужденія, которыя по своему младенчеству отстоятъ отъ него, какъ земля отъ солнца. Чѣмъ больше взвѣшивали мы заключеніе, которое показалось намъ сравнительно справедливымъ, тѣмъ яснѣе раскрывался передъ нами фактъ чрезвычайно знаменательный: мы убѣдились, что множество вопросовъ, о которыхъ говорятъ у насъ, какъ о рѣшенныхъ окончательно, если взглянуть на нихъ попристаннѣе, никто и не думалъ рѣшать логически, что почти всѣ мы только увѣрили себя, будто бы заниматься ими—дѣло азбучное, что вовсе нѣтъ у насъ открытыхъ ученій, которыя могли бы мы противопоставить тѣмъ, которыя смотрятъ на вещи совершенно иначе. Странно, однакожъ справедливо! Возьмемъ самый основной вопросъ эстетики — о содержаніи изящнаго произведенія. Десятки тысячъ читающихъ и пишущихъ русскія книги считаютъ себя вправѣ смѣяться надъ классицизмомъ и романтизмомъ, толковать рѣшительнымъ тономъ о натуральности и объ анализѣ, и въ то же время никто не пробовалъ доказать хотя самому себѣ, почему въ самомъ дѣлѣ непоколебимы начала современной школы искусства, и что можетъ

отвѣтитъ она на упреки старыхъ доктринъ. Съ перваго взгляда, такой порядокъ вещей можетъ показаться невѣроятнымъ; спрашивается: какимъ же образомъ въ самомъ ходѣ искусства классицизмъ смѣнился у насъ романтизмомъ, а романтизмъ натуральностью? Извѣстно, что эти переходы сопровождались жаркою борьбою, памятникомъ которой служить для насъ полемика старыхъ журналовъ. Неужели же эта борьба не была борьбою учений, противопоставленныхъ одно другому? Именно такъ; этого никогда у насъ не бывало и не могло быть. Но чтобъ доказать эту истину, мы должны круто поворотить въ сторону и позабыть на нѣкоторое время о главномъ предметѣ статьи.

Критика никогда не опережала у насъ литературы; скорѣе можно сказать, что таланты опережали ее и боролись съ нею, какъ съ однимъ изъ главныхъ препятствій къ быстрому признанію ихъ достоинствъ. Мало того, силою своихъ талантовъ поэты наши сами образовывали новыя школы критиковъ, которыя по сочувствію принимали на себя трудъ поддерживать новыхъ дѣятелей въ мнѣніи публики похвалами, вовсе непохожими на оцѣнку по принципамъ. И развитіе нашей литературы до появленія сочиненій Гоголя шло такъ гладко, такъ постепенно, что публика чрезвычайно легко переходила отъ однихъ требованій къ другимъ, отъ одной школы критики къ другой. Совершенное согласіе постоянно господствовало въ мнѣніяхъ и отношеніяхъ цѣлаго поколѣнія поэтовъ, читателей и критиковъ, и послѣдніе, опираясь на единомысліе самой сильной по возрасту части публики, не чувствовали большой нужды думать и писать о своихъ принципахъ. Появленіе „Мертвыхъ Душъ“ измѣнило этотъ монотонный порядокъ вещей: слыханная оригинальность этого произведенія до того изумила всѣхъ, что почти никто не рѣшался сразу признать въ немъ исполненіе общихъ законовъ художественности. А между тѣмъ сочувствіе къ гоголевской манерѣ быстро возрастало и дало начало новой школѣ искусства и критики. Эта новая школа, по своей рѣзкой противоположности съ прежними школами и по быстротѣ своего водворенія въ литературѣ, встрѣчаетъ столько же противодѣйствій, сколько и симпатій. Такое положеніе дѣлъ въ литературномъ мірѣ произвело переворотъ въ мнѣніяхъ о сущности критики. Со всѣхъ сторонъ слышались жалобы на отсутствіе твердыхъ, математически доказанныхъ началъ въ критическихъ сужденіяхъ и приговорахъ журналовъ. Гоголь заставилъ насъ сдѣлать такой огромный и быстрый шагъ въ понятіяхъ объ искусствѣ или, лучше сказать, такъ передѣлалъ вкусъ цѣлой половины нашей публики, что она не можетъ выговорить передъ другою половиною двухъ словъ о литературѣ безъ того, чтобъ не почувствовать необходимости поднять споръ о самыхъ основныхъ эстетическихъ вопросахъ. Положимъ, напримѣръ, что два любителя русской литературы завели рѣчь о повѣстяхъ Марлинскаго. Давно ли этотъ писатель производилъ у насъ неистовый фуроръ? Очень немудрено, что найдется человѣкъ, вовсе не принадлежащій по лѣтамъ къ старому поколѣнію, но восхищающійся



повѣстями Марлинскаго. Заговори же онъ объ этихъ произведеніяхъ съ любителемъ гоголевской школы: обоимъ придется или замолчать съ первыхъ словъ, или завести споръ съ самыхъ первыхъ началъ эстетики; иначе, выйдетъ не споръ, а нѣчто въ родѣ кулачнаго боя.

Впрочемъ, нѣтъ нужды приводить въ примѣръ состязанія новой школы со старою. Самая такъ называемая *натуральная* школа не представляетъ собою никакого единства эстетическихъ принциповъ. Въ Англіи и во Франціи явилась она вслѣдствіе анализа, который обратилъ искусство въ средство къ рѣшенію и популяризироваціи общественныхъ вопросовъ. Переворота въ эстетическихъ понятіяхъ не было тамъ никогда, и на писателя смотрятъ тамъ до сихъ поръ исключительно со стороны его соціального направленія. Поэтому современная французская литература есть чистая беллетристика: даже Жоржъ Зандъ чаще является въ своихъ произведеніяхъ беллетристомъ, чѣмъ художникомъ. Мало того, въ безконечномъ множествѣ новыхъ французскихъ романовъ и повѣстей, чрезвычайно трудно указать на такое произведеніе, въ которомъ натуральность не была бы перемѣшана съ романтизмомъ. Самъ авторъ „Ораса“, этой дивной сатиры на романтизмъ въ жизни, часто можетъ быть уличенъ въ этой слабости. У нѣмцевъ въ этомъ отношеніи замѣчается то же, что и во всякой дѣятельности: отрицаніе романтизма въ теоріи появилось у нихъ уже лѣтъ десять назадъ; энергическій голосъ Гейне вызвалъ новую школу критики; но искусство остается въ прежнемъ положеніи. Есть надежда, что Германскій союзъ употребитъ еще значительное время на размышленіе о принципахъ прежде, чѣмъ рѣшится приступить къ дѣлу. Пріятно было бы, еслибъ неожиданное появленіе таланта обмануло эту скорбную надежду. Для установленія эстетическихъ принциповъ нужны образцы: иначе эстетика легко превращается въ безжизненную діалектику, особенно подъ перомъ нѣмецкихъ писателей. Въ этомъ отношеніи русская критика счастливѣе всѣхъ: у нея есть для изученія художникъ, котораго смѣло можно назвать огромнѣйшимъ изъ современныхъ поэтическихъ талантовъ. Созданная имъ школа быстро водворяется въ нашей литературѣ; но дѣятельность ея безсознательна и смутна, потому что самъ Гоголь только увѣнчанъ, а не объясненъ критикой. Въ публикѣ господствуютъ самыя разнообразныя мнѣнія объ эстетическихъ достоинствахъ его твореній. Многіе ставятъ его на одну доску съ французскими беллетристами, называютъ его повѣсти и поэму *статистикой русскаго быта* и допускаютъ господство его школы только потому, что она стремится удовлетворить широко распространившуюся въ наше время потребность анализа. Другіе, признавая нелѣпость романтизма, видятъ въ Гоголѣ и во всемъ современномъ искусствѣ противоположную крайность—*даггеротипизированіе дѣйствительности*, въ которомъ и поставляютъ всю тайну художественности. Наконецъ, есть и такіе, которые безъ дальнихъ размышленій смѣшиваютъ естественность съ неблагопристойностью и грязью, совпадая идеями своими съ экс-

центрическою вычурностью знаменитой романтической формулы: „le beau c'est le laid“. Такъ какъ до сихъ поръ критика, какъ будто еще не опомнившись отъ впечатлѣнія, произведеннаго „Мертвыми Душами“, не брала на себя труда попытаться объяснить прямо, т. е. положительно, задачу, рѣшенную Гоголемъ, то и читатели, и художники довольствуются каждый однимъ изъ этихъ трехъ мнѣній. Первымъ необходимо имѣть которое-нибудь при себѣ для того, чтобъ не уронить себя въ обществѣ отсталыми сужденіями; послѣднимъ нужна слава и деньги, слѣдовательно, нуженъ и модный рецептъ дѣятельности. О сильныхъ талантахъ, какъ объ исключеніяхъ изъ общаго правила, распространяться нечего; но много ли ихъ?..

Впрочемъ, можетъ быть, найдутся такіе судьи, которые на все это отвѣтятъ намъ, что изъ всѣхъ школъ, господствовавшихъ въ нашей литературѣ, одна только новѣйшая и не опирается ни на какія начала, и пожалуй, укажутъ, въ подтвержденіе своей мысли, на критику Карамзина, Мерзлякова и Полевого. Въ самомъ дѣлѣ, въ разборахъ Карамзина и Мерзлякова встрѣчается что-то похожее съ перваго взгляда на свободу мысли, на прогрессивность сужденія: и тотъ, и другой представляютъ собою переходъ отъ классицизма къ романтизму. Такъ Карамзинъ, проговариваясь о естественности, рѣшался даже, съ нѣкоторыми оговорками, ставить шекспировскую драму выше трагедій Корнеля, Расина и Вольтера. Но тотъ же Карамзинъ благоговѣлъ передъ трагедіями Сумарокова и передъ эпопеями Хераскова... Такое противорѣчіе легко объясняется необыкновенною переимчивостью, которою такъ отличался этотъ писатель, и которая въ свое время принесла такъ много пользы русской литературѣ. Встрѣтивъ у нѣмцевъ критиковъ жаркія похвалы Шекспировой драмѣ, онъ сталъ хвалить Шекспира и превозносить естественность... Въ то же время, подчиняясь вліянію эстетическихъ идей, господствовавшихъ во Франціи и перенесенныхъ въ Россію, онъ становился на колѣни передъ литературными авторитетами своего времени. Что же касается до Мерзлякова, то его „Теорія Словесности“ служитъ лучшимъ печатнымъ доказательствомъ того, что основою его эстетической доктрины былъ чистый классицизмъ. Конечно, въ критикахъ обоихъ этихъ писателей, какъ и во всѣхъ произведеніяхъ литературы того времени, замѣтно какое-то предчувствіе новаго, какой-то разладъ началъ съ примѣненіемъ къ дѣлу; эта шаткость сужденій и упрочивала ихъ успѣхъ въ публикѣ, потому что гармонировала съ переходнымъ состояніемъ умовъ тогдашняго молодого поколѣнія. Но она же и обращала ихъ критику въ ничто.

Полевой извѣстенъ своей жаркою борьбою съ старовѣрами въ дѣлѣ эстетики. Но стоитъ только объяснить себѣ отношеніе романтизма къ классицизму, чтобъ понять, что эта борьба могла только удалить эстетическую критику отъ ея настоящаго назначенія.

Эстетика классицизма пересчитывала по пальцамъ предметы *изящные* и *неизящные*. Въ каждомъ старинномъ руководствѣ къ этой многострадальной и жалостно популяризованной наукѣ вы найдете подробныя примѣты того, въ чемъ можетъ быть изящество, и того, въ чемъ оно не смѣетъ быть. „Изящное можетъ быть въ *высокомъ*, въ *грозномъ*, въ *нѣжномъ*, въ *граціозномъ*, въ *наивномъ*, въ *забавномъ* и пр. (непремѣнно и проч.); но нѣтъ его въ *низкомъ*, въ *подломъ*, въ *гнусномъ* и проч.“. Такъ выражаются руководства: по ихъ понятіямъ, жизнь раздѣляется на двѣ сферы, разграниченныя отъ вѣка: одна изъ нихъ есть совокупность элементовъ изящества, совокупность всего высокаго, ужаснаго, нѣжнаго, граціознаго, наивнаго, забавнаго и тому подобныхъ пріятностей: другая, въ противоположность первой,—совокупность всѣхъ предметовъ неизящныхъ, подъ неблагозвучными названіями подлаго, низкаго, пошлаго, непристойнаго и тому подобныхъ гнусностей. Первая сфера—область поэзіи; вторая ей недоступна. Въ концѣ первой четверти нашего столѣтія человѣчество разсудило забросить всѣ школьныя эстетики въ одну кладовую съ париками и пудрой; но дѣло недалеко ушло отъ этого прекраснаго намѣренія. Вредный духъ ученія, его сущность оставалась нетронутою и воскресла въ романтизмъ. Истинный протей романтизма—Гюго; въ этомъ всѣ согласны, но немногіе понимаютъ сущность школы, которой служить онъ представителемъ. Напрасно навязываютъ ей девизъ: „*le beau c'est le laid*“. Эта острота была очень хорошо употреблена одинъ разъ, какъ надпись подъ каррикатурою автора „*Nôtre-Dame de Paris*“; но она вовсе не выражаетъ сущности романтизма, указывая только на одинъ, и притомъ еще случайный, его признакъ. Романтизмъ отличается отъ схоластическихъ началъ эстетики тѣмъ же, чѣмъ *школьничество* отличается отъ *школьной рутины*. Когда мальчикъ, укрывшись отъ ферылы воспитателей, начинаетъ пить вино и курить табакъ, перенося тошноту для того, чтобъ приблизиться къ возрастному человѣку, тогда-то и называютъ его школьникомъ. Точно такую же черту представляетъ собою и романтизмъ. Школьная эстетика дѣлила міръ на двѣ половины—изящную и неизящную; романтизмъ дѣлилъ такъ же, съ тою только разницею, что романтики признаютъ изящное во всемъ *необыкновенномъ* и не допускаютъ его ни въ чемъ *обыкновенномъ*. Романтикъ охотно допуститъ въ свое созданіе какую угодно *гнусность*, лишь бы только она была *необыкновенна*; зато онъ никакъ не позволитъ себѣ ввести въ него что-нибудь пріятное, отрадное, если это пріятное встрѣчается въ *обыкновенной*, *будничной* жизни. Слѣдовательно, и классицизмъ, и романтизмъ выражаютъ одну идею—отрицаніе изящества въ *дѣйствительности*, въ *законности*, въ *будущности*. Романтикъ—тотъ же классикъ, голько нарядившійся въ новое платье, измѣнившій слова девиза, но ни мало не отказавшійся отъ его сущности: совершенный школьникъ съ бокаломъ шампанскаго въ рукѣ и съ трубкой въ рукахъ.

Изъ сказаннаго само собою слѣдуетъ, что романтизмъ могъ только забл-  
ваться надъ классицизмомъ, не замѣчая, что тѣмъ самымъ обнаруживаетъ и  
свою смѣшную сторону. Подорвать основу классической школы и утвердить начала  
*своего новаго ученія*, онъ не могъ, потому что въ сущности обѣ доктрины—  
классическая и романтическая—утверждались на одномъ началѣ. Для радикаль-  
наго отрицанія классицизма необходимо убѣдиться въ истинахъ діаметрально про-  
тивоположныхъ законамъ его эстетики, надо понять прежде всего, что изображать  
жизнь несуществующую значить творить не для человѣчества, живущаго дѣй-  
ствительною жизнью, въ которой столько же высокаго, грознаго, торжественнаго,  
наивнаго, граціознаго и проч., сколько и низкаго, подлаго, гнуснаго и проч.;  
что человѣкъ, изображенный съ одной стороны или, наоборотъ, изображенный  
съ наростами, такъ же мало похожъ на человѣка, какъ обгрызенное яблоко на  
цѣлое яблоко, или какъ мыльный пузырь на каплю, изъ которой его раздули;  
что между пошлымъ и нормальнымъ нѣтъ ничего общаго; что, наоборотъ, ненор-  
мальность всегда совпадаетъ съ пошлостью. Однимъ словомъ, чтобъ *отрицать*  
классицизмъ, надо понимать и нелѣпость романтизма, какъ видоизмѣненія его;  
слѣдовательно, надо признавать *естественность* однимъ изъ условій изящества.  
Ясно, что Полевой, какъ поборникъ романтизма, какъ человѣкъ, непонимавшій  
последнихъ произведеній Пушкина и ни одного произведенія Гоголя, не былъ  
созданъ для такого радикальнаго отрицанія. Анализъ его былъ слишкомъ слабъ  
для выполненія этой задачи, а главное—слишкомъ много уступалъ идеалогиче-  
скому направленію времени. Полевой былъ такъ вѣренъ духу своей эпохи, что  
мысль его опережала всякое живое впечатлѣніе: она становилась между нимъ и  
дѣйствительнымъ міромъ и, какъ туманъ заслоняла передъ нимъ явленія жизни.  
Оттѣнки и отливы цвѣтовъ, изломы и изгибы линій, однимъ словомъ, все разно-  
образіе жизненнаго процесса ускользало изъ-подъ его вниманія и имѣло для него  
какое-то метафизическое, условное значеніе. Такимъ являлся онъ на поприщѣ  
историка и критика. Въ исторіи ему ничего не значило слить фізіономіи всѣхъ  
народовъ въ одинъ безкровный ликъ идеальнаго существа подъ названіемъ  
„человѣчества“, а событія тысячелѣтій—въ одинъ таинственный актъ всемірной  
жизни. Потому-то ни народы, ни событія не нашли въ немъ своего толкователя.  
Въ критикѣ его поражаетъ прежде всего отсутствіе эстетическаго чувства; онъ  
судилъ по принципамъ, неоснованнымъ ни на какомъ живомъ впечатлѣніи, не-  
выведеннымъ ни изъ какихъ данныхъ. Поэтому онъ не могъ упражнять и мысль  
свою въ искусствѣ различать истинную художественность отъ ложныхъ претензій  
на исполненіе ея условій, а тѣмъ болѣе—въ искусствѣ распознавать одно и то  
же въ различныхъ формахъ. Разорвавъ связь съ дѣйствительностью, онъ дошелъ  
до того, что принималъ видоизмѣненія за отдѣльныя и даже за противоположныя  
явленія. Вотъ отчего, отвергая принципы классицизма, онъ не хотѣлъ, одна-  
кожъ, признать и естественность, какъ условіе изящества, вѣчно искалъ какой-то

середины между ненатуральностью и натуральностью, и бился изъ того, чтобъ обратить нуль въ единицу.

Чтобы покончить съ такимъ призрачнымъ взглядомъ на изящество, надо было внести въ нашу критику жизненность и анализъ гоголевской эпохи русской литературы, принести на служеніе ей могучую силу эстетическаго чувства и сильную способность быстрого и яснаго распознаванія частнаго въ общемъ и общаго въ различномъ, главное жъ—опредѣлить и отстоять права эстетическаго опыта, сознавъ, что они такъ же обширны и почтенны, какъ и права всякаго другого опыта. Такой только критикой могло начаться радикальное отрицаніе ложныхъ эстетическихъ началъ литературы и обращеніе къ новымъ, діаметрально противоположнымъ. И такая критика дѣйствительно явилась у насъ подъ вліяніемъ Пушкина (въ послѣднюю эпоху его дѣятельности), Лермонтова, а болѣе всего подъ вліяніемъ Гоголя. Она оказала русской литературѣ разнообразныя заслуги. Главное, она служила до сихъ поръ энергическимъ выраженіемъ симпатіи къ новой школѣ искусства. Но выражать симпатію и анализировать ее—двѣ вещи разныя и по сущности, и по результатамъ. Само собою разумѣется, что ваша страсть укрѣпляется, если узнаётъ себя въ выраженіи страсти другого; но укрѣпляется она безсознательно, безотчетно: кто выразилъ ее сильнѣе, чѣмъ бы вы сами могли выразить, тотъ еще не оправдалъ, не омыслилъ ея въ глазахъ людей съ совершенно иными потребностями и даже въ собственныхъ вашихъ глазахъ. Справедливо и то, что *сильное* выраженіе всякой мысли и всякаго чувства озадачиваетъ людей, неимѣющихъ возможности противопоставить ему такое же обнаруженіе своей мысли и своего чувства, особенно если первое имѣетъ на своей сторонѣ большинство и моду. Но разсчитывать на такой успѣхъ своей рѣчи—все равно, что полагаться на силу легкихъ и на крѣпость груди. Мы даже готовы жалѣть о томъ, чья недоказанная мысль нашла себѣ поддержку въ модѣ. Что будетъ съ этой мыслью? Пускай бы каждый понималъ ее по-своему, обрѣзывалъ или раздувалъ по своему разумѣнію, прицѣплялъ къ такимъ идеямъ, какихъ и не подозревалъ творецъ ея,—однимъ словомъ, пускай бы каждый претворялъ ее такъ органически, чтобъ не оставалось отъ нея и тѣни того смысла, какой онъ хотѣлъ ей дать. Въ этомъ больше хорошаго, чѣмъ дурного: бросая такимъ образомъ свою мысль въ круговоротъ всѣхъ идей, вращающихся въ обществѣ, вы подмазываете колеса этой машины, даете ей пищу, работу и тѣмъ самымъ поддерживаете ея движеніе. Но горе вамъ, если слово ваше разыгрываетъ въ публикѣ роль людской новинки, если оно, неоправданное собственными вашими доказательствами, пріобрѣтеть въ публикѣ силу авторитета! Выразить свое мнѣніе публично и не подкрѣпить его доводами, которые самъ находишь убѣдительными, уже значитъ выразить свое неуваженіе къ свободѣ мнѣній и претензію на диктаторство. Но за это-то рано или поздно всегда и приходится заплатить горькимъ чувствомъ разочарованія. Прежде всего увидитъ диктаторъ, что идеи его не слива-

ются съ другими идеями его публики и находятся съ ними въ самой нелогической противоположности: доказать одну истину нельзя безъ того, чтобъ не доказать и цѣлаго ряда истинъ, изъ котораго она взята,—или, лучше сказать, объясненіе частнаго предполагаетъ объясненіе общаго. Чтобъ доказать, напримѣръ, что Ломоносовъ не былъ поэтомъ, надо доказать, что дидактика не поэзія, а чтобъ успѣть въ этомъ, надо объяснить сущность того и другого, и т. д. Представимъ же себѣ, что намъ навязано безъ всякихъ доказательствъ нѣсколько мыслей, которыя мы имѣли слабость принять на слово,—случай болѣе чѣмъ не исключительный. Намъ неизвѣстно ихъ основаніе, слѣдовательно, неизвѣстны и тѣ истины, которыя, находятся съ ними въ связи—или какъ понятія однородныя, или какъ предшествующія посылки силлогизмовъ. Что изъ этого должно выйти? То, что мы не будемъ имѣть никакого понятія о вопросѣ, рѣшенномъ нашимъ диктаторомъ, а будемъ только опасаться проговориться по этому поводу въ чемъ-нибудь такомъ, что противорѣчитъ его приговору. Въ то же время мы не перестанемъ рѣшать по старому всѣ тѣ вопросы, которыхъ онъ не коснулся, во которые объяснились бы намъ сами собою, какъ однородныя съ рѣшеннымъ, или какъ обуславливающіе его, если бы только онъ, диктаторъ, снизошелъ на доказательное изложеніе своей идеи. Больно должно быть ему видѣть въ цѣломъ обществѣ такіе тощіе плоды своего слова, особенно, если онъ не только не добивался диктатуры, но даже, какъ часто бываетъ, отвергалъ благороднымъ сердцемъ всякій помыселъ о завоеваніи умовъ силой своего личнаго вліянія. Еще больнѣе должно быть ему встрѣчать на каждомъ шагѣ безобразныя доктрины, развитыя изъ его же мыслей его же поклонниками, и все потому, что мысли эти оставлены имъ самимъ безъ развитія!

Но что жъ дѣлать! Если въ настоящую минуту безотчетность эстетической критики несообразна съ пробуждающимся требованіемъ строгой логики, зато нельзя не сознаться, что въ ней же таится залогъ правильнаго развитія нашей эстетики. Примѣръ Полевого доказалъ уже намъ, къ чему ведетъ эстетическая доктрина, возникшая не изъ приговоровъ эстетическаго чувства, а изъ соображеній умозрительныхъ,—доктрина, не уважающая эстетическаго опыта. Впрочемъ, довольно: скоро мы будемъ имѣть случай поговорить подробнѣе о послѣднихъ годахъ русской литературы вообще и русской критики въ особенности. Довольно, если изъ всего сказаннаго убѣдятся читатели, что теперь только что пришла пора толковать о законахъ изящнаго, и что принятыя за этотъ трудъ нельзя иначе, какъ правильнымъ вчиненіемъ иска на такія эстетическія ученія, которыя считаются опровергнутыми.

Правда, классицизма въ наше время уже нѣтъ; но что касается до романтизма,—увы! онъ свирѣпствуетъ еще во многихъ головахъ и въ свою очередь принимаетъ новый видъ, грозя такимъ образомъ повторить исторію своего первообраза. Искренно желали бы мы начать свою тяжбу анализомъ животрепещу-



щей, сегодняшней нелѣности; но покоряемся печальной необходимости и, не минуя никого изъ живыхъ, начинаемъ по старшинству съ добросовѣстныхъ романтиковъ, которые, не переодѣваясь въ костюмъ модныхъ видоизмѣненій романтики, громко вопіютъ противъ образцовъ новаго искусства. Этимъ господамъ сильно не понравятся по содержанію своему тѣ стихотворенія Кольцова, для которыхъ матеріаломъ служить русскій крестьянскій бытъ. Имъ должно бытъ жалъ, зачѣмъ Кольцовъ, выдвинувшись такъ далеко изъ того быта, въ которомъ судьба назначила ему возникнуть и развиться, въ большей части произведеній своихъ остался вѣрнымъ его живописцемъ; зачѣмъ, возвысившись мыслію и талантомъ на такую неизмѣрную высоту надъ родной и изъѣженной имъ степью, онъ не переноситъ своихъ читателей въ тотъ міръ, гдѣ нѣтъ ни синихъ кафтановъ, ни онучъ, ни воя-пахаря, ни урожая и неурожая. Мы увѣрены, что самая особа Кольцова, какъ поэта-прасола, кажется имъ предметомъ несравненно болѣе изящнымъ, чѣмъ все, что встрѣчается въ его поэзіи; но для полнаго изящества темы, по ихъ мнѣнію, не достаетъ только того, чтобъ онъ описывалъ аристократическіе салоны, въ которыхъ никогда не бывалъ, сочинялъ драмы съ дѣйствующими лицами изъ исторіи, которой никогда не могъ знать, какъ слѣдуетъ, воспѣвалъ эфирныхъ дѣвъ съ помертвѣлыми отъ романтизма лицами и разочарованныхъ юношей, которые страдаютъ тѣмъ, что рѣшили всѣ вопросы, хотя никогда ничему не учились,—юношей, которые не могутъ ни наслаждаться, ни любить, однакожь при случаѣ осушаютъ бутылки шампанскаго и соблазняютъ помянутыхъ блѣдныхъ дѣвъ. Такъ покойный классицизмъ сказалъ бы про Кольцова, что „хотя и одаренъ авторъ сей изряднымъ отъ природы даромъ изображенія, но предметы его пѣснопѣній доходятъ до *простонарнаго* и *подлаго*“; а видоизмѣненіе классицизма—романтизмъ, выразился бы такъ: „читая произведенія гениальнаго поэта-прасола, не можемъ не скорбѣть о томъ, что грязная существенность, отяготѣвшая надъ самимъ поэтомъ, бросила мрачную тѣнь свою и на произведенія его пера, не допустивъ его воображеніе вознестись въ тотъ дивный, роскошный міръ всемогущей фантазіи, въ которомъ небо сливается съ землею такъ, что земное дѣлается небеснымъ, а небесное пріемлетъ роскошный образъ земного, очищеннаго отъ всего грубаго, гнетущаго, прозаическаго. Поэзіи,—прибавилъ бы онъ,—„дано—доставлять отдыхъ нашей душѣ, утомленной собственной борьбою съ гидрой-дѣйствительностью, дано воспалить наше воображеніе чудными видѣніями, выходящими изъ грустной чреды пошлыхъ вседневныхъ явленій: зачѣмъ же употреблять богатый даръ неба на то, чтобъ снова напоминать намъ тотъ омутъ, изъ котораго мы не знаемъ, какъ вырваться, ту грязь, отъ которой жаждемъ мы омыться въ свѣтлыхъ волнахъ эира, называемаго у людей искусствомъ!“

Въ самомъ дѣлѣ, какъ ни негодовать господамъ романтикамъ на блѣднаго Кольцова, когда, вмѣсто того чтобъ гнушаться такими вещами, каковы, на при-



мѣръ, физическій трудъ, любовь къ полезной работѣ, деньги, выручаемыя потомъ и терпѣніемъ, онъ совершенно преданъ земледѣльческому промыслу, совершенно сочувствуетъ пахарю, заботливо и любовно входитъ въ его тяжкія нужды, радуется его *прозаической* радости при видѣ урожая, слѣдуетъ за нимъ на пашню и проч. Прочтите, напримѣръ, „Пѣсню Пахара“ (стр. 9 и 10).

Ну, тащися, сивка,  
Пашней, десятиной,  
Выбѣлимъ желѣзо  
О сырую землю.

Красавица зорька  
Въ небѣ загорѣлась,  
Изъ большого лѣса  
Солнышко выходитъ.

Весело на пашнѣ!  
Ну, тащися, сивка!  
Я самъ-другъ съ тобою,  
Слуга и хозяинъ.

Весело я лажу  
Борону и соху,  
Телѣгу готовлю,  
Зерна насыпаю.

Весело гляжу я  
На гумно, на скирды,  
Молочу и вѣю....  
Ну, тащися, сивка!

Пашенку мы рано  
Съ сивкою распашемъ,  
Зернушку сготовимъ  
Колыбель святую.

Его вспоить, вскормить,  
Мать земля сырая:  
Выдетъ въ полѣ травка—  
Ну, тащися, сивка!

Выдетъ въ полѣ травка,  
Выростетъ и колосъ,  
Станетъ спѣть, рядиться  
Въ золотыя ткани.

Заблеститъ нашъ серпъ здѣсь,  
Зазвенятъ здѣсь косы:

Сладокъ будетъ отдыхъ  
На снопахъ тяжелыхъ!

Ну, тащися, сивка!  
Накормлю до сыта,  
Напою водою,  
Водой ключевою.

Съ тихою молитвой  
Я вспашу, посѣю:  
Уроди мнѣ, Боже,  
Хлѣбъ, мое богатство!

Чтобъ сочувствовать такимъ стихамъ, чтобъ проникнуться ихъ основной идеей, чтобъ понимать сладость труда, исполняемаго съ любовью, нѣжность человѣка къ животному, раздѣляющему съ нимъ тягость работы, равнодушіе его даже къ механическимъ орудіямъ промысла, и наконецъ, вдохновительность мысли о плодахъ труда, о какихъ-нибудь *снопахъ тяжелыхъ*,—для всего этого надо быть самому человѣкомъ трудящимся съ любовью, съ терпѣніемъ и безъ презрѣнія къ заработку. Можно ли же требовать этихъ условій отъ романтика, отъ человѣка, гнушающагося всякимъ трудомъ, всякимъ ученіемъ, всякими матеріальными выгодами (последнее разумѣется только въ стихахъ)? Такъ ли выражается романтизмъ?

Презрѣнный червь, торгашъ бездушный  
Ты влатомъ не прельстишь меня!  
Нѣтъ! лира гордая моя  
Къ его бряцанью равнодушна.  
Поэтъ, избранный сынъ небесъ,  
Богатъ небесными дарами—  
Высокой душой и стихами,  
Отзвучьями страны чудесъ.  
Его работа—вдохновенье,  
Онъ не трудится, онъ творитъ  
И міръ съ улыбкою презрѣнья  
Своими звуками даритъ.  
Онъ средь нужды и гордъ, и ясенъ,  
И неприступенъ, и могучъ;  
Онъ въ свѣтломъ рубищѣ прекрасенъ,  
Какъ солнце въ черной ризѣ тучъ!

Это стихотвореніе прислано недавно въ редакцію „Отеч. Записокъ“ при слѣдующемъ письмѣ: „Милостивый государь! Сообщая вамъ свое стихотвореніе, спѣшу увѣдомить, что у меня накопилось такихъ плодовъ досуга до сорока штукъ

(выражаясь языкомъ прозы). Если вамъ угодно будетъ *положить мнѣ за все собраніе пятьсотъ рублей серебромъ*, то немедленно доставлю вамъ и остальные стихотворенія. Имѣю честь быть“ и проч.

Такихъ дивныхъ противорѣчій между стихами и жизнью романтиковъ наберется много. Всѣхъ не перечесть; но не можемъ не указать на нѣкоторые. Отчего, напримѣръ, романтики—люди по большей части весьма полные и здоровые—такъ гнушаются въ поэзіи того, что можно назвать здоровьемъ? Очень понятно: отдѣлившись отъ земли своими высокими понятіями о вещахъ, могутъ ли они не гнушаться тѣмъ, что составляетъ цвѣтъ земной жизни, ея вѣрность собственнымъ законамъ, ея логику, ея поэзію? По нашимъ пошлымъ земнымъ понятіямъ, здоровье есть разумъ и красота развивающагося организма. Но само собою разумѣется, романтизмъ по высотѣ, съ которой смотритъ онъ на нашу планету, можетъ плѣняться только тѣмъ, что отступаетъ отъ обыкновенныхъ законовъ развитія, что переходитъ въ болѣзнь, въ аномалію, въ пикантное безобразіе. Свѣжесть лица, крѣпкая, крутая грудь, хорошій аппетитъ, веселость и бодрость духа, соціальность, счастливая любовь, выгодный трудъ, исполняемый не по неволѣ, все это такія вещи, которыя намъ, презрѣнной, чернорабочей толпѣ, кажутся необходимыми условіями законнаго существованія, и потому самому все противоположное этому мы считаемъ зломъ. Но романтики не были бы романтиками, еслибъ думали такъ же: по ихъ стихамъ, повѣстямъ, романамъ и драмамъ порядочный человѣкъ долженъ быть блѣденъ, хилъ, съ ввалившейся грудью, съ осунувшимися костями, съ испорченнымъ желудкомъ; долженъ быть вѣчно грустенъ, хотя бы дѣла его и шли очень порядочно; долженъ убѣгать сообщества людей, скучать и морщиться на балѣ, не долженъ любить женщинъ по возможности вовсе, а если ужъ не можетъ, то пусть любитъ, по крайней мѣрѣ, не такъ, какъ указано природой и Богомъ, а какъ-нибудь позатѣйливѣе, напримѣръ, находя особенное упоеніе въ любви безотвѣтной, страдальческой, или любя двадцать лѣтъ женщину, которую видѣлъ всего на все одинъ разъ въ жизни и то мелькомъ, не долженъ заботиться о деньгахъ на прожитокъ, а главное, не долженъ работать. Какъ далека поэзія Кольцова отъ всѣхъ этихъ романтическихъ прелестей! Читая его стихотворенія, чувствуешь во всемъ своемъ составѣ приливъ новыхъ силъ, проникаешься какимъ-то жизненнымъ началомъ, которое такъ и хочется познать матеріально, осязательно: до того оно сильно и дѣйствительно. Что бы онъ не выражалъ—тоску ли, радость ли, страсть,—во всемъ видишь гигантскую силу и неуклонную правильность жизненныхъ отправленій. Все у него понятно и законно, а потому и нестерпимо для романтизма. Романтикъ, напримѣръ, ни за что не станетъ жаловаться на то, что у него нѣтъ ни кола, ни двора. Что это за предметъ? У поэта все должно быть особенное, *не человеческое*; слѣдовательно, и горе поэта также должно быть чѣмъ-нибудь совершенно оригинальнымъ и непонятымъ толпѣ. Романтическій поэтъ почелъ бы себя совершенно

симметризованный, еслибъ написать такое, возможное всему міру стихотвореніе, какъ-то, напримѣръ, „Раздумье Сельвина“ (стр. 26):

Сяду я за столъ  
Да подумаю:  
Какъ на свѣтѣ жить  
Одинокому?

Нѣтъ у молодца  
Молодой жены.  
Нѣтъ у молодца  
Друга вѣрнаго,

Золотой казны,  
Углы тепла,  
Борода-соха,  
Коня пахара...

Внѣтъ съ бѣдностью  
Даль мнѣ батьшка  
Линь одинъ таланъ —  
Силу крѣпкую;

Да и ту какъ разъ  
Нужда горькая  
По чужимъ людямъ  
Всю истратила.

Сяду я за столъ  
Да подумаю:  
Какъ на свѣтѣ жить  
Одинокому?

Но, къ слову о здоровьѣ, любопытно взглянуть, какъ берется Кольцовъ за темы, особенно близкія романтической музѣ, напримѣръ, любовь. Романтическій поэтъ назоветъ цинизмомъ ту любовь, о которой пишетъ нашъ прасолъ: но сознаемся, мы, толпа, никакъ не можемъ не сочувствовать Кольцову и въ этомъ мотивѣ. Мало того, мы находимъ въ его взглядѣ на любовь и въ его способѣ выражать ее такое же наслажденіе, какое чувствуемъ, когда намъ случится прочесть простое и ясное изложеніе какой-нибудь отвлеченной мысли вслѣдъ за изложеніемъ запутаннымъ и затемненнымъ. Есть такіе философскіе трактаты, которые пользуются чуть не всесвѣтною славою: любознательный человѣкъ считаетъ долгомъ ознакомиться съ ними, иногда даже нарочно для того усовершенствуется въ языкѣ, на которомъ они написаны, и наконецъ начинаетъ читать. Долго борется онъ съ безконечными періодами, добирается до смысла то по частямъ, то въ цѣломъ, и какой же результатъ всей этой борьбы? Оказывается, что подъ страшными іероглифами крылась мысль очень простая и ясная, мысль, которую легко

было выразить обыкновеннымъ живымъ языкомъ и не было никакой нужды плодить на толстые томы. Но это еще счастье, если вся бѣда въ темнотѣ и плодovitости изложенія: часто оказывается, что прославленный трактатъ оттого только и въ чести, что переполненъ хитросплетенными объясненіями, іероглифическими словами, философскими пуфами, которые лопаются, какъ мыльные пузыри, при малѣйшемъ прикосновеніи здраваго смысла. Всякому обыкновенному смертному извѣстно, какъ сладко послѣ такого руническаго творенія напасть на произведеніе ума прямого, строгаго и ненапыщеннаго, въ которомъ тотъ же предметъ объясненъ не эффектно, безъ всякой магіи, безъ всякаго внѣшняго блеска, зато такъ усладительно ясно, такъ благородно просто, такъ строго радикально, что изложеніе само льется въ сознаніе и заливаешь пустоту, оставленную въ немъ для усвоенія познаваемого предмета. Такъ точно дѣйствуютъ на неромантиковъ тѣ стихотворенія Кольцова, въ которыхъ говорится о любви и о женщинахъ—предметахъ, доведенныхъ романтическими поэтами до апогея загадочности, сбивчивости и *поэтической* уродливости.

Лицо бѣлое—  
Заря алая,  
Щеки полныя,  
Глаза темные... (Стр. 24).

Одинъ этотъ портретъ красавицы можетъ уже привести въ негодованіе романтика, непризнающаго другихъ женщинъ, кромѣ чахоточныхъ, блѣдныхъ, изнуренныхъ больными грезами... А что скажутъ они, напримѣръ, о любви, которая, раздражаясь неудачей, не приводитъ человѣка ни къ отчаянію, ни къ самоубійству, ни къ убійству отца возлюбленной, не соглашающагося на бракъ ея, ни на шатаніе по проселочнымъ дорогамъ, какъ это водится въ романтической литературѣ, а остается вѣрна самой себѣ, пробуждаетъ въ человѣкѣ новыя силы и могущественно устремляетъ его къ цѣли.

Развудись, плечо!  
Размахнись, рука!  
Ты пахни въ лицо,  
Вѣтеръ съ полудня!  
Освѣжи, взволнуй  
Степь просторную!  
Зажужжи, коса,  
Засверкай кругомъ!  
Зашуми, трава,  
Подкошонная!  
Поклонись, цвѣты,  
Головой землѣ!  
На ряду съ травой  
Вы засохнете,

Какъ по Грунѣ я  
Сохну, молодецъ!  
Нагребу копекъ,  
Намечу стоговъ;  
Дастъ казачка мнѣ  
Денегъ пригоршни;  
Я зашью казну,  
Сберегу казну;  
Ворочусь въ село—  
Прямо къ старостѣ;  
Не разжалобилъ  
Его бѣдностью,  
Такъ разжалоблю  
Золотой казной!.....

По романтической доктринѣ, это просто—гнусность. Собираетъ казну! нѣтъ, это ужъ черезъ-чуръ просто! То ли дѣло зарѣзать и старосту, и дочь его, и самого себя, или сдѣлаться разбойникомъ, или, по крайней мѣрѣ, произнести такой монологъ, отъ котораго и возлюбленная упала бы въ обморокъ, и учителей надолго остался бы звонъ въ ушахъ? Такъ, господа романтики, вы люди особенные, что вамъ за радость читать вещи доступныя и понятныя намъ? За то для насъ это большое, хоть, можетъ быть, и варварское услажденіе. Намъ пріятно встрѣтить, наконецъ, въ какомъ бы то ни было быту человѣка съ истинною страстью, съ тою страстью, которую можно дѣйствительно назвать силою, а не съ тою, которая выражается звѣрствомъ, малодушіемъ и звонкими фразами. Какъ вамъ угодно, а по нашему темному разумѣнію, въ косарѣ, который пойдетъ копоть казну, чтобъ достигнуть своей цѣли, гораздо больше геройства и человечности, чѣмъ во всѣхъ вашихъ изступленныхъ и краснорѣчивыхъ любовникахъ, хотя, конечно, и нѣтъ того, что вамъ угодно называть поэзіей!

Кстати о страсти. Страсть имѣетъ много отбѣнковъ, между прочими нѣжность. Нѣжность въ любви давно уже кажется намъ чѣмъ-то приторнымъ, такъ что мы давно уже называемъ ее особеннымъ словомъ: *сентиментальность*. А между тѣмъ каждый изъ насъ чувствуетъ, что на самомъ дѣлѣ между истинною, натуральною нѣжностью и сентиментальностью—огромная разница. Что же такъ опозорило въ нашихъ глазахъ эту струну человѣческаго сердца? Опять-таки ригористическая школа: она пересолила и этотъ предметъ до того, что, наконецъ, сама отъ него отступилась. Въ младенчествѣ своемъ, не понимаемъ и этого соображенія! Зачѣмъ отступаться отъ того, что само по себѣ прекрасно, если только оно здорово и правильно? Развѣ нѣжность непременно должна быть манипуляціей? Да въ такомъ случаѣ, надо отступить и отъ всего, что дано намъ природой, т. е., отъ ума, отъ воображенія, отъ страсти вообще и т. д. Не слишкомъ ли ужъ мы оболванимъ себя такимъ отрицаніемъ?.. А что касается соб-

ственно до нѣжности, то какое право имѣемъ мы считать ее непременно за слабость, за какую-то дряблость, мозгливость нервовъ? Права на это, кажется, нѣтъ никакого. Мало того: правильная, здоровая нѣжность, по нашему мнѣнію, есть сила могущественная, часто доходящая до геройства, которое у мужчинъ и у женщинъ выражается различно: у первыхъ—выходомъ изъ страданія, у послѣднихъ—самоотверженіемъ. Мужчина можетъ быть очень силенъ духомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ истинно, энергически нѣженъ; но случись такъ, что нѣжность такого человѣка получаетъ жестокий ударъ—онъ непременно перенесетъ его, и вся мощь его натуры выразится въ утѣшеніи. Что жъ касается до женщинъ, то давно уже замѣчено, что въ нихъ способность къ самоотверженію уживается какъ нельзя дружнее съ самою развитою нѣжностью. И въ томъ и другомъ нѣтъ ничего удивительнаго: сила не можетъ проявляться иначе, какъ силой же. Но вотъ въ чемъ дѣло: истинная нѣжность, полная могущества, никогда не выражается напыщенно, красно: зачѣмъ ей себя раздувать и прикрашивать, когда она сама собою сильна и прекрасна? Кольцовъ удивительно вѣренъ этой истинѣ во всѣхъ своихъ стихотвореніяхъ, потому что тактъ дѣйствительности былъ развитъ въ немъ до высочайшей степени чувствительности, и потому что собственная его страстная и вмѣстѣ могучая организація не могла не высказываться въ его произведеніяхъ. Приведемъ для примѣра стихотвореніе „Измѣна Суженой“ (стр. 39 и 40):

Жарко въ небѣ солнце лѣтнее,  
Да не грѣетъ меня молодца!  
Сердце замерло отъ холода,  
Отъ измѣны моей суженой.

Пала грусть-тоска тяжелая  
На кручинную головушку;  
Мучить душу мука смертная,  
Вонъ изъ тѣла душа просится.

Я пошелъ къ людямъ за помощью,  
Люди съ смѣхомъ отвернулись;  
На могилу къ отцу, матери,—  
Не встанутъ они на голосъ мой.

Замутился свѣтъ въ глазахъ моихъ,  
Я упалъ въ траву безъ памяти...  
Въ ночь глухую буря страшная  
На могилѣ подняла меня....

*Въ ночь подъ бурей я коня сѣдлалъ;  
Безъ дороги въ путь отправился—  
Горе мыкать, жизнью тѣшиться,  
Съ злою долей переѣдаться...*



Въ противоположность этой мужественной скорби, разрѣшающей въ бѣшенное утѣшеніе, выписываемъ стихотвореніе „Разлука“, въ которомъ съ такою же художественною и психологическою вѣрностью выражена сила нѣжной женской души, приговоренной къ безвыходному страданію (стр. 58—60):

На зарѣ туманной юности  
Всей душой любилъ я милую:  
Былъ у ней въ глазахъ небесный свѣтъ,  
На лицѣ горѣлъ любви огонь.

Что передъ ней ты, утро майское,  
Ты, дуброва-мать зеленая,  
Степь-травы—парча шелковая,  
Варя—вечеръ—ночь волшебница!

Хороши вы, когда нѣтъ ея,  
Когда съ вами дѣлишь грусть-тоску!  
А при ней васъ хоть бы не было;  
Съ ней зима, весна, ночь,—ясный день!

Не забыть мнѣ, какъ въ послѣдній разъ  
Я сказалъ ей: „Прости милая!  
„Такъ, знать, Богъ велѣлъ: разстанемся,  
Но когда нибудь увидимся...“

Въ мигъ лицо огнемъ все вспыхнуло,  
Бѣлымъ снѣгомъ перекрылося,—  
И рыдая, какъ безумная,  
На груди моей повиснула.

„Не ходи, постой! дай время мнѣ  
„Задушить грусть, печаль выплакать  
„На тебя, на ясна сокола“...  
Занялся духъ, слово замерло...

Мы не выискивали этихъ примѣровъ для подтвержденія своей мысли; признаемся, что и мысль-то эта родилась у насъ подъ вліяніемъ пьесъ: „Косарь“, „Деревенская бѣда“, „Тоска по волѣ“, „Въ непогоду вѣтеръ“, „Дума сокола“, „Размышленіе поселяннина“, „Ахъ зачѣмъ меня“, „Кольцо“, „Говорилъ мнѣ другъ прощаючись“, „Безъ ума безъ разума“, „Грусть дѣвушки“.

Въ заключеніе этихъ размышленій о здоровьѣ, столь противномъ романтизму, не можемъ не коснуться тѣхъ стихотвореній Кольцова, въ которыхъ говорится прямо о богатствѣ и бѣдности, какъ объ условіяхъ счастья и несчастья.

Говоря о непріятномъ впечатлѣніи, которое должно производить на господъ романтиковъ то, что Кольцовъ, возводя въ поэзію крестьянскій бытъ, не обошелъ въ своихъ стихотвореніяхъ труда—основы этого быта, мы уже упомянули и о томъ, какъ съ своей стороны хитрятъ господа-романтики, чтобъ не обнаружить

предъ внимающей имъ толпою своего тайнаго неравнодушія къ денежнымъ выгодамъ. Поэтому нельзя не ожидать отъ нихъ особенно сильнаго гоненія на тѣ произведенія нашего поэта, въ которыхъ онъ смотритъ на богатство и бѣдность какъ же серьезно, какъ самый ревностный политико-экономъ. Разумѣется, мы, съ своей стороны, радуемся и веселимся духомъ, видя, что поэзія нашла мѣсто въ своей безконечной области и этому человѣческому интересу, непризнанному романтизмомъ. Но какъ понравятся романтикамъ, напримѣръ, слѣдующія отрывки:

Какъ былинку вѣтеръ  
Молодца шатаетъ;  
Зима лицо знобитъ,  
Солнце сожигаетъ.

*До поры, до время  
Встѣмъ я весь изжился,  
И кафтанъ мой синій  
Съ плечъ долой свалился!*

Тогда было—иду, ѣду ли,  
Ты всегда со мной, съ ума нейдешь;  
На грудь полную ручкой бѣлою  
Ты во снѣ меня всю ночь зовешь...

*А теперь другая думушка  
Грызетъ сердце, крушитъ голову:  
Какъ въ чужомъ углу съ тобой намъ жить,  
Какъ свою казну трудомъ нажить?*

Но куда умомъ ни кинуся,  
Мои мысли врозь расходятся,  
Безъ слѣда вдали теряются,  
Черной тучей покрываются...

*Погубить себя?—не хочется!  
Разойтись?—нѣту волюшки!  
Обмануть, своею бѣдностью  
Красоту сгубить?—жаль до смерти!*

Поднимайся, туча-буря  
Съ полуночною грозой!  
Зашатайся, лѣсъ дремучій,  
Страшнымъ голосомъ завой,

Чтобъ погони злой бояринъ  
Всгѣдъ за нами не послалъ,  
Чтобъ я съ милою до свѣта  
На Украину прискакалъ.

*Тамъ всего у насъ довольно:  
Будетъ гдѣ намъ отдохнуть.  
Отъ боярина сокровѣтъ;  
Хату славную дадутъ.*

*Будемъ жить съ тобой по пански...  
Эти люди—намъ друзья;  
Что души твоей угодно,  
Все добуду съ ними я!*

*Будутъ платья дорогія,  
Ожерелья съ жемчугомъ!  
Наряжайся, одѣвайся  
Хоть парчою съ серебромъ!*

Но истинный chef-d'oeuvre экономической поэзіи есть стихотвореніе „Что ты спишь, мужичекъ“, которое мы выписываемъ здѣсь вполнѣ, чтобъ окончательно показать діаметральную противоположность стихотвореній Кольцова съ склонностями романтической школы:

Что это такое, какъ не воззваніе страстнаго политико-эконома, облеченное въ форму искусства?

*Что ты спишь, мужичекъ?  
Вѣдь весна на дворѣ;  
Вѣдь сосѣди твои  
Работаютъ давно.*

*Встань, проснись, подымись,  
На себя погляди:  
Что ты былъ? и что сталъ?  
И что есть у тебя?*

*На гумнѣ ни снопа;  
Въ закромахъ ни зерна;  
На дворѣ по травѣ  
Хоть шаромъ покати.*

*Изъ клѣтѣй домовою  
Соръ метлою посмелъ  
И лошадокъ за долгъ  
По сосѣдямъ развелъ.*

*И подъ лавкой сундукъ  
Опрокинуть лежитъ;  
И погнувшись изба,  
Какъ старушка, стоитъ.*

*Вспомни время свое:  
Какъ катилось оно  
По полямъ и лугамъ  
Золотою рѣкой,*

Со двора и гумна  
По дорожкѣ большой,  
По селамъ, городамъ,  
По торговымъ людямъ!

И какъ двери ему  
Растворили вездѣ,  
И въ почетномъ углѣ  
Было мѣсто твое!

А теперь подъ окномъ  
Ты съ нуждою сидишь  
И весь день на печи  
Безъ просыпу лежишь.

А въ поляхъ сиротой  
Хлѣбъ не скошенъ стоитъ.  
Вѣтеръ точитъ зерно,  
Птица клюетъ его.

Что ты спишь, мужичокъ?  
Вѣдь ужъ лѣто прошло,  
Вѣдь ужъ осень на дворъ  
Черезъ прясло глядитъ.

Вслѣдъ за нею зима  
Въ теплой шубѣ идетъ,  
Путь снѣжкомъ пороситъ,  
Подъ санями хруститъ.

Всѣ сосѣди на нихъ  
Хлѣбъ везутъ, продаютъ,  
Собираютъ казну,  
Бражку ковшикомъ пьютъ. (стр. 49—50).

Кто жъ правъ—Кольцовъ или романтики? Здѣсь частный вопросъ долженъ перейти въ общій: спрашивается: въ чемъ сущность поэтического и непозетического содержанія, ни болѣе, ни менѣе?

Никто не вправе требовать отъ художника, чтобъ онъ творилъ то или другое; но для того, чтобъ произведеніе его могло дѣйствовать на *людей*, оно должно заключать въ себѣ что-нибудь общее съ ихъ мыслями, чувствами и стремленіями. Иначе искусство существовало бы только для самихъ художниковъ и было бы ихъ самоудовлетвореніемъ; иначе не могло бы быть и любимыхъ поэтовъ ни у частныхъ лицъ, ни у народовъ, ни у вѣковъ. Въ чемъ же именно кроется первая причина сочувствія и равнодушія къ искусству въ томъ лицѣ, которое называется *публикой*?

Чтобъ разрѣшить этотъ вопросъ, надо увѣриться прежде всего въ истинѣ, что *каждый изъ насъ познаетъ и объясняетъ себя все единственно по сравненію съ самимъ собою*. Истина эта стара, и потому мы не будемъ ее доказывать: но не худо припоминать ее отъ времени до времени, по крайней мѣрѣ всякій разъ, когда представляется необходимость объяснить себя какой-нибудь антропологическій фактъ; иначе—прощай, логика!

Въ настоящемъ случаѣ она имѣетъ для насъ ту важность, что, опираясь на нее, мы имѣемъ возможность объяснить законъ человѣческой симпатіи.

Съ перваго взгляда кажется, что мы болѣе всего сочувствуемъ тому, что отъ насъ отдалено, что намъ ново, чуждо, словомъ,—*занимательно*. По крайней мѣрѣ, все отдаленное, новое, чужое влечетъ насъ къ себѣ съ неотразимымъ могуществомъ, между тѣмъ какъ все близкое, все старое, все *свое* съ каждой минутой теряетъ для насъ свою прелесть. Разказы спутниковъ Колумба и Васко де-Гамы были въ тысячу разъ интереснѣе всѣхъ европейскихъ чудесъ для европейцевъ пятнадцатаго и шестнадцатаго столѣтій; грекъ слушалъ съ замираніемъ сердца разказъ о льдахъ Гиперборейскаго моря, равнодушно глядя на синее небо и роскошную растительность своей родины; и теперь тотъ же фактъ повторяется каждый день и, безъ сомнѣнія, всегда будетъ повторяться. Но если всмотрѣться въ него поглубже, нельзя не увидать, что причина его заключается въ способности и склонности человѣка объяснять все по сравненію съ самимъ собою и въ происходящей отсюда страсти усвоивать своею мыслью все, что встрѣчается онъ посторонняго, не похожаго на него самого <sup>1)</sup>. Эта сила усвоенія при встрѣчѣ съ предметомъ новымъ, оказывающимъ ей энергическое сопротивленіе, напрягается со всею данною ей мощью до тѣхъ поръ, пока не покоритъ себѣ познаваемого или, лучше сказать, усвоиваемого предмета. Такъ, на примѣръ, описаніе быта дикарей Тихаго Океана *занимательнѣе* для европейцевъ самой лучшей статистики какого угодно просвѣщеннаго государства стараго свѣта. Почему? Потому, что жизнь образованныхъ народовъ намъ уже извѣстна, мы ее уже усвоили себѣ, сравнили съ собственною жизнью и успокоились. Напротивъ, дикіе народы представляются намъ чѣмъ-то совершенно непохожимъ на насъ, и потому-то нами овладѣваетъ тревожное желаніе усвоить себѣ этотъ предметъ, сравнить его съ тѣмъ, что знаемъ мы о самихъ себѣ. И мы успокоиваемъ свою любознательность, унимаемъ свою тревогу только тогда, когда, наконецъ, и въ дикихъ народахъ узнаемъ людей, т. е., существа, подобныя намъ по натурѣ, хотя и совершенно различныя отъ насъ по развитію. Вотъ другой примѣръ. При встрѣчѣ съ уродомъ вы чувствуете непріятность, неловкость, беспокойство потому только, что онъ не походитъ на васъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ разсматриваніе его

<sup>1)</sup> Всякая способность органическаго существа предполагаетъ въ немъ страсть, которая должна вызывать и поддерживать дѣятельность этой способности.

очень занимательно... Чѣмъ же объяснить себѣ это отвращеніе и влеченіе, возбуждаемая въ насъ разомъ однимъ и тѣмъ же предметомъ? Ничѣмъ инымъ, какъ естественнымъ, непреодолимымъ стремленіемъ человѣка приблизить къ себѣ все, что ему представляется, посредствомъ уподобленія. Неудачная попытка такого уподобленія мучительна. Уродъ беспокоитъ васъ до тѣхъ поръ, пока вы съ какимъ-нибудь Жофруа Сентъ-Илеромъ не объясните себѣ, что онъ созданъ по общимъ человѣческимъ законамъ, что по силѣ этихъ, а не другихъ какихъ законовъ онъ не похожъ на васъ видомъ, что при тѣхъ обстоятельствахъ, которыми сопровождалась его развитіе, онъ долженъ былъ явиться на свѣтъ съ тѣми отклоненіями отъ обыкновенной человѣческой формы, которая съ перваго взгляда отдалила васъ отъ него, что, наконецъ, онъ столь же уродъ, сколько и вы—съ другого боку.

Итакъ, подъ видимой страстью нашей къ необыкновенному, чудесному, отдаленному кроется невидимая, но дѣйствительная любовь наша къ обыкновенному и близкому. Первое влечетъ васъ къ себѣ потому только, что, при встрѣчѣ съ нимъ, мы жаждемъ его разрушить низведеніемъ на степень послѣдняго. Страсть къ чудесному, свойственная не только нѣкоторымъ индивидуумамъ, но и цѣлымъ народамъ, есть не что иное, какъ страсть къ процессу этого обращенія фантома и іероглифа въ реальное и понятное, страсть къ разгадыванію и уясненію, однимъ словомъ, къ гимнастикѣ ума. Потому-то въ индивидуумахъ и въ народахъ эта страсть господствуетъ въ возрастѣ ребячества и первой юности: тогда-то человѣкъ, кипящій свѣжими силами, еще несокрушенными и неизмятыми въ борьбѣ съ сопротивленіями, отважно кидается на самыя трудныя задачи, какъ на самую уклончивую добычу для силы усвоенія.

Таково свойство занимательности: предметъ занимателенъ, любопытенъ для насъ до тѣхъ поръ; пока мы не сравнили его съ собственной природой. Но это-то и доказываетъ, что влеченіе наше ко всему новому, непонятному обманчиво: если бъ мы дѣйствительно стремились къ нему, а не къ чему-нибудь другому, то мы и успокоивались бы въ немъ. Напротивъ, оно насъ мучитъ и мучитъ въ даль, и это мученіе продолжается до тѣхъ поръ, пока непонятное не сдѣлается понятнымъ, чуждое—своимъ, постороннее—тождественнымъ съ нами. Итакъ, истинное стремленіе наше въ томъ, чтобъ во всемъ найти самихъ себя. Изъ этого слѣдуетъ, что занимательность и симпатичность предмета—два свойства совершенно различныя: насъ занимаетъ то, что кажется намъ новымъ, неизвѣстнымъ, непонятнымъ; сочувствовать же можемъ мы только тому, въ чемъ мы уже дали себѣ отчетъ и въ чемъ нашли самихъ себя. Поэтому каждый предметъ, доступный нашему познанію, необходимо раздѣляется нами на двѣ половины: къ первой относимъ мы все то, что нисколько не напоминаетъ намъ въ собственной нашей природѣ—это сторона *любопытная*, подстрекающая одну любознательность; ко второй—все то, что въ немъ есть общаго съ нами, съ

человѣкомъ—это сторона *симпатическая*, возбуждающая въ насъ любовь, сердечное, кровное сочувствіе. Количественное различіе впечатлѣній, производимыхъ на насъ тою и другою, заключается въ томъ, что любопытное владѣетъ нами только въ силу своей новости и дѣлается безразличнымъ тотчасъ же по усвоеніи, между тѣмъ какъ симпатическое (назовите его какъ угодно) вѣчно будетъ имѣть для насъ интересъ, если только мы сами не теряемъ способности чувствовать и сочувствовать. Такъ (пользуясь прежнимъ примѣромъ), приступая къ знакомству съ дикими народами, мы прежде всего поражаемся ихъ звѣрскими особенностями, а потомъ, дойдя до уразумѣнія ихъ человѣческихъ свойствъ, общихъ съ нашими, не можемъ не чувствовать къ нимъ и симпатическаго влеченія, братской любви. Когда же этотъ процессъ разложенія совершился вполне и дикій явился нашему сознанію въ своемъ двойномъ характерѣ,—тогда звѣрство его перестаетъ быть для насъ занимательнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ теряетъ въ нашихъ глазахъ и всю свою отвратительность. Напротивъ, его человѣческая сторона остается для насъ всегда полною интереса, потому что мы не можемъ не чувствовать при мысли о ней того же, что чувствуемъ при мысли о самихъ себѣ. Возьмемъ новый примѣръ. Отъ чего можетъ нравиться намъ ландшафтъ, вовсе непоражающій красотой линій изображаемой мѣстности? Какое-нибудь плоское захолустье, двѣ, три кривыя березки, да сѣренькія тучки на непрозрачномъ горизонтѣ, напоминающемъ своими колерами цвѣтъ снятого молока,—что въ нихъ такого, что могло бы приковать къ себѣ наше вниманіе, заставить насъ прочувствовать и полюбить картину? Не отворачиваемся ли мы, на самомъ дѣлѣ, отъ этой голой плоскости и отъ этихъ хворыхъ березокъ? Не ворчимъ ли мы на эти грязныя тучки по десяти разъ въ часъ? Такъ; но это-то и влечетъ насъ къ картинѣ; во всѣхъ ея печальныхъ подробностяхъ человѣкъ находитъ частичку самого себя, узнаетъ плоскость, которая ему такъ надоела въ дѣйствительности; узнаетъ березки, которыя всегда казались жалкими усиліями блѣдной, но все-таки заботливой природы скрасить безотрадную гладь поляны; узнаетъ дождевыя тучки, отъ которыхъ онъ куталъ обвѣянное вѣтромъ лицо свое въ высокій воротникъ пальто, когда возвращался изъ департамента на дачу,—и эта странная встрѣча съ самимъ собою проливаетъ для него неизъяснимую прелесть на какой-нибудь ландшафтъ петербургскаго художника, потому что онъ не можетъ не любить самого себя, не интересоваться и не любоваться собою, какъ бы ни былъ плохъ для другихъ... Ужъ такъ онъ устроенъ, что всюду онъ себя отыщетъ и обрадуется находкѣ и полюбитъ ее. Положимъ даже, что на ландшафтѣ изображена не наша блѣдная сѣверная природа, а какія-нибудь окрестности Неаполя. Пусть посмотритъ на нихъ петербургскій автохтонъ, который никогда не видалъ природы роскошнѣе парголовской: что жъ? это не помѣшаетъ ему симпатизировать и синему небу, и кремнистымъ холмамъ, которые одѣты ползучимъ плющемъ и цѣпкимъ виноградомъ съ баснослов-



огромными кистями голубыхъ и лиловыхъ ягодъ покрытыхъ матовою влагою, и темнокожему лѣнтяю, валяющемуся на солнцѣ въ ожиданіи карлина, который удастся вымозжить ему у англичанина, когда этотъ прямолинейный и никогда не улыбающійся туристъ пройдетъ мимо него въ сопровожденіи плута-чичероне, съ цѣлью помучить нѣсколько живыхъ тварей въ Собачьемъ Гротѣ. Разумѣется, для этого надобно имѣть нѣсколько искоръ воображенія; но дѣло въ томъ, что воображеніе явится къ услугамъ нашего автохтона не для чего иного, какъ для того, чтобъ перенести подъ неаполитанское небо собственную его особу, чтобъ самого его пожарить на сорока градусахъ тепла, чтобъ понѣжить его языкъ, привыкшій къ впечатлѣніямъ товара милутиныхъ лавокъ, невыразимо нѣжнымъ и гастрономически сложнымъ вкусомъ южнаго винограда. Иначе—что ему въ картинѣ неаполитанской природы? Легкость и незамѣтная правильность линій не объясняетъ вопроса; остается неразгаданною прелесть густой синевы неба, роскошной растительности, изнѣженности людей и животныхъ, развивающихся подъ вліяніемъ мѣстности. Пожалуй, можно дать другой видъ объясненію, но сущность его останется все та же. Можно сказать, что мы вообще симпатизируемъ природѣ, хотя бы она и не напоминала намъ человѣка. Такъ, на примѣръ, дѣвственный лѣсъ, незнакомый съ топоромъ, непроходимая пустыня, въ которую никогда не пускался ни одинъ отважный искатель приключеній, жерло вулкана, отъ котораго удалялись люди,—развѣ изображенія такихъ предметовъ не могутъ произвести впечатлѣнія на душу зрителя? Конечно, могутъ; но всмотритесь внимательнѣе и рѣшите, даютъ ли и они возможность человѣку уйти отъ самого себя, плѣниться чѣмъ-нибудь такимъ, въ чемъ нѣтъ ничего ему родственнаго, соприсущаго? Нѣтъ, мы всюду сами съ собою; ибо, вмѣстѣ съ природой, мы составляемъ одно цѣлое, гармоническое произведеніе одной животворной силы; какъ часть этого цѣлаго, имѣющая свой частный организмъ, мы можемъ забывать о своемъ съ нимъ единствѣ, можемъ не замѣчать его, увлекаясь тяготѣніемъ собственного частичнаго (индивидуальнаго) содержанія, но не можемъ не чувствовать его непосредственно, *безсознательно*. Пусть каждый изъ читателей повѣритъ эти слова собственными впечатлѣніями. Кто можетъ анализировать свои ощущенія—разумѣется, не во время самаго процесса образованія ихъ въ душѣ, а съ помощью воспоминанія и размышленія,—тотъ навѣрное согласится съ нами, что природа производитъ на насъ разомъ два впечатлѣнія—и пріятное и горькое, и что источникъ этой двойственности заключается въ нашемъ родствѣ или, лучше сказать, въ существенномъ тождествѣ съ нею. Предаваясь простому, непосредственному созерцанію ея нерукотворной жизни, мы невольно настраиваемся на одинъ ладъ съ ея гармоніей, сливаемся съ ея жизнью, какъ часть съ цѣлымъ, и чувство этого сліянія невыразимо сладко: чувствуешь, что безсознательно попалъ въ колею своихъ настоящихъ, непреклонныхъ законовъ, чувствуешь, что находишься въ своей, сферѣ, или

лучше сказать, чувствуешь, что возвращаешься въ свою сферу. Въ то же время этотъ внезапный приливъ гармоніи, этотъ быстрый переходъ отъ нашей обыкновенной, искусственной жизни къ бытію нормальному, естественному, сообразному съ нашей сущностью, дѣйствуетъ на насъ и болѣзненно, рождаетъ грусть, слѣдствіе сравненія того и другого порядка вещей. Тяжело созерцаніе этой гармоніи при свѣжести воспоминанія о хаосѣ, изъ котораго вырвался на время; многіе не въ силахъ перенести ея впечатлѣніе безъ боли, точно такъ же, какъ человѣкъ, изнуренный болѣзью, не въ силахъ смотрѣть безъ грустнаго сожалѣнія о самомъ себѣ на розовыя лица, цвѣтушія жизнью и здоровьемъ. Въ наше время филантропія весьма искусно пользовалась этою однородностью природы и человѣка, употребивъ ее, какъ средство возвращать на истинный путь молодыхъ преступниковъ, увлеченныхъ въ грязь порока. Во Франціи учреждено съ этою цѣлью нѣсколько земледѣльческихъ колоній; онѣ населяются молодыми людьми, которые задерживаются городской полиціей; опытъ показалъ, что постоянное созерцаніе природы, разумѣется, въ связи съ правильнымъ по возможности трудомъ, оказываетъ самое благотворное дѣйствіе на бѣдныя жертвы искусственности <sup>1)</sup>. Все это убѣждаетъ насъ, что прелесть созерцанія природы объясняется односущностью ея съ человѣкомъ. Вотъ почему и нѣтъ такой мѣстности, которой изображеніе не рождало бы въ человѣкѣ сочувствія и не напоминало бы ему о немъ самомъ.

Теперь, соображая все сказанное, спрашиваемъ: что плѣняетъ насъ въ дѣйствительности и въ искусствѣ? Отвѣтъ будетъ такой: во всемъ мы плѣняемся собою. Итакъ, *нѣтъ на свѣтѣ предмета неизящнаго, непляшительнаго, если только художникъ, изображающій его, можетъ отдѣлять безразличное отъ симпатическаго и не смѣшиваетъ симпатическаго съ занимательнымъ.* Этимъ объясняется ложность не только неестественности, но и всякой эксцентричности содержанія изящнаго произведенія. Изобразить несуществующую жизнь и людей несуществующихъ значитъ—стремиться къ тому, чтобъ изображеніе не возбудило въ людяхъ никакой симпатіи, чтобъ они не поняли его, не могли объяснить себѣ по сравненію изображеннаго съ собственною ихъ жизнью и собственною ихъ натурой. Равнымъ образомъ, изображеніе существъ и явленій, выступающихъ изъ круга обыкновенныхъ людей и обыкновенныхъ событій, тогда только можетъ служить содержаніемъ изящному произведенію, когда

<sup>1)</sup> Разсуждая такимъ образомъ, мы надѣемся, что слова наши не будутъ перетолкованы въ нелѣпую сторону—если не журналами, то, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыми изъ читателей. Въ наше время, кажется, уже довольно ясно доказано, что естественное состояніе человѣка не одно съ естественнымъ состояніемъ звѣря, какъ это утверждалъ Руссо. Поэтому считаемъ излишнимъ доказывать здѣсь истины, подобныя той, что наука, искусство и общественность входятъ въ составъ идеала нормальной человѣческой жизни, тѣмъ болѣе, что вообще объ отношеніяхъ человѣка къ природѣ говорится здѣсь мимоходомъ, для примѣра.

художникъ умѣетъ представить ихъ, какъ результаты причинъ самыхъ понятныхъ и обыкновенныхъ: иначе—они останутся любопытными загадками, а любопытному, какъ уже сказано, никто не можетъ сочувствовать. Другими словами: эксцентрическое явленіе тогда только дѣлается изящнымъ или симпатическимъ, когда художникъ сумѣетъ угадать и выразить его понятную, обыкновенную сторону.

Принципы эти заключаютъ въ себѣ осужденіе классицизма и романтизма. По слѣдуетъ ли изъ этого, чтобъ они оправдывали все, что современная литература выдаетъ намъ за натуральность и неизысканность?

Нѣтъ! Романтизмъ также мало изгнанъ изъ литературы, какъ и изъ жизни. Взглянемъ на то и на другое.

Жизнь современнаго человѣка слагается изъ борьбы естественныхъ влеченій съ мелочнымъ опасеніемъ (scruple) впасть въ романтизмъ. Герой нашего времени, сегодняшній и вчерашній,—самый забавный романтикъ, какого только производило человѣчество. Но его романтизмъ, его изысканность прикрыта маской положительности и натуральности. Онъ чувствуетъ, мыслить и дѣйствуетъ, вѣчно мучимый опасеніемъ, чтобъ въ его чувствахъ, мысляхъ и дѣлахъ не проглянуло какъ-нибудь романтическое направленіе. Это его кошмаръ, его пугало, его тайное, но дѣйствительное стремленіе. Онъ шагу не ступитъ безъ того, чтобъ не подумать, будетъ ли этотъ шагъ довольно простъ, не проявитъ ли онъ какого-нибудь романтическаго движенія души. Ужасная болѣзнь! И ужасно трудная задача! Что передъ ней всѣ тонкости добросовѣстнаго романтизма? Мудрено ли устроить себѣ разбойничью прическу, сочинить какое-нибудь невиданное міромъ полукафтанье, придать, посредствомъ театральной натуры глубокомысленное, печальное и сатанински-озлобленное выраженіе лицу, отъ природы пошлomu, веселому и доброму, пестрить и ерошить рѣчь тирадами изъ Марлинскаго, убѣгать пріятныхъ сходбищъ, не учиться, не работать и проч.? Но прошу покорно повести себя такъ, чтобъ съ перваго взгляда на вашу особу, съ первыхъ словъ, сказанныхъ вами, можно было заключить, что вы человѣкъ неположительный, неизысканный, *натуральный*! Мало будетъ, если вы избѣгнете романтическихъ замашекъ въ причeskѣ, въ костюмѣ, въ позахъ, въ походкѣ и даже въ разговорѣ: какъ добьетесь вы того, чтобъ въ гармоніи всѣхъ этихъ проявленій вашей личности *положительно* выказывалась ваша натуральность? Средство одно: или удерживаться отъ всякихъ сколько-нибудь живыхъ, колоритныхъ проявленій жизненности и даже необходимости, или сочинять себѣ самое циническое поведеніе въ обществѣ. Согласитесь однакожъ, что исполнять эту программу необыкновенно тяжело, и въ высшей степени не натурально. А главное, не *есть* ли это пагуба классицизма и романтизма въ современной его формѣ? Не *значитъ* ли это жить по мѣркѣ, по выкройкѣ, по рецепту? Не *значитъ* ли это *маскировать*, т. е., обрѣзывать и раздувать свою натуру, попирая всякую натураль-

ность? Намъ предстоитъ часто возвращаться къ этой темѣ. Посмотримъ теперь, какъ разыгрывается она въ современной литературѣ.

Замаскированный романтизмъ является въ современныхъ стихотвореніяхъ, разсказахъ и драматическихъ сценахъ такъ же, какъ въ жизни, въ двухъ главныхъ видахъ—отрицательно и положительно. Апогея его отрицательнаго выраженія—стихи и повѣсти тѣхъ писателей, которые стараются обходить всякій живой предметъ и, чтобъ не попасться на какое-нибудь ложное эстетическое содержаніе, пишутъ стихи и повѣсти безъ всякаго содержанія и тѣмъ самымъ совершенно обезпечиваютъ себя отъ обвиненій въ противохудожественности темъ. Вотъ на примѣръ:

Листья шумѣли уныло  
Ночью осенней, сырой;  
Гробъ опускали въ могилу,  
Гробъ, озаренный луной.  
Тихо, безъ плача зарыли  
И удалились всѣ прочь;  
Тихо луна на могилу  
Грустно смотрѣла всю ночь.

Или:

Солнце глядитъ изъ-за тучи;  
Птицы поютъ надъ окномъ;  
Стадо разсыпалось въ полѣ;  
Дремлетъ усталый пастухъ.

Нѣтъ у меня больше силы  
Горе таскать на плечахъ!  
Кости свои упокоить  
Время мнѣ въ мокрой землѣ!

Брошено нѣсколько образовъ; нѣтъ ни мысли, ни чувства, ни картины,—ничего нѣтъ, но есть стихотвореніе безукоризненное именно по своей абсолютной ничтожности,—и дѣло сдѣлано!

Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Достоевскій и слишкомъ мало оцѣненный нашъ авторъ „Послѣдняго Визита“<sup>1)</sup> ввели своими мастерскими разсказами безъ завязокъ и развязокъ въ искушеніе множество людей, воображающихъ себя нувеллистами. Эти самообольстители смѣло вышли на поприще нувеллистическое, увѣривъ себя, что стоитъ только не заботиться о сказочномъ интересѣ, что создать разсказъ истинно-художественный!! Не худо бы припомнить имъ двѣ вещи: первое, что повѣсти исчисленныхъ нами писателей, освобожденные отъ завязки и развязки, отличаются такой глубиной и полнотой содержанія, что часто являются интересомъ своимъ самымъ живымъ эпизодамъ изъ современной исторіи.

<sup>1)</sup> П. Н. Кудрявцевъ (А. Нестроевъ).

второе, что въ разрядъ такихъ созданій нельзя вносить талантливыхъ шалостей и шутокъ въ родѣ „Домика въ Коломнѣ“ или въ родѣ „Носа“, шутокъ, которыхъ легкость и ничтожность извиняются, однакожъ, изумительными достоинствами формы.

Положительныя выраженія переодѣтаго романтизма представляютъ собою большое разнообразіе. Самое отвратительное между ними прикидывается отрицаніемъ. Тутъ оболъстителемъ является Лермонтовъ. Начитавшись стихотвореній, въ которыхъ русскій Байронъ отказывается отъ юношеской непосредственности, школьникъ возводитъ весь его *лиризмъ* въ *абсолютную истину* и совершенно увѣренъ, что блистательно покончилъ съ романтизмомъ. Довольно ему шести или восьми стиховъ Лермонтова, чтобъ выкроить изъ нихъ цѣлую книжечку стихотвореній, гдѣ все живое разругано наповаль, гдѣ нѣтъ пощады ни одному живому чувству, ни одной сильной страсти, гдѣ смерть представлена идеаломъ жизни. Лермонтовъ сказалъ, напримѣръ, о собственныхъ произведеніяхъ:

То соблазнительная повѣсть  
Сокрытыхъ дѣлъ и тайныхъ думъ,  
Картины хладныя разврата,  
Преданья глухихъ юныхъ дней,  
Давно безъ пользы и возврата  
Погибшихъ въ омутъ страстей.  
Средь битвъ незримыхъ, но упорныхъ,  
Среди обманщицъ и невѣждъ,  
Среди сомнѣній ложно черныхъ  
И ложно радужныхъ надеждъ.

Прочитавъ эту исповѣдь, школьникъ какъ разъ разведетъ ее на нѣсколько десятковъ стихотвореній въ родѣ слѣдующихъ:

Прости безъ глухихъ слезъ разлуки,  
Скажу пристойно я тебѣ,  
И не прочтешь ты дѣтской муки  
На гордо поднятомъ челѣ.  
Не задрожитъ въ рукѣ дрожащей  
Рука простертая моя;  
На вопль души твоей кипящей  
Ничѣмъ не отзовуся я;  
И какъ въ пустынѣ звукъ ничтожный,  
Замретъ тоска въ груди моей.  
Прочь, заблужденья жизни ложной!  
Замолкни, дикій бредъ страстей!

Представивъ такую хулу на жизненность, стихотворецъ слыветъ въ кругу пріятелей, а часто и въ глазахъ публики, за глубокаго аналитика и за грозу всего романтическаго. Являются и критики, которые наводятъ читателей на мысль,

что стихотворецъ этотъ пошелъ дальше Лермонтова и явилъ собою совершенное торжество разумности надъ ребячествомъ. Вотъ что значить ловко замаскироваться!

Еще наивнѣе самообольщеніе тѣхъ господъ, которые отъ ложнаго блеска романтизма уходятъ въ грязь дѣйствительности, воображая, что стоитъ только описать какую-нибудь абсолютную гнустность, чтобъ попасть въ геніи натуральной школы. Эти „натуралисты“ забываютъ, что романтизмъ, которымъ они такъ напуганы, уже подвизался на этомъ самомъ поприщѣ. Мы сказали въ самомъ началѣ статьи, что созданія этого отдѣла quasi-натуральной школы совершенно подводятся подъ одну изъ самыхъ отчаянныхъ формулъ романтической эстетики: *le beau c'est le laid*. Въ самомъ дѣлѣ, большаго тожества и не можетъ быть: сущность и источникъ цинизма, свирѣпствовавшего въ эпоху романтизма, и того, которымъ нѣкоторые молодые люди щеголяютъ теперь,—все одинаковы. Романтический цинизмъ имѣлъ источникомъ своимъ стремленіе къ необыкновенному; онъ явился въ европейской литературѣ вслѣдъ за классическимъ пуризмомъ, какъ самая отчаянная противоположная крайность. Но успѣхъ его былъ самый непродолжительный и далеко не всеобщій; *слабонервное* поколѣніе двадцатыхъ годовъ не могло не любить нервическихъ раздраженій, но скоро и изнемогало отъ сильныхъ эффектовъ. Такъ-называемая *раздирательная* литература скоро замѣнилась изображеніемъ эксцентрическихъ существъ другого рода—геніевъ, не признанныхъ обществомъ, свѣтскихъ женщинъ, не разгаданныхъ свѣтомъ, разныхъ чудаковъ, которые тогда казались людьми очень умными и почтенными, и т. п. Но когда пробилъ часъ пробужденія анализа, цинизмъ снова явился въ литературѣ въ прежней своей роли,—именно, какъ крайняя противоположность пуризму, но уже не классическому, а романтическому. Теперь онъ смѣло выдаетъ себя за натуральность и увѣренъ, что сущность ея заключается въ сладострастномъ созерцаніи дагерротипированія язвъ общества. Нѣтъ нужды доказывать, что этотъ классъ *неоромантиковъ* развился подъ вліяніемъ Гоголя, какъ клубъ червей подъ лучами лѣтняго солнца. Онъ гораздо многочисленнѣе подражателей Лермонтова и гордится передъ ними своею животрепещущею современностью.

Но самый многочисленный отдѣлъ quasi-гоголевской школы—это умѣренные, полуциническіе дагерротиписты, которые ничего не видятъ въ Гоголѣ, кромѣ вѣрнаго изображенія всѣхъ оттѣнковъ дѣйствительности. На нихъ-то должны мы обратить особенное вниманіе, потому что ихъ принципы раздѣляетъ большинство публики, расположенной къ Гоголю. Это большинство видитъ въ немъ самомъ изумительнаго копѣиста—и ничего болѣе, но дѣйствительные копѣисты выигрываютъ передъ нимъ въ глазахъ публики тѣмъ, что соблюдаютъ извѣстную степень благопристойности, изъ за которой такъ много у насъ хлопочутъ. Сколько разъ критика возвышала свой голосъ противъ такихъ мнѣній! Но это былъ го-



лось эстетическаго чувства; его слышали только тѣ, которые сами готовы были присоединить къ нему свои протесты. Логическій анализъ еще не касался вопроса...

Новѣйшая эстетика не признаетъ въ дѣйствительности ничего пошлаго, точно такъ же, какъ химія не признаетъ ничего гадкаго въ матеріи. Но что же значать требованія ея на присутствіе идеи во всякомъ художественномъ произведеніи? Мы понимаемъ его такъ, что оно совпадаетъ съ требованіемъ *творчества*. Въ наше время нельзя сплести сказку и, вытянувъ изъ нея какое-нибудь *нравоученіе*, назвать эту страшню творческимъ произведеніемъ, хотя бы въ разсказѣ и встрѣчались картины очень вѣрныя. Для насъ недостаточно уже то блѣдное опредѣленіе, по которому изящное созданіе есть выраженіе мысли въ живой формѣ; такимъ образомъ опредѣляется всякая дѣйствительность: вся вселенная въ своей совокупности, такъ же, какъ и малѣйшая часть ея, есть ни болѣе, ни менѣе, какъ выраженіе мысли въ формѣ. И всякое человѣческое созданіе, всякое человѣческое дѣйствіе можетъ быть опредѣлено такимъ же образомъ. Напримѣръ, что такое наука, какъ не проведеніе извѣстной идеи по всѣмъ ступенямъ ея развитія въ дѣйствительности, по формѣ. Мало того: всякое предпріятіе, всякій актъ дѣятельности подходитъ подъ это опредѣленіе. Поэтому-то критики, употребляющіе его для объясненія сущности изящнаго созданія, большею частію къ слову *форма* прибавляютъ прилагательное *художественная*. Но такъ какъ этотъ эпитетъ и остается эпитетомъ, свидѣтельствующимъ только о темномъ предчувствіи *какого-то* отличія художественной дѣйствительности отъ дѣйствительности простой, непосредственной, то вопросъ и возвращается въ самого себя. Мы полагаемъ, что до тѣхъ поръ и останется онъ сфинксовою загадкой, пока эстетика будетъ ограничиваться толкованіемъ о различіи формъ художественной и дѣйствительной... Какъ угодно, а изображеніе человѣка, не похожаго на насъ, изображеніе такихъ условій жизни, какихъ никогда не можетъ быть, однимъ словомъ—всякій шальной и праздный вымыселъ не вызываетъ ровно ничего, кромѣ фельетонной насмѣшки; да и насмѣшки-то скоро ни у кого не будетъ охоты бросать на отрицаніе такого вздора! Художественныя формы всегда останутся тождественными съ формами дѣйствительности, такъ, какъ это было до сихъ поръ, и не выдумать ничего лучшаго цѣлому легіону прометеевъ-эстетиковъ даже при помощи такого же легіона рифмоплетовъ и сказочниковъ...

Другое дѣло писать и спорить о *художественной идее*. Тутъ въ самомъ дѣлѣ есть о чемъ подумать: здѣсь опытъ, факты наводятъ на существованіе различія. Голая мысль ученаго и живая мысль художника—двѣ силы существенно различныя. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, стоитъ сравнить, напримѣръ, идею умно написанной *исторіи* съ идеей *историческаго романа*. Историкъ



можетъ вполне удовлетворить насъ своимъ произведеніемъ, если онъ ясно *сознаетъ* и свѣтло *уясняетъ* идею, тающуюся во всякомъ историческомъ событіи, разоблачая ее изъ-подъ покрова отдѣльныхъ фактовъ, разлагая и слагая эти факты безъ натяжки, безъ пропусковъ и безъ преувеличеній. Довольно, если онъ напомнитъ намъ своею дѣятельностью трудъ химика, который хорошо владеетъ своимъ двойнымъ орудіемъ, то-есть, способомъ обнаруживать единство вещества въ разнообразіи естественныхъ тѣлъ, и наоборотъ—уснять этимъ разнообразіемъ всю емкость и жизненную полноту того же единства, въ которомъ, какъ въ фокусѣ, сходятся отдѣльные явленія. Но и тотъ и другой, и историкъ и химикъ только тогда и успѣваютъ въ исполненіи своихъ задачъ, когда силой разсудочности доведутъ себя до безразличнаго отношенія, до безпристрастія къ фактамъ, надъ которыми работаетъ ихъ анализъ и синтезъ. Какъ истинный, надежный химикъ не будетъ питать особеннаго предпочтенія къ тому или другому химическому процессу, такъ и настоящій историкъ, человѣкъ, рожденный не для чего иного, какъ для того, чтобы писать исторію, не воспитается въ сердцѣ своемъ исключительной любви къ той или другой эпохѣ, къ тому или другому человѣческому обществу,—развѣ только въ силу сознанія того, что каждому ученому необходимо ограничить сферу своихъ изслѣдованій сообразно съ размѣрами данныхъ ему природой способностей, но во всякомъ случаѣ безъ притязанія на безусловное и объективное основаніе такой исключительности. Мы не хотимъ оправдывать этими словами того пошлаго понятія о *безстрастіи* ученаго вообще и историка въ особенности, по которому оно должно совпадать съ *безстрастіемъ*. Цѣлая бездна отдѣляетъ безпристрастнаго человѣка отъ безстрастнаго, та самая, которая лежитъ между жизнью и смертью. Мы вполне допускаемъ въ историкѣ такую же сильную, зиждательную страсть къ своему дѣлу, какъ и во всякомъ ученомъ, не превращающемся въ главы и параграфы издаваемыхъ имъ сочиненій. Но такъ какъ сущность всякой исторіи составляетъ *развитіе* жизни, то все обиліе любви у настоящаго историка изливается въ сочувствіи этому признаку всего живого. Онъ любитъ въ историческихъ фактахъ не ихъ самихъ, а взаимное ихъ отношеніе, ихъ послѣдовательность, обнаруживающую постепенное развитіе жизни, которая ими обозначаетъ свое движеніе во времени и пространствѣ. Въ силу этой обширной, многообъемлющей страсти, онъ не можетъ подчиниться мелкому историческому пристрастію къ избраннымъ эпохамъ и событіямъ: первая сила діаметрально противоположна послѣдней. Каждая изъ нихъ отрицательно можетъ быть опредѣлена отсутствіемъ другой. Но одно отсутствіе историческаго пристрастія еще не образуетъ склонности историка: если бъ не было у него живого сочувствія къ процессу органическаго развитія жизни, то главная задача исторіи исполнялась бы имъ сухо, безъ оригинальности, слѣдовательно, и безъ таланта. Онъ выполнялъ бы ее изъ *приличія*, смотрѣлъ бы на нее, какъ на внѣшнюю необходимость, довольствуясь готовымъ

изслѣдованіями и ни мало не побуждаясь къ собственнымъ, самобытнымъ изысканіямъ. Мало того, самое разумѣніе жизненнаго развитія недоступно человѣку, въ которомъ не возбуждаетъ оно кровнаго сочувствія, потому что никакое свойство не можетъ быть понято такимъ человѣкомъ, который самъ лишенъ его, или такимъ, въ которомъ развито оно слишкомъ слабо; а сочувствовать—значить чувствовать самому заодно съ другимъ. Итакъ, повторяемъ: историкъ долженъ сочувствовать общему ходу развитія общества и человѣчества; но самое это сочувствіе исключаетъ въ немъ привязанность къ отдѣльнымъ, избраннымъ эпохамъ, событіямъ и народамъ. Потому-то и дѣльная, наукообразная исторія должна быть чужда духа такой исключительности, въ чемъ и заключается существенное ея различіе отъ историческаго романа. Она должна составлять цѣпь причинъ и слѣдствій, одинъ безконечный силлогизмъ: а силлогизмъ—первый врагъ и антиподъ искусства. Художникъ, предположившій соединить живую форму съ правильнымъ логическимъ доказательствомъ отвлеченной мысли, создаетъ *аллегорію*—нелѣпую и незаконную помѣсь науки и искусства, равно ничтожную и въ дидактическомъ, и въ эстетическомъ отношеніи. Дидактическое произведеніе тогда только имѣетъ какое-нибудь достоинство, когда заключаетъ въ себѣ строгое доказательство идеи, математически правильный выводъ слѣдствій изъ аксіомъ. Аллегорія не представляетъ средствъ къ достиженію этой цѣли; слѣдовательно, она нисколько не обогащаетъ запаса нашихъ познаній и не укрѣпляетъ тѣхъ, которыя въ насъ шатки. Не можемъ не привести здѣсь одного весьма выразительнаго примѣра. Почти вся Шеллингова философія есть безконечная цѣпь аллегорій, цѣпь сравненій, вызывающихъ извѣстную пословицу: „comparaison n'est pas raison“. Такъ какъ самъ Шеллингъ занимался почти исключительно философіей природы, то послѣдователи его рѣшились пополнить его систему перенесеніемъ его идей о развитіи матери на законы духовнаго міра. Рецептъ этого перенесенія очень простъ; но посудите сами, подвигаетъ ли онъ хоть на шагъ человѣческія познанія, и содѣйствуетъ ли онъ сколько-нибудь къ развитію и укрѣпленію человѣческой мысли. Вотъ, на примѣръ, какъ трактовали шеллингисты философію исторіи. Взявъ за исходный пунктъ своей системы тотъ законъ натуральной философіи Шеллинга, по которому матерія развивается посмѣннымъ движеніемъ отъ центра къ окружности и отъ окружности къ центру, они рѣшились во что бы то ни стало найти тожество этого закона съ законами развитія человѣчества. Вздумано—сдѣлано: духъ человѣческій принятъ за центръ, внѣшній міръ за окружность; смотрите: Востокъ представляетъ намъ ту степень развитія, когда человѣкъ, находясь подъ деспотическою властью всего внѣшняго, подчинялся закону движенія отъ окружности къ центру; Греція, страна пластики и гармоніи, составляетъ переходъ отъ Востока къ германскому міру и являетъ собою равновѣсіе того и другого движенія, равновѣсіе силъ центростремительной и центробѣжной; нако-

нецъ, въ германскомъ мірѣ движеніе отъ центра къ окружности беретъ верхъ надъ противоположнымъ; иными словами, духъ торжествуетъ надъ внѣшнимъ міромъ. Все это, конечно, очень остроумно и даетъ поводъ затопить внимающій міръ цѣлымъ моремъ риторики; но вотъ въ чемъ вопросъ: вѣдь для того, чтобъ имѣть право пускать въ ходъ приведенную здѣсь аллегорію, надо, чтобъ основаніе ея было предварительно доказано не аллегорически, не сравненіемъ, а обыкновеннымъ *логическимъ* путемъ, который, конечно, можетъ казаться нѣкоторымъ господамъ немножко труднымъ, да притомъ и слишкомъ пошлымъ, избитымъ, но который, къ сожалѣнію, нельзя миновать, стремясь къ убѣжденію ума. Такъ, напримѣръ, для того, чтобъ имѣть право плѣнять романтическую аудиторію сравненіемъ греческой жизни съ равновѣсіемъ силъ центростремительной и центробѣжной, необходимо попросить добраго человѣка съ обыкновеннымъ логическимъ умомъ изложить и доказать предварительно, что Греція дѣйствительно представляла собою гармонію идей и формъ. Иначе краснорѣчивый философъ рискуетъ прослыть фразеромъ, то-есть, пустомелей.

Въ эстетическомъ отношеніи аллегорія еще безобразнѣе. Кому бы ни вздумалось употребить ее для выраженія мысли въ живой формѣ—живописцу, скульптору, или поэту,—всегда она выйдетъ чѣмъ-то крайне мертвымъ, надутымъ, вымученнымъ и всегда безразличнымъ. Сколько есть на свѣтѣ аллегорическихъ картинъ, претендующихъ на *изображеніе силлогизмовъ и сентенцій*, какъ будто бы самая эта претензія уже не заключаетъ въ себѣ вопіющей нелѣпости! Хотѣтъ въ одно время и сохранить чистую мысль, произведеніе ума, не могущее дѣйствовать ни на что иное, какъ на тотъ же умъ, и въ то же время одѣть эту мысль въ соотвѣтствующій ей образъ, который долженъ дѣйствовать уже не на умъ, а на живое чувство! Спрашивается: во-первыхъ, какъ вы разовьете чистую мысль, когда образами ничего нельзя доказать? во-вторыхъ, какъ вы сладите между собою самые образы въ одно живое цѣлое, когда дѣйствительность не представляетъ вамъ никакого доказательства и никакой сентенціи въ дѣйствіи, въ естественной послѣдовательности и одновременномъ сочетаніи явленій? Одно изъ двухъ: прійдется или ввести въ произведеніе нѣсколько дидактическихъ трактатовъ, то-есть, нарушить его художественную прелесть и значеніе, или натянуть нѣсколько образовъ и сочетаній, невозможныхъ въ жизни, слѣдовательно, не дѣйствующихъ ни на умъ, ни на чувство. Однимъ словомъ, отъ такого произведенія нельзя ожидать никакого дѣйствія, кромѣ того, какое можетъ производить на насъ загадка, шарада и тому подобныя выдумки праздности. Какое сочувствіе можетъ возбудить въ васъ, напримѣръ, изображеніе отвратительной женщины съ змѣиными хвостами на головѣ, съ высунутымъ изъ рта огромнымъ жаломъ, которымъ поражаетъ она другую женщину прекрасной наружности и съ выраженіемъ всевозможныхъ добродѣтелей въ лицѣ? Встрѣтивъ въ картинной галлерей такую странную затѣю, вы, можетъ быть, полюбопыт-

чувствуете узнать, что хотѣлъ выразить художникъ этою скверною картиной, и когда отыщете въ указателѣ, что передъ вами изображеніе *клеветы, уничтожающей невинность*, вы тотчасъ почувствуете, что нечего вамъ было и останавливаться передъ такимъ произведеніемъ, потому что никому изъ насъ нѣтъ дѣла до женщинъ съ змѣиными жалами, а съ сентенціей, которую выражаетъ ея противоестественная продѣлка, мы знакомы съ дѣтства изъ прописей и правоучительныхъ романовъ, отъ которыхъ ничего не выиграли ни въ нравственномъ, ни въ эстетическомъ наслажденіи. А между тѣмъ, тутъ есть идея, и идея не нелѣпая...

Въ хорошемъ историческомъ романѣ также есть идея: иначе, прочитавъ его вы не могли бы составить себѣ яснаго понятія о характерѣ эпохи, которая изображена въ немъ. Отчего же эта идея не только не производитъ на васъ непріятнаго впечатлѣнія, которое такъ сильно производитъ аллегорія, но даже составляетъ необходимое условіе вашего сочувствія къ произведенію романиста? Ясно, что художественная идея должна имѣть существенное различіе отъ идеи дидактической. И въ самомъ дѣлѣ такъ. Прежде всего, нельзя убѣдиться, что она не вливается въ форму силлогизма, не заключаетъ въ себѣ никакого доказательства. Иначе она сообщила бы всему произведенію ту холодность и вялость, какою отличается аллегорія. Но это объясненіе отрицательное. Положительный признакъ художественной идеи заключается въ томъ, что она можетъ быть не только понята, но и *прочувствована*. Можно очень хорошо объяснить себѣ данную эпоху, какъ произведеніе предшествовавшихъ ей обстоятельствъ, и тѣмъ самымъ удовлетворить своей любознательности. Но чтобы принять въ ней кровное участіе и сообщить его другимъ посредствомъ изображенія ея, для этого необходимо открыть въ ней стороны общечеловѣческія, угадать ея симпатическое свойство,—а это уже дѣло чувства. Отчего такъ симпатичны у Вальтера Скотта тѣ же самыя эпохи и тѣ же самыя лица, которыя такъ безразличны у прагматическихъ историковъ? Оттого, что задача какого-нибудь Сисмонди, Гизо, и т. п.—объяснить въ нихъ то, что составляетъ отличіе прошедшихъ эпохъ отъ нашего времени, а не отличіе историческихъ лицъ отъ насъ. Напротивъ, задача Вальтера Скотта—отыскать и изобразить въ нихъ то, что у нихъ общаго съ нами, такъ, чтобъ мы увидѣли, что при подобныхъ обстоятельствахъ мы думали бы, чувствовали и дѣйствовали точно такъ же, какъ они. Но, чтобъ создать такое симпатическое изображеніе, надо самому проникнуться участіемъ къ изображенному предмету, почувствовать свое существенное съ нимъ тожество. Слѣдовательно, идея историческаго романа въ самомъ значеніи своемъ уже заключаетъ въ себѣ существенное различіе отъ идеи исторіи: она рождается въ формѣ *живой любви* или *живого отвращенія* отъ предмета изображенія. Само собою разумѣется, что таково и вообще зачатіе художественной идеи, въ какой бы формѣ ни родилась она. Вотъ почему художникъ очень часто и даже боль-

шею частью самъ не понимаетъ идеи своего произведенія въ ея отвлеченной формѣ. По несовершенству и непопулярности рациональной эстетики, публика мало привыкла разоблачать дидактическую мысль отъ пелены, которою покрыта она въ лонѣ творческой фантазіи. Самое слово *идея* въ этомъ случаѣ много вредитъ настоящему разумѣнію дѣла: мы привыкли разумѣть подъ нимъ чистую мысль и перенесли его въ эстетику изъ логики, не объяснивъ различія, о которомъ здѣсь говорится. Чистая мысль есть выводъ послѣдствій изъ аксіомы или, по крайней мѣрѣ, изъ того, что тотъ или другой принимаетъ за несомнѣнное; художественная мысль—не что иное, какъ чувство тожества, чувство общенія какой бы то ни было дѣйствительности съ человѣкомъ. Какъ всякое чувство, оно возникаетъ безсознательно; но можетъ случиться и такъ, что художникъ успѣетъ разложить его анализомъ и объяснить себѣ значеніе мысли, кроющейся подъ его оболочкой. Хорошо, если не вздумаетъ онъ облечь въ форму художественнаго произведенія силлогизмъ, образовавшійся въ умѣ его въ силу такого разложенія. Хорошо, если стремленіе выразить чувство любви или отвращенія къ предмету возьметъ въ немъ верхъ надъ желаніемъ *доказать* возникшую въ умѣ мысль: и средствъ искусства не хватитъ на доказательства, и самое произведеніе лишится своего симпатическаго свойства, которое не сообщается размышленіемъ.

Въ этомъ отношеніи, чрезвычайно поучительная повѣсть Гоголя „Портретъ“. Произведеніе это не всѣми понято; многіе смотрятъ на него какъ на мистическій рассказъ безъ всякой даже дидактической идеи и отдаютъ справедливость одной только художественной ея обработкѣ. Мы, съ своей стороны, даемъ гораздо болѣе цѣны дидактическому ея значенію, между тѣмъ какъ въ отношеніи къ художественности можно сдѣлать нѣсколько замѣчаній совершенно не въ пользу автора. Правда, первая половина повѣсти безукоризненно изящна. Но во второй противохудожественно уже и то, что вся она написана въ видѣ рассказа одного изъ лицъ на аукціонѣ; а главное, чувствуется, что Гоголь, желая яснѣе высказать свою мысль, заставилъ стараго художника Б\* предложить ее въ видѣ наставленія сыну. Этотъ промахъ много извиняется цѣлью: оказалось, что и въ настоящемъ своемъ видѣ, повѣсть со стороны идеи далеко не понятна большинствомъ. Какъ бы то ни было, промахъ все-таки сдѣланъ, и мы не можемъ умолчать о немъ. Что же касается до дидактическаго содержанія, то оно изумляетъ насъ блескомъ истины, и мы по многимъ причинамъ не можемъ удержаться, чтобы не рассказать его здѣсь въ короткихъ словахъ.

Художникъ Б\* писалъ портретъ одного армянина и, увлекшись необыкновенно живымъ блескомъ его глазъ, задалъ себѣ задачу—во что бы то ни стало скопировать ихъ со всевозможною вѣрностью. Все вниманіе свое устремилъ онъ на эти глаза и въ самомъ дѣлѣ умѣлъ передать ихъ необыкновенно вѣрно, такъ вѣрно, что они выступали изъ полотна, какъ живые. Но вотъ что странно: глаза эти,



несмотря на свою живость, производили чрезвычайно непріятное впечатлѣніе на зрителей: было тяжело смотрѣть на нихъ, они давили своимъ страннымъ блескомъ своимъ выступленіемъ изъ цѣлой картины; никто не могъ выносить ихъ поразительной вѣрности природѣ. И портрету суждено было имѣть гибельное вліяніе на художника и на его сына: таинственная связь существовала между картиной и ихъ несчастіями, которыхъ мы не считаемъ нужнымъ рассказывать. Наконецъ, молодой Б\* приходитъ навѣстить своего отца, виновника портрета, въ монастырь, кудѣ тотъ удалился подѣ старость. Отецъ выслушиваетъ рассказъ сына о несчастіяхъ, постигшихъ его вслѣдствіе обладанія портретомъ армянина, и въ свою очередь рассказываетъ ему и свои несчастія, происшедшія отъ той же таинственной причины. Онъ заключаетъ свой рассказъ совѣтомъ сыну—*никогда не смотри на искусство, какъ на средство къ вѣрному копированію природы, не одушевленому творчествомъ.*

Это—чистая эстетика въ формѣ повѣсти. Но что въ ней добраго? Мистическій рассказъ о несчастіяхъ не доказательство справедливости эстетическаго принципа, который высказанъ въ концѣ рассказа устами стараго Б\*. А между тѣмъ сочувствовать не чему: правда, что, сознавая, вѣроятно, всю важность своей ошибки, Гоголь старается заинтересовать читателя личностью молодого художника: но это аксессуаръ, не выкупающій безжизненности и натянутости цѣлаго. За то „Портретъ“ важенъ для насъ, какъ доказательство того, какъ далеко авторъ его отъ смѣшиванія искусства съ копированіемъ дѣйствительности. Въ большей части остальныхъ его произведеній не знаемъ чему больше удивляться—вѣрности, или близости ихъ къ живымъ интересамъ каждаго. И какъ рѣдко случается встрѣтить у него какой-нибудь догматизмъ: все живетъ и движется у него, какъ въ природѣ, и все полно самой живой симпатичности! Не входя здѣсь въ разборъ многихъ созданій этого великаго таланта, не можемъ не упомянуть о „Старосвѣтскихъ Помѣщикахъ“. Самые заклятые порицатели нашего поэта признаютъ, что этотъ рассказъ есть одно изъ самыхъ *задушевныхъ* произведеній искусства,—и въ то же время рѣшаются утверждать, что въ немъ нѣтъ идеи. На чемъ основанъ этотъ приговоръ? На томъ, что, читая „Старосвѣтскихъ Помѣщиковъ“, никакъ нельзя рѣшить, плѣняется ли авторъ безмятежнымъ блаженствомъ Аѳанасія Ивановича и Пульхеріи Ивановны, или клеймитъ въ ихъ лицахъ степной фамелизмъ съ его лѣнью и чревоугодіемъ, съ протертымъ халатомъ, съ пряженцами всѣхъ сортовъ и съ безконечною вереницей домашнихъ настоекъ. Не хотятъ понять, что задача Гоголя была показана, что, какъ ни смахиваютъ изображенные имъ супруги на пару двуногихъ животныхъ, *но все-таки они люди, существа, достойныя слезъ и смѣха!* Могъ ли бы выполнить эту задачу простой копистъ дѣйствительности? Никогда. Для кописта существуютъ однѣ бездушныя формы жизни; между имъ и предметомъ, который онъ дагерротипируетъ, нѣтъ той тѣсной, органической связи, которая не позво-

ляла бы ему оставаться къ нему равнодушнымъ и не побуждала бы его къ изображеніямъ, исполненнымъ любви и негодованія. Потому-то и черты, которыми думаетъ онъ обрисовать какую-нибудь дѣйствительность, никакъ не сливаются въ организмъ, въ цѣлое, отъ котораго нечего не было бы отнять и къ которому ничего не хотѣлось бы прибавить, потому что нечѣмъ ему взвѣсить характерность и блѣдность оттѣнковъ избраннаго имъ предмета, и нѣтъ никакихъ средствъ разсчитать, гдѣ надо доказать и гдѣ слѣдуетъ остановиться. Сколько существуетъ въ разныхъ литературахъ описаній Рима, а что они всѣ вмѣстѣ передъ однимъ изумительнымъ эскизомъ, набросаннымъ рукой Гоголя? Отчего это происходитъ? Оттого, что въ большой части этихъ описаній видно одно желаніе—во что бы ни стало написать картину, какое-то внѣшнее побужденіе, навѣянное чужими трудами; а у Гоголя каждая черта одушевлена участіемъ къ предмету, любовью или негодованіемъ.

Вотъ все, что изученіе образцовъ искусства и случайное или преднамѣренное наблюденіе надъ дѣятельностью художниковъ открываетъ намъ въ области творчества. Претендовать на объясненіе самого процесса зачатія и выраженія художественной мысли значило бы имѣть притязаніе на познаніе сущности творческой фантазіи. Впрочемъ, зачѣмъ намъ и знать болѣе? Довольно если эстетическій опытъ позволяетъ намъ заключить, что художественная мысль зарождается въ формѣ любви или негодованія, и что *тайна творчества состоитъ въ способности вѣрно изображать дѣйствительность съ ея симпатической стороны*. Иными словами, художественное творчество есть *пересозданіе дѣйствительности, совершаемое не измѣненіемъ ея формъ, а возведеніемъ ихъ въ міръ человѣческихъ интересовъ (въ поэзію)*. Можетъ быть, по господствующимъ понятіямъ о всемогуществѣ поэтического генія, приблизить къ человѣку, породнить съ нимъ предметъ, повидимому для него безразличный,—слишкомъ шуточная задача, не требующая особеннаго сочетанія душевныхъ силъ; но смѣемъ рекомендовать всякому, кто только зараженъ этимъ образомъ мыслей, прежде всего спросить самого себя: откуда почерпнулъ онъ свои идеи о художественномъ творчествѣ? Окажется, непременно окажется, что источникомъ послужили ему часто упоминаемыя произведенія романтической литературы, съ которыми, конечно, чрезвычайно полезно справляться тогда, когда настоятъ крайность составить себѣ сильное сужденіе объ удовольствіи страданія, о жизни на землѣ безъ пищи и безъ денегъ, о тайной гармоніи душъ, никогда не встрѣчавшихся въ мірѣ, и вообще о предметахъ въ высшей степени любопытныхъ, но не существующихъ и не подлежащихъ человѣческому познанію. Но зачѣмъ же освѣдомляться въ романтической доктринѣ о такихъ вещахъ, которыя дѣйствительно существуютъ и о которыхъ потому самому желали бы вы имѣть *дѣйствительное*, а не романтическое понятіе? Для этого существуютъ разные науки, основанныя на *опытѣ*, на началѣ, глубоко презираемомъ романтиками,



и между прочими—психологія, прелюбопытная, но презлая наука, изъ которой давно долженъ бы былъ познать человѣкъ, что онъ во всемъ ограниченъ, въ томъ числѣ и въ творческой фантазіи, будь онъ первѣйшій и славнѣйшій изъ романтиковъ и неоромантиковъ. Всѣ психологи согласны въ томъ, что какъ бы ни было распалено воображеніе, чѣмъ бы ни довели его до апогеи самонадѣянности—шампанскимъ, опіумомъ или даже хоть романтическою поэзіей, никогда не породитъ она ничего такого, въ чемъ бы не было хоть одной капли дѣйствительности. Разстроенная, то-есть, по понятію нѣкоторыхъ особъ, *озаренная вдохновеніемъ* фантазія можетъ увеличить или уменьшить какую угодно дѣйствительность, можетъ переставить дѣйствительные предметы изъ того мѣста, гдѣ поставила ихъ природа, въ такое, гдѣ имъ рѣшительно не зачѣмъ быть, можетъ заставить какое угодно дѣйствительное явленіе совершиться при такихъ обстоятельствахъ, при какихъ оно никогда не бываетъ, однимъ словомъ—ничто не мѣшаетъ досужему человѣку, для невиннаго препровожденія времени, дѣлать съ дѣйствительностью то же, что калейдоскопъ дѣлаетъ съ разноцвѣтными камешками, а вѣтеръ—съ пылью и съ щепками. Измѣненіе отношеній, существующихъ въ дѣйствительности,—вотъ предѣлъ самодѣянности самаго безпутнаго воображенія. Слѣдовательно, напрасно стали бы упрекать насъ въ томъ, что мы отводимъ слишкомъ тѣсную область творчеству поэта, ограничивая его способностью приводить изображаемую имъ дѣйствительность въ соприкосновеніе съ человѣческимъ міромъ и извлекать ее изъ сферы мертваго безразличія въ кругъ явленій, затрогивающихъ человѣческое чувство любви и антипатіи. Намъ кажется даже, что мы не только не стѣсняемъ, но еще и расширяемъ размѣръ дѣятельности художественной фантазіи. Самое *очеловѣченіе дѣйствительности*—такой процессъ, о которомъ не заботились эстетики, преподававшіе, напротивъ того, всевозможныя правила для истребленія въ искусствѣ всякихъ поползновеній въ изображенію человѣка и природы въ такомъ видѣ, въ какомъ они могутъ дѣйствовать на живое чувство. Сверхъ того, по новѣйшимъ эстетическимъ принципамъ, воображенію художника дается полная свобода воспроизводить всякую дѣйствительность, между тѣмъ какъ классицизмъ и романтизмъ ограничивали міръ искусства, первый—какою-то чрезвычайно деликатною оферой *пріятнаго* (*agteable, aimable*), послѣдній—не менѣе тѣснымъ міромъ *необыкновеннаго, эксцентрическаго*.

Въ заключеніе, остается сказать нѣсколько словъ тѣмъ, которые возстаютъ на гоголевскую школу за воспроизведеніе такъ-называемыхъ *грязныхъ* явленій дѣйствительности.

Въ жизни человѣческой и вообще въ мірѣ нѣтъ такого зла, которое мы имѣли бы право разсматривать и изображать въ отрѣшенномъ видѣ, независимо отъ причинъ, которыя произвели его. Всякое зло, взятое отдѣльно, какъ самостоятельное явленіе,—чистая ложь, потому что въ дѣйствительности зло не имѣ-

есть никакой самостоятельности. Но такъ какъ истинный художникъ никогда не изображаетъ дѣйствительности такъ, чтобъ она не намекала на какія-нибудь явленія, съ которыми находится она въ тѣсной, органической связи, и которыя приобщаютъ ее къ сферѣ человѣческихъ интересовъ, то и всякое зло, всякая грязь, всякая гнусность, пройдя сквозь призму художественнаго созерцанія, сбрасываетъ съ себя ту печать отверженія, которую налагаетъ на него обыкновенный прозаическій взглядъ на жизнь. Видъ всякой язвы отвратителенъ; но когда вы встрѣчаете ее не на рисункахъ, приложенныхъ къ медицинскому сочиненію, не въ отвлеченіи, а на тѣлѣ живого человѣка, въ которомъ признаете своего брата, второго себя,—къ какому бы состоянію онъ ни принадлежалъ, въ большихъ ли онъ чинахъ, или въ малыхъ, или совсѣмъ безъ чиновъ,—въ васъ заговоритъ любовь, вы почувствуете на самомъ себѣ эту язву, вы схватитесь за собственную грудь и ощутите собственными нервами ту самую боль, которая сводитъ въ судороги члены вашего брата; тогда и язва не только потеряетъ въ вашихъ глазахъ всю свою отвратительность, но и возбудитъ въ васъ могущественную симпатію. Все дѣло только въ томъ, чтобы вы узнали въ прокаженномъ себя самого, а въ этомъ распознаваніи никто не можетъ вамъ помочь такъ, какъ истинный художникъ, если онъ вздумаетъ воспроизвести передъ вами горестное явленіе. Вотъ почему грязь, оставаясь грязью подъ кистью кописта, превращается на картинѣ талантливаго художника въ такую же поэзію, какъ и всякая другая дѣйствительность. Изъ этого слѣдуетъ также, что возможность наслажденія изящнымъ произведеніемъ, въ которомъ много такого, что нынче называютъ *грязнымъ*, а въ старину называли *подлымъ*, зависитъ отъ филантропическаго развитія самихъ читателей.

Вотъ все, что казалось намъ необходимымъ сказать о содержаніи художественнаго произведенія вообще для того, чтобъ имѣть право признать изящество содержанія той части поэзіи Кольцова, тоторя имѣетъ предметомъ своимъ русскій крестьянскій бытъ, и противопоставить свой взглядъ тому, кто сталъ бы находить въ нихъ *пошлость*, *дагерротипированіе* и *грязь*. Въ заключеніе этого перваго вопроса приведемъ какія-нибудь выписки. Вотъ, напримѣръ, стихотвореніе „Молодая Жница“. Передъ вами крестьянка, которая влюблена ничѣмъ не хуже какой-нибудь блѣдной барышни

Съ туманной думою въ очахъ,  
Съ французской книжкой въ рукахъ,

а между тѣмъ посмотрите, какъ тяжело она обставлена своимъ бытомъ:

Высоко стоитъ  
Солнце на небѣ,  
Горячо печетъ  
Землю матушку.

Душно дѣвицѣ,  
Грустно на полѣ,  
Нѣтъ охоты жать  
Колосистой ржи.

Всю сожгло ее  
Поле жаркое,  
Горить горьмя все  
Лицо бѣлое.

Голова со плечъ  
На грудь клонится,  
Колосъ срѣзанный  
Изъ рукъ валится...

Не съ проста ума  
Жница жнетъ — не жнетъ,  
Глядитъ въ сторону,  
Забывается.

Охъ, болитъ у ней  
Сердце бѣдное,  
Заронилось въ немъ  
Небывалое!

Она шла вчера —  
Не рабочимъ днемъ,  
Лѣсомъ шла себѣ  
По малинушку;

Повстрѣчался ей  
Добрый молодецъ;  
Ужъ не въ первый разъ  
Повстрѣчался онъ.

Повстрѣчался  
Вудто не хотя,  
И стоитъ, глядитъ  
Какъ-то жалобно.

Онъ вздохнулъ, заплѣлъ  
Пѣсню грустную, —  
Далеко въ лѣсу  
Раздалась та пѣснь.

Глубоко въ душѣ  
Красной дѣвицы  
Отзвучала она  
И зашла въ ней...

Душно жарко ей,  
Грустно на полѣ,  
Нѣтъ охоты жать  
Колосистой ржи...

Вотъ еще стихотвореніе, въ которомъ *человѣкъ* такъ слитъ съ *крестьяниномъ*, что, прочитавъ его, нельзя не почувствовать самой нѣжной любви къ кафтану и лаптямъ: не потому, разумѣется, чтобъ въ нихъ-то и заключалась вся тайна и разгадка гуманности, а потому что Кольцовъ умѣетъ слишкомъ хорошо выставить изъ-подъ самой неграціозной оболочки то, что часто заглушено подъ блестящимъ костюмомъ.

#### РАЗМЫШЛЕНІЯ ПОСЕЛЯНИНА.

На восьмой десятокъ  
Пять лѣтъ перегнулось.  
Какъ одну я пѣсю,  
Нѣсю молодую,  
Пою, запѣваю,  
Старую погудкой,  
Какъ одну я лямку,  
Тяну безъ подмоги!  
Ровесникамъ дѣтки  
Давно помогаютъ,  
Только мнѣ на свѣтѣ  
Перемѣны нѣту.  
Сынъ поспѣлъ на службу,  
А другой въ могилу;  
Двѣ вдовы невѣстки,  
У нихъ дѣтей куча—  
Все малъ мала меньше;  
Збѣдной головою  
Ничего не знаютъ,  
Гдѣ пахать, что сѣять  
Позабыли думать.  
Богу, знать, угодно  
Наказать подъ старость  
Меня горемыку  
Такой тяготою;  
Сбыть съ двора невѣстокъ—  
Пустить сиротъ въ люди!  
Старикъ на сходкѣ  
Про Кузьму что скажутъ?  
Нѣтъ, мой вгадъ, ужъ лучше.  
Доколь мочь и сила,  
Доколь душа въ тѣлѣ,  
Буду я трудиться:  
Кто у Бога просить

Да работать любить,  
 Тому невидимо  
 Господь посылаетъ.  
 Посмотришь: одинъ я  
 Батракъ и хозяинъ;  
 А живу чѣмъ хуже  
 Людей семьянистыхъ?  
 Лиха бѣда въ землю  
 Кормилицу-ржицу  
 Мужичку закинуть;  
 А тамъ Богъ уродитъ,  
 Микола подсобитъ,  
 Собрать хлѣбецъ съ поля;  
 Такъ его достанетъ  
 Годъ семью пробавить,  
 И лишней копейкой  
 Божій праздникъ встрѣтитъ.

Вотъ что значитъ возводить дѣйствительность въ поэзію! Мы не будемъ приводить другихъ примѣровъ, потому что матеріаломъ большей части стихотвореній Кольцова служить русскій крестьянскій бытъ, на который онъ, какъ истинный художникъ, смотритъ со стороны его человѣческаго характера, въ то же время никогда не погрѣшая противъ дѣйствительности.

Но ограничивается ли сфера поэзіи Кольцова возведеніемъ въ поэзію, то-есть, гуманизированіемъ русскаго крестьянскаго быта? Мы полагаемъ, что эта сфера гораздо обширнѣе, и что поэзія русскаго крестьянскаго быта составляетъ только одну изъ подчиненныхъ областей того міра, который создалъ или, по крайней мѣрѣ, стримился создать нашъ художникъ. Въ собраніи его стихотвореній находимъ мы много превосходныхъ піесъ, отличающихся глубокою оригинальностью и вовсе не заключающихъ въ себѣ отвѣта на вопросъ объ упоминутомъ характерѣ русскаго крестьянина. Читая эти піесы, нельзя не замѣтить, что другая, несравненно громаднѣйшая задача занимала поэта, другое колоссальное, богатырское стремленіе рвалось изъ тревожной души, силилось пробиться сквозь огромныя пренятствія, иногда и успѣвало на мигъ находить себѣ выходъ, но всегда должно было возвращаться внутрь себя, однакожъ не для коснѣнія въ безвыходномъ отчаяніи, а для пріисканія новыхъ путей въ выходу на широкое поле свободной дѣятельности. Это могучее, ничѣмъ несокрушимое стремленіе не перестало бушевать въ сердцѣ Кольцова до самой его смерти и выразилось во всей своей фізіономіи въ его стихотвореніяхъ... Къ чему же онъ стремился? Къ чему рвалась эта странная сила, раздраженная, но не смятая преградами? Онъ стремился къ *жизни*, къ дѣятельности, соразмѣрной съ его огромными способностями, къ разнообразной и обильной пищѣ для души, переполненной черезъ край безконечно разно-

образными и вопіющими потребностями — символами могучей жизненности. Прочитайте его біографію: вы увидите, что вся жизнь его прошла въ борьбѣ съ дѣйствительностью, которая базжалостно дразнила его, указывая ему по временамъ тотъ обѣтованный край, къ которому онъ неуклонно стремился, для того только, чтобъ снова отбрасывать его къ началу пути. Болѣе всего на свѣтѣ Кольцовъ любилъ искусство и науку; но ни съ тѣмъ, ни съ другимъ не имѣлъ средствъ ознакомиться такъ, какъ хотѣлъ и какъ необходимо ознакомится для того, чтобъ они питали душу. Всю жизнь мечталъ онъ о томъ, чтобъ попасть въ кругъ людей мыслящихъ, но попадалъ въ него не надолго, чтобъ возвращаться къ людямъ, никогда его не понимавшимъ. И та дѣятельность, которой по неволѣ предавался онъ всю жизнь, не только не вела его къ успѣхамъ, но еще и раздражала его постоянными неудачами и часто даже жестокими ударами! Спрашиваемъ: чего можно ожидать отъ обыкновеннаго человѣка въ такомъ положеніи? Какъ проявляется обыкновенная натура, встрѣчая противорѣчіе между своими стремленіями и дѣятельностью? Быстрымъ изнеможеніемъ силъ и отвращеніемъ отъ дѣятельности вообще. Мы привыкли укорять людей за лѣность, за презрѣніе къ труду, привыкли читать цѣлымъ народамъ филиппики на эту тему, написали во всѣхъ азбукахъ и прописяхъ, что она, лѣность, есть мать, всѣхъ пороковъ, и въ жару восторга забыли подумать о томъ, что по непреодолимому закону причинности, и мать всѣхъ пороковъ не есть первая, самостоятельная, сама въ себѣ заключенная сила, не имѣющая начала въ другихъ явленіяхъ дѣйствительности. Въ самомъ дѣлѣ, какъ вы можете требовать отъ вашего сына, чтобъ онъ прилежно занимался, напримѣръ, музыкой, когда въ немъ сильнѣе всего развита потребность гимнастики, или чтобъ онъ посвящалъ силы свои коммерческимъ оборотамъ, тогда какъ въ немъ преобладаетъ потребность умственнаго созерцанія? Конечно, посредствомъ напряженія силъ можно заставить себя сдѣлать все, что угодно, съ грѣхомъ пополамъ; но во-первыхъ, малая сила скоро должна уступить напору большей силы и истощиться; во-вторыхъ, зачѣмъ же обрекать человѣка на посредственность въ одной сферѣ труда, если онъ можетъ быть хорошимъ дѣтелемъ въ другой? въ-третьихъ, зачѣмъ обрекать его на муку, когда бы онъ могъ найти въ своей нормальной дѣятельности наслажденіе, для котораго созданъ наравнѣ со всѣмъ чувствующимъ? А главное, какъ можно требовать отъ человѣка, или отъ массы людей, чтобъ они не лѣнились, когда обстоятельства, вмѣсто того, чтобъ постоянно развивать ихъ силы и направлять ихъ къ удовлетворенію потребностей, то-есть къ наслажденію, ежеминутно ведутъ ихъ къ изнеможенію и къ мукѣ не какимъ инымъ путемъ, какъ путемъ труда, только не нормальнаго, а вынужденнаго?.. Чѣмъ обыкновеннѣе, то-есть, чамъ бѣднѣе натура человѣка, тѣмъ специальнѣе его преобладающая потребность, тѣмъ тѣснѣе и кругъ условій, при которыхъ онъ можетъ находить себѣ удовлетвореніе въ трудѣ. Этимъ объясняется безпрестанное

встрѣчающееся у обыкновенныхъ, маложизненныхъ людей и отвращеніе отъ труда вообще, и апатическій взглядъ на жизнь, и даже безвыходное отчаяніе. Съ такою натурой надо обходиться очень заботливо, ведя ее постоянно по той колѣѣ, къ которой она сама собою устремляется, не будучи въ силахъ вынести другого пути. Наротивъ, у натуры, одаренной многоразличными потребностями, такъ много сочувствія къ жизни въ разнообразныхъ ея проявленіяхъ, что она можетъ выдержать самый отдаленный, самый окольный путь къ завѣтной мечтѣ своихъ стремленій, извлекая наслажденіе изъ того, что, по видимому, не можетъ возбуждать въ ней никакого сочувствія. Здѣсь должно искать отвѣта на вопросъ: почему огромный талантъ выходитъ на свою дорогу, несмотря ни на какія препятствія, между тѣмъ какъ слабый спотыкается о первыя преграды и испаряется, какъ летучій газъ изъ легкопрорываемой оболочки. Мало того, что первый слишкомъ тѣсно связанъ съ личностью, такъ сказать, съ темпераментомъ человѣка: путь жизни, устѣянный преградами къ естественному развитію, можетъ обезличить человѣка, а дѣйствительно обезличиваетъ милліоны, а вмѣстѣ съ тѣмъ и самый талантъ гложетъ и исчезаетъ. Но дѣло въ томъ, что чѣмъ огромнѣе талантъ, тѣмъ онъ многостороннѣе,—а этого не могло бы и быть, если бъ въ человѣкѣ, имъ одаренномъ, не было сочувствія къ разнообразію дѣйствительности, и если бъ онъ не находилъ какой-нибудь пищи душѣ до тѣхъ поръ, пока попадаетъ на то содержаніе, къ которому преимущественно стремится. Итакъ, любовь къ жизни со всѣми ея свойствами и во всѣхъ ея формахъ есть необходимый атрибутъ огромнаго, многообъемлющаго таланта, неизбѣжное условіе его способности пребывать въ силѣ и полнотѣ. Исторія всѣхъ геніальныхъ людей подтверждаетъ эту психологическую истину: всѣ они одарены были отъ природы обиліемъ самыхъ разнообразныхъ потребностей и страстною любовью къ многообразному наслажденію жизнью: обстоятельство, которое помогало имъ выдерживать продолжительную борьбу съ препятствіями, отдалявшими ихъ отъ завѣтныхъ цѣлей, отъ задушевной дѣятельности. Таковъ былъ и Кольцовъ: любовь къ жизни во всей ея обширности составляла основу его личности и выразилась въ его поэзіи. Рано почувствовалъ онъ въ себѣ поэтическое призваніе и склонность къ умственной дѣятельности, сообразной съ этимъ призваніемъ. Случайныя обстоятельства доставили ему и возможность ознакомиться съ средствами къ утоленію терзавшей его жажды. Но въ то же время необходимость удерживала его или въ степи, среди стадъ и гуртовщиковъ, или на городскихъ рынкахъ, гдѣ, въ качествѣ прасола, онъ тратилъ силы свои на возню съ торгашествомъ и надувательствомъ. И что жъ? Онъ не только не изнемогъ подъ бременемъ этой дѣйствительности, но еще отыскалъ въ ней источники упоеній и матеріалъ для поэзіи. Тяжело было ему жить въ степи, потому что душа его рвалась въ міръ, созданный наукой и просвѣтленный искусствомъ; но самая степь плѣняла его своею нерукотворною красотой; онъ



любилъ ее, какъ художникъ... Еще тяжеле было ему сносить всѣ явленія окружающаго его быта; но и въ этомъ быту художественный инстинктъ его отыскалъ искры человѣчности, заслоненныя отъ глазъ обыкновеннаго человѣка, и создалъ то, что называемъ мы поэзіей крестьянскаго быта. Наконецъ, самый родъ труда, которому онъ посвящалъ свои силы, казалось, долженъ бы былъ довести его до отчаянія; напротивъ, онъ не могъ не любить своихъ занятій, не могъ отказать имъ въ плѣнительности, потому что какъ ни рознили они съ его склонностями, все-таки онъ видѣлъ въ нихъ исходъ для дѣятельности, гимнастику способностей и, можетъ быть, забвеніе горестныхъ думъ...

Что ты ходишь съ нуждой  
По чужимъ по людямъ?  
Вѣруй силамъ души  
Да могучимъ плечамъ.

На заботы жъ свои  
Чуть заря поднимись,  
И одинъ во весь день  
Что есть мочи трудись.

Неудачи, бѣда?  
Съ грустью дома сиди;  
А съ зарею опять  
Къ новымъ нуждамъ иди.

И такъ бейся, пока  
Случай счастье найдетъ  
И на славу твою  
Жить съ тобою начнетъ.

Та же сила тогда  
Другой голосъ возьметъ,  
И чудно, и смѣшно.  
Всѣхъ къ тебѣ прикуетъ.

И тѣ жъ люди враги,  
Что чуждались тебя,  
Богъ ужъ вѣдаетъ какъ  
Назовутся въ друзья.

Ты не сердись на нихъ;  
Но спокойно, въ тиши  
Жизнь горою пируй,  
По желаньямъ души

Иногда жизненность доходила у Кольцова до такой высоты страстнаго увлеченія, что онъ плѣнялся жизнью, представляя ее себѣ въ какомъ-то упоительномъ отвлеченіи, охватывая любовью всѣ ея стороны разомъ, благословляя однимъ задушевымъ гимномъ все ея содержаніе, и добро и зло, и радость и

горе. Казалось бы, что такой взгляд не может составлять поэтического содержания; ибо по привычкѣ къ мелкимъ, одностороннимъ страстямъ намъ не вѣрится, чтобъ такая многообъемлющая идея, какова идея жизни, могла быть прочувствована человѣческимъ сердцемъ и изъ чистой мысли перейти въ ощущение. Но посмотрите и подивитесь, какъ легко совершался этотъ процессъ въ могучей натурѣ нашего поэта, и согласитесь, что онъ носилъ въ себѣ силы исполина:

Въ непогоду вѣтеръ  
Воесть, завываетъ;  
Буйную головку  
Злая грусть терзаетъ.

Горемычной долѣ  
Нѣтъ нигдѣ привѣта:  
До сѣдыхъ волосъ любовью  
Душа не согрѣта.

Нѣту силъ; усталъ я  
Съ этимъ горемъ биться,—  
А на свѣтъ посмотришь:  
Жалко съ нимъ проститься!

Доля жъ, моя доля!  
Гдѣ ты запропала?  
До поры, до время  
Въ воду камнемъ пала?

Поднимись—что силы,  
Размахни крылами:  
Можетъ, наша радость  
Живетъ за горами.

Если нѣтъ, у моря  
Сядемъ, да дождемся;  
*Безъ любви и съ горемъ*  
*Жизнью наживемся.*

Последніе два стиха составляютъ истинный пафосъ жизненности. Но вотъ еще цѣлая пьеса, заключающая въ себѣ ту же тему, вараженную въ формахъ удачества:

*Какъ здоровъ да молодъ—*  
*Безъ веселья веселъ;*  
Безъ призыва счастье  
И валить, и ѣдетъ.

Въ непогоду—вѣтеръ  
Шапка на макушкѣ;  
Проходи попъ, баринъ—  
Волоска не тронемъ!

*Только думъ, заботы,  
У царя-головки—  
Погулять по свѣту,  
Пожить на распашкѣ;*

*Свою удаль-силку  
Попытать на людяхъ,  
Чтобъ не стыдно вспомнить  
Молодое время!...*

Нельзя пропустить безъ вниманія тѣхъ стихотвореній Кольцова, въ которыхъ жизненность его выразилась въ отрицаніи и стремленіи. Считаемъ необходимымъ указать на нѣсколько превосходныхъ пьесъ, обнаруживающихъ его борьбу съ дѣйствительностью, его постоянное порываніе въ лучшій міръ и доказывающихъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, что его способность принимать жизнь такъ, какъ она есть, не имѣла ничего общаго съ свойствомъ натуръ, неспособныхъ ко развитію и довольныхъ всѣмъ на свѣтѣ по безстрастію. Въ этомъ отношеніи чрезвычайно замѣчательны, напримѣръ, стихотворенія: „Удалецъ“, „Тоска по волѣ“, „Дума Сокола“, „Перепутье“, „Много есть у меня“. Посмотрите, какимъ могучимъ горемъ напоены, напримѣръ, вотъ эти стихи:

*Мнѣ ли, молодцу  
Разудалому,  
Зиму зимскую  
Жить за печкою?*

*Мнѣ ль поля пахать?  
Мнѣ ль траву косить,  
Затоплять овицъ,  
Молотить овесъ?*

*Мнѣ поля—не другъ,  
Коса—мачиха,  
Люди добрые—  
Не сосѣди мнѣ...*

Или слѣдующее:

*Долго ль буду я  
Сиднемъ дома жить,  
Мою молодость  
Ни на что губить?*

*Долго ль буду я  
Подъ окномъ сидѣть,  
По дорогѣ вдоль  
День и ночь глядѣть?*

Иль у сокола  
Крылья связаны,  
Иль пути ему  
Всѣ заказаны?

Иль боятся онъ  
Въ чужихъ людяхъ быть,  
Съ судьбой-мачихой  
Самъ собою жить?...

. . . . .

Или:

*Сидѣть дома, болѣть, старѣться,  
Съ старчкомъ-отцомъ вновь ссориться,  
Работать, съ женой хозяйничать,  
Ребятишкамъ сказки сказывать...*

Хоть не такъ оно невыгодно,  
Но, положимъ—дѣлать нечего;  
Въ непогоду—не до плаванья,  
За большимъ въ нуждѣ не гонятся...

. . . . .

*Куда глянешь—всюду наша степь,  
На горахъ лѣса, сады, дома;  
На днѣ моря груды золота;  
Облака идутъ—нарядъ несутъ!..*

Но вотъ что замѣчательно: трудно найти поэта, котораго стремленія были бы въ одно время такъ же сильны и такъ же бесплодны, какъ стремленія Кольцова. Читая его, вы убѣждаетесь въ ихъ неподдѣльности, въ ихъ несомнѣнной реальности; но нѣтъ у него ни одной пьесы, гдѣ бы онъ высказалъ ярко и опредѣлительно тотъ идеалъ жизни, къ которому постоянно и неуклонно рвалась страстная душа его. Видно, что онъ самъ никогда не могъ дать въ этомъ себѣ столь яснаго отчета, чтобъ могъ передать его точными и живописно вѣрными словами. Поэтому, ясный и точный во всемъ остальномъ, онъ дѣлается загадочнымъ всякій разъ, когда доводитъ рѣчь до предмета своихъ порывовъ. Вы чувствуете, что стремленіе его исполнено жизни и могущества; но напрасно стали бы вы искать въ его стихахъ изображенія того міра, который самому ему являлся полнымъ неуловимой тайны...

Много есть у меня  
Теремовъ и садовъ,  
И раздольныхъ полей,  
И дремучихъ лѣсовъ.

Много есть у меня  
Деревень и людей,  
И знакомыхъ бояръ,  
И надежныхъ друзей.

Много есть у меня  
Жемчуговъ и мѣховъ,  
Драгоцѣнныхъ одеждъ,  
Разноцвѣтныхъ ковровъ.

Много есть у меня  
Для пировъ серебра,  
Для бесѣдъ красныхъ словъ,  
Для веселья вина.

Но я знаю, на что  
Травъ волшебныхъ тѣлу;  
Но я знаю, о чемъ  
Самъ съ собою грущу...

Стихотвореніе это можетъ служить доказательствомъ сказаннаго и совершеннымъ образцомъ того, какъ уклонялся Кольцовъ отъ описанія того, что онъ только предчувствовалъ и предугадывалъ. Не будь онъ истиннымъ художникомъ, мы непременно прочли бы у него множество звучныхъ стиховъ, составленныхъ изъ романтическихъ погремушекъ, стиховъ, въ которыхъ объяснилось бы намъ, что онъ, поэтъ,

Роскошный міръ мечтой себѣ построилъ,  
Невысканной бездушною толпой,  
Гдѣ сердце онъ отъ горя упокоилъ,  
Руководимъ фантазіей живой,  
Гдѣ все полно любви и сладострастья,  
Гдѣ сладкимъ сномъ душа упоена,  
Гдѣ нѣтъ ни бурь, ни злобы, ни несчастья,

—однимъ словомъ, гдѣ происходятъ такія чудеса, какихъ намъ, грѣшнымъ, и во снѣ не видать. Кольцовъ, какъ художникъ, не имѣвшій чести принадлежать къ блестящему сонму романтическихъ поэтовъ, не смѣлъ и браться за рассказы о томъ, чего не сознавалъ ясно. Но спрашивается: гдѣ же причина этой неясности сознанія, или, лучше сказать, гдѣ причина того, что всѣ его порывы остались порывами и никогда не переходили даже въ стремленіе къ опредѣленной, правильно очерченной цѣли? Разгадать это явленіе очень легко: стоитъ только ознакомиться съ его біографіей. Даже изъ немногихъ чертъ, приведенныхъ выше, нельзя не догадаться, что Кольцовъ всю жизнь свою былъ жертвою великой внутренней драмы, которая постоянно терзала его дѣятельную душу и поддерживалась въ своемъ горестномъ характерѣ убійственной несоразмѣрностью великихъ потребностей и силъ, данныхъ природой, съ ничтожною суммой *свѣдѣній*, приобретаемыхъ исключительно путемъ эрудиціи. Чтобъ понять всю сокрушительность этой драмы, надо войти въ положеніе истиннаго таланта, томимаго жаждой исхода и обрѣченнаго тѣмъ, что называется *судьбою*, на томленіе почти безвыходное. Человѣкъ

съ силами Кольцова не можетъ не терзаться бесплодностью своей мысли; праздное созерцаніе брамина ему невыносимо; демонъ творчества раскаленнымъ желѣзомъ побуждаетъ его сказать свое слово обо всемъ, что тревожитъ любознательность, и сказать это слово такъ громко, такъ торжественно ясно, чтобъ услышали и поняли его люди, чтобъ развилось оно въ народныхъ массахъ, потоками новыхъ плодотворныхъ словъ и перешло въ жизнь человѣческихъ обществъ. Въ этомъ непреодолимомъ стремленіи и выражается социальность человѣческой натуры. Но какъ увеличить сумму убѣжденій общества такой человѣкъ, который незнакомъ былъ и съ тѣмъ, что оно рѣшило? Чтобы содѣйствовать умственному прогрессу общества, надо прежде всего стать съ нимъ вровень: иначе нечего будетъ ни отрицать, ни утверждать на пользу его. А все сдѣланное Кольцовымъ для пріобрѣтенія обиходнаго образованія было недостаточно и для того, чтобъ сравняться съ людьми, также самыми обиходными, но обученными *разнымъ предметамъ*, съ людьми, которые самою натурой обезпечены отъ ощущенія несоразмѣрностью нравственныхъ потребностей съ степенью ихъ удовлетворенія, съ людьми, которые тогда только и чувствуютъ побужденіе сказать свое слово, когда за картами или за обѣдомъ зайдетъ рѣчь о прелестяхъ сытнаго мѣста или о преимуществахъ такого-то ресторана.

„Думы“ Кольцова служатъ печальнымъ образчикомъ того, къ какимъ жалкимъ путямъ прибѣгаетъ человѣкъ, тревожимый великими вопросами и незнакомый съ тѣмъ, какъ рѣшало ихъ человѣчество, и до чего дошло оно въ вѣчномъ процессѣ своей дѣятельной мысли. Отвѣты, которыми онъ хотѣлъ унять свою любознательность, конечно, были бы ниже критики, если бъ они сдѣланы были человекомъ, поставленнымъ въ возможность продолжать трудъ, понесенный вѣками. Но какъ произведенія ума, почти что изолированнаго отъ минувшей и современной мудрости, они въ высшей степени замѣчательны и много говорятъ въ пользу личности нашего поэта. Во-первыхъ, они доказываютъ, что онъ не могъ жить съ не разрѣшенными вопросами въ умѣ: онъ обманывалъ самого себя, чтобъ какъ-нибудь, во что бы ни стало, добыть себѣ хоть призракъ отвѣта на задачи, отъ которыхъ изнывалъ и таялъ. Не доказываетъ ли это непомѣрной исполинской силы его потребностей, силы, которая, по логикѣ природы, всегда сопровождается въ человѣкѣ такою же силою творчества? Не природу надо обвинять въ томъ, что часто эта вторая сила гложетъ въ бесплодномъ томленіи... Направленіе „Думъ“ Кольцова—мистицизмъ, отчаянное отрицаніе разума. Но можно ли допустить, чтобъ мистицизмъ его былъ выраженіемъ его искреннихъ убѣжденій? Можно ли повѣрить, чтобъ человѣкъ, переполненный любовью къ жизни до такой степени силы и фанатизма, какъ Кольцовъ, былъ мистикомъ въ душѣ, чтобъ онъ отрекся отъ разума, отъ того, что даетъ жизни смыслъ и значеніе? Нѣтъ, допустить этотъ фактъ—то же, что признать непосредственное происхожденіе безсилія отъ силы. Но, кромѣ этого апріорическаго соображенія, мы имѣемъ и

фактическое доказательство того, что Кольцовъ прибѣгалъ къ мистицизму, какъ человѣкъ, измученный внѣшнею невозможностью рѣшить сокрушавшіе его вопросы обыкновеннымъ путемъ логики. Доказательство это заключается въ думѣ „Не время ль намъ оставить“, въ которой, по словамъ автора статьи „О жизни и сочиненіяхъ Кольцова“, „видѣтъ рѣшительный выходъ изъ тумановъ и мистицизма и крутой поворотъ къ простымъ созерцаніямъ разсудка“ (стр. LXVIII). Выписываемъ это стихотвореніе, какъ лучшій аргументъ:

Не время ль намъ оставить  
Про высоты мечтать,  
Земную жизнь безславить,  
Что есть, иль нѣтъ—желать?

Легко, конечно, строить  
Воздушные міры,  
И увѣрять, и спорить,  
Какъ въ нихъ-то важны мы!

Но отъ души ль, порою,  
Въ насъ чувство говоритъ,  
Что жизнь ю земною  
Нѣтъ нужды дорожить?...

Темна, страшна могила.  
За далью—мракъ густой;  
Ни вѣсти, ни отзыва,  
На вопль нашъ роковой.

А тутъ дары земные,  
Дыханіе цвѣтовъ,  
Дни, ночи золотыя,  
Разгульный шумъ лѣсовъ

И сердца жизнь живая,  
И чувства огнь святой,  
И дѣва молодая  
Блещетъ красотой.

Итакъ, „Думы“ Кольцова, несмотря на отсутствіе въ нихъ безусловныхъ достоинствъ, должны ставить его высоко въ мнѣніи человѣка безпристрастнаго. Онѣ доказываютъ, во-первыхъ, исполинское развитіе нравственныхъ потребностей въ натурѣ поэта, во-вторыхъ, то, что его природный умъ, а главное, его жизненность не дали ему закоснѣть въ такомъ направленіи, въ которомъ погибали цѣлыя поколѣнія образованнѣйшихъ людей, и въ которомъ до сихъ поръ еще гибнутъ, если не поколѣнія, то, по крайней мѣрѣ, индивидуумы, просвѣщенные всякими науками.



Но какъ бы то ни было, все это говорить только въ пользу необыкновенной личности поэта, нисколько не опровергая того, что главнымъ источникомъ его нравственныхъ страданій былъ недостатокъ образованія. Величіе его способностей даже увеличиваетъ въ нашихъ глазахъ эти страданія. Въ то же время недостатокъ образованія объясняетъ намъ, почему та часть его поэзіи, въ которой онъ не касается крестьянскаго быта, выражаетъ собою одни могучіе порывы къ чему-то такому, чего онъ никогда не рѣшался раскрывать другимъ, потому что поэтъ говоритъ только навѣрное...

Итакъ, по нашему мнѣнію, все содержаніе поэзіи Кольцова выражается въ трехъ отдѣлахъ стихотвореній. Къ первому принадлежать тѣ, въ которыхъ выполнилъ онъ задачу гуманизированія русскаго крестьянскаго быта. Во второмъ является онъ чистымъ лирикомъ и выражаетъ свою исполнскую личность, отличительная черта которой заключается во всестороннемъ развитіи потребностей. Наконецъ, въ третій отдѣлъ входятъ „Думы“, неудачныя попытки самоучки замѣнить истину, къ которой стремился, призраками, которые для самого его имѣли силу временно дѣйствующаго дурмана. Но, если вникнуть глубже въ это разнообразіе поэтическихъ мотивовъ, то, всѣ они приводятся къ одной темѣ, которая есть жизненность въ высочайшемъ ея развитіи. По нашему мнѣнію, совершенно несправедливо смотрѣть на Кольцова, какъ на такого поэта, который, по натурѣ своей (не говоримъ, по развитію), былъ рожденъ для тѣснаго круга сельской поэзіи, и который, сверхъ того, могъ писать съ грѣхомъ пополамъ и въ другихъ родахъ. Неестественно, слишкомъ неестественно допустить такое предположеніе о человѣкѣ, который всю жизнь чувствовалъ себя связаннымъ по рукамъ и по ногамъ въ сферѣ воспѣтаго имъ быта... А между тѣмъ, разумѣется, какъ художникъ, онъ долженъ былъ чаще всего обращаться къ тому самому быту, который тяготѣлъ надъ его личностью; онъ долженъ былъ это дѣлать потому что не зналъ, а только угадывалъ другую сферу дѣйствительности...

Таково наше мнѣніе о содержаніи поэзіи Кольцова. Но, можетъ быть, не многіе съ нимъ согласятся, несмотря на то, что оно подтверждается его произведеніями. Главное возраженіе предвидимъ мы со стороны тѣхъ, которые все приписанное нами личности поэта относятъ къ его *національности*. Но съ этимъ-то возраженіемъ мы менѣе всего согласны, потому что не видимъ за него ни одного дѣльнаго соображенія, а противъ него находимъ ихъ такое множество, что считаемъ необходимымъ посвятить имъ всю слѣдующую статью.

---

## II.

Въ предыдущей статьѣ -мы старались доказать, что художественное воспроизведеніе русскаго крестьянскаго быта не составляетъ единственной задачи поэзіи Кольцова. Правда, она одна выполнена имъ въ неподражаемомъ совершенствѣ; но это еще не даетъ намъ права не изучать его какъ лирика и какъ мыслителя, потому что его личность замѣчательна, какъ явленіе въ русской жизни, по крайней мѣрѣ, столько же, сколько замѣчательны въ русской литературѣ произведенія его таланта. Чисто лирическія стихотворенія Кольцова, то-есть, тѣ, въ которыхъ выразилъ онъ самого себя, не прикрываясь никакимъ объективнымъ изображеніемъ, не смотря на свою малочисленность, достаточно показываютъ основныя стихіи этой избранной натуры. То же самое можно сказать и о его „Думахъ“: онѣ принадлежатъ къ слабѣйшимъ произведеніямъ современной мысли, если разсматривать ихъ безотносительно; но, какъ самородныя идеи человека, лишеннаго всякихъ постороннихъ данныхъ для удовлетворительнаго рѣшенія занимавшихъ его вопросовъ, онѣ также краснорѣчиво говорятъ за необыкновенную личность самоучки.

Изученіе этой личности далеко интереснѣе изученія тѣхъ *оригинальных* людей, въ которыхъ трудно отыскать что-нибудь *не оригинальное*, которыхъ характеры объясняются только игрою случайныхъ обстоятельствъ, не заключа въ себѣ ничего, кромѣ странностей. Въ Кольцовѣ не было ничего *страннаго*, но было много такого, что выходитъ изъ уровня обыкновенности, приближаясь къ чистотѣ человѣческаго типа. Это явленіе необходимо наводитъ на многіе вопросы объ особенностяхъ великихъ натуръ и открываетъ множество коренныхъ заблужденій. Одно изъ нихъ обращаетъ на себя особенное наше вниманіе при изслѣдованіи личности Кольцова. Оно касается національности. Слушая и читая сужденія объ этомъ замѣчательномъ человѣкѣ, мы не могли не замѣтить, что всѣ панегиристы называютъ его *типомъ русской натуры*. Съ своей стороны, мы убѣждены, что человѣкъ, котораго можно назвать типомъ какой бы то ни было націи, никакъ не можетъ быть не только великимъ, но даже и необыкновеннымъ.

Признаваніе начала *внѣшней необходимости*, то-есть, силы, образующейся изъ совокупнаго вліянія *климата, мѣстности, племени и судьбы*, источниковъ самостоятельности отдѣльнаго человека, всегда казалось намъ дѣломъ слишкомъ младенческой или слишкомъ изнасилованной логики. Можетъ ли здравый смыслъ усвоить ученіе, по которому обстоятельства самыя *независящія*, какія только можно себѣ представить, образуютъ личность, то-есть *самостоятельность* человека? Кажется, одно разнообразіе въ послѣдствіяхъ вліянія этихъ обстоятельствъ на различныя натуры, разнообразіе, поражающее насъ на каждомъ шагу въ дѣйствительной жизни, должно бы было увѣрить всякаго въ существованіи чего то такого, на что они дѣйствуютъ съ большею или меньшею

силою, и что подчиняется имъ болѣе или менѣе, то-есть, не безъ сопротивленія; иначе, два человѣка походили бы другъ на друга болѣе, чѣмъ двѣ капли воды. Какимъ же путемъ, какими соображеніями дошелъ человѣкъ до такой отчаянной сбивчивости въ понятіяхъ о народныхъ особенностяхъ и объ отношеніи ихъ къ личности?

Источникъ этого заблужденія широкъ и обиленъ зародышами противоложическихъ ученій. Онъ заключается въ забвеніи отношеній индивидуума къ обществу. Увлекаясь одностороннимъ изученіемъ человѣка, какъ члена обществѣ, мы легко доходимъ до того, что онъ представляется намъ не иначе, какъ французомъ или нѣмцемъ, англичаниномъ, русскимъ, испанцемъ и т. д. При такомъ взглядѣ, мы убѣждаемся, что только тотъ и имѣетъ фізіономію, чью національность можно узнать среди другихъ національностей: идеальный, ничѣмъ не измѣненный человѣкъ начинаетъ представляться намъ существомъ безкровнымъ, отрѣшеннымъ отъ органическихъ условій жизни, и по тому самому чѣмъ-то крайне уродливымъ, ненормальнымъ. Продолжая такимъ образомъ изучать человѣка въ народахъ, мы открываемъ, наконецъ, что каждый народъ отличается отъ другихъ не одними слабостями, но и добродѣтелями: это открытіе приводитъ насъ къ заключенію, что національность есть совокупность условій, безъ которыхъ человѣкъ не можетъ проявлять той или другой свѣтлой стороны своей натуры. Вотъ силлогизмъ, который поселяетъ въ насъ безграничное уваженіе къ начальнику вѣйшей необходимости! Вотъ ключъ къ изъясненію логики всѣхъ тѣхъ образцовыхъ сочиненій о національности, гдѣ сначала она опредѣляется какъ сила, противодѣйствующая развитію идеальной сущности человѣка, а потомъ весьма краснорѣчиво возносится на степень источника всего высокаго, мощнаго и дѣятельнаго въ индивидуумѣ,

Стоитъ только измѣнить основу сужденія, то-есть, вмѣсто ложной принять истинную, чтобы дойти до результатовъ діаметрально противоположныхъ. Вспомнимъ только, что человѣкъ, къ какой бы націи ни принадлежалъ и какимъ бы обстоятельствамъ ни подвергался въ своемъ зачатіи, рожденіи и развитіи, все-таки принадлежитъ по натурѣ своей къ рязряду существъ однородныхъ, называемыхъ *людьми*, а не французами, не нѣмцами, не русскими, не англичанами. Въ безконечномъ множествѣ органическихъ типовъ есть типъ человѣка, который не смѣшивается ни съ типомъ минерала, ни съ типомъ растенія, ни съ типомъ животнаго.

Какое же право имѣемъ мы смотрѣть на хорошія стороны народа, какъ на его особенность, какъ на исключительную принадлежность его національности? Не правильнѣе ли было бы видѣть въ нихъ черты общей человѣческой натуры, черты, которыя могутъ быть пощажены одною національностью и заглушены другою? Приписывая честность нѣмцамъ, энтузіазмъ французамъ, практическій смыслъ англичанамъ, смѣлость русскимъ и т. д. мы какъ будто бы признаемъ, что въ

типъ человѣка не входитъ ни одно изъ этихъ прекрасныхъ свойствъ. А такъ какъ вообще всѣ добродѣтели, сколько ихъ есть въ руководствахъ нравственной философіи, давно уже розданы въ вѣчное и потомственное владѣніе каждая одному кому-нибудь племени или народу, то идеаломъ человѣка, при такомъ взглядѣ на вещи, выходитъ какое то совершенно отрицательное, нулевое существо! Между тѣмъ, если мы хвалимъ честность нѣмца, энтузіазмъ француза, практицизмъ англичанина, смѣлость русскаго, то гдѣ же источникъ и основаніе нашей похвалы, какъ не въ сознаніи того, что человѣкъ вообще, къ какому бы племени ни принадлежалъ, подъ какимъ бы градусомъ ни родился, долженъ быть и честенъ, и великодушенъ, и уменъ, и смѣлъ? Однимъ словомъ, общій всѣмъ людямъ идеалъ человѣка составленъ изъ свойствъ положительныхъ, которыя обыкновенно называются добродѣтелями и которыя всѣ вмѣстѣ составляютъ одно свойство—*жизненность*, то-есть, гармоническое развитіе всѣхъ человѣческихъ потребностей и соотвѣтствующихъ имъ способностей. Пороковъ въ этомъ идеалѣ нѣтъ ни одного.

Но этого мало. Изучая развитіе пороковъ и добродѣтелей въ дѣйствительной жизни, вы непримѣнно приходите къ такому заключенію, что пороки могутъ быть объяснимы внѣшними обстоятельствами, между тѣмъ какъ добродѣтели прирождены человѣческой природѣ, какъ силы, составляющія ея сущность. Происхожденіе порока въ данномъ лицѣ выводится самымъ понятнымъ образомъ, не только изъ родовыхъ или племенныхъ особенностей (которыя не могутъ не быть отнесены въ свою очередь къ внѣшнимъ вліяніямъ), но даже изъ тѣхъ обстоятельствъ, которыми сопровождалось развитіе человѣка по рожденіи. Напротивъ, ни одна добродѣтель (разумѣя подъ этимъ словомъ всѣ добрыя наклонности и способности человѣка) не приходитъ извнѣ: внѣшность только вызываетъ ее изъ бездѣйствія, укрѣпляетъ и направляетъ, однимъ словомъ—*упражняетъ*. Нѣтъ такой добродѣтели, которой зародышъ не таился бы въ природѣ человѣка. Мало того, всѣ пороки не что иное, какъ добрыя наклонности—или сбитыя съ прямого пути, или вовсе не уваженныя *внѣшними обстоятельствами*. Всякая добродѣтель основывается на какой-нибудь потребности человѣческой природы; отъ того только мы и называемъ извѣстныя силы *добродѣтелями*, что онѣ удовлетворяютъ требованіямъ нашей организаціи. Слѣдовательно, на оборотъ, всѣ нормальныя потребности наши суть добродѣтели, такъ что сумма нормальныхъ потребностей, называемая *жизненностью*, есть вмѣстѣ съ тѣмъ и сумма нашихъ добродѣтелей. На томъ же основаніи порокомъ называемъ мы гдѣ случайно пріобрѣтенныя свойства, которыя противны потребностямъ нашей природы, слѣдовательно все то, что противоположно *жизненности*. Теперь спрашивается: какимъ же образомъ можетъ быть заключено въ какомъ бы то ни было существѣ свойство, противное его природѣ? Ясно, что въ понятіяхъ нашихъ о сущности и происхожденіи пороковъ въ теченіе вѣковъ наплелась по-

рядочная путаница, которую тѣмъ скорѣе слѣдуетъ расплести, что предметъ не представляетъ для логики никакого загадочнаго узла: стоитъ только не насиловать самой логики, пустить ее одну въ дѣло и не мѣшать ей ни въ приступѣ, ни въ окончаніи. Согласно съ такимъ естественнымъ по нашему мнѣнію. ходомъ силлогистики, мы прежде всего утверждаемъ, что если существо не можетъ имѣть въ натурѣ своей свойства, ей противнаго, то и въ природѣ человѣка не можетъ быть ничего *противнаго его потребностямъ*. Слѣдовательно, то, что называемъ мы порокомъ, должно быть какое-нибудь извнѣ проистекающее искаженіе добродѣтели или потребности, какое-нибудь нарушеніе нормальности, производимое напоромъ внѣшнихъ силъ. И въ самомъ дѣлѣ такъ: представьте себѣ всѣ потребности, безъ удовлетворенія которыхъ человѣкъ не можетъ жить свойственною ему жизнью; удовлетвореніе одной изъ нихъ не только не препятствуетъ удовлетворенію другой, но даже обуславливаетъ ее. Слѣдовательно въ устройствѣ стихій нашей жизненности господствуетъ такая гармонія, что видѣтъ въ немъ источникъ нашихъ несовершенствъ было бы совершенно несправедливо. А изъ этой истины только и есть одинъ выводъ, именно такой: если человѣкъ, рассматриваемый безъ отношенія къ внѣшнему міру, не можетъ заключать въ себѣ пороковъ и одаренъ однѣми только добродѣтелями, то-есть, потребностями и способностями, составляющими его жизненность, то источникъ всего порочнаго долженъ заключаться не въ чемъ иномъ, какъ въ столкновеніи его страдательныхъ и дѣятельныхъ силъ съ внѣшними обстоятельствами, производящими между ними дисгармонію нарушеніемъ установленной природою пропорціи удовлетворенія каждой изъ нихъ. Иными словами: что не развивается изъ внутренней сущности, то должно имѣть внѣшнее происхожденіе. Слѣдовательно, порокъ имѣетъ источникомъ внѣшнія обстоятельства, дѣйствующія на человѣка. И въ самомъ дѣлѣ, можно ли представить себѣ подлца, который *самою натурой* былъ бы *устроенъ* такъ, чтобъ руки протягивались у него къ взяткѣ, чтобъ его спина гнулась сама собою передъ лицомъ крупнаго значенія, а ноги тоже сами собою топтали въ грязь, все, что слабѣе и беззащитнѣе его? Или лучше сказать, можно ли представить себѣ такого младенца, изъ котораго *ни при какихъ условіяхъ* не могъ бы образоваться честный человѣкъ? Вы скажете, что есть цѣлые роды и цѣлыя племена, сохраняющіе, какъ естественное наслѣдіе предковъ, какой-нибудь характеристическій порокъ. Вы правы; родовые недостатки очень легко передаются отъ отцовъ къ дѣтямъ при воспитаніи; тотъ же фактъ, въ болѣе обширныхъ размѣрахъ, можетъ повторяться и въ цѣломъ племени, если оно находится въ продолженіе многихъ вѣковъ подъ вліяніемъ одной и той же судьбы. Мы отнюдь не отвергаемъ силы родового и племенного вліянія на совершенство и несовершенство человѣка, но просимъ только вспомнить, во-первыхъ, что эта сила есть одна изъ составныхъ частей національности, одинъ изъ *внѣшнихъ* дѣятелей, уменьшающихъ чистоту чело-

вѣческаго типа. Во-вторыхъ, опытъ слишкомъ сильно говоритъ противъ абсолютной неизбѣжности этого вліянія: въ извѣстной степени оно можетъ быть отрипуто могущественною личностію. Это доказывается примѣрами людей, отрѣшенныхъ отъ слабостей, свойственныхъ роду и народу каждаго изъ нихъ. Этихъ людей называютъ *великими*, и только они одни и достойны этого титула. Человѣкъ, въ которомъ, какъ въ зеркалѣ, отражается картина внѣшнихъ обстоятельствъ его жизни, вся панорама фактовъ его возникновенія и развитія, это ли свободно разумное существо, созданное *по образу и подобию* Бога? Гдѣ же въ немъ свобода и разумъ? Гдѣ же въ немъ самостоятельность и самостоятельность, если, разлагая его чувства, мысли и стремленія, вы можете рассказать по нимъ его внѣшнюю исторію такъ же легко, какъ расскажетъ вамъ фізіологъ исторію любого растенія, вникнувъ въ его анатомію и попытавъ его въ лабораторіи? Милліоны такихъ страдательныхъ существъ образуютъ собою непрерывное продолженіе трехъ царствъ природы, и одни только исключенія изъ этой прозябающей и механически движимой массы напоминаютъ намъ истинныя черты того, кто поставленъ *царемъ земли*, то-есть, существомъ независимымъ. Если вникнуть въ источникъ нашего уваженія къ тѣмъ людямъ, которыхъ называемъ мы великими, нельзя не убѣдиться, что мы уважаемъ въ нихъ *силу противодѣйствія внѣшнимъ обстоятельствамъ*, препятствующимъ каждому изъ насъ приблизиться къ идеалу богоподобнаго человѣка. Въ этомъ уваженіи сходятся и совпадаютъ два взгляда, противоположные по своему исходу: взглядъ *психологическій* и взглядъ *историческій*. Психологъ, изучая людей со стороны ихъ личности, оставляетъ безъ вниманія вліяніе ихъ на судьбу человѣчества; для историка же они интересны не по чему иному, какъ по качеству и количеству этого вліянія. Изучая Петра Великаго, психологъ разсматриваетъ его дѣла съ цѣлью опредѣлить въ нихъ мѣру его самостоятельности, мѣру силъ, которыя въ суммѣ образовали въ немъ *внутреннюю возможность* бороться съ преградами къ осуществленію предположенной имъ цѣли. Напротивъ того, историкъ занимается оцѣнкою результатовъ этой борьбы, оцѣнкою дѣйствія, произведеннаго Петромъ на Россію и на человѣчество. Но дѣло въ томъ, что виновники великихъ общественныхъ переворотовъ всѣ безъ исключенія были и должны быть одарены великою свободою личности и ополчены на подвиги вопіющимъ *противорѣчіемъ* своихъ свойствъ съ свойствами окружающихъ ихъ явленій общественности и природы: иначе эти явленія увлекали бы ихъ въ свой круговоротъ, и порядокъ вещей оставался бы неизмѣннымъ. Величайшій переворотъ въ жизни человѣчества произведенъ былъ самимъ Богомъ въ образѣ человѣка. Христосъ, со стороны своего человѣческаго существа, являетъ собою совершеннѣйшій образецъ того, что называемъ мы величіемъ личности: истинное Его ученіе находится въ такой радикальной противоположности съ идеями древняго міра, заключаетъ въ себѣ такую безпримѣрную независимость отъ явленій



роковыхъ, отъ милліоновъ существъ, называемыхъ свободно-разумными, однимъ словомъ—до такой степени возвышается надъ законами историческихъ явленій, что человѣчество до сихъ поръ, въ продолженіе восемнадцати вѣковъ, не могло еще дорости и до половины той независимости взгляда, безъ которой не возможно уразумѣніе и осуществленіе его. Въ несравненно меньшей степени эта независимость проявляется и въ идеяхъ всѣхъ истинно великихъ людей, виновниковъ нравственныхъ переворотовъ меньшаго размѣра. Каждый изъ нихъ долженъ былъ возвыситься духомъ надъ идеями своего времени и своего народа для того, чтобъ создать и упрочить новый порядокъ вещей. Иными словами, каждый изъ нихъ долженъ былъ приблизиться въ известной степени къ идеалу богоподобнаго человѣка, чтобъ сдѣлаться великимъ. Не слѣдуетъ ли изъ этого, что истинное величіе человѣка находится въ прямой противоположности съ зависимостью отъ внѣшнихъ обстоятельствъ, а слѣдовательно, и отъ особенностей племенныхъ и мѣстныхъ? Приверженцы противной доктрины могутъ замѣтить, что мы выводимъ общія правила изъ отступленій, изучаемъ законы личности по великимъ личностямъ. Но можно ли называть исключеніемъ то, что приближается къ идеалу? Не правильнѣе ли было бы смотрѣть, какъ на исключенія, на гѣ существа, которыя отступаютъ отъ своего прототипа? Это такъ ясно, что не требуетъ никакого доказательства. Противъ насъ одна видимость: количество нормально развитыхъ личностей несравненно меньше въ человѣчествѣ, чѣмъ уклоненій отъ условій нормы. За то какая же и цѣль жизни и дѣятельность великихъ людей, производимыхъ вѣками, какъ не та, чтобъ освободить массу человѣчества отъ оковъ внѣшности и такимъ образомъ все болѣе и болѣе приближать ее къ чистотѣ и полнотѣ богоподобія? Идея, выраженная гениальнымъ человѣкомъ, въ теченіе времени дѣлается достояніемъ массы и необходимо прочищаетъ ей путь къ обращенію какой-нибудь черты идеальнаго совершенства человѣческой натуры изъ возможности въ дѣйствительность. Вспомните только исторію идей, признанныхъ человѣчествомъ, и вы увидите, сколько въ насъ, обыкновенныхъ смертныхъ, живущихъ въ 1846 году, такихъ мыслей и силъ, которыя намъ почти ничего не стоило въ себѣ развить, между тѣмъ какъ въ свое время онѣ обошлись цѣною гигантской борьбы какому-нибудь великому человѣку. Что сдѣлали для насъ Декартъ и Бэконъ? Они освободили себя отъ преградъ, мѣшавшихъ нормальному употребленію мышленія и тѣмъ самымъ указали и намъ самый простой, самый правильный пріемъ познавательной способности. Не значить ли это, что они приблизили насъ на нѣсколько шаговъ къ нашему идеалу? Конечно, такъ; теперь, благодаря ихъ гению, въ насъ несравненно меньше зависимости отъ внѣшнихъ преградъ мысли, чѣмъ три вѣка тому назадъ. Слѣдовательно, своею противоположностью и противодѣйствіемъ окружающимъ ихъ явленіямъ, они трудились (можетъ быть, и безъ сознанія) для приближенія человѣчества къ идеалу человѣка: въ ихъ лицѣ оно совершило этотъ



спасительный шагъ къ богоподобію. Итакъ, жизнь великихъ людей необходимо сливается съ жизнью массы и, собственно говоря, отнюдь не составляетъ отступленія отъ ея процесса. Въ этомъ отношеніи кто-то весьма справедливо, хоть и безъ всякихъ церемоній, сравнилъ великаго реформатора съ узкимъ горлышкомъ, проводящимъ жидкость въ пустоту огромнаго сосуда.

Но слѣдуетъ ли изъ всего этого, что *человѣчность*, то-есть чистота человѣческаго типа, есть черта, противоположная крайности, проявляющейся въ характерѣ той или другой націи? Нѣтъ; всякая крайность есть односторонность, развитіе одного свойства на счетъ другихъ, между тѣмъ какъ идеалъ человѣка состоитъ въ гармоническомъ развитіи всѣхъ ихъ. Матеріализмъ, эгоизмъ апатичность—такія же ненормальныя, уродливыя свойства, какъ и противоположныя имъ, какъ идеализмъ, безличность и бѣшеная восторженность. Но извѣстно, что всякое развитіе выражается въ смѣнѣ одной крайности другою. Въ этомъ отношеніи, чрезвычайно важенъ одинъ законъ, до сихъ поръ не оцененный этнографами, но вполне выражающій собою отношеніе національных особенностей къ человѣчности и указывающій на путь, по которому народы стремятся къ идеалу. Вотъ въ чемъ состоитъ этотъ законъ.

*Каждый народъ имѣетъ двѣ фізіономіи: одна изъ нихъ діаметрально противоположна другой: одна принадлежитъ большинству, другая—меньшинству (миноритету). Большинство народа всегда представляетъ собою механическую подчиненность вліяніямъ климата, мѣстности, племени и судьбы: меньшинство же впадаетъ въ крайность отрицанія этихъ вліяній.*

Не зная этого закона и забывая ту простую истину, что народы состоятъ изъ индивидуумовъ, этнографы и историки на каждомъ шагѣ встрѣчаютъ неодолимые препятствія къ выводу сужденій о характерѣ той или другой націи. Въ самомъ дѣлѣ, какъ имъ выпутаться изъ дѣла, когда роль индивидуумовъ играетъ у нихъ цѣлый народъ, а въ этомъ индивидуумѣ встрѣчаются свойства діаметрально противоположныя? Приходится или умалчивать объ одномъ изъ этихъ свойствъ, или доводить нелѣпость до послѣдней крайности, то-есть, благословясь, приписывать одному и тому же ведѣлимому противоположныя свойства. Страшно подумать иногда, какія наивно-нелѣпыя вещи открываетъ радикальный анализъ въ области идей, распространенныхъ дуализмомъ! Всего досаднѣе въ этомъ разборѣ ученаго хлама то, что приходится ему на наивность отвѣчать тѣмъ же. Что можетъ быть наивнѣе аксіомы,—а какъ вы уличите дуалистовъ, если не оснуете свои доказательства на какой-нибудь безспорной истинѣ? Другого средства нѣтъ, потому что ихъ-то ошибки всѣ до одной основаны на забвеніи аксіомъ, на какомъ-то развращеніи мысли, отказавшейся дѣйствовать по своимъ натуральнымъ законамъ.

Извѣстный французскій писатель Мишле, въ сочиненіи „Introduction à l'Histoire Universelle“, очень близокъ къ истинному понятію объ отношеніяхъ національности къ человѣчности. Но незнаніе закона двойственности народныхъ фizioномій и привычка смотрѣть на народъ, какъ на недѣлимое, вовлекли его въ множество характеристическихъ противорѣчій и поучительныхъ безсмыслицъ всякаго рода. Поэтому сочиненіе его можетъ быть прочитано съ большою пользою, если только читатель потрудится принять въ соображеніе указанные нами недостатки. Приводимъ здѣсь нѣкоторые отрывки изъ этого знаменитаго въ свое время очерка философіи исторіи, замѣчательнаго, между прочимъ, какъ отголосокъ гегелизма во Франціи. Вотъ общій взглядъ Мишле на ходъ развитія человечества:

„Вмѣстѣ съ появленіемъ міра началась борьба, которая кончится вмѣстѣ съ нимъ же; это борьба человѣка съ природой, духа съ матеріей, свободы съ случайностью. Исторія есть не что иное, какъ рассказъ объ этой борьбѣ.

„Разумѣется, свобода (личность) имѣетъ свои предѣлы: я не думаю опровергать этой истины; я слишкомъ сильно чувствую подавляющее дѣйствіе внѣшней природы на человѣка, еще сильнѣе сознаю его по впечатлѣніямъ, которыя производитъ на меня самого этотъ враждебный намъ міръ. Да и кому же случилось по сту разъ отрицать и проклинять свободу посреди угрозъ и обольщеній внѣшности?.. „Однакожь, она движется“, какъ говорилъ Галилей. Я чувствую, и сознаю въ себѣ что-то такое, что не уступаетъ ничему, не подчиняется ни человѣку, ни природѣ, признаетъ одну власть—власть разума и закона, и не хочетъ слышать ни о какихъ уступкахъ въ пользу случайности (fatalité). И пусть длится во вѣкъ эта борьба! Она поддерживаетъ достоинство человѣка и даже гармонію вселенной.

„Надежда на торжество должна укрѣплять насъ въ этой вѣчной битвѣ. Изъ двухъ противниковъ одинъ не измѣняется, другой съ каждымъ днемъ дѣлается сильнѣе. Природа все та же, а человѣкъ ежедневно пріобрѣтаетъ все болѣе и болѣе власти надъ нею. Альпы не увеличились въ своихъ размѣрахъ, а мы перешагнули черезъ Симплонъ. Упорство волнъ и вѣтра не уменьшилось, а парадоксъ разсѣкаетъ грудь океана“ <sup>1)</sup>.

Эту идею проводитъ Мишле по всей исторіи человечества, начиная съ исторіи Индіи.

„Послѣдуйте“, говоритъ онъ,—„за движеніемъ рода человѣческаго съ востока на западъ, по пути солнца и магнитическихъ токовъ нашей планеты; на

<sup>1)</sup> Michelet. Introduction à L'histoire universelle. P. 1835. p. 7—9.

блюдайте за нимъ въ его долгомъ шествіи изъ Азіи въ Европу, изъ Индіи во Францію; вы увидите, что съ каждою его остановкой ослабляется роковое дѣйствіе на него климата и племени. Въ точкѣ исхода, въ Индіи, въ этой колыбели племенъ и религій, *the womb of the world*, человѣкъ подавленъ, распростертъ предъ всемогуществомъ природы. Тамъ онъ—слабое дитя на лонѣ своей матери, тщедушное и зависящее существо, то избалованное, то избитое и не столько вскормленное, сколько упоенное молокомъ, слишкомъ питательнымъ для его хрупкаго состава. Онъ таетъ во влажной и горячей атмосферѣ, напитанной могущественными ароматами. Сила, жизнь, мысль его, все никнетъ передъ деспотизмомъ природы. Жизнь и смерть равносильны въ этой странѣ. Въ Бенаресѣ земля даетъ каждый годъ по три жатвы. Бурный дождь превращаетъ въ сочный лугъ бесплодную пустыню. Тамашній тростникъ—бамбукъ въ шестьдесятъ футовъ вышины; тамошнее дерево—индѣйская фи́га, которой одинъ корень разрастается въ цѣлую рощу. Подъ этими громадными растеніями живутъ чудовища: тамъ тигръ бодрствуетъ на берегу рѣки, подстерегая гиппопотама, котораго достигнетъ онъ восемнадцати-футовымъ прыжкомъ; тамъ цѣлыя деревья ломаются и валятся подъ стадами дикихъ слоновъ, пробѣгающихъ свободнымъ вихремъ сквозь чащу рослаго лѣса.

„Такимъ образомъ, человѣкъ, встрѣчая повсюду преобладающія силы, не ищетъ въ борьбѣ съ природою и подчиняется ей безусловно. Онъ безпрестанно хватается за чашу, которую Шива наполняетъ черезъ край жизнью и смертью; онъ пьетъ изъ нея полными глотками, погружается въ нее, теряется въ ея полнотѣ и, обуреваемый какимъ-то мрачнымъ и отчаяннымъ сладострастіемъ признаетъ, что Богъ есть все, что все есть Богъ, что самъ онъ, человѣкъ не что иное, какъ проявленіе этой единой субстанціи. Или на оборотъ, въ неколебимой гордости и упорствѣ, онъ начинаетъ отрицать самое существованіе этой враждебной природы и отмицаетъ оружіемъ логики дѣйствительному міру, который его подавляетъ“ (*se venge par la logique de la réalité qui L'écrase*) <sup>1)</sup>.

Что же значить это отрицаніе дѣйствительности, это философское возстаніе противъ нея? Какъ объяснить его въ индѣйцахъ, въ народѣ, который самъ же Мишле представляетъ подавленнымъ могуществомъ внѣшняго міра? Краснорѣчивый историкъ не отвѣтитъ вамъ на эти вопросы: онъ самъ старается обѣгать ихъ коротенькими фразами, потому что законъ двойственности ему неизвѣстенъ. А между тѣмъ дѣло очень просто: естественно, чтобъ въ цѣломъ народѣ не было недѣлимыхъ, сохранившихъ силу противодѣйствія внѣшнимъ обстоятельствамъ, тяготящимъ на большинство. Эта сила выражается въ отсутствіи свойствъ большинства и въ отрицаніи тѣхъ силъ, передъ которыми оно преклоняется. Такъ,

<sup>1)</sup> Introduction, p. 9 et 10.

Индія будучи по преимуществу страною безличности, въ то же время представляет примѣръ сильнѣйшаго развитія самостоятельности мысли и по всей справедливости называется колыбелью философій. Да и вообще можно замѣтить, что свободное мышленіе (философія) развилось въ странахъ, одаренныхъ всѣми благами климата и почвы, и являлось всегда, какъ противоположность, посреди народовъ, окованныхъ могуществомъ природы. Индія, Персія, Египетъ, Малазія, Греція, южная Италія—вотъ разсадники всѣхъ философскихъ системъ. Явленіе самое естественное: личность, какъ сила, должна или пасть подъ напоромъ другой, враждебной ей силы—внѣшности, или, преодолевъ ее, явиться въ величайшемъ могуществѣ вслѣдствіе борьбы, окончившейся торжествомъ. Первый случай—удѣлъ большинства, послѣдній—удѣлъ меньшинства. Но это торжество отрицанія, въ свою очередь, переходитъ въ крайность, противоположную механической зависимости отъ внѣшняго міра. Такъ, вся философія Индіи, разлившаяся въ древнемъ мірѣ отъ Ганга до Средиземнаго моря, есть не что иное, какъ необузданное умозрѣніе, самоупоеніе мысли, которая освободилась изъ-подъ оковъ внѣшняго міра для того, чтобы порвать съ нимъ всѣ органическія связи. Замѣтимъ однакожъ, что все развитіе человѣчества произведено ничѣмъ инымъ, какъ этою крайнею противоположностью личности и зависимости. Что же оставлено древнимъ міромъ въ наслѣдіе новымъ племенамъ, какъ не философія индѣйцевъ, переработанная Греціей? Не она ли произвела возрожденіе мысли въ шестнадцатомъ столѣтіи? На сѣверѣ происходитъ то же, что и на югѣ. Суровый климатъ и бѣдная почва такъ же сильно утверждаютъ зависимость человѣка отъ внѣшней природы, какъ и благодатныя условія южныхъ странъ. Лапландецъ—такой же рабъ сѣверныхъ морозовъ, какъ негръ—рабъ южнаго солнца. Но и здѣсь личность имѣетъ свой исходъ, и здѣсь проявляется она могущественнымъ сопротивленіемъ внѣшности: сѣверный человѣкъ, преодолевъ силу нужды и мороза, возстаетъ изъ снѣговъ своихъ исполиномъ и двигателемъ явленій; избытокъ внутренней силы, искушенной борьбою, влечетъ его къ неукротимой дѣятельности, къ вѣчной борьбѣ съ чѣмъ бы то ни было, словомъ—къ упражненію всѣхъ способностей. И никогда не переставала проявляться въ сѣверныхъ народахъ эта двойственность большинства и горсти, эта противоположность усыпленія, близкаго къ смерти, съ гигантскою жизненностью, ищущею себѣ исхода и содержанія. Вспомните только, что значило въ Европѣ слово „норманнъ“. Образъ норманна есть олицетворенная страсть къ гимнастическѣ силѣ, къ процессу труда и дѣйствія, однимъ словомъ—то, что называется *удальствомъ*. Удалецъ меньше всего думаетъ о содержаніи и цѣли своей дѣятельности:

Только думъ, заботы  
У царя-головки—  
*Погулять по сѣтѣ,*  
*Пожить на распахѣ;*  
Свою удаль-силку  
Попытать на людяхъ...

Крайность, односторонность! Но не проявилась она въ сѣверномъ человѣкѣ, Богъ знаетъ когда и какъ оживилась бы Европа. Преданіе говоритъ, что Карлъ Великій незадолго передъ смертію, залился слезами при видѣ норманнскихъ лодокъ въ устьѣ одной изъ своихъ рѣкъ. Въ этомъ преданіи много смысла. Карлъ Великій всю жизнь посвятилъ на то, чтобъ создать и упрочить организацію германскаго міра въ такую эпоху, когда еще этому міру, по естественнымъ законамъ развитія, слѣдовало прожить періодъ броженія, періодъ разрозненности частей. Въ норманнахъ Римскій императоръ предвидѣлъ неодолимое препятствіе къ упроченію той формы, въ которую онъ хотѣлъ заковать западную Европу. Въ какой мѣрѣ предчувствіе или предвѣдѣніе его сбылось—на это отвѣтъ въ исторіи. Замѣтимъ только, что въ развитіи человѣчества сѣверъ играетъ такую же роль, какъ и югъ: южному человѣку обязаны мы свободой мысли, сѣверному человѣку—любовью къ движенію и къ практикѣ, безъ которой всякая мысль глохнетъ въ застоѣ и отвлеченности.

Итакъ, на югѣ и на сѣверѣ видимъ мы одно и то же: борьбу личности съ внѣшностью, съ особенностями климата и племени. Сильныя личности отрѣшаются отъ этихъ особенностей, слабыя подчиняются имъ, какъ растенія и животныя; но и тѣ, и другія впадаютъ въ крайности, изъ которыхъ крайность отрицанія внѣшности обращается всегда въ пользу человѣчества. Посмотримъ теперь на народы среднихъ полосъ. Въ Европѣ, въ умѣренномъ климатѣ, живутъ французы и нѣмцы. Россія, по своей близости къ востоку, скорѣе можетъ быть отнесена къ странамъ холоднымъ, и жители ея должны приближаться, въ существенныхъ чертахъ характера, къ сѣвернымъ народамъ. По крайней мѣрѣ, это относится къ жителямъ великорусскихъ губерній.

Отъ народовъ, живущихъ въ умѣренныхъ климатахъ, нельзя ожидать тѣхъ рѣзкихъ особенностей, которыя объясняются климатомъ, и которыми отличаются народы южные и сѣверные. За то, племя и судьба должны отражаться въ нихъ со всею своею энергіей. Къ этимъ вліяніямъ присоединяется и вліяніе почвы, особенно вліяніе ея возвышенности или плоскости.

Въ отношеніи къ племени, Франція представляетъ примѣръ сліянія самыхъ разнообразныхъ народностей. Въ характерѣ французовъ уравнились особенности трехъ великихъ племенъ—кельтскаго, греко-римскаго и германскаго. Въ процессѣ этого сліянія великую роль играетъ, кромѣ умѣренности климата, самая почва той части Франціи, которую можно назвать по преимуществу французскою. Вотъ что говорятъ объ этомъ Мишле:

„Французская Франція (la France française) центръ монархіи, бассейнъ Сены и Луары,—край замѣчательно плоскій, блѣдный, безхарактерный. Переходя отъ величественныхъ альпійскихъ пиковъ или отъ строго очерченныхъ долинъ Юры, или, наконецъ, отъ виноградныхъ холмовъ Бургундіи къ однообразнымъ равнинамъ Шампани и Иль-де-Франса и очутившись посреди грязныхъ рѣкъ, посреди

городовъ съ мѣловыми и деревянными строеніями, вы чувствуете, что скука и отвращеніе овладѣваютъ вашею душою. Встрѣчаются здѣсь тучныя поля, хорошо устроенныя фермы и хорошо откормленный скотъ. Но этотъ прозаическій символъ благосостоянія не помѣшаетъ вамъ пожалѣть о бѣдной Швейцаріи и даже о пустынѣ, облегающей Римъ. Что касается до жителей, не ожидайте отъ нихъ ни остроумія гасконцевъ, ни граціи провансальцевъ, ни грубости завоевателей и недоброхотовъ нормандцевъ, тѣмъ менѣе настойчивости овернѣйцевъ или упрямства бретонцевъ. Отдаленныя французскія провинціи болѣе или менѣе напоминаютъ собою Италію, южную Германію и вообще всѣ страны, изрѣзанныя горными хребтами: человѣкъ уединенный и лишенный могущественныхъ пособій раздѣленія труда и сообщенія идей достигаетъ особенной смысленности и оригинальности; за то онъ лишенъ способности сравненія, не такъ образованъ, не такъ человѣченъ, не такъ *соціаленъ*. *Уроженецъ центральной Франціи не слишкомъ много значитъ, какъ индивидуумъ, за то тамъ очень много значитъ масса.* Геній этого человѣка состоитъ именно въ томъ, что иностранцы и даже провинціалы называютъ незначительностью и равнодушіемъ, и что гораздо лучше было бы называть способностью ко всему и воспримчивостью всего. Характеръ центральной Франціи заключается въ совершенномъ отсутствіи провинціальныхъ или, лучше сказать, въ такомъ соединеніи всѣхъ этихъ особенностей, что одна не исключаетъ другой, и всѣ содержатся въ соотвѣтственной пропорціи“<sup>1)</sup>.

„Французская Франція умѣла привлечь къ себѣ, поглотить, усвоить всѣ остальные—англійскую, нѣмецкую, испанскую. Она уравнивала ихъ одну другою и претворила въ собственное свое существо. Она убила особенность Бретани особенностью Нормандіи, подавила Франшъ-Конте Бургундіей; Лангедокъ—Гюйзенью и Гасконіей, Провансъ—Дофине. Она перенесла югъ на сѣверъ и сѣверъ на югъ; сообщила югу рыцарскій духъ Нормандіи и Лоррени и привила къ сѣверу римскую форму тулузской муниципальности и греческій индустриализмъ Марсели“<sup>2)</sup>.

Но мы далеки отъ того мнѣнія, чтобъ типъ француза былъ такъ тождественъ съ типомъ человѣка, какъ это находитъ Мишле. Есть въ *великомъ народѣ* черта, сильно удаляющая его отъ идеальнаго развитія. Эта губительная черта—страсть къ эффектности, прямое слѣдствіе того же начала, которому обязаны французы и тѣмъ, что Мишле называетъ *человѣчностью*. Мы убѣждены, что равновѣсіе склонностей и способностей, которое такъ плѣняетъ его въ французахъ, слишкомъ близко къ безжизненности и къ пошлости. Это равновѣсіе *совѣтъ* не то, что разносторонность или гармоническое развитіе всѣхъ подро-

<sup>1)</sup> Introduction, p. 53 et 54.

<sup>2)</sup> Introduction, p. 52 et. 53.



стей и способностей. *Человѣчность* есть высшее развитіе *жизненности*, а никакъ не ограниченность естественныхъ потребностей и силъ. Мы полагаемъ (да и всѣ въ этомъ согласны), что истинный человѣкъ не тотъ, у кого такъ мало ума, такъ мало чувства, такъ мало воображенія, что ни одна изъ этихъ силъ не выступаетъ изъ обыкновеннаго уровня, не доходить до павоса. Напротивъ того, пусть *всѣ* элементы человѣческаго характера въ такомъ-то индивидуумѣ будутъ доведены до апогея своего развитія,—мы охотно назовемъ такого человѣка своимъ идеаломъ. Но этого-то мы и не находимъ въ большинствѣ французовъ. Отличительный характеръ этого большинства—недостатокъ *глубины* ума и чувства. Дѣло очень понятное: какъ ни губительно большею частью вліяніе вѣшняго міра на развитіе человѣка, все-таки оно одно и вызываетъ къ дѣятельности дремлющія въ немъ силы. Не то нужно, чтобы человѣкъ получалъ, какъ можно меньше сильныхъ впечатлѣній вѣшности: напротивъ, пусть она дѣйствуетъ на него могущественно и непрерывно,—лишь бы только въ немъ хватило самодѣтельности на то, чтобы не подчиниться ея вліянію, какъ подчиняются растенія и животныя, и въ борьбѣ съ нею укрѣпить свои страсти и способности. Слѣдовательно, говоря о національных особенностяхъ, какъ о слабостяхъ, мы никакъ не забываемъ той старой истины, что впечатлѣнія вѣшняго міра—необходимое условіе развитія человѣка: мы возстаемъ только противъ механической подчиненности этимъ впечатлѣніямъ. И всего лучше взглядъ нашъ поясняется сужденіемъ нашимъ о французахъ. Въ ихъ національности нѣтъ рѣзкихъ чертъ, потому что сила вліяній почвы, климата и племени на образованіе ихъ характера слишкомъ слаба. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы мы, вмѣстѣ съ Мишле, смотрѣли на французовъ какъ на людей, развитыхъ подъ вліяніемъ идеально-благопріятныхъ обстоятельствъ. Мы гораздо больше ожидаемъ отъ народа, поставленнаго въ сильную зависимость отъ вѣшности, чѣмъ отъ того, которому нѣтъ нужды бороться съ могуществомъ ея впечатлѣній. Мы знаемъ, что одно сопротивленіе препятствіямъ дѣлаетъ людей великими, иными словами—приближаетъ ихъ къ идеалу человѣка, и потому не видимъ ничего благопріятнаго въ слабости географическихъ и генетическихъ вліяній на образованіе французскаго характера. Французы такъ же далеки отъ человѣческаго типа по причинѣ этихъ слабостей, какъ другіе народы далеки отъ него по причинамъ діаметрально-противоположнымъ. Мишле самъ сознается, какъ мы уже видѣли, что въ центральной Франціи индивидуумъ очень мало значитъ. Легко сказать! Гдѣ индивидуумъ пошлъ, безжизненъ, тамъ и народъ не лучше; потому что народъ состоитъ изъ индивидуумовъ. А чѣмъ отличается большинство французовъ? Всѣми признаками пошлости. Это толпа, вѣчно томящаяся своею внутреннею пустотою, вѣчно жаждущая вѣшнихъ впечатлѣній, вѣчно гонящаяся за *эффектомъ*! Эффектъ! это кумиръ великаго народа! Съ другой стороны, если вспомнить все, чѣмъ Европа обязана Франціи нельзя на согласиться, что всѣ



великія дѣла французской націи носятъ на себѣ печать свойствъ, противоположныхъ свойствамъ ея большинства. Нѣтъ народа, который могъ бы указать въ своей исторіи столько страстныхъ движеній, какъ французы. Во Франціи каждая новая мысль непременно находитъ себѣ живой органъ въ группѣ фанатиковъ, предающей ей нераздѣльно, со всѣмъ упоеніемъ самопожертвованія. Вотъ почему всякая мысль и доводится французами до комической крайности. Какъ бы то ни было, возбудить въ человѣчествѣ симпатію къ новой идеѣ всегда было дѣломъ французовъ. И странно! въ дѣлѣ распространенія идей, между этими риториками, вѣчно жаждущими эффектовъ, всегда явятся люди, которые сумѣютъ опопуляризировать, упростить мысль до того, что она незамѣтно перейдетъ въ общее достояніе и вмѣстѣ съ тѣмъ въ пошлость. Великій подвигъ низведенія науки въ жизнь и осмысленіе жизни наукой принадлежитъ французамъ; но они же фанатизмомъ своимъ и доводятъ живую мысль до послѣднихъ предѣловъ односторонняго развитія. Однимъ словомъ, и здѣсь обѣ крайности равно уродливы; но крайность меньшинства имѣетъ свою неоспоримую полезность въ общемъ ходѣ развитія человѣчества.

Нѣмцы больше, чѣмъ всякій другой народъ, обозначались въ исторіи своими противоположными, одно другое исключаящими свойствами, именно—безличностью и личностью. Безличность нѣмцевъ или способность отказываться отъ своего я произвела между прочимъ феодализмъ; а личность этого племени произвела также между прочимъ Лютера и Канта. Появленіе феодальной системы въ Европѣ и реформація—два явленія, равно критическія въ исторіи человѣчества; а между тѣмъ оба они вытекаютъ изъ нѣдръ германскаго духа. Что же это за загадочное существо—народъ, который проявляется такъ непоследовательно? Что же, наконецъ, въ немъ преобладаетъ—безличность или личность?

Это недоумѣніе весьма легко объясняется закономъ двойственности. Большинство нѣмцевъ дѣйствительно отличается способностью отказываться отъ собственнаго я; нѣмцы любятъ теряться въ обязанностяхъ вассаловъ, членовъ ремесленныхъ корпорацій, клубовъ, ученыхъ обществъ, городскихъ общинъ и проч. „Общій столъ—алтарь нѣмца“, какъ говоритъ Мишлѣ; но это начало племенное, а не человѣческое: личность должна же сокрушить и его точно такъ же, какъ сокрушила она матеріализмъ въ Индіи, пластицизмъ въ Греціи, оцѣпенѣлость въ Скандинавіи, пошлость во Франціи. И весьма естественно, что въ странѣ безличія проявится оно страшнымъ отрицаніемъ попирающихъ ее явленій. Но до сихъ поръ, несмотря на силу своихъ взрывовъ, она не успѣла еще и пошатнуть безличности на самой почвѣ Германіи. А отчего? Оттого, что въ Германіи крайность отрицанія безличности, такой же полный, такой же уродливый разрывъ мысли съ дѣйствительностью, какъ и созерцаніе браминовъ. За то, другимъ народамъ нѣмцы столько же были полезны своимъ преслѣдова-

ніемъ чистой мысли, сколько французы—упрощеніемъ ея и проведеніемъ въ жизнь.

Приведенныхъ здѣсь фактовъ достаточно для того, чтобы понять отношеніе національности къ личности, къ человѣчности: *личность заключается въ противоположности внѣшнимъ вліяніямъ; но, чтобы перейти въ человѣчность, она должна освободиться отъ крайности, противоположной той, которая преобладаетъ въ національности.* Вотъ почему въ характерахъ истинно великихъ людей никогда не найдете вы односторонностей ни большинства, ни меньшинства тѣхъ націй, которыя ими гордятся. Личность есть только ступень въ чистотѣ человѣческаго типа. Поэтому-то рѣзкая, но еще не великая личность легче всего находитъ себѣ сочувствіе въ народныхъ массахъ, въ большинствѣ своей націи. Явленіе очень понятное: человѣкъ, окованный цѣпями своей національной односторонности, слишкомъ далекъ отъ той высоты нормального развитія, съ которой все строго-человѣческое дѣлается вполне доступнымъ уму и чувству. Между тѣмъ, *какъ человѣкъ*, онъ не можетъ не тяготиться, хоть и безъ сознанія, уклоненіями отъ типа, къ которому принадлежитъ по своей организаціи. Глухо, но постоянно совершается въ немъ процессъ борьбы свободы съ зависимостью, и нѣтъ такого потеряннаго человѣка, который хоть одинъ разъ въ жизни не обнаружилъ бы личности какимъ-нибудь отчаяннымъ отрицаніемъ подавляющей его внѣшности. Поэтому и на проявленіе отрицанія въ другихъ людяхъ всегда готовъ онъ отвѣтить глубокимъ сочувствіемъ. Браминъ пользовался неограниченнымъ уваженіемъ у индѣйцевъ; аѳиняне съ восторгомъ слушали софистовъ; любимыя преданія сѣверныхъ народовъ наполнены разсказами объ удалствѣ героевъ; французы обожаютъ своихъ энтузіастовъ, нѣмцы—своихъ отшельниковъ-мыслителей. Великій человѣкъ, какъ извѣстно, большею частью проходитъ не замѣченъ соотечественниками и современниками, одиноко и безшумно...

Но пора обратиться намъ къ Россіи и къ Кольцову.

Національныя особенности русскихъ, какъ сказано выше, совпадаютъ съ особенностями всѣхъ сѣверныхъ народовъ. Этимъ одолжены мы климату. Но, изучая самихъ себя, мы не можемъ не признать въ своей оригинальности столь же сильныхъ вліяній *почвы и судьбы.* Необозримая плоскость земли, которую мы населяемъ, и татарское иго, которое перенесли мы въ продолженіе двухъ съ половиной вѣковъ, вотъ двѣ силы, одна—постоянная, другая—преходящая, которыхъ дѣйствіе отзывается во всѣхъ отгѣнкахъ нашей особенности. Равнина безжизненна, особенно, если она двѣ трети года покрыта снѣгомъ. Безпрестанное созерцаніе ея содѣйствуетъ къ усыпленію потребностей и силъ, къ неподвижности и спокойствію. Житель равнины, настроиваясь на одинъ ладъ съ природою, которая его окружаетъ, находитъ столько же наслажденія въ дремотѣ жизни, сколько житель горъ—въ непрерывномъ ея обнаруженіи. Дѣятельно-

его поддерживается или безплодіемъ этой равнины, или излишнею ея населенностью. Люди, поселившіеся на безплодномъ или слишкомъ маломъ участкѣ земли, поневолѣ дѣлаются трудолюбивы и предприимчивы: въ нихъ развивается даже потребность оживить искусствомъ безжизненную мѣстность, которая имъ досталась на долю. Если же она и плодородна, и обширна, тогда отъ нея нечего ждать никакого вліянія на человѣка, кромѣ постоянной дремы и страстной привязанности къ покою. Противоположность сѣверной и южной Россіи оправдываетъ эту истину. Въ странѣ болотъ, песка и глины возникла новгородская держава, развилось племя живое, бойкое, предприимчивое. До сихъ поръ новгородскіе выселенцы отличаются отъ большинства русскаго народонаселенія своею жизненностью, любовью къ движенію и къ усовершенствованію своего быта. Напротивъ того, на хлѣбородныхъ земляхъ средней и южной Россіи дремлетъ народъ тяжелый, безстрастный, привязанный болѣе всего къ своему усыпленію... Что можетъ протрезвить такую дремоту? Одна судьба. Но судьба наслала на Россію татарское иго со всѣми его послѣдствіями и болѣе четырехсотъ лѣтъ, именно отъ Батыева нашествія до единодержавія Петра Великаго, дѣйствовала на насъ заодно съ природой: Петръ явилъ собою геніальную противоположность свойствамъ русскаго большинства и вступилъ съ нимъ въ борьбу, которая длится до сихъ поръ и еще Богъ знаетъ, когда кончится.

Но законъ двойственности народныхъ физіономій такъ же ясно проявляется между нами, какъ и въ другихъ націяхъ. Удальство, свойственное всѣмъ сѣвернымъ народамъ, такъ часто и сильно выражается въ русской жизни, что многіе принимаютъ его даже за черту нашей національности: одна изъ тѣхъ ошибокъ, въ которыя такъ легко впасть всякому наблюдателю народныхъ нравовъ, незнакому съ закономъ двойственности.

Но, объяснивъ тайну отношеній національности къ человѣчности, легко понять всѣ противоположности явленій русскаго міра: уразумѣніе закона борьбы человѣческой натуры съ вѣшними явленіями устраняетъ всякую сбивчивость въ объясненіи самыхъ противоположныхъ фактовъ. Чѣмъ инымъ объясните вы себѣ въ русскомъ народѣ, съ одной стороны, его привязанность къ покою, его невозмутимую терпимость, съ другой—его же склонность къ удалству и его же безпримѣрную раздражительность?.. Но спѣшимъ предупредить читателей, что въ этомъ объясненіи такъ же легко впасть въ глупыя заблужденія, какъ и во всякомъ объясненіи фактовъ общими законами. Надо помнить, что тщательный анализъ самыхъ явленій дѣйствительности долженъ предшествовать выводамъ: иначе непременно подъ одно начало подведемъ мы факты двухъ совершенно различныхъ категорій и опозоримъ дѣло синтеза... Явленія русской жизни знакомѣе намъ всякихъ другихъ, и потому мы воспользуемся или для того, чтобъ провести законы двойственности народныхъ нравовъ сквозь все разнообразіе

антропологических фактовъ, въ которыхъ она выражается. Кольцовъ послужить намъ руководителемъ во многихъ темныхъ мѣстахъ вопроса. Но о немъ самомъ —еще впереди...

Въ жизни каждаго человѣка, прозябающаго подъ гнетомъ внѣшнихъ обстоятельствъ, необходимо проскальзываютъ моменты, въ которые онъ проявляетъ страшную болѣзненно-энергическую противоположность своему обыкновенному поведенію. Вдругъ озадачить онъ всѣхъ рядомъ такихъ рѣчей и поступковъ, которые сначала рѣшительно не знаешь, какъ связь со всѣмъ, что привыкли отъ него слышать, и что онъ до того дѣлалъ. Безотчетная, но сокрушительная тоска нападаетъ на человѣка; обыкновенный, налаженный порядокъ жизни и дѣятельности становится ему горько противнымъ; безумное отрицаніе, внѣ всякихъ логическихъ соображеній, чернить въ его глазахъ все, къ чему онъ, по видимому, приросъ съ дѣтства и безъ чего въ обыкновенномъ состояніи дышать не можетъ... „Дурить“, говорятъ о немъ знакомые, прибавляя,—„такъ, ни съ того, ни съ сего“. Но это отсутствіе видимыхъ причинъ „дури“ приводитъ ихъ въ недоумѣніе только въ первыя минуты: про себя каждый смѣкаетъ, что это такое, вспоминая, что и на него самого находитъ такое же расположеніе духа. Явленіе очень обыкновенное въ уѣздахъ: помѣщикъ, „разсудительный человѣкъ, но спящій отъ обѣда до утра и отъ утра до обѣда“, вдругъ подымается на ноги такимъ разбитнымъ малымъ, разольется въ такой суетнѣ, невѣроятной и сокрушительной гимнастикѣ всѣхъ пробужденныхъ силъ, что если бъ вы только и видѣли его въ этомъ кризисѣ, вы назвали бы его самымъ безпокойнымъ и самымъ безпутнымъ энтузіастомъ въ мірѣ. О, какъ бы вы ошиблись! Удалецъ, который такъ озадачилъ васъ своимъ эксцентрическимъ безпокойствомъ, черезъ недѣлю и ранѣе, навозившись въ волю и накутившись до-сыта, надорванный и изнемогшій, снова грянется на свои перины и будетъ „спать отъ обѣда до утра и отъ утра до обѣда“. Какой же онъ удалецъ? Просто онъ платитъ дань человѣческой натурѣ, которую нельзя уходить въ конецъ никакими перинами и халатами: хоть на одинъ день въ году, хоть пролежнями, да подыметъ она на ноги всякаго соню, всякаго „байбака“ уѣзднаго захолустья. Проснется байбакъ, откроетъ большіе глаза, почувствуетъ, что доспался до пролежней, и кинется въ жизнь совершеннымъ Ильей Муромцемъ, истинно національнымъ героемъ, который, какъ извѣстно сидѣлъ сидѣмя тридцать лѣтъ и три года, и ужъ тогда только принялся шагать черезъ царства и пытаться на людяхъ свою удалъ-силку, когда ужъ пришлось ему не въ мочь просидѣть на палатахъ еще одну минуту.

Русскимъ людямъ не было никакой нужды дѣлаться такими ясновидцами будущей судьбы Россіи, какими выставляетъ ихъ одинъ восторженный толкователь русскихъ сказокъ, для того, чтобъ создать образъ героя, начавшаго свое блистательное поприще неподвижнымъ тридцатитрехлѣтнимъ сидѣньемъ на од-

номъ мѣстѣ. Этотъ богатырь такъ же понятенъ имъ, какъ и заспанный помѣщикъ, являющійся подчасъ первымъ удалцомъ въ околоткѣ. Русскимъ людямъ понятны и не такія вещи: они съ удивительнымъ спокойствіемъ перевариваютъ и то, что мужикъ, наскучившій монотонностью своей жизни, начинаетъ иногда разбойничать и душегубствовать по проселочнымъ дорогамъ, хотя бы надъ нимъ и не тяготѣло никакое видимое зло, ни нищета, ни жестокость барина, ни криводушіе старосты. Въ деревняхъ глаголѣ *разбойничать* замѣненъ глаголомъ *шалить* и уменьшительнымъ *пошаливать*,—до того спокоенъ взглядъ русскаго человѣка, конечно, не на самый фактъ грабежа и убійства, а на одинъ изъ самыхъ оригинальныхъ или національныхъ его источниковъ. Замѣтимъ что собственно говоря, не только преступное удовольствіе, но и всякая склонность къ рѣзкимъ, энергическимъ движеніямъ навлекаетъ на человѣка весьма плохую репутацію у нашего большинства, такъ что у насъ очень часто верхъ всякой похвалы составляетъ отзывъ: „такой смирный“. А въ то же время въ русской деревнѣ никто не удивится если *смирный малый* вдругъ заговоритъ про себя такія рѣчи:

Если бѣ молодцу  
Ночь на добрый конь,  
Да булатный ножъ,  
Да темны лѣса!

Снаряжу коня,  
Наточу булатъ,  
Затяну чекмень  
Полечу въ лѣса:

Стану въ тѣхъ лѣсахъ  
Вольной волей жить,  
Удалой башкой  
Въ околоткѣ слыть

Деревня знаетъ, что это просто „дурь“, что если смирнаго малаго высѣкутъ розгами или посадятъ на двойной оброкъ, или пригрозятъ солдатчиной не въ очередь, такъ онъ не посмѣетъ и заикнуться больше о булатномъ ножѣ да объ вольной волѣ, да еще станетъ кланяться въ ноги старостѣ за то, что *здорово* наказывалъ дурака за неразумныя рѣчи. Знаютъ русскіе люди и то, что пускай и уйдетъ ихъ смирный парень въ „темны лѣса“, да недолго будетъ ему тамъ шубо, скоро запоетъ онъ другую пѣсню:

Ты прости-прощай,  
Сырѣ-дремучій боръ  
Съ лѣтней волею,  
Съ зимней вьюгою!

Одному съ тобой  
Надоѣло жить,  
Подъ дорогою  
До вѣри ходить!

Поднимусь, пойду  
Въ свою хижину,  
На житье-бытье  
На домашнее.

Тамъ возьму себѣ  
Молоду жену;  
И начну съ ней жить  
Припѣваючи...

Итакъ, нельзя смѣшивать удалыхъ вспышекъ русскаго человѣка съ тѣмъ удалствомъ, которое слито съ натурой нѣкоторыхъ людей, какъ постоянное свойство ихъ характера. Надо согласиться, что ни въ какой странѣ Европы не найдется такихъ удалцовъ, какими изобилуетъ Россія. Съ успѣхами образованности, удалство наше измѣняется въ формахъ, такъ что во многихъ случаяхъ его называютъ другими болѣе лестными именами. Но чѣмъ разнообразнѣе становятся его проявленія, тѣмъ яснѣе обнаруживается его сущность.

Русскій удалецъ совпадаетъ въ нелѣпости съ французомъ-энтузіастомъ. Одинъ составляетъ собою противоположность пошлости, другой—неподвижности большинства; но оба они равно неразумны, русскій—въ своемъ движеніи, французъ—въ своей страстной привязанности къ идеямъ. Результатъ русскаго удалства и французскаго энтузіазма одинъ и тотъ же: односторонность, крайность во всемъ. Гдѣ французъ пересолить страстнымъ воспріятіемъ мысли, тамъ русскій пересолить страстью къ гимнастикѣ. Такъ, напримѣръ, въ отрицаніи французъ впадетъ въ нелѣпость по любви къ той идеѣ, въ пользу которой отрицаетъ идею, ей противоположную, русскій—въ азартъ самаго процесса разрушенія. Энтузіастъ-французъ—по преимуществу риторъ, русскій удалецъ—по преимуществу гладіаторъ.

Чтобы понять это различіе источниковъ и сходство результатовъ раздраженія того и другого, надо яснѣе представить себѣ самое большинство французовъ и русскихъ въ его противоположности и сходствѣ. Въ русскомъ человѣкѣ гораздо больше глубины ума и чувства, чѣмъ во французѣ, потому что все содѣйствуетъ у насъ къ внутренней сосредоточенности индивидуума, которая въ французѣ составляетъ рѣдкость, исключеніе. За то французъ несравненно подвижнѣе русскаго: движеніе и бодрствованіе—его сфера, между тѣмъ, какъ сфера русскаго—покой и дремота. Французъ очень расположенъ къ принятію всякой новой идеи и къ проведенію ея въ жизнь, уже потому, что видитъ въ ней шагъ впередъ; но принимаетъ онъ ее большею частью чрезвычайно поверхностно и



головой, и сердцемъ. Слѣдовательно, большинство французовъ, ни мало не раздражая своимъ характеромъ людей движенія, можетъ однакожъ приводить въ сильное негодованіе натуры страстныя и глубокія. Большинство русскихъ, напротивъ, сильно проникается и мыслью, и чувствомъ, но крайне не расположено къ движенію: отъ новыхъ мыслей, отъ новыхъ впечатлѣній старается оно убѣгать, куда глаза глядятъ, какъ отъ безпокойства, отъ неожиданныхъ хлопотъ. Французъ довольствуется самымъ легкимъ намекомъ на идею, самымъ внѣшнимъ ея пониманіемъ, для того, чтобы скорѣе приступить къ проведенію ея въ жизнь, чтобы скорѣе имѣть предлогъ къ движенію. Русскій несравненно основательнѣе разсмотритъ и усвоитъ себѣ всякое новое попятіе; но дѣйствовать на основаніи новаго убѣжденія онъ не согласенъ: это для него сущее наказаніе. Мало того, чрезвычайно трудно склонить его и на то, чтобы онъ разсмотрѣлъ безъ предубѣжденія какую-нибудь новую мысль: прежде чѣмъ рѣшиться на такой подвигъ, онъ истощитъ всѣ средства избавиться отъ него. Слѣдовательно, большинство русскихъ способно возбудить негодованіе никакъ не поверхностностью логики и чувства, а исключительно неподвижностью. Послѣ этого очень понятно, почему большинство французовъ называетъ русскихъ медвѣдями, а большинство русскихъ, въ свою очередь, честитъ французовъ вертопрахами. Первымъ недостаетъ русской глубины, послѣднимъ—французской подвижности. Но не надѣйтесь найти въ энтузіастахъ-французахъ и въ русскихъ удалцахъ восполненіе того и другого національнаго недостатка. Вы найдете въ нихъ крайности противоположныя. О французахъ въ этомъ отношеніи говорено уже выше. Мы видѣли, что ихъ фанатизмъ доводитъ всякую идею до комизма. Что же касается до отважности русскаго миноритета, это тоже своего рода неразуміе. Русскій удалецъ въ области идей остается тѣмъ же безпутнымъ парнемъ, какимъ является онъ въ своихъ продѣлкахъ по большимъ дорогамъ. Толку, именно толку не добьешься отъ него никакого. Богъ знаетъ чего онъ требуетъ, къ чему стремится, на что рассчитываетъ; или лучше сказать, ничего онъ не требуетъ, ни къ чему не стремится, ни на что не рассчитываетъ. А между тѣмъ шумитъ и беспокоится онъ за все и про все. Въ увлеченіи болѣзненной подвижности, онъ, такъ же, какъ французъ въ увлеченіи фанатизма, доводитъ всѣ извѣстныя ему идеи до послѣдней степени односторонняго развитія. Удалецъ можетъ быть чрезвычайно уменъ: но идеи, имъ развиваемыя, не устоятъ противъ анализа самаго обыкновеннаго ума. Въ первый періодъ своего возникновенія мысль удалого человѣка можетъ быть очень глубока и справедлива; но дальнѣйшее ея движеніе увлекаетъ его, какъ вѣтеръ песчинку; онъ рабски несется за нею до тѣхъ поръ, пока сама она не истощится въ содержаніи и не остановится на крайней нелѣпости. Иногда и ему приходитъ въ голову, что не худо бы принять въ соображеніе всѣ стороны изслѣдуемаго предмета, не увлекаясь одною; иногда и старается онъ осмотрѣться на пути, по которому мчитъ его вихрь, но напрасно: чтобы



охватить предметъ всестороннимъ взглядомъ, надо имѣть силу самообладанія, а ея-то и недостаетъ удалцу точно такъ же, какъ и человѣку непосредственному. Но всего хуже то, что отсутствіе крайностей ему не по сердцу. По своему безпокойному свойству, онъ смѣшиваетъ его съ безжизненностью и съ двуличностью. Если хотите, какъ русскій, онъ нѣсколько правъ, потому что у насъ всякій вопросъ рождаетъ сплошь три рода ученій, изъ которыхъ два непременно составляютъ противоположныя одна другой крайности, а третье—двуличное соединеніе этихъ равно ложныхъ доктринъ, состоящее изъ нелогическихъ уступочекъ съ обѣихъ сторонъ и извѣстное подъ названіемъ *золотой середины*. Тѣмъ не менѣе, съ общей точки зрѣнія, правды нѣтъ ни въ томъ, ни въ другомъ; *крайность есть сужденіе о предметѣ, основанное исключительно на анализѣ одного изъ его свойствъ, постоянныхъ или случайныхъ: двойственность есть признаніе справедливости двухъ исключających одно другое сужденій*. А еще есть люди, которые, сознавая правильность этихъ опредѣленій позволяютъ себѣ задумываться надъ выборомъ между тѣмъ или другимъ способомъ познанія истины! Можно ли говорить: „нѣтъ ужъ лучше впадать въ крайности, чѣмъ держаться безжизненной середины“? Какъ будто это не та же безжизненность—взвѣшивать, которое изъ двухъ заблужденій *сносите!* Истинно *живой* человѣкъ, съ правильнымъ направленіемъ потребностей и способностей, равно отвергнетъ всѣ ложныя путы къ познанію, лишь только увѣрится, что они дѣйствительно ложны. Кто замѣшиваетъ въ этотъ выборъ что-нибудь, кромѣ строгихъ соображеній здраваго смысла, кто можетъ сказать: „я знаю, что говорю иногда вздоръ, да въ этомъ вздорѣ есть какое-то увлекательное, *живое* безпокойство“, тотъ самъ произноситъ себѣ приговоръ, самъ обнаруживаетъ свою болѣзненную организацію, свое нервическое разстройство. Сознавать источникъ своихъ заблужденій и не произнести ему рѣшительнаго осужденія, вотъ что значитъ быть подавлену собственными силами, вотъ настоящая, запущенная болѣзнь ума! По нашему мнѣнію человѣкъ, который попустилъ себѣ любоваться слабыми сторонами своей логики, понимая, что это именно слабости, дѣйствительно походить на больного.

Но если удалство приводитъ мыслящаго человѣка къ такимъ результатамъ, то и двуличность или сліяніе крайностей ничѣмъ не лучше его. Съ точки зрѣнія логической равно нелѣпо—изучать предметъ съ одной стороны, то-есть, въ единицѣ видѣть дробь, или допускать въ одномъ и томъ же предметѣ два противоположныя свойства, то-есть, единицу обращать въ нуль. Сверхъ того, дуализмъ возмущаетъ своею претензіей на хладнокровіе точно такъ же, какъ удалство—своими притязаніями на жизненность. Строгость, безпристрастіе, глубоко-мысліе, все это дуалистъ считаетъ своими естественными привилегіями: „въ моихъ словахъ“—думаетъ онъ—„неумолимый приговоръ всѣмъ идѣямъ, порожденнымъ слабостью, пристрастіемъ и поверхностью“. И какъ удобно распоряжается

онъ своими великими средствами! Имѣя въ головѣ однажды навсегда заготовленный въ школѣ десятокъ-другой идей, которыя, по ихъ блѣдности и неопредѣленности, можно выражать на тысячи тысячъ ладовъ, дуалистъ не имѣетъ нужды мыслить и трудиться наравнѣ съ чернорабочими труженниками науки: его дѣло сидѣть спокойно въ своемъ углу и дожидаться появленія въ обществѣ какихъ-нибудь крайностей, которыя, какъ извѣстно, никогда не заставляютъ себя долго ждать въ области мысли. Лишь только удалцы дадутъ ходъ двумъ діаметрально противоположнымъ, одностороннимъ ученіямъ, дуалистъ возстаетъ во всей лѣпотѣ своего превосходства, произноситъ осужденіе обѣимъ сторонамъ, сужденіе грозное, но украшенное роскошными цвѣтами академическаго краснорѣчія... Но вотъ за осужденіемъ слѣдуетъ и поученіе. „То и другое мнѣніе“, скажетъ ораторъ,—„равно несправедливы, какъ крайности, но каждое изъ нихъ имѣетъ свое справедливое основаніе: взглядъ глубокій и безпристрастный открываетъ истину *въ умѣренномъ признаніи справедливости того и другого мнѣнія*“. Иными словами, истина состоитъ въ амальгамѣ двухъ несовмѣстныхъ идей. Вотъ строгость, безпристрастіе и глубокомысліе дуалиста! Хотите ли прославиться у насъ умомъ строгимъ, безпристрастнымъ и глубокимъ? Дѣлайте, какъ онъ: не рѣшайте сами ни одного вопроса, а ловите крайнія выраженія одностороннихъ взглядовъ на всякій новый вопросъ, появившійся въ обществѣ, и умѣйте только держаться, въ своихъ сужденіяхъ, *золотой середины*, то-есть, не подавать рѣшительнаго голоса ни въ ту, ни въ другую сторону: ваша слава сдѣлана, да еще какая слава! Вы явитесь въ обществѣ не въ роли простого поборника идей, а въ качествѣ миротворца воюющихъ сторонъ, съ санѣ судіи и законодателя умственнаго міра! И какой чудный пріемъ сдѣлаетъ вамъ общество, которое избавляете вы отъ тягостнаго труда мысли, суда и рѣшенія обнаруженіемъ своего прекраснаго и легкаго способа мыслить, судить и рѣшать! Повѣрьте, рано или поздно оно воздвигнетъ вамъ великолѣпный памятникъ за то, что вы научили его платить дань разуму, не прерывая той пріятной дремоты, которая ему всего на свѣтѣ дороже. Пусть кто хочетъ бодрствуетъ, пусть беспокойныя натуры трудятся надъ *дѣйствительнымъ* изысканіемъ истины: общество, наученное вами, сумѣетъ рѣшить какіе-угодно вопросы *для очищенія совѣсти передъ просвѣщеніемъ вѣка*, а вѣдь это—главное: изъ чего же иного и бьется оно подчасъ, какъ рыба объ ледъ?...

Итакъ, если всмотрѣться въ сущность русскаго удалства и русскаго дуализма, двухъ началъ, господствующихъ у насъ въ жизни и въ мышленіи, то нельзя не согласиться, что источникъ того и другого—въ характерѣ русскаго большинства, то-есть, въ подвижности его. Удалство есть не что иное, какъ подвижность живой натуры, раздраженная противодѣйствіемъ косности и доведенная борьбою до болѣзненной крайности. Дуализмъ, напротивъ того, есть за-

маскированная неподвижность; онъ возмущается удалствомъ и крайностями, которыя имъ рождаются, отнюдь не въ силу сознанія дѣйствительнаго пути къ истинѣ, а единственно потому, что видитъ въ немъ движеніе: иначе не разрѣшался бы онъ такимъ нелѣпымъ результатомъ, каково признаніе справедливости двухъ діаметрально-противоположныхъ мнѣній.

Исторія развитія нашихъ идей со временъ реформы до настоящей минуты служитъ подтвержденіемъ всего сказаннаго нами объ особенностяхъ русскаго характера. Скажите: можемъ ли мы указать хоть одну идею, которая была бы рѣшена у насъ на чистоту въ продолженіе полутора вѣкового развитія? Не требуемъ отъ нашего незрѣлаго общества, чтобъ оно въ этотъ періодъ времени доросло до логическаго рѣшенія какихъ-нибудь общечеловѣческихъ вопросовъ; требованіе наше гораздо умѣреннѣе; спрашиваемъ: разгадали ли мы въ полтора вѣка лѣтъ самую близкую къ намъ задачу отношенія Россіи къ человѣчеству? Мысль объ этомъ отношеніи пробудилась еще до Петра въ умахъ немногихъ; но самый фактъ его преобразованія не могъ не дать ей хода во всѣ углы и закоулки имперіи. Рѣшили ли же мы первый вопросъ, порожденный дѣломъ Петра? Нѣтъ, рѣшительно нѣтъ! До сихъ поръ существуютъ у насъ ожесточенные враги преобразованія и слѣпыя партизаны всего европейскаго: двѣ партіи, между которыми постоянно становятся непрощенные миротворцы, напоминающіе собою того судью, который никогда не хотѣлъ рѣшать дѣло въ пользу *одной* изъ тяжущихся сторонъ, для того чтобъ не поселять вражды между своими кліентами. И всѣ эти партіи, воинствующія и мирящія, выражаютъ собою или неподвижность или удалство. Первое мѣсто между противниками преобразованія занимаютъ люди покоя, большинство населенія. Но въ этомъ лагерѣ есть и удалцы, которыя стоятъ противъ европеизма не по чему иному, какъ въ силу односторонняго изслѣдованія идеи національности. Точно такъ же и поклонники Петра и Европы раздѣляются не больше, какъ на двѣ категоріи: къ одной изъ нихъ принадлежатъ опять-таки люди покоя, которые *привыкли* къ европеизму до того, что даже безпристрастное изученіе Россіи, чуждое всякаго славянофильства или, правильнѣе—руссофильства, непріятно имъ, какъ дѣло новое, требующее новыхъ трудовъ, новыхъ соображеній, однимъ словомъ—движенія. Столичному барину, воспитанному среди лоска европейской цивилизаціи, такое стремленіе противно по тому же самому, почему была бы противна ему всякая новизна, проникающая къ намъ съ запада, если бъ онъ былъ помѣщикомъ захолустья. И сколько встрѣчаемъ мы въ Россіи такихъ господъ, которые въ молодости, живя въ столицѣ, бредятъ Европой и вопіютъ противъ азіатства нашего провинціального быта, а потомъ поселившись въ провинціи, въ самое короткое время совершенно сливаются въ понятіяхъ и нравахъ съ автохтонами своего уѣзда. Ясно, такимъ людямъ движеніе до того гнѣтливо, что они готовы все на свѣтѣ предпочесть борьбѣ. Къ второй категоріи приверженцевъ преобразованія принадлежатъ такіе же удалцы, какіе встрѣ-

чаются и между славянофилами: это—люди, увлеченные одностороннимъ преслѣдованіемъ идеи космополитизма въ крайность слѣплого презрѣнія ко всему русскому. Въ энтузіазмѣ своемъ они не могутъ понять, что разумный космополитизмъ такъ же противится предубѣжденію противъ той или другой стороны, какъ и предубѣжденію въ пользу ея. Такіе удалцы доходятъ до убѣжденія въ совершенной неспособности всего славянскаго племени къ историческому развитію и забываютъ ту наивную истину, что человѣкъ, какого бы племени онъ ни былъ, все-таки человѣкъ, а не минералъ и не животное... Отъ времени до времени миротворцами этихъ двухъ партій являлись дуалисты, которые, разумѣется, ровно ничего не прибавляли къ ясности вопроса, а скорѣе можно сказать, еще болѣе запутывали его своимъ безличнымъ поддакиваніемъ той и другой сторонѣ. Задача остается до сихъ поръ въ томъ же видѣ, въ какомъ явилась болѣе ста лѣтъ назадъ...

Вотъ что значитъ „національное міросозерцаніе“, которымъ многіе такъ восхищаются! Приведеннаго здѣсь примѣра, кажется, достаточно для того, чтобы понять, какъ сильно содѣйствуетъ оно прогрессу идей въ обществѣ. Мы нарочно привели въ примѣръ идею самую близкую, самую интересную для народа, въ которомъ она возникла. Ужъ если ее до сихъ поръ не могли мы рѣшить ни на волосъ при помощи своего національнаго взгляда на вещи, такъ чего же ожидать отъ этого взгляда въ области вопросовъ общечеловѣческихъ?

Въ предыдущихъ анализахъ различныхъ національностей мы доходили до заключенія, что одна изъ двухъ крайностей, въ которыхъ проявляется фізіономія каждаго народа, именно крайность миноритета, никогда не пропадаетъ бесплодно для человѣчества. Какой же плодъ принесло до сихъ поръ русское удалство? Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, мы не послѣдуемъ примѣру тѣхъ самолюбивыхъ систематиковъ, которымъ ничего не значитъ натянуть потребное количество историческихъ фактовъ для того, чтобы оправдать свою систему. Говоримъ откровенно, что русское удалство, по нашему мнѣнію, до сихъ поръ еще не играло никакой важной роли въ исторіи развитія человѣческаго рода. Да и могло ли быть иначе? Мы находимся еще въ томъ періодѣ, когда народъ стремится только къ тому, чтобы сознать свое отношеніе къ человѣчеству и, усвоивъ себѣ то, что выработано жизнью другихъ народовъ, для того, чтобы *со временемъ* продолжать ихъ дѣло. Впрочемъ, о томъ, что будетъ, мы не имѣемъ привычки говорить утвердительно: можетъ быть, съ развитіемъ цивилизаціи и удалство нашего народа исчезнетъ вмѣстѣ съ самою неподвижностью, которою оно обусловлено, и тогда, опять-таки, *можетъ быть*, русскій человѣкъ выступитъ на поприщѣ всемірно-исторической дѣятельности и не съ такимъ отрицательно-полезнымъ для человѣчества свойствомъ, которое можно назвать не болѣе какъ *необходимымъ зломъ*. Во всякомъ случаѣ, не находя въ себѣ никакихъ способностей къ пророчеству, мы не намѣрены входить въ дальнѣйшія

разсужденія объ этомъ предметѣ и предоставляемъ это тѣмъ глубокимъ знатокамъ русской народности, которые на томъ и стоятъ, чтобы предсказывать будущность Россіи. Что касается до насъ, мы позволяемъ себѣ только такія заключенія, которыя основываются на изученіи фактовъ прошедшаго и настоящаго.

Ограничивая свою пытливость такими предѣлами, можно еще найти много предметовъ, любопытныхъ для анализа. Такъ напримѣръ, чрезвычайно интересно было бы изучить въ русской исторіи тѣ личности, которыя представляютъ собою разные роды противоположности свойствамъ большинства націи. Такое изученіе можетъ повести къ самымъ отчетливымъ понятіямъ о степени величія многихъ историческихъ лицъ: обстоятельство, чрезвычайно важное въ разработкѣ исторіи, до такой степени біографической, какова исторія нашего отечества. Если и вообще въ исторіи вопросы о великихъ людяхъ принадлежать къ числу самыхъ нерѣшенныхъ и сбивчивыхъ, то тѣмъ болѣе это можно сказать о русской исторіи. Дивныя, непостижимыя вещи встрѣчаемъ мы во всѣхъ вышедшихъ до сихъ поръ біографіяхъ историческихъ людей Русской земли! И сколько въ нихъ противорѣчій! Такъ, напримѣръ, есть у насъ „Русская Исторія“, составленная съ большою претензіей на біографическое искусство. Въ какой мѣрѣ такая претензія оправдывается самымъ дѣломъ—объ этомъ можно судить по слѣдующему примѣру.

Извѣстно, что Карамзинъ цѣнилъ личность и дѣла Іоанна III выше личности и дѣлъ Петра Великаго. „Оба, безъ сомнѣнія, велики“, говоритъ онъ въ шестомъ томѣ своей „Исторіи“ (перв. изданіе, стр. 331);—„но Іоаннъ, включивъ Россію въ общую государственную систему Европы, и ревностно заимствуя искусства образованныхъ народовъ, не мыслилъ о введеніи новыхъ обычаевъ, о перемѣнѣ нравственнаго характера подданныхъ; не видимъ также, чтобы пекся о просвѣщеніи умовъ науками; призывая художниковъ для украшенія столицы и для успѣховъ воинскаго искусства, хотѣлъ единственно великолѣпія, силы; и другимъ иноземцамъ не заграждалъ пути въ Россію, но единственно такимъ, которые могли служить ему орудіемъ въ дѣлахъ посольскихъ или торговыхъ; любилъ изъявлять имъ только милость, какъ пристойно великому монарху, къ чести, не къ униженію собственнаго народа. Не здѣсь, но въ исторіи Петра должно изслѣдовать, кто изъ сихъ двухъ вѣнценосцевъ поступилъ благоразумнѣе или согласнѣе съ истинною пользою отечества“. Въ этихъ словахъ уже проглядываетъ сильное предпочтеніе Іоанна со стороны исторіографа. Но въ „Введеніи“ онъ ясно говоритъ объ Іоаннѣ, что не знаетъ монарха, „болѣе достойнаго сіять на скрижаляхъ исторіи“...

Такое сужденіе Карамзина согласно, по крайней мѣрѣ, съ его идеями объ условіяхъ благосостоянія Россіи. Но съ чѣмъ согласить мнѣніе объ Іоаннѣ, выраженное г. Устряловымъ, однимъ изъ усерднѣйшихъ поклонниковъ Петра? Вотъ его слова: „Не ознаменовавъ себя никакимъ блестящимъ подвигомъ, который

изумилъ бы современниковъ, не заслуживъ и признательности ихъ. *Іоаннъ является истинно великимъ передъ судомъ потомства*: все, что доселѣ терзало Россію, что грозило ей новыми бѣдствіями, и разновластіе удѣльное, и монгольское владычество, и стѣсненіе Московскаго государства домоу Гедимина, все рушилось безъ тягостной борьбы, какъ бы само собою, единственно помощію дальновидной политики. Рѣдкій государь умѣлъ такъ хорошо постигнуть потребности своего вѣка и народа, такъ искусно воспользоваться всѣми средствами и такъ удачно дойти до своей цѣли, какъ Іоаннъ III. Отъ сего все, что ни дѣлалъ онъ, подобно дѣяніямъ Петра Великаго, осталось вѣковымъ. *Но разность между обоими государями была чрезвычайная*: Петръ созидалъ все вновь, всему давалъ новую, лучшую форму европейскую, былъ героемъ на поляхъ брани, неутомимымъ законодателемъ, художникомъ, учителемъ своего народа; за каждое дѣло брался со всею живостію огненнаго характера и всѣ препятствія одолевалъ безпримѣрною силою души, самою быстротою своихъ дѣйствій. *Іоаннъ усердно держался старины отечественной, не измѣнялъ ни нравовъ, ни обыкновений, ни общественныхъ уставовъ, никогда не славился и личнымъ мужествомъ, главное же—въ каждомъ предпріятіи обнаруживалъ хладнокровную расчетливость, ждалъ благовременнаго случая, готовилъ вѣрныя средства, заставлялъ своихъ враговъ дѣйствовать вмѣсто себя и только тогда прибѣгалъ къ крутымъ мѣрамъ, когда наступала рѣшительная минута; тутъ онъ устремлялъ всю массу своихъ силъ и приводилъ въ движеніе всѣ приготовленные заранее пружины*“ (Русская Исторія, т. II, стр. 6—8).

Въ началѣ сказано: „Іоаннъ является истинно великимъ передъ судомъ потомства“. Но если сличить эти панегирическія слова съ послѣдними фразами сдѣланной нами выписки, то нельзя не заключить, что либо г. Устряловъ составилъ себѣ самое странное понятіе о человѣческомъ величіи, либо черезчуръ придерживался Карамзина, либо, наконецъ, впалъ въ иронію, вовсе неумѣстную въ учебномъ руководствѣ. Нужно ли распространяться въ доказательствахъ того, что нарисованный имъ портретъ Іоанна есть идеалъ самаго обыкновеннаго русскаго человѣка, поглощеннаго рутинной и усыпленіемъ потребностей, но вмѣстѣ съ тѣмъ очень умнаго и распорядительнаго? Чѣмъ онъ выше Іоанна Калиты? Неужели тѣмъ, что дѣйствовалъ въ размѣрахъ несравненно огромнѣйшихъ? Да вѣдь эта огромность замѣчается отнюдь не въ самихъ средствахъ къ исполненію административныхъ и политическихъ плановъ, а единственно въ самомъ масштабѣ государства. Московское государство, *наслѣдованное Іоанномъ III*, было несравненно огромнѣе московскаго удѣла, доставшагося Іоанну Калитѣ. Распространеніе предѣловъ, совершенное обоими государями, было совершенно пропорціонально размѣрамъ земли, которую каждый изъ нихъ наслѣдовалъ, и потому пріобрѣтеніе деревень и городовъ, прилегавшихъ къ Москвѣ,—такое же важное



дѣло Іоанна Калиты, какъ покореніе Новгорода Іоанномъ III. Спрашивается: чѣмъ же наслѣдникъ двадцати душъ, сумѣвшій посредствомъ хладнокровія, хитрости и скопидомства сдѣлаться подлѣ конецъ жизни владѣльцемъ цѣлой сотни душъ, ниже сына, которому отказалъ эту сотню, и который, наслѣдовавъ отъ отца и хладнокровіе, и хитрость, и скопидомство, въ свою очередь отошелъ къ праотцамъ уже владѣльцемъ цѣлой тысячи рабовъ? Безсмертными подвигами Іоанна III Карамзинъ считаетъ уничтоженіе удѣльной системы, покореніе Новгорода, окончательное сверженіе татарскаго ига, сношенія съ Европой, изданіе законовъ. Мнѣніе о величіи этихъ дѣяній вполне раздѣляетъ г. Устряловъ. Но стоитъ только заглянуть не болѣе какъ въ его же „Русскую Исторію“, чтобы убѣдиться, до какой степени преувеличена похвала этому государю. Вотъ собственные слова г. Устрялова:

Стр. 8 и 9. „Уничтоженіе удѣльной системы совершилось въ нашемъ отечествѣ не вдругъ; разновластіе исчезало постепенно во все время Іоаннова правленія и окончательно прекратилось уже при сынѣ его: единодержавіе было главною цѣлію его политики; но всегда вѣрный правилу прибѣгать къ рѣшительнымъ мѣрамъ только въ крайности, онъ не хотѣлъ начать открытую борьбу съ удѣльными владѣтелями, даже заключать съ ними договоры о взаимной неприкосновенности отчинъ; призналъ великаго князя Тверскаго равнымъ себѣ государемъ, не трогалъ правъ ни Пскова, ни Новгорода, дозволилъ юному князю Рязанскому, воспитанному въ Москвѣ, возвратиться въ отцовскую область; требовалъ только, чтобы князья дѣйствовали съ нимъ за-одно, признавали его старшимъ и не ссылались съ непріятелями Москвы. Исполняя свято договоры, не нарушая правъ удѣльныхъ, онъ хотѣлъ, чтобы и князья уважали его право старѣйшинства, присвоивъ этому слову тотъ же смыслъ, какой имѣло оно при Владимірѣ Мономахѣ и Дмитріи Донскомъ: безъ воли его князья не смѣли предпринять ничего важнаго, ни заключать союзовъ, ни искать управы оружіемъ въ обыкновенныхъ своихъ распряхъ: въ противномъ случаѣ, имъ грозилъ немолимый гнѣвъ государя. Однимъ словомъ, еще не касаясь удѣловъ, Іоаннъ былъ самодержавнымъ, подобно Владиміру Мономаху“.

Однимъ словомъ, скажемъ мы съ одной стороны, Іоаннъ III, какъ человѣкъ рутины, хотя чрезвычайно бодрый, дѣятельный и смѣтливый, вовсе не думалъ истреблять въ Россіи удѣльной системы и только что не упускалъ ни малѣйшаго повода къ увеличенію собственной силы. Такъ точно поступаетъ и всякій, вѣрующій въ абсолютное значеніе кровнаго родства, но не упускающій случая обогащаться на счетъ родственниковъ.

Покореніе Новгорода еще болѣе выражаетъ раболопную привязанность Іоанна къ стариннымъ идеямъ, а главное, должно быть приписано болѣе всего желанію или измѣнѣ одной партіи самихъ новгородцевъ. Точно такъ это дѣло и описано у г. Устрялова.



Если прибавить къ этому, что сверженіе татарскаго ига—подвигъ еще менѣе трудный и притомъ выражающій непомерную терпимость Іоанна, что законодательство его есть не что иное, какъ изображеніе на письмѣ всѣхъ старинныхъ обычаевъ, и что построеніе храмовъ и дворцовъ иностранными художниками не заглаживаетъ поступка его съ ганзеатами, окончательно отдалившаго европейцевъ отъ торговыхъ сношеній съ Россіей; если принять въ соображеніе, что самъ г. Устряловъ ни мало не противорѣчитъ этимъ заключеніямъ, то спрашивается: чѣмъ же великъ человѣкъ, котораго дѣла носятъ на себѣ печать самой типической обыкновенности? Не беремъ на себя отвѣчать еще разъ на этотъ вопросъ. Замѣтимъ только, что знаніе отношеній человѣческаго величія къ національности одно только можетъ избавить отъ противорѣчій, подобныхъ тѣмъ, въ которыя безпрестанно впадаетъ г. Устряловъ. Если бъ отношеніе это было ему извѣстно, никакъ не позволилъ бы онъ себѣ и подумать о сходствѣ Іоанна III съ Петромъ Великимъ. Равнымъ образомъ, не остался бы для него загадкою Дмитрій Самозванецъ, лицо, изученію котораго посвящено имъ много труда и любви. Дмитрій представляется обыкновенно какимъ-то непонятнымъ существомъ, совмѣщавшимъ въ себѣ почти всѣ совершенства и почти всѣ пороки, между тѣмъ какъ вся его жизнь объясняется весьма просто тѣмъ, что основой его характера было удалство, не позволявшее ему быть ни пошлымъ, ни великимъ. Впрочемъ, объ удалствѣ на первый разъ сказано довольно; примѣры могутъ увлечь насъ слишкомъ далеко. Пора перейти къ русскому человѣку, отрѣшенному отъ крайностей своей національности: такъ понимаемъ мы Кольцова, какъ личность.

Если изъ всего до сихъ поръ сказаннаго можно заключить, что человѣчность находится въ прямой противоположности съ національностью, то само собою разумѣется, что назвать Кольцова представителемъ *русской* натуры значитъ —назвать его представителемъ *тѣхъ отступленій отъ человѣческаго типа*, которыя постоянно встрѣчаются въ русской націи. Если бы такое опредѣленіе характера этого чловѣка оправдывалось дѣйствительностью, Кольцовъ долженъ бы былъ проявлять во всѣхъ своихъ мысляхъ, чувствахъ и дѣлахъ или самую отчаявающую неподвижность или самое отчаянное удалство. Въ первомъ случаѣ, рожденный въ степи и выросшій въ грязной сферѣ торгашества, онъ чуждался бы мысли о возможности жизни въ другомъ мірѣ, сносилъ бы все зло окружавшаго его быта съ полнымъ снисхожденіемъ, основаннымъ на отвращеніи отъ всего, что не составляетъ собою насущной дѣйствительности. Всякое движеніе, всякій порывъ былъ бы ему не по сердцу; онъ мечталъ бы о томъ и все приноравливалъ бы къ тому, чтобъ идти своею дорогой безъ малѣйшей борьбы съ дѣйствительностью и съ совершеннымъ благоговѣніемъ къ ея условіямъ. Но мы видѣли уже, что весь лирическій отдѣлъ стихотвореній Кольцова есть не что иное, какъ *поэзія порыва*. Что же касается до его жизни, то всякій читавшій его

біографію знаетъ, что жизнь Кольцова прошла въ непрерывной борьбѣ съ дѣйствительностью и въ несокрушимомъ стремленіи къ лучшему. Слѣдовательно, доказывать противоположность личности Кольцова особенностямъ русскаго большинства было бы совершенно излишне. Простительнѣе сдѣлать вопросъ: не проявляетъ ли онъ собою противоположной крайности? Но и на этотъ вопросъ приходится отвѣчать отрицательно: стоитъ только всмотрѣться въ его поэзію и вспомнить его жизнь.

Стихотворенія Кольцова, выражая собою изумительную жизненность, вмѣстѣ съ тѣмъ отличаются какою-то необыкновенною *дѣльностью и нормальностью*. Никакъ не уличите вы его ни въ какой крайности, ни въ какомъ болѣзненномъ проявленіи раздражительности. Читая его произведенія, вы безпрестанно видите передъ собою человѣка въ самой ровной борьбѣ съ обстоятельствами, человѣка, одареннаго такими силами для борьбы со всѣмъ внѣшнимъ, что необходимость этой борьбы нисколько не пробуждаетъ въ насъ состраданія къ бойцу: вы увѣрены, что побѣда остается на его сторонѣ, и что силы его еще болѣе разовьются отъ страшной гимнастики. Не опасаясь найти въ этомъ развитіи никакихъ болѣзненныхъ слѣдовъ злостнаго увлеченія, никакой желчности, никакой односторонности, образующейся въ людяхъ посредственной жизненности вслѣдствіе вражды съ *обстоятельствами*. Обыкновенная исторія *живого* человѣка очень печальна и жалка: вслѣдъ за ребяческою непосредственностью приходитъ періодъ романтизма, періодъ отчаяннаго отрѣшенія мысли отъ дѣйствительности, а вслѣдъ за романтизмомъ—столь же отчаянное и нелѣпое разочарованіе, разрѣшающееся или односторонностью, или совершенною пошлостью. Но вамъ уже извѣстно, какъ далекъ былъ Кольцовъ и отъ романтизма, и отъ разочарованія. Нельзя не говорить о немъ съ особеннымъ уваженіемъ, если вспомнить, что эпоха его первой молодости совпадаетъ съ эпохой господства у насъ этихъ двухъ чудовищъ. Конечно, романтизмъ и разочарованіе не могли проникнуть въ ту сферу общества, въ которой жилъ Кольцовъ. За то онъ встрѣчалъ ихъ въ литературѣ, въ произведеніяхъ тѣхъ поэтовъ, которымъ хотѣлъ подражать, пока талантъ его не достигъ полной оригинальности; а въ книгахъ-то и заключался его душевный міръ! Будь Кольцовъ немного ниже того, чѣмъ былъ дѣйствительно, нельзя было бы не извинить ему такого энергичнаго выхода изъ убійственной дѣйствительности. Вмѣсто того, самыя патетическія выраженія страсти исполнены у него строгой разумности:

Безъ любви и съ горемъ  
Жизнью наживемся!

Эти слова могли вырваться изъ груди только въ минуту сильнаго напряженія страсти. А между тѣмъ, въ нихъ столько здраваго смысла, до такой степени чужды они всякой гиперболичности выраженія, что правильнѣе не могъ

бы выразиться самый глубокий мыслитель въ минуту спокойнаго созерцанія. И вообще, какъ мы уже видѣли, вся поэзія Кольцова есть художественное выраженіе того всеобъемлющаго ученія любви къ жизни, до котораго человечество только что доходитъ путемъ идей и опытовъ, совершенно неизвѣстныхъ нашему поэту. Ясно, что въ такомъ человѣкѣ не могло быть никакой болѣзненной односторонности, сколько-нибудь напоминающей собою русское удалство. Самая жизнь его представляетъ собою удивительный образецъ гармоніи между стремленіемъ къ лучшему и разумнымъ уваженіемъ въ дѣйствительности. Въ статьѣ г. Бѣлинскаго „О жизни и сочиненіяхъ Кольцова“ приложенной къ книжкѣ, эта черта выставлена очень ясно, и мы отсылаемъ къ ней нашихъ читателей.

Итакъ, по нашему мнѣнію, личность Кольцова тѣмъ и замѣчательна, что его никакъ нельзя назвать представителемъ русской національности. Но, можетъ быть, національность въ поэтѣ совсѣмъ не то, что въ человѣкѣ обыкновенномъ. По крайней мѣрѣ, существуетъ мнѣніе, будто бы національность даже входитъ въ число условій истиннаго поэтического таланта. Это мнѣніе такъ распространено, что мы не считаемъ нужнымъ исчислять тѣхъ эстетиковъ, которые его держатся. Вопросъ въ томъ: какъ понимать въ этомъ случаѣ слово *национальность*—какъ свойство самого поэта, или какъ свойство предметовъ, имъ изображаемыхъ? Кто требуетъ, чтобы самъ художникъ отличался національными свойствами, тотъ, по нашему мнѣнію, требуетъ, чтобы содержаніе его искусства было ограничено сферой національнаго воззрѣнія и характера. И дѣйствительно, есть люди, которые цѣнятъ въ художникѣ именно то, что онъ выражаетъ собою фizioномію своей націи, то-есть, смотритъ на вещи ея глазами, чувствуетъ ея сердцемъ, выражаетъ ея стремленія. Понятно, что въ отношеніи статистическомъ и историческомъ нельзя не дорожить такими личностями: ихъ произведенія лучше всего выражаютъ собою время и народъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя не согласиться, что поэтъ національный въ этомъ смыслѣ слова ровно ничего не прибавляетъ къ развитію своего народа. Эта истина очевидна для тѣхъ, которые согласятся съ сказаннымъ выше о національности вообще. Но въ своемъ частномъ развитіи она даетъ поводъ къ нѣкоторымъ возраженіямъ, особенно если рѣчь пойдетъ о поэзіи сатирической. Поэтому мы должны войти въ нѣкоторые объясненія. Съ перваго взгляда кажется очевиднымъ, что никакая сатира не можетъ быть національною въ томъ смыслѣ, по которому національное произведеніе должно выражать собою всѣ особенности націи, воплощенные въ самомъ художникѣ. Чтобы создать сатиру, надо прежде всего самому возвыситься надъ слабостями общества: иначе самое расположеніе къ сатирической поэзіи невообразимо. Но противъ этого могутъ возразить, что сатирическій талантъ часто дается такимъ людямъ, которые по идеямъ своимъ стоятъ гораздо ниже образованной части общества. Однакожь этотъ фактъ объясняется какъ нельзя проще противоположностью самой личности художника съ характеромъ соотечественниковъ и

современниковъ: если вы—человѣкъ отъ природы весьма подвижной во всѣхъ отношеніяхъ, вамъ должны быть нестерпимы явленія общества апатическаго. Будь у васъ при этомъ художественный талантъ, вы можете сдѣлаться сатирикомъ этого общества и непременно сдѣлаетесь, если талантъ вашъ необыкновенно силенъ. Нѣтъ особенной надобности, чтобъ вы могли критически разбирать недостатки своихъ соотечественниковъ, основывая критику на неопровержимыхъ доказательствахъ. Безсознательное отвращеніе укажетъ вамъ, на что слѣдуетъ вамъ нападать, и часто вы сами не будете умѣть оправдать свою сатиру логическими доводами, а сатира ваша будетъ все-таки прекрасна и подвинетъ общество. Мало того: замѣчательно, что большая часть сатириковъ-художниковъ не могли похвастать превосходствомъ своего образованія передъ обществомъ, которое вызывало ихъ нападенія. И наоборотъ, сатира чрезвычайно рѣдко удавалась вполовѣ людямъ, стоявшимъ, по своему *логическому развитію*, гораздо выше своего вѣка и народа. Фактъ очень естественный: умъ, развитый природой и образованіемъ, стремится выразиться въ свойственный ему формѣ, которая противоположна формѣ искусства. Потому-то человѣкъ съ необыкновеннымъ умомъ и роскошнымъ образованіемъ долженъ имѣть еще болѣе художественнаго таланта, чѣмъ ума и образованія, чтобы выполнить задачу искусства, не повредивъ дѣлу логическими замашками, на примѣръ, идеализированіемъ жизни и людей, силлогистикой и т. п. Однимъ словомъ, дидактическій талантъ человѣка, взявшагося за сатиру, легко можетъ взять верхъ надъ сатирическимъ, то-есть, чисто-художественнымъ, и тѣмъ самымъ повредить изяществу произведенія.

Не ясно ли же, что человѣкъ, создающій сатиру на противоположности своей личности съ характеромъ окружающихъ его людей, самою природой поставленъ выше ихъ? Всякая *особенность* народа, то-есть, всякое уклоненіе его отъ человѣческаго типа, есть *слабость*. Слѣдовательно, кто и безсознательно стоитъ противъ этой особенности, тотъ все-таки выше одной изъ слабостей своего народа.

Во-вторыхъ, могутъ возразить, что есть цѣлые народы, отличающіеся сатирическими способностями. Но спрашивается: чѣмъ отличается сатира отъ другихъ произведеній искусства? Ничѣмъ, кромѣ формы. Основую старины, такъ же, какъ и основу всякаго художественнаго произведенія, служитъ любовь ко всему, что согласно съ человѣческою природой. Но всякая любовь выражается или положительно—въ своей прямой, наивной формѣ, или отрицательно—въ отвращеніи отъ того, что противоположно предмету любви. Мы отвращаемся отъ одного единственно потому, что любимъ другое. Наклонность художника къ той или другой формѣ выраженія своей любви (иначе—идеи) рѣшительно зависитъ отъ того, какими явленіями болѣе онъ имѣлъ случай проникнуться, тѣми ли, которыя согласны съ его любовью, или тѣми, которыя противоположны ея требованіямъ. Такимъ образомъ, сильное развитіе сатирической способности въ цѣломъ народѣ доказъ-

ваетъ только двѣ вещи: во-первыхъ, что вообще въ немъ есть способность къ художественному творчеству; во-вторыхъ, что онъ сохранилъ еще въ борьбѣ съ внѣшностью такую силу человѣчности, что не утратилъ способности возмущаться явлениями, несогласными съ требованіями человѣческой природы. И то, и другое равно ничего не говоритъ въ пользу національности, доказывая только, что внѣшнія обстоятельства не въ силахъ истребить въ концѣ всей красоты человѣческаго типа, и что есть условія, при которыхъ дѣйствіе внѣшности не только не подавляетъ нашихъ силъ, а еще, напротивъ того, вызываетъ ихъ изъ зародыша и направляетъ въ надлежащую сторону. Словомъ, къ этому случаю примѣняется все, что сказано выше о такъ-называемыхъ *національныхъ* добродѣтеляхъ, которыя въ сущности суть не что иное, какъ потребности и способности человѣка, развитыя нормально.

Наконецъ, намъ могутъ замѣтить, что сатира удастся иногда и такимъ людямъ, которые не только не стоятъ выше своего времени и народа, но и самую сатиру свою направляютъ противъ стремленія къ освобожденію человѣчности изъ оковъ безобразящей ее внѣшности. Такъ, напримѣръ, нѣтъ ничего мудренаго, что славянофилъ напишетъ удачную сатиру на европеизмъ образованной части русскаго общества, руководимый единственно своею нелюбовью къ подвижности. Между такъ-называемыми русскими европейцами найдется много такихъ, которые въ своемъ ложномъ разумѣніи прогресса падаютъ ниже людей непосредственныхъ, прямо подъ перо сатирическаго поэта. Но нападать на внѣшнее пониманіе европеизма и на смѣшиваніе безпристрастнаго взгляда на народы съ разумнымъ космополитизмомъ не значитъ—нападать на радикальное отрицаніе народныхъ особенностей, какъ источника человѣческихъ совершенствъ. Пусть ложные патріоты клеймятъ своею сатирой ложныхъ космополитовъ: этимъ самымъ они безсознательно ратуютъ въ пользу разумаго безпристрастія ко всѣмъ національностямъ и какъ нельзя лучше, хотя тоже безсознательно, осмѣиваютъ ту идею, за которую хотѣли бы воинствовать. Имъ хотѣлось бы сказать, что русскія національныя особенности должны остаться нетронутыми цивилизаціей остального человѣчества; а вмѣсто того изъ ихъ словъ выходитъ, что, перенося безъ разбора въ русское общество идеи того или другого европейскаго народа, ложные космополиты погрѣшаютъ противъ собственной своей доктрины, то-есть, противъ безпристрастія къ національностямъ. Такимъ образомъ, сатира славянофила подвигаетъ насъ на пути къ человѣчности единственно вслѣдствіе того, что сатирикъ безъ сознанія становится выше обѣихъ крайностей—славянофильства и европеизма, съ которыми разумный, то-есть истинно радикальный космополитизмъ не имѣетъ ничего общаго. Если же, въ слѣпотѣ своей, поборникъ непосредственности и застоя вздумаетъ нападать на то, что составляетъ истинный прогрессъ общества на пути къ человѣчности и къ богоподобію, то можно навѣрное сказать, что успѣхъ его будетъ самый ограниченный: человѣкъ, выражающій своею личностью всѣ

особенности своей націи, совершенно лишенъ средствъ быть сильнымъ художникомъ. Ограниченный въ своихъ мысляхъ, чувствахъ и стремленіяхъ тѣсною сферой „національнаго міросозерцанія“, онъ будетъ всегда исключителемъ и близорукъ въ своей симпатіи, а потому и идеи его будутъ лишены той обширности, которою измѣряется сила художественнаго таланта. Чѣмъ огромнѣе въ человѣкѣ эта сила, тѣмъ способнѣе онъ чувствовать соприкосновеніе какой бы то ни было дѣйствительности съ миромъ человѣческихъ интересовъ и выражать свою симпатію въ живыхъ образахъ. Поэтому-то для человѣка національнаго безразлично только то, что удовлетворяетъ или діаметрально противорѣчитъ исключительнымъ-наклонностямъ его націи.

Итакъ, требовать, чтобъ художникъ въ самой личности своей совмѣщалъ особенности своей націи, значитъ—требовать отъ него исключительности, и въ такомъ смыслѣ выраженіе *національный поэтъ* особенно забавно встрѣчать въ панегирикахъ.

Другое дѣло—національность въ смыслѣ *вѣрности* въ изображеніи народныхъ особенностей. Если вы назовете національнымъ того художника, который *умѣетъ* смотрѣть на вещи глазами изображаемаго имъ народа, *умѣетъ* отличать національное отъ человѣческаго и не смѣшиваетъ оригинальности одной націи съ оригинальностью другой, вы будете правы, тысячу разъ правы. Само собою разумѣется, что изображать идеальныхъ людей вмѣсто русскихъ, или французовъ вмѣсто нѣмцевъ, все равно, что изображать не существующее. Тѣмъ и несносны подражательныя произведенія нашей литературы, что мы не встрѣчаемъ въ нихъ ничего русскаго, кромѣ именъ и внѣшней обстановки. Впрочемъ, въ наше время съ этой стороны вопросъ уже рѣшенъ, а что касается собственно до насъ, то послѣ всего сказаннаго нами въ первой статьѣ вообще о *натуральности* въ искусствѣ, странно было бы ожидать здѣсь какихъ-нибудь нападокъ на *національность* поэзіи въ томъ смыслѣ, въ которомъ это слово совпадаетъ съ вѣрностью изображенія дѣйствительности.

Какъ живописецъ русскаго міра, Кольцовъ одѣненъ г. Бѣлинскимъ такъ, что мы не считаемъ нужнымъ распространяться о поэтѣ-прасолѣ въ этомъ отношеніи. Но не можемъ умолчать здѣсь объ одномъ изъ его произведеній, на которое авторъ статьи „О жизни и сочиненіяхъ Кольцова“ смотрѣлъ исключительно съ эстетической точки зрѣнія. Это—двѣ пѣсни Лихача-Кудрявича.

Неподвижность натуры ведетъ человѣка прямо къ обожанію факта. Отъ неподвижнаго человѣка никакъ нельзя ожидать, чтобъ онъ заставлялъ себя размышлять объ условіяхъ жизни, анализировать тѣ изъ нихъ, которымъ подчиненъ самъ, задумываться о возможности иныхъ, сравнивать дѣйствительность съ возможностью. Счастье никогда не представляется ему, какъ результатъ причинъ простыхъ, понятныхъ, изученныхъ на каждомъ шагу жизни положительно и отрицательно, въ удовольствіяхъ и неудовольствіяхъ. Для него оно фактъ безъ начала и безъ ре-



зультата; для него оно не счастье, а удача. Онъ никогда не беспокоилъ себя вопросомъ: откуда она происходитъ, есть ли какая-нибудь законность въ ея наличности и отсутствіи, и такъ привыкъ, такъ изловчился не думать объ этомъ предметѣ, что фатализмъ ему совершенно сносенъ. Часто, глядя на удачи и неудачи другихъ, погружается онъ въ сладострастіе лѣниваго раздумья объ этомъ роковомъ, по его вѣрованію, началѣ и размазываетъ въ умѣ все одну и ту же мысль безъ корня и безъ верхушки: „Хорошо“, думаетъ онъ, — „кому везетъ, а кому не везетъ, тому и плохо; вотъ, сосѣду везетъ, — ему и хорошо, что везетъ; а мнѣ оно не везетъ, и плохо, что не везетъ; ну, а какъ повезетъ? пожалуй, что и повезетъ: какъ кому на роду написано“, и такъ далѣе до безконечности. Если же и въ самомъ дѣлѣ посыплются на него удачи, не думайте, чтобъ ему когда-нибудь запало въ душу желаніе оправдать свой успѣхъ личными достоинствами и заслугами. Нѣтъ! Въ самой заносчивости счастливца онъ остается тѣмъ же наивнымъ поклонникомъ рокового факта. Онъ совершенно удовлетворенъ именно тѣмъ, что счастье повалило ему ни съ того, ни съ сего, и съ наслажденіемъ даетъ вамъ почувствовать, что онъ ровно ничего не одѣлалъ такого, за что бы слѣдовало ему получить награду. Въ задушевномъ же разговорѣ онъ готовъ даже пуститься по этому предмету въ остроуміе и приписать свои удачи первой нелѣпой причинѣ, которая вспадетъ ему на умъ:

Не родись богатымъ,  
 А родись кудрявымъ,  
 По щучью вельнью  
 Все тебѣ готово.  
 Чего душа хочетъ—  
 Изъ земли родится;  
 Со всѣхъ сторонъ прибыль  
 Ползетъ и валится.  
 Что шутя задумаешь—  
 Пошла шутка въ дѣло,  
 А тряхнулъ кудрями—  
 Въ одинъ мигъ поспѣло.

Лихачъ-Кудрявичъ такъ польщенъ безпричинностью своего счастья и такъ полонъ любви ко всему фактическому, что будетъ и дѣйствовать открыто на основаніи своей внѣшней силы; онъ готовъ признаться въ этомъ всенародно:

Не возьмутъ гдѣ лоскомъ,  
 Возьмутъ кудри силой,  
 И что худо—смотришь,  
 По водѣ поплыло!

Если Лихачу-Кудрявичу везетъ, напримѣръ, въ извозѣ, если завелись у него красивыя сани да бойкая, не надорванная лошадь, да синій кафтанъ съ яркимъ желтымъ кушакомъ, онъ такъ и наровитъ хлыснуть кнутомъ оборванаго ваньку



когда тотъ никакимъ образомъ не можетъ посторониться передъ „кудрявымъ“, ятобы дать ему широкую дорогу. А если Кудрявичъ не извозчикъ, но что-нибудь гораздо повыше, ну, тогда дастъ онъ себя знать всякому „некудрявому“!... Да что объ этомъ говорить! Послушаемъ лучше Кудрявича въ бѣдѣ: тутъ онъ, кажется, еще характернѣе и еще болѣе выражаетъ собою цѣлые милліоны... По его понятіямъ, бѣда, напасть, горе, однимъ словомъ, несчастіе—такая же самостоятельная, сама изъ себя развивающаяся и произвольно дѣйствующая сила, какъ и счастье:

Зла бѣда—не буря—  
Горами качаетъ,  
*Ходитъ невидимкой,*  
*Губитъ безъ разбору.*

Внимните въ грустную пѣсню Лихача-Кудрявича: вамъ одѣлается совершенно понятнымъ его отвращеніе отъ всего, что придумываютъ люди не его племени, стремящіеся возобладать счастьемъ и несчастіемъ. Всѣ заморскія добродѣтели, предусмотрительность, расчетливость, осторожность, настойчивость, аккуратность, въ глазахъ Кудрявича—совершенная суета. „Зла бѣда“—такое чудовище, отъ котораго, по его доктринѣ, не спасутъ человѣка ни сохранныя кассы, ни бухгалтерскія книги, ни общества застрахованія, никакія силы и распоряженія:

*Отъ ея напасти*  
*Не уйти на лыжахъ:*  
Въ чистомъ полѣ найдетъ;  
Въ темномъ лѣсѣ сыщеть,  
*Чуешь только сердцемъ:*  
Придетъ, сидеть рядомъ,  
Объ руку съ тобою  
Пойдетъ и поѣдетъ...  
И щемитъ, и ноетъ,  
Волишь ретивое!  
Все изъ рукъ вонъ плохо.  
Нѣтъ ни въ чемъ удачи:  
То скосило градомъ,  
То сняло пожаромъ...  
Чистъ кругомъ и легокъ,  
Никому не нуженъ...

Плохо Лихачу-Кудрявичу; но совсѣмъ не такъ, какъ вы, можете быть, думаете, если вы на него не похожи. Вы все ожидаете отъ него, что, натоковавшись вдоволь, онъ вдругъ встряхнетъ изсѣкшимися кудрями и поведетъ рѣшительныя могучія рѣчи:

Неудачи, бѣда?—  
 Съ грустью дома сиди;  
 А съ зарею опять  
 Къ новымъ нуждамъ иди,  
 И такъ бейся, пока  
 Случай счастье найдетъ  
 И на славу твою  
 Жить съ тобою начнетъ.

Вы ошибетесь: такъ могъ говорить самъ Кольцовъ, а Лихачъ-Кудрявичъ говорить другое: онъ такъ благоговѣнно принимаетъ посѣщеніе „злой бѣды“, такъ спокойно подчиняется этому *факту*, что у него даже хватаетъ силъ читать самому себѣ мораль, резонерствовать à propos de bottes:

Не родись въ сорочкѣ  
 Не родись талантливъ:  
*Родись терпѣливымъ*  
*И на все готовымъ,*  
 Вѣкъ прожить—не поле  
 Пройти за сохою;  
 Кручину, что тучу—  
 Не уносить вѣтромъ.

Не даромъ сказано въ одной „Русской Исторіи, что Лихачъ-Кудрявичъ одаренъ „терпѣніемъ удивительнымъ“.

Когда ему везло; мы видѣли его гордымъ безпричинностью своего счастья. Въ напасти онъ остается вѣрнымъ своему взгляду на вещи: онъ презираетъ самъ себя, хотя совершенно увѣренъ, что ни на волосъ не виноватъ въ своемъ несчастіи. Онъ считаетъ себя недостойнымъ роли человѣка; онъ—парій въ собственныхъ глазахъ, парій по праву, такъ что самъ, наравнѣ съ другими, намѣренно небрежетъ своею особой и предаетъ ее поруганію добрыхъ людей:

Къ старикамъ на сходку  
 Выйди *приневолятъ*:  
 Старые лаптишки  
 Безъ онучъ обуешь;  
 Кафтанишка рваный  
 На плечи натянешь,  
*Бороду вскосматшишь,*  
*Шапку нахлобучишь...*  
 Тихомолкомъ станешь  
 За чужія плечи...  
 Пусть не видятъ люди  
 Прожитова счастья.

Кто вздумалъ бы принимать рѣчи Лихача-Кудрявича за выраженіе собственнаго взгляда Кольцова, тому совѣтуемъ перечестъ стихотворенія „Товарищу“, „Ч. ты спишь, мужичекъ“ и „Пѣсню Пахара“. Этихъ трехъ пьесъ довольно

чтобъ истолковать различіе между національностью, какъ способностью изображенія, и національностью, какъ чертою характера самого поэта, между силою и слабостью личности...

Легко сказать, какъ сказали мы нѣсколько выше: „не можемъ умолчать объ одномъ произведеніи Кольцова“. На самомъ дѣлѣ для критики нѣтъ ничего труднѣе, какъ *умалчивать* о красотѣ и важности того или другого его произведенія, рассматриваемаго отдѣльно. На этотъ разъ, напримѣръ, мы опять не въ силахъ умолчать о той части его поэзіи, которая заключаетъ въ себѣ изображеніе русской женщины.

Русская женщина такъ полно и вѣрно опредѣлена въ нѣсколькихъ стихотвореніяхъ Кольцова, что, прочитавъ ихъ, чувствуешь, какъ будто прочиталъ цѣлую удивительно-художественную поэму.

Само собою разумѣется, что анализъ русской женщины долженъ открыть два элемента ея характера—русицизмъ, то-есть то, что въ ней есть исключительнаго, національнаго, и женственности, то-есть то, что сохранила она человѣческаго, отраднаго. Вообще, русскія женщины мало изслѣдованы съ своей свѣтлой стороны, можетъ быть потому, что въ младенческомъ обществѣ именно этимъ-то сторонамъ и затруднены средства къ обширному проявленію, а можетъ быть—и потому, что это общество одобряетъ въ женщинѣ черты діаметрально противоположныя. Кромѣ Пушкина и Лермонтова, этого предмета касались Нестроевъ и Тургеневъ. Гоголь и его ближайшіе послѣдователи постоянно уклоняются отъ этой темы. Графъ Соллогубъ изображаетъ русскихъ женщинъ большого свѣта единственно со стороны ихъ *оригинальности*. Какъ бы то ни было, на этотъ разъ мы довольны малымъ, потому что это малое превосходно опредѣляетъ намъ основныя стихіи существа, называемаго *русскою* женщиной, именно—глубину чувства въ борьбѣ съ національною неподвижностью. И то, и другое характеризуетъ русскаго человѣка вообще; но глубина есть свойство чисто человѣческое, пощаженное въ немъ внѣшними обстоятельствами, а неподвижность и неразлучное съ ней поклоненіе факту—свойство чисто русское.

Изображенія русскихъ женщинъ Кольцовымъ ничего не открываютъ новаго въ области анализа; но онѣ въ высшей степени замѣчательны, во-первыхъ, потому что въ эстетическомъ отношеніи ихъ можно сравнить только съ изображеніемъ Татьяны, во-вторыхъ, потому что въ русскихъ крестьянкахъ и мѣщанкахъ, которыя у него выводятся, чрезвычайно любопытно *созерцать первообразъ* русскихъ барышень и барынь средняго и высшаго круга, утѣшаясь усгѣхами современной цивилизаціи въ отечествѣ и припоминая, что до Петровой реформы не было между ними рѣшительно никакой разницы. Сравнимъ же Татьяну съ крестьянками Кольцова. Между ею и ими неизмѣримая бездна—дворянское происхожденіе, бальные уборы съ Кузнецнаго моста, французскіе романы, занесенныя кодебщикомъ, романтическія идеи, почерпнутыя частью изъ этихъ романовъ, частью

и изъ произведеній отечественнаго стихотворства, наиболѣе любезныхъ сердцу барышни, и въ заключеніе всего

Суровыхъ маменекъ уроки...

А между тѣмъ, странно, какъ это такъ выходитъ, что характеръ любви Татьяны в исторіи ея страсти совершенно тѣ же, что и у крестьянки Кольцова. Прежде всего поражаетъ насъ удивительная аналогія въ характерѣ у обѣихъ женщинъ. Любовь, какъ ощущеніе гармоніи, рождающейся между двумя животными существами, двумя *оторванными струнами одной и той же лиры*, какъ говорятъ поэты, должна быть чувствомъ сладкимъ и живительнымъ: зарожденіе ея въ сердцѣ должно придавать особенную энергію всѣмъ жизненнымъ силамъ существа. Въмѣсто того и Пушкинъ, и Кольцовъ съ какою-то особенною грустью приступаютъ къ описанію перваго періода любви своихъ героинь: имъ жаль этихъ прекрасныхъ существъ, потому что первые симптомы любви русской женщины уже заключаютъ въ себѣ что-то зловѣщее:

Тоска любви Татьяну гонить,  
И въ садъ идетъ она грустить  
И вдругъ недвижны очи клонятъ  
И лѣнь ей далѣе ступить:  
Приподнятая грудь, ланиты  
Мгновеннымъ пламенемъ покрыты,  
Дыханье замерло въ устахъ,  
И въ слухъ шумъ, и блескъ въ очахъ...

Нѣсколько выше Пушкинъ восклицаетъ:

Татьяна, милая Татьяна!  
Съ тобой теперь я слезы лью...

Кольцовъ, въ свою очередь, не совѣтуетъ своей степной красавицѣ прислушиваться къ весеннимъ пѣснямъ птичекъ и заботливо предупреждаетъ ее **отъ напасти**:

*Въ нихъ сила есть любовная...*  
Любовь—огонь, съ огня—пожаръ.  
Не слушай ихъ, красавица,  
Пока твой сонъ, сонъ дѣвичій,  
Спокоенъ, тихъ до утра-дня!  
Какъ разъ *бѣду* наслушаешь:  
*Въ цвѣту* краса загубится,  
*Лицо* твое румяное  
*Скорѣй* платка износится.

**Любовь** Кольцовъ называетъ прямо *тоской*:

Запала въ грудь любовь-тоска,  
 Неидетъ съ души тяжелый вѣдохъ;  
 Грудь бѣлая волнуется,  
 Что рѣченька глубокая—  
 Песку со дна не выкинетъ.  
 Въ лицѣ огонь, въ глазахъ туманъ...  
 Смеркаетъ степь, горитъ заря...

Француженки и нѣмки, не говоря уже объ италіанкахъ, всѣмъ существомъ своимъ празднуютъ чувство порвой любви, вдохновляются имъ, какъ правомъ на наслажденіе. Отчего же русская женщина принимаетъ его съ кокою-то болью, какъ печальную необходимость, какъ страшное условіе вынужденнаго контракта? Не оттого ли, что нѣтъ чувства болѣе свободнаго въ человѣкѣ, особенно въ женщинѣ? Зависимость отъ внѣшности можетъ проявляться во всемъ, кромѣ любви да гениальности. Каково же существу слабонервному, привыкшему съ пеленокъ къ механической подчиненности, вдругъ, безъ всякихъ переходовъ и приготовленій, почувствовать себя личностью, сознать свое до сихъ поръ никѣмъ не признанное я, очутиться на совершенно незнакомомъ пути самодѣтельности? Нѣтъ ничего мудренаго, что первая любовь русской женщины всѣхъ состояній часто сопровождаются потоками слезъ и нервическими припадками.

За то какъ и глубока эта страсть, вскормленная

...слезами и тоской!

Она голубка, какъ всякое чувство русскаго человека, существа, привыкшаго. Богъ знаетъ почему сосредоточивать въ глубинѣ сердца всѣ свои ощущенія и гнѣмъ самымъ вынашивать ихъ въ нѣдрахъ своей жизненности до тѣхъ поръ, пока плодъ вполне созрѣетъ и сокъ его начнетъ выступать легкими пятнами изъ-подъ оболочки. Вы знаете, какъ глубоко любила Татьяна, и какъ ничтожны передъ ея любовью прославленные страсти италіанокъ и испанокъ, гораздо болѣе напоминающія собою кое-какіе параграфы изъ натуральныхъ исторій не для дамъ, чѣмъ тѣ романы и поэмы, въ которыхъ описываются онѣ такъ восторженно и увлекательно! Но немного найдете въ поэзіи произведеній, въ которыхъ сии страсти была бы выражена такъ художественно вѣрно и съ такою энергіей, какъ въ пѣснѣ Кольцова: „Я любила его“. Не можемъ не выписать ея вполне:

Я любила его  
 Жарче дня и огня,  
 Какъ другимъ не любить  
 Никогда, никогда!  
 Только съ нимъ лишь однимъ  
 Я на свѣтѣ жила;  
 Ему душу мою,  
 Ему жизнь отдала!  
 Что за ночь, за луна,  
 Когда друга я жду!

Зся бѣдна, холодна,  
 Замираю, дрожу!  
 Вотъ идетъ онъ, поетъ:  
 „Гдѣ ты зорька моя?“  
 Вотъ онъ руку беретъ,  
 Вотъ цалуетъ меня!  
 „Милый другъ, погаси  
 „Подалун твои!  
 „И безъ нихъ при тебѣ  
 „Огнь пылаетъ въ крови.  
 „И безъ нихъ при тебѣ  
 „Жжетъ румянецъ лицо,  
 „И волнуется грудь,  
 „И блистаютъ глаза,  
 „Словно въ небѣ звѣзда!“

Вотъ какова страсть русскихъ женщинъ! Не даромъ изумленный Вирей сказалъ про нихъ: „*Sous leurs chaudes pelisses elles couvent des passions violentes*“.

Но вотъ что изумительно: какъ согласить эту страстность съ способностью жертвовать страстью, съ щепетильною покорностью всему, что назвали мы силой внѣшности? Трудно представить себѣ такую способность къ самоистязанію и такую терпимость, какими на каждомъ шагѣ поражаютъ насъ русскія женщины. Характеръ Татьяны въ этомъ отношеніи справедливо признанъ типическимъ. Женщины Кольцова всѣ созданы изъ того же элемента. Это существа глубоко страстныя, глубоко нѣжныя, но вмѣстѣ съ тѣмъ существа безъ малѣйшей претензій на самостоятельность, существа страдательныя и даже гордящіяся своею страдательностью. Вотъ красную дѣвицу

Силой выдали  
 За немилова,  
 Мужа старова.

Она горько жалуется на судьбу, но оканчиваетъ свою жалобу словами разочарованія вполне безвыходнаго:

Не расти травѣ  
 Послѣ осени;  
 Не цвѣсти цвѣтамъ  
 Зимой по снѣгу!

Другую покидаетъ любовникъ. На коварныя слова его она отвѣчаетъ:

Ну, Господь съ тобой, мой милый другъ!  
 Я за твой обманъ не сержуся...  
 Хоть и женишься—раскаешься,  
 Ко мнѣ, можетъ быть, воротнешся.

Ни отчаянія, ни борьбы! Одно уныніе и покорность, доходящая до бесплоднаго резонерства:

Безъ ума, безъ разума,  
 Меня замужъ выдали,  
 Золотой вѣкъ дѣвичій  
 Силой укоротили.  
 Для того ли молодость  
 Соблюдали, нѣжили  
 За стекломъ отъ солнышка,  
 Красоту лелѣли,  
 Чтобъ я вѣкъ свой замужемъ  
 Горѣвала, плакала,  
 Безъ любви, безъ радости  
 Сокрушалась, мучилась?  
 Говорятъ родимые:  
 „Поживется—слюбится;  
 „И по сердцу выберешь,  
 „Да горчѣе придется!“  
 Хорошо, состарѣвшись,  
 Разсуждать, совѣтывать,  
 И съ собою молодость  
 Безъ расчета сравнивать!

Согласить глубокую страстность русской женщины съ ея фанатическимъ поклоненіемъ дѣйствительности значить—объяснить тайну самаго процесса модификаціи человѣческаго типа въ національный характеръ. Но такой задачи не можетъ исполнить человѣческая наука, и потому мы съ своей стороны ограничиваемся простымъ указаніемъ на фактъ. Замѣтимъ только, что этотъ фактъ гораздо обширнѣе, чѣмъ кажется съ перваго взгляда. Обыкновенно у насъ удивляются покорности женщинъ только тогда, когда онѣ переносятъ безропотно какія-нибудь вопіющія жестокости своихъ грубыхъ властелиновъ. Но въ этомъ ли одномъ выражается ихъ благоговѣніе къ дѣйствительности? Само собою разумѣется, что жестокое обращеніе съ женщиной, съ успѣхами образованности, дѣлается у насъ, какъ и вездѣ, гнуснымъ исключеніемъ. Но спрашивается: измѣнился ли у насъ до-петровскій взглядъ на ея значеніе? Какъ смотрятъ на женъ своихъ мужья, которые славятся въ своемъ родствѣ и знакомствѣ примѣрными, нѣжными, преданными, и которыми сами жены не могутъ нахвалиться? Лучшее всего этотъ взглядъ выражается въ томъ, чего требуютъ иногда образованные господа отъ женщины. „Нужно“, говорятъ они,—„чтобъ женщина прежде всего была мила, чтобъ въ ней все было легко, игриво, граціозно, чтобъ все въ ней *нравилось*—и наружность, и умъ, и чувство. Глубокаго ума въ женщинѣ я не жалую: это мужское дѣло. Энергія ей тоже вредитъ: она тоже дѣлаетъ женщину мужчиной“. На основаніи такого взгляда возникла у насъ даже цѣлая теорія, проповѣдующая,



что достоинства женщины должны быть діаметрально противоположны достоинствамъ мужчины. Люди, придерживающіеся отчасти метафизическаго направленія, основываютъ его на психологическомъ законѣ, по которому, какъ утверждаютъ они, намъ можетъ нравиться только то, что противоположно намъ самимъ. Такимъ образомъ, выходитъ, что если мужчина долженъ быть уменъ и силенъ, то женщина, наоборотъ, должна быть глупа и немощна. Но пусть бы такъ и думали наши мужчины: замѣчательно то, что русскія женщины совершенно подчиняются этому взгляду и даже скандализуются всѣмъ, что съ тѣмъ несогласно. Такимъ образомъ, для женщины опредѣленъ у насъ, съ полнаго ея согласія, особенный кругъ дѣятельности, въ которомъ гложетъ безъ развитія большая часть ея человѣческихъ способностей, и горе той, которая рѣшится преступить заколдованный кругъ такъ-называемыхъ *приличныхъ* занятій! Отъ суда женщинъ пострадаетъ она еще болѣе, чѣмъ отъ приговора мужчинъ.

Если изъ всего до сихъ поръ сказаннаго въ обѣихъ нашихъ статьяхъ можно уже заключить, что поэзія Кольцова не ограничивается возведеніемъ въ поэзію русскаго крестьянскаго быта, и что личность его находится въ діаметральной противоположности съ особенностями большинства и меньшинства русской націи, то главная цѣль нашего разбора достигнута. Остается представить выводы и опредѣлить степень величія этого человѣка и роль его въ исторіи нашей литературы, то-есть, нашего общества. Первая задача приводитъ насъ къ избытку, но все еще не рѣшенному вопросу о *талантѣ и геніи*. Какъ назвать Кольцова—талантомъ или геніемъ? Какъ-бы вы его ни назвали, вы должны прежде всего пояснить, что разумѣете вы подъ этими терминами, потому что они крайне сбивчивы.

Г. Бѣлинскій коснулся этого вопроса въ своей статьѣ „О жизни и сочиненіяхъ Кольцова“. По его мнѣнію, „геній и талантъ суть только крайнія степени, противоположные полюсы творческой силы“, между которыми „должно быть что-нибудь среднее“ (стр. XLVIII). Это среднее предлагаетъ онъ называть *геніальнымъ талантомъ*.

Такимъ образомъ, вмѣсто двухъ терминовъ мы имѣемъ три. Но вотъ вопросъ: облегчается ли этимъ опредѣленіе степеней творческой силы, и исчерпываются ли онѣ всѣ этими тремя терминами—геній, талантъ, геніальный талантъ? Нѣтъ никакого сомнѣнія, что творческая сила вообще имѣетъ множество степеней, какъ и всякая человѣческая способность. Но можно ли сосчитать степени развитія и напряженія той или другой, можно ли сказать опредѣлительно, что ихъ всего на все три или четыре, десять или двѣнадцать? Нашлись люди, которые приписали г. Бѣлинскому именно эту претензію: изъ *таковыхъ* одни обрадовались случаю перетолковать его идею, а другіе остались ею очень довольны, ни малю не разобравъ въ чемъ дѣло. Г. Бѣлинскій говоритъ на стр. XLVIII: „Толпа подражателей доказываетъ только то, что *и талантъ имѣетъ степени*, и

*менты* талантливые подражаютъ *болѣе* талантливому“. Не очевидно ли послѣ этого, что, говоря о различныхъ степеняхъ творческой силы, онъ хотѣлъ только назвать тѣ изъ нихъ, которыя, по его мнѣнію, могутъ быть уловлены въ собственныхъ имъ оттѣнкахъ? Но мы убѣждены съ своей стороны, что умножать число терминовъ для опредѣленія степеней какой бы то ни было силы, не подлежащей количественному измѣренію, значитъ—не болѣе, какъ увеличивать сбивчивость языка, ничего не прибавляя къ объясненію самаго дѣла. Всякая попытка на этомъ мелочномъ поприщѣ ведетъ только къ тому, что опредѣляющій все болѣе и болѣе забываетъ простую истину, что умъ—великъ онъ или малъ—все-таки умъ, воображеніе—сильно оно или слабо—все-таки воображеніе и т. п. Такъ и г. Бѣлинскій своимъ анализомъ трехъ замѣченныхъ имъ степеней творчества, несмотря на оговорки, противъ своего желанія приводитъ читателей къ тому заключенію, будто поэтической талантъ и поэтической геній двѣ силы *существенно* различныя:

„Одно изъ главнѣйшихъ и существеннѣйшихъ свойствъ генія есть оригинальность и самобытность, потомъ всеобщность и глубина его идей и идеаловъ, и наконецъ, историческое вліяніе ихъ на эпоху, въ которую онъ живетъ (стр. XLVI)... Частность и исключительность, напротивъ, есть достояніе таланта, и потому бывають таланты, произведенія которыхъ нравятся только веселымъ и счастливымъ, или только меланхолическимъ и несчастнымъ, или только образованнымъ классамъ общества, или только низшимъ слоямъ его и т. д. (стр. XLVII)... Отсутствие оригинальности и самобытности есть характеристическій признакъ таланта: онъ живетъ не своею, а чужою жизнью, его вдохновеніе есть не что иное, какъ „плѣнной мысли раздраженіе“, мысли, захваченной у генія или подслушанной у самой толпы. Талантъ не управляетъ толпою, а льститъ ей, не утверждаетъ даже новой моды; а идетъ за модою; куда дуетъ вѣтеръ, туда и стремится онъ“ (стр. XLVIII).

Вотъ опредѣленія генія и таланта, сдѣланныя г. Бѣлинскимъ. Геній—такъ, какъ онъ его опредѣляетъ,—есть высшая ступень, цвѣтъ развитія творческой силы; а талантъ, если разобрать выписанную здѣсь характеристику, выходитъ чистою бездарностью, совершеннымъ отсутствіемъ творческой силы. Говоря, что талантъ можетъ нравиться не всѣмъ, а или только веселымъ и счастливымъ, или только меланхолическимъ и несчастнымъ и т. д., г. Бѣлинскій совершенно упускаетъ изъ виду, что въ поэтическомъ произведеніи, хотя бы оно было создано очень слабымъ талантомъ, непременно должна быть хоть искра *изящества*, котораго источникъ заключается не въ веселости или меланхоліи, не въ образованности или въ необразованности поэта, а въ его творческой силѣ. Утверждать противное значитъ—забывать, что наслаждаться поэзіей можетъ только тотъ, у кого развито эстетическое чувство. Эта способность можетъ сдѣлать то, что человѣку веселому очень понравятся стихи, исполненные глубокой меланхоліи, а человѣкъ меланхолическій плѣнится вакхическимъ доэпиграмбомъ. Наконецъ,

если бъ мысль объ исключительности поэтического таланта, выраженная г. Бѣлинскимъ, сколько-нибудь согласна была съ истиной, то никто изъ насъ, людей настоящаго, не могъ бы чувствовать красоту древнихъ поэтовъ по діаметральной противоположности ихъ взгляда на вещи съ нашимъ. Разумѣется, есть произведенія, которыя нравятся намъ по какимъ-нибудь случайнымъ отношеніямъ къ нашей личности; но если вамъ понравится, напримѣръ, стихотвореніе потому только, что въ немъ выражена, напримѣръ, любовь къ прогрессу, это будетъ доказывать только, что вы очень любите прогрессъ, что вы—порядочный человѣкъ, а стихотвореніе—все-таки никуда негодное стихотвореніе, и самъ сочинитель его—не талантъ, а бездарный стихотворецъ, который, по всей вѣроятности, перестанетъ писать стихи, если не притворяется, что тоже любитъ прогрессъ.

Точно также увлекся г. Бѣлинскій и въ томъ пунктѣ, по которому отличительный признакъ таланта есть отсутствіе оригинальности и самостоятельности. Понятно, что оригинальность и самостоятельность, какъ одна изъ стихій творческой силы, должна имѣть свои степени, подобно всѣмъ остальнымъ ея элементамъ; но отсутствіе того и другого есть опять-таки признакъ абсолютной бездарности, годной развѣ на то, чтобъ *опошливать идеи генія*; цѣль, которую г. Бѣлинскій, увлекаясь по склону ложной дороги, также приписалъ таланту. Однимъ словомъ, погнавшись за мечтой яснаго разграниченія первой степени творческой силы отъ послѣдней, авторъ статьи „О жизни и сочиненіяхъ Кольцова“ вмѣсто таланта опредѣлилъ намъ бездарность, и это имъ неожиданное опредѣленіе вышло очень хорошо по весьма простой причинѣ, извѣстной каждому.

Передавать третьяго опредѣленія, то-есть, опредѣленія геніальнаго таланта, который есть „нѣчто среднее между геніемъ и талантомъ“, мы не считаемъ нужнымъ, потому что всякій можетъ догадаться, что ему-то и приписано все, что обыкновенно приписывается таланту въ отличіе отъ генія. Притомъ мы и не имѣли бы нужды входить въ подробное разсмотрѣніе промаха, если бъ намъ не нужно было доказать, что и скромная претензія на точное *описаніе* нѣкоторыхъ степеней какой-нибудь человѣческой способности влечетъ за собою только сбивчивость терминовъ. Какъ ни возвышайте одну степень, какъ ни унижайте другую, все-таки способность останется способностью со всѣми своими элементами: въ слабомъ творествѣ все-таки заключаются всѣ составныя части исполинской фантазіи только въ малыхъ размѣрахъ, и кто вздумаетъ утверждать, что составъ и разлѣръ вещи одно и то же, тотъ не выдержитъ критики послѣдняго школьника. А между тѣмъ инструментъ для математическаго измѣренія такихъ силъ, къ какимъ принадлежитъ человѣческое творчество, еще не изобрѣтенъ.

Итакъ, по нашему мнѣнію, заниматься опредѣленіемъ различныхъ степеней духовныхъ способностей значить—терять время по пустому, да еще сверхъ того, увеличивать неопредѣленность и условность психологическихъ терминовъ. Гораздо согласнѣе съ предѣлами современныхъ познаній было бы называть каждую спо-

способность во всѣхъ ея степеняхъ однимъ и тѣмъ же существительнымъ, съ простымъ прибавленіемъ къ нему прилагательнаго *по усмотрѣнію*. Люди, сильно заботящіеся о *краткости* рѣчи вообще, могутъ замѣнить съ свойственною имъ проницательностью и благонамѣренностью, что избрѣтеніе, написаніе и напечатаніе прилагательнаго сопряжено съ излишнею тратою времени. Думаемъ, что его пойдетъ еще болѣе на анализъ оттѣнковъ истинно неуловимыхъ.

Замѣтимъ еще, что слова „талантъ“ и „геній“, перенятые нами у французовъ, теряютъ на нашемъ языкѣ ту опредѣленность, которую получили они у французскихъ писателей, особенно въ наше время. Слова *génie* и *talent* очень рѣдко употребляются для означенія степеней одной и той же способности. Большею частію слово *génie* означаетъ величіе личности безъ всякаго отношенія къ роду способностей. Геніемъ называютъ они всякаго человѣка, рожденнаго для великихъ дѣлъ въ какой то ни было области труда. Напротивъ, словомъ *talent* дается знать о способности къ опредѣленному роду дѣятельности. Съ каждымъ днемъ это различіе терминовъ устанавливается тверже и тверже, потому что слово *talent* переходитъ въ политическую экономію, которая въ послѣднее время обнаруживаетъ неудержимое стремленіе къ ясности понятій и точности терминологіи.

Но главное, на что по нашему мнѣнію, стоитъ обращать вниманіе при оцѣнкѣ степени какой бы то ни было способности человѣка, заключается въ анализѣ внѣшнихъ обстоятельствъ, содѣйствующихъ или препятствующихъ ея развитію. Можно даже сказать, что и нѣтъ иныхъ средствъ къ разрѣшенію вопросовъ о могуществѣ той или другой личности, потому что наши психологическія свѣдѣнія, въ свою очередь, ограничиваются знаніемъ *условіи* развитія, дѣятельности и ослабленія человѣческихъ потребностей и способностей. Если біографія человѣка непоказываетъ намъ, какія противодѣйствія внѣшности преодолѣла его личность, мы не можемъ имѣть и масштаба для опредѣленія ея могущества. И наоборотъ: соображая плоды его дѣятельности съ силой встрѣченныхъ имъ противодѣйствій, мы идемъ по единственно вѣрному пути къ разрѣшенію вопроса. Поэтому мы полагаемъ, что изучивъ произведенія Кольцова и тѣ препятствія къ развитію, которыя преодолѣлъ его талантъ, можно составить себѣ ясное понятіе объ этомъ человѣкѣ, ни мало не теряя отъ того, что не будешь знать, какъ назвать его—талантомъ, геніемъ, геніальнымъ талантомъ или какънибудь еще *точно*. Предоставляя этотъ трудъ любителямъ филологическихъ тонкостей, скажемъ лучше, въ заключеніе статьи, нѣсколько словъ о значеніи поэзіи Кольцова въ нашей литературѣ.

По недостатку образованія Кольцовъ не могъ своими произведеніями попасть въ колею современнаго ему движенія общества и литературы. Въ то же время, могучая личность ставила его выше времени. Его произведенія положительно выразили собою тотъ идеалъ, на который остальные поэты наши указываютъ и

темъ отрицанія. Онъ былъ болѣе поэтомъ возможнаго и будущаго, чѣмъ поэтомъ дѣйствительнаго и настоящаго. Его поэзія прямо призываетъ къ полнотѣ наслажденія тою жизнью, которой простые законы стремится опредѣлить и современная мудрость путемъ критики и утопій. Страсть и трудъ, въ ихъ естественномъ благоустройствѣ,—вотъ простыя начала, изъ которыхъ сложился яркій идеалъ жизни, проникшій восторгомъ здоровую натуру поэта-мѣщанина. Замѣчательно, что появленія его стихотвореній современно появленію произведеній Гоголя, величайшаго поэта-аналитика, давшего надолго нашей литературѣ направленіе критическое. Такъ и должно быть: сознаніе идеала одно только и можетъ дать смыслъ и крѣпость анализу и отрицанію. Иначе анализъ переходитъ въ мелочное сплетничанье, а отрицаніе—въ болѣзненное и безплодное раздраженіе желчи. Эпоха критики должна быть въ то же время эпохою утопій (принимаемая это слово въ его первоначальномъ, разумномъ значеніи): иначе человѣчество утратило бы всю энергію живыхъ стремленій и осталось бы безъ отвѣта на призывы бытія.

До сихъ поръ Кольцовъ былъ поэтомъ безъ публики. Низшій классъ не читалъ его потому же, почему, можетъ быть, и долго еще не будетъ читать; а образованные люди, большею частію, смотрѣли на его произведенія, какъ на факты, любопытные по своей рѣдкости. Они не могли сочувствовать Кольцову именно потому, что имъ слишкомъ любопытно было видѣть прасола, чувствующаго, мыслящаго и пишущаго *не хуже тѣхъ*, которые считали въ *то время* и мысль, и чувство, и творчество своими привилегіями. Самый матеріалъ его поэзіи—русскій крестьянскій бытъ—не могъ не казаться имъ предметомъ совершенно чуждымъ ихъ интересовъ. Если до сихъ поръ еще не замолкли жалобы на писателей, выводящихъ въ своихъ повѣстяхъ уѣздныхъ помѣщиковъ и мелкихъ столичныхъ чиновниковъ, то можно себѣ представить, какою китайскою стѣною равнодушія за десять лѣтъ предъ симъ отдѣлена была отъ интереса образованныхъ классовъ нашего общества вся эта крестьянская и мѣщанская дѣйствительность, гуманизированная Кольцовымъ! Прибавьте къ этому, что романнизмъ въ то время еще ослѣплялъ наше общество полнымъ блескомъ своей красивой лжи, и согласитесь, что сочувствователи Кольцова появились только на дняхъ, не прежде. Исторія его вліянія только что начинается и мы не считаемъ себя въ правѣ заглядывать въ будущее.

---

## Д. И. Минаевъ

## I.

Слово о полку Игоря. Перевалъ Д. Минаевъ. С.-Петербургъ. 1846.

„Слово о полку Игоря“ составляетъ, безъ сомнѣнія, одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ памятниковъ древней русской письменности, впрочемъ, не столько по внутреннему своему достоинству, сколько по той роли, которую играетъ оное въ исторіи нашей новѣйшей литературы. Въ этомъ отношеніи „Слово“ принадлежитъ къ числу тѣхъ немногихъ остатковъ русской старины, которымъ удалось обратить на себя особенное вниманіе нашихъ ученыхъ, возбудить между ними жаркія пренія и удостоиться критической разработки, если не вполне успѣшной, то, по крайней мѣрѣ, вполне добросовѣстной и прилежной. Открытое и изданное въ первый разъ графомъ Мусинымъ-Пушкинымъ въ 1800 году, „Слово о полку Игоря“ не переставало съ этого времени составлять предметъ постоянныхъ ученыхъ трудовъ и изслѣдованій со стороны нашихъ филологовъ. Цѣодами этихъ трудовъ и изслѣдованій, которыми особенно богатъ былъ карамзинскій періодъ нашей литературы, были, съ одной стороны, значительное число изданій, переложеній и переводовъ „Слова“, съ другой стороны—множество статей содержанія критическаго и полемическаго. Что касается до изданій „Слова“, то, кромѣ перваго, которымъ мы обязаны графу Мусину-Пушкину, у насъ есть еще изданія Шишкова, Пожарскаго и Грамматина. Переложенія поэмы на русскій языкъ сдѣланы были, кромѣ названныхъ нами писателей, въ прозѣ—Вельтманомъ и Деларю, въ стихахъ—Левитскимъ, Сиряковымъ, Палицынымъ и Язвитскимъ. Наконецъ, надъ составленіемъ примѣчаній, филологическихъ объясненій и практическихъ изслѣдованій трудились въ разные времена почти всѣ извѣстнѣйшіе наши ученые: Малиновскій, Бантышъ-Каменскій, Шишковъ, Пожарскій, Карамзинъ, Грамматинъ, Руссовъ, Максимовичъ, Полевой, Калайдовичъ и Тимковскій.

Такое необыкновенное вниманіе нашего ученаго міра къ открытію графа Мусина-Пушкина весьма понятно для всякаго, кто хоть немного знакомъ съ характеромъ карамзинской эпохи и съ направленіемъ главнѣйшихъ ея представителей. Появленіе въ свѣтъ „Слова о полку Игоря“ необходимо должно было произвести всеобщее волненіе въ такое время, когда только что приступали къ добросовѣстному изученію русскихъ древностей, приписывая необыкновенную важность всякому, даже самому, малозначительному остатку старины. Еще понятнѣе была радость, возбужденная этимъ открытіемъ въ тогдашнихъ нашихъ историкахъ, которые, по большей части, устремляли всѣ свои труды къ тому, чтобъ оправдать свое безсознательное поклоненіе прошедшему, чтобы преувеличить значеніе и смыслъ всѣхъ фактовъ русской исторіи, однимъ словомъ—чтобы



придать нашей прошедшей жизни такой характеръ, какого она не имѣла и не могла имѣть. Открытіе русской эпической поэмы, поэмы совершенно національной и написанной въ XII столѣтіи, зажимало ротъ всѣмъ безпристрастнымъ цѣнителямъ русской старины и доставляло Россіи, по крайней мѣрѣ въ одномъ отношеніи, неоспоримое преимущество предъ западными ея сосѣдями. Само собою разумѣется, что на счетъ художественнаго достоинства этой поэмы всѣ были согласны, что „Слово о полку Игоря“ ничѣмъ не уступаетъ не только какимъ-нибудь пѣснямъ Оссіана, но и эпопеямъ самого Гомера. Это черезъ чуръ честолюбивое мнѣніе вначалѣ не встрѣчало никакихъ опроверженій и принималось было всѣми quasi-патріотами того времени за аксіому.

Впрочемъ, духъ скептицизма скоро поколебалъ это безусловное вѣрованіе въ безсмертныя достоинства открытой поэмы. Между нашими учеными начался жаркій и продолжительный споръ, въ которомъ все, что принято было на слово и безъ предварительнаго изслѣдованія одною партіей, упорно отвергалось другою. Само собою разумѣется, что и въ этомъ спорѣ, какъ во всякомъ другомъ, крайности были неизбежны; послѣдователи критическаго направленія, точно также, какъ и противники ихъ, вдавались невольно въ мнѣнія слишкомъ исключительныя и, положивъ себѣ за правило отрицать безусловно все, что утверждали ихъ предшественники, нерѣдко подвергали сомнѣнію такія положенія, въ которыхъ не было никакой причины сомнѣваться. Они оспаривали не только древность „Слова о полку Игоря“, но и самую подлинность этого памятника, который изданъ былъ на основаніи рукописи, найденной въ библіотекѣ графа Мусина-Пушкина, но утраченной безвозвратно вскорѣ послѣ открытія. Кромѣ этихъ двухъ главныхъ пунктовъ, на которыхъ опиралась ихъ критика, между нами и ихъ противниками шли жаркіе споры о множествѣ другихъ сомнительныхъ вопросовъ (напримѣръ, о происхожденіи сочинителя поэмы и т. п.), которые для насъ не имѣютъ уже никакого интереса, но которые въ свое время возбуждали дѣятельную полемику. Что же касается до художественнаго значенія поэмы, расхваленной до небесъ тогдашними патріотами, то въ этомъ отношеніи скептики были осторожнѣе, и только нѣкоторые изъ нихъ рѣшались изъяслять сомнѣніе на счетъ безусловныхъ достоинствъ русской Иліады и возставать противъ общаго мнѣнія, находившаго себѣ опору въ самыхъ сильныхъ авторитетахъ. Но въ то время на подобныя сомнѣнія смотрѣли еще какъ на ересь; и тѣ, которые осмѣливались выражать сужденія, противныя общему приговору корифеевъ нашей литературы, вооружали противъ себя всѣхъ знаменитостей того времени, подвергаясь съ ихъ стороны самымъ ожесточеннымъ нападкамъ. Всѣ эти споры въ настоящую минуту уже совершенно прекратились и едва ли могли бы возобновиться. Вопросы о подлинности и о древности „Слова“ разрѣшены въ пользу этого памятника, и рѣшеніе это утверждено на доказательствахъ довольно удовлетворительныхъ. Въ отношеніи къ вопросу о значеніи



поэмы въ эстетическомъ отношеніи каждый остался при своемъ мнѣніи. Но въ настоящее время „Слову“ уже перестали приписывать ту важность, какую приписывали ему прежде, и то вниманіе, которое возбуждалъ нѣкогда этотъ памятникъ, замѣнилось нынѣ совершеннымъ къ нему равнодушіемъ; а потому ни одна изъ сторонъ уже и не думаетъ о томъ, чтобы доказывать справедливость своихъ мнѣній и опровергать убѣжденія противной стороны. Въ нашихъ учебникахъ и въ руководствахъ къ познанію *россійской* словесности продолжаютъ по прежнему уподоблять „Слово о полку Игоря“ Иліадѣ Гомера и отзываться общими мѣстами о неподражаемыхъ совершенствахъ этой эпической поэмы; съ голоса учебниковъ восторженные похвалы раздаются и въ школахъ, и даже иногда на университетскихъ кафедрахъ. Но, съ другой стороны, въ послѣднее время противныя мнѣнія высказывались также весьма часто и весьма сильно и не только не подвергались болѣе литературнымъ преслѣдованіямъ, но и проходили весьма мирно, не возбуждая противъ себя ни малѣйшей оппозиціи. Это совершенное равнодушіе пишущаго и читающаго міра къ памятнику, который выдавали нѣкогда за такое произведеніе, которымъ долженъ гордиться русскій народъ, всего лучше показываетъ, что общественное сознаніе не признаетъ справедливости этихъ самолюбивыхъ притязаній, и что безотчетное уваженіе къ „Слову о полку Игоря“, передаваемое изъ рода въ родъ въ нашихъ школахъ и учебникахъ, не имѣетъ для себя никакого прочнаго основанія и утверждается не на самостоятельныхъ убѣжденіяхъ, а единственно на привычкѣ преклоняться безусловно предъ авторитетомъ чужихъ мнѣній.

Мы сочли нужнымъ напомнить читателямъ участь „Слова о полку Игоря“ въ нашей литературѣ, чтобъ лучше объяснить причину появленія въ свѣтъ книжки г. Д. Минаева. Книжка эта не что иное, какъ протестъ одного изъ ревностнѣйшихъ приверженцевъ „Слова“ противъ того равнодушія, съ которымъ смотрятъ въ наше время на этотъ остатокъ русской старины. Г. Минаевъ надѣется посредствомъ своего перевода воззвать снова къ жизни памятникъ, возбуждавшій прежде столько шумныхъ толковъ...

Переводъ г. Минаева сдѣланъ стихами и предпринятъ преимущественно съ тою цѣлью, чтобы дать, какъ выражается онъ самъ, „народное лицо этой *бл-янкѣ* (?) и сдѣлать ее доступною всѣмъ читающимъ сословіямъ“. Мы прочли со вниманіемъ трудъ г. Минаева и пришли къ тому заключенію, что онъ никакъ не можетъ достигнуть той цѣли, съ которою предпринятъ. Для того, чтобы сдѣлать „Слово о полку Игоря“ доступнымъ для всѣхъ читающихъ сословій, переводчикъ избралъ, по видимому, самое лучшее средство, рѣшившись перевести „Слово“ на русскій народный языкъ. Но, къ несчастію, о значеніи народнаго языка г. Минаевъ имѣетъ свои собственные, совершенно ложныя, понятія. Въмѣсто того, чтобы перевести „Слово“ на языкъ дѣйствительно народный, то-есть на тотъ, которымъ говоритъ русскій народъ въ настоящее время, онъ

счелъ нужнымъ удержать въ своемъ переводѣ всѣ *особенности* подлинника, между тѣмъ какъ эти-то особенности и дѣлаютъ „Слово“ *недоступнымъ* для большинства читателей, не изучившихъ древняго славянскаго языка и не понимающихъ тѣхъ выраженій, формъ и оборотовъ, которые, составляя исключительную принадлежность древней нашей рѣчи, не встрѣчаются уже болѣе ни въ книжномъ, ни въ устномъ языкѣ нашего времени. Но этого мало. Переводчикъ, увлекаемый ложнымъ понятіемъ своимъ о народности языка, которую онъ постоянно смѣшиваетъ съ его древностью, даже въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ долженъ былъ отступить отъ выраженій и оборотовъ подлинника, замѣнялъ ихъ не тѣми выраженіями и оборотами, которыя употребляются нынѣ, но тѣми, которыя встрѣчаются единственно въ самыхъ древнихъ русскихъ пѣсняхъ и сказкахъ. Эта метода г. Минаева придаетъ его переводу чрезвычайно странный характеръ: на одной и той же страницѣ вы находите обороты XII, XIII и XIV столѣтій и на ряду съ ними тѣ формы языка, которыя составляютъ особенность нашего времени. Посредствомъ этой методы г. Минаеву удалось въ извѣстной степени сохранить въ своемъ переводѣ тонъ и складъ рѣчи подлинника; но это самое повлекло за собою невозможность удовлетворить предположенной цѣли, то-есть сдѣлать „Слово о полку Игоря“ доступнымъ для читающихъ сословій: для большинства читателей переводъ г. Минаева, во многихъ частяхъ своихъ, будетъ такъ же непонятенъ, какъ непонятенъ для нихъ языкъ XII столѣтія и языкъ древнѣйшихъ русскихъ сказокъ.

„Знаю напередъ“, говоритъ самъ переводчикъ,—„что не найду ни одного голоса въ пользу моего легкаго труда“. Не знаемъ, до какой степени окажется справедливымъ это предсказаніе г. Минаева на счетъ судьбы, ожидающей переводъ его; но, что касается до насъ, мы никакъ не можемъ подать голоса въ его пользу. Скажемъ болѣе: переводъ этотъ считаемъ мы трудомъ совершенно бесполезнымъ, потому что не видимъ, для кого онъ назначается, и кѣмъ будетъ прочитанъ. Если бъ г. Минаевъ, трудился надъ нимъ безъ всякой особенной цѣли и единственно для личнаго самоудовлетворенія, то ему не было никакой надобности печатать и выдавать въ свѣтъ плоды своихъ досуговъ; если же, напротивъ, посредствомъ своего перевода онъ надѣялся удовлетворить какой-либо потребности, существующей въ русской публикѣ, то имѣемъ полное право сомнѣваться въ дѣйствительномъ существованіи такой потребности, которой бы могъ удовлетворить этотъ переводъ. Между тѣми различными категоріями, на которыя дѣлятся сами собою наши читатели, нѣтъ рѣшительно ни одной, которой могъ бы понадобиться въ какомъ-нибудь отношеніи трудъ г. Минаева. Если люди ученые, коротко знакомые съ древнимъ славянскимъ языкомъ, пожелають изучить или только прочесть „Слово о полку Игоря“, то они прочтутъ это произведеніе въ самомъ подлинникѣ или будутъ читать такіе только критическіе переводы, которые могутъ объяснить имъ значеніе темныхъ или сомнительныхъ

мѣсть. Для этой категоріи читателей будетъ совершенно бесполезенъ трудъ г. Минаева, который, не смотря на приложенныя къ нему примѣчанія, никакъ уже не можетъ быть причисленъ къ переводамъ критическимъ. Съ другой — стороны, тѣ изъ читателей, которое пожелаютъ познакомиться съ „Словомъ о поку Игоря“ для того, чтобы составить себѣ понятіе объ этомъ произведеніи, обратятся къ подстрочному и наиболѣе близкому къ подлиннику переводу въ случаѣ, если самаго подлинника они или вовсе не могутъ понять, или понимаютъ только съ трудомъ; но и въ этомъ отношеніи переводъ г. Минаева не имѣетъ рѣшительно никакого достоинства, потому что переводчикъ нисколько не заботился о томъ, чтобы оставаться вѣрнымъ подлиннику, и гораздо болѣе передѣлывалъ, нежели переводилъ. Наконецъ, переводъ г. Минаева совершенно бесполезенъ даже для тѣхъ читателей, которые въ чтеніи ищутъ эстетическаго наслажденія, потому что въ отношеніи къ формѣ и языку прежніе переводы гг. Вельмана и Деларю имѣютъ неоспоримое преимущество передъ новымъ, весьма неизящнымъ переводомъ г. Минаева

Доказывать *невѣрность* перевода г. Минаева выписками и сличеніемъ съ подлинникомъ считаемъ мы совершенно излишнимъ: онъ самъ сознается въ этомъ недостаткѣ на стр. 67: „чтобы не *разрывать* (!) вниманія читателя, я *объяснялъ темныя мѣста подлинника прямо стихами, развивая сжатые мысли въ картины*“ Эти отступленія отъ подлинника можно было бы извинить, если бъ они не содержали въ себѣ никакихъ измѣненій самаго смысла, и еслибы стихи и картины г. Минаева имѣли какое-нибудь поэтическое достоинство. Но послѣднему условію г. Минаевъ не удовлетворяетъ нисколько; что же касается до перваго, то въ этомъ отношеніи переводчикъ поступалъ уже слишкомъ безцеремонно съ подлинникомъ и не только „развивалъ сжатые мысли въ картины“, но и весьма часто позволялъ себѣ дополнять повѣствованіе сочинителя „Слова“ своими собственными вставками. Въ доказательство того, что трудъ г. Минаева есть не столько переводъ „Слова“, сколько передѣлка его на собственный ладъ, мы приведемъ здѣсь самое начало поэмы такъ, какъ оно есть въ подлинникѣ, и въ томъ видѣ, какъ передалъ его г. Минаевъ:

Въ подлинникѣ сказано:

„Не лѣпо ли бѣшетъ, братіе, начяти старыми словесы трудныхъ повѣстий о полку Игоревѣ, Игоря Святъславича, начати же ся той пѣсни по былинамъ сего времени, а не по замышленію Бояню“.

Г. Минаевъ переводитъ это такимъ образомъ:

Начнемъ, други, складомъ старинныхъ людей,  
 Разсказъ про святыхъ былины:  
 Какъ Игорь костью положилъ средъ степей  
 Свои удалыя дружины.

*У правды народной одна сторона,  
У вымысла гранямъ нѣтъ счета:  
Тамъ рѣчь у Баяна восторгомъ полна,  
Ярка у нея позолота!*

Спрашивается: есть ли что-нибудь общее между началомъ самой поэмы со стихами г. Минаева? Тутъ уже не одно только „развитіе сжатой мысли въ картины“, но и измѣненіе самаго смысла подлинника, привитіе къ нему такихъ мыслей, которыхъ не имѣлъ и не могъ имѣть сочинитель „Слова“. Въ подлинникѣ не говорится ни слова о „народной правдѣ“ и о „нечестности граней вымысла“, о „восторгахъ Баяновой рѣчи“ и о „яркой ея позолотѣ“. Всѣ эти выраженія придуманы самимъ переводчикомъ, и посредствомъ ихъ совершенно затемнена та простая мысль, которою начинается сочинитель „Слова“ свое повѣствованіе. И не думайте, чтобы приведенное нами мѣсто составляло только исключеніе изъ общаго правила: оно совершенно соотвѣтствуетъ всѣмъ прочимъ частямъ перевода и можетъ дать о немъ самое удовлетворительное понятіе. Весь трудъ г. Минаева составленъ изъ такихъ же неудачныхъ варіацій на темы, заимствованныя изъ древней поэмы.

Но, по нашему мнѣнію, несравненно замѣчательнѣе самаго перевода г. Минаева предисловіе и примѣчанія, приложенныя имъ къ этому переводу. Въ этомъ предисловіи и въ этихъ примѣчаніяхъ переводчикъ высказываетъ свой взглядъ на поэтическое значеніе „Слова о полку Игоря“. Этотъ взглядъ есть не что иное, какъ отголосокъ общаго мнѣнія всѣхъ почитателей „Слова“ объ этомъ произведеніи; онъ объясняетъ самымъ удовлетворительнымъ образомъ источникъ и характеръ того поэтическаго восторга, который возбуждало и возбуждаетъ до нынѣ „Слово о полку Игоря“ въ сочинителяхъ нашихъ риторикъ, въ преподавателяхъ русской словесности и въ писателяхъ, подобныхъ г. Минаеву. Въ предисловіи, написанномъ стихами и названномъ, не извѣсто почему, „Дѣдушка Донъ Ивановичъ“ (хотя о дѣдушкѣ Донѣ Ивановичѣ въ немъ не говорится ни слова), описывается, какъ сѣдое время, весьма недовольное тѣмъ, что мы сняли мурмолки и одѣлись въ пальто, ворчитъ, бранится и держитъ къ нашему вѣтреному племени грозную рѣчь, въ которой уничтожаетъ его за то, что оно пошло впередъ, а не осталось при древнихъ преданіяхъ „своихъ богатырей-отцовъ“. Въ этой рѣчи угрюмый старикъ, какъ водится вообще за стариками, говоритъ своимъ внукамъ высокимъ слогомъ такія вещи, въ которыхъ иногда не совсѣмъ достаѣтъ смысла, и грозитъ „разбить съ размаха своей тяжелой палицей всю нашу юную школу“, и журитъ ее, между прочимъ, за то, что она остается равнодушною къ красотамъ нашей „скрижали, полной завѣтовъ“, называемой въ обыкновенномъ языкѣ „Словомъ о полку Игоря“.

Баянъ, пѣвецъ временъ минувшихъ,  
Днѣпровскихъ высей соловей,  
Намъ воскресилъ бойцовъ уснувшихъ  
И славу раннюю князей!

Отгрянулъ онъ раскатомъ былъ,  
 Зажегся молніей во мглѣ,  
 И на серебряномъ руслѣ  
 Его слова заговорили!  
 Нашъ поэтический колоссъ  
 Не отъ террасъ Семирамиды,  
 Не съ темя (!) гордой пирамиды,  
 Чело народное вознесъ;  
 Но изъ обломковъ разрушеній,  
 Блистая прежней красотой,  
 Сталъ передъ вашею толпою  
 Неистолкованный сей геній!  
 Семивѣковый снявъ шлемъ,  
 Съ своими бѣлыми кудрями,  
 Чуть движа вѣщими струнами,  
 Онъ пѣлъ вамъ древнимъ языкомъ!

Съ Парнаса русскаго по свѣту  
 Слѣдили барда-старика,  
 Какъ въ полночь новую комету,  
 И разбирали свысока  
 Его кольчугу, лѣтникъ длинный  
 И смурый охобень отцовъ:  
 И строй гуслей на ладъ старинный.  
 По мнѣнью вашихъ мудрецовъ,  
 Библейскимъ толкомъ размѣряли,  
 И васъ безъ смѣха видѣлъ міръ,  
 Когда Баяна наряжали  
 Въ чужой изношенный мундиръ!

Проговоривъ всю эту высокопарную тираду, сѣдое время поникло „своей разумной головой“ и тѣмъ положило конецъ предисловію, изъ котораго ужъ можно догадываться, что г. Минаевъ самъ не прочь отъ мнѣнія сердитаго старца о нашемъ „поэтическомъ колоссѣ“. Но, чтобъ вполне убѣдиться въ справедливости этой догадки, надо прочесть примѣчанія, написанныя прозой, которая, впрочемъ, ничѣмъ не уступаетъ стихамъ.

„И вотъ“, говоритъ г. Минаевъ,—„на радость любителямъ литературы, съ обширнаго кладбища древней поэзіи, гигантскою пирамидой возвышается „Слово о полку Игоря“. Вѣка, разрушая на ходу своемъ наши брусные памятники, пощадили это прекрасное твореніе и на плечахъ своихъ вынесли повѣсть старины, дивную по содержанію, звучную по складу, благородную по образу мыслей: она такъ высоко стоитъ отъ нашихъ (последовательныхъ) сказокъ, какъ шпигъ колокольни отъ покоя. Соловей кievскихъ горъ, вѣщій Баянъ, звѣня золотыми струнами, отгрянулъ своей высокой пѣсней на услышаніе потомства, подаря свое Слово на зубокъ XIX вѣку“ (стр. 66).

Итакъ, г. Минаевъ совершенно согласенъ съ тѣмъ, что „Слово о полку Игоря“ есть не только „поэтическій колоссъ“, но и „гигантская пирамида“. Остается узнать, въ чемъ же именно заключаются, по его мнѣнію, колоссальность „Слова“ и его художественныя достоинства? Выписанное нами мѣсто не даетъ еще отвѣта на этотъ вопросъ и заключаетъ въ себѣ только велерѣчивые эпитеты и общія мѣста о дивномъ содержаніи поэмы, о звучности ея склада, о благородствѣ образа мыслей. Для того, чтобъ уяснить себѣ вполне мысль автора, надо прибѣгнуть къ другимъ указаніямъ. Надо принять въ соображеніе, что, по единогласному отзыву всѣхъ учебниковъ и всѣхъ рецензій „Слова“, произведеніе Баяна отличается преимущественно и почти исключительно двумя достоинствами: необыкновенною витіеватостью рѣчи и удивительнымъ обиліемъ до невѣроятности разнообразныхъ и смѣлыхъ риторическихъ украшеній. Надо обратить далѣе особенное вниманіе на чрезвычайное сходство, существующее между слогсмъ г. Минаева и недостатками слога „Слова о полку Игоря“, или лучше сказать, на искусство, съ которымъ переводчикъ умѣлъ усвоить себѣ свойства своего древняго образца. Если принять въ соображеніе всѣ эти обстоятельства, то уже не трудно будетъ оцѣнить достоинство и современность понятій г. Минаева объ искусствѣ, точно такъ же, какъ и значеніе тѣхъ похвалъ, которыя онъ расточаетъ передъ нашимъ „не истолкованнымъ геніемъ“. Впрочемъ, для большаго поясненія этого пункта мы здѣсь приведемъ еще слѣдующее мѣсто: „Съ самаго начала піесы у древняго сказателя кружева слова, *наперекоръ нынѣшней простоглаголевой словесности*, вьются зеленымъ плющемъ по золотому трельяжу вымысла, и я старался перевести съ возможной точностью рѣзьбу старины по узорочью нашего народа“ (стр. 67). Итакъ, вотъ въ чемъ дѣло! Во всемъ виновата нынѣшняя *простоглаголевая* словесность, осмѣливающаяся не признавать тѣхъ мудрыхъ законовъ искусства, которые проповѣдуются въ нашихъ риторикахъ! У этой нечестивой „словесности“ „кружева слога не вьются зеленымъ плющемъ по золотому трельяжу вымысла“! Мудрено ли послѣ того, что послѣдователи этой преступной ереси не признаютъ въ нашемъ „поэтическомъ колоссѣ“ тѣхъ достоинствъ, которыя, по ихъ мнѣнію, составляютъ принадлежность *Иліады* Гомера, хотя и не отказываютъ ему въ нѣкоторыхъ красотахъ. Мудрено ли и то, что витіеватость „Слова о полку Игоря“ стараются они извинять племенными слабостями и вредными вліяніями, а отнюдь не выставятъ на показъ, какъ образцы для подражанія? Наконецъ, можно ли удивляться и тому, что риторическая школа питаетъ такое глубокое уваженіе къ произведенію, заключающему въ себѣ запасъ всякаго рода эпитетовъ, уподобленій, фигуръ и другихъ риторическихъ прикрасъ, къ произведенію, которое въ состояніи одно доставить нужное число примѣровъ и образцовъ для любой риторики, къ этой „дивной импровизаціи“, которая „перевита цвѣтами сѣверной музы“, и въ которой „окатныя зерна словъ катятся по атласной скатерти рѣчью мѣрной“ (стр. 66)?...



Приведенныя нами мѣста изъ предисловія и примѣчаній г. Минаева объясняютъ читателю, сколько намъ кажется, совершенно удовлетворительно настоящую причину той необыкновенной репутаціи, которою пользовалась и пользуется доселѣ наша древняя поэма между нашими прежними критиками и ихъ теперешними послѣдователями. Эти мѣста, сверхъ того, показываютъ весьма ясно, какое благотворное вліяніе произвело на слогъ г. Минаева прилежное изученіе „Слова о полку Игоря“ и древнихъ русскихъ сказокъ. Если разсматривать трудъ г. Минаева съ этой точки, то нельзя не признать его весьма замѣчательнымъ. У насъ до сихъ поръ не разрѣшенъ еще вполне важный вопросъ: *какъ и для чего русскій писатель нашего времени, для образованія своего слова, долженъ необходимо изучать памятники древней нашей письменности?* Сколько намъ кажется, выписанные нами образцы того языка, которымъ пишетъ г. Минаевъ, представляютъ довольно любопытныя данныя для разрѣшенія этой трудной задачи...

## II.

**Слава о Вѣщемъ Олегѣ.** Сочиненіе Д. Минаева. Изданіе Х. С. Иванова. С.-Петербургъ. 1847.

Если бъ не особенныя обстоятельства, можно было бы очень коротко раздѣлаться съ новымъ произведеніемъ г. Минаева, назвавъ его „Славу о Вѣщемъ Олегѣ“ разводняненіемъ Пушкинской „Пѣсни о Вѣщемъ Олегѣ“. Но г. Минаевъ такой сочинитель, съ которымъ опасно обходиться безъ церемоній, его непременно надо превозносить до небесъ: иначе онъ печатно распустилъ о рецензентѣ такія *сочиненія*, которыя стоятъ всѣхъ ядовъ и княжаловъ, бывшихъ въ употребленіи въ свое время. По крайней мѣрѣ, мы испытали страшное дѣйствіе его гнѣва и—перепугались до смерти. Нѣсколько мѣсяцевъ назадъ мы имѣли непростительную дерзость сказать публично, что переводъ „Пѣсни о полку Игоревѣ“, принадлежащій грозному сочинителю „Славы о Вѣщемъ Олегѣ“, исполненъ невѣрностей и вовсе не отличается такимъ эстетическимъ достоинствомъ, которое заставляло бы читателя извинить переводчику его отступленія отъ древняго текста. Сверхъ того, въ обуяніи гордости, отважились мы доказать выписками, что г. Минаеву нравится въ „Словѣ о полку Игоревѣ“ то, что по современнымъ понятіямъ, составляетъ его противохудожественную сторону, именно — изысканность образовъ и витіеватость выраженій. Все это навлекло на насъ сильное негодованіе „баяна“ (г. Минаевъ стоитъ на томъ, чтобъ называть свои поэмы *баянками*; мы такъ уважаемъ его негодованіе на всѣхъ тѣхъ критиковъ, которые въ чемъ-нибудь противорѣчатъ его писаніямъ, что забѣгаемъ впередъ его фантазіямъ и даемъ ему самое титло *баяна*). Въ примѣчаніи къ изданной нынѣ „баянкѣ“, онъ отмстилъ намъ самымъ убійственнымъ образомъ, разбранивъ на чемъ свѣтъ стоитъ критика, которому не понравился его



водъ „Слова“. Такъ какъ во всѣхъ журналахъ и газетахъ, кромѣ „Отечественныхъ Записокъ“, трудъ г. Минаева встрѣтилъ единодушное одобреніе, то мы принимаемъ стрѣлы его прямо на свою злополучную грудь и съ полнымъ смиреніемъ (которое внушено намъ недавно глубоко-нравственными посланіями одного великаго писателя) публично и торжественно предаемъ себя на позоръ читателямъ нашего журнала, выписывая слѣдующія строки изъ примѣчанія къ баянкѣ г. Минаева:

„Представляемая мною баянка <sup>1)</sup>—чисто историческая фантазія, но съ русской рѣчью на языкѣ, въ своеземной однорядкѣ на тѣлѣ. Но кажется, нѣкоторые гг. рецензенты поклялись именемъ индѣйской Бохвани *разстрѣливать подобныя сочиненія на головы поэтовъ*. Можетъ быть, этимъ сторожевымъ разбирателямъ нравится чистое поле русской поэзіи и прозы, гдѣ они, какъ баскаки, разгуливаютъ безданно и невозбранно на страхъ воздѣльвателей слова и геніально засыпаютъ подъ стукъ вѣтряныхъ мельницъ, на которыхъ обдирается иностранная *дикуша* для угощенія благосклонной публики.

„Гуляй, дума (душа?)! Вкругъ молчаніе, справа, слѣва—пусто; нѣтъ ни встрѣчниковъ: подъ ногами растетъ трывъ-травъ, а цвѣтутъ коленкоровыя *позабудки*, а чуть кто выглянетъ изъ родимой осоки, души его наповалъ, какъ селезня! Не давай открывать ротъ вѣщателю; иначе, дескать, они нереростутъ тѣнь нашего могущества, и мы будемъ такъ же ошунью разбирать проклятое русское богатырство, какъ обошли его съ флегматическимъ недоразумѣніемъ вкругъ перевода нашей древней поэмы „Слова о полку Игоря“.

„Если вы, г. критикъ, хотите выполоть дурную траву съ нашихъ нивъ, гдѣ пробиваются первые ростки сказаній въ духѣ народномъ, для этого прежде всего должно имѣть въ русскомъ тѣлѣ русскую душу, начитаться хорошенько нашей грамоты, изучать народныя пѣсни и былины, чтобъ взойти съ честью и славой въ гору познаній, и тамъ напиться хоть шапкой живой воды изъ словенскихъ колодцевъ и вспрыснуть ею наши мертвыя сужденія. Теперь же въ этой долині, гдѣ вы стоите подъ густымъ туманомъ разномастныхъ мнѣній; всѣ ваши фальшфейеры незамѣтно погаснутъ, и еще не въ воздухѣ, а въ стволѣ скоропалительной трубки—гусинаго пера! Вашъ театральныи громъ не запуга-

<sup>1)</sup> *Примѣчаніе г. Минаева.* „Баянка. Если вы, г. критикъ, еще на рукахъ кормилицы обмолвились, на радость вашей муттерхенъ, словомъ: фаттъръ“, въ такомъ случаѣ я обязанъ объяснить это совершенно новое для васъ выраженіе. Нашъ языкъ до такой степени испещренъ иноземщиной, что онъ въ современной литературѣ похожъ на венгерскаго барабанщика въ цифрованной курткѣ. Ради-то этихъ широкихъ причинъ, я рѣшился безъ вашего совѣта выставить свои рассказы подъ роднымъ стягомъ замѣняя слово: пьеса „баянкой“. Пьеса, дѣтей грубаго сѣвера, еще съ колыбели баюкали русскія мамушки сладкозвучными пѣльвами. Баю на языкѣ русиновъ значить: говорю, рассказываю, даже припѣваю. Вотъ корень разбираемаго слова, котораго стебель вы не отыскивали въ царствѣ извѣстныхъ вамъ растеній.

еть русских витязей-кольчужниковъ, которые, не пользуясь освѣщеніемъ болотныхъ свѣтильниковъ, одни будутъ умѣть найти дорогу къ русскому сердцу“ (стр. 73—76),

Пораженный громомъ этой рѣчи, рецензентъ „Отечественныхъ Записокъ“ не находитъ ничего лучше сдѣлать, для умиловленія г. Минаева, какъ пасть во прахъ предъ новою его баянкой. Не найдись баянъ, не припугни онъ своего критика чисто народною энергическою выходкой, можетъ быть, дерзкій человекъ вздумалъ бы опять дѣлать ему свои оскорбительныя замѣчанія; можетъ быть—почемъ знать?—можетъ быть, сказалъ бы онъ, что содержаніе „Славы о Вѣщемъ Олгѣ“ такъ ничтожно, что его едва стаетъ на балладу, да и ту-десять тогда только можно прочесть съ нѣкоторымъ удовольствіемъ, когда она написана такъ, какъ умѣлъ писать одинъ Пушкинъ. Что же касается до амплификацій г. Минаева, можетъ быть, дерзостный рецензентъ назвалъ бы ихъ отмѣнно скучными и долговыми. Ко всему этому, можетъ быть, прибавилъ бы онъ, что слогъ и языкъ г. Минаева—пестрая смѣсь образовъ и выраженій старинныхъ и народныхъ съ новѣйшими и книжными, а для примѣра сослался бы, хоть, на слѣдующіе стихи (стр. 41):

Смотрите жъ, гдѣ Греція?  
Она по лѣсамъ своимъ  
Отъ нашихъ ранъ лѣчится;  
Она, какъ мертвецъ, теперь  
Подъ чарой волшебника  
Стоитъ привидѣніемъ;  
Черты у ней холодны,  
Уста болью скорчены,  
Руки внизъ опущены,  
Мысклы натянуты!  
Она, эта Греція,  
Восточно-богатая,  
Въ рабыни къ намъ просится.  
Чтобъ бить золотую дань  
Олегу правителю.

Очень можетъ быть также, что рецензентъ, со свойственною ему наглостью, замѣтилъ бы г. Минаеву, что тайна простонароднаго языка русской сказки заключается въ дактилическомъ окончаніи стиховъ (— ° °). Пожалуй, при этомъ случаѣ, онъ не удержался бы замѣтить, что и „Илья Муромецъ“ написанъ стихами съ дактилическими окончаніями, и что все-таки въ „Ильѣ Муромцѣ“ нѣтъ ни на волосъ народности... Но не перечесть всѣхъ дерзостей, на которыя могъ бы отважиться этотъ „баскакъ“, какъ называетъ своего критика Минаевъ, если бы „баянъ“ не принялъ противъ него рѣшительныхъ мѣръ и не отдѣлалъ бы его заблаговременно при всемъ честномъ народѣ. Теперь онъ

еть другую пѣсню; теперь онъ сознается, что Минаевъ великій поэтъ, что изъ пустѣйшей легенды, изъ которой Пушкинъ могъ создать не болѣе, какъ легонькую балладу, онъ, г. Минаевъ, далеко превосходящій Пушкина силой творческаго духа, сотворилъ поэму неслыханной красоты и недостигаемой глубины, что русская древность, воспроизведенная его неподражаемымъ искусствомъ, предстаетъ предъ изумленными взорами настоящихъ поколѣній во всемъ блескѣ своего превосходства, и что даже примѣчаніе къ „Славѣ о Вѣщемъ Олгѣ“ исполнено ума и граціи. Чтобъ оправдать этотъ отзывъ, мы ближе познакомимъ читателей съ содержаніемъ „баянки“.

Она раздѣляется на четыре части или главы.

Гл. I. *Сборъ дружины.*—Князь Владиміръ пируетъ съ дружиной. Баянъ забавляетъ его пѣснями и поетъ о Вѣщемъ Олгѣ“. На девяти страницахъ разсказывается, какъ собирались русскіе витязи, по приглашенію Олега, грабить Грецію, и какъ своими рѣчами возбуждалъ ихъ Олегъ на это предпріятіе:

Сказалъ Олегъ рѣчь свою  
Сказалъ и взглянулъ вокругъ:  
„Что жъ вы стали, витязи,  
„Стали не похвалитесь  
„Природною долею,  
„Заносчивою волею,  
„Сбруей, дорогимъ сѣдломъ?  
„Летучимъ орломъ-конемъ?“

Изъ дружины одинъ за другимъ выходятъ норманнъ, новгородецъ, кіевлянинъ, муромецъ, ростовецъ; каждый изъ нихъ похваляется своими національными доблестями, и не жалѣя бранныхъ словъ, они отдѣлываютъ другъ друга на славу. Новгородецъ говоритъ норману:

Знаемъ не по слуху мы  
Вашихъ храбрыхъ витязей!  
На бой вы собираетесь  
Походкой боярскою:  
Съ поля жъ растекаетесь  
Рысью поморянскою, и проч. (стр. 17).

Ростовецъ говоритъ муромцу:

Кричитъ филинъ по лѣсу,  
Бранитъ филинъ птицъ дневныхъ:  
Филинъ не видалъ вблизи  
Ни бѣлаго кречета,  
Ни чернаго ворона!  
Такъ вамъ ли, *мышатникамъ*,  
Тянутся на ратовье  
Съ Ростовскою Мерею“, и т. д. (стр. 22).

Этотъ въ высшей степени занимательный споръ витязей наполняетъ десять страницъ баянки. Въ заключеніе ростовецъ подрался съ муромцемъ, чѣмъ и оканчивается первая глава.

Гл. II. *Походъ на Царьградъ и прорицатель.*—Самое начало этой главы показываетъ, какъ глубоко проникся г. Минаевъ своимъ образцомъ, то-есть, „Словомъ о полку Игоревѣ“, и какъ много выиграло его искусство отъ усвоенной имъ манеры неизвѣстнаго сочинителя „Слова“. Что можетъ быть великолѣпнѣе и смѣлѣе слѣдующихъ гиперболъ (стр. 29—30).

Тутъ махнулъ Олегъ золотымъ щитомъ,  
Надъ собой сверкнулъ кладенцомъ-мечемъ:

Какъ рать его вѣрная  
Съ псковъ поднималася;  
Вставала до звѣздъ она,  
Въ челѣ съ яснымъ мѣсяцемъ:  
Громовою тучею.  
На бой опоясалася:  
И только бы гаркнуть ей  
Богатырскимъ голосомъ,  
И только бы свистнуть ей  
Молодецкимъ посвистомъ:  
Казалось бы, вихрь прошолъ  
Вокругъ и попоколѣ;  
Казалось бы дрогнули  
Подножки у дальнихъ горъ;  
Бугры бы песчаные,  
Какъ бисеръ, рассыпались...

Пропускаемъ безъ выписокъ семнадцать страницъ, заключающихъ въ себѣ рассказъ о встрѣчѣ Олега съ волхвомъ, такъ же какъ и описаніе бранныхъ подвиговъ и шумныхъ пировъ его дружины. За неудобствомъ переписыванія цѣлой главы, остается молча удивляться, откуда берется у нашего баяна способность писать такъ много стиховъ на тему столь бѣдную въ глазахъ обыкновеннаго смертнаго. Грабежи и попойки—вотъ всего на все два камешка, зыблящіеся въ каледоскопѣ его темы (кажется, и мы начинаемъ понемножку усваивать узорчатую манеру выраженія); а между тѣмъ, сколько перестановленій умѣлъ сдѣлать геній! Смѣшно теперь и вспомнить о Пушкинѣ съ его коротенькою балладой!

Гл. III. *Договоръ съ царемъ Греціи.* Третья глава есть истинное торжество творческой фантазіи: она заключаетъ въ себѣ мастерски опозитизированные г. Минаевымъ статьи Олегова договора съ Греческимъ императоромъ! Поэтъ излагаетъ этотъ мирный трактатъ въ пяти пунктахъ съ поразительною аккуратностью историка и съ неподражаемой кудреватостью *народнаго* поэта. Вотъ для образчика пунктъ III-й (стр. 59 60):

Узнаетъ, что Кіевъ нашъ  
 Имѣетъ дѣтей князей,  
 И что эти сокомы  
 Растутъ не обрѣжены,  
 Роскошными яствами  
 Въ пирахъ не накормлены,—  
 Тогда Леонъ Греческій  
 Обязанъ въ судахъ своихъ  
 Послать нашимъ княжичамъ  
 Обновы богатыхъ.  
 А эти наслѣдники  
 Въ Руси называются:  
 Ростовъ съ Переяславлемъ,  
 Да Муромъ съ Черниговымъ,  
 Да Любичъ съ Новгородомъ!  
 И вѣщій нашъ князь Олегъ  
 Клянется огнемъ, грозой  
 Перуна небеснаго  
 Не тронуть концомъ кося  
 Богатыхъ всѣхъ волостей  
 Вокругъ Царягорода.

Гл. IV. *Вѣщій конецъ Олега.*—Глава эта очень похожа на балладу Пушкина; но, само собою разумѣется, что у г. Минаева рассказъ вышелъ несравненно изящнѣе, а главное, сильнѣе. У Пушкина Олегъ говоритъ:

Кудесникъ ты лживый, безумный старикъ!  
 Презрѣть бы твое предсказанье!  
 Мой конь и донинѣ носилъ бы меня.

А у г. Минаева та же мысль выражена слѣдующимъ образомъ (стр. 68):

Разумныя рѣчи и вѣщій языкъ  
 Я читалъ, какъ святую судьбину,  
 Но если бѣ мнѣ красный попался старикъ,  
 Его бы я долю обрекъ на осину.

Поэма г. Минаева, кромѣ примѣчаній въ прозѣ, снабжена крайне любопытнымъ предисловіемъ въ стихахъ. Не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи познакомить читателей и съ этимъ произведеніемъ нашего поэта.

Въ началѣ предисловія г. Минаевъ воспоминаетъ о томъ времени, когда русскіе упорствовали обращаться къ западной цивилизаціи:

Давно ли Русь, потупя взоры,  
 Фату съ очей своихъ сняла  
 И старосвѣтскіе уборы  
 Въ сундукъ наслѣдный заперла?

Ее страшилъ нарядъ роброна,  
 Корсета сталь, высокій токъ  
 И не разученный урокъ  
 На ладъ парижскаго *бонтона* (стр. II).

Но скоро, изволите видѣть, лукавый западъ обольтилъ насъ своею грѣшною цивилизаціей:

Все отзывалось новизною;  
 Свѣтлицы были на растворъ;  
 И мы младенческой душою  
 Влюбились въ праздничный просторъ (стр. IV).

Что жъ изъ этого вышло? А вотъ что (стр. V—VI):

И Русь теперь въ одеждѣ новой  
 Стоитъ, какъ *Анусь* двухголовой  
 Вдругъ на два поклона смотря:  
 Назадъ—въ поля свои родныя,  
 Впередъ—за дальнія моря,  
 Равно для сердца дорогія!  
 Здѣсь родилась она, цвѣла,  
 Молитвы первая читала,  
 А тамъ въ отчизнѣ идеала  
*Идеализмъ* переняла.

Однакожъ, говоритъ поэтъ—нынче Русь поумнѣла; но прибавляетъ онъ,—

. . . . . на утрѣ дней  
 Еще шалить, блажить ребякомъ.  
 Ему теперь всего страшнѣй  
 Свивальникъ сброшенныхъ пеленокъ (стр. X).

На этомъ основаніи г. Минаевъ не надѣется, чтобы сказки его могли имѣть успѣхъ у современниковъ. За то (какъ примѣчно гениальному поэту) онъ устремляетъ взоръ, полный надежды, въ отдаленное будущее и заключаетъ свое предисловіе слѣдующими стихами (стр. XII):

Я сказку длинную мою  
 Съ простовѣрными мечтами  
 Архивной пыли отдаю.  
 Но можетъ быть, настанутъ годы,  
 Когда мой легкій слабый трудъ,  
 Раскрывъ заброшенные своды,  
 Потомки добрые прочтутъ!

Какъ тутъ понимать эпитетъ „добрые“—не знаемъ.

## Вальтеръ Скоттъ.—М. Н. Загоскинъ

**Романы Вальтера Скотта.** Переводъ съ англійскаго. С.-Петербургъ. 1845—1846  
Изданіе *М. Ольхова и К. Жернакова.*—Айвенго.—Антикварій. Гей-Менирингъ.—Квентинъ Дорвардъ.

**Юрій Милославскій или русскіе въ 1612 году.** Сочиненіе *М. Загоскина.* Три части  
Изданіе седьмое. Москва. 1846.

Историческіе романы Вальтера Скотта можно назвать послѣднимъ могущественнымъ противодѣйствіемъ той силѣ, которая съ шестнадцатаго столѣтія постоянно подтачивала дряхлое зданіе средневѣковой Европы. Противодѣйствіе это естественнымъ образомъ должно было проявиться въ теченіе трехъ вѣковъ въ различныхъ формахъ, сообразно съ тѣмъ, какія формы принимала съ своей стороны сила разрушительная. Шестнадцатый вѣкъ по преимуществу былъ вѣкомъ религіозныхъ вопросовъ, семнадцатый—политическихъ, восемнадцатый—философскихъ. Къ концу послѣдняго эти три интереса слились въ одинъ и произвели памятную всему міру драму—переворотъ 1792 года, подготовленный тремя вѣками. Сильно было господство новыхъ идей въ началѣ девятнадцатаго столѣтія; далеко разнесла ихъ по Европѣ грозная армія Наполеона, сама не понимая, что дѣлаетъ; всѣ средства удержать средневѣковый порядокъ вещей были истощены; оставалось начать новую жизнь. Но изъ какихъ зиждительныхъ элементовъ создать эту новую жизнь? Какія твердыя убѣжденія положить ей въ основу, въ какія формы воплотить эти идеи? Никто не давалъ отвѣта на эти вопросы, и народы остановились на пути своемъ съ блуждающими взорами, полными недоумѣнія, въ мрачномъ и томительномъ раздумьи. Олицетвореніемъ и органомъ западной Европы того времени былъ Байронъ. Его воплемъ выражала она всю глубину безысходной тоски своей, и въ этомъ воплѣ перемѣшались всѣ разнородныя движенія тогдашняго запада: и бурный порывъ къ новой жизни, и безотрадный взглядъ на дѣйствительность, и малодушное сожалѣніе о прошедшемъ, и горькое сознаніе невозможности ни итти впередъ, ни отступить назадъ... Между тѣмъ, еще въ восемнадцатомъ столѣтіи, прислушиваясь къ гулу зарождавшагося во Франціи переворота и предчувствуя, что средневѣковому колоссу готовился послѣдній роковой взрывъ, нѣмцы и англичане съ какимъ-то судорожнымъ безпокойствомъ схватились за изученіе поэзіи среднихъ вѣковъ; схватились за поэзію, потому что къ остальнымъ сторонамъ средневѣковой жизни уже не было приступа. Этотъ порывъ выразился въ изящной литературѣ появленіемъ безконечнаго множества рыцарскихъ балладъ и собраній народныхъ пѣсенъ. Удивительная симпатія соединила писателей двухъ странъ: германскіе зрители противопоставили Шекспира французскимъ трагикамъ, а Вальтеръ Скоттъ началъ свое литературное поприще переводомъ на англійскій языкъ Гётева



Геда фонъ-Берлихингена“ и балладъ Бюргера. Такимъ образомъ угасавшій духъ среднихъ вѣковъ вспыхнулъ еще разъ въ западной Европѣ и напрягъ послѣднія силы свои, чтобъ подѣйствовать на послѣднюю струну, остававшуюся въ ней нетронутою, на эстетическое чувство. Совершить это дѣло вполне суждено было Вальтеру Скотту. Въ немъ соединились всѣ элементы, необходимые въ писателѣ для исполненія задачи времени: онъ былъ въ одно время и глубокимъ знатокомъ такъ-называемыхъ „средневѣковыхъ древностей“ (*antiquitates mediae*), и страстнымъ феодаломъ, и наконецъ, величайшимъ художникомъ своего времени, одареннымъ способностью переноситься всѣмъ существомъ своимъ во всѣ времена и во всякую мѣстность.

Обстоятельства жизни Вальтера Скотта какъ нельзя больше способствовали къ тому, чтобъ образовать изъ него великаго живописца среднихъ вѣковъ, начиная съ того, что онъ родился въ Шотландіи. Этотъ уголокъ Европы постоянно отличался своею неподвижностью: нигдѣ новыя идеи не находили себѣ такого упорнаго сопротивленія, какъ въ Шотландіи; ни у одного европейскаго народа привязанность къ старинѣ не была такъ могущественна, какъ у жителей горъ и долинъ шотландскихъ, и потому нигдѣ такъ долго и не сохранялись средніе вѣка, какъ по ту сторону Твида. Безчисленное множество народныхъ пѣсенъ, переходившихъ изъ рода въ родъ, сохраняли тамъ воспоминанія объ историческихъ событіяхъ, лестныхъ для самолюбія полудикаго народа, и поддерживали въ немъ мысль о славѣ предковъ и любовь къ отечеству опять-таки въ формѣ привязанности къ старинѣ. Отъ родителей своихъ Вальтеръ Скоттъ также не могъ не заимствовать средневѣкового взгляда на вещи: и отецъ, и мать его происходили отъ древнихъ родовъ, извѣстныхъ въ шотландской исторіи, и, подобно всѣмъ тогдашнимъ шотландскимъ дворянамъ, не могли быть чужды феодальнаго духа. О матери его положительно извѣстно, что она передала сыну своему глубокое уваженіе къ памяти предковъ и страсть къ стариннымъ преданіямъ. Нѣсколько лѣтъ своего дѣтства Вальтеръ Скоттъ провелъ на „классической почвѣ балладъ и легендъ“ (Зандли-Но, въ Роксбэршейрѣ), какъ выражается Олленъ Коннигхемъ. „Тамъ“, говоритъ онъ, — „каждый камень, возвышающійся на нѣсколько футовъ надъ уровнемъ земной поверхности, служить памятникомъ какой-нибудь замѣчательной схватки, и каждый ручеекъ этой долины, ручеекъ, котораго водъ едва-едва станетъ на то, чтобъ увлажить встрѣчающіяся на пути его пастбища, упоминается въ балладахъ и романахъ“. Все это очень рано развило въ Вальтерѣ Скоттѣ непобѣдимую страсть къ романтическимъ рассказамъ, страсть, которая съ лѣтами перешла въ художественный взглядъ на исторію. Отецъ предназначилъ его къ званію адвоката, что вовсе не противорѣчило его наклонностямъ, потому что приготовленіе къ адвокатству большею частью заключается въ изученіи древностей. Однакожъ, получивъ въ 1792 году, на двадцати первомъ году своей жизни, это званіе, онъ не слишкомъ заботился о пріиска іи

себѣ обширной практики и черезъ семь лѣтъ по вступленіи въ сословіе эдинбургскихъ адвокатовъ предпочелъ веденію процессовъ мѣсто помощника шерифа въ Селькиркскомъ графствѣ; это обстоятельство дало ему возможность предаться въполнѣ своей склонности. Безпрестанныя путешествія въ горы, бесѣды съ старыми пастухами, изученіе историческихъ памятниковъ на мѣстѣ и собираніе старинныхъ преданій окончательно переселили его мысль въ средніе вѣка. Знакомство съ антикваріями поддерживало въ немъ любовь къ этой эпохѣ, а постоянный успѣхъ его произведеній (до 1814 года онъ издалъ нѣсколько поэмъ, которыхъ содержаніе заимствовано изъ шотландскихъ преданій) отгонялъ отъ него всякое раздумье о разумности его симпатій. Въ такихъ-то обстоятельствахъ принялся онъ за сочиненіе романовъ. Первымъ изъ нихъ былъ „Веверлей“, изданный въ 1814 году. Страсть Вальтера Скотта къ среднимъ вѣкамъ въ это время была такъ сильна, что перешла даже въ странность. Онъ построилъ себѣ на берегу Твида готическій замокъ, совершенно во вкусъ среднихъ вѣковъ: снаружи красовался со всѣхъ сторонъ фамиліный гербъ; внутри по стѣнамъ развѣшаны были портреты Шотландскихъ королей; расположеніе и названіе комнатъ соотвѣтствовали всему остальному; тутъ между прочими отдѣленіями была и портретная: большую часть изображеній благородныхъ предковъ, разумѣется, пришлось создать воображеніемъ. Образъ жизни въ замкѣ былъ приведенъ какъ только можно было въ гармонію съ его архитектурой: взаимныя отношенія домашнихъ, ихъ развлеченія, ихъ разговоры, все это до такой степени приближалось къ описаніямъ частной жизни въ средніе вѣка, что самъ Вальтеръ Скоттъ не безъ основанія называлъ свой Абботсфордъ „жилищемъ, похожимъ на сновидѣніе“. Любимою его мечтою было сдѣлаться родоначальникомъ благородной фамиліи, и право называться „сэръ Вальтеръ Скоттъ Абботсфордъ, баронетъ“, дарованное ему въ 1820 году, было величайшею въ глазахъ его наградой.

Съ перваго взгляда трудно допустить, чтобы такая односторонняя страсть не повредила Вальтеру Скотту на литературномъ поприщѣ. И въ самомъ дѣлѣ, всѣ тѣ произведенія, въ которыхъ онъ являлся мыслителемъ; особенно же судьей настоящаго, ниже критики: это—такіе же анахронизмы, какъ Абботсфордъ. Они могли имѣть успѣхъ только у противниковъ тогдашней современности. Живая половина современниковъ Вальтера Скотта отвергла ихъ съ негодованіемъ и сожалѣла, что авторъ „Веверлея“ и авторъ „Писемъ Павла“—одно и то же лицо. Но для великаго художника пристрастіе никогда не служитъ помѣхой въ созданіи образцовъ искусства. Надо только, чтобы художникъ былъ дѣйствительно великимъ. Въ противномъ случаѣ, то-есть, если зараженный пристрастіемъ и односторонностью человѣкъ выступить на поприще художника съ талантомъ средней величины,—горе ему и его произведеніямъ! Великій художникъ, какъ бы ни былъ пристрастенъ и одностороненъ въ своемъ взглядѣ на вещи, все-таки

по существу своей артистической натуры останется вѣрнымъ дѣйствительности и никогда не выбьется изъ коленъ воссоздаванія дѣйствительной жизни и пластическаго ея изображенія. Вы будете читать его произведеніе и никакъ не отгадаете его настоящаго *взгляда*, его *мнѣнія* о той дѣйствительности, которую онъ вамъ изображаетъ; самый талантъ его не дастъ ему высказать этого взгляда, этого мнѣнія, не дастъ—для того, чтобъ удержать его въ предѣлахъ художественности и не позволить впасть въ область чистой мысли. Такимъ образомъ, умъ великаго художника или то, что называется образомъ мыслей,—сила, подавляемая въ немъ силой творчества во время процесса созданія, и чѣмъ сильнѣе въ человѣкѣ художественное творчество, тѣмъ менѣе возможности его мыслительной способности проявиться самостоятельно въ его произведеніяхъ. И наоборотъ: у посредственнаго таланта умъ всегда беретъ верхъ надъ творчествомъ, и потому всякое пристрастіе, всякая односторонность взгляда непременно отзовется самымъ непріятнымъ образомъ въ его сочиненіи: писатель непременно впадетъ или въ невѣрность природѣ, или въ силлогистику. Въ романахъ Вальтера Скотта нѣтъ ни одной невѣрной черты; въ нихъ столько же истины, сколько въ идеяхъ его—заблужденій; но все это потому, что онъ никогда не писалъ на-обумъ, а всегда съ натуры, хотя бы эту натуру приходилось воссоздавать по памятникамъ друидической древности, и никогда не могъ позволить себѣ, при изображеніи предмета, выразить о немъ свое сужденіе. Описываетъ ли онъ старинные, патріархальные нравы Сѣверной Шотландіи, рассказываетъ ли о подвигахъ рыцарей XII столѣтія въ Палестинѣ, изображаетъ ли великолѣпіе педантическаго двора Елизаветы,—никто не догадается по этимъ описаніямъ, что онъ думаетъ вообще о патріархальности, о фанатизмѣ, о придворной роскоши. А не будь у него столько художественнаго таланта, вы бы навѣрное узнали все это изъ тѣхъ же самыхъ описаній—если не по цѣлымъ философическимъ тирадамъ, такъ изъ какихъ-нибудь коротенькихъ фразъ, одобрительныхъ или хулительныхъ, изъ нѣсколькихъ эпитетовъ, заключающихъ въ себѣ приговоръ, однимъ словомъ—изъ всѣхъ тѣхъ подробностей, которыя образуютъ *тонъ* сочиненія. Наивность Вальтера Скотта превосходитъ всякое вѣроятіе: въ романахъ своихъ онъ остается нейтральнымъ въ такихъ случаяхъ, гдѣ, по видимому, нѣтъ никакой возможности не выказать своего образа мыслей. Какъ бы, кажется, не проявить ему своего сужденія при изображеніи противоположности двухъ племенъ, составившихъ англійскій народъ? Зная, какъ близко принималъ къ сердцу Вальтеръ Скоттъ идеи, которыя выражали собою саксонцы и норманны, можно ли ожидать, чтобъ онъ такъ пластически-наивно описалъ побѣдителей и побѣжденныхъ, какъ это сдѣлалъ онъ въ своемъ великомъ созданіи „Айвенго“? Какъ ни вникайте въ этотъ романъ, никогда не рѣшите вы безъ иной помощи, къ которому племени у него больше лежитъ сердце. То же самое можно сказать и о неисторическихъ его романахъ, даже и объ „Антикваріи“, который больше всѣхъ другихъ пропитанъ ироніей.

Надо сказать, что на такихъ антикваріевъ, каковъ герой его романа, онъ имѣлъ много причинъ досадовать: это были заклятые враги его произведеній, утверждавшіе, что созданный имъ родъ литературы ведетъ къ искаженію исторіи; а главное, ихъ сухимъ натурамъ противна была самая жизнь, которую влилъ егсгеній въ изученіе древностей. И что жъ? Если Ольдбекъ не можетъ не смѣшить читателя, такъ это потому что самое антикварство смѣшно, если доведено до такой крайности. Но со стороны автора незамѣтно никакого желанія смѣшить искусственнымъ выборомъ фактовъ: онъ просто выводитъ своего антикварія такимъ, какъ, долженъ быть человѣкъ, погруженный въ мертвую ученость, и дѣло говоритъ само за себя. Если читатель не находитъ вообще въ сухомъ антикварствѣ ничего забавнаго, то и Ольдбекъ не покажется ему забавнымъ лицомъ: напротивъ, онъ найдетъ въ немъ честнаго человѣка, очень аккуратнаго въ своихъ дѣлахъ, очень скромнаго въ желаніяхъ, чрезвычайно ученаго и, слѣдовательно, съ ногъ до головы *прекраснаго* человѣка. Въ этомъ отношеніи, „Антикварій“ имѣетъ большое сходство съ „Старосвѣтскими Помѣщиками“ нашего Гоголя. Трудно найти въ изящной литературѣ третье произведеніе, которое было бы такъ же художественно-двусмысленно, какъ эти два перла.

Упомянувъ о нерасположеніи антикваріевъ къ историческимъ романамъ, нельзя не вспомнить о томъ, что противъ этого рода литературныхъ произведеній въ разное время и по разнымъ поводамъ много было высказано и дѣльнаго, и ложнаго. Ложнымъ въ этомъ отношеніи кажется намъ все, что говорилось и говорится противъ этого рода вообще. Безусловные порицатели историческаго романа представляютъ собою двѣ категоріи: одни вооружаются противъ него съ точки зрѣнія исторической, другіе—съ точки зрѣнія эстетической. Но собственно говоря, и тѣ, и другіе впадаютъ въ одно и то же заблужденіе, принимая за данное, что романистъ, какъ *поэтъ* (въ смыслѣ фантазера, выдумщика небывалыхъ и невозможныхъ вещей), или какъ *сказочникъ*, для котораго нѣтъ ничего завѣтнаго, кромѣ завязки и развязки, имъ самимъ придуманной, можетъ передѣлать по своему историческія событія и даже духъ избранной имъ эпохи. Но само собою разумѣется, что романъ, написанный на такомъ раздольѣ, можетъ имѣть успѣхъ только въ благословенномъ кругу читателей, для которыхъ поэзія не что иное, какъ выдумка затѣйливыхъ и праздныхъ головъ или хитросплетенная сказка. Слѣдовательно, съ этой стороны вопросъ объ историческомъ романѣ сливается съ общимъ вопросомъ о дѣйствительности въ поэзіи, о которомъ мы считаемъ не излишнимъ переждать входить въ разсужденія, чтобы дать немножко отдохнуть нашимъ читателямъ. Сказать мимоходомъ, положеніе читателей достойно сожалѣнія: сколько насъ есть на лицо въ Русской землѣ критиковъ и библиографовъ, мы всѣ безъ исключенія только и толкуемъ во всеуслышаніе, что о натуральности да о народности. Нечего сказать, насъ занимаютъ эти вопросы, потому что у насъ они, въ самомъ дѣлѣ, важнѣе всѣхъ другихъ критическихъ

вопросовъ въ настоящее время, потому еще, что мы въ нихъ довольно затянулись и до сихъ поръ еще ни котораго изъ нихъ не рѣшили, — потому, наконецъ, что взглядомъ нашимъ на эти вопросы опредѣляютъ наше литературное значеніе и даже, въ нѣкоторомъ, очень важномъ смыслѣ, нашу личность. Какъ угодно. замолчать о нихъ трудно, — нѣтъ-нѣтъ да что-нибудь и напишешь. Иногда случается даже и такъ, что начнешь писать о чемъ-нибудь нисколько не касающемся ни до натуральности, ни до народности; долго пишешь совершенно спокойно и благополучно, какъ вдругъ какой-то бѣсъ начнетъ подталкивать руку, а перо ходить да ходить себѣ по бумагѣ: смотришь, написалъ, если не о натуральности, такъ о народности, а если не о народности, такъ навѣрное о натуральности. Что прикажете дѣлать! Это нашъ кошмаръ, отъ котораго Богъ знаетъ когда мы избавимся. А между тѣмъ, каково же должно приходиться отъ этого читателямъ? Должно быть, скучновато... Но какъ же имъ отдѣлаться отъ скуки? Не читать того, что мы пишемъ? Это всего поможетъ: намъ никогда не кажется, что насъ никто не читаетъ, даже и тогда, когда сочиненія наши лежатъ у насъ подъ кроватью огромными заводами, покрытыя пылью и плѣсенью и со всѣхъ сторонъ обгрызанныя крысами. Это тоже нашъ кошмаръ. Слѣдовательно, не читать нашихъ глукомысленныхъ произведеній — совершенный перазсчетъ. Однакожь, что же за безвыходность! Не могутъ ли, по крайней мѣрѣ, сами читатели вступить за себя и внушить намъ, чтобы мы какъ-нибудь унялись съ своими коньками. Но нѣтъ, и это не возможно: чтобы внушить, надо написать и напечатать статью, а все напечатанное подлежитъ критикѣ; и мы напишемъ на эту статью другую статью, а въ этой статьѣ ужъ нѣтъ никакой возможности не поговорить о народности и натуральности. Сообразивъ всѣ эти обстоятельства, мы имѣемъ въ виду явить примѣръ необыкновеннаго самообладанія, удерживаясь на время отъ толкованія о натуральности, въ которое только что рисковали впасть.. Надѣмся, что читатели будутъ намъ благодарны за такой чисто филиангрошическій поступокъ, и постараемся продолжать свою рѣчь такъ, какъ будто бы ни натуральности, ни народности никогда и не существовало въ нашей земной юдоли.

Мы сказали, что безусловное порицаніе историческаго романа со стороны историковъ и эстетиковъ имѣетъ источникомъ своимъ одно и то же начало — ложный взглядъ на поэзію. Но самый этотъ взглядъ имѣетъ свои степени и оттѣнки. То, о которомъ мы упомянули, можно отнести въ наше время къ разряду самыхъ грубыхъ, такъ-сказать, къ заблужденіямъ черни. Поэтому мы и позволяемъ себѣ оставить его въ покоѣ. Гораздо важнѣе заблужденіе учевое, книжное, теоретическое. Известно, что существуетъ на свѣтѣ эстетическая теорія, по которой художественное творчество заключается въ созданіи идеаловъ. Здѣсь не мѣсто входить въ разсужденіе, самал ли эта теорія грѣшитъ въ своихъ положеніяхъ, или плохо перетолкована она послѣдователями. Намъ важно то, что

то, что, по общепринятому мнѣнію, дѣятельность художника заключается въ созданіи идеала и въ воплощеніи его въ такую форму, въ которой каждая черта служила бы ему выраженіемъ. Такъ, на примѣръ, если художникъ хочетъ изобразить скупость, то, по этой теоріи, онъ долженъ создать лицо, въ которомъ эта страсть доведена до послѣдней степени напряженія и исключаетъ всѣ остальные движенія. Это будетъ идеаль скупого. Теоретики, возстающіе противъ историческаго романа, какъ рода, сильно напираютъ на это ученіе; они говорятъ, что исторія стѣсняетъ романиста въ созданіи идеаловъ. И въ самомъ дѣлѣ, исторія—то же, что дѣйствительность, а въ дѣйствительности идеаль не существуетъ. Идеаль—односторонній абстрактъ, между тѣмъ какъ въ дѣйствительномъ мірѣ нѣтъ ничего отвлеченнаго и односторонняго. Есть, на примѣръ, въ дѣйствительности люди скупые, гордые, жестокие, есть добрые, скромные, добродѣтельные, но нѣтъ ни одного злодѣя, въ которомъ не было бы равно ничего, кромѣ жестокости, ни добряка, въ составъ котораго не входило бы еще какихъ-нибудь свойствъ. Поэтому, разумѣется, и въ исторіи такія явленія не встрѣчаются. А если это справедливо, то и въ хорошемъ историческомъ романѣ нѣтъ имъ мѣста. За это-то поборники ученія о художественномъ идеалѣ и ведутъ войну противъ историческаго романа, какъ формы, стѣсняющей художественное творчество. Но нужно ли говорить, что самое это ученіе есть не что иное, какъ теоретическое видоизмѣненіе того грубаго понятія о поэзіи, о которомъ мы упоминали? Если идеаль есть вещь не существующая, то и форма, въ которую онъ долженъ быть облеченъ для того, чтобы перейти въ изящное созданіе, должна быть также не существующая, ложная. Если не можетъ быть на свѣтѣ человѣка исключительно скупого, то и проявленія его, какъ скупца и только скупца—невозможность, выдумка, сказка. Не слѣдуетъ ли изъ этого, что знаменитая формула, опредѣляющая изящное творчество „воплощеніемъ идеала въ опредѣленныя формы дѣйствительности“, можетъ быть переведена на языкъ здраваго смысла слѣдующимъ образомъ: „выраженіе не существующаго въ не существующихъ формахъ“?...

Однимъ словомъ, возставать противъ историческаго романа абсолютно—все равно, что возставать вообще противъ изображенія дѣйствительности въ искусствѣ, и сколько ни разбирайте различныхъ мнѣній, высказанныхъ по поводу этого вопроса, всѣ они приводятся къ тому же мутному источнику. Мы считали нужнымъ упомянуть о нихъ здѣсь потому, что на нихъ вращались всѣ противники Вальтера Скотта. Весьма любопытно въ этомъ отношеніи письмо его къ доктору Дрейсесту, помѣщенное въ видѣ предисловія къ „Айвего“. Это письмо заключаетъ въ себѣ опроверженіе всѣхъ замѣчаній противъ историческаго романа, какъ рода. Вальтеръ Скоттъ имѣлъ въ виду одни замѣчанія антикваріата, но, высказывая по этому поводу мысли о достоинствахъ и недостаткахъ историческаго романа вообще, онъ обезоруживаетъ и тѣхъ, которые возставали



противъ созданнаго имъ рода съ эстетическоѣ точки зрѣнія. Вотъ главный аргументъ автора <sup>1)</sup>: „Помня большинство <sup>2)</sup>, которое, надѣюсь, прочтетъ эту книгу съ жадностью, я такъ очертилъ характеры и чувства лицъ, что новѣйшій читатель, вѣроятно, не пожалуется на отталкивающую сухость чистоантикварнаго сочиненія. Въ этомъ, смѣю почтительнѣйше утверждать, я ни зъ какомъ отношеніи не переступилъ за границу, позволенную авторамъ вымышленнаго разсказа. Покойный даровитый мистеръ Стрестъ, въ романѣ своемъ „Королева Гу-Галль“, поступалъ по другимъ началамъ: отдѣляя древнее отъ новаго, онъ забылъ, кажется, обширную нейтральную область, именно, что *есть много общаго въ нравахъ и чувствахъ нашихъ предковъ, перешедшихъ къ намъ безъ измѣненія, или истекающихъ изъ общихъ началъ нашей натуры, и потому одинаковыхъ во всѣхъ обществахъ*“ (стр. XII).

Отбиваясь, такимъ образомъ, отъ нападокъ антикваріевъ, Вальтеръ Скоттъ безъ сознанія наноситъ рѣшительный ударъ и эстетической критикѣ, утверждающей, что форма историческаго романа стѣсняетъ творчество. Не выражаютъ ли слова его той мысли, что человѣкъ—всюду и всегда одно и то же существо, только видоизмѣняемое обстоятельствами? Вздумается ли вамъ писать романъ изъ настоящаго времени, выберете ли вы предметъ изъ эпохи отдаленной,—и въ томъ и въ другомъ случаѣ у васъ будетъ одна задача: изобразить *человѣка* подъ вліяніемъ извѣстныхъ условій времени, мѣстности и судьбы; и въ томъ, и въ другомъ вы будете имѣть дѣло не съ идеаломъ, но съ абстрактомъ, потому что такихъ существъ не имѣется ни въ прошедшемъ, ни въ настоящемъ. Слѣдовательно, ужъ если негодовать на что-нибудь въ этомъ дѣлѣ, такъ пусть негодуютъ на общія условія искусства или, еще лучше, на самую дѣйствительность, въ которой нѣтъ ни одного идеала въ полномъ парадѣ, а есть живыя существа съ свойствами чрезвычайно разнообразными. Чѣмъ тутъ виноваты именно историческіе романы—этого понять не возможно.

Оставимъ же въ покоѣ безусловное порицаніе историческаго романа и послушаемъ лучше тѣхъ, которые указываютъ на относительныя недостатки этого рода произведеній. Это ужъ совершенно другого рода дѣло: тутъ, въ самомъ дѣлѣ, есть отчего иногда притти въ негодованіе и историку, и эстетику.

Вальтеръ Скоттъ породилъ безчисленное множество подражателей и эти подражатели лучше всего показали, какого огромнаго таланта и какой страшной эрудиціи требуетъ сочиненіе историческаго романа. Что было у Вальтера Скотта результатомъ всей жизни и плодомъ постоянной, неутомимой дѣятельности, подерживавшейся истинною, могучею страстью, не говоря уже о необыкновен-

<sup>1)</sup> Мы приводимъ эти отрывки изъ послѣдняго русскаго перевода „Романовъ Вальтера Скотта“.

<sup>2)</sup> Здѣсь „большинство“ противопоставляется антикваріямъ.



номъ художественномъ талантѣ, то стало у большей части подражателей его дѣломъ моднаго увлеченія, результатомъ поверхностной эрудиціи, а главное — плодомъ посредственности и бездарности. Конечно, были между ними и такіе, которые не были лишены нѣкоторыхъ элементовъ Вальтеръ-Скоттовой силы: одинъ обладалъ обширную эрудиціей,—замѣчательнымъ художественнымъ талантомъ, третій—сильною любовью къ исторіи и къ старинѣ; были даже и такіе, которые въ извѣстной степени соединяли въ себѣ всѣ эти элементы; но не было между ними ни одного, который напоминалъ бы собою учителя. Ихъ эрудиція отзывалась школьнымъ духомъ, ихъ симпатія—доктриной и пристрастіемъ, а таланты ихъ производили или бездушныя реставраціи, или безцвѣтныя розсказы. У одного подъ названіемъ историческаго романа выходила какая-то смѣсь школьнаго учебника съ избитою любовною интригой; у другого та же интрига перемѣшивалась пошлыми завываніями о старинѣ, изъ подъ которыхъ высовывала свою сухую морщинистую рожу какая-нибудь безжизненная филистерская мораль; третій вводилъ публику въ какую-то археологическую кунсткамеру, гдѣ вмѣсто людей показывались куклы со свойствами абсолютно оригинальными; четвертый, напротивъ того, перенесъ мѣсто дѣйствія своего романа въ извѣстную эпоху, потчивалъ читателей идеалами, на которыхъ нѣтъ ни малѣйшаго намека ни въ какой исторіи. Не говоримъ уже о тѣхъ, которые безъ всякой деликатности дѣлали съ историческими данными все, что приходило имъ въ голову, подчиняя историческія событія ходу интриги, преувеличивая и всячески передѣлывая характеры историческихъ лицъ для *вящаго* эффекта, даже выдавая за дѣйствительность вещи никогда небывалыя и противныя свидѣтельствамъ историковъ. Эти произведенія ниже всякой критики; однакожъ, они писались и читались во множествѣ.

Здѣсь невольно приходитъ въ голову вопросъ: неужели же вліяніе великихъ созданій Вальтера Скотта ограничивалось наводненіемъ европейской литературы уродливыми романами и повѣстями? Но раздумье это позволительно только тому, кто пропуститъ безъ вниманія другую литературу, образовавшуюся также подъ вліяніемъ великаго шотландскаго романиста. Мы разумѣемъ здѣсь вліяніе его на новѣйшую историческую школу. Можно рѣшительно сказать, что Вальтеръ Скоттъ, нисколько не подозрѣвая того, былъ настоящимъ ея основателемъ. Говоря это, мы очень хорошо помнимъ, что всѣ его опыты на поприщѣ собственно исторіи изъ рукъ вонъ плохи, и имѣемъ въ виду одни его историческіе романы.

Услуги, оказанныя Вальтеромъ Скоттомъ исторіи западной Европы, можно разсматривать съ разныхъ точекъ зрѣнія. Ближайшая изъ нихъ заключается ни больше, ни меньше, какъ въ безпристрастномъ изображеніи исторіи среднихъ вѣковъ, безпристрастномъ, несмотря на то, что у Вальтера Скотта, какъ мы уже сказали, не было ни къ чему такого пристрастія, какъ къ среднимъ вѣкамъ. Искривленіе средней исторіи до появленія новой школы, которую обыкновенно на-

ываютъ Гизотовскою, но которую гораздо правильнѣе было бы называть Вальтеръ-Скоттовскою, представляетъ нѣсколько періодовъ. Западные лѣтописцы первыхъ вѣковъ представляютъ Европу погруженною въ совершенную анархію: не то, чтобъ они дѣлали это съ сознаніемъ, а потому что въ политическомъ отношеніи, точно такъ же, какъ и во всѣхъ остальныхъ, она дѣйствительно представляла ужаснѣйшій хаосъ, который не могъ не отразиться и въ историческихъ замѣткахъ того времени. Первою формою благоустройства, которую приняла эта богатая смѣсь всѣхъ элементовъ общественной жизни, былъ феодализмъ. Лѣтописцы феодальнаго періода положили начало искаженію исторіи среднихъ вѣковъ тѣмъ, что придали ей анархическому періоду характеръ феодальный. За ними слѣдуютъ историки монархической эпохи, продолжавшейся около трехъ вѣковъ—отъ половины пятнадцатаго до восемнадцатаго. Они, въ свою очередь, исказили обѣ эпохи—и анархическую, и феодальную: читая ихъ сочиненія, вы не найдете никакого различія между монархіями Кловиса, Вильгельма Завоевателя и Карла Пятаго. Наконецъ, въ восемнадцатомъ столѣтіи исторія среднихъ вѣковъ сдѣлалась орудіемъ политическихъ партій, зарождавшихся въ партіяхъ литературныхъ, и жертвою произвольныхъ искаженій. Поборники новыхъ идей дѣйствовали въ этомъ отношеніи различно, но результатъ ихъ тактики былъ равно губителенъ для правильнаго уразумѣнія дѣла. Одни изъ нихъ выбирали изъ средней исторіи и утрировали такіе факты, которые возбуждаютъ отвращеніе отъ этой эпохи. Другіе, напротивъ того, старались увѣрить приверженцевъ старины, что политическія учрежденія *добраго стараго времени* совершенно согласовались въ основаніяхъ своихъ съ основаніями новѣйшихъ политическихъ теорій. Съ своей стороны, противники этихъ теорій, защищали эпоху среднихъ вѣковъ, выставляя ее въ своихъ сочиненіяхъ съ самой блестящей стороны. Между ними нашлось много софистовъ, старавшихся доказать искуснымъ выборомъ и освѣщеніемъ фактовъ, что первоначальный общественный бытъ европейскихъ народовъ заключалъ въ себѣ всего на все два элемента—монархическій и аристократическій. Такимъ образомъ, въ теченіе вѣковъ наслонилось на исторіи среднихъ вѣковъ множество ложныхъ взглядовъ, образовавшихъ изъ нея хаосъ, достойный того, какой представляла Европа во времена переселенія народовъ.

Кому суждено было внести въ него свѣтъ анализа? Нѣкоторые критики приписываютъ эту честь неутомимому труженику—Сисмонду де-Сисмонди, автору „Исторіи Франковъ“, „Исторіи Италіанскихъ Республикъ“, „Литературы южной Европы“, „Исторіи паденія Римской Имперіи“, и иныхъ. Но кто вмѣлъ терпѣніе читать его многотомныя сочиненія, тотъ не могъ не убѣдиться въ противномъ. Историческіе труды Сисмонди принадлежатъ къ произведеніямъ той школы, которая еще смотрѣла на исторію, какъ на репертуаръ нравоучительныхъ фактовъ. Вся особенность его заключается въ томъ, что онъ выводитъ изъ историческихъ фактовъ не нравственные, а политическія сентенціи. Каждое изъ его сочиненій

имѣть догматическій характеръ, заключающійся въ выводѣ какого-нибудь обширнаго политическаго *правила*; а части его въ свою очередь обработаны такъ, чтобъ изъ каждой можно было вывести политическую сентенцію меньшей важности. Что же касается безпристрастія, которымъ такъ прославился и такъ щеголялъ этотъ историкъ-соціалистъ, то признаемся, не пожелали бы мы никому такого свойства, даже несмотря на отъѣнно выгодную репутацію, которую оно доставляетъ писателю. Во всей своей прелести выразилось оно въ „*Études sur les constitutions des peuples libres*“, сочиненіи, въ которомъ Сисмонди представляетъ результатъ своихъ историко-соціальныхъ изысканій и силится изложить свою *profession de foi*. Правда, достаточно прочесть одну изъ упомянутыхъ его историческихъ компиляцій, чтобы глубоко усумниться въ дѣйствительности его соціальныхъ убѣжденій; но ничто не убѣждаетъ такъ сильно въ абсолютномъ ихъ несуществованіи, какъ эти „*Études*“. Подумаешь, изъ чего бился этотъ труженикъ во все продолженіе своей пятидесятилѣтней дѣятельности! Изъ того, чтобъ дойти до убѣжденія, что каждая форма государственнаго устройства имѣетъ свои хорошія и свои дурныя стороны, что каждый элементъ общественной власти и хорошъ, если посмотреть на него съ одной стороны, и злокачественъ, если заглянуть съ другой. Прекрасно! Да и что жъ изъ этого? Ничего или, лучше сказать, то, что всякая вещь на свѣтѣ, если разсматривать ее въ отдѣльности, и прекрасна, и плоха, смотря потому, въ какое отношеніе приведена она къ другимъ вещамъ. Вотъ, напримѣръ, аристократія богатства—съ одной стороны, сословіе очень полезное, потому-де, что даетъ возможность къ осуществленію колоссальныхъ промышленныхъ предпріятій, къ отважному риску, филантропическому содержанію работниковъ, и проч., и проч. Все это прекрасно, съ одной стороны; но съ другой—вамъ, пожалуй, поставятъ на видъ безвыходное положеніе мелкихъ капиталистовъ, гибнущихъ отъ соперничества съ хозяевами-милліонщиками, тягость поденщины, переходящей по наслѣдству отъ отца къ сыну въ многочислѣннѣйшемъ классѣ народа и поддерживающей въ немъ нищету, невѣжество и безправственность. Если вы хотите быть безпристрастнымъ *à la Sismondi*, вамъ нѣтъ нужды сличать эти двѣ стороны и дѣлать изъ нихъ какія-нибудь заключенія. Зачѣмъ? Будьте довольны и тѣмъ убѣжденіемъ, что аристократія богатства имѣетъ свои хорошія и свои дурныя стороны, иными словами—что она ни хороша, ни дурна. Если же, разсуждая объ этомъ предметѣ, вы можете еще пуститься въ примѣры изъ исторіи и статистики, да разсказать пообстоятельнѣе, напримѣръ о заслугахъ торговой аристократіи италіанскихъ республикъ и о страшномъ положеніи рабочаго класса въ Ирландіи въ настоящее время, такъ вотъ и поровнялись съ Сисмонди, совершенно поровнялись и можете сказать, какъ онъ: „я не хочу, чтобъ меня причисляли къ какой-нибудь партіи“

Нельзя не исполнить желанія трудолюбиваго оптимиста-эклектика. Было бы слишкомъ несправедливо отрицать нейтральность человѣка, который изъ того только и бьется, чтобы не находить ничего абсолютно хорошаго и ничего абсолютно дурного. Но столько же несправедливо и считать его, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые критики, основателемъ новой, безпристрастной исторической школы. Если бъ сущность безпристрастія заключалась въ Сисмондіевской двуличности, не пришлось ли бы согласиться тогда съ писателемъ, восторгающимся приказаніемъ капитанши: „разбери кто правъ, кто виноватъ, да обоихъ и накажи“?

Одною только стороною подходилъ Сисмонди къ новѣйшей исторической школѣ, это—духомъ анализа. Въ самомъ дѣлѣ, чего онъ не разложилъ, въ чемъ не рылся? Но скажите, пожалуйста: что толку въ анализѣ, если онъ ограничивается однимъ процессомъ разложенія предметовъ на составныя части? Какой смыслъ имѣла бы вся химія, если бъ химическое познаніе составныхъ частей тѣла не открывало и ихъ взаимной связи? Историческія разысканія Сисмонди имѣютъ совершенно такое значеніе: съ изумительнымъ трудолюбіемъ изучаетъ онъ детали средневѣковаго общества; овладѣвъ какою-нибудь подробностью, онъ разложить ее на тысячи новыхъ подробностей съ тѣмъ, чтобы эту тысячную часть разложить еще на мельчайшія и т. д. Но попробуйте представить себѣ при помощи его сочиненій общую картину эпохи и событій,—этого вамъ никогда не удастся сдѣлать, потому что почтенный оптимистъ лишенъ былъ всякой концепціи. Впрочемъ, за всѣмъ этимъ, нельзя не согласиться, что его многотомныя творенія при всей своей безхарактерности заключаютъ въ себѣ цѣлыя груды любопытныхъ фактовъ, которые и послужили богатымъ матеріаломъ для историковъ новѣйшей школы.

Но какую же роль играетъ въ судьбѣ этой школы Вальтеръ Скоттъ? Въ его романахъ Гизо, Вильменъ, Тьерри и Барантъ въ первый разъ прочли истинно безпристрастный рассказъ о судьбѣ народовъ, которой изученіе составляло предметъ ихъ юношеской дѣятельности. Проникнувшись духомъ этихъ геніальныхъ произведеній, отвѣдавъ живой воды изъ этого чистаго родника исторической истины, они не могли не вооружиться всѣми силами противъ близорукости и пристрастія, которыя господствовали во всѣхъ сочиненіяхъ, явившихся въ свѣтъ до историческихъ романовъ Вальтера Скотта. Достаточно было одной противоположности, одного противорѣчія между стройными картинами, вышедшими изъ-подъ геніальнаго пера его, съ безобразною путаницей, выдававшейся до него за исторію среднихъ вѣковъ, для того, чтобы направить аналитическій духъ этихъ представителей эпохи двадцатыхъ годовъ девятнадцатаго столѣтія къ тому роду критико-описательной исторіи, которому они положили начало. Мы вовсе не имѣемъ претензій искать въ историческихъ романахъ Вальтера Скотта начала самаго аналитическаго направленія эпохи реставраціи: корень его гораздо глубже, и притомъ было бы слишкомъ опрометчиво приписывать вліянію одного лица

образование духа цѣлой генераціи. Мы стоимъ только на томъ, что анализъ французской исторической школы двадцатыхъ годовъ воспитался на историческихъ романахъ Вальтера Скотта и во многихъ изъ нихъ нашелъ указаніе прямого взгляда на различныя эпохи средней исторіи. Къ чести новой школы сказать, что она сама никогда не думала скрывать своего отношенія къ трудамъ великаго романиста. Вильменъ отъ лица всей школы называетъ его „нашимъ общимъ учителемъ“. Тьерри, въ предисловіи къ своей „Исторіи завоеванія Англіи Норманнами“, прямо сознается, что основная мысль его сочиненія принадлежитъ Вальтеру Скотту. Нѣтъ нужды рассказывать, что въ первый разъ она выражена въ „Айвенго“. Но при развитіи занимающей насъ теперь мысли нѣтъ ничего любопытнѣе и убѣдительнѣе, какъ прослѣдить этотъ переходъ идеи изъ высокохудожественной формы въ форму глубокомысленнаго изслѣдованія, изъ головы художника въ голову мыслителя. Съ одной стороны, сличая оба произведенія, видишь какъ на ладони различія условій художества; съ другой—твердо убѣждаешься, что вліяніе Вальтера Скотта на обработку средней исторіи не фраза, не натяжка, а очевидная истина. Предполагаемъ, что „Айвенго“ давно извѣстенъ каждому изъ читателей; но можетъ быть, сочиненія Тьерри, несмотря на его заслуженную знаменитость, не всякому удалось прочесть. Поэтому не отказываемъ себѣ въ удовольствіи представить здѣсь небольшую выписку, изъ которой видно, какой смыслъ для науки имѣетъ мысль, положенная въ основаніи роману, и какъ хорошо зналъ самъ авторъ „Исторіи завоеванія“, сколькимъ сочиненіе его обязано появленію „Айвенго“ Вотъ что говоритъ, между прочимъ, Тьерри въ предисловіи къ своему творенію:

„Въ настоящее время главныя европейскія государства достигли высокой степени территоріальнаго единства, и привычка жить подъ однимъ правленіемъ и въ нѣдрахъ общей цивилизаціи ввела, по видимому, между гражданами каждого государства совершенную общность нравовъ, языка и патріотизма. Однакожь между этими государствами нѣтъ ни одного, которое не представляло бы живыхъ слѣдовъ различія племенъ, поселившихся въ течение времени на его территоріи. Это племенное разнообразіе является въ разныхъ видахъ. Тутъ жители небольшихъ областей отличаются отъ цѣлой массы народонаселенія нарѣчіемъ, мѣстными преданіями, политическимъ духомъ и какимъ-то инстинктивнымъ нерасположеніемъ къ остальной массѣ народа; тамъ простой отбѣнокъ діалекта или даже произношенія намекаетъ на черту, разграничивавшую нѣкогда поселенія двухъ народовъ, принадлежащихъ къ разнымъ племенамъ и долгое время питавшихъ глубокую антипатію другъ къ другу. Чѣмъ больше отдаляешься отъ настоящаго, тѣмъ яснѣе представляются эти черты; начинаешь ясно убѣждаться, что въ прежнія времена нѣсколько народовъ занимали мѣстность, носящую теперь названіе одного: на мѣстѣ теперешнихъ провинціальныхъ нарѣчій являются полныя и правильно образованные языки, и что казалось сначала не болѣе, какъ недостаткомъ

цивилизациі и упорнымъ сопротивленіемъ ея успѣхамъ, то въ прошедшемъ принимаетъ видъ оригинальности образа жизни и патріотической привязанности къ стариннымъ учрежденіямъ. Такимъ образомъ, факты, потерявшіе всякую важность въ современномъ общественномъ быту, пріобрѣтаютъ великое историческое значеніе. Было бы слишкомъ противно требованію истины—вносить въ исторію философическое презрѣніе ко всему, что удаляется отъ единообразія современной цивилизациі, и не обходитъ почетнымъ упоминовеніемъ тѣхъ только народовъ, съ именемъ которыхъ случайныя обстоятельства соединили идею и судьбу этой цивилизациі...

„Во многихъ странахъ, высшіе и низшіе классы общества, непріязненно взирающіе теперь другъ на друга или борющіеся за политическія идеи, суть не что иное, какъ потомки побѣдителей и побѣжденныхъ. Такимъ образомъ, мечъ завоевателей, измѣнившій нѣкогда наружный видъ европейскихъ обществъ и распредѣленіе населенія Европы, оставилъ надолго слѣды свои въ каждомъ народѣ, происшедшемъ отъ слиянія нѣсколькихъ племенъ. Племя завоевателей, переставъ быть отдѣльнымъ народомъ, сдѣлалось привилегированнымъ классомъ общества, оно составило воинственное дворянство, которое, пополняясь постоянно толпами безпокойныхъ честолюбцевъ и искателей приключеній, властвовало надъ массой мирнаго и трудолюбиваго населенія во все время, пока держалось военное правленіе побѣдителей. Племя побѣжденныхъ, лишенное поземельной собственности, участія въ правленіи и свободы, жившее не оружіемъ а трудомъ не въ укрѣпленныхъ замкахъ, а въ городахъ, составило отдѣльное общество, обокъ съ военною ассоціаціей побѣдителей. Въ послѣдствіи времени это племя, сохранивъ въ стѣнахъ своихъ городовъ остатки римской цивилизациі и положивъ съ помощью этихъ остатковъ начало новаго образованія, поднялось и усилилось по мѣрѣ ослабленія феодальной организаціи дворянства, происшедшаго отъ побѣдителей...

„Я имѣю намѣреніе изобразить во всей подробности борьбу національностей, послѣдовавшую за завоеваніемъ Англіи Норманнами, вышедшими изъ Галліи; прослѣдить всѣ указываемыя исторіею непріязненные отношенія двухъ народовъ, насильно соединенныхъ другъ съ другомъ на одной территоріи; рассказать ихъ продолжительныя войны и исторію ихъ взаимнаго упорства къ слиянію, окончившуюся образованіемъ у нихъ одного языка, одинаковыхъ нравовъ и общаго законодательства отъ постепеннаго сближенія и смѣшенія племенъ, нравовъ, потребностей и языковъ...

„Я долженъ былъ войти здѣсь въ нѣкоторыя предварительныя объясненія для того, чтобы читателямъ не показалось странною исторію завоеванія или, лучше сказать, исторію многихъ завоеваній, изложенная по методѣ, діаметрально-противоположной обыкновенному способу изложенія исторіи. Всѣ историки, слѣдующіе методѣ, которая кажется имъ естественною, обыкновенно нисходятъ отъ побѣдителей...



телей къ побѣжденнымъ; они охотнѣе переносятся въ тотъ лагерь, гдѣ торжествуетъ завоеватель, чѣмъ въ тотъ, гдѣ бѣдствуетъ побѣжденный, и видятъ конецъ завоеванія въ томъ, что побѣдитель провозглашаетъ себя властелиномъ, закрывая, подобно ему самому, глаза на послѣдующія возстанія покореннаго народа и всякаго рода сопротивленія, съ которыми борется его политика. Такъ для историковъ, писавшихъ до нашего времени исторію Англіи, саксонцы какъ будто бы исчезаютъ въ этой странѣ тотчасъ послѣ Гастингской битвы и коронованія Вильгельма Незаконнорожденнаго: *геніальный романистъ первый открылъ англійскому народу, что предки его не въ одинъ день побѣждены были въ одиннадцатомъ вѣкѣ*“ (Histoire de la conquête de l'Angleterre Introduction).

Кстати, приведемъ здѣсь нѣсколько строкъ изъ другого сочиненія того же писателя—„Dix ans d'études historiques“. Въ предисловіи къ этому сочиненію авторъ рассказываетъ исторію своихъ историческихъ изысканій, останавливаясь съ особенною подробностію на „Исторіи завоеванія Англіи норманнами“. Вотъ что говоритъ онъ о вліяніи на его историческіе труды романовъ Вальтера Скотта:

„Въ исторіи Шотландіи также обратила на себя мое вниманіе... вѣчная вражда горцевъ и жителей долинъ, вражда, такъ живо и такъ оригинально одраматизированная во многихъ романахъ Вальтера Скотта. Я питалъ къ этому великому писателю глубокое, благоговѣйное уваженіе, которое тѣмъ болѣе усиливалось, чѣмъ болѣе сравнивалъ я его великое пониманіе прошедшаго съ мелочною и тусклою эрудиціей знаменитѣйшихъ новѣйшихъ историковъ. Великое его созданіе „Айвенго“ было встрѣчено мною съ величайшимъ энтузіазмомъ. Въ этомъ романѣ Вальтеръ Скоттъ бросилъ орлиный взглядъ на эпоху, на изученіе которой въ продолженіе трехъ лѣтъ устремлены были всѣ усилія моей мысли. Со свойственной ему смѣлостью исполненія, онъ противопоставилъ на англійской почвѣ норманновъ и саксонцевъ, побѣдителей и побѣжденных, еще трепещущихъ другъ передъ другомъ сто-двадцать лѣтъ спустя по завоеваніи. Онъ художественно воспроизвелъ сцену той самой драмы, надъ изображеніемъ которой грудился я съ терпѣніемъ историка. Общій характеръ эпохи, въ которую перенесъ онъ завязку своего вымысла и своихъ дѣйствующихъ лицъ, политическое состояніе страны, нравы эпохи и тогдашнія отношенія различныхъ классовъ народонаселенія, однимъ словомъ—вся дѣйствительность, положенная въ основаніе „Айвенго“, совершенно согласовались съ линіями плана, рисовавшагося тогда въ умѣ моемъ. Признаюсь, что посреди сомнѣній, неразлучныхъ съ исполненіемъ всякаго добросовѣстнаго труда, моя ревность и увѣренность удвоились, когда любимые мои взгляды получили хотя и косвенное освѣщеніе человѣка, на котораго я смотрю, какъ на величайшаго генія въ области историческаго прозрѣнія (divination historique)“ (Dix ans d'études historiques Préface)



Этотъ примѣръ лучше всякихъ разсужденій показываетъ отношеніе историческихъ романовъ Вальтера Скотта къ обработкѣ средней исторіи новѣйшею школою. Но заслуги его далеко не ограничиваются этимъ. Романы его произвели радикальную реформу въ самомъ способѣ изложенія исторіи. Но чтобъ объяснить сущность этого преобразованія (столько же бессознательнаго, какъ и первое), необходимо снова коснуться обработки исторіи.

Въ началѣ девятнадцатаго столѣтія существовало нѣсколько способовъ изложенія исторіи, наслѣдованныхъ отъ писателей восемнадцатаго столѣтія. Большая часть ученыхъ смотрѣла на исторію очень простодушно, какъ на собраніе безчисленнаго множества фактовъ болѣе или менѣе любопытныхъ. Само собою разумѣется, что при такомъ взглядѣ на предметъ, способъ изложенія его совершенно зависитъ отъ склонности пишущаго. Охотникъ до сказокъ навѣрное обратитъ больше вниманія на романическую или анекдотическую сторону исторіи и распространится болѣе всего въ разсказахъ о рожденіи Кира, о похищеніи Елены, о воспитаніи Ромула и Рема, о хитрости Альфреда Великаго, о скитальческихъ походахъ Ричарда Львиного Сердца и о многомъ-многомъ въ томъ же родѣ,—всѣхъ пріятностей не перечесть; другой, поумнѣе, склонный, на примѣръ, къ психологическому анализу, нападетъ преимущественно на характеры историческихъ лицъ и вообще на біографическую часть исторіи, займется, на примѣръ, сравненіемъ Елизаветы англійской съ Семирамидой, Густава-Адольфа съ Александромъ Македонскимъ, Арун-аль-Рашида съ Перикломъ, Людовика Одиннадцатаго съ Нерономъ и т. д.; третій со склонностью къ политикѣ, остановится съ особеннымъ вниманіемъ на герояхъ республиканскаго Рима, на законодательствѣ Юстиніана, на учрежденіяхъ Карла Великаго, на бунтѣ Мазаньелло; четвертый, резонеръ и моралистъ, рассыплется въ похвалахъ спартанской методѣ воспитанія, разразится громомъ проклятій развращенію римлянъ временъ имперіи, наскочитъ много поучительнаго по поводу паденія разныхъ обществъ отъ роскоши, заимствованной отъ завоеванныхъ народовъ, и проч., и проч. Такимъ образомъ, курсъ исторіи можетъ сдѣлаться собраніемъ сказокъ, біографическихъ этюдовъ, политическихъ диссертаций, нравственныхъ и религіозныхъ поученій, однимъ словомъ—всѣмъ, чѣмъ угодно будетъ сдѣлать его сочинителю. Такъ и поступали тѣ историки, которыхъ методу можно назвать описательною. Очень естественно, что при совершенной внѣшности взгляда, главное достоинство историческаго сочиненія въ глазахъ такихъ историковъ заключалось въ слогѣ. Замѣтимъ еще, что этой школѣ обязаны множествомъ самыхъ забавныхъ пріемовъ въ изложеніи исторіи. Особенно замѣчательна между ними манера смотрѣть на исторію цѣлыхъ народовъ или на исторію отдѣльныхъ эпохъ въ развитіи каждаго со стороны такъ-называемыхъ *красотъ* (*beautés*). Понятіе объ этихъ красотахъ составилось въ Европѣ очень давно и имѣетъ источникомъ изученія древнихъ греческихъ и римскихъ историковъ, особенно Геродота, Фукидиды, Тацита, Ливія, Плутарха, и др.

кидиды, Тацита и Тита-Ливія <sup>1)</sup>. Но до эпохи обращенія къ среднимъ вѣкамъ этихъ красотъ никто не имѣлъ дерзости допускать ни въ какой исторіи, кромѣ исторіи Греціи и Рима. Въ началѣ же этой эпохи нѣкоторые писатели побойчѣе стали утверждать, что и въ исторіи германской Европы есть свои красоты, разумѣется—прибавляли они въ припадкѣ робости—не столь высокія, чтобъ выдержать сравненіе съ красотами, описанными перомъ Геродота и Тацита, однакожъ, въ своемъ родѣ достойныя вниманія любителей исторіи. Такія мысли казались сначала ученымъ либерализмомъ, но скоро онѣ получили быстрый ходъ; красоты средней исторіи стали уже смѣло противопоставлять красотамъ исторій греческой и римской, а наконецъ, перестали и сравнивать, утвердивъ за ними полное право на самостоятельность. Замѣтимъ мимоходомъ, что у насъ, представителемъ такого реторико-стилистическаго взгляда на исторію и способа ея изложенія былъ Карамзинъ, который доказываетъ въ своемъ введеніи въ „Исторію Государства Россійскаго“, что, „кромѣ особеннаго достоинства для насъ, сыновъ Россіи, лѣтописи ея имѣютъ общее“, и вся „Исторія“ котораго есть многотомное реторическое развитіе этой мысли. Еще забавнѣе была манера выводить изъ различныхъ фактовъ исторіи народовъ моральныя сентенціи для руководства частнаго человѣка. Но какъ все это ни было смѣшно, все-таки въ замашкахъ этого рода проглядываетъ нѣкоторое темное сознаніе мертвенности чисто фактическаго изученія и изложенія исторіи. Усиливаясь придать историческимъ фактамъ какое-нибудь художественное или моральное значеніе, представители описательной методы, очевидно, приводились къ этому нѣкоторымъ основательнымъ раздумьемъ: читая ихъ компиляціи съ заплатами изъ реторическихъ описаній и моральныхъ сентенцій, такъ и видишь, что имъ отъ времени до времени приходила въ голову горькая мысль: да какой же толкъ въ этомъ безчисленномъ множествѣ событій, сваленныхъ въ одну груду,—нельзя ли какъ-нибудь его осмыслить? Въ этомъ значеніи нельзя не поставить ихъ выше тѣхъ кропотуновъ, которые грубымъ добываніемъ и абсолютно безсмысленнымъ нанизываніемъ фактовъ на хронологическія таблицы удовлетворяли укоренявшейся въ нихъ подъ вліяніемъ схоластическаго образованія искусственной потребности рыться въ мертвыхъ матеріалахъ безъ малѣйшей заботы о чемъ-нибудь похожемъ не только на живую, но даже и на отвечающую мысль. Но не будемъ распространяться объ этихъ тощихъ поросляхъ, высовывающихъ свои сѣдоусые стебли изъ одной почвы съ живою наукой. Скажемъ только, что они не перестанутъ безобразить ее и прозябать на ней въ ужасающемъ количествѣ до тѣхъ поръ, пока истинная наука, уже освободившая человѣчество изъ оковъ средневѣковаго порядка вещей, не окончитъ своего подвига освобожденіемъ самой себя изъ подъ ига схоластическихъ понятій и формъ. Не болѣе какъ нѣсколько тому лѣтъ назадъ,

<sup>1)</sup> Нечего говорить, что и понятія объ историческомъ стилѣ образовались такимъ же образомъ.

происходилъ въ одномъ университетѣ диспутъ, на которомъ молодой человекъ, искашавшійся въ пріобрѣтеніи высшей ученой степени, на вопросъ: „Какую идею положили вы въ основаніе вешей диссертациі? отвѣчалъ съ флегматическимъ цинизмомъ: „Да что такое идея? Я терпѣть не могу идей“. Получилъ ли онъ ученую степень—объ этомъ не хотимъ вспоминать.

Въ сторонѣ отъ фактическаго изложенія и въ тѣснѣйшей связи съ философіей развился умозрительный взглядъ на исторію <sup>1)</sup> Главными дѣтелями на

<sup>1)</sup> Первый опытъ изложенія философіи исторіи справедливо приписывается Боссюэту. Въ 1681 году вышла его „Рѣчь о всеобщей исторіи“ (Discours sur l'histoire universelle). Несмотря на теологическую односторонность этого сочиненія, въ немъ въ первый разъ высказана мысль о цѣлостности всеобщей исторіи. Вотъ что говоритъ самъ знаменитый проповѣдникъ о своей методѣ изложенія: „Этого рода исторія относится къ частнымъ исторіямъ каждой страны и каждого народа точно такъ же, какъ общая карта земли къ частнымъ. Частная географическая карта показываетъ вамъ всѣ части государства или одной изъ его провинцій; въ общей же картѣ вы узнаете всѣ части свѣта въ цѣломъ ихъ составѣ; вы видите, какое отношеніе имѣетъ Парижъ или Иль-де-Франсъ къ цѣлой Франціи; далѣе узнаете отношеніе Франціи къ Европѣ, наконецъ, отношеніе этой части свѣта ко всемъ земному шару. Точно также частныя исторіи представляютъ, каждая въ совершенной подробности, послѣдовательность событій, ознаменовавшихъ судьбу одного народа; но, чтобы познать все (неточное выраженіе—*afin de tout entendre*), надо знать отношеніе каждой частной исторіи къ остальнымъ; а достигнуть этого познанія можно не иначе, какъ съ помощью краткаго обзорѣнія, въ которомъ представленъ взглядъ на всю послѣдовательность временъ (*tout l'ordre des temps*)“ (Discours sur l'histoire universelle. Paris. 1817, p. 3). Между 1750 и 1754 годами Тюрго написалъ нѣсколько статей, крайне замѣчательныхъ по глубинѣ воззрѣнія на исторію. Онъ совершенно постигъ начало безконечной усовершенности, первое уразумѣніе котораго обыкновенно приписывается шотландцу Фергюсону. „Постоянное воспроизведеніе растений и животныхъ“, говоритъ онъ въ одной изъ этихъ статей,—„состоитъ въ томъ, что время ежеминутно возстановляетъ образъ того, что истребляетъ. Напротивъ, смѣна одного человѣческаго поколѣнія другимъ представляетъ каждый разъ новое зрѣлище. Разумъ, страсти и произволъ рождаютъ безпрестанно новыя событія. Всѣ вѣка и годы связаны между собою цѣлью причинъ и дѣйствій: эта цѣль соединяетъ настоящее со всѣми предшествовавшими ему эпохами. Языкъ и письмо, служащіе человѣку средствами къ выраженію мыслей и къ сообщенію ихъ другимъ людямъ, обращаютъ всѣ частныя знанія въ общее сокровище; одно поколѣніе передаетъ его другому, которое, въ свою очередь, обогащаетъ его новыми открытіями прежде, чѣмъ передать третьему, и такимъ образомъ, въ глазахъ философа, родъ человѣческій, разсматриваемый съ первой минуты своего происхожденія, есть огромное цѣлое, имѣющее, подобно недѣлимому, свое дѣтство и свое развитіе“. Вотъ начало сдѣланнаго имъ опредѣленія исторіи: „Всеобщая исторія заключаетъ въ себѣ разсмотрѣніе постепенныхъ успѣховъ человѣческаго рода и подробное изысканіе причинъ его совершенствованія“. Дѣтъ черезъ десять послѣ историческихъ статей Тюрго, именно въ 1764 году, появилось въ Германіи сочиненіе Исаака Изелина „Объ исторіи человечества“ (Ueber die Geschichte der Menschheit), которое заключаетъ въ себѣ полный очеркъ развитія человѣческаго рода; Изелинъ раздѣляетъ исторію на семь періодовъ, изъ которыхъ каждый представляетъ собою ступень прогресса. Далѣе, весьма важный шагъ философіи исторіи сдѣлала въ лицѣ шотландскаго философа Фергюсона. Сочиненіе его „Опытъ изслѣ-

поприщѣ философіи исторіи отъ конца семнадцатаго столѣтія до начала девятнадцатаго были Боссюэтъ, Тюрго, Изелинъ, Фергюсовъ, Гердеръ, Кантъ и Кондорсетъ. Всѣ они возвышались до понятія о единствѣ человѣческаго рода, какъ существа ограническаго, одареннаго способностью къ безконечному развитію. Но сочиненія ихъ не могли имѣть значительнаго вліянія на общую манеру изложенія исторіи. Главная причина этого заключается въ томъ, что, за исключеніемъ Боссюэта, ни одинъ изъ помянутыхъ мыслителей не написалъ настоящей исторіи, которая служила бы образцомъ для другихъ; а рутина въ дѣлѣ науки—чуть ли не сильнѣйшая изъ всѣхъ рутинъ, задерживающихъ развитіе человѣка: трудно, можетъ быть даже и не возможно найти примѣръ, чтобы какая-нибудь наука быстро преобразовалась въ значеніи и формѣ вслѣдствіе однихъ разсужденій о планахъ реформы, какъ бы ни были они убѣдительны и глубокомысленны. Что же касается до знаменитой рѣчи Бюссюэта, то она была слишкомъ не въ духъ времени по своему направленію, чтобъ увлечь за собою толпу подражателей. Въ похвальныхъ отзывахъ писателей восемнадцатаго столѣтія объ этомъ прои-

---

дованія гражданского общества“ (Essay of civil society), изданное въ Единбургѣ въ 1766 году, внесло въ философію понятіе о врожденномъ стремленіи человѣка къ самоусовершенствованію, понятіе, которое самъ же Фергюсонъ положилъ въ основаніе и исторіи человечества. Каково бы ни было само по себѣ это начало, оно привело Фергюсона къ правильному взгляду на человечество, какъ на органическое, безконечно развивающееся цѣлое. 1784 годъ былъ ознаменованъ выходомъ въ свѣтъ сочиненій Гердера и Канта, равне способствовавшихъ къ уясненію идеи исторіи въ Германіи. Сочиненіе Гердера называется „Мысли для философіи исторіи человечества“ (Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit). Главная цѣль этого произведенія, кажется, состояла въ изслѣдованіи причинъ разнообразія, господствующаго въ цивилизаціи народовъ, и въ опредѣленіи источниковъ оригинальности каждаго изъ нихъ. По мнѣнію Гердера, каждому народу суждено развити оригинальную, ему одному свойственную форму цивилизаціи. Съ перваго взгляда можетъ показаться, что онъ видитъ прогрессъ въ исторіи человечества, слѣдя за движеніемъ его отъ востока къ западу. Но этотъ прогрессъ объясняется у него исключительно вліяніемъ мѣстности и климата. Да вообще Гердеръ не приписывалъ большой важности развитію человѣка на землѣ и называлъ земную жизнь *почкой для будущаго цвѣтка*. Совершенно противоположное убѣжденіе господствуетъ въ сочиненіи Канта—„Мысль для всеобщей исторіи въ ея всемірно-гражданскомъ значеніи“ (Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Ansicht). Кантъ видитъ въ исторіи постоянное усовершенствованіе человечества, объясняемое передачей идей изъ одного поколѣнія въ другое и переходомъ ихъ отъ одного народа къ другому. Періоды видимаго упадка не останавливаютъ его въ такомъ заключеніи: онъ доказываетъ, что послѣ каждаго переворота, сопряженнаго съ разрушеніемъ порядка вещей, просвѣщеніе восходило нѣсколькими ступенями выше. Въ самомъ концѣ восемнадцатаго столѣтія (въ 1795 году) вышелъ въ свѣтъ Кондорсетовъ „Эскизъ исторической картины успѣховъ человѣческаго ума“ (Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain). Въ сочиненіи этомъ единство человѣческаго рода сознано вполне; исторія раздѣлена на періоды весьма логически; но вообще картина набросана слишкомъ легко, какъ и можно ожидать по заглавію сочиненія.

зведеніи чувствуется какое-то слишком натянутое уваженіе, а иногда проглядывает и иронія. Вотъ нѣсколько строкъ Вольтера, соединяющихъ въ себѣ обѣ эти черты: „Я писалъ для нея (для госпожи дю-Шатле) опытъ всеобщей исторіи отъ Карла Великаго до нашихъ дней. Я избралъ эту эпоху, потому, что на ней остановился Боссюэтъ, а не дерзалъ касаться предмета, изложеннаго этимъ великимъ человѣкомъ. Впрочемъ, нельзя сказать, чтобы она была довольна „Всеобщей Исторіей“ этого прелата; она находила это сочиненіе не болѣе, какъ краснорѣчивымъ“, и проч.

Сверхъ того, огромнымъ препятствіемъ къ вліянію сочиненій о философіи исторіи на людей, занимавшихся въ то время исторіей, была мысль, что это—двѣ разныя науки, изъ которыхъ первая принадлежитъ къ философіи и не имѣетъ ничего общаго съ *настоящею* исторіей, то-есть съ грудой фактовъ и годовъ. Такимъ образомъ, эти люди вовсе не считали нужнымъ и читать какого-нибудь Фергюсона или Тюрго, зная, что не отроютъ въ нихъ ни одного новаго хронологическаго указанія, ни одной заманчивой побасенки. Такимъ идеямъ историковъ восемнадцатаго столѣтія нечего удивляться, потому что господство ихъ и въ наше время еще слишкомъ сильно между учеными, особенно нѣмецкими.

Наконецъ, „Опытъ“, написанный Вольтеромъ для г-жи дю-Шатле, былъ также одною изъ причинъ бесплодности всѣхъ плановъ философіи исторіи, издаваемыхъ въ восемнадцатомъ вѣкѣ, потому что умнѣйшіе изъ источниковъ этого времени, оставшіеся совершенно равнодушными и къ Фергюсону, и къ Канту, даже пребывавшіе по большей части въ блаженномъ невѣдѣніи ихъ сочиненій, совершенно увлеклись, напротивъ того, этимъ „Опытомъ“. Метода, господствующая въ этомъ сочиненіи, есть чистый *прагматизмъ*, изложеніе фактовъ съ указаніемъ ихъ причинъ и слѣдствій. Но прагматизмъ этотъ у Вольтера имѣетъ свой отбѣнокъ: въ немъ рѣзко проглядываетъ мысль о господствѣ случая въ судьбѣхъ недѣлимыхъ и человѣчества. Понятно, что на эту тему не могла не разыграться его неподражаемая иронія и что „Опытъ“ его долженъ былъ имѣть огромный успѣхъ въ свое время и породить подражателей. Знаменитѣйшій изъ нихъ былъ Юмъ, авторъ „Исторіи Англіи“; онъ копировалъ Вольтера не милосердно не только въ методѣ, но и въ отбѣнкахъ слога. Другой, не менѣе прославленный англійскій историкъ, Робертсонъ, усвоилъ себѣ одинъ прагматизмъ. Но всѣхъ подражаній не перечесть, да и не за чѣмъ: дѣло только въ томъ, что подъ вліяніемъ Вольтера образовался прагматическій способъ изложенія исторіи. Въ началѣ девятнадцатаго столѣтія онъ былъ уже сильно распространенъ въ Европѣ, несмотря на преобладаніе фактическаго или описательнаго.

Такимъ образомъ, восемнадцатый вѣкъ завѣщалъ историкамъ текущаго столѣтія три способа изложенія исторіи: реторико-описательный, прагматическій и философскій. Историкъ нашего вѣка Нибуръ, подъ вліяніемъ не одѣннаго



въ прошломъ столѣтіи Вико, создалъ *историческую критику*, методъ разработки баснословной части исторіи.

Въ такомъ положеніи застала исторію новая школа. Передъ нею въ анархической разрозненности предстояли элементы науки, которую ей суждено было создать. Поровня всѣ матеріалы были приготовлены: въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ накопилось безчисленное множество фактовъ; ученые восемнадцатаго вѣка и начала настоящаго подвергали достовѣрность этихъ данныхъ неумолимой критикѣ и представили ихъ, какъ цѣпь причинъ и слѣдствій; наконецъ, самая идея исторіи выработалась и уяснилась въ системахъ философовъ: не доставало только творческой силы, которая изъ всѣхъ исчисленныхъ данныхъ, то-есть изъ цѣпи достовѣрныхъ фактовъ, вытекающихъ одинъ изъ другого, и изъ системъ философіи исторіи, создала бы картину, полную жизни и мысли. До сихъ поръ изъ самаго лучшаго историческаго сочиненія можно было узнать только двѣ вещи—во-первыхъ, послѣдовательность происшествій описанной въ немъ эпохи, и во-вторыхъ, мнѣніе автора объ этихъ происшествіяхъ. Читая какого-нибудь Гиббона, вы знакомитесь очень подробно со всѣми фактами римской исторіи, относящимися къ промежутку времени отъ Августа до торжества варваровъ, видите причины каждаго и, наконецъ, имѣете удовольствіе видѣть, что думаетъ одинъ умный человѣкъ о языческомъ мірѣ и о христіанствѣ, которымъ этотъ міръ былъ побѣжденъ; но не ожидайте при этомъ чтеніи встрѣтиться лицомъ къ лицу съ римскою жизнью, не ожидайте найти въ прославленномъ сочиненіи полную и одушевленную реставрацію отжившаго общества. У одного только Бартеlemi въ его „Путешествіи младшаго Анахариса“ найдете вы попытку такого изображенія, да и то неудачную: Бартеlemi всею душою желалъ изобразить греческую жизнь въ полной и движущейся картинѣ, но силъ его хватило только на то, чтобы связать совершенно внѣшнимъ образомъ множество археологическихъ разужденій. Вальтеръ Скоттъ первый возобладавъ тайной воссдаванія прошедшаго во всей его физіономіи. Онъ первый внесъ въ исторію художественный элементъ, объективное созерцаніе, искусство смотрѣть на изображаемой предметъ съ совершеннымъ устраненіемъ своей личности. Онъ же первый и навелъ новую школу на мысль, что исторія тогда только и можетъ сдѣлаться *картиной прошедшаго*, когда историкъ заставитъ людей и событія говорить самихъ за себя, не заслоня ихъ собственными разсужденіями и не навязывая древнему обществу такихъ мыслей, чувствъ и стремленій, которыя принадлежать собственно ему или его современникамъ. Молодымъ людямъ, готовившимся въ то время выступить на историческое поприще, вдругъ сдѣлалось ясно, что эта художественная метода одна можетъ совмѣстить въ себѣ и пополнить одну другую всѣ остальные—и описательную, и прагматическую, и философскую, что *стать* только возстановить послѣдовательность историческихъ фактовъ съ соблюденіемъ ихъ настоящаго колорита, и всѣ задачи будутъ рѣшены однимъ пріемомъ:

обнаружатся и самые факты, и взаимное ихъ отношеніе, и идея, осмысливающая ихъ въ цѣломъ.

Вотъ, по нашему мнѣнію, главная заслуга Вальтера Скотта, и на этомъ основаніи онъ можетъ быть названъ основателемъ совершеннѣйшей методы изложенія исторіи, методы *художественной*. Нельзя не замѣтить здѣсь также, что ему же обязаны мы внесеніемъ въ исторію археологическаго элемента. До сихъ поръ исторія занималась почти исключительно политической стороною народной жизни; жизнь частная составляла предметъ особенной науки, называвшейся *археологіей*, или *древностями*. Свѣдѣнія этого рода считались совершенною роскошью въ историческомъ сочиненіи и походили на какія-то безденежныя приложенія къ главному предмету. Романы Вальтера Скотта лучше всего показали ученымъ, что ни въ чемъ такъ хорошо не выражается духъ времени, какъ въ этихъ подробностяхъ частной жизни, которыя считали они мелочами, недостойными ихъ серьезнаго вниманія. А отсюда неминуемо должно было выйти и то убѣжденіе, что въ нихъ-то собственно и заключается главный интересъ историческаго изученія, что войны, миры и перемирія, такъ же какъ перемѣны общественныхъ формъ, потому только и имѣютъ важность въ исторіи, что необходимо отзываются въ частной жизни человѣка, и что вообще человѣкъ находится въ неизбѣжной зависимости отъ своей соціальной обстановки.

Итакъ, не въ одномъ вліяніи на изящную литературу заключается исторія гениальныхъ произведеній Вальтера Скотта. Мы полагаемъ даже, что приписываемое ему обращеніе искусства къ дѣятельности совершилось независимо отъ вліянія его романовъ. Да и какъ понимать такое объясненіе? Вѣрность дѣятельности составляетъ такое существенное условіе всякаго изящнаго произведенія что человѣкъ, одаренный художническимъ талантомъ, никогда не произведетъ ничего противнаго этому условію. Великія созданія искусства всегда всюду были вѣрны природѣ, даже и въ такія времена, когда большинство требовало совершенно противоположнаго. И на оборотъ, когда вкусъ обратился къ изображенію міра дѣйствительнаго, успѣваютъ ли въ этомъ изображеніи писатели бездарные? Не видимъ ли мы въ ихъ произведеніяхъ величайшихъ невѣрностей вмѣстѣ съ величайшею претензіей уловить краски дѣйствительной жизни? Если же разумѣть цѣло такъ, что, избравъ предметомъ своимъ міръ дѣйствительный, Вальтеръ Скоттъ тѣмъ самымъ убилъ въ читателяхъ вкусъ ко всему мечтательному, призрачному, то противъ этого объясненія заговорятъ факты: стоитъ вспомнить только успѣхъ *романтической школы* двадцатыхъ годовъ, чтобъ отказаться отъ этой мысли.

Словомъ, благотворное вліяніе Вальтера Скотта никогда и ни въ какомъ отношеніи не было прямымъ дѣйствиємъ. Вмѣсто того, чтобы произвести существенный переворотъ въ искусствѣ, оно произвело его въ наукѣ... Однакожъ возвратимся къ его подражателямъ.



Есть нѣсколько родовъ подражаній. Одни изъ нихъ объясняются духомъ времени и силой таланта того писателя, за которымъ слѣдуетъ созвѣдіе дарованій меньшей величины; но есть и такія, и едва ли такихъ меньше, чѣмъ первыхъ, которымъ нѣтъ другого источника, кромѣ моды. Можно имѣть свой очень пріятный талантъ и все таки увлечься подражаніемъ великому художнику. Но въ этомъ подражаніи есть степени. Можно увлечься такимъ великимъ произведеніемъ, въ которомъ не только форма, но и мысль принадлежитъ исключительно его автору. Такое подражаніе нельзя не назвать раболѣпнымъ. Но есть много великихъ произведеній искусства, выражающихъ душевную мысль цѣлаго общества. Эта мысль, какъ общее достояніе, можетъ такъ же сильно владѣть существомъ художника съ обыкновеннымъ талантомъ, какъ и существомъ великаго мастера. Если посредственный писатель примется выражать ее послѣ великаго, то можно почти навѣрное предсказать, что его произведеніе будетъ отзываться подражаніемъ. Но мы не думаемъ, чтобы такое подражаніе можно было назвать раболѣпнымъ, если господствующая въ немъ мысль сознана авторомъ самостоятельно, и если одна только форма отлита имъ подъ вліяніемъ чужого труда. Наконецъ, и самая форма можетъ быть оригинальнымъ созданіемъ, только далеко отстоящимъ въ художественности отъ формы, созданной великимъ талантомъ. Въ такомъ случаѣ это будетъ даже и вовсе не подражаніе. Да и въ первыхъ двухъ случаяхъ нельзя смотрѣть на подражательныя произведенія, какъ на созданія, совершенно чуждыя существу писателя; нельзя сказать, чтобы они нисколько не изливались изъ его духа; все-таки въ нихъ есть что-нибудь живое, хоть бы самый энтузіазмъ подражательности, восторженное сочувствіе великому образу. Разумѣется, подражаніе великому произведенію въ идеѣ и формѣ слишкомъ мало говоритъ въ пользу собственнаго содержанія подражателя, и съ перваго взгляда можно подумать, что болѣе нищей натуры и быть не можетъ на свѣтѣ. Но если вспомнить, что есть еще такія подражанія, въ которыхъ нѣтъ даже и того, что называется

...плѣнной мысли раздраженіе,

то нельзя не согласиться, что подраженіе духу и формѣ писателя еще не составляетъ послѣдней степени бездарности.

Байронъ и Вальтеръ Скоттъ имѣли подражателей всѣхъ исчисленныхъ категорій, потому что оба они были выраженіемъ потребности своего времени и оба были въ модѣ. Нельзя назвать подражательностью того, что увлекло вслѣдъ за ними нѣкоторыхъ даровитыхъ писателей: скорѣе же приписать это требованію времени, которое нашло себѣ въ разочарованіи Байрона и въ историческихъ картинахъ Вальтера Скотта полное удовлетвореніе. Что же было дѣлать писателямъ съ меньшими дарованіями, которые, однакожъ, также по развитію своему стояли наравнѣ съ общимъ духомъ эпохи? Дѣйствительно, приходилось или вто-

рять воплю Байрона, или броситься въ изображеніе среднихъ вѣковъ вслѣдъ за Вальтеромъ Скоттомъ. Движеніе это такъ естественно, что противъ него рѣшительно нечего сказать. Разумѣется, писателю съ обыкновеннымъ талантомъ писать на одну тему съ великимъ художникомъ—не расчетъ, точно такъ же, какъ не расчетъ было тепорамъ являться на той сценѣ, которую только что покидаетъ Рубини. Говорите сколько угодно, что судить талантовъ средней величины по сравненію съ талантами огромнаго размѣра—несправедливо. Однакожь, рассмотрите собственные сужденія, даже публично сдѣланные вами приговоры: вы увидите, что и въ нихъ нѣтъ другого основанія, какъ сравненіе меньшаго съ большимъ. Если бы вы слышали пѣніе Гуаско, никогда не слыхавъ Рубини, онъ былъ бы въ вашихъ глазахъ величайшимъ художникомъ; но, если вы слышали прежде того Рубини, вы употребите болѣе скромный эпитетъ, потому что нельзя же выбросить изъ головы того идеала художественнаго совершенства, который образовался у васъ подъ вліяніемъ наслажденія, доставленнаго вамъ величайшимъ изъ пѣвцовъ, какихъ только приводилось вамъ слышать. Точно то же и въ поэзіи: что намъ „Сенъ-Маръ“ Альфреда де Виньи или „Еврей“ Шпиндлера, если мы уже читали „Айвенго“ и „Кенильворта“! Пусть тотъ же Виньи и тотъ же Шпиндлеръ напишутъ что-нибудь такое, что не напоминаетъ никакого великаго образца, въ чемъ не замѣтно ни чьего покоряющаго вліянія, и пусть эти произведенія будутъ и послабѣе „Сенъ-Мара“ и „Еврея“,—они будутъ прочтены съ большимъ удовольствіемъ. Однимъ словомъ, сравненіе малаго съ великимъ губитъ впечатлѣніе малаго, потому что самое сужденіе о достоинствахъ предметовъ одного рода есть не что иное, какъ результатъ ихъ сравненія, и ничѣмъ инымъ быть не можетъ. Но, съ другой стороны, что же дѣлать писателю съ обыкновеннымъ дарованіемъ, попавшему на одинъ путь съ великимъ? Убѣдиться, что произведеніе его покажется слабымъ, даже слабѣе, чѣмъ оно въ самомъ дѣлѣ? Да какъ въ этомъ убѣдиться? Кто одержимъ мыслью и жаждой выразить эту мысль, тому непременно кажется, что произведеніе его будетъ прекрасно, какъ бы онъ ни былъ скромнѣе отъ природы. Къ тому же, нѣтъ ничего труднѣе, какъ замѣтить, что идешь по пути, которымъ шли уже другіе, особенно, если выведенъ изъ него прямою дорогой внутренняго влеченія. Но положимъ, писатель начнетъ принимать всѣ зависящія отъ него мѣры, чтобы не сойтись въ дѣятельности съ великимъ предшественникомъ; положимъ, что онъ начнетъ усиливаться своимъ свой оригинальный родъ изъ благоразумнаго опасенія быть побѣжденнымъ въ состязаніи съ исполиномъ. Что же изъ этого выйдетъ? Выйдутъ однѣ потуги и совершенныя неудачи.

Что же изъ всего этого слѣдуетъ? Одна вѣчно юная истина, именно—что никогда не должно насиловать своего таланта, если хочешь сдѣлать что-нибудь хорошее. Если голосъ природы вызвалъ насъ на дорогу, проложенную геніемъ, нечего дѣлать, пойдемъ въ рядахъ свѣтилъ малой величины, образующихъ со-

созвѣдіе; пройдемъ путь свой, облитые его лучами, увлекаемые его стройнымъ движеніемъ: лучше не будетъ, если искра, вообразивъ себя самостоятельнымъ солнцемъ, упорно отлетитъ въ сторону, чтобы погаснуть въ сырой атмосферѣ.

Вотъ почему, не признавая большихъ художественныхъ достоинствъ ни въ одномъ изъ западныхъ писателей, увлеченныхъ Вальтеромъ Скоттомъ на поприщѣ историческихъ романистовъ, мы не можемъ не отличить тѣхъ изъ нихъ, которыхъ произведенія одолжены своимъ существованіемъ духу времени, заключавшемуся въ тоскѣ прощанія съ прошедшимъ. Въ лицѣ этихъ писателей западъ припоминалъ свое прошедшее, какъ юноша, только что покинувшій на вѣки мѣсто своего рожденія и воспитанія, припоминаетъ тѣнистый садъ, густыя рощи и милыя черты первой любовницы, и всю эту бѣдную дѣйствительность, къ которой ему нельзя уже возвратиться, которая не можетъ болѣе удовлетворять его многожаждущей натуры, но которая представляетъ ему такъ много вѣрнаго, такъ много истиннаго, и познаннаго въ сравненіи съ открывшимся передъ нимъ новымъ міромъ, гдѣ все такъ призрачно, такъ шатко, такъ дико-незнакомо. Таковъ человекъ толпы вездѣ и всюду, что фактъ имѣетъ для него силу и прелесть неотразимую: пусть все существо его вопіетъ противъ этого факта, все, за исключеніемъ одной ничтожной струнки: онъ найдетъ время и случай прислушаться къ тихому плеску звуковъ, издаваемыхъ этою стрункой, прислушается и увлечется,—звуки начнутъ усиливаться и одолѣвать громъ другихъ струнъ, и упиваясь ихъ обаятельною гармоніей, отречется слабая душа отъ красоты мысли, восторгавшей ее тому назадъ двѣ минуты. Если бы Ломоносовъ не былъ геніальнымъ человекомъ, онъ не дошелъ бы изъ Холмогоръ до Москвы: первое живое воспоминаніе о родительскомъ очагѣ привело бы его назадъ въ рыбацью хижину. Въ этомъ первомъ, выдержанномъ имъ стремленіи къ свѣту гораздо больше силы и величія, чѣмъ во всѣхъ его одахъ и рѣчахъ, гораздо больше ума, чѣмъ во всѣхъ его открытіяхъ, и въ миллионъ разъ больше самостоятельности, чѣмъ въ его грамматикѣ, риторикѣ, исторіи и слогѣ. Весь западъ Европы въ началѣ девятнадцатаго столѣтія можно безъ малѣйшей вольности сравнить съ человекомъ, который вдругъ видитъ себя брошеннымъ силою быстрого внутренняго развитія и напоромъ внѣшнихъ обстоятельствъ изъ той колеи, которая до того вела его въ жизни, на перекрестокъ множества дорогъ, равно невѣрныхъ и застланныхъ густыми туманами. Не одна Франція представляла собою картину такой странной распутицы идей и стремленій. Филистерская Германія, съ своимъ пивомъ и съ своими умозрѣніями, съ своими совѣтниками и своимъ зостоемъ, эта окаменѣлость среднихъ вѣковъ, пробуждена была отъ летаргіи внутри—чисто-нѣмецкою по формѣ и чисто-французскою по сущности философіей Фихте, а извнѣ—нати-скомъ штыка Наполеонова гренадера. Англія, передавшая, въ шестнадцатомъ и семнадцатомъ столѣтіяхъ, своимъ заморскимъ сосѣдямъ начатки разрушительной философій восемнадцатаго вѣка въ видѣ логическихъ и психологическихъ трак-

татовъ Бэкона и Локка, получила ихъ обратно изъ-за Ламанна переработанными въ творенія энциклопедистовъ, которыхъ каждая строка приводила въ восторгъ молодежь всѣхъ партій. Французское движеніе сообщилося даже на сѣверъ. Швеція, долго отрѣзанная отъ Европы своимъ домоѣдствомъ и фамилизмомъ, дозвола на престолъ Густава-Адольфа, маршала Французской имперіи. Даже Шотландія, гдѣ за сто лѣтъ до Вальтера Скотта еще существовала вражда горъ и долинъ, и кланъ не утратилъ еще своего значенія, уже въ половинѣ восемнадцатаго столѣтія увидѣла въ столицѣ своей ученый кружокъ, помѣшанный на Вальтерѣ и заправлявшій идеями молодого поколѣнія. Судите жъ послѣ этого, сколько новыхъ потребностей должно было проснуться во всѣхъ этихъ обществахъ передъ эпохой реставраціи и во время этой эпохи, и въ какую жаркую борьбу должны были вступить эти потребности съ безчисленнымъ сонмомъ встревоженныхъ ими преданій! Вмѣстѣ съ тѣмъ ясно, что обращеніе литературы къ среднимъ вѣкамъ въ это время было однимъ изъ самыхъ понятныхъ психологическихъ фактовъ огромнаго размѣра, и что историческіе романы, наполнившіе въ двадцатыхъ годахъ западную литературу, имѣли своимъ источникомъ не одну подражательность, но и общую потребность времени.

Но какое же значеніе припишите вы русскимъ историческимъ романамъ, которые также явились, вслѣдъ за романами Вальтера Скотта, и которыхъ родоначальникомъ былъ „Юрій Милославскій“?

Начнемъ съ того, были ли они выраженіемъ и удовлетвореніемъ потребности русскаго общества двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. Вообще, потребность оглянуться назадъ, въ свое прошлое, въ развивающемся обществѣ можетъ возникнуть или вслѣдствіе слишкомъ огромныхъ успѣховъ развитія, порождающихъ временное утомленіе духа, или вслѣдствіе косности, несклонности къ развитію. Первое и видимъ мы на западѣ въ ту эпоху, о которой идетъ рѣчь. Въ Россіи же замѣчается явленіе совершенно противоположное. Никогда еще, со временъ Екатерины, русское общество не было такъ вдохновлено стремленіемъ къ цивилизаціи, какъ въ это время, и никогда съ такою жадностью не рвалось оно къ усвоенію европейскихъ идей. Лучше всего доказывается успѣхомъ „Московского Телеграфа“, который весь былъ выраженіемъ свѣжаго и энергичнаго порыва юнаго народа стать во что бы то ни стало наравнѣ съ народами зрѣлыми по успѣхамъ мысли и по исторической судьбѣ своей. И вообще въ литературныхъ произведеніяхъ поколѣнія, вышедшаго въ то время на поприще, кидается въ глаза удивительная бодрость и заносчивость, два элемента, совершенно несовмѣстные съ нравственнымъ утомленіемъ. Правда, вы найдете въ нихъ много байронизма; но что же можетъ быть наивнѣе, свѣжѣе и кичливѣе тогдашняго разочарованія? Это былъ просто веселый маскарадъ или потѣха ребенка, щеголяющаго въ отцовскомъ фракѣ. Западъ четыре вѣка бился изъ того, чтобы разрушить все, что накопилось въ мірѣ зла въ теченіе тысячелѣтій, и наконецъ, утомившись борь-

бою, а главное—не зная еще чѣмъ замѣнить разрушенное, впалъ въ разочарованіе, въ байронизмъ. Вотъ и мы, ученики его, чтобы не казаться моложе и неопытнѣе учителя, принялись также за разочарованіе, стали побранивать жизнь, которая на самомъ дѣлѣ очень намъ нравилась, посмѣиваться надъ чувствами, въ которыхъ, собственно говоря, не находили ничего смѣшного, забрасывать скептическія фразы на счетъ возвышенности нѣкоторыхъ стремленій, которую, говоря по правдѣ, въ глубинѣ души не только признавали въполнѣ, но даже, можетъ быть, и черезчуръ. Однимъ словомъ, намъ было такъ весело съ нашимъ разочарованіемъ, какъ можетъ быть еще развѣ только вновь произведенному въ корнеты юнкеру гусарскаго полка на уѣздномъ балѣ. среди полсотни восторженныхъ дѣвъ, млѣющихъ отъ созерцанія его блестящаго ментика и тщательно обработанныхъ усовъ. Можно дорого дать за одинъ день такого разочарованія! Всегда лучше обнаруживало оно свой маскарадный характеръ въ ученыхъ, критическихъ и полемическихъ статьяхъ того бойкаго времени. Просмотрите всѣ эти „Взгляды“, эти „Нѣчто“, эти „Нѣсколько словъ“, эти „Обзоры“, наполнявшіе журналы того времени. Читаете ли, напримѣръ, „Взглядъ на успѣхи философіи въ Германіи“,—это восторженный диѳирамбъ Шеллингу и рѣшительная анафема всякому, кто осмѣлится усумниться хоть на волосъ въ малѣйшей чертѣ его доктрины; выслушиваете ли „Нѣсколько словъ о классицизмѣ и романтизмѣ въ поэзіи“,—гудъ каждой фразѣ Шлегеля радуются больше, чѣмъ водевильный бѣднякъ радуется пріѣзду милліонщика-дяди изъ Америки, а классиковъ выставляютъ на позоръ цѣлому міру, какъ закоснѣлыхъ злодѣевъ и заклятыхъ враговъ человечества. Вотъ вамъ „Нѣсколько словъ объ изученіи исторіи“: слышите, съ какимъ бѣшенствомъ прозелитскаго восторга объявляется здѣсь за новость, что фактъ безъ идеи ничего не значитъ, и какимъ срамнымъ срамомъ покрываетъ идеалисты почтенныя лысины приверженцевъ фактическаго изученія! „О, моя юность! о, моя свѣжесть!“ воскликните вы, растроганный читатель, вмѣстѣ съ поэтомъ нашего времени.

Спрашивается: какимъ же образомъ въ этомъ молодомъ обществѣ, казавшемся избыткомъ силъ, могла возникнуть потребность оглянуться въ прошлое, когда весь цвѣтъ его, слившись въ одинъ восторженный порывъ къ развитію, рвался изъ всѣхъ силъ въ обѣтованную землю просвѣщенія, которая раскидывалась передъ его жаднымъ взоромъ цвѣтущими коврами поколѣнныхъ травъ и стройными купами деревьевъ, отягченныхъ плодами? Нечего больше и толковать. какое тутъ утомленіе или раздумье, или пресыщеніе. Тутъ бойкость, пыль, аппетитъ, однимъ словомъ,—тутъ „наша юность, наша свѣжесть“, наша гордость, наше упоеніе. Ищите другого объясненія любопытнаго факта,—только само собою разумѣется, нечего и думать искать его въ косности, въ несклонности къ развитію: противъ такого толкованія вопіютъ тѣ же факты, которые мы сейчасъ привели. Но—скажете вы—въ такомъ случаѣ нечего искать и гармоніи между

потребностями русскаго общества двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ и появленіемъ „Юрія Милославскаго“ съ послѣдствіями. И мы совершенно того же мнѣнія, если только согласиться въ томъ, какъ понимать выраженіе „потребность общества“. Мы, съ своей стороны, разумѣемъ здѣсь подъ словомъ „общество“ его живую, движущуюся, дѣйствующую половину, ту, которая называется обыкновенно „молодымъ поколѣніемъ“. Къ другой половинѣ принадлежатъ люди, чьихъ потребности въ свое время также знаменовали движенія общественнаго развитія, но чьихъ нельзя удовлетворить подъ старость ничѣмъ, какъ развѣ начать подаваться назадъ, отступая къ тому *золотому* времени, когда они сами шли во главѣ успѣховъ общества. Поэтому, если мы говоримъ, что историческіе романы въ западной Европѣ удовлетворяли потребностямъ общества двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, то говоримъ не иначе, какъ разумѣя подъ этимъ успѣхъ Вальтера Скотта и его послѣдователей у молодого поколѣнія той эпохи. Точно также, говоря, что успѣхъ романовъ Загоскина въ Россіи не объясняется никакимъ отношеніемъ ихъ къ потребностямъ тогдашняго русскаго общества, мы рѣшительно не принимаемъ при этомъ въ соображеніе, что они могли попасть на тайныя и явныя мысли пожилыхъ людей того времени, смотрѣвшихъ непріязненно на порывы молодого поколѣнія къ усвоенію западной цивилизаціи и убѣжденных въ томъ, что Россія давно уже достигла апогея своего развитія, а что отъ *излишняго просвѣщенія* у молодыхъ людей умъ за разумъ заходитъ. Эти люди были, есть и будутъ отъ перваго размноженія рода человѣческаго до страшнаго суда; вѣчно будутъ они считать себя единицами земнаго населенія и смотрѣть на потребности живой и движущейся половины общества, какъ на „пустыя воображенія“ (выражаясь языкомъ одного изъ отжившихъ поколѣній). Это—одинъ изъ тѣхъ необходимыхъ законовъ человѣческой натуры и условій общественнаго развитія, съ которымъ давно пора помириться, потому что экономія природы не въ силахъ измѣнить человѣчeskій разумъ и чиновническая воля. Слѣдовательно, если бы романы, о которыхъ теперь идетъ рѣчь и удовлетворяли въ минуту своего появленія потребностямъ тогдашнихъ отсталыхъ людей, то это обстоятельство опять-таки доказывало бы только то, что они противорѣчили настоящимъ, живымъ потребностямъ читателей того времени. Но вотъ что важно: нельзя сказать, чтобы романы эти не имѣли успѣха у молодого поколѣнія двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. Мало того, они породили даже множество подражаній. Не опровергаетъ ли это всего, что сказано нами до сихъ поръ? Нисколько. Романы Загоскина и иныхъ пользовались у насъ такимъ же успѣхомъ, какъ и всѣ произведенія нашей подражательной литературы отъ мадригаловъ Третьяковскаго до „Петербургскихъ Тайнъ“ г. Ковалевскаго. Не первый разъ прійдется повторить здѣсь, что въ этомъ отношеніи литература наша представляетъ странное явленіе, не чуждое, впрочемъ, и литературамъ многихъ другихъ народовъ. У насъ всегда имѣли огромный успѣхъ тѣ сочиненія, которыя они



назвать сколкомъ съ произведеній западныхъ писателей, или лучше сказать, въ Россіи, со второй половины восемнадцатаго столѣтія, всегда были въ модѣ тѣ роды литературы, которые господствовали въ Франціи. Дошло дѣло до историческихъ романовъ; успѣхъ Вальтера Скотта во Франціи тотчасъ же сдѣлался успѣхомъ его въ Петербургѣ, въ Москвѣ, въ Костромѣ, въ Иркутскѣ. Вслѣдствіе этого и успѣхъ русскихъ подражаній сдѣлался несомнѣннымъ: „Юрій Милославскій“ пережилъ много изданій. Сверхъ того, нельзя не сознаться, что въ этомъ случаѣ много помогъ русскимъ подражателямъ Вальтера Скотта и сказочный интересъ, талисманъ, который едва ли когда-нибудь потеряетъ свою силу для большинства читателей. Если скучновато ему было читать какія-нибудь подражанія французскимъ классическимъ трагедіямъ, то этого никакъ нельзя предположить о чтеніи самыхъ противоположныхъ романовъ, удовлетворяющихъ требованію сказочной занимательности. Пусть романъ невѣренъ ни эпохѣ, ни обществу, ни характерамъ выведенныхъ въ немъ лицъ; да вѣдь все же въ немъ есть какая-нибудь завязка, можетъ быть, еще очень запутанная, есть какія-нибудь неожиданныя событія, выводящія дѣйствующихъ лицъ изъ самыхъ затруднительныхъ положеній, можетъ быть, даже и въ такомъ количествѣ, какого трудно и вообразить въ дѣйствительности есть, наконецъ, и лица, творящія неимовѣрные подвиги ловкости, силы и догадливости; а если есть, такъ почему же роману и не имѣть успѣха у благосклоннаго большинства читателей, отчего не имѣть ему и множества изданій? Вѣдь и въ наше время чѣмъ объяснить колоссальный успѣхъ и капиталъ г. Дюма, какъ не такими же достоинствами?

Обратимся же теперь къ самымъ сочиненіямъ г. Загоскина и къ результатамъ его трудовъ на поприщѣ историческаго романиста.

Написать романъ изъ русской исторіи несравненно труднѣе, чѣмъ изъ исторіи западной Европы. На то есть разныя причины.

Не то, чтобы мы раздѣляли господствующее мнѣніе о бѣдности памятниковъ нашей старины. Наблюдательный умъ можетъ извлечь множество характеристическихъ чертъ даже изъ сухихъ монашескихъ лѣтописей, не говоря уже о народныхъ пѣсняхъ и сказкахъ, о юридическихъ актахъ, о сочиненіи Котошихина, о сказаніяхъ иностранцевъ и проч. Дѣло въ томъ, что черты эти крайне однообразны, такъ однообразны, что нѣтъ никакой возможности изученіемъ памятниковъ дойти до уразумѣнія историческаго развитія нашего древняго быта. Напротивъ, все приводитъ къ заключенію, что быть этотъ почти не измѣнялся въ теченіе многихъ вѣковъ. Въ наше время однообразіе это начинаетъ объясняться новѣйшими изслѣдованіями основныхъ стихій древняго русскаго быта, которыя приводятся всѣ къ одному, къ господству патріархальности. Гдѣ человѣкъ поглощенъ своею обстановкой, тамъ не можетъ быть никакого внутренняго разнообразія явленій частной жизни, тамъ все должно быть неподвижно. Другое слѣдствіе патріархальности—замкнутость раздражающагося общества въ самомъ



себѣ и удорное сопротивленіе внѣшнимъ вліяніямъ. Классическимъ примѣромъ этого служатъ Китай и всѣ государства средней Азіи. Изъ европейскихъ народовъ въ этомъ отношеніи можно указать на шотландцевъ. Сюда принадлежатъ и русскіе допетровской эпохи. Считая всякій иноземный элементъ ересью, они были вѣрными своей однообразной дикости вплоть до семнадцатаго столѣтія. Такимъ образомъ, романисту нѣтъ почти никакой возможности подмѣтить тѣ черты нашего стариннаго быта, которыя могли бы отличить одинъ вѣкъ отъ другого и представить фیزیономію каждаго: передъ нимъ постоянно все одна и та же картина, переходящая изъ одной рамки въ другую.

Другое затрудненіе—недостатокъ драматизма въ этой монотонной жизни, полагавшей преграды всякому развитію личности. Мы не считаемъ этого затрудненія непреодолимымъ для генія: мало ли въ какихъ тѣсныхъ сферахъ великій художникъ находитъ драму, какой не создать обыкновенному таланту и изъ самыхъ роскошныхъ матеріаловъ! Вспомните жизнь въ крѣпости Оренбургской губерніи, одраматизированную Пушкинымъ, или помѣстье Аѳанасія Ивановича и Пульхеріи Ивановны, которое такъ часто у насъ на языкѣ; и сравните эти міры съ сотнями романовъ изъ временъ Людовика XV: подумаешь, что въ русскомъ захолустѣ больше движенія и разнообразія, чѣмъ во французскомъ обществѣ восемнадцатаго столѣтія. Вотъ что отнимаетъ въ нашихъ глазахъ всякую цѣну у того миѣнія, будто бы изъ древней русской жизни нѣтъ никакой возможности создать драму. Гдѣ жизнь, тамъ и поэзія; гдѣ человѣческія отношенія, тамъ и драма; а матеріалы драмы—тѣ же, что и матеріалы романа. Несомнѣнно только то, что для открытія ихъ въ тѣсномъ кругу какого-нибудь патриархальнаго затишья нуженъ талантъ, по крайней мѣрѣ, равный таланту Вальтера Скотта.

Итакъ, признавая всю трудность созданія русскаго романа со стороны монотонности и духоты нашего древняго быта, мы не считаемъ нужнымъ противопоставлять этимъ чертамъ разнообразіе и разгулъ жизни въ западной Европѣ среднихъ вѣковъ; изученіе литературы слишкомъ сильно убѣждаетъ всякаго, что для великаго художника нѣтъ жизни слишкомъ бѣдной разнообразіемъ и движеніемъ, а для бездарности нѣтъ ни того, ни другого въ самомъ счастливо обставленномъ и развитомъ обществѣ. Къ такимъ же заключеніямъ приводятъ насъ размышленія о томъ, какими глазами можетъ смотрѣть романистъ девятнадцатаго столѣтія на нашу допетровскую жизнь. Нашъ древній бытъ такъ діаметрально противоположенъ современному, что нѣтъ ничего труднѣе, какъ сохранить при изображеніи его безпристрастный тонъ, составляющій необходимое условіе художественнаго произведенія. Безпристрастіе Вальтеръ-Скоттовыхъ изображеній мы уже старались объяснить огромностью его художественнаго таланта: она удержала его отъ пристрастнаго изображенія общества, въ которомъ видѣлъ онъ идеалъ совершенства. Не того ли же самого требуетъ и безпристрастное изображеніе древняго русскаго общества, съ тою только разницей, что образованный ром-

вистъ девятнадцатаго столѣтія долженъ будетъ парализировать свое негодование точно такъ же, какъ Вальтеръ Скоттъ парализировалъ свой энтузіазмъ. Но за примѣрами такой трудности ходить недалеко. Нѣтъ даже нужды указывать на наши историческіе романы. Въ необразованныхъ слояхъ нашего общества еще жива и цѣла наша старина: вы можете видѣть ее, какъ на ладони, въ „Мертвыхъ Душахъ“. Но отчего же такъ блѣдны, такъ ничтожны, такъ недолговѣчны всѣ „нравственно-сатирическіе“ романы и повѣсти, выходившіе у насъ въ изрядномъ количествѣ въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ? Отчего? Оттого, что большая часть ихъ авторовъ были или вовсе не-художники, или люди съ самыми слабыми художественными дарованіями: изображеніе дѣйствительности имъ не давалось, ихъ лица выходили куклами, ихъ рассказъ впадалъ или въ каррикатуру, или въ сентиментальность, а главное—въ резонерство и поученіе. Можно себѣ представить, какъ должны были бы усилиться всѣ эти недостатки, если бы тѣ же писатели принялись писать романы и повѣсти изъ русскаго быта допетровской эпохи. Впрочемъ, разсуждая отвлеченнымъ образомъ и не имѣя передъ глазами живого образчика старинныхъ нравовъ, не такъ-то легко согласиться съ нашимъ мнѣніемъ. Что тутъ труднаго? скажете вы, пожалуй,—отчего, кажется, не сладить съ своими пристрастіями, для чего непременно увлекаться? Чтобы разувѣрить васъ въ легкости этого дѣла, мы представимъ образчикъ русскихъ нравовъ за сто лѣтъ до нашего времени, нравовъ, уже претерпѣвшихъ значительное смягченіе отъ Петровой реформы. Въ № 2 „Москвитянина“ за 1845 годъ былъ напечатанъ слѣдующій рапортъ Тредіаковскаго въ Академію Наукъ, поданный имъ въ 1740 году:

„Сего 1740 года февраля 4 дня, то-есть въ понедѣльникъ въ вечеру, въ шесть или семь часовъ, пришелъ ко мнѣ, нижепоименованному, господинъ кадетъ Криницынъ и объявилъ мнѣ, чтобъ я шелъ немедленно въ кабинетъ ея императорскаго величества. Сіе объявленіе хотя меня привело въ великой страхъ, толь наипаче, что время было уже позднее, однако я ему отвѣтствовалъ, что тотчасъ пойду. Тогда, подпоясавъ шпагу и надѣвъ шубу, пошелъ съ нимъ тотчасъ, нимало не отговариваясь, а сѣвъ съ нимъ на извозника, поѣхалъ въ великомъ трепетаніи; но видя, что помянутой г. кадетъ не въ кабинетъ меня везъ, то началъ его спрашивать учтивымъ образомъ, чтобъ онъ мнѣ пожаловалъ объявилъ, куда онъ меня везетъ; на что мнѣ отвѣтствовалъ, что онъ меня везетъ не въ кабинетъ, но на слоновой дворъ, и то по приказу его превосходительства кабинетнаго министра Артемія Петровича Волинскаго, а за чѣмъ, сказалъ, что не знаетъ. Я, услышавъ сіе, обрадовался и говорилъ упомянутому г. кадету, что онъ худо со мною поступилъ, говоря мнѣ, будто надобно мнѣ было идти въ кабинетъ, а притомъ называлъ его еще мальчикомъ и такимъ, который мало въ людяхъ бывалъ, а то для того, что онъ такимъ объявленіемъ можетъ человѣка звкорѣ жизни лишить или, по крайней мѣрѣ, въ безпамятствіе привести для того,

что—говорилъ я ему—кабинетъ дѣло великое и важное, о чемъ онъ у меня изъ прощенія просилъ, однакожь сердился на то, что я его называлъ мальчикомъ, и грозилъ пожаловаться на меня его превосходительству А. П. Волынскому, чѣмъ я ему и самъ грозилъ; но когда мы прибыли на слоновый дворъ, то помянутой г. кадетъ пошелъ напередъ, а я за нимъ въ оную камеру, гдѣ маскарадъ обучался,—куда вшедъ, постоявъ мало, началъ я жаловаться его превосходительству на помянутаго г. кадета, что онъ меня взялъ изъ дому такимъ образомъ, которой меня въ великой страхъ и трепетъ привелъ; но его превосходительство, не выслушавъ моей жалобы, началъ меня бить самъ предъ всѣми толь немилостиво по обѣимъ щекамъ, а притомъ всячески браня, что правое ухо мое оглушилъ, а лѣвой глазъ подбилъ, что онъ изволилъ чинить въ три или четыре приѣма. Сіе видя, помянутой г. кадетъ ободрился и сталъ притомъ на меня жаловаться его превосходительству, что его будто дорогою бранилъ и поносилъ. Тогда его превосходительство повелѣлъ и одному кадету бить меня по обѣимъ же щекамъ публично; потомъ, съ часъ времени спустя, его превосходительство приказалъ мнѣ спроситься, зачѣмъ я призванъ, у господина архитектора и полковника Петра Михайловича Еропкина, которой мнѣ и далъ на письмѣ самую краткую матерію, изъ которой должно мнѣ было сочинить приличные стихи къ маскараду. Съ симъ и отправился въ домъ мой, куда пришедъ, сочинилъ оныя стихи и, размышляя о моемъ напрасномъ безчестіи и увѣчьѣ, разсудилъ по утру, избравъ время, пасть въ ноги его высокогерцогской свѣтлости и пожаловаться на его превосходительство. Съ симъ намѣреніемъ пришелъ я въ покои къ его высокогерцогскія свѣтлости по утру и ожидалъ времени припасть къ его ногамъ. Но по несчастію, туда пришедъ скоро и его превосходительство А. П. Волынскій, а увидѣвъ меня, спросилъ съ бранью: зачѣмъ я здѣсь; я ничего не отвѣтствовалъ, а онъ, бивъ меня тутъ еще по щекамъ, вытолкалъ въ шею и отдалъ въ руки ѣздовому сержанту, повелѣлъ меня отвести въ комиссію и отдать меня подъ караулъ, что такимъ образомъ и учинено“.

Далѣе, Тредіаковскій доноситъ въ своемъ рапортѣ, что прежде, чѣмъ выпустить его изъ-подъ караула, Волынскій три раза отдавалъ приказаніе бить его палками: переводчикъ „Тилемахиды“ получилъ, такимъ образомъ, еще, по приблизительному исчисленію, сдѣланному имъ самимъ, сто-десять ударовъ палкой. Спрашиваемъ: какая сила объективнаго созерцанія должна быть удѣломъ того писателя, который изобразилъ бы безпристрастно общество, допускавшее явленія, подобныя подвигамъ его превосходительства А. П. Волынскаго? Однакожь, все-таки изъ этого не слѣдуетъ, чтобы такой писатель не могъ у насъ явиться.

Вотъ наше мнѣніе о возможности русскаго историческаго романа. Все сказанное нами объ этомъ предметѣ приводится къ одному положенію: для созданія

его необходимъ талантъ огромной величины. Разборъ „Юрія Милославскаго“ можетъ служить подтвержденіемъ этого мнѣнія.

Что жъ за идея въ 1847 году разбирать „Юрія Милославскаго“? Кто его не знаетъ? Кому нужно съ нимъ познакомиться?

Милостивые государи! Если вамъ лѣтъ сорокъ отъ роду, вы читали его лѣтъ пятнадцать назадъ; если же вы значительно моложе, то при чтеніи его вамъ могло бы быть лѣтъ пятнадцать. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ нѣтъ никакого сомнѣнія, что идеи ваши о достоинствахъ литературныхъ произведеній существенно измѣнились. Приступая къ написанію этой статьи, мы было думали избавить себя отъ труда перечитывать „Юрія Милославскаго“, надѣясь составить себѣ о немъ полное понятіе по памяти. Но соображеніе, которое сейчасъ здѣсь приведено, заставило насъ преодолѣть чувства, неизбѣжныя при перечитываніи такого произведенія, какъ „Русскіе въ 1612 году“. Мы перечитали его и не раскаялись; дѣйствительно, это ужъ не тотъ романъ, который читали мы когда-то въ первый разъ. Ахъ, какой это былъ тогда прекрасный романъ! Сколько онъ возбуждалъ въ насъ сучувствія! Какимъ великимъ писателемъ казался намъ г. Загоскинъ!... Знаете ли что? Онъ былъ въ глазахъ нашихъ ничѣмъ не хуже Вальтера Скотта... Но вотъ мы перечитали „Юрія Милославскаго“ въ седьмомъ изданіи и рѣшительно не узнали своего любимаго литературнаго произведенія. Вотъ что мы нашли въ немъ:

Герой романа, бояринъ Юрій Милославскій—храбрый, умный, благочестивый, доблестный юноша—ѣдетъ въ трескуій морозъ съ вѣрнымъ своимъ холопомъ Алексѣемъ изъ Москвы въ помѣстье боярина Шалонскаго съ грамотой отъ гетмана Гонсѣвскаго. Дорогой онъ спасаетъ жизнь запорожскому казаку Киришѣ. Сердце грубаго казака исполнилось такой благодарности, что онъ поставилъ себѣ за правило ничего не дѣлать въ продолженіе романа, какъ оказывать услуги Юрію, выручая его изъ всякаго рода непріятностей. Вы увидите, что онъ сдержалъ данное себѣ обѣщаніе, какъ нельзя лучше.

Всѣ трое пріѣзжаютъ на постоянный дворъ. Кириша начинаетъ отличаться. Въ избѣ было много народу, и всѣ проѣзжіе собирались въ ней ночевать. Казакъ увѣрилъ всѣхъ, что между ними есть разбойникъ; всѣ и разѣхались съ испуга, и въ избѣ стало просторно. Тогда началъ отличаться самъ герой романа, благодущный бояринъ Юрій. Пріѣзжаетъ трусишка полякъ, панъ Копычинскій, важничаетъ, высылаетъ всѣхъ постояльцевъ вонъ изъ избы и вдобавокъ начинаетъ ѣсть чужого жаренаго гуся. Юрій слѣзаетъ съ полатей, гдѣ почивалъ до пріѣзда поляка, подходитъ къ Копычинскому, прижимаетъ его стволонъ къ стѣнѣ и заставляетъ его съѣсть все жаркое. Панъ потѣетъ, давится, молить о прощеніи, но Юрій остается непреклоннымъ; употчивавъ полячишку гусемъ, онъ хотѣлъ было продолжать его истязаніе, но за несчастнаго вступился Кириша.

Бояринъ, наконецъ, взмиловался. Читатели, вы помните эту сцену?... Она вамъ очень понравилась.

На другой день Юрія чуть было не убили поляки, подозрѣвавшіе, что онъ ѣдетъ съ казной въ Нижній. Но Кирша предупредилъ его и спасъ, при чемъ и самъ избавился отъ смерти чудеснымъ образомъ или, лучше сказать, съ безпримѣрною ловкостью, достойною Пинетти и Андерсона. Освободившись отъ преслѣдованія поляковъ, Юрій велъ съ своимъ Алексѣемъ интересный разговоръ. Любопытно узнать, какой цивилизованный образъ мыслей былъ у русскихъ бояръ въ началѣ семнадцатаго столѣтія, и какимъ великолѣпнымъ карамзинскимъ языкомъ выражались они двѣсти-тридцать лѣтъ тому назадъ.

„Вездѣ есть добрые люди, Алексѣй“.

„Да ты, пожалуй, бояринъ, и поляковъ насываешь добрыми людьми“.

„Конечно, я знаю многихъ, на которыхъ хотѣлъ бы походить“.

„И такъ же, какъ они, гнаться за проѣзжими, чтобъ ихъ ограбить?“.

„Шайка русскихъ разбойниковъ или толпа польской лагерной челяди ничего не доказываетъ. Нѣтъ, Алексѣй, я уважаю храбрыхъ и благородныхъ поляковъ. Придетъ время, вспомнятъ и они, что въ жилахъ течетъ кровь нашихъ предковъ славянъ, быть можетъ, внуки наши обнимутъ поляковъ, какъ родныхъ братьевъ, и два сильнѣйшія поколѣнія древнихъ владыкъ всего сѣвера сольются въ одинъ великій непобѣдимый народъ!“ (Юрій Милославскій, изданіе 7-е, стр. 76).

Изъ этого же разговора узнаемъ достоверно, что романтизмъ былъ очень силенъ въ Россіи у молодыхъ людей эпохи междупарствія. Юрій страстно влюбленъ въ неизвѣстную дѣвицу, которую видалъ въ Москвѣ въ церкви Спаса на Бору, и съ которою никогда не перемолвилъ слова.

Наконецъ, благородный путешественникъ пріѣзжаетъ къ боярину Кручинѣ Шалонскому. Бояринъ этотъ—закоснѣлый злодѣй, предводитель разбойничьей шайки и, вдобавокъ, другъ поляковъ. Онъ принадлежитъ къ партіи, хотѣвшей возвести на русскій престолъ Польскаго короля Сигизмунда, мимо сына его Владислава, которому уже присягнула Россія. На пиру Кручина предлагалъ Юрію пить за здоровье Сигизмунда; но Юрій цѣловалъ крестъ Владиславу и потому не соглашался пить за здоровье другого дара. Шалонскій хотѣлъ заставить его пить насильно; дѣло кончилось бы худо, если бы Кручину не уговорилъ гость его, панъ Тишкевичъ. Однакожъ, Кручина, какъ увидите, не забылъ поступка Юрія.

Между тѣмъ Кирша творитъ чудо за чудомъ: трудно даже рѣшить, кто настоящій герой романа—Юрій Милославскій или этотъ непостижимый казакъ. Кирша также очутился въ помѣстьѣ боярина Кручины и прослылъ тамъ чудесникомъ большой руки. Слава о его подвигахъ достигла боярскихъ хоромъ: нянюшка дочери Шалонскаго Анастасіи довела до свѣдѣнія боярина, что Кирша беретъ лѣчить всякія болѣзни; Анастасія же, узнавъ, что отецъ имѣетъ намъ

реніе выдать ее замужъ за Гонсѣвскаго, давно слегла въ постель и не поправлялась ни отъ какихъ снадобій. Между тѣмъ Киршѣ удалось узнать, что Анастасія—именно та самая дѣвица, которую такъ любитъ романтическій Юрій, и что она также любитъ Юрія. Чего же лучше? Онъ приходитъ въ свѣтлицу боярышни въ качествѣ знахаря и, удаливъ няньку и дѣвушекъ, рассказываетъ ей о любви Юрія и обнадеживаетъ ее, что браку ея съ Гонсѣвскимъ не бывать, а что, напротивъ, за Юрія она непременно выйдетъ за мужъ. Анастасія тотчасъ и выздоровѣла. Потомъ Кирша узнаетъ, что Шалонскій отдалъ своей челяди приказаніе схватить Милославскаго, когда тотъ выѣдетъ изъ его помѣстья. Нечего и говорить, что казакъ опять спасъ героя романа.

Юрій почему бы то ни было попадаетъ въ Нижній-Новгородъ, гдѣ Минихъ призывалъ народъ къ освобожденію отечества отъ поляковъ. Юрію удалось попасть на одну изъ сценъ, разыгравшихся по этому случаю на площади, и выслушать слѣдующую рѣчь нижегородскаго мѣщанина: „Граждане нижегородскіе! Кто изъ васъ не вѣдаетъ всѣхъ бѣдствій царства Русскаго?.. Мы всѣ видимъ его гибель и разореніе, а помощи и очищенія ни откуда не чаемъ. Доколѣ злодѣямъ и супостатамъ напоятъ землю Русскую кровію нашихъ братьевъ? Доколѣ (*quo usque tandem, Catilina, patientia postra abutere?*) православнымъ стонать подъ позорнымъ ярмомъ иновѣрцевъ? Отвѣтствуйте, граждане нижегородскіе! Потерпимъ-ли мы, чтобъ царствующій градъ повиновался воеводѣ иноплеменному? Предадимъ ли на поруганіе пречистый образъ Владимірскія Божія Матери и честныя, многоцѣлебныя мощи Петра, Алексія, Іоны и всѣхъ московскихъ чудотворцевъ? Покинемъ ли въ рукахъ иновѣрцевъ сиротствующую Москву? Отвѣтствуйте, граждане нижегородскіе!“ (ч. II, стр. 69—70). Вотъ какъ выражались нижегородскіе мѣщане слишкомъ за двѣсти лѣтъ до появленія „Исторіи Карамзина!

Милославскій въ отчаянномъ положеніи: Россія ополчается на поляковъ, а онъ присягалъ на вѣрность Владиславу! Ему не остается ничего дѣлать, какъ идти въ монахи, и съ этой цѣлью онъ отправляется въ Троицко-Сергіевскую лавру. Дорогой его схватываетъ бояринъ Шалонскій и сажаетъ въ темное подземелье своего разбойничьяго притона, находившагося въ самой чащѣ Муромскаго лѣса. Четыре мѣсяца Юрій томится въ заточеніи,—завязка романа дѣлается нестерпимо интересною для любопытнаго читателя, и опытный взоръ его невольно обращается съ надеждой къ Киршѣ. Въ самомъ дѣлѣ, Кирша, достигшій въ эти четыре мѣсяца званія казацкаго есаула, узнаетъ объ участи Юрія и, *comme de raison*, освобождаетъ его изъ тюрьмы. Милославскій пріѣзжаетъ въ лавру, но Авраамій Палицынъ не допускаетъ его вступить во цвѣтъ лѣтъ въ монашество и благословляетъ на войну, съ тѣмъ, чтобы возвратиться въ обитель по изгнаніи поляковъ изъ Россіи.



Теперь уже не много осталось досказывать. Бояринъ Шалонскій съ дочерью, какъ измѣнникъ отечества, попался въ руки шишей, русскихъ гверильсовъ эпохи междуцарствія, находившихся, по свидѣтельству нѣкоторыхъ лѣтописцевъ, подъ предводительствомъ священника Еремѣя. Злодѣй Кручина умеръ на рукахъ юродиваго Мити, который тоже говорилъ иногда языкомъ изумительно книжнымъ для русскаго простолюдина семнадцатаго столѣтія, и умеръ раскаявшись въ грѣхахъ. Тутъ является и Юрій. Чтобъ спасти Анастасію, которую шиши хотѣли умертвить, какъ дочь измѣнника, Милославскій вѣнчается съ нею, несмотря на обѣтъ, данный имъ Авраамію Палицыну. Затѣмъ слѣдуетъ довольно длинное и чисто-карамзинское описаніе освобожденія Москвы отъ поляковъ. Авраамій Палицынъ освободилъ Юрія отъ иноческаго обѣта. „Безумный!“ вскричалъ онъ (Юрій), наконецъ,—„и я смѣлъ роптать на промыслъ Божій!.. Я могу назвать Анастасію моею супругою, могу, не отягчая преступленіемъ моею совѣсти, прижать ее къ своему сердцу“... „Да, бояринъ! Пусть добродѣтельная супруга будетъ наградою за труды, понесенные тобою для отечества!“ (ч. III, стр. 162).

Ужъ не передѣланъ ли „Юрій Милославскій“ въ этомъ седьмомъ изданіи? Не вздумалъ ли авторъ его изъ историческаго романа, за который, семнадцать лѣтъ назадъ, произвели его въ Русскіе Вальтеръ-Скотты, сдѣлать сказку изъ произвольно взятаго времени для удовольствія публики, восхищающейся въ наше время произведеніями французскихъ беллетристовъ второй руки въ русскихъ переводахъ? Нѣтъ, изданіе напечатано безъ всякихъ перемѣнъ; мы это знаемъ на-вѣрное, и потому не будемъ разсуждать о вліяніи историческихъ романовъ г. Загоскина на русскую литературу...

## Н. В. Гоголь.

### I.

Похожденія Чичикова или Мертвыя Души. Поэма Н. Гоголя. Изданіе второе. Москва 1846.

Текстъ второго изданія „Мертвыхъ Душъ“ напечатанъ безъ всякихъ измѣненій противъ перваго изданія. Но авторъ присоединилъ къ нему предисловіе, которое называется „Къ читателю отъ сочинителя“, и изъ котораго приведемъ здѣсь нѣсколько выдержекъ:

„Кто бы ты ни былъ, мой читатель, на какомъ бы мѣстѣ ни стоялъ, въ какомъ бы званіи ни находился, почтенъ ли ты высшимъ чиномъ, или человекъ простаго сословія, но если тебя вразумилъ Богъ грамотѣ и поналась уже тебѣ въ руки моя книга, я прошу тебя помочь мнѣ“. Гоголь проситъ у своихъ читателей замѣчаній на недостатки его поэмы и свѣдѣній о Россіи. „Я



не могу“, говоритъ онъ,—*выдать послѣднихъ томовъ моего сочиненія по тѣхъ поръ, покуда сколько-нибудь не узнаю русскую жизнь со всѣхъ ея сторонъ хотя въ такой мѣрѣ, въ какой мнѣ нужно ее знать для моего сочиненія*“. Нѣсколько выше сказано: „*Всякой человѣкъ, кто жилъ и видѣлъ овѣтъ и встрѣчался съ людьми, замѣтилъ что-нибудь такое, чего другой не замѣтилъ, и узналъ что-нибудь такое, чего другіе не знаютъ*“.

Несмотря на очевидность этой истины, мы полагаемъ, что величайшее достоинство второго изданія „*Мертвыхъ душъ*“ заключается въ тождествѣ его текста съ текстомъ перваго изданія.

## II.

**Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями. *Николая Гоголя*. Санктпетербургъ. 1847.**

Начало „Предисловія“, помѣщеннаго въ этой книгѣ, по нашему мнѣнію, лучше всего указываетъ точку, съ которой слѣдуетъ смотрѣть на содержащіяся въ ней статьи:

„Я былъ тяжело боленъ“, говоритъ Гоголь,—„смерть уже была близко. Собравши остатокъ силъ своихъ и воспользовавшись первою минутой полной трезвости моего ума, я написалъ духовное завѣщаніе, въ которомъ, между прочимъ, возлагалъ обязанность на друзей моихъ издать послѣ моей смерти нѣкоторыя изъ моихъ писемъ. Мнѣ хотѣлось хотя симъ искупить бесполезность всего доселѣ мною напечатаннаго, потому что въ письмахъ моихъ, по признанію тѣхъ, къ которымъ они были писаны, находится болѣе нужнаго для человѣка, нежели въ моихъ сочиненіяхъ. Небесная милость Божія отвела отъ меня руку смерти. Я почти выздоровѣлъ; мнѣ стало легче. Но чувствую однако слабость силъ моихъ, и приговорясь къ отдаленному путешествію къ Святымъ Мѣстамъ, необходимому душѣ моей, во время котораго можетъ все случиться, я захотѣлъ оставить при разставаньи что-нибудь отъ себя своимъ соотечественникамъ. Выбираю самъ изъ моихъ послѣднихъ писемъ, которыя мнѣ пришлось получить назадъ, все, что болѣе относится къ вопросамъ, занимающимъ нынѣ общество, отстранивши все, что можетъ получить смыслъ только послѣ моей смерти, съ исключеніемъ всего, что могло имѣть значеніе только для немногихъ. Прибавляю двѣ-три статьи литературныя и, наконецъ, прилагаю самое завѣщаніе съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ моей смерти, если бы она застигла на пути моемъ, возымѣло оно тотчасъ свою законную силу, какъ засвидѣтельствованное всѣми моими читателями“ (стр. 1—2).

Завѣщаніе Гоголя проникнуто духомъ истинно-монашескаго смиренія, весьма естественнымъ въ человѣкѣ, изнуренномъ телѣсными недугами и душевнымъ разочарованіемъ. Вотъ нѣсколько строкъ изъ этого произведенія:

„II. Завѣщаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о такомъ пустякѣ, христіанина недостойномъ....

„III. Завѣщаю вообще никому не оплакивать меня, и грѣхъ себѣ возметъ на душу тотъ, кто станетъ почитать смерть мою какою-нибудь значительною или всеобщою утратой. Если бы даже и удалось мнѣ сдѣлать что-нибудь полезнаго, и начиналъ бы я уже исполнять свой долгъ дѣйствительно такъ, какъ слѣдуетъ, и смерть унесла бы меня при началѣ дѣла, замышленного не на удовольствіе нѣкоторымъ, но надобнаго всѣмъ, то и тогда не слѣдуетъ предаваться безплодному сокрушенію. Если бы даже вмѣсто меня умеръ въ Россіи мужъ, дѣйствительно ей нужный въ теперешнихъ ея обстоятельствахъ, то и отъ того не слѣдуетъ приходить въ уныніе никому изъ живущихъ, хотя и справедливо то, что если рановременно похищаются люди всѣмъ нужные, то это знакъ гнѣва небеснаго, отъемлющаго симъ орудія и средства, которыя помогли бы инымъ подвигнуться ближе къ цѣли, насъ зовущей. Не унынію должны мы предаваться при всякой внезапной утратѣ, но оглянуться строго на самихъ себя, помышляя уже не о чернотѣ другихъ и не о чернотѣ всего міра, но о своей собственной чернотѣ. Странна душевная чернота, и зачѣмъ это видится только тогда, когда неумолимая смерть уже стоитъ предъ глазами!..“ (стр. 8, 9 и 10).

Странно было требовать отъ человѣка, такъ тяжело страдающаго душою и тѣломъ, правильнаго логическаго воззрѣнія на жизнь и ея условія. Поэтому мы не будемъ *разбирать* здѣсь статей, вошедшихъ въ „Выбранныя Мѣста“. Замѣтимъ только, что часто въ этой книгѣ встрѣчаются мысли чрезвычайно свѣтлыя, высказанныя необыкновенно сильнымъ и живописнымъ языкомъ. За то въ ней же встрѣчается и множество противорѣчій, множество натянутыхъ выводовъ, множество фактовъ, освѣщенныхъ ложнымъ свѣтомъ односторонняго воззрѣнія, и произвольно составленныхъ теорій. Все это такъ легко объясняется собственной исповѣдью автора и такъ рѣзко бросается въ глаза всякому, что подтверждать мнѣніе свое выписками и разсужденіями кажется намъ совершенно излишнимъ. Кто возьметъ на себя этотъ трудъ, тотъ непременно впадетъ въ роль одного отсталаго писателя, который недавно съ такою поспѣшностью воспользовался случаемъ написать не лишенное здраваго смысла возраженіе противъ письма Гоголя „Объ Одиссеѣ, переводимой В. А. Жуковскимъ“. Съ своей стороны, мы обратимъ вниманіе читателей только на одно любопытное противорѣчіе, встрѣченное нами въ „Выбранныхъ Мѣстахъ“.

➤ Противники Гоголя, которыхъ число, по разнымъ причинамъ, не менѣе числа его поклонниковъ, вѣроятно, не преминутъ воспользоваться собственными его словами о *безполезности* всѣхъ прежнихъ его сочиненій до „Мертвыхъ Душъ“ включительно. Въ самомъ дѣлѣ, какъ хотите вы, чтобъ эти господа упустили такой прекрасный случай выставить въ странномъ свѣтѣ тѣхъ, которые не перестаютъ ставить „Мертвыя Души“ во главу всѣхъ современныхъ и о-

изведеній русской литературы? „Вот“, скажутъ они,—„собственное сознание художника въ огромныхъ недостаткахъ его сочиненій. Изъ-за чего же было такъ кричать объ ихъ великихъ достоинствахъ, господа критики натуральной школы?“ Но, не говоря уже о томъ, что никакой авторъ—не судья своему сочиненію, совѣтуемъ всѣмъ, принимающимъ сѣтованія Гоголя о собственной его ничтожности за горестное сознание безсилія, прочитатъ въ „Выбранныхъ Мѣстахъ“ слѣдующія строки:

„Обо мнѣ много толковали, разбирая кое-какія мои стороны, но главнаго существа моего не опредѣлили. Его слышалъ одинъ только Пушкинъ. Онъ мнѣ говорилъ всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставить такъ ярко пошлость жизни, умѣть очертить въ такой силѣ пошлость пошлаго человѣка, чтобы вся та мелочь, которая ускользаетъ отъ глазъ, мелькнула бы крупно въ глаза всѣмъ. Вотъ мое главное свойство, одному мнѣ принадлежащее, и котораго точно нѣтъ у другихъ писателей. Оно въ послѣдствіи углубилось во мнѣ еще сильнѣе отъ соединенія съ нимъ нѣкотораго душевнаго обстоятельства. Но этого я не въ состояніи былъ открыть тогда даже и Пушкину. Это свойство выступило съ большою силою въ „Мертвыхъ Душахъ“. „Мертвыя Души“ не потому такъ испугали многихъ и произвели такой шумъ, чтобы онѣ раскрыли какія-нибудь раны общественныя или внутреннія болѣзни, и не потому также, чтобы представили потрясающія картины торжествующаго зла и страждущей невинности. Ничуть не бывало. Герои мои вовсе не злодѣи: прибавь я только одну добрую черту любому изъ нихъ, читатель помирится бы съ ними всѣми. Но пошлость всего вмѣстѣ испугала читателей. Испугало ихъ то, что одинъ за другимъ слѣдуютъ у меня герои одинъ пошлѣе другого, что нѣтъ ни одного утѣшительнаго явленія, что негдѣ даже и пріотдохнуть или перевести духъ бѣдному читателю, и что по прочтеніи всей книги кажется, какъ бы точно вышелъ изъ какого-то душнаго погреба на Божій свѣтъ. Мнѣ бы скорѣе простили, если бы я выставилъ картинныхъ изверговъ, но пошлости не простили мнѣ. Русскаго человѣка испугала его ничтожность болѣе, нежели всѣ его пороки и недостатки“ (стр. 141—143).

Вотъ какъ Гоголь *отказывается* отъ своего таланта и отъ своихъ произведеній!..

### III.

Сто рисунковъ изъ сочиненія Н. В. Гоголя: „Мертвыя души“. Изданіе Е. Е. Вернадскаго и А. Г. Рисовалъ А. Акимъ, гравировалъ на деревѣ Е. Вернадскій. Санктпетербургъ. 1846.

Вліяніе „Мертвыхъ Душъ“ на русское общество было такъ могущественно и животно, что каждое слово, произнесенное по поводу этого геніальнаго произведенія, каждая безпокойная шутка, въ которой блеститъ самородное слово

Гоголя, каждый ни къ чему не ведущій споръ о достоинствахъ величайшаго изъ его произведеній, о томъ, „все ли выведены у него каррикатуры“ или „и еще что-нибудь“, „для смѣха ли все это написано“ или „и еще для чего-нибудь“, однимъ словомъ—всякое человѣческое движеніе, первымъ толчкомъ которому было появленіе „Мертвыхъ Душъ“, заслуживаетъ полнаго вниманія и заботливаго изученія. Иначе и быть не можетъ, по нашему мнѣнію. Свойство души человѣческой таково, что сочувствіе двухъ человѣкъ къ какому-нибудь предмету опредѣляетъ ихъ взаимныя нравственныя отношенія, хоть бы предметъ сочувствія былъ и маловажный. Что же сказать о сочувствіи къ произведенію, въ которомъ предсталъ намъ русскій человѣкъ въ образахъ до того строгихъ, могучихъ, до того проникнутыхъ не выдуманными впечатлѣніями, что какъ-то невольно ищешь на устахъ его вчерашней улыбки по поводу глупаго анекдота, или недавняго смущенія, въ которое онъ введенъ былъ, попавшись въ просакъ тоже по какому-нибудь задирающему случаю. Таковъ геній Гоголя, что не оставилъ онъ никого изъ читателей озадаченнымъ, и нѣтъ на него иска и протеста! Всѣ наглядѣлись до сыта, наслушались больше, чѣмъ хотѣли слышать... и пострадали всѣ.

Одни пострадали, наглядѣвъ въ Чичиковѣ, его спутникахъ и друзьяхъ бездну силъ и страшную способность наслаждаться, тогда какъ бѣдные читатели давно потратили всѣ силы на приведеніе себя въ состояніе благоприличія и доживаютъ едва начатую жизнь для того только, чтобъ посмотрѣть, какъ разобьетъ себѣ голову такой-то, или обременится вѣчно выигрывающій NN, и какъ, наконецъ, обезличится цѣлая генерация безпокойныхъ дѣтей, вѣчно спрашивающихъ и ничему слишкомъ не удивляющихся.

А между тѣмъ, какъ бы хотѣлось пожить этимъ людямъ, пожить жизнью господина средней руки, жизнью помѣщика (говоря словами Гоголя), „прожигающаго насквозь жизнь“, жизнью полицеймейстера, мудро согласившаго всѣ противорѣчія городской администраціи и своей частной жизни, заглядывающаго въ погребу и въ рыбный рядъ, какъ въ свою собственную кладовую, наконецъ, хоть бы жизнью Собакевича, который сытно и компактно устроился въ невозмутимой скорлупѣ своего дубоваго дома съ Θεодуліей Ивановной и съ дроздомъ въ клѣткѣ, удержавъ за собою исключительное право и способность уничтожить цѣлаго осетра и сожалѣть только о томъ, что никогда не былъ боленъ!.

Другіе пострадали по причинѣ не столь разумной, не столь очевидной... Нашлось много такихъ господъ, которые непріязненно поморщились, увидѣвъ, какъ легко объясняетъ великій художникъ самыя сложныя проявленія натуръ темныхъ, неблагообразныхъ, тугихъ, какъ просто раскрываетъ онъ сокровенныя и не слишкомъ благія движенія души человѣка сильнаго, но въ которомъ давно покосились всѣ понятія, всѣ чувства въ пользу одной идеи, идеи, если хотите, справедливой въ основаніи, но не оправдывающейся въ безусловномъ примѣне-

ни... Очень неловко стало многимъ, когда узнали они, что имена Чичикова, Манилова, Собакевича, Коробочки и всей фаланги Гоголевскихъ героевъ могутъ быть и нарицательными... Оскорбился, возмущился преимущественно тотъ, кому тошно думать, что все подлежитъ анализу и обсужденію человѣческому, что некуда уйти отъ анализа, что волей или неволей, а заставить его, милостиваго государя, пройти по широкой аренѣ его жизни, разглядѣть и рассказать объ немъ именно то, чего бы ему не хотѣлось никому показывать или рассказывать, но что въ тайнѣ составляетъ его особенность, его любовь, его „задоръ“.

А какъ всегда, вслѣдъ за нѣкоторыми, приходятъ въ движеніе и остальные многіе, то огорченіе людей, о которыхъ мы сейчасъ говорили, обезпокоило множество лицъ разныхъ категорій, и всѣ перетревожились, и всѣ наговорились много и безъ толку о „Мертвыхъ Душахъ“, а тутъ же сгоряча прочли и самую книгу, и—чудо!—упомянули всѣ обидныя по своей обнаженной справедливости выраженія, чуть не наизусть выучили мѣста, невыносимыя для ихъ свѣтскихъ авторитетовъ, и еще разъ огорчились, вознегодовали и рассказали всѣмъ о нанесенной имъ непріятности.

Наконецъ, пострадали молча, кротко и сознательно люди, которые наглядѣли въ созданіи Гоголя выводъ изъ вѣчно прекрасной жизни, жизни, которую нельзя не любить, въ чемъ бы она ни проявлялась, изъ природы, которая всюду прекрасна... Эти люди *пострадали—любя*. Гоголь чуднымъ, необычнымъ рассказомъ своимъ разшевелилъ весь читающій людъ. Обнаруживаніе многихъ тайнъ человѣческой души, величіе подвига Гоголя въ первую минуту скорбно отзывались въ сердцахъ... Увидѣлъ человѣкъ свое безсиліе; что съ такимъ стараніемъ разглядывалъ онъ цѣлый вѣкъ, то невыносимо сильное перо Гоголя очертило въ трехъ словахъ и тутъ же обличило бѣдныхъ аналитиковъ въ близорукости и неспособности къ устойчивому, спокойному созерцанію и изслѣдованію.

Такимъ образомъ, съ одной стороны—безпокойство, недоумѣніе, досада, азартъ, съ другой стороны—восторгъ, умиленіе, благодарность и тоже своего рода нервное безпокойство росли съ каждымъ днемъ въ обществѣ. За то и послѣдствія такого тревожнаго состоянія были велики.

Глубокое сочувствіе пробужденное „Мертвыми Душами“ къ изученію современной жизни, вызвало всѣхъ и каждого на простую и разумную дѣятельность. Всѣ стали подрываться и подкапываться подъ свою дотошную дремотную и лѣнивую жизнь.

Не разъ порядочный человѣкъ осмѣялъ самого себя самымъ злымъ Гоголевскимъ словомъ, заставъ и уличивъ себя въ безсознательной самодовольной продѣлкѣ, преисполненной тѣхъ смѣшныхъ свойствъ, которыя были до той минуты терпимы и, пожалуй, для нѣкоторыхъ были не смѣшны именно потому, что никто на нихъ не заглядывалъ... Судорожно оборвалъ на себѣ воротнички, ман-

жетки и нарукавники страстный, беспокойный юноша и громко захохоталъ, оглядѣвъ свой красноватый, на диво сшитый фракъ и нѣжнаго цвѣта жилетъ, которымъ еще за полчаса все знакомое ему человѣчество было совершенно довольно. Оказалось смѣшнымъ и жалкимъ очень многое такое, что до сихъ поръ почиталось явленіемъ совершенно простымъ. Куда дѣвалась такъ-называемая Гоголемъ „благонамѣренная наружность“, что случилось съ „дамою пріятною во всѣхъ отношеніяхъ“, какъ пришлось назвать „Семена Ивановича, который показалъ перстень дамамъ“, каково пришлось многимъ по прочтеніи разговора о „побаливаньи поясницы, тутъ же приписанномъ сидячей жизни“, разговора, который имѣлъ мѣсто въ комнатѣ присутствія гражданской палаты? Какъ пришлось понять и сцену въ пріемной „временной комиссіи“ и, наконецъ, всю эту исторію прекрасныхъ сдѣлокъ, пріятныхъ знакомствъ и дружескихъ проводовъ Чичикова на пространствахъ не извѣстно сколькихъ верстъ, не извѣстно какой именно губерніи?..

Прошло четыре года послѣ перваго изданія „Мертвыхъ Душъ“, и до сихъ поръ нѣтъ никакой возможности развить здравую, живую мысль, не вспомнивъ десяти мѣстъ изъ этого неподражаемаго ключа къ разумѣнію современной намъ жизни. Не умѣстно было бы говорить о вліяніи Гоголя на нашу литературу. Объ этомъ было говорено много и будетъ говориться еще больше. Лучшее доказательство огромнаго вліянія „Мертвыхъ Душъ“ на современное общество мы видимъ въ томъ, что хотя до сихъ поръ только и рѣчи было, что о Гоголѣ, а между тѣмъ еще не существуетъ настоящаго критическаго разбора его произведенія. Иначе и быть не могло: всѣ были натолкнуты Гоголемъ на дѣятельность, всѣ ухватились за отрицаніе и въ дѣятельности своей пребыли вѣрные этому воззрѣнію. Чувство было слишкомъ сильно, и не возможно было требовать, чтобы причина беспокойства и стремительнаго перехода къ самому радикальному, самому беззавѣтному отрицанію была разобрана критически: фактъ утѣшительный въ томъ отношеніи, что онъ показываетъ, какъ велико было вліяніе „Мертвыхъ Душъ“. Но, если критика не взялась за этотъ неисчерпаемый предметъ изученія, за то ни одинъ читатель, по прочтеніи „Мертвыхъ Душъ“, не оставался пассивнымъ. Каждый вынесъ изъ книги Гоголя хотя одно живое слово, которымъ былъ въ правѣ и ограничиться, повторяя его вѣчно и безпокоясь этимъ словомъ, какъ событіемъ, опредѣляющимъ его положеніе на свѣтѣ, его нравственную фізіономію. Оказалась замѣчательная переменна не только въ литературныхъ понятіяхъ, но и въ разговорномъ языкѣ и, по нашему мнѣнію, въ самомъ быту живой половины нынѣшней публики. Достаточно указать не ежедневное и не утомимое преслѣдованіе всякой *манчловщины*, какъ на доказательство огромнаго успѣха въ развитіи нашего общества въ послѣднее время.

Очевидно, что на людяхъ болѣе или менѣе дѣльныхъ и сколько-нибудь талантливыхъ вліяніе „Мертвыхъ душъ“ выразилось не только въ отрицаніи -



торых ненормальных явлений жизни, но и въ порывахъ къ созданію чего-нибудь такого, что могло бы упрочить и обобщить въ публикѣ впечатлѣніе, произведенное „Мертвыми Душами“.

Такимъ образомъ объясняется появленіе въ свѣтъ, вскорѣ по выходѣ „Мертвыхъ Душъ“, нѣсколькихъ беллетристическихъ произведеній, нелишенныхъ направленія, неудачная попытка поставить Чичикова на Александринскомъ театрѣ и, наконецъ—чего долго ожидали всѣ—опытъ художника бойкимъ карандашомъ начертить рядъ разнообразѣйшихъ сценъ изъ походовъ Павла Ивановича и ознакомить публику посредствомъ этихъ рисунковъ съ разными явлениями дѣйствительной жизни.

Прежде, нежели мы приступимъ къ сужденію о достоинствахъ „Ста рисунковъ къ Мертвымъ Душамъ“, необходимо сказать нѣсколько словъ о томъ, какъ, по нашему мнѣнію, должно смотрѣть на иллюстрированное изданіе поэтическихъ произведеній.

Каждое искусство имѣетъ средства, ему исключительно принадлежащія, и въ то же время—предѣлы, изъ которыхъ не должно выступать, чтобы не утратить своей силы. Есть, на примѣръ, задачи, которыя могутъ быть рѣшены только поэзіей; есть и такія, въ которыхъ поэзія является слабою соперницей живописи, уступая мѣсто этому искусству, призывая его къ дѣятельности. Какъ бы ни было хорошо литературное описаніе живописной мѣстности или живописнаго момента; все-таки оно не болѣе, какъ превосходная программа для живописца, заданная ему такимъ же художникомъ, какъ онъ самъ, а не теоретикомъ и мыслителемъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что первый писатель, употребившій фразу: „живописецъ, бери кисть и пиши“, выговорилъ ее отъ души. Теперь она сдѣлалась несносною риторическою выходкой, истасканною отъ бессознательнаго употребленія. Въ сущности же, она имѣетъ глубокое основаніе: если литературное описаніе указываетъ живописцу всѣ оттѣнки рисунка и красокъ, это значитъ, что задача поэта истощена, и что область поэзіи дошла до предѣловъ живописи. Живописецъ можетъ смѣло браться за кисть и создавать картину со словъ поэта. Не можемъ не привести въ примѣръ удивительной страницы изъ „Мертвыхъ Душъ“ въ подтвержденіе сказаннаго нами:

„Старый, обширный, тянувшійся позади дома садъ, выходившій на село и потомъ пропадавшій въ полѣ, заросшій и засохлый, казалось, одинъ освѣжалъ эту обширную деревню и одинъ былъ вполне живописенъ въ своемъ картинномъ опустѣніи: зелеными облаками и неправильными, трепетolistными куполами лежали на небесномъ горизонтѣ соединенныя вершины разросшихся на свободѣ деревь. Бѣлый колоссальный стволъ березы, лишенный верхушки, отломленной бурей или грозой, подымался изъ этой зеленой гущи и круглился на воздухѣ, какъ правильная мраморная, сверкающая колонна; косой, остроконечный изломъ ея, которымъ онъ оканчивался къ верху вмѣсто капителя, темнѣлъ на снѣжной



бѣлизнѣ его, какъ шапка или черная птица. Хмѣль, глушившія внизу кусты бузины, рябины и лѣснаго орѣшника и прибѣжавши потомъ по верхушкѣ всего частокола, взбѣгалъ наконецъ вверхъ и обвивалъ до половины сломленную березу. Достигнувъ середины ея, онъ оттуда свѣшивался внизъ и начиналъ уже цѣплять вершины другихъ деревьевъ, или же висѣлъ на воздухѣ, завязавши кольцами свои тонкіе, цѣпкіе крючья, легко колеблемые воздухомъ. Мѣстами расходились зеленые чащи, озаренныя солнцемъ, и показывали не освѣщенное между нихъ углубленіе, зіявшее, какъ темная пасть; оно было все окинуто тѣнью, и чуть-чуть мелкали въ черной глубинѣ его: бѣжавшая, узкая дорожка, обрушенные перилы, пошатнувшаяся бесѣдка, дуплистый дряхлый стволъ ивы, сѣдой чапыжникъ, густой щетиною вытыкавшій изъ-за ивы изсохшіе отъ страшной глушины, перепутавшіеся и скрестившіеся листья и сучья, и наконецъ, молодая вѣтвь клена, протянувшая съ боку свои зеленые лапы-листы, подъ одинъ изъ которыхъ забравшись Богъ вѣсть какимъ образомъ, солнце превращало его вдругъ въ прозрачный и огненный, чудно оіявшій въ этой густой темнотѣ. Въ сторонѣ, у самого края сада, нѣсколько высокорослыхъ, не вровень другимъ, осинъ подымали огромныя вороньи гнѣзда на трепетныхъ своихъ вершины. У иныхъ изъ нихъ отдернутыя и не вполне отдѣленные вѣтви висѣли внизъ вмѣстѣ съ изсохшими листьями. Словомъ, все было хорошо, какъ не выдумать ни природѣ, ни искусству, но какъ бываетъ только тогда, когда они соединятся вмѣстѣ, когда по нагроможденному, часто безъ толку, труду человѣка пройдетъ окончательнымъ рѣзцомъ своимъ природа, облегчитъ тяжелыя массы, уничтожитъ грубоощутительную правильность и нищенскія прорѣхи, сквозь которыя проглядываетъ не скрытый, нагой планъ, и дастъ чудную теплоту всему, что создано въ хладѣ размѣренной чистоты и опрятности“ („Мертвыя Души“, стр. 216—218).

Какъ не сказать, что къ такой страницѣ не достаетъ картины Рюйсдаля, который одинъ только сумѣлъ бы болѣе обаятельно передать всю прелесть глухой зелени, плотно опутавшей и заткавшей тропинки и просѣки сада, граціознѣе развѣсить хмѣлевые гирлянды, дать возможность ближе разглядѣть чудную игру свѣта на кленовомъ листѣ, рѣзкими линіями опредѣлить перспективу темной чащи или затопленной кустарникомъ дорожки...

Но есть описанія, исключительно доступныя средствамъ поэзіи и много теряющія въ живописи. Это именно тѣ, которыя заключаютъ въ себѣ изображеніе послѣдовательности явленій. Картина живописца, написанная на такую тему, не удовлетворяетъ полнотой: хочется ее договорить словами, хочется слышать, что скажетъ о ней поэтъ. Высокій образецъ такой *исключительно-поэтической* картины представляетъ собою описаніе шествія каравана въ арзвѣйской степи, въ стихотвореніи Лермонтова „Три Пальмы“:

въ дали голубой  
Утолбомъ ужъ крутился песокъ золотой.  
Звонковъ раздавались нестройные звуки,

Пестрѣли коврами покрытыя вьюки,  
 И шолъ, колыхаясь, какъ въ морѣ челнокъ,  
 Верблюдъ за верблюдомъ, варывая песокъ.  
 Мотаясь, висѣли межъ твердыхъ горбоу  
 Узорныя помы походныхъ шатровъ;  
 Ихъ смуглыя ручки порой подымали,  
 И черныя очи оттуда сверкали:  
 И, станъ художавый къ лукѣ наклоня,  
 Арабъ горячилъ воронаго коня,  
 И конь на дыбы подымался порой  
 И прыгалъ, какъ барсъ, пораженный стрѣлой,  
 И бѣлой одежды красивыя складки  
 По плечамъ фариса вились въ безпорядкѣ,  
 И, съ крикомъ и свистомъ несясь по песку,  
 Бросалъ и ловилъ онъ копье на скаку.  
 Вотъ къ пальмамъ подходитъ, шума, караванъ.  
 Въ тѣни ихъ веселой раскинулся станъ,  
 Кувшины, звуча, налилися водою,  
 И, тордо кивая махровой главою.  
 Привѣтствуютъ пальмы нежданныхъ гостей,  
 И щедро поить ихъ студеныя ручей.

Картина живописца, взявшагося за изображеніе явленій въ ихъ исторической послѣдовательности, въ свою очередь дѣлается программой для поэта. Мы почти увѣрены, что „Три Пальмы“ написаны Лермонтовымъ подъ вліяніемъ какой-нибудь картины Ораса Верне, иными словами, что Орасъ Верне своею картиной бессознательно напросился на стихотвореніе Лермонтова.

Въ „Мертвыхъ Душахъ“ есть множество превосходныхъ описаній, которыя, по нашему мнѣнію, или вовсе недоступны для живописи, или, по крайней мѣрѣ, отнюдь не выиграютъ, будучи воспроизведены на рисунокѣ. Спрашивается: кто и какъ могучею кистью рѣшится повторить тѣ страницы Гоголя, гдѣ, кажется, слова не успѣваютъ сложиться въ рѣчь? Такъ быстро, такъ не уловимо движеніе сцены!..

„Съ громомъ выѣхала бричка изъ-подъ воротъ гостиницы на улицу. Проходившій попъ снялъ шляпу, нѣсколько мальчишекъ въ замаранныхъ рубашкахъ протянули руки, приговаривая: „Баринъ, подай сиротинкѣ!“ Кучеръ, замѣтивши, что одинъ изъ нихъ былъ большой охотникъ становиться на запятки, хлыснулъ его кнутомъ, и бричка пошла прыгать по камнямъ“.

Или нѣсколько далѣе:

„ . . . И еще нѣсколько разъ ударившись довольно крѣпко головою въ кузовъ, Чичиковъ понесся, наконецъ, по мягкой землѣ“ (стр. 35).

Нарисуйте какую хотите бричку, какихъ хотите лошадей, какую хотите мостовую или немощеную дорогу, также нарисуйте нѣсколько фигуръ, помѣстите на картинѣ строенія, деревья, и все-таки смыслъ словъ Гоголя утратится, и за-

стывшая сцена поворота брички, со всѣми ея послѣдствіями, нисколько не дополнить впечатлѣнія, произведеннаго словами Гоголя.

Наконецъ, есть поэтическія темы, вовсе недоступныя живописи, темы, невыразимыя ни для какой кисти. Однакожъ, примѣрами претензіи на исполненіе этихъ темъ полна область живописи. Есть, напримѣръ, множество картинъ, изображающихъ великихъ людей въ положеніяхъ, которыя сами по себѣ не выражаютъ ничего характернаго, но замѣчательны только по сопряженному съ ними воспоминанію о какомъ-нибудь замѣчательномъ поступкѣ, словѣ, событіи. Въ послѣдніе годы на такія картины очень тароваты стали французскіе художники, пишущіе картины изъ жизни Наполеона. Это самая грубая ошибка въ выборѣ сюжета, какую только можно себѣ представить. Въ нее особенно впадаютъ академіи при раздачѣ темъ на живописные конкурсы.

То же самое можно примѣнить и къ темамъ, заимствованнымъ изъ „Мертвыхъ Душъ“. Рисунокъ былъ бы рѣшительно неудаченъ, если бъ кто-нибудь вздумалъ изобразить Чичикова въ такую минуту, когда около него нѣтъ никакого движенія; напримѣръ, въ тотъ поздній часъ, когда, возвратясь съ губернскаго бала, гдѣ случилось ему оборваться, сидитъ онъ въ уединенной комнаткѣ, съ дверью, заставленною комодомъ, въ жесткихъ, непокойныхъ креслахъ и мысленно порицаетъ балы и человѣческую суетность...

Итакъ, приступая къ живописному воспроизведенію сценъ, взятыхъ изъ такого произведенія, какъ „Мертвыя Души“, художникъ долженъ очень и очень измѣрить свои силы и пристально изучить и прочувствовать каждую строчку великаго писателя, соображаясь съ средствами живописи, избрать только тѣ сцены, въ которыхъ замѣтна недостаточность слова для полной передачи размѣровъ и формъ, какъ самыхъ дѣйствующихъ лицъ, такъ и всѣхъ принадлежностей мѣста дѣйствія, отнюдь не принимая на себя неудобноисполнимаго труда нарисовать сцену, въ которой положеніе дѣйствующихъ лицъ и вся обстановка послѣдовательна, и въ которой они мѣняются къ каждому мгновенію.

Посмотримъ теперь, какія именно темы въ „Мертвыхъ Душахъ“ напрашиваются на карандашъ художника, и потомъ перейдемъ къ заключенію о томъ, въ какой мѣрѣ гг. Агнѣ и Бернадскій выполнили живописныя задачи, предложенныя Гоголемъ.

Одно изъ величайшихъ достоинствъ автора „Мертвыхъ Душъ“ состоитъ въ глубокомъ пониманіи той мѣстности, о которой говорится въ рассказѣ. Можно ли лучше знать ландшафтъ Россіи, ландшафтъ, какъ понимаетъ его и живописецъ, и этнографъ, и геологъ, нежели какъ знаетъ его Гоголь? Вспомните его „дорогу“ по неизмѣримой равнинѣ, по сѣдымъ полямъ съ обгорѣлыми пнями, кочками, ельникомъ, дикимъ верескомъ и „тому подобнымъ вздоромъ“ (стр. 35—36). Какъ однимъ словомъ, однимъ взмахомъ кисти отбѣнилъ онъ два крыла—лѣсъ березовый и сосновый (стр. 177); какъ извѣстна ему атмосфери-

ческая особенность преобладающей въ нашемъ родномъ климатѣ погоды: „день былъ не то ясный, не то мрачный, а какого-то свѣтлосѣраго цвѣта, какой бываетъ только на старыхъ мундирахъ гарнизонныхъ солдатъ“ (стр. 38); безхарактерность глухѣйшаго болотистаго поля во владѣніяхъ Ноздрева, съ межевымъ столбикомъ и канавкою, поля, на которыхъ водится такая гибель русаковъ; наконецъ, выписанная нами картина сада. А вотъ опять дорога, вотъ онъ опять несется какимъ-то фантастическимъ вихремъ по равнинѣ...

„ . . . По обѣимъ сторонамъ столбовога пути пошли вновь писать версты, станціонные смотрители, колодцы, обозы, сѣрыя деревни съ самоварами, бабами и бойкимъ бородатымъ хозяиномъ (стр. 424)... Зеленые, желтые и свѣже-разрытые черныя полосы, мелкающія по степямъ, затянутая вдали пѣсня, сосновыя верхушки въ туманѣ, пропадающій далече колокольный звонъ, вороны, какъ мухи, и горизонтъ безъ конца (стр. 425)... Проснулся,—и уже опять передъ тобою поля и степи; нигдѣ ничего; вездѣ пустырь, все открыто. Верста съ цифрой летитъ тебѣ въ очи; занимается утро; на поблѣвшемъ холодномъ небосклонѣ золотая блѣдная полоса; свѣжѣе и жестче становится вѣтеръ (стр. 428)... Русь!.. Бѣдна природа къ тебѣ... Открыто-пустынно и ровно все въ тебѣ; какъ точки, какъ значки, непримѣтно торчатъ среди равнинъ невысокіе твои города; ничто не обольститъ и не очаруетъ взора“ (стр. 426).

Вотъ что говоритъ Гоголь, величайшій живописецъ. Но спрашивается: какой картины хватить; въ какихъ рамкахъ можетъ раскинуться эта неизмѣримая горизонтальная плоскость, по которой ведетъ читателя Гоголь и то надорветъ смолистый кустарникъ, то разроетъ желтый песокъ, приглядится къ размытой канавкѣ, потянетъ туманный воздухъ, отзывающійся горьлымъ лѣсомъ?.. У кого найдется довольно вѣрный карандашъ, чтобъ съ точностью натуралиста срисовать кривизны нашихъ плоскихъ косогоровъ и безхарактерныя покатости вѣчно сѣрыхъ, неприглядныхъ, приводящихъ въ отчаяніе полей?..

Всякое животное одарено такимъ свойствомъ, что на занимаемомъ имъ клочкѣ земли оно непременно отпечатаетъ особенности своего организма: слѣды лапокъ, норку, налаженную всегда согласно съ привычками и конструкціей звѣря, и много разныхъ примѣтъ—обѣденныя листья, разрытый песокъ, кости, скорлупу орѣховъ... По нимъ-то натуралистъ и охотникъ сразу узнаютъ мѣсто пребыванія звѣря. Въ безконечно огромныхъ размѣрахъ все населеніе человѣческое точно также наставило разные значки, по которымъ узнаютъ нравъ и привычки людей; каждый человѣкъ, получая впечатлѣніе извнѣ, опредѣляясь обитаемою имъ мѣстностью, въ то же время характеризуетъ числящійся за нимъ лоскутъ земли. Въ селеніяхъ, въ захолустныхъ городкахъ, во всѣхъ тѣхъ группахъ жилищъ, гдѣ цивилизація не расшатала людей, или тѣхъ, которые впали въ крайность, уклонясь отъ подвижности общежитія, ослабляющаго и разнообразяющаго непріятные, вѣчно одинаковые приемы тоскливаго фамиліаго быта, можно оты-

скать слѣды, какъ отлежалъ человѣкъ траву, какъ отпечаталъ гвоздями сапоговъ обычную ежедневную дорожку, ведущую въ немногія интересующія его мѣста. Этотъ маленькій ландшафтъ, эта раковина улитки тоже въ высшей степени осмыслена Гоголемъ. Нравственные особенности людей опредѣляются его живописаніемъ комнатъ, домовъ, деревень, трактировъ и т. д. Сейчасъ можно узнать уже не грызуна землеройку или плотояднаго, а кулака Собакевича, старуху-скопидомку (стр. 83), романтика Манилова, воспитаннаго въ нѣжномъ пансіонѣ, и пр

Быть людской представляетъ живописцу много темъ весьма доступныхъ. Но спрашивается: какое знаніе нравовъ потребуется для этого, сколько психологическихъ фактовъ должно набрать и разгадать тому, кто за это возьмется!.. Кто же такъ хорошо знаетъ (*и понимаетъ*), какъ Гоголь, какое и на какихъ пренелѣпныхъ ножкахъ должно быть бюро у Собакевича, какъ устроенъ курятникъ у Коробочки, какъ мечтательно глупо разведенъ садъ у деликатнаго Манилова, какъ сквозятся и рѣшются кровли избъ, какъ растрескались и отсырѣли стѣны церкви на селѣ у Плюшкина? Кто больше втянулъ въ себя копоты и всякой дряни въ потемнѣлыхъ трактирахъ со звенящими стеклянными люстрами, недѣльными картинами и чадными, подозрительной чистоты нумерами?.. Наконецъ, кому лучше извѣстна и *понятна* архитектура разныхъ построекъ: рѣзныя кирпиченныя стѣны избъ, листовою куполъ церкви, барельефчики на сѣренскихъ и оранжевыхъ губернскихъ домикахъ, каменный домъ съ половиною фальшивыхъ оконъ, бесѣдка съ голубыми колоннами, наконецъ, всякія клѣтухи, пристроечки и изгороди, которыя лѣпятъ и громоздятъ хозяинъ, ни разу не обезпокоясь мыслию о благолѣпіи своихъ сооруженій (стр. 178)?

Но для того, чтобъ начертить въ профилѣ и планѣ всѣ достопримѣчательности, рассказанныя въ „Мертвыхъ Душахъ“, необходимо освѣдомиться о тѣхъ подробностяхъ, которыя въ очеркахъ Гоголя помѣщены на темныхъ углахъ картины или подразумеваются подъ однимъ чуднымъ, геніально рожденнымъ словомъ, которымъ онъ способенъ хотъ кого „очертить съ ногъ до головы“ (стр. 207).

Не менѣе важное достоинство „Мертвыхъ Душъ“ состоитъ въ томъ, что ни одна самая маловажная, по видимому, сцена не изображена безъ полной декорации, дополняющей дѣйствіе и уясняющей смыслъ его. Говорится ли о номерѣ трактира,—не опущены изъ виду и комодъ, которымъ заставлена дверь въ другой номеръ, и фигура сосѣда. интересующагося знать обо всемъ (стр. 9). Вечеръ ли у губернатора,—и подъѣздъ дома представляетъ цѣлую картину: „коляски съ фонарями, передъ подъездомъ два жандарма, фореиторскіе крики вдали, словомъ, все, какъ нужно“ (стр. 19). Ужинъ у губернатора, выѣздъ изъ гостиницы, комната, Манилова и цѣлый рядъ картинъ представляютъ то же богатство, ту же вѣрность въ обстановкѣ и соблюденіи самыхъ мелкихъ подробностей. Возьмите, напримѣръ, комнату помѣщицы Коробочки: не оставлено ни одного

угла пустого—все набито сундучками, узелками, мешечками и т. п. дрянью и старою рухлядью: не забыть и портретъ старика съ красными обшлагами, и чулокъ за зеркальцемъ: цѣлая картина, достойная кисти Теньера или иного умнаго мастера фламандской школы, которая такъ глубоко понимала смыслъ будничной жизни и глупаго фамилнаго затишья, въ которомъ кропотливо и бесполезно возится и роется человѣкъ, полуумершій для окружающаго міра и проявляющійся только въ ничтожныхъ операціяхъ мелкаго, подслѣповатаго хозяйства, въ спусканьи чулочныхъ петель и гаданьи истертыми картами чортъ знаетъ о чемъ. Переноситъ ли онъ васъ въ трактиръ на проселочной дорогѣ—опять картина, полная, богатая, дышащая плѣсенью, смрадомъ и ветошью косной, неблаголѣпной жизни.

„Деревянный, потемнѣвшій трактиръ принялъ Чичикова подъ свой узенькій гостепріимный навѣсъ на деревянныхъ выточенныхъ столбикахъ, похожихъ на старинные церковные подсвѣчники. Трактиръ былъ что-то въ родѣ русской избы нѣсколько въ большемъ размѣрѣ. Рѣзные узорочные карнизы изъ свѣжаго дерева вокругъ оконъ и подъ крышей рѣзко и живо пестрили темныя его стѣны; на ставняхъ были нарисованы кувшины съ цвѣтами... Въ комнатѣ попались все старые пріятели... заиндѣвшій самоваръ, выскобленные гладко сосновыя стѣны, трехугольный шкафъ съ чайниками и чайками въ углу, фарфоровыя вызолоченныя яички предъ образами, висѣвшія на голубыхъ и красныхъ ленточкахъ, окотившаяся недавно кошка, зеркало, показывавшее вмѣсто двухъ четыре глаза, а вмѣсто лица какую-то лепешку; наконецъ, натканныя пучками душистыя травы и гвоздики у образовъ, высохшія до такой степени, что желавшій понюхать ихъ только чихалъ, и больше ничего“ (стр. 116.—117).

Одна нѣмая сцена въ гостиной Собакевича можетъ привести въ отчаяніе художника:

„Чичиковъ опять поднялъ глаза вверхъ и опять увидѣлъ Канари съ толстыми ляжками и нескончаемыми усами, Бобелину и дрозда въ клѣткѣ. Почти въ теченіе цѣлыхъ пяти минутъ всѣ хранили молчаніе; раздавался только стукъ, производимый носомъ дрозда о дерево деревянной клѣтки, на днѣ которой удилъ онъ хлѣбныя зернушки. Чичиковъ еще разъ окинулъ комнату, и все, что въ ней ни было, все было прочно, неуклюже въ высочайшей степени имѣло какое-то странное сходство съ самымъ хозяиномъ дома. Въ углу гостиной стояло пузатое орѣховое бюро на пренелѣпыхъ четырехъ ногахъ, совершенный медвѣдь. Столъ, кресла, стулья, все было самага тяжелаго и безпокойнаго свойства; словомъ, каждый предметъ, каждый стулъ говорилъ: и я тоже Собакевичъ! или: и я тоже очень похожъ на Собакевича!“ (стр. 182).

Каково же будетъ, послѣ такого обобщенія, чертитъ портретъ Собакевича, когда надо принять въ расчетъ и бюро, и Бобелину, и дрозда въ клѣткѣ и



выразить въ лицѣ Собакевича то, что есть общаго между нимъ и этими странными предметами?

А весь разсказъ о Капитанѣ,—не есть ли это цѣлый рядъ картинъ самыхъ живыхъ, самыхъ нестрыхъ, самыхъ безнокойныхъ, и, несмотря на то, что петербургская жизнь изслѣдована поближе, тайныхъ трудныхъ и подчасъ не поддающихся карандашу!

Изображеніе мелочныхъ деталей нашего хозяйства, аксессуаровъ ежедневныхъ сценъ нашей жизни представляетъ и то тягостное неудобство, что дубоватость и аляповатость формъ того, что вышло изъ рукъ промышленности, неподвижность и сосредоточенность характеровъ, невзрачность и угрюмость никогда не улыбающейся однообразной и холодной природы прямо противорѣчатъ условіямъ щеголеватаго рисунка, къ которому такъ падки вообще художники, рассчитывающіе болѣе на эффектъ своего произведенія, нежели на глубокий смыслъ, сокрытый въ каждой, съ перваго взгляда никого не поражающей линіи. Все tableaux de genre, сюжеты которыхъ взяты изъ русскаго быта (впрочемъ ихъ немного), погрѣшаютъ противъ истинности именно потому, что, дорожа больше всего эффектомъ, наши живописцы не только придаютъ лицамъ выраженіе, несвойственное русскимъ до того, что мужички какой-нибудь костромской вотчины оказываются болѣе похожими на тирольцевъ или, по крайней мѣрѣ, на малороссіянъ, и только у немногихъ—на петербургскихъ кучеровъ въ синихъ армякахъ, не только изображаютъ парголовское небо и воздухъ ни дать ни взять, какъ неаполитанское небо и воздухъ, а безхарактерныя, отлогія горы, залывшія, сонныя линіи береговъ озера или изгибовъ рѣки на ихъ рисункѣ получаютъ характеръ бойкихъ этюдовъ, съ щегольскими изломами, яркими пятнами и граціозною опушкой, во все несвойственными сѣверному климату,—но и въ самыхъ ничтожныхъ мелочахъ портятъ дѣло желаніемъ придать яркости и блеска натурѣ мрачной, забывая, что осмыслить и согрѣть свой рисунокъ могли бы они именно строгою передачею этихъ невыгодныхъ свойствъ избранной ими природы, разумѣя, что въ ней много тайной прелести для каждаго зрителя, потому что она, эта природа, сѣрая, матовая, отразилась въ фізіономіи обитателей. Но не думаютъ этого гг. живописцы, и изъ русской избы дѣлаютъ они какой-то шалашикъ, который какъ будто сорвался съ ледниковъ или, по крайней мѣрѣ, походить на украинскую хату. Отчего же? Отъ того, что и шалашикъ, и хата, дѣйствительно, эффектнѣе избы, упористой и безъ пошатки, приводящей въ отчаяніе своею крайнею законченностью, не допускающею возможности раскинуться и уйти зданію въ вышину и въ стороны, словно заковалъ себя мужичокъ въ этотъ сосновый коробъ и захопнулъ его крутою кровлей, такъ что блажная потребность украшеній не посмѣла пойти далѣе смѣшныхъ насѣчекъ и узоровъ. Да и тѣ, правду сказать, бывають только на большихъ дорогахъ, да въ большихъ и богатыхъ селахъ. То же можно сказать о костюмахъ и другихъ атрибутахъ нашихъ tableaux



de genre. Что за чудные цвѣта, что за мягкія, отливистыя ткани на синихъ армякахъ и пунцовыхъ сарафанахъ, какія характерныя, заломленныя на бокъ шапки, какія прочныя, сверкающія орудія, какая полная, блестящая упряжь на лошадяхъ!.. Удивительно богато, крайне нестро и потому самому вовсе не такъ, какъ въ дѣйствительности.

Всѣ эти недостатки долженъ предусмотрѣть тотъ, кто взялся иллюстрировать „Мертвыя Души“, гдѣ на каждомъ шагѣ надо имѣть дѣло съ фигурами не причесанными, съ ландшафтомъ угрюмымъ, съ декораціями оборванными, поношенными, потертыми...

Перейдемъ теперь къ дѣйствующимъ лицамъ „Мертвыхъ Душъ“ и разберемъ условія, которыя долженъ имѣть въ виду живописецъ, перенося въ рисунки глубоко задуманныя черты дѣйствующихъ лицъ поэмы.

Ни разу еще, ни въ одномъ произведеніи нашей литературѣ не былъ такъ глубоко, такъ всесторонне изображенъ русскій человѣкъ, какъ въ „Мертвыхъ Душахъ“, и что всего замѣчательнѣе, никогда еще не представалъ предъ нами русскій человѣкъ въ такомъ выгодномъ свѣтѣ, какъ въ „Мертвыхъ Душахъ“.

Гоголь ни на одно мгновеніе не упускалъ изъ вида общечеловѣческихъ условій характера каждаго изъ своихъ героевъ, и потому всѣ дѣйствующія лица его поэмы прежде всего являются *людьми*, какъ бы малы и ничтожны ни были они по положенію своему въ обществѣ, до какого бы нравственнаго уничтоженія ни были доведены воспитаніемъ и неизбѣжнымъ теченіемъ дѣлъ. Въ каждомъ изъ нихъ легко усмотрѣть всѣ человѣческія движенія; каждый имѣетъ свои предметы живого сочувствія и злой антипатіи; у каждаго свой „задоръ“, какъ сказалъ самъ Гоголь, и по этому-то всѣ они возбуждаютъ такое глубокое сочувствіе въ каждомъ читателѣ, не разучившемся думать и чувствовать. Изъ этого великаго достоинства „Мертвыхъ Душъ“ прямо вытекаетъ необходимое условіе для живописца—ни подъ какимъ видомъ не дѣлать изъ дѣйствующихъ лицъ поэмы немощныхъ уродовъ, одностороннихъ каррикатуръ... Это будетъ вопиющая ошибка противъ идеи, положенной въ основаніе каждаго характера, созданнаго Гоголемъ

Не менѣе удивительна страшная жизненность лицъ, выведенныхъ имъ на сцену. Читая характеристику каждаго изъ нихъ, чувствуешь какой-то приливъ силъ, какую-то особенную радость, потому что такъ и трепещутъ жизнью эти лица, будутъ ли то невзрачный и неприличный Петрушка, „малый“ Коробочки, Порфирій, Павлушка или благовидная чета Маниловыхъ, граціозная губернаторская дочка, самъ кроткій губернаторъ или какой-нибудь бойкій краснощекій квартальный въ лакированныхъ ботфортахъ, дряблая, тщедушная старушонка съ фланелью, намотанною на шеѣ, предсѣдатель, жалующійся на сидячую жизнь съ ея послѣдствіями, и дама „пріятная во всѣхъ отношеніяхъ“, совершенная бѣлфамъ на основаніи вновь полученной выкройки и подающая большія надежды;

всегда найдется въ душѣ много безпокойнаго участія къ ихъ судьбѣ, къ ихъ „задору“, къ ихъ немощамъ, и чувствуешь какое-то внутреннее довольство отъ сообщества съ этими совершенно живыми лицами. Не потому хорошо съ ними, что они хороши: нѣтъ, большая часть изъ нихъ представляетъ „характеры скучные, противные, поражающіе своею невзрачностью“ (стр. 256),—но потому, что жизнь всегда и во всемъ отрадна и сама по себѣ, независимо отъ всѣхъ опредѣляющихъ ее условій, есть величайшее благо, какое только можетъ въ понятіяхъ своихъ создать человѣкъ. Дѣйствительно, на сколько можно допустить силъ и крѣпости въ томъ или другомъ лицѣ „Мертвыхъ Душъ“, на столько проявляются эти силы и крѣпость въ поступкахъ его: живетъ онъ всѣми силами своего существа, вѣчно пребывая вѣренъ тѣмъ особенностямъ, которыя опредѣляютъ его личность.

Сверхъ того; всѣ лица поразительны и въ другомъ отношеніи.— Читая ихъ похождения, весьма легко различить поступки, сдѣланные ими на основаніи общечеловѣческихъ побужденій, и тѣ, которые были прямымъ слѣдствіемъ мѣстныхъ и историческихъ обстоятельствъ.

Образы Гоголя такъ строго, такъ мудро начертаны, на созданіе ихъ положено столько силы, что ихъ можно сравнить съ тѣми превосходными произведеніями великихъ живописцевъ, у которыхъ сквозь верхнюю краску, соответствующую подлинному цвѣту лица, какъ бы просвѣчиваетъ бездна другихъ красокъ, слоями проложенныхъ прежде и сообщающихъ написанному тѣлу мягкость и прозрачность. Читая описаніе характера любого лица въ „Мертвыхъ Душахъ“, взятаго въ данный моментъ, незамѣтнымъ образомъ узнаешь его біографію, поймешь всѣ обстоятельства, которыя сдѣлали изъ него то, что онъ есть въ настоящую минуту, точно такъ же, какъ на истинно художественныхъ портретахъ дивишься красотѣ лица давно увядшаго, и въ жесткихъ чертахъ старца наладишь когда-то красиваго, полного силъ юношу.

Въ заключеніе замѣтимъ, что весьма странно было бы видѣть въ герояхъ „Мертвыхъ Душъ“ портреты, писанные съ нѣсколькихъ удачно подобранныхъ пидивидуумовъ. Правда, опровергая такое странное мнѣніе, часто повторяемое многими почитателями Гоголя, не понимающими его истиннаго достоинства, какъ разъ можно впасть въ наивность и начать толковать читателейъ (во время!), что такое поэтическое отвлеченіе и что такое идеаль; скажемъ только, что герои „Мертвыхъ Душъ“—не дагерротипные снимки и вовсе не портреты, и если можно позволить себѣ сравненіе ихъ съ какими-нибудь произведеніями живописи, то развѣ съ нѣкоторыми идеальными портретами фламандской школы, портретами, не списанными съ историческихъ лицъ того времени, но созданными воображеніями Рембранта или Ванъ-Дейка. Когда смотришь на эти умныя лица, невольно чувствуешь, что произвольно взятое лицо того времени не могло такъ вѣрно, такъ полно выражать идею художника, что тощая, лукавая фигура монаха въ

темносерой рясой, открытое, разгульное лицо кавалера въ брабантскихъ кружевахъ и съ золотою цѣпью и медалью на груди, красные носы и одутловатая фizioномiя игроковъ въ кости или странствующихъ музыкантовъ не счерчены живописцами съ живыхъ подлинниковъ. Но эти лица были изучены, грубоко поняты художникомъ; всѣ черты, характеризующія идею монаха, рыцаря, ростовщика, прелестницы XVI вѣка, вылились въ идеальныхъ портретахъ тогдашнихъ живописцевъ, и эти портреты, по справедливости, принадлежатъ къ числу величайшихъ произведеній искусства. Подобнымъ же образомъ, каждое лицо въ „Мертвыхъ Душахъ“ есть въ то же время выводъ изъ цѣлой категорiи людей, и нѣтъ такого слоя общества, изъ котораго бы это сочиненiе не набрало своихъ сюжетовъ.

Что касается до трудности исполненiя портретовъ, то мы приведемъ слова самого Гоголя объ этомъ предметѣ: „Гораздо легче изображать характеры большаго размѣра: тамъ просто бросай краски со всей руки на полотно, черные, палящiе глаза, нависшiя брови, перерѣзанный морщиною лобъ, перерекинутый черезъ плечо черный или алый, какъ огонь, плащъ, и—портретъ готовъ; но вотъ эти всѣ господа, которыхъ много на свѣтѣ, которые съ виду очень похожи между собою, а между тѣмъ, какъ приглядишься, увидишь много самыхъ неувомыхъ особенностей, эти господа страшно трудны для портретовъ. Тутъ придется сильно напрягать вниманiе, пока заставишь передъ собою выступить всѣ тонкiя, почти невидимыя черты, и вообще далеко придется углублять уже изощренный въ наукѣ вышыванiя взглядъ“ (стр 39—40). Спрашивается: если гениальный писатель, для котораго всякая фizioномiя какъ бы просвѣчивается, который въ ничтожныхъ, сглаженныхъ чертахъ читаетъ всѣ задушевные тайны челоука, если такой сильный писатель признаетъ, что написать портретъ челоука „совершенно обыкновеннаго“ въ высшей степени трудно, то какъ должно смотрѣть на этотъ подвигъ тѣмъ, которые хотятъ дополнить впечатлѣнiе, произведенное „Мертвыми Душами“, договорить мысли Гоголя, рассказать въ ста рисункахъ похождения Чичикова?

Теперь перейдемъ къ рисункамъ гг. Агина и Бернардскаго.

Не приступая еще къ сужденiю о достоинствѣ самыхъ картинъ, замѣтимъ, что предпрiятiе г. Бернардскаго должно истинно порадовать того, кто понимаетъ всю важность „Мертвыхъ Душъ“ для русскаго общества и сочувствуетъ успѣхамъ русской живописи.

Художникъ, котораго такъ заинтересовало творенiе Гоголя, что онъ рѣшился взяться за изображенiе трудныхъ и глубоко задуманныхъ сценъ изъ этой поэмы, предпочитая такое занятiе поставкѣ картинокъ въ ежедневно появляющiяся игрушечныя изданiя съ полиטיפажамъ, заслуживаетъ полнаго уваженiя. Челоукъ, прочитавшiй „Мертвыя Души“, имѣетъ несравненно болѣе права на названiе содѣлающаго челоука, нежели тотъ, кто не читалъ ихъ; а тотъ, кто на дѣлѣ по-

казалъ, какъ сильно было впечатлѣніе, произведенное на него такимъ чтеніемъ, безъ сомнѣнія, читалъ „Мертвыя Души“ пристально и понималъ ихъ лучше многихъ... Сверхъ того, мысль начертать нѣсколько сценъ изъ „Мертвыхъ Душъ“ показываетъ, что художникъ понималъ картинность описаній Гоголя, бездну красокъ, потраченныхъ на эти описанія, и всѣ исчисленные и не исчисленные нами достоинства его поэмы. Наконецъ, художникъ—человѣкъ русскій, вѣроятно, выдѣвшій Россію. Сколько данныхъ, говорящихъ въ пользу изданія! И мы раскрыли первый выпускъ „Ста рисунковъ“ съ увѣренностью и полнымъ убѣжденіемъ, что это изданіе имѣетъ много несомнѣнныхъ достоинствъ. Притомъ и далеко несовершенный трудъ, въ родѣ изданій г. Бернардакаго, былъ бы интересенъ и заслуживалъ бы вниманія, какъ благородная попытка употребить труды и капиталъ на иллюстрацію сочиненія, появленіе котораго составило эпоху.

Судя по первымъ выпускамъ „Ста рисунковъ“, мы полагали, что содержаніемъ этихъ рисунковъ послужитъ все, что въ текстѣ „Мертвыхъ Душъ“ особенно напрашивается на карандашъ живописца. Къ такому предположенію мы были приведены полиטיפажами, изображавшими сцены, мало относящіяся къ главному сюжету поэмы, но дѣйствительно болѣе или менѣе живописныя, напримѣръ, въѣздъ Чичикова въ губернский городъ; разговоръ мужиковъ о колесѣ; Петрушка и Селифанъ, вносящіе въ комнату чемоданъ; чиновники, играющіе въ вистъ у губернатора, и много другихъ. Но по выходѣ двѣнадцати выпусковъ оказалось, что цѣль изданія—изобразить преимущественно тѣ сцены, которыя находятся въ тѣсной связи съ главною интригою поэмы, то-есть, съ покупою мертвыхъ душъ. Художники оставили безъ воспроизведенія тѣ дивныя мѣста поэмы, въ которыхъ Гоголь явился исключительно живописцемъ, совершенно независимымъ отъ самого себя, какъ отъ рассказчика. Напримѣръ, говоря о фигурахъ въ черныхъ фракахъ, бывшихъ на балѣ у губернаторши, Гоголь сравниваетъ ихъ съ мухами, которыя носятся надъ сахаромъ, и при этомъ случаѣ удивительно живописно нарисовалъ старую ключницу, колющую сахаръ. Въ другомъ мѣстѣ, при описаніи сада Манилова, очень живописны фигуры двухъ бабъ, по колѣни въ прудѣ, влачащихъ за два конца изорванный бредень и перебранивающихся между собою,—однакожъ онѣ пропущены художникомъ. Равнымъ образомъ дивная картина сада Плюшкина не вошла въ число полиטיפажей, и вѣроятно, много будетъ такихъ мѣстъ, о которыхъ придется очень и очень пожалѣть, что они не вошли въ изданіе.

Такимъ образомъ, „Сто рисунковъ къ Мертвымъ Душамъ“ получаютъ въ глазахъ публики уже не то значеніе, которое имѣли по выходѣ первыхъ трехъ выпусковъ; это будетъ скорѣе рядъ портретовъ тѣхъ лицъ, которыя наиболѣе принимаютъ участіе въ мудрой сдѣлкѣ по поводу не существующихъ мужичковъ. Конечно, и такіе рисунки могутъ быть великою услугою публикѣ, но замѣтимъ, что этимъ самымъ выборомъ художники задали себѣ самую трудную задачу, по-

тому что нѣтъ ничего труднѣе, какъ нарисовать такіе портреты. Притомъ, имѣя въ виду въ общанныхъ „Ста рисункахъ“ передать всѣ похождения Чичикова, художники поставили себя въ крайне затруднительное положеніе; по поводу одного какого-нибудь многозначительнаго слова, которымъ вяжется рассказъ, имъ приходится иногда рисовать сцену вовсе не живописную. Такъ, напримѣръ, задушевный разговоръ Чичикова съ Собакевичемъ о добродѣтеляхъ и пріятностяхъ губерскихъ чиновниковъ, который Собакевичъ завершилъ такими выразительными словами: „Я ихъ знаю всѣхъ: это все мошенники, весь городъ тамъ такой: мошенникъ на мошенникѣ сидитъ и мошенникомъ погоняетъ. Всѣ христопродавцы. Одинъ тамъ только и есть порядочный человѣкъ—прокуроръ; да и тотъ, если сказать правду, свинья“,—вызвалъ картину, совершенно ничего не выражающую. Чичиковъ и Собакевичъ сидятъ въ креслахъ очень спокойно, и ничего не прочтешь на ихъ лицахъ.

Для полной оцѣнки изданія, разберемъ характеры героевъ „Мертвыхъ Душъ“ и сравнимъ портреты Гоголя съ портретами г. Агина.

Главный герой поэмы, Чичиковъ, изображенъ у Гоголя уже на первой страницѣ слѣдующимъ образомъ: „Въ бричкѣ сидѣлъ господинъ не красавецъ, но и не дурной наружности, не слишкомъ толстъ, не слишкомъ тонокъ; нельзя сказать, чтобы старъ, однакожъ и не такъ, чтобы слишкомъ молодъ“, Такое опредѣленіе наружности доказываетъ, какъ неувовимы были черты Чичикова. Крайняя добропорядочность и сглаженность всѣхъ чертъ лица Чичикова были отчасти причиною успѣховъ его въ обществѣ. Губернаторъ и всѣ чиновники утвердительно сказали, что „наружность благонамѣренна“. Въ лицѣ его дамы города N нашли даже „что-то марсовское и военное“; наконецъ, самъ Гоголь о наружности его сказалъ только: „На родителей лицомъ онъ не походилъ: по крайней мѣрѣ, родственница, бывшая при его рожденіи, низенькая, коротенькая женщина, которыхъ обыкновенно называютъ пиголицами, взявши на руки ребенка, вскрикнула: „Совсѣмъ вышелъ не такой, какъ я думала! Ему бы слѣдовало пойти въ бабку съ матерней стороны, что было бы и лучше, а онъ родился просто, какъ говоритъ пословица: *ни въ мать, ни въ отца, а въ протѣзжаго молодца*“.

И только! Такое лицо, вѣроятно, непохоже на отвратительную фигуру, помещенную на 4-мъ рисункѣ, жующую какую-то кость за трактирнымъ столомъ, фигуру неуклюжую, толстую и рѣшительно каррикатурную. Достаточно напомнить художнику, что лицо Чичикова нравилось не только жителямъ города N, но и всѣмъ тѣмъ лицамъ, съ которыми доводилось ему встрѣчаться въ жизни. Только одинъ разъ не влюбилъ его благообразное лицо начальникъ какой-то строительной комиссіи, человѣкъ военный и строгій, не влюбилъ именно за безукоризненность фizioноміи и тѣмъ обнаружилъ на минуту страшный радикализмъ въ

своихъ административныхъ распоряженіяхъ (стр. 448). Возможно ли допустить, чтобы Чичиковъ, про котораго сказалъ Гоголь, что „куда ни повороти былъ очень порядочный человѣкъ“, походилъ на жалкую фигуру, изображенную на рисункахъ нумеровъ 8-го, 10-го и 11-го? Весьма ошибочно думать, что Чичиковъ не могъ быть дѣйствительно красивъ или, лучше сказать, пригожъ собою и имѣть черты довольно правильные, а не одутловатое, совершенно неприличное лицо. Главная причина такой ошибки заключается въ томъ, что художникъ принялъ въ расчетъ только тѣ мѣста въ поэмѣ, гдѣ говорится о пріятной полнотѣ лица и круглости подбородка и о пріятныхъ формахъ героя, забывая, что, несмотря на нѣкоторую дородность, существо, до такой степени энергическое, какъ Чичиковъ, перенесшее столько превратностей и лишеній, не могло заплывать до такой степени, какъ оно оказывается на первыхъ изображающихъ его рисункахъ, не сохранивъ въ своей фizioноміи какихъ-нибудь слѣдовъ внутренней раны, работавшей въ немъ. Достаточно было принять въ соображеніе что такое въ сущности *бель-омы* и какъ на нихъ смотреть! Не болѣе ли было бы глубокаго комизма въ фигурѣ Чичикова, если бъ онъ былъ гораздо лучше лицомъ, постройнѣе и поразвязнѣе въ принимаемыхъ имъ позахъ? Притомъ, допустимъ даже, что Чичиковъ былъ полонъ и некрасивъ, и что наши дамы не только не нашли въ немъ чего-нибудь „марсовскаго“, но, увидѣвъ его, въ одинъ голосъ закричали бы „противный“, допустимъ и такое противорѣчащее повѣствованію положеніе,—все-таки рисунки, на которыхъ изображенъ Чичиковъ, неудовлетворительны въ томъ отношеніи, что художникъ, думая только о полнотѣ лица рисуемой фигуры, не позволилъ себѣ ни одной черточки для изображенія разныхъ движеній, пробѣгавшихъ по этому лицу при разныхъ обстоятельствахъ... Критическія положенія, въ которыхъ находится иногда Чичиковъ, на рисункахъ тоже утрированы. Напримѣръ, когда Ноздревъ показываетъ щенка и нагнулъ Чичикова для того, чтобъ онъ пощупалъ щенку носъ и уши, Чичиковъ слишкомъ наклоненъ къ землѣ, представляетъ слишкомъ жалкую фигуру, и даже похоже, будто Ноздревъ предварительно далъ ему порядочнаго щелчка. Особенно плохъ Чичиковъ на всѣхъ рисункахъ, изображающихъ его пребываніе у Ноздрева; тутъ характеръ умнаго лица Чичикова рѣшительно утраченъ: играетъ въ шашки, ждетъ наказанія чубкомъ изъ рукъ Ноздрева и вѣрныхъ рабовъ его и, наконецъ, убѣгаетъ, „по-за спиною капитана исправника“ какой-то жалкій толстякъ, довольно глупый съ виду и крайне неуклюжій въ движеніяхъ.

Но ни на одной картинкѣ не пострадала такъ наружность Чичикова, какъ на картинкѣ нумера 47-го, изображающей то мгновеніе, когда „Чичиковъ проснулся, потянулъ руки и ноги и почувствовалъ, что выспался хорошо; полежавъ минуты двѣ на спинѣ, онъ щелкнулъ рукою и вспомнилъ съ просіявшимъ лицомъ, что у него теперь безъ малаго четыреста душъ. Тутъ же вскочилъ онъ съ постели... прямо, такъ, какъ былъ, надѣлъ сафьянные сапоги... и по шотландски въ одной



короткой рубашкѣ, позабывъ свою степенность и приличныя среднія лѣта, произвелъ по комнатѣ два прыжка, приклепнувъ себя весьма ловко пяткой ноги“. Эта сцена, преисполненная невыразимо тонкаго комизма у Гоголя, рѣшительно пропала на картинѣ. Корбенькій, толстенъкій человѣчекъ, почти голый, въ ночномъ колпакѣ разбѣжался... и того и жди — упадетъ на полъ. Лицу Чичикова, вмѣсто тонкаго выраженія довольства и хитрыхъ соображеній, придана улыбка человѣка, сдѣлавшаго эксцентрическій прыжокъ въ какомъ-нибудь экоссежѣ...

Впрочемъ, должно замѣтить, что на нѣкоторыхъ рисункахъ фізіономія Чичикова передана несравненно удачнѣе: всѣ сцены, происходящія у Собакевича и Плюшкина, прекрасны; особенно хороша картинка нумера 36-го, изображающая весьма тонкое объясненіе Чичикова съ Собакевичемъ, когда первый отстаиваетъ цѣну по два съ полтиною съ души, не смотря ни на какія возраженія и убѣжденія Собакевича. Тутъ лицо Чичикова схвачено превосходно, и если художники въ послѣдующихъ выпускахъ будутъ придерживаться этого рисунка, то изданіе очень много выиграетъ. Какъ хороша поза Чичикова! Какъ вѣрно понялъ художникъ, что человѣкъ твердый и въ то же время крайне благоприличный, высказывая что-нибудь не совсѣмъ пріятное и чувствуя себя въ то же время совершенно правымъ, непремѣнно слегка барабанитъ пальцами или дѣлаетъ иное легкое движеніе, стараясь какъ-бы разсѣяться и скрыть нѣкоторое внутреннее безпокойство, непремѣнно пробужденное споромъ и неуступкою!

О *Маниловѣ* приведемъ слова самого Гоголя: „Одинъ Богъ развѣ могъ сказать, какой былъ характеръ Манилова. Есть родъ людей, извѣстныхъ подъ именемъ: люди такъ себѣ, ни то ни се, ни въ городѣ Богданѣ ни въ селѣ Селифанѣ, по словамъ пословицы. Можетъ быть, къ нимъ слѣдуетъ примкнуть и Манилова. На взглядъ онъ былъ человѣкъ видный; черты лица его были не лишены пріятности, но въ эту пріятность, казалось, черезчуръ было передано сахару; въ пріемахъ и оборотахъ его было что-то заискивающее расположенія и знакомства. Онъ улыбался заманчиво, былъ бѣлокуръ, съ голубыми глазами... У всякаго есть свой задоръ... но у Манилова ничего небыло“ Въ арміи онъ считался „скромнѣйшимъ, деликатнѣйшимъ и образованнѣйшимъ офицеромъ“. Когда случалось ему замечтаться о какомъ-нибудь вздорѣ, о подземномъ ходѣ или мостѣ черезъ прудъ съ лавками и т. п., о дружбѣ и пріятномъ обращеніи, тогда „глаза его дѣлались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выраженіе“.

У г. Агина Маниловъ вообще вышелъ очень не дуренъ, за исключеніемъ двухъ-трехъ рисунковъ, на которыхъ и это лицо погрѣшаетъ въ отношеніи благообразія, и замѣтно поползновеніе къ каррикатурѣ. Всего лучше изображенъ Маниловъ въ нѣжной сценѣ съ женою (номеръ 7-й) и при встрѣчѣ съ Чичиковымъ на пути въ гражданскую палату. Говоря о портретѣ Манилова, нельзя не замѣтить, что г. Агинъ обладаетъ особеннымъ талантомъ вѣрно схватить тѣ



малозамѣтныя положенія человѣка, которыя случается принимать каждому въ тѣ минуты, когда хочется быть въ высшей степени приличнымъ и непринужденно любезнымъ. На многихъ рисункахъ Маниловъ изображенъ въ полоборота, иногда и спиной къ сценѣ; но позы его прекрасно выражаютъ желаніе самыми движеніями угодить гостю. Его шалонный сюртукъ и весь домашній костюмъ, чубукъ и шуба „на медвѣдяхъ“, все изучено и передано на рисунокъ съ удивительною вѣрностью.

Деревянное лицо *Коробочки* совершенно выражаетъ характеръ „простой, глупой старухи“, какъ заключили о ней въ концѣ поэмы чиновники города *N*. По можно замѣтить художнику, что Коробочка, оказавшись недогадливою и совершенно глупою въ дѣлѣ о покупкѣ мертвыхъ душъ, въ которомъ и другіе, болѣе ловкіе люди дали сильнѣйшій промахъ,—какъ старуха и помещица, въ своемъ углу и въ сферѣ своей кропотливой дѣятельности, является ничѣмъ не хуже всякой другой старухи, и поэтому можно было бы сообщить ея лицу больше разнообразія, больше игры въ чертахъ. Окруженная своими курятниками, тряпьемъ и внучатами, Коробочка, безъ сомнѣнія, и хлопочетъ, и возится, и бранится... Эти движенія должны бы просвѣчивать въ старческомъ лицѣ ея; вотъ чего не принялъ въ соображеніе художникъ.

*Ноздревъ* у Гоголя изображенъ чернявымъ, средняго роста и очень недурно сложеннымъ молодцомъ: „Свѣжъ онъ былъ, какъ кровь съ молокомъ; здоровье, казалось, такъ и прыскало съ лица его“ (стр. 120). По нраву и по обычаю онъ принадлежалъ къ людямъ, которые „называются разбитными малыми, слывъ еще въ дѣтствѣ и въ школѣ за хорошихъ товарищей и при всемъ томъ бываютъ весьма больно поколачиваемы. Въ ихъ лицахъ всегда видно что-то открытое, прямое, удалое“. Эти слова еще не давали права живописцу сдѣлать Ноздрева невзрачнымъ и опухшимъ, какимъ является онъ почти на всѣхъ картинкахъ, особенно на тщательно нарисованномъ портретѣ его въ халатѣ, съ чашкою и трубкою въ рукахъ. Въ этотъ моментъ, по словамъ самого Гоголя, онъ былъ очень хорошъ для живописца, не любящаго страхъ господъ прилизанныхъ и завитыхъ подобно цирюльнымъ вѣвѣскамъ или выстриженныхъ подъ гребенку“. Но между цирюльною вѣвѣскою и лицомъ, приданнымъ Ноздреву на этой картинкѣ, разстояніе велико. Положимъ, что въ лицѣ этого молодца можно допустить много разбитного и удалого, положимъ что онъ смотритъ отчасти и развратно, но необходимо принять въ соображеніе удивительное здоровье Ноздрева, его крѣпкое сложеніе: слѣды разгула и бессонной ночи не могутъ быть такъ ярки на лицѣ его, какъ на лицѣ человѣка, котораго коснулось разрушеніе отъ черезчуръ распашной жизни или по природѣ слабаго.

На двухъ рисункахъ, впрочемъ, Ноздревъ вышелъ очень удаченъ: когда онъ играетъ съ Чичиковымъ въ шашки, и въ минуту пріѣзда капитана исправника. На первомъ превосходно схвачено плутовское выраженіе лица

Поздрева, который передвигает шашку рукавом халата; все лицо немножко искривлено, потому что въ то же время онъ курить трубку и потому держать голову въ поворотъ къ столу; это—одинъ изъ лучшихъ рисунковъ, какъ по сочиненію, такъ и по исполненію. На другомъ рисункѣ очень недурно изображено смущеніе Поздрева, которому „мѣстная полиція“ объявляетъ, что онъ „находится подѣ судомъ“, какъ замѣшанный „въ исторію, по случаю нанесенія помѣщику Максимову личной обиды розгами въ пьяномъ видѣ“. Онъ видимо поблѣднѣлъ, придерживаетъ изъ приличія рукою халатъ, и вся фигура его поставлена удачно.

Собакевича художникъ понялъ лучше другихъ героев „Мертвыхъ Духъ“. Нигдѣ почти онъ не изображенъ въ каррикатурѣ и этимъ самымъ много выигрываетъ въ сравненіи съ другими портретами, вовсе не хуже нарисованными, но *совсемъ неправдоподобными*. Собакевичъ г. Агина дѣйствительно похожъ на „средней величины медвѣдя“, и аналогія между этимъ „на-диво сформованнымъ лицомъ“ и его неуклюжимъ бюро схвачена художникомъ. Ноги его похожи на „тротуарныя тумбы“, „спина широкая, какъ у вятскихъ приземистыхъ лошадей“, всѣ условія неуклюжести и неповоротливости строго выполнены. Одно можно замѣтить: выраженіе лица Собакевича на нѣкоторыхъ рисункахъ не довольно лукаво, не довольно косить на уголъ печи, не довольно смекается...

Что касается до портрета *Плюшкина* (№ 45) и всѣхъ рисунковъ, на которыхъ онъ изображенъ, то это рѣшительно лучшая часть изданія. Видно какъ-то, что художникъ съ особенною любовью взялся за это лицо, что онъ глубоко понялъ, что такое скупость, и какъ сушить, какъ деревенить она лицо человѣка. Ни одна страсть не можетъ такъ долго и такъ сильно господствовать въ человѣкѣ, какъ скупость. Всякая другая страсть убьетъ человѣка,—скряги, напротивъ того, бываютъ долговѣчны. Г. Агинъ вполне выразилъ въ своихъ рисункахъ идею скупости во всемъ ея страшномъ величіи. И до такой степени хорошо изученъ имъ Плюшкинъ, что даже то рѣдкое мгновеніе, когда жалкій скряга вспомнилъ о своемъ товарищѣ дѣтства, однокорытникѣ, предсѣдателѣ гражданской палаты, и „на этомъ деревянномъ лицѣ вдругъ скользнулъ какой-то теплый лучъ, выразилось не чувство, а какое то блѣдное отраженіе чувства“,—даже это мгновеніе передано на рисункѣ довольно вѣрно.

Второстепенныя лица, которыя такъ важны въ „Мертвыхъ Душахъ“, изображены всѣ равно удачно. Нельзя не попенять художнику за Селифана и Петрушку, которые почти совсѣмъ не напоминаютъ у него того, что говоритъ о нихъ Гоголь.

*Селифанъ* несравненно болѣе похожъ на ямщика средней руки или на легкового извозчика, нежели на крѣпостного человѣка и барскаго кучера. *Петрушка*, „малый немного суровый на взглядъ, съ очень крупными губами

и носомъ“, далеко не такъ выразителенъ и характеренъ, какъ Порфирій Ноздрева, въ которомъ такъ и отразилась вся низость и униженная покорность человѣка, взрослошаго подъ палкой, на побѣгушкахъ и въ вознѣ съ барскимъ щенкомъ.

Фигуры *двухъ мужиковъ*, толкующихъ о томъ „доѣдетъ ли колесо, если бъ случилось, въ Москву и въ Казань“, принадлежатъ къ числу тѣхъ рисунковъ, которыхъ, къ сожалѣнію, очень мало помѣщено въ изданіи г. Бернардакаго. Художникъ положилъ много старанія, чтобы нарисовать ихъ какъ можно вѣрнѣе: видно, что не разъ присматривался онъ къ мужичкамъ разныхъ окладовъ,—и одинъ изъ нихъ, у котораго борода клиномъ, вышелъ очень недурень. Разсматривая же обѣ фигуры, какъ группу, нельзя не замѣнить, что въ положеніи ихъ не довольно флегматизма и лѣности, которою дышитъ самый ихъ разговоръ.

*Чиновники за картами* (номеръ 5-й) срисованы со словъ Гоголя, какъ нельзя вѣрнѣе. Всѣхъ лучше вышелъ почтмейстеръ, который, „взявши въ руки карты, тотъ же часъ выразилъ на лицѣ своемъ мыслящую фізіономію, покрылъ нижнею губою верхнюю и сохранилъ такое положеніе во все время игры“. Впрочемъ, чиновниковъ предстоитъ г. Агину изобразить въ слѣдующихъ выпускахъ въ положеніяхъ болѣе трудныхъ и драматическихъ.

Очень понравился намъ *приказчикъ Манилова*; художникъ внимательно прочелъ біографію этого господина и принялъ къ свѣдѣнію его лѣнивый образъ жизни. Заспанная, неуклюжая фигура его и непринужденная поза какъ нельзя лучше объясняютъ свободныя, не слишкомъ раболѣпныя отношенія вѣрнопостного человѣка къ такому помѣщику, каковъ Маниловъ.

Всѣхъ лучше изъ лицъ второго порядка показался намъ *Мижухевъ*. Рисунокъ, изображающій его въ ту минуту, когда онъ „нагрузился вдоволь“ и „отпрашивался домой лѣнивымъ вялымъ голосомъ“, принадлежитъ къ числу самыхъ удачныхъ во всемъ изданіи.

Въ заключеніе замѣтимъ, что нѣкоторые рисунки заслуживаютъ особеннаго вниманія *по сочиненію*. Двѣ или три сцены отличаются весьма полною и строго обдуманною обстановкой. Къ числу такихъ рисунковъ нельзя не отнести эротическую сцену между Маниловымъ и женою, какъ нельзя лучше выражающую слова Гоголя: „Словомъ они были то, что говорится — счастливы... Весьма часто, сидя на диванѣ, вдругъ совершенно неизвѣстно изъ какихъ причинъ, одинъ оставивши свою трубку, а другая работу..., они напечатлѣвали другъ другу такой томный и длинный поцѣлуй, что въ продолженіе его можно бы легко выкурить маленькую соломенную сигарку“. Не только фигура жены Манилова, дамы деликатной и пріятной наружности, и Манилова, который, сидя въ креслахъ, пребываетъ въ совершенномъ упоеніи, но и всѣ мелочи: убранство

комнатъ, чубуки, висящія на стѣнѣ, сантиментальныя гравюры идиллическаго содержанія, все показываетъ, что художникъ понялъ Гоголя.

Равнымъ образомъ, очень хорошо скомпанованы рисунки, изображающіе разговоръ Ноздрева, Чичикова и Мижуева, когда Ноздревъ начинаетъ „лить пули“, рассказывать небывальщину, а зять пребываетъ твердъ въ своемъ невѣріи; смотръ щенка, гдѣ всѣ лица, кромѣ Чичикова, прекрасны: азартъ Ноздрева, подбострастіе Порфирія и трактирщицы, и наконецъ, Мижуевъ, который давно знаетъ щенка и съ тоски пускаетъ въ стороны, для развлеченія, кольца табачнаго дыма; обѣдъ у Собакевича, и многіе другіе.

Остается пожелать художникамъ полного успѣха въ ихъ трудномъ и почетномъ предпріятіи. Имъ предстоитъ изобразить такія сцены, которыя заставятъ забыть недостатки первыхъ выпусковъ, особенно, если мало по малу фізіономія Чичикова строже опредѣлится въ сознаніи художника, если откажется онъ окончательно отъ манеры каррикатурить строго созданные образы Гоголевскихъ героевъ, избересть для рисунковъ сцены, наиболѣе доступныя полнотипажной живописи, помѣститъ поболѣе портретовъ такихъ лицъ, которыя, едва мелькнувъ въ поэмѣ, охарактеризовали цѣлыя группы и потому заслуживаютъ вниманія и изученія....

И какая богатая канва представляется живописцу во второй половинѣ „Мертвыхъ Душъ“! Дѣтство Чичикова, повѣсть о капитанѣ Копейкинѣ, „дорога“ (если только художникъ предполагаетъ украсить трудъ свой тремя или четырьмя ландшафтами) и фантастическая „тройка“, мчащаяся въ неизмѣримомъ пространствѣ.... Будемъ надѣяться, что сочувствіе художника къ Гоголю, его наблюдательность и твердый, бойкій карандашъ подарятъ нашу публику изданіемъ, которое оставитъ по себѣ благодарную память въ кругу людей образованныхъ и живо принимающихъ въ сердце опытъ молодого таланта, служащаго искусству для искусства.

---

Я. Г. Бутковъ.

Петербургскія Вершины, описанныя Я. Бутковымъ. Книга вторая. Санктпетербургъ. 1846 г.

Если бы г. Бутковъ былъ устарѣлый, да притомъ еще безталантный писатель, то мы не сочли бы нужнымъ распространяться о новомъ его произведеніи: сочиненія такихъ писателей похожи на пѣніе птицъ: всегда выходитъ, что бѣдные сочинители производили ихъ какъ будто бы для собственнаго удовольствія. Чего искать въ нихъ публикѣ? Современнаго интереса въ нихъ, разумѣется, не можетъ быть: поддѣлка подъ современность никогда не удастся: истори-

ческой важности они также не могут имѣть, какъ произведенія людей безсильныхъ и потому не пользовавшихся успѣхомъ въ свое время. Слѣдовательно, странно было бы и критикѣ обращать на нихъ серьезное вниманіе: пусть плачетъ себѣ старый филинъ на развалинахъ того, о чемъ не стоитъ жалѣть, пусть чирикаетъ пожилая малиновка все такъ же нѣжно, какъ въ первую весну своей пустой жизни, пусть каркаетъ сѣдая ворона, хоть бы даже съ тѣмъ, чтобы заглушить соловьевъ,—кому они мѣшаютъ, кто ихъ слушаетъ, кому до нихъ дѣло? Развѣ такимъ же птицамъ, какъ они сами, да и то рѣдко...

Г. Бутковъ—писатель молодой, съ притязаніемъ на современность, одаренный довольно оригинальнымъ талантомъ въ томъ родѣ, въ которомъ особенно нуждается наше общество. Слѣдовательно, критика обязана разсматривать его произведенія и опредѣлять выражающіяся въ нихъ силы со всевозможною строгостью. Постараемся исполнить эту обязанность столько, сколько позволяютъ предѣлы библиографической статьи и необходимость приведенія выписокъ изъ подлинника.

Главный признакъ младенческаго общества—малочисленность потребностей и недостатокъ поприщъ для разнообразныхъ талантовъ, недостатокъ, который имѣетъ слѣдствіемъ для каждаго отдѣльнаго лица или ложное сознаніе или совершенное незнаніе своихъ силъ. Талантъ рвется наружу; но можно ли ожидать, чтобъ онъ непременно нашелъ правильную дѣятельность и принесъ здоровые плоды тамъ, гдѣ слишкомъ мало явленій, которыя въ состояніи пробудить въ немъ ясное сознаніе всѣхъ оттѣнковъ его силы, и слишкомъ мало сочувствія именно къ тому, для чего создала его природа? Нѣтъ; ему предстоитъ или заглухнуть въ томленіи бездѣйствія, или проявиться въ дѣятельности не оцѣненной и даже, можетъ быть, гонимой грубостью и невѣжествомъ, или наконецъ, пойти по такому пути, который хотя и не свойственъ его натурѣ, однако пробить уже другими и ведетъ къ нѣкоторому вліянію на общество.

Въ нашемъ, какъ и во всякомъ другомъ цивилизованномъ, или цивилизуемомъ, обществѣ можно опредѣлить эпохи преобладанія всѣхъ трехъ случаевъ. Не пускаясь въ подробное изслѣдованіе этого вопроса въ исторіи до-петровской Россіи, мы можемъ принять за несомнѣнное, что у насъ въ бездѣйствіи много должно было погибнуть такихъ людей, которые въ иные времена были бы предметомъ общаго уваженія и восторженнаго сочувствія. Въ настоящее же время мы стоимъ на той степени развитія, когда всего чаще повторяется третій случай. Это уже важный шагъ впередъ; но неужели же мы имъ ограничимся?

Знакомство съ людьми, посвящающими себя у насъ наукѣ и искусству, необходимо приводитъ къ заключенію, что эти люди весьма часто и даже большею частью выбираютъ себѣ поприще съ совершеннымъ пожертвованіемъ своихъ

настоящихъ талантовъ. Винить ихъ было бы совершенно несправедливо; надо вникнуть въ ихъ обстоятельства. Главное изъ этихъ обстоятельствъ—однообразіе запроса, а слѣдовательно, и однообразіе и рода славы, и источникъ денежной обеспеченности. Изъ всѣхъ родовъ ученой и художественной дѣятельности славу и деньги, или вмѣстѣ или порознь, приносятъ изящная литература, портретная живопись и архитектура. Наука у насъ составляетъ до сихъ поръ еще столь малую потребность и такъ мало вошла въ нашу жизнь, что ученые занятія крайне невыгодны не только въ отношеніи къ репутаціи, но и въ отношеніи къ деньгамъ: исключеніе въ послѣднемъ отношеніи составляетъ болѣе или менѣе преподаваніе въ учебныхъ заведеніяхъ и съ нѣкотораго времени помѣщеніе статей въ журналахъ, но и для того, и для другого количество трудящихся или, лучше сказать, готовыхъ трудиться слишкомъ огромно въ сравненіи съ запросомъ. Это—фактъ слишкомъ извѣстный въ Россіи, особенно въ Петербургѣ. Какія же послѣдствія всего этого? Послѣдствія тѣ, что и ученые, и художественные таланты совращаются съ естественныхъ путей своихъ. Что молодой человѣкъ съ расположеніемъ къ исторической или ландшафтной живописи начинаетъ писать портреты, это—еще меньшее зло; но хуже то, что, можетъ быть, онъ сдѣлается архитекторомъ или начнетъ писать повѣсти и стихи. Большею же частью всѣ кидаются на изящную литературу. Но пусть бы это дѣлали люди съ художественными талантами; разумѣется, нельзя ожидать, чтобъ тотъ, кого природа сдѣлала живописцемъ могъ быть когда-нибудь великимъ поэтомъ: каждое искусство требуетъ силъ оригинальныхъ; все-таки, по сродству искусствъ, въ аномаліяхъ такого рода могутъ попадаться здоровыя мѣста. Но вотъ что хуже всего: на изящную литературу бросается у насъ множество людей съ дарованіями для науки и безъ всякаго художественнаго таланта. Когда бы это дѣлалось съ сознаніемъ, и какъ говорится, съ толкомъ, тогда наводненіе изящной литературы произведеніями талантовъ по преимуществу дидактическихъ могло бы принести пользу обществу распространеніемъ и укрѣпленіемъ идей, словомъ—могло бы породить у насъ беллетристику, въ которой мы такъ нуждаемся. Беллетристъ въ истинномъ смыслѣ слова, протей между беллетристами, у насъ одинъ: это—авторъ романа „Кто виноватъ“, подписывающій статьи свои псевдонимомъ: „Искандеръ“. Будучи человекомъ по преимуществу мыслящимъ, слѣдовательно, рожденнымъ для науки, и усвоивъ себѣ все добро современной науки, онъ принялъ ее такъ близко къ сердцу, такъ энергически прочувствовалъ истину, что для него жизнь и наука составляютъ совершенное тожество: наука осмысливаетъ для него жизнь, жизнь въ свою очередь сообщаетъ плоть и кровь его наукѣ. Но все-таки въ повѣстяхъ своихъ онъ несравненно болѣе поражаетъ умомъ, чѣмъ художественностью, такъ что на всю его художественную дѣятельность мы не можемъ смотрѣть иначе, какъ на средство выраженія его идей въ самой популярной формѣ, возводимой иногда наблюдательностью до художественности. Мы увѣрены, что онъ самъ лучше



всѣхъ знаетъ свои силы, потому что никогда не употребляетъ ихъ несвойственно, никогда не натягиваетъ своего таланта, умѣетъ управлять имъ, какъ искусный вождь управляетъ покорнымъ войскомъ. Въ этомъ самосознаніи и самообладаніи вся тайна успѣшной беллетристической дѣятельности: чуть только беллетристъ вздумаетъ подняться на высоту таланта, чуть захочетъ творить, покорствуя воображаемой способности творчества, дѣло его проиграно: изъ хорошаго беллетриста онъ дѣлается плохимъ художникомъ и производитъ самое непріятное впечатлѣніе на читателей. Нѣтъ ничего непріятнѣе, какъ видѣть безсиліе человека въ исполненіи предпринятаго имъ труда, а оно не скрывается и отъ того, кто самъ, можетъ быть, еще безсильнѣе. Поэтому, встрѣчая въ беллетристическомъ произведеніи мѣста, гдѣ авторъ берется за задачу художника, вы такъ живо почувствуете вдругъ отсутствіе творчества и такъ живо представите себѣ черты, которыми истинный художникъ передалъ бы тотъ же предметъ, что въ васъ самихъ пробудится стремленіе пересоздать или досоздать образы, употребленные въ дѣло беллетристомъ. Но, если сами вы не художникъ, то разумѣется, стремленіе ваше должно остаться безплоднымъ и перейти въ томленіе. Вотъ причина того тягостнаго чувства, которое невольно овладѣваетъ вами при чтеніи беллетристическаго произведенія съ сильными покушеніями на художество. Если угодно, тутъ положеніе читателя довольно смѣшно и жалко: можетъ быть, взявшись за перо, самъ онъ написалъ бы гораздо хуже беллетриста, на котораго досадуетъ, можетъ быть, даже не умѣлъ бы и ничего написать; но во время чтенія ему кажется, что онъ гораздо вышѣ того, кто такъ плохо выполнилъ свою задачу, и что онъ, читатель, сдѣлалъ бы дѣло несравненно лучше, если бы захотѣлъ. Но въ то же время изъ этого слѣдуетъ, что беллетристъ не долженъ поддѣлываться подъ художественное творчество: пусть изъ приѣмовъ искусства употребляетъ онъ тѣ, которые доступны творчеству ума и наблюдательности, пусть остается онъ, однимъ словомъ, въ предѣлахъ своего таланта,—его будутъ читать съ удовольствіемъ и цѣнить такъ же высоко, какъ и всякаго другого талантливаго человека, если только, въ самомъ дѣлѣ, есть у него умъ свободный, широкій, гибкій, обогащенный плодотворными познаніями, и значительная степень наблюдательности. Если къ этому исчисленію свойствъ присоединить еще одно, упомянутое выше, именно—отчетливое сознаніе своихъ силъ, то мы получимъ полное опредѣленіе истиннаго беллетриста. Посмотримъ, можетъ ли оно быть примѣнено къ произведеніямъ г. Буткова... Но мы совсѣмъ было забыли, что вопросъ о талантѣ его еще вовсе не рѣшенъ: можетъ быть, онъ и не беллетристъ по природѣ; можетъ быть, онъ художникъ...

Наше мнѣніе таково, что природа одарила г. Буткова почти всѣми свойствами беллетриста и самою малою степенью художественнаго творчества. Не достааетъ ему, однакожъ, двухъ важныхъ условій—вѣрнаго сознанія своихъ силъ и богатаго внѣшняго содержанія для ума, матеріаловъ для выработки идей.



однимъ словомъ—науки, которую нельзя замѣнить наблюдательностью... Для оправданія этого мнѣнія разберемъ всѣ три разсказа, помѣщенные во второй части „Петербургскихъ Вершинъ“.

На одномъ изъ неказистыхъ пунктовъ „петербургскихъ вершинъ“ жили когда-то коллежскіе секретари Евтѣй Евсѣевичъ и Евсѣй Евтѣевичъ. „Евтѣй, получившій университетское образованіе, былъ писецъ по должности и глубокій мыслитель въ душѣ. Переписываніе онъ считалъ тяжкою для себя обидою. Напрасно просилъ онъ для себя занятія нѣсколько<sup>ю</sup> благороднѣе, увѣряя, что можетъ сочинять бумаги самъ не хуже, а можетъ быть, и лучше столоначальника; напрасно онъ употреблялъ въ защиту своихъ притязаній неотразимый аргументъ, что онъ въ состояніи производить таковыя сочиненія въ потребномъ количествѣ „съ важною для казны выгодною“,—ничто не помогало! Въ канцеляріи считали его, какъ выше сказано, глубокимъ мыслителемъ и въ эгомъ качествѣ не находили его способнымъ даже къ должности помощника столоначальника! Евсѣй, напротивъ, еще въ дѣтствѣ, сидя за азбукою, мечталъ о блаженствѣ переписыванія. Сама судьба готовила его къ этому званію, давъ ему весьма красивый почеркъ и отказавъ даже въ малѣйшей частицѣ дѣлопроизводительной способности; но тотъ же рѣшитель человѣческаго жребія, слѣпой случай, который сдѣлалъ Евтѣя писцемъ, далъ Евсѣю, недоучкѣ приходской школы, важную должность помощника столоначальника, возлагавшую на него обязанность *сочинять* отношенія и рапорты. Тщетно онъ съ глубокимъ смиреніемъ докладывалъ кому слѣдуетъ, что ему было бы очень лестно переписывать готовое, что онъ учился только въ приходской школѣ, да и отецъ его былъ сенатскій копистъ, сорокъ лѣтъ упражнявшійся въ подшивкѣ старыхъ бумагъ или, говоря канцелярскимъ слогомъ, въ приобщеніи ихъ къ прочимъ таковымъ же,—на эти объясненія не обращалось вниманія. Въ качествѣ помощника столоначальника онъ долженъ былъ сочинять *самъ* и, покоряясь обстоятельствамъ, сочинялъ, правда, нескладно, съ тяжкимъ трудомъ, но сочинялъ и былъ очень несчастливъ“ (стр. 7 и 8). Однимъ словомъ, Евтѣй былъ человѣкъ *ученый*, не ладившій съ дѣйствительностью, а Евсѣй—невѣжда, который умѣлъ съ нею справляться не разсуждая, а дѣйствуя. Евтѣй жаловался на бѣдность и проматывалъ въ кондитерскихъ въ первое число каждаго мѣсяца половину своего жалованья, простиравшагося всего на все до десяти рублей серебромъ. Евсѣй, напротивъ, умѣлъ копить деньги изъ двѣнадцати рублей серебромъ ежемѣсячнаго дохода. Евтѣй развилъ въ себѣ то, что называется расточительностью, Евсѣй—то, что называется скупостью.

Два статскіе совѣтника *помогали* безъ вѣдома другъ друга одной дѣвицѣ не первой молодости. Дѣвица, сдѣлавшись матерью и желая дать своему ребенку *имя*, обратилась къ обоимъ покровителямъ порознь съ просьбой доставить ей мужа. Одинъ статскій совѣтникъ доставилъ Евтѣя, который согласился на этотъ

бракъ, доказавъ себѣ теоретически его необходимость; другой статскій совѣтникъ доставилъ Евсѣя, который воспользовался предложеніемъ по денежнымъ расчетамъ. Дѣвица назвалась Евтѣю Анной Алексѣевной, а Евсѣю—Каролиной, принимала къ себѣ въ разное время того и другого и обоимъ подавала надежды. Перваго числа одного мѣсяца коллежскіе секретари и друзья, лежа по утру въ постеляхъ и расцвѣтая сердцемъ отъ мысли, одинъ о десяти, другой о двѣнадцати рубляхъ серебра, признались другъ другу въ своихъ намѣреніяхъ относительно брака. Евтѣй признался Евсѣю, что онъ женится на Аннѣ Алексѣевнѣ; Евсѣй признался Евтѣю, что женится на Каролинѣ. Того же числа обнаружился характеръ обоихъ друзей въ употребленіи жалованія. Евтѣй донесъ свои десять рублей до Невскаго проспекта и рѣшился было миновать соблазнительныя его кондитерскія, но потомъ позволилъ себѣ пройтись одинъ разъ отъ Полицейскаго моста до Аничкова, не заходя никуда, а наконецъ, довольный тѣмъ, что первый опытъ достаточно доказалъ присутствіе въ немъ свободной воли, зашелъ-таки въ кондитерскую, гдѣ разговорился съ какимъ-то циникомъ, разрушившимъ розовыя понятія его о разныхъ житейскихъ дѣлахъ, и промоталъ пять рублей серебромъ. Евсѣй поступилъ иначе: онъ не гулялъ по Невскому проспекту, а прямо изъ департамента пришелъ домой, расплатился за квартиру и, облекшись въ такъ-называемую *партикулярную пару*, пошелъ къ Каролинѣ съ тѣмъ, чтобъ сдѣлать ей *рѣшительное предложеніе*. Но, о ужасъ! судьба привела въ квартиру Каролины коллежскаго секретаря Евтѣя Евсѣевича именно въ то время, когда другъ его дѣлалъ свое рѣшительное предложеніе. Евтѣй *слышалъ все*. Онъ выбѣжалъ изъ квартиры Анны Алексѣевны (Каролины тожъ) и прибѣжалъ домой.

„Долго глядѣлъ онъ на старыя, почернѣвшія стѣны своей квартиры, на всѣ предметы, составлявшіе ея украшеніе, ветхіе, разрушающіеся, всегда наводившіе на него безотчетную тоску своимъ мрачнымъ, мертвымъ видомъ. Новый приливъ бѣшенства и неукротимой злости начиналъ терзать его... Предъ глазами его, въ темномъ углу, лежалъ на стулѣ старый вицъ-мундиръ. Этотъ вицъ-мундиръ, казалось Евтѣю, дразнилъ его, казалось, говорилъ ему: „Я, бѣдный, бессмысленный вицъ-мундиръ, сшитый по надлежащей формѣ, не нуждаюсь ни въ житѣ пополамъ, ни въ жалованьѣ, ни въ женитьбѣ, ни даже въ первомъ числѣ! Я живу себѣ счастливо и самобытно. А ты, хотя ты и важная персона, коллежскій секретарь, нуждаешься во всемъ этомъ и не можешь жить независимо и самобытно, какъ я! Евтѣй съ живостью подбѣжалъ къ коварному вицъ-мундиру, схватилъ и бросилъ его въ печь; потомъ, сѣвъ на прежнее мѣсто съ страстною улыбкою смотрѣлъ, какъ горѣлъ вицъ-мундиръ“ (стр. 78—79).

Приходитъ Евсѣй. Оба коллежскіе секретаря въ отчаяніи: одинъ отъ того, что его обманули другъ и невѣста, другой—отъ того, что сожгли его вицъ-мундиръ съ деньгами. Евсѣй восклицаетъ:

„Такъ-то, то ты погубилъ меня! Ты сжегъ меня! О, мои деньги!

„Да, ты уничтожилъ меня!“ сказалъ Евтѣй,—„ты уничтожилъ и меня, и мои начала. О, мои начала!“

„Они разомъ захохотали такъ сильно, что губернская секретарша, сидя въ своей коморкѣ, вскрикнула отъ испуга и бросилась къ дворнику. Коллежскіе секретари пустились танцевать что-то въ родѣ „адскаго вальса“. Долго и бѣшено танцевали они; полъ трещалъ подъ ихъ ногами, стулья были разбиты въ щепки, кровати съ ископаемыми одѣялами опрокинуты; у дверей комнаты стояли безмолвные и удивленные дворникъ, водоносъ, хозяйка квартиры и нѣскольکو постороннихъ старухъ. Никто не смѣлъ остановить веселости коллежскихъ секретарей, и они все быстрѣе и быстрѣе кружились въ дружескихъ объятіяхъ. Глаза ихъ становилось мутнѣе и страшнѣе; черты лица искажались гримасами. Евтѣй Евсѣевичъ и Евсѣй Евтѣевичъ повалились на полъ... На другой день, корпусъ сумашедшихъ укомплектовался двумя новыми лицами“...

Вотъ содержаніе разсказа „Первое Число“. Что авторъ этого разсказа—человѣкъ умный, это видно, во-первыхъ, изъ выписанной нами параллели характеровъ Евтѣя и Евсѣя, довольно хорошо оправданной въ продолженіе всего разсказа: во-вторыхъ, изъ самого того, какъ онъ уладилъ всѣ подробности повѣсти, пригнавъ ихъ къ развязкѣ... Но вопросъ: обнаруживается ли въ „Первомъ Числѣ“ художественный талантъ и тотъ умъ, котораго дѣятельность выражается не въ умѣньи придумать завязку и развязку анекдота, а въ сознаніи идеи и въ умѣньи провести ее сквозь рядъ дѣйствительныхъ явленій? Самая хитросплетенность разсказа уже предубѣждаетъ читателя противъ художественнаго таланта г. Буткова. Читая „Первое Число“, вы убѣждаетесь на каждомъ шагу, что все въ этомъ разсказѣ вымучено и натянуто авторомъ безъ всякаго сочувствія къ изображаемому. Характеры Евсѣя и Евтѣя довольно ясны; но нѣтъ въ этихъ характерахъ ни одной черты, которая сближала бы съ ними и автора, и читателей: факты подведены вѣрно, логически, но нѣтъ между ними ни одного, который бы могъ подѣйствовать на чувство, могъ бы вселить любовь къ дѣйствующимъ лицамъ или хотъ отвращеніе отъ нихъ. Евтѣй—наивный школьникъ, Евсѣй—человѣкъ исключительно практической; дѣйствія ихъ совершенно сообразны съ ярлычками, наклеенными на нихъ авторомъ. Но, читая ихъ похождения, вы постоянно находите на точкѣ безразличія и имѣете во время самаго чтенія возможность сличать, вѣрно ли подобраны факты для исполненія предположенной задачи. Евтѣй и Евсѣй—не люди, а идеи г. Буткова, постоянно оправдывающія сами себя, и больше ничего. Кровнаго же интереса они въ васъ никакого не могутъ возбудить; чтобъ интересоваться человѣкомъ, надо чувствовать, что онъ въ сущности то же, что и мы, другими словами—надо хотъ въ чемъ-нибудь ему *сочувствовать*; а можно ли сочувствовать такимъ людямъ, въ которыхъ вы не видите ничего, равно ничего, кромѣ ихъ

односторонности и особенности, людямъ, которые сочинены, а потому не похожи на другихъ людей?... Словомъ, *созданія* въ „Первомъ Числѣ“ нѣтъ никакого. Посмотримъ, можетъ быть, въ немъ есть идея, если не художественная, такъ дидактическая.

Начиная читать этотъ рассказъ, мы подумали, что авторъ хочетъ основать его на той мысли, которая проглядываетъ уже въ описаніи характеровъ Евѣя и Евсѣя, что онъ выставитъ преимущества и недостатки двухъ взглядовъ на жизнь—школьнаго и практическаго. Но, прочитавъ его до конца и пересмотрѣвъ вновь, мы убѣдились (какъ, вѣроятно, убѣдятся и всѣ имѣющіе прочесть вторую часть „Петербургскихъ Вершинъ“, или, по крайней мѣрѣ, представленный нами скелетъ „Перваго Числа“), что у автора не было и мысли о томъ, чтобы повѣсть его навела кого-нибудь на какія-нибудь заключенія о помянутыхъ взглядахъ. Вся она состоитъ изъ поясненія обонхъ характеровъ; все время Евѣй мыслить и мечтаетъ, а Евсѣй дѣйствуетъ, копить деньги и устраиваетъ себѣ карьеру. И все это, наконецъ, приводится къ тому, что оба погибаютъ отъ случайныхъ и весьма неловко придуманныхъ обстоятельствъ. Что жъ изъ этого слѣдуетъ? Что это доказываетъ? Ровно ничего. Конечно, если бы на „Первое Число“ можно было смотрѣть, какъ на художественное произведеніе, то мы не позволили бы себѣ предлагать такихъ вопросовъ; мы не только не требуемъ отъ художника развитія дидактическихъ идей, но даже предубѣждены противъ всякаго дидактизма въ искусствѣ. Не находя же въ рассматриваемой повѣсти и тѣни того, что называется поэтическимъ созданіемъ, мы готовы были бы оправдать автора, какъ беллетриста, а не какъ поэта, тѣмъ, что онъ имѣлъ силу развить въ популярной формѣ мысль, которая не дошла бы до большинства публики, если бы г. Буткову вздумалось изложить ее въ настоящей логической формѣ. Къ сожалѣнію, мы должны убѣдиться, что и дидактической идеи нѣтъ въ „Первомъ Числѣ“. Считаемъ, однакожъ, справедливымъ указать на эпизодъ, заключающій въ себѣ исторію женщины, введенной въ завязку рассказа: эта исторія написана просто, вѣрно и съ симпатіей, нисколько не отзывающеюся аффектаціей. Этотъ эпизодъ нѣсколько скрашиваетъ все „Первое Число“,—неудачнѣйшій изъ всѣхъ до сихъ поръ извѣстныхъ рассказовъ г. Буткова, и принадлежитъ къ числу тѣхъ искръ, которыя появленіемъ своимъ въ „Петербургскихъ Вершинахъ“ убѣждаютъ, что авторъ ихъ не лишенъ нѣкотораго художественнаго таланта, совершенно достаточнаго для беллетриста при существованіи другихъ условій.

Въ рассказахъ „Хорошее Мѣсто“ и „Партикулярная Пара“ много беллетристическихъ достоинствъ, особенно много природнаго ума, чрезвычайно гибкаго и находчиваго; замѣтна и наблюдательность; наконецъ, есть даже и идея, но не художественная, а дидактическая, въ чемъ еще нѣтъ никакой потери, если толь-

ко идея справедлива логически: при миниатюрномъ размѣрѣ художественнаго таланта, гораздо лучше не гоняться за творчествомъ...

Переходя къ разсказу „Хорошее Мѣсто“, выписываемъ его начало, которое можетъ служить доказательствомъ того, что у г. Буткова несравненно больше ума, чѣмъ всякаго другого таланта и которое вмѣстѣ съ тѣмъ избавляетъ насъ отъ обязанности подробно разсказывать самую повѣсть:

„Ограниченная поверхность нашей планеты усѣяна свѣтлыми точками, къ которымъ стремятся мечты, самолюбіе, зависть и всѣ страсти и страстишки человѣческія. Тѣ точки суть *хорошіе мѣста*; тѣ мѣста самобытны, независимы ни отъ физическихъ, ни отъ политическихъ потрясеній міра; они имѣютъ свои степени и подраздѣленія: есть такія мѣста, которыя сообщаютъ своимъ обладателямъ силу и величіе боговъ олимпійскихъ и возвышаются надъ другими, тоже хорошими мѣстами, какъ заоблачныя вершины Гималая надъ Валдайскими горами; есть и такія, которыя доставляютъ счастливцамъ, занимающимъ ихъ, всѣ средства не только къ ежедневному обѣду, но даже къ куренію копѣчныхъ сигаръ. Вообще хорошее мѣсто—адъ и рай, мука и блаженство для бѣднаго животнаго, горделиво называющагося человѣкомъ, даже чиновникомъ, даже *царемъ природы*,—какъ-будто эта природа вырастить, по его велѣнію, *хорошее мѣсто*, котораго жаждетъ его эгоизмъ, или *какое-нибудь мѣсто*, безъ котораго онъ можетъ умереть съ голода, какъ-будто этотъ жалкій царь природы имѣетъ собственное, личное значеніе среди тысячи милліоновъ другихъ, подобныхъ ему царей, если не занимаетъ хорошаго мѣста.

„Послѣ этого, какой онъ, въ самомъ дѣлѣ, царь природы, этотъ человѣкъ, чиновникъ, бѣднякъ самолюбивый! Онъ не самобытенъ подобно хорошему мѣсту; онъ абсолютное *ничто*, если не имѣетъ этого мѣста, а если „какими-нибудь судьбами“ добудетъ его, усядется на немъ, онъ—*нѣчто*, фактъ, а не мечта, аксіома, а не гипотеза, однимъ словомъ—„человѣкъ, занимающій хорошее мѣсто!“

„Земля и на ней хорошія мѣста созданы прежде человѣка; потомъ созданъ человѣкъ, и онъ занялъ, безъ всякаго соперничества, хорошее мѣсто—въ эдемѣ; но скоро сатанинская интрига столкнула перваго человѣка съ перваго хорошаго мѣста; а когда человѣчество размножилось, оно увидѣло, что можетъ существовать безъ горя и заботъ только въ той благодарной атмосферѣ, которой искони свойственна однимъ хорошимъ мѣстамъ, и стало грызться, рѣзаться, даже подличать, стремясь въ эту атмосферу. Но увы, сколько оно ни грызется, ни рѣжется, ни подличаетъ, для всѣхъ людей, чиновниковъ, царей природы не достаетъ хорошихъ мѣстъ!“ (стр. 87—98).

Повѣсть, написанная на эту тему, заключаетъ въ себѣ приключеніе прохожи, украинскаго выходца Терентій Якимовича Лубковскаго, который долго искалъ въ Петербургѣ хорошаго мѣста и не находилъ его до тѣхъ поръ, пока не

вздумалось ему отправить свою хорошенькую жену къ одному важному лицу съ убѣдительноѣйшею просьбой о помощи. При содѣйствіи супруги, Терентій Якимовичъ немедленно получилъ прекрасное мѣсто по особымъ порученіямъ, которыя, замѣтите, онъ долженъ былъ исполнять неуклонно въ шесть часовъ вечера и съ этою цѣлью уходить изъ дома.

„Однажды, въ осенній вечеръ, пообѣдавъ отлично, Терентій Якимовичъ предался пріятной дремотѣ и еще болѣе пріятнымъ мечтамъ, столь плодovито и обильно рождающимся послѣ обѣда. Дождь стучалъ въ окна; на улицѣ холодъ и мракъ; въ его кабинетѣ теплота и свѣтъ, разливаемый прекрасною усовершенствованною лампою. Взглянувъ въ окно, онъ вполне почувствовалъ неоцѣненную выгоду своего положенія. Сколько тамъ, на улицѣ, бродитъ чиновниковъ того же класса, какъ и онъ, мучимыхъ потребностью хорошаго мѣста, ищущихъ его всюду—на улицѣ, въ грязи, на тротуарахъ, подъ воротами домовъ, подъ балконами, въ чужихъ переднихъ, въ чужихъ кабинетахъ, даже въ чужихъ спальняхъ! . . . Мало по малу, отъ постороннихъ интересовъ онъ перешелъ къ собственнымъ своимъ. Вспомнивъ время, которое онъ проводилъ на огородахъ (въ качествѣ смотрителя), куда хаживалъ въ такую же, какъ теперь, погоду, голодный, оборванный, съ отчаяніемъ въ душѣ, онъ предался невольному увлеченію блаженства, ощущаемаго при одномъ сравненіи прошедшаго съ настоящимъ, и воскликнулъ: „Хорошее мѣсто!“

„И будто въ отвѣтъ ему раздался легкій, благозвучный бой шести часовъ. Онъ вздрогнулъ. Впервые этотъ бой отозвался не въ ушахъ, а въ сердцѣ его. Онъ потерялъ пріятное расположеніе духа и, прислушиваясь къ жужжанію дождя, впервые почувствовалъ тяжесть обязанности, *неудобства хорошаго мѣста*. Теперь ему хотѣлось бы остаться дома и вмѣсто того, чтобы тащиться, Богъ вѣсть, куда и зачѣмъ въ такую петербургскую погоду, посадить возлѣ себя и даже у себя на колѣняхъ свою хорошенькую жену, которая стала еще лучше съ гѣхъ поръ, какъ хорошее мѣсто, доставленное мужу, избавило ее отъ горя, отъ заботъ, отъ нищеты...-

Вдругъ раздался звонокъ въ передней. Терентій Якимовичъ, торопливо накинувъ на себя пальто, схватилъ шляпу и скорчивъ гримасу непредѣленнаго смысла, бросился изъ кабинета и въ дверяхъ повстрѣчался съ своимъ *милосты*...

„Едва только онъ сошелъ съ лѣстницы, какъ дождь окатилъ его будто изъ ведра. Онъ хотѣлъ было остановиться у подъѣзда собственной квартиры, но долгъ говорилъ ему повелительно, какъ Вѣчному Жиду; иди, иди, иди! И онъ пошелъ подъ сильнымъ вліяніемъ *идущаго* дождя и *прошедшей* встрѣчи. Онъ горючилъ въ кондитерскую или въ трактиръ, но ни той, ни другого не было зблизи, а дождь все усиливался и, наконецъ, полилъ въ такомъ размѣрѣ, что все шедшее и бѣжавшее по улицѣ кинулось подъ ворота домовъ. Терентій Яки-



мовичъ тоже пріютился съ толпою кухарокъ, мужиковъ и чиновниковъ подъ воротами.

„Велико дѣло“, воскликнула одна дюжая баба, покрывъ своимъ голосомъ менѣе звучныя выраженія прочихъ сообщниковъ, — „великое дѣло—хорошее мѣсто! Имѣй, выходить, хорошее мѣсто, такъ ужъ ни за что въ свѣтѣ не пойдешь изъ фатеры въ эфтакую непогодь!

„Вздоръ!“ сказалъ Терентій Якимовичъ громко и рѣшительно, такъ что вся толпа, смолкнувъ, обратила на него вниманіе, и въ ту же минуту, изумясь самъ своему невольному увлеченію, онъ бросился изъ подъ воротъ“ (стр. 121—126).

Въ художественномъ отношеніи, и въ этой повѣсти нѣтъ почти никакихъ достоинствъ. Лицо Терентія Якимовича—такое же отвлеченіе, какъ Евсѣй и Евтѣй въ „Первомъ Числѣ“. Онъ—абсолютный подлецъ, и кромѣ подлости, не замѣтно въ немъ ни одной черты, которая дѣлала бы его живымъ существомъ; вы не назовете его *подлымъ человекомъ*, онъ не *человѣкъ*, а метафизическое понятіе подлости, не модифицированное никакими условіями, словомъ—такой же абстрактъ, какъ и *добродѣтельный человекъ* старинныхъ романовъ. Пусть былъ бы въ повѣсти намекъ на какія-нибудь другія стихіи его личности, пусть видѣли бы мы, что не былъ онъ рожденъ подлецомъ, но сдѣлался имъ отъ обстоятельствъ или воспитанія, или дальнѣйшаго развитія. Ничуть не бывало: хоть и рассказывается въ началѣ, что въ Украинѣ безпрестанно слышалъ онъ блестящія мнѣя о городѣ Санктпетербургѣ, гдѣ „родятся, дѣлаются“, и откуда „на весь міръ насылаются губернаторы“, хотя и упоминается тамъ же объ отцѣ его, который вѣчно бредилъ полученіемъ хорошаго мѣста, „на первый разъ хоть губернаторскаго“,—однакожъ, все это можетъ объяснить только, какимъ образомъ развилась въ немъ мысль о возможности получить хорошее мѣсто и неукротимая жажда добиться этого счастья: два начала, въ которыхъ еще нѣтъ ничего подлаго. Если угодно, и то и другое поясняетъ пружину искательства Терентія Якимовича; но было ли въ этомъ манекенѣ что-нибудь, кромѣ такой пружины,—этого все-таки не объяснить вамъ авторъ. Терентій Якимовичъ дѣлаетъ подлости безъ всякой борьбы, точно такъ, какъ паукъ испускаетъ изъ себя паутину; даже и на позоръ жены своей онъ не *рѣшался*: г. Бутковъ не счелъ нужнымъ одраматизировать и этотъ поступокъ хоть тѣнью борьбы подлости съ какими-нибудь другими силами. Для доказательства выписываемъ эту сцену:

„Безмолвно сидѣла Пелагея Петровна у постели Терентія Якимовича. Еще не зная практически той жизни, на которую обрекаются люди одного значенія съ ея мужемъ, она понимала, что сдѣлалась причиною его страданій, его несчастія. Слезы покатались изъ глазъ ея; но она поспѣшила отереть ихъ. Въ эту минуту мужъ глядѣлъ на нее.

„Что плачешь? О чемъ ты плачешь?“ спросилъ онъ сурово.—„Пожалуй, могутъ сказать, что я *тиранъ* твой. Чего добраго! Для меня только этого не доставало!“

„Я думаю“, отвѣчала Пелагея Петровна дрожащимъ голосомъ, глотая слезы,—„Я думаю, что мы очень несчастливы: Ты больной, всегда разстроенный... какъ же мнѣ не плакать!“

„Слезами тутъ ничего не поможешь...“—Онъ не кончилъ своего замѣчанія, по видимому, развлеченный внезапною мыслью. Пристально и задумчиво глядя въ лицо жены своей, онъ казалось, развивалъ на немъ свою идею, свои новые замыслы. Черезъ нѣсколько минутъ глаза его оживились, лицо потеряло страдальческое выраженіе; онъ поднялся съ постели и, не говоря ни слова Пелагее Петровнѣ, сталъ сочинять какое-то письмо...

„Былъ у него *милостивецъ*... (Слѣдуетъ описаніе милостивца). Свѣтлая мысль блеснула въ умѣ Терентія Якимовича и исполнила душу его животворящею надеждою. Долго сочинялъ онъ свое письмо, наконецъ сочинилъ, переписалъ его тщательно на тонкой почтовой бумагѣ и, запечатавъ въ конвертъ, обратился къ женѣ своей:

„Послушай, душенька!“ сказалъ онъ ей ласково.—„Еще недавно ты плакала, а я, больной отъ горя, лежалъ на постели, съ которой и вставать не думалъ. *Теперь Богъ послалъ мнѣ мысль, которую я считаю счастливою.* Очень можетъ быть, что положеніе наше поправится. Я вспомнилъ обѣщанія одного важнаго человѣка, который о сю пору не исполнилъ ихъ—знаю почему! знаю, что онъ за человѣкъ, и на что я рѣшаюсь.. (онъ произнесъ послѣднія слова съ особеннымъ выраженіемъ). Но говорить пословица: съ волками жить—по волчьи быть. Не я одинъ! Я почти увѣренъ, что если ты сходишь къ нему съ этимъ письмомъ, то онъ сжалится—не надо мною, такъ надъ тобою. Расскажи ему о нашей крайности... Я прошу его въ этомъ письмѣ содѣйствовать мнѣ, „по причинѣ жены“, къ полученію хорошаго мѣста. Ты попроси его отъ себя. Большіе люди всегда внимательны къ женщинамъ, и ты не бойся обременить его своими просьбами. Нашъ братъ, мужчина—дѣло другое. Только будь съ нимъ любезнѣе... Въ этомъ нечего учить тебя. И говорю для „твоего соображенія“. Поѣзжай съ Богомъ, душенька! Я на тебя надѣюсь!“

„Пелагея Петровна повиновалась“ (стр. 115—118).

Вотъ и все. Ясно, что Терентію Якимовичу ничего не значило продать свою жену милостивцу: онъ только привелъ въ исполненіе свою *счастливую мысль* и тѣмъ нисколько не взволновалъ въ себѣ никакого чувства. Соглашаемся, что такіе люди, пожалуй, могутъ быть и есть; но мы понимаемъ ихъ и сожалѣемъ о нихъ только тогда, когда знаемъ исторію ихъ подлости и видимъ въ ихъ душахъ другія, подавленные стороны. А г. Бутковъ не потрудился и намекнуть намъ на эти стороны. Знаемъ и исповѣдуемъ, что бѣдность есть всепожирающая сила, что читать мораль

нищему глупо и подло; но никто не уступаетъ нищетѣ безъ борьбы, если не приведенъ къ слабости еще какою-нибудь могучею силою, сокрушившею его прежде встрѣчи съ голодною смертію. Вотъ эту-то силу и скрылъ отъ насъ авторъ „Хорошаго Мѣста“, и потому мы не можемъ сочувствовать его герою, и не причисляемъ его къ художественнымъ созданіямъ. Замѣтимъ, что жена его остается для насъ еще большею загадкою: съ нею г. Бутковъ рѣшительно не хотѣлъ знакомить своихъ читателей и показалъ ее только въ выписанной нами сценѣ

Достоинство повѣсти—чисто-дагерротипическое, и описаніе мытарствъ, сквозь которыя пробивалъ себѣ дорогу Терентій Якимовичъ, *занимательно*, какъ глава изъ отличной статистики. Умъ и наблюдательность г. Буткова даже заставляютъ забывать неудачныя попытки его на гигантскую задачу *очеловѣчить*, иными словами—*художественно изобразить подлеца*. Не приводимъ никакихъ выписокъ изъ этой части, потому что пришлось бы выписать большую часть повѣсти.

Что касается до идеи, она очень проста. Г. Бутковъ подсмѣивается надъ искателями хорошихъ мѣстъ (то-есть, надъ всѣмъ, человѣчествомъ вообще) на томъ основаніи, что и хорошія мѣста имѣютъ свои неудобства, какъ напримѣръ, то, что иному обладателю хорошаго мѣста нельзя сидѣть дома въ скверную погоду. Но такъ какъ эта же мысль служитъ основою и послѣдней повѣсти, помѣщенной во второй части „Петербургскихъ Вершинъ“, то мы поговоримъ о ней разомъ, сказавъ напередъ нѣсколько словъ о „Партикулярной Парѣ“.

Жилъ-былъ въ Петербургѣ канцелярскій чиновникъ Петръ Ивановичъ Шляпкинъ, человѣкъ совершенно довольный собою, своимъ положеніемъ въ обществѣ и своими денежными средствами, которыя состояли, кромѣ казеннаго жалованья, въ доходѣ отъ продажи конвертовъ изъ казенной бумаги. Конверты эти поставлялъ онъ въ разныя купеческія конторы, изъ которыхъ всѣхъ важнѣе была контора гг. братьевъ Гельдзакъ и компаніи, сосредоточенныхъ „въ маленькой суровой особѣ негоціанта Карла Христофоровича Гельдзака“. Нечаянный случай натолкнулъ его на знакомство съ семействомъ Гельдзака, состоявшемъ изъ жены и хорошенькой дочери Маріи. Сначала Петръ Ивановичъ посѣщалъ ихъ по утрамъ, запросто, въ вицъ-мундирѣ. Само собою разумѣется, что бѣдный чиновникъ не остался равнодушнымъ къ прелестямъ дѣвицы Гельдзакъ; но это не мѣшало ему быть довольнымъ судьбою. Вдругъ ничтожное, по видимому, обстоятельство чуть не повергло его въ бездну отчаянія. Однажды дѣвица Марія Гельдзакъ лично пригласила его на балъ, который долженъ былъ дать ей отецъ по поводу ея именинъ, и взяла съ него слово танцовать съ нею на этомъ балѣ мазурку. Тутъ только Петръ Ивановичъ почувствовалъ, что онъ самый несчастный человѣкъ въ мірѣ, потому что у него не было *партикулярной пары*. Онъ мечется во всѣ концы, чтобы занять денегъ на покупку чернаго фрака съ принадлежностями; но

всѣ старанія напрасны; наступаетъ день, назначенный для бала; а партикулярной пары нѣтъ какъ нѣтъ...

„Десять часовъ вечера. Небольшой домъ въ Морской былъ ярко освѣщенъ... Толпа народа рускаго, чухонскаго и нѣмецкаго, мастеровыхъ, кухарокъ и чиновниковъ стояла насупротивъ этого дома, наблюдала дѣйствіе, въ немъ происходившее, и бросала на вѣтеръ и въ назиданіе проходящимъ окаменѣлыя истины: „Очень хорошо быть богатымъ человѣкомъ; богатому все возможно, даже то, что и присниться не можетъ бѣдному человѣку!“ и проч.

„Богатый человѣкъ можетъ имѣть каждый день новую партикулярную пару и новое счастье. Онъ можетъ мѣнять свое счастье по послѣдней модной картинкѣ!“ сказалъ Петръ Ивановичъ такимъ голосомъ, въ которомъ выражалась странная торжественность и глубокое убѣжденіе. Отвѣтомъ на это изреченіе былъ громкій смѣхъ толпы.

„Вдругъ раздались глухіе звуки бальной музыки. Петръ Ивановичъ кинулся на другую сторону улицы къ самому дому... Играли мазурку... Онъ поглядѣлъ вверхъ, въ окно второго этажа, и ему показалось, будто она ждетъ его тутъ же у окна, будто она сердится на него... Очень легко и весело стало на душѣ Петра Ивановича. Насвистывая мазурку, танцевальнымъ шагомъ шелъ онъ къ Синему мосту. Тутъ онъ остановился у перилъ и оглянулся: длинныя тѣни ложились отъ высокихъ домовъ. Въ тѣхъ домахъ, думалъ онъ, живутъ петербургскіе люди, несчастливцы, подобные ему; тамъ обитаетъ, какъ и въ его бѣдной комнаткѣ, вѣчное горе, неутолимое мимолетною радостію, которую судьба даруетъ страдальцу для того, чтобъ живѣе, мучительнѣе чувствовалъ онъ отсутствіе счастья; гдѣ же оно?

„Петръ Ивановичъ взглянулъ на него, и оно сіяло вѣчною, мирною красотою, милліонами звѣздъ, которыхъ мерцаніе служить какъ бы маякомъ для измученныхъ душъ, отбывающихъ на тотъ свѣтъ. Онъ пустилъ взоръ къ Мойкѣ, и она, въ другую пору грязная, мутная, какъ жизнь обитателей петербургскихъ вершинъ, теперь отражала въ себѣ тѣ же звѣзды, то же небо... то же счастье!

На небѣ все прекрасно...

На небѣ горя нѣтъ!

подумалъ Петръ Ивановичъ и, твердо рѣшившись окончить злополучную жизнь свою въ мутныхъ струяхъ Мойки, опрометью побѣжалъ къ плоту.

„Въ то же мгновеніе нѣмецкій шарманщикъ, возвращавшійся съ семьею изъ долгаго музыкальнаго странствованія по петербургскимъ улицамъ на свой убогій чердакъ въ Глухомъ переулкѣ, заигралъ, для собственнаго удовольствія, любимую обывателями петербургскихъ вершинъ пѣсню Торопки: „Ужъ какъ вѣтъ вѣтерокъ!“ Его жена, высокая и тощая нѣмка, ведшая на снуркѣ десятокъ

голодныхъ собаченокъ, драпированныхъ ветхими лоскутьями краснаго сукна, запѣла эту пѣсню пронзительнымъ голосомъ. За ними безмолвно шли четверо оборванныхъ мальчиковъ, каждый съ двумя учеными обезьянами на плечахъ.

„Извозчики, стоявшіе у моста, и негоціанты, торговавшіе тамъ же сайками и спичками, не имѣвшіе въ этотъ день ни малѣйшаго способа къ пріятному препровожденію времени въ „сѣстномъ заведеніи“, развлеклись этою сценою, забыли свое горе и дружно принялись смѣяться надъ бѣдными артистами.

„Петръ Ивановичъ, такъ философически рѣшившійся отправиться изъ сего міра, ночнымъ путемъ чрезъ Мойку, въ міръ лучшій, внезапно потерялъ свою рѣшимость, когда слуха его коснулся „рѣзвый вѣтерокъ“ и смѣхъ извозчиковъ. Бросивъ взглядъ на живую картину нищеты, переносимой терпѣливо, по крайней мѣрѣ, безъ неистовыхъ порывовъ отчаянія, онъ былъ отвлеченъ отъ собственнаго горя къ филантропическому сочувствію толпѣ музыкантовъ, олицетворявшихъ пословицу: „Нужда скачетъ, нужда пляшетъ, нужда пѣсенки поетъ“. Потомъ, возвращаясь къ самому себѣ, онъ вспомнилъ, что, мучимый заботою о партикулярной парѣ, онъ не обѣдалъ два дня сряду, и что по этой причинѣ не худо бы зайти куда-нибудь; а когда, произведя въ карманахъ тщательный розыскъ, онъ нашелъ въ одномъ изъ нихъ трехрублевый и четыре копѣйки, забылъ и партикулярную пару, и балъ, и демуазель Гельдзакъ, и мазурку. Въ радостномъ предчувствіи ужина онъ снова сталъ самодоволенъ и счастливъ и, торопливо идя по Вознесенскому проспекту въ трактиръ, думалъ: „Какъ мало нужно человѣку для счастья“ (стр. 190—194).

Этою моралью заключается или, лучше сказать, портится прекрасный рассказъ „Партикулярная Пара“, написанный почти отъ начала до приведеннаго нами злополучнаго правоученія такъ, какъ бы всегда слѣдовало, по нашему мнѣнію, писать г. Буткову. Въ „Партикулярной Парѣ“ онъ совершенно избѣжалъ (можетъ быть, и случайно), тѣхъ темъ, которыя составляютъ камни преткновенія для его таланта, именно—темъ психологическихъ. Не заботясь о личности своихъ героевъ, онъ придаетъ имъ занимательность вѣрною картиною ихъ внѣшней обстановки, что при помощи ума и наблюдательности удастся ему вполне. Съ Петромъ Ивановичемъ Шляпкинымъ, какъ съ личностью, вы, конечно, никогда не познакомитесь: это не то, что какой-нибудь господинъ Голядкинъ старшій, который такъ же выразителенъ и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ же общъ, какъ какой-нибудь Чичиковъ или Маниловъ. Голядкиными называете вы большую часть вашихъ знакомыхъ, а подъ часъ и себя; отъ фамиліи Голядкинъ вы не могли не произвести прилагательнаго: голядкинскій; наконецъ, теперь вамъ досадно, зачѣмъ такъ нескладно выходитъ существительное, въ которомъ у васъ есть насущная потребность, и которое соотвѣтствовало бы существительнымъ *чичиковщина*, *маниловщина*. Фамилія Шляпкинъ не сдѣлается нарицательнымъ именемъ. Это такъ: но обстоятельства этого человѣка такъ близки каж-

дому, такъ умно и вѣрно очеркнуты г. Бутковымъ, что, за неимѣніемъ личности, господинъ Шляпкинъ не можетъ не возбуждать участія, какъ жертва слишкомъ общихъ человѣчеству золъ. Сверхъ того, въ „Партикулярной Парѣ“ есть очень занимательный абрисъ петербургскихъ купеческихъ конторщиковъ высшаго полета, русскихъ и нѣмецкихъ: это—одна изъ самыхъ ловкихъ фізіологій петербургскаго общества.

Но что сказать объ идеѣ „Партикулярной Пары“? Мы уже упомянули выше, что идея эта совпадаетъ съ идеей „Хорошаго Мѣста“. Г. Бутковъ хочетъ доказать положительно и отрицательно, что бѣдность совсѣмъ не такое зло, какъ мы *воображаемъ*, потому что, во-первыхъ, богатство имѣетъ свои неудобства; во-вторыхъ, бѣдность имѣетъ свои утѣшительныя стороны. Такой образъ мыслей есть не что иное, какъ *оптимизмъ*, страшилище, на которое мы считаемъ обязанностью указывать всегда, въ какихъ бы видахъ оно ни являлось... Въ послѣдней книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“, говоря о выходѣ въ свѣтъ „Руководства ко всеобщей исторіи“ профессора Лоренца, мы имѣли случай сказать нѣсколько словъ объ оптимизмѣ въ исторіи и старались указать на его источникъ. Теперь не можемъ не упомянуть объ оптимизмѣ въ политической экономіи, въ современномъ вопросѣ о богатствѣ и бѣдности. Цѣль беллетристическаго произведенія—популяризованіе идей, важныхъ для общества; а потому въ немъ идея и должна обращать на себя вниманіе критики болѣе, чѣмъ всѣ другіе элементы.

Въ наше время вопросъ о бѣдности и богатствѣ вызвалъ во всѣхъ европейскихъ литературахъ множество беллетристическихъ произведеній, имѣвшихъ и имѣющихъ значительное вліяніе на умы. По матеріалу „Петербургскія Вершины“ могутъ быть безошибочно отнесены къ разряду этихъ произведеній. Но духъ оптимизма отнимаетъ у нихъ ту важность, которую они могли бы имѣть при иномъ направленіи.

Писать о бѣдности еще не значитъ быть современнымъ по своимъ идеямъ. Всякій вѣкъ имѣлъ свой взглядъ на матеріальное благосостояніе; если же въ наше время вопросъ о его вліяніи на человѣка признанъ важнѣйшимъ изъ всѣхъ общественныхъ вопросовъ, то причина этого заключается въ томъ, что современный взглядъ на бѣдность и богатство діаметрально противоположенъ тому, который выражается въ разсматриваемыхъ нами повѣстяхъ г. Буткова. Современная наука принимаетъ бѣдность, какъ *неодолимое* препятствіе къ *развитію* человѣка и общества, какъ начало всѣхъ золъ частныхъ и общественныхъ. Ею дознано, что для того, чтобъ быть нравственнымъ и просвѣщеннымъ, то-есть, цивилизованнымъ, и частный человѣкъ, и цѣлый народъ должны прежде всего жить въ довольствѣ. Не пускаясь въ запутанный вопросъ о свободѣ воли, можно рѣшительно сказать, что одинъ только героизмъ можетъ соединить нравственное достоинство съ бѣдностью: слѣдовательно, въ массахъ такое явленіе нево-



образимо. Этимъ очень просто и ясно опредѣляется ничтожность всѣхъ тѣхъ мѣръ противъ вліянія бѣдности, которыя состоятъ и въ возвышеніи богатства, и не въ приведеніи его въ нормальное отношеніе къ труду. Въ глазахъ современной науки смѣшны, а подѣ часъ и неблагонамѣренны, всѣ тѣ проекты, по которымъ должно ожидать спасенія въ умственномъ и нравственномъ образованіи нищихъ, въ приученіи ихъ къ бережливости (когда имъ нечего ѣсть!), въ увеличеніи ихъ мечтательныхъ политическихъ правъ (при отнятіи у нихъ правъ на матеріальную обезпеченность) и т. п. Еще менѣе современенъ оптимистическій взглядъ на богатство и бѣдность, какъ взглядъ діаметрально противоположный современному понятію о прогрессѣ. „Зачѣмъ желать богатства, зачѣмъ стремиться выйти изъ нищеты? Богатые люди имѣютъ свои страданія, неизвѣстныя бѣднымъ, а бѣдные, съ своей стороны, могутъ находить счастье въ томъ, на что богатые смотрятъ равнодушно. Мало того, и богатство, и бѣдность—понятія относительныя и основанныя на сравненіи средствъ: не много такихъ богачей, которыя могли бы считать себя удовлетворенными, потому, что почти всегда найдутъ они людей еще богаче ихъ, и не много такихъ бѣдняковъ, которые не могли бы утѣшать себя мыслью, что есть много людей еще бѣднѣе“. Вотъ политическая экономія оптимистовъ! Опровергать ее съ нѣмецкою важностью было бы слишкомъ наивно. Намъ остается только сожалѣть, что она вошла въ произведеніе г. Буткова, и постараться опредѣлить источникъ его заблужденій.

Мы замѣтили уже въ началѣ рецензій, что одинъ изъ важнѣйшихъ недостатковъ г. Буткова—отчужденность его отъ науки. Еще въ первой части „Петербургскихъ Вершинъ“ намекалъ онъ на свою антипатію къ нѣкоторымъ идеямъ изъ области современнаго просвѣщенія, антипатію, не имѣющую ничего общаго съ сознательнымъ отрицаніемъ. Вторая часть совершенно предастъ въ руки критики это упрямое нерасположеніе. Не желая знакомиться съ наукой въ ея современномъ развитіи, г. Бутковъ начинаетъ писать повѣсти съ идеями, уничтоженными ею въ прахъ: что въ проигрышѣ отъ этого—наука или г. Бутковъ, пусть рѣшатъ читатели. Мы скажемъ только, что беллетристъ съ ложными или устарѣлыми идеями есть не кто иной, какъ распространитель этихъ ложныхъ и устарѣлыхъ идей. Единственное средство для г. Буткова избѣжать этого титула—познакомиться съ современными идеями не изъ какихъ-нибудь газетъ, украшающихъ русскую литературу, а прямо изъ произведеній современной науки. Особенно полезно было бы ему заняться основательнымъ изученіемъ экономическаго міра, который онъ часто такъ вѣрно наблюдаетъ и такъ занимательно описываетъ. Если бы талантъ г. Буткова былъ талантъ по преимуществу художественный, и тогда мы готовы были бы подать ему такой же совѣтъ, хотя художнику часто удается обходиться и безъ науки; но такъ какъ мы считаемъ умъ и наблюдательность преобладающими силами его личности, то какъ же не посовѣтовать ему

укрѣпить то и другое единственною здоровою пищею, которая... вы сами знаете, какъ называется?

## Князь В. Ө. Одоевскій.

Сочиненія князя В. Ө. Одоевскаго. Санктпетербургъ. 1844 Три части.

Собраніе сочиненій князя В. Ө. Одоевскаго, безспорно, составляетъ замѣчательнѣйшее явленіе въ русской литературѣ 1844 года. Одна оригинальность взгляда автора уже обращаетъ на себя особенное, серьезное вниманіе критики; но она же вызываетъ нѣсколько вопросовъ, которые мы должны рѣшить прежде, чѣмъ представимъ читателямъ свое мнѣніе объ этомъ капитальномъ приобрѣтеніи для искусства.

Прочтя сплошь, отъ доски до доски, всѣ три части сочиненій князя В. Ө. Одоевскаго, вы невольно задумаетесь надъ этимъ собраніемъ повѣстей, мистическихъ разсказовъ, древнихъ и новыхъ преданій, надъ отрывками изъ пестрыхъ сказокъ, надъ домашними разговорами... Повторяемъ, задумаетесь невольно, если любите отдавать себѣ отчетъ въ томъ, что прочли. Вы спросите: къ чему ведутъ мистическія разсужденія, наполняющія всю первую часть, и какая связь между этими разсужденіями автора и превосходными повѣстями, разбросанными во второй и третьей частяхъ? Вы спросите: что доказалъ авторъ въ первой части, и что онъ представилъ въ послѣднихъ?

Намъ кажется, что сочиненія князя Одоевскаго логически можно раздѣлить на два отдѣла: на отдѣлъ мистики, къ которому принадлежатъ почти всѣ разсказы автора, названные „Русскими Ночами“ и занимающіе всю первую часть, и на отдѣлъ повѣстей, имѣющихъ безспорное литературное достоинство и чуждыхъ мистицизма. Поэтому прежде всего считаемъ обязанностію разсмотрѣть сущность мистицизма, возможность или невозможность, его какъ системы познанія, и потомъ примѣнить свой взглядъ къ разбираемому нами сочиненію.

Человѣкъ, по своей духовной природѣ, полонъ силъ разнородныхъ. Какъ мыслящее существо, онъ пытается природу и человѣка, доискивается причинъ того, что видитъ, слышитъ, обоняетъ, осязаетъ. Онъ разлагаетъ природу химически, рѣжетъ ее какъ хирургъ, анализируетъ, какъ моралистъ и не даетъ ей пощады тамъ, гдѣ она вздумаетъ бросить камень преткновенія гордому уму, могучему сознаніемъ своего собственнаго достоинства. Въ этомъ направленіи умъ терзаетъ природу—благородно, потому что проникаетъ матерію духомъ, даетъ ей жизнь разумную. Умъ доволенъ и самимъ собою, и тѣмъ, что онъ изслѣдуетъ, но доволенъ только до тѣхъ поръ, пока ему удастся заманчивая дѣятельность. Чело-

вѣкъ, какъ существо чувствующее и одаренное воображеніемъ, то трепещетъ отъ восторга, то страдаетъ, то полонъ энергіи, то бессмысленно преданъ апатіи, то готовъ обнять ближняго, какъ брата, то радъ оттолкнуть его какъ смертельнаго врага. А воображеніе,—оно не молчитъ, смотря на преобладаніе чувствъ въ человѣкѣ; оно то одѣваетъ міръ радужнымъ сіяніемъ, то набрасываетъ на него темное покрывало. Было время, когда люди въ таинственномъ шумѣ лѣсовъ слышали сладкія бесѣды и игры вѣчно юныхъ дріадъ и неуклюжихъ сластолюбцевъ-фавновъ; пришло время, когда люди въ стонѣ лѣсномъ разумѣютъ одно теченіе воздуха, болѣе или менѣе сильное, производящее движеніе вѣтвей. Было время, когда духи неба и земли запросто расхаживали по городамъ и деревнямъ, какъ будто имъ, въ самомъ дѣлѣ, было тамъ мѣсто. По ней странствовали боги и полубоги, сифиды и саламандры, вѣдьмы и вампиры, словомъ—кто ни расхаживалъ по сушѣ и морямъ, гдѣ теперь спокойно ходятъ пароходы и паровозы!.. Итакъ, человѣкъ мыслить, чувствуетъ и создаетъ себѣ образы и картины... Но гдѣ же мистицизмъ?.. Позвольте, будетъ и ему мѣсто.

Чувство и мысль, чувство и воображеніе—вотъ главные пружины нашихъ думъ и мечтаній. Чѣмъ начинается человѣкъ свою жизнь? Что прежде онъ видитъ въ мірѣ—картину или загадку? Натурально, первое. Человѣкъ, не разсуждая, привыкаетъ ко всему окружающему, бессознательно живетъ наравнѣ съ природою, радуется солнечному свѣту и боится темноты, недоволенъ, когда его заставляютъ думать, и радъ, когда найдетъ пищу воображенію. И много времени проходитъ, пока мысль спитъ подъ баюканьемъ чувствъ и воображенія, подъ напѣвами няни и рассказами старины. Для иныхъ проходитъ вся жизнь, а мысль все крѣпко спитъ, и ничто ея не пробуждаетъ. Но такъ сладко спится не всѣмъ, не всѣмъ даны въ удѣлъ однѣ грезы да игрушки. Человѣкъ, возмужавъ, когда-то спросилъ себя: отчего?—и задавъ себѣ такой вопросъ, рѣшалъ его въ продолженіе всей жизни и никакъ не могъ рѣшить: за однимъ вопросомъ слѣдовалъ другой. Съ тѣхъ поръ задача дробится, развѣтвляется, охватываетъ сѣтью весь міръ, и мысль, пораженная собственнымъ величіемъ и немощью, рвется въ этой сѣти, въ иныхъ мѣстахъ прорываетъ ее, въ другихъ запутывается и изнемогаетъ... Борьбу, начатую однимъ человѣкомъ, продолжаетъ цѣлое человѣчество; неистово рветъ оно цѣпь, оковавшую гордость земную, и дѣтски радуется малѣйшему успѣху.

Таковъ ходъ человѣчества на пути просвѣщенія. Прежде всего оно начинаетъ чувствовать и представлять, а потомъ уже мыслить. Въ первый періодъ, періодъ чувствъ и воображенія, народъ живетъ, не смущая хитросплетеніями ума бойко играющую жизнь чувства и фантазіи. Онъ чувствуетъ сладость или горестъ жизни, вѣритъ, что благородство должно быть мѣриломъ дѣйствій человѣка, не спрашивая, почему именно слѣдуетъ вѣрить, что духъ на землѣ—только странникъ, что ему дана другая свѣтлая обитель, куда онъ перенесется, когда сбро-

ситъ временную оболочку. Сердце бьется въ упоеніи, созерцая величіе Бога въ природѣ; воображеніе теряется въ безпредѣльности міровъ, создаетъ въ лѣсахъ обиталища духовъ; видя явленіе, выходящее изъ ряда обыкновенныхъ, оно не хочетъ допытывать его; увлеченное сердечнымъ волненіемъ, оно мгновенно придаетъ ему образъ и какую-нибудь таинственную силу; огонекъ на кладбищѣ— блуждающая душа мертвеца, эхо лѣсное—крикъ лѣшаго и т. д., и т. д.; въ этотъ періодъ появились нѣяды, ореады, сильфиды, гномы, русалки, домовые... Такъ написано каждому народу, такъ было въ языческой древности, такъ повторялось это явленіе и въ новомъ мірѣ.

Когда западъ, обновленный идеей новаго ученія, съ жаромъ усвоилъ христіанство, онъ былъ юнъ. Юность его выразилась и въ политикѣ, и въ литературѣ, и въ наукѣ. Приведемъ въ примѣръ походы крестовые; они были мгновеннымъ дѣломъ взволнованнаго чувства; тутъ не было предварительнаго обсужденія предпріятія, тутъ не было дальновидныхъ замысловъ, заранѣе обдуманыхъ: это было дѣло геройское, и вообще средніе вѣка составляютъ геройскій періодъ исторіи запада. Разсѣяныя толпы крестоносцевъ, бросившись на Азію, погибли въ ней оттого, что не сообразили средствъ войны. Литература среднихъ вѣковъ не походитъ ни на классическую, ни на новѣйшую. Поражая читателя обиліемъ чувства, внутренняго содержанія и странностью формъ, не имѣющихъ мѣста въ жизни дѣйствительной, перемѣшивая событія, времена и лица, она набрасываетъ на міръ свое собственное покрывало, болѣе или менѣе мистическое. И не мудрено: на западъ были перенесены Библія и Алкоранъ. Суровый духъ западныхъ дикарей, проникнутый возвышенною идеей любви христіанской, выражался то въ рыцарствѣ, то въ строгой аскетической жизни, то въ нѣжныхъ и геройскихъ пѣсняхъ трубадуровъ, то въ самыхъ отвлеченныхъ богословскихъ спорахъ. Иначе и не могло быть: вѣрованіе руководило чувствомъ. Картины воображенія болѣе плѣняли человѣка, нежели холодныя выкладки ума. Такъ, иные народы не могли устоять отъ обольщеній Алкорана, принесеннаго маврами. Несмотря на все отвращеніе христіанъ отъ магометанъ, первые не могли не восхищаться Кордовой и Гренадой; они прислушивались къ пѣснямъ аравитянъ и ихъ ученымъ толкамъ. Разительнымъ примѣромъ служитъ ученый Жерберъ. Сперва онъ долгое время учился въ монастырѣ Орильякѣ, потомъ, желая болѣе углубиться въ науки, принесенныя съ востока, отправился въ Толедо; тамъ арабскіе ученые посвятили его въ таинства математики, астрологій и магіи. Возвратившись изъ Толедо, онъ былъ сдѣланъ начальникомъ монастыря, потомъ воспитателемъ Гуго Капета, потомъ епископомъ Реймскимъ и наконецъ папой, подъ именемъ Сильвестра Второго. Папа—воспитанникъ арабскихъ маговъ и славы христіанства! О состояніи наукъ говорить нечего: мистицизмъ былъ исходнымъ пунктомъ ученія, какъ въ наукахъ нравственныхъ, такъ и въ естественныхъ. Науку создавало воображеніе, а не умъ.

Все нами сказанное клонится къ тому, чтобы показать время, кода въ первый разъ появился въ западной Европѣ мистицизмъ, обусловленный несовершенствомъ образованія и преимущественнымъ развитіемъ чувства и воображенія. Посмотримъ, не бываетъ ли еще состояніе духа, когда сей послѣдній склоненъ къ сверхъестественному.

Мысль, какъ сила, враждебная фантазіи, сперва гонитъ чудесное, а потомъ въ свою очередь приводитъ къ вѣрованію въ міръ тайный, невѣдомый на землѣ, недоступный ни глазу, ни уху. Сначала она дерзко начинаетъ испытывать природу и узнаетъ многое; обольщенная успѣхомъ, она дѣлается горда, но не надолго. Вездѣ она узнаетъ одни явленія, не доходя до сущности вещей. Вопросы, которые больше всего хотѣлось бы человѣку рѣшить, становятся самыми затруднительными задачами. Дойдя до вопроса: что такое душа, откуда она, вѣдь она здѣсь и куда скроется по смерти тѣла,—умъ цѣпенѣетъ, видя свое безсиліе; постигнувъ законы движенія тѣлъ небесныхъ, мы узнаемъ однѣ только формы жизни, а этого еще не много. Самая жизнь ускользаетъ отъ нашего уразумѣнія. На землѣ видимъ мы также одни только законы, по которымъ развиваются существа органическія и неорганическія. Какъ быть? Мысль сама себя тѣснитъ и подкапываетъ. Является вновь потребность воображенія, необходимо пополнить пробѣлы въ заключеніяхъ ума, а достигнуть этой цѣли нельзя иначе, какъ фантазіей, которая должна спасти мысль отъ самоубійства. Когда человѣкъ дойдетъ до этой точки развитія, тогда онъ, какъ существо нравственное, всестороненъ. Передъ тѣмъ, чего не можетъ постигнуть его умъ, оно смиренно преклоняется и говоритъ: „не знаю“; умъ совершилъ на землѣ все, что могъ совершить. Онъ остается въ сторонѣ, не берется за рѣшеніе задачъ, для которыхъ у него недостаетъ необходимыхъ данныхъ; за то, въ свою очередь, онъ и не отвергаетъ ихъ.

Мистицизмъ для однихъ начинается съ самыхъ обыкновенныхъ явленій, потому что они не могутъ или не хотятъ ихъ изслѣдовать, предоставляя воображенію создать какой-нибудь образъ; и въ наше время есть люди, которые не безъ трепета видятъ блудящіе огни и равнодушно слушаютъ рассказы о вѣдьмахъ. Для другихъ сверхъестественное начинается гораздо выше, тамъ, гдѣ просвѣщенная наукою мысль не можетъ рѣшить вопросы. Итакъ, расширеніе мысли идетъ въ параллель съ ограниченіемъ круга мистицизма. Но мы говоримъ, что есть твердо поставленныя границы уму, слѣдовательно, есть законное мѣсто мистицизму. Но если взять въ отдѣльности каждаго человѣка, то одинъ болѣе ему подверженъ, другой—менѣе; есть даже и такіе люди, которые обходятся совершенно безъ мистики. Не говоря о приведенной нами причинѣ, именно о степени образованности, на расположеніе къ сверхъестественнымъ вѣрованіямъ дѣйствуютъ и обманъ чувствъ, и раздражительность нервовъ, и болѣзнь тѣла.

Сколько чудесъ приписывается лунѣ, потому что ея свѣтъ удивительно способствуетъ миражу! Подъ ея вліяніемъ встають мертвецы, вампиры и пр., и пр.

Все это мы сочли необходимымъ сказать прежде, нежели приступимъ къ сочиненіямъ князя Одоевскаго. Во введеніи къ этимъ сочиненіямъ мы встрѣчаемъ тѣ вопросы, которые волновали любознательную душу автора, тѣ задачи, которыя хочетъ распознавать просвѣщенный умъ человѣка, и на которыя не даетъ отвѣта обыкновенный способъ познанія. Въ этомъ введеніи высказывается и идея сочиненія. Вотъ она:

„Во всѣ эпохи душа человѣка стремленіемъ неодолимой силы, невольно, какъ магнитъ къ сѣверу, обращается къ задачамъ, которыхъ разрѣшеніе скрывается въ глубинѣ таинственныхъ стихій, образующихся и связующихъ жизнь духовную и жизнь вещественную; ничто не останавливаетъ сего стремленія, ни житейскія печали и радости, ни мятежная дѣятельность, ни суетное созерцаніе; сіе стремленіе столь постоянно, что иногда кажется, оно происходитъ независимо отъ воли человѣка, подобно физическимъ отправлениямъ; проходятъ столѣтія, все поглощается временемъ: понятія, нравы, привычки, направленіе, образъ дѣйствованія, вся прошедшая жизнь тонетъ въ недостигаемой глубинѣ, а чудная задача всплываетъ надъ утопшимъ міромъ; послѣ долгой борьбы, сомнѣній, насмѣшекъ новое поколѣніе, подобно прежнему, имъ осмѣянному, испытуетъ глубину тѣхъ же таинственныхъ стихій; теченіе вновь разнообразитъ имена ихъ, измѣняетъ и понятіе объ оныхъ, но не измѣняетъ ни ихъ существа, ни ихъ образа дѣйствія; вѣчно юныя, вѣчно мощныя, онѣ постоянно пребываютъ въ первозданной своей дѣвственности, и ихъ дивная гармонія внятно слышится посреди бурь, столь часто возмущающихъ сердце человѣка. Для объясненія великаго смысла сихъ великихъ дѣятелей, естествоиспытатель вопрошаетъ произведенія вещественнаго міра, сіи символы вещественной жизни, историкъ—живые символы, внесенные въ лѣтописи народовъ, поэтъ—живые символы души своей“.

Чтобы еще болѣе видѣть, что хотѣлъ описать въ своемъ сочиненіи авторъ, выпишемъ еще нѣсколько строкъ, чтобы лучше показать, выполнилъ ли онъ заданную себѣ задачу:

„Нашъ XIX вѣкъ называютъ просвѣщеннымъ: но въ самомъ ли дѣлѣ мы счастливѣе того рыбака, который нѣкогда, можетъ быть, на этомъ самомъ мѣстѣ, гдѣ теперь пестрѣетъ газовая толпа (эти разсужденія происходили на балѣ), разстилалъ свои сѣти?“ Что вокругъ насъ?

„Зачѣмъ мятутся народы? Зачѣмъ, какъ снѣжную пыль, разноситъ ихъ вихорь? Зачѣмъ плачетъ младенецъ, терзается юноша, унываетъ старецъ? Зачѣмъ общество враждуетъ съ обществомъ, и еще болѣе съ каждымъ изъ своихъ членовъ? Зачѣмъ желѣзо разрѣкаетъ связи любви и дружбы? Зачѣмъ преступленіе и несчастіе считается необходимою буквою въ математической формулѣ общества.“



„Являются народы на поприщѣ жизни, блещутъ славою, наполняютъ собою страницы исторіи и вдругъ слабѣютъ, приходятъ въ какое-то бѣснованіе, какъ строители вавилонской башни, и имя ихъ съ трудомъ отыскиваетъ чужеземный археологъ среди пыльных хартій.

„Здѣсь общество страждетъ, ибо иѣтъ среди его сильнаго духа, который бы смирилъ порочныя страсти, а благородныя направилъ къ благу.

„Здѣсь общество изгоняетъ генія, явившагося ему на славу, и вѣроломный другъ, въ угоду обществу, предаетъ позору память великаго человѣка.

„Здѣсь движутся всѣ силы духа и вещества; воображеніе, умъ, воля напряжены, время и пространство обращены въ ничто; пируетъ воля человѣка, а общество страждетъ и грустно чувствуетъ приближеніе своей кончины.

Здѣсь, въ стоячемъ болотѣ, засыпаютъ силы, какъ взнузданный конь; человѣкъ прилежно вертитъ все одно и то же колесо общественной машины, каждый день слѣпнетъ все болѣе и болѣе, а машина полуразрушилась: одно движеніе молодого сосѣда, и исчезло сто-тысячелѣтнее царство.

„Вездѣ вражда, смѣшеніе языковъ, казни безъ преступленія и преступленія безъ казни, и на концѣ поприща смерть, ничтожество. Смерть народа... страшное слово!

„Законъ природы!“ говоритъ одинъ.

„Формы правленія!“ говоритъ другой.

„Недостатокъ просвѣщенія!“

„Отсутствіе религіознаго чувства!“

„Фанатизмъ!“

„Но кто вы, вы, гордые истолкователи таинствъ жизни? Я не вѣрю вамъ и имѣю право не вѣрить! Не чисты слова ваши, подъ ними скрываютъ еще менѣе чистыя мысли.

Ты говоришь мнѣ о законѣ природы; но какъ угадалъ ты его, пророкъ не признанный? Гдѣ твое знаменіе?

„Ты говоришь мнѣ о пользѣ просвѣщенія! Но твои руки окровавлены!

„Ты говоришь мнѣ о вредѣ просвѣщенія! Но ты косноязыченъ, твои мысли не вяжутся одна съ другою, природа темна для тебя, ты самъ не понимаешь себя!

„Ты говоришь мнѣ о формѣ правленія! Но гдѣ та форма, которою ты доволенъ?

Ты говоришь мнѣ о религіозномъ чувствѣ! Но смотри: черное платье твое опалено костромъ, на которомъ терзался братъ твой; его стenanія невольно вырываются изъ твоей гортани, вмѣстѣ съ твоею сладкою рѣчью.

„Ты говоришь мнѣ о фанатизмѣ! Но смотри: душа твоя обратилась въ въ паровую машину. Я вижу въ тебѣ винты и колеса, но жизни не вижу!

„Прочь, оглашенные! Не чисты слова ваши: въ нихъ дышатъ темныя страсти! Не вамъ оторваться отъ житейскаго праха, не вамъ проникнуть въ глубину

жизни! Въ пустынь души вашей вѣютъ тлетворныя вѣтры, ходитъ черная язва и ни одно чувство не оставляетъ не зараженнымъ!

„Не вамъ, дряхлые сыны дряхлыхъ отцовъ, просвѣтитъ умъ нашъ! Мы знаемъ васъ, какъ вы насъ не знаете; мы въ тишинѣ наблюдали ваше рожденіе, ваши болѣзни и предвидимъ вашу кончину. Мы плакали и смѣялись надъ вами, мы знаемъ ваше прошедшее... Но знаемъ ли свое будущее?“

Слѣдовательно, вотъ та картина, которая представлялась автору, и которую онъ допрашиваетъ. Заданную задачу должно рѣшать. Посмотримъ, какое лѣкарство найдемъ мы въ книгѣ противъ всѣхъ исчисляемыхъ золъ общества. А эти слѣдствія общественныя велики; надъ устраненіемъ ихъ давно трудится человѣкъ, но они постоянно живутъ вмѣстѣ съ человѣчествомъ. Какъ плоды долготѣнихъ грудовъ человѣка, возникли науки. Но эти науки недостаточны; и авторъ исчисляетъ, чѣмъ несовершенна медицина, математика, физика химія, астрономія, законы общественныя, политическая экономія. Мы согласны съ нимъ, что всякое дѣло рукъ человѣческихъ не совершенно, потому что самъ человѣкъ несовершенъ; но, чтобы доказать недостаточность наукъ, необходимо разобрать всѣ начала каждой науки, показать шаткость каждаго начала, сказать, въ чемъ именно заключается ошибка. Однимъ словомъ, науку должна судить наука, иначе—ничего не будетъ доказано. А въ этомъ, кажется, и состоитъ ошибка автора; видя несовершенство и уклоненіе отъ настоящаго пункта, онъ проникнуть благороднымъ негодованіемъ, онъ хочетъ исправить недостатки; но въ этомъ случаѣ одного чувства негодованія еще недостаточно для того, чтобы опровергнуть положительную систему.

Еще одинъ примѣръ, и мы увидимъ, какъ авторъ отвѣчаетъ на заданные вопросы...

Ч. I, стр. 27. „Странѣ, погрязшей въ нравственную бухгалтерію прошедшаго столѣтія, суждено было произвести человѣка, который сосредоточилъ всѣ преступленія, всѣ заблужденія своей эпохи и выжалъ изъ нихъ законы для общества, строгіе, одѣтые въ математическую формулу. Этотъ человѣкъ, котораго имя должно сохранить для потомства, сдѣлалъ важное открытіе: онъ догадался, что природа ошиблась, развивъ въ человѣчествѣ способность размножаться, и что она никакъ не умѣла согласить бытія людей съ жилищемъ. Глубокомысленный мужъ рѣшилъ, что должно поправить ошибку природы и принести ея законы въ жертву фантому общества. „Правители!“ восклицалъ онъ въ философскомъ восторгѣ.—„Мои слова не пустая теорія, моя система не слѣдствіе умозрѣній; я кладу ей въ основаніе двѣ аксіомы: первая—человѣкъ долженъ бѣть, вторая—люди множатся. Вы не спорите? Вы согласны со мною?... Такъ слушайте же: вы думаете о благоденствіи вашихъ подданныхъ; вы думаете о соблюденіи между ними законовъ Провидѣнія, объ умноженіи силъ вашего государства, о возвышеніи человѣческой силы? Вы ошибаетесь, какъ ошиблась природа. Вы

спокойны; вы не видите, какое бѣдствіе она разлила вокругъ. Смотрите, вотъ мои счеты: если ваше государство будетъ благоденствовать, если оно будетъ наслаждаться миромъ и счастьемъ, въ двадцать-пять лѣтъ число его жителей удвоится; чрезъ двадцать-пять еще удвоится, потомъ еще, еще... Гдѣ жъ найдете вы въ природѣ средства доставить имъ пропитаніе? Правда, при увеличивающемся народонаселеніи, должно увеличиваться число работниковъ,—съ тѣмъ вмѣстѣ должны увеличиваться и произведенія природы. Но какъ?.. Смотрите: я все предвидѣлъ, все рассчиталъ: народонаселеніе можетъ увеличиваться въ геометрической прогрессіи, какъ 1, 2, 4, 8; произведенія же природы—въ арифметической, какъ 1, 2, 3, 4 и проч. Не обольщайтесь же мечтами о мудрости Провидѣнія, о добродѣтели, о любви къ человѣчеству, о благотворительности; вникните въ мои выкладки: кто опоздать родиться, для того нѣтъ мѣста на пиру природы: его жизнь есть преступленіе. Спѣшите же препятствовать бракамъ; пусть развратъ истребитъ цѣлыя поколѣнія въ ихъ зародышѣ; не заботьтесь о счастьи людей и о мирѣ; пусть войны, моръ, голодъ, мятежи уничтожатъ ошибочное распоряженіе природы,—тогда только обѣ прогрессіи могутъ слиться, и изъ преступленій и бѣдствій каждаго члена общества составитъ возможность существованія для самого общества“. И эти мысли никого не удивили; имъ возражали, какъ обыкновенному мнѣнію... Что я говорю? Мысли Мальтуса, основанныя на грубомъ матеріализмѣ Адама Смита, на простой арифметической ошибкѣ въ расчетѣ, съ высоты перламентскихъ кафедръ, какъ растопленный свинецъ, катятся въ общество, пожигаютъ его благороднѣйшія стихіи и застываютъ въ нижнихъ слояхъ его. Можетъ быть, есть одно утѣшительное въ этомъ явленіи: Мальтусъ есть послѣдняя нелѣпость въ человѣчествѣ. По этому пути дальше идти не возможно“.

Эта длинная выписка приведена нами не безъ цѣли; она есть образчикъ многихъ, очень многихъ размышленій автора. Но что же она доказываетъ? Невольно спрашиваемъ мы, потому что позволяется ничего не доказываетъ однимъ поэтамъ да художникамъ. Съ прискорбіемъ должны мы сказать: это ничего не доказываетъ, кромѣ высокаго порыва благородной души, стремящейся къ идеалу. А между тѣмъ мы ждемъ рѣшенія задачъ: зачѣмъ волнуются народы, зачѣмъ они появляются на поприщѣ жизни и исчезаютъ, зачѣмъ общество страдаетъ; ищемъ отвѣта на тѣ задачи, разрѣшеніе коихъ скрывается въ глубинѣ таинственныхъ стихій, образующихъ и связующихъ жизнь духовную и жизнь вещественную; однимъ словомъ—ищемъ рѣшенія задачъ, которыя смущаютъ умъ человѣческій, но рѣшенія не находимъ или, по крайней мѣрѣ, находимъ только намекъ на рѣшеніе.

Все это не что иное, какъ элегія въ наукѣ или, лучше сказать, лирическая наука, которая въ наше время не допускается, повторяемъ, потому, что ничего не доказываетъ. А если прибавимъ, что въ это время высказываются

мысли, которыя или требуютъ подтвержденія, или иногда противорѣчатъ другъ другу, то увидимъ еще большую необходимость наукообразнаго изложенія ученія о предметахъ высокихъ. Таковы, напримѣръ, слова автора о поэзіи: „Поэтъ есть первый судья человѣчества. Когда, въ высокомъ своемъ судилищѣ, озаряемый купиною несгораемою, онъ чувствуетъ, что дыханіе бурно проходитъ по лицу его, тогда читаетъ онъ букву вѣка въ свѣтлой книгѣ всевѣчной жизни, провидитъ естественный путь человѣчества и казнить его совращеніе“. Все это такъ, скажетъ читатель; да отчего жъ именно поэтъ—первый судія человѣчества, отчего въ этомъ титулѣ отказано историку и законодателю? Почему о томъ или другомъ изъ сихъ послѣднихъ нельзя также сказать, что когда онъ „въ высокомъ своемъ судилищѣ, озаряемый купиною несгораемою, чувствуетъ, что дыханіе бурно проходитъ по лицу его, тогда читаетъ онъ букву вѣка въ свѣтлой книгѣ всевѣчной жизни, провидитъ естественный путь человѣчества и казнить его совращеніе“?

Далѣе, о поэзіи нашего вѣка авторъ говоритъ слѣдующее: „Нынѣ ли вѣщій судья (то-есть, поэтъ) въ состояніи произнести неумытныи судъ свой? Нынѣ ли, когда онъ сходитъ со ступеней своего престола такъ низко, что страждетъ вмѣстѣ съ другими, что дѣлитъ съ людьми скорбный хлѣбъ нищеты душевной и забываешь, гдѣ престолъ его, гдѣ его царственная трапеза, сомнѣвается въ ея существованіи?“ А развѣ прежде поэтъ не былъ такимъ же человѣкомъ, не страдалъ вмѣстѣ съ другими людьми, не дѣлилъ скорбный хлѣбъ нищеты душевной?.. Всѣ великіе поэты выражали собою свой вѣкъ, не жертвуя возвышенностью идей своихъ.

Но не будемъ забывать того, съ чего мы начали. Мы говоримъ, что мысль человѣка, въ полномъ ея развитіи, не можетъ развязать многихъ вопросовъ жизни человѣческой. Слѣдовательно, что остается дѣлать? Вѣрить. Чего доказать нельзя за недостаткомъ основаній, того и доказывать не должно. Затѣмъ остается вѣрованіе облечь въ форму; это—дѣло воображенія каждаго человѣка. Здѣсь дѣло индивидуальности, дѣло частнаго воззрѣнія. Слѣдовательно, какъ ничто общее, какъ начало, примиряющее частности, не имѣетъ къ мистицизму никакого родственнаго отношенія.

Переходимъ къ другому вопросу. Можно ли, на основаніи чудеснаго, создать поэтическое произведеніе, по крайней мѣрѣ, выставить какой-нибудь характеръ?

Вмѣсто прямого отвѣта на этотъ вопросъ, посмотримъ, что сдѣлалъ въ этомъ отношеніи авторъ.

Онъ, какъ мы видѣли вначалѣ, сказалъ: „Для объясненія великаго смысла... великихъ дѣятелей природы, естествоиспытатель вопрошаетъ произведенія вещественнаго міра, сіи символы вещественной жизни, историкъ—живые символы, внесенные въ лѣтописи народовъ, поэтъ—живые символы души своей. Итакъ, авторъ для объясненія необъяснимыхъ задачъ представитъ намъ символы, то-есть,

иначе, лица, въ которыхъ мы разгадаемъ что-нибудь изъ тайнствъ природы и духа, представить намъ рассказы, въ которыхъ мы увидимъ эти тайнства разоблаченными, примемъ ихъ къ сердцу и скажемъ: теперь мы васъ знаемъ.

Первый символъ—„*Opere del Cavaliere Giambattista Piranesi*“.

Вотъ его содержаніе: Молодой человѣкъ, великій антикварій, зашелъ въ Неаполѣ въ одну изъ мелкихъ лавочекъ—порыться, по обыкновенію, въ пыльныхъ фоліантахъ. Въ другомъ углу лавки замѣтилъ онъ странную фигуру человѣка, который съ особеннымъ вниманіемъ разсматривалъ собраніе плохо перепечатанныхъ гравюръ. Этого чудака онъ встрѣчалъ часто въ Неаполѣ. Молодому человѣку захотѣлось завести съ нимъ разговоръ; видя, что онъ долженъ быть архитекторъ онъ взялъ одинъ томъ „*Opere dal Cavaliere Giambattista Piranesi*“ и указалъ ему на проекты колоссальныхъ зданій, изъ которыхъ на построеніе cadaго надобны милліоны. Незнакомецъ, посмотрѣвъ на книгу, отскочилъ въ ужасѣ и просилъ закрыть ее. Молодой человѣкъ вошелъ съ нимъ въ разговоръ и узналъ, что чудакъ—сочинитель этой книги. Молодой человѣкъ взялъ историческій словарь и прочелъ въ немъ: „*Жіамбатиста Пиранези, знаменитый архитекторъ... умеръ въ 1778.*“ „Вздоръ, отвѣчалъ старикъ;—„я живу, а живу потому, что проклятая книга мѣшаетъ мнѣ умереть. Я сдѣлалъ множество колоссальныхъ проектовъ, которые представлялъ всѣмъ королямъ, папѣ, кардиналамъ... но никто не брался выполнить ни одного проекта. Чувствуя приближеніе старости, я напечаталъ свои проекты. Но вмѣстѣ съ этимъ начались и мои страданія. Когда я лежалъ на смертномъ одрѣ, меня окружили призраки въ видѣ дворцовъ, палатъ, замковъ; всѣ они давили меня и просили жизни. Съ этой минуты духи, мною порожденные, не даютъ мнѣ покоя: то огромный сводъ заключаетъ меня въ свои объятія, то башни гонятся за мною, шагая безъ усталости. Грустно я перехожу изъ страны въ страну и осматриваю, не подомилось ли гдѣ великолѣпное зданіе... Уже пробѣжалъ я всю Европу, Азію, Африку, и до тѣхъ поръ не найду покоя, пока не найдется спаситель, который всѣ мои замыслы приведетъ въ исполненіе“. Съ сими словами старикъ попросилъ десять милліоновъ, чтобы соединить сводомъ Этну съ Везувіемъ, для триумфальныхъ воротъ, которыми начинается паркъ проектированнаго имъ замка.

Посмотримъ, что скажетъ другой символъ: „*Бригадиръ*“.

Жилъ-былъ человѣкъ, который на семь свѣтѣ ѣлъ и пилъ, никого не любилъ, никѣмъ не былъ любимъ, произведенъ былъ за выслугу до чина статскаго совѣтника и умеръ. При погребеніи его присутствовалъ одинъ молодой человѣкъ, который долго думалъ о покойникѣ, и до того долго, что умершій самъ предсталъ передъ него и началъ ему рассказывать слѣдующее. Отецъ покойника былъ занятъ службою, картами, охотою, матушка—сплетнями; учили его такъ, что у него ничего не осталось въ головѣ; заставили служить, ходить въ караулъ, къ роднѣ, къ начальникамъ. Вскорѣ на всѣ его способности нашло какое-

то оиѣмѣніе. Такъ какъ всѣ люди женятся, то и онъ женился, хотъ никогда не любилъ жены: явились дѣти, которыхъ онъ такъ же воспиталъ, какъ и его воспитывали. Наконецъ онъ началъ старѣться, явилась хандра, онъ сдѣлался боленъ и почувствовалъ послѣднія минуты. Тутъ сцена перемѣнилась; судороги потрясли его нервы, и занавѣса упала съ глазъ его. Все, что тревожить душу человѣка, одареннаго сильною дѣятельностью: ненасытная жажда познаній, стремленіе дѣйствовать, оставить по себѣ рѣзкую борозду въ умахъ человѣческихъ, все запылало въ головѣ его; онъ понялъ, что такое значить: думать и любить, и жизнь предстала ему во всей отвратительной наготѣ.

Приведемъ еще содержаніе разсказа „Эльса“.

Въ Москвѣ былъ домъ, о которомъ хозяинъ говорилъ, что въ немъ водятся домовые, потому что, по ночамъ, въ одной изъ залъ были слышны вопли. Двое любопытныхъ, изъ которыхъ одинъ былъ страшный мистикъ, отправились ночью изслѣдовать, на самомъ дѣлѣ, это странное явленіе; они рѣшились провести ночь въ страшномъ домѣ. Ночью дѣйствительно слышны были стоны и вопли, выражавшіе то гнѣвъ, то печаль, то отчаяніе. Мистикъ объяснилъ это явленіе слѣдующимъ образомъ: около 1726 года, недалеко отъ Сухаревой башни, жилъ одинъ финляндецъ, который съ какимъ-то старикомъ, графомъ, занимался отыскиваніемъ философскаго камня. Опыты не удавались, нашимъ алхимикамъ не помогали ни Парацельсъ, ни Арнольдъ де-Валланова, ни Геберъ, ни Василій Валентинъ; для этого необходимо было, чтобы въ огнѣ, которымъ производились опыты, явилась саламандра. Финляндецъ былъ въ отчаяніи: уже онъ вспоминалъ свою родину, горы, въ которыхъ ему было такъ привольно, вспомнилъ родныхъ и, наконецъ, подругу юности, Эльсу, дѣвушку, на которой онъ хотѣлъ жениться, которую онъ нѣкогда любилъ, и которая его любила. Но онъ ее отвергъ и женился на русской. Вдругъ, во время мечтаній въ огнѣ ему явилась Эльса въ видѣ саламандры. Эльса вилась вокругъ таинственнаго сосуда, который былъ поставленъ на огонь алхимиками, и сыпала на него золотой дождь. На другой день къ финляндцу, въ самомъ дѣлѣ, явилась Эльса, которая въ это время пріѣхала изъ Финляндіи; но она и не подозрѣвала о появленіи своемъ въ видѣ саламандры. Онъ жила потомъ у финляндца, при алхимическихъ опытахъ снова являлась въ яркомъ огнѣ, по ночамъ въ видѣ саламандры и учила его вести кабалистическія занятія. При этихъ занятіяхъ постоянно присутствовалъ старый графъ, но онъ никогда не видѣлъ саламандры. По истеченіи сорока дней, времени опредѣленнаго на образованіе таинственнаго камня, составила какая-то стеклянная масса, которую саламандра посоветовала скрыть отъ графа, сказавъ, что опытъ не удался, и что его необходимо начать снова. Между тѣмъ финляндецъ разложилъ таинственный камень и нашелъ, что имъ можно красить сукно въ кубовую краску. Послѣ этого финляндцу захотѣлось избавиться отъ жены, которая ему надоѣла; онъ объявилъ это саламандрѣ, и жена сгорѣла. Наконецъ, добытъ былъ.



послѣ продолжительныхъ работъ подѣ руководствомъ саламандры, таинственный камень, и финляндецъ, началъ обращать все въ золото. Скоро все подвалы наполнились дорогимъ металломъ; а графъ ничего этого не зналъ и спокойно сидѣлъ у очага, на которомъ по прежнему горѣлъ огонь. Спустя нѣсколько времени онъ началъ подозрѣвать финляндца; этотъ просилъ саламандру избавить его отъ докучливаго графа, и потомъ графъ куда-то исчезъ, а финляндецъ принялъ его образъ и отправился жить въ графскіе хоромы. Сдѣлавшись графомъ, онъ снова забылъ Эльсу и хотѣлъ жениться на другой. Но стѣны его дома рухнули: онъ обратился въ прежняго финляндца, очутился вновь въ своемъ домикѣ, въ которомъ еще пылала таинственная печь; но изъ печи хлынуло пламя, которое обняло домикъ. Отъ финляндца и его жилища осталось одно пепелище, и на этомъ-то пепелищѣ выстроенъ былъ домъ, въ которомъ по ночамъ слышались такіе таинственные звуки.

Обращаемся къ сдѣланному нами вопросу: можно-ли, на основаніи мистицизма, создать чисто литературное, общедоступное произведеніе?

Былъ вѣкъ, повторяемъ мы, когда чудесное правилось: это былъ такой періодъ развитія человѣка, когда воображеніе замѣняло умъ, фантастическіе образы замѣнили наблюдательность. Тогда фантастическій элементъ былъ законнымъ, необходимымъ, естественнымъ. Но средніе вѣка миновались, съ ними миновалась и мистика. Мы требуемъ теперь, да и всегда, кажется, будемъ требовать отъ литературы выраженія общества, его развитія, духа народа; требуемъ, чтобы писатель въ произведеніи передалъ все возможные изгибы сердца человѣческаго, чтобы онъ представилъ міръ, который бы каждый, положа руку на сердце, повѣрилъ собственной страстью, испытаннымъ волненіемъ. А какъ повѣрите вы мистическую слабость человѣка? Она относится лично къ какому-нибудь человѣку и имѣетъ у него свою исторію, свое значеніе. Чувству и мысли даны законы; надъ разработкой ихъ трудятся и искусство, и наука; но мистицизмъ многимъ можетъ казаться странностью; все, что можно о немъ сказать, будетъ составлять для человѣка образованнаго анекдотъ, который никто не въ правѣ ни отвергнуть, ни принять, и который въ правѣ каждый или принять или отвергнуть. Только низшіе классы общества, которые и въ наше время стоятъ въ отношеніи къ развитію не слишкомъ высоко, создаютъ повѣрья и легенды и ими стараются объяснить какой-либо фактъ жизни духовной и природы, и тогда это — легенды и повѣрья законныя, какъ выраженія вѣрованій народныхъ; образованный человѣкъ только и можетъ смотрѣть на нихъ съ этой стороны. Въ литературномъ же произведеніи, когда вы будете заинтересованы разыгрывающеюся страстью человѣка или будете слѣдить за развитіемъ его характера, и вдругъ вамъ наговорятъ чего-то непонятнаго, выведутъ на сцену духа, — вы ничего не поймете, скажете: можетъ быть, это и правда, да только мы этого не можемъ по-

иныхъ себѣ. Однимъ словомъ, интересъ литературный никогда не основанъ на мистицизмѣ.

Внимъ мистическую сторону произведеній князя Одоевскаго, оставимъ я разсужденія о ней, потому что онѣ невозможны: оставимъ и произведенія, въ которыхъ загадочность играетъ не послѣднюю роль, въ литературѣ не должно быть загадокъ, а обратимся къ произведеніямъ, въ которыхъ мы найдемъ и человѣческую жизнь, и наши страданія, и отдадимъ полную похвалу автору за его достоинства.

Мы найдемъ повѣсти, полныя интереса, лица, рѣзко очерченныя, страсти, разоблаченныя вѣрно; здѣсь читатель найдетъ много занимательнаго разсказа и обворожительность сладкаго языка. Возьмемъ, напримеръ: „Себастьянъ Вахъ“, „Княжна Мими“, „Княжна Зизи“, мажорку „Валь“ или легенду „Не обойденный домъ“—чисто народную, горячую, вылившуюся изъ горячаго повѣрья и рѣзко очертившую русскаго человѣка. Здѣсь вы невольно почувствуете полное уваженіе къ личности, увидите душу благородную, негодующую на направленіе нашего вѣка, горячую, холодность, убивающую самый зародышъ чувствъ. „Княжна Мими“ заставляетъ насъ много раздумья: вы содрогнетесь, узнавъ характеръ княженины; вамъ сдѣлается больно за несчастную княжну Зизи; вы будете страдать съ нею и проклянете вѣкъ, который могъ породить Готтротта „Княжну Мими“, вы невольно спросите у самихъ себя вѣдь: какимъ образомъ люди самые бездушные, ледяные при видѣ самаго горячаго, при видѣ высокой и самой пошлой мысли, при видѣ самаго прекраснаго произведенія и при нарушеніи всѣхъ законовъ природы и человѣчества—такимъ образомъ эти люди дѣлаются пламенными, глубокомысленными, горячими, краснорѣчивыми, когда дѣло дойдетъ до креста, до чина, до какой-нибудь домашней тайны или до того, что они выжали изъ своего мозга подъ именемъ приличія!

## то о русской литературѣ въ 1846 году <sup>1)</sup>.

Развитіе литературы наступаютъ и проходятъ, не справляясь съ раздѣленіемъ времени на годы. Затѣмъ же сохраняется до сихъ

напечатаніи этой статьи въ „Откровенныхъ Запискахъ“ редакціей журнала слѣдующее примѣчаніе: „Полное отчетливое обзорѣніе замѣчательнѣйшихъ явленій русской литературы 1846 года не могло быть напечатано по причинамъ, отъ редакціи не зависящимъ. Рукописи этой статьи не сохранились.“

поръ обычай въ первыхъ числахъ новаго года отдавать публикѣ отчетъ въ томъ, что прочла она въ теченіе стараго? Какой интересъ можетъ имѣть перечень книгъ, изданій и статей, о которыхъ во время выхода ихъ въ свѣтъ уже говорено было подробно? Не все ли равно—прочитать на оберткахъ двѣнадцати книгъ того или другого журнала названія всѣхъ разобранныхъ имъ въ теченіе года сочиненій? Говорятъ, будто такіе очерки могутъ служить матеріалами для будущей исторіи литературы. Но что сказали бы подписчики журнала *въ настоящее время*, еслибъ узнали, что онъ трудится не для нихъ, а для тѣхъ изъ ихъ потомковъ, которые вздумаютъ когда-нибудь заниматься исторіей отечественной литературы? Это особенно справедливо въ отношеніи къ годамъ, ничего не значащимъ отдѣльно. А такіе годы бываютъ нерѣдко. Ихъ можно назвать переходными. Они свидѣтельствуютъ только о томъ, что мысль, одушевлявшая періодъ, начинаетъ изнемогать, истощаться въ содержаніи; что общество утомляется тою точкой зрѣнія, съ которой смотрѣло на вещи въ теченіе этого періода; что партіи, образовавшіяся подъ вліяніемъ духа времени, начинаютъ распадаться.

Въ это время—веселое, но безплодное время—каждый спѣшитъ отдать себѣ отчетъ въ характеръ своего призванія, бойко анализируетъ свои отношенія къ кругу, въ которомъ находится, старается высвободиться изъ-подъ вліянія, которое увлекало его въ круговоротъ дѣятельности вопреки настоящему, природному влеченію; однимъ словомъ, это—краткій мигъ всеобщаго раздумья, всеобщей самостоятельности, всеобщаго порыва къ обнаруженію своей личности. Въ это блаженное время мало работается, за то много думается, многое предпринимается, объявляется и собирается; надежда захватываетъ духъ, и мысль несется въ будущее... Бодрый работникъ, поглощенный процессомъ труда, мѣткимъ взглядомъ окидываетъ всѣ стороны, смекая, гдѣ можно будетъ положить больше силъ, гдѣ потребуется больше печатныхъ листовъ и бессонныхъ ночей, гдѣ попрочнѣе капиталы и повѣрнѣе заказы; юноша съ блистающимъ взоромъ, самоувѣренно и довѣрчиво кидается подъ зыбкую сѣнь перваго попавшагося ему въ глаза предпріятія, въ полномъ убѣжденіи, что мысль его, незадолго до него стяжавшая ему цвѣтушій лавръ въ школѣ и въ тѣсномъ кружкѣ школьныхъ товарищей, дивнымъ, неожиданнымъ свѣтомъ прольется на цѣлый міръ, трепещущій въ ожиданія ея и въ забвеніи всего остального; неpronный утопистъ въ костюмѣ отжившаго покроя показывается изъ-за темнаго угла городского предмѣстья, съ пожелтѣвшою и отсырѣвшою тетрадью проэкта, вогнавшаго его въ слезную нищету и осеребрившаго его горячую голову преждевременными сѣдинами; а пройдоха прикидываетъ на счетахъ, какую бы новую дрянъ превознести ему до небесъ, не моргнувъ глазомъ, и въ какую новую свѣтлую точку намѣтитъ повѣрнѣе кускомъ свѣжей грязи... Все суетится въ картинѣ, перспектива потеряна, линіи выются и путаются, фигуры дрожатъ въ быстро измѣняющемся свѣтѣ; одни

типографскіе наборщики сохраняютъ свое неподвижное безучастіе къ беспокоящейся вокругъ нихъ мятельцѣ...

Но все это беспокойство не имѣетъ почти никакого печатнаго выраженія, кромѣ программъ и объявленій: чѣмъ разрѣшится оно на дѣлѣ—это еще загадка будущаго.

Истекшій 1846 годъ носитъ на себѣ всѣ признаки переходной эпохи. Во все это время происходило въ русскомъ литературномъ мірѣ какое-то несовсѣмъ обыкновенное броженіе: расклеивалось множество плотныхъ массъ, распадалось и формировалось вновь множество группъ, раздавались свѣжіе звуки новыхъ надеждъ и хриплые стоны давно подавленного отчаянія. И все это разрѣшилось программами и объявленіями объ издѣніяхъ, имѣющихъ печататься въ 1847 году. Такимъ образомъ, въ литературномъ отношеніи 1846 годъ былъ какъ бы приступомъ къ 1847; самъ по себѣ онъ не имѣетъ ровно никакого значенія.

Еще въ ноябрѣ и декабрѣ 1845 года всѣ литературные дилетанты ловили и перебрасывали отрадную новость о появленіи новаго огромнаго таланта. „Не хуже Гоголя“, кричали одни; „лучше Гоголя“, подхватывали другіе; „Гоголь убитъ“, вопили третьи... *Удружилъ* такимъ образомъ автору „Бѣдныхъ людей“, глашатаи сдѣлали то, что публика ожидала отъ этого произведенія идеальнаго совершенства и, прочитавъ романъ, изумилась, встрѣтивъ въ немъ, вмѣстѣ съ необыкновенными достоинствами, нѣкоторые недостатки, свойственные труду всякаго молодого дарованія, какъ бы оно ни было огромно. Отчаянный размахъ энтузіазма, съ которымъ спущена была новость, привелъ большую часть читателей къ забвенію самыхъ простыхъ истинъ: можетъ быть, никого еще въ свѣтѣ не судили такъ неразумно-строга, какъ г. Достоевскаго. Предположили, что „Бѣдные Люди“ должны быть бѣнцомъ литературы, прототипомъ художественнаго произведенія по содержанію и по формѣ, а автора ихъ напередъ рѣшились лишить даже возможности совершенствованія. Результатъ всего этого былъ тотъ, что большая часть публики, по прочтеніи „Бѣдныхъ Людей“, нѣкоторое время преимущественно толковала о *растянутости* этого романа, умалчивая объ остальномъ. То же самое повторилось по выходѣ въ свѣтъ „Двойника“. Можно рѣшительно сказать, что полный успѣхъ эти два произведенія имѣли въ небольшомъ кругу читателей. Мы полагаемъ, что, кромѣ приведенной нами причины, нерасположенія большинства публики къ сочиненіямъ г. Достоевскаго слѣдуетъ искать въ непривычкѣ къ его оригинальному приему въ изображеніи дѣйствительности. А между тѣмъ этотъ приемъ, можетъ быть, и составляетъ главное достоинство произведеній г. Достоевскаго. Напрасно говорятъ, что новость всегда пріятно дѣйствуетъ на большинство. Во-первыхъ, большинство не вездѣ одинаково: во-вторыхъ, во всякомъ большинствѣ до известной степени дѣйствуетъ рутина. Есть примѣры мгновеннаго успѣха весьма посредственныхъ литературныхъ произведеній, успѣха, основаннаго, дѣйствительно, ни на чемъ иномъ, какъ

на новизнѣ содержанія; за то сколько же примѣровъ и холодности, съ которою въ разныя времена и въ разныхъ мѣстахъ встрѣчались произведенія истинно-изящныя, впоследствии времени признанныя первоклассными и вознесенныя до небесъ! Если Гоголь былъ не понятъ и не оцѣненъ въ первые годы своей дѣятельности по противоположности его произведенийъ съ романтическимъ направле-  
ніемъ, господствовавшимъ въ то время въ нашей литературѣ, то нѣтъ ничего мудренаго, что и популярность г. Достоевскаго нашла себѣ препятствіе въ про-  
тивоположности его манеры съ манерой Гоголя. Дѣло только въ томъ, что Го-  
голь своими произведеніями содѣйствовалъ къ совершенной реформѣ эстетиче-  
скихъ понятій въ публикѣ и въ писателяхъ, обративъ искусство къ художествен-  
ному воспроизведенію дѣйствительности. Произвести переворотъ въ этихъ идеяхъ  
значило бы поворотить назадъ. Произведенія г. Достоевскаго, напротивъ того,  
упрочиваютъ господство эстетическихъ началъ, внесенныхъ въ наше искусство  
Гоголемъ, доказывая, что и огромный талантъ не можетъ идти по иному пути  
безъ нарушенія законовъ художественности. Тѣмъ не менѣе, *манера* г. Досто-  
евскаго въ высшей степени оригинальна, и его меньше, чѣмъ кого-нибудь, мож-  
но назвать подражателемъ Гоголя. Еслибы вы назвали его этимъ именемъ, вамъ  
бы пришлось и самого Гоголя назвать подражателемъ Гомера или Шекспира.  
Въ этомъ смыслѣ всѣ истинные художники подражаютъ другъ другу, потому что  
изящество всегда и всюду подчинено однимъ и тѣмъ же законамъ.

И Гоголь, и г. Достоевскій изображаютъ дѣйствительное общество. Но Го-  
голь—поэтъ по преимуществу соціальный, а г. Достоевскій—по преимуществу  
психологическій. Для одного индивидуумъ важенъ какъ представитель извѣстнаго  
общества или извѣстнаго круга; для другого самое общество интересно по влія-  
нію его на личность индивидуума. Гоголь тогда только вдохновляется лицомъ,  
когда чувствуетъ возможность проникнуть съ нимъ въ одну изъ обширныхъ сферъ  
общества. Чтобы поладить съ Чичиковымъ, онъ изѣздитъ съ нимъ всѣ углы и  
закоулки русской провинціи. То же самое можно сказать и о всѣхъ его произ-  
веденіяхъ, за исключеніемъ развѣ „Занисокъ сумасшедшаго“. Собраніе сочиненій  
Гоголя можно рѣшительно назвать художественною статистикой Россіи. У г.  
Достоевскаго также встрѣчаются поразительно-художественныя изображенія об-  
щества, но они составляютъ у него фонъ картины и обозначаются большею ча-  
стію такими тонкими штрихами, что совершенно поглощаются огромностью психо-  
логического интереса. Даже и въ „Бѣдныхъ Людяхъ“ интересъ, возбуждаемый  
анализомъ выведенныхъ на сцену личностей, несравненно сильнѣе впечатлѣнія,  
которое производитъ на читателя яркое изображеніе окружающей ихъ сферы. И  
чѣмъ больше времени пройдетъ по прочтеніи этого романа, тѣмъ больше от-  
крываешь въ немъ чертъ поразительно глубокаго психологическаго анализа. Мы  
убѣждены, что всякое произведеніе г. Достоевскаго выигрываетъ чрезвычайнс-  
мно. если читать его во второй и въ третій разъ. Мы не можемъ объяснить

какъ обиліемъ разсѣянныхъ въ нихъ психологическихъ чертъ неостановленности и глубины. Такъ напримѣръ, при первомъ чтеніи „Бѣдъ“, пожалуй, можно прійти въ недоумѣніе—зачѣмъ вздумалось автору Варвару Алексѣевну, въ концѣ романа, съ такимъ холоднымъ разсылать Дѣвушкина по магазинамъ съ вздорными порученіями. Эта черта имѣетъ огромный смыслъ для психолога и сообщаетъ цѣлоинтересъ необыкновенно вѣрнаго снимка съ человѣческой природы. Разумѣется, что любовь Макара Алексѣевича не могла не возбудить въ Варварѣ Алексѣевнѣ отвращеніе, которое она постоянно и упорно скрываетъ, и отъ самой себя. А едва ли есть на свѣтѣ что-нибудь труднѣе, чѣмъ удерживать свое нерасположеніе къ человѣку, которому мы обязаны, и который—сохрани Боже!—еще насъ любитъ! Кто потруится свои воспоминанія, тотъ навѣрное вспомнитъ, что величайшую истинность имѣетъ никакъ не къ врагамъ, а къ тѣмъ лицамъ, которымъ даны до самоотверженія, но которыми онъ не могъ платить тѣмъ же душой. Варвара Алексѣевна—мы въ этомъ глубоко убѣждены—любовью Макара Алексѣевича больше, чѣмъ своею сокрушительною не могла, не должна была отказать себѣ въ правѣ помучить его въ лакейской роли, только что почувствовала себя свободною отъ кн. Неестественно человѣку столько времени изнывать отъ насилія, видѣть привязанность, и когда-нибудь не вступиться за поруганность своей симпатіи. Впрочемъ, что жъ? Чувствительная душа, выносящая уразумѣнія подобныхъ фактовъ, могутъ утѣшить себя тѣмъ, передъ отъѣздомъ въ степь, гдѣ „ходитъ баба безчувственная, да разованный пьяница ходитъ“, Варвара Алексѣевна написала Макару письмо, въ которомъ называетъ его и другомъ, и голубчикомъ. При первомъ прочтеніи, очень легко пропустить безъ вниманія приведенную довольно сказать, что многимъ казалась она даже излишнею и не-

Но перечтите „Бѣдныхъ Людей“ уже послѣ того, какъ при возможности оцѣнить всѣ подробности этого созданія, и вы найдете одну достоинствъ, которая съ перваго взгляда и вамъ, и вамъ, и вамъ, и рецензенту могли показаться недостатками.

„Бѣдные“ имѣлъ гораздо меньше успѣха, чѣмъ „Бѣдные Люди“, что, конечно, еще менѣе говоритъ въ пользу успѣховъ всего новаго. Въ „Двойникѣ“ г. Достоевскаго и любовь его къ психологическому анализу выражены въ полнотѣ и оригинальности. Въ этомъ произведеніи онъ такъ глубоко въ человѣческую душу, такъ безтрепетно и страстно вглядѣлся въ машиннацію человѣческихъ чувствъ, мыслей и дѣлъ, что впечатлѣніе отъ чтенія „Двойника“, можно сравнить только съ впечатлѣніемъ отъ созерцанія живого человѣка, проникающаго въ химическій составъ матеріи. Странно



Что, кажется, можетъ быть положительнѣе химическаго взгляда на дѣйствительность? А между тѣмъ картина міра, просвѣтленная этимъ взглядомъ, всегда представляется человѣку облитю какимъ-то мистическимъ свѣтомъ. Сколько мы сами испытали и сколько могли заключить о впечатлѣніяхъ большей части поклонниковъ таланта г. Достоевскаго, въ его психологическихъ этюдахъ есть тотъ самый мистическій отблескъ, который свойственъ вообще изображеніямъ глубоко-анализированной дѣйствительности.

„Двойникъ“ развѣртываетъ передъ вами анатомію души, гибнущей отъ сознанія разрозненности частныхъ интересовъ въ благоустроенномъ обществѣ. Вспомните этого бѣднаго, болѣзненно самлюбиваго Голядкина, вѣчно боящагося за себя, вѣчно мучимаго стремленіемъ не уронить себя ни въ какомъ случаѣ и ни передъ какимъ лицомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ постоянно уничтожающагося даже передъ личностью своего шельмеца Петрушки, постоянно соглашающагося обрѣзывать свои претензіи на личность, лишь бы пребыть *въ своемъ правѣ*; вспомните, какъ малѣйшее движеніе въ природѣ кажется ему зловѣщимъ знакомъ сговорившихся противъ него враговъ всякаго рода, враговъ, посвятившихъ себя вполнѣ и нераздѣльно на вредъ ему, враговъ, вѣчно бодрствующихъ надъ его несчастною особой, упорно и безъ роздыха *подкапывающихся* подъ его маленькіе интересы; вспомните все это и спросите себя: нѣтъ ли въ васъ самихъ чего-нибудь голядкинскаго, въ чемъ только никому нѣтъ охоты сознаться, но что внолиѣ объясняется удивительною гармоніей, царствующею въ человѣческомъ обществѣ?.. Впрочемъ, если намъ скучно было читать „Двойника“, несмотря на невозможность не сочувствовать созданію Голядкина, то въ этомъ все-таки нѣтъ ничего удивительнаго: анализъ не всякому сносенъ; давно ли анализъ Лермонгова многимъ кололъ глаза, давно ли въ поэзіи Пушкина видѣли какое-то нестерпимое начало?

Не можемъ не сказать здѣсь нѣсколькихъ словъ о третьемъ произведеніи г. Достоевскаго, о „Господинѣ Прохарчинѣ“, небольшой повѣсти, помѣщенной въ октябрьской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ прошлаго года. Читая эту повѣсть, мы испугались одного подозрѣнія, отъ котораго до сихъ поръ не можемъ отказаться. Намъ кажется, что до автора ея дошли жалобы на растянутость его произведеній, и что онъ готовъ, въ угоду читателей, жертвовать слишкомъ многимъ въ пользу драгоценной *краткости*, которой масштабъ, впрочемъ, едва ли кѣмъ-нибудь опредѣленъ положительно. По крайней мѣрѣ, не знаемъ, чѣмъ *мы* объяснимъ неясность идеи разсказа, вслѣдствіе которой каждый понимаетъ и имѣлъ право понимать его по своему,—какъ не тѣмъ, что авторъ удержался отъ полного ея развитія изъ опасенія новыхъ обвиненій въ растянутости. Никто же хотѣлъ даже остановить вниманія на настоящей—по нашему мнѣнію—идеѣ повѣсти, потому что ей посвящено слишкомъ мало труда. Слушая различные толки объ идеѣ, выраженной въ „Господинѣ Прохарчинѣ“, мы сначала удивля-

лись, почему никто не принимаетъ въ соображеніе того обстоятельства, что по смерти героя этой повѣсти въ тюфякъ его нашелся запряганный капиталъ, а потомъ стали извинять это самоволіе цѣнителей собственнымъ промахомъ г. Достоевскаго. Мы увѣрены, что онъ хотѣлъ изобразить страшный исходъ силы господина Прохарчина въ сконидомство, образовавшееся въ немъ влѣдствіе мысли о *необезпеченности*; но въ такомъ случаѣ надо было яркими красками обрисовать его силу во все продолженіе его разсказа. Если бы на выпуклое изображеніе этой личности употреблена была хоть третья часть труда, съ которымъ обработанъ Голядкинъ, развязка повѣсти не могла бы никакимъ образомъ ускользнуть отъ вниманія читателей, и не было бы споровъ объ идеѣ ея. Не можемъ не пожелать, чтобы г. Достоевскій болѣе довѣрялся силамъ своего таланта, чѣмъ какимъ бы то ни было постороннимъ соображеніямъ. А впрочемъ, совѣтовать легко...

Въ прошломъ году за современною школою литературы утвердилось самымъ прочнымъ и самымъ оригинальнымъ образомъ лестное для нея названіе *натуральной*. Фактъ этотъ долженъ быть тѣмъ пріятнѣе для писателей, принадлежащихъ къ этой школѣ, что названіе это дано ей газетою, нападающею на современную русскую литературу, образовавшуюся подъ вліяніемъ Гоголя. Впрочемъ, юморизмъ этой острѣе въ свое время уже произвелъ такое сильное впечатлѣніе на публику, что мы считаемъ достаточнымъ занести только фактъ въ лѣтопись истекшаго года, не входя въ разсмотрѣніе всѣхъ обстоятельствъ, сопровождавшихъ любопытный выстрѣлъ. Въ свое время онъ, вмѣсто того, чтобы попасть въ группу противниковъ, попалъ въ своихъ: само собою разумѣется, что эту группу или школу, въ противоположность первой, пришлось назвать реторическою или ненатуральною...

Однакожъ, *падая отъ руки дружной*, ненатуральность не могла не сдѣлать усилій подняться на ноги: кому не дорого существованіе?

Нѣкто, скрывшій имя свое отъ взоровъ исторіи, но, по всей вѣроятности, принадлежащій къ дружинѣ *ненатуральныхъ*, собралъ остатокъ силъ и пустилъ дрожащею рукою въ непріятельскій лагерь точно такую же стрѣлу, какая пушена была за нѣсколько времени передъ тѣмъ виновникомъ перваго промаха. Важность скорбнаго приключенія заставила насъ выразиться здѣсь высокимъ слогомъ; слово „стрѣла“ есть аллегорическое выраженіе: мы разумѣемъ подъ нимъ не болѣе не менѣе, какъ статью, напечатанную въ одномъ изъ послѣднихъ номеровъ „Иллюстраціи“ и направленную противъ любителей натуральной школы. Въ этой статейкѣ ненатуральность пересказываетъ по-своему мысли о натуральности, выраженные въ „Отечественныхъ Запискахъ“, въ первой критической

статьѣ по поводу стихотвореній Кольцова. Но не въ томъ дѣло. Замѣчательнѣе всего, что неизвѣстный авторъ статейки вздумалъ воспользоваться особеннаго рода игрой словъ для того, чтобы нанести рѣшительный ударъ и критику натуральной школы, и самой школѣ. Вотъ въ чемъ дѣло.

Всѣмъ извѣстно, что въ двадцатыхъ годахъ слово *романтизмъ* употреблялось въ значеніи *благородномъ*. Подъ нимъ разумѣли тогда свободу творчества, противопоставляя ему слово *классицизмъ*. Но нѣсколько лѣтъ назадъ эстетическія идеи измѣнились до того, что слова „романтизмъ“, „романтикъ“, „романтический“ и проч. сдѣлались оскорбительными. Однажды мы уже имѣли случай рассказать читателямъ, къ какимъ уловкамъ прибѣгаютъ въ наше время, чтобы не заслужить прозванія „романтика“. Но до сихъ поръ можно еще указать на Руси людей, считающихъ романтизмъ за послѣдній прогрессивный шагъ искусства и называющихъ романтиками всѣхъ современныхъ художниковъ. Рецензентъ „Иллюстрацій“ сообразилъ, что, воспользовавшись такою двусмысленностью понятія и слова, можно напечатать очень колкую остроту противъ критиковъ, защищающихъ Гоголя и его школу. Въ самомъ дѣлѣ, какъ не сострить? Эти критики поносятъ романтизмъ, а по ученію гг. Греча, Пласина и Аскоченскаго, вѣдь и Гоголь принадлежитъ къ романтической школѣ, слѣдовательно, критики натуральной школы, уничтожая романтизмъ, уничтожаютъ и автора „Мертвыхъ Душъ“... Но это еще не все; это даже еще ровно ничего въ сравненіи съ тѣмъ, что сейчасъ будетъ. Авторъ остроумной статейки, увлекаясь все болѣе и болѣе справедливымъ негодованіемъ на критику „Отечественныхъ Записокъ“

И вѣщимъ жаромъ возгора,

объявилъ, что претензіи современной школы искусства на натуральность рѣшительно неумѣстны, что натуральность не ея изобрѣтеніе, что всѣ великія созданія искусства всегда и вездѣ были въ высшей степени натуральны. Вотъ какую новость объявила „Иллюстрація“! Поздравляемъ, вторично поздравляемъ натуральную школу съ окончаніемъ ея тяжбы. Прямые поборники ея никогда не рѣшались объявлять, что Гомеръ и Шекспиръ и Гёте принадлежали къ натуральной школѣ, а оппоненты объявляютъ это напрямикъ. Что жъ остается дѣлать теперь защитникамъ Гоголевской школы? Остается только составить окончательный протоколъ процесса, что мы и исполняемъ. Вотъ пункты протокола:

Романтическая критика утверждаетъ: 1) что современная школа искусства, образовавшаяся подъ вліяніемъ Гоголя, достойна названія натуральной; 2) что школа эта не изобрѣла никакого новаго эстетическаго принципа, и держится тѣхъ же началъ, которыя осуществлены въ созданіяхъ великихъ художниковъ всѣхъ вѣковъ и всѣхъ народовъ.

Согласно съ нимъ, критика натуральной школы, съ своей стороны, заключаетъ: 1) что романтическая школа, какъ противоположная натуральной, достойна названія не натуральной, риторической тожъ; 2) что риторическая школа изобрѣ-

таетъ новыя эстетическіе принципы, противныя началамъ, осуществившимся въ созданіяхъ великихъ художниковъ всѣхъ вѣковъ и всѣхъ народовъ.

Слѣдственно, дѣло кончено.

---

Литературная ферментація истекшаго года разрѣшилась, какъ мы уже сказали объявленіями о коренныхъ преобразованіяхъ нѣсколькихъ періодическихъ изданій. Опредѣлить характеръ этихъ преобразованій заранѣе невозможно. Но вотъ что замѣчательно: предстоящее въ будущемъ году усиленіе нашей журнальной дѣятельности не всѣмъ равно пріятно. Богъ знаетъ откуда взялось у насъ мнѣніе, будто бы, подъ вліяніемъ періодическихъ изданій, вся русская литература получила характеръ журнальный. Эта мысль, конечно, нисколько не вредитъ русской журналистикѣ, чему лучшимъ доказательствомъ служатъ помянутыя нами объявленія; тѣмъ не менѣе, нельзя не обратить на нее вниманіе, какъ на заблужденіе, связанное со многими другими заблужденіями.

Слова „журналъ поглотилъ у насъ книгу“ всегда казались намъ натянутыми и ни съ чѣмъ несообразными. Пусть назовутъ хоть два или три хорошія сочиненія, которыя не имѣли бы у насъ успѣха, потому что появились не въ журналѣ. Этого никто не можетъ сдѣлать! гораздо легче назвать множество сочиненій, которыя расходились очень сильно, несмотря на то, что печатались въ журналахъ до выхода въ свѣтъ отдѣльными книгами. И съ какой стороны ни смотрите на вопросъ, на повѣрку всегда выходитъ, что журналъ не только не убиваетъ сочиненій, издаваемыхъ отдѣльно, но еще даетъ имъ ходъ. Помѣстите ваше сочиненіе въ журналъ и потомъ издайте его отдѣльно: въ журналъ его прочтутъ нѣсколько тысячъ человѣкъ, и тѣмъ самымъ репутація его уже сдѣлана; если оно дѣйствительно хорошо, или если оно принадлежитъ къ числу тѣхъ, которыя необходимо значительному классу людей имѣть постоянно подъ рукою, вы можете быть увѣрены, что, по выходѣ его отдѣльною книгой, не купятъ его только тѣ люди, которые вообще не имѣютъ ни потребности, ни средствъ, ни обычая издерживаться на библіотеку. Между тѣмъ, съ другой стороны, помѣщеніе вашего труда въ журналъ уже возбудило въ публикѣ требованіе на него. Есть и такіе люди, которые убѣждены, что журнальная критика убиваетъ много хорошихъ произведеній своими неодобрительными отзывами. Само собою разумѣется, что эта часть жалобы относится къ критикѣ слѣпой или продажной. Но, кажется, не трудно смекнуть, что критика такого рода имѣетъ и свою репутацію въ этомъ отношеніи: бываютъ и такія изданія, которыхъ похвалы достаточно для того, чтобы поселить въ публикѣ полное недовѣріе къ достоинствамъ разбираемой ими книги, и наоборотъ. Однимъ словомъ, пора перестать вооружаться противъ фантома. Мы, съ своей стороны, скорѣе готовы спорить о несуществованіи у насъ настоящей журналистики, чѣмъ о чрезмѣрномъ усиленіи журнальнаго характера литературы.

Главный недостатокъ большей части нашихъ журналовъ и газетъ заключается въ самомъ ихъ происхожденіи. Почти всѣ они возникли не въ слѣдствіе идеи, искавшей себѣ обнаруженія въ обществѣ. Въ этомъ отношеніи, ихъ скорѣе можно назвать ежемѣсячными сборниками статей, чѣмъ журналами въ настоящемъ смыслѣ. Къ этому понятію такъ привыкла наша публика, что нѣкоторые журналисты рѣшаются даже выставять передъ нею безхарактерность своихъ изданій, какъ отличительное ихъ достоинство. Одни изъ нихъ съ постояннымъ самодовольствомъ даютъ знать каждый мѣсяцъ, что публика никогда не слыхала отъ нихъ рѣшительныхъ приговоровъ ничему на свѣтѣ; другіе съ неменьшею гордостью повторяютъ, что они приняли за правило не принимать серьезно никакихъ общественныхъ и литературныхъ явленій: третьи открыто поставили себѣ въ обязанность не щадить ничего, что сколько-нибудь походитъ на характеръ; четвертые безпрестанно увѣряютъ публику, что стоятъ за одну *правду*, предоставляя каждому давать этому отвлеченному понятію какой-угодно смыслъ и понимая его про себя совершенно оригинальнымъ образомъ. Этимъ объясняется удивительная непоследовательность въ содержаніи нашихъ періодическихъ изданій. Встрѣчая въ русскомъ журналѣ такую-то статью, вы очень рѣдко можете отдать себѣ отчетъ, почему попала она въ этотъ, а не въ другой какой журналъ. А между тѣмъ непоследовательность-то статей и нравится издателямъ: они называютъ ее разнообразіемъ, разносторонностью, занимательностью и тому подобными пріятными словами.

Въ противоположность этой безхарактерности большей части журналовъ и газетъ, нѣкоторыя изданія въ свою очередь отличаются забавною скрупулезностью въ поддержаніи своего направленія. Для журналистовъ, впадающихъ въ такую крайность, характеръ журнала и убѣжденія его редактора—двѣ вещи разныя: пусть убѣжденія его развиваются и измѣняются сами по себѣ, духъ журнала долженъ оставаться неизмѣннымъ, тоже самъ по себѣ. Мы всегда готовы предположить въ измѣненіи идей того или другого лица какую-нибудь внѣшнюю причину—индустріальный или иной расчетъ, безсиліе въ борьбѣ съ противною стороной и все, что угодно, кромѣ внутренняго совершенствованія. При такомъ взглядѣ на вещи со стороны публики, надо имѣть достаточный запасъ героизма, чтобы признаться въ собственныхъ успѣхахъ, и столько же ловкости, чтобы выдерживать роль человека, запасшагося на всю жизнь неизмѣнными понятіями о вещахъ. Примѣры ловкости вообще чаще встрѣчаются въ мірѣ, чѣмъ примѣры героизма, и потому нѣтъ ничего удивительнаго, что и въ русской журналистикѣ первое свойство преобладаетъ надъ послѣднимъ. Все легкое чрезвычайно соблазнительно; а что можетъ быть легче, какъ выдержать роль, если не имѣешь другой претензіи, кромѣ той, чтобы роль была выдержана во что бы то ни стало? Сколько есть на свѣтѣ пустѣйшихъ людей, которые понимаютъ, что имъ рѣшительно нечѣмъ взять, какъ развѣ оригинальничаньемъ, и которые прекрасно

исполняютъ свое амплуа отъ перваго пушка на подбородкѣ до снѣжныхъ сѣдинъ на головѣ. Въ журнальномъ дѣлѣ это еще легче: стоитъ только молчать, когда васъ уличаютъ въ такихъ заблужденіяхъ, въ которыхъ нѣтъ никакихъ средствъ оправдываться, и указывать на такіе промахи противниковъ, которые нисколько не касаются спорнаго пункта: въ печатныхъ состязаніяхъ это очень удобно. Впрочемъ, этотъ секретъ до того извѣстенъ, что о немъ нѣтъ нужды распространяться. Мы хотѣли только сказать, что наши журналы и газеты, которыхъ счетомъ очень немного, большею частію издаются или вовсе безъ всякой идеи, или съ такими идеями, которыя не пользуются большимъ кредитомъ въ глазахъ самихъ издателей. Этого обстоятельства одного уже достаточно для опроверженія мнѣнія, будто бы литература наша въ послѣднее время получила характеръ журнальный. Откуда же могъ взяться этотъ журнальный характеръ цѣлой литературы, когда еще и самые журналы-то наши такъ мало походятъ на журналы?

Противъ всего этого могутъ замѣтить, что у насъ нельзя и представить себѣ иныхъ журналовъ, кромѣ такихъ, какіе издаются теперь, потому что въ самой публикѣ нашей нѣтъ котерій, основанныхъ на различномъ пониманіи идей. Если здѣсь подъ словомъ „котеріи“ разумѣть исключительно группы представителей различныхъ общественныхъ убѣжденій, то возраженіе это справедливо. Но въ наше время, кажется, уже доказано, что общественныя идеи сами по себѣ не имѣютъ другого значенія, кромѣ формальнаго, что всѣ онѣ суть не что иное, какъ выводы изъ идей науки, и зависятъ вполне отъ вопросовъ существенныхъ. Слѣдовательно, несуществованіе общественныхъ котерій никакъ не можетъ служить препятствіемъ къ существованію и борьбѣ идей несомнѣнной важности.

Вообще, говоря, что наши журналы рѣдко удовлетворяютъ тому назначенію, какое приписывается журналамъ въ Европѣ, мы не требуемъ отъ нихъ того, чтобъ они во всѣхъ отношеніяхъ были сколками съ европейскихъ періодическихъ изданій. Напротивъ, часто нельзя не порицать въ нихъ именно этого стремленія. Русскіе журналы, по нашему мнѣнію, много теряютъ тѣмъ, что дѣйствуютъ такъ, какъ будто бы наша литература равнялась въ обиліи и зрѣлости литературѣ Франціи, Англіи и Германіи. Характеръ журнальныхъ статей долженъ обуславливаться положеніемъ остальныхъ стихій литературы. Самое происхожденіе журналовъ въ Европѣ имѣло главною причиною своею накопленіе капитальныхъ, основныхъ литературныхъ трудовъ. Журнальныя статьи о предметахъ, относящихся къ физикѣ, могли явиться только въ такой литературѣ, которая изобиловала капитальными сочиненіями о физикѣ и т. д. И тѣмъ болѣе обогащалась европейская литература произведеніями такого рода, тѣмъ дробнѣе становился интересъ журнальныхъ статей. Въ девятнадцатомъ столѣтіи ученая литература въ Европѣ приняла такое монографическое направленіе, переполнилась такимъ множествомъ превосходныхъ сочиненій, посвященныхъ обработкѣ отдѣльных вопросовъ всякаго рода, что статьи журналовъ должны были окончательно



заклучиться въ самыя тѣсныя рамы. Чтò не носить на себѣ этого характера частности или животрепещущей новизны, то, по всей справедливости, въ европейскомъ журналѣ кажется наивнымъ и школьнымъ. Наши журналы въ этомъ отношеніи считаютъ себя въ правѣ держаться тѣхъ же правилъ и, разумѣется, жестоко ошибаются. Литература наша такъ бѣдна, что между наивностью русской журнальной статьи и наивностью статьи европейскаго журнала разстояніе неизмѣримое. Странно! Въ каждомъ русскомъ журналѣ безпрестанно повторяются жалобы на бѣдность русской ученой литературы, безпрестанно перечисляются существующія у насъ сочиненія по разнымъ отраслямъ наукъ, съ цѣлью показати ихъ неудовлетворительность, а въ то же время въ каждомъ же журналѣ помѣщаются статьи такого дробнаго содержанія, такого исключительнаго интереса, какъ будто бы онѣ предназначались для чтенія французской, англійской или нѣмецкой публики, плавающей въ изобиліи всевозможныхъ руководствъ, диссертаций и лексиконовъ. Итакъ, если, съ одной стороны, большая часть русскихъ журналовъ отстала отъ журналовъ европейскихъ въ опредѣленности направленія, то, съ другой стороны, ей приходится принять упрекъ и другого рода, упрекъ въ подражательности западнымъ періодическимъ изданіямъ, которая заставляеть ихъ забывать о настоящихъ потребностяхъ русской публики.

Все это сочли мы нужнымъ высказать потому, что чтеніе журналовъ составляетъ у насъ значительнѣйшую умственную пищу людей, читающихъ по-русски. На этихъ-то людяхъ отражаются самыми рѣзкими чертами всѣ недостатки нашей журналистики. Они образуютъ собою особенный, весьма любопытный типъ. Вслушайтесь въ разговоръ такихъ людей: съ перваго взгляда иной читатель русскихъ журналовъ можетъ показаться не только свѣдущимъ, но даже человѣкомъ съ убѣжденіями. Очень свободно коснется онъ въ разговорѣ какого-нибудь животрепещущаго опыта надъ вліяніемъ электричества на растительность; упомянетъ, какъ о родномъ отцѣ, о такомъ великомъ человѣкѣ, о которомъ мѣсяцъ тому назадъ ровно ничего не знали ученые; опишетъ замысловатый приборъ, только что давшій извѣстность скромному труженику науки, да вслѣдъ затѣмъ обронитъ такія два-три словца, что вы долго не будете знать, обмолвился ли этотъ свѣдущій человѣкъ, или забавляется онъ надъ вами, или, наконецъ, просто пребываетъ въ блаженномъ невѣдѣніи азбучныхъ истинъ. Что касается до насъ, то встрѣча съ такимъ господиномъ всегда напоминаетъ намъ одного нѣмца, котораго вся бібліотека состояла изъ тома извѣстнаго нѣмецкаго конверсационс-лексикона, заключающаго въ себѣ объясненіе словъ, начинающихся съ буквъ G и H; этотъ нѣмецъ очень обстоятельно говорилъ о жизни и сочиненіяхъ Гёте и рѣшительно ничего не зналъ о Шиллерѣ, кромѣ того, что Шиллеръ былъ другомъ автора „Фауста“. Такъ-называемыя убѣжденія читателя русскихъ журналовъ также могутъ возбудить искреннее соболѣзнованіе: то кажется ему, что онъ выразился слишкомъ сильно, пересолитъ, то наоборотъ.

мучить его мысль, что рѣчь его слишкомъ робка, что въ идеи его вкралась уступка, лишаящая слова его всякой колоритности. Однимъ словомъ, онъ ни дать, ни взять блуждаетъ въ области мысли, какъ чисто одѣтый господинъ, перебѣгающій безъ калошъ по переулку, устланному лужами. Предоставляемъ читателямъ рѣшить самимъ, могло ли бы все это быть, если бы направленіе журналовъ, которыми онъ исключительно питается, дѣйствительно можно было назвать направленіемъ

Разсматривая ученую литературу прошлаго года, мы не можемъ не усилить нѣсколькими тонами свою грустную пѣсню о несуществованіи у насъ настоящей журналистики, дѣйствительно поглощающей иногда строгія требованія искусства и науки. Въ жалобахъ на воображаемую журнальность нашей литературы нельзя не замѣтить сильной антипатіи противъ того, что только выражаетъ собою тѣсную связь науки съ жизнью. Есть люди, вовсе не лишенные ума и образованія, но пропитанные насквозь какимъ то схоластическимъ взглядомъ на вещи: этихъ людей никакъ нельзя назвать неспособными отъ природы; есть даже сфера умственной дѣятельности, въ которой не сравнится съ ними человекъ, глубоко чувствующій связь мысли съ жизнью, именно—сфера отвлеченныхъ тонкостей, чисто-діалектическихъ, условныхъ понятій и всякаго рода логическихъ фокусовъ. Но они до такой степени одержимы идеей, будто все существуетъ въ мірѣ и должно существовать само по себѣ, что всякое гармоническое стремленіе кажется имъ нарушеніемъ естественнаго порядка и всякое сліяніе—хаосомъ. „Все существуетъ само по себѣ и само для себя“ — вотъ ихъ основное положеніе. Въ примѣненіи къ практической дѣятельности это правило прекрасно, потому что вся задача жизни индивидуума заключается въ полномъ удовлетвореніи потребностей. Но если разпространить этотъ взглядъ на различныя сферы человѣческой дѣятельности, выйдетъ чистая схоластика. Людямъ такого направленія крайне противна всякая жизненность умственной дѣятельности, всякій союзъ теоріи съ практикой; а такъ какъ почти единственный шагъ къ установленію этой гармоніи сдѣлала у насъ все-таки журналистика, какъ бы она ни была далека отъ полноты своего назначенія, то на нее и обрушивается весь грузъ ихъ антипатіи.

Нѣсколько лѣтъ назадъ „Отечественныя Записки“ занимались вопросомъ: существуетъ ли русская литература? (рѣчь шла объ изящной литературѣ). Многимъ вопросъ этотъ показался страннымъ. „Кажется, на русскомъ языкѣ написано столько сочиненій всякаго рода“, говорили въ публикѣ,—что сомнѣваться въ существованіи русской литературы все равно, что сомнѣваться въ существованіи русскаго языка.“ Мало по малу, однакожъ, дѣло уяснилось и на повѣрку вышло, что сомнѣваться въ существованіи русской литературы совсѣмъ не такъ наивно, какъ ставить ее наравнѣ съ другими европейскими литературами. Въ

отношеніи къ искусству вопросъ этотъ теперь уже можно считать рѣшеннымъ: но что касается до науки, нельзя не согласиться, что существованіе русской ученой литературы подлежитъ полному сомнѣнію. По крайней мѣрѣ, русская ученая литература рѣшительно не существуетъ для того, кто не назоветъ этимъ именемъ груды сочиненій всякаго размѣра, не имѣющихъ никакого отношенія къ потребностямъ нашего общества и одолженныхъ своимъ происхожденіемъ или любви къ наукѣ въ ея отвлеченномъ и чисто-схоластическомъ значеніи, или обиходному честолюбію, или, наконецъ, просто безукоризненной стяжательности. Если исключить изъ трудовъ русскихъ ученыхъ нѣкоторые труды по части русской исторіи, что останется отъ нихъ такого, что удовлетворяло бы потребности ученаго образованія нашего общества? Не споримъ, что отъ времени до времени появляются у насъ сочиненія, достойныя даже перевода на иностранныя языки, достойныя нѣкоторой извѣстности въ любой европейской литературѣ. Но что жъ изъ этого?... Брошюра, рѣшающая какой-нибудь запутанный вопросъ о сущности и объемѣ той или другой науки, можетъ имѣть важность для многихъ тысячъ нѣмцевъ, мучащихся этимъ вопросомъ. Но что можетъ она значить у насъ? Кому она интересна? Нѣсколькимъ десяткамъ преподавателей, которые сдѣлаютъ изъ нея извлеченіе для своего курса,—не болѣе. Наши ученые поминутно жалуются, что занятія ихъ неблагодарны, что русское общество не нуждается въ ихъ сочиненіяхъ. Но спрашивается: какъ же согласить такіе отзывы о публикѣ съ дѣятельностью нашихъ *жрецовъ науки*? Сами же они сознаются, что общество не понимаетъ ихъ; отъ чего же не хотятъ они низойти до его понятій и потребностей?

Между учеными сочиненіями, вышедшими въ прошломъ году, весьма отрадное и живое явленіе представляетъ собою „Руководство къ всеобщей исторіи“ доктора Лоренца. Въ прошломъ году вышло II-е отдѣленіе второй части этого капитальнаго труда. Это сочиненіе, какъ мы нѣсколько разъ имѣли случай замѣчать, должно составить эпоху въ нашей исторической литературѣ и въ преподаваніи у насъ всеобщей исторіи. Впрочемъ, мы очень далеки отъ мысли о совершенной удовлетворительности труда г. Лоренца. Исторія—такая наука, которая требуетъ совокупной дѣятельности лицъ съ самыми разнообразными наклонностями и талантами. Ни обработать ее въ одномъ сочиненіи, ни изучить по одному сочиненію невозможно. „Руководство“ доктора Лоренца имѣетъ ту важность, что приучаетъ смотрѣть на жизнь человѣчества, какъ на процессъ вѣчнаго развитія. Оно самымъ дѣломъ убѣждаетъ въ справедливости современнаго взгляда на сущность исторіи, и въ этомъ ея главное достоинство. Странно и требовать чего-нибудь иного отъ самаго лучшаго руководства. Но русскимъ ученымъ предстоитъ еще другая задача при обработкѣ всеобщей исторіи, Общество наше давно уже нуждается въ такихъ сочиненіяхъ, которыя въ совокупности своей представляли бы полную картину историческаго развитія всѣхъ отраслей

жизни и мысли. Такимъ только образомъ наука можетъ ввести Россію въ полное духовное соприкосновеніе съ историческими народами и привить ей жизнь и ея мысль къ ихъ жизни и мысли. Но для исполненія этой задачи необходимо именно то, чего не видимъ мы въ дѣятельности большинства нашихъ ученыхъ.

Изъ переведенныхъ книгъ историко-политическаго содержанія замѣтимъ послѣднія части „Англійской Индіи“, сочиненія Варрена, и первая—„Исторія консульства и имперіи“ Тьера.

Говоря о нашей ученой литературѣ, нельзя не замѣтить увеличеніе съ каждымъ годомъ числа сочиненій педагогическаго содержанія. Правда, педагогика у насъ почти не существуетъ; но каждый мѣсяцъ выходятъ въ свѣтъ или руководства съ претензіей на педагогическое достоинство и съ предисловіемъ, въ которомъ весьма убѣдительно доказывается, что авторъ проникнутъ началами педагогій, или отдѣльныя брошюрки о преподаваніи того или сего. Но до сихъ поръ, за исключеніемъ „Библіотеки для воспитанія“, издаваемой г. Семеновъ, въ этомъ отношеніи нѣтъ у насъ ничего сколько-нибудь дѣльнаго. Двѣ только истины о преподаваніи пущены у насъ въ ходъ: первая—что изложеніе наукъ въ учебникахъ должно быть приоровлено къ понятіямъ дѣтскаго возраста, и вторая—что преподаваніе наукъ должно не только обогащать дѣтей полезными свѣдѣніями, но и развивать ихъ умственные способности. Навѣнность такихъ положеній въ ихъ теоретическомъ видѣ отзывается самымъ забавнымъ недоразумѣніемъ. Доказывать серьезно, что не годится говорить съ кѣмъ бы то ни было языкомъ ему непонятнымъ, и что науки должны не портить, а улучшать человѣка, и считать себя педагогомъ за распространеніе такихъ принциповъ,—что это за дѣятельность, что это за литература? Одно только и утѣшительно во всемъ этомъ переливаніи изъ пустого въ порожнее, именно: оно доказываетъ, что потребность въ педагогикѣ глубоко почувствована въ нашемъ обществѣ. Стало быть, пришло для насъ время серьезно думать о преподаваніи...

О спеціальныхъ сочиненіяхъ изъ области наукъ практическихъ, технологій, сельскаго хозяйства, медицины во всѣхъ ея отрасляхъ, военныхъ наукъ и проч. здѣсь не мѣсто судить. Замѣтимъ только, что въ прошломъ году появились они въ замѣчательномъ количествѣ. Напомнимъ, напримѣръ, продолженіе „Полнаго курса прикладной анатоміи“ г. Пирогова, „Анатомію домашнихъ животныхъ“ г. Всеволодова, „Геологическое путешествіе по Алтаю“ г. Щуровскаго, послѣднюю часть „Фортификаціи“ г. Теляковского и проч.

Обработываніе отечественной исторіи составляетъ у насъ постоянное отрадное исключеніе изъ общаго характера ученой дѣятельности. Нельзя сказать, чтобы на немъ не отражалось схоластическое направленіе науки; однакожъ самый предметъ, по важности своей именно для нашего общества, уже придаетъ жизненности изслѣдованіямъ. Сверхъ того, исторія—такая наука, которая труднѣе всякой другой подчиняется схоластикѣ. Болѣе всего схоластическій характеръ

историческаго сочиненія можетъ проявиться въ мелочности изучаемыхъ фактовъ. Но и то сказать: гдѣ предѣлъ историческихъ подробностей? Можно смѣяться надъ ученымъ, который ограничиваетъ свое понятіе объ исторіи знаніемъ годовъ, именъ, войнъ, и т. п.; но никакъ нельзя поручиться, чтобы какое-нибудь, по видимому, ничего незначащее обстоятельство, разъясняемое кропотливою эрудиціей, не повело когда-нибудь, въ связи съ другими фактами, къ соображеніямъ великой важности.

Изъ трудовъ по части русской исторіи, вышедшихъ въ истекшемъ году, кромѣ „Актвъ археографической комиссіи“ и драгоцѣнной Лѣтописи Нестора по Лаврентьевскому списку, нельзя не указать на третій томъ „Исторіи Смутаго времени“ г. Бутурлина, „Исторію христіанства въ Россіи до равноапостольнаго князя Владиміра“ сочиненіе архимандрита Макарія, „Книгу, глаголемую Большою Чертежъ“, изданную Г. И. Спасскимъ, „Исторію Малой Россіи“, Георгія Конисскаго, помѣщенную въ „Чтеніяхъ Императорскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ“, „О русскомъ войскѣ въ царствованіи Михаила Ѳеодоровича“, г. Вѣльева, „Текстъ Русской Правды“ г. Калачова и на статью „О родовыхъ отношеніяхъ между князьями древней Руси“, профессора Соловьева, напечатанную сначала въ „Московскомъ Сборникѣ“, а потомъ изданную отдѣльно. Военная исторія Россіи обогатилась сочиненіемъ генерала-лейтенанта Михайловскаго-Данилевскаго „Описаніе второй войны императора Александра съ Наполеономъ въ 1806 и 1807 годахъ“.

Между тѣмъ какъ критическая обработка русской исторіи постоянно облегчается изданіемъ въ свѣтъ драгоцѣнныхъ источниковъ, русская статистика страдаетъ отъ недостатка матеріаловъ и отъ недостоверности тѣхъ, которые имѣются у насъ въ лицо. Сознаніе этой истины выразилось въ одномъ весьма замѣчательномъ произведеніи истекшаго года, вышедшемъ въ Кіевѣ подъ заглавіемъ: „Объ источникахъ статистическихъ свѣдѣній“, сочиненіе Д. И. Журавскаго. Несмотря въ преувеличенное мнѣніе о важности статистическихъ подробностей и на нѣсколько фантастическое понятіе объ объемѣ статистики и методѣ ея обработыванія, сочиненіе г. Журавскаго должно быть замѣчено, какъ энергическій протестъ логики и страсти противъ всего, что сопровождаетъ у насъ собраніе статистическихъ фактовъ, и какъ одинъ изъ утѣшительныхъ проблесковъ живого пониманія науки. Въ этомъ отношеніи замѣчательно также „Критическое изслѣдованіе значенія военной географіи и военной статистики“, сочиненіе Д. А. Милюгина. Правда, если хотите, и здѣсь дѣло идетъ не больше, какъ о разграниченіи двухъ наукъ; но намъ нравится въ этой брошюрѣ то, что авторъ, видимо, самъ досадуетъ на схоластическій характеръ своей темы и развиваетъ ее только потому, что изданная имъ брошюра служитъ введеніемъ къ труду болѣе живому и существенному. Притомъ, въ этой брошюрѣ встрѣчаются весьма дѣльные замѣчанія о наукѣ вообще, какъ будто отрывки изъ той логики, которая еще не

существуетъ въ видѣ науки. Наконецъ, разборъ русскихъ и иностранныхъ сочиненій о военной географіи и военной статистикѣ, вошедшій въ сочиненіе г. Милутина, можно назвать образцовымъ библиографическимъ очеркомъ. Боясь пропустить въ ученой литературѣ прошлаго года какое-нибудь замѣчательное исключеніе, назовемъ еще помѣщенную въ „Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія“ небольшую и, кажется, наскоро написанную статью профессора Порожина „О земледѣліи въ политико-экономическомъ отношеніи“ и другую—профессора Ливовскаго „Объ окончательномъ отмѣненіи хлѣбныхъ законовъ въ Англіи“, помѣщенную сначала въ „Московскомъ ученомъ и литературномъ сборникѣ“ и изданную потомъ отдѣльною книжкой. Впрочемъ, обѣ эти статьи замѣчательны не какъ разрѣшенія, а скорѣе какъ изложенія живыхъ вопросовъ. Затѣмъ остается упомянуть о выходѣ въ свѣтъ четвертой части второго изданія „Географіи“ Соколовскаго, и первыхъ двухъ томовъ первой части „Исторіи русской словесности“ г. Шевырева, книги, которая, несмотря на ложную точку зрѣнія, избранную авторомъ, все-таки замѣчательна, какъ сборникъ матеріаловъ для изученія древней русской письменности.

Въ послѣдніе годы критика наша уяснила и установила различіе между произведеніями художественными, учеными и беллетристическими. Не раздѣляя школьнаго взгляда на важность раздѣленій, мы полагаемъ однакожъ, что удачное раздѣленіе можетъ иногда сильно содѣйствовать свѣтлому уразумѣнію сущности предмета. Сверхъ того, бывають случаи, когда новое раздѣленіе выражаетъ собою признаніе самостоятельности какой бы то ни было части. По этимъ двумъ причинамъ раздѣленіе литературныхъ произведеній на художественныя, ученые и беллетристическія гораздо важнѣе, чѣмъ это можетъ показаться съ перваго взгляда. О теоретической важности его не разъ было уже говорено въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Что же касается до историческаго его значенія, то скажемъ о немъ здѣсь нѣсколько словъ, потому что рѣшились не пропустить въ этой статьѣ замѣчательнѣйшихъ эстетическихъ понятій, утвердившихся въ послѣднее время и явившихся въ истекшемъ году въ характерѣ окончательныхъ пріобрѣтеній. Кстати, ихъ и немного.

Съ перваго взгляда можетъ показаться, что всякая эстетическая теорія налагаетъ цѣпи на творчество и задерживаетъ свободное развитіе талантовъ. Но прежде, чѣмъ произносить такой приговоръ всѣмъ эстетическимъ теоріямъ, слѣдовало бы, по нашему мнѣнію, сдѣлать различіе между теоріями вообще и всѣми мнѣть, что слово *теорія* въ наше время получило совершенно новый смыслъ. Было время, когда оно употреблялось безъ всякаго различія въ наукахъ, въ священныхъ изученію вѣчныхъ, неизмѣнныхъ законовъ міра, и въ наукахъ практическихъ, занимающихся изслѣдованіемъ законовъ человѣческой дѣятельности.



Въ то время наука прописывала свои рецепты малѣйшимъ движеніямъ души и тѣла. Во всякомъ начинаніи своемъ человѣкъ встрѣчался съ тяжелыми цѣпями науки. Вся дѣятельность его, до тѣхъ поръ, впрочемъ, подчиненная другого рода авторитету, именно—авторитету рутины, съ тоскливымъ кривляньемъ полѣзла въ рамки и въ клѣтки схоластики, тяготѣвшія до того времени исключительно надъ отвлеченнымъ изслѣдованіемъ міровой жизни. И долго человѣкъ сѣялъ, пахалъ, воевалъ, говорилъ, писалъ и ходилъ по теоріи. Однакожъ, этотъ порядокъ вещей кончился невозвратно, и все, что еще носить на себѣ его отпечатокъ, встрѣчаетъ такую энергическую ненависть въ живыхъ органахъ человѣчества, что никто не имѣетъ права допустить малѣйшее сходство прежняго значенія слова *теорія* съ тѣмъ, которое имѣетъ оно въ наше время. Спрашивается; какъ смотреть современные намъ умы на теорію, если не какъ на изслѣдованіе условій, безъ которыхъ невозможна та или другая дѣятельность? Такъ, напримѣръ, въ чемъ состоитъ новѣйшая теорія сельскаго хозяйства? Ни въ чемъ иномъ, какъ въ прямомъ, ни къ чему не обязывающемъ опредѣленіи замѣченныхъ опытомъ отношеній природы къ потребностямъ человѣка. „При такихъ-то условіяхъ почвы, климата и общественности земледѣльческій трудъ выгоденъ на столько-то, а при иныхъ—вреденъ на столько-то“: вотъ формула современной агрономической науки. Какіе выводы сдѣлаетъ изъ нея практическій человѣкъ, до этого ей нѣтъ дѣла: она вполне понимаетъ свое безсиліе для борьбы съ его произволомъ. Точно то же можно отнести и къ современной эстетикѣ: и она отказалась навсегда отъ титула руководительницы художественнаго таланта; сфера ея ограничивается опытнымъ *изслѣдованіемъ обстоятельствъ*, сопровождающихъ зачатіе, развитіе и выраженіе художественной мысли. Такой теоріи уже нѣтъ никакой возможности обратить въ рецептъ, и потому водвореніе ея въ наукѣ выражаетъ собою не что иное, какъ полное господство эстетической свободы. Тотъ же переворотъ произошелъ незамѣтнымъ образомъ и въ логикѣ, или въ теоріи познанія.

Признаніе самостоятельности беллетристики есть уже послѣдствіе этого отраднаго факта. Пуристы могутъ объяснять его иначе, могутъ сказать, что оно выражаетъ собою терпимость, свидѣтельствующую о паденіи строгаго вкуса, который не допускаетъ смѣшенія элементовъ дидактическихъ съ эстетическими. Но не мѣшаетъ замѣтить, что самое раздѣленіе литературныхъ произведеній на художественныя, дидактическія и беллетристическія не могло бы существовать, если бы эти два рода не противоположались одинъ другому. Современная теорія отдѣляетъ ихъ очень рѣзко; но она до того отказалась отъ всякихъ практическихъ требованій, что никакъ не считаетъ себя въ правѣ *запрещать* писателю выражать свои мысли въ какой ему угодно формѣ—будетъ ли то форма строгаго художественная, строга-дидактическая или, наконецъ, смѣшанная. Она не называетъ беллетриста художникомъ, но отводитъ ему такое же почетное мѣсто въ литературѣ, какъ художнику и ученому. И странно было бы поступать иначе: въ

чтобы сдѣлаться хорошимъ беллетристомъ, точно такъ же не обойдешься безъ таланта, какъ и для того, чтобы быть хорошимъ художникомъ; притомъ же, одинъ изъ этихъ талантовъ никакъ не можетъ замѣнить другого. Такимъ образомъ, литература перестаетъ быть какимъ-то мрачнымъ святилищемъ, недоступнымъ такому числу избранныхъ дѣятелей, выдержавшихъ мучительно-педантическій покусъ, и условія ея вполне сходятся съ условіемъ живой рѣчи. Если нѣтъ никакого смысла требовать отъ человѣка, чтобы онъ въ изустной рѣчи держался или строго-художественной, или строго-дидактической формы, то какой же смыслъ требовать отъ него противоположнаго въ литературной дѣятельности, которая есть такъ же не что иное, какъ выраженіе мысли въ словѣ?

Если у васъ есть какой-нибудь талантъ—дидактическій, художественный или беллетристическій, пишите о чемъ сколько угодно и какъ угодно; только не выходите изъ предѣловъ своей способности, не думайте, что одинъ родъ таланта выше другого рода, не поддѣлывайтесь подъ дарованіе, несвойственное вашей натурѣ, иными словами—пишите безъ претензій и безъ рецепта: современная критика признаетъ васъ талантливымъ писателемъ.

Однажды мы уже имѣли случай сказать, что нашъ первый современный беллетристъ—г. Искандеръ, авторъ романа „Кто виноватъ?“, котораго вторая часть помѣщена была въ истекшемъ году въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Къ замѣчательнымъ беллетристическимъ талантамъ нельзя не отнести также г. Буткова, автора „Петербургскихъ Вершинъ“. Лѣтомъ 1846 года вышла вторая часть этого сочиненія или, лучше сказать, этого сборника рассказовъ.

Въ беллетристической литературѣ весьма важную роль играютъ путешествія. Они незамѣтно вносятъ въ массу читателей такое множество разнообразныхъ, хотя и отрывочныхъ свѣдѣній, что ихъ можно назвать однимъ изъ сильнѣйшихъ орудій беллетристики въ дѣлѣ воспитанія публики. Разумѣется, для достиженія этой цѣли путешествія должны удовлетворять нѣкоторымъ довольно простымъ условіямъ, которымъ, однакожъ, не всегда удовлетворяютъ. Въ послѣдніе годы одинъ туристъ обратилъ изданіемъ своихъ путевыхъ впечатлѣній, подъ названіемъ „Годъ за границей“, такое вниманіе нашей публики на вопросъ объ условіяхъ полезности и занимательности этого рода сочиненій, что мнѣніе о предметѣ установилось теперь окончательно. Можно надѣяться, что литература наша навсегда избавилась отъ той манеры писать путешествія, которая проявилась въ произведеніяхъ помянутаго туриста во всей полнотѣ своего характера. Манеру эту можно назвать не лирическою, какъ кто-то называлъ печатно, а, по крайней мѣрѣ, эгоистическою. Сущность ея заключается въ томъ, чтобы вмѣсто описанія страны занимать читателя рассказами о собственныхъ приключеніяхъ въ пути и о личныхъ обстоятельствахъ, интересныхъ только для друзей и родныхъ автора.

Въ началѣ истекшаго года по части путешествій вышла весьма замѣчательная книга г. Ф. П. Л. „Замѣтки за границей“. Во-первыхъ, въ ней нѣтъ

уже ни малѣйшей претензіи со стороны автора занимать читателей изложеніемъ обстоятельствъ, интересныхъ исключительно для него самого; во-вторыхъ, она обнаруживаетъ въ г. Ф. П. Л. человека спеціальнаго, который могъ наблюдать видѣнныя имъ страны съ точки зрѣнія коротко знакомой ему науки, именно—земледѣлія: свойство чрезвычайно рѣдкое въ нашихъ туристахъ.

Считаемъ долгомъ упомянуть здѣсь о прекрасномъ изданіи гг. Семена и Стойковича, котораго первый томъ вышелъ прошедшимъ лѣтомъ подъ заглавіемъ „Нравы, обычаи и памятники всѣхъ народовъ земного шара“— Такое предпріятіе можетъ принести огромную пользу, тѣмъ больше, что планъ его отличается обширностью, свойствомъ необыкновенно важнымъ во всякомъ произведеніи возникающей литературы.

Къ беллетристической же литературѣ относимъ мы сочиненія для простаго народа. Въ прошломъ году вторая часть „Сельскаго Чтенія“ князя В. Ѳ. Одоевскаго и А. П. Заблоцкаго вышла въ свѣтъ двумя изданіями. Всѣ поддѣлки подъ это превосходное предпріятіе оказывались до сихъ поръ крайне неудачными. Но никогда еще не было такого неудачнаго покушенія составить выгодную книжку для крестьянъ, какимъ отличился нѣкто г. Дмитріевъ, издавшій въ нынѣшнемъ году „Дѣтское Сельское Чтеніе“. При этомъ съ особеннымъ удовольствіемъ вспоминаемъ услугу, которую въ прошломъ году оказалъ г. Гречъ для первоначальнаго обученія, издавъ „Русскую Азбуку“, лучше которой у насъ ничего не являлось еще въ этомъ родѣ.

---

Замѣчательно, что въ 1846 году возобновилась было мода на альманахи. Въ продолженіе этого года вышли въ свѣтъ: „Петербургскій Сборникъ“, подъ редакціей Н. Некрасова; „Московскій ученый и литературный сборникъ“, изданный, кажется, для того, чтобы доказать, что если въ Петербургѣ можно издать альманахъ, то нѣтъ никакихъ препятствій издать его и въ Москвѣ; далѣе— „Вчера и сегодня“, литературный сборникъ, составленный графомъ Сологубомъ и изданный А. Смирдинымъ; „Новоселье“, часть третья, изданіе А. Смирдина, и „Невскій Альманахъ на 1846 годъ“. Сверхъ того, первая часть „Новоселья“, надѣлавшая въ свое время столько шума, перепечатана вторымъ изданіемъ. Въ наше время издаваніе сборниковъ кажется чѣмъ-то чрезвычайно страннымъ. Что за смыслъ—собрать и напечатать въ одной книжкѣ нѣсколько сочиненій, ничѣмъ не примыкающихъ одно къ другому, нисколько одно другого не объясняющихъ, однимъ словомъ, не выражающихъ никакой общей мысли? Просто, альманахъ издается потому, что издать его очень легко: стоитъ пріобрѣсти, какимъ бы то образомъ ни было, нѣсколько статей и статейекъ въ прозѣ да выпросить у знакомыхъ литераторовъ десятокъ-другой стихотвореній, которыя вообще почему-то не принято продавать и покупать. Часто и прозаическія статьи пріобрѣ-

таются даромъ—по дружбѣ или по добротѣ души писателей. Чтобы сшить въ одну книгу всѣ эти пріобрѣтенія, редакторскихъ способностей не требуется рѣшительно никакихъ. Это можетъ исполнить всякій. Остается умѣть выбрать бумагу и шрифтъ да найтись въ опредѣленіи условій красиваго и удобнаго формата книги. А между тѣмъ у насъ, да и вездѣ, еще такъ много людей, читающихъ для процесса чтенія, что альманахъ, по всей вѣроятности, разоидется въ продажѣ. Сверхъ того, такъ-называемый редакторъ альманаха пріобрѣтаетъ лестное и на всякій случай весьма пригодное названіе издателя, что, по принятому обществомъ литературному чиноположенію, несравненно выше званія простого литератора: съ тѣхъ поръ, какъ убѣдились люди, что умственный трудъ не даетъ работнику права ни на какое особенное уваженіе, съ тѣхъ поръ и издатели альманаховъ пользуются тѣми же преимуществами передъ литераторами, какъ и всякіе другіе хозяева промысловъ передъ работниками. Наконецъ, главное—отъ редакціи альманаха можно незамѣтно перейти и къ дѣйствительной редакціи какого-нибудь изданія, на примѣръ, толстаго и плодоприносящаго журнала. Стало быть, если угодно, и сборники на что-нибудь да годятся...

Заключаемъ свою статью указаніемъ на самое умное и общепользное предпріятіе А. Ф. Смирдина, на превосходное и весьма дешевое изданіе сочиненій русскихъ писателей, подъ заглавіемъ „Полное собраніе сочиненій русскихъ авторовъ“. Этимъ предпріятіемъ довершилъ онъ блестящую эпоху своей издательской дѣятельности. Всѣ занимающіеся или просто интересующіеся исторіей русской литературы оцѣнили его новую услугу обществу. Въ истекшемъ году вышли сочиненія Фонъ-Визина и Озерова.

## Евгеній Сю.

Матильда, записки молодой женщины. Сочиненіе *Евгенія Сю*. Переводъ съ французскаго, пересмотрѣнный и исправленный *В. Строевымъ*. Санктпетербургъ. 1847.

Литературная дѣятельность Эжена Сю представляетъ два періода, ярко отличающіеся одинъ отъ другого.

Первые романы его появились въ концѣ двадцатыхъ годовъ и, несмотря на недостатки, краснорѣчиво свидѣтельствовали о поэтическомъ призваніи писателя. Въ нихъ просвѣчивала личность молодого человѣка, заплатившаго дань впечатлѣніемъ эпохи, въ которую суждено ему было начать жизнь самостоятельную, освободиться отъ опеки родителей и воспитателей, узнать жизнь на самомъ дѣлѣ. Французское общество доживало въ ту пору великую драму. Паденіе авторитетовъ и знаменитостей временъ имперіи и реставраціи, жалкая развязка

великихъ, благородныхъ замысловъ, печальное, хотя и неизбежное возвращеніе въ старому, безотрадному порядку вещей, все это не могло не отозваться болѣзненно въ сердцѣ человѣка съ душой пылкою и воспріимчивою. Передъ молодымъ морякомъ еще живо рисовались блестящія карьеры, громкія побѣды и обольстительная слава современниковъ великаго императора; чудныя грезы навѣвала на него лѣтопись геройскихъ подвиговъ французскаго флота, лѣтопись забытая и не опѣненная потому только, что всѣ усилія Наполеона въ борьбѣ съ Англіей окончились ничѣмъ и памятны лишь великими, утратами, понесенными Франціей. Сю засталъ еще то общество, гдѣ являлись отверженными и забытыми люди, потратившіе лучшую часть жизни для славы Франціи, проявившіе страшную энергію на какой-нибудь ввѣренной имъ корветѣ и окончившіе свою трудовую службу нищетою, удержавъ за собою только преждевременныя морщины, смуглый цвѣтъ лица отъ плаванія подъ тропиками да утратившіи свое значеніе крестикъ почетнаго легіона, который щедро раздавался парикмахерамъ и поставщикамъ... И что вмѣнялось въ вину этимъ почтеннымъ ветеринарамъ? Любовь къ отечеству и восторженная преданность императору! А этотъ императоръ умиралъ подъ карауломъ у англичанъ,

И маршалы всѣ измѣнили

И продали шпагу свою.

„Не такъ ли гибнетъ и все великое въ мірѣ?“ восклицали въ порывѣ близорукаго романтизма растроганные и возмущенные юноши.—„Гдѣ же справедливость, руководящая поступками сильныхъ міра сего?“ И это сѣтованіе, это отчаяніе отозвалось въ ихъ юношеской дѣятельности. Первая осячка, первая невзгоды на поприщѣ службы они подводили подъ одну категорію съ горькими превратностями не опѣеннаго, израненнаго, героя, котораго привыкли всякій день встрѣчать около *hotel des Invalides*, суроваго, грустнаго, бѣднаго... Необходимые толчки, поучительныя страданія, безъ которыхъ не установятся, не выяснятся мысли въ головѣ человѣка и не разовьется, не ограничится его молодое сердце, пылкіе романтики принимали за доказательство безвыходности своего положенія и господства въ мірѣ абсолютнаго зла. Все это отчасти можно примѣнить къ личности Сю, особенно судя по направленію первыхъ его романовъ.

Гдѣ же болѣе могло развиваться грустное воззрѣніе на жизнь, какъ не въ той сферѣ, которую онъ избралъ смолodu? Правда, есть пословица: „кто въ морѣ не бывалъ, тотъ Богу не маливался“. Очень хорошо,—но можно ли опять винить и того, кто впадетъ въ ультрапессимизмъ послѣ зрѣлища гибели корабля, на которомъ потонули мать съ груднымъ ребенкомъ, дѣвушка, помолвленная на ялубѣ фрегата за мичмана, въ глазахъ ея сорваннаго вѣтромъ съ мачты, наконецъ—цѣлый экипажъ закаленныхъ въ бою героевъ, и все отъ того, что на голову опытному лейтенанту посаженъ капитанъ-солдатъ, не знающій морской практики, хорошій бухгалтеръ въ адмиралтейскомъ департаментѣ или фельдфебель

линейнаго полка,—между тѣмъ какъ крейсера варварійцевъ или судно контрабандиста или торговца неграми спаслось искусствомъ капитана, наемнаго лоцмана, пирата, котораго голова давно оцѣнена не въ одну сотню піастровъ?...

Съ другой стороны, кто легче можетъ убѣдиться въ непрочности всѣхъ самыхъ святыхъ привязанностей человѣческихъ, какъ не тотъ, кто не разъ видѣлъ смерть лицомъ къ лицу, и притомъ смерть, отъ которой нельзя посторониться, смерть не отъ горячки, не отъ пули или эспадрона, не отъ гильотины, противъ которыхъ есть медицина, ловкая кварта и терція, секундантъ-посредникъ и милость короля, а смерть отъ прихоти неумолимой стихіи, которая губить безъ разбора и готова поглотить въ свои холодныя объятія и героя, и труса, и невинное дитя, и закоснѣлаго убійцу, смерть отъ голода и жажды, когда человѣкъ готовъ растерзать собственное дитя, когда изъ-за стакана воды хватаются за ножи товарищи, не разъ спасавшіе другъ другу жизнь въ кровопролитномъ абордажѣ, и цѣлыя сотни голосовъ сливаются въ одинъ вопль проклятій и ненависти?...

Наконецъ, сама морская дисциплина, можетъ быть, и разумная въ основаніи, но ужасная, неумолимая въ примѣненіи, влечетъ иногда за собою такія послѣдствія, что невольно содрогнешься отъ ужаса, и душа преисполнится невыносимой боли. Лейтенантъ Пьеръ Гюзъ, въ роковую минуту гибели Саламандры, заперъ невѣжественнаго капитана корветы въ каюту и энергическими распоряженіями своими спасъ экипажъ отъ смерти. За нарушеніе морского устава и за неповиновеніе начальнику онъ разстрѣлянъ по возвращеніи въ отечество! Никто не станетъ говорить о несправедливости такого-то параграфа морского устава французскаго кодекса, но всякій смутится духомъ, читая этотъ рассказъ.

Такимъ образомъ, съ одной стороны, въ первыхъ произведеніяхъ Сю выразился характеръ эпохи отрицанія послѣ усыпленія и оптимизма, наведеннаго на людей сначала могуществомъ и славой Наполеона, а потомъ несповѣдимымъ водвореніемъ Бурбоновъ и восстановленіемъ всѣхъ на время забытыхъ формъ и условій общежитія,—отрицанія разумнаго, не рѣзкаго и блажнаго, но строгаго, радикальнаго, опирающагося на анализъ дѣйствительности; съ другой стороны, та среда, въ которой Сю росъ и развивался, образъ жизни на кораблѣ и нескончаемая борьба со всѣми признанными въ человѣчествѣ ужасами—войною, бурей, голодомъ, чумою, бунтомъ, и не признанными—отчужденіемъ отъ общества, пассивнымъ положеніемъ на кораблѣ въ качествѣ второго лейтенанта или и еще менѣе, уныніемъ и сомнѣніями, которыхъ нечѣмъ разогнать въ сообществѣ добрыхъ, но немудрыхъ моряковъ, придали яркій колоритъ его морскимъ романамъ. Въ лицѣ Сю выразился и морякъ, и юноша современной ему эпохи; если бѣдность внутренней жизни моряковъ отозвалась въ его романахъ, за то всѣ силы свои положилъ онъ на воспроизведеніе того, что составляло предметъ его живыхъ симпатій: никто изъ французскихъ писателей не изобразилъ такъ живо



письмо быта моряковъ Отношенія матросовъ, ихъ привязанности, ненависти, ихъ разгуль, ихъ безусловная покорность начальнику, наконецъ, ихъ суевѣрія, примѣты, отчаянная, бѣшенная храбрость, все это съ удивительною живостью передано въ „Саламандрѣ“, „Атарѣ Гюль“, „Корсарѣ“ и другихъ болѣе или менѣе удачныхъ произведеніяхъ Сю. Ни у кого не найдете вы такихъ роскошныхъ картинъ моря во всевозможныхъ моментахъ отъ штилей до свирѣпаго урагана, и притомъ море тропическое имѣетъ у него особый оттѣнокъ и разнится отъ Средиземнаго, а Средиземное нарисовано не такъ, какъ Архипелагъ или Антильское.

Извѣстно, какъ за недостаткомъ предмета, на которомъ бы человѣкъ могъ сосредоточить всю любовь свою, бываетъ онъ способенъ привязаться къ предмету, не заключающему въ себѣ прямыхъ данныхъ для внушенія къ себѣ такого чувства, къ лицу ничтожнаго характера, къ животному, къ вещи... Такіе факты не рѣдки между моряками, и всего поразительнѣе привязанность ихъ къ своему кораблю: кто же лучше умѣлъ одушевить этотъ плавающий, оснащенный корабль, какъ не Сю, придать личность фрегату, бригу, гоэлегѣ, линейному кораблю, осмыслить, какъ органы живого тѣла, ихъ высокія, затѣйливыя снасти? Съ какою, болью, съ какимъ страстнымъ чувствомъ выводитъ онъ въ бой свою щеголеватую, вѣлую Саламандру, съ какимъ неподдѣльнымъ отчаяніемъ изображаетъ послѣднія минуты этой *доблестной корветки* (*vaillante corvette*)! Его сердце стонетъ отъ cadaго ядра, врѣзавшагося въ ея стройный остовъ, отъ cadaго скрипа гибкихъ, уходящихъ въ небо мачтъ...

Глазъ моряка часто по мѣсяцамъ не видитъ отраднаго берега; за то никто такъ живо не чувствуетъ всѣхъ красотъ твердой земли, какъ онъ; никто не хватается съ такимъ бѣшенствомъ за всѣ позволенные и не позволенные наслажденія, представляемыя ему бойкимъ населеніемъ портового города, за трудовое золото, которое накопило въ кошелькѣ въ продолженіе кампаніи. Какъ прекрасенъ этотъ дикій, неуклюжій морякъ лицомъ къ лицу съ *цивилизованными* ростовщиками, купцами, прелестницами всѣхъ націй! Какъ торопливо, какъ жадно гѣшится онъ запретнымъ плодомъ: пьетъ, играетъ, нѣжится покуда не взовется на корабль сигналъ къ отплытію!..

Но вотъ подходитъ корабль къ давно ожидаемому берегу: какой теплый ландшафтъ выступаетъ изъ-подъ пера Сю—будь то роскошный берегъ Прованса въ благоуханную лѣтнюю ночь: матросы тайкомъ ушли съ корветы и пируютъ за городомъ, покуда не схватятся за ножи съ провансалами; или берега Малой-Азіи, Смирна, „великолѣпный городъ востока, городъ золота и солнца, городъ зеленыхъ и красныхъ кіосковъ, мраморныхъ фонтановъ, брызжущихъ прозрачною водою, наполненною ароматами, городъ, осыненный пальмами и смоковницами, городъ опиума и кофе, городъ въ полномъ смыслѣ слова“... <sup>1)</sup> И отъ этого

<sup>1)</sup> La Salamandre. Chapitre XXVII. Buono Viage.

земного рая бѣдный эпикуреецъ будетъ оторванъ съ первымъ попутнымъ вѣтромъ для того, чтобы плыть дальше по невѣдомому назначенію морского министерства въ какой-нибудь чумный, унылый портовой городокъ и тамъ, можетъ быть, умереть въ судорогахъ въ карантинѣ!..

Жизнь моряка, по совершенной противоположности съ жизнью осѣдлою, имѣетъ свои очевидныя и невыгодныя послѣдствія. Если человѣкъ, выросшій на палубѣ и не разъ перешедшій тропики, морякъ любознательный и сдружившійся съ своимъ бытомъ, совершенно утрачиваетъ склонность къ неприличной семейственности и въ замѣнъ того усвоиваетъ прекрасное качество—общительность и признаніе единства интересовъ того кружка, къ которому онъ принадлежитъ на основаніи единства цѣли, ихъ связующей, если онъ исполнительъ въ трудѣ, терпѣливъ въ невзгодахъ, безстрашенъ въ опасностяхъ, за то нѣтъ ничего удивительнаго, что онъ если не навсегда утратилъ способность къ нѣкоторымъ прекраснымъ человѣческимъ чувствамъ, то, по крайней мѣрѣ, отзывается на нихъ съ ироніей и насмѣшкой. Женщина досозданная и возвеличенная современнымъ образованнымъ обществомъ, для него не существуетъ. Онъ знаетъ только одну женщину—мать, которую оставилъ еще ребенкомъ; когда же выросъ на столько, что женщина получала для него иное значеніе, тогда она являлась ему только въ образѣ тѣхъ едва промелькнувшихъ въ его жизни эфемерныхъ созданій, въ которыхъ онъ бывалъ влюбленъ, которыя его ласкали, дурачили, обирали, а можетъ быть, и, въ самомъ дѣлѣ, любили за молодость и не истраченные силы, до перваго попутнаго вѣтра.

Таковъ является Сю въ своихъ морскихъ романахъ. Вѣроломство женщины—любимая его тема, точно такъ же, какъ и непрочность отношеній, основанныхъ на чувствѣ. Обыкновенно, страшные герои его кровавыхъ рассказовъ до поднятія занавѣса любили юную дѣву всѣми силами души, адресовали въ ней всѣ помысленія, берегли для нея поцѣлуи и улыбки. Но далѣе всегда оказывается, что означенныя дѣвы болѣе склонны любить такого человѣка, который не бережетъ своихъ улыбокъ, поцѣлуевъ и страстныхъ общаній, любилъ много разъ въ своей жизни, съ утратой юношеской свѣжести, способности увлеченія и самопожертвованія, но въ замѣнъ того людей самосознающихъ и постигающихъ вполне смыслъ каждаго произносимаго ими слова, людей бережливыхъ на чувство, осторожныхъ въ своихъ изліяніяхъ и по тому самому требующихъ преданности и ничего съ своей стороны не общающихъ. Юноша, на основаніи такого простаго и натурального факта, терзается, клянетъ судьбу и нерѣдко дѣлается презлымъ человѣкомъ, находитъ удовольствіе въ очень умныхъ сарказмахъ на жизнь и людей вообще и на женщинъ особенно и въ очень вредномъ употребленіи опиума или просто вина въ значительномъ количествѣ... Одинъ принимаетъ за формулу всей своей жизни слова „s'attendre à tout, pour ne s'étonner de rien“, другой стоитъ на томъ, что „золото—единственный двигатель въ человѣческомъ

обществѣ“, всѣ же вообще придерживаются той мысли, что на свѣтѣ *добродѣтель страждетъ, а порокъ торжествуетъ*.

Несмотря на недоказательность этого положенія, нельзя не согласиться, что, вѣруя въ него искренно, Сю приводитъ читателя къ суровому убѣжденію въ *дѣйствительности зла*, и странно было бы назвать такое убѣжденіе неосновательнымъ, а тѣмъ болѣе опаснымъ, безнравственнымъ. Сю смолоду сильнѣе прочувствовалъ ту мысль, что ни энергія, ни благодѣтели, ни любовь, ни дружба не обезпечиваютъ человѣка отъ бѣдствій и не могутъ служить ручательствомъ за послѣдующіе его поступки, за то, что когда-нибудь онъ не окажется самымъ злостнымъ, самымъ возмутительнымъ человѣкомъ, что въ немъ не отразится въ увеличенномъ видѣ всѣ злодѣянія, отъ которыхъ нѣкогда пострадалъ онъ самъ... Эта мысль важна именно потому, что она доказываетъ непрочность личныхъ, индивидуальныхъ добродѣтелей и ведетъ прямо къ тому убѣжденію, что законъ добродѣтели и обезпеченности человѣка заключается въ организаціи общества. Сю выразилъ эту мысль какъ поэтъ, не *доказательно*, но пластически, и если она повторяется во всѣхъ его морскихъ романахъ отъ „Саламандры“, „Плика и Плока“ до „Артюра“, то это доказываетъ, что она пришлась ему по силамъ и притомъ, безъ сомнѣнія, имѣетъ нѣкоторую важность, потому что ею определяется дѣятельность первыхъ годовъ талантливаго писателя.

Въ „Артюрѣ“, который былъ напечатанъ въ 1839 году, Эжень Сю попробовалъ перемѣнить мѣсто дѣйствія, отказался отъ любезныхъ ему корабля и океана и вышелъ на твердую землю. Но въ этомъ первомъ опытѣ онъ еще является неопытнымъ морякомъ. Та же *profession de foi* господствуетъ и въ этомъ романѣ; но Сю какъ-то трудно ладить съ обществомъ гостинныхъ: на первыхъ порахъ онъ оказывается плохимъ знатокомъ сердца женщины, и кромѣ прекраснаго эпизода любви Артюра въ *le me de Cepaïel*, романъ вообще слабъ: Сю задалъ себѣ нѣсколько трудныхъ психологическихъ задачъ, утомился рѣшеніемъ ихъ, вникъ въ скучныя, мелочныя описанія всѣхъ странныхъ и важныхъ занятій своего героя и, чтобъ отдохнуть какъ-нибудь, нарочно вывелъ его въ море, нарочно выдумалъ для него фантастическую экспедицію на фрегатѣ, вооруженномъ самимъ Артюромъ (денегъ у героя, какъ водится, вдоволь), ведетъ его на сраженіе, и тутъ опять слышится пѣснь лебедя: еще разъ встрѣчаемъ страницы того же пламеннаго, боелюбиваго моряка, того же страстнаго созерцанія величественной картины океана; далѣе идутъ интриги за интригой, странность за странностью, одна другой неправдоподобнѣе. И весь этотъ рассказъ клонится опять къ тому, что если не въ обществѣ людей, то въ самомъ человѣкѣ, какъ бы хорошъ онъ ни былъ, есть начало зла, вѣчно работающее въ немъ, наталкивающее его на пагубу, отравляющее ему лучшія минуты жизни. Артюръ—это Чайльдъ Горольдъ Эжена Сю.

Съ лѣтами умный человѣкъ нашего времени неменѣе долженъ оставить первоначальное убѣжденіе въ несправимости зла и, признавъ существованіе зла за фактъ несомнѣнный, дать въ себѣ мѣсто другому убѣжденію, именно—что въ сложномъ механизмѣ общества и въ нашей жизненной путаницѣ всегда можно отыскать смыслъ, согласить всѣ, по видимому, противорѣчащія одно другому явленія и чрезъ весь хаосъ золь и бѣдствій, безпрестанно обрушивающихся на страждущее большинство человѣческаго населенія, провести разумную мысль, не столь скорбную и юношески сокрушительную: много на свѣтѣ зла; но человѣкъ сильный и любящій, не оставаясь безмолвнымъ созерцателемъ печальныхъ явленій общественной жизни, путемъ тяжелаго опыта находить положительные способы улучшенія собственнаго положенія и, пристально изучая мало утѣшительную дѣйствительность, предусматриваетъ счастливую будущность человѣчества. Къ такой мысли невольно приводится читатель послѣдующими романами Сю, въ особенности „Парижскими Тайнами“ Въмѣсто нескончаемой протестаціи на господство зла и безотрадность жизни, если только будемъ въ нее всматриваться (и не пить опиума!) и анализировать каждое явленіе, авторъ „Саламандры“ поставилъ себѣ задачей изобразить въ широкихъ рамкахъ всю бездну несчастій, тяготящихся надъ классомъ неимущихъ, безотвѣтныхъ предъ закономъ, малолѣтнихъ, лишенныхъ воспитанія, слабоумныхъ, больныхъ и всей многочисленной страждущей братіи. Парижъ доставилъ ему богатый матеріалъ, и чего не находимъ мы въ его знаменитомъ романѣ! Въ какомъ рубищѣ, въ какихъ стружьяхъ, въ какой обидной наготѣ предстаютъ предъ нами существа, прекрасныя по своей природѣ! Кто не содрогнется отъ ужаса, читая, напримѣръ, описаніе ареста несчастнаго Мореля, бриллианщика? Можетъ ли быть что нибудь возмутительнѣе брака прекрасной г'Арвиль съ человѣкомъ воспитаннымъ, богатымъ, благороднымъ, но одержимымъ падучею болѣзней?... Всѣмъ извѣстно, какое могущественное впечатлѣніе произвелъ въ обществѣ этотъ романъ, доставившій славу Эженю Сю и поставившій его во главѣ современныхъ беллетристовъ; но какъ не сознаться, что, вмѣстѣ съ поворотомъ въ понятіяхъ Сю, оказался и прямой упадокъ его поэтическаго дарованія? Не по силамъ пришли ему великія соціальныя темы, и въ изображеніи человѣческихъ золь и болѣзней онъ только тамъ и прекрасенъ, гдѣ приходится ему рисовать картину бѣдствія, доведеннаго до послѣдней степени, бѣдствія, при мысли о которомъ книга выпадаетъ изъ рукъ и долго не можешь одуматься... Но это сдѣлалъ Сю для того, чтобы помирить человѣка съ жизнью, исполненною страданій, но все-таки прекрасною. Чѣмъ доказалъ онъ неосновательность юношеской своей формулы: зло господствуетъ на землѣ? Онъ вывелъ цѣлый рядъ людей мудрыхъ и непогрѣшимыхъ въ своихъ поступкахъ, невредимыхъ въ геройскихъ подвигахъ, охраняемыхъ таинственными, безусловно преданными имъ лицами второго порядка. Вслѣдъ за ними изобразилъ онъ цѣлую фалангу исполиновъ лоболѣтели и порока людей.

никогда не падающихъ, никогда не измѣняющихъ однажды навсегда задуманному благому намѣренію или злему умыслу. Въ заключеніе, онъ награди́лъ всѣхъ пострадавшихъ сторицею, подвелъ подъ гильотину или уморилъ еще ужаснѣйшимъ образомъ всѣхъ имѣвшихся въ наличности злодѣевъ, которые еще не успѣли въ продолженіе разсказа перерѣзать другъ друга, а во второй части—героя своего Родольфа, стоящаго превыше всѣхъ смертныхъ, сочеталъ бракомъ съ очень милою дамою, къ общему удовольствію нѣжныхъ читателей и, такимъ образомъ, явился партизаномъ другой формулы: добродѣтель въ мірѣ торжествуетъ, а порокъ всегда бываетъ наказанъ.

Прекрасно! Но изъ романа Сю оказывается, что порокъ наказывается отъ руки Родольфа или друзей и непрекословныхъ исполнителей его велѣній—Мурфа, Давида, Шуринера и другихъ? А что случилось бы съ интересными страдальцами его повѣсти безъ этого рыцаря угнетенной невинности? Доказалъ ли Сю ясно, какъ день, что наказаніе за преступленіе заключается уже въ самомъ преступленіи, и что, дѣлая зло, человѣкъ наноситъ величайшее зло самому себѣ? Или, наконецъ, рѣшилъ ли онъ вопросъ, подъ вліяніемъ чего развились идеальные злодѣи въ родѣ Феррана или, что еще непонятнѣе, въ родѣ Сесилии? Авторъ не даетъ отвѣта.

И странно, утрированные характеры прежнихъ романовъ Сю производили несравненно болѣе впечатлѣнія! Почему? Потому что они создались безъ усилія, безъ задней мысли врачевать общество...

Изъ всего этого можно заключить, что поэтическая дѣятельность Сю кончилась съ его послѣдними морскими романами, а на воприщѣ соціальнаго писателя первые опыты его имѣли огромный успѣхъ еще вслѣдствіе послѣднихъ проблемъ угасающаго таланта. Первое условіе беллетристическаго романа—воспроизведеніе дѣйствительности, а въ „Парижскихъ Тайнахъ“, романъ чрезвычайно длинномъ, хотя и нравственномъ, можно найти много мѣстъ, списанныхъ съ натуры; сверхъ того, эта книга имѣетъ еще достоинство, даже не составляющее условія хорошаго романа: многія положенія уголовного и полицейскаго права разобраны тутъ съ безпристрастіемъ и глубокомысліемъ человѣка, проникнутаго любовію къ человѣчеству. Эти краснорѣчивыя страницы, внушенныя Сю извѣстнымъ сочиненіемъ Парана-Дюшатле „De la prostitution dans la ville de Paris“, нашли отголосокъ во французскомъ правительствѣ, а такая услуга стоитъ всякой другой.

Но до появленія „Парижскихъ Тайнъ“ Сю подарилъ публику произведеніемъ, рѣзко разграничившимъ періоды его литературной дѣятельности, и это сочиненіе послужило намъ поводомъ высказать свое мнѣніе объ этомъ писателѣ. Мы говоримъ о первомъ многотомномъ и вѣсьма поучительномъ его романѣ „Mathiede ou memoires d'une jeune femme“, который лѣтъ семь назадъ очень читался, а теперь забытъ и однакожь вышелъ нынче въ русскомъ переводѣ.

Какъ фактъ въ литературной дѣятельности Сю, „Матильда“ заслуживаетъ вниманія, хотя въ этомъ романѣ болѣе, нежели гдѣ-нибудь, преобладаютъ всѣ недостатки этого романиста и не оказывается обыкновенныхъ его достоинствъ. Одно дѣльное заключеніе можно вывести изъ этого сентиментальнаго и дѣтски-наивнаго романа (несмотря на то, что въ злодѣяхъ и ужасахъ и тутъ нѣтъ недостатка), и то вопреки мысли, руководившей Сю при созданіи его, именно—характеръ Матильды ясно показываетъ, какое пагубное вліяніе можетъ имѣть варварское воспитаніе на самое лучшее существо въ свѣтѣ.

Матильда, справедливо названная въ одной пародіи „malheureuse par profession et pleurnicheuse par temperament“, хотя и изображена стараніями Сю со всѣми совершенствами и прелестями, но въ рѣчахъ и поступкахъ ея постоянно оказывается отсутствіе той самородной энергіи, той силы личности, которая преимущественно правится въ человѣкѣ людямъ натуральнымъ. Разбирая умные отвѣты и благородные поступки этой невинно страждущей и своевременно награжденной героини, какъ разъ различимъ то, чего ни подъ какимъ видомъ не сказала и не сдѣлала бы она въ дѣйствительности, но что заставилъ ее сдѣлать авторъ, и то, что, въ самомъ дѣлѣ, вытекаетъ изъ сущности ея характера добраго, но загнаннаго и обезличеннаго. Матильда—это абстрактъ, фамильная добродѣтель въ отвлеченіи. Желающіе да научатся! Поэтому-то и неудивительно, что даже пустенькія дѣвочки готовы стоять за Урсулу и отзываться о добродѣтельной Матильдѣ съ скептическимъ равнодушіемъ.

Читая этотъ романъ, невольно подумаешь, что Сю раскаялся и плакался горько о прежнихъ своихъ никого не утѣшающихъ и вовсе не смиряющихъ духъ „Саламандрахъ“, „Корсарахъ“ и пр., и потому, на первыхъ порахъ, прежде чѣмъ освоился съ новымъ своимъ вѣрованіемъ, поспѣшилъ внушить своимъ читателямъ успокоительную мысль, что все дѣлается къ лучшему, что на свѣтѣ добрыхъ людей много, что Богъ не безъ милости, такъ что иной прекрасный юноша, плѣнясь воспитаннымъ, благороднымъ и храбрымъ Ронгономъ, щедрымъ и богатымъ дядюшкой Мортолемъ, черезъ-чуръ добрымъ, простодушнымъ Семеренемъ и исполненіемъ желаній всѣхъ благомыслящихъ людей многочисленнаго персонала, выведеннаго Сю,—рѣшительно укрѣпится въ оптимизмъ и махнетъ рукой на анализъ съ его послѣдствіями. Спрашивается: для чего же читать такую книжку? Спросите лучше: для чего переводить романъ въ тринадцать частей, изъ котораго только и узнаете, что все на свѣтѣ дѣлается къ лучшему? Наконецъ, съ какой стати платить за такой романъ, въ русскомъ переводѣ 4 рубля серебромъ, и еще за переводъ, къ которому слишкомъ часто попадаются фразы вродѣ слѣдующихъ:

*„Находясь среди мыслей, относившихся къ предметамъ столь ему извѣстнымъ, г. Семерень выражался свободно“* (ч. V, стр. 25).

*Я была очень удивлена этой шуткѣ* (ч. V. стр. 55).



„Я соболѣзновала къ ея маральнымъ страданіямъ“ (ч. V, стр. 77).

„У меня достаетъ силы погребсти себя въ скучную и низкую (?) жизнь (??), чтобъ дать моему мужу время пріобрѣсти такое богатство, которое могло бы удовлетворить вкусу моему къ роскоши“ и проч. (ч. VIII, стр. 3).

„Требуйте отъ меня всевозможныя жертвы“ (ч. VIII, стр. 44).

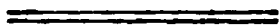
„Случай не вотще отдалъ вамъ душу мою (?!), я вами только и существую“ (ib., стр. 80).

„Вы не могли обходиться со мною иначе, и потому-то вы не имѣли ни жалости, ни прощенія“ (?!) (ib., стр. 80).

„Матильда... стала искать его (письмо) между своею перепискою“ (ч. XIII, стр. 171).

Видно, это-то и называютъ издатели переводомъ *пересмотрѣннымъ и исправленнымъ*!

Лучше всего цѣну этого произведенія для русской публики знали издатели и потому изъ предосторожности на заглавіи поставили: „Матильда“, сочиненіе Сю, автора „Парижскихъ Тайнъ“ и „Вѣчнаго Жида“.



## II.

# ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ.

В. Т. Пляксинъ.

Руководство къ изученію исторіи русской литературы, составленное *Василіемъ Пляксинымъ*. Второе изданіе, оконченное (?) и во многихъ частяхъ совсѣмъ переланное. Санктпетербургъ. 1846.

Рѣзкій признакъ малаго таланта—неясное сознаніе цѣли предпринятаго труда; но еще рѣзче выражается онъ въ совершенной внѣшности этой цѣли, на примѣръ, въ подражательности, въ желаніи сдѣлать что-нибудь потому только, что другіе это дѣлаютъ. Конечно, и въ подражательности непремѣнно найдется частичка живой силы, частичка внутренняго побужденія (безъ того самый выборъ предмета для подражанія невообразимъ) и частичка таланта, потому что внутреннее побужденіе къ дѣятельности есть не что иное, какъ сама творческая сила, стремящаяся обнаружиться во внѣшности, въ соотвѣтственномъ ей матеріалѣ. Но все-таки талантъ, требующій для своего обнаруженія образцовъ дѣятельности другого таланта, не имѣющій возможности самъ собою выйти наружу, есть талантъ, безъ сомнѣнія, небольшой. Другой признакъ мелкаго таланта—страсть къ колоссальнымъ трудамъ. Эта страсть очень естественна. Трудно сознать мѣру своихъ силъ, а между тѣмъ самолюбіе никогда не оставляетъ чело-вѣка. Вслѣдствіе того и другого, онъ всегда бросается на трудъ, требующій огромныхъ силъ и потому самому приносящій, при соотвѣтственномъ исполненіи, огромную славу.

Въ этихъ словахъ нѣтъ ничего новаго; но мы сочли неизлишнимъ сказать вкратцѣ свою profession de foi въ вопросѣ о талантѣ, приступая къ разбору „Руководства къ изученію исторіи русской литературы“. Прежде чѣмъ говорить о степени пользы этой книги, необходимо рѣшить, какая сила дала ей жизнь.

Въ предисловіи къ первому изданію своего руководства почтенный авторъ говоритъ: „Читателямъ извѣстно, что у насъ по сей части знаній есть только одна книга: „Опытъ краткой исторіи русской литературы“ Н. И. Греча. Долгомъ считаю объявить, что матеріальными знаніями русской литературы я обязанъ сей

книгъ столь много, что не только знаніе, но и самое желаніе знать литературу родилось во мнѣ уже послѣ прочтенія сей книги“. Это объявленіе дѣлаетъ честь скромности и откровенности автора, но въ то же время показываетъ, что не только знаніемъ исторіи русской литературы, но и желаніемъ ознакомиться съ нею г. Пласкинъ одолженъ всѣмъ извѣстной книгѣ г. Греча; отсюда ясно, что собственный трудъ его не что иное, какъ плодъ подражательности... Новое второе изданіе „Руководства къ изученію русской литературы“ отличается отъ изданія 1833 года: 1) большимъ количествомъ фразъ при равномъ количествѣ и совершенномъ тождествѣ мыслей, 2) ссылками на разбираемыхъ писателей и 3) указаніемъ на писателей послѣдняго періода русской литературы. Слѣдовательно, въ существѣ своемъ, книга г. Пласкина осталась все тою же, какою была за тринадцать лѣтъ до нашего времени.

Въ первомъ изданіи его руководство называлось „Руководствомъ къ познанію исторіи литературы“, хотя исторія всѣхъ литературъ, кромѣ русской изложена въ немъ на тридцати-пяти страничкахъ. Конечно, есть писатели, которые умѣютъ на одной страницѣ написать то же, что другой растянетъ на цѣлый томъ. Но чтобы показать, какого рода краткостью отличается упомянутый здѣсь трудъ, приведемъ для образчика мѣсто изъ синописа г. Пласкина. Посмотрите, какъ *удовлетворительно* говоритъ онъ о лирической и драматической поэзіи въ Греціи историческаго періода:

„Здѣсь лирика совсѣмъ уже не то, что у евреевъ, выраженіе чистыхъ восторговъ; это повѣсть, исторгавшаяся изъ души съ чувствованіями. Превосходнѣйшіе лирики: *Тиртей*, предводитель спартанцевъ, возбуждавшій пѣснопѣніями духъ отваги (переводъ Мерзлякова); *Сафо*, изступленная любовница и воспѣвательница моей горестной страсти; возвышенный *Пиндаръ*, пѣвецъ игръ олимпійскихъ, пѣическихъ и истмійскихъ, котораго Горацій сравниваетъ съ стремительнымъ потокомъ, все низвергающимъ; *Анакреонъ*, пѣвецъ нѣжной страсти, нѣги и роскоши. *Эсхилъ* вслѣдъ за *Тесписомъ* создалъ греческую трагедію изъ нелѣпыхъ безчинныхъ пиршествъ жрецовъ Бахуса; но она все еще была груба, напыщена, надута! Онъ, впрочемъ, далъ ей характеръ высокаго и ужаснаго. Разговоръ у него ведутъ всегда два лица. *Софоклъ* ввелъ третье, далъ трагедіи болѣе правильности, благородства и трогательности; „*Эдипъ*“ и „*Аяксъ*“ суть лучшія его трагедіи. Наконецъ, *Эврипидъ* возводитъ трагедію на степенъ изящнаго искусства и хотя доходитъ иногда до излишней правильности, но основавъ оную на взаимной страсти половъ, даетъ ей разнообразіе и большую занимательность, возбуждающую сильное участіе. Впрочемъ, у всѣхъ она является болѣе поэмою, нежели драмой; ибо вездѣ преобладаетъ главный дѣйствующій греческой исторической жизни—судьба—предъ свободою и страстью. Такъ точно въ комедіи греческой вездѣ проглядываетъ сатира и даже бранчивая пасквиль. Въ семь родѣ послѣ довольно удачныхъ попытокъ *Эпихарма* (сицилійца) и

*Эполиса* особенно отличаются: *Аристофанъ*, истинно гениальный комикъ; онъ изображаетъ живыя лица на сценѣ; изъ его произведеній переведены на русскій языкъ комедія: „Облака“; *Кратинъ* и *Анаксандридъ* унижаютъ комедию бранью и непристойностями; *Менадръ* облагораживаетъ ее“.

Замѣтимъ, что литературы греческая и римская изложены въ „Руководствѣ“ несравненно подробнѣе, чѣмъ остальные. Спрашивается: чѣмъ же объяснить себѣ выборъ названія книги „Руководствомъ къ познанію исторіи литературы“, если не страстью къ выполненію колоссальныхъ темъ? Если бъ эта страсть была сколько-нибудь умѣреннѣе, то навѣрное, г. Плаксіна остановило бы въ выборѣ заглавія уже и то простое соображеніе, что при младенествѣ русской литературы слишкомъ странно посвятить ей одной девять-десятыхъ всего руководства къ исторіи всемірной литературы.

Во второмъ изданіи сочиненіе г. Плаксіна явилось въ свѣтъ подъ болѣе скромнымъ заглавіемъ; но при внимательномъ разсмотрѣніи сочиненія оказывается, что и это заглавіе слишкомъ обширно, и что „Руководство къ изученію исторіи русской литературы“ нельзя назвать даже и очеркомъ исторіи русской литературы. Чтобъ оправдать это мнѣніе, постараемся ознакомить читателей съ содержаніемъ разбираемой книги. Они ясно увидятъ, что г. Плаксінь вовсе не написалъ исторіи русской литературы.

Прежде всего, разумѣется, любопытно узнать точку зрѣнія автора „Руководства“ на исторію литературы вообще. На страницѣ 22 находимъ слѣдующее разсужденіе: „Утвердимъ ли мы свое мнѣніе объ общемъ характерѣ нашей литературы на разсматриваніи историческаго хода внѣшней жизни и измѣненія нравовъ? Будемъ ли судить о ней даже по отдѣльнымъ произведеніямъ словесности? Нѣтъ! Эти произведенія, несмотря на гениальное величіе ихъ творцовъ, суть только частныя явленія, событія, составляющія матеріальную часть системы, которая должна опредѣлить направленіе словесности и то значеніе, которое она имѣетъ и должна имѣть въ общемъ кругу литературъ, за знаніе гражданственности и нравовъ народа будетъ служить источникомъ объясненій, какъ послѣдовательной связи между явленіями, такъ и уклоненія отъ естественнаго хода. Первоначальныя же свойства народа, естественное его положеніе, мѣстныя и временныя отношенія къ человѣчеству, составляя, такъ сказать, темпераментъ его или тотъ матеріалъ, изъ котораго исторія образуетъ народный характеръ, послужатъ основой къ утвержденію мнѣнія о характерѣ, значеніи и отношеніи извѣстной литературы къ человѣчеству. Слѣдовательно, русская литература, выражая умѣренную степень жизни и жизненности человѣка, должна показать, какъ онъ чувствуетъ, мыслить и дѣйствуетъ въ мірѣ изящномъ, житейскомъ и нравственномъ, независимо отъ сильныхъ вліяній природы; какъ благопріятствующей, такъ и противящейся развитію духа; она должна познакомить будущее человѣчество съ выраженіемъ русскаго духа, свободнаго отъ борьбы съ кипящими бур-

ными страстями, но духа сильнаго, созрѣвшаго въ борьбѣ съ чувствованіями глубокими, тихими, но упорными; она должна представить будущему человечеству, какъ сей духъ, не огражденный отъ внѣшнихъ впечатлѣній природою, которая какъ бы предала его самому себѣ, смущаемый смѣшеніемъ постороннихъ вліяній, создалъ для себя характеръ; подавляемый безпрестанно чуждымъ игомъ то въ нравственномъ, то въ гражданскомъ, то въ учебно-умственномъ быту своемъ, сохранилъ свою народность, соблюлъ со всѣми особенностями и очистилъ ее отъ всѣхъ порчъ восточныхъ и западныхъ. Она должна проявлять западную зрѣлость безъ дряхлой брюзгливости и школьной затѣйливости, восточную простоту безъ ребяческой безсильной мелочности; она должна быть свободна знойной и холодной крайностей“.

Изъ этихъ словъ вы видите, что г. Пласкинъ общаетъ смотрѣть на русскую литературу съ двухъ точекъ: со стороны вліянія на ея образованіе народной гражданственности и народныхъ нравовъ, и со стороны ея общечеловѣческаго значенія въ кругу литературъ другихъ народовъ. Мы ничего не имѣли бы сказать противъ этого взгляда, если бъ общаніе автора провести этотъ взглядъ въ „Руководствѣ“ было сколько-нибудь исполнено. О нравахъ и гражданственности русскаго народа и о вліяніи того и другого начала на русскую литературу, точно такъ же, какъ и объ отношеніи русской литературы къ остальнымъ литературамъ, нѣтъ и помина ни въ старомъ, ни въ новомъ сочиненіи г. Пласкина. Если вы этому не вѣрите, то, не имѣя возможности перепечатать въ рецензій все „Руководство“, просимъ васъ вникнуть хоть въ сдѣланное авторомъ раздѣленіе исторіи русской литературы на періоды и посудить, какую роль играютъ въ этой исторіи нравы и гражданственность русскаго народа. Авторъ дѣлитъ исторію русской литературы, какъ можно видѣть уже изъ оглавленія, на пять періодовъ: 1) *до введенія христіанской вѣры* (языческая литература); 2) *до конца Смутнаго времени* (преобладаніе христіанской литературы предъ языческою); 3) *до Ломоносова* (учено-богословское направленіе литературы); 4) *до Жуковскаго* (ложно-классическая словесность); 5) *до нашего времени* (романическая литература или возвращеніе къ народности). Если бы мысль о вліяніи нравовъ и гражданственности русскаго общества на литературу дѣйствительно руководила г. Пласкинымъ, если бъ она не осталась одною только вступительною фразой, то неужели преобразование, созданное Петромъ Великимъ, не составило бы у него начала новаго періода русской литературы? Между тѣмъ г. Пласкинъ включилъ этотъ громадный переворотъ въ разрядъ фактовъ періода *отъ конца Смутнаго времени до Ломоносова*? Правда, противъ этого замѣчанія скажутъ, что до Ломоносова у насъ не было *почти* никакой связи между литературой и обществомъ, что самые писатели составляли явленія большею частію случайныя. Но, во-первыхъ, зачѣмъ же тогда было дѣлить исторію русской литературы до Ломоносова на три періода: періодъ есть ступень развитія. Во-вто-

рыхъ, зачѣмъ было говорить о вліяніи христіанства на измѣненіе языческихъ нравовъ русскаго общества, какъ о характеристической чертѣ второго періода, и объ учено-богословскомъ образованіи, какъ объ отличительномъ признакѣ періода до Ломоносова? Развѣ Петрово преобразование не можетъ быть поставлено на ряду хоть со вторымъ изъ этихъ элементовъ русской исторической жизни? Въ третьихъ, развѣ, въ самомъ дѣлѣ, оно не имѣло никакого вліянія на русскую литературу? Г. Плаксинъ самъ сознается на стр. 87 и 88, что Теофанъ Прокоповичъ неутомимо занимался литературой для споспѣшествованія великимъ идеямъ царя-преобразователя, а на стр. 101 и 102, что сатиры Кантемира суть необходимое произведеніе и отраженіе общества, приведеннаго въ броженіе реформою Петра Великаго? Въ четвертыхъ, развѣ самый Ломоносовъ, не предшествовавшій Петромъ, могъ бы сдѣлать для Россіи и четверть того, что сдѣлалъ при помощи учрежденій Петра? Наконецъ, въ пятыхъ, если и смотрѣть на русскую литературу до Ломоносова единственно какъ на письменность, а на писателей—какъ на исключеніе изъ образованія того времени, то неужели эта письменность совершенно не получила въ продолженіе восьми вѣковъ никакихъ измѣненій отъ различныхъ чужеземныхъ вліяній—греческаго, польско-латинскаго, наконецъ (при Петрѣ) нѣмецкаго, французскаго и проч., и неужели самыя исключенія изъ тогдашняго образованія, или писатели, всѣ походили другъ на друга, какъ капли воды, и нисколько не указываютъ на различіе означенныхъ вліяній? Другой примѣръ: все время отъ Жуковскаго до *натуральной школы* включительно сомкнуто г. Плаксинымъ въ одинъ періодъ, названный имъ *романтическимъ*. Неужели же и въ этотъ промежутокъ времени не произошло въ нашихъ нравахъ и въ нашей гражданственности такихъ переворотовъ, которые отразились бы въ литературѣ? Неужели, въ самомъ дѣлѣ, Россія спитъ такимъ непробуднымъ сномъ? Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь—развѣ это не представители эпохъ русской цивилизаціи?.. Это убѣждаетъ насъ, что взглядъ автора „Руководства“ на исторію русской литературы существуетъ только въ его воображеніи, не въ книгѣ, а слова его „Вступленія“ лучше всего объясняются желаніемъ заставить читателей думать, что взглядъ у него есть, да при томъ еще и весьма современный...

Но, можетъ быть—спросятъ читатели—этотъ огромный недостатокъ сколько-нибудь вознаграждается эстетическимъ взглядомъ автора на литературу вообще и на отечественную въ особенности? Въ самомъ дѣлѣ, можетъ быть, онъ увлекся желаніемъ усвоить себѣ новѣйшій взглядъ на литературу со стороны ея общественнаго значенія, а въ сущности явился эстетикомъ? Нѣтъ; мы внимательно прочли его книгу и не нашли въ ней эстетическаго взгляда, потому что не можемъ назвать *взглядомъ* ту смѣсь рѣзко противоположныхъ взглядовъ, казую являетъ „Руководство“. Надѣмся доказать это хоть слѣдующими примѣрами:



Стр. 159. „Онъ (Херасковъ) думалъ, подобно большей части своихъ современниковъ, что поэзія должна излагать положительныя правоученія. Нѣтъ! Она только возвышаетъ духъ великими идеями и, такимъ образомъ, уже посредственно пріохочиваетъ насъ любить все высокое, благородное, слѣдовательно, и добродѣтель; даже дидактическая поэзія только прельщаетъ читателя изображеніемъ добра и пользы, а не учитъ его. Всякое положительное ученіе—дѣло прозы“.

Изъ первыхъ словъ этой выписки вы заключите, что авторъ вовсе не признаетъ такъ-называемой *дидактической* поэзіи; но послѣднія слова показываютъ, что онъ даетъ ей право гражданства въ литературѣ подъ нѣкоторыми условіями. По его мнѣнію, дидактика возвышается до поэзіи *изображеніемъ* добра и пользы. Но спрашивается: какъ изобразить пользу чего-нибудь? Разумѣется, или картиной, или рассказомъ, или драмой,—другихъ средствъ къ изображенію нѣтъ. Только это будетъ лирическая, или эпическая, или драматическая поэзія. Такъ, напримѣръ, Гоголь изобразилъ весь нравственный и экономическій вредъ скупости своею бессмертною сценою визита Чичикова къ Плюшкину, которая состоитъ изъ рассказа и драмы съ небольшою примѣсью лиризма (впрочемъ, совершенно излишняго). Точно также можно сказать и объ изображеніи добра: какъ и всякое другое изображеніе, оно можетъ имѣть или лирическую, или эпическую, или драматическую форму; во всякой другой формѣ изображеніе перестаетъ быть изображеніемъ. Если г. Плаксинъ знаетъ еще какой-нибудь родъ поэтическаго изображенія, то мы думаемъ, что мыслящему человечеству весьма любопытно было бы ознакомиться съ его открытіемъ. А до тѣхъ поръ, пока оно не опубликовано, мы считаемъ себя въ правѣ смотрѣть на его идеи о дидактической поэзіи, какъ на взаимно уничтожающія другъ друга, то-есть несуществующія. Чтобы совершенно убѣдить читателей въ этой дѣйствительности понятій г. Плаксона, считаемъ неизлишнимъ привести еще нѣкоторыя мѣста изъ его „Руководства“.

Стр. 120. „Ломоносовъ показалъ прекрасный образецъ дидактической поэзіи въ „Посланіи къ Шувалову о пользѣ стекла“.

Стр. 181. „Посланіе о пользѣ стекла—къ Шувалову—Ломоносова можетъ служить только доказательствомъ, что сочинитель глубоко изучилъ природу и имѣлъ неистощимое богатство мыслей“.

Стр. 137. „Болѣе... всего Херасковъ теряетъ въ мнѣніи потомства тою холодною, которая происходила отъ желанія быть назидательнымъ вездѣ и во всемъ; для сего онъ написалъ множество такъ-названныхъ имъ *нравоучительныхъ одъ*. Несмотря однакожь на это нравоучительное направленіе, въ *лирику* неумѣстное, его *анакреонтическія* стихотворенія часто не имѣютъ необходимой благопристойности“ и пр.

Стало быть, это *нравоучительное* направленіе, неумѣстное въ лирику, будетъ уместно въ произведеніи эпическомъ или драматическомъ? Но въ такомъ случаѣ—какъ же понимать смыслъ первой выписки?

Не угодно ли познакомиться съ идеями г. Плаксина о *натуральности*? Вы увидите, что невозможно представить себѣ болѣе изумительныхъ противорѣчій.

Въ статьѣ о драматическихъ произведеніяхъ Сумарокова сказано: „По знанію цѣли комедіи, которая у него выше забавы не возносилась, онъ изображалъ *характеры* почти всегда самые *обыкновенные, повседневные*“ (стр. 131). Стало быть, это не достоинство писателя? Стало быть, изображать дѣйствительность значить низводить искусство на степень забавы? Если таковъ образъ мыслей автора, то почему же онъ хвалитъ, напримѣръ, Кантемира и Фонъ-Визина именно за то, что они вѣрно изображали окружавшую ихъ дѣйствительность? Вотъ, напримѣръ, что говоритъ онъ о Фонъ-Визинѣ: „Комедіи его совершенно русскія, народныя; слѣдовательно, онѣ только по времени происхожденія и по изображаемымъ въ нихъ нравамъ и характерамъ лицъ принадлежатъ тому вѣку, а по искусству, по способу изображенія—къ нашему *романтическому* (?) вѣку. Эти комедіи имѣли успѣхъ самый блестящій; слѣдовательно, характеры дѣйствующихъ были узаны въ природѣ, въ обществѣ; слѣдовательно, имѣли цѣнителей“ (стр. 194).

Если бы здѣсь наша эпоха не была названа *романтической*, то можно было бы заключить изъ этой выписки, что г. Плаксинъ раздѣляетъ современное ученіе о натуральности. Но вообще тотъ очень ошибется, кто вздумаетъ заключать что-нибудь объ его эстетическихъ и другихъ понятіяхъ, не прочитавъ всей книги. Чтобы показать вполне двойственность его понятій вообще, и о естественности особенно, мы рѣшаемся привести отзывъ его о Гоголѣ, замѣчательный кромѣ того, какъ неумышленный панегирикъ. Въ послѣднемъ отношеніи этотъ отзывъ исполненъ истиннаго композма... Предупреждаемъ читателей, что г. Плаксинъ поставилъ Гоголя въ параллель—съ кѣмъ бы вы думали?—съ г. Кукольниковъ!!! Вотъ вамъ эта замѣчательная параллель:

Стр. 420—422. „Нельзя утвердительно сказать, соперничаютъ ли между собою два сильные современные писателя: Кукольникъ и Гоголь; по крайней мѣрѣ, достовѣрно то, что читатели и чтители ихъ находятся въ какой-то странной и даже смѣшной враждѣ; но это слѣдствіе журнальнаго вліянія и неумѣстнаго усердія друзей само собою изгладится. Оба они замѣчательны въ настоящее время; оба въ потомствѣ займутъ почетныя мѣста въ исторіи русской словесности; но эти два сильные дарованія совершенно разнохарактерны и по природѣ своей, и по образованію. Всѣ произведенія Гоголя обнаруживаютъ въ немъ самоувѣренность, стремленіе къ самодѣятельности, какое-то умышленное, насмѣшливое пренебреженіе къ прежнимъ занятіямъ, опытамъ и образцамъ; онъ читаетъ только книгу природы, изучаетъ только міръ дѣйствительный; потому-то идеалы его слишкомъ естественны и просты до наготы; они, по выраженіи Ивана Никифоровича, одного изъ его созданій, являются предъ читателями въ

*натуръ*. Красоты его созданій всегда новы, свѣжи, поразительны; ошибки чуть не отвратительны; онъ, какъ будто забывъ исторію, подобно древнимъ, начинаетъ новый міръ искусствъ, вызывая его изъ небытія въ простонравное хаотическое состояніе; потому-то его искусство какъ будто не знаетъ, не понимаетъ стыдливости; онъ—великій художникъ, не знающій исторіи и не выдавшій образцовъ искусства!... Кукольникъ представляетъ прямую противоположность Гоголю: онъ какъ будто не вѣритъ самобытности силъ своихъ; онъ подчинилъ свою природу наукѣ, знаніямъ, образцамъ; его фантазія витаетъ въ минувшемъ, въ мірѣ исторіи, въ области поэзіи и искусствъ. Первое произведеніе его вызвано изъ этого міра фантазіи. Торквато Тассо, дитя и наперсникъ поэзіи, питомецъ музъ скромныхъ, цѣломудренныхъ, былъ предметомъ его пѣснопѣнія. Хотя это произведеніе имѣетъ форму драматическую, но оно—поэма. А нынѣ Кукольникъ принялся за романы; онъ написалъ уже нѣсколько повѣстей и романовъ: „Альфъ и Альдона“, „Эвелина де-Вальероль“, „Дурочка Луиза“, „Историческая Красавица“ и повѣсти изъ временъ Петра Великаго; всѣ они отличаются обширною начитанностью (!!), глубокимъ изученіемъ образцовъ и соображеніемъ съ прежними и новыми образцами. Кукольникъ не принадлежитъ ни къ одной изъ извѣстныхъ литературныхъ школъ, но и не думаетъ образовать свою особенную школу; онъ старается... соединить въ себѣ достоинства разныхъ вѣковъ и народовъ“.

Эта выписка значительному числу нашихъ читателей, безъ сомнѣнія, покажется совершенно удовлетворительнымъ образчикомъ эстетическихъ понятій г. Плаксина. Но если кому-нибудь этого мало, то мы приведемъ здѣсь еще два образца этихъ понятій. Вотъ, напримѣръ, его объясненіе недостатковъ лирическихъ произведеній Сумарокова (стр. 128 и 129):

„Вотъ каковы лучшія лирическія мѣста Сумарокова:

Въ радостной своей судьбѣ  
Ликовствуй, Россія, нынѣ;  
Счастіе твое цвѣтеть!  
Щедрая Елизаветъ!  
Какъ тиха твоя держава,  
Такъ громка, безсмертна слава.

„Или:

Я зрю въ Россіи Геликонъ:  
Разорвалися въ ней державши разумъ узы,  
И обитаютъ музы,  
Не зря словесному ученію препонъ.  
Потоки Ипокрены  
Съ твоей, Нева, мѣшаются волной,  
Текутъ полночною страной

И орошаютъ днесь твои, Петрополь, стѣны!  
 Не тѣмъ ужъ мѣстомъ ты, Петрополь, нынѣ зришь,  
     Гдѣ прежде жили финны;  
 На сихъ брегахъ поставленъ древній Римъ  
     И древнія Аены.  
     Тутъ  
 Словесныя науки днесь цвѣтутъ.  
     О, Петръ! О, Елисавета!  
 Пребудутъ ваши въ вѣкъ на свѣтѣ имена;  
     Въ коротки времена  
 Вы то исполнили ко удивленію свѣта...

„Чего недостаетъ въ этихъ стихахъ? они проистекли изъ чувства радости, выражаютъ легкія, свободныя мечты, написаны языкомъ довольно правильнымъ, точнымъ и чистымъ, что, впрочемъ, у него (Сумарокова) рѣдко случается, касаются предмета близкаго сердцу русскому; однако ни сколько не трогаютъ сердца, не возносятъ духа. Отъ чего жъ такое противорѣчье? Во-первыхъ, это происходитъ отъ недостатка общаго—отъ этихъ классическихъ метафоръ и сравненій, во-вторыхъ, отъ несоблюденія стихотворнаго количества (робрѣс), такъ что одна мысль у него растянута, другая сжата; въ третьихъ, отъ совершеннаго незнанія типическаго языка, который требуетъ рѣчи *неперіодической и отрывистой* и который скорѣе допустить *правильный періодъ*, нежели эту *слитность* рѣчи, выражаемую дѣепричастіями и относительными частицами, часто употребляемую Сумароковымъ. Все это нестерпимо въ лирической поэзіи, чуждой всякихъ разсказовъ, и все это Сумароковъ любилъ, осуждая въ Ломоносовѣ быстроту слога его“.

Изъ этого вы видите, какіе элементы, по понятію г. Плаксына, входятъ въ составъ изящнаго произведенія.

А вотъ критика русскихъ народныхъ пѣсенъ языческаго періода (то-есть, относимыхъ авторомъ „Руководства“ къ языческимъ): „Отличительный признакъ нашихъ древнихъ (?) пѣсенъ состоитъ въ томъ, что онѣ всегда начинаются уподобленіемъ или иносказаніемъ, и часто отрицательнымъ; напримѣръ: „Не огонь горитъ, не смола кипитъ; что кипитъ сердце молодецкое“. Молодецъ уподобляется орлу сизому, соколу ясному, а дѣвушка—бѣлой лебедушкой или голу-бушкой; въ похвалу молодцу говорятъ: *удалая голова*, а дѣвушкѣ: *душа-красная дѣвица*. Непріятныя чувствованія и бѣды уподобляются грознымъ явленіямъ природы—*невзгодью*, а чувствованія сладостныя и счастье—*ясному дню*“ (стр. 40).

Вотъ и все. Вы скажете, что это отзывается плохимъ умѣньемъ проникати во внутреннюю сущность явленій. Хорошо вамъ такъ говорить; и мы согласны съ вами, но повѣрите ли?—по нашему мнѣнію, это одно изъ лучшихъ мѣстъ „Руководства“: по крайней мѣрѣ, въ этихъ строкахъ все справедливо, хоть

наивно. Мы часто досадуемъ на книги, въ которыхъ доказывается, что  $2 \times 2 = 4$ ; еще болѣе на тѣ, въ которыхъ силятся увѣрить публику, что  $2 \times 2 = 5$ ; но всѣхъ досаднѣе тѣ, которыя въ одно время защищаютъ и то, что  $2 \times 2 = 4$ , и то, что  $2 \times 2 = 5$ . Наивность намъ все-таки сноснѣе двойственности.

Но оставимъ этотъ лиризмъ и будемъ продолжать о другомъ. Кажется, изъ всего, что до сихъ поръ сказано, а главное выписано, можно уже заключить, что ни соціального, ни эстетическаго взгляда на русскую литературу нельзя отыскать въ „Руководствѣ“. Если бы наша литература представляла собою обиліе ученыхъ произведеній, то еще можно было бы предположить, что взглядъ на науку поглотилъ въ представленіи г. Плаксина всѣ другіе взгляды. А такъ какъ въ русской литературѣ, даже и въ послѣдній періодъ ея развитія, не только не преобладаютъ еще ученые сочиненія надъ изящными или quasi-изящными, но число ихъ далеко не достигаетъ желанной степени,—то остается признать, что въ „Руководствѣ“ г. Плаксина въ сущности нѣтъ ровно никакого взгляда, а есть только претензіи на взглядъ или, лучше сказать, смѣсь множества не понятыхъ, но усвоенныхъ воззрѣній.

Если же это такъ, то нѣтъ ли у него, по крайней мѣрѣ, хоть ясной послѣдовательности въ изображеніи хода явленій. Тоже нѣтъ, рѣшительно нѣтъ! Факты смѣняются одинъ другимъ, какъ декорации въ мелодрамѣ; кто вздумаетъ знакомиться съ исторіей русской литературы по его сочиненію, тотъ рѣшительно не пойметъ, отчего такое-то явленіе случилось прежде, а не послѣ такого-то, отчего такой-то писатель явился въ ту, а не въ другую эпоху, чѣмъ приготовленъ былъ такой-то переворотъ въ литературѣ, и т. п. Впрочемъ, блистательный образецъ этого способа писать исторію мы видѣли уже выше, когда говорили о дѣленіи исторіи русской литературы на періоды. Если ужъ Петрово преобразование, по понятіямъ г. Плаксина, не можетъ занять мѣста въ числѣ тѣхъ рѣшительныхъ, роковыхъ вліяній на историческую судьбу русскаго народа, которыя производятъ перевороты въ идеяхъ общества и его двигателей, то разсуждать о его прагматизмѣ значитъ терять слова по пустому. Вообще, читая „Руководство“, мы вспомнили слѣдующій случай. Намъ довелось недавно присутствовать при историческомъ урокѣ одного довольно бойкаго и смѣтливаго четырнадцати-лѣтняго мальчика. Учитель рассказывалъ ему о дѣяніяхъ Русскихъ государей отъ Іоанна Калиты до Іоанна Грознаго, придерживаясь текста одного употребительнаго у насъ руководства. Ученикъ, несмотря на свои четырнадцать лѣтъ, тяжело задумался и спросилъ учителя: отчего это всѣ государи какъ будто заставляли Русское государство все въ одномъ и томъ же положеніи, между тѣмъ какъ прождаго изъ нихъ исторія говоритъ, что онъ засталъ Россію въ положеніи еустройства и съ помощью своей мудрости и твердости привелъ ее въ цвѣтущее состояніе?..

Остается сказать о фактической части „Руководства къ изученію исторіи русской литературы“. Новыхъ фактовъ въ ней нѣтъ, критической оцѣнки—еще менѣе. Г. Плаксинъ не скрываетъ даже своей неохоты заниматься критикой фактовъ; это заставляетъ его принимать на вѣру большую часть не рѣшенныхъ историко-литературныхъ вопросовъ такъ, какъ они принимаются большинствомъ. Вотъ на примѣръ, въ какія странныя разсужденія вовлекло его нежеланіе изслѣдовать самостоятельно первой русской лѣтописи (стр. 62—63): „Лѣтопись Нестора“, говоритъ онъ,—„дѣйствительно составляетъ начальный источникъ нашей исторіи, ибо древнѣе ея мы не знаемъ ни одной. Правда, *есть причина думать*, что Іоакимъ, первый епископъ Новгородскій, цѣлымъ столѣтіемъ предупредилъ Нестора, что онъ собиралъ историческія извѣстія составлялъ первую лѣтопись во время Владиміра Великаго; по мнѣнію Татищева, она была полнѣе временника Несторова. Но какъ эта лѣтопись утрачена, и списокъ ея, бывшій у Татищева, сгорѣлъ, то мы по необходимости должны почитать временникъ первымъ собраніемъ извѣстій о древней Руси. Слѣдовательно, безъ Нестора вся древность Россіи была бы забыта, и можетъ быть, не скоро бы родилась мысль о сохраненіи сего священнаго для насъ достоянія—памяти о первобытной Россіи; но зѣнимъ являлись безпрестанно умные подражатели и лѣтопись продолжали до позднѣйшихъ (?) временъ“ <sup>1)</sup>.

Если г. Плаксинъ вѣритъ, что Іоакимова лѣтопись дѣйствительно существовала <sup>2)</sup> и *сгорѣла у Татищева*, то какой же смыслъ имѣютъ его слова: „мы по необходимости должны почитать временникъ *первымъ* собраніемъ извѣстій о древней Руси“? И почему же безъ Нестора „вся древность Россіи“ была бы *всепремѣнно* „забыта“? Продолжатели у Іоакима могли бы найтись точно такъ же, какъ и у Нестора. Вѣдь, можетъ быть, и самъ Несторъ сталъ писать свою лѣтопись уже по примѣру Іоакима или для продолженія его труда. Воля ваша, силлогизмы г. Плаксина можно объяснить только неохотою заниматься критическою разработкой историческихъ фактовъ. Эта неохота такъ сильна, что онъ рѣшается представить публикѣ самое нелогическое оправданіе.

Вообще, все изложеніе древней русской литературы въ „Руководствѣ“ отзывается небрежностью въ изученіи фактовъ. Эта небрежность заставляетъ сочинителя часто наполнять свои статьи ни на чемъ не основанными или очень слабо доказанными предположеніями. Такъ на примѣръ, при изложеніи языческаго періода, поговоривъ на двухъ страничкахъ о томъ, что, *вѣроятно*, была

<sup>1)</sup> Что разумѣть подъ словами *до позднѣйшихъ временъ*? Лѣтописи наши прекращаются въ XVI столѣтіи.

<sup>2)</sup> Въ статьѣ объ историческихъ трудахъ Татищева авторъ доказываетъ, что нѣтъ причинъ сомнѣваться въ дѣйствительномъ существованіи рукописей, которыми онъ хвалился и которыя большею частію сгорѣли.



и тогда какая-нибудь поэмка и присоединивъ къ этому приведенный выше разборъ нашихъ народныхъ пѣсенъ, онъ толкуетъ о пословицахъ, какъ объ одномъ изъ памятниковъ этого періода. Конечно, разысканіе пословицъ и опредѣленіе времени ихъ происхожденія—трудъ весьма интересный для исторіи вообще и для исторіи литературы въ особенности. Но этого-то разысканія и нѣтъ въ книгѣ г. Плаксина. Онъ ограничивается приведеніемъ шести пословицъ, которыя, по его мнѣнію, „носятъ слѣды глубокой древности“. Но скажите, пожалуйста: изъ этихъ шести, что вы находите древняго, да еще и языческаго, въ слѣдующихъ четырехъ поговоркахъ: „умъ нажить, не городъ сгородить,“; „съ чужого коня среди грязи долой“; „правда старше старосты“; „какъ аукнется, такъ и откликнется“? За неимѣніемъ дѣйствительно интересныхъ свѣдѣній, сочинитель распространяется также о рѣчахъ Святослава и доказываетъ достовѣрность ихъ слѣдующимъ образомъ: „Онѣ точно выражаютъ характеръ оратора-полководца и обстоятельствъ; а могъ ли человѣкъ посторонній, спокойно созерцающій положеніе дѣлъ давно минувшихъ, проникнуться духомъ ихъ столь сильно, чтобъ оживить въ воспоминаніяхъ нашихъ героя съ его подвигами?“ (стр. 48) Прекрасно! Да отчего же, напримѣръ, Пушкинъ такъ хорошо поддѣлался подъ рѣчь Пимена? Ужъ не подлинная ли и она?..

Наконецъ, отъ времени до времени, между фактами попадаются и такіе, которымъ рѣшительно нельзя дать вѣры, если не будутъ они доказаны. Такъ, на стр. 25 сказано, что въ XII столѣтіи русскіе оказали блестящіе успѣхи въ живописи и зодчествѣ, а на стр. 35—что „современные намъ романисты ревностно доканчиваютъ“ начатое Крыловымъ и Пушкинымъ преобразование русскаго языка, „разрабатывая областныя нарѣчія“!! Что это за современные намъ романисты? Любопытно было бы знать ихъ по именамъ и посмотреть, что они такое разрабатываютъ. До сихъ поръ о нихъ не было слуха.

Итакъ, въ „Руководствѣ“ г. Плаксина нѣтъ ни взгляда на исторію русской литературы, ни живой связи между излагаемыми событіями, ни критикой фактовъ, ни даже новыхъ, впервые найденныхъ фактовъ. Слѣдовательно, это не исторія русской литературы, а собраніе статей, болѣе или менѣе относящихся къ этому предмету, статей болѣею частію или очень посредственныхъ, или очепь цокихъ. Мы приписываемъ это двумъ причинамъ; во-первыхъ, тому, что авторъ взялся за трудъ не по силамъ, и во-вторыхъ тому, что онъ хотѣлъ устроить мировую между старыми и новыми понятіями о литературѣ. Первое вывело его изъ такой сферы, въ которой, можетъ быть, силы его пришли бы скорѣе къ дѣлу; второе вовлекло его въ дуализмъ, въ круговоротъ идей, взаимно уничтожающихъ одна другую.

Что же сказать о пользѣ, какую можетъ принести второе изданіе „Руководства“ г. Плаксина? Этотъ вопросъ напоминаетъ намъ одно очень замѣчательное мѣсто изъ предисловія къ разсмотрѣнной нами книгѣ: „Болѣе всего сочп-

нитель руководства долженъ помнить, что всякое ученіе имѣетъ двѣ цѣли: *положительное знаніе и развитіе ума*; или лучше сказать: главная цѣль ученія — *развитіе познавательныхъ силъ* или *возбужденіе самосознанія*, а главное средство для достиженія этой цѣли — *положительное знаніе*, и преимущественно связанное, систематическое изложеніе знаній. Въ этомъ случаѣ и *мнимыя истины* могутъ быть полезны, ежели онѣ передаются съ *убѣжденіемъ и въ логической послѣдовательности*; онѣ изоощряютъ и утверждаютъ умъ и пробуждаютъ самосознаніе. Безусловныхъ истинъ немного; большая же часть нашихъ знаній принадлежитъ времени; когда минуетъ ихъ періодъ, они или замѣняются другими новыми знаніями, или превращаются въ *предразсудки*“.

Эта тирада обнаруживаетъ намъ *собственный* взглядъ автора на пользу „Руководства“. Но мы не можемъ согласиться съ его мыслью, будто-бы развитіе познавательныхъ силъ важнѣе самихъ знаній: орудіе не можетъ быть важнѣе цѣли. Если мы стараемся развивать познавательныя силы въ ребенкѣ, то конечно, для того, чтобъ онъ могъ ими воспользоваться для *пріобрѣтенія знаній*. Слѣдовательно, другая мысль автора, будто бы и мнимыя истины могутъ быть полезны, если изложены съ *убѣжденіемъ и въ логической послѣдовательности*, также, несправедлива. Какой же расчетъ изложить разныя неправды по систематической канвѣ и передать ихъ ребенку? Хорошо еще, если онъ впоследствии будетъ имѣть случай, охоту и внутреннюю возможность переучиться. Да и то: зачѣмъ учиться дважды тому, чему можно выучиться разомъ? А какъ вамъ правятся эти скептическія слова: „безусловныхъ истинъ немного“ и проч.? Не правда ли, отъ нихъ вѣетъ особеннаго рода разочарованіемъ? Но, не причисляя себя ни къ систематическимъ скептикамъ, ни къ разочарованнымъ, мы скажемъ, что хотя процессъ совершенствованія человѣческихъ знаній безконеченъ, однакожь каждый вѣкъ въ результатѣ своемъ утверждаетъ въ *человѣчествѣ* какую-нибудь новую истину, которая умножаетъ собою число аксіомъ и никогда не превращается въ *предразсудокъ*.

Итакъ, не можемъ согласиться съ *сочинителемъ* касательно идеи его о пользѣ руководствъ вообще. Это не мѣшаетъ намъ однакожь утѣшать себя мыслью, что самъ онъ считаетъ свое руководство весьма полезнымъ.

## В. И. Аскоченскій.

Краткое начертаніе исторіи русской литературы, составленное В. Аскоченскимъ. Изданіе II. Должикова. Кіевъ. 1846

Книжечка, которой заглавіе здѣсь выписано, не принадлежитъ къ числу сочиненій, заслуживающихъ подробнаго разбора. Но предметъ ея такъ важенъ и любопытенъ, что мы не могли не воспользоваться ея появленіемъ для того, чтобы высказать нѣсколько мыслей о различныхъ воззрѣніяхъ на исторію вообще и на русскую исторію въ особенности, воззрѣніяхъ, тѣсно связанныхъ съ порожденіемъ всѣхъ до сихъ поръ изданныхъ у насъ курсовъ исторіи русской литературы. Намъ кажется, что анализъ этихъ воззрѣній поведетъ къ рѣшенію вопроса о томъ, могло ли до сихъ поръ явиться совершенно удовлетворительное сочиненіе объ этомъ предметѣ. Что же касается до „Краткаго начертанія“ г. Аскоченскаго, то мы воспользуемся имъ, какъ примѣромъ господствующихъ у насъ ложныхъ идей о задачѣ исторіи литературы и о способѣ разрѣшенія этой задачи.

Многіе называютъ нашъ вѣкъ *историческимъ* въ томъ смыслѣ, что никогда еще Европа не занималась исторіей съ такою ревностью, какъ въ послѣднія тридцать лѣтъ. Этотъ фактъ не всѣмъ по сердцу: есть люди, которые видятъ въ этой широко распространенной склонности къ историческимъ изслѣдованіямъ упадокъ и усталость разума, успокоеніе его въ фактахъ дѣйствительности отъ бурнаго стремленія, характеризующаго направленіе прошедшаго вѣка. Такая мысль справедлива только въ половину. Въ самомъ дѣлѣ, послѣ бурныхъ событій второй половины восемнадцатаго столѣтія и перваго двадцатилѣтія девятнадцатаго, въ большинствѣ образованнаго человѣчества явилась потребность отдыха, выразившаяся самыми яркими чертами въ наукѣ и политической жизни. И въ той, и въ другой обнаруживается одинъ общій характеръ—безсиліе созданія. Разберите какую угодно ученую или политическую идею эпохи, о которой говоримъ мы: всюду встрѣтите дуализмъ самый нелогическій и самый безжизненный. Въ это жалкое время всѣ вопросы въ теоріи и въ практикѣ рѣшались по такому рецепту: „на два противоположныя мнѣнія смотри, какъ на крайности, и выбирай между ними середину“. Изъ всѣхъ наукъ одна только математика, по самой сущности своей, не могла подвергнуться вліянію этого направленія; остальные подчинились ему всѣ безъ исключенія. И люди, пустившіе въ ходъ упомянутый рецептъ, гордились своею выдумкой, полагая, что отыскали тайну созданія, затерянную мыслителями восемнадцатаго вѣка, обуянными духомъ отрицанія. Въ самомъ же дѣлѣ весь трудъ ихъ заключался въ соглашеніи несогласимыхъ идей, въ составленіи неорганической смѣси изъ доктринъ, созданныхъ прошедшимъ столѣтіемъ, и тѣхъ, которыя оно отрицало радикально. Восемнадцатый вѣкъ, между прочимъ, отрицалъ важность всего историческаго, признавая одно разумное. Дуалисты девятнадцатаго вѣка сочли и эту идею за крайность и при-

нялись соединять все историческое, все прожитое и выжитое съ тѣмъ, что считали абсолютно разумнымъ! Можетъ быть, никогда умъ человѣческій не падалъ такъ низко; а между тѣмъ извѣстно, что помянутое воззрѣніе на исторію имѣло вліяніе и на созданіе общественнаго быта въ новой формѣ. Впрочемъ, какъ бы го ни было, оно возвратило историческимъ изслѣдованіямъ ту важность, которая была совершенно утрачена ими въ восемнадцатомъ вѣкѣ: многіе ученые принялись за исторію съ тайною мыслью осмыслить ею настоящее.

Но среди общаго изнеможенія нашлись умы, сохранившіе бодрость и здоровье. Мы разумѣемъ здѣсь тѣ личности, которыя имѣли столько твердости, что не обольстились притязаніями на творчество и отказались отъ успокоенія въ рецептахъ, предписывавшихъ соединеніе вещей несоединимыхъ. Эти натуры заключились въ простомъ анализѣ дѣйствительности и анализомъ своимъ мало по малу подточили шаткія зданія дуалистовъ. Роль аналитиковъ была спокойная и неблестящая, но великая и почтенная, ибо она совпадаетъ съ ролью здраваго смысла. Дуалисты строились и шумѣли; аналитики только смотрѣли на нихъ съ неумолимымъ вниманіемъ и самимъ имъ рассказывали, какъ они строятся и что выходитъ изъ ихъ постройки. Мало по малу нелѣпость была обнаружена, и зданіе пошатнулось.

Здравый смыслъ не ограничился анализомъ настоящаго: свѣтлый, но пылливый взглядъ ея проникъ въ прошедшее, въ исторію. И здѣсь, безъ всякой затаенной мысли, разложилъ онъ сложныя и блестящія явленія на простыя начала, чѣмъ и разрушились сами собою всѣ химерическія понятія о томъ соединеніи историческаго съ разумнымъ, стараго съ новымъ, о которомъ мечтала дуалистическая или доктринерская школа.

Итакъ, въ нашъ вѣкъ исторія получила два толчка и, вмѣстѣ съ тѣмъ, два направленія. Одно изъ нихъ, по самому источнику своему, заключаетъ въ себѣ вопіющую нелѣпость; другое совершенно согласно съ здравымъ смысломъ, потому что проистекаетъ не изъ безжизненной тенденціи оробѣвшаго духа, а изъ прямой потребности разума. Въ самомъ дѣлѣ, идеи восемнадцатаго вѣка не могли найти себѣ надлежащаго примѣненія въ тѣхъ формахъ жизни, въ которыя онъ хотѣлъ было облечь ихъ. Человѣчество ошиблось въ практическомъ расчетѣ; но развѣ слѣдуетъ изъ этого, что для поправленія ошибки надо было попытаться назадъ въ самыхъ идеяхъ, служившихъ основаніемъ этому расчету, какъ сдѣлали дуалисты? Нѣтъ! Избранные умы девятнадцатаго вѣка, которыхъ можно назвать аналитиками въ строгомъ смыслѣ, пошли далѣе. Въ такомъ направленіи изучали они и исторію.

Общее европейское движеніе обнаружилось и въ Россіи, которая отъ самаго воцаренія императрицы Екатерины II до настоящей минуты постоянно принимала дѣятельное участіе не только въ политикѣ европейскихъ державъ, но и въ разработкѣ европейскихъ идей или, по крайней мѣрѣ, въ усвоеніи себѣ ихъ

Блистательный конецъ борьбы съ Наполеономъ пробудилъ въ насъ и духъ самоислѣдованія. Критическій взглядъ на тогдашнюю современность обнаружился въ произведеніяхъ литературы. Потребность отечественной исторіи — необходимое слѣдствіе пробужденія народнаго самосознанія — получила силу и живость необыкновенную. Вопросы о значеніи Россіи, о ея настоящемъ, прошедшемъ и будущемъ, о томъ, чѣмъ она была, есть и должна быть, зашевелились въ образованной части публики. Недавніе успѣхи подѣйствовали различно на различныя натуры: однимъ казалось, что Россія достигла уже апогея своего развитія, той высоты величія и славы, за которою уже нѣтъ ничего желаннаго; напротивъ, другихъ быстрые ея успѣхи убѣждали только въ томъ, что нельзя оставаться ей на той степени развитія, на которой она стояла. Въ это время явилась „Исторія“ Карамзина; ее ожидали съ такимъ востерпѣніемъ, что первое изданіе было расхвачено менѣе, чѣмъ въ двое сутокъ. Кто безпристрастно изучалъ это твореніе, тому, конечно, извѣстно, что оно написано съ мыслью показать, что исторія Россіи ничѣмъ не хуже, а во многихъ отношеніяхъ и лучше исторій другихъ европейскихъ народовъ. Карамзинъ и самъ вовсе не думалъ скрывать этого взгляда. Вотъ что говоритъ онъ въ своемъ предисловіи къ „Исторіи Государства Россійскаго“:

„Кромѣ особеннаго достоинства для насъ, сыновъ Россіи, ея лѣтописи имѣютъ общее. Взглянемъ на пространство сей единственной державы: мысль цѣлѣнѣе; никогда Римъ въ своемъ величіи не могъ равняться съ нею, господствуя отъ Тибра до Кавказа, Эльбы и песковъ африканскихъ. Не удивительно ли, какъ земли, раздѣленныя вѣчными преградами естества, неизмѣримыми пустынями и лѣсами непроходимыми, хладными и жаркими климатами, какъ Астрахань и Лапландія, Сибирь и Бессарабія, могли составить одну державу съ Москвою? Менѣе ли чудесна и смѣсь ея жителей, разноплеменныхъ, разнообразныхъ и столь удаленныхъ другъ отъ друга въ степеняхъ образованія? Подобно Америкѣ, Россія имѣетъ своихъ дикихъ; подобно другимъ странамъ Европы, являетъ плоды долговременной гражданской жизни. Не надобно быть русскимъ, надобно только мыслить, чтобы съ любопытствомъ читать преданія народа, который смѣлостію и мужествомъ снискалъ господство надъ девятою частью міра, открылъ страны, никому дотолѣ неизвѣстныя, внесъ ихъ въ общую систему географіи, исторіи и просвѣтилъ божественною вѣрою, безъ насилія, безъ злодѣйствъ, употребленныхъ другими ревнителями христіанства въ Европѣ и въ Америкѣ, но единственно примѣромъ лучшаго.

„Согласимся, что дѣянія, описанныя Геродотомъ, Фукидидомъ, Ливіемъ, для всякаго не русскаго вообще занимательнѣе, представляя болѣе душевной силы и живѣйшую игру страстей: ибо Греція и Римъ были народными державами и просвѣщеніе Россіи; однакожъ смѣло можемъ сказать, что вѣкоторые случаи, картины, характеры нашей исторіи любопытны не менѣе древнихъ. Таковы сѣтъ

подвиги Святослава, гроза Батыева, возстаніе россіянъ при Донскомъ, паденіи Новгорода, взятіе Казани, торжество народныхъ добродѣтелей во время междоусобицъ. Великаны сумрака, Олегъ и сынъ Игоревъ; простосердечный витязь слѣпецъ Василько; другъ отечества, благолюбивый Мономахъ; Мстиславы *Храбрые* ужасные въ битвахъ и примѣръ незлобія въ мирѣ; Михайлъ Тверскій, столъ знаменитый великодушною смертію; злополучный, истинно мужественный Александръ Невскій; герой-юноша, побѣдитель Мамаевъ, въ самомъ легкомъ начертаніи спльно дѣйствуютъ на воображеніе и сердце. *Одно государствование Іоанна III есть рѣдкое богатство для исторіи: по крайней мѣрѣ, не знакъ монарха, достойнаго жить и сіять въ ея святилищѣ.* Лучи египетской славы падаютъ на колыбель Петра, и между сими двумя самодержцами удивительный Іоаннъ IV, Годуновъ, достойный своего счастья и несчастья, лже-Димитрій, и за сонмомъ доблестныхъ патріотовъ, бояръ и гражданъ, наставникъ трона, первосвященникъ Филаретъ съ державнымъ сыномъ, свѣтоносцемъ во тьмѣ нашихъ государственныхъ бѣдствій, и царь Алексій, мудрый отецъ императора, коего назвала Великимъ Европа. Или вся новая исторія должна безмолвствовать, или россійская имѣетъ право на вниманіе.

„Знаю, что битвы нашего удѣльнаго междоусобія, гремящія безъ умолку въ пространствахъ пяти вѣковъ, мало важны для разума, что сей предметъ не богатъ ни мыслями для прагматика, ни красотами для живописца: но исторія не романъ, и міръ не садъ, гдѣ все должно быть пріятно: она изображаетъ дѣйствительный міръ. Видимъ на землѣ величественныя горы и водопады, цвѣтушіе луга и долины; но сколько песковъ бесплодныхъ и степей унылыхъ! Однакожъ путешествіе вообще любезно человѣку съ живымъ чувствомъ и воображеніемъ; въ самыхъ пустыняхъ встрѣчаются виды прелестныя.

„Не будемъ суевѣрны въ нашемъ высокомъ понятіи о дѣписателяхъ древности. Если исключить изъ безсмертнаго творенія Фукидидова вымышленныя рѣчи, что останется? Голый рассказъ о междоусобіи греческихъ городовъ: толпы злодѣйствуютъ, рѣжутся за честь Аѳинъ или Спарты, какъ у насъ за честь Мономахова или Олегова дома. Не много разности, если забудемъ, что сіи полутигры изъяснялись языкомъ Гомера, имѣли Софокловы трагедіи и статуи Фидіасовы. Глубокомысленный живописецъ Тацитъ всегда ли представляетъ намъ великое, разительное? Съ умиленіемъ смотримъ на Агриппину, несущую пепелъ Германика, съ жалостью—на разсѣянные въ лѣсу кости и доспѣхи легіона Варова, съ ужасомъ—на кровавый пиръ неистовыхъ римлянъ, освѣщаемыхъ пламенемъ Капитолія, съ омерзеніемъ—на чудовище тиранства, пожирающее остатки республиканскихъ добродѣтелей въ столицѣ міра; но скучныя тяжбы городовъ о правѣ имѣть жреца въ томъ или другомъ храмѣ и сухой некрологъ римскихъ чиновниковъ занимаютъ много листовъ въ Тацитѣ. Онъ завидовалъ Титу Ливію въ богатствѣ предмета; а Ливій, плавный, краснорѣчивый, иногда цѣлыя книги наполняетъ извѣстіями



о спибкахъ и разбояхъ, которые едва ли важнѣе половецкихъ набѣговъ. Однимъ словомъ, чтеніе всѣхъ исторій требуетъ нѣкотораго терпѣнія, болѣе или менѣе награждаемаго удовольствіемъ“ (Исторія Государства Россійскаго, т. I, предисловіе).

Нѣтъ нужды доказывать, что этотъ взглядъ выдержанъ Карамзинымъ во всей „Исторіи Государства Россійскаго“... Можно себѣ представить, какой эффектъ должно было произвести такое сочиненіе въ эпоху только что возникшаго вопроса о прогрессивномъ движеніи Россіи! Одни смотрѣли на него, какъ на доказательство, что Россія достигла своего апогея, что нечего ей болѣе развиваться, что исторія ея совершенна, заключена не только удовлетворительно, но даже виолнѣ блистательно. Такъ думали люди, предрасположенные рѣшать вопросъ о Россіи въ пользу смиренія, уваженія къ преданіямъ старины и т. п. Другіе не хвалили исторіи Карамзина именно за ея тенденцію, за ложное освѣщеніе фактовъ, проистекшее изъ желанія видѣть что-то зрѣлое и совершенное тамъ, гдѣ все дышало еще неразвитіемъ и неполнотою. Такъ думали люди прогресса. Между обѣими партіями поднялась была война, театромъ которой была критика „Исторіи Государства Россійскаго“. Но война эта отличалась совершеннымъ отсутствіемъ системы: если взглянуть на нее издали, напримѣръ, хоть въ наше время, по прошествіи слишкомъ двадцати лѣтъ, то нельзя не замѣтить, что противники давно ужъ готовы были вступить въ состязаніе. Поэтому, поспоривъ объ „Исторіи Государства Россійскаго“ и примѣшавъ даже въ этотъ споръ много такого, что собственно уже нисколько не касалось до оцѣнки достоинствъ и недостатковъ творенія Карамзина, враждующія стороны скоро перешли къ другому вопросу—къ спорамъ о классицизмѣ и романтизмѣ. Эти споры увлекли всѣхъ, и первое слово раздора было совершенно забыто. Какъ бы то ни было, для насъ въ этомъ дѣлѣ важно то, что антагонисты „Исторіи“ Карамзина—они же и защитники романтизма—были по большей части ученики западныхъ доктринеровъ или дуалистовъ. Во главѣ ихъ шелъ Полевой. Они заимствовали отъ своихъ учителей ту шаткость началъ, ту нелогическую тенденцію къ соединенію несоединимыхъ вещей, которая характеризуетъ доктринерскую школу вообще. Безсильно то отрицаніе, которое не основано на твердыхъ, положительныхъ убѣжденіяхъ. Поэтому наша романтическая критика многое поколебала, но ничего не разрушила до конца: все рѣшалось ею въ половину, во всякомъ спорѣ она выигрывала кость въ свою пользу съ тѣмъ, чтобы что-нибудь уступить. Изъ всего этого въ идеяхъ публики, слѣдившей за ходомъ странной борьбы, образовался хаосъ самый неорганическій. Дуализмъ мутилъ умы и каррикатурилъ истину; всѣ вопросы были рѣшены по рецепту, о которомъ говорено выше, то-есть, ни одинъ вопросъ не былъ рѣшенъ ни *за*, ни *противъ*. Обольщенные логикой Кузена и подобныхъ ему мыслителей, наши доктринеры покоились уже въ самодовольствіи, какъ вдругъ, въ одно прекрасное утро, явилось предъ ними новое поколѣніе, вооруженное тою самою логикой, которою они такъ бойко и весело забавлялись столько лѣтъ!

Нѣтъ ошибки грубѣе двусмысленности, и нѣтъ положенія невыносимѣе положенія того, кто уличенъ въ этомъ нарушеніи здраваго смысла! Поэтому едва ли можно представить себѣ что-нибудь безпокойнѣе и хитросплетеннѣе защиты дуалиста, которому доказали, что онъ разомъ говоритъ и *да*, и *нѣтъ*, что всякій предметъ, по его ученію, выходитъ разомъ и бѣлъ, и черенъ. Что въ такомъ положеніи остается дѣлать? Прямо защищаться нельзя, рѣшительно нельзя! Хорошо было бы сознаться въ своемъ заблужденіи, утѣшая себя тѣмъ, что какъ ни нелѣпа всякая дуалистическая мысль, однакожъ нѣтъ ничего легче, какъ сдѣлаться ея поклонникомъ: съ перваго взгляда все представляется человѣку двойственнымъ, и надо сдѣлать большую привычку къ строгому, математическому выводу послѣдствій изъ аксіомы и къ приведенію всякаго положенія, требующаго доказательства, къ аксіомѣ, изъ которой оно вытекаетъ, для того, чтобы въ данныхъ случаяхъ не впасть въ двойственность сужденія, которую вообще признаешь за нелѣпость... Но требовать отъ человѣка сознанія въ его промахѣ, значитъ требовать, чтобы онъ нанесъ обиду своему самолюбію. Да и зачѣмъ рѣшаться на такой геройскій поступокъ, когда еще есть другія средства, напримѣръ, тѣ, которыя обыкновенно и съ большою пользою употребляются женщинами, когда одна изъ нихъ уличитъ другую въ чемъ-нибудь такомъ, противъ чего никакъ нельзя защититься: уличенная тотчасъ или противопоставляетъ ей ея собственные промахи, или взводитъ на нее какую-нибудь небылицу. Конечно, ни то, ни другое несколько не уменьшаетъ собственныхъ грѣховъ уличенной; но расчетъ въ томъ, что первая обвинительница сама уже поставляется въ необходимость защищаться и должна оставить, по крайней мѣрѣ, на время свою прежнюю роль.

Въ послѣдніе годы дуализмъ явился въ новомъ видѣ—въ видѣ славянофильства. Корень этой доктрины упирается въ самую глубину романтизма и дуализма, въ ученіе, пущенное въ ходъ Фридрихомъ Шлегелемъ. Мы забыли сказать, что романтическое направленіе отвлекло наше общество и нашихъ писателей отъ серьезныхъ вопросовъ дѣйствительности. Все ударилося въ такъ-называемую изящную литературу; всѣ принялись или писать, или читать романтическія элегіи, поэмы, романы, драмы: некому было думать ни о славянизмѣ, ни о европеизмѣ въ Россіи. Затѣмъ явилась „Библіотека для чтенія“, и тогда, по собственному ея сознанію, начался въ русской литературѣ такой смѣхъ и такое веселье, что серьезные вопросы сдѣлались, наконецъ, совершенно неумѣстными. „Библіотека для чтенія“ увлекла публику своимъ отчаяннымъ смѣхомъ. Впечатленіе ея было такъ сильно, а страсть къ остротѣ такъ заразительна, что самыя серьезныя слова стали казаться шутками русскимъ читателямъ. Даже Гоголь довольно долго считался потѣшнымъ сочинителемъ, чуть не соперникомъ барона Брамбеуса. Но

Мгновенной жатвой поколѣнья  
Восходятъ, врѣютъ и падаютъ,—

и явилось на Руси то поколѣніе, которое такъ бранятъ разные журналы и газеты за то, что оно читаетъ „Отечественныя Записки“, за то, что оно не терпитъ дуализма, котораго, и они не терпятъ, за то, что они стремятся къ рѣшенію разныхъ серьезныхъ вопросовъ съ тѣмъ, чтобы рѣшить ихъ, какъ говорится, на чистоту или совсѣмъ отъ нихъ стотупить, что дѣлаетъ и нашъ журналъ, за то, наконецъ, что оно безпристрастно въ рѣшеніи вопросовъ собственно о Россіи, чѣмъ предшествовавшія ему поколѣнія, въ чемъ одинаково виноваты и „Отечественныя Записки“...

Чтущей публикѣ извѣстно, что, по нашему мнѣнію, единственный для Россіи путь къ развитію—усвоеніе европейской цивилизаціи. Это мнѣніе нашло себѣ противниковъ въ славянофилахъ *разныхъ степеней*... Не должно думать, чтобы славянофильство составляло одну партію: оно имѣетъ свои подраздѣленія. Намъ коротко извѣстны три рода славянофиловъ. Одни вѣруютъ въ необходимость всего общеславянскаго и, между прочимъ, въ необходимость какой-то общеславянской цивилизаціи. Эти славянофилы являются ужасными сентетиками, обобщителями въ своемъ патріотизмѣ: они желали бы видѣть *все славянское племя* соединеннымъ въ одно неразрывное цѣлое единствомъ *всѣхъ народныхъ узъ*. Они вѣруютъ въ возможность и необходимость славянскаго языка, славянскаго искусства, славянской науки, славянской общественности, однимъ словомъ—*славянской цивилизаціи*. Претензія другихъ славянофиловъ тѣснаѣ: они хлопочутъ собственно о Россіи и требуютъ, чтобы она возвратилась къ тому состоянію, къ той степени развитія, на которой находилась до реформы Петра Великаго, то-есть до сношеній съ Европой. Въстѣ съ тѣмъ, они не прочь и отъ того, чтобы она знакомилась съ цивилизаціей остальныхъ славянскихъ племенъ, потому что они намъ *родня*. Наконецъ, отъ времени до времени появляется и третій, особенный родъ славянофильства. Появляются люди, которые толкуютъ о необходимости соединенія двухъ крайностей, какъ называютъ они европеизмъ „Отечественныхъ Записокъ“ и славянизмъ „Москвитинна“. Они говорятъ такъ: Россія должна принимать цивилизацію отъ запада, но соединять ее съ *своею собственною*. Замѣчательно, что всѣ эти три категоріи въ логическомъ отношеніи суть не что иное, какъ различныя проявленія дуализма. Всѣ славянофилы хлопочутъ о цивилизаціи, и всѣ они мутятъ идею этой цивилизаціи посторонними идеями въ болѣе или менѣе обширномъ размѣрѣ. А вѣдь это-то и есть дуализмъ, то-есть, соединеніе не соединяемыхъ идей. Что такое выставляемыя *особенности* народовъ, какъ не противодѣйствіе къ достиженію *всѣми народами* одной идеальной степени развитія? Если представить себѣ такой народъ, который подвергся вліянію *всѣхъ условій*, образовавшихъ особенности *всѣхъ извѣстныхъ намъ націй*, это будетъ народъ идеальный, народъ цивилизованный по идеалу развитія, точно то же, что индивидуумъ, въ которомъ уравнированы *всѣ темпераменты*. Особенности русскаго, французскаго, нѣмецкаго, англійскаго, италі-

анца, испанца, и проч., все это такія силы, которыя удаляютъ каждаго изъ нихъ отъ идеала человѣка, слѣдовательно, и отъ идеальной цивилизаціи. Напротивъ, соединить всѣ эти особенности въ одномъ лицѣ значитъ уравновѣсить ихъ всѣ и приблизить это лицо къ помянутому идеалу. Конечно, народъ безъ особенностей—явленіе столько же невозможное, какъ человѣкъ, описываемый въ антропологіи. Однакожъ, согласитесь, что дѣйствительный человѣкъ тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ ближе къ человѣку воображаемому, идеальному, безтемпераментному. Словомъ, есть идеалъ человѣка и идеалъ цивилизаціи, и чѣмъ ближе данный человѣкъ и данная цивилизація подходятъ къ этому идеалу, тѣмъ они совершеннѣе. Наоборотъ, чѣмъ болѣе человѣкъ и быть его заключаютъ въ себѣ особенностей, то-есть отступленій отъ разумнаго типа, тѣмъ ниже человѣкъ, тѣмъ неразумнѣе и быть его. Иными словами, истинная цивилизація всего на все одна, какъ одна на свѣтѣ истина, одно добро; слѣдовательно, чѣмъ меньше особенностей къ цивилизаціи народа, тѣмъ онъ цивилизованнѣе, если только не считать особенностью то, что въ немъ могутъ быть развиты такія стороны, которыя у другихъ народовъ остаются въ неразвитіи. Этихъ простыхъ соображеній достаточно для уразумѣнія, что цивилизація и особенность (то-есть, отступленіе отъ идеала)—два понятія діаметрально противоположныя, взаимно исключающія другъ друга. Напрасно вздумалъ бы кто нибудь возражать, что англичане, французы, нѣмцы—все народы цивилизованные, а между тѣмъ каждый изъ нихъ отличается своими особенностями. Мы скажемъ съ своей стороны, что они могутъ назваться цивилизованными, во-первыхъ, по сравненію съ первоначальнымъ своимъ неразвитіемъ, во-вторыхъ, по сравненію съ другими націями; а все-таки они будутъ еще цивилизованнѣе, когда будутъ болѣе походить другъ на друга, когда большинство французовъ отъ эфемернаго энтузіазма перейдетъ къ истинной, глубокой страстности, когда нѣмцы утратятъ способность удовлетворяться системою жизни вмѣсто самой жизни, когда англичане разстанутся съ своимъ глубоко-германскимъ феодализмомъ въ понятіяхъ, въ чувствахъ и въ жизни. Неужели это не правда? Нѣтъ, это такая правда, что и славянофилы, щеголяющіе эксцентричностью своей логики, признаютъ ее за правду, по крайней мѣрѣ, всякій разъ, когда заведутъ рѣчь о германскомъ, а не о славянскомъ племени. Да, наконецъ, и самое ихъ пристрастіе ко всему славянскому, что оно обнаруживаетъ, когда они принимаются противопоставлять его всему германскому? Не болѣе, какъ убѣжденіе въ большей близости его къ человѣческому совершенству, къ идеалу цивилизаціи, то-есть, къ отсутствію особенностей. Но они сами не сознаютъ своихъ тайныхъ убѣжденій, не слушаютъ тайнаго голоса своей собственной логики, того здраваго смысла, отъ котораго человѣкъ, къ счастью, никогда не можетъ вполне освободиться!.. Итакъ, повторяемъ, не есть ли это верхъ нелогическаго дуализма—претендовать на соединеніе цивилизаціи съ такъ-называемыми особенностями народовъ и хлопотать въ пользу первой, усиливая послѣднія?

Да, дуализмъ въ наше время болѣе всего выражается у насъ въ славянофильствѣ, какого бы рода оно ни было и въ какую бы сторону оно ни обращалось. Славянофильство есть одна изъ формъ того влеченія умовъ, которое господствовало во всей Европѣ въ первое тридцатилѣтіе нашего вѣка, и на которое возстаетъ наша современность, то-есть пробуждающійся духъ математической строгости сужденій. Чтобы не отступить отъ идеи нашей статьи, скажемъ здѣсь нѣсколько объ этой аналогіи нашего развитія съ развитіемъ идей въ Европѣ въ примѣненіи къ исторіи.

Мы уже говорили, что дуалисты девятнадцатаго вѣка построили свою политическую доктрину и даже перестроили свой общественный бытъ на основаніи убѣжденія въ возможности соединенія историческаго съ разумнымъ, прожитаго и выжитаго съ тѣмъ, что только что познано. Не такое ли же убѣжденіе руководитъ и ту славянофильскую партію, которая толкуетъ о необходимости возстановить въ Россіи до-петровскія формы жизни, *не отказывая ей въ благахъ новейшей цивилизаціи?* Замѣтимъ кстати, что настоящая доктрина этого рода, развившаяся исторически, прогрессивно, хотя, конечно, и болѣзненно, необходимо заключаетъ въ себѣ оговорку, напечатанную здѣсь курсивомъ. Не должно судить о ней по идеямъ и требованіямъ всѣхъ тѣхъ лицъ, которые считаютъ себя принадлежащими къ этому разряду славянофильства; не должно никогда терять изъ виду, что такой славянизмъ есть произведеніе науки, произведеніе мысли. Въ этой чести мы ему никогда не откажемъ; но не можемъ и не сознаться, что людямъ ученымъ еще менѣе простиительно дѣлать несбыточное убѣжденіе, чѣмъ натурамъ непосредственнымъ, непричастнымъ знанію. Встрѣчая въ прозѣ и стихахъ статьи, въ которыхъ наивно и напрямикъ добрые люди жалуютъ о благахъ быта до-петровской Руси, не принимайте ихъ, читатели, за выраженіе настоящей славянофильской доктрины: ихъ пишутъ или точно такіе же люди, какъ тѣ, которые негодовали еще на Петра за то, что онъ сталъ учить насъ грамотѣ и посылать въ ассамблеи, или такіе этузіасты, которые необходимо встрѣчаются во всякомъ кружкѣ и напоминаютъ собою крикливаго поручика, описаннаго Гоголемъ въ „Мертвыхъ Душахъ“: и тѣ, и другіе подлежатъ не критикѣ, а поученію. Мы, съ своей стороны, никогда не находили возможности разбирать ихъ сочиненія и только отъ времени до времени докладывали о нихъ публикѣ, какъ о замѣчательныхъ и характеристическихъ аномаліяхъ въ ходѣ нашей образованности. Что же касается до настоящихъ славянофиловъ этого рода, до людей ученыхъ, претендующихъ на открытіе новаго пути къ цивилизаціи посредствомъ возстановленія, поддержанія и усиленія особенностей народныхъ, то, разумѣется, они не могутъ не сочувствовать тому и другому классу, во-первыхъ, по тождеству окончательныхъ результатовъ стремленія всѣхъ трехъ категорій славянофильства, и во-вторыхъ, по общему всѣмъ имъ негодованію на европеизмъ и на „Отечественныя Записки“.

Возвращаясь къ своему предмету, спрашиваемъ: чѣмъ отличается настоящая доктрина третьяго класса славянофиловъ отъ того ученія европейскихъ дуалистовъ, по которому историческое можетъ и должно быть соединено съ разумнымъ? Нѣтъ, потому что это—одна и та же доктрина. Тождество тѣмъ яснѣе, что и несбыточность этой доктрины обнаруживается тѣмъ же самымъ путемъ, какимъ обнаружилась она на западѣ, именно—путемъ анализа. Разница только въ томъ, что на западѣ анализъ пробудился въ одно время съ дуализмомъ; даже многіе изъ самыхъ доктринеровъ часто являлись искусными аналитиками; только не доставало въ нихъ умственной силы, чтобы противостоять искушенію творчества въ такое время, когда еще не изъ чего было создать, и пребыть въ роли созерцательной, когда не было никакихъ средствъ дѣйствовать разумно. Нашлись, однакожъ, и такіе умы, которые тѣмъ и содѣйствовали прогрессу человѣчества, что ограничивались простымъ анализомъ во время господства доктринеровъ въ наукѣ и романтиковъ въ искусствѣ<sup>1)</sup>. Мало по малу анализъ вытѣснилъ и доктринерство, и романтизмъ и завладѣлъ наукой и искусствомъ, продолжая до сихъ поръ сокрушать остатки того и другого. У насъ первый сильный ударъ романтизму нанесенъ былъ Пушкинымъ, который своими послѣдними произведеніями выкупилъ грѣхъ своего прежняго направленія. Но этотъ спасительный ударъ почувствовали весьма немногіе: большинство видѣло въ „Капитанской Дочкѣ“ и другихъ предсмертныхъ созданіяхъ гениальнаго поэта упадокъ его творческой силы. Гоголь былъ также не понятъ, а между тѣмъ онъ уже представлялъ собою все могущество анализа, готовившагося проникнуть въ наше общество и нашу литературу. Промежутокъ между „Ревизоромъ“ и „Мертвыми Душами“ занять былъ Лермонтовымъ. Чѣмъ Байронъ былъ для Европы, тѣмъ Лермонтовъ былъ для Россіи. Произведенія обоихъ этихъ поэтовъ, несмотря на разность гениальности, выражаютъ собою анализъ и отрицаніе людей, дошедшихъ до того и другого путемъ борьбы, страданія и скорбныхъ утратъ. Эти люди тяготились собственными силами и проклинали ихъ отъ всего сердца, какъ что-то такое, чему они пожертвовали многимъ, что пришло къ нимъ не прошенное, что завладѣло ими деспотически и какъ будто бы извнѣ, но завладѣло сильно, неотразимо. Байронъ проклиналъ свой вѣкъ именно за то, что онъ при-

<sup>1)</sup> Нужно ли доказывать, что романтизмъ есть такой же дуализмъ въ искусствѣ, какъ доктринерство въ наукѣ? Вѣдь это не что иное, какъ переходъ отъ классицизма къ натуральности, къ современной филологической школѣ. Сущность классицизма въ томъ, что онъ не допускалъ изображенія жизни и человѣка такъ, какъ они суть, требуя, чтобъ изящное изображеніе было *пріятно* (aimable). Романтизмъ, съ своей стороны, точно также не допускалъ натуральности, требуя если не того, чтобъ изящное изображеніе было *пріятно*, то того, чтобъ оно было *необыкновенно* (riche). Следовательно, романтизмъ вовсе не заключаетъ въ себѣ радикальнаго отрицанія классицизма, а только видоизмѣняетъ его требованія оставляя въ неприкосновенности его сущность.



велъ его къ отрицанію. И Лермонтовъ въ „Думѣ“ осыпаетъ свою эпоху энергическими упреками, въ которыхъ нѣтъ ничего абсолютно-справедливаго, но которымъ нельзя не сочувствовать, если разгадать взглядъ и чувства самого поэта. Байронъ любилъ по-временамъ вызывать тѣнь прошедшаго и оплакивалъ его непосредственно вслѣдъ за отрицаніемъ его же. То же самое находимъ безпрестанно и у Лермонтова: не даромъ, напримѣръ, вокругъ Печорина сгруппировалъ онъ лица Максима Максимыча, Вѣлы и княжны Мери; они представляютъ собою то, что прожито и Печоринымъ, и самимъ поэтомъ, что отринуто ими, но о чемъ они сожалѣли втайнѣ. Наконецъ, спрашиваемъ: что выражаетъ собою піеса „Журналистъ, читатель и писатель“, если не то бремя, которымъ тяготился Лермонтовъ и всѣ люди его кратковременной эпохи, при переходѣ отъ ложныхъ вѣрованій къ отрицанію?

Вываютъ тягостныя ночи:  
 Безъ сна, горятъ и плачутъ очи,  
 На сердцѣ—жадная тоска;  
 Дрожа, холодная рука  
 Подушку жаркую объемлетъ;  
 Невольный страхъ власы подымлетъ.  
 Волѣненный, безумный крикъ  
 Изъ груди рвется, и языкъ  
 Лепечетъ громко, безъ сознанья,  
 Давно-забытыя названья,  
 Давно-забытыя черты  
 Въ сіяньи прежней красоты  
 Рисуетъ память своевольно:  
 Въ очахъ любовь, въ устахъ обманъ—  
 И вѣришь снова имъ невольно,  
 И какъ-то весело и больно  
 Тревожитъ явы старыхъ ранъ...  
 Тогда пишу. Диктуетъ совѣсть,  
 Перомъ сердитый водить умъ:  
 То соблазнительная повѣсть  
 Сокрытыхъ дѣлъ и тайныхъ думъ,  
 Картины хладныя разврата,  
 Преданья глупыхъ юныхъ дней,  
 Давно безъ пользы и возврата  
 Погибшихъ въ омутъ страстей,  
 Средь битвъ незримыхъ, но упорныхъ,  
 Среди обманщицъ и невѣждъ,  
 Среди сомнѣній ложно-черныхъ  
 И ложно-радужныхъ надеждъ.  
 Судья безвѣстный и случайный,  
 Не дорожа чужою тайной,  
 Приличьемъ скрашенный порокъ  
 Я смѣло предаю позору;  
 Неумолимъ я и жестокъ...

Но, право, этихъ горькихъ строкъ  
 Неприготовленному взору  
 Я не рѣшуся показать...  
 Скажите жъ мнѣ, о чемъ писать?  
 Къ чему толпы неблагодарной  
 Мнѣ злость и ненависть навлечь,  
 Чтобъ бранью назвали коварной  
 Мою пророческую рѣчь?  
 Чтобъ тайный ядъ страницы знойной  
 Омутилъ ребенка сонъ покойный  
 И сердце слабое увлечь  
 Въ свой необузданный потокъ?

Это стихотвореніе написано назадъ тому всего только шесть лѣтъ; но явился оно вчера, оно казалось бы уже шагомъ назадъ въ ходъ нашего развитія. Почему? Потому что въ 1842 году вышли „Мертвыя Души“, торжество русскаго анализа, анализа мощнаго, безтрепетнаго и торжественно-спокойнаго. Трудно представить себѣ человѣка, который такъ владѣлъ бы своими силами и такъ искусно, такъ *хозяйственно* пользовался бы ими, какъ Гоголь. Нѣтъ въ немъ я тѣни того колебанія, которое такъ замѣтно въ Лермонтовѣ: для автора „Героя нашего времени“ анализъ и отрицаніе составляли въ одно время и силу и пытку; для автора „Мертвыхъ Душъ“ составляютъ они еще большую силу и вмѣстѣ съ гѣмъ какъ будто бы единственный отрадный исходъ жизненности. Этимъ объясняется, какое впечатлѣніе должны были произвести „Мертвыя Души“ на то поколѣніе, къ которому принадлежалъ Лермонтовъ, и на то, которое теперь только выступаетъ на поприще въ лицѣ автора „Бѣдныхъ людей“ и „Двойника“. Первое устыдилось своего колебанія, своихъ нелогическихъ, мелочныхъ и женственныхъ страданій и скоро отреклось отъ нихъ для мужественныхъ думъ и сповѣйныхъ трудовъ; послѣднее было такъ счастливо, что почти не имѣло ни времени, ни поводовъ, ни средствъ къ колебанію; родился авторъ „Двойника“ лѣтъ восемь назадъ, могъ ли бы онъ быть такимъ психологомъ?..

Но мы привыкли замѣчать вліяніе изящныхъ произведеній только на развитіе самого искусства, какъ будто бы только въ томъ и состоитъ ихъ исторія, что поэтъ такого-то времени имѣетъ вліяніе на того, который за нимъ слѣдуетъ, а этотъ—на позднѣйшаго и т. д. Грубое заблужденіе, отъ котораго пора отказаться! Всякій художникъ, пользующійся успѣхомъ у своихъ современниковъ, или выражаетъ собою свою эпоху и, слѣдовательно, находится самъ подъ вліяніемъ ея характеристической особенности, или подвигаетъ ее впередъ внесеніемъ въ общество или въ человѣчество новыхъ идей и ощущеній, которымъ не возможно не выразиться во всѣхъ проявленіяхъ общественной жизни, если только они проникли въ массы какимъ бы то ни было путемъ, хоть бы путемъ эстетическаго чувства. Поэтому, между прочимъ, на искусство дѣйствуетъ наука, а

искусство, въ свою очередь, дѣйствуетъ на науку. Такъ, напримѣръ, возвращаясь въ очерку хода историческихъ идей въ Россіи, мы не можемъ не замѣтить, что наша изящная литература имѣла на нихъ и должна имѣть впредь огромное вліяніе. Мы говорили уже объ образованіи у насъ славянофильства и обѣщали доказать, что, нося на себѣ всѣ характеристическіе признаки дуализма, гонимаго духомъ нашего времени, оно должно пасть отъ тѣхъ же причинъ, которыя сокрушили дуализмъ на западѣ, то-есть отъ спокойнаго анализа, обращеннаго на настоящее и прошедшее. Въ самомъ дѣлѣ, увѣривъ себя въ необходимости сочетать успѣхи современной цивилизаціи съ возстановленіемъ древняго быта, наши славянофилы не могли не взглянуть на русскую исторію сквозь такое стекло, которое увеличиваетъ хорошую сторону предметовъ и уменьшаетъ или вовсе скрываетъ дурную. Послушать ихъ, такъ въ до-петровской Россіи цвѣла такая дивная цивилизація, что нѣтъ ей подобія ни въ прошедшемъ, ни въ настоящемъ; мало того: по ихъ рассказамъ, было бы смѣшно и въ будущемъ ожидать чего-нибудь совершеннѣйшаго. Начиная разсуждать объ этомъ предметѣ, они, конечно, предпосылаютъ вамъ такую оговорку, что они-де совсѣмъ не отвергаютъ важности современнаго развитія наукъ, искусствъ, промысловъ и обществѣнности; а какъ приступятъ къ своему завѣтному дѣлу, такъ и выйдетъ, что, по ихъ мнѣнію, всѣ эти успѣхи—сущій вздоръ и чуть-чуть не смертный грѣхъ, между тѣмъ какъ въ старину все было прекрасно, умно и человѣчно. Но въ то же время, какъ зарождалось у насъ славянофильство, зарождался и противоположный взглядъ на прошедшее и настоящее Россіи. Это былъ взглядъ спокойнаго, безпристрастнаго анализа, взглядъ, который сначала произвелъ такой же ропотъ въ наукѣ, какъ сочиненія Гоголя въ искусствѣ, но который мало по малу дѣлается господствующимъ. Въ послѣднее время представителями его являются профессора Московскаго университета, гг. Кавелинъ и Соловьевъ, которымъ, можетъ быть, суждено сдѣлать для русской исторіи то же, что сдѣлалъ Гоголь для изящной литературы. А если несомнѣнно, что „Мертвыя Души“ сообщили могущественное движеніе нашему анализу и положили конецъ нашему женственному колебанію, то несомнѣнно и то, что эта поэма, между прочимъ, должна была имѣть рѣшительное вліяніе на идеи наши вообще, а слѣдовательно, и на историческое изученіе Россіи.

Впрочемъ, это мимоходомъ; дѣло въ томъ, что изъ всего сказаннаго и разсказаннаго слѣдуетъ, что если въ послѣдніе три или четыре года не вышла въ свѣтъ исторія внутренней жизни русскаго народа, написанная человѣкомъ съ самыми современными идеями, то намъ остается ожидать ее въ будущемъ. Почему? Какъ такъ? Да потому, что послѣ выхода въ свѣтъ „Исторіи Государства Россійскаго“ у насъ почти до настоящей минуты господствовалъ дуализмъ въ разныхъ фазахъ. Если только вы согласитесь съ тѣмъ, что здравый смыслъ и безпристрастіе не уживаются съ идеями тѣхъ ученыхъ и знаменитыхъ людей,

не вѣрящихъ въ простой законъ логики, по которому двѣ противоположныя идеи исключаютъ одна другую, то должны согласиться и съ тѣмъ, что изъ вѣдръ дуализма не могла выйти безпристрастная исторія. А такъ какъ исторія русской литературы есть существенная часть исторіи русской цивилизаціи, то и настоящей исторіи русской литературы нельзя ожидать отъ трудолюбія и учености нашихъ знаменитыхъ доктринеровъ.

До сихъ поръ мы имѣли всего на всего три исторіи русской литературы — гг. Греча, Плаксіна и Шевырева, изъ которыхъ послѣдняя не кончена. Слѣдовательно, у насъ нѣтъ исторіи русской литературы... Пропускаемъ то, что должно было бы связать наше положеніе съ выводомъ; читатели не нуждаются въ доказательствахъ нашего мнѣнія о трудахъ гг. Греча, Плаксіна и Шевырева. Въ разные времена мы имѣли случай говорить довольно подробно объ этомъ предметѣ и считаемъ его покаместъ исчерпаннымъ. Остается поговорить о „Краткомъ начертаніи исторіи русской литературы“, составленномъ г. Аскоченскимъ и изданномъ въ Кіевѣ, мѣсяца за два передъ симъ.

Вотъ какъ начинается г. Аскоченскій: „Исторія литературы показываетъ *развитіе внутренней жизни народа*, ея направленіе и ходъ такъ, какъ они выразились въ произведеніяхъ словесности“ (стр. 3 и 4). Нельзя не согласиться, что такое опредѣленіе весьма удовлетворительно. Но вѣдь такое же точно опредѣленіе стоитъ и во главѣ сочиненія г. Плаксіна; какъ тутъ дѣлать выгодныя заключенія о книгѣ по удовлетворительному изложенію одной ея темы?... По крайней мѣрѣ, мы очень благодарны г. Плаксіну за урокъ. Увы! Онъ былъ намъ очень полезенъ для перенесенія разочарованія въ достоинствахъ „Краткаго начертанія исторіи русской литературы“ г. Аскоченскаго. Но этого мало: читая „Краткое начертаніе“, мы перечувствовали и передумали все то же, что и при чтеніи „Руководства“ г. Плаксіна; часто намъ казалось даже, что мы читаемъ самое „Руководство.“ Сходство неимоверное! Та же способность удовлетворяться опредѣленіемъ излагаемаго предмета безъ всякой заботы о томъ, что бы оправдать его изложеніемъ, та же неохота къ изученію фактовъ, та же смѣлость въ выдачѣ за несомнѣнное того, что еще не изслѣдовано критикой, то же абсолютное отсутствіе искусства изображать историческую постепенность событій. Вся оригинальность заключается въ недостаткахъ языка. Нѣсколько примѣровъ могутъ совершенно убѣдить читателей въ справедливости нашихъ словъ.

„Исторія русской литературы правильнѣе (чего правильнѣе — не извѣстно) можетъ быть раздѣлена на четыре періода. *Первый* періодъ — отъ начала письменности русской до основанія Кіевской академіи, то-есть отъ водворенія христіанства въ Россіи до 1589 года. *Второй* — отъ основанія Кіевской академіи до Ломоносова (отъ 1589 до 1740 г.). *Третій* — отъ Ломоносова до Карамзина (отъ 1740 до конца сего столѣтія). *Четвертый* — отъ Карамзина до нашихъ временъ“ (стр. 4 и 5).

Въ разборѣ „Опыта“ г. Пласина мы уже имѣли случай говорить о странности такого раздѣленія исторіи нашей литературы. Не будемъ повторять сказаннаго, а лучше воспользуемся случаемъ предложить здѣсь нѣсколько словъ объ общемъ всѣмъ *составителямъ* исторіи русской литературы заблужденіи относительно ихъ взгляда на ея развитіе въ первые вѣка существованія Русскаго государства.

Непостижимо, отчего они, господа составители, опредѣляющіе литературу выраженіемъ внутренней жизни народа, они, рѣшающіеся упрекать нашихъ писателей отъ Калтемира до Карамзина включительно въ подражательности писателямъ западнымъ, не хотятъ понять, что тѣ произведенія литературы, которыхъ исчисленіемъ и разборомъ наполняютъ они свой отчетъ о такъ-называемомъ первомъ періодѣ русской литературы, еще менѣе выражаютъ собою развитіе внутренней жизни нашего *народа*. Мы разумѣемъ здѣсь духовныхъ писателей и историковъ-лѣтописцевъ.

Извѣстно всѣмъ и каждому, что Россія приняла догматы христіанской вѣры, образы христіанскаго богослуженія и даже самыхъ священнослужителей отъ Византіи и, принявъ всѣ эти залогі спасенія, хранила ихъ въ такой чистотѣ и неизмѣнности, что только одна Русская церковь въполнѣ и оправдала своею исторіей названіе православной. Въ этомъ отношеніи преимущество ея передъ Западною церковью несомнѣнно: на западѣ уже въ самомъ принятіи христіанской вѣры различными народами заключался источникъ многихъ волненій. Тамъ ученіе Христа, въ эпоху переселенія народовъ, уже представляло собою карти у распаденія на ереси, существенно различныя одна отъ другой. Большая часть германскихъ народовъ приняла ученіе Аріево, между тѣмъ какъ народы, сохранившіе древнюю греко-римскую цивилизацію и приготовленные къ принятію таинственныхъ догматовъ александрійскою философіей, послѣдовали ученію первыхъ апостоловъ. Самые служители вѣры безпрестанно находились въ борьбѣ между собою за несходство въ разумѣніи первыхъ, основныхъ догматовъ. Мало того: на западѣ встрѣчаемъ мы тотъ религіозный фанатизмъ въ массахъ народа, который заставляетъ его принимать самое живое и дѣятельное участіе въ вопросахъ, подлежащихъ разсмотрѣнію людей избранныхъ и посвященныхъ. Такимъ образомъ, тамъ вѣра утрачивала свой священный характеръ, съ одной стороны, тѣмъ, что представлялась въ самомъ началѣ чѣмъ-то подлежащимъ разсмотрѣнію ума, съ другой—своимъ содѣйствіемъ къ возбужденію земныхъ страстей. Россія представляетъ собою зрѣлище совершенно противоположное. Ничто не смущало спокойствія и внутренняго единства нашей церкви. Христіанская вѣра принята была русскимъ народомъ и распространена, вмѣстѣ съ его собственнымъ распространеніемъ, единообразно. Никакіе существенно-важные расколы не раздѣляли ее на части и не вводили грѣшныхъ сомнѣній ума въ святилище безусловнаго авторитета. Богословскіе вопросы рѣшались исключительно духовными

лицами, не проникая въ массы народа; святыня оставалась святыней, не нисходя до дѣйствія на земныя страсти. Главныхъ причинъ такой противоположности съ тѣмъ, что происходило на западѣ,—двѣ: во-первыхъ, принятіе христіанской вѣры отъ Византіи, а не отъ Рима, и во-вторыхъ, отсутствіе религіознаго фанатизма въ самомъ народѣ русскомъ. Извѣстно, что богословскими спорами въ Византійской имперіи замѣнились споры философовъ, и что они отличались такою же отвлеченностію, такимъ же діалектическимъ характеромъ, какъ и послѣдніе. Источникомъ ихъ была давно распространившаяся въ Греціи склонность къ созерцанію, усиленная вліяніемъ востока: поэтому они и не проникали въ жизнь общественную, не сталкивались съ земными побужденіями. Этотъ истинно святой характеръ вѣры былъ переданъ и Русской церкви тѣмъ легче, что первыя духовныя лица были у насъ большею частію изъ грековъ. Да притомъ, Византія навсегда удержала за собою роль нашей наставницы въ дѣлахъ вѣры: личное вліяніе греческихъ богословскихъ писателей содѣлало изъ насъ вѣрныхъ сыновъ и послушниковъ Византійской церкви. Напротивъ того, новый Римъ наслѣдовалъ отъ древняго Рима духъ практики и внѣшняго распространенія, вооружился вѣрой, какъ властью и не будучи въ состояніи дѣйствовать мечемъ, не могъ не стремиться къ дѣйствию и завоеванію путемъ духовной силы. Въ то время, какъ Византія развивала богословіе догматическое, умозрительное, Римъ развивалъ каноническое право; въ то время, какъ Византія заботилась объ изысканіи и указаніи паствѣ пути въ царство небесное, Римъ помышлялъ о духовномъ владычествѣ надъ земными царствами. Чѣмъ болѣе Греческая церковь удалялась отъ соприкосновенія съ землею, тѣмъ болѣе церковь Римская сталкивалась въ своихъ стремленіяхъ съ интересами чисто земными и, наконецъ, она слилась съ ними такъ тѣсно, что вошла въ разрядъ одной изъ обыкновенныхъ стихій общественности.

Что же касается до религіознаго фанатизма, то отсутствіе его въ русскомъ народѣ легко объясняется и самымъ его темпераментомъ, и помянутымъ благоговѣрнымъ вліяніемъ отвлеченнаго характера греческаго богословія. Безпрекословное принятіе христіанской вѣры при Владимірѣ Святомъ есть явленіе столько же естественное въ русскомъ народѣ, сколько неестественны были бы у насъ событія, подобныя Крестовымъ походамъ, борьбѣ Римскихъ первосвященниковъ съ свѣтскими властителями или ужасамъ реформаціи.

Творенія нашихъ духовныхъ писателей совершенно выражаютъ собою характеръ нашего вѣроисповѣданія. Полевой въ своей „Исторіи русскаго народа“ весьма справедливо замѣтилъ, что они скорѣе могутъ быть разсматриваемы, какъ продолженіе богословской литературы византійцевъ, чѣмъ какъ произведенія литературы русской. Мы полагаемъ, что съ этою мыслью нельзя не согласиться, если смотрѣть на литературу, какъ на выраженіе внутренней жизни народа. Намъ кажется даже, что благочестіе, украшавшее души нашихъ предковъ, главнымъ



образомъ, въ томъ и заключалось, что религія не была низводима ими въ среду земныхъ явленій и образовала собою особый міръ, убѣжище отъ земныхъ суетъ и страданій. Но по тому-то самому духовная литература наша составляетъ нѣчто совершенно отдѣльное отъ литературы народной и, по самой высотности своего направленія, не можетъ быть разсматриваема, какъ выраженіе жизни народа. Даже языкъ, въ нѣкоторомъ смыслѣ, препятствовалъ ей дѣйствовать на массы... Если вникнуть и въ тѣ сочиненія, которыя писались нашими пастырями по какимъ-нибудь даннымъ случаямъ, напримѣръ, по поводу остатковъ языческихъ обрядовъ или по поводу расколовъ, возникавшихъ въ народѣ, то и о нихъ можно сказать то же самое: по самой безграмотности народа, они читались почти исключительно духовными же лицами, такъ что богословскія идеи вращались только въ ихъ кругу. Вотъ почему нѣтъ у насъ никакихъ произведеній народной фантазіи, основанныхъ на религіозныхъ идеяхъ. Только кое-гдѣ упоминается въ сказкахъ объ отшельникахъ; но это служитъ скорѣе къ подтвержденію того, что мы старались объяснить выше. Можно рѣшительно сказать, что у насъ поэтъ съ гениемъ Данте никогда не избралъ бы своимъ предметомъ рая и ада.

Наши историки первыхъ вѣковъ или лѣтописцы также весьма мало выражаютъ своими произведеніями развитіе внутренней жизни русскаго народа. Факты, сохраненные ими, конечно, драгоцѣнны; но если смотрѣть на нихъ, какъ на памятники литературы, то нельзя не согласиться, что они никакъ не могутъ служить указаніемъ хода нашего развитія. Въ этомъ отношеніи имѣетъ важность взглядъ самихъ историковъ на событія, которыя они описывали. Но это былъ взглядъ отшельника, чуждаго мірскихъ суетъ и тревоженій, взглядъ, постоянно неизмѣнный и чуждый народности. Сверхъ того, по безграмотности народа, лѣтописи наши находили такъ же мало читателей, какъ и богословскія сочиненія; поэтому и нельзя отыскать слѣдовъ сочувствія, которое они могли бы возбудить въ обществѣ болѣе образованномъ. Это доказывается почти совершеннымъ отсутствіемъ историческихъ преданій въ нашемъ народѣ. На перечетъ извѣстныхъ событія нашей исторіи, которыхъ память сохранилась въ устахъ народа. Всѣ они такого рода, что могли остаться въ его воспоминаніи безъ помощи письменныхъ памятниковъ...

Словомъ, богословскія и историческія сочиненія почти вовсе не могутъ служить памятниками развитія нашей внутренней жизни въ первые вѣка существованія нашего государства. А между тѣмъ историки русской литературы ими-то и наполняютъ свои „Опыты“, „Руководства“, „Лекціи“ и „Начертанія“; пѣсни же и сказки остаются почти безъ всякаго изслѣдованія, тогда какъ онѣ несравненно болѣе идутъ къ дѣлу: по крайней мѣрѣ, нельзя сомнѣваться въ томъ, что онѣ были достояніемъ народа и возбуждали въ немъ сочувствіе; а какимъ же образомъ стали бы вы изучать ходъ народнаго развитія по памятникамъ слова, если-бы ничто не ручалось за то, что они возбуждали въ свое время симпатію

цѣлаго общества или одного изъ его классовъ? Вы скажете, что произведеніи литературы необходимо выражаютъ собою духъ своего времени: это такъ; но если вамъ неизвѣстенъ эффектъ, который производили они на современниковъ, то они не могутъ служить для васъ доказательствомъ въ вопросѣ о степени развитія народа въ ту эпоху, когда были созданы. Почему вы можете знать, что въ такомъ-то произведеніи литературы выразился именно духъ времени, а не личность автора? Для этого надо имѣть постороннія доказательства, что время, къ которому относится изучаемое произведеніе, отличалось тѣмъ-то и тѣмъ-то. Хорошо, если осталось отъ него много различныхъ памятниковъ, по которымъ можно дѣлать о немъ заключенія. Но этого никакъ нельзя сказать о русской исторіи, и потому, занимаясь исторіей отечественной литературы съ цѣлью изучить ходъ внутренней жизни русскаго народа, мы должны дорожить народными пѣснями и сказками болѣе, чѣмъ всѣми остальными памятниками, именно потому, что самый фактъ существованія въ народѣ пѣсенъ и сказокъ, передаваемыхъ изустно отъ поколѣнія поколѣнію, доказываетъ то, что народъ имъ симпатизировалъ. А предметъ симпатіи необходимо опредѣляетъ характеръ и степень развитія симпатизирующаго.

Слѣдуя за своими образцами то-есть, за „Опытомъ“ г. Греча и за „Руководствомъ“ г. Плаксына, г. Аскоченскій изъ восьми страницъ, посвященныхъ имъ изложенію литературы перваго періода, удѣлилъ полстранички на параграфъ, названный имъ „Первоначальная поэзія русскихъ“. Этотъ параграфъ такъ миниатюренъ самъ по себѣ и сравнительно съ остальными параграфами, что мы считаемъ долгомъ выписать его вполнѣ. Пусть полюбуются читатели, какою книгою дарить насъ кіевскій сочинитель:

„До принятія русскими вѣры христіанской, ихъ *пѣснотворцы* (?) составляли свои поэтическія сказанія въ честь боговъ, воспѣваемыхъ *такимъ образомъ* (какимъ образомъ?) на народныхъ празднествахъ. Съ уничтоженіемъ идолопоклонства исчезли эти пѣсни и замѣнились сказками богатырскими. Колоссальный духъ народа вполнѣ выразился въ такихъ поэтическихъ разсказахъ, каковы, напримѣръ, разказы о временахъ Владиміра-Солнышка, въ сказкахъ объ Ильѣ Муромцѣ, Алешѣ Поповичѣ и Добрынь Никитичѣ. Въ послѣдующія времена народъ обратилъ свое творчество на предметы, ближайшіе къ нему, и, не умѣя дать себѣ отчетливаго объясненія нѣкоторымъ явленіямъ, приписывалъ все это вліянію силъ высшихъ. Отсюда произошли сказки другого рода—о чудовищныхъ, колдунахъ и Кіевскихъ вѣдьмахъ, *гдѣ иногда проглядывала сатана* *противъ господствовавшихъ въ народѣ сословіи* (стр. 20).

Вѣдь ужъ изъ этихъ немногихъ, слишкомъ немногихъ строкъ „Начертанія“ видно, что тема критическаго изслѣдованія русскихъ пѣсенъ и сказокъ исполнена живого интереса. Чѣмъ печатать пустую выписку изъ устарѣлыхъ руководствъ, не лучше ли было бы заняться, наѣпримѣръ, хоть исторіей сатиры, которая игра-

есть такую важную роль въ нашей гражданственности въ послѣднее время, въ которой начатки такъ сильно проглядываютъ въ сказкахъ и пѣсняхъ чисто-русскаго происхожденія?

Впрочемъ, при изложеніи второго періода г. Аскоченскій опять говоритъ о пѣсняхъ, сказкахъ, а вдобавокъ и о пословицахъ русскаго народа, но говоритъ не болѣе, какъ слѣдующее:

„§ 67. *Самобытная народная словесность.* Между тѣмъ какъ ученыя питомцы Кіевской академіи писали книги и слагали свои стихотворенія на языкѣ болѣе или менѣе смѣшанномъ, между тѣмъ какъ образованнѣйшіе изъ свѣтскихъ писателей, не смѣя отрываться отъ слога книжнаго, опутывали, такимъ образомъ, живую мысль узами схоластики,—въ душѣ и въ устахъ народа существовала самобытная, безыскусственная словесность. Ею одушевленіе выразилось въ *пѣсняхъ*, игра фантазіи—въ *сказкахъ*, наглядная наблюдательность и практическая, опытная философія—въ *пословицахъ*.

„§ 68. *Русскія народныя пѣсни.* Русскія пѣсни по содержанію своему чрезвычайно разнообразны. Въ однихъ преимущественно господствуетъ глубокая тоска или тихое, нѣжное чувство, въ другихъ—удальство и беззаветная веселость; но въ тѣхъ и другихъ видно простосердечіе, наивность, оригинальность. Всѣ онѣ большею частію начинаются сравненіями, которыя иногда принимаютъ характеръ отрицательный, но имѣющій ближайшее отношеніе къ главной мысли. Иногда пѣвецъ обращается къ самому себѣ, къ отсутствующимъ лицамъ и даже къ неодушевленнымъ предметамъ. Стихотворный размѣръ русскихъ пѣсенъ не подчиняется строгимъ правиламъ, но по большей части ограничивается удареніемъ рѣчи соотвѣтственно силѣ мысли и чувства; оттого въ иномъ стихѣ бываетъ по два и по три ударенія, а въ другомъ—по одному. Это сообщаетъ русскимъ пѣснямъ особенную музыкальность и разнообразіе, чему много содѣйствуетъ возможность переносить удареніе слова съ одного слога на другой, напримѣръ: дѣвица—дѣвица, молодецъ—молодецъ. Стихи большею частію безъ рифмъ, которыя иногда попадаютъ случайно и какъ бы невольно вырываются у пѣвца въ минуту импровизаціи.

„§ 69. *Русскія сказки.* Сказки, составлявшія первоначально достояніе русско-народной словесности, сохранили и доселѣ свой характеръ. Въ нихъ представляется удивительное сочетаніе чувствительности съ насмѣшливостью и граціозности съ каррикатурою; игра фантазіи очень часто доходитъ до своенравія. Завязка дѣйствія большею частью основывается на какомъ-нибудь странномъ, прихотливомъ желаніи того или другого дѣйствующаго лица, всегда однакожъ достигающаго своихъ цѣлей. Сказки излагаются обыкновенно прозою: но въ нихъ есть присказки и прибаутки, въ которыхъ всегда почти слышится тоническій размѣръ.

„§ 70. *Русскія пословицы*. Въ пословицахъ высказалась наблюдательность русскаго ума яснаго, точнаго, иногда рѣзкаго и проницательнаго и всегда остраго и игриваго. Тутъ выражается или какое-нибудь нравственное замѣчаніе, или правило жизни. Черты, облекающія мысль, обыкновенно берутся изъ простаго быта. Складъ пословицъ всегда имѣетъ размѣренное, рифмическое теченіе, иногда основанное только на созвучіи гласныхъ буквъ въ словахъ начальныхъ только и окончательныхъ“ (стр. 47—49).

Спрашиваемъ: во-первыхъ, показано ли г. Аскоченскимъ отношеніе русскихъ пѣсенъ, сказокъ и пословицъ къ ходу развитія внутренней жизни русскаго народа, и во-вторыхъ, опредѣлилъ ли онъ шагъ (впередъ или назадъ) въ пѣсняхъ и сказкахъ второго періода сравнительно съ пѣснями и сказками перваго? Приведенныя нами выписки показываютъ, что объ этомъ, кажется, и не заботился авторъ „Начертанія“.

Если присовокупить къ сказанному, что и всѣ вообще произведенія древней русской литературы, замѣчательныя и не замѣчательныя, разобраны г. Аскоченскимъ съ такою же полнотою, какъ пѣсни, сказки и пословицы, то на повѣрку выйдетъ, что трудами своими онъ нисколько не содѣйствовалъ къ ея изъясненію. А чтобъ удостовѣрить читателей въ справедливости этого замѣчанія, приведемъ здѣсь еще одну выдержку. Вотъ, напримѣръ, что считаетъ онъ достаточнымъ сказать о словѣ о полку Игоревомъ, называя его „знаменитѣйшимъ изъ древнихъ поэтическихъ твореній“: „Знаменитѣйшее изъ древнихъ поэтическихъ твореній есть Слово или Пѣснь о полку Игоревѣ. Оно сложено въ концѣ XII вѣка какимъ-то безымяннымъ пѣвцомъ, вѣроятно, принадлежавшимъ къ дружинѣ князя Новгородъ-Сѣверскаго (чѣмъ же это доказывается?). Неудачный походъ Игоря служить предметомъ этой поэмы. Пылая славолубіемъ, Игорь хотѣлъ оживить вѣкъ богатырскій и собралъ подъ свои знамена юныхъ удалцовъ-князей съ ихъ дружинами для истребленія половцевъ. Онъ проникаетъ во внутренность земель непріятельскихъ, но увлеченный удачами и храбростью, попадаетъ въ плѣнъ. Языкъ этой поэмы есть тотъ самый, который, оставаясь въ устахъ народа, сохранилъ свою живость, картинность и силу. Онъ отличается отъ книжнаго и словами и формою. Хотя тутъ и нѣтъ правильныхъ стиховъ, но во всемъ словотеченіи сей поэмы слышится размѣръ тоническій. Лучшими мѣстами въ ней могутъ быть почтены тѣ, въ коихъ выражается ратный духъ русскихъ (почему же?); особенно прекрасно въ этомъ отношеніи описаніе Ярѣ-Тура Всеволода и курской его дружины. Живыя картины битвы и смерти поэтичны въ высокой степени; а плачъ Ярославны объ Игорѣ отличается образцово-народною, истинною прелестью“ (какъ это доказательно!) (стр. 20—21). Послѣ этого можете себѣ представить, какъ полно разобраны въ „Начертаніи“ тѣ произведенія литературы, которыя г. Аскоченскій считаетъ не знаменитѣйшими, а только знаменитыми поэтическими твореніями.

Можетъ быть, найдутся снисходительные люди, которые скажутъ, что отъ „Краткаго начертанія“ несправедливо было бы требовать полноты. Но мы, признаемся, не понимаемъ такой снисходительности. По нашимъ понятіямъ, *краткость* есть достоинство, свойство, противоположное *излишеству*. Такую краткость мы уважаемъ во всемъ. Но если разумѣть подъ этимъ словомъ *неполноту*, недостаточность, то какимъ же образомъ можно быть снисходительну къ краткости въ этомъ смыслѣ?

О фактической части „Начертанія“ мы не будемъ распространяться. Въ немъ нѣтъ и тѣни критическаго разбора фактовъ: о самыхъ запутанныхъ вопросахъ авторъ говоритъ, какъ о своихъ десяти пальцахъ. Такъ, напримѣръ, ужъ что можетъ быть темнѣе знаменитаго вопроса о происхожденіи руссовъ, а г. Аскоченскій обходится съ нимъ такъ фамиліарно, какъ будто бы рѣшилъ его на чистоту; онъ знаетъ даже, какимъ языкомъ говорили руссы. На пятой страницѣ своего „Начертанія“ вотъ какъ онъ выражается: „*Коренной языкъ древнихъ руссовъ былъ языкъ словенскій, имѣвшій близкое сродство съ языкомъ санскритскимъ*“... Ограничиваемся этимъ примѣромъ, не боясь упрека въ той краткости, о которой сейчасъ говорили.

Перейдемъ къ новой литературѣ, которая, по нашему мнѣнію, начинается съ царствованія Петра, а по мнѣнію г. Аскоченскаго и иныхъ—съ Ломоносова. И въ этой части своего сочиненія, кіевскій историкъ русской литературы такъ же *кратокъ*, какъ въ первой, а потому и съ нею рѣшаемся мы знакомить читателей единственно, какъ съ выраженіемъ общихъ заблужденій. Заблужденія эти суть слѣдствіе двухъ обстоятельствъ: во-первыхъ, ложнаго понятія о томъ, въ чемъ выражается и въ чемъ не выражается развитіе внутренней жизни народа, и во-вторыхъ, старанія во что бы то ни стало найти абсолютное достоинство въ томъ, въ чемъ его быть не можетъ. Постараемся пояснить то и другое.

Мы уже упоминали о томъ, какъ необходимо для сужденія объ исторической важности и выразительности всякаго литературнаго произведенія принимать въ соображеніе успѣхъ, произведенный имъ въ свое время. Составители очерковъ исторіи русской литературы, претендующіе на изслѣдованіе хода развитія нашей внутренней жизни по памятникамъ слова, совершенно упускаютъ изъ виду то, что успѣхъ или неуспѣхъ такого-то и такого-то произведенія литературы есть единственный масштабъ для опредѣленія понятій, господствовавшихъ въ обществѣ въ эпоху его появленія. На произведенія нашей литературы никто изъ патентованныхъ и прославленныхъ ея историковъ не потрудился взглянуть съ этой точки. Что жъ вышло? То, что историческое ихъ значеніе вовсе не опредѣлено. Какую роль въ исторіи нашего развитія играютъ сочиненія Кантемира, Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Державина, Фонъ-Визина, Карамзина? Это вопросъ не рѣшенный, вопросъ, который, по нашему глубокому убѣжденію, до тѣхъ поръ и останется не рѣшеннымъ, пока не будетъ понятно, что исторія литера-

турнаго произведенія заключается не только въ процессѣ его созданія подъ вліяніемъ личности писателя, характера времени и особенностей общества, но и въ степени вліянія этого произведенія на общество, въ большемъ или меньшемъ его успѣхѣ. Иначе это будетъ не исторія, а критика его. Замѣчательно, что у насъ отъ Кантемира до Карамзина гораздо болѣе успѣха имѣли подражательныя произведенія, чѣмъ самородныя. Оды Ломоносова, трагедіи Сумарокова, эпосъ Хераскова производили несравненно большій эффектъ, чѣмъ сатиры Кантемира, разсужденія въ прозѣ того же Сумарокова и комедіи Фонъ-Визина. Какіъ объяснить себѣ этотъ фактъ? Очень немудрено. Цивилизація, перенесенная къ намъ Петромъ изъ западной Европы, проявлялась двойко въ людяхъ двухъ различныхъ родовъ. Большинство довольствовалось одною внѣшнею стороною европеизма и, вовсе не подозрѣвая внутренней, прилѣпилось къ формамъ западной образованности точно такъ, какъ фанатикъ привязывается къ обрядамъ богослуженія, вовсе не заботясь о ихъ значеніи. Исключенія изъ этой массы составляли люди, понимавшіе, что внѣшнее не можетъ замѣнить внутренняго. Весьма естественно, что въ литературѣ взглядъ послѣднихъ выразился сатирой. Но понятно и то, что успѣхъ самородной сатиры не могъ быть великъ въ нашемъ полуобразованномъ обществѣ. Необразованность или полуобразованность всегда самодовольна: сатира кажется ей личнымъ оскорбленіемъ, а сатирикъ—человѣкомъ неблагонамѣреннымъ и брюзгливымъ. Сочувствіе къ этому роду литературы предполагаетъ уже извѣстную степень зрѣлости и безпристрастія. Успѣхъ ея въ наше время въ Россіи лучше всего доказываетъ, что мы далеко уже шли впередъ со временъ Кантемира и даже со временъ Фонъ-Визина и сдѣлали уже значительные успѣхи въ самосознаніи. Но въ тѣ времена, для того, чтобы возбуждать сочувствіе въ публикѣ, русскій писатель непременно долженъ былъ подражать иностранному, особенно французскому, ибо самая публика наша, какъ сколокъ съ французскаго высшаго сословія, была убѣждена, что въ умѣнъ говорить по-французски и въ чтеніи французскихъ книгъ заключается вся задача цивилизаціи. Въ самомъ дѣлѣ, наше высшее общество очень рано начало и говорить по-французски, и читать французскія книги; достигнувъ этого, оно считало себя совершенно образованнымъ. Отъ того хорошимъ писателемъ казался ей только тотъ, который писалъ такъ, какъ будто самъ былъ писателемъ французскимъ. Напротивъ, кто требовалъ отъ нея чего-нибудь, кромѣ знанія французскаго языка, знакомства съ французскою литературой и выполненія модъ, распространенныхъ не изъ Парижа, тотъ непременно долженъ былъ казаться ей человѣкомъ съ странными, нелогическими требованіями и болѣзненно-раздраженною желчью. Сумароковъ можетъ служить лучшимъ доказательствомъ справедливости этихъ словъ. Современники смотрѣли на него, какъ на человѣка съ огромнымъ поэтическимъ дарованіемъ: этимъ обязанъ онъ своими подражаніями французскимъ писателямъ во всѣхъ родахъ поэзіи. Въ то же время до насъ



дошло преданіе о немъ, какъ о писателѣ, исполненномъ недоброжелательства, зависти и злости. Но, вникнувъ въ его сочиненія, нельзя не считать этого приговора почти во всѣхъ отношеніяхъ невѣжественнымъ. За отдаленностью эпохи трудно рѣшить, завидовалъ ли Сумароковъ Ломоносову; но сочиненія его невольно наводятъ на ту мысль, что источникъ его нерасположенія къ творцу русской науки заключался въ разности ихъ направленія. Ломоносовъ, какъ питомецъ нѣмецкой учености, приготовленный къ германскому воззрѣнію на науку схоластическимъ воспитаніемъ въ Московскомъ Заиконоспасскомъ училищѣ и въ Кіевской академіи, не могъ найти себѣ сочувствія въ Сумароковѣ уже и потому, что этотъ писатель былъ воспитанъ и образованъ въ совершенно противоположномъ духѣ, именно—въ духѣ французскихъ писателей того времени, для которыхъ наука ничего не значила безъ отношенія къ жизни. Это заставляетъ подозрѣвать, не принимали ли въ Сумароковѣ за зависть того, что происходило, можетъ быть, отъ весьма извинительнаго во всякомъ писателѣ негодованія на успѣхи другого писателя, принадлежащаго въ школѣ, которую первый считаетъ ложною... Впрочемъ, мы не приписываемъ большой важности разбору этой литературной сплетни со стороны ея нравственнаго основанія и покаместъ готовы согласиться, что дѣйствительно Сумароковъ завидовалъ Ломоносову. Но касательно того, будто бы онъ отличался недоброжелательствомъ и болѣзненнымъ озлобленіемъ на современное общество, мы никакъ не можемъ согласиться, и въ наше время стыдно повторять такое обвиненіе, говоря о человѣкѣ, вооружившемъ противъ себя своихъ современниковъ указаніемъ на ихъ черныя и смѣшныя стороны. Въдѣ еще и въ наше время, несмотря на всѣ успѣхи образованности и самосознанія, мысль о высокофилантропическомъ значеніи сатиры и о благонамѣренности сатирическаго писателя далеко не дошла до сознанія большинства! Мало ли у насъ людей, считающихъ Гоголя или забавникомъ, или человѣкомъ, одержимымъ разлитіемъ желчи? Что жъ мудренаго, что въ свое время Сумароковъ также считался человѣкомъ злостнымъ за сочиненія, подобныя, напримѣръ, „Нѣкоторымъ статьямъ о добродѣтели?“... Вотъ нѣсколько выдержекъ изъ этого трактата для подтвержденія нашей мысли:

„Пріятно слышати о добродѣтели, ибо она душа нашего общаго блаженства; но то горько, что она колико превозносится, толико презирается. Причины сего презрѣнія ясны: не добродѣтель дѣлаетъ насъ въ народѣ отличными, но получаемые нами чины, богатство и сила; кто же имъ, кромѣ немногихъ, предпочтетъ добродѣтель, почитая ее, будучи самъ презираемъ? Самолюбіе и любочестіе природно всѣмъ: а потому, что наслаждаемся мы оными не помощью добродѣтели, но другими обиліями, мы устремляемся болѣе быть почтены, не имѣя достоинства, нежели, имѣя оное, оставаться во презрѣніи. Снисканіе добродѣтели труднѣе, нежели снисканіе почтенія, потому что родъ человѣческій по большей части судитъ поверхностно, ибо невѣжества болѣе, нежели просвѣщенія, пристрастія

болѣе, нежели чистосердечія. Грабитель насыщается грабительствомъ, обманщикъ — обманомъ, и всякой вредной обществу изобильствуетъ; а лишенный снискати достоинствомъ себѣ достаточнаго пропитанія, ежели его ни разумъ, ни честность не приводили къ истинѣ, видя себя во добродѣтели страждуща, а злодѣя во беззаконіи благоденствующа, и нища любочестія и сластолюбія, разрываетъ свою систему, не приносящую ему пользы, и ищетъ удовольствія своего во беззаконіи. Чины суть утвержденіе нашего достоинства и заслугъ отечеству, ибо не дѣйствующій къ пользѣ общества разумъ и не приносящая міру плода честность суеты. Но всегда ли чины получаются по достоинству? А когда ихъ и безъ достоинства получить удастся, а по нимъ люди почитаются, — такъ рѣдкой станетъ обуздывать страсти свои, когда ему обузданіе не очень полезно, вмѣсто сей невѣрной и трудной дороги избересть себѣ вѣрную и легкую дорогу ко принятію во храмъ своего блаженства. Богатство, получаемое по наслѣдству, могло бы отдержати человѣка отъ криваго пути, снискати изобиліе, ибо изобиліе уже есть, но какъ око не насыщается зрѣніемъ, такъ и жадность наша рѣдко изобиліемъ утушается. Слава влечетъ насъ. Но многіе ли къ ней способны? Многіе ли имѣютъ открытое къ ней поле? Многимъ ли она удастся? Сверхъ того, какое множество препятствователей мы къ ней имѣемъ? Тщеславіе легче истинныя славы, и пути къ нему глаже. Знатная порода также на большей части добродѣтели вредна. Не потеряетъ ли любочестія достойный человѣкъ, видя начальника своего не имуща достоинствъ? И твердѣйшей во честности душѣ въ часы крайнихъ неудовольствій, и зрящей на ликовствованіе злодѣевъ несносно; но всѣ ли люди во честности герои? Не возведетъ ли къ небу рукъ и утѣсняемый герой и не возопіетъ ли тако: „О, всемогущій Боже! Душа моя не колеблется, но силы мои истощаются: трепещетъ сердце и глаза помрачаются; я гладъ и жажду претерпѣваю, во весь день тоскую: въ ночи бѣжитъ сонъ отъ очей моихъ; а люди неправедные, презирая твои уставы, когда я чувствую геенское мученіе, обитаютъ на берегахъ рѣкъ райскихъ! Я и не запрещенныхъ плодовъ не вкушаю, а они и запрещенными довольствуются; они ада хотя и страшатся, но имѣютъ надежду освободиться отъ него, а я — уже во адѣ“....

„Возвращеніе добродѣтели принадлежитъ начальникамъ и писателямъ: проповѣдники добродѣтели толкуютъ о ней, а начальники за нее награждаютъ, пороки исправляютъ и беззаконіе истребляютъ. Сіе дѣло есть первая монаршая должность, но монархи не серцевѣдцы и не всевидцы, — такъ не могутъ разбирати всѣхъ подданныхъ; да и ближайшихъ, отягощенны многими дѣлами, подробно не всегда разбирати могутъ. Надобны такіе вельможи, которые бы имъ помогствовали въ семъ важнѣйшемъ должности ихъ дѣлѣ. Чѣмъ вельможи просвѣщенные и добродѣтельныѣе, тѣмъ болѣе чистится и народъ: когда вельможи любятъ науки, любятъ и народъ; когда вельможи травятъ только зайцовъ, другіе цворяне также порскаютъ; когда вельможи играютъ только въ карты, весь народъ

держится неструхи, а сія игра есть отравя добродѣтели, отводящая людей отъ должностей, убивающая время и пустымъ обременяющая головы. Кажется мнѣ, что времени мало человѣку ко исправленію должностей, хотя бы и картъ не было...

„Многіе думаютъ, будто просвѣщеніе только однимъ начальникамъ имѣти надобно; но блаженство общества состоитъ не въ начальникахъ однихъ знатныхъ господахъ. Когда де—говорятъ—люди всѣ просвѣщенны будутъ, такъ не будетъ повиновенія и, слѣдовательно, никакова порядка. Сія система принадлежитъ малымъ душамъ и безмозглымъ головамъ. Сдѣлаемъ новое общество и вообразимъ то, что оно состоитъ изъ Сократовъ. Захочетъ ли кто видѣть не породу и не достоинствомъ, но счастіемъ кого тебѣ государемъ, когда онъ самъ долженъ будетъ черпать ему воду? Собралися бы Сократы и, посовѣтовавъ, выбрали себѣ, конечно, или государей, или государя. Монархическое правленіе—я не говорю: деспотическое — есть лучшее; такъ сіи Сократы, посовѣтовавъ, изберутъ себѣ государя, вельможъ и начальниковъ, которымъ они еще больше повиноваться будутъ, имѣя здравый разсудокъ; предпишутъ они не нарушимые законы, свяжутъ и себя, и вельможей тѣми законами, которые они сами установили. Сократъ-истопникъ не будетъ имѣть презрѣнія, ибо онъ почтенъ отъ того, кому онъ печи топить, и тѣмъ его онъ только меньше, что начальникъ его больше, нежели онъ, трудится: онъ топить печи, а тотъ судить и распоряжаетъ. Сверхъ того, могутъ всѣ люди быти просвѣщенія суть разноличны: тотъ законникъ, тотъ пѣтъ, тотъ воинъ, тотъ живописецъ, тотъ астрономъ; итакъ, хотя разумъ и равенъ у людей, но уже и качества просвѣщенія дѣлаютъ различіе между ними. Говорятъ же не о равновѣсіи разума, но просвѣщенія; такъ не только равнаго просвѣщенія, но и разума, да и ничево на свѣтѣ равнаго нѣтъ. Такъ сія гадкая система сама себя опровергаетъ ко стыду толь недобродѣтельно мыслящихъ, и если они не отъ невѣжества и привязанной къ нему гордости такъ разсуждаютъ такъ конечно—отъ нечестія <sup>1)</sup>).

Изъ этихъ выдержекъ, взятыхъ почти на удачу, читатели, незнакомые съ цѣлымъ сочиненіемъ, уже могутъ понять, изъ какого источника происходили невыгодныя для Сумарокова мнѣнія въ публикѣ его времени.

Размѣры статьи не позволяютъ намъ входить въ разборъ остальныхъ произведеній русской литературы до-Карамзинской эпохи. Замѣтимъ только, что еще въ первыя пятнадцать лѣтъ нашего девятнадцатаго вѣка подражательныя сочиненія считались перлами нашей поэзіи. Такъ напримѣръ, „Россіада“ Хераскова въ понятіяхъ тогдашней критики и тогдашней публики стояла наравнѣ съ величайшими произведеніями эпоса. Наконецъ, и успѣхъ Карамзина, какъ поэта объясняется тѣмъ только, что онъ явился въ сочиненіяхъ своихъ человѣкомъ,

<sup>1)</sup> Сочиненія Сумарокова, изданіе 2-е часть VI, стр. 227—229, 234, 240—241.

совершенно поглощеннымъ тогдашнимъ направленіемъ большинства французскихъ писателей. Самый языкъ его есть совершенный сколокъ съ книжнаго французскаго языка того времени. По настоящему, на успѣхъ его повѣстей, путевыхъ записокъ, стихотвореній и такъ-называемыхъ *философическихъ* разсужденій нельзя смотрѣть иначе, какъ на успѣхъ, хоть бы, напримѣръ, романовъ госпожи Жяились или на успѣхъ „Вертера“. Все дѣло въ томъ, что русская публика въ сочиненіяхъ Карамзина увидѣла точно то же, что и во всѣхъ беллетристическихъ произведеніяхъ европейскихъ литературъ, но написанное уже не тѣмъ дубовымъ языкомъ, какимъ писали люди Ломоносовской школы, и не тѣмъ живымъ, разговорнымъ языкомъ, которымъ заговорилъ было непонятый современниками Фонъ-Визинъ, а точно такимъ же, какой можно встрѣтить во всѣхъ произведеніяхъ тогдашней французской литературы, то-есть языкомъ, исполненнымъ плавности, доходящей до пѣвучести, языкомъ готовыхъ, выработанныхъ фразъ, такимъ языкомъ, кокорый заставляетъ читающаго бить кадансъ равнымъ покачиваніемъ головы слѣва на право и справа налѣво... По нашему убѣжденію, Карамзинъ отличается не столько оригинальностью, свойственною всякому геніальному человеку, сколько тѣмъ, что можно назвать *переимчивостью*. Мы, признаемся, никогда не могли отыскать въ идеяхъ Карамзина истиннаго творчества. Но переимчивость-то и была въ немъ драгоцѣнна: перенявъ у французскихъ писателей даже обороты ихъ, онъ оказалъ русской литературѣ незабвенную услугу увеличеніемъ числа читателей. Образованные люди его времени увидѣли въ русской литературѣ точно то же, что привыкли видѣть и любить въ литературѣ французской. Вотъ почему всѣ сочиненія Карамзина были прочитаны съ жадностью, а затѣмъ и другимъ писателямъ открылась публика, несравненно превосходившая многочисленностью свою публику Ломоносовскаго періода.

Такъ какъ мы не имѣемъ претензіи представить въ этой статьѣ удовлетворительный очеркъ исторіи русской литературы, а только пользуемся случаемъ высказать нѣсколько мыслей о способѣ ея обработыванія, то считаемъ себя въ правѣ удовольствоваться приведенными примѣрами: они могутъ уже служить достаточнымъ доказательствомъ, что вопросъ объ успѣхѣ разныхъ литературныхъ произведеній играетъ существенно-важную роль въ исторіи литературы вообще. Рѣшеніе его проливаетъ яркій свѣтъ на писателей разныхъ эпохъ и разныхъ достоинствъ, выставляя и характеръ ихъ времени, и услуги, оказанныя обществу литературою.

Критики и историки, чуждые этого взгляда (а таковы всѣ извѣстные историки нашей литературы), поставляются часто въ самое затруднительное положеніе. Они видятъ передъ собою цѣлый, правильно и красиво устроенный пантеонъ литературныхъ знаменитостей, изъ которыхъ большая часть нисколько не удовлетворяетъ требованіямъ современной критики. Что съ ними дѣлать? Здравый смыслъ убѣждаетъ cadaго, что люди, попавшіе въ этотъ пантеонъ,

не могутъ быть людьми не замѣчательными, потому что имѣли сильное вліяніе на современниковъ и по какому-то неуловимо-капризному закону обусловили собою явленіе истинныхъ дарованій въ искусствѣ и наукѣ. А эстетика и логика своими формулами доказываютъ, что въ этотъ пантеонъ вошли именно тѣ писатели, у которыхъ таланта было несравненно менѣе, чѣмъ у другихъ, не попавшихъ въ него; эфемерныя произведенія духа времени и подражательности увѣнчаны, а образовыя созданія искусства и науки встрѣчены или равнодушіемъ, или порицаніемъ со стороны большинства! Повторяемъ, что тутъ дѣлать историку литературы, не вооруженному истиннымъ понятіемъ о сущности историческаго изслѣдованія? Приходится или уничтожить значеніе устарѣлыхъ авторитетовъ, или, если не достанетъ на это духа, натянуть кое-какія доказательства, сплести кое-какія блѣдненькія, сухопарыя фразы, создаваемые нетруднымъ искусствомъ говорить и *за*, и *противъ*, да развести эту и безъ того уже водяную кашу громкими выходками противъ людей, осмѣливающихся прямо говорить то, что кажется имъ правдой. Единственный исходъ изъ этого страннаго, тягостнаго положенія, единственное средство избавить самого себя отъ напора двухъ, по видимому, несогласныхъ взглядовъ, заключается, по нашему мнѣнію, въ томъ, чтобы вполне понять различіе между критикой литературнаго произведенія, то-есть, между оцѣнкой его безусловнаго достоинства, и опредѣленіемъ его историческаго значенія, то есть изслѣдованіемъ не одного только его созданія, но и дѣйствія на общество. Пусть трагедіи Сумарокова и эпопеи Хераскова не говорятъ ничего въ пользу поэтическаго призванія этихъ писателей: ни Сумароковъ, ни Херасковъ не теряютъ отъ того своей исторической важности, да не въ томъ только смыслѣ, что выражаютъ эпоху самыми своими недостатками, а и въ томъ, что успѣхъ этихъ недостатковъ говоритъ о времени Сумарокова и Хераскова еще доказательнѣе.

Изложеніе новой русской литературы въ „Краткомъ начертаніи“ г. Аскоченскаго служитъ яркимъ примѣромъ того положенія, въ которое поставляется сочинитель борьбою между необходимостью и страхомъ отрицанія. По прочтеніи каждаго отзыва о писателѣ, не имѣющемъ безусловнаго достоинства, нельзя не спросить себя: да отчего же этотъ бездарный сочинитель попалъ въ „Краткое начертаніе“? И на такой вопросъ не найдете вы никакого, рѣшительно никакого отвѣта въ твореніи г. Аскоченскаго. Для примѣра, не угодно ли заглянуть въ характеристику Хераскова: „Херасковъ (Михаилъ Матвѣевичъ, род. 1732, ум. 1807) знаменитъ въ исторіи отечественнаго просвѣщенія тѣмъ, что былъ кураторомъ Московскаго университета и ревностнымъ покровителемъ юныхъ талантовъ. Это былъ одинъ изъ плодовитѣйшихъ литераторовъ своего времени. Онъ написалъ пять драмъ, восемь трагедій и одну комедію, но всѣ онѣ такъ мало имѣли достоинства, что не могли пережить своего автора. Изъ девяти поэмъ его пользуются всеобщою извѣстностью двѣ: „Россіада“ и „Владиміръ“. Предметомъ первой служитъ покореніе Казани

Іоанномъ Грознымъ. Въ художественномъ отношеніи поэма сія теряетъ много отъ спутанности дѣйствій и отъ неправильнаго понятія о чудесномъ, наполнившемъ всю поэму чудовищными несообразностями и не выдержанными характерами. Во второй поэмѣ описывается просвѣщеніе Россіи вѣрою христіанскою при Владимірѣ. Кромѣ назидательности, поэма носитъ въ себѣ тѣ же недостатки, какіе и предыдущая. Вообще видно, что Херасковъ, предполагая написать „Россіаду“ и „Владиміра“, не имѣлъ въ виду выразить духъ того времени, къ которому относятся описываемыя событія, а хотѣлъ произвести что-нибудь такое, что напоминало бы Гомера и Виргилія. Съ этимъ взглядомъ на эпосъ, онъ не могъ быть оригинальнымъ ни въ развитіи содержанія, ни въ формѣ своихъ произведеній. *Что касается до лирическихъ его стихотвореній, то въ нихъ не видно особеннаго таланта, хотя и нельзя отвергнуть нѣкотораго чувства, иногда возвышающагося до патетизма. Стихъ Хераскова довольно гладокъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ силенъ и пріятенъ*“ (стр. 70 и 71).

Не можемъ налюбоваться на этотъ отзывъ: такъ выразителенъ рецептъ, по которому онъ написанъ! Вникните въ слова, напечатанныя косыми буквами: они заключаютъ въ себѣ три похвалы, изъ которыхъ первая нисколько не относится къ литературнымъ произведеніямъ самого Хераскова, а двѣ остальные, хоть и очень не сильны, но во время чтенія какъ-то очень ловко уменьшаютъ силу вывода, который можетъ быть сдѣланъ изъ цѣлаго отзыва. Намъ особенно нравится въ этомъ приѣмѣ то, что похвалы помѣщены въ началѣ и концѣ отзыва: узоръ удивительный!

Но всего лучше выразился г. Аскоченскій въ своемъ сужденіи о Карамзинѣ: это ужъ верхъ дуализма! Вамъ извѣстно, что Карамзинымъ открываетъ онъ четвертый и *последній* періодъ нашей литературы. Это значитъ, что, по понятіямъ кіевского критика, литература наша получила отъ сочиненій Карамзина такое сильное движеніе, что въ развитіи ея отъ девяностыхъ годовъ прошедшаго столѣтія до 1846 года включительно нельзя отличить другого равносильнаго переворота. А между тѣмъ, посмотрите, что говоритъ онъ о сочиненіяхъ Карамзина. Вотъ что сказано имъ объ „Исторіи Государства Россійскаго“: „Тутъ Карамзинъ привелъ въ порядокъ разбросанныя свѣдѣнія о нашемъ отечествѣ, сохранившіяся въ историческихъ попыткахъ его предшественниковъ, оживилъ мертвые памятники, далъ языкъ нѣмымъ хартіямъ и все это облекъ въ увлекательный и по мѣстамъ поэтический разсказъ. По новости и обширности труда, онъ не могъ изложить все въ желаемой ясности и полнотѣ. Древняя Русь, по самой отдаленности своей, представлена въ образахъ неопредѣленныхъ (бездѣлица!), эпоха удѣльныхъ междоусобій осталась запутанною и непонятною во многихъ отношеніяхъ; но, хотя дальнѣйшія изслѣдованія открыли и многое въ судьбахъ нашего отечества, неизвѣстное Карамзину, при всемъ томъ „Исторія“



его останется вѣковымъ памятникомъ изящной и ученой русской исторіи, достойной стать на ряду съ важнѣйшими европейскими сего рода произведеніями“ (стр. 107—108).

Прошу согласить въ одно сужденіе всѣ эти фразы: прошу понять, какимъ образомъ *вѣковымъ памятникомъ изящной и ученой русской исторіи* можетъ быть такое сочиненіе, въ которомъ нѣтъ *желаемой ясности и полноты*, и въ которомъ *древняя Русь представлена въ образахъ неопредѣленныхъ!* Кажется, такое сочиненіе нельзя и назвать русской исторіей...

Но, можетъ быть, вы думаете, что г. Аскоченскій оправдалъ приписанную Карамзину честь быть виновникомъ новаго пятидесятилѣтняго періода русской литературы отзывомъ своимъ объ остальныхъ его произведеніяхъ? Прочтите этотъ отзывъ и разувѣрьтесь: „Образованіе русской прозы началъ Карамзинъ собственными произведеніями. „Письма Русскаго Путешественника“, составленныя имъ, были первою книгою, возбуждившею русскую публику къ легкому и пріятному чтенію. Главное достоинство и изящество ихъ состоитъ въ простодушномъ и откровенномъ отчетѣ въ своихъ впечатлѣніяхъ и чувствованіяхъ и въ легкомъ и пріятномъ слогѣ. Карамзинъ скоро послѣ того началъ дарить отечественную литературу повѣстями. „Бѣдная Лиза“, „Наталья боярская дочь“, „Марѳа посадница“, „Прекрасная царевна“ и „Островъ Берингольмъ“ были первыя повѣсти, пересказанныя языкомъ чистымъ, понятнымъ для того общества, которое благоговѣло предъ легкостью и щеголеватостью рѣчи французской. Карамзинъ началъ было и романъ: „Рыцарь нашего времени“, но остановился на первыхъ главахъ. Вообще, въ повѣстяхъ Карамзина видно рабское подражаніе авторамъ французскимъ: отъ того всѣ дѣйствующія лица у него чувствуютъ, мыслятъ и поступаютъ, какъ герои повѣстей Ж.-Ж. Руссо и Жанлисъ, и говорятъ по большей части вовсе несроднымъ для нихъ возвышеннымъ слогомъ. Въ этомъ отношеніи Карамзинъ невольно платилъ дань требованіямъ своего времени, глубоко между тѣмъ сознавая самъ противорѣчіе ихъ съ законами истиннаго художества (хорошо сознаніе!). Рѣчи Карамзина, кромѣ нарочитой учености, составляютъ пріятный и плѣнительный рассказъ, который, впрочемъ, больше дѣйствуетъ на воображеніе, чѣмъ на сердце и умъ читателя (стало быть, сказки?). Слогъ его въ нихъ изященъ, но не всегда и не вполне соответствуетъ важности и высотности предмета. Философскія статьи Карамзина, не представляя глубины мышленія, могутъ нравиться пріятною мечтательностью (!!!) и свѣтлымъ, хоть и поверхностнымъ взглядомъ (!!!) на общежитіе и требованія духа человѣческаго. Въ другихъ прозаическихъ статьяхъ его виднѣется нехитрый идиллическій взглядъ на жизнь, природу и искусство, тѣсно связанный съ господствовавшими тогда идеями и убѣжденіями. Въ угоду своему вѣку Карамзинъ переводилъ водяныя и приторно-сентиментальныя повѣсти Мармонтеля и Жанлисъ. Кромѣ того, онъ писалъ и стихи, но они чужды поэтическихъ, восторженныхъ движеній; это про-

сто мысли умнаго, постоянно размышляющаго человѣка, облеченныя въ стих-отворную форму“ (стр. 115 и 116).

Итакъ, „Исторія“ Карамзина плоха, рассказы его плохи, стихи плохи! Таковъ, кажется, результатъ отзыва г. Аскоченскаго? А между тѣмъ Карамзинъ начинаетъ онъ новый періодъ русской литературы, тотъ періодъ въ который входятъ, по понятіямъ „Краткаго начертанія“, и Пушкинъ, и Лермонтовъ, и Гоголь! Вотъ что называется послѣдовательностью въ мысляхъ!

Не довольно ли, чтобы читатели согласились съ нами, что сочиненіе г. Аскоченскаго такъ же похоже на исторію русской литературы, какъ и тѣ творенія, которыя служили ему образцомъ, то-есть, какъ „Опыты“ гг Греча и Пласина? Думаемъ, что довольно.

Въ заключеніе остается сказать объ одномъ: правда, объ этомъ предметѣ обыкновенно говорится въ самомъ началѣ разбора; часто даже весь разборъ можетъ заключаться въ его изслѣдованіи; но произведеніе г. Аскоченскаго само по себѣ такъ эксцентрично, что нѣтъ никакихъ средствъ обходиться съ нимъ по общепринятымъ обычаямъ критики. Особенность „Краткаго начертанія“ заключается въ томъ, что оно какъ будто забавляется надъ читателями: обѣщаетъ имъ начертать вкратцѣ исторію русской литературы, а вмѣсто того начертываетъ что-то такое, что походитъ совсѣмъ не на исторію русской литературы, а на „Руководство“ г. Пласина; обѣщаетъ показать имъ развитіе внутренней жизни русскаго народа, а показываетъ какой-то калейдоскопъ, потому что факты, имъ изложенные, вы можете переставлять, какъ вамъ угодно: обѣщаетъ показать Карамзина, какъ человѣка, сообщившаго направленіе цѣлому періоду русской литературы, а вмѣсто того показываетъ вамъ его единственно, какъ плохого историка, плохого нувелиста и плохого стихотворца. Такую же точно шутку сыгралъ г. Аскоченскій съ своею публикой по поводу своей общей идеи о развитіи русской литературы. Добравшись до послѣднихъ страницъ „Начертанія“, мы догадались, что авторъ, приступивъ къ сочиненію своей книги, лелѣялъ въ душѣ одну завѣтную мысль: ему хотѣлось доказать исторіей русской литературы, что въ продолженіе всего періода отъ Карамзина до нашихъ дней мы, русскіе, стремились къ народности и недавно ея достигли. Но какъ все это случилось и чѣмъ привелось, объ этомъ, разумѣется, лучше и не спрашивать у „Краткаго начертанія“. Однакожъ, изъ разныхъ мѣстъ его нельзя не убѣдиться, что г. Аскоченскій—самый рѣшительный приверженецъ славянофильской доктрины. Для доказательства этого, рѣшаемся привести двѣ-три любопытныя выписки:

Стр. 110—111. „Венелинъ особенно извѣстенъ историческими изслѣдованіями своими о болгарахъ, прояснившими происхожденіе самихъ славянъ. Въ „Историко-критическомъ разысканіи о древнихъ и нынѣшнихъ болгарахъ“ Венелинъ отвергаетъ татарское ихъ происхожденіе, доказывая при семъ родствахъ съ прочими славянскими племенами. Кромѣ того, онъ объясняетъ имя народа

болгарскаго, исторію его іерархіи, религію, политическое состояніе, состояніе прозвѣщенія и литературы, наконецъ, характеристическія черты болгаръ и отношенія ихъ къ росіянамъ. Въ другомъ сочиненіи своемъ, называемомъ „Скандинавоманія“, Венелинъ, при помощи византійскихъ, русскихъ и западныхъ лѣтописей, опровергъ распространенное Байеромъ и Шлецеромъ то основное ихъ положеніе, что будто бы славянскія племена всѣмъ обязаны скандинавамъ. Сочиненіе это не кончено, и потому Венелинъ не развилъ своего мнѣнія со всѣми его доказательствами: по крайней мѣрѣ, онъ уничтожилъ авторитетъ Байера, пристрастнаго любителя скандинавщины. Вообще должно сказать, что Венелинъ во всѣхъ историческихъ изслѣдованіяхъ своихъ является непримиримымъ гонителемъ русскихъ нѣмцевъ-историковъ, оригинальнымъ критикомъ ихъ твореній и глубоко-ученымъ, жаркимъ любителемъ славы племенъ славянскихъ. Хотя его положенія и не всѣ довольно доказаны, но въ нихъ скрывается зародышъ обширныхъ изысканій на будущее время“.

Стр. 96. „Надежды на дальнѣйшее усовершенствованіе русскаго языка основываются теперь на литературномъ сближеніи всѣхъ славянскихъ племенъ и нарѣчій. Вся совокупность ихъ представляетъ ту неисчерпаемую сокровищницу изъ которой со временемъ возьмутся элементы родного слова, и говоръ (?) народа возведется къ древнему, общесловенскому, очищенному уже наукою и употребленіемъ нарѣчію“.

Г. Аскоченскій до того простеръ свою любовь къ славянофильству и его поборникамъ, что называетъ г. Погодина однимъ изъ лучшихъ нашихъ современныхъ нувеллистовъ! На стр 122: „Лучшими изъ современныхъ намъ писателей повѣстей, по справедливости, почитаются: А. С. Пушкинъ, Ушаковъ, князь Одоевскій, Загоскинъ, *Погодинъ*“, и проч.

Но довольно!

## Обозрѣніе русской исторіи до единодержавія Петра Великаго.

Сочиненіе Петра Полевого. Съ портретомъ и факсимиле автора. Санктпетербургъ. 1846.

„Какъ запомню сеоя, имя Петра Великаго было уже мнѣ знакомо. Почтенный родитель мой, землякъ, родственникъ и другъ Голикова, въ числѣ первыхъ понятій, какія передавалъ намъ, передалъ и благоговѣніе къ имени мудраго преобразователя Россіи. Въ числѣ первыхъ книгъ, какія читалъ я, былъ трудъ Голикова, въ дѣтствѣ протвержденный мною почти наизусть. Когда, черезъ многіе годы, потомъ, отечественная исторія сдѣлалась главнымъ предметомъ моихъ занятій, когда мнѣ надобно было узнавать вполнѣ матеріалы и сущность моего

дѣла, Петръ Великій, предметъ первыхъ впечатлѣній моего дѣтства, перваго развитія моихъ юношескихъ понятій, явился мнѣ предметомъ особеннаго, обширнаго и многолѣтняго изученія. Писавши „Исторію русскаго народа“, я долженъ былъ отдѣлить повѣствованію о Петрѣ Великомъ опредѣленный, недостаточный объемъ. Но чѣмъ болѣе вникалъ я вообще въ исторію отечественную, тѣмъ огромнѣе развивалась передо мною исполинская идея Петра Великаго, и тѣмъ болѣе видѣлъ я невозможность изобразить его, хоть сколько нибудь удовлетворительно, въ маломъ объемѣ. Краткій очеркъ являлся недостаточенъ. Надобны были подробности, ибо тогда только Петръ Великій познается вполнѣ, когда все изучили мы въ немъ—дѣла, слова, мысли его. И мой краткій очеркъ превратился въ нѣсколько томовъ, составившихъ уже слишкомъ обширный эпизодъ въ книгѣ, долженствовавшей обнимать всю русскую исторію. Невольное негодованіе, когда слышалъ я притомъ превратныя мнѣнія о нашемъ безсмертномъ Петрѣ, мысль, что честь русская обязываетъ насъ смѣло принять на щитъ и отразить софизмы мыслителей ложныхъ, рѣшили меня обработать и издать отдѣльно отъ „Исторіи русскаго народа“ жизнеописаніе Петра Великаго. Слѣдствіемъ такого рѣшенія была книга, которую предаю нынѣ суду соотечественниковъ“ (предисловіе, стр. XV и XVI).

Изъ этихъ строкъ предисловія читатели видятъ цѣль сочиненія, которое смерть помѣшала Полевому окончить. Остается судить о задуманномъ имъ трудѣ по изданному нынѣ началу его, заключающему въ себѣ изложеніе событій русской исторіи отъ рожденія до единодержавія Петра Великаго. Сверхъ того, въ „Обозрѣніи“ находимъ мы „Введеніе въ исторію Петра Великаго“, въ которомъ Полевой изложилъ свой взглядъ на значеніе Петра въ исторіи человѣчества. Введеніе это въ высшей степени замѣчательно: здѣсь результатъ его размышлений о сущности исторіи, какъ науки, о содержаніи всеобщей исторіи, и наконецъ, о роли, которая *предназначена* Россіи въ ходѣ жизни человѣчества. Здѣсь Полевой выразился вполнѣ, какъ личность и какъ человѣкъ эпохи, выразился болѣе, чѣмъ на трехстахъ-шестидесяти страницахъ самаго „Обозрѣнія“. Мало того, безъ „Введенія“ сочиненіе это слишкомъ мало напоминало бы намъ Полеваго: только въ соединеніи съ этимъ „Введеніемъ“, только въ противоположности ему оно оживляетъ передъ нами память покойнаго, выводя наружу особенности его понятій и характеръ услугъ, оказанныхъ имъ русскому обществу. Вотъ главные черты „Введенія“:

„Послѣ великой субботы творенія, когда кончились измѣненія вещественныхъ силъ природы и явилось въ мірѣ послѣднее, духовное созданіе Божіе, вѣнецъ твореній его, *человѣкъ*, жилище *человѣка*, земля представила ему въ отвердѣлыхъ грудахъ своихъ поверхность обширнаго материка планеты, на которомъ сомкнуты были двѣ великія части свѣта, Азія и Европа, востокъ и западъ, двѣ противоположности, двѣ половины міра; ихъ борьба должна была составить

*жизнь человечества*, ибо жизнь есть не что иное, какъ боре́ніе двухъ началъ—возрожденія и разрушенія, свѣта и тьмы, стремленія частей къ самобытности и стремленія цѣлаго совмѣстить въ себѣ самобытность частей. Окончаніе одной борьбы есть начало другой; могила прошедшаго бытія—колыбель новаго, переходъ отъ конца къ началу, отъ одного развитія къ другому, всегда болѣе полному, и совершенствованіе сею борьбою частнаго общимъ, общаго частнымъ“ (стр. XXI).

„Какъ въ природѣ необходимо предполагать періодъ хаоса, такъ необходимо предположить и въ исторіи человечества безсознательное время раскладки, такъ сказать, стихій духа и вещества. Придадимъ названіе *доисторическихъ временъ* симъ временамъ составленія первыхъ обществъ, развитія первыхъ идей умственныхъ, когда власть отца переходила во власть патріарха, холмъ молитвы становился храмомъ предвѣчному, первая пѣснь излетала изъ устъ человѣка, мудрость опыта переходила въ законъ; возникали первыя сѣмена науки и знанія, мѣна земледѣльца съ пастухомъ начинала торговлю; сильные звѣроловы составили первыя дружины воиновъ; вождь ихъ преобразовалъ собою монарха, соперника жрецу, властителю умовъ посредствомъ духа и религіи. Сюда относятся древнѣйшія переселенія и дѣленія народовъ, борьба финскихъ, тунгусскихъ и эіопскихъ автохтоновъ съ позднѣйшими племенами, въ Азіи—монголами, турками, индійцами, въ Европѣ—цельтами, тевтонами, славянами, въ Африкѣ и Океаніи—малайцами, въ Америкѣ—абцехами и перуанцами. Когда образовались сіи дѣленія племенъ и народовъ? Какіе признаки тождества и различія являютъ намъ въ сихъ отношеніяхъ Азія и Европа?

„Одинаково жизнь человѣка развивается тамъ и здѣсь въ стремленія религиозномъ, философскомъ, политическомъ и поэтическомъ. Одинаково сѣверъ и востокъ составляютъ запасъ жизненныхъ силъ, развивающихся на западѣ и югѣ: здѣсь славяне и цельты, тамъ народы монгольскіе и семитическіе, и среди нихъ здѣсь тевтоны, тамъ племена турецкія. Индія, не Эллада ли она Азія, съ ея мифологіей, поэзіей, водчествомъ? Персія, не Римъ ли она азіатскій? Но великая разница тамъ и здѣсь.

„Религія—тяжкое подавляющее чувство величія силъ природы и грознаго владычества бога, требующаго кровавыхъ жертвъ и изступленій изувѣрства, подчиняющая непреложному уставу всѣ дѣла и поступки человѣка. Отсюда власть жреца, грозная есоократія; она стремится овладѣть мудростью и скрываетъ ее, какъ тайну, отъ народа, все облекая въ мифъ и символъ. *Философія*—или религиозный мистицизмъ, или отчаяніе матеріализма, нисходящаго въ безбожіе. Отсюда вражда религій и философій, и каждое покушеніе человѣка проникнуть тайны природы является возмущеніемъ противъ религій. *Политика*—назначеніе богомъ избранныхъ и совершенное подчиненіе воли ихъ общества, при строгомъ раздѣленіи условій общественныхъ кастами и званіями; переходъ отъ не ограничен-

наго деспотизма прямо къ безконечному рабству; униженіе женщины и многоженство. Наконецъ, *искусство*—стремленіе выразить религіозное чувство величія: исполинскіе истуканы, мрачныя подземные храмы, гибель частнаго генія въ механической работѣ вѣковъ и поколѣній. И подлѣ громады храма—кибитка, шалашъ, кирпичный домъ человѣка, вдавленного, такъ сказать, въ безчувствіе умственное, при наслажденіи чувственнымъ, которое обѣщаютъ ему даже и за могилою, какъ величайшую награду.

„Такова Азія.

„*Религія*—возвышеніе духа, апофеозъ человѣка, переходъ въ изысканные образы, отмиженіе ужасовъ, антропоморфизмъ бога, придаеніе ему чувствъ и страстей. Отсюда паденіе власти жреца, терпимость всѣхъ вѣрованій, горсть омиамъ вмѣсто крови, жизнь за гробомъ, легкая мечта эфирнаго счастья, продолженіе наслажденій духа, прерванное на землѣ. Напрасно мистикъ Элевзиса и оракулъ Додона хотѣлъ удержать въ Элладѣ религію востока: гимны Орфея забыты, роскошная сага Омирова становится мифологіей народа. Отсюда и *философія* смѣлая, свободная: раздробляетъ ли она анализомъ природу, возводитъ ли ея синтезомъ къ одухотворенію, всегда спиритуализмъ ведетъ ее къ разгадкѣ тайнъ природы, разоблачая отъ мифа религіознаго; духъ человѣка возматъ къ рѣшенію высшихъ вопросовъ нравственности и богопознанія. *Политика*—развитіе свободной воли человѣка и паденіе деспотизма теократическаго, равно въ лѣсахъ тевтона, въ республикахъ Греціи, въ городѣ Римѣ; женщина, хотя еще униженная, но уже идеалъ красоты, предметъ любви и почтенія, какъ жена, какъ мать. Рабство удѣлъ только того, кто палъ въ борьбѣ съ превышающимъ его достоинствомъ, но уже не знаменіе позора, налагаемое рожденіемъ. Законъ—стражъ и властитель каждаго гражданина, или горожанина. Наконецъ, при ослѣдлой, городской жизни, *искусство*, возводящее въ идеалъ произведеніе изысканное, громадностъ, сведенная въ область гармоническаго прекраснаго, свѣтлый храмъ и подлѣ него торжище, театръ, портикъ, выводящіе жизнь наружу; поэзія, то возвышенная отъ земли къ небу *эпосею*, то низводящая судьбы неба на землю въ *драмѣ*, то кипящая духомъ въ *лирику*; человѣкъ, сознающій всюду свое достоинство, одухотворяющій свое честное бытіе.

„Такова Европа.

„Другія части свѣта суть дополненія Азии и Европы. Итакъ, между Азіей и Европой быть битвѣ за судьбы человѣчества! Дѣятельная, ионитующая, все-раздробляющая, духовная Европа придетъ въ самозабвенную, мистическую, все-обобщающую, вещественную Азію. Но Азія не уступитъ ей, захочетъ подавить ее своею громадностъю, своими исполинскими силами. Кому уступить въ борьбѣ? Кому превозмочь въ битвѣ? Какія слѣдствія оставятъ они въ Азій и въ Европѣ?

„Вотъ вопросы жизни человѣчества, разрѣшаемые исторіей“ (стр. XXIX—XXXII).



Греческая война, Персидскія войны, походы Александра Македонскаго войны римлянъ въ Азію, переселеніе народовъ, Крестовые походы, взятіе Константинополя турками, всѣ эти событія древней и средней исторіи разсматриваетъ Полевой, какъ факты, въ которыхъ *должна была* проявиться борьба Европы и Азіи. Такъ-называемая новая исторія представляется ему періодомъ внутренней борьбы Европы, періодомъ, въ продолженіе котораго „надобно было европейскому человѣку еще разъ сознать свои силы и тогда только снова устремиться на борьбу“ (стр. XXXVII). Охарактеризовавъ такимъ образомъ время величайшихъ кризисовъ развитія человѣчества, онъ продолжаетъ проводить свою идею въ будущее: „Обозрѣваемъ западъ и находимъ его истощеннымъ внутреннею борьбою и исполненными событіями въ теченіе послѣдняго столѣтія (1789—1840 гг.). Азіатскаго востока нѣтъ въ мірѣ. Дикаго устремленія варваровъ съ востока не будетъ болѣе. Западъ идетъ къ востоку, обращая къ нему свои молитвенныя слова: „Отдайте мнѣ мою религію! Возвратите мнѣ мой законъ! Скажите, гдѣ остановиться моему духу испытанія, и чѣмъ должно быть мое искусство?“ (стр. XXXIX). Далѣе: „Развѣ великая сѣверная война 1812 года не была движеніемъ запада на востокъ? Очередь востоку двинуться на западъ. Когда наступитъ сему великому событію? Въ какихъ образахъ совершится оно? Гдѣ живительное начало, предназначенное одушевить западъ новою жизнью? Развѣ не видите, что уже востокъ *подвигся*? Потому не замѣтно намъ это движеніе, почему плывя на кораблѣ, мы воображаемъ себя неподвижными, а берега бѣгущими. Намъ кажется, что берега рѣки времени уѣдутъ передъ нами въ событіяхъ, когда мы сами двигаемся по ней впередъ. Живительное начало уже явилось, но не въ толпѣ тентоновъ, не въ побѣгахъ норманновъ, не въ восточныхъ формахъ, но въ видѣ великаго народа, соединившаго въ себѣ востокъ и западъ, Азію и Европу, народа съ вѣрою, не искаженною мудрованіемъ, съ уроками мудрости, почерпнутыми изъ опыта прошедшихъ вѣковъ, съ позитивною, во главѣ коей краеугольнымъ камнемъ положены законъ, съ искусствомъ, которое дружитъ идеи востока и запада, народа—потомка тяжелыхъ славянъ и отважныхъ норманновъ, родного Европѣ, родного и Азіи. Десять вѣковъ готовилось Провидѣніемъ сіе начало новой жизни въ исторіи великаго народа, отдѣльной—по видимому, но въ сущности синхронизической исторіи европейской. Сей народъ—русскій народъ, сіе начало живительное—Россія“ (стр. XL и XLI).

Отсюда Полевой переходитъ къ русской исторіи и доказываетъ, что все случившееся въ Россіи отъ Рюрика до Петра *должно было* случиться. Наконецъ *долженъ былъ* явиться и Петръ, какъ сила, которой Провидѣніе назначило *сдвинуть* Россію въ Европу, то-есть, востокъ въ западъ. „И онъ явился въ Россіи—явился Петръ Великій. Съ 1689 года, въ тридцать-шесть лѣтъ совершилъ онъ свое великое призваніе“ (стр. LIII).

Вотъ содержаніе „Введенія въ исторію Петра Великаго“ Еслибъ ее написалъ человѣкъ нашего времени, многіе назвали бы ее произведеніемъ, написаннымъ съ устарѣлыми взглядами и нимало не подвигающимъ современную науку. Напротивъ того, какъ произведеніе русскаго писателя двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, она указываетъ на важную роль, которую занималъ Полевой въ свое время: тогда такая статья могла сдѣлать честь любому европейскому ученому, ибо въ ней отражается все, что жалкая эпоха двадцатыхъ годовъ заключала въ себѣ прогрессивнаго.

Въ этой же книжкѣ нашего журнала, въ отдѣлѣ критики, именно въ статьѣ, написанной по поводу „Краткаго начертанія исторіи русской литературы“ г. Аскоченскаго, мы имѣли случай говорить о *недостаткахъ* науки этого времени. Но нельзя не замѣтить, что и въ этомъ періодѣ наука не осталась безъ заслугъ передъ человѣчествомъ. Мечтая о соединеніи разумнаго съ историческимъ, дуалисты распространили несокрушимое вѣрованіе въ тѣсную связь фактовъ съ идеями, которыя въ нихъ выражаются, и въ бессмысленность всякаго чисто-фактическаго изученія. Теперь это вѣрованіе сдѣлалось не только въ Европѣ, но и у насъ, общимъ мѣстомъ, школьнической фразой. Но, чтобы довести идею до такой популярности, до такого всеобщаго сознанія, надо было когда-нибудь сознать ее и бороться за нее. Честь этой борьбы принадлежитъ доктринерамъ, которыхъ толкователемъ въ Россіи былъ многострадальный Полевой. Ему обязаны мы тѣмъ, что *идея* сдѣлалась въ нашихъ глазахъ необходимымъ условіемъ всякаго ученаго произведенія, и что пятнадцатилѣтніе мальчики понимаютъ требованіе, котораго не понимали очень взрослые люди, возстававшіе на Полевого въ лучшую пору его дѣятельности, то-есть между 1825 и 1835 годами.

Но доктринерское направленіе и въ этомъ отношеніи не обошлось безъ грубыхъ заблужденій, жертвою которыхъ сдѣлался и Полевой. Дѣло въ томъ, что требованіе идеи у большей части ученыхъ ограничивалось фразой, нисколько не проникая въ глубину сознанія: они требовали идей отъ всякаго произведенія науки, потому что *вошло въ моду* идеализировать факты. Слѣдствія такого внѣшняго, не прочувствованнаго, не перевареннаго требованія понятны. Явилось множество ученыхъ сочиненій, въ которыхъ идеи находились въ совершенномъ разладѣ съ фактами, но которыя имѣли успѣхъ въ публикѣ тѣмъ, что удовлетворяли модному запросу: никто не считалъ себя въ правѣ уличать ихъ въ отсутствіи живого организма, несмотря на то, что факты въ нихъ натягивались на идеи, а идеи на факты, какъ узкій фракъ романтически-истасканнаго стихотворца на атлетическія плечи приволжскаго парня. Внѣшній взглядъ на требованія логики разлился съ быстротою молніи, ослѣпляя самые сильные умы, и Гегель умеръ въ тоскѣ безсилія, страдая за всю Европу, которой напрасно старался объяснить отношеніе факта къ идеѣ путемъ отвлеченностей.

Больше всѣхъ наукъ потерпѣла въ этомъ отношеніи исторія, которая больше всѣхъ и выиграла отъ дѣятельности ученыхъ, дѣйствительно понимавшихъ сущность логическаго требованія (не говоря уже о самомъ Гегелѣ). Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть легче построенія системы на фактахъ исторіи человѣческаго рода, если построителю позволяютъ принимать за исходный пунктъ какую бы то ни было идею, нисколько не озабочиваясь значеніемъ фактовъ, на которые онъ вздумаетъ опереть ее! Что такое фактъ? Фактъ—вещь презрѣнная, переходящая, внѣшняя, вещь годная только на то, чтобы служить подножіемъ бессмертной и вѣчной идеѣ, вещь, созданная для произвольнаго употребленія, для забавы великихъ умовъ, прозирающихъ въ святую святыхъ внутренней сущности бытія! При такомъ романтико-философскомъ воззрѣніи на элементы науки, ничего не значить обходиться съ историческими событіями, какъ обходится архитекторъ съ кирпичами, которые даны ему въ несмѣтномъ количествѣ для построенія зданія по произволу фантазіи. Дѣлайте съ ними, что хотите, ломайте и укладывайте ихъ по указанію созданной вами идеи, усиливайте или ослабляйте ихъ значеніе, добывайте ихъ отовсюду, хотя бы мѣсто и время ихъ проявленія и вопили противъ вашей высокой затѣи; выхватывайте одинъ фактъ изъ тысячи противоположныхъ: не то нужно, чтобъ они, въ самомъ дѣлѣ, ложились въ вашу идею, какъ на свое мѣсто,—нужно только, чтобы существовала самая идея, и чтобы развитіе ея имѣло видъ доказательства! Что жъ можетъ быть удобнѣе для такой раздольной потѣхи ума, какъ не исторія, наука, въ которой каждый фактъ такъ легко перетолковать на сто манеровъ и такъ трудно провѣрить съ настоящей точности зрѣнія, какъ фактъ прошедшаго, фактъ, который нельзя повторить по произволу? Чтобы не далеко ходить за доказательствомъ, рассмотримъ, напримѣръ, „Введеніе“, съ содержаніемъ котораго мы уже познакомили читателей.

Полевой хотѣлъ написать подробную исторію Петра Великаго. Родись онъ лѣтъ двадцать позже, онъ задалъ бы себѣ слѣдующія простыя задачи: 1) опредѣлить личность Петра и отношенія ея къ эпохѣ и къ народу; 2) опредѣлить значеніе произведеннаго имъ переворота, принимая въ соображеніе состояніе Россіи до реформы и послѣ реформы. Кажется, чѣмъ не полонъ такой планъ? Приведите его въ исполненіе,—мы узнаемъ изъ вашего сочиненія и самаго Петра, какъ человѣка, и состояніе страны, въ которой явился онъ преобразователемъ, и обстоятельства, вызвавшія его на подвигъ, и цѣнность этого подвига, и наконецъ, результаты. Словомъ, взаимныя отношенія Петра и Россіи будутъ вполне опредѣлены; слѣдовательно, и исторія „мудраго преобразователя Россіи“ будетъ изложена какъ нельзя удовлетворительнѣе. Такъ! Но въ то время, къ которому относится умственное развитіе Полевого, нельзя было дѣлать дѣло такъ просто. Простота была изгнана изъ науки точно такъ же, какъ изъ искусства. Тогда ученый, не желавшій отставать отъ вѣка, не долженъ былъ позволять себѣ говорить о предметѣ, не подведя его подъ какой-нибудь *высшій*

взглядъ, какъ любили тогда выражаться. А подвести предметъ подъ высшій взглядъ значило опредѣлить во что бы то ни стало и какъ бы то ни было отношеніе его къ такому огромному цѣлому, въ которомъ онъ, какъ песчинка въ морѣ. Не сдѣлать этого значило *погрязнуть въ тинѣ фактической изученія* или, иными словами, *не озариться лучезарнымъ блескомъ идей*. Предразсудокъ этотъ былъ такъ силенъ и общъ, что ему часто платили дань въ сочиненіяхъ своихъ и такіе писатели, которымъ удавалось замѣчать его въ другихъ. Такъ, напримѣръ, Полевой въ своей „Исторіи русскаго народа“ подсмѣивается надъ нѣмецкимъ библіографомъ Буле, который ввелъ въ свой каталогъ книгъ по русской исторіи сочиненія объ исторіи древнихъ грековъ, гипербореевъ, киммеріанъ, скифовъ, гетовъ, Аттилу и проч., и проч., „Если слѣдовать такому предположенію“, говоритъ покойный историкъ русскаго народа,— „то не должно ли будетъ начать русскую исторію сочиненіемъ Кювье о переворотахъ земной поверхности?“ <sup>1)</sup> А между тѣмъ, приступая къ исторіи Петра Великаго, самъ онъ начинаетъ не только съ образованія земнаго шара, но даже прямо съ атрибутовъ бытія. „Жизнь есть борьба“,—вотъ первая идея, выраженная имъ во введеніи къ исторіи преобразованія Россіи.

Впрочемъ, начать рѣчь отъ Адама еще не бѣда: во-первыхъ, есть предметы, до того запутанные, что иначе нѣтъ никакой возможности сказать о нихъ что-нибудь дѣльное и убѣдительное; во-вторыхъ, есть и умы, которые тогда только и могутъ разсуждать умно и свободно, когда имъ можно начать рѣчь съ допотопной аксіомы. Но манера эта хороша именно тогда, когда съ помощью ея удастся пролить свѣтъ на предметъ сочиненія изслѣдованіемъ его отношенія къ тому цѣлому, котораго онъ часть. Если же взяться за это дѣло *слишкомъ синтетически*, можно не только не уяснить, но даже совершенно затемнить значеніе разсматриваемаго предмета. Такъ, напримѣръ, Петръ Великій тѣмъ яснѣе для насъ, чѣмъ лучше узнаемъ мы Россію до реформы и послѣ реформы, и потому историкъ поступитъ весьма основательно, если начнетъ исторію его самымъ отчетливымъ изображеніемъ до-петровской Россіи. Напротивъ, подчинить взглядъ на Петра идеѣ всемірной жизни и разсматривать его, какъ одно изъ проявленій этого всеобъемлющаго начала, не значить ли это удалить главный предметъ сочиненія на сотый или тысячный планъ картины? Не должно думать однакожъ, чтобы подобныя замѣчанія могли совершенно относиться къ сочиненію Полевого. По предположенному имъ плану, его исторія Петра должна была начинаться изображеніемъ до-петровской Россіи (смерть помѣшала ему окончить эту статью; но въ „Обозрѣніи“ помѣщено начало ея въ видѣ факсимиле). Слѣдовательно, разсматриваемое нами „Введеніе“ не помѣшало бы дѣлу. Спрашивается: почему же оно было написано? Отвѣтъ на это одинъ: потому что Полевой въ свое

<sup>1)</sup> Исторія русскаго народа, т. I, стр. LI.

время былъ отголоскомъ французскихъ доктринеровъ въ Россіи—Кузена, Гизо и др. Этотъ характеръ вступительной статьи обнаруживается еще болѣе, если разобрать логическое достоинство самой идеи, на которой она построена, и способъ развитія этой идеи.

„Жизнь есть не что иное, какъ бorenіе двухъ началъ—возрожденія и разрушенія, свѣта и тьмы, стремленія частей къ самобытности и стремленія цѣлаго совмѣстить въ себѣ самобытность частей“.

Благословимъ, читатели, текущій тысяча-восемьсотъ-сорокъ-шестой годъ: онъ виновникъ того, что прописанная здѣсь фраза одного изъ умнѣйшихъ представителей двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ нашего столѣтія разоблачается передъ нами въ своей многозначительной ложности! Проходитъ то время, когда европейскій ученый могъ щеголять передъ европейскою же публикой ученіемъ Зороастра. Полно намъ насиловать свой мозгъ дуалистическими теоріями! Пора воспользоваться намъ открытіемъ Бэкона: въ немъ все призваніе Европы и развитіе человѣчества. Подвергнемъ *анализу* все, что кажется намъ несомнѣннымъ только потому, что мудрецы-учители признавали его несомнѣнностью. Вотъ прекрасный случай: разберемъ аналитически фразу Полевого и рассмотримъ, останется ли отъ нея что-нибудь, кромѣ словъ.

Начало возрожденія! Начало разрушенія! Что это за силы? Кто замѣтилъ дѣйствіе ихъ въ природѣ? Кѣмъ и чѣмъ онѣ измѣрены? Правда, мы часто употребляемъ эти слова въ своей рѣчи; но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы мы не придавали имъ условнаго смысла, чтобы понятія, выражаемые этими словами, существовали въ дѣйствительности, какъ предметы или какъ силы. Если я говорю: такое-то растеніе возраждается каждый годъ и каждый годъ разрушается,—что это значитъ? Это значитъ, что вещество всемірной жизни ежегодно принимаетъ между прочими формами и форму того растенія, о которомъ я говорю,—для того, чтобы потомъ перейти въ другую форму. Тутъ нѣтъ въ дѣйствиіи никакого начала возрожденія и никакого начала разрушенія; есть только жизнь съ непрерывною смѣною формъ, доступныхъ нашимъ чувствамъ. То же самое относится и къ жизни рода человѣческаго: мы говоримъ, что онъ безпрестанно возрождается и разрушается. Это опять-таки значитъ, что жизнь или начало жизни (назовите это какъ угодно) безпрестанно проявляется въ формахъ новыхъ и новыхъ человѣческихъ поколѣній. Сумма жизненности, опредѣленная свыше на поддержаніе человѣчества, ни мало не уменьшается, ибо люди рождаются все такими же существами, какъ прежде,—только образъ ея проявленія, расположеніе и дѣятельность стихій ея ежеминутно измѣняются. Слѣдовательно, мы видимъ здѣсь одно безконечное, вращательное измѣненіе жизни, между тѣмъ какъ ни начала возрожденія, ни начала разрушенія, какъ силъ дѣйствительныхъ, не воображаемыхъ, нѣтъ въ человѣчествѣ. Укажите хоть на одинъ фактъ, которымъ опредѣлялись бы сущность и дѣйствіе силы возрожденія: мы повѣримъ, что сила

или начало возрожденія существуетъ въ дѣйствительности. Укажите и другой фактъ, такой, изъ котораго можно было бы составить себѣ понятіе о сущности и дѣйствиіи силы разрушенія: мы также повѣримъ, что такая сила существуетъ не въ одномъ воображеніи дуалистовъ. А до тѣхъ поръ борьба этихъ началъ будетъ для насъ миеомъ, занесеннымъ въ Европу александрійскою философіей зъ востока...

Итакъ, уже въ самой отвлеченной формѣ своей, идея Полевого представляетъ совершенно несогласіе съ дѣйствительностью. Въ примѣненіи къ исторіи человѣчества она дѣлается еще страннѣе. Какъ овестивить начала, допущенныя произвольно? Полевой олицетворяетъ ихъ Европой и Азіей, говоря, что борьба этихъ противоположностей должна была составить жизнь человѣчества. Вы спросите, можетъ быть: почему не приняты имъ въ соображеніе и остальные три части свѣта? Какъ истинный представитель своей эпохи, онъ не останавливается на этомъ обстоятельстве и выручаетъ свою идею слѣдующею фразой: *всѣ другія части свѣта и исторія ихъ суть только дополненія къ исторіи Азии и Европы.*

Далѣе, спрашивается: которая же изъ двухъ частей свѣта представляетъ начало возрожденія, и которая—начало разрушенія, Европа или Азія? Отъ ученаго, утверждающаго, что борьба той и другой есть борьба двухъ противоположныхъ началъ, мы въ правѣ требовать, чтобъ онъ ясно отвѣчалъ хоть на этотъ пунктъ. Но люди, рѣшившіеся во что бы то ни стало бросать *высшій взглядъ* на дѣйствительность, готовы пожертвовать всѣмъ для того, чтобъ увѣрить васъ, что этотъ взглядъ дѣйствительно существуетъ; откровенности не найдете у нихъ даже въ томъ приѣмѣ, который означается словами: постановить вопросъ (*poser la question*), и Полевой не сказалъ бы вамъ, какая часть свѣта играетъ въ исторіи человѣчества роль начала возрожденія, какая—роль начала разрушенія. У него есть на то свои важныя причины. Если бъ онъ поступилъ иначе, ему нельзя было бы провести той *идеи*, которую онъ рѣшился провести сквозь историческіе факты. Изъ сдѣланныхъ нами выписокъ вы видите, что въ его системѣ Европа и Азія безпрестанно мѣняются ролями; а этого не могъ бы онъ напечатать, если бы въ самомъ изложеніи темы опредѣлилъ каждой изъ нихъ одну какую-нибудь роль. Слишкомъ ясна показалась бы даже и страстнымъ поклонникамъ доктринерства такая система, въ которой сила, названная началомъ разрушенія и тьмою, *оживляетъ* другую, названную началомъ возрожденія и свѣтомъ. Въ томъ-то и заключается ловкость постановленія темы дуалистическаго сочиненія, чтобы читатель до самаго конца оставался въ увѣренности, будто бы у сочинителя, въ самомъ дѣлѣ, была какая-нибудь идея, какой-нибудь *высшій взглядъ* на предметъ, о которомъ онъ трактуетъ.

Постановивъ свой вопросъ, Полевой переходитъ къ историческимъ фактамъ. Хрустятъ и падаютъ эти факты передъ идеей доктринера, какъ побѣги молодыхъ



лѣска подѣ тяжелостопнымъ бѣгомъ слоновъ. Встрѣчаются, однакожъ, между ними и такіе, которые ни за что не хотятъ гнуться. Тутъ доктринеры однимъ взмахомъ пера, однимъ красивымъ періодомъ умѣютъ обойти всякое противорѣчіе. Напримеръ: надо доказать, что жизнь человѣчества слагается изъ борьбы Азіи съ Европой. Какъ же быть съ тѣми эпохами, которыя не представляютъ этого явленія? Ничего! Надо только какъ можно меньше говорить о нихъ, отдѣлаться двумя-тремя фразами, да и перейти скорѣе къ другимъ эпохамъ, гдѣ идея ваша, какъ дома: не замѣтять. Полевой, вѣрный своему времени, такъ поступилъ съ исторіей Европы и Азіи до Троянской войны: „Мирно и дружелюбно мѣнялись вначалѣ своими пріобрѣтеніями человѣкъ азіійскій и человѣкъ европейскій. Эллины учились у халдеевъ и египтянина, финикіецъ отдавалъ свои ткани за янтарь Балтики и олово Альбіона; спартанецъ помогалъ оружіемъ персу; берега Азіи усыялись цвѣтущими селеніями грековъ. *Но эллины явились въ Египтъ и Персію съ мечемъ въ рукѣ*“ и проч. (стр. XXXII). Той же методы придерживался онъ, говоря объ эпохѣ, предшествовавшей переселенію народовъ: „Снова мирно и дружелюбно началась мѣна идей, опытовъ и труда между Азіей и Европою. *Но область исторіи раздвинулась уже на лѣса тевтоновъ*“ и проч. (стр. XXXIII и XXXIV).

А вотъ затруднительное обстоятельство—новая исторія! Больше трехсотъ лѣтъ. нѣтъ какъ нѣтъ никакой борьбы Европы съ Азіей. Турки взяли Константинополь и оборвали систему. Но мы не вѣримъ; система найдется. И въ самомъ дѣлѣ, слушайте: „Надобно было европейскому человѣку еще разъ сознать свои силы и тогда только устремиться на борьбу. Слѣдствіемъ сознанія долженствовало быть равновѣсіе внутреннихъ силъ и дѣятелей Европы; слѣдствіе устремленія должно было опять отразиться на востокъ“ (стр. XXXVII).

Вотъ для чего Европа развивалась въ послѣднія три столѣтія, вотъ для чего произвела она столько гениевъ и совершила столько подвиговъ въ области наукъ, искусствъ и обществѣнности! Довольно! Вы видите теперь, что такое „Введеніе въ исторію Петра Великаго“. Это—дань необыкновеннаго дарованія эпохѣ, въ которую оно развивалось и дѣйствовало и вмѣстѣ съ тѣмъ выразительный памятникъ тогдашняго направленія науки. Съ самою исторіей Петра Великаго „Введеніе“, разумѣется, не имѣетъ никакой органической связи. Исторія Петра Великаго сама по себѣ. Не судить объ этомъ произведеніи, какъ о чемъ-нибудь цѣломъ, не возможно: читаешь его—и постоянно чувствуешь, что авторъ затягиваетъ нить, которую намѣренъ провести далеко, и вдругъ эта нить обрывается... Видно, что многое, даже самое главное отложено; видно, что историкъ хотѣлъ прежде всего изложить факты, а потомъ уже произнести о нихъ свое сужденіе. Однакожъ, самые факты излагаются весьма занимательно, даже не безъ драматизма, и вообще эта книга замѣчательна, какъ врензведеніе одного изъ главныхъ представителей уже кончившейся эпохи русской литературы.

## А. Тьеръ.

**Исторія консульства и имперіи. Сочиненіе А. Тьера. Переводъ О. Кони. Томъ II  
Часть четвертая. Санктпетербургъ. 1846.**

„Исторіи консульства и имперіи“ поспчастливилось въ нашей литературѣ: въ теченіе одного года появилось на русскомъ языкѣ два ея перевода. Первый, помѣщенный сперва въ „Отечественныхъ Запискахъ“, изданъ былъ впоследствии особую книгой; второй, предпринятый г. Кони, продолжается до сихъ поръ. Четвертый выпускъ послѣдняго перевода, вышедшій въ прошломъ мѣсяцѣ, доставляетъ намъ случай подробнѣе поговорить объ этомъ замѣчательномъ произведеніи. До сихъ поръ мы касались его слегка, не имѣя обыкновенія произносить рѣшительные приговоры о сочиненіяхъ еще не оконченныхъ. Но вышедшіе доселѣ пять томовъ „Исторіи“ Тьера, обнимая собою эпоху отъ 18-го брюмера до третьей коалиціи, составляютъ уже такое цѣлое, что имъ достаточно охарактеризовались и способъ изложенія автора, и воззрѣніе его на событія описываемаго имъ времени.

*Nabent sp̄a fata libelli!* Исторія Наполеона, давно уже обѣщанная Тьеромъ, не только обратила на себя вниманіе всего читающаго міра, но и произвела волненіе во всѣхъ европейскихъ литературахъ. Книга эта имѣетъ уже свою исторію, и сводъ всѣхъ статей, написанныхъ о ней въ Англіи, Франціи и Германіи, могъ бы составить многотомное сочиненіе.

Въ этомъ множествѣ статей можно, разумѣется, найти отголоски мнѣній всякаго рода—умѣренныя похвалы и умѣренныя оужденія, безусловный восторгъ и безусловное порицаніе. Но вообще нельзя не замѣтить, что большинство критиковъ не на сторонѣ Тьера, и что вполне одобрительные аттестаты его исторіи подписаны очень немногими французскими журналами, издающимися подъ его же вліяніемъ. На большинство мыслящихъ европейскихъ читателей „Исторія консульства и имперіи“ произвела, по видимому, не совсѣмъ благопріятное впечатлѣніе: отъ автора „Исторіи Французской революціи“, отъ человѣка, играющаго такую важную роль въ политическихъ дѣлахъ Франціи, ожидали чего-то лучшаго. Само собою разумѣется, что поводомъ къ нѣкоторымъ черезъ чуръ строгимъ приговорамъ послужили разныя постороннія обстоятельства: во Франціи—личное положеніе автора, какъ главы извѣстной политической партіи, въ Англіи—вспышки узкаго патріотизма, оскорбившагося общимъ тономъ „Исторіи“ Тьера и нѣкоторыми частными его выходками. Оставляя въ сторонѣ всѣ тѣ сужденія, которыя носятъ на себѣ очевидные признаки пристрастія и личной ненависти, мы рассмотримъ здѣсь обвиненія, высказанныя противъ Тьера людьми менѣе пристрастными и болѣе хладнокровными во имя истины и справедливости.

Большая часть этих обвинений направлена противъ достоверности извѣстій, сообщаемыхъ Тьеромъ въ его „Исторіи“. Особенно нѣмецкіе критики не находятъ у него того уваженія къ исторической истинѣ, которое должно составлять самое существенное условіе всякаго историческаго произведенія. Тьера обвиняютъ въ томъ, что при описаніи событій военныхъ и дипломатическихъ онъ часто впадаетъ въ самые непростительные промахи, что онъ, для удовлетворенія своему пристрастному патріотизму, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ своего сочиненія уродуетъ и искажаетъ факты, въ другихъ сочиняетъ совсѣмъ небывалыя вещи. Нельзя не сознаться, что онъ самъ въ извѣстной степени подалъ поводъ къ этимъ упрекамъ. Имѣя въ рукахъ многочисленные, оффиціальныя и никому еще неизвѣстные источники, онъ не заботится о томъ, чтобы знакомить съ ними своихъ читателей, и, не желая, подобно нѣмецкимъ историкамъ, наполнять большую половину книги своей цитатами, впадаетъ въ противоположную крайность, не доставляя никакого ручательства за вѣрность приводимыхъ имъ фактовъ. Этимъ обстоятельствомъ воспользовались, разумѣется, нѣмецкіе геллертеры, которые призвали на помощь всю свою фактическую ученость и весь свой неумолимый педантизмъ для того, чтобы разбить Тьера въ пухъ и въ прахъ на этой выгодной для нихъ позиціи. Правы они или нѣтъ—рѣшить трудно; но надо предполагать, что Тьеръ, оцѣняя общему и весьма похвальному обыкновению французскихъ историковъ, приложить къ концу своего сочиненія, какъ „*pièces justificatives*“, тѣ документы, которыми онъ пользовался. Тогда рѣшатся сами собою воздвигнутые нынѣ вопросы о числѣ кораблей, сражавшихся при Альжезирасѣ, о количествѣ убитыхъ въ сраженіи при Маренго и о тому подобныхъ сомнительныхъ пунктахъ, поясненіе которыхъ такъ важно и необходимо для человѣчества вообще и для нѣмецкаго человѣчества въ особенности!

Не всѣ однакоже критики Тьера ограничиваются такими мелочными придирками; многіе изъ нихъ мѣтятъ выше и находятъ гораздо важнѣйшій недостатокъ въ его сочиненіи. Этотъ недостатокъ, по ихъ мнѣнію, заключается въ совершенномъ отсутствіи идей и общихъ взглядовъ. Тьеръ, говорятъ они,—написалъ занимательный романъ, а вовсе не исторію въ настоящемъ значеніи этого слова; сочиненіе его—не болѣе, какъ живое, искусное изложеніе фактовъ, чуждое всякаго философскаго воззрѣнія на внутренній смыслъ описываемой эпохи и на значеніе Наполеона, какъ лица всемірно-историческаго. Встрѣчающіяся кое-гдѣ афористическія разсужденія автора о значеніи и достоинствѣ нѣкоторыхъ правительственныхъ распоряженій Наполеона не могутъ ни въ какомъ случаѣ замѣнить собою отсутствіе одной общей идеи, одного общаго взгляда на эпоху консульства и имперіи.

Такое обвиненіе совершенно несправедливо. Впрочемъ, надо замѣтить, что оно принадлежитъ нѣмецкимъ критикамъ, которые, естественно, составляютъ себѣ идеалъ историка по нѣмецкимъ же историкамъ. А извѣстно, что нѣмецъ ко

всему, въ томъ числѣ и къ сочиненію исторіи, приступаетъ по особенной, ему одному свойственной методѣ. Прежде всего онъ старается совершенно отдѣлать идеи, выражающіяся, по его мнѣнію, въ извѣстномъ ряду фактовъ, отъ самихъ этихъ фактовъ; затѣмъ, приискавъ для своей идеи возможно непопятную и возможно отвлеченную форму, онъ помѣщаетъ ее въ самомъ началѣ сочиненія, какъ основной свой „Satz“, оправданіемъ которому должна служить самая книга. Упрочивъ такимъ образомъ то, что считаетъ онъ *единствомъ* излагаемаго предмета, и удовлетворивъ потребности своего синтетическаго ума, онъ разлагаетъ свою идею на различные ея элементы и, сообразуясь съ этимъ, пластаетъ самые факты на періоды, отдѣленія, подотдѣленія и параграфы, употребляя при этомъ случаѣ цифры римскія, арабскія, буквы латинскія и греческія. Та же самая операція повторяется и при изложеніи каждаго особаго отдѣла; нѣмецкій историкъ старается непременно такъ распредѣлить свои матеріалы, чтобы каждая группа фактовъ служила выраженіемъ какой-нибудь идеи; эта идея, разумѣется, опять совершенно отвлекается имъ отъ внѣшняго ея проявленія и помѣщается особо, какъ вывѣска, подъ названіемъ „общаго взгляда“ или „общихъ понятій“. Всѣ эти ученые „Kunststücke“ имѣютъ, кажется, цѣлью, во-первыхъ, доказать всѣмъ и каждому, что авторъ сочиненія—человѣкъ съ высшими взглядами, *умѣющій* открывать внутренній смыслъ внѣшнихъ явленій, и во-вторыхъ, предупредить со стороны читателя всякую ошибку на счетъ истиннаго значенія тѣхъ или другихъ происшествій. Совершенно иначе поступаютъ въ этомъ дѣлѣ французы: для нихъ исторія не только *наука*, но и *искусство*; для нихъ художественное изложеніе составляетъ необходимое условіе всякаго историческаго произведенія, что, разумѣется, нисколько не мѣшаетъ имъ понимать внутренній смыслъ каждаго явленія и показывать истинное, философское значеніе каждой эпохи и каждаго событія. Все различіе между ними и нѣмцами состоитъ только въ томъ, что они не заражаются духомъ систематизма, не отвлекаютъ общихъ идей отъ частныхъ ихъ проявленій и стараются живымъ изложеніемъ и искусною группировкой фактовъ навести самого читателя на ту главную мысль, которая въ нихъ выражается. Однимъ словомъ, французы *показываютъ* истину, вмѣсто того, чтобы *доказывать* ее, какъ дѣлаютъ нѣмцы. Подъ перомъ французскаго историка событія говорятъ сами за себя, и читатель, не видя нигдѣ личности автора, невольно раздѣляетъ всѣ его мнѣнія, вовсе не думая, чтобы эти его мнѣнія были только личными и произвольными воззрѣніями самого историка. Само собою разумѣется, что употребленіе такой исторической методы удастся весьма немногимъ: для того, чтобы написать такую исторію, художественную и вмѣстѣ съ тѣмъ философскую, недостаточно самой огромной эрудиціи: необходимо, кромѣ того, быть художникомъ, имѣть талантъ особаго рода, талантъ, слишкомъ рѣдко достигающійся на долю нѣмецкихъ историковъ. Этого рода талантомъ надѣленъ въ высшей степени Тьеръ; рѣдко кто сравнится съ нимъ въ *умѣньи*

излагать идею и факты во внутренней, неразрывной связи; рѣдко кому удастся такъ завлечь и заинтересовать читателя живостью и занимательностью разсказа и въ то же время не замѣтнымъ образомъ передать ему свои собственныя убѣжденія. Читая „Исторію консульства и имперіи“ во французскомъ подлинникѣ, невольно увлекаешься этою художественностью разсказа и забываешь свое собственное мнѣніе, для того, чтобы раздѣлять вполне образъ мыслей автора. И, прочтя книгу однимъ разомъ съ начала до конца, надо еще употребить значительное усиліе, чтобъ избавиться отъ обаятельнаго вліянія этого искуснаго изложенія и возвратить себѣ свободу мысли и сужденія. Это умѣнье выражать ясно свою основную идею посредствомъ самаго изложенія и группировки фактовъ такъ велико у Тьера, что въ настоящемъ случаѣ, противъ его воли, оно оказало ему весьма дурную услугу. Нисколько не желая, по весьма понятнымъ причинамъ, обнаруживать передъ читателями настоящій свой образъ мыслей, Тьеръ не только нигдѣ не выразилъ своей общей идеи въ ясныхъ и точныхъ словахъ, но даже счелъ долгомъ въ положительныхъ сужденіяхъ своихъ по поводу разныхъ событій высказывать начала, совершенно несогласныя съ своею дѣйствительною тенденціей, а между тѣмъ уловка эта не можетъ обмануть ни одного сколько-нибудь понятливаго читателя и общимъ впечатлѣніемъ, производимымъ цѣлою книгой, уничтожаетъ противоположное дѣйствіе нѣкоторыхъ отдѣльныхъ ея мѣстъ.

Этимъ вполне объясняются самый существенный недостатокъ „Исторіи“ Тьера и настоящая причина общаго неудовольствія, ею возбужденнаго. Замѣтное для каждаго противорѣчіе между частными сужденіями о нѣкоторыхъ событіяхъ Наполеоновской эпохи и общимъ тономъ сочиненія—вотъ что рѣшило судьбу „Исторіи консульства и имперіи“. Для людей, знакомыхъ съ характеромъ политической дѣятельности Тьера, понятно, что въ его послѣднемъ историческомъ произведеніи господствуетъ точно такая же двойственность, какъ въ политической его жизни, представляющей ясный разладъ между тѣми задумевными, внутренними влеченіями, которыя онъ отрицательно скрываетъ, обнаруживая только изрѣдка и противъ своей воли, и тѣми принципами, которые составляютъ его открытую *profession de foi*, и которые онъ съ такимъ искусствомъ и краснорѣчіемъ проповѣдуетъ на трибунѣ палаты депутатовъ. Во Франціи Тьера не даромъ называютъ Наполеономъ въ миниатюрѣ. Принципы крѣпкой и сильной централизаціи административной и политической, представителемъ которыхъ въ свое время былъ Наполеонъ, возбуждаютъ въ Тьерѣ сильное сочувствіе. Онъ очень желалъ бы порадовать въ этомъ отношеніи великому человѣку. Но, къ его несчастію, принципы эти нисколько не соотвѣтствуютъ ни современному направленію идей во Франціи, ни положенію его, какъ главы оппозиціи. Это обстоятельство ставитъ его въ самое фальшивое положеніе и заставляетъ безпрестанно противорѣчить самому себѣ и опровергать словесно и письменно такія начала, которыя на самомъ дѣлѣ приходятся ему совершенно по сердцу. Никогда еще и нигдѣ это противорѣ-

чіе между тайнымъ влеченіемъ и открытыми дѣйствіями одного и того же лица не выразилось такъ ясно, какъ въ „Исторіи консульства и имперіи“. Если обращать вниманіе только на одни разсужденія Тьера о Наполеоновской эпохѣ, то нельзя не сознаться, что эти идеи въ высшей степени справедливы, основательны и современны, и что между ними нѣтъ ни одной, которую слѣдовало бы скрывать и въ которой стыдно было бы сознаться. Въ исторической дѣятельности Наполеона Тьеръ прямо различаетъ двѣ эпохи: одну, когда Бонапарте, сначала какъ генераль Французской республики, потомъ какъ первый ея консуль, дѣйствовалъ сообразно съ потребностями Франціи и являлся гениальнымъ исполнителемъ народной воли, орудіемъ, посредствомъ котораго живущій въ исторіи разумъ осуществлялъ свои цѣли, и другую, когда тотъ же самый человѣкъ, жертвуя для удовлетворенія своему тщеславію тѣми принципами, которые онъ представлялъ въ себѣ, какъ сынъ революціи, подчинялъ своей желѣзной волѣ Францію и половину Европы, возлагалъ на себя императорскую корону, сажалъ братьевъ своихъ на европейскіе троны, изнурялъ Францію безплодными и сверхъестественными усиліями и, въ вознагражденіе за кратковременное величіе, готовилъ ей незаслуженное униженіе. Эти двѣ эпохи существенно отличаются одна отъ другой, и Тьеръ не могъ не указать на это различіе; но, къ сожалѣнію, онъ этимъ только и ограничился. Различіе у него существуетъ только на словахъ, а не на дѣлѣ; въ сущности же и первая эпоха, и начало второй описываются имъ совершенно одинаковымъ тономъ, въ совершенно одинаковомъ духѣ, съ тою же симпатіей къ личности Наполеона, съ тѣмъ же уваженіемъ къ его правительственнымъ дѣйствіямъ, съ тѣмъ же стремленіемъ оправдать самыя насильственные его мѣры, самыя диктаторскія его распоряженія... Въ душѣ Тьеръ сочувствуетъ Наполеону императору точно такъ же, какъ и Наполеону первому консулу. Онъ съ любовью слѣдитъ за каждымъ новымъ шагомъ его на пути реакціи, и чѣмъ болѣе дерзости и честолюбія проявляется въ дѣйствіяхъ Наполеона, чѣмъ невыносимѣе становится диктаторскій его тонъ, тѣмъ болѣе удивляется ему и благоговѣетъ передъ нимъ его историкъ. Только изрѣдка, чувствуя, что это направленіе увлекаетъ его слишкомъ далеко, старается онъ изгладить произведенное впечатлѣніе нѣсколькими строгими фразами и нѣсколькими справедливыми сужденіями. Но эти строгія фразы онъ говоритъ какъ будто не хотя и противъ своихъ убѣжденій; эти справедливыя сужденія какъ-то не идутъ къ общему тону разсказа и носятъ на себѣ явный отпечатокъ главной, худо скрываемой тенденціи. Даже тамъ, гдѣ Тьеръ уже прямо рѣшается порицать Наполеона за его диктаторскіе поступки, ясно обнаруживается стремленіе оправдать чѣмъ-нибудь эти поступки и умѣрить по возможности строгій приговоръ. Въ примѣръ и подтвержденіе этой двусмысленности сужденій мы приведемъ одно мѣсто, въ которомъ Тьеръ, говоря о постепенно возраставшемъ честолюбіи Наполеона, исчислятъ всѣ его подвиги въ первую и блистательнѣйшую эпоху его жизни и заклю-



часть слѣдующими словами: „Теперь, если, позабывъ на минуту все то, что сдѣлалъ онъ въ послѣдствіи, мы предположимъ, что этотъ диктаторъ, тогда еще необходимый, остался благоразумнымъ при всемъ своемъ величіи, соединилъ въ себѣ тѣ противоположныя совершенства, которыя, правда, Божество еще не соединяло еще никогда въ одномъ человѣкѣ, ту гениальную энергію, которая производитъ великихъ полководцевъ, съ тѣмъ терпѣніемъ, которое составляетъ отличительную черту основателей государствъ, успокоилъ продолжительнымъ миромъ взволнованное французское общество, приготовилъ его мало по малу къ той свободѣ, которая составляетъ силу и потребность современныхъ обществъ, и потомъ, возвеличивъ Францію, разсѣялъ опасенія Европы, вмѣсто того, чтобы возбуждать ихъ, утвердилъ на вѣчныя времена территоріальныя распоряженія Люневильскаго и Аміенскаго трактатовъ, и наконецъ, отыскавъ себѣ гдѣ бы то ни было достойнѣйшаго преемника, передалъ ему въ руки Францію устроенную, приготовленную къ свободѣ и навсегда возвеличенную,—если мы предположимъ, что онъ сдѣлалъ все это, то спрашиваемъ: нашелся ли бы гдѣ-нибудь человѣкъ, ему равный? Но такой человѣкъ, который бы превзошелъ Цезаря своимъ военнымъ гениемъ, Августа—своею политическою мудростью и Марка-Аврелія—своею добродѣтелью, былъ бы болѣе, нежели человѣкъ, а Провидѣніе не даетъ боговъ въ правители міру!“

Что-нибудь одно: или человѣкъ дѣйствительно не въ состояніи исполнить всего, чего желалъ бы Тьеръ, и тогда эти безплодныя желанія походятъ нѣсколько на невинныя мечтанія Манилова,—или Наполеонъ могъ бы и долженъ былъ бы положить предѣлы своему честолюбію, и тогда послѣднія слова Тьера не имѣютъ рѣшительно никакого значенія. Не ясно ли, что эти послѣднія слова уничтожаютъ собою весь смыслъ предшествовавшихъ, и не показываетъ ли это мѣсто, что подъ перомъ Тьера всякій упрекъ, который онъ хочетъ сдѣлать Наполеону, невольно превращается въ похвалу и въ оправданіе?

Это направленіе историка такъ замѣтно и ощутительно для каждаго, что почти во всѣхъ печатныхъ и непечатныхъ сужденіяхъ объ его послѣднемъ сочиненіи содержится одно и то же обвиненіе, обвиненіе въ излишнемъ пристрастіи къ Наполеону. Общій голосъ критики называетъ „Исторію консульства и имперіи“ не исторіей Наполеона, а панегирикомъ его. Надо, впрочемъ, замѣтить, что это обвиненіе справедливо только въ извѣстномъ отношеніи: что Тьеръ не хотѣлъ и не думалъ быть пристрастнымъ, это видно изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ онъ прямо и открыто порицаетъ нѣкоторыя дѣйствія Наполеона. Правда, эти мѣста, какъ мы уже замѣтили выше, отзываются какою-то двусмысленностью и противорѣчатъ общему тону сочиненія; но это происходитъ не столько отъ пристрастія къ личности Наполеона, какъ говорятъ обыкновенно, сколько отъ пристрастія къ тѣмъ принципамъ, которые осуществлялъ въ себѣ этотъ необыкновенный человѣкъ. Когда мы стоимъ крѣпко за извѣстную идею, то весьма

естественно переносимъ свою любовь къ этой идѣѣ и на ея представителей, точно такъ же, какъ, съ другой стороны, для насъ бываютъ часто ненавистны нѣкоторые люди потому только, что они представляютъ собою ненавистные для насъ принципы. Всего лучше можно объяснить это, сравнивъ „Исторію консульства и имперіи“ съ „Исторіей французской революціи“. И въ томъ, и въ другомъ сочиненіи мы находимъ совершенно одинаковый взглядъ на исторію человѣчества, въ которой Тьеръ видитъ постоянное выраженіе законовъ разумной необходимости, а не игру слѣпого случая или человѣческаго произвола. Сообразно съ этимъ, всѣ эпохи французской революціи представляются ему необходимыми моментами развитія одной и той же идеи; всѣ онѣ, въ его понятіи, имѣютъ свою относительную цѣнность и свою безусловную необходимость. Съ этой же точки зрѣнія смотритъ онъ и на ту эпоху реакціи, которая непосредственно слѣдовала за періодомъ терроризма и продолжалась отъ девятаго термидора до учрежденія пожизненнаго консульства. Но совершенно иначе судитъ онъ о дальнѣйшемъ развитіи этого контрреволюціоннаго принципа въ рукахъ Наполеона: въ монархической реакціи Наполеона онъ вовсе не признаетъ того характера разумной необходимости, который находитъ въ реакціи предшествовавшей эпохи. „Если“, говоритъ онъ,—„учрежденіе пожизненнаго консульства было дѣйствіемъ мудрымъ и политическимъ, не избѣжнымъ дополненіемъ необходимой еще тогда диктатуры, то возстановленіе монархіи въ пользу Наполеона Бонапарте было, по крайней мѣрѣ, по нашему мнѣнію, не похищеніемъ престола (выраженіе, заимствованное изъ языка эмигрантовъ), но послѣдствіемъ тщеславія со стороны того, кто съ излишнею горячностью стремился къ этой перемѣнѣ, и послѣдствіемъ неблагоприятной жадности со стороны его совѣтниковъ, спѣшившихъ извлечь для себя какую-нибудь выгоду изъ этого минутнаго царствованія“.

Послѣ этого рѣшительнаго и вовсе уже недвусмысленнаго приговора слѣдовало бы ожидать, что Тьеръ будетъ съ негодованіемъ описывать всѣ подробности преобразования республики въ имперію и произнесетъ строгое сужденіе на счетъ тѣхъ смѣшныхъ и оскорбительныхъ крайностей, до которыхъ тщеславіе и честолюбіе доводили Наполеона. На самомъ же дѣлѣ, мы не только не встрѣчаемъ ничего подобнаго, но находимъ, вмѣсто того, сужденія въ высшей степени снисходительныя и благосклонныя, рассказъ живой, исполненный жара и увлеченія и проникнутый отъ начала до конца сильнымъ очевиднымъ сочувствіемъ ко всѣмъ происшествіямъ этой эпохи. Не можемъ подтвердить выписками справедливость этихъ замѣчаній, потому что въ такомъ случаѣ пришлось бы выписывать цѣлыя главы; но ссылаемся на тѣхъ, которые читали „Исторію консульства и имперіи“ и которые могли сами видѣть, съ какою любовью описываетъ Тьеръ всѣ подробности коронованія Наполеона, какъ настаиваетъ на самыхъ ничтожныхъ мелочахъ и съ какимъ удовольствіемъ распространяется о тѣхъ пышныхъ церемоніяхъ, посредствомъ которыхъ Наполеонъ изъ перваго сановника

республики преобразился въ императора французовъ. Однимъ словомъ, вся эта часть „Исторіи“ Тьера походитъ гораздо болѣе на панегирикъ снисходительнаго Плинія, нежели на памфлетъ желчнаго Тацита.

Совершенно противное находите вы въ „Исторіи французской революціи“, при описаніи эпохи терроризма. Въ сужденіяхъ своихъ объ этой эпохѣ Тьеръ признаетъ ея безусловную необходимость: а между тѣмъ событія ея описывать онъ самымъ недовольнымъ тономъ и на дѣятелей того времени смотреть не иначе, какъ на злодѣевъ, имя которыхъ—позоръ для человѣчества. Онъ отнимаетъ у нихъ всякое нравственное достоинство, часто даже клеветаетъ на ихъ побужденія и представляетъ ихъ поступки въ самомъ черномъ видѣ. Негодованіе историка и ненависть его къ представителямъ этой кровавой эпохи высказываются на каждой страницѣ, въ каждой строчкѣ; и все это происходитъ отъ того, что антипатія Тьера къ принципамъ 93 года такъ же велика, какъ велика его симпатія къ принципамъ эпохи Наполеона.

Это внутреннее расположеніе Тьера къ Наполеоновскимъ принципамъ простирается такъ далеко, что онъ не можетъ сохранять своего равнодушія и хладнокровія, говоря о тѣхъ людяхъ, которые въ свое время противодѣйствовали ихъ распространенію. Полагая, что противодѣйствіе это, по обстоятельствамъ и духу того времени, было неблагоприятно и бесполезно, Тьеръ этимъ не ограничивается и произноситъ на счетъ личнаго характера всѣхъ почти противниковъ военной диктатуры самыя строгія и рѣзкія сужденія: всѣ его отзывы о нихъ носятъ на себѣ слѣды явнаго пристрастія и недоброжелательства; въ самомъ Наполеонѣ, можетъ быть, оппозиція эта не возбуждала такой досады, какую возбуждаетъ она въ Тьерѣ. Разсказывая о томъ, какъ Камбасересъ сопротивлялся намѣренію Наполеона возстановить наследственную монархію, Тьеръ приписываетъ это сопротивление одному личному неудовольствію Камбасереса, которому будто бы непріятно было видѣть, что прежній его товарищъ сдѣлается его повелителемъ. Говоря объ оппозиціи трибуната, Тьеръ называетъ ее мелочною и *неприличною* (!) и, вмѣсто того, чтобъ объяснить ее тѣмъ сознаніемъ, которое имѣло это установленіе о своемъ политическомъ назначеніи, онъ приписываетъ ее, Богъ знаетъ на какомъ основаніи, какимъ-то тайнымъ и неблагороднымъ побужденіямъ. Вотъ это любопытное сужденіе Тьера объ отношеніяхъ трибуната къ Наполеону:

„Таковъ былъ конецъ—не трибуната, который продолжалъ еще существовать нѣсколько времени, но той кратковременной важности, которую приобрѣло было это установленіе. Конечно, желательно бѣ было, чтобы первый консулъ, вознагражденный всеобщимъ одобреніемъ Франціи за эту неприличную оппозицію, остался равнодушнымъ къ тщетнымъ усиліямъ нѣсколькихъ безсильныхъ клеветниковъ. Это равнодушіе было бы достойно самого Наполеона и менѣе бы повредило тому подобію свободы, которое бы онъ могъ тогда намъ оставить для того, чтобы приготовить насъ въ послѣдствіи къ свободѣ настоящей. Но въ этомъ мірѣ

благоразуміе встрѣчается гораздо рѣже, нежели искусство, рѣже даже, нежели геній, потому что благоразуміе предполагаетъ побѣду надъ собственными своими страстями, побѣду, къ которой великіе люди такъ же мало способны, какъ и всѣ другіе. Первому консулу—мы должны въ этомъ сознаться—не достало благоразумія въ этомъ случаѣ; и въ его пользу можно привести только то извиненіе, что подобная оппозиція, поощряемая его терпѣливостію, сдѣлалась бы, можетъ быть, не только затруднительною, но опасною и даже непобѣдимой, еслибы большинство законодательнаго собранія и сената приняло въ ней участіе, что было очень возможно. Это изысканіе имѣетъ извѣстное основаніе и доказываетъ, что бываютъ эпохи, когда диктатура бываетъ необходима даже въ странахъ свободныхъ или предназначенныхъ къ свободѣ. Что касается до этой оппозиціи трибуната, то она не заслуживаетъ вовсе тѣхъ похвалъ, которыя ей часто расточали. Мелочная и привязчивая, она возставала противъ гражданскаго кодекса, противъ лучшихъ дѣйствій перваго консула и взирала въ безмолвіи на преслѣдованіе несчастныхъ революціонеровъ, сосланныхъ безъ суда за эту адскую машину, виновниками которой были вовсе не они. Трибуны молчали тогда, потому что ихъ испугало страшное событіе 3-го нивоза, и потому что они не смѣли защитить начала справедливости въ лицѣ такихъ людей, имена которыхъ влекли за собою кровавыя воспоминанія. Смѣлости, которой имъ не доставало для осужденія очевидной незаконности, достало имъ для того, чтобы противодѣйствовать превосходнымъ мѣрамъ! Если, впрочемъ, искренная любовь къ свободѣ воодушевляла нѣкоторыхъ изъ нихъ, то у другихъ можно было замѣтить то неблагородное чувство зависти, которое вооружало трибунатъ противъ государственнаго совѣта, людей, которые принуждены были оставаться въ бездѣйствіи, противъ тѣхъ, которые имѣли монополію дѣятельности. Они совершили такимъ образомъ много важныхъ ошибокъ и, къ несчастію, подали поводъ къ не менѣе важнымъ ошибкамъ со стороны перваго консула: такіа горестныя явленія исторія часто находитъ въ нашемъ тревожномъ мірѣ, для котораго страсти служатъ вѣчнымъ двигателемъ“.

Спрашивается: сообразно ли съ достоинствомъ безпристрастнаго историка взводить на цѣлое сословіе такіа обвиненія, которыхъ невозможно доказать и по отношенію къ отдѣльному человѣку? И такимъ ли тономъ должно говорить о дѣйствіяхъ людей, которые, можетъ быть, пали неблагоразумно и не понимали бесполезности своихъ усилій, но которые тѣмъ не менѣе руководились убѣжденіями благородными и достойными уваженія? И такъ ли отзывался Тьеръ въ своей „Исторіи французской революціи“ о жирондистахъ, которые, подобно членамъ трибуната, не понимая истинныхъ потребностей своей эпохи, шли на переکورъ всеобщему движенію умовъ и истощили напрасно всѣ свои силы для того, чтобы избѣгнуть тѣхъ крайностей, которыя составляютъ неизбѣжное послѣдствіе всякаго соціального переворота. Оппозицію жирондистовъ Тьеръ признавалъ и неопозит-

ческою, и неразумною; но это не помѣшало ему обнаружить свое сочувствіе къ этимъ мужественнымъ людямъ, которые искупили на эшафотѣ свои заблужденія, имѣвшія столь благородный и чистый источникъ. Отчего же недостаетъ ему теперь этого сочувствія и этого безпристрастія, теперь, когда дѣло идетъ о людяхъ, дѣйствовавшихъ во имя тѣхъ же убѣжденій и для той же цѣли?

Говорятъ обыкновенно, что политическую исторію слѣдуетъ писать только людямъ государственнымъ, которые, ознакомившись на самомъ опытѣ съ механизмомъ государственныхъ учрежденій и образомъ ихъ дѣйствія, могутъ лучше другихъ понимать и обсуждать значеніе политическихъ событій. На этомъ же основаніи до выхода „Исторіи консульства и имперіи“ говорили, что никто не можетъ такъ хорошо оцѣнить и объяснить происшествія Наполеоновской эпохи, какъ Тьеръ, который самъ былъ первымъ министромъ и принималъ постоянное участіе въ современной политикѣ Франціи. Намъ кажется, такое мнѣніе не совсемъ вѣрно. Если справедливо, что государственнымъ людямъ самое положеніе ихъ даетъ возможность судить съ большею основательностью о дѣятельности политическихъ людей, то съ другой стороны, надо сознаться, что историкамъ этого рода рѣдко удается изображеніе фактовъ народной жизни, которыхъ они по большей части не понимаютъ и которымъ не могутъ сочувствовать. Вращаясь постоянно въ сферѣ правительственной дѣятельности, они привыкаютъ мало по малу смотрѣть на все съ своей исключительной точки зрѣнія, усваиваютъ себѣ понятія узкіе и одностороннія и теряютъ всякую способность сочувствія ко всему тому, что остается внѣ администраціи и политики. Самымъ лучшимъ подтвержденіемъ этого замѣчанія можетъ служить послѣднее произведеніе Тьера: въ немъ именно не достаетъ того сочувствія къ общечеловѣческимъ интересамъ, котораго мы въ правѣ требовать прежде всего отъ историка нашего времени. Все вниманіе его обращено исключительно на дѣятельность правительственной власти; все же существующее внѣ этой сферы, все составляющее самый предметъ, надъ которымъ обнаруживается эта дѣятельность, какъ будто не существуетъ для него. Такъ, въ военномъ отношеніи его занимаютъ только подвиги самого Наполеона или его генераловъ, то-есть, только блистательная сторона этихъ событій; ихъ мрачная сторона въ глазахъ его не имѣетъ никакого значенія: ему нѣтъ дѣла ни до страданія солдатъ, ни до страданія семействъ ихъ, ни до страданія самой Франціи, которую такъ изнурили эти непрерывныя войны. Это отсутствіе социальной тенденціи обнаруживается и вообще въ томъ, что Тьеръ, описывая только дѣйствія Наполеона или его политическихъ противниковъ, оставляетъ безъ всякаго вниманія потребности, интересы, чувства, мнѣнія и положеніе народа въ эту блистательную и вмѣстѣ съ тѣмъ тягостную для него эпоху. Однимъ словомъ, на всѣ событія этого времени Тьеръ смотритъ съ исключительно политической точки зрѣнія; гуманитарный взглядъ на вещи остается для него совершенно недоступнымъ. Въ этомъ заключается, безъ сомнѣнія, одинъ изъ важнѣйшихъ недостат-

ковъ его сочиненія, которое представляетъ намъ біографію Наполеона, а вовсе не полную и всестороннюю исторію французскаго общества, какъ слѣдовало бы ожидать, судя по заглавію книги.

Знатоки военнаго дѣла находятъ въ „Исторіи консульства и имперіи“ еще одинъ важный недостатокъ—излишнюю и иногда смѣшную самоувѣренность автора въ своихъ стратегическихъ познаніяхъ, самоувѣренность, которая не мѣшаетъ ему впадать въ самые непростительные промахи при описаніи военныхъ событій. Впрочемъ, какъ это, такъ и всѣ другія указанная наши несовершенства, выкупаются въ извѣстной степени многими несомнѣнными достоинствами этого сочиненія, и особенно—живымъ изложеніемъ фактовъ, обиліемъ матеріаловъ и искуснымъ ихъ распредѣленіемъ. Успѣхъ этой книги въ русской литературѣ представляетъ фактъ весьма утѣшительный. Какъ біографія Наполеона, сочиненіе Тьера есть несомнѣнно лучшее изъ всѣхъ доселѣ написанныхъ по этому предмету, и для насъ знакомство съ этою книгой имѣетъ особенно ту важность, что Тьеръ гораздо полнѣе и основательнѣе всѣхъ своихъ предшественниковъ излагаетъ внутреннія учрежденія Наполеона, которыя до сихъ поръ оставались неизвѣстными или почти неизвѣстными большинству русской публики.

Переводъ г. Кони, вообще довольно хорошій, мѣстами отзывается нѣкоторою небрежностью. Попадаютъ иногда выраженія въ родѣ слѣдующихъ: „этотъ-го страхъ побудилъ перваго консула презрѣть трудности зимней компаніи и *добить* Австрію, пока она лишена (была) содѣйствія силъ континента“ (стр. 56); „всегда готовый *поручать* (!) великіе труды, первый консулъ“ и т. д. (стр. 118); „такимъ образомъ все приходило въ устройство, съ единствомъ, *какъ* только обширный умъ можетъ придать своимъ твореніямъ“ (тамъ же); „рядомъ съ этими великими и благодѣтельными *видами* (?) *развертывались* *виды* иного рода“ (стр. 117). Къ четвертому выпуску, содержащему въ себѣ двѣ книги: седьмую—„Гогенлинденъ“ и восьмую—„Адская машина“, приложенъ портретъ Мюрата, гравированный въ Парижѣ.

---



# Алфавитный указатель разбираемых В. Н. Майковым писателей

(Римскія цифры обозначаютъ томъ, арабскія—страницу).

---

Аксаковъ И. С.—II, 109.  
Аскоченскій В. И.—I, 247; II, 125.

Байронъ—II, 171.  
Бартдинскій И.—II, 139.  
Бурнаковъ В. П.—II, 303.  
Бутковъ Я. Г.—I, 175.  
Вѣлинскій В. Г.—I, 95.

Вавиловъ И. С.—II, 295.  
Вальтеръ Скоттъ—I, 115.

Гоголь Н. В.—I, 3, 150, 206; II, 154.  
Гольдсмитъ Ол.—II, 167.  
Гореглядь-Виласкій. К.—II, 207.

Дмитріевъ Д. Д.—II, 291.  
Достоевскій—I, 205.

Жадовская Ю. В.—II, 96.  
Журавскій Д. П.—I, 219; II, 269.

Загоскинъ М. Н.—I, 115.  
Зеленецкій К. П.—II, 218.  
Зубовъ Л. П.—II, 150.

Иславинъ В. А.—II, 245.

Каргѣевъ Е. В.—II, 136.  
Кальдовъ А. В.—I, 1.  
Брыловъ И. А.—II, 186.  
Кузьмичъ А. П.—II, 143.  
Кугѣтъ П. А.—II, 237.

Лобановъ М.—II, 187.  
Ломоносовъ М. В.—II, 179.  
Лоренцъ Ф.—I, 217; II, 225.

Марлинскій—I, 3.  
Масловъ С. А.—II, 299.  
Меншиковъ П. Н.—II, 157.  
Милютинъ Д. А.—I, 219; II, 257.  
Минаевъ Д. И.—I, 100, 108.  
Мишле—I, 61.

Новицкій О. М.—II, 223.

Одоевскій В. Ѳ. кн.—I, 192.

Плаксинъ В. Т.—I, 234.  
Плещеевъ А. Н.—II, 202.  
Полевой—I, 5. 277.  
Поповъ А. Н.—II, 252.  
Порошинъ В. С.—II, 279.

Рейнталь Э.—II, 311.

Сементовскій Н. М.—II, 240.  
Сушковъ Н. В.—II, 111.  
Сю Евгений—I, 224.

Тургеневъ И. С. (Т. Л.)—II, 92.  
Тьеръ А.—I, 288.

Чистяковъ М. В.—II, 196; 200.

Шекспиръ В.—II, 166.  
Штукенбергъ А. Н.—II, 129.

---

# Алфавитный указатель разбираемых В. Н. Майковым произведений.

(Римскія цифры обозначаютъ томъ, арабскія—страницу).

Альманахъ Невскій на 1846 г.—I, 223.

Вѣдныя люди, пов. Достоевскаго—I, 208.  
Весѣды русскаго купца о торговлѣ, М. С. Вавилова:—часть первая—II, 295; часть вторая—II, 302.

Выбранныя мѣста изъ переписки Н. Гоголя съ друзьями—I, 151.  
Векфильдскій священникъ, ром. Ол. Гольдсмита—II, 167.

Господинъ Прохарчинъ, пов. Достоевскаго—I, 208.

Цвойникъ, пов. Достоевскаго—I, 208.  
Цонъ-Жуанъ, поэма Байрона—II, 171,

Жизнь и сочиненія Ив. Андр. Крылова, соч. Михаила Лобанова—II, 187.

Зимняя дорога (Licentia poetica), соч. И. Аксакова—II, 109.  
Зинзвѣй-Богданъ Хмельницкій, соч. А. Кузьмича—II, 143.

Исслѣдованіе о реторикѣ, соч. К. Зеленецкаго—II, 218.  
Introduction à l'histoire universelle, Michelet—I, 61.  
Исторія консульства и имперіи, соч. А. Тьера—I, 284.

Краткое начертаніе исторіи русской литературы, сост. В. Аскоченскимъ—I, 247.  
Краткое руководство къ логикѣ, съ предварительнымъ очеркомъ психологіи соч. Ореста Новицкаго—II, 223.

Критическое значеніе изслѣдованія военной географіи и военной статистики. Д. Милютинъ—I, 213; II, 257.

Курсъ теоріи словесности М. Чистикова—II, 196.

Матильда, записки молодой женщины, ром. Евгенія Сю—I, 224.  
Москва, поэма Н. В. Сутикова—II, 111.  
Мысли о существѣ и значеніи чиновническаго быта, соч. Э. Рейнталя—II, 311,

Обозрѣніе русской исторіи до единодержавія Петра Великаго, соч. П. Полевого—I, 277.

Объ источникахъ и употребленіи статистическихъ свѣдѣній, соч. Д. П. Журавскаго—I, 219; II, 269.

О всенародномъ распространеніи грамотности въ Россіи на религіозно-нравственномъ основаніи, соч. С. А. Маслова—II, 290.

О дарѣ слова или словозначительности, соч. Карла Горегляда - Виллесскаго—II, 207.

О духовномъ образованіи земледѣльческаго класса въ Россіи, соч. Д. Дмитріева—II, 291.

О жизни и сочиненіяхъ Кольцова, статья Бѣлинскаго—I, 95.

О земледѣліи въ политико-экономическомъ отношеніи, соч. Порошина—II, 279.

Опыты въ стихахъ И. Бардинскаго—II, 139.

Петербургскія Вершины, описан. Я. Буткевымъ—I, 175.

Повѣсть объ украинскомъ народѣ, соч. П. Кулѣша—II, 237.

Похожденія Чичикова или Мертвые Души, поэма Н. В. Гоголя—I, 150; II, 154.

Практическое руководство къ постепенному упражненію въ сочиненіи М. Чистикова—II, 200.

Путешествіе въ Черногорію, соч. А. Попова—II, 252.

Разговоръ, стих. И. О. Тургенева (Т. Л.)—  
II, 92.  
Романы Вальтера Скотта—I, 115.  
Руководство для молодыхъ людей, назначаю-  
щихъ себя къ торговымъ дѣламъ, соч.  
В. П. Вурнашова—II, 303.  
Руководство къ всеобщей исторіи, соч. докто-  
ра Фридриха Лоренца—I, 217, II, 225,  
236.  
Руководство къ изученію исторіи русской  
литературы, сост. В. Пякинъ—  
I, 234.  
Замоуды въ домашнемъ и общественномъ бы-  
ту, соч. Вл. Иславина—II, 245.  
Сборникъ Петербургскій подъ ред. Некра-  
сова—I, 223.  
Сборникъ Московскій, ученый и литератур-  
ный—I, 223.  
Сборникъ „Вчера и сегодня“, сост. гр.  
Солмогубовъ—I, 223.  
Священные пѣснопѣнія древняго Сіона, или  
стихотворное переложеніе псалмовъ,  
составляющихъ псалтирь, сост. Е. В.  
Карнѣевымъ—II, 136.  
Сибирскія мелодіи А. И. Штукенберга—  
II, 123.

Слава о Вѣщемъ Олегѣ, соч. Д. Минаева -  
I, 108.  
Слово о полку Игоря, перев. Д. Минаева—  
I, 100.  
Сочиненія кн. В. Ө. Одоевскаго—I, 192.  
Старина малороссійская, запорожская и дон-  
ская, соч. Николая Сементовскаго—  
II, 240.  
Стихотворенія Аскоченскаго В.—II, 125.  
„ Жадовской Ю—II, 96  
„ Кольцова—I, 1.  
„ Плещеева А. Н.—II, 102.  
Сто рисунковъ изъ сочиненія Н. В. Гоголя  
„Мертвыя Души“—I, 153.  
Талисманъ, или Кавказъ въ послѣдніе годы  
царствованія императрицы Екатерины,  
соч. П. П. Зубова—II, 150.  
Шутка. Исторія въ родѣ комедіи, соч. П. Г.  
Меншикова—II, 157.  
Юрій Милославскій или русскіе въ 1612 г.  
соч. М. Загоскина—I, 11.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

## ПЕРВАГО ТОМА.

---

Отъ издателя-редактора . . . . . III—IV

Валеріанъ Майковъ и его литературная дѣятельность. *Историко-литературный очеркъ Г. Александровскаго* . . . V—XXXIV

### I. Критическія статьи:

#### 1. *Изящная словесность.*

<b>А. В. Кольцовъ.</b> Стихотворенія . . . . .	1
<b>Д. И. Минаевъ.</b> I. Слово о полку Игоря . . . . .	100
„ II. Слава о Вѣщемъ Олегѣ . . . . .	108
<b>Вальтеръ-Скоттъ—М. Н. Загоскинъ.</b> Романы Вальтера Скотта.—Юрій Милославскій или русскіе въ 1612 году. . . . .	115
<b>Н. В. Гоголь.</b> I. Походженія Чичикова или Мертвыя Души . . . . .	150
„ II. Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями . . . . .	151
„ III. Сто рисунковъ изъ сочиненія Н. В. Гоголя: „Мертв. Души“ . . . . .	153
<b>Я. Г. Бутковъ.</b> Петербургскія Вершины . . . . .	175
<b>Князь В. Ѳ. Одоевскій.</b> Сочиненія . . . . .	192
<b>Нѣчто о русской литературѣ въ 1846 году</b> . . . . .	205
<b>Евгеній Сю.</b> Матильда, записки молодой женщины . . . . .	224

#### 2. *Исторія и теорія литературы.*

<b>В. Т. Плaksinъ.</b> Руководство къ изученію исторіи русской литературы . . . . .	234
<b>В. И. Асоченскій.</b> Краткое начертаніе исторіи русской литературы . . . . .	247
<b>Обозрѣніе русской исторіи до единойдержавія Петра Великаго.</b> Сочиненіе Петра Полевого . . . . .	277
<b>А. Тьеръ.</b> Исторія Консульства и Имперіи . . . . .	288

---

СОЧИНЕНІЯ

В. Н. МАЙКОВА


ВЪ ДВУХЪ ТОМАХЪ.

---

ТОМЪ ВТОРОЙ.

---

- II. Научныя статьи.  
III. Библиографія.

«»  
*Второе изданіе.*



КІЕВЪ.

Изданіе Б. К. ФУКСА.

---

Дозволено цензурою. Київъ, 11 іюня 1901 года.

---

КІЕВЪ.

Типо-литографія Р. К. Лубковскаго. Б.-Владимірска., 49.



## II. НАУЧНЫЯ СТАТЬИ.

### Общественныя науки въ Россіи.

#### СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

Mais vous, analyseurs, persévérans sophistes,  
Quand vous aurez tari tous les puits des déserts,  
Quand vous aurez prouvé que ce large univers,  
N'est qu'un mort étendu sous les anatomistes;  
Quand vous nous aurez fait de la création  
Un cimetière en ordre, où tout aura sa place,  
Où vos aurez sculpté, de votre main de glace,  
Sur tous les monumens la même inscription;  
Vous, que ferez vous donc, dans les sombres allées  
De ce jardin muet?.....  
Ah! vous avez voulu faire les Prométhées.  
Et vous êtes venus, les mains ensanglantées,  
Refondre et repétrir l'oeuvre du créateur!  
Il valait mieux que vous, cet hardi tentateur,  
Lorsqu'ayant fait son homme, et le voyant sans âme,  
Il releva sa tête, et demanda le feu.

*Alfred de Musset.*

Если Россія имѣетъ свое искусство, запечатлѣнное чертами рѣзкой оригинальности, то нѣтъ причины думать, чтобъ и наука не принялась когда-нибудь въ русской почвѣ, какъ растеніе туземное. До сихъ поръ она у насъ — пересаженный цвѣтъ, и потому-то самому, быть можетъ, и не вошла еще къ намъ въ плоть и въ кровь, не слилась съ нашею жизнью, не проникла нашей дѣятельности своимъ благотворнымъ вліяніемъ. Чтобы выйти мало по малу изъ этого чужденчества, чтобъ усвоиться массѣ, она должна быть приведена въ гармонію природнымъ настроеніемъ нашего ума. Для того покажѣтъ одинъ путь — критическое изслѣдованіе тѣхъ наукъ, которыя принимаемъ мы отъ запада. Прошло то время, когда мы должны были безусловно благоговѣть передъ нашими учителями, вѣря имъ во всемъ на слово. Мы поняли теперь, что самое разнообразіе цивилизаціи западно-европейскихъ народовъ свидѣтельствуешь объ одно-

сторонности каждаго изъ нихъ, что мы должны дѣлать строгій выборъ между тѣмъ, что должно и чего не должно у нихъ заимствовать. Слѣдовательно, первые шаги наши на поприщѣ созданія національной науки должны состоять въ строгомъ критическомъ разборѣ наукъ запада.

Предполагая рядомъ статей, по мѣрѣ силъ своихъ, утвердить въ этомъ взглядѣ молодыхъ поборниковъ науки, я избралъ на сей разъ предметомъ своимъ міръ общественный. Въ первой статьѣ, нынѣ предлагаемой читателямъ „Финскаго Вѣстника“, изложенъ критическій взглядъ на современное движеніе этихъ наукъ на западѣ. Во второй представимъ мы надежды на будущность русской соціальной науки.

Каждое поколѣніе считаетъ себя послѣднимъ цвѣтомъ органическаго развитія человѣчества; вѣкъ всегда такъ доволенъ собою, что прошедшее кажется ему смѣшнымъ, а будущее—излишнимъ. Мы бываемъ такъ горды своимъ настоящимъ, что надѣемся никогда не устарѣть, надѣемся закончить собою исторію и, не замѣчая глубокой ироніи ея процесса, наивно принимаемъ свою односторонность за полное развитіе. Такъ думалъ и грекъ, воспитанникъ академіи, не замѣчая зары, занимавшейся въ Вилеемѣ; такъ думалъ и набожный германецъ XI вѣка, увѣренный въ скоромъ пришествіи антихриста, не подозрѣвая ни Крестовыхъ походовъ, ни Тридцатилѣтней войны, ни бурь Французской революціи.

Но есть предѣлы упоенію гордости; есть точки, на которыхъ въ раздумьи останавливается вѣкъ; онъ вглядывается въ себя безпристрастно, подвергаетъ себя собственному суду своему и произноситъ себѣ приговоръ неумолимый. Девятнадцатый вѣкъ достигъ этой точки: онъ прожилъ свою молодость, полную гордой самоувѣренности, кичливаго самоупоенія; онъ задумался надъ самимъ собою, и горькая улыбка обманутаго самолюбія начинаетъ смѣнять на устахъ представителей эпохи ту насмѣшливую улыбку, съ которою взирали они на прошедшее. И ему пришла пора равно сознать свое величіе и свою слабость, завѣщать правнукамъ добро, купленное тяжкою работою, и въ то же время исповѣдаться передъ потомствомъ въ своихъ заблужденіяхъ. Два явленія преимущественно знаменуютъ собою эту эпоху перелома: одно принадлежитъ искусству, другое—наукѣ. Поэты, снискавшіе особенное уваженіе наше, суть Ювеналы нашего времени: они поражаютъ насъ желчною сатирой, и мы сами имъ рукоплещемъ. Этотъ фактъ представляетъ намъ не только западная Европа, но даже и юное отечество наше, подрастающая Россія. Лермонтовъ заклеилъ черную сторону нашего вѣка своимъ безсмертнымъ стихотвореніемъ „Дума“, и, можетъ быть, ни одно изъ его стихотвореній, за исключеніемъ „Пророка“, не произвело такого глубокаго впечатлѣнія на читателей и не было встрѣчено такою могущественною симпатіей. Какъ чувство поэта, его негодованіе не могло возрасти на почвѣ мысли, не пришедшей въ общее сознаніе: мысль совершенно новая не можетъ быть выражена эстетически: она требуетъ доказательства, а доказывать значитъ губить

поэзію, внося въ область ея начало, ей несвойственное. Вотъ почему ни одинъ великій художникъ не высказалъ совершенно новой мысли, не повредивъ искусству: его дѣло — сознать, *прочувствовать* мысль, общую вѣку, и творчески воплотить ее въ животрепещущій образъ. Другой фактъ, знаменующій конецъ эпохи, есть появленіе мистицизма, какъ крайности, какъ начала, діаметрально противоположнаго *аналитической односторонности*, которая составляетъ отличительную черту отживающей эпохи. Въ наше время дознано, что одна крайность необходимо рождаетъ другую. Мистицизмъ начинаетъ смѣнять анализъ по той же причинѣ, по которой нѣкогда эпикурейскіе пиры смѣнились аскетизмомъ и отшельничествомъ, всеобщее усыпленіе древняго міра — бурною дѣятельностью эпохи переселенія народовъ, религіозный фанатизмъ среднихъ вѣковъ — безвѣріемъ XVIII столѣтія. Здѣсь дѣйствуетъ неизмѣнный законъ органическаго развитія человѣчества. Утомленный наблюденіемъ и изслѣдованіемъ фактовъ, человѣкъ жадно бросается въ область идеальнаго и дополняетъ воображеніемъ то, что недоступно уму. Такъ, напримѣръ, утомясь прагматизмомъ историческимъ, наскучивъ трупоразъятіемъ явленій, полныхъ жизни и движенія, онъ готовъ признать какую-нибудь высшую, таинственную пружину въ ходѣ жизни человѣчества. Такимъ образомъ наука сливается съ поэзіей, и въ этомъ смѣшеніи двухъ противоположныхъ формъ человѣческаго духа аналитикъ находитъ какое-то сладостное забвеніе для души, изсушенной безжизненнымъ взглядомъ на вещи.

При такихъ обстоятельствахъ, мы невольно приходимъ къ вопросамъ о сущности и цѣли прожитой эпохи. Свѣтило, загорѣвшееся такъ недавно, уже обливаетъ горизонтъ нашъ закатнымъ блескомъ. Посвятимъ промежутокъ между его закатомъ и грядущею зарею свѣжаго утра спокойнымъ размышленіямъ о днѣ, отходящемъ нынѣ въ лоно вѣчности.

Аналитическая эпоха XIX вѣка не имѣетъ ничего сходнаго съ разрушительною эпохой энциклопедистовъ. Скептическій анализъ XVIII столѣтія имѣлъ цѣлью окончательное низверженіе католицизма и феодализма; то былъ послѣдній бой новыхъ идей съ идеями и учрежденіями среднихъ вѣковъ. Этотъ анализъ разрушалъ для того, чтобы разрушить. Анализъ XIX вѣка имѣетъ въ виду созданіе. Но созданіе не можетъ быть произведеніемъ одной силы; органическая жизнь есть результатъ двухъ противоположныхъ началъ гармонически соединенныхъ. Посему дѣятельность аналитическая не порождаетъ ничего полнаго, ничего органическаго. Анализъ раскрываетъ части, знакомитъ съ составомъ цѣлаго; но для того, чтобы постигнуть соотношеніе частей, единство предмета, для сего необходимъ противоположный способъ — отвлеченіе или синтезъ. А такъ какъ познаніе предмета заключается въ изученіи его разнообразія и единства, то анализъ и синтезъ только въ соединеніи другъ съ другомъ могутъ породить истинныя, полныя понятія, должествующія служить прочною основой дѣятельности. Изъ этого слѣдуетъ, что аналитическая эпоха XIX вѣка есть эпоха односторонняго развитія. Но, съ дру-

гой стороны, эта односторонность необходимо должна принести свою пользу, если смотрѣть на анализъ, какъ на начальную дѣятельность духа. Съ этой точки зрѣнія анализъ представляется намъ единственнымъ средствомъ къ правильной дѣятельности. Аналитическое изученіе должно предшествовать синтезу для того, чтобы послѣдній не превратился въ мечтательность. Исторія не представляетъ намъ другого примѣра столь правильнаго процесса. Осмнадцатый вѣкъ окончилъ борьбу новыхъ идей съ идеями среднихъ вѣковъ; новое человѣчество окончательно освободилось отъ авторитета стараго. Надо было создавать новую жизнь, и созданію этому предшествуетъ правильный, безпристрастный разборъ жизни во всѣхъ ея проявленіяхъ. Болѣе правильной системы нельзя придумать и намѣренно.

Но какъ бы ни было похвально и умно такое приготовленіе, нельзя же на немъ остановиться, надо же когда-нибудь приступать и къ самому дѣлу. Здѣсь-то и конецъ анализу: лишь только дойдетъ дѣло до примѣненія идей, нельзя не убѣдиться, что идеи эти односторонни и потому не могутъ войти въ жизнь до тѣхъ поръ, пока не проникнетъ ихъ другое, болѣе животворное начало—синтезъ, имѣющій цѣлю познаніе жизни въ общей связи явленій и опредѣленіе частей по значенію ихъ въ цѣломъ.

Вникая въ современное состояніе умовъ, мы съ восторгомъ замѣчаемъ, что многіе факты свидѣтельствуютъ о близости эпохи, которая должна ознаменоваться гармоническимъ соединеніемъ обоихъ взглядовъ—аналитическаго и синтетическаго. Предоставляя себѣ впослѣдствіи развить мысль свою въ большей полнотѣ, мы рассмотримъ здѣсь, какъ сказано выше, движеніе наукъ общественныхъ въ наше время. Оцѣнивъ нѣсколько фактовъ изъ современной исторіи, мы не можемъ не заключить, что новѣйшія изслѣдованія въ этой области человѣческаго познанія составляютъ рѣшительный переходъ отъ анализа къ синтезу и вызываютъ науку, которой цѣль должна состоять въ приведеніи всѣхъ общественныхъ наукъ въ стройную систему общественной жизни. Въ этой статьѣ постараюсь я доказать дѣйствительность такого стремленія и оцѣнить его по началамъ логическимъ. Прежде всего займемся мы краткимъ указаніемъ на факты, доказывающіе стремленіе синтетическихъ умовъ къ созданію философіи общества; потомъ перейдемъ къ изслѣдованію необходимости обобщенія частныхъ соціальныхъ наукъ, а въ заключеніе представимъ здѣсь главную идею философіи общества, съ указаніемъ на способы развитія этой идеи въ формахъ самостоятельной науки.

## § 1.

Стремленіе новѣйшихъ ученыхъ создать философію общества, то-есть, науку, рассматривающую всѣ соціальныя вопросы въ ихъ взаимномъ отношеніи, очевидно выражается въ распространеніи естественныхъ границъ частныхъ наукъ, изъ которыхъ каждая имѣетъ предметомъ своимъ разсмотрѣніе одной какой-нибудь стороны общества. Это насиліе замѣчаемъ мы въ обработываніи права и политической экономіи.

Право, подъ вліяніемъ новѣйшихъ теорій, заключаетъ въ себѣ четыре элемента—политическій, юридическій, нравственный и экономическій. Оно изслѣдуетъ права и обязанности верховной власти (права государственное и финансовое), права и обязанности частныхъ лицъ между собою (гражданское право), мѣры къ достиженію всѣхъ видовъ нравственнаго и физическаго благосостоянія, именно безопасности, здоровья, богатства, умственнаго, эстетическаго, нравственнаго и религіознаго развитія (полицейское право), мѣры къ возстановленію нарушенныхъ правъ посредствомъ общественнаго наказанія (уголовное право), и наконецъ, права и обязанности государствъ между собою (право народовъ). Допустивъ такой объемъ права, должно было бы считать всѣ остальные общественныя науки излишними, ибо теоретическое, практическое и историческое изученіе исчисленныхъ здѣсь предметовъ объемлетъ собою весь кругъ соціальныхъ вопросовъ. Однакожъ такой монополіи не требовалъ еще ни одинъ изъ извѣстныхъ юристовъ: напротивъ того, они признаютъ самостоятельность всѣхъ отдѣльныхъ общественныхъ наукъ, часто говорятъ о границахъ каждой, но въ то же время какъ-то безотчетно сливаютъ ихъ въ одно тѣло, въ одну науку, которую называютъ они правомъ или законовѣдѣніемъ, не замѣчая того, что въ нее входятъ предметы всѣхъ общественныхъ наукъ, сведенные въ одну общую точку, въ теорію государственныхъ законовъ. Но изслѣдованіе законодательства со всѣхъ сторонъ, какія представляетъ оно въ своихъ неизмѣнныхъ основахъ и въ своемъ историческомъ развитіи, никакъ не можетъ быть предметомъ одной изъ общественныхъ наукъ; оно заключаетъ въ себѣ всю ихъ совокупность. Полное законодательство выражаетъ собою всю систему общественныхъ потребностей, исчерпываетъ всю идею общественнаго благосостоянія. Для чего издается законъ? Для того, чтобы дать извѣстное направленіе дѣятельности каждаго члена общества, чтобы обязать его дѣлать одно и не дѣлать другого, чтобы позволить ему пользоваться однѣми выгодами и запретить пользованіе другими. Слѣдовательно, законъ опредѣляетъ права и обязанности лицъ, живущихъ въ государствѣ: эти права и обязанности и служатъ ближайшимъ основаніемъ законодательства; право, въ своемъ законномъ объемѣ, должно ограничиваться разсмотрѣніемъ этихъ ближайшихъ основаній законовъ государства. Переходя къ дальнѣйшимъ основамъ, оно вступаетъ въ область двухъ наукъ, имѣющихъ одинаковое съ нимъ право на самостоятельность, въ область политической экономіи, изслѣдующей законы матеріальнаго благосостоянія, и въ область педагогики, изслѣдующей законы благосостоянія нравственнаго. Такъ, напримѣръ, разсматривая законы, относящіеся къ поощренію промышленности, юристъ долженъ ограничиться изслѣдованіемъ правъ и обязанностей общественной власти въ отношеніи къ развитію этой части благосостоянія общества. Что же касается до естественныхъ законовъ промышленности, служащихъ, въ свою очередь, основаніемъ права покровительствовать развитію народнаго богатства, эти законы относятся уже не къ праву, а къ политической экономіи. О Н

юристы не удерживаются этими границами: признавая самостоятельность политической экономіи, они тѣмъ не менѣе вводятъ въ свою науку теорію народнаго богатства, относя ее къ теоріи полицейскаго права. Чѣмъ же объяснить себѣ подобныя ошибки, если не естественною потребностью общей теоріи общественной жизни?

Эта потребность синтетическихъ умовъ, устанавливающихъ обширныя системы, не ограничивается распространеніемъ науки права до предѣловъ философіи общества. Изучая произведенія современныхъ ученыхъ, особенно нѣмецкихъ, нельзя не замѣтить, что они пошли еще далѣе и ввели въ право, подъ видомъ изслѣдованія основанія законовъ, начала антропологическія, которыя своею общностью и неизмѣнностью далеко превосходятъ начала философіи общества и служатъ ей самой основаніемъ, точно такъ, какъ неорганическая химія служитъ основаніемъ органической. Для примѣра возьмемъ теорію семейственныхъ отношеній. Теорія права, при разсмотрѣніи этой основы гражданскаго общества, никакъ не ограничивается изслѣдованіемъ той модификаціи, которую должны испытывать учрежденія семейственнаго союза отъ вліянія общественной власти, имѣющей право и обязанность опредѣлять и обеспечивать внѣшнею силою права и обязанности лицъ, находящихся между собою въ естественныхъ отношеніяхъ супруговъ, родителей, дѣтей и родственниковъ. Цивилисты начинаютъ всегда съ антропологическихъ положеній, изслѣдуютъ естественное основаніе брака, родительской власти и союза родового, такъ что вопросы чисто антропологическіе обычаемъ вошли въ область науки, называющейся теоріею гражданскаго права. Впрочемъ, не будемъ приводить примѣровъ: стоитъ только посмотрѣть на область, которую, подъ вліяніемъ новѣйшей философіи, отмежевало себѣ право, чтобъ убѣдиться въ стремленіи его къ развитію, далеко превышающему своею обширностью не только предѣлы частной общественной науки, но даже и цѣлой системы общественной жизни. По господствующей системѣ Гегеля, область права есть область свободной воли человѣка: слѣдовательно, всѣ отрасли свободной человѣческой дѣятельности должны входить въ право. Послѣ этого не удивительно, что эта наука такъ безгранично раздвинула свои предѣлы, охвативъ всю область наукъ нравственныхъ и общественныхъ. Ясно такъ же, что, не оказывая стремленія вывести ея изъ такой безграничности, юристы уступаютъ неудержимой потребности синтетическаго развитія началъ ея. Здѣсь дѣйствуетъ духъ времени, которому, по словамъ самого же Гегеля, никто не можетъ противиться.

Справедливость такого объясненія дѣлается тѣмъ болѣе очевидною, что въ то же время намъ представляется другая наука, изъясняющая притязанія на такое же развитіе. Я говорю о политической экономіи. Не всѣ писатели согласны признать для нея границы, означенныя Смитомъ. Не говоря уже объ экономистахъ нѣмецкихъ и италіанскихъ, которые почти никогда не смотрѣли на политическую экономію, какъ на теорію матеріальнаго благовоостоянія общества чело



отношенія ея къ интересамъ нравственнымъ и политическимъ, нельзя не согласиться, что во Франціи политическая экономія начинаетъ обращаться къ синтезу Кене и Сея. Кене вводилъ въ нее разсужденіе объ устройствѣ правительственныхъ властей—вопросъ, относящійся прямо къ праву. Сей, въ своемъ „*Cours complet de l'économie politique pratique*“, говоритъ во введеніи, что хотя это сочиненіе его и ограничивается изслѣдованіемъ законовъ образованія, распредѣленія и потребленія народнаго богатства, однакожъ политическая экономія, въ своемъ надлежащемъ развитіи, касается всѣхъ сторонъ общества: она объемлетъ собою всю систему общественной жизни (*elle se trouve embrasser tout le système social*). Эта мысль принята многими экономистами, и споръ между послѣдователями обширнаго и тѣснаго значенія политической экономіи такъ далекъ еще отъ окончательнаго рѣшенія, что при опредѣленіи этой науки никакъ нельзя избѣгнуть подробнаго разбора ученой тяжбы о размежеваніи ея съ другими общественными науками. Одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ новѣйшихъ французскихъ экономистовъ въ лекціяхъ, читанныхъ въ 1836—1837 гг., жалуется на такое разногласіе мнѣній въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „Первый вопросъ, представляющійся экономисту“, говоритъ онъ,—„заключается до сихъ поръ въ опредѣленіи предмета, пространства и границъ политической экономіи; онъ не можетъ избѣжать его, еслибы даже это заставило его краснѣть за свою науку. Съ одной стороны, не согласясь въ предметѣ и границахъ политической экономіи, мы затруднились бы выборомъ важнѣйшихъ вопросовъ, которыми должны заниматься; съ другой стороны, нѣтъ нужды доказывать, что такое согласіе не существуетъ между экономистами. Опредѣленіе этой науки до сихъ поръ составляетъ еще одинъ изъ самыхъ спорныхъ ея вопросовъ. Одни ученые, слишкомъ скромные, по крайней мѣрѣ—по наружности, даютъ ей границы довольно тѣсныя или, по крайней мѣрѣ, довольно опредѣленныя; они ограничиваютъ объемъ изслѣдованіемъ образованія и распредѣленія богатства; по ихъ мнѣнію, переступивъ эти границы, она перестаетъ быть политическою экономіей. Другихъ, напротивъ, можно назвать почти гордецами: такъ широко раздвигаютъ они ея предѣлы, такъ щедро обогащаютъ они ея область разнообразными взглядами. Въ ихъ глазахъ политическая экономія должна обнимать все общество, его организацію, его потребности и успѣхи. Тѣ и другіе равно подвергаются громкимъ обвиненіямъ. Первые, удерживая науку въ предѣлахъ, отведенныхъ ей вообще школою Смита, обвиняются въ томъ, что занимаются такимъ пошлымъ предметомъ, какъ богатство, оставляя безъ вниманія человѣка, общество и всѣ стороны общественной организаціи; другихъ, напротивъ того, порицаютъ за желаніе сдѣлать изъ политической экономіи какую-то смѣсь всѣхъ нравственныхъ и политическихъ наукъ, за слишкомъ заносчивый синтезъ“<sup>1)</sup>).

<sup>1)</sup> Rossi. Cours d'économie politique. Année 1836—1837.

Такъ говоритъ Росси, одинъ изъ представителей аналитическаго направленія; но какъ въ приведенныхъ здѣсь словахъ, такъ и въ дальнѣйшемъ разборѣ, котораго мы не выписываемъ здѣсь, чтобы воспользоваться имъ далѣе, нельзя не замѣтить, какъ сильна должна быть партія, которую онъ преслѣдуетъ. Послѣ этого нельзя сомнѣваться въ томъ, что стремленіе къ созданію общей теоріи общества существуетъ въ наше время и проявляется въ распространеніи объема частныхъ общественныхъ наукъ.

## § 2.

Перейдемъ теперь къ важнѣйшему вопросу; постараемся изслѣдовать справедливость требованія, выражающагося въ томъ стремленіи, котораго существованіе доказано въ предыдущемъ параграфѣ. Возможна ли философія общества, какое вліяніе имѣетъ ея отсутствіе на состояніе общественныхъ наукъ, и какую пользу можетъ принести эта наука для теоретическаго развитія и практическаго примѣненія общественныхъ наукъ?

Философія общества, то-есть, наука, изслѣдующая всѣ элементы общественной жизни въ ихъ взаимномъ отношеніи, не только возможна, но и необходима. Нельзя не признавать, что явленія общественныя имѣютъ свой особенный характеръ, основанный на одной общей идеѣ. Разсматривая человѣка въ обществѣ, мы изучаемъ уже не чистую, изолированную природу его, а извѣстную степень модификаціи этой природы подъ вліяніемъ извѣстныхъ обстоятельствъ; такъ напримѣръ, изученіе личности великаго человѣка весьма различно, смотря по тому, какой взглядъ преобладаетъ въ наблюдателѣ—антропологическій или соціальный. Въ первомъ случаѣ онъ будетъ изслѣдовать всѣ явленія, способствовавшія къ развитію его характера, въ томъ числѣ и общественныя съ тою цѣлью, чтобъ опредѣлить его склонности и силы сравнительно съ другими людьми и съ идеаломъ человѣка. Напротивъ того, соціалистъ обратитъ вниманіе на тѣ же явленія, имѣя въ виду вліяніе ихъ на образованіе въ немъ тѣхъ потребностей и способностей, которыя должны были поставить его въ извѣстное отношеніе къ обществу. Даже легко можетъ быть, что какая-нибудь сторона личности, не одобренная антропологомъ, представится соціалисту въ болѣе привлекательномъ видѣ. Такъ напримѣръ, преобладаніе честолюбія, черта, безъ сомнѣнія, непохвальная въ глазахъ перваго, можетъ быть иногда одобрена соціалистомъ, ибо при извѣстныхъ обстоятельствахъ эта страсть, въ соединеніи съ обширнымъ умомъ, можетъ сдѣлаться виною поступковъ, содѣйствующихъ къ благосостоянію общества. Далѣе, анализируя самые поступки, антропологъ непременно обратитъ вниманіе на ихъ внутреннюю сторону и будетъ судить о нихъ единственно по ихъ источнику, между тѣмъ какъ соціалистъ въ особенности займется результатами. Такъ напримѣръ, разсматривая какое-нибудь приношеніе на пользу общую, первый непременно долженъ изслѣдовать, въ какой мѣрѣ въ этомъ приношеніи участвовало чистое, безкорыстное желаніе блага ближнему, между тѣмъ

какъ послѣдній преимущественно долженъ разобрать, какія послѣдствія произвело это приношеніе, увеличило ли оно благостояніе общества.

Еще яснѣе можно показать особенность соціальныхъ вопросовъ въ исторіи. Изображая историческій ходъ какой-нибудь отрасли человѣческой дѣятельности, нельзя не замѣтить, что историческіе факты могутъ быть разсматриваемы съ двухъ сторонъ—съ точки зрѣнія антропологической и съ точки зрѣнія общественной. Такъ напримѣръ, въ исторіи литературы необходимо представляется вопросъ: какъ долженъ историкъ смотрѣть на успѣхи ума человѣческаго—въ такой ли мѣрѣ, какъ они содѣйствовали развитію самой литературы, независимо отъ всякаго вліянія ихъ на общество, въ которомъ эта литература развивалась, или въ отношеніи къ сему вліянію? Взглядъ на достоинства произведеній литературы совершенно различенъ у эстетика и у соціалиста: первый будетъ искать въ нихъ достоинства безусловнаго, оцѣнивая ихъ по законамъ изящнаго, которые одинаковы для всѣхъ вѣковъ и для всѣхъ народовъ; послѣдній обратитъ вниманіе свое на тѣ изъ нихъ, въ которыхъ яснѣе отразилось современное автору положеніе общества. Такимъ образомъ, эстетикъ назоветъ ничтожными цѣлыя кипы книгъ, узрѣвшихъ свѣтъ подъ вліяніемъ скоропреходящей моды, и обратится къ произведеніямъ безсмертнымъ, между тѣмъ какъ соціалистъ особенно займется тѣми, въ которыхъ, не смотря на отсутствіе условій искусства, живо выразилась современность. Такъ, будущая исторія общества не пройдетъ безъ особеннаго вниманія тѣхъ произведеній современной намъ литературы европейскихъ государствъ, которыя теперь уничтожаются эстетическою критикою, какъ порожденіе коммерческаго духа, составляющаго одну изъ характеристическихъ чертъ нашего вѣка. Такъ и мы, изучая по памятникамъ литературы исторію общества, не можемъ не цѣнить „Вертера“ Гете болѣе его „Фауста“, потому что мы видимъ въ „Вертерѣ“ дань генія вѣку, въ который онъ жилъ, и который принялъ эфемернаго „Вертера“ съ несравненно большимъ энтузіазмомъ, чѣмъ вѣчнаго „Фауста“.

Изъ этихъ примѣровъ слѣдуетъ, что общественный міръ существенно отличается отъ міра личнаго, что изученіе явленій общественныхъ ведетъ къ истинамъ, существенно отличнымъ отъ тѣхъ, которыя вытекаютъ изъ изученія изолированнаго человѣка. А рядъ однородныхъ фактовъ, по образовательной силѣ ума, необходимо вызываетъ науку, какъ единственную форму, ему свойственную. Но на это могутъ сказать намъ, что общественныя науки существуютъ, ибо существуетъ право, политическая экономія, педагогика, политическая исторія. Такъ! Но безъ соціальной философіи, безъ общей теоріи общественной жизни эти науки гибнутъ въ анархіи, тщетно стремясь къ организаціи, которая дала бы каждой изъ нихъ новую жизнь, водворила бы между ними порядокъ и содѣлала ихъ причастными живой дѣятельности, освободивъ изъ оковъ односторонняго анализа. Въ 1-мъ параграфѣ было уже говорено о неопредѣлительности отношеній каждой изъ этихъ наукъ. Прибавимъ къ этому, что при отсутствіи науки, которая разсматривала бы

нихъ взаимныя отношенія, каждая изъ нихъ, подчиняясь требованіямъ анализа, стремится къ новымъ подраздѣленіямъ, а каждое подраздѣленіе, въ свою очередь, объявляетъ права свои на самостоятельность и присвоиваетъ себѣ названіе независимой, законченной науки. Часто одна наука вторгается въ область другихъ и присвоиваетъ себѣ ихъ достояніе по произволу. Вслѣдствіе такихъ безпорядковъ общественныя науки являютъ живое изображеніе феодализма, а споры ученыхъ за предѣлы каждой изъ нихъ не уступаютъ своею формальностью и сухостью богословскимъ спорамъ среднихъ вѣковъ. Кто занимался правомъ, тому напоминаемъ мы здѣсь для примѣра до сихъ поръ продолжающіеся споры ученыхъ по поводу уголовного права, которое одни изъ нихъ относятъ къ государственному, другіе—къ гражданскому праву, третьи дѣлаютъ самостоятельною наукою. Къ этой же категоріи можно отнести споры объ отношеніяхъ финансоваго права къ политической экономіи. Напоминаемъ также, для наибольшаго убѣжденія, безобразный составъ полицейскаго права. Но исчислить всѣ споры, возникшіе въ ученомъ мірѣ отъ анархическаго состоянія общественныхъ наукъ, не возможно и слишкомъ утомительно; они растутъ и размножаются съ каждымъ днемъ, порождая безконечную и бесплодную полемику, которая отнимаетъ огромную сумму времени и усилій у множества замѣчательныхъ ученыхъ. Анархія дошла до того, что не возможно приступить ни къ одной наукѣ, не приведя въ стройность всю систему общественныхъ наукъ. Это приводитъ насъ къ заключенію о необходимости такой науки, которая примирила бы враждующія стороны, привела бы въ единство всѣ частности и каждой части указала бы мѣсто въ цѣломъ. Но эта необходимость вынужденная; наука, возникшая изъ такого источника, есть не что иное, какъ контроль, котораго основаніе не въ немъ самомъ, а въ томъ, для чего онъ служитъ средствомъ. Философія общества имѣетъ высшее значеніе: оно вытекаетъ изъ естественнаго хода познанія. Наука эта образуется по тѣмъ же законамъ, по которымъ составились и частныя общественныя науки. Совокупность идей и фактовъ политическихъ образовала право, совокупность идей и фактовъ экономическихъ—политическую экономію, міръ нравственный въ формахъ общества нашелъ себѣ мѣсто въ морали или педагогикѣ. Такъ точно и міръ общественный, въ которомъ эти три міра существуютъ какъ составныя части, стремится въ свою очередь сдѣлаться предметомъ одной высшей науки. Но для чего же—спросятъ меня—снова изучать факты общественныя, когда они уже нашли себѣ мѣсто въ системѣ человѣческихъ познаній, какъ факты экономическіе, педагогическіе и политическіе? Не значитъ ли это лишать ихъ той фізіономіи, которую далъ имъ анализъ? Но, во-первыхъ, существованіе философіи общества никакъ не уничтожаетъ существованія права, политической экономіи и педагогики; ибо обширный взглядъ составляется изъ тѣснѣйшихъ, общее—изъ частнаго. Во вторыхъ, однородные факты могутъ быть объяснены вполне тогда, когда мы объяснимъ ихъ взаимное отношеніе. Факты политическіе, экономическіе и нравственные подчинены одной идеѣ, которая даетъ

имъ значеніе въ жизни и состоитъ не въ чемъ иномъ, какъ въ гармоническомъ ихъ сочетаніи. Подъ этою идеей разумѣтся здѣсь общественное благосостояніе, которое служитъ единственнымъ мѣриломъ при опредѣленіи всякой дѣятельности, какъ политической, такъ и экономической и педагогической. Порядокъ вещей, оправдываемый одною изъ общественныхъ наукъ, тогда только можетъ быть одобренъ безусловно, когда и другія науки его оправдываютъ. Еслибы торгъ неграми и оправдывался соображеніями экономическими, то разумъ все-таки не допустилъ бы его по силѣ требованій нравственныхъ. Но этого мало. Исторія показываетъ намъ, что интересы политическіе, экономическіе и нравственные такъ тѣсно связаны между собою, что успѣхъ или упадокъ одной стороны благосостоянія неминуемо влечетъ за собою успѣхъ или упадокъ двухъ остальныхъ. Эта истина такъ вѣрна, что, не прибѣгая къ уловкамъ, не возможно указать въ исторіи ни одного факта, въ которомъ можно было бы видѣть причину успѣха одной дѣятельности и въ то же время причину упадка другой. Впрочемъ, иначе и быть не можетъ: еслибы три стороны общественнаго благосостоянія не находились въ такихъ гармоническихъ отношеніяхъ между собою, общество не могло бы существовать иначе, какъ въ формахъ хаотическихъ; оно уничтожало бы само себя вѣчною борьбою стихій своихъ.

Итакъ, интересы политическіе, экономическіе и нравственные могутъ существовать только въ теоріи: на дѣлѣ ихъ нѣтъ; есть только интересъ общественный, выражающій общую идею благосостоянія общества. Слѣдовательно, живая идея общественныхъ наукъ заключается въ философіи общества, въ общей теоріи общественнаго благосостоянія, между тѣмъ какъ политическая экономія, право и педагогика суть науки, имѣющія значеніе единственно по отношенію своему къ ней. Вотъ почему и нельзя примѣнять законовъ этихъ наукъ къ практикѣ, не разсмотрѣвъ ихъ съ точки зрѣнія общественной философіи. Вотъ почему всѣ одностороннія теоріи общественнаго благоустройства оказываются вредными въ практикѣ.

Таковъ, напримѣръ, маккіавелизмъ, ученіе, разсматривающее всѣ общественные вопросы съ точки зрѣнія политической, ученіе, по которому общество существуетъ для власти, а не власть для общества. Исторія ясно показываетъ намъ, что западныя правительства, послѣдовавшія совѣтамъ Маккіавели, погубивъ общества, находившіяся подъ ихъ властью, погубили тѣмъ самымъ и самихъ себя. Съ этой точки зрѣнія надо смотрѣть и на исторію Римской имперіи; одна изъ важнѣйшихъ причинъ ея паденія заключается, безъ сомнѣнія, въ системѣ политической централизаціи, которая для утвержденія своего приносила въ жертву всѣ другія общественныя интересы. Римъ не хотѣлъ понягъ, что, притягивая къ себѣ, какъ къ центру, всю жизнь своихъ огромныхъ провинцій, онъ уничтожилъ ихъ частное развитіе, а отъ гніенія частей рухнуло и цѣлое; кромѣ того, онъ не понималъ или не хотѣлъ понять, что развитіе интересовъ нравственныхъ и экономическихъ есть необходимое условіе благосостоянія политическаго: общественная

власть, какъ форма жизни народа, необходимо должна сокрушиться при паденіи самаго содержанія жизни, то-есть, интересовъ нравственныхъ и экономическихъ.

Примѣромъ односторонняго развитія и примѣненія началъ экономическихъ можетъ служить Англія. Англійскіе экономисты отличаются отъ всѣхъ другихъ односторонностью своего ученія. Услуга, оказанная ими политической экономіи, заключается не въ чемъ другомъ, какъ въ строгомъ аналитическомъ развитіи началъ экономическихъ. Адамъ Смитъ и его школа ни о чемъ такъ не заботились, какъ объ изолированіи законовъ политической экономіи. Это стремленіе продолжается и до сихъ поръ. Вѣруя въ силу одного анализа, англійскіе экономисты очищаютъ свои науки отъ всякихъ примѣсей нравственныхъ и политическихъ; они убѣгаютъ того, что называемъ мы философіей общества, и примѣняютъ къ жизни одностороннія ученія, рассматривающія богатство, какъ фактъ отдѣльный, ни отъ чего не зависящій, ни съ чѣмъ не соединенный органически. Этотъ взглядъ, ложный въ наукѣ, дѣлается гибельнымъ для практики. Все государство превращается въ контору, люди—въ вещи и въ машины; одни только богатые сохраняютъ болѣе или менѣе человѣческой характеръ, ибо они хозяева этой машины. Политическая экономія утратила тамъ характеръ науки, основанной на идеѣ благосостоянія, и послужила основаніемъ монополіи, аристократіи богатства. Упреки, которымъ осыпаетъ Eugène Buret, авторъ основательнаго сочиненія „О нищетѣ рабочихъ классовъ въ Англіи и во Франціи“, экономистовъ англійскихъ и французскихъ за такое одностороннее примѣненіе началъ чистой теоріи, преимущественно должно относиться къ первымъ,—ибо политическая экономія явилась во Франціи съ характеромъ науки, тѣсно связанной со всѣми общественными вопросами и съ видами чисто филантропическими, выражавшимися формулой: „le plus grand bien du plus grand nombre“. Адамъ Смитъ, основатель англійской школы, пошелъ совершенно другимъ путемъ: въ его глазахъ міръ экономической, какъ будто бы не имѣлъ никакого отношенія къ обществу и его благосостоянію; экономическіе интересы имѣютъ для него важность безусловную. Этотъ взглядъ до сихъ поръ отличаетъ англійскихъ экономистовъ. Къ сожалѣнію, онъ имѣетъ поборниковъ своихъ и во Франціи; тѣмъ не менѣе, однакожь у этого народа нашлось много представителей взгляда противоположнаго. Что же касается до Англіи, съ ея утилитарнымъ воззрѣніемъ на міръ и на общество, то гибельныя слѣдствія ея односторонняго анализа слишкомъ ярко выражаются въ милліонахъ паріевъ, существующихъ въ этой странѣ объ руку съ баснословными богачами, для которыхъ теорія Смита послужила ключемъ къ мнѣнческому могуществу. Картина этого страшнаго порядка вещей, нарисованная Бюретъ служитъ яснымъ доказательствомъ того, что примѣненіе одностороннихъ началъ политической экономіи, точно также, какъ и прѣва, гибельно не только для интересовъ нравственныхъ и политическихъ, но и для интересовъ собственно экономическихъ <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France. Par Eugène Buret



Противоположность Англіи представляетъ Германія. Какъ Англія выражаетъ односторонность экономическую, такъ Германія, напротивъ того, представляетъ крайность нравственную. Замѣтимъ притомъ, что изъ нравственныхъ интересовъ господствуетъ тамъ интересъ ученый. Наука изолирована у нѣмцевъ въ той же мѣрѣ, какъ промышленность—у англичанъ. Этотъ фактъ слишкомъ извѣстенъ и глубоко сознавъ всѣми чужеземцами по отношенію къ вліянію, которое онъ имѣетъ на слабое развитіе интересовъ политическихъ и экономическихъ. Но посмотримъ, что сдѣлала нѣмецкая наука для самой себя. Не одобряя политическаго и экономическаго развитія Германіи, многіе чужестранцы благоговѣютъ передъ нѣмецкою ученостью. Не говоря уже о насъ, русскихъ, нельзя не замѣтить, что и французы начинаютъ обращаться за Рейнъ; такъ нѣкогда грекъ, мечтавъ о приобрѣтеніи мудрости, стремился мыслью къ священнымъ берегамъ Ганга. Изученіе нѣмецкаго языка дѣлается все болѣе и болѣе общимъ во Франціи; французскіе ученые начинаютъ являться въ нѣмецкихъ университетахъ; въ ученыхъ сочиненіяхъ французовъ умножаются, наконецъ, ссылки на нѣмецкихъ писателей; нѣмецкая философія находитъ себѣ отголосокъ въ Сорбоннѣ. Съ своей стороны, я благоговѣю передъ заслугами германскихъ ученыхъ, принимая въ соображеніе то, чѣмъ обязана имъ европейская наука. Но, рассматривая Германію въ собственныхъ ея нѣдрахъ, не могу не вспомнить словъ Мишле: „L'Allemagne c'est l'Inde en Europe“ <sup>1)</sup>. Читая Кольбруково изложеніе индѣйской философіи, европеецъ поражается сходствомъ ея съ философіей нѣмцевъ. Мы говоримъ здѣсь не о Ведахъ, а о философскихъ системахъ, развившихся въ Индіи независимо отъ религіи. Та же мысль, отрѣшившаяся отъ жизни, погруженная въ созерцаніе самой себя, безъ всякаго отношенія къ дѣйствительности, та же силлогистика, та же юношеская мечтательность, однимъ словомъ—всѣ черты нѣмецкой науки. Но говорить такимъ образомъ безъ доказательствъ о такомъ авторитетѣ было бы слишкомъ самонадѣянно, а потому поспѣшимъ представить основанія своего сужденія.

Главный недостатокъ нѣмецкихъ ученыхъ состоитъ въ томъ, что они позволяютъ себѣ создавать теоріи, не основывая ихъ на фактахъ. Подтвержденіемъ тому служить вся исторія ихъ философіи отъ Канта до Гегели включительно. Мы начинаемъ съ Канта, ибо онъ первый сбросилъ окончательно цѣпи теократическаго воззрѣнія, которому еще уступалъ Лейбницъ. Кантъ выразилъ своимъ ученіемъ тотъ періодъ умственнаго развитія Германіи, когда вопросъ о свободѣ мышленія сочтенъ былъ вполне рѣшеннымъ; слѣдовательно, съ этого времени можно судить о нѣмецкой философіи, какъ о силѣ, совершенно освободившейся изъ оковъ посторонняго вліянія и предоставленной собственному развитію. Какъ же воспользовалась нѣмецкая философія своею свободой? Кантъ, недовольный

---

<sup>1)</sup> Introduction à l'histoire universelle. Par Michelet.

господствовавшими до него философскими учениями, обратился къ изслѣдованію силъ души человѣческой для того, чтобъ основать философію на психологін. Намѣреніе это было, конечно, весьма основательно, ибо, приступая къ дѣлу, разумѣется, надо прежде всего увѣриться въ орудіи къ исполненію его. Имѣя болѣе всего въ виду познавательную способность, онъ изслѣдовалъ всѣ силы души или разума, ибо, по его понятію, душа и есть разумъ. Но результатъ его изслѣдованій оказался совершенно одностороннимъ; онъ заключается въ безусловной свободѣ познанія отъ опыта и въ свободѣ воли отъ побужденій. Нѣтъ нужды доказывать въ наше время, что этотъ идеализмъ не представляетъ собою полной системы психологическаго ученія, ибо ограниченность разума и воли есть фактъ совершенно признанный новѣйшею психологіей. Откуда могло произойти такое существенное заблужденіе человѣка, одареннаго высшими силами ума? Безъ сомнѣнія, оттого, что онъ заключился въ умозрѣніи и не обратилъ никакого вниманія на дѣйствительные факты. Слѣдствіемъ такого пренебреженія опытомъ было то, что истина явилась ему съ одной стороны и выразилась въ ученіи, не только что непримѣнимомъ къ практикѣ, но и ложномъ въ смыслѣ логическомъ. За Кантомъ слѣдовалъ Фихте, котораго ученіе представляетъ совершенную аналогію съ ученіями софистовъ древней Греціи. Понятіе личности составляетъ основу его философіи. По этой системѣ, основаніемъ человѣческаго познанія служитъ сознаніе человѣка о собственномъ своемъ существованіи. Но, сознавая себя чѣмъ-то особеннымъ, самостоятельнымъ, человѣкъ по тому самому не можетъ не допускать существованія другихъ предметовъ и такимъ образомъ доходитъ до познанія внѣшняго міра. На это можно замѣтить, что способность размышленія развивается у человѣка въ извѣстномъ возрастѣ и при извѣстныхъ условіяхъ; между тѣмъ, всякое дитя имѣетъ понятіе о внѣшнемъ мірѣ посредствомъ дѣйствія его на чувство: неужели она пріобрѣтаетъ это познаніе посредствомъ силлогизма, поставляемаго Фихте во главу теоріи познанія? Подобными силлогизмами объясняетъ этотъ, впрочемъ необыкновенно остроумный, философъ дѣятельность человѣка въ обществѣ. Что же это за наука?

Шеллингъ и Гегель увлеклись чистымъ мышленіемъ еще далѣе своихъ предшественниковъ. Шеллингъ принимаетъ за основу матеріи и духа одно и то же начало—безусловное. Но спрашивается: не имѣя возможности знать вполнѣ проявленій какого-нибудь начала, можно ли имѣть притязанія на познаніе самого этого начала? Развѣ мы можемъ положительно опредѣлить духъ или матерію? Опредѣленіе того и другого можетъ быть только отрицательное: духъ противоположенъ матеріи, а матерія противоположна духу. Если бы мы могли объяснить силы, которыми они проявляются, тогда бы мы могли, конечно, дойти и до уразумѣнія цѣлаго, образуемаго этими силами. Между тѣмъ эти силы извѣстны намъ единственно по своимъ внѣшнимъ проявленіямъ, по условіямъ своего обнаруженія въ опредѣленныхъ фактахъ. Тяжесть, дѣлимость, непроницаемость, воображеніе, мышленіе, однимъ словомъ—всѣ

силы матеріальныя и духовныя извѣстны намъ единственно по дѣйствию ихъ на насъ самихъ и на міръ, насъ окружающій. А не зная частей, нельзя знать и цѣлаго. Слѣдовательно, сущность духа и матеріи остается для насъ загадкой. По той же самой причинѣ, еще ограниче было бы имѣть притязаніе на познаніе того начала, которое заключаетъ въ себѣ и духъ, и матерію. Изъ этихъ простыхъ соображеній, безъ сомнѣнія, никому не чуждыхъ, нельзя не заключить, что познаніе абсолютнаго принадлежитъ къ числу задачъ, недоступныхъ для человѣка, и философія у Шеллинга является намъ мечтой юношескаго синтеза. Мечтательное направленіе его много объясняется поэтической эпохою, въ которую онъ началъ мыслить и сознать свою систему.

Гегель, кажется, имѣлъ искреннее желаніе соединить науку съ жизнью: это желаніе ясно выражается въ ученіи его о тождествѣ разумаго и дѣйствительнаго. Но самая система его, несмотря на геніальное развитіе многихъ частей <sup>1)</sup>, также мечтательна, какъ и система Шеллинга. Основой бытія, по Гегелю, служитъ *мысль*, которая познается, во первыхъ — какъ погруженная въ самое себя, во вторыхъ — во внѣшности, какъ бы разумъ природы, втретьихъ — какъ мысль, сознающая себя духомъ. Изъ этого видно, что мысль у Гегеля то же, что абсолютъ у Шеллинга: она — начало и общая основа матеріи и духа. Слѣдовательно, въ этой системѣ совершенно примѣняется сказанное нами о системѣ Шеллинга.

Изъ этого краткаго очерка важнѣйшихъ системъ нѣмецкой философіи нельзя не заключить, что величайшіе представители науки въ Германіи не удовлетворяютъ требованіямъ ученой дѣятельности, позволяя себѣ предаваться чистому мышленію, независимо отъ опыта, и тѣмъ самымъ не создаютъ истинной науки.

Не менѣе убѣдительнымъ доказательствомъ того, какъ чужды они взгляда на органическую связь идеи съ фактами, служатъ практическія науки, особенно право. Извѣстно, что знаменитѣйшіе нѣмецкіе юристы раздѣляются на три школы — философскую, историческую и медіативную. Философская школа утверждаетъ, что право должно быть изучаемо, какъ наука умозрительная. Противоположный взглядъ характеризуетъ школу историческую, которая не хочетъ допускать другого способа изученія законовъ, кромѣ историческаго. Наконецъ, третья занимаетъ средину между двумя крайностями, соединяя философію съ исторіею. Но замѣтимъ, что это соединеніе не имѣетъ и тѣни того органическаго характера, которымъ дышетъ наука во Франціи, когда она попадаетъ подъ перо ученаго, не увлеченнаго ни бездушнымъ анализомъ англичанъ, ни безплотнымъ синтезомъ нѣмцевъ. Доказывать это замѣчаніе было бы излишне: пришлось бы исчислять весь каталогъ нѣмецкой юридической литературы.

<sup>1)</sup> Особенно нельзя не признать въ немъ великаго генія за обработку сочиненія „Философія исторіи“.

Приведенные здѣсь примѣры государствъ, представляющихъ исключительное преобладаніе одной какой-нибудь стороны общественнаго благосостоянія, могутъ служить подтвержденіемъ теоретическихъ выводовъ о необходимости философій общества для практическаго примѣненія общественныхъ наукъ. Прибавимъ къ этому еще одно доказательство, основанное на строгой аналогіи. Легко можно доказать, что исторія частныхъ наукъ общественныхъ уже оправдала необходимость синтетическаго развитія наукъ вообще, какъ въ теоретическомъ, такъ и въ практическомъ отношеніяхъ. Припомнимъ, на примѣръ, исторію системъ политической экономіи. Съ XV столѣтія эта наука постоянно развивалась въ теоріи и примѣнялась къ практикѣ. Извѣстно, какъ одностороннія ученія, принимавшія за основу народнаго богатства сначала деньги, потомъ—торговлю, потомъ—фабричную промышленность, потомъ—земледѣліе, какъ всѣ они, опровергая себя одно за другимъ и въ теоріи, и въ практикѣ, слились наконецъ въ одну науку, въ которой каждый односторонній взглядъ, признававшійся нѣкогда безусловнымъ, имѣетъ свое мѣсто въ кругу другихъ. Новѣйшіе экономисты не принадлежатъ ни къ меркантилистамъ, ни къ мануфактуристамъ, ни къ физиократамъ; они признаютъ наравнѣ всѣ источники богатства и всѣ роды капиталовъ. Одностороннія системы одна за другою оказались ложными въ наукѣ и гибельными въ практикѣ. То же самое представляетъ намъ исторія права и педагогика. Но, окончивъ курсъ образованія частныхъ организмовъ, творческій умъ человѣка стремится къ образованію изъ нихъ организма общаго, такъ что процессъ составленія общественной философій есть не что иное, какъ продолженіе процесса образованія права, политической экономіи и морали. Съ этой точки зрѣнія взгляды политическій, экономическій и нравственный являются намъ столь же односторонними, какъ на примѣръ, меркантильность въ теоріи экономическаго благосостоянія, какъ макіавелизмъ въ политикѣ, какъ схоластика въ морали.

### § 3.

Всякій предметъ есть что-нибудь цѣлое, дѣлящееся на части, и въ то же время часть какого-нибудь другого цѣлаго. Всякая наука занимается изслѣдованіемъ какого-нибудь цѣлаго, и потому въ организмъ ея необходимо входятъ: 1) изученіе основныхъ частей изслѣдуемаго цѣлаго, 2) отношеніе этихъ частей между собою, и 3) отношеніе изслѣдуемаго цѣлаго къ другимъ цѣлымъ, находящимся съ нимъ въ ближайшей связи.

Въ предыдущемъ параграфѣ я старался доказать, что философія общества имѣетъ полное право на самостоятельность науки. Слѣдовательно, и ея организмъ долженъ заключать въ себѣ тѣ три части, о которыхъ теперь идетъ рѣчь. И потому первый вопросъ, который представляется здѣсь, состоитъ въ опредѣленіи

основныхъ частей общественной жизни или общественного благосостоянія <sup>1)</sup> (или наконецъ, цивилизаціи въ обширномъ смыслѣ).

Гизо, одинъ изъ величайшихъ представителей аналитической школы, старался разрѣшить эту задачу въ первой лекціи своего курса „Исторіи цивилизаціи въ Европѣ“, основываясь на общепринятомъ живомъ уразумѣніи слова *цивилизация*. Онъ дошелъ до раздѣленія цивилизаціи на *внутреннюю* и *внѣшнюю*, разумѣя подъ внутреннюю—развитіе человѣка независимо отъ связи его съ другими, а подъ внѣшнюю—развитіе его, какъ члена общества. Росси (loc. cit.) представилъ разборъ того же понятія, но увлекся антропологическимъ воззрѣніемъ и говорить, что на благосостояніе можно смотрѣть со стороны богатства, со стороны такъ-называемаго матеріальнаго благосостоянія и со стороны благосостоянія нравственнаго. Слѣдовательно, Гизо не обратилъ вниманія на развитіе экономическое, а Росси—на развитіе политическое. Такихъ неполныхъ опредѣленій встрѣчается множество у различныхъ писателей. Чтобы избѣжать этой неполноты, всего лучше обратиться къ дѣйствительности и посмотрѣть на преобладаніе разныхъ сторонъ идеи общественного благосостоянія въ разныхъ государствахъ.

Въ прошедшемъ и въ настоящемъ мы не можемъ указать ни одного народа, который представлялъ бы своею жизнью гармоническое сочетаніе всѣхъ сторонъ общественного благосостоянія безъ преобладанія какой-нибудь одной надъ другими. Геній человѣчества въ шествіи своемъ отъ Ганга до Атлантиды ни разу не просіялъ еще согласнымъ блескомъ силъ, въ немъ заключенныхъ. Обращаясь къ средоточію исторіи, къ востоку, мы не встрѣчаемъ тамъ ни одного развитого государства, выражавшаго или выражающаго полную идею благосостоянія общества. Восточныя государства, древнія и новыя, могутъ быть раздѣлены на три категоріи; одни изъ нихъ представляютъ преобладаніе элемента политическаго, другія являютъ собою міръ утилитарный, третьи—внутренній міръ человѣка. Къ первымъ принадлежатъ государства, во первыхъ, развившіяся изъ патріархальнаго быта и сохранившія еще всю оболочку этого зерна, какъ Китай и Японія, во вторыхъ—изъ завоеванія, каковы всѣ государства татарско-турецкаго племени. Ко второй категоріи должно отнести многіе народы семитическаго племени финикіяне и кареагеняне принадлежали къ народамъ исключительно торговымъ. Наконецъ, индѣйцы, древніе меды, халдеи, іудеи и египтяне принадлежатъ къ народамъ, у которыхъ нравственное развитіе, преимущественно въ формахъ теократіи, брало верхъ надъ всѣми другими отраслями общественного благосостоянія. Въ Европѣ видимъ мы точно то же. Греція представляетъ намъ самый

<sup>1)</sup> Новѣйшая наука дошла, наконецъ, до того результата, что *совершенство* и *развитіе* суть два понятія однозначущія, что правила свободной дѣятельности въ основаніи своемъ совершенно совпадаютъ съ неизмѣнными законами жизни. Вотъ почему мы позволяемъ себѣ употреблять по произволу выраженія: *развитіе общественной жизни* или *общественное благосостояніе*.

роскошный цвѣтъ индивидуальнаго развитія челоѣка: никакое искусство не можетъ до сихъ поръ стать наравнѣ съ искусствомъ греческимъ; Греція произвела для науки Платона и Аристотеля; изъ ученій этихъ философовъ развился въ Европѣ весь синтезъ и весь анализъ; въ нравственности греки являютъ намъ первый примѣръ сознанія самостоятельности лица. За то экономическія и политическія начала не вынесли въ Грецію борьбы съ нравственнымъ міромъ и подчинились его вліянію. Вотъ почему цвѣтущій періодъ греческой жизни, періодъ цвѣтенія ея, былъ кратокъ и энергіей своею истощилъ жизненные силы общества. Римъ, въ свою очередь, подвергся той же участи отъ преобладанія интересовъ политическихъ, какъ уже было говорено въ предыдущемъ параграфѣ. Наконецъ, что касается до государствъ, образовавшихся на развалинахъ Римской имперіи, то и здѣсь встрѣчаемъ мы тѣ же категоріи. Франція, слившая въ себѣ тѣснѣе всѣхъ другихъ западныхъ государствъ римскій міръ съ германскимъ, тѣмъ не менѣе представляетъ преобладаніе политическаго развитія надъ всѣми другими: міры нравственный и экономическій подчинены имъ весьма значительно. Французскіе ученые всегда отличались политическимъ направленіемъ: впрочемъ, наука у французовъ ближе всего къ идеалу. Годаздо труднѣе будетъ имъ освободиться отъ оковъ общественности въ искусствѣ: кромѣ Мольера и Шенье въ литературѣ. Миньяра, Жувене, Лесюэра и Лебрёна въ живописи, нѣтъ у нихъ художниковъ, которые возвысились бы до вѣковыхъ произведеній. Что касается до нравственности и религіи, то ни одно государство не представляетъ такого примѣра вліянія политическихъ началъ на нравы. Англія, напротивъ того, представляетъ собою типъ государства промышленнаго. Италія есть по преимуществу страна искусствъ. Германія, какъ выразился Менцель, есть огромная книжная лавка. Голландія и Бельгія — совершенный *pendant* Англіи. Остаются племена скандинавское и славянское. Трудно сказать, чтобъ они отличались какою-нибудь односторонностью; въ этомъ, можетъ быть, и заключается ихъ характеръ.

Изъ этого списка государствъ восточныхъ и европейскихъ, древнихъ и новыхъ, нельзя не заключить, что исторія и современность открываютъ намъ три стороны общественнаго благосостоянія:—экономическое, нравственное и политическое. Теорія можетъ подтвердить этотъ тройственный взглядъ на идею философіи общества.

Доказать самостоятельность этихъ трехъ сторонъ общественнаго благосостоянія значить то же, что доказать самостоятельность политической экономіи, морали или педагогики и права, ибо, по нашему мнѣнію, благосостояніе физическое или экономическое составляетъ предметъ политической экономіи, благосостояніе нравственное—предметъ педагогики, а благосостояніе политическое—предметъ права. Посему, рѣшивъ вопросъ о самостоятельности этихъ наукъ въ границахъ такого опредѣленія, мы рѣшимъ вмѣстѣ съ тѣмъ и задачу самостоятельности трехъ исчисленныхъ зѣсь сторонъ общественнаго благосостоянія. Въ то же время мы



постараемся доказать и исключительность этихъ трехъ сторонъ. Начнемъ съ политической экономіи.

Прежде всего надо согласиться въ томъ, что удовлетвореніе физическихъ потребностей вовсе не составляетъ еще физическаго или экономическаго благосостоянія. Значеніе сего послѣдняго гораздо обширнѣе: оно объемлетъ собою всю систему человѣческихъ потребностей по мѣрѣ того, какъ онѣ могутъ быть удовлетворены чрезъ дѣйствіе человека на внѣшній міръ. Такъ напримѣръ, любознательность есть потребность чисто нравственная, — тѣмъ не менѣе печатаніе и продажа книгъ есть фактъ экономическій, фактъ матеріальнаго благосостоянія, производства цѣнности посредствомъ труда. Книга удовлетворяетъ потребности нравственной; цѣнность, на нее вымѣниваемая, можетъ быть также обращена на удовлетвореніе нравственной потребности; книжная торговля служитъ здѣсь только средствомъ; слѣдовательно, значеніе ея зависитъ отъ нравственныхъ нуждъ. И во всякой мѣнѣ, во всякомъ трудѣ первый двигатель есть запросъ, потребность, которую мы не имѣемъ никакого права ограничивать предѣлами нашей физической природы. Одному нуженъ кусокъ мяса, другой съ такою же силою требуетъ книгъ, третій — какихъ-нибудь барельефовъ для украшенія дома. Промышленность удовлетворяетъ всѣмъ этимъ требованіямъ. Слѣдовательно, нельзя смотрѣть на нее, какъ на средство къ удовлетворенію физическихъ потребностей.

Итакъ, экономическое благосостояніе заключается въ матеріальныхъ средствахъ къ удовлетворенію всѣхъ человѣческихъ потребностей. Наличие этихъ средствъ составляетъ то, что мы привыкли называть богатствомъ. Слѣдовательно, ошибаются тѣ, которые раздѣляютъ мнѣніе Росси, будто бы богатство и матеріальное благосостояніе — двѣ вещи разныя. Первое есть не что иное, какъ фактъ выражающій послѣднее. Никто уже не смотритъ теперь на богатство, какъ на груды золота; всѣ понимаютъ теперь, что оно заключается въ матеріальныхъ средствахъ къ удовлетворенію потребностей посредствомъ вещей. Замѣчательно, что въ изложеніи своей науки Росси самъ невольно раздѣляетъ этотъ взглядъ: онъ съ жаромъ возстаетъ противъ тѣхъ экономистовъ, которые ограничиваются изслѣдованіемъ мѣновой цѣнности; онъ убѣдительно доказываетъ имъ, что мѣновая цѣнность имѣетъ значеніе по отношенію своему къ запросу, къ потребности; потребность рѣшаетъ все дѣло: не будь потребности, не было бы и мѣновой цѣнности. При такомъ взглядѣ, нельзя не назвать противорѣчіемъ разсужденіе Росси о различіи между богатствомъ и физическимъ или экономическимъ благосостояніемъ, ибо потребности такъ же разнообразны, какъ и вещи, служащія къ ихъ удовлетворенію. Въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ, что, смѣшивая богатство съ физическимъ благосостояніемъ, пришлось бы отнести къ политической экономіи архитектуру и медицину. Такое возраженіе можетъ быть легко опровергнуто. Архитектура и медицина въ обществѣ дѣйствительно не чужды политической экономіи, по мѣрѣ того, какъ оба эти искусства зависятъ отъ ремесленныхъ

условія. Политической экономіи нѣтъ дѣла до сравненія изящества архитектурныхъ орденовъ или до преимуществъ аллопатіи надъ гомеопатіей; но вопросъ о цѣнности строительныхъ матеріаловъ, о каменщикахъ и каменоломняхъ, о цѣнѣ аптекарскихъ произведеній, о медицинскомъ гонорарѣ и т. п., все это прямо и непосредственно относится къ области изслѣдованій экономистовъ. Дѣлая такое возраженіе, Росси упустилъ изъ виду то, что политическая экономія не изслѣдуетъ ни одной потребности въ ея безотносительномъ значеніи. Такъ, напримѣръ, разсуждая объ удовлетвореніи самой первой потребности, играющей самую ровную роль въ промышленности, именно—о потребности питанія, развѣ мы должны разсматривать ее въ политической экономіи, какъ процессъ органической жизни? Для этого есть фізіологія. Точно такъ и медицина имѣетъ значеніе въ составѣ экономическаго благосостоянія единственно по ремесленнымъ и торговымъ вопросамъ, къ которымъ необходимо приводить насъ медицинская практика. Этими примѣрами ясно обнаруживается намъ сущность экономическаго благосостоянія: ясно, что оно условно, что оно предполагаетъ цѣлую систему біологическихъ законовъ и исчерпываетъ одну только сторону условій ихъ проявленія, именно—условія, вытекающія изъ дѣйствія чловѣка на внѣшній міръ. Но самая эта условность, какъ условность опредѣленная, и сообщаетъ экономическому благосостоянію ту фізіономію, ту самостоятельность, по которой мы отличаемъ его отъ другихъ видовъ общественнаго благосостоянія. Эта самостоятельность понятія образуетъ и самостоятельность науки, которая его изслѣдуетъ.

Въ заключеніе замѣтимъ, что съ экономической стороны общественное благосостояніе является намъ какъ понятіе, весьма отличное отъ идеи благосостоянія частнаго лица. Кто привыкъ смотрѣть на вещи съ точки зрѣнія антропологической, тотъ не можетъ не впасть въ глубокія заблужденія при изученіи его законовъ, какъ частныхъ такъ и общихъ. Говорить о потребностяхъ и о средствахъ къ ихъ удовлетворенію и имѣть въ виду не одно опредѣленное лицо, не однѣ опредѣленныя потребности, все это кажется намъ неудобно: мы легко сбиваемся на свой обиходный масштабъ и персонифируемъ общество тамъ, гдѣ оно совершенно отличается отъ частнаго чловѣка. Мы привыкли смотрѣть на сего послѣдняго, какъ на органическое существо, подлежащее непосредственному наблюденію, какъ на существо, которое питается, плодится, познаѣтъ, творитъ, входитъ съ отношеніями съ другими, и все это—по силѣ потребностей, которыя двигаютъ его волю. Общественныя науки переносятъ насъ совсѣмъ въ другой міръ: потребности теряютъ въ глазахъ соціалиста всю свою непосредственность; онѣ занимаютъ его единственно со стороны средствъ къ ихъ удовлетворенію. Ему нѣтъ дѣла до физическихъ и духовныхъ наслажденій, украшающихъ наше существованіе: онѣ погружены въ какой-то искусственный міръ условій, въ міръ средствъ къ достиженію цѣлей, которыхъ важность принимается за данное.

Эта условность встрѣчается и въ мірѣ нравственнаго, если смотрѣть на него съ точки зрѣнія общественнаго благосостоянія. Педагогъ, разсуждая о наукѣ, объ искусствѣ, о нравственности и религіи, не занимается изслѣдованіемъ ихъ внутренней основы, предполагая этотъ вопросъ рѣшеннымъ въ логикѣ, въ эстетикѣ, въ этикѣ и въ богословіи. Его занимаетъ не сущность сихъ проявленій духа,—онъ старается опредѣлить условія, при которыхъ свободная дѣятельность ума, творческаго воображенія и воли развивается съ большею или меньшею энергіей въ обществѣ, и которыя содѣйствуютъ къ водворенію въ немъ нравственнаго благосостоянія. Подобно тому, какъ политическая экономія принимаетъ за данное, напримѣръ, потребность размноженія въ человѣкѣ, изслѣдуемую фізіологіей, и рассматриваетъ народонаселеніе въ отношеніи къ количеству матеріальныхъ средствъ для удовлетворенія ихъ потребностей,—педагогика, съ своей стороны, не вдается, напримѣръ, въ анализъ потребности изящнаго и дѣятельности творческаго воображенія художника на поприщѣ удовлетворенія этой потребности: прямая обязанность ея состоитъ въ изысканіи средствъ къ развитію и удовлетворенію этой потребности въ обществѣ. Педагогика разсуждаетъ о музеяхъ, объ академіяхъ, объ университетахъ о выставкахъ художественныхъ произведеній, принимая за доказанное, что потребность, которой удовлетворяютъ подобныя учрежденія, такъ же сильна въ человѣкѣ по духовному существу его, какъ и зависимость его отъ внѣшняго міра, вызывающая труды рукъ, напряженіе тѣла. Педагогу нѣтъ также нужды вносить въ свою науку цѣлое ученіе о преимуществахъ аналитическаго или синтетическаго развитія науки; онъ предполагаетъ его рѣшеннымъ въ логикѣ и посмотритъ на него единственно со стороны обстоятельствъ, при которыхъ общество болѣе или менѣе способно дать жизнь логическому вопросу.

Педагогика въ наше время входитъ въ составъ полицейскаго права. Въ статьѣ о самостоятельности наукъ политическихъ мы будемъ еще говорить о несправедливости такого помѣщенія ея. Теперь изъ сказаннаго мы можемъ уже заключить, что идея ея самостоятельна; слѣдовательно, и самая наука—также. Условность нравственнаго благосостоянія общества такъ же опредѣленна, какъ и условность благосостоянія физическаго: она основывается на силѣ стремленія человѣческаго духа къ познанію истины точно такъ же, какъ условность матеріальнаго благосостоянія—на силѣ зависимости человѣка отъ внѣшняго міра. Педагогика изыскиваетъ средства къ распространенію внутреннихъ познаній въ обществѣ; политическая экономія занимается средствами въ облегченіи узъ, налагаемыхъ на члена общества его зависимостью отъ матеріи. Между тѣмъ и другимъ существуетъ самое близкое соотношеніе, ибо одно обуславливаетъ другое. Тѣмъ не менѣе, одно совершенно отлично отъ другого, какъ по сущности, такъ и по формѣ. Изучить обстоятельства, способствовавшія въ древней Греціи успѣхамъ войны, совсѣмъ не то, что—изучить условія добыванія веществъ, служившихъ матеріаломъ Фидію и

Правсителю. Это не требует дальнѣйшаго доказательства, и потому мы перейдемъ къ самостоятельности права, какъ теоріи благосостоянія политическаго.

Въ первомъ параграфѣ было уже говорено о томъ, что смѣшеніе элементовъ въ современной наукѣ права произошло отъ того, что ученые смотрятъ на него, какъ на теорію законодательства, и потому вводятъ въ него всѣ общественные вопросы по мѣрѣ того, какъ они выражаются въ законахъ государствъ. Мы намекнули уже о томъ, что государственный законъ служитъ слишкомъ обширнымъ масштабомъ для науки, и что, руководствуясь имъ мы нарушаемъ требованія анализа. Здѣсь мы рассмотримъ этотъ вопросъ подробнѣе, и чтобы не пропустить ничего для заключенія, бросимъ взглядъ на цѣлое и на частности.

Законъ есть правило внѣшнихъ дѣяній членовъ общества для опредѣленія ихъ правъ и обязанностей. Изъ этихъ правъ и обязанностей многія основываются на началахъ политической экономіи и педагогики, такъ что и та, и другая имѣютъ свое законодательство. Именно, сюда относятся всѣ законы, содѣйствующіе прямо экономическому и нравственному благосостоянію. Но затѣмъ остается еще одинъ родъ законовъ, это — законы такъ-называемые государственные, законы, основанные на понятіи верховной власти, на правахъ и обязанностяхъ ея и на способѣ дѣйствія ея на общество. Во всякомъ правѣ вы найдете два рода вопросовъ и два рода законовъ: одни изъ нихъ касаются самого содержанія общественной жизни, интересовъ экономическихъ и нравственныхъ, другіе — до формы общества, до организаціи его, основанной на правахъ и обязанностяхъ общественной власти. Такъ всякій законъ экономическаго или нравственнаго благосостоянія рождаетъ два вопроса: 1) Какой законъ экономическаго или нравственнаго благосостоянія служитъ основаніемъ этому закону государства? 2) Что даетъ силу этому закону? Первый вопросъ находитъ себѣ рѣшеніе въ политической экономіи и педагогикѣ, второй — въ правѣ.

Такимъ образомъ, право, какъ наука, будетъ не что иное, какъ теорія благосостоянія политическаго. Иного объема не возможно дать ему уже и потому, что другія двѣ стороны общественнаго благосостоянія изслѣдуются въ политической экономіи и педагогикѣ, двухъ наукахъ, которыхъ самостоятельность доказана, и которыя исчерпываютъ собою все содержаніе общественной жизни. Представимъ себѣ общество, въ которомъ экономическіе и нравственные интересы имѣютъ уже надлежащее направленіе. Чего остается желать ему? Ничего, кромѣ формы, которая дала бы всѣмъ членамъ этого общества правильную организацію, обезпечивъ внѣшнюю силою всѣми признаваемыя права и обязанности. Еслибы въ самомъ дѣлѣ можно было себѣ представить народъ, у котораго промышленность, науки, искусства и религіи приведены въ цвѣтущее состояніе, то все еще социалистъ спросилъ бы: существуетъ ли въ этомъ обществѣ власть, которая всегда готова поддерживать этотъ порядокъ вещей и дѣлать въ немъ нужныя измѣненія? Есть ли въ немъ

внѣшняя сила, поддерживающая и направляющая общественную дѣятельность по идеѣ порядка и прогресса? <sup>1)</sup>

Изъ сказаннаго до сихъ поръ можно заключить, что въ область права входятъ только законы государственные, уголовные и относящіеся до полиціи безопасности. Напротивъ того, законы гражданскіе и полицейскіе (относящіеся къ такъ-называемой полиціи благосостоянія) относимъ мы къ педагогикѣ и къ политической экономіи. Прибавимъ кромѣ того, что, по нашему мнѣнію, въ область права входятъ также законы финансовыя и законы права народовъ (*droit international*). Такъ какъ этотъ взглядъ можетъ показаться для многихъ слишкомъ дерзкимъ и, можетъ быть, излишнимъ нововведеніемъ, то мы считаемъ за лучшее рассмотретьъ отдѣльно тѣ частныя науки, которыя, по нашему мнѣнію, не могутъ существовать въ объемѣ, сообщенномъ имъ современною философіей законодательства. Посему мы обратимъ вниманіе на права *гражданское, полицейское, уголовное и международное*, или право народовъ.

Гражданское право, по общепринятому опредѣленію, занимается изслѣдованіемъ правъ и обязанностей членовъ гражданского общества между собою. Современная наука гражданского права не ограничивается изслѣдованіемъ гарантій этихъ правъ и обязанностей, заключающейся въ верховной власти: она проникаетъ въ существенное содержаніе сихъ законовъ и выводитъ ихъ теоретически и исторически изъ природы человѣка и изъ фактовъ исторіи человѣчества. Спрашивается: для чего же существуетъ нравственная или практическая философія, съ своими теоріями личности и съ такъ называемымъ естественнымъ правомъ? Можно было бы объяснить себѣ это недоразумѣніе, если бы теорія брака, родительской власти и всѣхъ вообще учрежденій, основывающихся на идеѣ лица, играла въ гражданскомъ правѣ роль введенія: весьма естественно, что, приступая къ изложенію сложныхъ наукъ, авторъ позволяетъ себѣ изложить свое понятіе о тѣхъ простыхъ наукахъ, которыя служатъ основаніемъ первымъ. Но самое опредѣленіе гражданского права не позволяетъ намъ сомнѣваться въ томъ, что теорія личности составляетъ содержаніе этой науки. Изслѣдовать взаимныя права и обязанности членовъ общества безъ отношенія ихъ къ верховной власти не значитъ ли, что изслѣдовать личность, какъ понятіе, служащее основой личнымъ правамъ и обязанностямъ. Теорія личности во всей своей чистотѣ излагается въ нравственной философіи, а подъ вліяніемъ общественныхъ условій — въ морали или педагогикѣ. Какъ предметъ государственныхъ законовъ, она входитъ въ право единственно потому, что личныя права гарантируются верховною властью и могутъ быть ею измѣнены. Здѣсь дѣйствительно встрѣчаются вопросы, которыхъ рѣшеніе не принадлежитъ ни нравственной философіи, ни педагогикѣ;

<sup>1)</sup> Я употребляю здѣсь формулу Конта для выраженія статистическихъ и динамическихъ законовъ общества. См. *Cours de philosophie positive*. Par *Auguste Comte*, t. IV.

можно спросить: въ чемъ заключаются права эти относительно опредѣленія и огражденія личныхъ правъ и обязанностей, и какія мѣры ведутъ къ этой цѣли? „Этотъ взглядъ одностороненъ“, скажутъ многіе, — „это взглядъ политическій“. Спрашиваемъ: какой же другой взглядъ на личные права можно допустить въ гражданскомъ правѣ, когда самая основа этихъ правъ и значеніе ихъ въ общественномъ организмѣ опредѣлены уже другими науками? Право, какъ наука общественная, не можетъ заключать въ своей организаціи вопросовъ чисто антропологическихъ. Этика или теорія воли, какъ часть антропологіи, рассматриваетъ личные права отвлеченно. Какъ основа общественной нравственности, они рассматриваются въ педагогикѣ. Остается рассмотреть ихъ подъ вліяніемъ верховной власти. Въ этомъ, по нашему мнѣнію, и заключается предметъ гражданского права. Посему, вмѣсто приведеннаго выше опредѣленія его, должно быть сдѣлано слѣдующее: гражданское право есть наука, изслѣдующая мѣры верховной власти для опредѣленія и огражденія личныхъ правъ. Такимъ образомъ эта наука будетъ находиться подъ исключительнымъ вліяніемъ политическаго взгляда, ей свойственнаго.

Что касается до полицейскаго права, то наука сія, по своему строенію, безъ сомнѣнія, составляетъ самую слабую сторону новѣйшей системы права. Одно опредѣленіе ея не можетъ не изумить внимательнаго критика. Полицейское право рассматриваетъ мѣры правительства къ доставленію гражданамъ всѣхъ видовъ безопасности и благосостоянія. Не объемлетъ ли это опредѣленіе всей дѣятельности правительства? Кромѣ достиженія благосостоянія и безопасности, нѣтъ и не можетъ быть цѣлей ни у отдѣльнаго лица, ни у цѣлаго общества. Идея благосостоянія тождественна съ идеей удовлетворенія всѣхъ человѣческихъ потребностей; безопасность есть внѣшнее условіе благосостоянія, а цѣль общественной жизни и всѣхъ ея учреждений—не что иное, какъ достиженіе такого состоянія, при которомъ возможно всестороннее удовлетвореніе потребностей. Предусматривая такое возраженіе со стороны кригики, писатели по части полицейскаго права стараются различными оговорками ограничить предѣлы своей науки. Масштабъ, принимаемый ими для сего ограниченія, крайне недостаточенъ; они относятъ къ полиціи всѣ тѣ предметы законодательства, которые не входятъ въ обыкновенный составъ другихъ частныхъ наукъ права, не заботясь о томъ, можетъ ли этотъ остатокъ образовать стройное знаніе. Вслѣдствіе такого распоряженія полицейское право играетъ какую-то жалкую роль въ цѣлой системѣ права; оно, какъ пролетарій, живетъ тѣмъ, что остается отъ другихъ, не имѣя почти ничего, по праву ему принадлежащаго. Публицисты, цивилисты, криминалисты и экономисты могутъ однимъ смѣлымъ нападеніемъ мысли лишить его почти всѣхъ средствъ къ существованію. Политическій элементъ его, заключающійся въ дѣйствіи верховной власти на всѣ полицейскія учрежденія, можетъ отойти къ государственному праву, элементъ юридическій, заключающійся въ пособіяхъ, которыя оказываетъ полиція при



судопроизвод

особенно в

исключительно политическомъ. Уголовное право обязано немедленно возвратитъ въ составъ свой такъ называемыя полицейскія наказанія: одна только закоренѣлая схоластика могла допустить столь витѣйскія подраздѣленія предмета недвижимаго. Что же касается до политической экономіи, то нѣтъ никакихъ средствъ освѣтлѣвать у нея правъ на теорію народнаго богатства, составляющую часть полиціи благосостоянія. За исключеніемъ же снѣзъ предметовъ, остаются: 1) внутренняя безопасность, 2) народное здравіе, 3) народное воспитаніе — умственное, эстетическое, нравственное и религіозное. Что касается до внутренней безопасности, то предметъ сей кажется намъ единственнымъ законнымъ содержаніемъ полицейскаго права. Не говоря уже о томъ, что въ этомъ изслѣдованіи оно не входитъ въ столкновеніе ни съ одною изъ другихъ общественныхъ наукъ, замѣтимъ, что полицейское право, рассматриваемое какъ теорія общественной безопасности, получаетъ характеръ опредѣленный и совершенное единство. Идея предупрежденія всякаго зла, могущаго угрожать обществу и возникающаго изъ самой средины его, эта идея, будучи принята за основу полицейской дѣятельности, не возмозитъ намъ смѣшивать полицейскія институціи съ другими. На основаніи такой идеи и положеніе о народномъ здравіи, то-есть, практическая гігіена, также относится къ полиціи, ибо здоровье есть благо отрицательное: здоровый человѣкъ обладаетъ только внѣшнимъ условіемъ къ достиженію другихъ существенныхъ, положительныхъ цѣлей. Но что касается до народнаго воспитанія, то къ вѣдомству полиціи относится одна только цензура, какъ учрежденіе предупредительное: самое воспитаніе имѣетъ цѣль положительную, безусловную. Покровительство, означиваемое общественною властью успѣхамъ наукъ, искусствъ, нравственности и религіи, имѣетъ основаніемъ положительное стремленіе къ распространенію идей истины, добра и красоты. Въ этомъ видѣ рассматривается оно въ педагогикѣ, которая своимъ положительнымъ характеромъ существенно отличается отъ гігіены. Принявъ во вниманіе все сказанное, можно представить себѣ полицейское право, какъ цѣлое совершенно органическое. Идея, его проникающая, заключается въ отрицательной и предупредительной дѣятельности верховной власти. Здѣсь имѣетъ видъ мы элементъ политическій, ибо основной взглядъ науки заключается въ правѣ и обязанности верховной власти принимать мѣры къ предупрежденію нравственнаго и физическаго зла, угрожающаго обществу.

Характеръ уголовного права, по нашему мнѣнію, долженъ быть также политическій. Одна изъ самыхъ торжественныхъ страницъ Новаго Завѣта гласитъ о наказаніи суда людскаго: Спаситель останавливаетъ разъяренную толпу народа, готовую побить камнями грѣшницу. „Пусть тотъ, кто считаетъ себя безгрѣшнымъ, броситъ въ нее первый камень“, сказалъ Преобразователь нравственнаго міра. Это повѣствованіе невольно приходитъ въ голову при размысленіи о мно-

гихъ милліонахъ кровавыхъ драмъ общественной жизни, оправдываемыхъ защитниками нравственной основы наказанія. Представимъ себѣ, что теорія вѣнненія (*imputatio*) достигла своего полнаго развитія, что условія справедливаго суда вполне опредѣлены разумомъ. Но развѣ полнота и опредѣлительность теоріи могутъ служить здѣсь ручательствомъ въ точномъ исполненіи началъ ея на практикѣ? Сдѣлаемъ еще уступку. Положимъ, что всѣ судьи, которымъ довѣрена власть постановленія приговора, обладаютъ въ совершенствѣ всѣми условіями благой и разумной личности. При всей ихъ добросовѣстности, при всемъ ихъ умѣ, можно ли поручиться за то, что судъ ихъ будетъ безусловно правиленъ? Преступленіе имѣетъ свою темную исторію, объясненіе которой столь же трудно для уголовного судьи, какъ критика мнѣовъ для историка. Сколько геніальныхъ умовъ дѣлаю промахи на поприщѣ изслѣдованія жизни народовъ—по причинѣ отсутствія какого-нибудь, повидимому, ничтожнаго факта или по какому-нибудь легкому, едва-замѣтному увлеченію! То же самое безпрестанно повторяется и должно повторяться въ дѣлѣ уголовного суда. Узнать внутренній смыслъ преступленія значитъ проникнуть въ изгибы души преступника, опредѣлить съ математическою точностью состояніе ея въ роковую минуту преступнаго рѣшенія. Очевидно, что такая задача никогда не можетъ быть рѣшена вполне; ибо извѣстно, что и самое торжественное доказательство виновности, собственное сознаніе преступника, не всегда можетъ быть принято безусловно. Слѣдовательно, слишкомъ самоувѣренъ тотъ судья, который видитъ въ наказаніи чисто нравственную, безусловную основу, называемую новѣйшими криминалистами *возстановленіемъ нарушенной правды*. Основа наказанія чисто политическая и не можетъ быть другою. Оно *полезно* и даже *необходимо* въ государствѣ, во-первыхъ—потому, что устраняетъ *самоуправство*, во-вторыхъ—потому, что удерживаетъ отъ преступленій страхомъ. Въ государствѣ опредѣленное число судей также необходимо, какъ войско въ борьбѣ народовъ: при господствѣ личной мести, все государство представляетъ картину междоусобной войны. Кромѣ того, наказаніе необходимо должно сокращать число преступленій. Мы не хотимъ утверждать, чтобъ это средство было единственнымъ для достиженія столь важной цѣли. Мы согласны и съ тѣмъ, что у нѣкоторыхъ людей болѣзненное стремленіе ко злу дѣлается неодолимо и безотчетно. Но большая часть преступленій происходитъ отъ слабости человѣческой природы и отъ силы внѣшней приманки. А на человѣка, слабого волей и духовными побужденіями, что можетъ дѣйствовать болѣе страха наказанія? Слѣдовательно, здѣсь одно и то же условіе, слабость, съ одной стороны, служитъ источникомъ зла, съ другой—удерживаетъ человѣка отъ преступленія. Обширное развитіе законовъ о вѣннемости въ уголовномъ кодексѣ каждаго образованнаго народа отнюдь не опровергаетъ такого понятія о наказаніи и не противорѣчитъ ему нисколько. Теорія вѣннемости выражаетъ стремленіе человѣческой справедливости соединить требованія политическія съ требованіями нравственными. Остав-

лять преступленіе ненаказаннымъ значить, какъ сказано выше, подать поводъ къ самоуправству и лишить уголовный законъ силы угрозы. Но, съ другой стороны, наказаніе должно быть основано на сужденіи объ участіи воли въ преступленіи, сужденіи, которое рѣдко можетъ быть справедливо по причинамъ, изложеннымъ выше. Что же остается дѣлать для того, чтобы примирить эти два требованія? Остается принять всевозможныя мѣры для того, чтобы приговоръ уголовного суда былъ сколько возможно болѣе близокъ къ справедливости. И такъ, очевидно, что прямою основой общественнаго наказанія служить интересъ политическій. Необходимость этой мѣры будетъ неоспорима до тѣхъ поръ, пока не воцарятся на землѣ добро и разумъ, пока нравственность не приобрѣла того могущества, которое дѣлаетъ возможнымъ для воли уклоненіе отъ истиннаго пути, или пока разумъ не сталъ на ту ступень, на которой требованія эгоизма примиряются съ требованіями нравственности. До тѣхъ поръ внѣшняя сила останется единственнымъ средствомъ къ поддержанію законнаго порядка вещей. Вотъ почему всѣ утописты, мечтавшіе объ уничтоженіи наказанія, должны были обратиться прежде всего къ изысканію средствъ довести человѣка до идеальнаго совершенства нравственнаго и разумнаго. Здѣсь не мѣсто разбирать, до какой степени основательны ихъ надежды. Теперь намъ важно знать, что вопросъ о необходимости наказанія совпадаетъ съ вопросомъ о необходимости внѣшней силы. Уголовный законъ гарантируетъ всѣ другіе законы государства страхомъ наказанія. Слѣдовательно, вѣльзя не заключить, что господствующій элементъ уголовного права, также какъ и другихъ разсмотрѣнныхъ нами правъ, есть элементъ политическій.

Для сужденія о всей системѣ права, намъ остается разсмотрѣть право народовъ, или международное право. Многіе писатели противопоставляютъ частнымъ интересамъ государства начало такъ-называемой общечеловѣческой правды или интересъ общенародный. Этотъ взглядъ на дипломатію развился преимущественно въ мечтательную эпоху первой четверти XIX вѣка, эпоху, ознаменовавшуюся въ мірѣ политическомъ гигантскими, увлекательными подвигами Наполеона, въ искусствѣ—обращеніемъ къ поэзіи среднихъ вѣковъ или романтизмомъ, въ наукѣ—философіей Шеллинга, наконецъ, въ дипломатіи—идеями о единствѣ человѣческаго рода. Теорія соединенія государствъ въ одно тѣло осуществилась на практикѣ только образованіемъ Германскаго союза; но, какъ теорія, она и до сихъ поръ имѣетъ своихъ защитниковъ въ наукѣ. Тѣ изъ нихъ, которые потеряли надежду на скорое исполненіе такого плана, не перестаютъ предсказывать его въ будущемъ и видятъ въ немъ вѣнецъ исторіи человѣчества. „Единство семейства, единство государства, единство человѣчества“, говоритъ Лерминье,—„вотъ степени, черезъ которыя долженъ пройти человѣкъ“. Мы не раздѣляемъ этого воззрѣнія и принимаемъ ученіе тѣхъ дипломатовъ, которые основываютъ право народовъ на идеѣ личности государствъ. Вотъ что заставляеть насъ придержи- ваться этого ученія. Вступленіе всѣхъ государствъ въ одинъ тѣсный союзъ, по-

добно государствамъ германскимъ, не влечетъ за собою никакого вѣшняго обезпеченія правъ одного противъ нарушенія со стороны другого. Физическая же возможность нарушенія останется въ прежней силѣ на сторонѣ могущества. Если полагать, что при существованіи союза всѣ государства должны возставать противъ нарушителя, то на это можно возразить, что и теперь эгонистическіе виды каждаго государства не могутъ не подвигать его къ войнѣ противъ нарушителей общаго и частнаго спокойствія. Притомъ, нельзя себѣ представить, чтобы государства слабыя вооружались противъ государствъ могущественныхъ единственно по силѣ союзныхъ обязанностей. Далѣе, предполагая возможность нарушенія со стороны сильныхъ державъ, нельзя не предполагать также, что онѣ, со своей стороны, могутъ найти себѣ союзниковъ, готовыхъ раздѣлить съ ними плоды хищенія. Наконецъ, представимъ себѣ, что за неучастіе въ союзѣ противъ государства, нарушающаго права другихъ, нейтральное государство должно будетъ подвергнуться наказанію. Если это наказаніе будетъ состоять въ отлученіи отъ союза, то это должно поставить преступника во враждебное отношеніе къ обществу, котораго онъ членъ, и можетъ быть не выгодно для другихъ государствъ по видамъ экономическимъ и нравственнымъ. Если же наказаніе будетъ состоять въ войнѣ противъ нейтральной державы, то при такомъ порядкѣ вещей союзное бытіе народовъ поведетъ не къ вѣчному миру, о которомъ заботятся писатели права народовъ, а къ вѣчной, неугасимой войнѣ. Спрашивается: что же такое послѣ этого право народовъ? Не есть ли это наука нравственная, наука, которой начала ничѣмъ не обезпечены на практикѣ? Мы полагаемъ, что при настоящемъ положеніи вещей права народовъ дѣйствительно мало обезпечены. Однакожъ, нельзя не согласиться, что есть одно начало, которое болѣе или менѣе сознается государствами — если не во всей своей полнотѣ и основаніи, то, по крайней мѣрѣ, отчасти и непосредственно, въ данныхъ случаяхъ. Недостаетъ только ученія, которое привело бы его въ общее сознаніе и сдѣлало бы примѣнимымъ къ практикѣ. Эта идея заключается въ тождествѣ интересовъ отдѣльнаго государства съ интересами всей системы государствъ. Она давно уже признана въ дѣлѣ интересовъ экономическихъ и нравственныхъ, хотя въ отношеніи къ первымъ не приведена еще въ исполненіе на практикѣ. Что же касается до политическихъ наукъ, онѣ остаются чуждыми этого воззрѣнія: писатели по части права народовъ продолжаютъ развивать свое ученіе въ духѣ нравственномъ, полагаясь съ апостольскимъ фанатизмомъ на могущество моральнаго чувства; какъ ни грустно, а надо согласиться, что ученіе, развиваемое съ одной моральной стороны, не можетъ имѣть успѣха въ эпоху, въ которой умственное убѣжденіе беретъ верхъ надъ голосомъ сердца. Нельзя не уважать тѣхъ дѣятелей науки, которые смотрятъ на право народовъ, какъ на осуществленіе всеобщей правды: имена ихъ сохраняются исторіей, какъ имена людей, возвысившихся надъ слабою стороною вѣка. Тѣмъ не менѣе однакожъ, нравственное дѣйствіе ихъ теорій

оказывается недостаточнымъ:

ума и тогда только ожида

общественной жизни тогда т

когда ученые, особенно анг.

интересами общества. Точно также, и право народовъ перестанетъ быть отвле-  
ченною теоріей, когда интересы человѣчества будутъ разсмотрѣны въ тождествѣ  
ихъ съ интересами государства. Но мы не будемъ развивать здѣсь этой теоріи,  
потому что вопросъ, занимающій насъ теперь, заключается въ объемѣ права  
народовъ. Изъ сказаннаго о невозможности союза народовъ мы должны заклю-  
чить, что наука сія ограничивается теоріей личности государствъ. Слѣдовательно,  
и здѣсь господствуетъ взглядъ политическій.

Не будемъ говорить о государственномъ правѣ и о наукѣ финансовъ. Никто  
еще не думалъ давать этимъ наукамъ неполитическій характеръ. Изъ предложен-  
наго здѣсь разбора остальныхъ наукъ ясно открывается намъ, что политическій  
элементъ есть элементъ, господствующій во всей наукѣ права, которая по тому  
самому и можетъ быть опредѣлена, какъ теорія политическаго благосостоянія  
общества.

Этими изысканіями заключимъ мы разборъ частей, входящихъ въ идею обще-  
ственного благосостоянія, а слѣдовательно, и въ идею общественной философій.  
Мы можемъ теперь принять за данное самостоятельность и необходимость этихъ  
частей. Мы доказали исторически и критически, что общественное благосостояніе  
есть совокупность признаковъ благосостоянія нравственнаго, экономическаго и по-  
литическаго, и что каждый изъ этихъ видовъ имѣетъ свою отличительную физио-  
номію, рѣзко и существенно отличающую его отъ двухъ другихъ.

Постараемся примѣнить теперь къ философій общества тѣ общія положенія  
объ организмѣ науки, которые поставлены во главу этого параграфа. Первый воп-  
росъ уже рѣшенъ. Мы ознакомились съ частями изслѣдуемаго предмета и съ тѣми  
науками, которыя рассматриваютъ ихъ въ отдѣльности. Теперь слѣдуетъ опредѣ-  
лить отношеніе этихъ частей между собою. Изслѣдованіе этого отношенія и со-  
ставляетъ предметъ аналитической части философій общества, какъ науки, соеди-  
няющей въ одно цѣлое право, политическую экономію и педагогику.

Говоря о наукѣ новой, не вошедшей еще въ общее сознаніе, нѣтъ ничего  
лучше, какъ обращаться къ примѣрамъ другихъ наукъ, всѣми признанныхъ и бо-  
лье или менѣе каждому доступныхъ. Процессъ познанія или, лучше сказать, ура-  
зумія есть не что иное, какъ сравненіе, и потому новое ученіе всегда стано-  
вится намъ яснѣе, когда мы можемъ подвести его подъ аналогію съ тѣмъ, что  
намъ уже извѣстно.

Отношеніе общественной философій къ политической экономіи, праву и мо-  
рали можно сравнить съ отношеніемъ физиологій къ механикѣ, физикѣ и химіи.

Механика рассматриваетъ силы, дѣйствующія въ матеріи, физика—общія свойства тѣлъ внѣшняго міра <sup>1)</sup>, химія—внутренній составъ ихъ; фізіологія есть теорія организаціи; она изслѣдуетъ существа, одаренныя индивидуальною, органическою жизнью, рассматривая сію послѣднюю, какъ результатъ механическихъ, физическихъ и химическихъ законовъ. Извѣстно, что изученіе сихъ законовъ составляетъ необходимое приготовленіе для фізіолога: теоріи его могутъ распасться въ прахъ отъ невниманія къ какому-нибудь факту, открытому механикомъ, физикомъ или химикомъ. Какимъ-же путемъ идетъ фізіологъ при аналитическомъ развитіи своей науки? Онъ изучаетъ взаимное отношеніе упомянутыхъ законовъ. Такъ, напримѣръ, изслѣдуя законы растительнаго организма, онъ смотритъ на него, во-первыхъ, какъ на матерію, какъ на модель цѣлой природы, и беретъ во вниманіе его механическую и физическую сторону; съ другой стороны, онъ знаетъ, что этотъ организмъ имѣетъ свой оригинальный химическій составъ, который сообщаетъ извѣстную опредѣленность, извѣстное измѣненіе отвлеченнымъ законамъ физики и механики. Такъ образуется взглядъ фізіологическій, который не можетъ быть названъ ни механическимъ, ни физическимъ, ни химическимъ, а между тѣмъ онъ основанъ и на механикѣ, и на физикѣ, и на химіи. Вся задача состоитъ здѣсь въ отысканіи взаимнаго отношенія всѣхъ трехъ родовъ законовъ внѣшняго міра, въ опредѣленіи той гармоніи, при которой они образуютъ жизнь органическую. Если же фізіологъ, увлеченный односторонностью, упуститъ изъ виду это отношеніе трехъ сторонъ матеріальной жизни, то теорія его непременно окажется недостаточною. Таковы всѣ одностороннія механическія, физическія и химическія теоріи жизни, какъ, напримѣръ, новѣйшая теорія Либиха, который во всемъ органическомъ процессѣ не видитъ ничего, кромѣ поглощенія и изверженія органическимъ тѣломъ различныхъ химическихъ веществъ.

Все это можетъ быть совершенно примѣнено и къ общественной философіи, къ фізіологіи общества. Подобно фізіологій, рассматривающей законы механики, физики и химіи по мѣрѣ того, какъ они взаимно обусловливаютъ другъ друга въ органическомъ тѣлѣ, общественная философія рассматриваетъ законы политической экономіи, права и педагогики и жизни общества, какъ органическаго тѣла, одареннаго индивидуальностью. Общественная жизнь не ограничивается развитіемъ матеріальнаго, нравственнаго или политическаго благосостоянія порознь: она состоитъ изъ совокупнаго ихъ развитія. Экономическое благосостояніе имѣетъ важность по отношенію къ нравственному и политическому, и на оборотъ. Такъ и

<sup>1)</sup> Нѣтъ никакого сомнѣнія, что эти двѣ науки въ непродолжительномъ времени должны размежеваться въ своихъ предѣлахъ. Изслѣдованіе силъ должно отойти къ механикѣ, физикѣ, оставить за собою изслѣдованіе общихъ свойствъ тѣлъ, то-есть, того, на что дѣйствуютъ силы, что же касается до химіи, то предѣлы ея незыблемы; она представляетъ собою анализъ внѣшняго міра, между тѣмъ, какъ механика и физика составляютъ синтетическую сторону внутренней природы, безъ отношенія къ организаціи, которой законы изслѣдуются въ фізіологій.



наука, изслѣдующая законы общественнаго благосостоянія, должна изслѣдовать отношенія частей сего благосостоянія. Фактъ общественной жизни также сложенъ, какъ фактъ физиологическій: онъ не можетъ быть ни экономическимъ, ни политическимъ, ни нравственнымъ исключительно, точно такъ же, какъ фактъ растительной или животной экономіи непременно заключаетъ въ себѣ три стороны—механическую, физическую и химическую. И если физиологія, въ надлежащемъ своемъ аналитическомъ развитіи, состоитъ въ опредѣленіи гармоніи, подъ вліяніемъ которой законы физики, механики и химіи обнаруживаются въ отправленияхъ матеріальной жизни, взаимно уравнивая другъ друга, то и аналитическая часть философіи общества изслѣдуетъ ту же гармонію экономическаго, нравственнаго и политическаго благосостоянія въ фактахъ жизни общественной.

Для примѣра возьмемъ освобожденіе общинъ западной Европы. Съ точки зрѣнія нравственной оно оправдывается теоріей личности, по которой вещественная зависимость одного человѣка отъ другого есть фактъ, противный нравственнымъ требованіямъ. Но этого мало: политическая экономія, можетъ быть, сказала бы противъ этого, что освобожденіе рабовъ влечетъ за собою убытки въ доходахъ феодаловъ. Но здравая теорія производительности является здѣсь посредницей между нравственными и экономическими требованіями и выставляетъ на видъ преимущества свободнаго труда предъ несвободнымъ. Наконецъ, и въ политическомъ отношеніи свободный человѣкъ является лицомъ, живымъ членомъ общества, сочувствующимъ его интересамъ, какъ своимъ собственнымъ, и готовымъ на жертвованія. Въ этомъ фактѣ дѣло аналитической части соціальной философіи состоитъ въ отысканіи того отношенія, по которому свобода нравственная предполагаетъ свободу политическую и экономическую, и на оборотъ. Итакъ, задача ея можетъ быть выражена слѣдующими формулами. Она опредѣляетъ: 1) отношеніе экономическаго благосостоянія общества къ нравственному и политическому, 2) отношеніе нравственнаго благосостоянія къ экономическому и политическому, 3) отношеніе политическаго благосостоянія къ экономическому и нравственному. Изъ этого опредѣленія можно уже вывести окончательно и значеніе частныхъ общественныхъ наукъ. Подобно тому, какъ физиологія не уничтожаетъ собою физики и химіи, а напротивъ того, опирается на нихъ, какъ на данныя, философія общества не можетъ обойтись безъ частныхъ общественныхъ наукъ: не изучивъ явленій экономическаго, нравственнаго и политическаго міра, мы никакъ не можемъ разсуждать о связи, между ними существующей. Но должно замѣтить, что положенія политической экономіи, права и педагогика имѣютъ только теоретическую важность: они могутъ быть внесены въ жизнь не иначе, какъ пройдя сквозь горнило философіи общества, науки, рассматривающей ихъ въ той живой гармоніи, въ томъ взаимномъ проникновеніи, какое представляютъ дѣйствительныя явленія міра экономическаго, нравственнаго и политическаго. Слѣдовательно, практиче-

скими являются частныя общественныя науки только подъ вліяніемъ философіи общества.

Росси приведенъ былъ къ этому же результату, разсуждая о различіи между теоріей и практикой политической экономіи. Мы выпишемъ здѣсь его объясненіе, исполненное простоты и смысла. Вотъ слова его: „Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что тѣло брошенное подъ извѣстнымъ угломъ, описываетъ извѣстную дугу; это—истина математическая. Равно справедливо однакожь и то, что въ случаѣ сопротивленія оказываемаго тѣлу жидкостью, черезъ которую оно проходитъ, отвлеченное положеніе болѣе или менѣе измѣняется на практикѣ. Развѣ математическое положеніе не справедливо? Нисколько; но оно предполагаетъ пустоту. Точно также и политическая экономія не обращаетъ вниманія на нѣкоторые факты, на нѣкоторыя сопротивленія. Я приведу три важные факта, которые покажутъ намъ различіе между чистою и прикладною наукой, между наукой и искусствомъ. Національность, время и пространство часто измѣняютъ результаты чистой науки. Сія послѣдняя удостовѣряетъ насъ, что дешевое производство цѣнностей увеличиваетъ сумму богатства. Она говоритъ намъ: „покупайте вещи тамъ, гдѣ онѣ производятся дешевле“. Она не спрашиваетъ, какъ называется мѣсто, гдѣ это производство такъ дешево, каково правленіе въ той странѣ, гдѣ, напротивъ того, производство дорого. Въ общности своей она не озабочивается этими вопросами. Справедливо ли утверждаетъ она, что если въ одномъ мѣстѣ заработная плата очень велика, а въ другомъ, напротивъ того, слишкомъ мала, то работники изъ послѣдняго перейдутъ въ первое? Конечно, справедливо; но ей нѣтъ дѣла до разстоянія, отдѣляющаго эти два пункта, до препятствій къ переходу работниковъ, до времени, потребнаго для того, чтобы между народонаселеніемъ той и другой стороны установилось надлежащее равновѣсіе, и до страданій, которымъ до сего срока должны будутъ подвергнуться работники. Все это упускается потому же, почему теоретическая баллистика не занимается сопротивленіями брошенному тѣлу. Какъ бы то ни было, хорошій артиллеристъ не можетъ не знать баллистики, и въ то же время, нельзя бы было не порицать его, еслибъ онъ вздумалъ распоряжаться на дѣлѣ по формуламъ чистой теоріи, не измѣненной опытнымъ наблюденіемъ. Точно также и въ дѣлѣ политической экономіи нельзя не впасть въ нелѣпость, если не обращать вниманія на обстоятельства, измѣняющія результаты чистой науки. Но развѣ отъ этого политическая экономія перестаетъ быть наукой? Развѣ это уменьшаетъ справедливость ея положеній? Нисколько!“

Эти разсужденія приводятъ Росси къ различію между раціональною и практическою политическою экономіей. Первая занимается, по его мнѣнію, изслѣдованіемъ свойства, причинъ и движенія богатства на основаніи общихъ и постоянныхъ законовъ человеческой природы и внѣшняго міра. Послѣдняя разсматриваетъ положенія раціональныя въ примѣненіи ихъ къ вопросамъ нравственнымъ и политическимъ. Этотъ выводъ совершенно согласенъ съ тѣмъ, что мы ска-

объ отношеніяхъ частныхъ общественныхъ наукъ къ соціальной философіи, ибо то, что Росси говоритъ о политической экономіи, можетъ быть равно отнесено и къ праву, и къ морали.

Итакъ, въ отношеніи къ аналитическому развитію соціальной философіи, мы доходимъ до слѣдующихъ результатовъ: 1) Соціальная философія, въ своемъ аналитическомъ развитіи, должна представить отношеніе между различными видами общественнаго благосостоянія. 2) Она отличается отъ частныхъ общественныхъ наукъ тѣмъ, что, подъ вліяніемъ ея, начала сихъ наукъ пріобрѣтають достоинство практическихъ положеній. 3) Въ своей чистой, отвлеченной формѣ они могутъ существовать только въ наукѣ, ибо на практикѣ порождаютъ односторонность въ жизни общества.

До сихъ поръ мы рассматривали общество какъ цѣлое, состоящее изъ частей. Посмотримъ на него, какъ на часть высшаго цѣлаго, ибо, кромѣ абсолютна, нѣтъ ничего, что не было бы въ одно время и цѣлымъ, и частью.

Общество есть не что иное, какъ форма человѣческаго бытія. Посему идеи благосостоянія общества нельзя отдѣлить безусловно отъ идеи благосостоянія или развитія человѣка. Можно даже сказать, что развитіе общества есть одно изъ условій развитія человѣка. Слѣдовательно, значеніе общественнаго благосостоянія можетъ быть опредѣлено по отношенію его къ требованіямъ человѣческой природы, человѣческаго благосостоянія. Этимъ самымъ опредѣляется ближайшая задача синтеза въ обработываніи философіи общества. Она состоитъ въ вопросѣ объ отношеніи ея къ антропологіи.

Антропологія рассматриваетъ человѣка, какъ одно изъ органическихъ существъ, населяющихъ землю, со стороны его потребностей и силъ, безъ всякаго отношенія къ формамъ его бытія. Соціальная философія, напротивъ того, изслѣдуетъ эту форму, какъ необходимое условіе развитія человѣка. Само собою разумѣется, что изученіе формы должно быть подчинено изученію сущности и даже основано на немъ, ибо форма сама по себѣ ничего не значитъ. Но спрашивается: какимъ образомъ привести взглядъ соціальный въ гармонію съ антропологическимъ?

Необходимость этой гармоніи предполагаетъ обширный взглядъ на соціальныя вопросы. Соціалистъ не долженъ ограничиваться изученіемъ общества въ его временномъ и тѣсномъ проявленіи: онъ долженъ привести интересы общественные въ соотношеніе съ интересами человѣчества. Эта цѣль достигается не иначе, какъ посредствомъ правильнаго уразумѣнія народности—не какъ эгоистическаго начала, раздѣляющаго націи, но какъ органическаго условія ихъ единства. Чтобы пояснить эту мысль, мы должны изложить здѣсь вкратцѣ теорію народности, какъ основаніе и результатъ соціальнаго синтеза.

Весь міръ, доступный нашему познанію устроенъ по закону гармоніи общаго и частнаго. Эта гармонія заключается въ томъ, что правильное и энергическое развитіе частей служитъ условіемъ правильнаго и энергическаго развитія цѣлаго. Иначе и не можетъ быть: цѣлое состоитъ изъ частей, какъ многоугольникъ—изъ угловъ; слѣдовательно, и развитіе цѣлаго есть не что иное, какъ развитіе частей, взятыхъ въ суммѣ. Если провинціи государства не процвѣтають, нельзя сказать, что все государство процвѣтаетъ. Точно такъ, если общества, составляющія родъ человѣческій, не развиваются каждое въ своей оригинальной формѣ, нельзя сказать, чтобы человѣчество развивалось. Замѣтимъ еще, что оригинальность части не вредитъ единству цѣлаго, ибо единство въ реальности предполагаетъ извѣстную степень разнообразія, и человѣческій умъ, основываясь на явленіяхъ, понимаетъ его не иначе, какъ въ формахъ разнообразной дѣйствительности. Посему не должно смотрѣть на національность съ такой точки, какъ будто бы данное общество исчерпываетъ собою цѣлый человѣческій родъ: общество есть часть человѣчества, а народность одно изъ проявленій человѣческой природы. Разсмотримъ эти положенія въ отношеніи къ тремъ существеннымъ сторонамъ общественной жизни—экономической, нравственной и политической.

Новѣйшія системы политической экономіи оцѣнили уже всю важность національности въ дѣлѣ экономическаго благосостоянія. Нѣтъ нужды доказывать вновь, какъ много значитъ для благоденствія края и для тѣхъ странъ, которыя находятся съ нимъ въ коммерческихъ сношеніяхъ, что дѣятельность жителей обращена на производство, наиболее соответствующее ихъ способамъ. Само собою разумѣется, что это начало не имѣетъ примѣненія вездѣ въ настоящее время, при существованіи препятствій, которыхъ уничтоженіе зависитъ не отъ воли одного или нѣсколькихъ правительствъ, а отъ согласія всѣхъ. Тѣмъ не менѣе, оно неопровержимо въ теоріи.

Въ нравственномъ отношеніи народность можетъ быть болѣе оцѣнена. Каждый народъ имѣетъ свою науку, свое искусство, свою нравственность. Не говоря уже о пользѣ столкновенія противоположныхъ взглядовъ, замѣтимъ, что такимъ образомъ въ цѣломъ человѣчествѣ нравственная сторона является въ томъ энергическомъ развитіи, котораго никакъ нельзя бы было ожидать у одного народа. Напримѣръ, въ наукѣ синтезъ нѣмца и анализъ англичанина открываютъ такія стороны предметовъ, какія не могли бы быть открыты безъ особеннаго преобладанія синтетическаго ума у перваго и аналитическаго у послѣдняго. Французы, занимая средину между нѣмцами и англичанами, имѣютъ полное раздолье мирить эти два противоположные взгляда и давать имъ органическое единство. Въ искусствѣ истинная національность нисколько не вредитъ общечеловѣческому характеру изящныхъ произведеній. Національное воззрѣніе есть не что иное, какъ одна сторона воззрѣнія, свойственнаго всякому человѣку. Національный характеръ есть одна изъ составныхъ частей характера цѣлаго человѣчества. Притомъ искус-

ство требуетъ формъ дѣйствительной жизни; слѣдовательно, идея художника должна выразиться въ формахъ какой-нибудь національности. Агамемнонъ есть образецъ вождя и въ то же время грекъ, Отелло—идеаль челоуѣка, преданнаго страстямъ, и въ то же время мавръ, Фаустъ—идеаль мыслителя и въ то же время—нѣмецъ. Въ нравственности народа также всегда найдется преобладаніе какого-нибудь общечеловѣческаго начала: англичанинъ—гордъ, французъ—соціаленъ, италіанецъ—страстенъ, славянинъ—домовитъ и т. д.; все это односторонности; но каждая черта народной нравственности въ извѣстной степени входитъ въ общій характеръ челоуѣка. Мы узнаемъ братій своихъ въ полярныхъ снѣгахъ и подъ лучами тропическаго солнца, въ эскимосѣ и готентотѣ. Соберите разсѣянныя черты нашего характера со всевозможныхъ точекъ земнаго шара, слейте ихъ въ одинъ ликъ,—мы преклонимся передъ своимъ первообразомъ! Въ дѣйствительности этотъ идеаль не можетъ найти себѣ осуществленія иначе, какъ по частямъ, но самыя части выигрываютъ черезъ то въ энергіи развитія. Можно найти многихъ людей, совмѣщающихъ въ себѣ нѣсколько свѣтлыхъ сторонъ челоуѣческаго характера; но никогда не можетъ недѣлимое совмѣстить въ своей личности нѣсколько чертъ, развитыхъ въ немъ въ такой силѣ, какъ цѣлыя націи. Это—законъ природы. Слѣдовательно, народность и въ чисто нравственномъ отношеніи есть не что иное, какъ возможно сильное развитіе какой-нибудь существенной части общечеловѣческой природы.

Въ политическомъ отношеніи жестоко ошибаются тѣ, которые считаютъ ее началомъ, противоположнымъ гуманности. Въ критикѣ права народовъ мы говорили уже о невозможности практическаго примѣненія теорій, возникшихъ изъ таковаго взгляда. Мы упомянули также о возможности примирить частныя интересы государствъ съ интересами челоуѣчества. Надежда на такое примиреніе основывается на благоразуміи, которое когда-нибудь должно взять верхъ надъ политическими страстями и внушить народамъ мысль о томъ, что нарушеніе правъ одного государства другимъ не только не сообразно съ нравственностью, но и невыгодно для самаго нарушителя.

Изъ всего этого ясно, что народность, съ какой бы стороны мы на нее ни смотрѣли, не служитъ препятствіемъ къ успѣхамъ челоуѣчества или—иначе—къ развитію челоуѣка на землѣ. Напротивъ того, она составляетъ одно изъ условій этого развитія. Вотъ почему соціальный взглядъ не противорѣчитъ взгляду антропологическому, а напротивъ того, пополняетъ его, изслѣдуя форму челоуѣческаго бытія.

Итакъ, народность, рассматриваемая въ ея отношеніи къ интересамъ челоуѣчества,—вотъ основаніе соціальнаго синтеза и антропологическая основа общественнаго благосостоянія.

Не будемъ распространяться здѣсь о практической важности соціальной философіи, ибо мы нѣсколько разъ имѣли уже случай доказывать, что общественныя науки могутъ имѣть практическое примѣненіе только подъ вліяніемъ началъ ея. По этой примѣняемости своей она находится въ самомъ тѣсномъ отношеніи съ законодательствомъ и можетъ быть названа иначе его теоріей. Мы показали также, что полная теорія законодательства объемлетъ собою всю систему общественныхъ вопросовъ, и что по тому самому нельзя смѣшивать ее съ теоріей права, какъ наукой, которой объемъ гораздо тѣснѣе. Но, говоря, что соціальная философія можетъ имѣть практическое примѣненіе, мы однакожъ совсѣмъ не думаемъ утверждать, чтобы законы ея не заключали въ себѣ ничего такого, что подвержено модификаціямъ на практикѣ. Такой теоріи быть не можетъ; условія времени и мѣстности останутся вѣчно священными узами для законодателей: практическое достоинство соціальной философіи заключается не въ независимости отъ этихъ условій, а въ жизненной полнотѣ началъ, въ ихъ органическомъ, разностороннемъ образованіи. Прибѣгая къ прежнему сравненію,—они въ той же мѣрѣ имѣютъ для законодателя преимущество надъ односторонними началами политической экономіи, права и педагогики, какъ для медика законы фізіологическіе—надъ законами механики, физики и химіи. Какъ медикъ долженъ примѣнять законъ одной изъ этихъ наукъ не прежде, какъ изучивъ отношеніе его къ двумъ другимъ родамъ законовъ, такъ и законодатель, желая примѣнить, напримѣръ, законъ политической экономіи, необходимо долженъ найти отношеніе его къ праву и къ педагогикѣ. Это отношеніе указываетъ ему соціальная философія. Вотъ почему она могущественно подвигаетъ общественныя науки къ ихъ практической цѣли.

#### СТАТЬЯ ВТОРАЯ.

Въ предыдущей статьѣ я старался показать недостаточность аналитическаго изученія общества и въ то же время начертать планъ науки, которая разсматривала бы всѣ общественныя явленія въ тѣсной естественной связи, подъ вліяніемъ одной общей идеи. Перейдемъ теперь къ спеціальному предмету; постараемся примѣнить свои выводы къ Россіи и рѣшить: чего можно ожидать у насъ отъ обработыванія общественныхъ наукъ, на которыя въ послѣднее время обращено столь утѣшительное вниманіе.

Какимъ путемъ должна идти наша ученость? Что составляетъ особенность нашего ума? Какое вліяніе можетъ имѣть наша исторія на будущность нашей науки? Вотъ вопросы, которые займутъ насъ въ этой статьѣ, и которые будутъ разсмотрѣны здѣсь, какъ вообще, такъ и въ отношеніи къ общественнымъ наукамъ въ особенности. Начинаемъ съ источниковъ русской учености.

#### § 1.

Употребляя довольно часто выраженія: „русская наука“, „русская ученость“, я не желалъ бы, чтобы читатели подозрѣвали меня въ исключительной привержи —



ности къ туземнымъ элементамъ цивилизаціи. Въ концѣ предыдущей статьи я говорилъ о народности, какъ о необходимомъ условіи органическаго развитія человѣчества. Но этимъ далеко не исчерпанъ вопросъ, отъ рѣшенія котораго зависятъ всѣ мои дальнѣйшіе выводы. И потому въ этомъ параграфѣ будетъ обращено на него особенное вниманіе. Безъ этого вступленія я не вижу средствъ сказать что-нибудь рѣшительное объ источникахъ русской учености.

Замѣтимъ прежде всего, что споры о народности, раздѣляющіе наши журналы на враждебныя партіи, подобно большей части споровъ, заключаются скорѣе въ несогласіи выводовъ, чѣмъ въ несогласіи принциповъ. Трудно повѣрить, чтобы писатели такъ-называемой *славянской* или *національной* партіи готовы были отвергать всю важность преобразоваія Петра и сближенія нашего съ западомъ. Такой ригоризмъ, еслибъ онъ дѣйствительно существовалъ, привелъ бы ихъ къ заключенію о превосходствѣ китайцевъ надъ всѣми народами. Съ другой стороны, мы имѣемъ ясное доказательство, что такъ-называемые *противники русской національности* и вовсе не представляютъ никакого ригоризма въ своихъ убѣжденіяхъ <sup>1)</sup>. Весь споръ происходитъ оттого, что основной вопросъ рѣдко выходилъ до сихъ поръ изъ границъ журнальной полемики, и потому никто не взялъ на себя труда рассмотреть его въ основаніи и въ такомъ духѣ, который могъ бы примирить противорѣчія. Это примиреніе кажется намъ возможнымъ не иначе, какъ по рѣшеніи слѣдующихъ коренныхъ вопросовъ: 1) Въ чемъ заключается важность національности? 2) Можетъ ли народъ дойти до степени истинной цивилизаціи самъ собою, безъ помощи другихъ народовъ? 3) Разумны ли усилія къ поддержанію и возстановленію народной старины?

Въ предыдущей статьѣ мы доказали, что народность есть условіе органическаго развитія человѣчества, и потому мы начнемъ съ втораго вопроса.

Прошедшее и настоящее человѣчества служитъ торжественнымъ опроверженіемъ мнѣнія тѣхъ, которые допускаютъ возможность истинной цивилизаціи въ народѣ, отдѣленномъ отъ другихъ болѣе образованныхъ народовъ. Кто сколько-нибудь знакомъ съ исторіей цивилизаціи человѣческаго рода, тому, безъ сомнѣнія, извѣстно, что цивилизація есть плодъ послѣдовательной переработки элементовъ, переходившихъ отъ одного народа къ другому въ теченіе тысячелѣтій. Чуждыми же цивилизаціи остались только тѣ народы, которые, по различнымъ причинамъ, пребывали уединенными отъ другихъ болѣе образованныхъ, подобно дѣтямъ безъ воспитанія. Говоря такимъ образомъ, мы имѣемъ въ виду не одни азіатскіе, африканскіе и американскіе народы, то-есть, не тѣ, которыхъ младенчество или застой можетъ быть легко извиненъ могуществомъ внѣшней природы, ихъ окружающей. Сказанное нами относится точно также и въ Европѣ, къ части сѣвера, соединяющей въ себѣ всѣ условія мѣстности и климата, способныхъ къ

<sup>1)</sup> См. Отч. Записки 1844 г., декабрь, отдѣленіе критики.

развитію дѣятельныхъ силъ человѣческаго духа. Стоитъ только вспомнить, какъ необходимъ для Европы востокъ, какое рѣшительное вліяніе имѣла его цивилизація на цивилизацію, которая, повидимому, не имѣетъ съ нею ничего родного. Древнѣйшіе мифы указываютъ на азіатскихъ и африканскихъ выходцевъ — Ке-кропса, Кадма, Даная и Пелопса, какъ на первыхъ просвѣтителѣй греческаго племени. Первоначальная греческая скульптура совершенно сходна съ египетскою; по сохранившимся антикамъ можно навѣрное заключить, что греческое вліяніе развилось изъ египетскаго <sup>1)</sup>. Первые философы Греціи вывозили мудрость свою съ востока: каждому изъ нихъ приписывается путешествіе въ Азію и Африку. Не говоря уже о евреяхъ, которымъ обязаны мы первою проповѣдью Евангелія, вспомнимъ аравитянъ, которые внесли въ Европу въ средніе вѣка науку, поэзію и рыцарство. Однимъ словомъ, подѣ вліяніемъ востока развилась въ Европѣ вся внутренняя цивилизація, все сопряженное съ энтузіазмомъ. Востокъ былъ ея вдохновителемъ: обративъ насъ къ искусствамъ, къ умственному созерцанію, къ высочайшей религіи, къ восторженному героизму, онъ не попустилъ насъ въ ту сухую положительность, къ которой такъ располагаетъ человѣка умѣренность природы, и которая дѣлаетъ его животнымъ.

Россія до Петра была въ Европѣ почти то же, что Китайъ въ Азіи. Не смотря на то, что послы наши являлись при европейскихъ дворахъ, что цари выписывали изъ-за границы офицеровъ, лѣкарей и ремесленниковъ, не смотря даже и на то, что между духовенствомъ и аристократіей появлялись люди образованные по европейски, цивилизація ни мало не прививалась къ массѣ и считалась дѣвольскимъ навожденіемъ. Гибель Матвѣева, осужденнаго за чернокнижіе, лучше всего рисуетъ намъ эти понятія. Сношенія же наши съ образованною Европою ограничивались посольствами и войнами. Первые не содѣйствовали къ перенесенію западной цивилизаціи частью потому, что бояринъ возвращался изъ посольства съ впечатлѣніями человѣка, которому грезился странный сонъ, частью потому, что участь Матвѣева могла постигнуть и всякаго другого нововодителя. Что же касается до сосѣднихъ государствъ, то, находясь съ ними въ непрерывныхъ войнахъ, народъ закосятъ въ ненависти къ сосѣдямъ и считалъ за грѣхъ перенять что-нибудь у „нѣмцевъ“. Въ отношеніи къ востоку доля Россіи была самая ужасная: намъ досталось имѣть дѣло съ племенемъ, которое до сихъ поръ не перестаетъ быть въ Азіи представителемъ грубой матеріальной силы. Разрушивъ цивилизацію древняго востока, монголы покорили Россію. Нѣтъ нужды, доказывать, какъ губительно для развитія едва возникшаго народа должно было быть двухвѣковое рабство подѣ игомъ такихъ варваровъ, каковы монголы.

<sup>1)</sup> Въ этомъ отношеніи чрезвычайно поучительна галлерей скульптуры въ Мюнхенѣ, известная подѣ названіемъ Глиптотеки. Антики расположены въ залахъ ея въ хронологическомъ порядкѣ: тамъ-то, при обозрѣніи греческихъ статуй, посѣтитель можетъ прослѣдить глазами всю борьбу восточнаго элемента съ европейскимъ.

Пусть бы это иго оградилось одною политическою зависимою: ее не такъ трудно свергнуть, какъ иго нравственное; причина первой заключается въ отсутствіи политической самостоятельности Руси XIII столѣтія; лишь только раздробленныя части ея слились въ одно тѣло, мы помѣнялись ролями съ нашими завоевателями. Такая борьба могла бы даже содѣйствовать тому, чтобы духъ народа окрѣпъ въ противодѣйствіи, если бы политическое иго могло не имѣть вліянія на нравственное развитіе. Въ этомъ отношеніи никакъ нельзя согласиться съ тѣми историками, которые ослабляютъ картину золъ, постигшихъ Россію подъ монгольскимъ владычествомъ. Для достиженія своей цѣли одни изъ нихъ поставляютъ на видъ, что, завоевавъ Русскую землю, монголы оставили неприкосновенными нашу вѣру, языкъ и нравы. Вѣра у насъ, конечно, осталась та же: она и поддержала насъ въ спасительной ненависти къ нашимъ поработителямъ, ибо затѣмъ все славяно-норманское сдѣлалось у насъ до того татарскимъ, что только крестъ и отличалъ насъ отъ азіатцевъ. Не говорю о языкѣ; правда, что и онъ потерпѣлъ множество измѣненій; но есть предметъ гораздо важнѣе, на который нельзя не обратить особеннаго вниманія: я говорю о нравахъ. Во-первыхъ, у насъ явилось низкопоклонство, которое быстро разлилось изъ палатъ великокняжескихъ по всѣмъ слоямъ общества и которое такъ возмущало высокую душу Петра. А уничтоженіе собственной личности есть послѣдній предѣлъ нравственнаго паденія; оно убиваетъ въ человѣкѣ самый зародышъ божественныхъ началъ. Далѣе замѣтимъ, что самое населеніе Россіи, всѣ состоянія приняла въ себя огромное количество татаръ. Отсюда восточный характеръ личныхъ отношеній и грубый матеріализмъ. Наконецъ, еще одно гибельное слѣдствіе—какая-то отчаянность, которую многіе смѣшиваютъ съ мужествомъ. Народъ, подавленный бѣдствіями, привыкъ смотрѣть на жизнь свою, какъ на цѣпь злополучій, сроднился съ утратами, съ горькою ироніей случайностей; онъ махнулъ рукой на все завѣтное, предался лѣности и разбоямъ и утопилъ душу въ винѣ и отчаянныхъ пѣсняхъ. Прибавлю къ этому гибельное вліяніе татарства на положеніе женщинъ—и спрошу читателя: остались ли неприкосновенными наши нравы отъ вліянія незваныхъ гостей?

Есть и такіе историки, которые почти мирятся съ монголами, говоря, что ихъ владычество было необходимо для усиленія единодержавной власти, что ханы татарскіе дѣлали великихъ князей своими намѣстниками и такимъ образомъ возвысили ихъ мало по малу надъ удѣльными. Да отчего же въ западной Европѣ верховная власть образовалась сама собою, вслѣдствіе борьбы съ внутренними элементами государства? Скажутъ, что у насъ не было феодальной системы; но у насъ было и духовенство, и аристократія, и общины. А для того, чтобы борьба съ иноземцами помогла органическому образованію единства націи, довольно было, кажется, войнъ съ шведами, поляками, литовцами и ливонцами. Допустимъ даже

пользу борьбы съ востокомъ; но гибельное вліяніе монгольскаго ига едва ли даже когда-нибудь перестанетъ отзываться въ насъ, какъ зловредная стихія.

Такимъ образомъ, вопросъ рѣшается очень просто при помощи исторіи. Можно рѣшительно сказать, что ни одинъ народъ не можетъ дойти до истинной цивилизаціи безъ помощи другихъ болѣе образованныхъ. Слѣдовательно, Россіи не возможно не благословлять реформы Петра.

Перейдемъ къ другому, важнѣйшему вопросу: посмотримъ, разумны ли усилія къ поддержанію и восстановленію народной старины. Кажется, если подумать объ этомъ предметѣ хладнокровно, то нельзя не рѣшить его отрицательно, безъ всякой уступки. Во-первыхъ, возстановлять и поддерживать старину—значитъ отказаться отъ современнаго развитія, насильственно привести себя въ застой. Стариной называемъ мы то, что выжило свою жизнь, что не гармонируетъ болѣе съ современными понятіями и потребностями народа. Возстановить формы стариннаго быта—значитъ впасть въ анахронизмъ. Но это мало: легко доказать, что такое возвращеніе къ обычаямъ предковъ вовсе не составляетъ еще національности, того блага, для котораго, по мнѣнію славянофиловъ, стоитъ отказаться отъ цивилизаціи. Народность не въ формахъ быта, а въ понятіяхъ. Кажется, этого нѣтъ нужды доказывать: нарядите образованнаго человѣка въ зипунъ и заставьте его не пить ничего, кромѣ квасу и водки,—онъ еще не сдѣлается русскимъ; нарядите также саратовскаго мужика въ парижскій фракъ,—онъ не сдѣлается европейцемъ. Национальность въ народѣ то же, что темпераментъ въ отдѣльномъ человѣкѣ. Поставьте холерика въ какое бы то ни было положеніе,—онъ проявится холерически ни отъ чего другого, какъ отъ того, что въ составѣ его тѣла преобладаетъ желчь. Обставьте и народъ какими угодно обстоятельствами,—онъ не измѣнитъ своего характера, своей національности, потому что національныя черты неизгладимо врѣзаются въ натуру. Зачѣмъ же хлопотать о поддержаніи и восстановленіи того, что само собою не можетъ быть уничтожено? Зачѣмъ жертвовать для этой нелогической цѣли тѣмъ, что составляетъ истинную цивилизацію? Слово русская „старина“ для многихъ обольстительно; но разложите самое понятіе на основныя части,—миражъ исчезнетъ. Подъ стариной разумѣется жизнь политическая, экономическая и нравственная. Русская исторія представляетъ намъ двѣ отжившія формы политической жизни. На сѣверѣ развилось республиканское правленіе, основанное на равномъ участіи всѣхъ въ верховной власти. Одинъ объемъ уже Россіи говоритъ противъ возможности восстановленія этой формы. Давно уже рѣшено, что республики требуютъ малой территоріи. Не говорю уже о томъ, что участіе въ верховной власти не можетъ быть предоставлено всѣмъ безъ разбора: оно условливается обширными свѣдѣніями и особенными способностями. Въ южной Россіи преобладалъ союзъ семейный, форма, примѣняющаяся единственно къ младенческому періоду общества, къ неорганическому составу его. Слѣдовательно, въ политическомъ отношеніи русская старина не предста-

есть ничего достойнаго возстановленія. Что касается до старины экономической, то въ наше время никто уже не сомнѣвается, что безъ сознанія политико-экономическихъ истинъ промышленность не можетъ развиваться надлежащимъ образомъ; а эта наука у насъ и до сихъ поръ почитается большинствомъ за праздныя игрушки ума, за нѣмецкія хитрости. Торговля наша дѣйствительно шла хорошо; но вспомнимъ, что и богатства нашей природы необъятны: мы долго могли торговать, зажмуря глаза, своими сырыми продуктами. Наконецъ, наука, искусство, нравственность—неужели и это не мѣшаетъ возстановить?.. Не значить ли это возстановить богословскіе споры Византійской имперіи и лѣтописи монаховъ, оживить суздальскую школу живописи, запереть женщинъ въ терема, и проч., и проч.? Словомъ, надо только разобрать аналитически понятія, о которыхъ спорятъ двѣ партіи, и узелъ развязывается самъ собою.

Итакъ, при хладнокровномъ размышленіи о національности вообще, и о русской въ особенности, мы доходимъ до слѣдующихъ результатовъ:

- 1) Національность есть условіе развитія человѣчества.
- 2) Національность не можетъ быть сообразна съ требованіями цивилизаціи, если она развилась отдѣльно, независимо отъ вліянія другихъ образованныхъ народовъ.
- 3) Источникъ національности заключается въ духѣ и въ способностяхъ народа, а не формахъ его быта.
- 4) Возстановлять старину для поддержанія національности неразумно.
- 5) Россія до Петра была недоступна цивилизаціи.
- 6) Русскій ни мало не утрачиваетъ своей національности, если дѣлается европейцемъ.
- 7) Возстановить русскую старину—значить возстановить политическую немощь, экономическую рутину и нравственное небытіе.

Дойдя до такихъ результатовъ, мы можемъ дать рѣшительный отвѣтъ на вопросъ объ источникахъ русской науки.

Разумѣя подъ источниками (Quellen) учености всѣ данныя, не зависящія отъ самодѣтельности мысли, можно сказать, что источникомъ русской науки должно быть тѣснѣйшее знакомство съ цивилизаціей всѣхъ историческихъ народовъ. Въ этомъ отношеніи природа и исторія въ высшей степени благоприятствуютъ русскому народу. Во-первыхъ, необыкновенная способность къ изученію языковъ открываетъ намъ путь къ обширной эрудиціи, не попускающей насъ подчиняться односторонности. Далѣе, географическое положеніе Россіи между Европой и Азіей, частое сообщеніе съ народами востока, подданство многихъ азіатскихъ племенъ, изъ которыхъ нѣкоторыя даже живутъ между нами, и, наконецъ, уваженіе, которымъ пользуется Россія въ древнѣйшей части свѣта со временъ низверженія

монгольскаго ига, всѣ эти обстоятельства даютъ намъ особенное преимущество надъ другими европейцами въ удобствѣ изученія востока. Въ отношеніи къ классической цивилизаціи Греціи и Рима мы также отличены судьбою: западные народы такъ ревностно изучили древній классическій міръ, что намъ эклектикамъ, остается пользоваться ихъ трудами. Наконецъ, новое челоѳчество, въ лицѣ германскихъ государствъ, и оно, со своимъ прошедшимъ и настоящимъ, болѣе доступно нашему свѣжему наблюденію, чѣмъ собственному своему сознанію. Самонаблюденіе труднѣе всѣхъ видовъ наблюденія, а въ современномъ развитіи и исторіи западныхъ европейскихъ народовъ такъ много общаго, того что называется западнымъ, что, наблюдая другъ друга, они безпрестанно встрѣчаютъ собственные оттѣнки, которые и оставляются безъ вниманія. То же самое имѣетъ мѣсто и на оборотъ: наблюденія русскаго надъ русскими никогда не могутъ быть такъ вѣрны, какъ наблюденія западнаго челоѳка,—развѣ если этотъ русскій челоѳкъ съ геніальною, гоголевскою наблюдательностью.

Итакъ, изученіе цивилизаціи востока, Греціи, Рима и новой Европы—вотъ источники нашей науки.

## § 2.

### Особенности русскаго ума.

Изложивъ свое мнѣніе о внѣшнихъ источникахъ русской науки, перейдемъ въ внутреннему роднику—къ особенностямъ русскаго ума. Въ предыдущемъ параграфѣ мы смотрѣли на Россію, какъ на ученицу и наслѣдницу; теперь посмотримъ на нее, какъ на лицо, призванное когда-нибудь жить собственной жизнью и развиваться собственной мыслью.

Многіе называютъ русскій умъ *практическимъ*. Исторія нашего народа такъ полна бурной дѣятельности, территорія такъ сильно вызываетъ промыслы, бѣдствія, перенесенныя нами, были такъ часты и ужасны, что русскій умъ не могъ не напитаться практическою мудростью. Но замѣтимъ, что до перенесенія къ намъ западной науки мы не имѣли никакого побужденія къ умозрѣнію. Правда, вмѣстѣ съ христіанствомъ, греческое духовенство принесло съ собою въ Россію платоническую философію; но занимались ею весьма немногія лица даже и изъ духовныхъ. Но когда намъ сдѣлалась доступна наука, то мы бросились съ жаромъ на философію. Вольтеръ былъ законодателемъ для придворныхъ Екатерины. Въ новѣйшее время Шиллингъ и Гегель также нашли въ русскомъ обществѣ сильный отголосокъ; но и тотъ, и другой развивались у насъ не безъ борьбы. Первый даже ужился у насъ недолго: мы не любимъ мечтательности; имъ вдохновлялось поколѣніе двадцатыхъ годовъ во время своей юности. Шеллингизмъ уступилъ вліянію аналитической школы, возникшей во Франціи въ лицѣ Гизо, Вильмена, Баранта, Тьерри, Кузена и проч. Поколѣніе тридцатыхъ годовъ принадлежало уже къ гегелистамъ. Гегелизмъ до сихъ поръ господствуетъ у насъ больше всякой



другой философской системы. Но, во-первыхъ, ученіе Гегеля рѣдко является у насъ въ своемъ чистомъ видѣ; во-вторыхъ, онъ встрѣтилъ въ послѣднее время довольно сильную оппозицію въ лицѣ послѣдователей французскаго практическаго взгляда на вещи. Ученіе о тождествѣ разумнаго съ дѣйствительнымъ, ученіе, составляющее вѣнецъ мудрости, отрѣшенной отъ жизни, вызываетъ въ насъ противодѣйствіе. Изъ всего этого, кажется, можно заключить, что если до сихъ поръ русскій умъ проявляется болѣе какъ умъ практическій, то изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы онъ отвращался отъ умозрѣнія. Нельзя не принять въ соображеніе что философія у насъ еще новостъ, и что общество наше еще не произвело своей туземной философической системы, съ которою бы могъ вполне симпатизировать духъ нашего народа. Наконецъ, скажу даже, что приведенные здѣсь факты гораздо утѣшительнѣе, чѣмъ это можетъ показаться съ перваго взгляда. Они доказываютъ, что русскій умъ не удовлетворяется чистымъ умозрѣніемъ, не зависящимъ отъ опыта. Развѣ это не признакъ логической силы? Съ другой стороны, замѣтимъ, что и опытное, фактическое познаніе, не оживленное синтезомъ, также не удовлетворяетъ требованіямъ образованнаго русскаго человѣка, по крайней мѣрѣ, послѣднихъ двадцати лѣтъ. Чистое умозрѣніе у насъ прямо называютъ мечтою, а голый опытъ—механическимъ трудомъ. Всего лучше обнаруживается это двойственное требованіе русскаго ума въ симпатіи и антипатіи къ наукѣ трехъ великихъ народовъ запада—нѣмцевъ, англичанъ и французовъ. Всякій, кому только случалось наблюдать наше общество въ этомъ отношеніи, согласится, конечно, что крайности нѣмецкаго синтеза и англійскаго анализа очень скоро бросаются намъ въ глаза. Опытное знаніе англичанъ кажется намъ слишкомъ мертвымъ, сухимъ, вопіющимъ къ воздѣйствію идеи, и напротивъ того, отчаянный синтезъ нѣмцевъ—чѣмъ-то заоблачнымъ, чѣмъ-то естественно требующимъ проникновенія жизни дѣйствительной, земной, обиходной. Но кто изъ русскихъ не чувствуетъ симпатіи къ тому ограниченному сліянію анализа съ синтезомъ, которое являетъ намъ наука во Франціи? Одна только черта не допускаетъ насъ безусловно принять французскую науку за идеаль: это склонность къ эффектамъ, къ искусственному блеску, нарушающему величіе истины. Многіе изъ насъ глубоко возмущаются этою неудержимою слабостью націи. Особенно невыносима она для русскаго, которому случится слышать изустное преподаваніе парижскихъ профессоровъ. Ихъ вычурныя фразы, ихъ натянутая декламація, словомъ—замашки актера, рассчитывающаго на рукоплесканіе толпы, не могутъ не оскорбить русскаго ума, ума степеннаго и строгаго. Эта строгость еще болѣе говоритъ въ его пользу и подтверждаетъ мысль о совершенствѣ его организма: онъ не терпитъ ни крайностей, ни излишествъ; равенство между анализомъ и синтезомъ и строгая простота—вотъ наши требованія въ наукѣ, вотъ чему мы симпатизируемъ. Повторяемъ, что потому самому изъ всѣхъ европейцевъ ученыхъ мы болѣе всего сочувствуемъ французамъ, и изъ французовъ—тѣмъ, которые отрѣшились отъ своей галльской осо-

бенности, отъ склонности къ эффектамъ, къ ничтожному остроумію, къ блистательной фразеологіи.

Къ этой характеристикѣ русскаго ума, характеристикѣ, которая наконецъ начинаетъ превращаться въ панегирикъ, я позволю себѣ прибавить еще одну черту, на которую до сихъ поръ не обращено надлежащаго вниманія. Русскій умъ отличается необыкновенною смѣлостью. Мы упомянули уже, что въ Екатерининскій вѣкъ философія энциклопедистовъ разлилась въ нашемъ высшемъ обществѣ съ быстротою неимоверною. На западѣ она развилась исторически; тамъ она выжита была силою обстоятельствъ, устремлявшихъ движеніе мысли. У насъ она явилась гостьей, явилась какъ теорія, какъ отвлеченіе, и не смотря на то, она насквозь проникла натуру цѣлаго поколѣнія. Вопросъ, родившійся на западѣ отъ непосредственнаго толчка непрерывной исторіи человѣчества, вопросъ, просіявшій заревомъ неистовыхъ грозъ, рѣшенъ былъ у насъ въ незамѣтный мигъ времени, безъ волненій, въ лонѣ мирнаго сознанія. Такъ же легко и рѣшительно развязались у насъ многіе другіе вопросы. Приведемъ въ примѣръ эстетическіе вопросы. Въ самой Франціи нѣтъ такихъ строгихъ приговоровъ, нѣтъ такой строгой, всесторонней оцѣнки литературныхъ произведеній <sup>1)</sup>. Французы все еще не перестаютъ сбиваться въ сужденіяхъ о достоинствѣ изящныхъ произведеній литературы, платятъ сильную дань авторитетамъ, не отличая историческаго значенія отъ эстетическаго. Впрочемъ, не приводя множества доказательствъ, довольно указать на одинъ фактъ, вполне удостовѣряющій въ этомъ преимуществѣ русскаго ума. Скажите: не приводятся ли всѣ выходки противъ послѣднихъ поколѣній нашего общества къ порицанію *рѣшительности*, которою отличаются сужденія послѣднихъ? „Такъ и рѣжутъ, такъ и рѣжутъ,“ говорятъ про нашу молодежь противники развитія, покачивая головами. Рѣзкая форма возмущаетъ ихъ пуще самыхъ мнѣній: многіе изъ нихъ согласны съ нами въ сущности нашихъ идей, но не выносятъ для нихъ смѣлый тонъ нашего убѣжденія, неумолимость нашихъ приговоровъ. Они вносятъ въ логику какое-то странное понятіе общественной учтивости; а мы убѣждены, что учтивость должна имѣть мѣсто въ однихъ только личныхъ отношеніяхъ, между тѣмъ какъ истина чѣмъ голѣе, тѣмъ совершеннѣе <sup>2)</sup>. Вотъ почему я считаю смѣлость русскаго ума однимъ изъ вѣрнѣйшихъ залоговъ блистательной будущности русской науки.

<sup>1)</sup> Въ этомъ отношеніи истина заставляетъ насъ отдать полную справедливость критическимъ статьямъ „Отечественныхъ Записокъ“, которыя сначала показались многимъ дерзкими и заносчивыми, но въ теченіе времени произвели самый благотворный переворотъ въ эстетическихъ понятіяхъ публики. Читая эти статьи, мы вполне уразумѣли различіе между эстетическимъ или безусловнымъ и историческимъ или условнымъ значеніемъ литературы вообще и нашей въ особенности.

<sup>2)</sup> Нѣкто, наблюдая развитіе нашего общества, съ горестью замѣтилъ, что въ послѣднее время нарѣчіе „рѣшительно“ сдѣлалось любимой снастью нашей рѣчи.

Итакъ, гармонія аналитическаго воззрѣнія съ синтетическимъ, строгая простота выраженія и энергическая смѣлость—вотъ отличительныя достоинства русскаго ума.

### § 3.

## Современный періодъ русской науки.

Русская исторія представляетъ намъ три великія событія, которыхъ результаты—политическая самостоятельность Россіи. Дмитрій Донской и Іоанны вывели ее изъ государственнаго небытія, низвергнувъ татарское иго; Петръ Великій нанесъ первый рѣшительный ударъ правамъ, господствовавшимъ у насъ вслѣдствіе азіатскаго владычества; Александръ Благословенный выдержалъ борьбу съ завоевательнымъ геніемъ Наполеона. Внутренняя цивилизація наша шла обрѣнку съ развитіемъ политической индивидуальности. Водворенная греческимъ духовенствомъ и вскорѣ подавленная татарскимъ элементомъ, она пробуждена была геніемъ Петра, обратившаго взоры Россіи на западъ. Двѣнадцатый годъ вывелъ Россію изъ новаго умственного порабощенія: отстоявъ свою независимость отъ двадцати народовъ, мы сознали наконецъ самихъ себя, мы захотѣли быть самостоятельными не только политически, но и нравственно. Но въ чемъ можетъ состоять эта самостоятельность въ настоящее время? Ни въ чемъ иномъ, какъ въ критическомъ изслѣдованіи, въ сознательномъ перенесеніи въ свою жизнь цивилизаціи другихъ болѣе образованныхъ народовъ. Мы вышли уже изъ того періода, когда насъ можно назвать рабскими послѣдователями запада. Мы легко понимаемъ уже односторонности разныхъ народовъ старой Европы: слѣдовательно, мысль наша требуетъ самодѣятельности. Съ другой стороны, эрудиція наша еще очень далека отъ надлежащаго; мы еще далеко не ознакомились съ трудомъ человѣческой мысли, съ наукой востока, древней и новой Европы. Итакъ, будемъ продолжать свое воспитаніе, какъ прилично юношамъ, а не дѣтямъ: будемъ принимать различныя ученія не на слово, а съ сознаніемъ.

Не будемъ отступать отъ силлогизма, образуемаго цѣпью этихъ параграфовъ. Мы имѣемъ теперь два данныхъ: 1) Россія должна усвоить себѣ цивилизацію историческихъ народовъ. 2) Русскій умъ имѣетъ свои особенности. Изъ этихъ двухъ посылокъ мы должны вывести правильное заключеніе о томъ, въ чемъ должна состоять наша ученая дѣятельность въ настоящее время. Съ одной стороны, задача эрудиціи, задача объ усвоеніи себѣ науки нашихъ предшественниковъ еще далеко не выполнена нами. Мало того, въ силу нѣкоторыхъ преимуществъ своего положенія, мы еще должны пополнить тѣ пробѣлы и исправить тѣ ошибки, которые поражаютъ насъ въ западной наукѣ, непосредственной предшественницѣ нашей. Съ другой стороны, особенности нашего ума вызываютъ оригинальность воззрѣнія. Соображая оба обстоятельства, всего естественнѣе

кажется для насъ обратиться къ критическому изслѣдованію трудовъ нашихъ предшественниковъ, ибо такимъ образомъ, во-первыхъ, мы ознакомимся съ этими трудами, во-вторыхъ, удовлетворимъ требованію самостоятельности ума, въ третьихъ, основательно подготовимся къ созданію новаго, и, наконецъ, въ четвертыхъ, приведемъ себя въ гармонію съ остальнымъ человѣчествомъ, войдемъ въ тотъ кругъ, въ который поставилъ насъ Богъ, поселивъ на территоріи Европы.

Но доступна ли намъ критика западной науки? Я полагаю, что русскіе могутъ выполнить эту задачу удовлетворительнѣе всѣхъ другихъ народовъ. Здѣсь весьма важно то, что послѣ англичанъ это—народъ, наиболѣе путешествующій. Разъѣзжая по своей необозримой Россіи, мы привыкли уничтожать тысячи верстъ, какъ десятки миль. Французъ считаетъ прогулку въ Ліонъ изъ Парижа значительнымъ путешествіемъ, а кому случится доѣхать оттуда до Пиринеевъ, тотъ рѣшительно пользуется репутаціей неутомимаго путешественника. То же самое можно сказать о нѣмцахъ и италіанцахъ. Тѣ и другіе или ужъ совсѣмъ уѣзжаютъ изъ отечества, или прилѣпляются къ своему уголку на всю жизнь. Очень недавно стало вводиться у молодыхъ людей той и другой страны обыкновеніе посѣщать Францію; но эти явленія очень рѣдки <sup>1)</sup> Изъ образованныхъ людей Русской земли, конечно, на половину придется такихъ, которые или путешествовали за границей, или собираются путешествовать. Если большая часть нашихъ соотечественниковъ ѣздитъ на западъ безъ всякой пользы для себя и для другихъ, то нельзя однакожъ сказать, чтобы между ними не нашлось множества такихъ, которыхъ путешествія вполне утѣшительны по своимъ результатамъ. Русскій, если только онъ человѣкъ не дюжинный, обращаетъ гораздо больше вниманія на все, что видитъ и слышитъ за границей, чѣмъ англичанинъ, французъ, нѣмецъ, италіанецъ. Тому двѣ причины. Во-первыхъ путешествіе открываетъ ему совершенно новый міръ: съ какой бы точки онъ на него ни смотрѣлъ, всетаки вниманіе его невольно возбуждено. Напротивъ того, западный человѣкъ во всякомъ западномъ государствѣ встрѣчаетъ миллионы явленій, напоминающихъ ему отечество: ему гораздо труднѣе находить особенности, и потому вниманіе его изощряется гораздо меньше. Такимъ образомъ, онъ часто пропускаетъ то, что не ускользнетъ отъ вниманія русскаго. Во-вторыхъ, послѣдній не можетъ имѣть особенныхъ предубѣжденій въ пользу или противъ одной какой-нибудь націи исключительно; мы еще не участвовали въ ихъ соперничествѣ въ цивилизаціи человѣчества. Каждый изъ русскихъ (повторяю, что рѣчь не о дюжинныхъ) ѣдетъ на западъ людей посмотреть, а ужъ никакъ не для того, чтобы себѣ

---

<sup>1)</sup> Въ Ломбардіи одна дама спросила меня: сколько миль я проѣхалъ? Чтобы не показаться хвастуномъ, я отвѣчалъ ей, что проѣхалъ тысячу миль (италіанская миля— $\frac{3}{4}$  версты); но она мнѣ рѣшительно не повѣрила.

показать <sup>1)</sup>. Вслѣдствіе сего мы гораздо безпристрастнѣе другихъ европейцевъ, которые путешествуютъ съ цѣлью провѣрить свои свѣдѣнія и съ убѣжденіемъ въ собственномъ превосходствѣ надъ всѣми другими народами.

Замѣтимъ, что на пути критическаго изслѣдованія Европы мы вовсе не останемся одинокими странниками, ибо Европа сама занята теперь тою же задачею. Она сама погружена въ самоизученіе, она тяготится своимъ настоящимъ и вслѣдствіе того критикуетъ себя во всѣхъ отношеніяхъ. Слѣдовательно, мы можемъ идти объ руку съ нею, раздѣлить съ нею высокій трудъ усовершенствованія.

Но это замѣчаніе приводитъ къ новой мысли. Западная Европа, стремясь къ лучшему порядку вещей, изучаетъ самое себя. Это изученіе не можетъ быть безплодно: чтобы дать обществамъ новую жизнь, надо изслѣдовать ихъ природу и исторію. Изъ этого слѣдуетъ, что и намъ, обратясь къ критическому изслѣдованію запада, нельзя упускать изъ виду и самихъ себя. Знаніе исторіи и статистики Россіи въ самомъ полномъ объемѣ должно служить основаніемъ будущаго усовершенствованія нашего: перенося сѣмя изъ одной почвы на другую, надо прежде изслѣдовать сію послѣднюю.

Въ заключеніе я позволю себѣ объясненіе параболическое. Представимъ себѣ, что наука каждаго историческаго народа заключена въ одной книгѣ. Положимъ, что этихъ народовъ числомъ десять. Представимъ рускаго до Петра въ лицѣ варвара, который пожелалъ завести у себя такую же книгу. Что долженъ сдѣлать этотъ варваръ? Самъ онъ ничего не знаетъ, и потому, разумѣется, начинаетъ слушать и читать чужія книги. Прежде всего, кажется, надо посоветовать ему прочитаты эти книги отъ начала до конца. Отъ такого чтенія нашъ варваръ понемногу дѣлается эрудитомъ. Но эрудитъ безъ самодѣтельности мысли есть также варваръ, только варваръ цивилизованный; чтобы сдѣлаться человѣкомъ, онъ долженъ сообразить собственнымъ умомъ все прочитанное, съ тѣмъ, чтобы, наконецъ, составить изъ этого что-нибудь свое. Въ настоящее время варваръ нашъ дочитываетъ чужія книги, и мысль его уже разыгралась. Что же остается ему дѣлать? Теперь остается соображать, сравнивать прочитанное, а потомъ, потомъ—онъ будетъ творить!....<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Говорятъ, будто бы нѣкоторые изъ насъ ѣздятъ за границу изъ удовольствія сорить тамъ свое золото. Не вѣрю, чтобы въ наше время образованный человѣкъ могъ быть удовлетворенъ поддѣльнымъ уваженіемъ трактирщиковъ!

<sup>2)</sup> Дѣятельность нашихъ ученыхъ до сихъ поръ ограничивается, по большей части, какъ лекціоннымъ преподаваніемъ. Надѣюсь, что молодые люди, слушающіе лекціи въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, согласятся со мною, что блистательнѣйшіе труды нашихъ ученыхъ въ нынѣшнее время заключаются именно въ критическомъ разборѣ западныхъ ученій. Для тѣхъ же, у извѣстныхъ лекцій гг. профессоровъ С.-Петербургскаго университета, считаю достаточнымъ замѣтить, напримѣръ, критическіе разборы теорій статистики профессора В. С. Порошина

## Объ отношеніи производительности къ распредѣленію богатства.

Начала современнаго спора объ отношеніи производительности къ распредѣленію богатства должно искать въ ученіяхъ Смита и Сисмонди, діаметрально противоположныхъ одно другому.

Въ Смитовой теоріи нѣтъ и тѣни мысли о справедливомъ распредѣленіи богатства. Высшая степень экономического благосостоянія общества, по его ученію, заключается въ возможно большемъ количествѣ производимыхъ цѣнностей и въ перевѣсѣ количества лицъ производительныхъ надъ непроизводительными. Иными словами, Смитъ полагалъ, что чѣмъ больше въ обществѣ производится вещей, подлежащихъ обмѣну, и чѣмъ болѣе въ немъ лицъ, занимающихся производствомъ и обмѣномъ этихъ вещей, тѣмъ ближе подходитъ оно къ идеалу экономического благосостоянія. Слѣдовательно, экономическій успѣхъ общества, по понятію Смита, состоитъ въ усиленіи производительности. Дальнѣйшее развитіе этой идеи въ созданной имъ наукѣ заключается въ изслѣдованіи условій, при которыхъ государство можетъ производить возможно большее количество цѣнностей, то-есть, вещей, подлежащихъ обмѣну, товаровъ (*valeurs échangeables*). Условія эти суть: 1) развитіе наукъ и искусствъ, удобопримѣняемыхъ къ промышленности, 2) увеличеніе числа машинъ и раздѣленіе работъ, 3) свободное соперничество, 4) хорошее устройство путей сообщенія, 5) увеличеніе капиталовъ, 6) независимость производительности и сбыта отъ правительственныхъ постановленій <sup>1)</sup>. Изъ этого видно, что въ идеалъ благосостоянія, созданный Смитомъ, вовсе не входитъ представленіе богатства, разлитого по всѣмъ слоямъ общества, богатства, обеспечивающаго возможно большее число его членовъ. Сей, замѣчательнѣйшій изъ его послѣдователей, чувствовалъ необходимость этого условія. Сознаніе это выразилось и въ опредѣленіи, которое далъ онъ наукѣ. По его опредѣленію, политическая экономія имѣетъ цѣлью показать, какимъ образомъ богатства производятся, распредѣляются и потребляются въ обществѣ. Но въ ученіи о сбытѣ (*théorie des débouchés*) онъ старается доказать, что счастливое распредѣленіе богатства есть не что иное, какъ слѣдствіе сильной, безграничной производительности. Онъ доказываетъ, что чѣмъ сильнѣе производительность, тѣмъ дешевле товары, и что по тому самому большинство получаетъ болѣе средствъ удовлетворять своимъ потребностямъ. Въ такомъ положеніи оставалась наука до

---

ли критику теорій народнаго права, представленную профессоромъ Ивановскимъ. Не могу не упомянуть также въ этомъ отношеніи объ историческихъ лекціяхъ М. С. Кутюрги, тѣмъ болѣе, что нѣкоторые сочиненія его напечатаны и извѣстны публикѣ.

<sup>1)</sup> Последнее условіе заимствовано Смитомъ у предшествовавшей ему фзіократической школы, основанной во Франціи Кенэ.



появленія критическихъ статей Сисмонди, почти до первой четверти XIX вѣка. Правда, въ этотъ промежутокъ времени явилось много теорій, основанныхъ на началахъ, совершенно противоположныхъ началамъ Смитовой системы. Но ни одна изъ этихъ теорій не имѣла довольно успѣха для того, чтобы ниспровергнуть ученіе Смита. Новые мыслители хотѣли создавать новое, не разрушивъ стараго,—поэтому-то въ ихъ ученіи многое казалось страннымъ и утопическимъ потому только, что противорѣчило прежнему, не опровергая его. Роль разрушителя въ этомъ дѣлѣ принадлежитъ Сисмонди. Первоначально Сисмонди былъ ревностнымъ послѣдователемъ и защитникомъ Смита. Но наблюденіе странъ, осуществляющихъ господствующую теорію, довело его до совершеннаго отрицанія ученія, котораго въ молодости былъ ояъ жаркимъ распространителемъ. Сисмонди соединялъ произвительный анализъ великихъ умовъ второй половины XVIII столѣтія съ жаркою любовью къ человѣчеству. Сознаваясь въ неспособности создать что-нибудь новое, онъ устремилъ всѣ силы свѣтлаго ума и теплаго чувства на то, чтобы критически изслѣдовать тогдашнее положеніе промышленности и ниспровергнуть господствовавшую теорію политической экономіи.

Сисмонди, какъ уже сказано, ничѣмъ не замѣнилъ того, что разрушилъ; но не должно думать, чтобъ онъ не имѣлъ никакихъ твердыхъ убѣжденій: иначе кригика его не была бы такъ могущественна и плодотворна. Живая сила ея заключалась въ убѣжденіи, что богатство само по себѣ не имѣетъ никакой цѣны, если оно не служитъ къ удовлетворенію потребностей человѣка; что оно не должно быть достояніемъ касты; что промышленный успѣхъ состоитъ не въ томъ, чтобы лица богатые обогатились еще болѣе, а въ томъ, чтобы большинство членовъ общества было обеспечено въ средствахъ къ безбѣдному существованію; однимъ словомъ, Сисмонди былъ глубоко убѣжденъ, что политическая экономія, какъ и всякая другая общественная наука, должна содѣйствовать къ возвышенію общаго благосостоянія народа, а не одного какого-нибудь класса. Убѣдясь въ томъ, что государства, принявшія систему Смита, являютъ собою картину благосостоянія немногихъ избранныхъ, основаннаго на разореніи большинства, Сисмонди подвергъ критической оцѣнкѣ то, что, по мнѣнію Смита, составляетъ необходимое условіе промышленныхъ успѣховъ. Онъ доказалъ, что размноженіе машинъ, огромность капиталовъ и свободное соперничество, содѣйствуя къ безграничному усиленію производительности, въ то же время служатъ источникомъ бѣдствій, которыя не были предвидѣны Смитомъ. Каждая машина уменьшаетъ запросъ на рабочія силы и тѣмъ самымъ увеличиваетъ число ищущихъ работы; а сіи послѣдніе доводятся до такой степени крайности, что готовы согласиться на самый ничтожный заработокъ, лишь бы только перебить его одинъ у другого. Вотъ первый источникъ разоренія рабочаго класса. Что касается до свободнаго соперничества, то, во-первыхъ, оно порождаетъ безпрестанныя банкротства хозяевъ промысловъ або тотъ, у кого больше капитала, всегда имѣетъ возможность подорвать того, у

кого его меньше; во-вторыхъ, оно также содѣйствуетъ и разоренію работниковъ слѣдующимъ образомъ. Мы сказали уже, что при безпрестанномъ увеличеніи числа машинъ всегда можно найти множество людей, готовыхъ трудиться за самую ничтожную плату. Кромѣ того, въ бѣдномъ классѣ народонаселеніе увеличивается съ неимоверною быстротою, что еще болѣе увеличиваетъ число работниковъ, ищущихъ хлѣба и сбивающихся соперничествомъ цѣну съ заработка. Вслѣдствіе сего, при свободномъ соперничествѣ хозяевъ промысла, всегда есть возможность открыть новое предпріятіе въ подрывъ существующимъ, нанявъ работниковъ дешевле обыкновеннаго, ибо такимъ образомъ новый хозяинъ имѣетъ возможность пустить и товаръ свой дешевле другихъ хозяевъ. Сіи послѣдніе должны или потерпѣть банкротство, или также уменьшить плату своимъ работникамъ. Такимъ образомъ, свободное соперничество порождаетъ и банкротства хозяевъ, и постоянное разореніе работниковъ. Вотъ главные основанія критики Сисмонди. Сверхъ того, онъ обратилъ вниманіе на дешевизну, происходящую отъ усиленія производительности, и доказалъ, что дешевизна эта слишкомъ мало служитъ къ облегченію участи работниковъ, ибо мануфактурныя произведенія большею частью удовлетворяютъ потребности богатаго класса, между тѣмъ какъ бѣдные преимущественно довольствуются произведеніями земледѣльской промышленности и ручного труда.

Ученіе Сисмонди открыло глаза политико-экономамъ. Многіе изъ нихъ заговорили, что политическая экономія должна имѣть въ виду не вещи, а людей, что увеличеніе количества и возвышеніе качества вещей тогда только важно, когда черезъ то увеличивается благосостояніе всѣхъ членовъ общества. Вдругъ сдѣлалось ясно, что работники составляютъ большинство народонаселенія, что на нихъ, какъ на бѣднѣйшихъ членовъ общества, должно быть устремлено особенное вниманіе науки народнаго богатства. Современное состояніе промышленности многимъ показалось гибельнымъ и вопіющимъ къ улучшенію. Отсюда мало по малу развилась такъ-называемая филантропическая школа политической экономіи, раздробившаяся на множество подраздѣленій, смотря по тому, въ чемъ кто видѣлъ источникъ зла. Одни приписывали всѣ бѣдствія рабочаго класса алчности и безкровной жестокости антрепренеровъ и старались дѣйствовать на нихъ увѣщаніями нравственности и религіи. Другіе обвиняли самую систему свободного соперничества, доказывая, что она повергла промышленность въ анархію, изъ которой ничто не можетъ вывести ее, кромѣ мудраго законодательства. Третьи думали указать спасеніе въ возвышеніи нравственнаго и умственнаго образованія работниковъ и въ пріученіи ихъ къ бережливости и расчетливости. Четвертые искали зла въ разрозненности работниковъ и возложили надежды на устройство между ними общинъ, ассоціацій. Явились и такіе утописты, которые встали противъ частной собственности и возобновили мечты Платона объ обществѣ. Утописты эти раздѣляются на два главные разряда: одни полагаютъ

что справедливое распределение богатства заключается въ количественномъ равенствѣ дохода между всѣми членами общества; другіе требуютъ, чтобы доходы раздѣлялись по степени труда и способностей <sup>1)</sup>).

Всѣ эти новыя ученія вступили въ ожесточенную борьбу съ школой Смита, которая называетъ себя ортодоксальною и продолжаетъ защищать преподаанныя имъ начала. Само собою разумѣется, что между враждующими партіями есть множество партій среднихъ, умѣренныхъ. Вотъ почему экономическая литература нашего времени съ перваго взгляда представляется чѣмъ-то нестройнымъ, неорганическимъ. Но стоитъ только призвать на помощь исторію политико-экономическихъ системъ, чтобы найти въ ней явленіе понятное, логически вытекающее изъ прошедшаго. Сдѣлавъ этотъ шагъ, мы можемъ уже разсматривать вопросъ объ отношеніи производительности къ справедливому распределенію богатства въ томъ развитіи, какое получилъ онъ въ настоящее время. Посмотримъ, въ какой мѣрѣ справедливы различныя ученія, развившіяся изъ критики Сисмонди.

По безпристрастномъ разсмотрѣніи дѣла, нельзя не убѣдиться, что всѣ до сихъ поръ предложенныя мѣры къ улучшенію настоящаго положенія промышленности совершенно недостаточны. Съ другой стороны нельзя не согласиться, что это положеніе въ самомъ дѣлѣ губительно для рабочаго класса, чему примѣръ представляютъ намъ Франція и Англія. Слѣдовательно, нельзя не признать ложности и той теоріи, которую оно осуществляетъ. Но ошибка всѣхъ противниковъ Смита, по нашему мнѣнію, состоитъ въ томъ, что они не замѣчаютъ слабой стороны его системы и устремляютъ свое оружіе противъ того, что должно остаться на вѣки несокрушимымъ. Чтобы убѣдиться въ справедливости этой мысли, мы рассмотримъ до сихъ поръ предложенныя мѣры къ улучшенію участи промышленныхъ классовъ, не упуская изъ виду того, что порицается новѣйшими писателями въ системѣ Смита, а въ заключеніе постараемся опредѣлить дѣйствительные недостатки этой системы.

Всѣ до сихъ поръ предложенныя мѣры къ достиженію промышленнаго благосостоянія могутъ быть раздѣлены на нѣсколько классовъ. Къ первому относимъ мы тѣ, которыя направлены противъ соперничества атрепренеровъ и противъ разрозненности капитала и труда. Возставая противъ того и другого, прогрессисты утверждаютъ, что они возстаютъ противъ воинствующаго духа современной промышленности. Въ самомъ дѣлѣ, современное общество представляетъ намъ безпрерывную войну интересовъ: 1) хозяева сражаются другъ противъ друга, ибо каждый изъ нихъ видитъ свою выгоду въ банкротствѣ другихъ; 2) хозяева сражаются съ работниками, стараясь уменьшать ихъ задѣльную плату; 3) работники сражаются съ хозяевами, стараясь достигнуть противоположной цѣли, то-есть,

<sup>1)</sup> Этимъ общимъ движеніемъ вызваны были къ жизни и тѣ теоріи, которыя появились въ промежутокъ между Смитомъ и Сисмонди.

увеличенія задѣльной платы; наконецъ, 4) работники сражаются другъ съ другомъ, перебивая одинъ у другого работу и понижая задѣльную плату. Ясно, что корень этихъ враждебныхъ отношеній заключается не въ чемъ иномъ, какъ въ существованіи частныхъ капиталовъ и въ разрозненности капитала и труда. Еслибы два лица не могли располагать, каждое, по произволу своими капиталами, то между ними не могло бы быть и соперничества. Точно также, еслибы всякій человекъ могъ быть въ одно время и капиталистомъ, и работникомъ, то не могло бы быть и вопроса о враждѣ хозяевъ и работниковъ. Такимъ образомъ, причины бѣдствій промышленныхъ обществъ приводятся къ двумъ главнымъ: къ признанію частной собственности, какъ источника раздѣленія людей на капиталистовъ и не-капиталистовъ, и къ существованію отдѣльныхъ промышленныхъ предпріятій. Следовательно, чтобъ излѣчить современное общество отъ пожирающаго его недуга, должно поставить членовъ его въ такое положеніе, чтобы ни одинъ изъ нихъ не имѣлъ средствъ превзойти другихъ богатствомъ, и чтобъ не было въ обществѣ другихъ отдѣльныхъ промышленныхъ предпріятій одного рода. Безъ этихъ двухъ условій промышленность не можетъ быть выведена изъ міра враждебныхъ отношеній.

Но достижимы ли эти два условія, а главное—совмѣстны ли они съ успѣхами человѣчества? Во-первыхъ, спрашивается: какъ достигнуть того, чтобы всѣ члены общества были равно богаты отъ колыбели до могилы? Размежевать территорию на ровные участки по всѣмъ правиламъ кадастра и надѣлить землею каждого? Допустимъ, что это возможно. Но, уравнивъ поземельную собственность, какъ уравниемъ мы умственные способности людей, ихъ трудолюбіе и нравственные качества—силы, имѣющія неоспоримое вліяніе на частное обогащеніе? Средство для этого одно: мы должны установить мѣру имущества каждого гражданина нашей Аркадіи, опредѣлить его максимумъ и минимумъ и наблюдать, чтобы ни у кого не было ни больше, ни меньше того, что положено. Поэтому мы должны, съ одной стороны, принуждать лѣниваго, чтобъ онъ догонялъ другихъ исправныхъ, а съ другой стороны—удерживать трудолюбиваго, чтобъ онъ не перешелъ за проведенную нами черту благосостоянія.

Точно также и въ мануфактурной промышленности пришлось бы опредѣлить количество дохода всѣхъ лицъ, принимающихъ участіе въ мануфактурныхъ промыслахъ, и наблюдать на тѣхъ же основаніяхъ за постоянствомъ и равенствомъ этого дохода. Такимъ образомъ, мы создали бы въ обществѣ деспотическую власть, которая находилась бы въ вѣчномъ противодѣйствіи стремленіямъ частныхъ лицъ. Предоставляемъ самимъ читателямъ судить, какихъ успѣховъ можно ожидать отъ общества подъ такою ферулой.

Само собою разумѣется, что противники Смита не могли остановиться на идеѣ всеобщаго равенства имуществъ. Вслѣдъ за этою системою явилась другая, выражающаяся слѣдующею формулой: „воздадимъ каждому по мѣрѣ его способ-

ности и труда". Это требованіе занимает средину между требованіемъ безусловнаго равенства и полнымъ признаніемъ необходимости неравенства имуществъ, потому что поборники этой идеи, допуская обогащеніе трудомъ, не признаютъ собственности наслѣдственной, какъ учрежденія, содѣйствующаго къ пользованію имуществомъ безъ труда и служащаго къ накопленію огромныхъ капиталовъ въ рукахъ немногихъ.

Прежде всего замѣтимъ, что признать раздѣленіе людей на способныхъ и неспособныхъ, на прилежныхъ и лѣнивыхъ, не установить преимущества первыхъ надъ послѣдними уже значитъ признать законность раздѣленія на богатыхъ и бѣдныхъ. Естественнo, что изъ двухъ человѣкъ съ равными капиталами или безъ всякихъ капиталовъ способный и трудолюбивый непремѣнно сдѣлается богаче неспособнаго и лѣниваго.

Что же касается до возможности практическаго примѣненія, разсматриваемой системы, то здѣсь представляется вопросъ: возможно ли такое устройство общества, при которомъ сужденіе о способности и трудолюбіи всѣхъ членовъ его изрѣкалось бы съ должною основательностью и безпристрастіемъ? Надо согласиться, что возможность эта весьма сомнительна, и страшно подумать, на какой рискъ рѣшилось бы общество, принявъ такую систему распределенія богатства. Если изъ десяти тысячъ приговоровъ одинъ только будетъ несправедливъ,—и это уже возопитъ противъ судей и общества. Но этого мало: защитники распределенія богатства по качеству и количеству труда упускаютъ изъ виду, что оно должно раздѣлить общество на двѣ враждебныя партіи, на призванныхъ и отверженныхъ. Какая участь ожидаетъ послѣднихъ? Отчаяніе и ненависть къ обществу, которое отбросило ихъ отъ себя и погрузилось въ неприступное самодовольство привилегированной касты. Всякій успѣхъ со стороны лица, заклеяменнаго позоромъ отверженія, невозможенъ. Отброшеннымъ останется вооружиться противъ избранныхъ, и человечество представитъ собою картину неумолчной борьбы партій, безчеловѣчно разграниченныхъ. Ясно, что эти результаты составляютъ яркую противоположность стремленію той самой школы, которая защищаетъ упомянутое начало распределенія богатства по способностямъ и труду, то есть, стремленію къ водворенію между людьми мира и братской любви. Выходитъ, что оно, вмѣсто того, чтобы унять войну всѣхъ и cadaго, даетъ только болѣе и болѣе поводовъ къ враждебнымъ расположеніямъ и вызываетъ господство новой, неумолимой, безчеловѣчно-неприступной аристократіи.

Итакъ, ни безусловное равенство имуществъ, ни распределеніе богатствъ по способностямъ къ труду нимало не подвигаютъ общества на путь къ благосостоянію, а еще напротивъ того, представляютъ перспективу такихъ бѣдствій, которыя превосходятъ сумму золь, рождаемыхъ неравенствомъ. Слѣдовательно, неравенство имуществъ должно быть допущено въ обществѣ. Но этого мало: можно доказать,

что оно не только не составляет такого зла, какъ о немъ думаютъ, но даже не можетъ не быть признано за необходимый рычагъ экономической дѣятельности. Почему? Потому, что богатство есть понятіе относительное, результатъ сравненія имущественныхъ средствъ нѣсколькихъ лицъ, а сравненіе это побуждаетъ тѣхъ, у кого такихъ средствъ меньше, догонять тѣхъ, у кого ихъ больше. Человѣкъ съ ограниченными средствами потому только и желаетъ ихъ увеличенія, что видитъ въ обществѣ другихъ лицъ, располагающихъ большимъ богатствомъ и имѣющихъ возможность удовлетворять большей суммѣ потребностей. Слѣдовательно, неравенство имуществъ вызываетъ производительность. Такова важность его вообще. Но важность эта обнаруживается еще болѣе при разсмотрѣніи его частныхъ видовъ—наслѣдства и существованія отдѣльныхъ капиталовъ. Уничтожьте наслѣдственную собственность,—вы тѣмъ самымъ уничтожите ту энергію, которая свойственна человеку, трудящемуся не для одного себя, но и для тѣхъ лицъ, которымъ онъ желаетъ передать нажитое. Мало того, лишитъ человека средствъ отказать свое имѣніе кому угодно значить отнять у него часть права собственности. Скажутъ, что личное право обращается во вредъ обществу. Не правда! Оно усиливаетъ энергію производительности, побуждаетъ къ труду, къ увеличенію цѣнности вещей и къ созданію новыхъ цѣнностей. Слѣдовательно, оно неоспоримо полезно для общества. Сверхъ того, съ уничтоженіемъ наслѣдства должно было бы утратиться множество практическихъ свѣдѣній, накапливающихся во всякомъ промышленномъ предпріятіи, переходящемъ по наслѣдству. Особенно въ этомъ отношеніи пострадала бы промышленность добывающая. Извѣстно, напримѣръ, какое преимущество имѣетъ земледѣлецъ, хорошо знакомый со своимъ участкомъ, передъ новичкомъ, которому еще предстоитъ ознакомиться съ избранною мѣстностью. Съ уничтоженіемъ наслѣдства число новичковъ должно увеличиться, а вмѣстѣ съ тѣмъ увеличатся и непроизводительныя траты на бесполезные опыты. Наконецъ, главное: не должно забывать, что пожизненный владѣлецъ никогда не рѣшится на такія улучшенія своей собственности, которыя могутъ имѣть цѣлью отдаленную пользу. Можно даже сказать, что немного между владѣльцами найдется такихъ, которые воздержались бы въ своемъ хозяйствѣ отъ способовъ пользованія, истощающихъ силы фонда. Второй видъ—неравенство имуществъ—есть, какъ сказано, накопленіе капиталовъ въ рукахъ отдѣльныхъ лицъ, которое большею частью бываетъ результатомъ перваго, то-есть, наслѣдства. По нашему мнѣнію, возставать противъ этого факта несправедливо по двумъ весьма уважительнымъ причинамъ: во-первыхъ, потому, что онъ самъ по себѣ имѣетъ весьма хорошую сторону, и во-вторыхъ, потому, что противоположное ему не возможно. Спрашивается: кто предпримчивѣе—богатый или бѣдный? Конечно, богатый, потому, что онъ имѣетъ болѣе возможности рисковать и приводить въ исполненіе всякія экономическія идеи. Если малые капиталисты до сихъ поръ не успѣваютъ въ соперничествѣ съ большими, то это происходитъ не отъ чего иного, какъ отъ того, что они боятся сѣ



ставлять компаніи, а боятся не по чему иному, какъ по нерѣшимости отваживаѣ свои малые капиталы. Какой капиталистъ можетъ предоставить болѣе выгодѣ лицамъ, отдающимъ ему свой трудъ за вознагражденіе,—богатый или бѣдный? Безъ сомнѣнія, богатый, потому что это ему не такъ обременительно. Кто болѣе способенъ искутиться приманкой неправяго барыша—богатый или бѣдный? Конечно, бѣдный, ибо богатый, по крайней мѣрѣ, имѣетъ болѣе силъ придержаться расчета на кредитъ, на репутацію. Въ комъ скорѣе можно предположить великодушное стремленіе въ связи съ любостыжательнымъ—въ богатомъ или въ бѣдномъ, или даже въ цѣлой группѣ, ассоціаціи бѣдныхъ? Опять-таки въ богатомъ, потому что ему легко быть тѣмъ, что называется великодушнымъ.

Вотъ хорошая сторона существованія большихъ капиталовъ <sup>1)</sup>. Покажемъ теперь, что существованіе ихъ еще болѣе должно быть допущено, потому что соединеніе капитала и труда, о которомъ такъ мечтаютъ утописты, въ однѣхъ рукахъ было бы пагубно для общества. Такое соединеніе предполагаетъ замѣну частной собственности, частнаго труда и частнаго дохода собственностью, трудомъ и доходомъ общинъ, ассоціацій, иными словами—уничтоженіе частной собственности, уничтоженіе частнаго труда, уничтоженіе частнаго дохода. И такого результата добивается современная наука! Изъ-за чего же ты столько тысячъ лѣтъ жило, развивалось, трудилось и страдало, человѣчество? Не изъ того ли, чтобъ отъ древняго рабства перейти къ феодальному вассальству, изъ вассальства—въ ремесленные цехи, и наконецъ, изъ цеховъ—къ чистой, неприкосновенно уважаемой личности, къ тому разумному, не изнасилованному состоянію недѣлимыхъ, при которомъ каждый человѣкъ можетъ трудиться самъ по себѣ и самъ для себя, по произволу соединяясь и по произволу отдѣляясь отъ другихъ, равно свободныхъ? Отказаться отъ этого блага значить идти назадъ, возвратиться и къ цехамъ, и къ вассальству, и къ рабству. Между рабствомъ и личною свободой нѣтъ и не можетъ быть другихъ формъ общественной жизни, кромѣ различныхъ степеней подчиненія личной воли. Вотъ почему нѣкоторые противники

---

<sup>1)</sup> Изъ этого не слѣдуетъ, однакожъ, заключать, чтобы мы, выставяя ее, защищали тѣ общественныя учрежденія, которыя направлены къ скопленію богатствъ въ однѣхъ рукахъ. Далѣе будетъ говорено о нецѣлостности задѣльной платы, какъ объ одной изъ главнѣйшихъ причинъ такого явленія. Теперь мы находимъ умѣстнымъ сказать, что другая дѣйствующая причина скопленія богатствъ—наслѣдство—также можетъ быть поставлена въ разрядъ гибельныхъ и нелогическихъ учрежденій, если понимать ее въ духѣ майоратства. И такое разнообразіе мнѣній объ одномъ и томъ же предметѣ не должно быть сочтено за противорѣчіе самому себѣ. Почему? Потому, что, защищая наслѣдство, мы защищаемъ святыню человѣческой личности. Лишить человѣка возможности передать свое имѣніе кому онъ желаетъ значитъ, какъ сказано выше, стѣснить свободу его стремленій и лишить его права распоряжаться собственностью; а майоратство есть одинъ изъ видовъ такого стѣсненія: отецъ, будучи обязанъ отдать свое имѣніе одному изъ своихъ дѣтей, стѣсненъ въ возможности отдать его другимъ лицамъ, для которыхъ, можетъ быть, онъ и желалъ бы трудиться при жизни.

личной свободы, напимѣръ, самъ Сисмонди, не скрываютъ своего предпочтенія цехамъ и вассальству среднихъ вѣковъ и даже чистому рабству! Что же такое ассоціаціи новѣйшихъ ученыхъ, какъ не средневѣковые цѣхи? Если я—членъ такой ассоціаціи, я тружусь не для себя, а для нея, для нея я приобретаю, ее питаю я въ настоящемъ, ее обеспечиваю я въ будущемъ, словомъ—на нее работаю я, какъ рабъ на господина. Представьте себѣ всѣхъ членовъ ассоціаціи въ такомъ же положеніи: вы увидите, что все это—люди, живущіе не собственнымъ интересомъ, слѣдовательно, не собственной жизнью, а интересомъ и жизнью отвлеченнаго лица—общины, люди, двигающіеся не собственными побужденіями, а властью того фантома, который они создали себѣ, какъ бы убоявшись благъ, истекающихъ изъ естественнаго положенія въ мірѣ. Чтобы согласиться на такое самоубійство, надо добыть простую, математически ясную истину, что общество есть не что иное, какъ сумма недѣлимыхъ, что по тому самому, если оно находится въ противорѣчій съ потребностями частныхъ лицъ, его составляющихъ, это значитъ, что оно устроено ложно, неразумно. Не признавать частнаго интереса краеугольнымъ камнемъ общественной жизни, считать то и другое несогласными крайностями и выбирать одно изъ двухъ значитъ забывать, что человекъ есть часть природы, часть міра, въ которомъ все отдѣльное допущено, уважено и развито наравнѣ съ цѣлымъ, такъ что цѣлое является суммой всего частнаго, отдѣльнаго. Въ рощѣ каждый листъ, каждая травка живетъ и развивается по требованіямъ своей частной природы, а вмѣстѣ съ тѣмъ живетъ и цѣлая роща, и жизнь ея есть не что иное, какъ жизнь всѣхъ привольно растущихъ въ ней деревьевъ и травъ. Зачѣмъ же человекъ отклонится отъ жизни недѣлимаго и потонетъ въ ничтожествѣ призрака?

Говорить ли о томъ, какъ остынетъ кипящій жаръ производительности, лишенной главнаго своего двигателя—личности, самодержавія частной мысли и частной воли? это не требуетъ доказательства: мы помнимъ исторію промышленности помнимъ, что она была въ древности и въ средніе вѣка, и чѣмъ она стала со времени освобожденія. Но считаемъ нужнымъ обратить вниманіе на другое соображеніе. Спрашивается: при соединеніи труда и капитала въ однѣхъ рукахъ, кто занимался бы администраціей общаго промысла, какъ предпріятія? Управление предпріятіемъ требуетъ совершенно иныхъ способностей, иного образованія, иной опытности, чѣмъ исправленіе механическихъ работъ. Работникъ, способный къ управленію промысломъ, составляетъ рѣдкое исключеніе изъ своего класса. Скажутъ, что управленіе можетъ быть поручено общиной одному избранному лицу. Но замѣтимъ, что этому лицу должно быть предоставлено и право риска. Здѣсь препятствіе можетъ возникнуть съ двухъ сторонъ—со стороны общины и со стороны избраннаго ею администратора. Заклучая условіе съ симъ послѣднимъ, община, можетъ быть, и предоставить ему права риска. Но въ первомъ данномъ случаѣ нѣкоторая часть акціонеровъ почувствуетъ робость; при первой неудачѣ они замѣ-

тятъ на будущее время ограничить власть администратора, и въ оборотахъ необходимо послѣдуетъ медленность, первый врагъ промышленности. Съ своей стороны, администраторъ не можетъ не удерживаться въ быстротѣ и рѣшительности мысли, что онъ рискуетъ чужимъ капиталомъ. Представьте себѣ всю промышленность подъ вліяніемъ этой мертвящей мысли: какой апатическій видъ примутъ тогда всѣ ея отрасли!

Если прибавить ко всему этому то, что сказано выше о распредѣленіи доходовъ и что совершенно примѣняется къ ассоціаціямъ, то кажется, нѣтъ нужды приводить еще какихъ-нибудь доказательствъ противъ этой формы общественнаго устройства.

Перейдемъ теперь къ второму вопросу: какъ достигнуть того, чтобы въ обществѣ не было двухъ отдѣльныхъ предпріятій одного рода, другими словами—какъ уничтожить соперничество, войну антрепренеровъ между собою? Этотъ вопросъ большею частью новѣйшихъ соціалистовъ оставленъ безъ разрѣшенія. Возставая противъ системы свободнаго соперничества въ томъ видѣ, какъ она теперь существуетъ, они, кажется, не рѣшаются возставать противъ соперничества вообще. Вѣроятно, ихъ останавливаютъ слѣдующія азбучныя соображенія.

Нельзя смотрѣть на промышленность исключительно со стороны выгодъ производителей. Мало того, чтобы хозяева промысловъ и ихъ работники получали достаточное и постоянное обезпеченіе; надо позаботиться и о томъ, чтобы произведенія ихъ труда вполне удовлетворяли требованіямъ потребителей и приходились имъ столь возможно дешевле. Кромѣ соперничества, нѣтъ другого пути къ достиженію этой цѣли: оно одно заставляетъ промышленниковъ сбавлять цѣны съ товаровъ. Положимъ, что въ обществѣ всего на всего одна суконная фабрика: владельцы этой фабрики могутъ назначать какія имъ угодно цѣны на сукна, а потребители должны будутъ переплачивать имъ несравненно болѣе того, сколько бы пришлось имъ платить при существованіи нѣсколькихъ другихъ суконныхъ фабрикъ, которыя для привлеченія къ себѣ покупателей старались бы дѣлать сукна лучшей доброты и продавать ихъ за болѣе сходную цѣну.

Противъ этого могутъ возразить, что такъ какъ дешевизна привлекаетъ, а дороговизна отталкиваетъ покупателей, то промышленникамъ и безъ соперничества гораздо выгоднѣе пускать товары дешевле. Замѣтимъ, что это возраженіе можетъ показаться справедливымъ только въ отношеніи къ такъ-называемымъ предметамъ роскоши, безъ которыхъ можно обойтись, но что оно ни мало не относится къ необходимымъ потребностямъ, о которыхъ болѣе всего слѣдуетъ заботиться, когда рѣчь идетъ о благосостояніи общества. Да и самые предметы роскоши для людей богатыхъ не суть ли такія же необходимости, какъ кровь и насущный хлѣбъ для бѣднаго? Слѣдовательно, и на нихъ распространяется деспотизмъ промышленника, не стѣсненнаго соперничествомъ: малочисленность покупателей не преминетъ онъ вознаграждать дороговизной товаровъ.

Но это еще не все. Соперничество не ограничивается внутреннимъ рынкомъ, предѣлами государства. Другія государства могутъ подорвать предпріятіе, огражденное со стороны отечественныхъ конкурентовъ. Для устраненія этого соперничества придется или согласить всѣ государства, чтобъ они, избравъ себѣ каждое одинъ какой-либо родъ промышленности, обязались не заниматься другими, или усилить запретительную систему самыми высокими пошлинами. Первое условіе такъ нелѣпо, что о немъ не стоитъ и говорить; второе должно имѣть слѣдствіемъ своимъ то, что человѣчество на вѣкъ должно будетъ отказаться отъ надежды дожить до всеобщей свободы торговли.

Въ наше время одинъ только писатель серьезно занялся планомъ устраненія соперничества. Это извѣстный публицистъ и историкъ Луи Бланъ. Въ сочиненіи своемъ „Организація труда“ онъ указываетъ на свободное соперничество, какъ на источникъ всѣхъ бѣдствій промышленнаго класса и предлагаетъ слѣдующее средство къ устраненію его. По его мнѣнію, правительство должно ассигновать капиталъ (если не наличный, то взятый въ долгъ) и устроить общественныя мастерскія для всѣхъ отраслей мануфактурной промышленности. На первый годъ всѣ лица, входящія въ составъ промысла, имъ же должны быть распределены іерархически для полученія большей или меньшей задѣльной платы. Впослѣдствіи эта іерархія можетъ устанавливаться избирательно. Всѣ такимъ образомъ устроенныя мастерскія обязаны помогать другъ другу. Ни одна изъ нихъ не получаетъ дохода собственно для себя: каждый промышленникъ довольствуется своею задѣльною платой или, лучше сказать, своимъ жалованьемъ, между тѣмъ какъ доходъ отъ промысловъ есть доходъ того цѣлаго, которое составляютъ собою всѣ промыслы или мастерскія, взятые вмѣстѣ, то-есть, отвлеченно. Употребляются же эти доходы, во-первыхъ, на расширеніе промышленности съ цѣлью доставлять работу всякому, требующему труда, и во-вторыхъ, на вспоможеніе тѣмъ отраслямъ промышленности, которыя сами собою развиваются плохо.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что такимъ образомъ внутреннее соперничество уничтожается. Но, во-первыхъ, этимъ не уничтожается соперничество съ иностранными рынками; во-вторыхъ, въ изложенной здѣсь системѣ повторяются всѣ тѣ недостатки, о которыхъ мы говорили при разборѣ предыдущихъ. Установленіе іерархіи между промышленниками, какъ по суду правительства, такъ и избирательно, напоминаетъ намъ все, что уже было сказано о системѣ распределенія богатства по способностямъ и труду. Во-первыхъ нѣтъ никакой причины думать, что эта іерархія будетъ составлена вполне безпристрастно. Во-вторыхъ, она порождаетъ новый родъ аристократіи, соединяющій въ себѣ характеръ и административный, и промышленный: такъ какъ видимое выраженіе преимуществъ здѣсь будетъ состоять въ количествѣ выдаваемого жалованья, то всѣ члены общества будутъ вооружены другъ противъ друга по такому поводу, который болѣе всякаго другого способенъ породить между людьми враждебныя отношенія. Въ третьихъ, слить всѣ промыслы и

въ одно предпріятіе съ замѣной частнаго дохода общимъ значить совершенно исключить частную изобрѣтательность и частный интересъ изъ сферы человѣческой дѣятельности и тѣмъ самымъ повергнуть ее въ усыпленіе и мертвенность.

Этимъ заключимъ мы наше сужденіе о мѣрахъ, имѣющихъ цѣлью унять то, что называютъ воинствующимъ духомъ промышленности, который поддерживается въ ней неравенствомъ имуществъ въ разныхъ его видахъ и соперничествомъ антрепренеровъ. Мы видѣли, что избѣжать этого не дано человѣку безъ отрицанія первѣйшихъ условій частнаго благосостоянія. Слѣдовательно, рассмотрѣнныя нами системы далеки отъ рѣшенія предложенной задачи.

Перейдемъ теперь ко второму классу мѣръ, къ мѣрамъ, характеръ которыхъ заключается въ ихъ формальности.

Нѣкоторые утописты требуютъ одного только измѣненія въ настоящемъ положеніи промышленниковъ, именно—соединенія работниковъ, чистой ассоціаціи. Съ перваго взгляда кажется естественнымъ и полезнымъ, чтобы люди слабые и бѣдные соединялись для противодѣйствія сильнымъ и богатымъ. Но по внимательномъ разсмотрѣніи дѣла спрашивается: какія же существенныя улучшенія могутъ произойти отъ такого соединенія? Мы уже имѣли случай доказать, что увеличеніе задѣльной платы большею частью не зависитъ отъ хозяевъ. Если же союзы работниковъ будутъ имѣть цѣлью противодѣйствовать ихъ несправедливости, то въ образованномъ обществѣ для этой цѣли существуетъ правосудіе власти. Требовать отъ хозяевъ, чтобы они платили работникамъ болѣе того, сколько дозволяетъ имъ благоразуміе, значить требовать добровольнаго саморазоренія. Съ другой стороны, допустить работниковъ до самоуправства значить признать без-полезнымъ безпристрастное разбирательство несогласій между членами общества. Слѣдовательно, ассоціація, составленная съ цѣлью противодѣйствія хозяевамъ, не представляетъ никакихъ средствъ къ законному возвышенію доходовъ рабочаго класса. Но такъ какъ мысль о противодѣйствіи алчности и жестокости антрепренеровъ возникла изъ дѣйствительной потребности современнаго общества, то кажется, всего полезнѣе было бы установить на прочныхъ началахъ отправленіе общественнаго правосудія, котораго прямая цѣль заключается въ противодѣйствіи всякой несправедливости.

Другая цѣль ассоціаціи работниковъ состоитъ въ развитіи въ нихъ социальности, братства, равно какъ и умственныхъ способностей, которыя у человѣка одинокаго всегда остаются въ большемъ или меньшемъ усыпленіи. Нельзя не согласиться, что съ этой стороны вопросъ представляется въ лучшемъ свѣтѣ. Но для того, чтобы ассоціаціи принесли ожидаемую пользу въ этомъ отношеніи, необходимо, чтобы первоначально масса работниковъ была выведена изъ той грубости, въ которой находится она теперь, при недостаткѣ умственнаго и нравственнаго воспитанія. Иначе отъ соединенія ихъ нельзя ожидать ничего, кромѣ усиленія тѣхъ пороковъ, которыя возникаютъ нынѣ на фабрикахъ отъ столкновенія возрастовъ, по-

ловъ и склонностей и которыя заставляютъ помышлять о средствахъ замѣнить трудъ на фабрикахъ трудомъ по домамъ. Слѣдовательно, пользы отъ ассоціацій для умственного и нравственного развитія работниковъ можно ожидать только при условіи образованія. Ниже мы будемъ имѣть случай доказать, что при настоящемъ порядкѣ вещей условіе это не возможно.

Есть еще одна хорошая сторона ассоціацій, но и она немного говоритъ въ ихъ пользу до настоящей минуты. Она заключается не въ усиленіи производительности, не въ содѣйствіи справедливому распредѣленію богатства, а въ способахъ выгоднѣйшаго потребленія. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что пища, жилища и даже одежда работниковъ могутъ быть гораздо лучше и обходиться гораздо дешевле, если они будутъ пріобрѣтать ихъ въ большемъ объемѣ, складчиной, артелью. Но странно было бы думать, что такого измѣненія достаточно для того, чтобы можно было назвать его важнымъ улучшеніемъ участи рабочаго класса, и чтобы для него можно было допустить то зло, о которомъ мы упомянули.

Къ этому же плану должно отнести мѣры къ увеличенію политическихъ правъ промышленнаго класса. Въ журналахъ и книгахъ мы безпрестанно встречаемъ фразы въ родѣ слѣдующихъ: „*Qui représente l'industrie aux chambres? L'industrie n'est pas représentée au sein du gouvernement parlementaire*“ и т. п. Бюре, авторъ лучшаго сочиненія о нищетѣ рабочихъ классовъ, предлагалъ образовывать изъ промышленниковъ—изъ хозяевъ и работниковъ—особые парламенты и избирательныя камеры. Но спрашивается: что выиграетъ государство отъ того, что парламенты наполнятся не представителями округовъ, а представителями промысловъ и классовъ. Люди спеціальные, посвятившіе себя исключительно какому-нибудь занятію, всегда бываютъ односторонни и пристрастны въ рѣшеніи общественныхъ вопросовъ. Ліонскому фабриканту очень трудно возвыситься до той, по-видимому, простой идеи, что интересы шелковой фабрикаціи не составляютъ еще всей совокупности интересовъ департамента Роны. Сверхъ того, этотъ фабрикантъ едва ли позаботится равно о всѣхъ лицахъ, играющихъ роль и въ шелковой фабрикаціи, именно—онъ забудетъ о рабочихъ на шелковыхъ фабрикахъ хотя, они составляютъ большинство въ этомъ классѣ. И вообще, общество состоитъ (съ весьма малыми исключеніями) изъ людей предубѣжденныхъ въ пользу того занятія, которому каждый изъ нихъ посвятилъ свои силы, и въ пользу того класса, къ которому онъ принадлежитъ. Администрація же имѣетъ свой особенный взглядъ, возвышающійся до общихъ выгодъ всѣхъ членовъ общества безъ исключенія, своей особенную опытность, заключающуюся въ искусствѣ примирять интересы и требованія противоположныя. Этого взгляда и этой опытности нѣтъ никакой причины предполагать въ большинствѣ промышленниковъ. Конечно, сужденія людей спеціальныхъ часто бываютъ необходимы для администраторовъ, ибо въ каждый общественный вопросъ входятъ вопросы техническіе. Но рѣшеніемъ сихъ послѣднихъ должна ограничиваться политическая роль людей спеціальныхъ: иначе правитель-



ство никогда не достигнет своей цѣли, то-есть, гармоническаго, равномернаго развитія всѣхъ отраслей общественнаго благосостоянія.

Отрасли эти чрезвычайно многочисленны, и каждая изъ нихъ предполагаетъ множество подраздѣленій, дающихъ начало особымъ классамъ. Всѣ эти классы болѣе или менѣе вооружены одинъ противъ другого: каждый изъ нихъ изъясняетъ требованія, невыгодныя для остальныхъ, потому что преувеличиваетъ и въ собственныхъ своихъ глазахъ, и въ глазахъ общества свою общественную важность. Цѣль администраціи состоитъ не въ чемъ иномъ, какъ въ томъ, чтобъ, уразумѣвъ дѣйствительную, не преувеличенную важность каждой отрасли общественнаго благосостоянія и отношеніе ея къ остальнымъ, давать всѣмъ имъ такое направленіе, которое благотворно для всѣхъ въ одинаковой мѣрѣ. Ясно, что для достиженія этой цѣли нужны люди, привыкшіе смотрѣть на вещи со всѣхъ сторонъ, люди, не погруженные въ исключительное изученіе одной какой-нибудь отрасли человѣческой дѣятельности, и при томъ люди, недоступные пристрастію къ пользѣ одного какого-нибудь класса. Изъ этого слѣдуетъ, что избраніе депутатовъ по округамъ гораздо рациональнѣе избранія по классамъ. Но, съ другой стороны, въ нынѣшнихъ принятыхъ началахъ представительныхъ государствъ кроется источникъ великихъ общественныхъ золъ, потому что право быть избирателемъ и депутатомъ определяется количествомъ поземельнаго дохода. Неминуемымъ слѣдствіемъ такого начала должно быть преобладаніе класса владѣльцевъ и вообще богатыхъ надъ классомъ не владѣльцевъ, небогатыхъ, который несравненно многочисленнѣе. Такимъ образомъ, изъ представительнаго правленія образуется аристократія богатства, ужаснѣйшая изъ всѣхъ. Но изъ этого слѣдуетъ только то, что сама представительная система требуетъ кореннаго преобразованія, а совсѣмъ не то, чего добиваются Бюре и другіе, то-есть, чтобы промышленный классъ составилъ изъ среды своей особенные парламенты.

Но положимъ, что такъ или иначе политическія права рабочаго класса усилены въ надлежащей степени. Произойдетъ ли отъ того желанное улучшеніе его участи? Нѣтъ, ибо первое условіе благосостоянія—доходъ—останется при тѣхъ условіяхъ, какъ и теперь. Получивъ голосъ въ избирательной камерѣ, работникъ еще не избѣгаетъ того, чѣмъ грозитъ ему система соперничества, не избѣгая нищеты, которая каждый часъ готова постигнуть его самого и его семейство. Пусть усилится его политическое значеніе, но можетъ-ли это имѣть какое-нибудь вліяніе на задѣльную плату, которая устанавливается большимъ или меньшимъ количествомъ незанятыхъ рукъ? Нисколько. Слѣдовательно, и здѣсь видимъ мы ту же ошибку, какъ и въ предыдущихъ мѣрахъ: чахоточнаго хотятъ лечить отъ горячки.

Къ четвертому отдѣлу относимъ мы мѣры, служащія къ временному удаленію бѣдствій рабочаго класса. Признакъ этотъ встрѣчается и въ большей части тѣхъ мѣръ, которыя уже рассмотрѣны нами, напримѣръ, въ уменьшеніи числа машинъ, въ замѣнѣ частной и наслѣдственной собственности или общою, или по-

жизненной, въ уничтоженіи соперничества, въ соединеніи капитала и труда. Всѣ эти мѣры могли быть полезны нѣсколько времени, до тѣхъ поръ пока промышленный классъ употреблялъ бы всѣ усилія къ ихъ поддержанію и не успѣлъ бы еще прійти въ раздраженіе противъ новыхъ золь, таящихся въ сихъ утопіяхъ. Но есть одна мѣра, которая обольщаетъ даже многіе положительные умы, и которой главное осужденіе заключается въ томъ, что она можетъ только удалить бѣдствія настоящаго времени съ тѣмъ, чтобы въ послѣдствіи они развились съ болѣею силою. Эта мѣра—переселеніе нищихъ, колонизація. Многимъ кажется она самымъ простымъ и дѣйствительнымъ средствомъ къ удаленію нищеты рабочихъ классовъ. Но, не говоря уже о томъ, какъ жестоко принуждать людей выселяться изъ отечества, особенно людей простыхъ, у которыхъ привычка къ мѣсту часто бываетъ сильнѣе всѣхъ иныхъ побужденій, спрашиваемъ: развѣ нѣтъ предѣловъ землѣ, способной питать человѣка? Переслатъ его въ страны безплодныя еще не значитъ спасать его отъ нищеты. А на плодородныхъ земляхъ народонаселеніе умножается съ неимоверною быстротою, чему примѣромъ могутъ служить Сѣверо-Американскіе Штаты, породившіе страшную теорію Мальтуса. Слѣдовательно, колоніи въ небольшой періодъ времени должны дойти до той же крайности, до которой дошли ихъ метрополіи. Въ свою очередь учредить онѣ новыя колоніи: а между тѣмъ и метрополіи не могутъ однажды навсегда освободиться отъ избытка народонаселенія. Вслѣдствіе сихъ неизбежныхъ обстоятельствъ, пространство удобной земли должно сдѣлаться, наконецъ, недостаточнымъ на поверхности нашей планеты, а населеніе все-таки будетъ продолжать увеличиваться.

Сверхъ того, замѣтимъ, что колонизація нищихъ требуетъ огромныхъ издержекъ, ибо колонистъ долженъ имѣть капиталъ для того, чтобы водвориться въ новой землѣ и обзавестись промысломъ. Во-первыхъ, для метрополіи снабженіе высленцевъ капиталомъ весьма обременительно. Во-вторыхъ, благоразумно ли употреблять общественныя деньги на такія распоряженія, которыя, облегчая человѣчество въ настоящемъ, готовятъ ему въ будущемъ еще болѣшія страданія? Итакъ, можно рѣшительно сказать, что польза колонизаціи до тѣхъ поръ останется призракомъ, пока не измѣнятся начала нынѣ принятой системы распределенія богатства.

Пятый классъ образуютъ такіе мѣры, которыхъ исполненіе могло бы быть полезно при условіи матеріальнаго благосостоянія, но не совмѣстныя съ нищетою. Сюда принадлежатъ; 1) умственное и нравственное образованіе рабочихъ и 2) учрежденіе для нихъ сохранныхъ кассъ.

Что касается до перваго улучшенія, то не стоило бы и упоминать объ этой мѣрѣ, еслибъ экономическая литература не наводнялась безпрестанно сочиненіями, основаніемъ которыхъ служатъ убѣжденія въ ея дѣйствительности. Никто, конечно, не станетъ возражать противъ того, что рабочій классъ, въ силу своего человѣческаго характера, требуетъ умственнаго образованія. Но стои

ли толковать объ этой потребности въ то время, когда работники, по ничтожности задѣльной платы, должны отдавать дѣтей своихъ на фабрики для увеличенія своего дохода? Въ свободное время ребенокъ долженъ отдохнуть для новыхъ работъ: ясно, что у него не можетъ быть ни охоты, ни времени учиться. Что же касается до нравственнаго образованія, то, во-первыхъ, нравственности выучить нельзя; нравственное чувство, какъ и всякое другое (напримѣръ, эстетическое), развивается не убѣжденіями, а самою жизнью или, лучше сказать, условіями жизни. Быть нравственнымъ можетъ только тотъ, кто можетъ сознавать свое достоинство, кому доступна нѣкоторая гордость при мысли о своемъ положеніи въ обществѣ. Какъ же предположить все это въ томъ, кто знаетъ, кто знаетъ и чувствуетъ, что назначеніе его—механическій трудъ, потребный до изобрѣтенія механизма, который сдѣлаетъ излишнимъ напряженіе его мускуловъ, что цѣль его вѣчныхъ усилій—растительное, безрадостное оуществованіе безъ всякой надежды лучшаго, даже безъ всякаго предвидѣнія отдыха? Какія начала могутъ сочетаться съ безличностью, съ мертвенною зависимостью отъ заколдованнаго круга неодолимыхъ условій, въ которыхъ брошенъ человѣкъ наравнѣ съ рабочимъ скотомъ, съ машинами и съ сырыми матеріалами? Конечно, люди, любящіе утѣшать себя фантомами при зрѣлищѣ чужихъ страданій, могутъ возразить на это, что привычка—вторая натура, что работникъ свыкается съ своимъ положеніемъ въ обществѣ съ самаго дѣтства, подобно тому, какъ цѣлые народы свыкаются съ суровымъ климатомъ и съ неблагоприятною почвой. Но мы, съ своей стороны, скорѣе готовы сравнить положеніе работника въ промышленномъ государствѣ съ положеніемъ бедуина, изнемогающаго въ пустынѣ въ виду роскошныхъ оазисовъ, питающихъ счастливое племя избранныхъ. Посреди ослѣпительной роскоши антрепренеровъ онъ постоянно питаетъ въ умѣ своемъ мысль о благахъ, въ которыхъ ему на вѣкъ отказано, постоянно воспаляетъ въ сердцѣ страсть къ стяжанію, страсть, которая, оставаясь безъ удовлетворенія, порождаетъ наконецъ горестное отчаяніе и превращаетъ человѣка въ бѣшенаго звѣря. Чтобы сдѣлаться исключеніемъ изъ этой толпы, надо родиться чуть ли не героемъ.

Итакъ, умственное и нравственное образованіе, не смотря на свою безусловную важность для человѣка, отнюдь не можетъ быть причислено къ средствамъ улучшенія участи рабочаго класса въ настоящее время. Точно то же можно сказать и о сохранныхъ кассахъ. Копить можетъ только тотъ, кто имѣетъ какой-нибудь избытокъ. Слѣдовательно, гдѣ господствуетъ нищета, тамъ не можетъ быть и рѣчи о пользѣ подобныхъ учрежденій.

Въ заключеніе, нельзя не обратить вниманія на мнѣніе тѣхъ, которые приписываютъ бѣдствія рабочаго класса стѣснительнымъ распоряженіямъ правительства. Эта мысль развита въ большомъ объемѣ Дюнойе, авторомъ недавно вышедшаго въ свѣтъ сочиненія „О свободѣ труда“. Онъ полагаетъ, что источ-

никъ золь, свирѣпствующихъ въ современномъ обществѣ при господствѣ безусловной свободы промышленности, заключается отнюдь не въ самой системѣ, а въ томъ, что ей не дано еще полного развитія, возможнаго только, во-первыхъ, при умственномъ и нравственномъ образованіи рабочаго класса, и во-вторыхъ, при устраненіи правительства отъ всѣхъ положительныхъ мѣръ къ успѣшному ходу промышленности. Мы сейчасъ говорили о неосновательности перваго условія. Разсмотримъ теперь мнѣніе о той роли, которую должно занимать правительство въ отношеніи къ промышленнымъ классамъ.

Ученіе о независимости промысловъ отъ распоряженій власти уже не новое. Его проповѣдовали физиократы въ ту эпоху, когда производительность стѣснена была множествомъ фискальных мѣръ. Формула „laissez passer, laissez faire“ сдѣлалась лозунгомъ друзей человѣчества. Смитъ отозвался на этотъ кликъ и развилъ полное ученіе о выгодахъ безусловной свободы труда и сбыта. Но полувѣковой опытъ заставилъ подозрѣвать, что въ знаменитой формулѣ физиократовъ таится для человѣчества зародышъ неисчислимыхъ страданій, и Сисмонди, возставъ противъ безусловной свободы промышленности вообще, не могъ не воззвать къ общественнымъ властямъ, убѣждая ихъ обратить силу свою на водвореніе порядка и справедливости среди экономической анархіи. Съ тѣхъ поръ вопросъ объ участіи правительства въ дѣлахъ промышленности рѣшается экономистами pro или contra, смотря потому—принадлежать ли они къ школѣ Смита, или идутъ по новому пути, указанному Сисмонди.

Никто не сомнѣвается въ томъ, что со стороны правительства нѣтъ ничего безразсуднѣе, какъ сдѣлаться самому хозяиномъ всѣхъ промысловъ, существующихъ въ государствѣ. Но захватить промышленность въ свои руки и давать ей надлежащее направленіе—двѣ вещи разныя. Спрашивается: что, кромѣ власти просвѣщенной и безпристрастной, можетъ вывести общество изъ ложной колеи, которою идетъ оно къ гибели съ закрытыми глазами? Наука? Но что значить наука, когда большая часть членовъ этого общества поставлена могущественною горстью остальныхъ въ такое положеніе, что истина или вовсе не дойдетъ до ихъ сознанія или дойдетъ обезображенная и развращенная, въ видѣ воззванія къ разгулу грубыхъ страстей, всегда готовыхъ прорваться сквозь ненадежную оболочку страха и терпѣнія? А что касается до богатаго класса хозяевъ, то не ожидайте отъ нихъ добровольныхъ уступокъ въ пользу угнетенныхъ, какъ бы ни старалась о томъ наука. Никогда человѣкъ не бываетъ такъ глухъ къ убѣжденіямъ, какъ въ тѣхъ случаяхъ, когда ему доказываютъ ложность порядка вещей, который одобряется его эгоизмомъ. Пожалуй, онъ согласится съ тѣмъ, что положеніе жертвъ должно быть улучшено; но начните доказывать ему, что это улучшеніе зависитъ отъ уступокъ съ его стороны,—онъ непремѣнно сочтетъ эти уступки стѣсненіемъ его правъ, пожертвованіемъ, къ которому ничто его не обязуетъ, однимъ словомъ—разореніемъ и несправедливостью. С

вѣсть этого привилегированнаго члена общества убаюкивается сознаніемъ, что онъ не одинъ такъ дѣйствуетъ, что хозяева составляютъ, если и малочисленный, то все-таки самый блестящій и самый сильный классъ въ государствѣ, что начать думать и дѣйствовать вопреки началамъ, принятымъ въ этомъ классѣ, значить какъ бы исключить себя изъ аристократическаго круга, къ которому такъ любить причислить себя даже подданный такого государства, гдѣ аристократія не пользуется никакими политическими правами. Въ привилегированномъ классѣ непримѣтно образуется и передается отъ отца сыну какое-то ожесточеніе, вслѣдствіе котораго аристократъ (по богатству) чувствуетъ какое-то злобное, но тѣмъ не менѣе дѣйствительное сладострастіе, выказывая свои даровыя преимущества надъ бѣдными и пользуясь ими при полномъ сознаніи ихъ несправедливости. Докажите этимъ людямъ, что уступки, къ которымъ ихъ побуждаютъ, не только справедливы, но и для нихъ самихъ выгодны—имъ и этого не достаточно; имъ тяжело, имъ больно разстаться съ самою мыслью о дѣйствительности своихъ не заслуженныхъ льготъ.

Наконецъ, нельзя умолчать и о томъ, что самая наука слишкомъ часто является наборницей притѣсненія, съ ловкою діалектикой, съ притворною, но обольстительною любовью къ общественному спокойствію и порядку, въ маскѣ здраваго смысла, возстающаго будто бы противъ не обдуманыхъ нововведеній. Такого рода сочиненія всегда имѣютъ большой успѣхъ; они успокаиваютъ просыпающуюся совѣсть, успокаиваютъ и робкіе умы, страшящіеся собственнаго развитія, и доставляютъ писателямъ завидную репутацію людей практическихъ, благоразумныхъ, неспособныхъ къ вѣтренному увлеченію. Никто не позаботится разсудить и обнаружить, что эти великіе практическіе умы потому только и кажутся такими, что защищаютъ фактъ, дѣйствительность, хотя бы этотъ фактъ и былъ слѣдствіемъ признанія самой нелѣпой и самой апріорической идеи, какого-нибудь безобразнаго призрака, принятаго нѣсколько сотъ лѣтъ тому назадъ за несомнѣнную истину, или, что всего чаще случается, такой идеи, которую никому до того не случалось подвергнуть безпристрастному анализу. Нѣтъ нужды доказывать примѣрами, сколько въ каждомъ обществѣ есть учрежденій давности, отжившихъ, потерявшихъ всякое уваженіе; а пусть кто-нибудь заговоритъ противъ этихъ руинъ, пусть предложитъ обществу, которое ими бременится, стряхнуть съ себя сыплющуюся съ нихъ пыль, оно тотчасъ же начнетъ указывать на него пальцами и заклеить его прозваніемъ утописта, самымъ позорнымъ изъ всѣхъ прозваній въ вѣкъ положительный.

Какая же сила можетъ водворить гармонію между враждующими классами общества, какъ не правительство, которое, по самой сущности своей, должно быть чуждо пристрастія и къ богатымъ и къ бѣднымъ, передъ которымъ всѣ граждане равны, какъ члены одного товарищества, заключеннаго съ цѣлью совокупнаго стремленія къ благосостоянію? На это могутъ возразить намъ, что

исторія богата примѣрами покровительства общественныхъ властей однимъ отраслямъ промышленности на счетъ другихъ. Могутъ даже противопоставить намъ всѣ до сихъ поръ господствовавшія системы промышленности—денежную, меркантильную фізіократическую и теперь господствующую—индустріальную. Но мы замѣтимъ съ своей стороны, что въ этомъ слѣдуетъ винить не власти, которыя имъ покровительствовали и теперь покровительствуютъ, а самую теорію народнаго богатства, которая до сихъ поръ не дошла еще до гармоническаго сліянія противоположныхъ системъ, не перестала выдавать интересъ одного класса за интересъ цѣлаго общества. Что можетъ быть одностороннѣе меркантильной системы, развившейся изъ понятія о деньгахъ, какъ о единственномъ источникѣ народнаго богатства? А между тѣмъ поборники этой системы имѣли въ виду вовсе не интересъ фабрикантовъ на счетъ интереса другихъ промышленниковъ: имъ казалось, что она можетъ упрочить благосостояніе цѣлаго государства тѣмъ, что удержитъ въ предѣлахъ его монету и привлечетъ въ него множество монеты иностранной. Система кредитная, введенная во Франціи шотландцемъ Ло подъ покровительствомъ тогдашняго правительства, была еще гибельнѣе меркантильной. Это было послѣднее усиліе обогатить государство наличностью монеты, безъ всякаго возбужденія производительности. Но и тутъ правительство не имѣло въ виду никакого односторонняго интереса: вѣруя въ силу монеты, оно вѣровало и въ возможность обогатить всѣ классы народа наличностью денегъ. Но скоро ажіотажъ сдѣлался предметомъ отвращенія и страха, а въ противоположность ему владѣніе землею представилось самымъ завиднымъ по своей прочности. Въ это время возникла школа фізіократовъ: земля выставлена ими, какъ единственный источникъ дохода, обработываніе ея—какъ единственный производительный трудъ. Въ кратковременное управленіе Тюрго эта система сдѣлалась было правительственною. Но вспомнимъ, что никакіе мыслители не превзошли фізіократовъ въ безкорыстїи и нелицепріятной любви къ человѣчеству. Это лучше всего доказывается тѣмъ, что все ихъ ученіе имѣло цѣлью правильное, справедливое распредѣленіе налоговъ. Наконецъ и теперь, при господствѣ Смитовой системы, правительства разныхъ государствъ неоднократно отзывались на вопли жертвъ ея и принимали различныя мѣры къ удаленію порождаемыхъ ею бѣдствій. Недѣйствительность этихъ мѣръ не можетъ быть поставлена имъ въ осужденіе, ибо отъ правительствъ нельзя же требовать, чтобъ они опережали науку, а наука еще слишкомъ далека отъ рѣшенія вопроса.

Такимъ образомъ, мы рассмотрѣли всѣ сколько-нибудь замѣчательныя мѣры, предложенныя новѣйшими экономистами съ цѣлью улучшенія участи рабочаго класса. Этотъ краткій разборъ доводитъ насъ до слѣдующихъ общихъ заключеній.

Всѣ до сихъ поръ предложенныя мѣры не выдерживаютъ безпристрастной критики, потому что однѣ изъ нихъ стѣсняютъ производительность, нисколько не



содействуя справедливому распределению богатства, какъ, наприкладъ, уменьшеніе числа машинъ, замѣна наследственной собственности пожизненною, уничтоженіе соперничества: другія—уничтожаютъ личность и тѣмъ самымъ побуждаютъ человѣчество отказаться отъ того блага, къ которому привела его цивилизація чрезъ всѣ извѣстные періоды развитія (таковы, наприкладъ, замѣна частнаго труда и частнаго дохода трудомъ и доходомъ общимъ): третьи—заключаютъ въ себѣ одни внѣшнія условія жизни рабочаго класса, оставляя неприкосновеннымъ существенное условіе его благосостоянія—имущественныя средства, какъ, наприкладъ, ассоціаціи работниковъ и увеличеніе ихъ политическихъ правъ: четвертыя—удаляютъ бѣдствія рабочаго класса только на время съ тѣмъ, чтобы впослѣдствіи развились они еще въ болшемъ объемѣ, какъ, наприкладъ, колонизація: пятые—представляютъ выгоды несомнѣныя, но несовмѣстныя съ настоящимъ положеніемъ промышленности, какъ, наприкладъ, нравственное и умственное образованіе работниковъ или учрежденіе сохраняемыхъ кассъ; шестые, наконецъ,—удаляютъ изъ промышленнаго міра ту силу, которая одна можетъ водворить гармонию между враждующими классами: таково устраненіе правительства отъ положительныхъ мѣръ къ водворенію промышленнаго благосостоянія.

А между тѣмъ критическая сторона всѣхъ этихъ ученій полна истины горькой и вопіющей. Дѣйствительно, рабочій классъ находится въ отчаянномъ положеніи: это—фактъ, доведенный до очевидности статистическими цифрами. Въ его горестной дѣйствительности соглашаются всѣ партіи. Слѣдовательно, стремленіе къ водворенію лучшаго порядка вещей должно быть стремленіемъ современной науки. Неудачи не должны останавливать социалистовъ: никогда не стыдно переначать трудъ, предпринятый съ благородною цѣлью. Не имѣя претензій предложить въ этой статьѣ полное рѣшеніе многосложнаго современнаго вопроса объ отношеніи производительности къ справедливому распределению богатства, мы постараемся доказать, что противники Смита до сихъ поръ ложно понимали слабыя стороны его ученія, и что новый критическій взглядъ на его систему могъ бы повести ихъ къ лучшимъ результатамъ.

Изъ предыдущихъ изслѣдованій видно, что краеугольный камень для улучшенія участи рабочаго класса заключается въ усовершенствованіи условій ихъ дохода, то-есть, въ томъ, чтобы, 1) трудъ ихъ всегда находилъ себѣ достаточное вознагражденіе, и 2) чтобы количество сего вознагражденія сколь можно менѣ зависѣло отъ воли антрепренеровъ и отъ соперничества ихъ между собою. Посмотримъ, въ какой степени исполненіе этихъ условій возможно при господствѣ Смитовой теоріи.

Смитъ засталъ науку въ то время, когда она представляла собою борьбу одностороннихъ системъ. Сознавая эту односторонность, онъ хотѣлъ противодѣйствовать ей и устремилъ все свое вниманіе на развитіе той идеи, что источникъ народного богатства заключается не въ монетѣ, не въ мануфактурахъ, не въ

торговлѣ, не въ земледѣліи исключительно, а вообще въ производительномъ трудѣ, въ размноженіи вещей, подлежащихъ обмѣну, и въ увеличеніи ихъ цѣнности. Эта теоретическая мысль такъ сильно увлекла его, что понятіе о трудѣ не имѣетъ у него никакого практическаго характера. Слова „человѣческій трудъ есть источникъ народнаго богатства“ лишаются всякаго смысла, если мы не сопрягаемъ съ понятіемъ о трудѣ, понятія о плодахъ труда, о вознагражденіи за трудъ. Если мы говоримъ, что земледѣлецъ питается трудомъ рукъ своихъ, то подъ словомъ „трудъ“ мы разумѣемъ здѣсь отнюдь не напряженіе силъ, а результатъ этого напряженія, цѣнности, добываемыя земледѣльческимъ промысломъ и служащія или къ непосредственному удовлетворенію потребностей земледѣльца, или къ обмѣну на другія цѣнности. Существенная ошибка Смита состоитъ именно въ томъ, что онъ упустилъ изъ виду это живое, практическое разумѣніе идеи труда и не обратилъ никакого вниманія на результаты усилій промышленниковъ, на жатву, которую должны собирать сѣятели. Поэтому-то весьма естественно, что когда теорія его примѣнена была къ практикѣ, то вопросъ о вознагражденіи работниковъ первый подалъ поводъ къ ея отрицанію.

Но, съ другой стороны, ошибаются и тѣ, которые не хотятъ сосредоточить критику на слабой сторонѣ системы и заботятся объ отрицаніи того, что вредно не само по себѣ, а при тѣхъ условіяхъ вознагражденія труда, которыя приняты Смитомъ и его школой за несомнѣнно разумныя. Не значить ли это то же, что отвергать пользу какой-нибудь административной системы по тому только, что она не можетъ быть полезна при существованіи какого-нибудь нелѣпаго условія. Стоитъ только разсмотрѣть ученіе Смитовой школы о вознагражденіи работниковъ, то-есть, о задѣльной платѣ (salaire), чтобъ убѣдиться, что задѣльная плата есть то нелѣпое условіе, при которомъ свобода промышленности кажется истиннымъ зломъ современнаго общества, отнимающимъ у большей части человѣчества возможность развитія.

Что такое задѣльная плата? Можно ли назвать ее вознагражденіемъ за трудъ или по крайней мѣрѣ свободную сдѣлку между двумя лицами? Чтобъ отвѣчать на эти вопросы, надо вспомнить ея историческое происхожденіе. Задѣльная плата не могла существовать ни въ древности, когда работы исправлялись рабами, ни въ средніе вѣка, когда низшій классъ или жилъ на земляхъ помѣщиковъ на правѣ вассальномъ, или составлялъ ремесленные цехи, состоявшіе изъ мастеровъ, подмастерьевъ и учениковъ, и когда мануфактурная промышленность существовала въ видѣ домашняго и по большей части ручнаго труда. Уничтоженіе монастырей въ протестантскихъ государствахъ и освобожденіе крестьянъ изъ-подъ власти феодаловъ во всей западной и южной Европѣ послужило началомъ къ образованію огромнаго класса пролетаріевъ, бобылей, не имѣющихъ ничего, кромѣ естественныхъ силъ душевныхъ и тѣлесныхъ. Этимъ несчастнымъ пришлось бы умереть съ голоду, если бы вмѣстѣ съ появленіемъ ихъ не на-

развиваться въ Европѣ мануфактурная промышленность въ томъ видѣ, какъ она теперь существуетъ. Капиталисты смекнули, что имъ будетъ очень легко обогащаться, если они воспользуются пролетаріями, какъ рабочимъ скотомъ, для того, чтобъ они исправляли на фабрикахъ всѣ механическія работы. Съ небольшою проницательностью легко можно было догадаться, что разумное существо, которому нечего ѣсть, гораздо менѣе обременяетъ хозяина промысла, чѣмъ рабочій скотъ и даже машина. И скотъ, и машину надо купить для того, чтобъ обратить въ капиталъ; а свободноразумное существо не покупается, а нанимается и получаетъ условную плату, которая выдается ему сообразно съ исполненіемъ уговора. Сверхъ того, скотъ можетъ заболѣть и поколѣть: въ первомъ случаѣ хозяинъ долженъ издерживаться на лѣченіе, во второмъ капиталъ его совершенно проподаетъ даромъ. Напротивъ того, заболѣлъ работникъ,—хозяинъ можетъ тотчасъ же прогнать и замѣнить другимъ, которому также нечего ѣсть, и который только того и ждетъ, чтобы въ немъ оказалась нужда на фабрикѣ. Наконецъ еще преимущество: пролетаріи плодятся съ неимоверною быстротою; слѣдовательно, хозяинъ всегда можетъ воспользоваться ихъ соперничествомъ для уменьшенія имъ платы. Скажутъ пожалуй, что все-таки работнику надо платить. Такъ! Но вѣдь и рабочій скотъ, и машины требуютъ, первый—пищи и ухода, послѣднія—починки: слѣдовательно, расходъ на работниковъ—то же, что издержки на содержаніе скота и машинъ; выдавая имъ плату, вы какъ будто бы поддерживаете въ нихъ тѣ силы, безъ которыхъ вамъ самимъ нельзя обойтись на фабрикѣ. Это тѣмъ болѣе справедливо, что задѣльная плата никогда не превосходитъ суммы, которая нужна разумно-свободному существу для того, чтобы какъ-нибудь подкрѣпить себя пищей и проспять нѣсколько часовъ въ сутки на какомъ-нибудь чердакѣ. Итакъ, выгоды найма для антрепренеровъ не подлежатъ сомнѣнію. И работники, съ своей стороны, не могли не предпочесть такихъ сдѣлокъ голодной смерти. Таково происхожденіе задѣльной платы. Ясно, что основа ея заключается съ одной стороны, въ вѣрномъ разсчетѣ на барышъ, а съ другой—въ животолюбіи, свойственномъ всякому чувствующему существу. Основа эта такъ прочна, что задѣльная плата скоро, очень скоро сдѣлалась общою формою отношеній хозяевъ къ работникамъ. Считать уже говорить о ней, какъ о чемъ-то существенно не измѣнномъ, какъ географъ—объ обращеніи земли вокругъ солнца. И новѣйшіе прогрессисты, предавая проклятію свободу промышленности, не далеко опередили автора „Богатства народовъ“ своими требованіями увеличенія задѣльной платы, возобновленія средневѣковыхъ корпорацій подъ новымъ названіемъ ассоціацій, замѣны частнаго труда и частнаго дохода трудомъ и доходомъ общимъ. Требовать всѣхъ этихъ quasi-улучшеній значитъ или признавать законность задѣльной платы, или вмѣсто того, чтобы содѣйствовать къ ея уничтоженію, разрушить то, чему она даетъ гибельное направленіе, но что само по себѣ разумно и необходимо. Улучшеніе условій поденщины есть требованіе не-

логическое, близорукое, ибо нельзя улучшать того что въ основаніи своемъ нехорошо и противозаконно. Римскіе императоры издавали строгіе законы о кроткомъ обращеніи съ рабами; съ уменьшеніемъ послѣднихъ, римляне и по собственному разсчету стали обращаться съ ними очень кротко; а все-таки Римъ палъ отъ рабства. Право римскаго гражданина надъ рабомъ точно также, какъ и право англійскаго мануфактуриста надъ работникомъ, есть право силы, то-есть, въ первомъ случаѣ—право побѣдителя надъ побѣжденнымъ, во второмъ—право сытаго надъ голоднымъ. Разумъ не допускаетъ ни того, ни другого, слѣдовательно, улучшение состоянія побѣжденныхъ и нищихъ можетъ заключаться не въ смягченіи, а въ совершенномъ уничтоженіи всякаго права надъ ними побѣдителей и богатыхъ. Но мы такъ свыклись съ идеей о законности задѣльной платы, такъ легко ускользаетъ отъ вниманія нашего ея варварская основа, что, можетъ быть, незаконность этой сдѣлки еще требуетъ доказательства. Постараемся же доказать, почему возмущаетъ насъ не количественная ея ничтожность, а самый фактъ ея существованія въ образованномъ обществѣ.

Поденщина есть такая система труда, при коей большая часть лицъ, безъ которыхъ предпріятіе невообразимо, ни мало не пользуется получаемымъ отъ него доходомъ. Согласно ли же со здравымъ смысломъ и съ чувствомъ справедливости устранять человѣка отъ пользованія его произведеніемъ? Всякій промыселъ предполагаетъ содѣйствіе лицъ трехъ родовъ: 1) хозяина или, лучше сказать, администратора, то-есть, такого человѣка, который при наличности капитала и работниковъ, можетъ привести предпріятіе къ предположенной цѣли, 2) капиталиста, который снабжаетъ предпріятіе всѣми нужными капиталами, то-есть, землею, строеніями, машинами и деньгами, и 3) работниковъ, лицъ, содѣйствующихъ къ произведенію цѣнностей непосредственно, извѣстнымъ напряженіемъ ума и тѣла. Такимъ образомъ, всякаго рода мануфактурное и земледѣльческое издѣліе есть результатъ совокупныхъ усилій всѣхъ этихъ лицъ. Слѣдовательно, работники должны были бы имѣть часть права собственности на произведенныя ими цѣнности, иными словами—они должны были бы получать извѣстную часть барышей, получаемыхъ отъ продажи ихъ издѣлій. Но задѣльная плата лишаетъ ихъ этого права; имъ выдаютъ ее съ тѣмъ, чтобъ они отказались отъ права собственности на свои произведенія. Спрашивается: отчего же капиталисты получаютъ дивиденды изъ дохода съ промысла, если не хотятъ получать процентовъ съ капиталовъ? отчего деньги дѣлаютъ капиталиста акціонеромъ? отчего непосредственный трудъ не даетъ такого же права? Вѣдь безъ труда предпріятіе столь же невообразимо, какъ и безъ капитала, даже еще болѣе. Другой причины этого порядка въ распредѣленіи богатства нѣтъ, кромѣ той, что капиталисты—люди достаточные, независимые, не угрожаемые голодною смертію въ случаѣ неучастія въ промыслѣ, что къ нимъ нельзя подступиться съ словами, столь магически дѣйствующими на голодныхъ и оборванныхъ работниковъ; „идите ко мнѣ на фабрику, трудитесь для

меня до послѣдней капли силъ; я дамъ вамъ за это столько, что вы не умрете съ голоду“. Однимъ словомъ, первое свойство задѣльной платы заключается въ томъ, что, получая ее, работникъ принимаетъ отступное отъ права собственности или, точнѣе, отъ той части права собственности, которую онъ долженъ имѣть надъ вещью, произведенною имъ при помощи чужого капитала и чужихъ указаний. Иными словами—задѣльная плата лишаетъ одного изъ трехъ лицъ, которыхъ совокупныя дѣйствія составляютъ необходимое условіе всякаго промысла, той доли плодовъ или барышей, которые этотъ промыселъ приноситъ. Дѣлаясь поденщикомъ, человѣкъ пріобрѣтаетъ только возможность существовать, не умереть съ голоду, точно также, какъ въ древности военнопленный пріобрѣталъ право на жизнь, дѣлаясь рабомъ своего побѣдителя. Поэтому оправдывать систему поденщины можетъ только тотъ, кто готовъ оправдывать и рабство, какъ милость со стороны побѣдителя.

Но представьте себѣ, что рабочій классъ какимъ бы то ни было образомъ выведенъ изъ той крайности, въ какой онъ теперь находится. Положимъ, на-примѣръ, что работники обезпечены поземельною собственностью. Согласятся ли они и при такихъ обстоятельствахъ получать отъ мануфактурной промышленности доходъ, не превышающій того, сколько нужно человѣку, чтобы не умереть съ голоду? Конечно, не согласятся, потому что голодная смерть, какъ мы предположили, уже не угрожаетъ имъ. Мало того, при обезпеченіи они, въ свою очередь, захватываютъ въ свои руки право сильнаго. Какъ теперь хозяинъ можетъ безнаказанно уменьшать задѣльную плату, такъ тогда работники станутъ увеличивать ее до разоренія хозяина. Слѣдовательно, поденщина, при возможныхъ условіяхъ, рождаетъ насиліе: при нищетѣ рабочаго класса—насиліе хозяевъ, при обезпеченности его—насиліе самихъ работниковъ.

Ясно, что вмѣстѣ съ тѣмъ поденщина уничтожаетъ тотъ масштабъ распре-дѣленія богатства, который указываютъ намъ общій человѣческій смыслъ и чувство справедливости, то-есть, качество и количество труда. При существующемъ порядкѣ вещей цѣна на трудъ ни мало не сообразуется съ сими условіями, ибо, напротивъ того, она устанавливается степенью нищеты и многочисленности работниковъ. Правда, плохой работникъ рискуетъ быть вовсе удаленъ съ фабрики; но за то и отличный ничѣмъ не отличенъ отъ посредственнаго. Предлагая свои услуги хозяину промысла, онъ не можетъ поставить ему на видъ свое искусство и прилежаніе, какъ условія, возвышающія или понижающія цѣну его труда, ибо какъ бы онъ ни былъ искусенъ и трудолюбивъ, все-таки онъ голоденъ и все-таки онъ не одинъ ищетъ работы, а слѣдовательно, онъ долженъ принять предлагаемую плату не потому, чтобы она была сообразна съ его искусствомъ и трудолюбіемъ, а для того, чтобы не умереть съ голоду и не уступить мѣста многочисленнымъ соискателямъ.

Изъ всего этого слѣдуетъ: 1) что поденщина есть порождение безчеловѣчнаго расчета на бѣдственное положеніе рабочаго класса; 2) что система эта противна праву собственности; 3) что она необходимо влечетъ за собою насилие, и 4) что она совершенно устраняетъ естественный способъ распредѣленія богатства по качеству и количеству труда. къ этому можно прибавить еще и то, что система эта, отнимая у работниковъ право собственности на произведенія ихъ рукъ, заставляетъ ихъ однакожъ раздѣлять съ хозяевами промысловъ несчастныя послѣдствія риска: въ случаѣ удачнаго оборота работники не получаютъ никакихъ дивидендовъ, а въ случаѣ банкротства антрепренеровъ работники лишаются и задѣльной платы.

Спрашивается: какъ же долженъ дѣйствовать на человѣка такой порядокъ вещей, при коемъ онъ есть не что иное, какъ организованная матерія, на которую другіе люди рассчитываютъ, какъ на машину, порядокъ, при которомъ онъ трудится съ тѣмъ, чтобы другіе люди извлекли изъ его произведеній всевозможныя выгоды, не предоставляя ему ничего; при которомъ онъ—совершенная жертва тѣхъ, кто успѣлъ захватить право силы; при которомъ качество и количество его труда не получаетъ никакой оцѣнки; при которомъ, наконецъ, обезпеченіе его постоянно зависитъ отъ удачныхъ или неудачныхъ соображеній посторонняго лица? Нѣтъ никакого сомнѣнія, что такой порядокъ вещей долженъ образовать въ работникѣ совершенную безличность, погрузить его въ животное, чуть не минеральное ничтожество, лишить его всякаго человѣческаго характера. Такимъ образомъ, господствомъ поденщины можно объяснить себѣ всѣ бѣдствія, терзающія рабочій классъ въ настоящее время. Эти соображенія упустилъ изъ виду Смитъ, и въ этомъ-то упущеніи заключается главный недостатокъ созданной имъ системы. Спрашивается: чѣмъ же должна быть замѣнена система поденщины? Отвѣтъ на этотъ вопросъ очень простъ, ибо между господствомъ противоестественныхъ началъ и признаніемъ истинныхъ требованій природы не должно быть середины. Уменьшить зло—значитъ признать малое зло, уменьшить насилие значитъ признать малое насилие, уменьшить пользованіе чужою собственностью значитъ признать малое воровство. Итакъ, если справедливо, что поденщина есть безмолвный заговоръ богатыхъ противъ бѣдныхъ; если справедливо, что при господствѣ этой системы человѣкъ покупаетъ себѣ право на жизнь, отказываясь отъ права собственности на свои произведенія; если справедливо, что эта система противна естественному распредѣленію богатства по количеству и качеству труда; если справедливо наконецъ то, что она доводитъ человѣка до безличности,—то справедливо и то, что смѣнить ее можетъ только такой порядокъ вещей, при которомъ насилие будетъ невозможно, при которомъ работникамъ предоставлено будетъ право собственности на ихъ произведенія, при которомъ качество и количество труда признается масштабомъ распредѣленія богатства, при которомъ, наконецъ, человѣкъ и возвращенъ будетъ характеръ человѣческій. Опредѣлить условія этой желанной



требуемой системы тѣмъ легче, что, вообще говоря, системъ распредѣленія богатства въ обществѣ, гдѣ признана личная свобода, всего на всего можетъ быть только двѣ. Во-первыхъ, человѣкъ можетъ быть вознагражденъ за самый трудъ независимо отъ плодовъ, которые онъ приноситъ, независимо отъ цѣнности произведеній, создаваемыхъ его силами. Эта система и есть поденщина. Во-вторыхъ, человѣкъ можетъ получать вознагражденіе отъ плодовъ своего труда, употребляя ихъ непосредственно для удовлетворенія своихъ нуждъ или превращая ихъ въ другія цѣнности посредствомъ мѣны. Всѣ остальные системы распредѣленія богатства будутъ не что иное, какъ видоизмѣненія сихъ двухъ, и никакая третья система не вообразима, если только не будетъ она смѣшанная изъ нихъ же. Слѣдовательно, разсуждая о разумной системѣ распредѣленія богатства, мы поставлены въ необходимость выбирать одно изъ двухъ—или поденщину, или противоположную ей, которую можно назвать „дольщиной“, потому что существенное различіе ея отъ первой заключается въ томъ, что каждое лицо, котораго трудъ или капиталъ необходимо играетъ роль въ производствѣ промысла, каждое та-лицо получаетъ дивидендъ, долю изъ чистыхъ барышей, приносимыхъ промысломъ. Мы видѣли уже, какъ губительна поденщина: это доказано болѣе чѣмъ полувѣковымъ опытомъ западныхъ европейскихъ государствъ. Но что сказать о дольщинѣ? По нашему мнѣнію, въ признаніи ея заключается все разрѣшеніе современной задачи объ улучшеніи участи рабочаго класса или, лучше сказать, о водвореніи равновѣсія между интересами хозяевъ, капиталистовъ и работниковъ. Развитію этой мысли посвящена вся остальная часть этой статьи. Мы постараемся разсмотрѣть здѣсь дольщину, во-первыхъ, со стороны ея юридическаго, экономическаго и нравственнаго основанія, и во-вторыхъ, со стороны практическаго ея примѣненія, не держась однакожъ правила строгаго разграниченія всѣхъ этихъ сторонъ.

Распространяться о справедливости дольщины было бы излишне. Всякому понятно, что система эта основана на полномъ признаніи права собственности. Усумниться въ ея юридическомъ основаніи можетъ только тотъ, кто не признаетъ ненарушимости права человѣка пользоваться произведеніемъ своихъ рукъ, или кто допускаетъ справедливость такой сдѣлки, въ силу которой человѣкъ по неволѣ отказывается отъ плодовъ своего труда, или наконецъ, тотъ, кто не допускаетъ, что цѣнность труда должна опредѣляться качествомъ произведеній. Вообще, противъ юридическаго основанія дольщины можетъ возставать только тотъ, кто можетъ доказывать справедливость поденщины, какъ системы діаметрально противоположной, точно также, какъ, на примѣръ, возставать противъ личной свободы можетъ только тотъ, кто готовъ защищать рабство. Слѣдовательно, доказавъ вопіющую несправедливость поденщины, мы тѣмъ самымъ уже избавляемся отъ необходимости доказывать справедливость дольщины.

Но есть обстоятельство, могущее ослабить убѣжденіе въ непогрѣшимости защищаемой нами системы. Сколько извѣстно намъ такихъ системъ общественнаго благосостоянія, которыя кажутся безукоризненно справедливыми въ теоріи, по началу, положенному имъ въ основаніе, и которыя оказывались мечтательными на практикѣ! Не угрожаетъ ли такая же участь и дольщинѣ, не смотря на то, что въ основаніи своемъ она утверждена на идеяхъ общаго человѣческаго смысла? Легко сказать, что каждый человѣкъ имѣетъ право пользоваться плодами своего труда и своей собственности. Но также ли легко опредѣлить условія, при которыхъ можетъ быть совершенъ переходъ къ сему порядку вещей отъ настоящаго и самый масштаб новаго распредѣленія богатства? Сверхъ того, всякій порядокъ вещей, какъ бы онъ ни былъ ложенъ, порождаетъ нѣкоторыя удобства даже и для тѣхъ классовъ общества, которые отъ него страдаютъ. По тому же самому закону, нѣтъ такой системы общественнаго благосостоянія, которая не заключала бы въ себѣ какихъ-нибудь неудобствъ. Какія же мѣры должны быть приняты для того, чтобы неудобства новой системы могли быть смягчены, а удобства прежней замѣнены новыми, болѣе существенными? Однимъ словомъ, для полнаго развитія своей мысли, мы должны разсмотрѣть дольщину въ томъ видѣ, въ какомъ она можетъ быть примѣнена къ дѣлу въ настоящую минуту. И многое, что казалось такъ просто и легко въ теоріи, окажется запутаннымъ и труднымъ въ дѣйствительности.

Во-первыхъ, спрашивается: согласятся ли работники ждать своихъ долей и до того времени работать, не получая ничего на содержаніе? Разумѣется, большая часть изъ нихъ не согласится потому, что находится въ нищетѣ. Но, чтобы удалить это препятствіе, можно выдавать имъ условную плату на содержаніе въ видѣ займа. Сумма этихъ займовъ должна войти въ составъ издержекъ на предпріятіе и увеличить собою сумму, вычитаемую изъ прихода для опредѣленія чистой прибыли, которая дѣлится между хозяиномъ и работниками. Такимъ образомъ, и хозяинъ не платитъ ничего лишняго, и работники получаютъ то, что слѣдуетъ имъ по праву.

Далѣе, согласятся ли работники раздѣлять рискъ хозяевъ? Не предпочтутъ ли они вѣрную задѣльную плату невѣрному барышу? Это не должно быть допущено. Рискъ, какъ одна изъ составныхъ частей самой идеи предпріятія, долженъ касаться однихъ антрепренеровъ, и работники вовсе не должны отвѣчать за ихъ банкротство выдаваемыми имъ ежегодно долями. Справедливость такого закона основывается на томъ, что хозяинъ нимало не обязанъ посвящать работниковъ въ самую идею предпріятія и у каждаго изъ нихъ испрашивать согласіе на участіе въ счастливой или несчастной его развязкѣ. Иначе промышленность потеряла бы всѣ тѣ преимущества, которыя вытекаютъ изъ самодержавія личной мысли и личной воли. Къ тому же, нельзя предположить, чтобы каждый работникъ могъ вознестись мыслью до высоты промышленной спекуляціи. А если человѣкъ не

посвященъ въ цѣлый составъ дѣла, котораго исполняетъ онъ одну только часть, то на какомъ же основаніи лишать его вознагражденія за исполненный трудъ, въ случаѣ несчастной развязки цѣлаго, развязки, въ которой онъ нисколько не виноватъ? Скажутъ, что такимъ образомъ нарушается равенство правъ хозяевъ и работниковъ, что послѣдніе пользуются большими преимуществами, ибо, пользуясь барышами, не несутъ убытковъ. Но барыши, получаемые работниками-долящиками, суть не что иное, какъ часть выручки за произведеніе ихъ рукъ. Не получать этой выручки значитъ не имѣть права собственности на свои произведенія. Самое же предпріятіе есть созданіе не работниковъ, а хозяина. Слѣдовательно, на его часть должны приходиться всѣ сладкіе и горькіе плоды того, что называется администраціей промысла. Одинъ изъ такихъ горькихъ плодовъ есть банкротство: слѣдовательно, вся тяжесть его должна пасть на антрепренера, какъ на виновника. Однимъ словомъ, юридическое основаніе предлагаемой мѣры заключается въ томъ, что всякій трудъ даетъ работнику, въ обширномъ смыслѣ, право собственности на плоды его. Если никто, кромѣ самаго работника, не въ правѣ пользоваться прибылью съ его труда, то никто, кромѣ его самаго, не долженъ нести и убытковъ, которые могутъ быть имъ понесены отъ неудачной работы.

Вотъ еще возраженіе, которое могутъ намъ сдѣлать: какъ достигнуть того, чтобы хозяева не скрывали своей настоящей прибыли? Сомнительно однакожъ, чтобы подобныя продѣлки могли часто проходить безнаказанно. При публичности среднихъ цѣнъ, издержки на веденіе предпріятія приблизительно всегда могутъ быть опредѣлены. Особенно же злоупотребленія сего рода могутъ сдѣлаться рѣдкими и ничтожными съ распространеніемъ въ промышленныхъ государствахъ учрежденій въ родѣ ліонскихъ *conseils des prud'hommes*, имѣющихъ цѣлью разбирательство споровъ между хозяевами и работниками. Я говорю „ліонскихъ“, потому что въ ліонскомъ *conseil des prud'hommes* болѣе, чѣмъ въ другихъ до сихъ поръ учрежденныхъ, исполнено то правило, что представители обоихъ классовъ должны имѣть равную силу голоса.

Вспомнимъ также, что для взаимнаго обезпеченія людей существуетъ кредитъ, или лучше сказать, существуютъ невыгоды репутаціи безчестнаго человѣка. Немногіе антрепренеры такъ наивны, чтобы не понимать, чѣмъ они рискуютъ, обманывая своихъ акціонеровъ. Кромѣ того, нѣтъ нужды доказывать, что обманъ въ раздачѣ дивидендовъ долженъ преслѣдоваться какъ воровство.

Наконецъ, нельзя не согласиться, что если антрепренеръ не выдаетъ работникамъ полныхъ долей, то все-таки лучше получить какіе-нибудь дивиденды, чѣмъ никакихъ.

Но, упомянувъ о количествѣ долей, мы предвидимъ главное возраженіе защитниковъ поденщины. Намъ могутъ спросить: на чемъ можетъ быть основано математически вѣрное и юридически справедливое распредѣленіе долей между

хозяиномъ и работниками? На это мы можемъ отвѣчать, во-первыхъ, тѣмъ, что если долящина не представляетъ никакихъ началъ такого непреложнаго расчета, то это никакъ не ставить ее ниже поденщины, ибо задѣльная плата не имѣетъ другого масштаба, кромѣ многочисленности работниковъ. Во-вторыхъ, не трудно убѣдиться, что отношеніе количества доходовъ хозяевъ и работниковъ не можетъ быть опредѣлено ни при какой системѣ. Почему? Такъ какъ количество долей должно выражать цѣнность труда, за который она выдается, то прежде всего надо оцѣнить деньгами этотъ трудъ. Далѣе, такъ какъ здѣсь оцѣнкѣ подлежатъ два рода труда—трудъ хозяина и трудъ работника, то чтобъ опредѣлить, сколькимъ одинъ долженъ получать больше или меньше другого, должно предварительно опредѣлить, во сколько разъ одинъ изъ этихъ родовъ труда выше или ниже другого. Но какъ оцѣнка какого бы то ни было труда деньгами, такъ и опредѣленіе сравнительной важности двухъ родовъ его, задачи не разрѣшимыя. Деньги, какъ и всякая мѣра,—понятіе условное, относительное. Слѣдовательно, стараться опредѣлить, сколько долженъ стоить тотъ или другой трудъ гдѣ и когда бы то ни было, есть верхъ нелѣпости. Съ другой стороны, нельзя рѣшить и того, чѣмъ одинъ трудъ выше или ниже другого, или, по крайней мѣрѣ, нельзя опредѣлить, почему одинъ долженъ быть цѣннѣе другого и во сколько разъ именно. Есть, правда, люди, которые готовы утверждать, что потъ, струящійся по тѣлу работника, истощеніе физическихъ силъ отъ напряженія мускуловъ и даже частое презрѣніе смерти, все это ничтожно въ сравненіи съ бременемъ думъ, отягчающихъ голову антрепренера, администратора, нравственнаго рычага промысла. Но пусть эти господа представляютъ себя въ положеніи работниковъ пусть вообразятъ, что имъ самимъ приходится проводить цѣлые дни въ душной атмосферѣ фабрикъ или за сохою, или въ нѣдрахъ земли, въ мрачной шахтѣ,—спрашиваемъ: чѣмъ не пожертвуютъ они, чтобъ откупиться отъ такого существованія?

Итакъ, если мы не беремъ на себя труда опредѣлить математическое отношеніе дивидендовъ, то тѣмъ самымъ мы избѣгаемъ одной изъ самыхъ мечтательныхъ претензій—выражать цѣнность вещей и труда неизмѣнными формулами. Однакожъ, этимъ не совсѣмъ исчерпывается запасъ нашихъ сомнѣній. Если предоставить опредѣленіе количества долей обыкновенному теченію дѣла, при которомъ цѣны устанавливаются количествомъ запроса и количествомъ предложеній, то долящина можетъ довести работниковъ до такой же крайности, до какой довела ихъ и поденщина. Соперничество антрепренеровъ можетъ понизить дивиденды также, какъ оно понизило задѣльную плату. Какъ предупредить это зло? Самое лучшее средство къ достиженію этой цѣли, по нашему мнѣнію, состоитъ въ опредѣленіи дивидендовъ постановленіями, имѣющими силу закона. Эта мѣра можетъ быть полезна не только для работниковъ, но и для антрепренеровъ, хотя съ перваго взгляда она и можетъ показаться стѣсненіемъ стѣ

последнихъ, потому что всякое ограниченіе права силы кажется стѣсненіемъ тому, кто успѣлъ захватить это право и долго имъ пользовался. Но, защищая опредѣленіе дивидендовъ закономъ, мы имѣемъ въ виду то важное обстоятельство что посредствомъ его изъ промышленнаго міра можетъ быть удаленъ самый постыдный родъ соперничества, именно—то, которое основано на уменьшеніи платы работникамъ. Въ дольщинѣ эта спекуляція могла бы также свирѣпствовать, какъ и въ поденьщинѣ, еслибы не противодѣйствовала ей предлагаемая мѣра. Представимъ себѣ двухъ антрепренеровъ А и В, съ равными капиталами, занимающихся однимъ и тѣмъ же промысломъ, при неопредѣленности дивидендовъ. Положимъ, что, окончивъ свои годовые обороты, они получили равный доходъ. Но если А изъ полученнаго дохода выдаетъ работникамъ своимъ меньшія доли, чѣмъ В, то средства его для будущаго оборота будутъ сильнѣе средствъ В, и предпріятіе послѣдняго можетъ рушиться. За что же пострадаетъ В? Не за то, что А лучше его умѣетъ находить способы сбыта, не за то, что машины послѣдняго совершеннѣе, что издѣлія его лучше, а просто за то, что А рѣшилъ стѣснить своихъ работниковъ.

Итакъ, защищаемая нами мѣра можетъ отвратить множество банкротствъ. Сверхъ того, въ государствахъ многоземельныхъ, гдѣ часто можетъ случиться, что уже не хозяева, а работники имѣютъ на своей сторонѣ право силы, опредѣленіе дивидендовъ закономъ обращается уже чисто на защиту хозяевъ.

Однакожъ несмотря на все это, найдутся многіе, которые назовутъ и такое вмѣшательство власти стѣсненіемъ промышленности. Но еслибы мы требовали, чтобы правительство противодѣйствовало распространенію техническихъ изобрѣтеній или уменьшало бы безвредные способы сбыта произведеній, или отнимало бы способы сбереженія капиталовъ, не сопряженные съ грабительствомъ, или наконецъ, взяло бы на себя производство такихъ промысловъ, которые могутъ быть производимы частными лицами,—тогда дѣйствительно нельзя было бы не сказать, что мы требуемъ стѣсненія промышленности. Если же правительство беретъ на себя роль блюстителя справедливаго распредѣленія богатства, если оно вооружается противъ алчности и мошенничества тѣхъ, изъ которыхъ каждый имѣетъ въ рукахъ своихъ средство разорить тысячи семействъ, какое же тутъ стѣсненіе, кромѣ стѣсненія грабительства?

Итакъ, дольщина можетъ быть принята въ настоящее время на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Она не должна исключать выдачи работникамъ задѣльной платы; но сія послѣдняя выдается работникамъ уже какъ заемъ; сумма всѣхъ сихъ займовъ причитывается къ суммѣ издержекъ на веденіе предпріятія, и доли выдаются уже изъ разности, полученной отъ вычета всѣхъ сихъ издержекъ (въ томъ числѣ и суммы на содержаніе работниковъ) изъ цифры прихода.

2) Работники, какъ лица, не посвященные въ идею цѣлаго предпріятія, не отвѣтствуютъ своими долями за банкротство хозяина.

3) Повѣрка прихода и опредѣленія чистой прибыли отъ промысла должна быть поручена собраніямъ выборныхъ изъ хозяевъ и работниковъ.

4) Правительство опредѣляетъ количество долей закономъ.

Скажемъ теперь нѣсколько словъ о преимуществахъ дольщины. Эта система удовлетворяетъ всѣмъ удобоисполнимымъ условіямъ равенства правъ хозяевъ и работниковъ; такимъ образомъ сіи послѣдніе имѣютъ возможность почувствовать свой человѣческій характеръ и получаютъ способность удержаться отъ всего-что противорѣчитъ сему характеру. Ничто такъ не уничтожаетъ человѣка, какъ постоянное непризнаніе его правъ, порождающее въ немъ презрѣніе къ самому себѣ и небрежность во всемъ, что касается до улучшенія его быта. Остается при немъ одно животолюбіе, никогда не покидающее чувственное существо, и страсть къ матеріальнымъ утѣхамъ. Вотъ почему такого рода люди, еслибъ имъ случилось вдругъ разбогатѣть, никогда не будутъ ни нравственнѣе, ни заботливѣе, ни даже опрятнѣе: деньги ихъ пойдутъ на удовлетвореніе животныхъ потребностей и нелѣпаго тщеславія: двѣ крайности, естественно являющіяся вслѣдъ за нищетою и безличностью. При системѣ дивидендовъ работникъ постоянно имѣетъ въ виду возможность въ будущемъ обезпечить себя и свое семейство, если только захочетъ трудиться въ настоящемъ. Эта мысль всегда вдохновительна, и работникъ, подъ ея вліяніемъ, трудится охотно, съ жаромъ, съ сладкимъ сознаніемъ цѣли своихъ усилій. Далѣе, никогда такъ не развивается въ человѣкѣ нравственное чувство и сознаніе собственного достоинства, какъ въ томъ положеніи, когда доходы его состоятъ въ возможно-справедливой оцѣнкѣ его труда по качеству и количеству; это развиваетъ въ немъ благородную гордость, съ которою неразлучно радѣніе о всемъ, что составляетъ обстановку жизни.

Но самыя очевидныя преимущества дольщины передъ поденьщиной заключаются въ несравненно большемъ матеріальномъ обезпеченіи рабочаго класса. При существованіи дольщины въ томъ видѣ, какъ изъяснено выше, работники получаютъ и содержаніе въ продолженіе работъ, и дивиденды по окончаніи каждаго оборота. Сіи послѣдніе могутъ быть употребляемы ими на то, что выходитъ изъ круга первыхъ животныхъ потребностей, на улучшеніе домашняго быта, на удовлетвореніе нѣкоторыхъ нравственныхъ потребностей, на воспитаніе и образованіе дѣтей, сообразное съ ихъ состояніемъ, наконецъ, на составленіе небольшихъ капиталовъ при помощи сохранныхъ кассъ, которыя тогда перестанутъ быть горькою насмѣшкой надъ нищетою. Сверхъ того, защищаемая здѣсь система ослабляетъ бѣдствія, нынѣ постигающія работниковъ при банкротствѣ антрепренеровъ и въ случаяхъ, позволяющихъ ему сократить число рабочихъ рукъ: ибо доля, полученная работниками до банкротства хозяина или до того времени,



какъ трудъ ихъ окажется излишнимъ, можетъ помочь имъ выдержать тягость пріисканія новыхъ работъ.

Благодѣтельныя послѣдствія увеличенія матеріальнаго благосостоянія сего класса неисчислимы. Нравственное и умственное образованіе его дѣлается возможнымъ; одно это обстоятельство придаетъ дольшинѣ значеніе величайшаго переворота. Всѣ до сихъ поръ предложенныя мѣры къ достиженію этой цѣли перестаютъ быть безплодными. Никто не сомнѣвается, что по природѣ своей человѣкъ расположенъ къ принятію образованія, что духовныя потребности въ немъ такъ-же сильны, какъ и потребности физическія, если еще не сильнѣе; но таковъ законъ природы, что животныя нужды проявляются уже въ первомъ крикѣ младенца и до тѣхъ поръ не даютъ простора нуждамъ нравственнымъ, пока сами не будутъ удовлетворены съ нѣкоторою полнотою. Здѣсь, между прочимъ, должно искать причины и того явленія, что въ государствахъ, обезпеченныхъ со стороны матеріальнаго благосостоянія, народонаселеніе постоянно удерживается въ надлежащихъ границахъ. Этотъ законъ вполнѣ признанъ современною наукой на основаніи прочныхъ наблюденій. Но онъ можетъ быть выведенъ и по законамъ разума: очевидно, что предписанное Мальтусомъ нравственное воздержаніе (*contraint morale*) можетъ имѣть мѣсто только тамъ, гдѣ человѣкъ можетъ рассчитывать степень своего обезпеченія. Напротивъ того, доведенный нищетою до скотства, онъ предается животнымъ влеченіямъ безотчетно и размножается съ животною же быстротою.

Возможность умственного и нравственнаго образованія рабочаго класса можетъ также смягчить губительное вліяніе раздѣленія труда на умственные способности работниковъ. Во многихъ филантропическихъ сочиненіяхъ мы встрѣчаемъ горькія жалобы на это вліяніе: находясь постоянно среди множества дѣйствующихъ машинъ, среди оглушительнаго ихъ стука и свиста, и исправляя всю жизнь одну и ту же частицу общаго труда, безъ уразумѣнія законовъ трескучихъ и громадныхъ явленій, поражающихъ его глаза и уши, работникъ непремѣнно долженъ дѣлаться со дня на день тупѣе, такъ что машины, предназначенныя для утвержденія торжества человѣка надъ природой, въ наше время все болѣе и болѣе лишаютъ его тѣхъ даровъ, на которыхъ основывается его превосходство. Но еслибы дѣти работниковъ имѣли средства получать такое образованіе, которое соединяло бы въ себѣ практическія занятія съ главнѣйшими элементарными познаніями, тогда дѣло должно было бы принять совершенно другой оборотъ. Работникъ, имѣющій понятіе о силахъ природы и о машинахъ, какъ о средствахъ къ сочетанію этихъ силъ для удовлетворенія нуждъ человѣка, и притомъ еще сознающій, что изъ всѣхъ благъ, истекающихъ изъ этого источника, нѣкоторыя достанутся и на его долю, такой работникъ не потеряется, не утратитъ природной бойкости и свѣжести умственныхъ способностей. Скорѣе можно полагать, что въ умѣ его еще болѣе укрѣпится мысль о превосходствѣ разума

надъ мертвымъ веществомъ, и что чувство сего превосходства съ каждымъ днемъ будетъ развиваться сильнѣе и сильнѣе.

Умственное образованіе необходимо должно принести и ту великую пользу, что между работниками увеличится число тѣхъ, которые могутъ служить представителями своего класса въ дѣлахъ, требующихъ ихъ обсужденія. Выше было уже упомянуто о важности учрежденій въ родѣ *conseils des prud'hommes* для рѣшенія споровъ между хозяевами и работниками, а иногда и для рѣшенія техническихъ вопросовъ. Само собою разумѣется, что необразованность большей части работниковъ не мало препятствуетъ успѣшному развитію этихъ учрежденій въ Европѣ, и что препятствіе это можетъ быть удалено водвореніемъ такого порядка вещей, при которомъ техническія и экономическія познанія могутъ развиваться въ семъ классѣ.

Наконецъ, при господствѣ дольщины значительно уменьшится враждебное отношеніе хозяевъ и работниковъ, потому что интересы ихъ сдѣлаются общими. При настоящемъ порядкѣ вещей они образуютъ два класса, вооруженныхъ другъ противъ друга: одинъ ищетъ своей выгоды въ томъ, что разоряетъ другого, хозяинъ—въ уменьшеніи, а работникъ—въ увеличеніи задѣльной платы. Напротивъ того, дольщина водворяетъ нѣкоторое братство между этими классами: выгоды ихъ сливаются, ибо успѣхъ предпріятія дѣлается равно утѣшительнымъ и для хозяина, и для работниковъ. Первый долженъ смотрѣть на послѣднихъ не какъ на машины, а какъ на своихъ акціонеровъ и собратій, а они должны видѣть въ немъ не деспота, поставленнаго надъ ними судьбой, а руководителя къ достиженію благосостоянія. Сколько откроется въ обществѣ новыхъ, необъятныхъ силъ подъ вліяніемъ новаго, до сихъ поръ почти неслыханнаго элемента—симпатіи между работниками и хозяевами! Сколько въ то же время должно удалиться препятствій къ счастливому развитію общества! Стоить только вспомнить, сколько реформъ въ настоящее время представляется неудобноисполнимыми единственно потому, что въ различныхъ классахъ общества нѣтъ единства цѣлей, ни идиллической любви, о которой такъ много говорятъ и нишутъ, забывая что человѣкъ есть недѣлимое, а ничего другого, какъ единства въ направленіи эгоистическихъ стремленій, которое одно составляетъ прочное, немечтательное, разумное и естественное основаніе человѣческаго сожитія.

Эти слова могутъ показаться неблагозвучными тѣмъ, кто привыкъ къ тону новѣйшихъ утопій. Да и вообще вся система дольщины не покажется ли имъ ученіемъ слишкомъ умѣреннымъ, чѣмъ-то въ родѣ того, что называютъ золотую серединой? Отказываемся напередъ отъ этой роли, во мнѣніи иныхъ очень почтенной, но въ собственномъ нашемъ мнѣніи самой постыдной. Предложенная здѣсь система есть не что иное, какъ выводъ изъ одного коренного положенія, которое можетъ быть выражено слѣдующими словами: „всякое общество и вообще всякое отношеніе людей тогда только разумно и утѣшительно, когда ве-

дѣлимыя, его составляющія, имѣютъ средства удовлетворять своимъ потребностямъ по законамъ свой человѣческой природы, а по тому самому и безъ вреда другъ для друга“. Отвергая различныя современныя теоріи распредѣленія богатства, мы основали свою критику единственно на этомъ коренномъ положеніи и не дозволили себѣ обольститься ими потому именно, что видимъ въ нихъ поправленіе этой соціальной заповѣди. Въ то же время раздѣляя съ новѣйшею школою ея, такъ сказать, статистическія убѣжденія, на оцѣнку современнаго положенія рабочаго класса, мы старались показать, что она не усмотрѣла существенной ошибки Смита и по тому самому не попала на вѣрный путь при рѣшеніи вопроса объ улучшеніи настоящаго порядка вещей. Тѣмъ не менѣе, долящина не есть что-либо среднее между Смитомъ и новѣйшими соціалистами. Скорѣе можно назвать ее продолженіемъ Смита. Какъ англичанинъ, онъ не могъ не принимать личности за основаніе общественныхъ отношеній. Но, какъ англичанинъ же, онъ не усмотрѣлъ нарушенія личности въ томъ, что совершенно ей противно, хотя и освящено давностью. Мы убѣдились, что новѣйшая школа невольно впала въ то же заблужденіе, хотя и совершенно противоположнымъ путемъ. Нашъ усиленный трудъ на этотъ разъ ограничился только тѣмъ, чтобъ обнаружить ту и другую ошибку и возстановить поправленный законъ природы въ полной его силѣ. Итакъ, въ долящинѣ нѣтъ ничего срединнаго, полудопущеннаго, полуотвергнутаго.

Конечно, долящина не избавляетъ всякаго отъ нужды: она только даетъ справедливое обезпеченіе тому, кто трудится. Большая часть людей, и при господствѣ долящины, должны будутъ проходить этотъ трудный, тернистый путь къ благосостоянію. Но спрашиваемъ: еслибъ изобрѣтенъ былъ такой способъ распредѣленія богатства, при которомъ нужда не возможна, не остановилось ли бы тогда человѣчество въ своемъ развитіи? Старая истина, что нужда, развиваетъ способности человѣка. Примѣръ вліянія противнаго, то-есть, постояннаго обезпеченія, видимъ мы въ народахъ, избалованныхъ постояннымъ обиліемъ даровъ природы. При постоянномъ обезпеченіи человѣкъ дѣлается лѣнивымъ, безпечнымъ, малодушнымъ, неспособнымъ ни къ какимъ усиліямъ; умъ его лишенъ изобрѣтательности, не приученъ къ быстрому охватыванію частныхъ, склоненъ къ безжизненнымъ отвлеченностямъ и утопической игрѣ и, сверхъ того, упрямъ и неповоротливъ. Но яснѣе всего различіе между обществомъ знакомымъ и обществомъ незнакомымъ съ нуждою обнаруживается въ сравненіи городовъ. Сравните два города, изъ которыхъ въ одномъ живутъ люди, вызванные на трудъ нуждою, а въ другомъ—люди, обезпеченные въ своихъ средствахъ наслѣдственными капиталами, съ цѣлью пріятно проводить время. Вы увидите, что жители перваго, то-есть города нужды, отличаются дѣятельностью, рачительностью, спеціальностью, энергіей стремленій, жаждой усовершенствованія, изобрѣтательностью, гибкостью и практическою жизненностью ума, между тѣмъ какъ въ жителяхъ втораго васъ

поражать черты противоположныя—лѣнь, безпечность, преобладаніе частныхъ интересовъ, душевное безсиліе, косность въ старинѣ, склонность къ безжизненнымъ отвлеченностямъ и т. д. Что же изъ этого слѣдуетъ? То, что нужда побуждаетъ человѣка къ развитію, заставляя его напрягать свои силы и направлять ихъ къ удовлетворенію потребностей. Удалить изъ общества этотъ могучій рычагъ значитъ погрузить его въ вѣчное усыпленіе. Вотъ почему не должны обольщать насъ обѣщанія утопистовъ избавить общество отъ нужды.

Другая приманка ихъ теоріи заключается въ обѣщаніи всеобщей братской любви. Они полагаютъ, что человѣчество можетъ дойти до такого состоянія, когда эгоизмъ перестанетъ управлять дѣйствіями людей, уступивъ мѣсто чувству всеобщаго братства. Но мы уже имѣли случай убѣдиться, какъ ненадежно это обѣщаніе; мы видѣли, что въ результатѣ своемъ все до сихъ поръ предложенныя теоріи общественнаго устройства, должны привести людей къ страшной взаимной ненависти и дать эгоизму самое пагубное направленіе.

## Отрывки изъ недоконченныхъ статей.

### I.

Еще вопросъ: на чемъ же намъ основать свою критику? Чтобы разбирать критически какое-нибудь произведеніе человѣческаго духа, надо имѣть въ умѣ идеалъ совершенства. Разсматривая, напримѣръ, государственный составъ Франціи, надо имѣть въ виду идеалъ государства вообще и судить о данномъ не иначе, какъ по отношенію его къ сему идеалу. Такъ точно, критикуя науку своихъ предшественниковъ, мы должны быть проникнуты уразумѣніемъ идеала науки. Къ сожалѣнію, логика находится у насъ въ самомъ жалкомъ положеніи. Отношеніе фактическаго познанія къ умозрительному и отношеніе теоріи къ практикѣ, эти основные логическіе вопросы, еще не рѣшены у насъ такъ, какъ бы этого можно было ожидать отъ русскаго ума, организованнаго такъ счастливо. На западѣ эти вопросы давно уже рѣшены, и рѣшенія ихъ приняты за данныя. Потому-то тамъ о нихъ почти нѣтъ и помина. Логика осталась тамъ въ школахъ; въ живой наукѣ есть только ученая критика, основанная на такихъ положеніяхъ, о которыхъ никто уже не споритъ. Это обстоятельство, разумѣется, не мало вредитъ западной наукѣ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что и для нея было бы весьма полезно преобразование теоріи познанія. Но еще хуже то, что мы также позволяемъ себѣ обходиться безъ основательнаго изученія логики и принимаемъ за данное то, что еще совершенно требуетъ въ глазахъ нашихъ доказательства. У каждаго западнаго народа, кромѣ логики схоластической, то-есть, кромѣ Аристотелева „Органона“, есть своя общепринятая логика, сообразная съ господствующимъ направленіемъ національнаго духа. Эта логика проявляется въ системѣ ученыхъ сужденій каждаго западнаго народа. Такъ, нѣмцы придерживаются одного взгляда

на науку, французы—другого и т. д. Въ этомъ есть какое-то молчаливое согласіе; появленіе новой систематики составляетъ эпоху: нововведеніе или не приѣтся и забудется, или мало по малу войдетъ во всеобщее сознаніе и, вытѣснивъ старую систему, опять водворитъ единство взгляда. У насъ совсѣмъ не та наука не вошла еще въ нашу жизнь, взглядъ нашъ на нее еще не установился, слѣдовательно, безъ логики мы не можемъ приступить къ таинству просвѣщенія.

---

## II.

Исторія логики—предметъ совершенно новый по заглавію, но весьма хорошо изслѣдованный новѣйшими учеными подъ разными другими названіями. Такое *qui pro quo* произошло отъ того, что наука эта существуетъ въ двухъ формахъ. Есть логика школьная, логика Аристотеля, которая Богъ знаетъ почему пережила въ школахъ не только средніе вѣка, но еще три столѣтія съ половиной, то-есть, до нашего времени. Есть также логика живая, логика развивавшаяся и развивающаяся наравнѣ со всѣми другими науками, часто даже впереди всего человѣческаго. Все дѣло въ томъ, что школьную логику всѣ называютъ логикой, а живую называютъ иногда психологіей, иногда философіей, а иногда вовсе не замѣчаютъ сочиненій, относящихся къ этой отрасли человѣческаго познанія.

Все это происходитъ оттого, что предметъ школьной логики, какъ и вообще всякой школьной науки, слишкомъ шатко разграниченъ и съ психологіей, и съ философіей. Логика, по обыкновенному опредѣленію, занимается изслѣдованіемъ законовъ мышленія. Но отчего же въ такомъ случаѣ не отнести ея къ психології, которая изслѣдуетъ законы человѣческаго духа вообще, а слѣдовательно, между прочимъ и законы мышленія? Вотъ точки, въ которой эти двѣ науки необходимо сходятся между собою, и одна изъ нихъ, какъ часть, стремится къ другой, какъ къ своему цѣлому. Что касается до философій, то сія наука есть высшее развитіе мысли, результатъ всѣхъ человѣческихъ познаній. Вотъ почему, приступая къ философії, невольно спрашиваешь себя: возможно ли это познаніе, можетъ ли человѣческая мысль выполнить высокую задачу обобщенія всѣхъ частныхъ наукъ въ предѣлахъ своей слабости? Этотъ вопросъ приводилъ многихъ мыслителей къ предварительному изученію законовъ человѣческой мысли. Не смотря на то, что они и останавливались на этомъ трудѣ, оставивъ потомству созданіе самой философії, несмотря на то, ихъ логическія сочиненія относились къ философії.

Чѣмъ же отличается логика отъ психології и философій? Различіе это очень просто. Психологія разсматриваетъ мышленіе, равно какъ и другія способности человѣческаго духа, какъ силы, еще не осуществившіяся въ дѣятельности, не проявившіяся въ формѣ, имъ свойственной. Такъ, напримѣръ, рассуждая о фантазій, психологъ не имѣетъ въ виду самыхъ произведеній, называемыхъ изящ-

ными: по крайней мѣрѣ, они важны для него только потому, что въ нихъ видѣть онъ объемъ и предѣлы способности, безъ которой человѣкъ не могъ бы ихъ создать. Не его дѣло судить о достоинствахъ и недостаткахъ изящнаго произведенія, ибо онъ изучаетъ не дѣятельность духа, а возможность этой дѣятельности. Что же касается до проявленій фантазіи, до формъ, въ которыхъ она проявляется, однимъ словомъ—до искусства, этотъ предметъ составляетъ содержаніе эстетики. Совершеннымъ pendant сей послѣдней служить логика. Она принимаетъ за данное всѣ психологическіе вопросы, относящіеся къ самому свойству мышленія, его могуществу и ограниченности; она имѣетъ дѣло съ выраженіемъ мысли, съ формой, къ которой стремится человѣческое познаніе, съ тою формой, которая составляетъ вѣнецъ ея дѣятельности, однимъ словомъ—съ наукой. Въ отношеніи къ философіи логика есть не что иное, какъ познаніе орудій философствованія, то-есть, обобщенія наукъ. Философія приводитъ всѣ наши познанія въ единство, рассматривая всю жизнь, доступную нашему уразумѣнію, какъ нѣчто цѣлое. Логика довольствуется опредѣленіемъ законовъ, по которымъ человѣческія познанія должны быть доведены до совершенства. Однимъ словомъ, философія стремится постигнуть жизнь; логика, какъ менторъ, указываетъ ей путь къ исполненію сей задачи.

Итакъ, логика есть наука, изслѣдующая законы науки, то, что Фихте называетъ ученіемъ о наукѣ. Wissenschaftlehre.

Но, Боже мой, какъ далека школьная логика отъ такого великаго значенія! За то давно нѣтъ ей и тѣни того уваженія, которымъ пользовалась она въ средніе вѣка и которымъ пользуется до сихъ поръ отъ людей, не разставшихся съ схоластикой, отъ этихъ живыхъ мертвецовъ, отчуждившихся отъ жизни, отказавшихся отъ движенія и совершенствованія. И долго, можетъ быть, не переведутся еще эти отверженники живущаго и мыслящаго человѣчества, эти поперстныя знаки, не сознающіе, куда ведетъ путь, по которому они разставлены. Пора бы однакожъ уничтожить этотъ незыблемый Китай, дремлющій на почвѣ дѣятельной, безсонной Европы. Мысль моя многимъ покажется странною; но я твердо убѣжденъ, что Россія должна начать, а можетъ быть, и кончить войну съ этимъ безобразнымъ остаткомъ старины и коснѣнія. Западная Европа можетъ еще обходиться безъ правильной системы логики, потому что всѣ логическіе вопросы рѣшились тамъ мимо органической системы. Школьная логика не помѣшала ни Декарту, ни Бэкону, ни Канту въ утвержденіи новыхъ понятій о предѣлахъ и могуществѣ человѣческаго познанія. Каждая изъ трехъ странъ, играющихъ роковую роль въ цивилизаціи человѣчества въ продолженіе трехъ послѣднихъ вѣковъ, подчинена господству условленныхъ понятій о наукѣ, понятій, установившихся не въ силу рабскаго подраженія Аристотелю, а вслѣдствіе живыхъ, самобытныхъ ученій, возбуждившихъ разумную симпатію въ умахъ цѣлыхъ народовъ. Разумѣется, и на западѣ отсутствіе правильной логической системы служитъ немалымъ препятствіемъ



къ развитію, ибо логика должна быть у всѣхъ народовъ одна, между тѣмъ какъ помянутыя ученія взаимно опровергаютъ другъ друга. Все же нельзя сравнить этого зла съ тѣмъ, которые терпимъ мы, мы, не создавшіе ни одной логической системы, мы, знакомящіеся съ наукой или по наслышкѣ изъ многихъ устъ, равно краснорѣчивыхъ, или по школьнымъ руководствамъ отсталыхъ и мертвыхъ умовъ. Вопросы объ отношеніяхъ анализа къ синтезу, объ отношеніяхъ науки къ жизни, эти капитальные вопросы, рѣшаются у насъ какъ-то вскользь, и притомъ различно, смотря по тому, у какого народа мы учились. Что изъ этого выходитъ? Выходитъ то, что важность науки далеко не постигнута у насъ большинствомъ образованнаго класса, что большею частью смотрятъ на нее, какъ на какую-то роскошь, которую нельзя себѣ не позволить, потому что вся Европа ею щеголяетъ. Если же и существуютъ у немногихъ твердыя логическія убѣжденія, то и эти немногіе несогласны между собою и даже не хотятъ и спорить другъ съ другомъ, подобно тѣмъ западнымъ народамъ, у которыхъ заимствованы эти идеи. Между тѣмъ, отъ отсутствія логики, равно какъ отъ разномыслія въ ея истинахъ, происходитъ то, что у насъ не можетъ быть и науки оригинальной, ибо нѣтъ у насъ основанія, на которомъ бы она могла утвердиться. Притомъ, наука наша, какъ продолженіе труда нашихъ предшественниковъ, то-есть, народовъ германскаго племени, должна начаться критикой западной науки, оцѣнкой различныхъ ученій, которыми мы должны воспользоваться. Какъ же намъ цѣнить и выбирать, когда мы не знаемъ, чѣмъ руководствоваться въ выборѣ? Дѣльный эклектизмъ предполагаетъ какое-нибудь убѣжденіе. Если вамъ холодно, вы не пойдете грѣться въ холодное мѣсто, ибо убѣждены, что можете отогрѣться только въ теплѣ. Точно такъ и въ наукѣ. Не рѣшивъ предварительно, въ какомъ отношеніи находится, напримѣръ, анализъ къ синтезу, вы не можете рѣшить, какому направленію благоразумнѣе слѣдовать—англійскому или нѣмецкому. Все это должно, кажется, заставить насъ обратиться немедленно и прежде всего къ логикѣ, какъ къ единственной точкѣ исхода.

Но прежде чѣмъ приступить къ собственному созданію, полезно ознакомиться съ тѣмъ что уже сдѣлано другими на поприщѣ, на которое вызываетъ насъ цивилизація. Съ этою цѣлью предположилъ я изложить исторію логики въ томъ значеніи, какое показано выше. Эта исторія будетъ гораздо обширнѣе по своему содержанію, чѣмъ могъ бы подумать читатель, встрѣтивъ заглавіе статьи: онъ найдетъ здѣсь лѣтопись человѣческаго сознанія, ибо исторія логики—то же, что исторія человѣческой мысли, самой себя сознающей.

### III.

Аналитическое направленіе XIX вѣка столько же губительно, сколько и полезно для философіи. Само собою разумѣется, что, стремясь къ безконечному раздробленію познаній на основаніи опыта, мы отвращаемся отъ науки, которая всегда

имѣла предметомъ своимъ задачу совершенно противоположную—обобщеніе всѣхъ нашихъ познаній посредствомъ умозрѣнія. Результатомъ такой антипатіи было, во-первыхъ, общее пренебреженіе философіей, и во-вторыхъ, бездушное аналитическое расположеніе жизни, выдаваемое за философію тѣми, которые чувствуютъ ея важность. Къ первымъ принадлежитъ большинство образованныхъ людей въ-ка; изъ вторыхъ особенно замѣчательны два аналитика—Кузенъ и Контъ. И тотъ, и другой не расстаются съ мыслью о необходимости философіи но не могутъ выйти изъ оковъ односторонняго анализа. Эклектизмъ Кузена есть тождество самой философіи съ исторіей философскихъ системъ. „Положительная философія“ Конта есть не что иное, какъ трупораззѣтіе жизни, доступной познанію, бездушное разложеніе частей безъ уразумѣнія ихъ взаимныхъ отношеній. И та, и другая система приводятъ насъ къ логическимъ вопросамъ. Кузенъ заставляетъ насъ спрашивать себя: неужели философія не можетъ выйти изъ предѣловъ философской системы? Контъ разочаровываетъ насъ въ обаяніи синтеза. Но мы не можемъ не спросить: неужели синтезъ, этотъ истинный протей, заключенный въ человѣческомъ умѣ, такъ ограниченъ, какъ онъ насъ увѣряетъ? Въ этомъ раздумьѣ, въ этихъ двухъ вопросахъ, можетъ быть, заключена вся полемика грядущаго съ отживающею эпохою. Прислушайтесь къ словамъ антагонистовъ философіи; всѣ они повторяютъ то, что сказано представителями эклектики и позитивности. Вы всегда услышите отъ нихъ варіаціи на слѣдующія двѣ темы: 1) философіи нѣтъ; есть только философскія системы: матеріализмъ, идеализмъ, скептицизмъ и мистицизмъ; 2) общей философіи быть не можетъ: философія раздробляется по отраслямъ нашего познанія. Приступимъ къ оцѣнкѣ этихъ двухъ мнѣній, основывая свою критику на общихъ началахъ логики и на разборѣ системъ двухъ величайшихъ представителей аналитическаго направленія философіи. Постараемся выставить въ этомъ разборѣ и черную, и свѣтлую сторону этого преобладанія.

## § 1.

**Критика эклектизма, основаннаго Кузеномъ. Различіе между философіей и философскими системами. Услуга эклектизма.**

Вотъ въ нѣсколькихъ чертахъ главные основанія эклектизма.

Истина является человѣческому уму не по всей своей общности, а съ разныхъ сторонъ. Увлекаемый односторонностью, онъ видитъ вмѣсто цѣлой истины одну ея часть, отрицая остальные. Это—законъ духовной природы человѣка, доказываемый исторіей. Слѣдовательно, напрасно было бы искать философіи, представляющей собою односторонней системы. Напрасно было бы также искать въ непреклонности разносторонняго воззрѣнія въ созданіи отдѣльнаго человѣка одной эпохи. Философію представляютъ въ пространствѣ нѣсколько умовъ, ко индивидуальная односторонность и личные заблужденія образуютъ въ суммѣ ея

ство и непреложность общей системы, а во времени—всѣ вѣка, со своими разнообразными взглядами на истину, со своими односторонними ошибками. Такъ, на примѣръ, по мнѣнію Кузена, XVIII вѣкъ былъ вѣкомъ высочайшаго развитія философіи, потому что въ каждомъ образованномъ государствѣ преобладала одна изъ существующихъ системъ ея—сенсуализмъ, скептицизмъ и мистицизмъ, и кромѣ того, это преобладаніе одной системы не уничтожало владычества трехъ другихъ.

При разборѣ этого ученія намъ прежде всего приходитъ мысль: если личное убѣжденіе такъ односторонне по природѣ своей, то для кого же существуетъ убѣжденіе полное, не одностороннее? Для человѣчества? Но кто же изъ насъ отдѣляетъ такъ рѣзко интересы человѣчества отъ интересовъ частныхъ лицъ, его составляющихъ? Человѣчество живетъ жизнью индивидуумовъ; оно сыто ихъ удовлетворенностью, оно голодно ихъ голодомъ. Слѣдовательно, и убѣжденіе человѣчества есть убѣжденіе недѣлимыхъ, его составляющихъ. Всякое другое представленіе человѣчества есть призракъ. Цвѣтущее состояніе философіи—такъ, какъ понимаетъ его Кузенъ со своею школою,—превосходитъ своею призрачностью то понятіе о народномъ богатствѣ, по которому тотъ народъ можно назвать богатымъ, въ которомъ есть богачи, имѣющіе въ рукахъ своихъ столько еокровищъ, что, раздѣливъ ихъ между своими согражданами, могли бы вывести ихъ изъ нищеты. Идея эклектиковъ еще страннѣе: если принимать ее, то пришлось бы согласиться, что если изъ четырехъ человѣкъ каждый имѣетъ четвертую часть того, что могло бы составить его богатство, то этого уже достаточно для того, чтобы назвать этихъ четырехъ человѣкъ богатыми. Кажется, не стоитъ болѣе опровергать такіа наивныя заблужденія. Однакожъ, нельзя не спросить у эклектиковъ: неужели отдѣльный человѣкъ или отдѣльная эпоха вообще такъ далеки отъ возможности идеальнаго совершенства дѣятельности? Отчего ни міръ изящнаго, гдѣ точно также могутъ быть и односторонность, отчего этотъ міръ представляетъ намъ явленія или, лучше сказать созданія, всегда и всюду изящныя? Что за проклятіе лежитъ именно на истинѣ. Это непостижимо. Само собою разумѣется, что безъ изученія психологіи, знакомящей насъ со свойствомъ самыхъ орудій всякаго познанія, и безъ познанія исторіи философіи, которая обнаруживаетъ передъ нами всѣ односторонности взгляда на вещи, безъ этихъ двухъ пособій не возможно претендовать на созданіе вѣчной философіи. Но не забудемъ того, что психологія и исторія философіи обработаны весьма недавно. На нихъ должна быть основана будущая философія, а до сихъ поръ онѣ находились въ глубокомъ младенествѣ.

Но эклектизмъ не ограничивается приведенными здѣсь положеніями. Кузенъ, твердя положительно, что философія тождественна съ исторіей философскихъ системъ, вслѣдъ затѣмъ противорѣчитъ самъ себя. Онъ ослабляетъ свое ученіе, говоря, что дальнѣйшее дѣло философа состоитъ въ выборѣ между всѣми фи-

лософскими системами. Спрашивается: на какомъ же основаніи выборъ между мнѣніями долженъ быть основанъ на твердомъ оригинальномъ убѣжденіи? Если мнѣ холодно, я ищу тепла, въ полномъ убѣжденіи, что могу согрѣться только въ тепломъ, а никакъ не въ холодномъ мѣстѣ. Какъ совмѣстить возможность выбора между философскими системами съ фатализмомъ личной односторонности? Какъ я могу составить полную, непреложную систему изъ одностороннихъ ученій, когда, по ученію того же Кузена, я самъ не могу не быть одностороннимъ? Ясно, что эклектизмъ, какъ ученіе ложное и въ отрицаніи возможности непреложной философіи, дѣлается совершеннымъ противорѣчіемъ, когда начинаетъ мечтать о созданіи.

Несовершенство его открывается еще болѣе, если вникнуть въ самое его развитіе. Кузенъ признаетъ, какъ сказано выше, четыре системы философіи, коихъ существенность доказываетъ онъ психологически и исторически. Духъ человѣческій, обращаясь къ познанію, то-есть, выходя изъ глубины существа своего, прежде всего, поражается явленіями внѣшняго міра, которыя прежде всего бросаются въ глаза. Такъ какъ онъ еще слабъ, то наблюденіе внѣшности легко поглощаетъ все его вниманіе; человѣкъ впадаетъ въ крайности сенсуализма. Потомъ, приобрѣтая болѣе зрѣлости, онъ начинаетъ открывать въ самомъ себѣ міръ идей врожденныхъ, соприсущихъ его духовной природѣ, не зависящихъ отъ свидѣтельства чувствъ. Это открытіе точно также поражаетъ его, какъ и первое: онъ снова обольщенъ, околдованъ, обойденъ прихотливою истиной; онъ разстается съ сенсуализмомъ и тонетъ въ идеализмъ, въ бездонномъ и безбрежномъ морѣ умозрѣній. Затѣмъ убѣжденіе начинаетъ разлагаться, оно колеблется: сенсуализмъ, подавленный нѣкогда идеализмомъ, возстаетъ противъ него и подрываетъ его основы. Идеализмъ, въ свою очередь, возстаетъ на сенсуализмъ и тощо также, по мнѣнію эклектика, уничтожаетъ сенсуализмъ. Но, воцарившись на развалинахъ двухъ первыхъ системъ догматическихъ, скептицизмъ не долго сохраняетъ свое могущество: чистое отрицаніе не утоляетъ жажды убѣжденія. Но что же остается дѣлать уму? Онъ разочарованъ въ непреложности опыта такъ же, какъ и въ непреложности умозрѣнія; онъ даже усталъ сомнѣваться: ему остается отказаться отъ собственной силы, признать надъ собою какой-нибудь авторитетъ и погрузиться въ лоно мистики.

Вотъ генетическая психологія Кузена! Можетъ быть, она увлекательна въ чтеніи; но посмотримъ внимательно и равнодушно, есть ли ей смыслъ и послѣдовательность...

#### IV.

Изящное такъ трудно опредѣлить однимъ признакомъ, что школьные эстетики всегда задаютъ себѣ задачу—исчислить свойства предметовъ, могущихъ назваться изящными. Отсюда забавныя и безплодныя дѣленія на изящное въ высокомъ, въ

грозномъ, въ трогательномъ, въ нѣжномъ, въ граціозномъ, въ смѣшномъ и пр. Словомъ, въ суммѣ выходитъ, что изящно все, что только производитъ какое-нибудь впечатлѣніе на человѣческое чувство. И въ самомъ дѣлѣ, результатъ школьной эстетики согласенъ съ опытомъ: жаль только, что она сама никогда не рѣшалась вывести заключеніе изъ своихъ же положеній. Изящное произведеніе тѣмъ и отличается отъ другихъ произведеній свободной дѣятельности духа, что дѣйствуетъ на чувство, и что безъ того оно не было бы изящнымъ. Истина ученая дѣйствуетъ на умъ; никто не можетъ требовать отъ нея, чтобы она направляла волю и раздражала чувство. Треугольникъ равенъ другому треугольнику при равенствѣ сторонъ того и другого: чѣмъ это не истина? А между тѣмъ она не дѣйствуетъ ни на нравственность, ни на чувствительную сторону человѣческой души. Напротивъ того, изящное произведеніе непосредственно и исключительно дѣйствуетъ на чувство: Аполлонъ Бельведерскій ничего собою не доказываетъ ни къ чему не подвигаетъ, развѣ посредственно; но, смотря на этотъ антикъ, вы трепещете отъ восторга, видя передъ собою осуществленіе идеала душевной и тѣлесной красоты: чувствительность ваша потрясена до основанія. Далѣе могутъ сказать, что этотъ признакъ не отдѣляетъ области изящнаго отъ области нравственнаго, отъ области воли, ибо нравственные убѣжденія также дѣйствуютъ на чувство. Но воля располагается къ дѣятельности только изъ собственныхъ нѣдръ своихъ. Нравственное убѣжденіе можетъ быть двухъ родовъ: оно или трогаетъ чувство, или убѣждаетъ умъ: но, чтобы человѣкъ, тронутый или убѣжденный рѣчью, выполнилъ то, чего требуетъ отъ него ораторъ, для этого необходимо внутреннее движеніе воли, которое можетъ послѣдовать и не послѣдовать. Итакъ, въ самомъ процессѣ нравственнаго убѣжденія есть только двѣ силы: или сила истины, или сила изящества. Первая производитъ умственное убѣжденіе, вторая раздражаетъ чувство. Но ни умственное убѣжденіе, ни возбужденное чувство не сливаются съ дѣятельностью воли, дѣйствующей на основаніи того или другого. Слѣдовательно, весь вопросъ о различіи дѣйствія изящнаго на душу человѣка отъ дѣйствія на нее другихъ произведеній свободной дѣятельности духа, весь этотъ вопросъ приводится къ вопросу о разграниченіи изящнаго съ истиннымъ. Такимъ образомъ, признакъ изящнаго, приведенный нами въ началѣ, остается за нимъ исключительно. Часто въ опроверженіе этого основнаго положенія приводятъ произведенія, которыя въ одно время удовлетворяютъ и требованіямъ ума, и требованіямъ изящнаго. Говорятъ, что поэтъ можетъ въ одно время и доказывать, и плѣнять художественностью формы. Это совершенно ложно: поэзія доказательствъ не терпитъ, ибо доказательство необходимо приводить къ чистой мысли, разоблаченной отъ жизненныхъ формъ.

---

III.  
**БИБЛІОГРАФІЯ.**

**И. С. ТУРГЕНЕВЪ.**

**Разговоръ.** Стихотвореніе *Ив. Тургенева* (Т. Л.). С.-Петербургъ. 1845.

Публикѣ уже извѣстна прекрасная поэма г. Тургенева „Параша“. Теперь авторъ даритъ насъ новымъ произведеніемъ, которое богатствомъ своего содержанія; своимъ поэтическимъ достоинствомъ, сильною энергіей и глубокою мыслью не можетъ не обратить на себя вниманія людей просвѣщенныхъ и мыслящихъ. Содержаніе новаго произведенія г. Тургенева составляетъ разговоръ между старикомъ и молодымъ человѣкомъ, изъ которыхъ каждый является до нѣкоторой степени представителемъ своего поколѣнія, съ его мечтами, желаніями, съ его любовью, страстями, требованіями и взглядомъ на жизнь. Во-первыхъ, передъ нами является старикъ отшельникъ, который молится „въ пещерѣ мрачной и сырой“. Здѣсь мы позволимъ себѣ замѣтить, что намъ не нравится это помѣщеніе старика, какъ не нравится намъ то, что онъ отшельникъ. Это могло бы лишить лицо старика характера дѣйствительности, еслибъ, къ счастью, не оставалось чѣмъ-то чисто внѣшнимъ и не имѣющимъ дальнѣйшаго вліянія на изображеніе этого лица. Въ наше время какъ-то странны отшельники въ мрачныхъ и сырыхъ пещерахъ. Старикъ окончилъ свою молитву, и предъ нимъ появился молодой человѣкъ, котораго онъ знавалъ прежде. Пустынникъ

Далъ гостю руку... Та рука  
Дрожала... Голосъ старика  
Погасъ... Но странникъ молодой  
Поникъ печально головой,  
Пожалъ болѣзненно плечомъ  
И тихо вздрогнулъ.... и потомъ  
Взглянулъ медлительно кругомъ.  
И говорили взоры тѣ  
О безотрадной пустотѣ  
Души погибшей, какъ и всѣ,  
Во всей— какъ водится— красѣ.

Старикъ, казалось, негодовалъ; съ его лица не сходила злая усмѣшка во все время, какъ говорилъ пришлецъ:



„Старикъ, и я“—такъ кончилъ онъ  
 Разсказъ—„ты видишь побѣжденъ...  
 „Какъ воды малаго ручья,  
 „Изякла молодость моя“...

Молодой человѣкъ говоритъ, что напрасно въ тоскѣ просилъ *безпечности*, завиднаго дара. Старикъ отвѣчаетъ ему, что въ его лѣта онъ любилъ молиться на канунѣ битвъ, рассказы стариковъ о бывалыхъ побѣдахъ, любилъ торжественный покой заснувшей рати...

И надышаться въ тѣ года  
 Не могъ я воздухомъ лѣсовъ,—  
 И былъ я силенъ и суровъ,  
 И горделивъ и, сколько могъ,  
 Я сердце вольное берегъ.

Молодой человѣкъ дивится, что старикъ помнить тревоги молодости, восторги, дѣтскія мечты. Видно, что все это не можетъ онъ цѣнить такъ, какъ цѣнитъ старикъ. Старикъ говоритъ молодому человѣку, что все, надъ чѣмъ онъ величаво смѣется, глубоко вросло въ него, что оно не можетъ быть имъ забыто,—

Но ты, безстрастный человѣкъ,  
 Ты успокоился на вѣкъ.

Далѣе старикъ упрекаетъ молодого человѣка:

Въ разгарѣ юношескихъ силъ  
 Ты, какъ старикъ, и вялъ, и хилъ,  
 Но, Боже, развѣ никогда  
 Не зналъ ты жажду мыслей, дѣлъ,  
 Тоску глубокаго стыда,  
 И не рыдалъ и не блѣднѣлъ?  
 Любишь ли ты кого-нибудь?  
 Иль никогда нѣмая грудь,  
 Блаженства горькаго полна,  
 Не трепетала, какъ струна?

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВѢКЪ.

А ты любилъ?

Въ старикѣ пробуждаются живыя звуки старины, толпой несутся надъ нимъ милыя тѣни, вновь хочетъ онъ, хотя-бъ на одинъ мигъ, предаться жизни, юности, любви; онъ начинаетъ разсказъ о любви своей: онъ помнить день, въ который встрѣтилъ любимую женщину, окно, подъ которымъ она сидѣла, плащъ, который скрывалъ ее, онъ помнить всѣ подробности встрѣчи,—любовь была для него жизнь; она наполняла его, отъ нея и радости, и страданія; вѣкъ ей не было для него ничего, въ ней было все. Онъ былъ *работомъ* любимой женщины, и какъ мы цуемаемъ, это есть главная характеристическая черта любви старика. Когда смерть, разлучила его съ любимой женщиною, тяжкіе сны смѣнили незабвенный сонъ

онъ дожилъ до сѣдинъ и сталъ молиться. Изъ разсказа молодого человѣка мы видимъ, что его любовь совсѣмъ не похожа на любовь старика. Она далеко не наполняла его, онъ не могъ быть *рабомъ* любимой женщины. И хотъ любилъ онъ ее, но часто молчалъ при ней, томимый тоской; часто струились у него непонятныя слезы, и онъ беспощадно разрывалъ все, что связывало ихъ; ему было стыдно жить шутя, любить забывчивый покой. Онъ разстался съ нею навсегда:

Я помнилъ все: печальный взоръ,  
И недоконченный укоръ...  
Но все жъ на волю, на просторъ,  
И содрогаясь, и спѣша,  
Рвалась безумная душа.

Это рѣчь того молодого человѣка, который, по словамъ отшельника, въ разгарѣ юношескихъ силъ вялъ и хилъ, какъ старикъ. Но этотъ строгій старикъ, по словамъ его, сильный, суровый, горделивый и вольный сердцемъ въ своей юности, могъ быть *рабомъ* женщины, съ которою могла только смерть разлучить его. А этотъ вялый и хилый юноша не могъ выносить забывчиваго покоя, и душа его рвалась на просторъ. Подумайте объ этомъ, и почувствуете болѣе уваженія къ пустотѣ души молодого человѣка, чѣмъ къ исполненному мечтанію строгому старику.

Старикъ далѣе говоритъ молодому человѣку, что любовь не высшее благо людей, что дѣти живутъ только для себя, но мужу приличенъ долгій трудъ на поприщѣ добра, и спрашиваетъ его: какой подвигъ совершилъ онъ? Изъ отвѣта молодого чловѣка видно, что въ немъ были мечты о подвигахъ, но онъ увидѣлъ, что въ мірѣ ему нѣтъ мѣста, что онъ чуждъ людямъ, что онъ не можетъ раздѣлять ни ихъ нуждъ, ни ихъ радостей, и люди ему то страшны, то непостижимы, то смѣшны. Кто стоитъ въ этомъ положеніи среди людей, можетъ ли тотъ думать о подвигахъ на поприщѣ добра? Молодому человѣку остается жизнь среди пустыхъ тревогъ. Старикъ во всемъ обвиняетъ молодого человѣка и положеніе его объясняетъ его самолюбіемъ, мечтательностію и нетерпѣніемъ. Онъ спрашиваетъ его: не встрѣчалъ ли онъ неговорливыхъ, простыхъ юношей, достойныхъ мужей и старцевъ, опытныхъ вождей, и ихъ встрѣча не примиряла ли его съ судьбой? Но молодой человѣкъ не встрѣчалъ ни такихъ юношей, ни мужей, ни старцевъ, ни вождей. Старикъ обвиняетъ его въ безплодной игрѣ мечтаній и въ томъ, что, малодушный, онъ безъ стыда покорился судьбѣ. Мы выпишемъ слѣдующія слова изъ отвѣта молодого человѣка:

. . . . . О, старикъ!  
Тебѣ противенъ слабый крикъ  
Души печальной и больной...  
Ты презираешь глубоко  
Мою тоску... Но, Боже мой!

Ты думаешь, что такъ легко  
 Съ надеждами растался я, .  
 Что равнодушно самъ себѣ  
 Сказалъ я: гибнетъ жизнь моя!  
 Что грудь усталая къ борьбѣ  
 Упрямо, долго не рвалась,  
 Что за соломинки сто разъ  
 Я не хватался?...

Послѣ одобренія и увѣщанія старика, молодой человѣкъ спрашиваетъ его:

А между тѣмъ не ты ли самъ  
 Покинулъ „бранный“ міръ?

СТАРИКЪ.

Страстямъ

Я предалъ молодость... онѣ  
 Меня сгубили... но клянусь:  
 Того, что прежде было мнѣ  
 Святыней,—нѣтъ!—я не стыжусь.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВѢКЪ

Ты всѣхъ моложе насъ, старикъ;  
 Мнѣ не понятенъ твой языкъ.

И старикъ проклялъ молодого человѣка за то, что онъ погубилъ всѣ его надежды, все, что онъ любилъ, какъ любятъ старики, всѣ его мечты о новыхъ и сильныхъ поколѣніяхъ. Молодой человѣкъ признаетъ старика жестокимъ, но не хочетъ отрицать своей слабости, своего безсилія; онъ презираетъ самъ себя, онъ клянется оставить родину, друзей безъ сожалѣнія, навсегда и скитаться среди чужихъ, въ землѣ чужой. Далѣе онъ спрашиваетъ старика, щедраго на упреки: что сдѣлали они, предки наши? То же, что и мы, отвѣчаетъ самъ молодой человѣкъ. Слова молодого человѣка заключаются превосходными стихами, исполненными высокой торжественной тоски. Томимый тягостною думой, недвижимо сидитъ старикъ, а молодой человѣкъ исчезаетъ.

Токово содержаніе новаго произведенія г. Тургенева. Мы изложили его коротко, и наше изложеніе будетъ сухо и вяло для тѣхъ, кто прочтетъ самую поэму. Но уже и изъ этого изложенія не увидятъ-ли читатели, какое богатое интересомъ содержаніе взялъ авторъ для своего созданія? Останутся-ли непонятными страданія человѣка, который напрасно проситъ безпечности, какъ спасенія, который исполненъ силъ къ труду на поприщѣ добра, и силы эти тяготятъ и томятъ его, потому что онъ чуждъ людямъ и лишній среди нихъ, и преслѣдуетъ его отчаянье въ другихъ и въ себѣ, и нѣтъ ему мѣста на землѣ, и тяжела будетъ земля надъ нимъ!... Поэма г. Тургенева исполнена превосходныхъ поэтическихъ мѣстъ, отъ выписыванія которыхъ мы здѣсь удерживались, потому что увѣрены, что читателямъ будетъ пріятнѣе прочесть вполнѣ все произведеніе г. Тургенева.

## Ю. В. Жадовская.

Стихотворенія Юліи Жадовской. С.-Петербургъ. 1846.

Содержаніе „Стихотвореній“ г-жи Жадовской вполне выражаетъ собою общій характеръ и общественное положеніе женщины, и потому заслуживаетъ уже полнаго вниманія людей мыслящихъ, независимо отъ таланта новаго поэта. Темою всѣхъ ея стихотвореній служитъ *внутренняя* борьба женщины, которой душа развита природой и образованіемъ, со всѣмъ тѣмъ, что противодѣйствуетъ этому развитію и что не можетъ съ нимъ ужиться. Это полная, хотя и краткая исторія женской души, исполненной стремленія къ нормальнымъ условіямъ жизни, но встрѣчающей на каждомъ шагу противорѣчія и преграды своему стремленію не въ однихъ внѣшнихъ обстоятельствахъ, но и въ собственныхъ недоразумѣніяхъ, колебаніяхъ и самообольщеніяхъ.

Судьба всякаго разумнаго существа, призваннаго къ развитію, исполнена драматическаго интереса, потому что всякій переходъ отъ одной ступени развитія къ другой совершается вслѣдствіе борьбы новыхъ идей и новыхъ потребностей съ основными стихіями прожитого періода. Эта внутренняя борьба предшествуетъ борьбѣ внѣшней, борьбѣ съ тѣми явленіями общественной жизни, которыя начинаютъ производить на развивающееся существо впечатлѣнія противоположныя тѣмъ, которыя они же производили на него до рокового кризиса.

Первый періодъ развитія индивидуума — періодъ *непосредственности*, періодъ бездѣйствія свободныхъ силъ души. Въ этомъ періодѣ человекъ находится въ совершенной зависимости отъ всего внѣшняго, разумѣя подъ этимъ словомъ не только то, что называется внѣшнимъ міромъ или внѣшнею природою, но и вообще все не созданное и не усвоенное его самодѣятельностью, все принимаемое безъ отчета, безъ повѣрки, безъ критики, напримѣръ, общепринятая идея или чувства и стремленія, возникающія вслѣдствіе этихъ не анализированныхъ идей, и т. п.

Пробужденіе свободныхъ силъ души, пробужденіе самодѣятельности обнаруживается слѣпымъ и абсолютнымъ отрицаніемъ непосредственности, какимъ-то отчаяннымъ возстаніемъ противъ всего, что держало человека подъ гнетомъ своей желѣзной мощи... Отрицаніе принципа, который долго поглощалъ нашу личность, не можетъ не быть инымъ: надо остыть отъ перваго негодованія, возбуждаемаго мыслью о томъ растительномъ ничтожествѣ, въ которомъ провели мы первый отдѣлъ времени, даннаго намъ на прожитокъ. Но пока это негодованіе сохраняетъ свою силу, мы живемъ мыслью въ полномъ разладѣ съ непосредственностью или дѣйствительностью: она кажется намъ чѣмъ-то мертвымъ, подавляющимъ и потому презрѣннымъ. Мы употребляемъ всѣ силы души, чтобы избѣжать всякаго прикосновенія съ этою дѣйствительностью; но такъ какъ уйти отъ нея нельзя, то огромный запасъ изобрѣтательности издерживается на то

чтобъ дать ея различнымъ явленіямъ произвольный, условный смыслъ, измѣняющій ихъ въ нашихъ глазахъ, готовыхъ на этотъ разъ принять какой угодно обманъ, только бы не увидать факта. Это—періодъ призраковъ, періодъ индѣйскаго созерцанія, періодъ самообольщеній, словомъ—комическій періодъ *романтизма*.

Само собою разумѣется, что такое натянутое расположеніе не можетъ навсегда овладѣть человѣкомъ. Какъ часть дѣйствительности, онъ не можетъ въ самомъ дѣлѣ оторваться отъ дѣйствительнаго міра и создать себѣ міръ противоположный, въ которомъ природа его находила бы себѣ удовлетвореніе. Вѣдь не можетъ же творчество человѣка приходить въ дѣятельность безъ возбужденія со стороны дѣйствительнаго міра, безъ матеріаловъ, осязаемыхъ для первовъ: созданіе человѣческой фантазіи и человѣческаго разума—ни болѣе, ни менѣе, какъ пересозданіе дѣйствительности, которое можно назвать продолженіемъ или дополненіемъ ея, если оно законно. Самая отвлеченная мысль, самый многообъемлющій идеалъ необходимо разлагаются на простыя впечатлѣнія внѣшности, которыми обусловлено ихъ рожденіе. Слѣдовательно, стремленіе отрѣшиться отъ вліянія дѣйствительности, отъ родственнаго общенія со всѣми ея частями и частицами само въ себѣ носитъ зародышъ уничтоженія, какъ претензія, противорѣчащая законамъ человѣческой природы и, слѣдовательно, тягостная для самого того, кто имѣлъ несчастье ей поддаться. Единственная живая сторона романтизма заключается въ пробужденіи самодѣятельности души, о которомъ мы упомянули, какъ о первой силѣ, исторгающей человѣка изъ непосредственности. Пока еще не прошелъ первый порывъ его негодованія на условія, подъ которыми развивался онъ въ первый сонный періодъ своей жизни,—въ этотъ краткій промежутокъ времени романтизмъ имѣетъ еще нѣкоторую жизненность, потому что проявляется въ живомъ чувствѣ разумнаго существа. Но нельзя долго негодовать на то, что, какъ сейчасъ было сказано, составляетъ условіе самого нашего существованія, и къ чему неотразимо влекутъ насъ наши потребности. И потому человѣкъ не можетъ оставаться долго романтикомъ въ душѣ: романтизмъ его скоро переходитъ въ пустыя великолѣпныя фразы, въ звучные стихи безъ общепонятнаго содержанія, въ натянутые трактаты, заключающіе въ себѣ развитіе или, лучше сказать, разводненіе идей, недоступныхъ сознанію, и человѣкъ нечувствительно, какъ бы въ тайнѣ отъ самого себя возвращается къ первому періоду. Этимъ объясняется фактъ существованія многихъ людей, толкующихъ о презрѣніи всего дѣйствительнаго, о прелестяхъ жизни мечтательной, о необходимости для каждаго человѣка съ умомъ и сердцемъ создать себѣ свой отдѣльный, невидимый міръ и тому подобныхъ призракахъ, и въ то же время не презирающихъ на самомъ дѣлѣ ни тѣлесныхъ наслажденій, ни почестей, ни богатства, ни даже темныхъ путей къ достиженію всѣхъ этихъ, повидимому, ненавистныхъ имъ пріятностей.

Каждый развивающійся человѣкъ проходитъ этотъ комическій періодъ, но естественно, что на немъ не всякій осужденъ остановиться не только въ понятіяхъ и чувствахъ, но и въ дѣятельности. Для многихъ приходитъ пора третьяго періода—пора положительности, которую никакъ не слѣдуетъ смѣшивать съ непосредственностью. Положительность есть разумное признаніе дѣйствительности, какъ единственной сферы дѣятельности, къ которой влекутъ человѣка требованія и способности его природы. Быть положительнымъ значитъ—заключить себя въ предѣлы міра *существующаго* и стремиться не къ чему иному, какъ къ полному наслажденію настоящею, не вымышленною жизнью. Слѣдовательно, ни свободное мышленіе, ни свободная фантазія ни мало не исключаются изъ сферы положительности, потому что они такъ же дѣйствительны, какъ и все существующее въ природѣ. Вообще, нѣтъ никакой причины смотрѣть на положительнаго человѣка какъ на какую-то сухую, выморенную почву, которая *только что существуетъ, а не живетъ*, какъ выражаются романтики: напротивъ, кто же и живетъ, какъ не тотъ, кто притѣпленъ къ жизни и внѣ ея ничего не хочетъ знать, считая все остальное призракомъ, мыльнымъ пузыремъ, созданіемъ своенравія человѣческаго, то есть, тѣмъ, что оно есть на самомъ дѣлѣ.

Если справедливо, что цѣль жизни—жизнь, то за этимъ періодомъ не можетъ быть никакого другого, кромѣ періода постепеннаго ослабленія жизненности. Но мы уже не будемъ разсуждать объ этомъ печальномъ явленіи; оно не имѣетъ значенія въ нашемъ разборѣ: мы имѣемъ дѣло съ книгой, выражающею собою скорѣе всего не довершившійся процессъ жизненнаго развитія: слѣдовательно, говорить о томъ, что слѣдуетъ за апогеемъ жизненности, было бы неумѣстно.

Переходы отъ одного изъ трехъ исчисленныхъ нами фазисовъ къ другому и въ мужчинѣ, и въ женщинѣ не могутъ не сопровождаться одинаковыми явленіями борьбы человѣка съ самимъ собою и съ окружающимъ его міромъ. Но все-таки женское развитіе имѣетъ свои особенности, происходящія отъ большей слабости отрицанія и отъ меньшей возможности облегчать тягость борьбы внутренней борьбою внѣшнею. Надо сознаться, что и мужчинѣ сила отрицанія часто дѣлается бременемъ невыносимо мучительнымъ до тѣхъ поръ, пока оно не разовьется въ массахъ, въ большинствѣ, чему примѣромъ можетъ служить Байронъ; для женщины же, какъ для существа, организованнаго для созданія, оно еще мучительнѣе: она легко принимаетъ новую мысль, легко пересоздается для положительной дѣятельности въ новой открывающейся передъ нею сферѣ; но разрушать прежнее, отречься отъ него навсегда, рѣшительно и спокойно,—этого она, кажется, совсѣмъ не въ силахъ сдѣлать. Ею непремѣнно овладѣваетъ забота согласить и то, во что вѣруеть она вполнѣ, и то, во что расположена не вѣрить, но съ чѣмъ никакъ не можетъ разстаться. *Понимаю,*



какой тяжкій хаосъ долженъ всегда омрачать понятія умной, постоянно развивающейся женщины. Понятно также, почему она всегда готова противорѣчить самой себѣ, обнаруживая, къ крайнему удивленію мужчинъ, множество убѣжденій, взаимно противорѣчащихъ другъ другу: само собою разумѣется, что о всякомъ предметѣ у нея, точно также какъ и у мужчины, какое-нибудь одно рѣшительное убѣжденіе: противоположное же ему—одна видимость: собственно говоря, его давно уже у нея нѣтъ, но женщина не рѣшается и, можетъ быть никогда не рѣшится признаться даже самой себѣ въ томъ, что въ глубинѣ души отреклась отъ всего на вѣки...

Вторая особенность женскаго развитія заключается въ безсиліи женщины для борьбы съ внѣшностью, съ явленіями, противорѣчащими ея взгляду на вещи. Для мужчины внѣшняя борьба составляетъ самый отрадный исходъ страданія: этимъ онъ отводитъ душу, утоляетъ жажду. Но нужно ли доказывать, что женщина частью и по *независящимъ отъ нея обстоятельствамъ* лишена этого утѣшенія?

Единственный исходъ страданій женской души, способной къ постоянному развитію,—искусство. По крайней мѣрѣ, въ немъ находитъ она выраженіе своимъ малоуваженнымъ, а большею частью и вовсе не уваженнымъ страданіямъ. Это ужъ все-таки что нибудь да значить для того, кому тяжелымъ камнемъ заваленъ путь къ нормальнымъ условіямъ жизни.

Много особенностей представляетъ и художественная дѣятельность женщины, и всѣ онѣ выражаютъ собою особенности ея развитія. И многое, что непростительно (мы хотимъ сказать: противно) въ произведеніи художника, совершенно извинительно въ произведеніяхъ художницы. Главные недостатки женскаго искусства—отсутствіе единства въ направленіи идей, непрерывное колебаніе и склонность къ выраженію чувствъ и понятій, неясныхъ самому автору. Сказанное выше освобождаетъ насъ отъ обязанности пояснять эти недостатки изслѣдованіемъ ихъ происхожденія.

„Стихотворенія,“ г-жи Юліи Жадовской прежде всего поразили насъ со стороны своего содержанія тѣмъ, что всѣ они какъ будто бы принадлежать къ различнымъ періодамъ развитія поэта. Но скоро это самое обстоятельство и дало имъ въ нашихъ глазахъ большую занимательность: мы увидѣли передъ собою живое изображеніе идеи развитія женской натуры, совершенно согласно съ представленнымъ нами эскизомъ его исторіи. Въ этихъ стихотвореніяхъ и непосредственность, и романтизмъ, и даже положительность въ ея высокомъ значеніи, повидимому, такъ необыкновенно, но въ сущности такъ естественно, такъ характеристически-дружно не уживаются, но сопоставляются между собою, что только поль автору и объясняетъ намъ такое явленіе. вмѣстѣ съ тѣмъ, это самое и придаетъ стихотвореніямъ г-жи Жадовской силу полного психологическаго интереса. Приглашаемъ читателей прослѣдить съ нами по изданному ею

зобранію стихотвореній исторію ея успѣховъ. Вотъ стихотвореніе „Въ Сумерки“ (стр. 19):

Я въ позднія сумерки часто  
Сижу у окна и во мракъ  
Пою заунывныя пѣсни,  
Иль думаю странныя думы,  
Иль на домъ сосѣда взираю,  
И вижу, мгновенно въ немъ окна  
Свѣтлѣють, и свѣчи мелькають;  
Мелькають потомъ и головки,  
Вечернюю жизнь начиная...  
Порою мнѣ грустно бываетъ;  
Порой же лучъ свѣта, ко мнѣ пробиваясь,  
Счастіемъ тихимъ меня обдасть.

Не правда ли, это еще чистая непосредственность, хотя не чуждая поэзіи? Вотъ еще стихотвореніе того же періода, отличающееся наивностью и граціей (стр. 22):

Солнце ужъ сѣло; зарею пурпурною западъ зажегся,  
Небо свѣтло и прозрачно. Люблю въ это время сидѣть я  
Передъ открытымъ окномъ и смотрѣть на вечернюю зорю,  
Какъ она съ каждой минутой блѣднѣетъ, и звѣзды  
Въ небѣ далекомъ одна за другой зажигаются ярко,  
Думаю, рады онѣ удаленію жаркаго солнца—  
Весело имъ и привольно мерцать безъ него на свободѣ:  
Люди ихъ видятъ, любуются ими... Но тише и тише  
Шумъ на землѣ, и заря золотая погасла, а звѣзды  
Съ каждой минутой яснѣй и яснѣй блистаютъ на небѣ,  
Тихо и сладостно дышетъ ночной вѣтерокъ, навѣвая  
Мысли отрадныя! Какъ мнѣ пріятно сидѣть у окошка,  
Воздухомъ теплымъ дышать, любоваться чудесною ночью.—  
Всего же пріятнѣе думать, мой другъ, о тебѣ!

Спать еще всѣ; но ужъ утро въ окно мое смотритъ пріятно  
Алой зарею востокъ, какъ порфирой, одѣлся, и звѣзды  
Гаснутъ поспѣшно одна за другой... Я съ укромнаго ложа  
Тихо встаю, отряхая съ очей моихъ маки Морфея;  
Въ садикъ зеленый окошко спѣшу отворить: какъ прохладно  
Утренній воздухъ пахнулъ на меня! И природа чего-то  
Ждетъ съ нетерпѣньемъ! Рано по утру люблю на востокъ я  
Съ душою свѣтлой глядѣть, какъ онъ съ каждой минутой все больше  
Золотомъ чуднымъ горитъ... Но я лучше всего, милый другъ мой,  
Въ эти минуты думать люблю о тебѣ!...

Но романтизма гораздо больше въ стихотвореніяхъ г-жи Жадовской, чѣмъ непосредственности: съ стѣсненнымъ сердцемъ должны мы признаться, что какъ ни противно намъ это направленіе, однакожъ оно все-таки составляетъ собою успѣхъ въ развитіи, какъ переходъ къ положительности, то-есть, къ жизни—

ности. Притомъ, романтизмъ въ женщинѣ гораздо сноснѣе, чѣмъ въ мужчинѣ, ибо сфера жизни дѣйствительной, отмежеванная ей—конечно, не природой,—къ несчастью слишкомъ тѣсна для ея дѣятельности. Сверхъ того, идея положительности обыкновенно доходитъ до сознанія женщинъ въ какомъ-то страшномъ, обезображенномъ видѣ: онѣ по неволѣ принимаютъ его за то начало, которое проявляется, напримѣръ, въ замужествѣ по расчету, въ накопленіи капиталовъ съ пожертвованіемъ жизни, въ брани съ горничными и лакеями, въ френетическомъ соленіи огурцовъ и т. п. Гдѣ узнать жизнь во всей ея красотѣ, особенно до замужества, когда онѣ только и слышатъ, что наставленія въ *моральномъ* тонѣ да сужденія непосредственности? Приходится довольствоваться опіумомъ романтизма... Въ разбираемомъ собраніи встрѣчается много піесъ, подобныхъ слѣдующей (стр. 63):

Любовь усыплю я, пока еще время холодной рукою  
Не вырвало чувства изъ трепетной груди!  
Любовь усыплю я, покуда безумно своей клеветой  
Святыню ея не унижали люди.

*Любовь усыплю я,—пусть чувства святого  
Ничто недостойное здѣсь не коснется!  
Ее усыплю я для міра земнаго,—  
Пускай въ небесахъ она сладко проснется!*

Особый, третій родъ составляютъ тѣ стихотворенія, которыя выражаютъ собою борьбу положительности съ романтизмомъ и переходъ отъ послѣдняго къ первой. Посмотрите, сколько драматизма, напримѣръ, въ небольшой піесѣ „Искушеніе“ (стр. 34):

Все спитъ вокругъ меня спокойнымъ, сладкимъ сномъ.  
Не сплю лишь я одна въ безмолвіи nocturno!  
Полна томительныхъ съ самой собою битвъ,  
Напрасно я ищу свасительныхъ молитвъ,  
Напрасно ихъ зову на грѣшныя уста,—  
Душа моя земнымъ, ничтожнымъ занята!  
Ей грустно, тяжело! Есть слезы на очахъ;  
Но я ихъ лью... не о грѣхахъ!

• Наконецъ, въ собраніи стихотвореній г-жи Жадановской встрѣчается нѣсколько такихъ, которыя и по содержанію, и по формѣ могутъ быть названы прекрасными: въ нихъ нѣтъ уже и тѣни романтизма, чувство полно и ясно, стихъ дышетъ истинно художественною простотою. Таково, напримѣръ, стихотвореніе безъ названія, напечатанное на страницѣ 17:

Ты скоро меня позабудешь,  
Но я не забуду тебя;  
Ты въ жизни разлюбишь, полюбишь,  
А я—никогда. никогда!

Ты новыя лица увидишь  
 И новыхъ друзей изберешь,  
 Ты новыя чувства узнаешь  
 И, можетъ быть, счастье найдешь.  
 Я тихо и грустно свершаю  
 Безъ радостей жизненный путь,  
 И какъ я люблю и страдаю,  
 Узнаетъ могила одна!

Вообще, романтизмъ и мистицизмъ (несистематическій) не мало препятствуютъ поэтическому таланту г-жи Жадовской выразиться въ полномъ его объемѣ: они вредятъ всему—и ясности идей, и неподдѣльности чувствъ, и художественной вѣрности, и наконецъ, даже стиху, который часто дѣлается подъ ихъ вліяніемъ вялъ, натянута и прозаиченъ. За то, лишь только удержится она отъ всякаго романтическаго и мистическаго искушенія, дарованіе ея выражается въ піесахъ несомнѣннаго эстетическаго достоинства. Особенно хорошо удается новому поэту выражать свои чувства при видѣ явленій природы. Не можемъ не привести здѣсь, для доказательства, небольшого стихотворенія „Приближающаяся Туча“: по нашему мнѣнію, эти восемь стиховъ стоятъ цѣлой груды романтическихъ и мистическихъ произведеній. Вотъ они (стр. 6):

Какъ хорошо! Въ безмѣрной высотѣ  
 Летятъ рядами облака чернѣя,  
 И свѣжій вѣтеръ дуетъ мнѣ въ лицо,  
 Передъ окномъ цвѣты мои качая,  
 Вдали гремитъ, и туча приближаясь  
 Торжественно и медленно несется...  
 Какъ хорошо! Передъ величьемъ бури  
 Души моей тревога утихаетъ.

Какъ это просто, вѣрно и симпатично! Кажется, такъ и чувствуешь бурю!

Но довольно! Изъ всего вышеписаннаго читатели могутъ заключить, что новый поэтъ одаренъ и талантомъ, и способностью къ дальнѣйшему развитію. Надо только пожелать ему больше любви къ жизни и какъ можно меньше любви къ призракамъ.

### А. Н. Плещеевъ.

Стихотворенія А. Плещеева. 1845—1846. Съ эпиграфомъ; *Nonno sum, et nihil humani a me alienum puto.* С.-Петербургъ. 1846.

Стихи къ дѣвѣ и лунѣ кончились навсегда. Настаетъ другая эпоха: въ ходу сомнѣніе и безконечныя муки сомнѣнія, страданіе общечеловѣческими вопросами, горькій плачъ на недостатки и бѣдствія человѣчества, на неустроенность об-

щества, жалобы на мелочь современныхъ характеровъ и торжественное признаніе своего ничтожества и безсилія; проникнутыя лирическимъ пафосомъ воззванія на доблестный подвигъ, стремленіе къ вѣчному идеалу, къ истинѣ (которая въ такихъ случаяхъ начинается большою буквой),—вотъ что теперь въ ходу!.. Таковъ духъ времени. Поле обширное для дѣятельности почетной и благотворной. Первый толчекъ данъ, разумѣется, талантами могучими и самобытными, которые сдѣлали и дѣлаютъ на этомъ полѣ много добраго. Они заставили современнаго человѣка добросовѣстнѣе и глубже взглянуть вокругъ себя и на самого себя; они внесли въ общество этотъ духъ анализа, который не далъ современному человѣку спокойно ни спать, ни дѣйствовать. Зданіе неподвижности пошатнулось. Всѣмъ стало какъ-то неловко. И теперь многое принесутъ въ жертву своему честолюбію, но уже не сдѣлаютъ этого такъ спокойно, какъ прежде. И теперь... но зачѣмъ много примѣровъ?.

Направленіе, о которомъ мы говоримъ, отразилось и на русской литературѣ, и отразилось не безплодно. Въ нынѣшнемъ году, въ лицѣ г. Плещеева, оно имѣетъ своего представителя исключительно въ русской поэзіи.

Въ томъ жалкомъ положеніи, въ которомъ находится наша поэзія со смерти Лермонтова, г. Плещеевъ—безспорно первый нашъ поэтъ въ настоящее время. Какъ великъ чинъ перваго поэта въ такое время, какъ наше, знаютъ всѣ тѣ, которые сколько-нибудь слѣдятъ за нашими нынѣшними стихотворцами и ихъ произведеніями. Мы знаемъ только, что г. Плещеевъ—первый нашъ поэтъ. Прочіе поэты, какіе есть у насъ, появляются лишь изрѣдка, набѣгами, большею частію въ журналахъ и альманахахъ, и давно уже не издають своихъ стиховъ отдѣльно—и хорошо дѣлаютъ! Тамъ, въ альманахѣ или журналѣ, между прочимъ, прочтутъ и ихъ, иногда даже и похвалятъ, изрѣдка и очень, очень похвалятъ: самолюбіе удовлетворено, стихи забыты—и все въ порядкѣ! Но выйти въ свѣтъ въ наше время съ отдѣльною книжкою стихотвореній—шагъ сколько опасный, столько же и рѣшительный, борьба на жизнь или смерть! Что-нибудь одно—или завоевать себѣ публику, или убить себя наповалъ: середины быть не можетъ. Первое очень трудно, и надо имѣть большую увѣренность въ своихъ силахъ, чтобъ итти на такое завоеваніе: второе... но кому же охота убивать себя?.. Итакъ, кто рѣшается на такой шагъ, тотъ надѣется на свои силы. Г. Плещеевъ надѣется на свои силы, и не безъ основанія. Онъ, какъ видно изъ его стихотвореній, взялся за дѣло поэта по призванію; онъ сильно сочувствуетъ вопросамъ своего времени, страдаетъ всѣми недугами вѣка, болѣзненно мучится несовершенствами общества и сгораетъ не тщетно жаждою споспѣшествовать его совершенствованію и торжеству на землѣ истины, любви и братства. Долю въ великомъ и благородномъ трудѣ совершенствованія человѣчества взялъ онъ на себя не по прихоти, не ради моды, но, какъ мы уже сказали, по призванію. Разъ, когда лежалъ онъ подъ густымъ яворомъ, и двурогая луна сіяла надъ нимъ въ

лазурной вышины, а море издавало унылый гулъ, усталые глаза поэта сомкнулись сномъ, и вдругъ явились ему *богиня, избравшая его пророкомъ*. Лучше представимъ стихи, гдѣ поэтически воспроизведенъ этотъ фактъ изъ жизни поэта:

Истерзанный тоской, усталостью томимъ,  
Я отдохнуть прилежъ подъ яворомъ густымъ.

Двурогая луна какъ серпъ жнеца кривой,  
Въ лазурной вышины сіяла надо мной.

Молчало все кругомъ... Прозрачна и ясна,  
Лишь о скалу порой дробилася волна.

Въ раздумьи слушалъ я унылый моря гулъ,  
Но скоро сонъ глаза усталые сомкнулъ.

И вдругъ явилась мнѣ, прекрасна и свѣтла,  
Богиня, что меня пророкомъ избрала.

Чело зеленый миртъ вѣнчалъ листьями ей  
И падалъ по плечамъ златистый шелкъ кудрей.

Огнемъ любви святой былъ взоръ ея согрѣтъ,  
И разливалъ на все онъ теплоту и свѣтъ.

Благоговѣнья полнъ, лежалъ недвижимъ я  
И ждалъ священныхъ словъ, дыханье притая.

Но вотъ она ко мнѣ склонилась и рукой  
Коснулася груди изрытой и больной.

И наконецъ уста разверзлись ея,  
И вотъ что услыхалъ тогда я отъ нея:

„Страданьемъ и тоской твоя изрыта грудь,  
„А предъ тобой лежитъ еще далекий путь.

„Скажу ль я, что тебя въ твоей отчизнѣ ждетъ?  
„Подыметъ на тебя каменья твой народъ.

„За то, что обвинишь могучимъ словомъ ты  
„Рабовъ грѣха, рабовъ постыдной суеты!

„За то, что возмѣстишь ты мщенья грозный часъ,  
„Тому, кто въ тинѣ зла и праздности погрязъ.

„Чье сердце не смущалъ гонимыхъ братьевъ стонъ,  
„Кому закономъ былъ отцовъ его законъ!

„Но не страшися ихъ и знай, что я съ тобой.  
„И камни пролетятъ надъ гордой головой!

„Въ цѣпяхъ ли будешь ты, не унывай и вѣрь:  
„Я отопру сама темницы смрадной дверь.



„И снова ты пойдешь, избранный мной левить  
„И въ міръ голосъ твой не даромъ прозвучить.

„Зерно любви въ сердца глубоко западетъ:  
„Придетъ пора, и дастъ оно роскошный плодъ.

„И человѣку той поры не долго ждать,  
„Не долго будетъ онъ томиться и страдать.

„Воскреснетъ къ жизни міръ.... Смотри, ужъ правды лучъ  
„Прозрѣвшимъ племенамъ сверкаетъ изъ-за тучъ!

„Иди же, вѣры полнь!.. И на груди моей  
„Ты скоро отдохнешь отъ муки и скорбей“.

Сказала... и потомъ сокрылася она;  
И пробудился я, взволнованный, отъ сна.

И истинѣ святой, исполненъ новыхъ силъ,  
Я далъ обѣтъ служить, какъ прежде ей служилъ.

Мой падшій духъ возсталъ...

. . . . .

Этимъ стихотвореніемъ начинается книжка г. Плещеева. Г. Плещеевъ вообще нерѣдко говорить въ своихъ стихахъ о самомъ себѣ; но это не плаксивыя жалобы на судьбу, не стоны разочарованія, не тоска по утраченномъ личномъ счастьи, — нѣтъ, это вопли души, раздираемой сомнѣніемъ, глухая и упорная битва съ дѣйствительностью, безобразіе которой глубоко постигнуто поэтомъ, и среди которой ему душно и тѣсно, какъ въ смрадной темницѣ. Онъ хотѣлъ бы выломить желѣзныя рѣшетки, отворить двери и окна, чтобы, пропустивъ въ это жилище мрака и зловонія живительный лучъ солнца, благоуханную струю свѣжаго воздуха, дать отогрѣться и вздохнуть вольною грудью своимъ страдающимъ, изнеможеннымъ и безсильнымъ братіямъ; но онъ одинъ... одинъ посреди этого хаоса личныхъ интересовъ и эгоизмовъ, сталкивающихся и путающихся между собою и гуломъ борьбы своей заглушающихъ его голосъ... Но голосъ его не слабѣетъ; изнемогая въ борьбѣ, но далекій отъ того, чтобъ уступить, безславно бѣжать съ поля, онъ восклицаетъ къ своихъ друзьмъ;

Впередъ! безъ страха и сомнѣнья  
На подвигъ доблестный, друзья!

. . . . .  
. . . . .

Смѣлѣй! Дадимъ другъ другу руки,  
И вмѣстѣ движемся впередъ,  
И пусть подъ знаменемъ науки  
Союзъ нашъ крѣпнетъ и растетъ.

Жрецовъ грѣха и лжи мы будемъ  
Глаголомъ истины карать;  
И спящихъ мы отъ сна разбудимъ  
И поведемъ на битву рать!

Не сотворимъ себѣ кумира  
Ни на землѣ, ни въ небесахъ;  
За всѣ дары и блага міра  
Мы не падѣмъ предъ нимъ во прахъ,

Провозглашать любви ученье  
Мы будемъ нищимъ, богачамъ,  
И за него снесемъ гоненье,  
Простивъ озлобленнымъ врагамъ!

Блаженъ, кто жизнь въ борьбѣ кровавой,  
Въ заботахъ тяжкихъ истощилъ;  
Какъ рабъ лѣнивый и лукавый,  
Талантъ свой въ землю не зарылъ!

Пусть намъ звѣздою путеводной  
Святая истина горитъ;  
И вѣрьте, голосъ благородной  
Не даромъ въ міръ прозвучитъ!

Вотъ что восклицаетъ г. Плещеевъ къ друзьямъ своимъ. Самая исторія личныхъ страданій поэта (а судьба щедро надѣлила г. Плещеева страданіями) тѣсно связана съ его произведеніями. Онъ любилъ; и любовь не принесла ему тѣхъ радостей, которыя таятся въ задушевномъ размѣнѣ съ любимымъ существомъ сокровеннѣйшихъ и завѣтнѣйшихъ тайнъ сердца. Увы, онъ обогналъ въ развитіи своемъ ту, которая владѣла его сердцемъ, и, какъ другой не менѣе замѣчательный поэтъ, постигнутый тою же участью и опклакавшій эту мрачную катастрофу въ жизни своей этими многознаменательными стихами:

Мнѣ стыдно женщину любить  
И не назвать ее сестрой,—

г. Плещеевъ восклицаетъ:

Мы близки другъ другу... я знаю,  
Но чужды по духу!...

И далѣе:

Мнѣ все суждено ненавидѣть,  
Что рабски привыкла ты чтить!...

Итакъ, должно разстаться. Разстаться!.. И вотъ поэтъ одинъ!.. Ужасная участь могучей личности, одиноко стоящей посреди равнодушной толпы, нагруженной въ пошлые интересы свои!..

Онъ когда-то любилъ „прославлять Вакха“, но сомнѣненіе отравило бокалъ съ шипучимъ нектаромъ, къ которому онъ нѣкогда прикладывался, и онъ бѣжитъ отъ мѣста ликованья, и стыдно, стыдно ему...

И стыдно, стыдно мнѣ... Отъ мѣста ликованья,  
Взволнованъ, я бѣгу подъ мой смиренный кровъ:  
Но тамъ гнететъ меня ничтожество сознанья,  
И душу всю тогда я выплакать готовъ...

Выпишемъ еще вполнѣ стихотвореніе „Прости“, чтобы довершить побѣду поэта надъ вниманіемъ читателей, столь равнодушныхъ къ поэзіи:

Прости, прости, настало время!  
Разстаться должно намъ съ тобой.  
Възлѣзъ парусъ мой, и звѣзды  
Зажглися въ тверди голубой.

О, дай усталой головою  
Еще на грудь твою прилечь:  
Въ послѣдній разъ облить слезами  
И шелкъ волосъ, и мраморъ плечь.

А тамъ разстанемся надолго...  
Когда же мы сойдемся вновь,  
Дитя, въ сердцахъ, быть можетъ, холодъ  
Замѣнитъ прежнюю любовь,

Быть можетъ, дерахо все бывшее  
Тогда мы вмѣстѣ осмѣемъ,—  
Хотя украдкой другъ отъ друга  
Слезу невольную прольемъ...

Прости же, другъ! Полна печали  
Душа моя... Но часъ насталъ,  
И въ путь нетерпѣливый плескомъ  
Зоветъ меня серебристый валъ...

**Превосходно!**

Вторую половину книги г. Плещеева составляютъ переводы изъ Гейне. Вотъ что говоритъ поэтъ въ предисловіи, названномъ имъ: „Два слова къ читателю“:

„Переводя стихотворенія Гейне, я старался сдѣлать изъ него выборъ по возможности разнообразный, чтобы показать со всѣхъ сторонъ прихотливый и своеобразный талантъ нѣмецкаго поэта. Юморъ и мечтательность, грусть и насмѣшка, романтизмъ и дѣйствительность идутъ здѣсь рука объ руку. Въ Германіи пѣсни Гейне сдѣлались народными; отзывы французской критики доставили имъ прочную извѣстность во Франціи. И у насъ переведены нѣкоторыя пьесы Гейне, правда, весьма немногія, однообразныя, и оттого, можетъ быть, не возбуждившія въ читателяхъ сочувствія къ поэту. Оцѣнить предлагаемые пере-

воды есть дѣло критики; но я осмѣливаюсь взять на себя отвѣтственность только за вѣрность ихъ подлиннику“.

Мы не того мнѣнія о томъ родѣ стихотвореній Гейне, изъ котораго поэтъ нашъ дѣлалъ выборъ. Простота ихъ кажется намъ натянутою, содержаніе изысканнымъ, увлекающимъ съ перваго взгляда какою-то оригинальностію, подъ которою, впрочемъ, ничего не скрывается. *Претензія на глубокость мысли и чувства въ легкой и часто шутиливой формѣ*—вотъ опредѣленіе этого рода стихотвореній Гейне. Во всякомъ случаѣ, истины и простоты въ нихъ мало, что доказывается, между прочимъ легкостію, съ какою даже у насъ имъ удачно подражаютъ, и еще большею легкостію, съ которою каждый понимающій сколько-нибудь стихосложеніе можетъ въ одну минуту смастерить на нихъ пародію. Пародія—проба безошибочная. На произведеніе истинно даровитое написать пародію не возможно, по крайней мѣрѣ, чрезвычайно трудно, и такія пародіи рѣдки. Можно передѣлать какое-нибудь отдѣльно взятое даровитое произведеніе, придать ему смѣшной отгѣнокъ; но попробуйте написать пародію на Пушкина или Лермонтова, не придерживаясь исключительно какого-нибудь одного стихотворенія, а такъ, чтобъ схватить духъ и колоритъ того или другого поэта, развивая въ пародіи вашу собственную мысль,—не напишите; иначе будете сами второй Пушкинъ или Лермонтовъ!

Итакъ, по нашему мнѣнію, надо жалѣть, что поэтъ тратилъ время на переводъ чужихъ, да еще и неудачныхъ стихотвореній въ то время, какъ могъ самъ подарить публику еще нѣсколькими плодами своей музыки, конечно, несравненно болѣе достойными ея вниманія.

Но дѣло сдѣлано!

А между тѣмъ, переводы изъ Гейне напомнили намъ одного русскаго поэта, котораго никто не помнитъ, хотя въ мое время—лѣтъ десять—его стихи и обратили на себя вниманіе людей со вкусомъ и поэтическимъ тактомъ. Считаю долгомъ напомнить объ нихъ, потому что видѣть забвеніе истинно поэтическихъ произведеній еще прискорбнѣе, чѣмъ видѣть появленіе бездарныхъ виршей, вооруженныхъ самолюбивыми претензіями. Стихотворенія, о которыхъ говоримъ мы, напечатаны въ „Современникѣ“ 1836 и 1837 годовъ подъ названіемъ „Стихотворенія, присланныя изъ Германіи“ и принадлежатъ автору, подписывавшемуся буквами *Θ. Т.* <sup>1)</sup>. Тамъ они умерли... Странная дѣла дѣлаются у насъ въ литературѣ! Какъ часто произведенія, отмѣченныя печатью истиннаго таланта, забываются, какъ не стоящія -вниманія, а порожденія самолюбивой затѣйливости дерзко выступаютъ на свѣтъ и гордо требуютъ себѣ вниманія, котораго, право, не заслуживаютъ..

<sup>1)</sup> Федоръ Ивановичъ Тютчевъ.

## И. С. Аксаковъ.

Зимняя дорога (*Licentia pëstica*). Сочиненіе И. Аксакова. Москва 1846.

Двое молодыхъ людей—Ящеринъ и Архиповъ—ѣдутъ изъ Москвы, какъ кажется, за нѣсколько сотъ верстъ на именины одного помощника, Ящерина. (Это еще дѣлается въ Москвѣ). Ящеринъ мечтаетъ и размышляетъ вслухъ стихами. Ящеринъ, кажется, не высокаго мнѣнія о мечтахъ и размышленіяхъ вообще, и въ особенности о тѣхъ, которымъ предается его спутникъ. За то авторъ „Зимней дороги“ видимо не любитъ его и мало имъ занимается, сосредоточивая всю свою симпатію на Архиповѣ. Внимательность его къ этому юношѣ такъ сильна и нѣжна, что мы подозрѣваемъ: нѣтъ ли тутъ авторской хитрости, и уже не самого ли себя изобразилъ авторъ въ лицѣ московскаго мечтателя. При томъ же мечтаетъ и размышляетъ Архиповъ о такихъ предметахъ, которые, какъ видно, очень близки сердцу автора, то-есть, о русской народности, о добродѣтеляхъ русскаго мужика, будущей судьбѣ Россіи, о прелестяхъ русскаго семейнаго быта и т. п. Въ началѣ пьесы, когда еще Ящеринъ не спитъ, между нимъ и его спутникомъ завязывается довольно живой разговоръ, изъ котораго тотчасъ видно, что онъ, Ящеринъ,—просто порядочный человѣкъ, а Архиповъ—отчаянный славянофилъ. Въ монологахъ мечтателя есть такія замѣчательныя выраженія славянофильскаго задора, что мы рѣшаемся выписать кое-что изъ разговора московскихъ молодыхъ людей.

## Архиповъ.

. . . . .  
 . . . . . Какъ радъ я, Боже мой,  
 Что отъ искусственной, условной жизни нашей  
 Могу прибѣжище, свободнѣе и краше,  
 Найти въ природѣ русской и простой!

## Ящеринъ.

Ты фантазируешь не худо,  
 Да я не фантазеръ. Хоть самъ люблю порой  
 Природу и стихи, но занятъ я покуда  
 Все той-же думою одной.  
 Я далѣе тебя несусь своей душою,  
 Скажу тебѣ здѣсь кстати вновь,—  
 Я не съ одной хочу сочувствовать страню,  
 Во мнѣ пространнѣе любовь!  
 Природой русскою и русскимъ человѣкомъ  
 Нелзя, повѣрь, довольнымъ быть  
 Тому, кто вслѣлъ илетъ за просвѣщеннымъ вѣкомъ!

## Архиповъ.

Мы любимъ жить чужимъ умомъ,  
Свое чужимъ аршиномъ мѣрить  
И пировать въ пиру чужомъ,  
Кому не нужны мы, о томъ  
И хлопотать, и лицемѣрить!

Но если въ комъ не даромъ кровь  
Волнуетъ пылокое стремленье,  
Зоветь пространная любовь,  
Чтобъ угнетаемому вновь,  
Воздать все прежнее значенье,

Такъ чѣмъ глядѣть по сторонамъ,  
Въ чужомъ пиру искать похмѣлья  
И по проложеннымъ тропамъ  
Итти во слѣдъ чужимъ стопамъ,  
Ковать ненужныя издѣлья,—

Пусть плену съ себя сорветъ,  
Пусть ближе онъ допуститъ къ сердцу,  
Что отзвѣвъ въ немъ родной найдетъ,  
*Что чужестранецъ не пойметъ,*  
*Что будетъ дико иновѣрцу...*

Пусть онъ почувствуетъ въ себѣ  
Всю святость узъ своихъ къ народу...  
По непроложеннымъ слѣдомъ,  
Но по стопамъ чужимъ и узкимъ,  
Народъ въ развитіи своемъ  
Пойдетъ, повѣрь, инымъ путемъ,  
Самостоятельнымъ и русскимъ!

Услышь, Господь, усердный зовъ:  
Чтобъ самобытное начало  
Своихъ разсѣяло враговъ  
И его нравственныхъ оковъ  
Съ себя презрѣнное сорвало!

Выслушавъ два-три такіе монолога, Ящеринъ засыпаетъ, а „Архиповъ впадаетъ въ дремотное раздумье. Передъ нимъ, въ неопредѣленныхъ, смутныхъ образахъ носятся его собственныя, разнообразныя думы, и слышится ему ихъ звутный шопоть“ (стр. 12). Одинъ изъ этихъ голосовъ, кажется, всѣхъ сильнѣе подействовалъ на Архипова, именно тотъ, который совѣтовалъ ему не предаваться безплоднымъ мечтамъ, разтлѣвающимъ всѣ нравственныя силы человѣка, и обратиться къ міру дѣйствительному.

Наконецъ, путешественники пріѣзжаютъ на станцію. Присмотрѣвшись въ полчаса къ дѣйствительности въ грязной избѣ, набитой неопрятными мужиками,



архиповъ объявляетъ Ящерину о своемъ рѣшительномъ намѣреніи бросить всякія мечты и отвлеченности. Тѣмъ и кончается лиценція г. Аксакова.

## Н. В. Сушковъ.

### I.

Москва. Поэма въ лицахъ и дѣйствіи, въ пяти частяхъ. *Н. В. Сушкова*. Москва. 1847.

„Москвитянинъ“, въ началѣ прошлаго года, взывалъ къ ученымъ, писателямъ и художникамъ о приготовленіи *возможныхъ* (?) произведеній къ семисотлѣтнему юбилею историческаго существованія Москвы, имѣющему быть сего года въ апрѣлѣ мѣсяцѣ. Г. Сушковъ, извѣстный своими стихотвореніями, пожелалъ, съ своей стороны, принести дань признательности Москвѣ, воспитавшей его дѣтствомъ въ „приуниверситетскомъ училищѣ“. Плодомъ этого прекраснаго желанія явилась поэма въ лицахъ и дѣйствіяхъ „Москва“.

Но „поэма въ лицахъ и дѣйствіи—значить драма“, говоритъ авторъ:—„почему же не назвать драмы драмою?“ Что отвѣчать на такой вопросъ строгихъ аристарховъ?

„Пушкинъ“, отвѣчаетъ авторъ,—„не рѣшился назвать драмою „Бориса Годунова“. Гоголь назвалъ „Мертвыя души“ не романомъ, а поэмой, какъ названы „Телемакъ“, „Нума Помпилій“, Хераскова „Кадмъ и Гармонія“. Да что же такое, впрочемъ, всякая живая, историческая или современная поэма, когда въ ней не одни описанія и рассказы, но движеніе, жизнь, дѣйствіе, какъ въ „Иліадѣ“, „Одиссее“, „Энеидѣ“, въ „Потерянномъ Раю“, наконецъ, въ „Божественной Комедіи“? Что же, въ правду, у Гомера, у Виргилія, у Данта, у Мильтона, у Клопштока, у Тасса, Сервантеса, Камюэнса, Аріоста, Байрона и т. д., что же ихъ исполненныя жизни, движенія, дѣйствія, разговоры поэмы, какъ не драмы, не трагедіи, не комедіи? И на оборотъ: не поэмы ли многія изъ драматическихъ произведеній Шекспира, Шиллера, Гете, какъ напримѣръ *историческія* драмы Шекспира, взятая вмѣстѣ: Ричарды, Генрихи и Іоаннъ? Не эпизоды ли представляетъ каждая изъ нихъ отдѣльно? Соедините эпизоды эти, и у васъ будетъ обширная поэма въ лицахъ и дѣйствіи. Тѣ же поэмы—„Іоанна д'Аркская“, „Фаустъ“ и т. п. „Впрочемъ“, прибавляетъ авторъ,—„я назвалъ поэмою 5 драмъ, въ которыхъ предположилъ обрисовать Москву отъ колыбели ея до новѣйшихъ временъ, потому отчасти, что не каждая изъ нихъ, вѣроятно, можетъ быть представлена въ цѣломъ на театрѣ: однѣ, по разнымъ причинамъ, едва ли могутъ быть играны безъ пропусковъ, другія не останутся ли только для чтенія“?

Послѣдняя причина, именно—невозможность представить въ цѣломъ всѣ пять драмъ, ни подъ какимъ видомъ не оправдываетъ названія. Драма останется драмой, хотя бы она и не была играна по какимъ-либо обстоятельствамъ: нѣтъ

причины называть не игранныя драмы поэмами! Представленіе или непредставленіе написанной пьесы есть дѣло внѣшнее, постороннее, точно такъ же, какъ произнесеніе приготовленной проповѣди. Мы знаемъ драмы, въ которыя внесено много эпического элемента; знаемъ и эпическія произведенія, гдѣ много драматизма: но, не смотря на это, преобладающая стихія того или другого поэтического рода указываетъ имъ мѣсто въ томъ, а не въ другомъ родѣ. Если же, по мнѣнію автора, границы эпоса и драмы неопредѣленны и сбивчивы, какъ черезполосныя владѣнія, то зачѣмъ же столько заботливости въ оправданіи названія, при одномъ предположеніи запроса со стороны какихъ-то аристарховъ? Видно, въ этомъ стараніи застраховать имя „поэмы“ таится какой-нибудь смыслъ: какой же именно?

Поэма г. Сушкова обнимаетъ исторію Москвы отъ колыбели ея до новѣйшихъ временъ, отъ 1141 года (слѣдовательно, за шесть лѣтъ до того времени, когда впервые заговорили о ней въ лѣтописи) по 1814 годъ включительно. *Шестьсотъ семьдесятъ три года* взялъ на свою долю новѣйшій эпическій пѣснопѣвецъ! Что значать передъ такимъ количествомъ годовъ странствованія Улисса, подвиги Готфреда, приключенія Телемака? Городъ живетъ несравненно дольше человѣка... Но такъ какъ послѣдовательное описаніе каждаго года обратилось бы въ сухую лѣтопись и потребовало бы не пяти, а можетъ быть, ста пяти актовъ, то авторъ на всемъ протяженіи исторической и до-исторической жизни Москвы выбираетъ блистательнѣйшіе ея пункты. Всѣхъ пунктовъ одиннадцать: 1141 годъ—введеніе въ историческую жизнь Москвы, 1147—сѣздъ князей, на которомъ въ первый разъ заговорили о Москвѣ, 1339—смерть Калиты, 1380—послѣ битвы на Куликовомъ полѣ, 1462—Василій Темный и его мудрый соправитель Іоаннъ III, 1505—Іоаннъ III, 1584—смерть Грознаго, 1672—рожденіе Петра, 1796—смерть Екатерины II, 1812—война съ французами, 1814—торжество Александра и Россіи. Первая часть поэмы служитъ введеніемъ въ историческую жизнь Москвы (1141 г.), во второй сдѣланъ сѣздъ князей (1147 г.), третья, подраздѣленная на три главы, обнимаетъ все протяженіе времени отъ Калиты до Петра (1339—1672 гг.), въ четвертой—воспоминанія о Петрѣ и Екатеринѣ, въ пятой—закрывающей въ себѣ двѣ главы, представлены 1812 и 1814 годы—жертва Москвы и торжество при вѣсти о взятіи Парижа.

Когда мы вообразимъ 673 года, надъ которыми работала фантазія поэта, и потомъ взглянемъ на поэму, книжку довольно тощую, заключающую въ себѣ 222 страницы, то не можемъ не спросить себя: какимъ образомъ поэтическое представленіе историческихъ судебъ Москвы помѣстилось на такомъ небольшомъ количествѣ бумаги? Хотя авторъ выбралъ только одиннадцать событій, которыя лежатъ яркими замѣтками на лѣтописяхъ древней столицы, но вѣдь событія эти имѣютъ же между собою какое-нибудь соотношеніе, и поэтическое произведеніе, которое воспроизводитъ ихъ, должно же быть единымъ и цѣлымъ, на сколько бы

актовъ или частей оно ни раздѣлялось. Еще прежде чтенія, при одномъ взглядѣ на книгу, насъ пугаетъ такая несоразмѣрность между предметомъ сказанія и самимъ сказаніемъ. Перебираемъ въ памяти всѣ извѣстныя поэмы и нигдѣ не находимъ, чтобы поэтъ воспѣлъ одиннадцать событій на 222 страницахъ крупнаго шрифта. Но это число страницъ уменьшается почти въ половину, если выбросить имена дѣйствующихъ лицъ, напечатанныя среди строкъ. Остается всего на все 111 страницъ. *Одиннадцать* событій на *ста-одиннадцати* *страницахъ!* *Десять страницъ* на эпическое изображеніе одного событія! Это первый, блистательный примѣръ поэтической краткости. Если поэтъ не будетъ въ такомъ случаѣ темнымъ на основаніи Гораціева стиха: „я краткость сохранилъ—нельзя понять меня“, то онъ непремѣнно будетъ не-поэтомъ или вторымъ Шекспиромъ. Его поэма въ лицахъ и дѣйствіи сдѣлается наборомъ лѣтописныхъ замѣтокъ. Вы скажете: изображеніе каждаго событія составляетъ у меня картину, не больше. Положимъ, что такъ; назовите какъ угодно то, что вы написали, но картина живописца и картина поэта—двѣ вещи разныя: первая представляетъ одинъ только моментъ событія, для второй необходимъ рядъ послѣдовательныхъ моментовъ. Если стихотвореніе ваше—поэма въ лицахъ и дѣйствіи, то мы хотимъ въ ней видѣть жизнь лицъ и развитіе дѣйствія. По вашимъ собственнымъ словамъ, въ исторической поэмѣ должны быть не одни описанія и рассказы, но движеніе, жизнь, дѣйствіе. А для всего этого понадобится не только значительный талантъ изобразителя, но даже извѣстная величина изображенія. Сверхъ того, чѣмъ событіе ближе къ намъ, тѣмъ труднѣе дѣло поэта: ибо жизнь новаго времени такъ многосложна и разнообразна, что никакъ не можетъ вмѣститься, во всей своей полнотѣ, въ одномъ эпическомъ произведеніи, чего, однакожъ, мы непремѣнно требуемъ отъ истинной поэмы. Вотъ почему самыя лучшія опыты въ этомъ родѣ не достигали своей цѣли, и поэма, невозможная въ наше время, перешла въ романъ. У г. Сушкова вышло совершенно противное. Четвертая и пятая части его поэмы, обнимающія событія новаго времени, меньше предыдущихъ частей, которыя имѣютъ дѣло съ происшествіями отдаленными. Какимъ же образомъ это случилось? Видно, для этого нужны особенныя поэтическія приемы...

Возьмемъ примѣръ изъ первой части, въ которой, по словамъ автора, накинута въ легкихъ очеркахъ древняя жизнь Руси и, между прочимъ, самохвальство Великаго Новгорода. Посмотримъ же, какъ поэма изобразила это самохвальство. Черезъ то мѣсто, гдѣ спасается отшельникъ Букаль, черезъ мѣсто будущей Москвы, проходятъ новгородскіе посадникъ, два боярина, два тиуна, два купца, именитые граждане, посольскій поѣздъ изъ гражданъ и воиновъ, потомъ псковскіе купцы, тверичи, княжескій гонецъ и трое спутниковъ его. Между дѣйствующими лицами начинается слѣдующій разговоръ (стр. 39—42):

„Г о н е ц ъ. Старинушка! Не проходили-ль черезъ боръ черныя клобуки и бродники?

„Букалъ. Не видалъ, да и не слышно про нихъ.

„Сергій. О зимнемъ Николѣ прошли тутъ стороною именитые люди, съ бояриномъ да малой дружиной, изъ Твери.

„Гонецъ. Да, поискать въ Донскихъ степяхъ бродниковъ.

„Первый тверичъ. А по Днѣпру черныхъ клобуковъ добыть.

„Посадникъ. Наемными людьми чаете оборониться отъ недруга?

„Второй тверичъ. А какъ быть?

„Третій тверичъ. Однимъ трудно со всякимъ врагомъ совладать.

„Псковичъ. Нынѣ такія времена пришли: кто куда ни глянь—держи ухо востро!

„Бояринъ. И Новгородъ Великій не дремлетъ. Гдѣ шведа, гдѣ корела поколотить.

„Другой бояринъ. Гдѣ въ ливъ пустить ливнемъ рать.

„Тіунъ. Гдѣ на литву, гдѣ на ляха дружина пойдетъ, какъ на звѣря.

„Другой тіунъ. А гдѣ и съ братцемъ роднымъ, съ Великимъ Псковомъ посчитается.

„Второй псковичъ. Не дѣло бы и поминать объ этомъ, братцы! И съ насъ, и съ васъ вдоволь чужеземныхъ враговъ.

„Третій псковичъ. Съ своими-то грѣшно бы и ссориться.

„Первый купецъ. Такъ и у насъ думаютъ на вѣчѣ.

„Второй купецъ. Съ тѣмъ и послали насъ къ великому князю, чтобъ далъ миръ.

„Посадникъ. На всей нашей волѣ.

„Первый псковичъ. Ладно присудило вѣче.

„Второй псковичъ. Давно бы такъ.

„Третій псковичъ. Будетъ съ великаго князя возни гдѣ съ ляхами, гдѣ съ чехами, а гдѣ и съ уграми.

„Первый купецъ. Наше дѣло торговое.

„Второй купецъ. Покупать, продавать да мѣнять.

„Первый бояринъ. Да новыя земли открывать.

„Второй бояринъ. Да дикіе народы унимать.

„Первый тіунъ. Да иностранныхъ гостей угощать.

„Второй тіунъ. Да отъ Волхова до Бѣлаго моря и во всю Біармію Великій Новгородъ прославлять.

„Посадникъ. Велика св. Софія, покровительница наша!

„Ратники. Кто противъ Бога и Великаго Новгорода?

„Посадникъ. Славенъ, славенъ Великій Новгородъ!

„Всѣ новгородцы. Славенъ Великій Новгородъ!

„Псковичи. Славенъ Великій Псковъ!

„Тверичи. Славенъ нашъ городъ Тверь!

„Сергій. Славенъ городъ Суздаль! Славенъ городъ Владиміръ!“

При этомъ восклицаніи выходятъ изъ глубины смоляки, а съ правой стороны—рязанцы. Разговоръ продолжается такъ:

„Смоляки. Славенъ городъ Смоленскъ!“

„Рязанцы. Славенъ городъ Рязань!“

„Всѣ. Славны всѣ города русскіе!.. *(Въ восторгъ любви къ отечеству, цѣлуются и обнимаются между собою)*“.

Это, по словамъ поэмы, выражаетъ самохвальство Великаго Новгорода и общую всѣхъ племенъ любовь къ общему отечеству—Руси! Но подобное выраженіе ничѣмъ не отличается отъ лѣтописныхъ указаній, что вотъ-де у новгородцевъ была любимая поговорка: „кто противъ Бога и великаго Новгорода?“. Въмѣсто того, чтобъ вводить малую толику лицъ для произнесенія нѣсколькихъ словъ, авторъ могъ бы сослаться на лѣтопись, гдѣ эти слова значатся, или отъ своего лица пересказать ихъ. Разговорная форма нисколько не прибавляетъ эффекта, потому что разговоръ, какъ форма, не составляетъ еще ни драмы, ни поэмы. Къ тому же, подобное выраженіе жизни, чувствъ, ее волнующихъ, мыслей, ея управляющихъ, отмѣнно легко: тремя словами житель города выражаетъ свою любовь къ родинѣ и вмѣстѣ общую всѣмъ племенамъ любовь къ отечеству. Впрочемъ, другого пріема и быть не могло: стихотворцу оставалось единственное средство сладить съ такимъ протяженіемъ захваченнаго имъ времени—система сокращенныхъ разговоровъ. Дѣйствующее лицо, безъ дальнѣйшихъ околичностей, высказываетъ отъ себя свойства цѣлаго класса, къ которому оно принадлежитъ. Дѣло идетъ поспѣшно. Конечно, разговорная форма нигдѣ и ничѣмъ не нарушена, но нѣтъ принадлежности эпического творенія. Другими словами, сочиненіе г. Сушкова не поэма и не могло быть поэмой.

Вмѣстѣ съ этимъ, оно и не драма. Драма требуетъ развитія дѣйствія, игры страстей, жизни внутренняго человѣка, характеровъ. Ничего подобнаго не видно въ поэмѣ г. Сушкова. Гдѣ главные дѣйствующія лица каждой ея части, около которыхъ группировались бы другія, созданныя для раскрытія важнѣйшаго характера? Въ первой части, полнѣйшей и лучшей относительно, пустынный Букаль не можетъ назваться драматическимъ героемъ: его воля лишена самобытности, необходимой для интереса и свободы дѣйствія; жизнь его, какъ жизнь аскетика, подчинена высшему вліянію; онъ умерщвляетъ плоть, помыслы и желанія свойственныя человѣку; зачѣмъ же въ этотъ міръ, непричастный земному, зайдетъ драма? Фантазія поэта и вниманіе читателя могли бы остановиться на Еленѣ, дочери Кучки; но ея чувство живетъ не собственною жизнью: отъ начала до конца оно состоитъ подъ вліяніемъ сновъ, которые указали ей суженаго въ князѣ Андреѣ Юрьевичѣ, подъ вліяніемъ гаданій нянюшекъ и приживальщицъ, подъ вліяніемъ юродивыхъ пѣсенъ юродиваго. Благороднѣйшая страсть женщины, любовь уволена, такимъ образомъ, отъ естественнаго, разумнаго хода; она заключена

въ какой-то кругъ волшебствъ и наговоровъ, какъ сама женщина заключалась въ крѣпкихъ теремахъ. Во второй части Іоакимъ Кучка, питающій желаніе мести за убійство отца своего, представлялъ тоже случай для трагическаго положенія; но авторъ вздумалъ сотворить изъ него мелодраматическаго героя и тѣмъ испортилъ все дѣло. Сынъ убитаго хочетъ мстить не убійцѣ, а сыну убійцы, для того, видно, чтобъ имѣть случай произнести слѣдующій монологъ (стр. 89):

Не знаете вы сердца моего;  
 Мнѣ нуженъ сынъ; не надо мнѣ его,  
 Георгія; что тутъ? какая радость?  
 Убей— и кончено! а скорбь? а мука?  
 А злобы ядъ безсильный на душѣ?  
 А вопль, проклятiя, безумный ропотъ?  
 Вотъ, вотъ что нужно мнѣ, вотъ мести сладость,  
 Вотъ я чего добьюсь, когда сгублю  
 Его любовь, его надежды—сына:....  
 Онъ кинется на трупъ оледенѣлый,  
 Завопитъ, задрожитъ, рожденья часъ,  
 Женитьбы часъ, любовь жены, себя,  
 Все проклянетъ, все, къ жизни охладѣлый!...

Какъ странно звучитъ послѣднее слово въ устахъ русскаго боярина за 700 лѣтъ до нашего разочарованія! Впрочемъ, оно гармонируетъ тѣмъ мелодраматическимъ чувствамъ, которыя угодно было автору вложить въ сердце Кучки. Подобно Гамлету, этотъ Кучка выбираетъ жертву, чтобъ увеличить силу мщенія. Жаль только, что наши бояре XII вѣка не вѣдали гамлетовскихъ замашекъ, отличаясь патріархальною рѣшимостью, какъ въ питіи крѣпкихъ медовъ, такъ и въ пролитіи крови, за что больно осуждалъ ихъ Карамзинъ, смотрѣвшій на прежнее глазами новаго. Предки наши величали нерѣшительныхъ бабами; теперь, увы! многіе мужчины-бабы величаютъ себя Гамлетами... Другія времена, другіе нравы.

Третья часть выводитъ на сцену важныя историческія лица—Калиту и Самеона Гордаго, Евдокію супругу Донского, Василія Темнаго и сына его, наконецъ, царевну Софію Алексѣевну. Сколько сюжетовъ для драматическаго писателя! Одна Софія могла бы дать богатаго матеріала на цѣлую драму, не только на нѣсколько сценъ! Но Софія, въ поэмѣ г. Сушкова, читаетъ монологъ а Іа Пименъ въ „Борисѣ Годуновѣ“ и въ духѣ историческихъ воззрѣній г. Погодина. Василій Темный даетъ нѣсколько совѣтовъ сыну на манеръ совѣтовъ, данныхъ Борисомъ своему наслѣднику въ томъ же сочиненіи Пушкина; Евдокія говоритъ какъ книга, какъ начитаннѣйшая женщина, и въ добавокъ пророчитъ о Карамзинѣ; задумчивый Калита, въ нѣсколькихъ стихахъ, упомянулъ что-то объ угрызѣніяхъ совѣсти, что заставило насъ опять вспомнить „Бориса Годунова“, и именно тѣ монологи, которыми онъ такъ искренно даетъ знать о внутреннихъ своихъ мученіяхъ при наружномъ блескѣ властвованія. Нѣтъ истиннаго драма-



тизма и въ третьей части; есть только разговорная форма. Нѣсколько лицъ сойдутся поговорить за тѣмъ только, чтобъ извѣстить читателя о томъ, что дѣлалось съ Москвой между предыдущею и послѣдующею частями поэмы, и что въ ней дѣлается теперь. Говорятъ собственно не они, а лѣтописи, сказанія которыхъ высказываются не однимъ лицомъ, а отъ имени многихъ. Это діалогическая форма лѣтописи; творчества здѣсь нѣтъ, или оно ложно, какъ увидимъ ниже. О четвертой и пятой частяхъ говорить нечего: содержаніемъ для нихъ взяты такіа важныя событія, которыя трудно очеркнуть слегка на десяткѣ страницъ, не только развивать вполнѣ или создавать характеры.

Сдѣлаемъ выводъ изъ всего сказаннаго. Сочиненіе г. Сушкова не *поэма* по многимъ причинамъ: во-первыхъ, потому что, захвативъ сотни лѣтъ для своего содержанія, оно и не могло быть поэмой, которой назначеніе—выражать вполнѣ выбранную эпоху. О прочихъ причинахъ позволяемъ себѣ умолчать. Сочиненіе г. Сушкова и не *драма*, потому что не представляетъ элементовъ, нужныхъ для этого поэтического рода... Слѣдовательно, названіе, которое онъ далъ своему сочиненію, должно измѣниться. вмѣсто: *поэма въ лицахъ и дѣйствіи*, надобно напечатать: *ни поэма, ни драма*. Не знаемъ, согласится ли съ нами самъ поэтъ, и предвидѣлъ ли онъ то, что скажетъ ему критика; но мы думаемъ, что смыслъ предисловія нами понятъ, и что авторъ имѣлъ въ виду нѣчто подобное, стараясь застраховать то имя, которымъ онъ окрестилъ свое произведеніе.

Но какъ же назвать это произведеніе? Если вы обращаетесь къ намъ съ этимъ вопросомъ, то мы скажемъ въ отвѣтъ: *стихотворно-прозаическіе разговоры*, разговоры на нѣкоторые пункты лѣтописей. Впрочемъ, названіе ничего не говоритъ въ пользу или противъ предмета. Оставимъ его, какъ вещь неважную, и посмотримъ, какимъ взглядомъ на исторію руководствовался авторъ этого стихотворенія въ діалогахъ.

Есть два воззрѣнія на исторію вообще, и на русскую въ особенности: одно—чисто-разумное, другое—чисто-мистическое. Первое, признавая неисповѣдимые пути Промысла въ судьбахъ человѣчества, останавливается, однакожъ, на одномъ человѣческомъ, подлежащемъ разумному сужденію, и считаетъ бесполезнымъ, даже святотатственнымъ пытаться неисповѣдимое. Для него исторія рода человѣческаго есть чудесное не въ смыслѣ языческомъ, когда человѣку не позволялось ступить шагу безъ помощи бога или полубога, а въ смыслѣ истиннаго мудреца, для котораго велико только заслуженное, прекрасно только самобытно-прекрасное. Другое, мистическое воззрѣніе замѣняетъ знаніе предвидѣніемъ или, по крайней мѣрѣ, предчувствіемъ; оно не мыслить силлогизмами, какъ свойственно мыслящей способности, а гадаетъ ощущеніями; даже настоящее чувство уступаетъ въ немъ мѣсто темному предчувствію. Въ судьбахъ народа историки-мистики любятъ особенно случайнымъ совпаденіемъ событій, рѣшительно ничѣмъ не связанныхъ, преимущественно устремляютъ свое вниманіе на тѣ пункты, въ которыхъ есть

что-то не разгаданное, тайное, и, благоговѣя предъ непонятнымъ, не хотятъ видѣть, что не разгаданное и тайное существуютъ только временно. Еслибы г. Сушковъ не выставилъ года на своемъ сочиненіи, то критики могли бы легко ошибиться въ точномъ опредѣленіи времени, къ которому отнести его поэму; но, прочитавъ ее, они безошибочно сказали бы, что поэма появилась послѣ „Чтеній о словесности“ г. Шевырева. Какъ г. Шевыревъ видитъ въ основаніи Москвы нѣчто таинственное, чудесное, относя первое зерно ея къ молитвѣ Давіида Паломника, такъ и „Москва“ г. Сушкова, отъ начала до конца, преисполнена мистицизма. Трудно исчислить всѣ тайны—не на небѣ и на землѣ, а на одной землѣ, и не на всемъ земномъ шарѣ, а только на участкѣ московскомъ, который внесъ поэтъ въ свое произведеніе, и о которыхъ не смѣетъ грезить гордая философія. Мы же, не философы и не гордые, смиренно отказываемся отъ претензій объяснить не объяснимое, выбирая себѣ дѣло больше по плечу, именно—указать здѣсь нѣкоторые примѣры чудеснаго.

Мы уже передали читателю, что въ первой части, черезъ мѣсто гдѣ спасается Букаль, и гдѣ со временемъ раскинется Москва, проходятъ кіевляне, костромичи, ярославцы, ростовцы, суздальцы, владимірцы, муромцы и галичане. Сергій, парень изъ села Кучкова, говоритъ (стр. 38):

„Что за пора пришла! И съ полудня и съ полуночи, и отъ ранней и отъ поздней зари, все тянется народъ черезъ это святое мѣсто.

„Букаль (*въ сторонѣ*). Ужъ не здѣсь ли бьется сердце Русской земли?

„Сергій. Сошлись недалеко отсюда новгородцы, псковичи и тверичи. А за рѣкой съ разныхъ сторонъ еще валить народъ.

„Букаль. Кровь отъ всѣхъ членовъ приливаетъ къ сердцу. Такъ народы отъ всѣхъ концовъ Русской земли стекаются сюда не даромъ, Духъ Божій ведетъ ихъ въ сію пустыню... На изсохшемъ ясени явилась жизнь въ животворномъ образѣ Спаса!... Отъ созданія міра была здѣсь тишь, теперь—людская молвь... была темень въ безвыходныхъ лѣсахъ... будетъ ясень подъ сѣнію креста. Свѣтъ Христовъ просвѣщаетъ всѣхъ.

„Галичане. Аминь!“

Это—предчувствіе, гаданіе о томъ, что Москва будетъ сердцемъ Россіи. А вотъ и чудесное въ самомъ имени Москвы. Выше было выписано, какъ, послѣ новгородскаго самохвальства, псковичи, тверичи, смоляки, рязанцы восклицаютъ: „Славенъ великій Псковъ! Славенъ городъ Тверь! Славенъ городъ Суздаль, Славенъ городъ Владиміръ! Славенъ городъ Рязань!“ и какъ всѣ потомъ, изъявляя свою любовь къ отечеству, возглашаютъ: „Славны всѣ города Русскіе!“ Теперь выписываемъ слѣдующій за этимъ восклицаніемъ разговоръ (стр. 43):

„Букаль (*въ сторонѣ*). Боже мой!.. Такъ!.. такъ! Вспомнилъ, вспомнилъ сказанное мнѣ во снѣ имя дивному, еще не бывалому городу!.. Вспомнилъ (*въ восторгѣ*). Братія! Славенъ, могучъ, богатъ, славенъ святой городъ Москва!

„Всѣ. Славенъ святой городъ Москва! (*Молчаніе. Букаль молится*).

„Тверичъ. Э! да гдѣ жъ, братцы, этотъ городъ Москва?

„Новгородцы. Да, гдѣ жъ онъ, въ правду?

„Псковичи. Что за диво?

„Смоляки. Откуда объ немъ на мысль пришло?

„Рязанцы. Ни съ того, ни сего на языкъ попало!

„Букаль. Гласъ Божій—гласъ народа:

„Посадникъ. Да ужъ не Москвой ли тутъ у васъ рѣка-то зовется?

Сергій. Вотъ эта—Неглинная. Изстари такъ ее прозвали. А ту еще не окрестили.

„Букаль. Буди же отнынѣ: Москва рѣка!

„Всѣ. Москва рѣка! Москва рѣка!“

И тотчасъ послѣ этого, Сергій запѣлъ:

Ой, ты матушка Москва-рѣка!  
Ты, рѣка ль, рѣка раздольная,  
Ты катись, катись, разгульная,  
По песочку золотожелтому, и проч.

Вы улыбаетесь, читатели? Что жъ тутъ особенно смѣшного? Отчего же пѣснѣ заразъ не сложиться, если имя Москвы сложилось въ сновидѣніи отшельника? Одно чудеснѣе-ль другого? Притомъ же, надо было выразить пѣснолюбіе русскаго народа.

Излишне сказывать, что князь Андрей Юрьевичъ женится на Еленѣ, дочери Кучки (прелестной, по выраженію Карамзина), потому что она его суженая, и, что Елена выйдетъ за князя, потому что видѣла его во снѣ о Рождествѣ. Говоримъ: излишне—по той причинѣ, что святочные гаданья принадлежать къ самымъ ординарнымъ чудесамъ природы. Но Юродиваго миновать нельзя. Онъ играетъ или, лучше сказать, поетъ довольно важную роль въ поэмѣ: первую пѣснью пророчить онъ свадьбу Елены, второю—умерщвление князя. Отъ временъ юродиваго, художественно очерченнаго въ „Борисѣ Годуновѣ“, и отъ Мити, удачно выведеннаго г. Загоскинымъ, пошла на юродивыхъ мода и вмѣстѣ паденіе: чѣмъ ближе они къ намъ, тѣмъ хуже. Юродивые позднѣйшихъ романовъ г. Загоскина хуже Мити; тотъ, что поетъ у г. Сушкова, хуже того, что поетъ въ одной новѣйшей исторической драмѣ. Отчего это происходитъ, до сихъ поръ не рѣшено.

Но всего страннѣе показалось намъ предсказаніе Евдокіи, супруги Донского, о Карамзинѣ. Мы знаемъ, поэтическія пророчества введены у насъ г. Кукольникъ, который заставилъ Тассо говорить о Гете и о немъ, г. Кукольникъ. Въ драматической *фантазіи* это позволено. Притомъ же, личность Тасса, поэта по преимуществу мечтательнаго, годится для треножника пифіи. Но не къ мѣсту пророческая рѣчь въ устахъ великокняжеской супруги. Пусть читатели сами видятъ, что наше замѣчаніе справедливо. Сцена представляетъ Сергіевскій прудъ,

окруженный березами. Вправо Новосимоновскій монастырь, влѣво—Старосимоновскій, прямо—Москва за лѣсомъ. Великая княгиня Евдокія, Степанида (няня Евдокіи), Лиза (любимица Евдокіи) идутъ отъ заутрени. Лиза задумалась и по-качнулась въ воду (стр. 136):

Степанида (*схватя ее*). Ахъ, Господи! Ни какъ заснула ты?

Что, мать моя, пригрезилась такого?

Ужъ не русалки ли—тфу! манили въ воду?

Лиза Задумалась!

Евдокія (*лаская Лизу*). Охъ, бѣдная моя,

Ты, Лиза!... Все о немъ, о женихѣ

Печалишься?... Терпѣнье! Богъ воротить

Съ Димитріемъ къ тебѣ его.

Лиза.

Признаться,

Я заглядѣлась на свѣтлый прудъ.

Степанида. Зѣвай впередъ! Авось пойдешь ко дну!

А тутъ въ народъ и пустить сказку бахарь;

Молъ—Лиза бѣдная, съ тоски, съ печали

Въ прудъ бросилась *подъ Симоновымъ*.

Евдокія, заступившись за Лизу и описавъ прекрасный видъ окрестности, продолжаетъ (стр. 137):

Быть можетъ, нѣкогда, въ Москвѣ моей,

Или вблизи обители священной,

Мужъ, призванный на подвигъ и на славу,

Преданія, былины воскресить;

Съ любовію къ отечеству, съ надеждой

Великихъ дѣлъ и съ вѣрою въ добро,

Раскроетъ хартіи временъ минувшихъ,

Подъ *непломъ*, *перстію* во мглѣ вѣковъ

Пробудитъ жизнь и духъ *племенъ, народовъ*,

Вспойвшихъ кровію своею землю,

Усѣявшихъ родимую костями

Дѣтей и женъ, всѣмъ жертвуя отчизнѣ!

И гласъ любви, гласъ вѣщій лѣтописца

О праотцахъ потомкамъ передастъ

Отрадную—имъ въ назиданье—повѣсть!

Понимаете ли, читатели? Евдокія видитъ и „Бѣдную Лизу“ Карамзина, и его „Исторію“, да къ тому жъ и смотритъ на эту исторію глазами стихотворенія Н. М. Языкова. Не странно ли это?..

Все на свѣтѣ измѣняется, слѣдовательно, измѣняется и чудесное. Непременный законъ этого измѣненія состоитъ въ томъ, что оно прогрессивно уменьшается, какъ несообразное съ открытіями наукъ, съ движеніемъ просвѣщенія, которое есть свѣтъ. У Виргилія чудеснаго меньше, чѣмъ у Гомера, у христіанскихъ эпическихъ поэтовъ меньше, чѣмъ у Виргилія; теперь нѣтъ вовсе и

эпическихъ поэмъ, которыя перешли въ историческія драмы и въ романы. Г. Сушковъ является счастливымъ исключеніемъ изъ этого закона: послѣдующія части его поэмы не отстаютъ въ чудесномъ отъ предыдущихъ, имѣющихъ дѣло съ преданьями старины глубокой. Василій Темный рассказываетъ своему сыну о пророчествѣ Мисаила въ день его рожденія (стр. 145); старикъ объясняетъ народу государственные успѣхи Іоанна III таинственнымъ образомъ: „Не дивитесь. Онъ въ такой годъ родился. Видите ли: въ тотъ годъ умеръ послѣдній злодѣй великаго князя Василія Васильевича, Дмитрій Красный; преставился, чтобъ молиться за насъ на небеси, св. Фотій; на мѣсто его поставленъ, ужъ не въ Греціи, а дома, російскими святителями благословенный Іона, о немъ же, въ отрочествѣ его, самъ св. Фотій предсказалъ, что быть ему первосвятителемъ въ Москвѣ, а напослѣдокъ былъ осьмой вселенской соборъ“ (стр. 155).

Конечно, такую рѣчь ведетъ грамотный старикъ начала XVI вѣка, и ведетъ ее передъ простымъ народомъ. Но жалко то, что подобныя рѣчи раздаются и въ наше время, въ половинѣ XIX столѣтія, передъ лицомъ не простого народа. Вѣкъ Екатерины и вѣкъ Александра, отличившіеся сильнымъ развитіемъ просвѣщенія, запечатлѣны у г. Сушкова тоже чудеснымъ, въ смыслѣ міеологіи. Передъ извѣстіемъ о кончинѣ Екатерины, на балу въ домѣ дворянскаго собранія читаютъ стихотвореніе, назначенное для пѣнія подъ польскій, и въ этомъ стихотвореніи *тринадцать* стиховъ! Послѣ незабвенныхъ происшествій 12, 13 и 14 годовъ трое студентовъ (людей, кажись, ученыхъ) бесѣдуютъ о свѣжихъ событіяхъ. Первый говоритъ: „Замѣтьте еще знаменательное явленіе: Морро (*Моро?* Мореау) не стало именно въ то торжественное мгновеніе, когда глубоко обдуманная предначертанія Александра должны были увѣнчаться полнымъ успѣхомъ“. Другой отвѣчаетъ: „Такъ. За двѣ недѣли до Лейпцигской битвы. И не стало для того, чтобъ иностранцы, союзники и не союзники наши, не могли сказать, что не Россія, а французъ *Морро* побѣдилъ Наполеона“ (стр. 215). Когда читаешь подобныя строки, то не удержишь, чтобъ не сказать всѣмъ, поэтамъ и не поэтамъ: Милостивые государи! Истинное сознаніе великихъ заслугъ не имѣетъ нужды въ мнѣніи иностранцевъ; оно не спрашиваетъ себя: что скажутъ объ этомъ? Неужели вы не видите, что подобныя выходки придаютъ иностранцамъ большіе значенія, нежели вы думаете, и унижаютъ насъ больше, чѣмъ вы желаете? Неужели вы не видите, что Тому, для Кого все равно возможно, возможно было измѣнить мнѣніе союзниковъ, сдѣлать его благопріятнымъ для насъ, не прибѣгая къ смерти Моро или, по вашему, Морро? Смотря на міръ слабыми глазами смертнаго, вы строите его по плану вашей собственной хитрости, которая не умѣетъ ничего сдѣлать прямо, но во всемъ извращаетъ порядокъ: желая наказать одного, наказываетъ другого и награждаетъ не тѣхъ, того должно, и заставляетъ думать людей не посредствомъ умственной способности, а помощію смерти посторонняго человѣка. Вы вотъ, толкуете смерть

Моро такъ, а французы, ставъ на точку чудеснаго, толкуеть ее иначе; но и вы, и они извлекають изъ нея благопріятное для себя обстоятельство. Не было бы такого страннаго разногласія при такой обыкновенной вещи, какова смерть во время сраженія, еслибъ разсуждающіе думали не о знаменательныхъ, а о естественныхъ явленіяхъ, не о благопріятныхъ для себя обстоятельствахъ, а просто о законахъ разума.

Впрочемъ, чудесное, которое г. Сушковъ сыплеть щедрою рукою, есть, съ своей стороны, также знаменательное и даже благопріятное для него обстоятельство. Оно возвращаетъ его сочиненію отнятое нами имя. Сочиненіе его дѣйствительно, можетъ назваться *поэмой*—въ духѣ древнихъ поэмъ, проникнутыхъ мифологіей.

Но если дѣло идетъ о творчествѣ, о произведеніи поэтическомъ, сообразномъ современному взгляду на искусство, тогда—извините—въ этой таинственности и чудесности нѣтъ ни капли поэзіи. Въ поэтическихъ вымыслахъ непремѣнно предполагается истина, такъ-называемая поэтическая; фантазія производитъ возможное и правдоподобное; образы, ею созданные, не противорѣчатъ разуму. А какой разумъ, какое правдоподобіе въ случайномъ столкновеніи разнородныхъ предметовъ? Есть и другое значеніе фантастическаго. Иногда фантазія забываетъ требованія разума и создаетъ такіе странные образы и событія, которыхъ нельзя отыскать въ мірѣ: являются произведенія чисто фантастическія (напримѣръ, сказки). Образованная литература, художественная поэзія не чуждаются этого элемента, примѣромъ чему служатъ многіе писатели, напримѣръ, Гоффманъ. Но и здѣсь, въ чисто фантастическомъ созданіи, есть такъ же свои законы: дитя разсказываетъ свой сонъ, въ которомъ отражается міръ дѣтскаго возраста, его характеръ, образъ мыслей, чувства, знакомые, товарищи, родные; записки сумасшедшаго показываютъ то, чѣмъ онъ былъ въ нормальномъ положеніи: въ нихъ объясняется многое пунктомъ помѣшательства. Но когда человѣкъ здоровый начнетъ проповѣдывать нездоровыя сужденія, какъ и чѣмъ это объяснить? Гдѣ здѣсь законы?

Сколько въ сочиненіи г. Сушкова чудеснаго, столько же, если не болѣе, въ немъ пѣсенъ. Основываясь на этомъ, можно назвать его *пѣснопѣніемъ*, въ собственномъ смыслѣ. Въ первой части—пѣсня людей, плывущихъ на ладьяхъ, пѣсня ратниковъ, пѣсня суздальцевъ и товарищей, пѣсня кievлянъ, пѣсня Сергія (о Москвѣ рѣкѣ), пѣсня псковича про рѣку Великую, пѣсня тверича про Волгу, пѣсня дѣвушекъ, пѣсня юродиваго, пѣсня кликушъ, пѣсня работниковъ, всего одиннадцать. Во второй части—пѣсня Елены, пѣсня юродиваго, пѣсня Маша, пѣсня парней, пѣсня ребяташекъ, хороводная пѣсня, пѣсня запѣвалы и гудка, пѣсня народа, итого восемь. Въ третьей—пѣсня женщинъ, воиновъ, нищихъ, дѣтей, пѣсня продавцовъ, пѣсня пьянаго, пѣсня опричника, итого четыре.



четвертой—хорная пѣсня. Въ пятой—пѣсня одного студента, пѣсня другого, пѣсня запѣвалы, пѣсня пѣсенниковъ...

Сдѣлаемъ, наконецъ, послѣднее замѣчаніе. Языкъ дѣйствующихъ лицъ не соотвѣтствуетъ часто ни ихъ положенію, ни времени, въ которое они жили. Вотъ, для примѣра, стихи (стр. 13):

Монахъ, монахъ! Видалъ ли ты его,  
Блестящаго, какъ молнія Перуна,  
Прекраснаго, какъ первая жена,  
Могучаго, какъ море въ громъ и бурю,  
И мудраго, какъ змѣй; его символъ!  
Видалъ ли ты, монахъ, въ твоихъ мечтахъ  
Его, царя земли и вѣчной бездны?

Кто это говоритъ? Не можете ли угадать? Мильтонъ въ „Потерянномъ Раю“, Жоржъ Зандъ въ „Консюэло“, отъ лица Альберта, или Лермонтовъ въ извѣстной поэмѣ? Нѣтъ, это говоритъ русскій кудесникъ 1141 года, тотъ самый, который, черезъ двѣ страницы, затянулъ слѣдующіе стихи, по примѣру „Ильи Муромца“ Карамзина:

Ты, душа ли, моя душенька!  
Для того ли, ты, пыталася  
Чернокнижной, адской мудрости?...

Князь Андрей Юрьевичъ начинаетъ разговоръ съ Еленой такими стихами (стр. 91):

Я чувствовалъ, Елена, сладость жизни,  
*Сопутница любовная моя,*  
Я чувствовалъ, что здѣсь воспоминанья  
Тяжелыя живѣй заговарять...

А вотъ какъ разсуждаетъ Евдокія (стр. 135):

Теперь опять какъ-словно отлегло  
Отъ сердца, и опять я разумѣю,  
Что наша Русь окрѣпла, что Москва,  
Хранимая молитвами святаго  
Первосвятителя, его же мощи  
Почіють въ ней, не преклонить главы,  
Увѣнчанной крестомъ, передъ басмою;  
Что мужъ добра и правды Кириѣанъ  
На стражѣ въ ней, что чистыя молитвы  
Святыхъ не разъ рѣшали участь битвы;  
Такъ два года тому, какъ Бегичъ съ тьмой  
Татаръ погибъ въ безсмертныхъ волнахъ Вожи!...

Довольно, кажется? Вы знаете теперь, что такое твореніе г. Сушкова.

## II.

Нѣсколько словъ на отзывы журналовъ о поэмѣ: „Москва“. Сочиненіе Н. Сушкова. Москва. 1847.

Давно поэты называются irritabile genus. Названіе прибрано ловко человекомъ, хорошо знавшимъ сердце стихотворцевъ,—и каждый новый стихотворецъ оправдываетъ его какъ нельзя лучше. Не знаемъ, имѣетъ ли право г. Сушковъ сердиться на отзывы другихъ журналовъ о его поэмѣ; но что касается до нашего отзыва, то онъ нисколько не оскорбителенъ, хоть, можетъ быть, и колокъ, по русской пословицѣ: правда глаза колетъ. Въ самомъ дѣлѣ, что оскорбительнаго нашель г. Сушковъ въ нашей библиографической статьѣ? Мы говорили о его сочиненіи и въ отношеніи къ искусству, и въ отношеніи къ точкѣ зрѣнія, съ которой онъ смотритъ на русскую исторію. Результатъ первой части разбора состоялъ въ томъ, что поэма г. Сушкова, составленная изъ нѣсколькихъ драмъ, не поэма и не драма, а стихотворно-прозаическіе разговоры, лѣтопись въ лицахъ... Что жъ тутъ оскорбительнаго? Въ нашъ требовательный вѣкъ, въ наше взыскательное время не такъ-то легко написать удовлетворительную поэму или удовлетворительную драму. Довольно важные таланты падали въ своихъ эпическихкихъ и драматическихкихъ усиліяхъ. Покажите намъ новѣйшую эпопею, которая произвела бы хоть эффектъ? „Божественная Эпопея“ Суме?—она забыта. „Наполеонъ“, Кине,—Кине самъ себя упрекаетъ за этотъ поэтический грѣхъ. „Наполеонъ“ въ Египтѣ“ Мери и Бартелеми?—въ ней есть хорошія отдѣльные мѣста, а поэмы нѣтъ. Видите ли, самый родъ поэзіи потерялъ свою важность или, пожалуй, возможность, а отдѣльное твореніе, одна поэма и подавно можетъ быть неважною, или иначе: возможно ей не быть важною. Да и тѣ поэмы, которыми привыкли мы восхищаться съ малыхъ лѣтъ (говоримъ о „Потерянномъ Раѣ“, „Освобожденномъ Іерусалимѣ“, „Анріадѣ“, и проч.), важны только по преданію, важны съ той точки зрѣнія, съ которой смотрѣли на нихъ прежде, когда не имѣли надлежащаго понятія о поэзіи. Но если поэма погибла, за вами остались стихотворно-прозаическіе разговоры, недурные стихи, недурная проза... Чего жъ вамъ больше?

На все есть время. Явись „Москва“ лѣтъ тридцать, даже двадцать тому назадъ, ее, пожалуй, назвали бы и поэмой, и драмой. Критика была бы много снисходительнѣе. Что жъ дѣлать, когда мы живемъ позже? Во второй части нашего разбора мы упрекнули автора за его мистическое воззрѣніе на исторію. Г. Сушковъ прямо говоритъ, что онъ „сочувствуетъ взглядамъ на исторію и Карамзина, и Языкова, и Шевырева“. Ну что жъ? Вольному воля, и мы съ своей стороны спорить не будемъ. Вы допускаете мистицизмъ въ исторіи, мы его не допускаемъ. У васъ побудительной причиной для этого „сочувствіе“, у насъ есть свои противоположныя, раціональныя побужденія. Останемся каждый при своемъ. Да мы и не хотѣли своимъ разборомъ измѣнить точку зрѣнія сти-

хотворца; мы хотѣли только высказать наше удивленіе къ тѣмъ воззрѣніямъ на науку, въ которыхъ нѣтъ ничего научнаго, при которыхъ нельзя разсуждать, а надо чувствовать и сочувствовать, въ которыхъ силлогизмы замѣняются ощущеніями или предчувствіями, а раціональные выводы—предвидѣніями. Намъ показалось страннымъ такое соединеніе разнородныхъ предметовъ. Конечно, предки наши были легковѣрны; но стихотворецъ, увлекаемый сочувствіемъ къ извѣстнымъ взглядамъ, выбирая тѣ или другіе пункты исторіи, заставляя говорить дѣйствующія лица такъ или иначе, чувствовать то или другое, незамѣтно сообщаетъ имъ свои мысли и чувства. Ему кажется, что онъ исторически вѣренъ, а онъ просто выказываетъ себя, свои сочувствія и воззрѣнія. Конечно, это даетъ стихотворенію, нѣкоторымъ образомъ, современное значеніе, прицѣпляетъ его къ извѣстной исторической и литературной школѣ, но нисколько не дѣлаетъ его поэмой или драмой.

## В. И. Аскоченскій.

Стихотворенія В. Аскоченскаго. Кіевъ. 1846.

Появленіе въ свѣтъ „Краткаго начертанія исторіи русской литературы“, принадлежащаго автору этихъ стихотвореній, произвело въ русской журналистикѣ довольно рѣдкое событіе: ни одинъ изъ существующихъ въ нашей литературѣ кружковъ (извѣстно, что литературныхъ партій у насъ нѣтъ) не хотѣлъ признать своего направленія въ трудѣ кіевского сочинителя, доказывая не безъ основанія, но и не совсѣмъ справедливо, что г. Аскоченскій находится подъ вліяніемъ мыслей, распространяемыхъ другими кружками. Одиноко, но не безъ шума, прошло „Начертаніе“ въ мірѣ русской журналистики и, не примкнувъ ни къ чему, улеглось въ книжныхъ лавкахъ. Болѣе чѣмъ тройственный характеръ сужденій рѣшилъ его участь.

„Стихотворенія“ г. Аскоченскаго проливаютъ новый свѣтъ на это сложное явленіе. Насладившись поэзіей г. Аскоченскаго, мы поняли наконецъ, что онъ избралъ совершенно новый родъ литературы, къ которому принадлежатъ обѣ изданныя имъ книжки, и который можно безошибочно назвать *эклетиическимъ*. Г. Аскоченскій, если не Прокль, то меньшей мѣрѣ, истинный Кузень въ нашей наукѣ и въ нашемъ искусствѣ.

Сущность эклектизма заключается, какъ извѣстно, въ томъ, чтобы принимать всѣ существующія и существовавшія мнѣнія о предметѣ, не соглашаясь ни съ однимъ въ особенности. Что такая система принята въ „Начертаніи“—это ужъ дѣло доказанное. Послѣдствія ея также извѣстны. Посмотрите, какъ ловко примѣняется она къ поэзи.

Какъ человѣкъ, знакомый съ произведеніями всѣхъ эпохъ русской литературы, г. Аскоченскій начинаетъ свой оригинальный трудъ усвоеніемъ себѣ идей чрезвычайно древнихъ (стр. 31—32):

Въ одинъ печальный день, тоскою истомленный,  
 Я, Богу помолясь, заснулъ тревожнымъ сномъ,  
 И вижу, будто бы колѣнопреклоненный  
 Стою смиренно я съ поникнутымъ челомъ  
 Передъ иконою святого Митрофана;  
 И слезы горкія изъ глазъ моихъ лились  
 За друга-ангела, похищеннаго рано,  
 Съ которымъ радости мои всѣ унеслись.  
 Гляжу, написанный святой ликъ на иконѣ  
 Какъ будто вылетѣлъ: я падаю въ слезахъ,  
 Видѣніемъ такимъ глубоко пораженный,  
 И слово замерло на трепетныхъ устахъ.  
 Поднявшись, вижу я; стоитъ передо мною  
 Угодникъ Вышняго, святитель Митрофанъ.

И послѣ такихъ благочестивыхъ стиховъ сочинитель вдругъ является передъ вами съ затѣйливою пьеской, переносящею васъ въ восемнадцатое столѣтіе, въ эпоху остротъ и каламбуровъ (стр. 192):

Отъ ревности я вовсе умираю,  
 Но такъ какъ смерть есть то же, что и сонъ,  
 То я, измѣной вашею взбѣшонъ,  
 Передъ трагическимъ моимъ концомъ,  
 Прощая вамъ грѣхи всѣ, засыпаю.

Вслѣдъ затѣмъ, идя прогрессивно, новый поэтъ поражаетъ васъ балладой: вы слышите стихи, отзывающіеся вліяніемъ эпохи романтической поэзіи (стр. 54):

Межъ Кіевскихъ горъ одна есть гора,  
 И нѣтъ на Руси ей подобныхъ нигдѣ;  
 Ее Щекавицей молва прозвала,  
 И знаютъ ту гору вездѣ.  
 Она опоясана вокругъ стариной,  
 И много преданій о ней говорятъ;  
 Тамъ древле былъ Щека удѣлъъ родовой.  
 Тамъ кости Олега лежатъ.

.....  
 Тамъ сходятся тѣни ночью порой.  
 И долго, и мрачно все какъ-то глядятъ...

Пушкинской эпохѣ посвящено огромное стихотвореніе „Дневникъ“:

.....  
 Я въ мірѣ былъ одинъ: съ роднею  
 Знакомъ я какъ-то плохо былъ,  
 И перепискою пустою  
 Иль за усердіе платилъ (?).  
 Они меня любя бранили,  
 Мораль читали за глаза.

Благожеланьями дарили  
 На каждый мѣсяцъ два раза.  
 Родныхъ душевно уважая,  
 Я рѣдко письма ихъ читалъ  
 И, здравія имъ всѣмъ желая,  
 Въ каминъ посланья ихъ бросалъ (стр. 116—117).

Сколько такихъ стиховъ написано было на Руси вслѣдъ за появленіемъ „Евгенія Онѣгина“! Въ „Дневникѣ“ найдете вы также много такого, что напомнитъ вамъ безконечно слезливую поэзію Козлова. Въ тонѣ этого стихотворца рассказываетъ г. Аскоченскій, какъ имѣлъ онъ несчастье лишиться жены и сына; но мы не будемъ приводить отрывковъ изъ этой скорбной семейной поэмы, чтобъ не встревожить вашей чувствительности, читатели!

Однакожъ, этимъ дѣло не кончается. Стихотвореніемъ „Наполеонъ“ (стр. 98—101) г. Аскоченскій живо напомнитъ вамъ пьесу Бенедиктова „Ватерлоо“:

. . . . .  
 И грянулъ, наконецъ, послѣдній  
 Ужасный бой во всѣхъ бояхъ  
 На Ватерлооскихъ поляхъ, —  
 И сумраченъ былъ *стопобѣдный*.  
 Въ немъ духъ примѣтно упadalъ  
 И взоръ орлиный угасалъ.  
 Онъ видѣлъ ужъ, какъ оставляла  
 Его фортуна навсегда,  
 И какъ уныло потухала  
 Его побѣдная звѣзда...  
 Тревожная о браняхъ дума  
 На блѣдное чело легла,  
 И на устахъ его угрюма  
 Вождя улыбка замерла.

Вы поражены: васъ изумляетъ такая неслыханная пріемлемость впечатлѣній. Но кievскій поэтъ еще не обнаружилъ передъ вами всей силы своей геніальности. Надо вамъ показать, какъ онъ великъ въ стихахъ лермонтовской школы, какъ искусно поддѣлывается онъ подъ колебаніе между непосредственностью и анализомъ (стр. 134—135).

Странное дѣло! Мнѣ грустно и больно,  
 Когда я подумаю, что скоро мнѣ съ ней  
 Разстаться придется, и какъ-то невольно  
 Тоскуетъ душа больнѣй и больнѣй.  
 Не юноша я,—и къ любовнымъ припадкамъ  
 Не чувствую склонности прежней давно,  
 И часто въ минуты веселья украдкой  
*Смѣюсь потому, что это смѣшно...*  
 Но лишь только съ нею тайкомъ я увижусь,  
 Минувшее встанетъ тогда предо мной.

И гордый свободой, я снова унижусь  
 И снова ласкаюсь покорной душой.  
 И вечеромъ повднимъ идучи печальный,  
 Я такъ режуждаю одинъ про себя:  
 Не есть ли ужъ это привѣтъ мнѣ прощальный  
 Любви запоздалой теперь для меня?...

Но вотъ критическая минута: остановится ли нашъ поэтъ на этомъ гибельномъ колебаніи, достанетъ ли его геніальности на то, чтобъ отбросить робкую нерѣшительность идей и смѣло перейти къ совершенному анализу? А вотъ, судите сами (стр. 165—166):

Бродя по комнатѣ неровною походкой,  
 Въ рукахъ трепещущей держалъ стаканъ онъ съ водкой.  
 И красные глаза, налитые виномъ,  
 Горѣли у него горячечнымъ огнемъ,  
 И непріятно дикъ былъ голосъ его хрипкій.  
 И пухлое лицо кривилось улыбкой.  
 Остановился онъ, и залпомъ проглотилъ  
 Вонючее вино и солью закусилъ.

Чего жъ вамъ больше? Не есть ли это верхъ натуральности? Что передъ нимъ извѣстные публикѣ представители натуральной школы! Новички въ дѣлѣ анализа, пансіонерки въ разумныхъ понятіяхъ о благопристойности и опрятности. А какова сила ироніи у г. Аскоченскаго! Прочтите стихотвореніе его: „Очень порядочный человѣкъ“: въ младенчествѣ своемъ, ни одинъ изъ петербургскихъ поэтовъ физиологовъ еще не въ состояніи понять, на примѣръ, что умѣренность въ употребленіи горячихъ напитковъ возмутительна въ глазахъ умнаго человѣка. Но достигаютъ же иные такой высоты натуральныхъ принциповъ, что человѣкъ, не нарѣзывающійся за обѣдомъ, по ихъ мнѣнію, очень смѣшонъ. Кіевскій поэтъ относится о такомъ явленіи съ неподражаемою ироніей (стр. 164).

.... при словѣ двусмысленномъ гордо краснѣешь ты  
 И не любишь межъ барынь болтать.  
 На пріятельскій пиръ никогда не являлся ты  
 Въ неприличномъ, лихомъ куражѣ,  
 И при каждомъ бокалѣ справлялся ты:  
 „Не довольно ли пито уже?“

Теперь вы уже ясно видите, что поэзія г. Аскоченскаго есть истинный эклектизмъ, поглощающій въ себѣ творенія всѣхъ русскихъ писателей отъ Нестора и до сего дня, эклектизмъ, напоминающій ихъ всѣхъ вообще и не напоминающій на одного въ особенности. Честь и слава изобрѣтателю! Онъ показываетъ молодымъ поэтамъ самое легкое и дешевое средство къ пріобрѣтенію славы и денегъ. До сихъ поръ они имѣли слабость подражать какому-нибудь одному поэту; за то и называютъ ихъ *подражателями*—словомъ, какъ



известно, самымъ нестерпимымъ для самолюбія сочинителя. Секретъ г. Аскоченскаго предохранить ихъ отъ этой непріятности: имъ стоитъ только начать подражать, по крайней мѣрѣ, цѣлому десятку писателей разныхъ эпохъ и направленій: никто не осмѣлится обвинять ихъ въ подражаніи. Это будетъ не подражаніе, а эклектизмъ: дѣло почтенное, прославленное, да и слово-то благополучное...

Само собою разумѣется однакожъ, что обнаруживать секретъ передъ читателями не расчетъ: еще лучше, если не всѣ догадаются, что эклектическая метода имѣетъ нѣкоторое сходство съ обыкновеннымъ подражаніемъ. И въ этомъ г. Аскоченскій можетъ быть поставленъ въ образецъ молодымъ писателямъ. Въ его книгѣ все чужое идетъ за свое. Но есть одна пьеса, которую самъ авторъ называлъ „Подражаніемъ Ломоносову“. Прекрасный способъ! Видя такую откровенность со стороны поэта, добродушный читатель пріиметъ все остальное за самородныя его произведенія, а этого-то намъ и надо, не правда ли?

## А. И. Штукенбергъ.

Сибирскія Мелодіи. С.-Петербургъ. 1846.

„Сибирскія Мелодіи“ снабжены двумя предисловіями въ стихахъ: одно называется „Вмѣсто предисловія“, другое—„Прологъ“. Они такъ противорѣчатъ одно другому, что читатель съ самыхъ первыхъ страницъ поставляется поэтомъ въ крайнее недоумѣніе. Вотъ первое предисловіе:

Чтобы спасти мнѣ отъ забвенья  
Мои живыя впечатлѣнья,  
Литературные грѣхи,  
Мои летучіе стихи,  
Рѣшаюсь ихъ предать печати,  
*Не знаю—кстати или не кстати:*  
А только цѣль моя проста  
И безкорыстна, и чиста.  
Ворчунъ критикъ суровой  
Хоть будетъ трудъ мой пищей новой,—  
Что нужды? Только бы друзья  
Читая вспомнили меня  
И удостоили привѣта,  
Что въ десять лѣтъ душа поэта  
Средь жизни трудной собрала,—  
И вотъ мнѣ лучшая хвала!

Печатать около сотни стихотвореній оригинальныхъ и переводныхъ только  
и не того чтобы напомнить о себѣ друзьямъ и услышать ихъ похвалы, изъ кото-

рыхъ, какъ всѣмъ извѣстно, ровно ничего не слѣдуетъ, — вотъ истинно пансіонское стремленіе. Дѣвственная скромность новаго поэта изумитъ хоть кого въ наше время: мы такъ привыкли къ громаднымъ притязаніямъ современныхъ стихотворцевъ, что кроткіе стишки:

Что нужды? Только бы друзья  
Читая вспомнили меня!

заставляютъ даже подозрѣвать, что невинность нравовъ, давно забытая и засмѣянная въ Европѣ, рѣшительно переселилась за Уральскія горы, въ Сибирь — золотое дно, въ страну истинно утопическую.

Исполненный сладкихъ мечтаній, возбужденныхъ первымъ предисловіемъ „Сибирскихъ Мелодій“, рецензентъ перевертываетъ красивую страничку и встрѣчаетъ второе предисловіе или „Прологъ“, и что же? Мечты его разбиваются въ прахъ! Увы, неизвѣстный поэтъ безжалостно насмѣялся надъ его легковѣрностью:

За лирой лира умолкаетъ,  
И гибнетъ въ пѣвдомъ пѣвецъ,  
И жребій тайный ужасаетъ...  
Ужели жертвамъ не конецъ?  
Мы безотрадно остаемся  
Добычей жадной суеты  
И, можетъ, долго не дождемся  
Напѣва съ горней высоты!  
Кто жъ усладитъ во дни печали  
И въ лучшій міръ насъ увлечетъ,  
И сердца тайныя скривали  
Кто, вдохновенный, намъ прочтетъ?  
Кто, не язва насмѣшкой злобно,  
Нашъ вѣчный ропотъ усмирить.  
И, жрицѣ дѣвственной подобно,  
Огонь небесный сохранить?  
Всѣ говорятъ, что удалилась,  
Что нѣтъ поэзіи у насъ;  
И все прекрасное затмилось,  
И животворный лучъ угасъ!  
Но вѣрить ли молвѣ жестокой?  
Ужель, ужель въ тоскѣ глубокой  
Надежды свѣточъ золотой  
Замѣнить факелъ гробовой?...  
Нѣтъ, прочь коварное сомнѣнье!  
Да не исякнетъ вдохновенье!  
Кладу и я смиренный даръ —  
Пусть онъ продлитъ, хоть на мгновенье.  
На алтарѣ священный жаръ!

Видно, эти господа поэты вездѣ одни и тѣ же—и въ Европейской, и въ Азіатской Россіи. Забавляются они надъ *толпою*; ничего имъ не значитъ объявить въ одномъ стихотвореніи, что нишуть они такъ, для друзей или для милыхъ, не заботясь ни о славѣ, ни объ общественныхъ триумфахъ, а въ другомъ—гордо во всеуслышаніе превозгласить себя преемниками такихъ людей, какъ Пушкинъ, Лермонтовъ! Богъ съ вами, господинъ зауральскій нѣвецъ! Видно, вы такой же гордый, такой же всепрсзирающій властитель нашихъ думъ, какъ и всѣ собратія ваши по сую сторону хребта! Къ чему дѣлать! Послушаемъ „Сибирскихъ Мелодій“, не ожидая отъ нихъ никакихъ отступленій отъ обыкновеннаго порядка стихотворныхъ дѣлъ. Слушаемъ мелодію за мелодіей, прослушали все обѣщанное въ программѣ концерта, и что же? Новое недоумѣніе! Мелодіи такъ вѣрны темъ перваго предисловія, такъ дѣвственно невинны, такъ трогательно матриархальны, что мы опять и окончательно чувствуемъ себя перенесенными въ давно оплаканный міръ идиллической непосредственности, въ который отчаялись было попасть по прочтеніи „Пролога“. Природа, любовь, дружба, игры и вѣлки—вотъ изъ какихъ тоновъ сливаются сибирскія мелодіи! Слава чародѣю, воскресившему архаическую поэзію на пустынныхъ берегахъ Ангара и Индигирки! Вдали отъ искушеній современности, чуждый интересовъ падающаго человѣчества, сибирскій Орфей довольствуется самымъ простымъ содержаніемъ для своихъ вдохновенныхъ нѣсень. Предоставляя *поэтамъ* дня сострадать болѣзнямъ общества, прислушиваться къ неровному біенію его разстроеннаго пульса, погружать зѣрсты въ его дымящіяся раны, онъ выжимаетъ золото поэзіи изъ такихъ ничтожныхъ, по видимому, розсыпей, которыя, въ развращеніи своемъ, давно, давно уже признали они пустяками. Самое названіе „мелодіи“ удивительно характеризуетъ его плѣнительно младенческій взглядъ на вещи: онъ такого мнѣнія, что поэзія и музыка—одно и то же, что вся задача поэта—въ мелодическомъ построеніи словъ, что стихотворенія отличаются одно отъ другого тѣмъ, что одно пишется ябломъ, другое—хореемъ, третье—амфибрахіемъ и т. д. Мысль о содержаніи никогда не смущаетъ его безхитростнаго воззрѣнія на искусство: у него все годится для поэзіи, потому что все можетъ быть рассказано стихами, изъ всего можетъ выйти мелодія. 27 года вскрылась рѣка Ангара: сибирскій поэтъ взглянулъ на эту картину, и у него тотчасъ же родилась „мелодія“, (стр. 7):

Грудь открыла Ангара,  
Пробужденная весною,  
И потокомъ серебра,  
Съ обновленною красою,  
Разыгралась безъ оковъ,  
Свѣжей радостью блеснула,  
Волны съ пѣньемъ понесла,  
Ихъ широко распахнула,  
И утесы объяла!

Такимъ же образомъ воспѣваются въ мелодіяхъ горы, степи, времена года, часы срокъ и тому подобныя наивности. Не нарадуешься, видя, какъ за Уральскими горами сохраняется человѣкъ отъ вредныхъ вліяній холодной разумности, господствующей въ Европѣ и убивающей въ насъ то милое ребячество, въ которомъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ—увы!—забытыхъ мыслителей, заключается вся тайна человѣческаго счастья. Полюбуйтесь, какимъ дѣтскимъ веселіемъ, какою счастливою беззаботностью невиннаго возраста дышетъ, напримѣръ, мелодія „Весна“ (стр. 55).

На крыльяхъ нѣжнаго зефира  
Изъ дальнихъ странъ принесена  
Ты снова къ намъ, о, радость міра,  
О, вѣчно юная весна!  
И молодѣя сердце слышитъ  
Твой оживительный приходъ.  
И вся природа нѣгой дышетъ,  
Весельемъ блещетъ лоно водъ.  
Подъ тѣнью рощи ароматной  
Поетъ безпечныхъ птичекъ хоръ;  
Гдѣ вѣетъ слѣдъ твой благодатный—  
Цвѣтовъ пестрѣется узоръ!  
Угрюмый день съ тобой яснѣе,  
Любовью воздухъ напоенъ,  
И ночь прохладнѣе, свѣжѣе,  
И слаще вѣшній, легкій сонъ!  
И я, любовію объятый,  
Привѣтный гимнъ тебѣ пою,  
И за тебя, мой другъ крылатый,  
Цѣлую милую мою!

Мы совершенно увѣрены, что еслибъ мотылекъ получилъ даръ слова и способность сочинять мелодіи, онъ пропѣлъ бы на тему „весна“ ту же самую пѣсню, какую пропѣлъ намъ Орфей Сибири: такъ близки интересы этого поэта къ интересамъ бабочекъ, муравьевъ и пчелокъ.

Само собою разумѣется, что дружба и любовь играютъ первую роль въ этой блаженной сферѣ частныхъ отношеній. Вотъ маленькая мелодія „Истинный другъ“, напоминающая, какъ нельзя лучше, миѳическую нѣжность Ореста и Пиллада (стр. 34).

Какъ счастливъ я въ объятіяхъ друга!  
Не одинокъ мой путь лежитъ:  
Его любовь—моя подруга,  
Мнѣ грудь его—надежный щитъ  
Отъ жала грусти ядовитой,  
*Отъ стрѣлы коварной остроты,*  
Отъ злобы тайной клеветы  
И дружбы, лестию покрытой.

Въ этомъ стихотвореніи насъ особенно трогаетъ тотъ оттѣнокъ дѣйствительности, что нервы поэта не выдерживаютъ даже и шутки: чуть только весельчакъ позволить себѣ на его счетъ какую-нибудь остроту, онъ ужъ и бѣжитъ склонить голову на грудь своего Пилада.

Что касается до любви, это—самый задушевный предметъ творца „мелодій“. Кажется, не можетъ быть отношеній болѣе серьезныхъ, болѣе поглощающихъ, какъ тѣ, которыми связанъ онъ съ сибирскими барышнями... Въ этомъ отношеніи являетъ онъ добросовѣстность истинно идиллическую: напримѣръ, пишетъ сибирскимъ барышнямъ такіе прекрасные стишки, что не стыдится потомъ печатать ихъ для публики. Цѣлая пятъ „мелодій“ носятъ заглавіе „Въ альбомѣ“. Вотъ двѣ изъ нихъ на выдержку (стр. 74—75):

## I.

Въ альбомѣ вашемъ счастья нѣтъ:  
Листочки всѣ живутъ въ немъ роно;  
Для дружбы было бѣ это грозно,  
А для любви страшнѣй всѣхъ бѣды!  
Его не слѣдуйте примѣру!  
*Когда найдете свой листокъ,*  
*Составьте съ нимъ живою цѣттокъ,*  
Разлуку зная какъ химеру!

## II.

Что напишу я вамъ въ альбомѣ?  
Что вы прилестны—знаете вы сами,  
Что вы добры какъ ангелъ, данный небесами,—  
И этотъ отзывъ вамъ знакомъ;  
И остается мнѣ молчать, любясь вами!

„Вотъ что называется милый, любезный молодой человѣкъ“, скажетъ всякая маменька, найдя такіе деликатные стишки въ альбомѣ своей дочки. „И какую удивительную нравственность преподаетъ опъ!“ прибавимъ мы отъ себя, прочтавъ его мелодію „Признаніе“, которую считаемъ долгомъ привести здѣсь зполнѣ, какъ образецъ благойравной деклараціи для нашихъ черезчуръ ужъ разившихся, юношей современнаго покроя (стр. 30—31):

Хотя вы мнѣ должны быть чужды,  
До чувствъ моихъ хотѣ нѣтъ вамъ нужды,  
Но васъ ужали оскорблю,  
Когда признаюсь откровенно,  
Когда скажу: я васъ люблю,  
Люблю покорно и смиренно,  
Какъ намъ любить позволено  
Все непорочное, святое  
И что отъ насъ удалено  
Всегда, какъ небо голубое!

Ужежь нельзя васъ такъ любить?  
 Ужежь выскательные люди  
 Имѣютъ право очернить  
 Узоромъ чувства пылкой груди,  
 И даже исповѣдь мою  
 Нельзя открыть вамъ безъ упрека?  
 Когда нельзя, я ватаю  
 Любовь въ душѣ моей глубоко!  
 Тогда покойны будьте вы:  
 Душа страдальца всѣмъ закрыта...  
 Мое молчанье вамъ защита  
 Отъ злой, язвительной молвы!

Танцы—великое дѣло въ глазахъ нашего поэта; не умѣть танцовать считается онъ горемъ большой руки. Вотъ что говоритъ онъ въ мелодіи „Вальсъ“ (стр. 118—119) по поводу паръ, кружащихся въ залѣ:

Люблю, притаившись въ углу, въ отдаленьѣ,  
 За ними очами слѣдить каждый мигъ;  
 И тайно въ душѣ возстаетъ сожалѣнье:  
 Зачѣмъ же и я не кружусь между нихъ?  
 Зачѣмъ же и я, восхищенный красою,  
 Воздушную талью рукой не держу,  
 И въ вальсѣ ея не влеку за собою;  
 Въ прелестныя очи зачѣмъ не гляжу?

Вѣдному поэту такъ прискорбно это обстоятельство, что онъ утѣшаетъ себя соображеніями, въ которыхъ, надо признаться, рѣшительно нѣтъ никакого смысла.

Но нѣтъ, я доволенъ! Въ минутномъ порханьи  
 Такъ мало отрады, такъ много терзаній;  
 И я, еслибъ сталъ въ очарованный кругъ,  
 Такъ скоро бы счастья не выдалъ изъ рукъ;  
 Кружился бъ я долго, не зная утомленья,  
 Кружился бъ съ красавицей вѣкъ до конца,  
 Покуда въ плѣнительномъ чудномъ круженьи,  
 Насытись блаженствомъ, замолкнуть сердца!

Поэтъ совершенно выпустилъ изъ виду, что хозяинъ дома, гдѣ бы могъ случиться такой бѣшеный пассажъ, безъ сомнѣнія, не допустилъ бы своего гостя затанцоваться до такой степени изступленія.

Иногда авторъ „Сибирскихъ Мелодій“ какъ будто бы выходитъ изъ своей обыкновенной сферы и начинаетъ мыслить; но и тутъ главною чертою его оригинальности остается наивность:

Гдѣ горы есть, и гдѣ ихъ главы  
 Сокрыты въ небѣ величаво,  
 Тамъ есть и пропасти, куда  
 Сбѣгаетъ мутная вода...



Такъ челоѣкъ горамъ подобенъ,  
И онъ къ высокому способенъ;  
Но есть въ души его тайникъ,  
Куда лучъ неба не проникъ! (стр. 166—167).

Или:

Печали Радость говорила,  
Сгрустнувшись какъ-то разъ на мигъ  
„Зачѣмъ людей ты посѣтила,  
„Зачѣмъ терзашь вѣчно ихъ?  
„Отдай мнѣ въ полное владѣнье  
„Весь свѣтъ, сама жъ его забудь,  
„И будетъ съ полнымъ наслажденьемъ  
„Цвѣтами устланъ жизни нуть!“  
Печаль же Радости сказала  
Съ усмѣшкой грустною въ отвѣтъ:  
„Когда бы я здѣсь не блуждала,  
„Тебя не зналъ бы гордый свѣтъ!“ (стр. 173)

Въ заключеніе характеристики сибирскаго поэта считаемъ долгомъ сказать, что иногда, къ счастью, очень рѣдко, покидаетъ онъ свой уѣздно-идиллическій міръ для выраженія такихъ идей, которыя рѣшительно не клеятся съ поэзіей альбомовъ и школьных тетрадекъ. Мы разумѣемъ здѣсь идеи общественныя. Прискорбно видѣть, что нашъ кроткій, милый идиллистъ настраиваетъ иногда свою лиру на такіе тоны, которые рѣшительно не идутъ къ его нѣжному голосу. Такъ, въ одно неблагополучное утро, Богъ знаетъ подъ какимъ вліяніемъ, пустился онъ въ преогчаинное *graudioso* и произвелъ мелодію „Гробница Наполеона“ оканчивающуюся вотъ какими словами (стр. 144):

Итакъ, обились его желанья;  
И послѣ душнаго изгнанья  
Странѣ родной онъ возвращень  
И за тяжелыя страданья  
Любовью новой награждень.  
Парижъ имъ снова очарованъ,  
Забывшись ждетъ: вотъ встанетъ онъ,  
Вотъ будетъ снова корокованъ,  
И на враговъ пойдетъ Наполеонъ!

Въ нѣсколькихъ мелодіяхъ сибирскій поэтъ упоминаетъ о монголахъ, какъ народѣ, имѣвшемъ будто бы свою славную исторію. Есть у него, между прочимъ, мелодія „Монголу“ (стр. 15—16), изъ которой нельзя не заключить, что за Уральскимъ хребтомъ еще смотрятъ на разбойническіе набѣги дикихъ ордъ, какъ на блистательные историческіе подвиги. Въ этой мелодіи поэтъ обращаетъ къ монголу рѣчь слѣдующаго содержанія:

Ты позабылъ твои набѣги  
Въ тиши ночной на станъ врага.

Ты утонувъ въ ничтожной нѣгѣ,  
 И честь тебѣ не дорога;  
 И мышцы крѣпкія ослабли,  
 Труслива стала голова,  
 Рука забыла взмахи сабли  
 И съ лука спала тетива....

Рѣшительно совѣтуетъ автору не выходить изъ той сферы поэзіи, въ которой онъ такъ силенъ; повторяемъ въ то же время, что въ альбомныхъ стихахъ и въ стихотворныхъ упражненіяхъ на ученическія темы едва ли кто посмѣетъ съ нимъ состязаться.

### Е. В. Карнѣевъ.

Священныя пѣснопѣнія древняго Сіона, или стихотворное переложеніе псалмовъ, составляющихъ Псалтирь. Изданіе *Кораблева* и *Сирякова*. С.-Петербургъ. 1846.

Многіе изъ нашихъ поэтовъ, отъ Ломоносова до г. Языкова включительно, переводили псалмы Давида, и все-таки нашъ церковно-славянскій переводъ остался и навсегда останется превосходнѣйшимъ переложеніемъ священной поэзіи. На это есть двѣ причины: одна заключается въ духѣ неизвѣстнаго виновника церковнаго перевода, другая—въ свойствѣ языка, на которомъ онъ сдѣланъ. Мы полагаемъ, что въ первые вѣка христіанства, да притомъ еще у народа, не самому младенчеству своему чистаго отъ тягости многоразличныхъ земныхъ помысловъ и грѣховныхъ дѣлъ, благодатный свѣтъ священной поэзіи несравненно легче могъ проникать въ сердца и возбуждать въ нихъ то живое сочувствіе къ священнымъ письменамъ, безъ котораго такое переложеніе не можетъ быть вѣрно въ настоящемъ смыслѣ слова. Какъ бы ни былъ силенъ вѣрою человекъ нашего времени, никогда не превзойти ему... что мы говоримъ, никогда не сравнится ему съ первыми христіанами въ той святой непомраченности чувствъ, которая украшала ихъ души, свободныя отъ бремени мудрствованій и сомнѣній. Таковъ человекъ, что ничто пережитое не уничтожается съ корнемъ въ его умѣ и сердцѣ. Таково и человечество въ своемъ вѣчномъ развитіи: никакая мысль, охватившая умы, никакое чувство, двигавшее народы въ извѣстный періодъ времени, не исчезаетъ безъ слѣдовъ, безъ осадка, часто почти невидимаго, но ничѣмъ не истребимаго! Этотъ-то осадокъ, заодно съ новыми элементами жизни, непрерывно уменьшаетъ въ немъ сочувствіе ко многимъ предметамъ, имѣвшимъ въ свое время силу, по видимому, несокрушимую. Развитіе матеріальныхъ благъ и свободнаго мышленія—вотъ что съ каждымъ днемъ удаляетъ насъ отъ той безгрѣховной чистоты, которая, въ первыя времена христіанства, приводила благостыню въ сердца народовъ-новобранцевъ, въ сердца, не отягченныя обиліемъ вѣщественныхъ нуждъ и сомнѣніями кичливаго разума. Тогда притекали къ ней съ ма-

денчески-пламенной любовью, нынѣ—съ трепетомъ погрѣшившихъ. Итакъ, упомянутое живое сочувствіе умалено въ насъ тяготою прожитыхъ опытовъ и новыхъ суетныхъ стремленій.

Вотъ первая причина, по которой преимущество зиждительной силы (въ той мѣрѣ, какъ она должна быть въ переводчикѣ) всегда останется за церковно-славянскимъ переложеніемъ Псалтири. Всѣмъ извѣстны многіе прекрасные переводы псалмовъ, существующіе на русскомъ языкѣ; но, если разобрать ихъ съ вниманіемъ, нельзя не замѣтить въ нихъ того недостатка сочувствія, о которомъ мы упомянули; прочтешь новый переводъ, полюбишься нѣкоторыми красотами (большею частью несвойственными предмету и принадлежащими личности и эпохѣ переводчика) и—вспомнишь о церковно-славянскомъ текстѣ, какъ о высотѣ недостижимой. Но никогда не случалось намъ такъ сильно убѣждаться въ неподражаемой красотѣ его, какъ теперь, при чтеніи „Священныхъ пѣснопѣній древняго Сіона“. Такъ все въ этой книгѣ холодно, сухо, что мы давно уже не встрѣчали грамотныхъ стиховъ болѣе прозаическаго свойства. Вотъ, напримѣръ, XIV-й псаломъ, тотъ самый, который былъ уже переведенъ г. Языковымъ („Кому, о Господи, доступны Твои Сіонскіе высоты“ и пр.); каково читать его вотъ въ такомъ видѣ (стр. 26):

„Кто, Господи, въ твоёмъ жилищѣ водворится,  
Кто на святой горѣ Твоей посмѣетъ жить?  
Тотъ, кто всю жизнь свою быть непорочнымъ тщится,  
Кто правду, истину въ душѣ своей хранитъ,  
Языкъ отъ клеветы удерживать умѣетъ,  
Зла ближнимъ не творитъ и въ срамъ не вводитъ ихъ;  
Тотъ, кто крамольниковъ лукавыхъ презираетъ,  
Воящимся Творца честь любить воздавать,  
Клянется ближнему и въ вѣкъ не измѣняетъ;  
Сребра въ ростъ никому ни смѣетъ отдавать  
И не беретъ даровъ невинному въ обиду:  
Кто поступаетъ такъ, неколебимъ во вѣкъ.

И на всѣхъ трехъ-стахъ-тридцати страницахъ „Священныхъ пѣснопѣній“ нѣтъ ни одного стиха, который не поражалъ бы васъ такою же прозаичностью. Подтверждать этого сужденія выписками не возможно, ибо въ немъ нѣтъ и тѣни преувеличенія, такъ что подтвердить его вполне можетъ только сама книга въ триста-тридцать страницъ...

Вторая причина превосходства церковно-славянскаго перевода Псалтири, какъ сказано выше, заключается въ языкѣ. Во-первыхъ, языкъ, на которомъ написаны наши церковныя книги, какъ рѣчь народа, еще не достигшаго періода полнаго развитія умственныхъ силъ, поражаетъ обаяніемъ живописныхъ образовъ, еще не замѣнившихся отвлеченными терминами, условными іероглифами. Нѣтъ нужды доказывать, что такой языкъ вообще заключаетъ въ себѣ болѣе поэзіи и

въ особенности удобнѣе нашего новаго языка для передачи восточнаго характера формы святыхъ чувствъ и мыслей псалмопѣвца. Во-вторыхъ, сознавая сказанное выше о сочувствіи къ священной поэзіи, мы не можемъ не ощущать какой-то удивительной гармоніи между ея предметомъ и древнимъ нарѣчіемъ, отжившимъ вмѣстѣ съ чистотою чувства, мыслей и стремленій младенческихъ обществъ первыхъ временъ христіанства.

Новѣйшіе переводчики псалмовъ большею частью ложно понимаютъ прелесть древняго церковно-славянскаго языка. Нѣкоторые даже и вовсе не понимаютъ ея, полагая, что стоитъ только употреблять обветшалыя формы рѣчи и стихотворные обороты для того, чтобъ приблизиться къ дивной красотѣ нашего церковнаго перевода. Не сомнѣваемся, что такъ думаетъ и авторъ книги, изданной гг. Кораблевымъ и Сиряковымъ: его языкъ блѣденъ и водянь до усыпительности; слѣдовательно, напрасно было бы искать въ немъ и тѣни близости къ языку церковно-славянскому. А между тѣмъ языкъ новаго перелagателя переполненъ устарѣлыми формами русскаго языка и русской версификаціи, и нельзя не подозревать, что человекъ, издавшій свои стихотворенія въ текущемъ 1844 году, впасть въ такую странность единственно отъ плохого уразумѣнія сущности красотъ, подъ которыя хотѣлъ поддѣлаться. Какъ объяснить себѣ иначе стихи, подобные слѣдующимъ:

Съ Тобой, мой Богъ, могу я стѣны *прелѣзати* (стр. 33).

Меня обзяли псы, мной злые овладѣли (стр. 43).

Сосѣдамъ стали мы въ посмѣшище поносно (стр. 176).

О, Боже, отъ меня *потщись не удаляться!* (сту. 153).

Самую тяжесть стиха авторъ, кажется, считалъ весьма приличною предмету, и потому усыпалъ свое переложеніе стихами, подобными слѣдующимъ:

Не возметъ ничего съ собой онъ умирая,

И слава въ слѣдъ за нимъ *не поидетъ на тотъ свѣтъ.*

*Пока живъ, всякъ его возноситъ ублажая* (стр. 105).

Или:

Ты землю утвердилъ, какъ будто на столпѣ,

*Дабы во вѣкъ и въ вѣкъ она не колебалась* (стр. 227).

Или:

Великъ Іегова, Царь царей, Богъ надъ богами!

*Горъ высота, концы земли въ Его рукѣ* (стр. 208).

Послѣ этого спрашивается: чѣмъ новый переводъ 1846 года лучше перевода, сдѣланнаго Сумароковымъ восемьдесятъ лѣтъ тому назадъ? Для тѣхъ, кому не случалось читать этой старины, выпишемъ переведенное Сумароковымъ, мѣсто, напримѣръ, изъ XXI-го псалма:

Воли Васанскіи мя объяли,  
На мя свирѣпы лвы рычатъ.

Лукавства пышно возсіяли,  
 Законы праведны молчатъ.  
 Но я надѣюсь на Бога:  
 Щитъ Онъ и сира, и убога;  
 Надѣюсь твердо на него:  
 Пускай зіяетъ ложь и злоба  
 И мнѣ отворитъ двери гроба,  
 Гоня изъ свѣта мя сего.  
 Мя люты тигры окружають  
 И разорвать меня хотять,  
 Гордась меня уничтожаютъ  
 И благу моему претять;  
 Дѣлятъ они мои одежды,  
 Стремясь лишить мя всей надежды;  
 Но Богъ отъ нихъ меня спасетъ,  
 И скоро ангелъ ихъ погонитъ  
 И острый мечъ на нихъ преклонитъ,  
 Меня Всевышній вознесетъ <sup>1)</sup>.

А вотъ то же мѣсто въ изданіи гг. Кораблева и Сир...

Изсохли силы всѣ, какъ черепъ, онѣмѣли;  
 Языкъ прильнулъ къ устамъ; Ты въ персть привелъ меня;  
 Меня объяли псы, мной злые овладѣли,  
 Пронзили руки мнѣ и ноги, не щадя,  
 И всѣ они мои пересчитали кости:  
 Глядятъ—и зрѣлище мнятъ дѣлать изъ меня;  
 Одежды по себѣ дѣлятъ и жребій мечутъ.  
 Но ты меня, Господь, въ сиротствѣ не оставь!  
 Будь въ помощь мнѣ: пусть злыхъ людей мечемъ увѣчутъ:  
 Меня жъ, мой Богъ, отъ пса и отъ меча избавь,  
 Отъ буйвола роговъ, отъ пасти льва избави!  
 Тебя я въ сонмищахъ средь братьевъ исповѣмъ (стр. 43).  
 Новая ореографія; а языкъ и версификація совершенно сумароковскіе!..

## И. Бартдинскій.

Опыты въ стихахъ. И. Бартдинскаго. Тетрадь первая. С.-Петербургъ. 1846.

Какъ жаль, что у сочинителей нѣтъ обычая издавать свой первый литера-  
 турный опытъ съ приложеніемъ къ нему краткой автобіографіи, въ которой авторъ  
 откровенно признавался бы читателямъ, что онъ за человѣкъ, чему онъ учился,

<sup>1)</sup> Списано съ текста второго (Новиковскаго) изданія Сочиненій Сумарокова часть I, стр. 25.

какъ вздумалъ приняться за литературу, сколько ему лѣтъ отъ роду, и т. п. По крайней мѣрѣ, для критики это было бы чрезвычайно удобно: и строгость, и снисходительность ея были бы несравненно основательнѣе. Говорятъ, что личность автора необходимо выражается въ его произведеніяхъ. Такъ! да личности-то бывають иногда до того обманчивы, что, судя человѣка по его литературнымъ трудамъ, какъ разъ пожилого пріймешь за отрока, а отрока за неудавшагося мужа, и т. д. Странно! Вѣдь любятъ же господа стихотворцы рассказывать о самихъ себѣ и рассказываютъ иногда очень подробно, да все это такимъ неопредѣленнымъ, мутнымъ языкомъ, и притомъ такъ однообразно, что лучше бы ужъ ничего не говорили.

Что сказать, напримѣръ, о г. И. Бартдинскомъ, не зная его какъ человѣка и зная только, какъ автора „Опытовъ въ стихахъ“? Въ опытахъ его проглядываетъ маленькое достоинство—умѣнье довольно легко и живо нарисовать картинку; за то есть и огромные недостатки—совершенная ничтожность содержанія и слабость разводить удачныя изображенія цѣлыми ушатами реторики и размышленіями о пустякахъ. Къ этому присоединяется слишкомъ нецеремонное обхожденіе съ русскимъ языкомъ и самое непріятное смѣшиваніе простонароднаго языка съ книжнымъ. Можетъ быть, все это извиняется молодостью автора, а можетъ быть, и не извиняется. Не знаемъ, право, какъ быть... Постараемся лучше поближе ознакомить читателей съ самыми „Опытами“ и сдать эту книжку на собственный ихъ судъ.

Опытовъ въ первой нынѣ вышедшей тетради всего на все два. Одинъ называется „Варюша“, другой—„Деревенскій мечтатель“. Вотъ содержаніе „Варюши“:

Гл. I.—Дѣвѣшникъ. Варюша выходитъ замужъ за Ванюшу. На дѣвѣшникѣ, въ тотъ патетическій моментъ всеобщаго удовольствія, когда

Подъ исходъ сама невѣста  
Съ женихомъ плясать пошла.  
Той порой въ разгульной хатѣ,  
Подъ удалый пѣснь хоръ,  
Съ изукрашенныхъ палатей  
Оземь грянуся топоръ.  
Повскакали гости въ страхъ...  
Каждый дрогнулъ не путемъ.  
„Не къ добру!“ шепнули свахи.  
„Не къ добру!“ пошло кругомъ (стр. 10—11).

Въ этомъ паденіи топора съ палатей и „заклывается нить завязки романа“.

Гл. II.—Невѣста. Варюша жалуется добрымъ людямъ, что женихъ ея пропалъ безъ вѣсти:

Ужъ ждала я дни и ночи,  
Не вернется ли съ гульбы.



И проплакала всё очи,  
Промолгла всё мольбы, и т. д. (стр. 13).

Гл. III.—**Ж е н и х ъ**. Довольно удачная картина глухого лѣса, испорченная риторическими разглагольствованіями, въ родѣ слѣдующаго:

Суждено тутъ тлѣть величью  
*Въ сиротствѣ глухой судьбы.*

Въ дремучемъ лѣсу лежитъ трупъ Ванюши, а подлѣ трупа вѣрная собака убитаго дѣтины. По поводу этого пса г. Бартдинскій написалъ нѣсколько стиховъ, которые, по нашему мнѣнію, лучше во всей тетради:

И не сводить песь тревожно  
Взоръ съ блѣднаго лица:  
То подступить осторожно,  
Троцетъ лапой мертвеца...  
То, почуя шорохъ дальный,  
Съ громкимъ лаемъ отбѣжить...  
То воротится, печальный,  
И тоскливо завизжитъ,  
И потомъ, склонясь съ любовью  
Къ трупу сморщеннымъ челомъ,  
Раны облиты кровью,  
Лижетъ влажнымъ языкомъ... (стр. 21—22).

Гл. IV.—**С и р о т к а**. Въ одну прекрасную ночь г. Бартдинскій, путешествуя въ предѣлахъ отечества, остановился на какой-то станціи и дремалъ

На телѣжкѣ перелетной.

Что окружало его въ это время, и какими глазами смотрѣлъ онъ на спавшую вокругъ него природу—это скажетъ намъ самъ поэтъ, и скажетъ очень недурно (стр. 26):

Полночь. Глухо по кладбищу;  
Стихъ далекій сельный шумъ,  
Соловьи уже не свищутъ:  
Лѣсъ безмолвенъ и угрюмъ.  
Разметавшись въ сонномъ ложѣ,  
Спятъ и озера струи.  
Мѣсяцъ тусклый на сторожѣ  
Въ нихъ вперилъ глаза свои.  
Проклиналъ я путь и скуку,  
Ночи душной тишину,  
Безотрадную разлуку,  
Встрѣчъ немилыхъ новизну,  
Мнѣ досадно стало въ горѣ,  
Что надутая луна  
Смотритъ въ воду на просторѣ  
Безъ усталости и сна.

И сердился, какъ, ребенокъ;  
 Сѣлъ у яра на мысу,  
 Свѣсилъ ноги до колѣнокъ  
 И качалъ ихъ на вѣсу...

Долго качалъ нашъ поэтъ свои ноги, долго предавался онъ блаженному упоенію поэтической лѣни... Вдругъ слышитъ онъ на кладбищѣ жалобный мелодическій голосъ... Г. Бартдинскій вслушивается, перестаетъ качать на вѣсу ноги и слышитъ слѣдующую пѣсню (стр. 32—33):

Ахъ, не мать сына въ бѣлы руки ваяла.  
 Не родная пеленами увила,  
 Забаюкала въ пѣвучую дрему,  
 Уложила въ теплу люльку во нову.  
 Одолѣла злая смерть его бѣдой,  
 Изокутала во саванъ гробовой,  
 Забаюкала болючею тоской,  
 Положила спать во мать землѣ сырой!  
 Я бы молвила родимой: „Не качай;  
 „Лучше молодца ты дѣвушкѣ отдай!  
 „Ты его во теплу люльку не кладь;  
 „На вѣчную постель ко мнѣ пусти!  
 „Я его косою дѣвичьей обовью,  
 „Я его у буйной груди усыплю...  
 „Разбужу-то рано утромъ золотымъ  
 „Недѣвичьимъ поцѣлуемъ огневымъ!“  
 А могилѣ что, сиротка, я скажу:  
 Развѣ тутъ къ кресту головушку сложу  
 Да ударюсь бѣлой грудью на траву,  
 Да, рыдая, мила друга назову?..  
 Возопью я: „Разступись, сыра земля!  
 „Мнѣ, молодой, любя постелюшка твоя!  
 „Скоротай ты вдовью дѣвичью судьбу:  
 „Положи меня со милымъ во гробу!“

Вмѣсто того, чтобъ остановиться на этой удачной пѣсенкѣ, г. Бартдинскій пускается въ наивныя размышленія слѣдующаго достоинства:

Такъ-то простъ языкъ народный,  
 Задумевный плачъ тоски!  
 Овятъ и звученъ токъ свободный  
 Слезъ и ропоту(а) рѣки.  
 Но въ сѣдыхъ кудряхъ удалый  
 Русской рѣчью голосистъ,  
 Тутъ не то бы спѣлъ, бывало,  
 Вѣщій дѣдушка, Капнистъ!

Второй опытъ г. Бартдинекаго называется „Деревенскій мечтатель“. Пѣснь эта заключаетъ въ себѣ мечты молодого парня о сватовствѣ. Нѣкоторые строфы

можно назвать удачною поддѣлкой подъ простонародный языкъ; но очень часто деревенскому парню авторъ навязываетъ не только слова, но и цѣлыя понятія, рѣшительно недоступныя мужицкому разумѣнію, на примѣръ (стр. 45):

Отслужу годами-службою,  
Какъ Іаковъ за Рахиль!..

## А. П. Кузьмичъ.

Зиновій-Богданъ Хмельницкій. Сочиненіе Александра Кузьмича. Эпоха первая: Молодость Зиновія. Пять частей. Санктпетербургъ. 1846

Лѣтъ пятнадцать назадъ историческіе романы были въ большой модѣ. Ихъ писали во множествѣ и по самому легкому рецепту. Вальтеръ Скоттъ, создавшій историческій романъ, соблазнилъ пишущую братію одною постоянною своею уловкой: онъ ввелъ съ свои романы *таинственныя лица*, которыя даютъ романисту возможность распутывать узлы самой запутанной завязки. Писатели всѣхъ націй подхватили это изобрѣтеніе, и европейская литература переполнилась историческими романами, въ которыхъ не было ничего вальтеръ-скоттовскаго, кромѣ запутанности интриги, но которые читались большинствомъ чуть ли не съ такою же жадностью, какъ „Айвенго“ и „Антикваріа“. Писатель избиралъ какую-нибудь эпоху, подробно описанную въ историческихъ памятникахъ, заглядывалъ въ первыя попавшіяся ему археологическія изслѣдованія объ одеждахъ и жилищахъ избраннаго времени, пріискивалъ новыя гармоническія имена общимъ для всѣхъ сказочниковъ идеаламъ героя и героини или втискивалъ живыя историческія лица въ эти установленныя формы и смѣло начиналъ рассказывать сказку вѣчнаго содержанія, въ которой юноша идеальнаго совершенства долженъ любить безъ памяти дѣвицу такового же достоинства, но соединиться съ нею вѣчными узами не иначе, какъ по преодоленіи тысячи препятствій, при содѣйствіи *таинственнаго лица*—какогонибудь нищаго, разбойника, жида, цыганки, скомороха и т. п. На Руси историческіе романы производились и потреблялись съ такою же быстрою, какъ и вездѣ; всѣ эпохи русской исторіи, отъ призванія Рюрика до нашествія двадцати языкъ, были перетроганы романистами и передѣланы по одному и тому же рецепту въ длинныя сказки самаго зазорнаго интереса. Кто изъ насъ не пожиралъ ихъ въ отрочествѣ съ утратой крѣпости нервовъ и многихъ часовъ учебнаго времени? Кто не принималъ этихъ сказокъ за историческіе романы? Кто не вѣрилъ въ могущественный геній русскихъ Вальтеровъ Скоттовъ? О золотые дни дѣтства! воскликнемъ мы съ толпою отжившихъ сочинителей,— „затѣмъ проходите вы невозвратно, унося съ собою цѣлый рядъ сладкихъ обольщеній?... Будемъ, однакожъ, благодарны г. Кузьмичу, который напомнилъ намъ эти милые сердцу годы своимъ историческимъ романомъ „Зиновій Богданъ Хмель-

ницькій". Опоздавъ сочиненіємъ и изданіємъ этого творенія на цѣлые полтора десятка лѣтъ, онъ подарилъ намъ много часовъ сладкаго воспоминанія: зараженные гибельнымъ духомъ современности, мы не могли бы преодолѣть пяти томовъ его романа, еслибъ при чтеніи его не завлекала и не поддерживала насъ задача переселиться всѣмъ существомъ своимъ въ ту на вѣки миновавшую эпоху, когда подобное произведеніе литературы могло имѣть свое значеніе, и когда мы сами прочли бы его съ прямымъ, непосредственнымъ умиленіемъ. Теперь—увы!—мы должны прибѣгать къ неизвѣстнымъ въ то время ухищреніяхъ анализа для того, чтобы добыть себѣ наслажденіе при чтеніи „Зиновія-Богдана Хмельницкаго". Но и за то благодаримъ автора: живое воспоминаніе такъ же плодотворно для отдѣльнаго лица, какъ историческая мудрость для цѣлаго народа. Съ этой точки зрѣнія предполагаемъ мы, читатель, прослѣдимъ съ вами сочиненіе г. Кузьмича.

Ультра-сказочное направленіе до такой степени господствуетъ въ „Зиновія-Богданѣ Хмельницкомъ", что авторъ его, кажется, нарочно уклонялся отъ возможности создать что-нибудь похожее не на сказку. Читая его, вы безпрестанно встрѣчаетесь лицомъ къ лицу съ задачами, достойными романиста, и не можете не удивляться, какимъ образомъ г. Кузьмичъ могъ оставить ихъ безъ исполненія, когда онѣ сами напрашивались ему подъ перо. Самый характеръ Хмельницкаго могъ бы быть возведенъ въ типъ, полный жизни и общаго интереса, еслибъ г. Кузьмичъ не покаялся ополить его общепринятыми формами сказочныхъ героевъ. Есть люди, не отличающіеся ни геніальнымъ умомъ, ни особенною страстностью, но одаренные чрезвычайною силою самообладанія; эта сила даетъ имъ огромную власть надъ толпою и завѣряетъ успѣхъ ихъ замысловъ. Къ такой гармонической натурѣ часто привязывается даже человѣкъ необыкновенный, но почерпающій свою силу изъ горячаго источника преобладающей въ немъ страсти; ибо, въ самомъ дѣлѣ, можно ли представить себѣ что-нибудь могущественнѣе и плѣнительнѣе способности живого существа художественно распорядиться собственными силами, царствовать надъ самимъ собою? Что самообладаніе не имѣетъ ничего общаго съ безстрастіемъ и пошлостью, объ этомъ мы не считаемъ нужнымъ распространяться: сама собою разумѣется, что самообладаніе не можетъ и обнаруживаться въ томъ, кто не имѣетъ нужды бороться съ своими страстями. Самообладаніе въ человѣкѣ—то же, что, разумъ въ міркѣ и то, и другое начало не только не исключаютъ, но и предполагаютъ борьбу могучихъ силъ въ организмѣ. Г. Кузьмичъ, безъ всякаго сочувствія къ этой сторонѣ личности своего героя, заставляетъ догадываться читателя, что Хмельницкій былъ именно человѣкъ съ огромнымъ самообладаніемъ. Но подъ перомъ его оно получило оттѣнокъ необыкновенно пошлой благовоспитанности и того заученнаго благонаравія, о которомъ толкуютъ дѣтскія книжки. Хорошъ собою, уменъ, ученъ, благочестивъ, привѣтливъ съ низшими, почтителенъ съ старшими, любезенъ съ женщинами, храбръ, терпѣливъ, благоразуменъ—такой

Зиновій г. Кузьмича единственно потому, что попалъ въ герои романа. Ни разу онъ ни въ чемъ не ошибся, ни разу не сдѣлалъ онъ ни малѣйшаго промаха; за то и счастье валить ему со всѣхъ сторонъ: женщины отъ него безъ ума, король и королевичъ отличаютъ его своими милостями, украинцы привержены къ нему, хотя онъ, съ своей стороны, ведетъ себя, какъ приверженецъ Польши; даже между поляками, не смотря на ихъ свирѣпую ненависть къ казакамъ, отыскиваются у него пламенные друзья. Но, помнится, отъ романовъ той категоріи, къ которой принадлежитъ „Зиновій-Богданъ Хмельницкій“, и не требуется никакой отдѣлки характеровъ,—напротивъ, требуется чтобъ, герой былъ именно такъ идеально и непонято совершенъ, какъ Зиновій г. Кузьмича. Слѣдовательно, если только этотъ сочинитель разсчитывалъ, при изданіи своего романа, на впечатлѣніе такихъ же отроковъ, какими были лѣтъ пятнадцать тому назадъ люди настоящаго поколѣнія, то онъ правъ, какъ нельзя больше. И если еще черезъ пятнадцать лѣтъ опять вздумается ему написать историческій романъ для отроковъ, и тогда будетъ онъ правъ, если выведетъ на сцену не человѣка, а вымышленное совершенство. Для отрока романъ долженъ быть видоизмѣненіемъ няининой сказки: ему надоѣдаетъ слушать разказы о добываніи жаръ-птицы и золотыхъ яблокъ, потому что въ немъ уже пробудилась потребность дѣйствительной жизни; но самая дѣйствительность еще такъ мало ему знакома, что изображеніе ея не возбудитъ въ немъ никакого сочувствія. Романы въ родѣ „Зиновія-Богдана Хмельницкаго“, романы, въ которыхъ, вмѣсто людей, выводятся не существующіе идеалы, вмѣсто обыкновенныхъ житейскихъ обстоятельствъ—чудеса, объясняемые игрою судьбы, гдѣ вмѣсто обыкновенной живой рѣчи господствуетъ реторика и эмфазъ,—такіе романы, говоримъ мы, будутъ всегда больше всего нравиться четырнадцатилѣтнимъ мальчикамъ, и сочинители такихъ романовъ будутъ всегда имѣть огромный успѣхъ въ этой публикѣ.

Чудесъ не оберешься въ „Зиновія-Богдана Хмельницкомъ“. Давно ужъ не случалось намъ встрѣчать въ сказкѣ новѣйшаго издѣлія такого множества и такъ быстро слѣдующихъ одна за другою случайностей, какъ въ романѣ г. Кузьмича. Не довольствуясь однимъ таинственнымъ лицомъ, онъ одарилъ всѣхъ своихъ героев особеннымъ свойствомъ являться, какъ снѣгъ на голову, въ такое время и въ такомъ мѣстѣ, гдѣ можно выручить другъ друга изъ бѣды и развязать руки рассказчику ихъ приключеній. Всѣ эти господа и госпожи до такой степени услужливы, догадливы и ловки, что слышатъ за тридевять земель, какъ худо приходится ихъ знакомому, поспѣваютъ въ одну минуту на мѣсто и жъ во что бы ни стало выручаютъ своего, даже еслибы требовалось для того пролѣзть сквозь замочную скважину или разбить кулакомъ вѣковую твердыню.

Самая эпоха и общество, избранныя г. Кузьмичемъ, въ высшей степени интересны для отроческаго ума. Дѣйствіе романа происходитъ попеременно въ запорожской Сѣчѣ, въ Украинѣ и Польшѣ, въ шестнадцатомъ столѣтіи. Сколько

тутъ драки и разгула, крови и кутежа, кровавыхъ подробностей и балетныхъ эффектовъ! Но лучше всего поспѣшимъ рассказать содержаніе пяти частей „Зиновія-Богда Хмельницкаго“. Это единственное средство передать всю прелесть вымысла и всю сладость слога г. Кузьмича.

Дѣйствіе начинается очень весело въ Запорожской Сѣчѣ.

„День и ночь пируютъ козаки. Разгульные пѣсни кобзаря возбуждаютъ ихъ еще къ большому веселью. Самъ кобзарь весь проникнутъ этимъ бѣшеннымъ весельемъ. Одушевленные глаза его искрятся, бандура дрожитъ въ пылающихъ рукахъ, каждая жилка бьется восторгомъ. Приударивъ въ звонкія струны, присвиснувъ, притопнувъ ногою, кобзарь поетъ:

Нуте, нуте, запорожци,  
Нуте погуляйте!  
Одни скачте, други грайте,  
А трети спивайте!“ (ттр. 25—26.

Между тѣмъ какъ *лицарство* проводитъ время свое такъ изычно, гетманъ Дорошенко совѣщается съ старшинами, какъ бы освободить Украину отъ поляковъ. Рѣшаютъ отправить туда казака Острицу, извѣстнаго своею храбростью и хитростью. Ему поручается взволновать украинскій народъ и вооружить его противъ притѣснителей. Во второй главѣ Острица уже пріѣзжаетъ въ Украину, а къ концу четвертой уже пріобрѣтаетъ себѣ сообщниковъ между украинцами. Въ пятой главѣ герой романа, Зиновій Хмельницкій, является героемъ турнира, даннаго въ Варшавѣ королемъ Сигизмундомъ. Побѣда, одержанная имъ надъ польскими витязями, привлекаетъ вниманіе всей Варшавы, въ особенности варшавскихъ дамъ. И между ними есть одна, которая влюбляется въ него со всею страстью порядочной героини романа. Это княгиня Стройская. Но вы увидите впоследствии, что она — не героиня романа, и что назначеніе ея — самое жалкое. Какъ бы то ни было, Зиновій проводитъ съ нею время очень пріятно и забываетъ въ Варшавѣ о бѣдствіяхъ своей родины. Бальные успѣхи и разговоры съ іезуитами, можетъ быть, совершенно заглушили бы въ немъ голосъ гражданской доблести, еслибы не возстановляли его противъ поляковъ слуга его казакъ Василій, украинскіе депутаты да еще одинъ *таинственный* нищій. Подъ вліяніемъ этихъ вдохновителей, Хмельницкій рѣшается ѣхать въ Украину.

Въ Украинѣ, въ городѣ Чигиринѣ, живетъ старый казакъ Гончаренко, другъ покойнаго отца Зиновія Хмельницкаго, съ дочерью Катериной. Катеринѣ было восемь лѣтъ отъ роду, когда она въ послѣдній разъ видѣла Зиновія, что не мѣшаетъ ей любить героя г. Кузьмича и поджидать его пріѣзда. Между тѣмъ чигиринскій староста, панъ Чаплицкій, плѣнился казачкой и имѣетъ на нее кое-какіе виды. Чаплицкій — то лицо, на которое такой романистъ, какъ г. Кузьмичъ, долженъ излить все свое отвращеніе. Это человѣкъ столько же



трусный и порочный, сколько прекрасенъ и добродѣтеленъ долженъ быть герой романа.

Прибывъ въ Чигиринъ, Зиновій очаровалъ всѣхъ казаковъ и казачекъ. Старикъ Гончаренко въ совершенномъ удовольствіи сказалъ ему однажды слѣдующій комплиментъ: „Ну, Зиновій! Ужъ слушалъ я тебя, слушалъ! Правду говорятъ о тебѣ, что мастеръ *вертѣть языкъ* на всякій ладъ. Со мною говорилъ на одинъ ладъ, а съ нею (съ Катериной) занесъ такое, что ужъ я ума не приложу, откуда у тебя все это такое берется“ (ч. II, стр. 222—223).

Это искусство „вертѣть языкъ на всякій ладъ“ доставило Зиновію еще одну побѣду: въ него влюбилась Анна, дочь Чаплицкаго. Но Хмельницкій любитъ Катерину... Между тѣмъ поляки продолжаютъ притѣснять украинцевъ и производить страшныя казни. Запорожецъ Острица, въ свою очередь, съ шайкой приверженцевъ рѣжетъ злыхъ пановъ и евреевъ. Украина начинаетъ приходить въ волненіе; но Хмельницкій не принимаетъ никакого участія въ дѣлахъ Острицы, не смотря на убѣжденія самого запорожца и многихъ изъ своихъ друзей. Происшествія довольно вяло тянутся въ продолженіе второй части. Въ первой главѣ третьей части панъ Чаплицкій сватается за Катерину и, получивъ отказъ, клянется отомстить Хмельницкому, въ которомъ не безъ основанія видитъ соперника. Затѣмъ г. Кузьмичъ переходитъ къ невообразимо страшному описанію подвиговъ Острицы и съ особенною охотой изображаетъ его варварскую расправу съ жидами, ксендзами и панами: отрокъ будетъ обливаться холоднымъ потомъ отъ впечатлѣній этихъ главъ и непременно убѣдится, что г. Кузьмичъ—отличный сочинитель. Вторая половина третьей части доставитъ ему еще болѣе удовольствія, потому что въ ней три чуда совершаются. Чудо первое: Хмельницкій, вызванный на поединокъ десятью шляхтичами, избавляется отъ непріятности драться съ ними тѣмъ, что его ранятъ убійцы, подкупленные однимъ изъ этихъ шляхтичей. Чудо второе: эти подкупленные убійцы, числомъ восемь, могли бы рѣшительно положить его на мѣстѣ, еслибы въ разсѣянности не надѣлъ онъ въ этотъ день лать: пущенныя негодьями пули отскочили отъ груди героя. Чудо третье: Чаплицкій успѣлъ оклеветать Хмельницкаго въ глазахъ польскаго правительства; его схватили и отправили подъ конвоемъ въ Варшаву; но объ этомъ горестномъ событіи кстати узналъ Острица: запорожецъ освободилъ Зиновія. Зиновій сдѣлалъ визитъ своей возлюбленной Катеринѣ и отправился въ Варшаву оправдываться передъ королемъ Сигизмундомъ.

Задыхающійся отъ эстетическаго удовольствія отрокъ хватаетъ четвертый томъ сочиненія г. Кузьмича и встрѣчается съ Хмельницкимъ въ Варшавѣ. Увы! герой, котораго онъ за что-то полюбилъ уже страстно, сидитъ въ темницѣ. Однакожъ, во второй главѣ къ нему пробираются преданные люди—княгиня Стронская, переодѣтая въ мужское платье, и молодой полякъ Вутневичъ: они обѣщаютъ выпросить для него аудиенцію у короля и исполняютъ свое слово.

Зиновій оправданъ и освобожденъ. Здѣсь—замѣтимъ мимоходомъ—кончается роль княгини въ романѣ г. Кузьмича: вы понимаете, зачѣмъ нужно было это лицо догадливому сочинителю?.. Остальныя главы четвертой части посвящены кровавымъ описаніямъ вторженія запорожцевъ въ Украину и окончательнаго избіенія поляковъ.

Та не має лучше, та не має краще, якъ на Украині:

Та не має жидивъ, не має пановъ, не має уніи.

„Такъ пѣли украинцы, торжествуя свое освобожденіе, а на долго ли было торжество ихъ?“

Этимъ словами заключается четвертый томъ сказки... мы хотѣли сказать: романа.

Въ пятомъ томѣ обнаруживаются политическіе замыслы Зиновія и объясняется его холодность къ освобожденію Украины. Дѣло въ томъ, что до сихъ поръ онъ считалъ отечество свое не довольно сильнымъ для окончательной борьбы съ притѣснителями, но, наконецъ, дождался удобнаго времени и началъ свои дѣйствія тѣмъ, что различнымъ образомъ пріобрѣлъ популярность у украинцевъ... Но Богъ съ нею, съ политикой! Люди, для которыхъ написанъ „Зиновій-Богданъ Хмельницкій“, не большіе охотники до тѣхъ главъ романовъ, въ которыхъ описываются политическія событія, между тѣмъ какъ интрига остается въ сторонѣ.

Хмельницкій снова попался въ руки Чаплицкаго: злой староста посадилъ его въ темницу въ собственномъ домѣ. Но тутъ-то, по нашему мнѣнію, и заключается „нить завязки романа“, какъ выражался почтмейстеръ у Гоголя. Не вѣрится, чтобы герой романа кончилъ свою карьеру въ тюрьмѣ; на этотъ разъ, къ счастью, и по исторіи извѣстно противное. Сверхъ того, г. Кузьмичъ—такой отличный сочинитель, что готовъ, кажется, изъ гроба поднять своего героя; освободить же его изъ темницы—последнее дѣло. Вѣдь у пана Чаплицкаго есть дочка, пани Анна; эта пани влюблена въ Зиновія. чего же лучше? Ну, да что и говорить? Вы, читатель, вы, не читавшіе еще „Зиновія-Богдана Хмельницкаго“, уже знаете не хуже вашего грѣшнаго рецензента и доброжелателя, что прекрасная пани украдетъ ключъ у сквернаго пана Чаплицкаго и освободитъ красавца казака изъ душевной неволи. Такъ и есть. Вотъ слова г. Кузьмича:

„Однажды, долго спустя послѣ прихода сторожа съ вечернею порціею, Зиновію послышался легкій шорохъ на лѣстницѣ. *Отъ продолжительнаго заключенія въ глухомъ, тѣсномъ погребѣ слухъ Зиновія сдѣлался чрезвычайно тонокъ (???)*. Шорохъ въ такое необыкновенное время удивилъ Зиновія. Онъ приподымается съ жесткой постели, слушаетъ: вотъ кто-то приблизился къ дверямъ темницы; ключъ тихо вложенъ въ замокъ; казался, пришедшій робкою рукою старался повернуть ключъ въ ржавомъ замкѣ на

замокъ противился усиліямъ слабой или неопытной руки. Зиновій тихо всталъ съ постели и подошелъ къ самымъ дверямъ; сердце его сильно трепетало. „Не тайный ли другъ пришелъ освободить меня?“ думалъ Зиновій. Ключъ долго вертѣлся въ замкѣ то въ ту, то въ другую сторону. „Сильнѣе!“ проговорилъ Зиновій въ полголоса, — „нажми сильнѣе направо“. За дверьми на минуту, все стихло. Потомъ отпиравшій, собравъ, казалось, послѣднія силы, нажалъ ключъ, щеколда звонко брякнула. Дверь тихо отворилась. Зиновій въ изумленіи отступилъ назадъ; передъ нимъ стояла Анна блѣдная, съ впалыми щеками, блуждающими глазами“ (ч. V, стр. 104—105).

Вотъ вы и отгадали!

Узнавъ о поступкѣ пана Чаплицкаго, король Владиславъ (Сигизмундъ давно уже умеръ) наказываетъ Чаплицкаго позорно: ему отстригаютъ усъ къ истинно патріотическому удовольствію почитателей таланта г. Кузьмича. Между тѣмъ Чаплицкій какъ-то узнаетъ, что Хмельницкій освобожденъ Анной, и сажаетъ ее самое въ ту самую темницу, въ которой „томился Зиновій“.

Кто жъ освободитъ бѣдную пани изъ заключенія? Кто? Кажется, вы опять догадались, читатель! Однакожъ, мы скажемъ вамъ напрямикъ: ее освободилъ Хмельницкій. Мало того: онъ, Хмельницкій, женится на ней и, сколько можно понять изъ романа, не для того, чтобъ спасти ее отъ стыда убѣжать съ молодымъ человѣкомъ изъ дома родительскаго, — нѣтъ, Зиновій увѣряетъ ее, что у нея „нѣтъ больше соперницы“. А Катерина? Не знаемъ, что сказать вамъ объ этомъ деликатномъ пунктѣ. Однакожъ, къ концу пятой части оказывается, что Зиновій все-таки любитъ и Катерину. Вотъ это ужъ не совсѣмъ добросовѣстно со стороны г. Кузьмича, это—вольность романиста: ею будутъ недовольны и отроки, которые отъ всей души заинтересованы Катериной, законною героиней романа, и взрослые люди, которые не поймутъ, какъ объяснить психологически поступокъ Хмельницкаго.

Въ концѣ романа старикъ Гончаренко умираетъ, а панъ Чаплицкій похищаетъ Катерину. Послѣ всего вышесказаннаго нѣтъ никакой нужды говорить, что и она не остается въ заточеніи: ее освобождаетъ таинственный нищій. Катерина прибѣгаетъ въ домъ Хмельницкаго и, Богъ знаетъ почему, дѣлается другомъ соперницы своей Анны. Дѣти Зиновія очень полюбили Катерину, и романъ кончается очень чувствительно.

Такъ какъ на заглавіи пятой части все еще стоитъ „эпоха первая: молодость Зиновія“, то мы имѣемъ право заключать, что сочиненіе г. Кузьмича не кончено: поздравляемъ отроковъ съ предстоящимъ наслажденіемъ!

## П. П. Зубовъ.

**Талисманъ или Кавказъ въ послѣдніе годы царствованія императрицы Екатерины II. Историческій романъ въ двухъ частяхъ. Сочиненіе Платона Зубова. Санктпетербургъ. 1847.**

Г. Платонъ Зубовъ называлъ свой „Талисманъ“ *историческимъ* романомъ, но имѣлъ полное право назвать его романомъ историко-философическимъ. Въ этомъ произведеніи разнообразнаго таланта поэзія, исторія и философія соединяются самымъ тѣснымъ образомъ и производятъ на читателя самый полный, самый очаровательный эффектъ. Но чтобы передать всю сладость такого впечатлѣнія, надо самому владѣть тройнымъ оружіемъ поэта, историка и философа такъ, какъ владѣетъ имъ г. Платонъ Зубовъ: никакая рецензія не передастъ ни высокой художественности его картинъ, ни занимательности сообщаемыхъ имъ историческихъ подробностей, ни глубокомыслія его философскихъ положеній. Что касается собственно до насъ, мы постараемся передать читателямъ въ возможной неприкосновенности букетъ всѣхъ трехъ талантовъ автора „Талисмана“ и только посредствомъ выписокъ надѣемся ознакомить ихъ съ сущностью поэзіи, философіи и исторіи г. Зубова.

Романъ начинается великолѣпною картиною кавказской природы: „Сильный, порывистый вѣтеръ свисталъ въ кавказскомъ ущельи, по которому нынѣ пролегаетъ военно-грузинская дорога. Темныя облака, гонимыя порывами вихря, грозно скоплялись надъ вершинами горъ. Солнце то скрывалось за гучами, то вдругъ появлялось и разсыпало яркіе лучи по извилинамъ ущелья. Буря приближалась съ ужасающею быстротою. Молніи уже начинали борошнить небо, и глухіе перебаты грома вторились эхомъ горнымъ. Одна только бѣлая конусообразная вершина Казбека спокойно рисовалась на темноглубомъ грунтѣ. Буря свирѣствовала у ея подошвы, огибала ребры, но глава гиганта владычествовала надъ стихіями, не смѣвшими коснуться ледяного чела ея. Такъ, убитленный стидинами, мудрый философъ равнодушно смотритъ на бореніе человѣческихъ страстей, вьющихся около него, но не дерзающихъ возмутить спокойнаго чела“ (стр. 1—2).

По этому грозному ущелью ѣдутъ два всадника—грузинскій князь Гарсеванъ Амилахваровъ, переводчикъ генерала Гудовича, начальника русскихъ войскъ на Кавказѣ, посланный къ царю Ираклію съ русскимъ докторомъ. Ихъ сопровождаетъ отрядъ донскихъ казаковъ. Буря заставляетъ ихъ остановиться на ночлегъ у кайшаурскаго владѣтеля, князя Бектабегова. Ночью на Кайшауръ нападаютъ горцы. Предводитель ихъ убиваетъ самого князя, но остальные погибаютъ въ свалкѣ съ казаками.

„Изъ двадцати горцевъ, ворвавшихся въ жилище Бектабегова, только одинъ молодой, отчаянный храбрецъ еще дышалъ, прочіе же были уже мертвы (стр. 22)...

Перевязавъ раны казаковъ и князя, докторъ подошелъ къ молодому горцу, хотя и съ видимымъ отвращеніемъ, но уступая настоятельной просьбѣ князя, который, по благородству своихъ чувствъ, уважалъ храбрость и мужество, хотя и въ противникахъ, и щадилъ безоружнаго врага. Храбрый горецъ лежалъ все еще безъ чувствъ. Прекрасное, выразительное лицо его было покрыто мертвенною блѣдностію; нѣжныя черты лица, длинные волосы, выбивавшіеся изъ-подъ шапки черныхъ смушекъ и падавшіе въ локонахъ на плеча, роскошныя рѣсницы, нѣжныя и красивыя руки, все заставляло полагать, что онъ былъ изъ числа владѣтельныхъ князей. Но никто не думалъ, чтобъ этотъ отчаянный храбрецъ, этотъ неустрашимый предводитель партіи хищниковъ, была красавица въ полномъ смыслѣ этого слова (стр. 23—24)... „Князь Амилахваровъ съ восхищеніемъ разсматривалъ прелестныя черты юной героини. Какое-то непостижимое чувство зарождалось въ его дѣвственной душѣ. Онъ не могъ отдать себѣ отчета въ таинственномъ влеченіи и сильномъ участіи, которыя чувствовалъ къ прелестной жительницѣ горъ“ (стр. 25)...

Выздоровленіе Гюльнары шло быстро. Амилахваровъ не сводилъ съ нея глазъ, и Гюльнара, съ своей стороны, упорно смотрѣла на князя. „Князь и Гюльнара“ говоритъ г. Зубовъ,—„соединенные такимъ необыкновеннымъ случаемъ, хотя еще не говорили между собою ни слова, вполне понимали другъ друга“ (стр. 29). „Къ чему звуки“, философствуетъ онъ по этому случаю,—„когда выраженія глазъ такъ понятны и такъ удовлетворительно изъясняютъ наши чувства (?). Вотъ готъ всемірный языкъ, котораго тщетно доискивался великій Лейбницъ“ (стр. 30).

Оправясь отъ болѣзни, Гюльнара объяснила, что она убила князя Бектабегова, исполняя долгъ кровной мести. Амилахваровъ везетъ ее съ собою въ Тифлисъ, гдѣ царь Ираклій прощаетъ хищницу. Гюльнара принимаетъ христіанскую вѣру и выходитъ замужъ за князя Гарсевана. Молодые супруги блаженствуютъ, *какъ вдругъ*, въ одно прекрасное утро, Амилахварова отправляютъ съ депешами въ Петербургъ, чѣмъ и кончается первая часть романа.

Въ Петербургѣ грузинскій князь забываетъ Елену (въ мухамеданствѣ Гюльнару) и влюбляется въ нѣкоторую графиню Александрину, которую спасъ случайно отъ утопленія въ пруду, и которая, по свидѣтельству г. Платона Зубова, „представляла собою олицетворенный идеалъ прелести и совершенства, какой могъ родиться только въ пылкомъ воображеніи художника-генія“ (стр. 18). Александра, съ своей стороны, влюбилась въ Амилахварова и „раскрыла предъ его глазами цѣлый міръ новыхъ идей, райскую перспективу душевныхъ наслажденій и осуществила тотъ великолѣпный идеалъ, который часто представлялся разгоряченному воображенію Амилахварова, въ минуты пылкихъ, неопредѣленныхъ мечтаній“ (стр. 21). Князь Гарсеванъ „забывалъ весь міръ, всѣ свои отношенія, все благоразуміе и, закрывъ глаза на будущее, бросился стремглавъ въ этотъ

океанъ безнадежной любви и страданія, коего водовороты увлекають свои несчастныя жертвы въ бездонныя пучины на вѣчную гибель“ (стр. 22).

Дѣла любовниковъ дошли, наконецъ, до рѣшительнаго признанія, и Амилахваровъ признался Александринѣ, что онъ женатъ. Послѣ такого пассажа онъ пересталъ ѣздить въ домъ графини и только передъ отъѣздомъ въ Грузію явился проститься съ возлюбленною. Александрина дала ему на память кольцо и записку, не совсѣмъ грамотную, но весьма трогательнаго содержанія: „Въ ту минуту, когда такъ неожиданно судьба разлучаетъ насъ, можетъ быть навсегда, я поняла, сколько вы дороги для моего сердца, необходимы для моего счастья. Я бы никогда не сказала вамъ этого, если бы не предчувствіе, что мы уже болѣе не увидимся. Храните *этотъ* залогъ любви и дружбы, которой вамъ вручаю, да будетъ онъ талисманомъ, который защититъ васъ во дни опасностей. Мы никогда не можемъ принадлежать другъ другу. Покоримся долгу и сохранимъ собственное уваженіе, какъ бы не были тяжки жертвы, нами приносимыя. Я буду за васъ молиться, какъ за брата и спасителя моей жизни“ (стр. 43—44). Князь Амилахваровъ зашилъ кольцо и записку въ ладонку, повѣсилъ ладонку на грудь и поѣхалъ въ Грузію. „Тысячи противоположныхъ ощущеній давили, тѣснили грудь его“ (стр. 45).

Тифлисъ разграбленъ персіянами. Елена въ плѣну. Однакожъ Амилахваровъ находитъ ее въ гаремѣ одного паши и освобождаетъ. Супруги снова живутъ, и по видимому, прекрасно. Но мало по малу Елена замѣчаетъ въ мужѣ сильную задумчивость. Это подстрекнуло ея любопытство. Однажды удалось ей замѣтить, что князь, удалившись въ уединеніе, снимаетъ съ груди ладонку и цѣлуетъ ее. Она похищаетъ ладонку, разрѣзываетъ ее, видитъ кольцо, узнаетъ содержаніе записки.

„Въ бѣшенствѣ Елена прибѣжала къ спящему Амилахварову; нѣсколько минутъ смотрѣла на его привлекательное лицо. Онъ улыбнулся во снѣ, и Елена подумала: „О, онъ и во снѣ думаетъ о своей любезной... хорошо!“ Ослѣвленная ревностію, Елена схватила пистолетъ, зарядила его и, опуская вмѣстѣ съ пулею записку и кольцо Александрины въ дуло пистолета, сказала съ адскою улыбкой: „Пусть этотъ подарокъ ненавистной соперницы на вѣки поконится въ его сердцѣ“. Раздался выстрѣлъ, но по счастью, рука убійцы дрожала, и пуля вмѣсто груди Амилахварова, куда была направлена, впиалась въ стволъ дерева, подъ которымъ онъ спалъ. Елена это замѣтила. „Не удалось!“ вскрикнула она въ ярости, — „но не радуйтесь моей казни: вамъ не видать ея“. Еще на одно мгновеніе блеснулъ кинжалъ въ рукѣ ея, и она упала на землю, обогрѣнная кровью“ (стр. 68—69).

„Жаль, душевно жаль!“ сказалъ графъ Зубовъ (узнавъ о самоубійствѣ Елены), — „что въ такой прекрасной странѣ, какъ Закавказскій край, страсти не удерживаемыя въ предѣлахъ благоразуміемъ и основательнымъ ас-



пытаніемъ, такъ неистово увлекаютъ въ бездну гибели свои несчастныя жертвы“.

„Это была истина, великая истина“ (стр. 72), прибавляетъ отъ себя авторъ историко-философическаго романа.

Ознакомясь съ букетомъ поэзіи и философіи г. Платона Зубова, читатели, вѣроятно, пожелаютъ ознакомиться и съ красотами его историческаго пера. Вотъ кое-что для образчика:

„...Дербентъ, стѣсненный со всѣхъ сторонъ грозною блокадою, находился въ критическомъ положеніи. Народъ ропталъ, войска потеряли духъ, и союзники хана, ежеминутно ожидая кары раздраженнаго побѣдителя, неохотно содѣйствовали его планамъ. Наконецъ, 2-го мая, графъ Зубовъ приказалъ двумъ ротамъ гренадерскаго Воронежскаго полка и 3-му баталіону егерей Кавказскаго корпуса двинуться на штурмъ башни, составлявшей главнѣйшую оборону Дербентской стѣны. Послѣ жестокаго штурма, три часа продолжавшагося, не смотря на отчаянное сопротивленіе непріятеля, башня была взята. Въ слѣдующіе два дни двѣ батареи были приближены на сорокъ сажень къ Дербентской стѣнѣ и пробита брешь. Жители, видя невозможность защищаться долѣе, заставили хана открыть переговоры, и когда графъ Зубовъ потребовалъ безусловной покорности, то ханъ со всѣми чиновниками явился 10-го мая къ русскому военачальнику съ повѣшенными на шеяхъ саблями въ знакъ раскаянія и покорности, предавая себя и городъ великодушію побѣдителя“ (стр. 60—61).

Цѣлая половина романа наполнена такими же обстоятельными реляціями. Замѣчательно, что г. Платонъ Зубовъ очень часто влагаетъ такія тирады въ уста своихъ героевъ. Такъ, напримѣръ, въ первой части, въ самомъ началѣ, князь Амилахваровъ, проѣзжая кавказское ущелье, вкратцѣ разсказалъ спутнику своему доктору почти всю политическую исторію Грузіи, и разсказалъ точно такимъ же языкомъ, какой употребляетъ самъ г. Зубовъ въ своихъ реляціяхъ, и какимъ блистала нѣкогда знаменитая исторія Кайданова. Вотъ, напримѣръ, что между прочимъ долженъ былъ выслушать докторъ:

„Горсть народа не можетъ противиться громаднымъ силамъ сосѣдственныхъ державъ. Честь и слава нашему великому государю Ираклію Теймуразовичу! Закаленный въ битвахъ, котораго (?) уважалъ и шахъ Надиръ, царь нашъ своимъ вліяніемъ поставилъ Грузію въ такое положеніе, что сосѣди не всегда рѣшаются безнаказанно нападать на насъ. А всего важнѣе, что онъ сбросилъ тягостное иго Персіи, столько лѣтъ тяготившее Грузію, и вступилъ со всѣмъ народомъ подъ благотворное покровительство Екатерины II. Теперь Турція, Персія и горцы, зная, что Грузія можетъ опереться на защиту могущественной, единовѣрной Россіи, посматриваютъ на Грузію только издали, какъ голодный волкъ на лакомую добычу, которую схватить не смѣетъ и только съ досады щелкаетъ зубами. Ты

вѣрно слышалъ о трактатѣ 1783 года, заключенномъ въ Георгіевскѣ генераломъ Павломъ Сергѣевичемъ Потемкинымъ, по порученію Русской императрицы съ уполномоченными нашего царя—княземъ Багратиономъ и княземъ Чавчавадзе,...

„Богъ съ тобой, князь; ты не имѣешь ко мнѣ ни малѣйшей жалости!“, подхватилъ медикъ“ (стр. 5).

## Н. В. Гоголь.

### I.

Похожденія Чичикова или Мертвыя Души. Поэма Н. Гоголя. Изданіе второе. Москва. 1846.

Текстъ второго изданія „Мертвыхъ душъ“ напечатанъ безъ всякихъ измѣненій противъ перваго изданія. Но авторъ присоединилъ къ нему предисловіе, которое называется „Къ читателю отъ сочинителя“, и изъ котораго приведемъ здѣсь нѣсколько выдержекъ:

„Кто бы ты ни былъ, мой читатель, на какомъ бы мѣстѣ ни стоялъ, въ какомъ бы званіи ни находился, почтенъ ли ты высшимъ чиномъ или человѣкъ простого сословія, но если тебя вразумилъ Богъ грамотъ и попалась уже тебѣ въ руки моя книга, я прошу тебя помочь мнѣ“. Гоголь проситъ у своихъ читателей замѣчаній на недостатки его поэмы и свѣдѣній о Россіи. „Я не могу“, говоритъ онъ, — *„выдать послѣднихъ томовъ моего сочиненія до тѣхъ поръ, покуда сколько-нибудь не узнаю русскую жизнь со всѣхъ ея сторонъ хотя въ такой мѣрѣ, въ какой мнѣ нужно ее знать для моего сочиненія“*. Нѣсколько выше сказано: „Всякой человѣкъ, кто жилъ и видѣлъ свѣтъ и встрѣчался съ людьми, замѣтилъ что-нибудь такое, чего другой не замѣтилъ, и узналъ что-нибудь такое, чего другіе не знаютъ“.

Не смотря на очевидность этой истины, мы полагаемъ, что величайшее достоинство второго изданія „Мертвыхъ душъ“ заключается въ тождествѣ его текста съ текстомъ перваго изданія.

### II.

Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями. Николая Гоголя Санктпетербургъ. 1847.

Начало „Предисловія“, помѣщеннаго въ этой книгѣ, по нашему мнѣнію, лучше всего указываетъ точку, съ которой слѣдуетъ смотрѣть на содержащаяся въ ней статьи:

„Я былъ тяжело боленъ“, говоритъ Гоголь;—„смерть уже была близко. Собравши остатокъ силъ своихъ и воспользовавшись первою минутой полною

трезвости моего ума, я написалъ духовное завѣщаніе, въ которомъ, между прочимъ, возлагалъ обязанность на друзей моихъ издать послѣ моей смерти нѣкоторыя изъ моихъ писемъ. Мнѣ хотѣлось хотя симъ искупить безполезность всего доселѣ мною напечатаннаго, потому что въ письмахъ моихъ, по признанію тѣхъ, къ которымъ они были писаны, находится болѣе нужнаго для человѣка, нежели въ моихъ сочиненіяхъ. Небесная милость Божія отвела отъ меня руку смерти. Я почти выздоровѣлъ: мнѣ стало легче. Но чувствую однако слабость силъ моихъ, которая возвѣщаетъ мнѣ ежеминутно, что жизнь моя на волоскѣ, и приготавлиаясь къ отдаленному путешествію къ Святымъ Мѣстамъ, необходимому душѣ моей, въ время котораго можетъ все случиться, я захотѣлъ оставить при разставаньи что-нибудь отъ себя своимъ соотечественникамъ. Выбираю самъ изъ моихъ послѣднихъ писемъ, которыя мнѣ удалось получить назадъ, все, что болѣе относится къ вопросамъ, занимающимъ нынѣ общество, отстранивши все, что можетъ получить смыслъ только послѣ моей смерти, съ исключеніемъ всего, что могло имѣть значеніе только для немногихъ. Прибавляю двѣ-три статьи литературныя, и, наконецъ, прилагаю самое завѣщаніе съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ моей смерти, если бы она застигла на пути моемъ, возымѣло оно тотчасъ свою законную силу, какъ засвидѣтельствованное всѣми моими читателями,, (стр. 1—2).

Завѣщаніе Гоголя проникнуто духомъ истинно-монашескаго смиренія, весьма естественнымъ въ человѣкѣ, изнуренномъ тѣлесными недугами и душевнымъ разочарованіемъ. Вотъ нѣсколько строкъ изъ этого произведенія:

„II. Завѣщаю не ставить надо мною никакого намятника и не помышлять о такомъ пустякѣ, христіанина недостойномъ....

„III. Завѣщаю вообще никому не оплакивать меня, и грѣхъ себѣ возьметъ на душу тотъ, что станетъ почитать смерть мою какою-нибудь значительною или всеобщею утратой. Если бы даже и удалось мнѣ сдѣлать что-нибудь полезнаго, и начиналъ бы я уже исполнять свой долгъ дѣйствительно такъ, какъ слѣдуетъ, и смерть унесла бы меня при началѣ дѣла, замышленнаго не на удовольствіе нѣкоторымъ, но надобнаго всѣмъ, то и тогда не слѣдуетъ предаваться безплодному сокрушенію. Если бы даже вмѣсто меня умеръ въ Россіи мужъ, дѣйствительно ей нужный въ теперешнихъ ея обстоятельствахъ, то и отъ того не слѣдуетъ приходить въ уныніе никому изъ живущихъ, хотя и справедливо то, что если разновременно погибаютъ люди всѣмъ нужные, то это знакъ гнѣва небеснаго, отъемлющаго симъ орудія и средства, которыя помогли бы инымъ подвигнуться ближе къ цѣли, насъ зовущей. Не унынію должны мы предаваться при всякой внезапной утратѣ, но оглянуться строго на самихъ себя, помышляя уже не о чернотѣ другихъ и не о чернотѣ всего міра, но о своей собственной чернотѣ. Страшна душевная чернота, и зачѣмъ это видится только тогда, когда неумолимая смерть уже стоитъ предъ глазами!...,, (стр. 8, 9 и 10)

Странно было бы требовать отъ человѣка, такъ тяжело страдающаго душою и тѣломъ, правильнаго логическаго воззрѣнія на жизнь и ея условія. Поэтому мы не будемъ *разбирать* здѣсь статей, вошедшихъ въ „Выбранныя Мѣста“. Замѣтимъ только, что часто въ этой книгѣ встрѣчаются мысли чрезвычайно свѣтлыя, высказанныя необыкновенно сильнымъ и живописнымъ языкомъ. За то въ ней же встрѣчается и множество противорѣчій, множество натянутыхъ выводовъ, множество фактовъ, освѣщенныхъ ложнымъ свѣтомъ односторонняго воззрѣнія, и произвольно составленныхъ теорій. Все это такъ легко объясняется собственною исповѣдью автора и такъ рѣзко бросается въ глаза всякому, что подтверждать мнѣніе свое выписками и разсужденіями кажется намъ совершенно излишнимъ. Кто возьметъ на себя этотъ трудъ, тотъ непременно впадетъ въ роль одного отсталаго писателя, который недавно съ такою поспѣшностью воспользовался случаемъ написать не лишнее здраваго смысла возраженіе противъ письма Гоголя „Объ Одиссеѣ, переводимой В. А. Жуковскимъ“. Съ своей стороны, мы обратимъ вниманіе читателей только на одно любопытное противорѣчіе, встрѣченное нами въ „Выбранныхъ Мѣстахъ“.

Противники Гоголя, которыхъ число, по разнымъ причинамъ, не меньше числа его поклонниковъ, вѣроятно, не преминутъ воспользоваться собственными его словами о *безполезности* всѣхъ прежнихъ его сочиненій до „Мертвыхъ Душъ“ включительно. Въ самомъ дѣлѣ, какъ хотите вы, чтобъ эти господа упустили такой прекрасный случай выставить въ странномъ свѣтѣ тѣхъ, которые не перестаютъ ставить „Мертвыя Души“ во главу всѣхъ современныхъ произведеній русской литературы? „Вотъ“, скажутъ они, — „собственное сознаніе художника въ огромныхъ недостаткахъ его сочиненій. Изъ-за чего же было такъ кричать объ ихъ великихъ достоинствахъ, господа критики натуральной школы?“ Но, не говоря уже о томъ, что никакой авторъ — не судья своему сочиненію, совѣтуемъ всѣмъ, принимающимъ сѣтованія Гоголя о собственной его ничтожности за горестное сознаніе безсилія, прочесть въ „Выбранныхъ Мѣстахъ“ слѣдующія строки:

„Обо мнѣ много толковали, разбирая кое-какія мои стороны, но главнаго существа моего не опредѣлили. Его слышалъ одинъ только Пушкинъ. Онъ мнѣ говорилъ всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставить такъ ярко пошлость жизни, умѣть очертить въ такой силѣ пошлость пошлаго человѣка, чтобы вся та мелочь, которая ускользаетъ отъ глазъ, мелькнула бы крупно въ глаза всѣмъ. Вотъ мое главное свойство, одному мнѣ принадлежащее, и котораго точно нѣтъ у другихъ писателей. Оно въ послѣдствіи углубилось во мнѣ еще сильнѣе отъ соединенія съ нимъ нѣкотораго душевнаго обстоятельства. Но этого я не въ состояніи былъ открыть тогда даже и Пушкину. Это свойство выступило съ большою силою въ „Мертвыхъ Душахъ“. „Мертвыя Души“ не потому такъ испугали многихъ и произвели такой шумъ, чтобы онѣ раскрывали какія-нибудь раны общественныя или внутреннія болѣзни, и не потому та же

чтобы представили потрясающія картины торжествующаго зла и страждущей невинности. Ничуть не бывало. Герои мои вовсе не злодѣи: прибавь я только одну добрую черту любому изъ нихъ, читатель помирился бы съ ними всеми. Но пошлость всего вмѣстѣ испугала читателей. Испугало ихъ то, что одинъ за другимъ слѣдуютъ у меня герои одинъ пошлѣе другого, что нѣтъ ни одного утѣшительнаго явленія, что негдѣ даже и пріотдохнуть или перевести духъ бѣдному читателю, и что по прочтеніи всей книги кажется, какъ бы точно вышелъ изъ какого-то душнаго погреба на Божій свѣтъ. Мнѣ бы скорѣе простили, если бы я выставилъ картинныхъ изверговъ, но пошлости не простили мнѣ. Русскаго человѣка испугала его ничтожность болѣе, нежели всѣ его пороки и недостатки“ (стр. 141—143).

Вотъ какъ Гоголь *отказывается* отъ своего таланта и отъ своихъ произведеній!..

## П. Н. МЕНШИКОВЪ.

Шутка. Исторія, въ родѣ комедіи. П. Н. Меншикова. Санктпетербургъ. 1847.

Если вы—человѣкъ съ талантомъ какимъ бы то ни было, я догадываюсь, что для васъ труднѣе всего на свѣтѣ. Я знаю одного молодого человѣка съ необыкновенною способностью подмѣтить тонкую черту нравовъ, живо рассказать характеристическій анекдотъ, нарисовать легкую юмористическую сцену... Какъ вы думаете, на что употребляетъ онъ эти способности? На сочиненіе огромнаго романа съ грандіозною идеей, съ колоссальными характерами, съ патетическими положеніями. Что жъ изъ этого выходитъ? Выходитъ романъ самый плачевный: идея скомпрометирована, характеры кукольны, вмѣсто пафоса—мелодраматическій задоръ. Объ этомъ романѣ никто не говоритъ безъ смѣху, и авторъ его поверстанъ бездарнымъ писакой. А надо замѣтить, что первымъ его литературнымъ опытомъ была небольшая, но очень мило рассказанная повѣсть: въ ней все было свѣжо, естественно, свободно; ее прочли всѣ съ большимъ удовольствіемъ и автора значительно похвалили, хотя никому и въ голову не приходило утверждать, что онъ—огромный талантъ. Однакожъ, не прошло двухъ недѣль по напечатаніи повѣсти,—праздный ли пріятель забѣжалъ къ нувеллисту, или самъ онъ дошелъ до какихъ-то новыхъ заключеній о самомъ себѣ, только молодой человѣкъ совершенно перемѣнился. На похвалы напечатанному рассказу онъ отвѣчалъ уже презрительною улыбкой, говорилъ, что это такъ, шалость, капризъ, шутка, что, по настоящему, не стоило для такихъ пустяковъ и за перо браться; прибавлялъ къ этому, что муки творчества—самыя страшныя муки, что въ головѣ его зарождается планъ огромнаго творенія, который онъ, пожалуй, отчасти готовъ и сообщить хорошему человѣку, чтобы облегчить свой пылающій мозгъ. Это огромное твореніе и есть тотъ злополучный романъ, о которомъ мы упомянули.

Есть у насъ еще писатель съ дарованіемъ и съ рѣдкимъ трудолюбіемъ; онъ написалъ нѣсколько десятковъ томовъ, но врядъ ли изъ этого множества произведеній во всѣхъ родахъ выберете вы пять, шесть талантливыхъ рассказовъ да десятковъ живыхъ драматическихъ сценъ. Литературная репутація этого труженика очень сомнительна; если же еще и держится она кое-какъ, такъ развѣ только потому, что трудно публикѣ рѣшиться назвать бездарнымъ писателя, который безпрестанно подчуетъ ее сегодня романомъ, завтра драмой, послѣ завтра *нужелюдой* и тотчасъ вслѣдъ затѣмъ критикой, фельетономъ, письмами и проч., и проч. Но все это—примѣры, а дѣло дошло до того, что трудно становится найти талантливаго, писателя, который держался бы въ предѣлахъ своего таланта и не былъ бы жертвой литературнаго чинолюбія. Это болѣзнь очень любопытная и мало изслѣдованная. Главный признакъ ея—отчаянное стремленіе къ колоссальнымъ твореніямъ. Одержимый этимъ недугомъ, писатель исполняется страшнымъ презрѣніемъ къ тому роду литературы, для котораго созданъ, если только этотъ родъ не причисленъ по риторическимъ и топическимъ преданіямъ къ произведеніямъ *перваго класса*. „Писать—такъ писать что-нибудь грандіозное, монументальное“, восклицаетъ бѣдный больной; водевилистъ принимается за трагедію, рассказчикъ легкихъ повѣстей—за многотомный романъ, лирическій поэтъ—за эпопею на тему „Міръ“, или „Человѣкъ“, или „Общество“, и всѣ они надрываютъ свои таланты и талантики, не понимая, что взяли не за свое дѣло. Зрѣлище этихъ потугъ такъ несносно, что очень часто писатель и съ небольшимъ дарованіемъ можетъ имѣть большой успѣхъ, если произведенія его не отзываются никакими неумѣстными претензіями, если онъ нисколько не насируетъ своего таланта и пишетъ единственно по внушенію своей натуры. Г. Меншиковъ, авторъ „Шутки“, принадлежитъ именно къ числу такихъ пріятныхъ писателей. Талантъ его не изумляетъ огромностью, идеи его обращаются въ довольно тѣсномъ кругу явленій, изображенія его не отличаются могуществомъ анализа, особенно не достаетъ у него патетическаго движенія въ сценахъ, и за всѣмъ тѣмъ, всѣ произведенія его читаются съ большимъ удовольствіемъ. Отчего же это? Оттого, что онъ, какъ кажется, никогда ничего не думалъ о своемъ талантѣ или, по крайней мѣрѣ, не увлекался нелѣпымъ стремленіемъ создать что-нибудь такое, что можетъ быть создано талантомъ огромнаго размѣра. Смѣшно думать, что самонизученіе можетъ довести человѣка до нормальнаго употребленія своихъ силъ: можно прекрасно анализировать другихъ, но анализъ самого себя вѣчно будетъ отзываться или крайностью самоуничиженія, или крайностью самообожанія. Я думаю, что философъ сострилъ и насмѣялся надъ школьниками, предложивъ имъ „познаваніе самихъ себя“. Мнѣ кажется, что размышленія-то о самомъ себѣ и губятъ человека, особенно такого, который имѣетъ возможность создать себѣ репутацію своей дѣятельностью. Попробуй-ка онъ не думать ничего о своемъ дарованіи и творить такъ наивно, какъ паукъ плететъ паутину, дѣло пойдетъ прекрасно. Примѣръ —



опять-таки г. Меншиковъ со своими драматическими рассказами. Мы сказали, что онъ не обладаетъ огромнымъ талантомъ. Такъ! Да за то онъ и не берется за грандіозныя темы. Идеи его не поражаютъ обширностью. Такъ! Да вѣдь и тотъ уголокъ дѣйствительности, въ который онъ до сихъ поръ заглядывалъ, куда какъ не обширенъ. Изображенія его не изумляютъ могуществомъ анализа. И это правда! Однакожъ, и явленія, которыя онъ воспроизводитъ, такъ просты, такъ несложны, что двѣ, три черты ловкаго карандаша передаютъ ихъ удовлетворительно. Наконецъ, въ сценахъ его нѣтъ пафоса! Справедливо! Да за то онъ и не пускается въ патетическія положенія, онъ даже уклоняется отъ нихъ съ ловкостью, напоминающею самообладаніе автора „Кто виноватъ“. Однимъ словомъ, не обладая талантомъ первой величины, г. Меншиковъ выдерживаетъ строгую критику несравненно легче большей части талантливыхъ писателей, занятыхъ пристальнымъ изученіемъ собственныхъ достоинствъ.

Первое произведеніе г. Меншикова явилось семь лѣтъ тому назадъ въ „Пантеонѣ русскаго и всѣхъ европейскихъ театровъ“ 1840 года, подъ заглавіемъ: „Торжество добродѣтели, драматическая фантазія“. Дѣйствующія лица этой „фантазіи“—князь, княгиня, начальникъ канцеляріи, секретарь, чиновникъ для особыхъ порученій, дежурный чиновникъ, экзекуторъ, камердинеръ князя, лакей и просители. Изъ самаго заглавія уже видно, что авторъ имѣлъ въ виду „шутку“ и писалъ свою фантазію безъ всякихъ претензій на литературную славу. Не талантъ взялъ свое: „Торжество добродѣтели“—вещь очень хорошая, живая и, главное, нисколько не каррикатурная. Должностныя лица удивительно типичны и разнообразны: экзекуторъ нисколько не походитъ на начальника канцеляріи, а этого никакъ не смѣшаете съ секретаремъ; даже камердинеръ рѣзко отличается отъ лакея. Этотъ камердинеръ—замѣчательный типъ, въ первый разъ выведенный на сцену: о немъ много могъ бы наговорить человѣкъ, любящій разсуждать. Приведемъ здѣсь отрывокъ изъ разговора его съ экзекуторомъ:

КАМЕРДИНЕРЪ.

Да что у васъ за страсть такая къ гусятамъ?

ЭКЗЕКУТОРЪ.

Признаюсь, люблю я какъ-то эту птицу; да и пріятно что-нибудь свое имѣть. Пожалуй, говорятъ, что я кормлю ихъ казеннымъ овсомъ. Стоило бы изъ этого портить свою репутацію? Неужели у меня нѣтъ столько амбиціи, чтобы купить гусямъ корму на двадцать копеекъ. Всякій знаетъ, много ли гусямъ надобно. Что они ѣдятъ? Соръ. Ходятъ себѣ по двору да подбираютъ какія-нибудь крупинки; а кому они помѣшали?... (Нюхаетъ табакъ).

КАМЕРДИНЕРЪ.

Позвольте?... У васъ вѣдь не французскій табакъ?

## ЭКЗЕКУТОРЪ.

Терпѣть не могу ничего французскаго! Я даже не говорю по французски; ей-ей, не говорю! А вѣдь могъ бы учиться, кабы хотѣлъ, безъ шутокъ; да подумалъ, что же толку: если случится надобность говорить съ французомъ, такъ эдакъ точно также можетъ придется и съ нѣмцемъ, съ испанцемъ, съ африканцемъ; но нельзя же выучиться всему: и по испански, и по африкански. Да притомъ я никого не задираю; а если кому угодно будетъ ко мнѣ адресоваться, такъ не прогнѣвайся, батюшка, вѣдь ты къ намъ пріѣхалъ. Я еще и не знаю, мусье, кто ты таковъ, чтобы мнѣ для всякаго учиться. Можетъ, ты парикмахеръ какой-нибудь, а я не твой братъ.

## КАМЕРДИНЕРЪ.

Оно такъ, да, видите ли, нынче молодому человѣку неловко не говорить по французски. Теперь все пошли ученые. Я своего сынишку тоже хочу отдать куда-нибудь. Скажите, хорошо ли учатъ тамъ, гдѣ ваши сыновья, двое кажется?

## ЭКЗЕКУТОРЪ.

Хо-ро-шо. Одного-то я хочу взять скоро.

## КАМЕРДИНЕРЪ.

Что такъ? Великъ развѣ?

## ЭКЗЕКУТОРЪ.

Не то великъ: четырнадцать лѣтъ. Не профессоромъ же быть однако, а дома балуется. Я вѣдь самъ не больше его зналъ, когда вышелъ изъ школы, а чѣмъ же онъ лучше меня? Пускай-ко, добро, служить, чѣмъ повѣсничать да въ бабки играть.

## КАМЕРДИНЕРЪ.

По моему, раненько: могъ бы еще поучиться.

## ЭКЗЕКУТОРЪ.

Чему еще учиться? По трактирамъ ходить? Этому не долго выучиться, если будетъ безъ дѣла шататься.

## КАМЕРДИНЕРЪ.

Ну, а другого сына вы также скоро возьмете.

## ЭКЗЕКУТОРЪ.

Еще посмотрю; онъ такой философъ: мягкаго хлѣба не ѣстъ.

Нельзя не вспомнить также безъ особеннаго умиленія разговоръ въ пріимной между начальникомъ канцеляріи, чиновникомъ особыхъ порученій и экзекуторомъ. Вотъ онъ:

Н а ч а л ь н и к ъ к а н ц е л я р и и (чиновнику).

Сколько сегодня народу! Я боюсь, опять задержать князя.

Ч и н о в н и к ъ.

А вы, вѣрно, съ докладомъ?

Н а ч а л ь н и к ъ к а н ц е л я р и и.

Какъ же! Всякій день! Вѣдь вы знаете, сколько поступаетъ бумагъ.

Ч и н о в н и к ъ.

Скажите, когда вы успѣваете ѣздить на дачу?

Н а ч а л ь н и к ъ к а н ц е л я р и и.

Что вы! Какъ на дачу! Я ѣзжу туда только по воскресеньямъ. Когда тугъ!

Ч и н о в н и к ъ.

Цсс! Такъ вы не видите съ домашними своими на недѣлѣ?

Н а ч а л ь н и к ъ к а н ц е л я р и и.

Что же дѣлать! Если бы была возможность...

Ч и н о в н и к ъ.

За то ужъ, я воображаю, какъ вы пріятно проводите воскресеніе.

Н а ч а л ь н и к ъ к а н ц е л я р и и.

Да, конечно; все-таки не обойдется, чтобы не взять домой. (Показываетъ на бумаги). Дѣла текутъ.

Ч и н о в н и к ъ.

У васъ прекрасная дача на Невѣ. Вы купаетесь?

Н а ч а л ь н и к ъ к а н ц е л я р и и.

Досугъ ли купаться? Поминутно курьеры. Только и дѣла—купайся въ чернилахъ. Я не хожу никуда дальше своего сада.

К а м е р д и н е р ъ.

Пожалуйте къ князю.

Н а ч а л ь н и к ъ к а н ц е л я р и и (обращаясь къ чиновнику).

Видите ли, если бъ я теперь купался! (Уходитъ въ кабинетъ).

Э к з е к у т о р ъ.

Вотъ какъ у насъ! Извольте тутъ купаться!

Ч и н о в н и к ъ .

Дѣлецъ Никаноръ Петровичъ!

Э к з е к у т о р ъ .

Да, будешь дѣлецъ, какъ иногда входящихъ бумагъ поступить.... эдакъ.... ужасно много. Третьяго дня я нечаянно пришелъ въ канцелярію, въ кабинетъ къ Никанору Петровичу: онъ сидитъ за бумагами, и что жъ бы вы думали, дѣлаетъ? Спитъ.

Ч и н о в н и к ъ .

Какъ спитъ?

Э к з е к у т о р ъ .

Да надо же когда уснуть человѣку.

Ч и н о в н и к ъ .

Что жъ онъ ночью дѣлаетъ?

Э к з е к у т о р ъ .

Что дѣлалъ-съ? Ужъ, конечно, не спалъ. Иногда случается, что онъ бѣдный, по три дня въ канцеляріи не бываетъ: столько дѣла накопится, что некогда ходить и въ канцелярію!

Одинъ только характеръ княгини кажется намъ нѣсколько утрированнымъ. Конечно, вмѣшательство женъ въ служебныя дѣла мужей — явленіе очень нерѣдкое и имѣющее свою комическую сторону; но зачѣмъ было изображать жену начальника такимъ искуснымъ дѣльцомъ, какъ сдѣлалъ это г. Меншиковъ?

Въ томъ же году и въ томъ же журналѣ явились „Благородные люди, комедія въ двухъ дѣйствіяхъ“. Мелкіе чиновники въ домашнемъ быту изображены въ ней превосходно и ужъ рѣшительно безъ малѣйшаго преувеличенія. Совѣтуемъ прочесть ее всю: вѣроятно, немногимъ удалось это сдѣлать, потому что „Пантеонъ русскаго и всѣхъ европейскихъ театровъ“ не пользовался большимъ расходомъ. Слабѣ прочихъ кажется намъ „Богатая невѣста“, драматическій рассказъ, помѣщенный въ XL-мъ томѣ „Отечественныхъ Записокъ“, 1845 года. Сцены въ этомъ рассказѣ, по обыкновенію, очень живы и натуральны, но есть что-то водевильное и анекдотическое въ развязкѣ, что-то напоминающее провинціальную фразу: „это—цѣлая комедія, сочинять не надо.“

Наконецъ, г. Меншиковъ, пишущій вообще очень мало и оттого мало извѣстный публикѣ, напечаталъ въ прошломъ номерѣ „Современника“ „Шутку, исторію въ родѣ комедіи“; нѣсколько экземпляровъ этого рассказа отпечатаны отдѣльно и поступили въ продажу.

Читатели замѣтили, что содержаніе „Шутки“ гораздо серьезнѣе содержанія трехъ предыдущихъ произведеній. Намъ нѣтъ нужды его рассказывать, и мы коснемся только главныхъ положеній и характеровъ, чтобъ яснѣе опредѣлить идею комедіи. Здѣсь выведенъ на сцену тотъ никѣмъ не замѣчаемый и замаскированный развратъ, до котораго можетъ довести и почти всегда доводитъ женщинъ воспитаніе, приноровленное ни болѣе, ни менѣе, какъ къ „составленію выгодной партіи“. Поразительно вѣрны эти безнравственные, неопрятныя, праздныя сплетницы, дѣвицы, принявшія въ плоть и въ кровь чудныя „правила“ своей маменьки, по которымъ прекрасно все, что ведетъ къ выгодной партіи, и отвратительно все, на что не польстится хорошій женихъ! „Маменька“, говоритъ дѣвица Софья,—„да мнѣ надобно наволочекъ сшить: всѣ въ дырахъ“. „Тебѣ все и приспичитъ вдругъ. Кто видитъ твои наволочки, что онѣ въ дырахъ?“ возражаетъ госпожа Мордовская, и дочка соглашается съ ея доводомъ. Но когда возникаетъ вопросъ о пріобрѣтеніи новаго салопъ, тутъ, въ свою очередь, маменька терпитъ поражение:

Софья.

Маменька, мнѣ надобно салопъ новый.

Мордовская.

Да чѣмъ же у тебя не салопъ? Прошлаго года сдѣланъ.

Софья.

Да кто ужъ носитъ эдакіе. Иногда кавалеры прислужатся подать, а я про-свирней такой. Что объ насъ подумаютъ.

Мордовская.

Завтра вотъ я поѣду въ городъ, такъ у голландцевъ посмотримъ.

Надо согласиться—ради собственныхъ своихъ „правилъ“. Да и что за важность? Правда, что денегъ едва хватаетъ на домашніе расходы—на столъ, на бѣлье, на прислугу, на лошадей, да все-таки можно какъ-нибудь вывернуться: поѣдутъ какой-нибудь дрянни или попросятъ обѣдать къ знакомымъ, гдѣ кстати еще, пожалуй, подвернется „хорошій человѣкъ“ изъ холостыхъ; бѣлье давно давно признано излишнею роскошью, потому что женихи его не видятъ; слуги и лошади просто поголодаютъ: это—народъ терпѣливый и удивительно живучій!

Притомъ, опытность чему не научить? Вотъ у фореитора изорвался одинъ сапогъ, такъ изорвался, что нельзя починить; госпожа Мордовская и тутъ нашлась: „Пускай покуда носить худой на ту ногу, которую не видать за лошадью“.

Кромѣ ловли жениховъ, у дѣвицъ Мордовскихъ есть еще одно занятіе, одинъ задушевный трудъ—изготовленіе всякаго рода сплетень и пусканіе ихъ въ ходъ. Такъ, въ одно прекрасное утро, пришла имъ въ голову счастливая мысль—увѣ-

рить одного довольно почтеннаго человека, что въ него влюблена дѣвушка, взятая госпожею Мордовскою на воспитаніе, разумѣется, еще во время процвѣтанія, и обращенная мало по малу въ горничную; иногда только сажаютъ ее съ господами за столъ. Дашу тоже увѣрили, что господинъ Захаровъ въ нее влюбленъ. Сплетня возымѣла теченіе, утро дѣвицъ наполнено, а г. Меншиковъ, съ своей стороны, не упустилъ случая очень художественно очеркнуть лица Захарова и Даши. Захаровъ особенно намъ нравится. Онъ—человѣкъ и богатый, и не безъ чиновъ, и не глупый; но вмѣстѣ съ тѣмъ—есть такія натуры!—вѣчно ему кажется, что плоховать, хуже другихъ, ни въ чемъ не успѣетъ, даже не успѣетъ ни на комъ жениться... Онъ безъ памяти обрадовался, что Даша согласна выйти за него замужъ. Лицо вѣрное! Что же касается до Даши, мы останавливаемся на этомъ лицѣ, какъ на одномъ изъ созданій, доказывающихъ въ авторѣ замѣчательный тактъ художественной истины. Сиротка, живущая въ чужомъ домѣ, да еще у такихъ людей, какъ госпожа Мордовская съ дочками! Какое искушеніе для писателя, выводящаго на сцену такое лицо, воспользоваться трогательнымъ положеніемъ и устроить цѣлый рядъ эффектныхъ мелодраматическихъ сценъ! И не трудно! Стоитъ только вмѣсто обыкновенной дѣвушки вывести на сцену натуру исключительную—глубокую, страстную, развитую тѣми же самыми обстоятельствами, которыя на другихъ дѣйствуютъ безобразно, или, если хотите соблюсти больше правдоподобія, пусть будетъ упомянуто мимоходомъ, что обстоятельства расположились для нея прекрасно, что у нея былъ какой-нибудь добрый геній въ затаканномъ фракѣ стараго учителя „россійской словесности“, который полюбилъ ее изъ состраданія и за любовь къ наукамъ и поэзіи, или въ юбкѣ какой-нибудь „благодѣтельницы бѣдныхъ и сиротъ“, которая, ужъ нечего объяснять какимъ образомъ, умѣла развить въ ней способности и довести ее до эксцентрическаго совершенства; пусть всю эту исторію героиня расскажетъ въ трогательномъ монологѣ, составленномъ изъ отборныхъ фразъ, и право, эффектъ былъ бы поразительный. Я не разъ встрѣчался въ русской литературѣ съ такими исключительными сиротками и помню, что всѣ онѣ ужасно дѣйствовали на дѣвицъ, проводящихъ время въ сплетняхъ, и на дамъ, колотящихъ съ утра до вечера горничныхъ дѣвокъ; а вѣдь это—публика не слишкомъ малочисленная. Г. Меншиковъ не придержался выгоднаго рецепта, и потому его Даша можетъ нравиться только тому, кто ищетъ въ художественномъ созданіи истиннаго и общаго, и рѣшительно не будетъ замѣчена любителями трескотни и эксцентричности. Вотъ какъ она выражается;

Д а ш а.

Былъ у меня, признаться, женихъ, то-есть, сватался черезъ тетеньку,—только не Сахаровъ совсѣмъ,—да я не пошла за него. Спрошу ужъ Марью Осиповну, откуда она взяла.



## ЗАХАРОВЪ.

Отчего жъ вы не пошли за того жениха?

Д а ш а.

Да что за неволя такая? Нищихъ умножать! Помощникъ столоначальника какой то, и кромѣ жалованья, ничего нѣтъ. Надѣялся вѣрно, что здѣсь дадутъ приданое. *Да и собою-то, признаться, такой горе-богатырь.*

Не эксцентрична послѣдняя фраза, но какъ отзывается она тѣмъ уголкомъ, который отгораживается въ дѣвичьей для воспитанницы, тѣснымъ уголкомъ, съ изразцовой лежанкой, съ пальцами, съ деревянною кроватью, покрытою не первой бѣлизны одѣяломъ, и съ валяющимся подъ подушкой засаленнымъ томомъ „Дочери купца Жолобова“!

Вообще „Шутка“ кажется намъ лучшимъ произведеніемъ г. Меншикова; это тѣмъ пріятнѣе, что оно же и послѣднее.

Въ заключеніе, сдѣлаемъ еще одно общее замѣчаніе о драматическихъ разсказахъ г. Меншикова. Мы не безъ намѣренія называемъ этими словами избранный ихъ родъ литературы. Намъ случалось слышать отъ многихъ соболѣзнованіе, что произведеній его нельзя отнести ни къ повѣсти, ни къ драмѣ. Съ этимъ замѣчаніемъ нельзя не согласиться,—только зачѣмъ же и изъ-за чего соболѣзновать? Время риторическихъ и пѣитическихъ нормъ невозвратно миновалось; за писателемъ давно уже укрѣплено право выражаться въ какой ему угодно формѣ, лишь бы только она была строго сообразна съ свойствами и размѣрами его таланта. Кто же это доказалъ, что формъ поэзіи именно вотъ столько-то, на-примѣръ, десять и ужъ никакъ не одиннадцать и не тридцать-четыре? Риторика и пѣитика—науки отжившія, осмѣяныя и заплесневѣлыя; а какъ посмотрѣть, такъ сколько еще у насъ предрасудковъ, которыхъ корень ни болѣе, ни менѣе, какъ въ этихъ наукахъ. Примѣръ на лицо: произведенія г. Меншикова не что иное, какъ „физиологін“ въ драматической формѣ; чѣмъ же это не родъ, не самостоятельная форма? Другое дѣло, если-бы съ физиологическимъ талантомъ г. Меншиковъ пустился въ писаніе повѣстей и комедій и писалъ бы такъ, чтобы въ каждомъ произведеніи выражалась его способность исключительно къ физиологическимъ очеркамъ. Ничего не бывало: изъ четырехъ его произведеній только „Благородные люди“ названы комедіей. Да, наконецъ, если-бъ онъ называлъ такимъ образомъ и всѣ свои очерки, смѣшно было бы къ нему привязываться за несвойственное названіе: кто смыслить дѣло, тотъ почувствуетъ, что это особенный родъ, и даже придумаетъ ему особенное точное названіе, если найдетъ это нужнымъ. „Борись Годуновъ“ не трагедія и принадлежитъ къ такому роду, для котораго еще не придумано названія; но развѣ это мѣшаетъ ему быть прекраснымъ произведеніемъ? Смѣшно и жалко, потому что этотъ пассажъ примыкаетъ въ цѣлому ряду глубокихъ заблужденій и выставляетъ исторію распространенія

здоровыхъ понятій въ самомъ непривлекательномъ видѣ. Кстати, намъ удалось слышать сужденіе одного любителя о „Запискахъ охотника“, помѣщенныхъ въ 1-мъ и въ 5-мъ нумерахъ „Современника“. „Какъ вы находите?“ спрашивалъ у него знакомый. „Хорошо“, отвѣчалъ онъ, — очень хорошо, только что жъ это такое? Повѣсть не повѣсть, путешествіе не путешествіе; нѣтъ, ужъ нынче все перехитрили!“

---

## В. Шекспиръ въ переводѣ Н. Х. Кетчера.

**Шекспиръ.** Съ англійскаго. *Н. Кетчера.* Выпускъ четырнадцатый. „Все хорошо, что хорошо кончилось“, Москва, 1846.

Пріятно видѣть, что г. Кетчеръ продолжаетъ свой прекрасный, хоть и не слишкомъ благодарный трудъ съ тою же добросовѣстностью, какою отличался онъ и въ началѣ предпріятія. Какъ ничтожны въ сравненіи съ его дагерротипическою реставраціей всѣ существующіе у насъ *вольные* переводы въ стихахъ, переводы съ претензіей примѣнить произведенія великаго поэта XVI столѣтія къ требованіямъ настоящаго времени, *поправить* его ошибки, смягчить тонъ и краски и проч., и проч.: Съ помощью этого перевода русскій, не знающій по англійски, можетъ составить себѣ почти такое же вѣрное сужденіе о Шекспирѣ, какъ и англичанинъ, потому что и тому, и другому нельзя въ этомъ случаѣ обойтись безъ руководства опытнаго филолога и знатока англійской старины, а г. Кетчеръ въ этомъ отношеніи выдержитъ соперничество съ любымъ археологомъ.

Комедія, переводъ которой составляетъ четырнадцатый выпускъ его изданія, принадлежитъ къ числу второстепенныхъ или даже третьестепенныхъ произведеній Шекспира, писанныхъ наскоро для сцены. Но и въ ней поражаетъ читателя удивительное искусство въ построеніи пьесы и неистощимое, даже утомительное остроуміе разговоровъ между дѣйствующими лицами. При чтеніи чувствуешь, что подобныя произведенія въ свое время и на своемъ мѣстѣ должны были имѣть успѣхъ, можетъ быть, гораздо больше, чѣмъ первоклассныя созданія того же великаго поэта: такъ много въ ней колкихъ современныхъ намековъ, портретовъ и желчныхъ выходокъ, и въ то же время такъ много смѣлыхъ идей, имѣвшихъ въ то время живой интересъ новизны. Противоаристократическій духъ господствуетъ въ комедіи отъ начала до конца въ полномъ могуществѣ.

---

## Ол. Гольдсмитъ въ переводѣ Я. А. Герда.

**Векфильдскій Священникъ.** Романъ *Оливера Гольдсмита*. Перевелъ съ англійскаго *Яковъ Гердъ*. Изданіе украшенное 187 полиטיפажамъ. Санктпетербургъ. 1846.

На достоинства „Векфильдскаго Священника“ смотрять различно. Одни ставятъ его высоко за обиліе назидательныхъ мыслей, выраженныхъ въ этомъ романѣ въ реторической формѣ, другіе хвалятъ его за сказочную занимательность, третьи—за художественную обработку подробностей. По нашему мнѣнію, недостатокъ этого сочиненія заключается въ малой правдоподобности завязки и развязки, что, впрочемъ, можетъ относиться къ недостаткамъ большей части романовъ XVIII столѣтія. Что же касается до идеи, проведенной въ цѣломъ созданіи, то нельзя не согласиться въ ея глубинѣ и назидательности. Она заключается въ сознаніи *недѣйствительности голословнаго нравоученія*. Герой романа, векфильдскій священникъ (разсказывающій свои приключенія), представленъ резонѣромъ и человѣкомъ вовсе непрактическимъ, который находитъ удовольствіе и считаетъ своею обязанностью при всякомъ удобномъ случаѣ развить какую-нибудь *моральную* мысль, предполагая, что слово его непременно должно произвести предположенное имъ дѣйствіе на души его слушателей и *измѣнить ихъ поведеніе*. На дѣлѣ же всѣ его рѣчи оказываются совершенно бесполезными! Такъ, напримѣръ, добрый священникъ всю свою жизнь гремѣлъ противъ тщеславія въ своемъ приходѣ и своемъ семействѣ, но никогда не имѣлъ утѣшенія видѣть слова свои воплотившимися въ дѣла слушателей: семейство его продолжало коснѣть въ этомъ порокѣ до тѣхъ поръ, пока опыты жизни не привели разныхъ членовъ его къ скромности. Вотъ какъ разсказываетъ онъ одинъ изъ такихъ опытовъ. Приводимъ этотъ разсказъ въ переводѣ г. Герда:

„Въ концѣ недѣли получили мы отъ городскихъ дамъ записку, въ которой онѣ, свидѣтельствуя свое почтеніе, изъявили надежду видѣть насъ въ церкви въ будущее воскресенье. Вслѣдствіе этого я примѣтилъ, что во все утро субботы жена и дочери мои чрезвычайно были заняты какимъ-то тайнымъ совѣщаніемъ. Отъ времени до времени онѣ бросали на меня взгляды, явно обличавшіе какой-то важный замысль. Сказать откровенно, я имѣлъ сильное подозрѣніе, что онѣ затѣваютъ какія либо нелѣпыя приготовленія для слѣдующаго дня. Вечеромъ онѣ начали дѣйствовать порядкомъ, и жена моя взяла на себя вести осаду. Замѣтивъ, что послѣ чаю я былъ въ веселомъ расположеніи духа, она приступила къ атакѣ: „Кажется, мой милый, завтра будетъ въ церкви много знати“. „Статься можетъ“, отвѣчалъ я,—„но объ этомъ нечего беспокоиться: будутъ ли, или не будутъ, а проповѣдь буду говорить“. „Я это знаю, но мнѣ хотѣлось сказать, что намъ слѣдуетъ отправиться въ церковь благопристойнымъ образомъ: кто знаетъ, что можетъ случиться?“ „Предосторожности твои весьма похвальны, моя милая“, отвѣчалъ я;—„благопристойное и набожное поведеніе въ церкви

всегда мнѣ нравится: тамъ мы должны быть благоговѣйными, кроткими и спокойными“. „Это я все знаю“, прервала она,—„но я хотѣла сказать, что намъ слѣдуетъ отправиться туда приличнымъ образомъ, то-есть, не такъ, какъ ходитъ туда всякая сволочь“. „Да, моя милая, и я самъ хотѣлъ тебѣ объ этомъ напомнить; надобно приходить въ храмъ Божій, какъ можно раньше, чтобъ имѣть время настроить свою душу къ благочестивымъ размышленіямъ еще до начатія службы“. „Ахъ, какой ты, Карлуша! Все это мы давно знаемъ, но дѣло не въ томъ; я хотѣла тебѣ сказать, что намъ слѣдуетъ отправиться въ церковь, какъ порядочнымъ людямъ. До церкви, какъ тебѣ извѣстно, будетъ, по крайней мѣрѣ, три мили, и признаюсь, я совсѣмъ не люблю видѣть, какъ дочери мои приходятъ на свое мѣсто, запыхавшись и раскраснѣвшись отъ ходьбы, будто какія-нибудь деревенскія дѣвчонки. Послушай же, что я хочу тебѣ сказать: наши двѣ рабочія лошади уже цѣлый мѣсяцъ стоятъ безъ дѣла и только лишь толстѣютъ: зачѣмъ держать ихъ по напрасну? Почему не употребить ихъ для верховой ѣзды? А я увѣрена, если Моисей только немножко пообстрижетъ ихъ, онѣ будутъ прекрасны“. На это я возразилъ, что во сто разъ лучше итти пѣшкомъ, чѣмъ ѣхать на такихъ неуклюжихъ лошадяхъ, которыя вовсе не приучены къ верховой ѣздѣ, да притомъ у насъ всего только одно сѣдло. Но какъ все это было опровергнуто, то я принужденъ былъ уступить. На другой день по утру я замѣтилъ, что онѣ не мало суетятся и весьма были заняты приготовленіями къ поѣздкѣ; видя однако, что эти сборы кончатся нескоро, я отправился въ церковь, получивъ обѣщаніе, что онѣ тотчасъ придутъ за мною.

„Болѣе часа сидѣлъ я на каедрѣ, не начиная службы, но видя, что семейство не приходитъ, принужденъ былъ начать обѣдню, крайне беспокоясь объ его отсутствіи. Служба кончилась, а дамы мои все еще не являлись; это еще болѣе увеличило мое безпокойство. вмѣсто того, чтобы воротиться домой по обыкновенной пѣшеходной тропинкѣ, сокращавшей разстояніе въ двѣ мили, я пошелъ по большей дорогѣ, по которой надобно было дѣлать кругъ въ пять миль. На половинѣ дороги увидѣлъ я процессію, весьма медленно подвигающуюся впередъ. Жена моя, сынъ и два маленькіе мальчика сидѣли на одной лошади, а дочери—на другой. Спросивъ о причинѣ замедленія, я узналъ, что на дорогѣ случилось съ ними безчисленныя несчастія; это и видно было по печальному выраженію ихъ лицъ. Сперва лошади не хотѣли тронуться съ мѣста, пока г. Борчель не погналъ ихъ палкою впередъ; потомъ лопнула подпруга сѣдла, на которомъ сидѣла жена моя, и надобно ей было ее поправить, безъ чего нельзя было продолжать пути. Потомъ одна лошадь вздумала остановиться и такъ упрямиться, что ни угрозы, ни палки не могли сдвинуть ее съ мѣста. Я лишь встрѣтился съ ними въ ту минуту, какъ миновался этотъ припадокъ упрямства. Всѣ эти проволочки, признаюсь, не слишкомъ меня огорчили, когда я увидѣлъ, что въ сущности не приключилось никакой бѣды; напротивъ того, тутъ были и

свои выгодныя стороны: *дочери получили урокъ въ скромности, которыми я могу воспользоваться и на будущее время*“ (стр. 78—81).

Въ разсказѣ векфильдскаго священника очень часто обнаруживается также, что самъ онъ не въ состояніи исполнять на дѣлѣ многія изъ своихъ проповѣдей. Такъ, напримѣръ, проповѣдая, какъ мы сказали, преимущественно противъ суетности, онъ самъ такъ чувствителенъ къ похваламъ его сочиненіямъ, что иногда приходится ему жестоко поплачиваться за падкость къ льстивымъ словамъ мошенниковъ. Случается и такъ, что, забывая свои проповѣди, онъ до того даетъ волю природѣ, что дѣти напоминаютъ ему о его собственномъ ученіи и достоинствахъ его сына. Все это доказываетъ, что уже по идеѣ своей граціозное произведеніе Гольдсмита можетъ доставить удовольствіе и относительную пользу не однимъ юношамъ, которымъ обыкновенно рекомендуютъ его читать, но и весьма зрѣлымъ людямъ.

Что касается до художественной стороны „Векфильдскаго Священника“, то нельзя не причислить его къ образцовымъ произведеніямъ искусства. Живописность и естественность подробностей, въ соединеніи съ самымъ тонкимъ юморомъ, составляютъ существенную его принадлежность. Примѣры всѣхъ этихъ достоинствъ можно брать на выдержку. Вотъ одинъ отрывокъ, составляющій нѣчто цѣлое:

„Бывши однажды въ гостяхъ у сосѣда Фламборо, жена и дочери замѣтили тамъ очень сходные фамилные портреты, написанные какимъ-то странствующимъ живописцемъ, который бралъ по пятнадцати шиллинговъ за портретъ. Между этою фамиліей и нашею издавна существовалъ нѣкоторый родъ соперничества въ дѣлахъ вкуса, такъ что это обстоятельство слишкомъ затронуло наше самолюбіе, и жена и дочери, не смотря на всѣ свои отговорки, рѣшили, что и у насъ должны быть фамилные портреты. Что же было мнѣ дѣлать? За живописцемъ дѣло не стало; но слѣдовало рѣшить, какія избрать позы, чтобы показать превосходство нашего вкуса. Семь членовъ, составляющихъ семейство Фламборо, нарисованы были съ апельсинами въ рукахъ: ясно, тутъ не было ни вкуса, ни воображенія, ни разнообразія. Но мы ни Фламборо: намъ нуженъ былъ стиль болѣе блистательный. Послѣ продолжительныхъ преній рѣшено было изобразить всѣхъ членовъ нашего семейства въ одной огромной исторической картинѣ, такъ чтобъ эта картина могла служить фамилнымъ памятникомъ. Сюда входили и расчеты экономическіе, потому что все семейство помѣщалось въ одной рамѣ, а главное—вкусъ былъ бы изящный, ибо такой образъ живописи былъ въ модѣ во всѣхъ порядочныхъ семействахъ. Какъ исторія не представила намъ общей совокупности характеровъ, соотвѣтствовавшей нашему положенію, то мы должны были взять изъ нея отдѣльные характеры. Жена моя хотѣла быть представлена Венерою, и живописцу велѣно было не щадить брилліантовъ въ корсажѣ и въ головномъ уборѣ. Двухъ малютокъ предположено

было изобразить амурами подлѣ матери, между тѣмъ какъ я, въ полномъ пасторскомъ костюмѣ, долженъ былъ почтительно поднести Венерѣ экземпляръ своего сочиненія о Вистонскомъ спорѣ, гдѣ такъ побѣдоносно доказана и утверждена необходимость единобрачія. Оливія—въ богатомъ амазонскомъ платьѣ, сидящая на холмѣ цвѣтовъ, съ хлыстикомъ въ рукѣ, а Софія—невинною пастушкой, окруженною барашками, которыхъ слѣдовало нарисовать безденежно и побольше; наконецъ—Моисей, наряженный въ шляпу съ большими перьями. Вкусъ нашъ такъ понравился помѣщику, что онъ и самъ объявилъ желаніе явиться на картинѣ, между членами семейства въ образѣ Александра Македонскаго, павшаго къ ногамъ Оливіи“ (стр. 123—125).

Замѣьте, что „Векфильдскій Священникъ“ писанъ въ перой половинѣ восемнадцатаго столѣтія. Надо было имѣть огромный талантъ для того, чтобы въ то время писать такъ просто, и удивительно тонкій вкусъ для того, чтобы разсуждать объ искусствѣ такъ, какъ разсуждаетъ Гольдсмитъ въ лицѣ одного изъ своихъ героев: „Удивительная вещь! Оба эти стихотворца (Овидій въ Римѣ и Грей въ Англіи) содѣйствовали къ распространенію ложнаго вкуса между своими соотечественниками, обременивъ свои сочиненія наборомъ лишнихъ словъ. Люди безъ вкуса и съ посредственнымъ талантомъ начали подражать только ихъ недостаткамъ, и теперь англійская поэзія, подобно римской послѣднихъ вѣковъ имперіи, состоитъ изъ сдѣпленія высокопарныхъ эпитетовъ, безъ связи и смысла, придающихъ стиху одну только звонкость“ и проч. (стр. 60).

Мы полагаемъ, что именно со стороны своей художественной простоты „Векфильдскій Священникъ“ болѣе, чѣмъ по чему-нибудь иному, можетъ быть признанъ книгой, которой чтеніе чрезвычайно полезно молодымъ людямъ обою пола, по самому возрасту своему легко увлекающимся противоположными свойствами литературныхъ произведеній и такимъ образомъ заражающимся на всю жизнь ложными идеями о художественности.

Изъ приведенныхъ выписокъ читатели сами видятъ, что переводчикъ, какъ иностранецъ, дѣлаетъ значительныя ошибки въ русскомъ языкѣ, но довольно вѣрно сохраняетъ духъ избраннаго автора. Изданіе можно назвать роскошнымъ, особенно если принять въ соображеніе его дешевизну. Это не послѣднее достоинство въ нашей книжной торговлѣ.

Надѣмся, что г. Гердъ не остановится въ своемъ трудѣ и будемъ продолжать знакомить публику съ классическими произведеніями своего отечества. Рѣшаемся, однакожъ, посовѣтовать ему впредь предоставлять исправленіе ошибокъ противъ русскаго языка человѣку, совершенно знакомому съ этимъ дѣломъ: такихъ людей не трудно отыскать. Есть множество такъ-называемыхъ *литераторовъ*, которые тѣмъ и сыскиваютъ себѣ извѣстность, что всю жизнь отыскиваютъ грамматическія ошибки въ чужихъ книгахъ и журналахъ.



## Байронъ въ переводахъ Н. А. Жандра и В. И. Любича-Романовича.

### I.

**Донъ-Жуанъ.** Поэма лорда *Байрона*. Переводъ *Н. Жандра*. Санктпетербургъ. 1846.

Послѣ Шекспира и Данте всѣхъ труднѣе переводить Байрона, хотя онъ, какъ лирическій поэтъ, на видъ кажется легкимъ; изъ всѣхъ произведеній Байрона самое трудное—„Донъ-Жуанъ“, эта неподражаемо умная, граціозная, страстная и насмѣшливая эпопея. Чтобы взяться за переводъ „Донъ-Жуана“, нужна не одна смѣлость, а у г. Жандра, кромѣ смѣлости, смѣлости весьма значительной, ничего не оказывается. И въ самомъ дѣлѣ, человѣкъ менѣе отважный никогда не рѣшился бы напечатать такой переводъ; онъ вспомнилъ бы, что ему недостаетъ самыхъ первоначальныхъ понятій о стихотворствѣ, что октава не живая, не бойкая и не легкая невыносима, какъ неудачная рулада, что, наконецъ, онъ подвергается опасности быть признаннымъ передъ всѣмъ читающимъ міромъ за автора слѣдующихъ стиховъ:

Вернонъ, и Кумберландъ мясникъ, Вольфъ, Гакъ,  
Принцъ Фердинандъ, Гранби, Бургонъ, Гау, Кепель,  
Добромъ иль зломъ извѣстны такъ иль сякъ,  
И въ дни свои, какъ нынѣ Велеслей,  
За славою гнались, точно такъ,  
Какъ девятѣро за свиньей дѣтей( стр. 9).

Притомъ г. переводчикъ забылъ одно важное правило, которое между прочимъ находится во всѣхъ кухонныхъ книгахъ: „чтобы сдѣлать соте изъ зайца, возьми зайца...“ и пр.; чтобы переводить съ какого-нибудь языка, надобно знать этотъ языкъ... и проч. Къ счастью, г. Жандръ перевелъ только *первую пѣснь* Байронова „Донъ-Жуана“.

### II.

**Донъ-Жуанъ.** Поэма лорда *Байрона*. Полный переводъ *В. Любича-Романовича*. Въ двухъ частяхъ. Санктпетербургъ. 1847.

Въ поэзіи Байрона отразились два вѣка—восемнадцатый и девятнадцатый. По идеямъ своимъ онъ болѣе принадлежитъ первому, по чувствамъ и дѣятельности—къ послѣднему. Отечество его находилось въ двусмысленномъ отношеніи къ философіи восемнадцатаго вѣка или, говоря опредѣленнѣе, къ французской до-революціонной философіи: съ одной стороны, эта философія пріобрѣла себѣ въ Англіи между образованными людьми множество жаркихъ поклонниковъ, съ другой—упорство англійскаго характера служило имъ непреодолимою преградой. Французскія идеи были въ большой модѣ въ англійскомъ обществѣ, но онѣ не могли проникнуть сквозь кору его привязанности къ наслѣдственнымъ идеямъ и

учрежденіямъ. Событія первой четверти девятнадцатаго вѣка; во всѣхъ государствахъ въ умственномъ отношеніи сдѣланъ былъ поворотъ назадъ, и Англія шла объ руку съ Германіей во главѣ этого возвратнаго движенія. Въ эту эпоху явился Байронъ, напитанный идеями философовъ прошедшаго столѣтія. Явился онъ лѣтъ сорокъ, пятьдесятъ прежде, душа его, можетъ быть, нашла бы себѣ пищу въ томъ френетическомъ, восторженномъ отрицаніи, которымъ такъ полно удовлетворялись Вольтеры и Дидро. Но Байронъ достигъ совершеннолѣтія уже въ такую эпоху, когда отрицаніе было въ тягость большинству, когда все о томъ только и думали, какъ бы создать вновь и какъ можно скорѣе все, что было разрушено отрицаніемъ. Ясно, что отношеніе великаго поэта къ обществу было самое враждебное. Ни въ одномъ изъ его произведеній не выразилось оно такъ рѣзко, какъ въ „Донъ-Жуанъ“. Это не что иное, какъ желчная сатира на общество первой четверти девятнадцатаго вѣка, особенно на англійское общество того времени. Эпического достоинства въ „Донъ-Жуанъ“ такъ же мало, какъ въ большей части эпическихъ произведеній Байрона, но какъ сатира, онъ изумителенъ.

Изъ всего этого догадливый читатель, даже и незнакомый съ поэмой Байрона, можетъ заключить, что напечатать переводъ ея на русскій языкъ безъ передѣлокъ и пропусковъ невозможно. Въ этомъ сознается и переводчикъ ея, г. Любичъ-Романовичъ. Тѣмъ не менѣе, онъ рѣшился перевести ее на русскій языкъ съ значительными пропусками и съ уменьшеніемъ силы чуть не въ каждомъ стихѣ. Сверхъ того, г. Любичъ-Романовичъ вовсе не хотѣлъ принять въ соображеніе, что ужъ, если переводить Байрона стихами, такъ надо и стихъ имѣть прекрасный. А стихъ переводчика „Донъ-Жуана“ свидѣтельствуетъ только о способности его, дѣйствительно замѣчательной, вставлять какую угодно мысль въ рамку избраннаго размѣра, при чемъ стихъ этотъ остается колючимъ и прозаичнымъ въ самой высшей степени.

О, вы, наставники морали  
И юности опекуны!  
Къ какой бы ни принадлежали  
Вы нація, — а быть должны  
Съ питомцами своими строги,  
Большой имъ воли не давать...  
*Да* помнили бы, педагоги,  
Почаще ихъ *стѣкать, стѣкать*  
И не заботиться, что будутъ  
Кричать да плакать: позабудутъ  
Физическую боль, а плодъ  
Полезный это принесетъ!

Съ чѣмъ сравнить эти ямбы? Только развѣ со стихами Раича неутомимаго переводчика Тасса и Аріоста, который началъ, продолжалъ и окончилъ свой переводъ „Неистоваго Орланда“ вотъ какимъ крошевомъ:

Въ честь рыцарей, любви и дамъ  
И смѣлыхъ предпріятій!  
Какъ съ Аграмантомъ по морямъ  
Приплыли мавровъ рати  
И въ честь царя своей земли,  
Въ живомъ порывѣ мщенья,  
Въ предѣлы Франціи вошли  
Съ мечемъ опустошенья,—  
Хвалился Аграмантъ, что онъ,  
Возставъ на Карломана,  
.....  
Отмстить за тѣнь Траяна!

Вотъ ужъ второй переводъ у насъ „Донъ-Жуана“ въ нынѣшнемъ году, да видно, долго ждать еще перевода хорошаго.

### Смирдинское изданіе русскихъ авторовъ.

Полное собраніе сочиненій русскихъ авторовъ. Сочиненія Фонъ-Визина. Изданіе Александра Смирдина. Санктпетербургъ, 1846.

Полное собраніе сочиненій русскихъ авторовъ. Сочиненія Озерова. Изданіе Александра Смирдина. Санктпетербургъ 1846.

Имя А. Ф. Смирдина должно перейти въ исторію русской литературы, какъ имя единственнаго, послѣ Новикова, *издателя* русскихъ книгъ. Говоря это, мы разумѣемъ слово *издатель* въ томъ смыслѣ, какой получило оно въ Европѣ, а отнюдь не такъ, какъ понимаютъ его на Руси. По господствующимъ у насъ понятіямъ, издатель есть капиталистъ, употребляющій свои деньги на печатаніе чужихъ сочиненій за немѣнѣемъ случая и возможности пускаться съ большею выгодною въ другія промышленныя предпріятія. Такое мнѣніе есть сколокъ съ дѣйствительности и результатъ цѣлаго легіона одностороннихъ идей, возведенныхъ у насъ до послѣднихъ степеней крайняго развитія.

Во-первыхъ, самая дѣятельность и роль издателя у насъ не понята: намъ странно представить себѣ издательство, какъ особую отрасль труда, странно допустить, что оно требуетъ такой же любви, такого же знанія, какъ всякое занятіе человѣка, трудящагося съ сознаніемъ значенія своей дѣятельности. Мы понимаемъ, что можно посвятить себя исключительно торговлѣ лѣсомъ или сочиненію романовъ и стиховъ, но какъ можно быть издателемъ книгъ, и только издателемъ,—это для насъ еще очень неясно! Не смотря на то, доказывать серъ-

езно, что человекъ, издающій книги, имѣетъ полное право на общественное уваженіе, если-бъ и ровно ничего больше не дѣлалъ, считаемъ мы совершенно излишнимъ. Иногда довольно указать на нелѣпое мнѣніе, чтобъ отъ него отказался всякій, кто только зараженъ имъ безсознательно. Нѣтъ на свѣтѣ человека, который успѣлъ бы въ теченіе жизни перебрать анализомъ всѣ свои убѣжденія, и потому не всякая ложная мысль стоитъ названія *заблужденія*: заблужденіе есть результатъ ложнаго доказательства, слѣдовательно, все-таки результатъ какого-нибудь анализа. Странно же было бы горячиться, доказывая то, что при разборѣ нѣсколько внимательномъ ясно само собою.

Во взглядѣ на издательство встрѣчаются у насъ не однѣ наивности, происшедшія отъ невнимательности нашей къ собственнымъ понятіямъ: въ нихъ найдутся и заблужденія, настоящія заблужденія, образовавшіяся изъ сильныхъ и живыхъ убѣжденій подъ вліяніемъ національныхъ особенностей.

У насъ вообще чрезвычайно мало гибкости, чрезвычайно мало способности противостоятъ искушенію крайностей, не впадая въ двойственность мнѣній. Мы вѣчно или выбираемъ изъ двухъ одностороннихъ взглядовъ одинъ, или сливаемъ тотъ и другой въ какое-нибудь двуличное, само себя уничтожающее ученіе. Въ понятіяхъ нашихъ объ издательствѣ замѣчается, первое: мы или гнушаемся промышленной стороны литературы до того, что считаемъ естественную склонность человека къ стяжанію бичомъ для искусства и для науки, или, увлекаясь потокомъ противоположныхъ идей, оправдываемъ всякое литературное торгашество. Послушать поборниковъ того и другого взгляда, такъ, вромѣ самоотверженія и мошенничества, нѣтъ двигателей въ литературно-промышленномъ мірѣ! Странно, отчего именно въ этой отрасли труда *долженъ* господствовать такой страшный порядокъ вещей? Отчего хорошая книга не можетъ быть хорошимъ товаромъ? Чѣмъ уступаетъ она въ цѣнности, напримѣръ, хорошей шляпѣ. Шляпа удовлетворяетъ одной изъ необходимыхъ потребностей человека, и книга—тоже; изготовленіе хорошей шляпы требуетъ умѣнья и труда, сочиненіе хорошей книги—тоже; шляпа—вещь, подлежащая принятому способу оцѣнки, и книги—тоже; почему же, спрашиваемъ, не промышленять книгами, какъ товаромъ, съ соблюденіемъ правилъ честности и съ почетомъ? Съ другой стороны, почему ремесленника, который шьетъ сапоги изъ гнилушки, ругаютъ всячески, а издателя, который въ тридорога сбываетъ съ рукъ скверную книжку, называютъ человекомъ *современнымъ* и не противорѣчащимъ требованіямъ *истинной морали*? Есть ли какой-нибудь смыслъ въ требованіяхъ на отсутствіе всякихъ промышленныхъ побужденій въ людяхъ, трудящихся для науки и для искусства, и гдѣ оправданіе *прощелыгъ* (какъ выражался правдолюбивый Сумароковъ), наживающихъ себѣ капиталы перепечатываніемъ вѣчныхъ азбукъ, негодныхъ хрестоматій, разнаго рода выписокъ изъ оффиціальныхъ изданій, гадательныхъ книжекъ, глухихъ и часто вредныхъ сказокъ и т. п.? И то, и другое—пренелѣпыя и препротивныя іріи-

ности, истекающія изъ удалой замашки... А *практическимъ* людямъ это съ руки: никто не называетъ ихъ настоящимъ, сумароковскимъ именемъ; напротивъ, они приобрѣтають титула людей *практическихъ*, людей *современныхъ*, *положительныхъ*... Удивительная современность! Удивительная положительность!

А. Ф. Смирдинъ, съ самаго вступленія своего на издательское и книгопродавческое поприще, отличался стремленіемъ къ общественной пользѣ, нисколько не думая, разумѣется, упускать изъ виду доходовъ, на которые имѣлъ полное право. Но ошибочныя понятія о запросѣ на сочиненія устарѣлыхъ писателей, претендующихъ на вѣчное достоинство, повредили дѣламъ его. Можно себѣ представить, какъ бы на его мѣстѣ начали поправлять свою торговлю такъ-называемые *современные, практическіе* люди? Страшно и представить себѣ, что бы они издали на основаніи своихъ принциповъ, если-бы случилось имъ низвергнуться съ высоты, на которую вознесли бы ихъ всѣ изданныя ими геніальныя сочиненія съ полиטיפажами и безъ полиטיפажей, съ великолѣпными обертками сверху и съ оберточною бумагой внутри, купленныя за кусокъ хлѣба у голодныхъ пролетаріевъ или присвоенныя вѣдъ права собственности? Будь А. Ф. Смирдинъ не то, что онъ есть, онъ очень могъ бы поступить по примѣру этихъ господъ: всякій извинилъ бы ему эти отчаянныя мѣры, потому что къ нимъ слишкомъ часто прибѣгаютъ у насъ промышленные люди въ обстоятельствахъ вовсе не критическихъ... Вмѣсто того, онъ даритъ рускую публику „Полнымъ собраніемъ сочиненій русскихъ авторовъ“. И все-таки мы не будемъ писать панегирика его благородству: человѣкъ, гнушающійся торгашествомъ, имѣетъ полное право оскорбиться, если вы начнете разсыпаться ему въ похвалахъ и величать его героемъ добродѣтели. Онъ можетъ отвѣтить вамъ: „Я дѣлаю свое дѣло: развѣ вы сомнѣвались въ моей честности?“

По той же причинѣ не хотимъ мы подражать тѣмъ журналамъ и газетамъ, которые берутъ на себя нетрудную обязанность совѣтовать публикѣ поддержать издателя и книгопродавца, принесшаго столько пользы отечественной литературѣ. Зачѣмъ это? А Ф. Смирдину такое выраженіе доброжелательства должно быть столько же оскорбительно, какъ и ѳиміамъ его честности и любви къ общей пользѣ и своему призванію. Развѣ самъ онъ выпрашиваетъ чего-нибудь у публики? Развѣ издаетъ онъ какой-нибудь вздоръ, который никому не нуженъ, и который покупаютъ только для того, чтобъ оказать пособіе издателю? Нѣтъ! Онъ предпринялъ изданіе, дѣльнѣе котораго не предпринималъ ни одинъ изъ дѣйствующихъ въ наше время издателей: кто жъ осмѣлится *просить* за него публику, чтобъ она раскупала его изданіе? Можно только будетъ придти въ отчаяніе, если хоть одинъ экземпляръ его „Полнаго собранія“ останется не проданнымъ, и рѣшить тогда, что г. Смирдинъ былъ не правъ передъ самимъ собою, если не позволялъ себѣ издавать всякій вздоръ вмѣсто книгъ истинно полезныхъ. Но этого никогда еще и не было: ни одно хорошее сочиненіе не завалилось въ книж-

ныхъ лавкахъ. Противные этому слухи распускаютъ *практическіе* люди для прикрытія своихъ отмѣнно-похвальныхъ дѣлъ и убѣжденій.

Итакъ, не будемъ толковать объ изданіяхъ и издателяхъ; обратимся лучше къ самой сущности предпріятія А. Ф. Смирдина.

Въ послѣднее время любовь къ занятіямъ исторіей русской литературы возросла необыкновенно сильно. Явленіе естественное и утѣшительное: оно доказываетъ, что мы начинаемъ осматриваться на пути своего развитія и не хотимъ жить, очертя голову. Есть, конечно, люди, для которыхъ изученіе прошедшаго имѣетъ совсѣмъ другой смыслъ: они заглядываютъ въ него и любятъ его реставрировать для того, чтобы пріискать въ немъ оправданіе своей неподвижности. Ихъ цѣль достигнута, если они могутъ сказать: „Видите, сколько мы прожили и передѣлали,—не пора ли и отдохнуть на лаврахъ? Никто и не мѣшаетъ имъ отдыхать на чемъ угодно, на лаврахъ или на ломбардныхъ билетахъ, или даже просто на самообольщеніи. Мало того: общество даже всегда въ выигрышѣ отъ бездѣйствія людей, пережившихъ періоды своего развитія: неестественно, чтобы старческая дѣятельность удовлетворяла юношеской потребности, если только старикъ—не гений. Но въ томъ-то и бѣда, что трудно человѣку остановиться въ пору и сказать себѣ: Полно! Я старъ, я не могу создать ни одной новой мысли, не могу понять ни одной новой потребности; я младенецъ передъ тѣми, которые родились послѣ меня и не должны были переживать того, что я пережилъ!“ Устарѣлый человѣкъ не понимаетъ, что толкуя о неопытности молодыхъ поколеній, онъ молча соглашается въ ничтожности своихъ прежнихъ заслугъ: если молодые люди неопытны, стало быть, старые не оставили имъ въ наслѣдіе ничего такого, изъ чего бы они могли вывести полезныя заключенія.... Въмѣсто того, чтобы внять такому силлогизму, человѣкъ, не чувствующій потребности двигаться въ развитіи, начинаетъ доказывать, что и никому нѣтъ нужды развиваться, что это даже вредно, разумѣется, потому что можетъ помѣшать цѣны съ прошедшаго и съ сдѣланнаго, то-есть, съ собственной его важности и съ собственныхъ его подвиговъ. Результатъ этого—возведеніе всего исторически-важнаго въ абсолютное совершенство и упорное противоудѣйствіе всему новому.

Но, съ другой стороны, едва ли не безуміе разрывать всякую связь настоящаго съ прошедшимъ, какъ дѣлаютъ это отроки, величающіе себя молодымъ поколѣніемъ. Единственный положительный признакъ появленія въ обществѣ настоящаго „молодого поколѣнія“ есть появленіе *новой, сознанный и переживаемой мысли*. Лѣта въ этомъ случаѣ ничего не значатъ. Можно быть очень молодымъ и въ то же время совершенно чуждымъ современныхъ идей, чувствъ и стремленій. Можно быть очень старымъ лѣтами и вмѣстѣ съ тѣмъ сознавать современность и сочувствовать ей глубоко. Бывали и такіе люди, которые опережали цѣлыя вѣка своимъ развитіемъ. Слѣдовательно, все дѣло въ сознаніи современно-



сти и въ сочувствіи ей. У кого то и другое ограчивается фразами и модными словами, тотъ, собственно говоря, не принадлежитъ еще ни къ какому поколѣнію: единственное его преимущество передъ устарѣлыми людьми, если они очень молодъ лѣтами,—надежда на развитіе впереди. Однакожъ, какъ ни ничтоженъ до времени лепетъ отроковъ, онъ крайне вреденъ и имъ самимъ, и настоящему молодому поколѣнію или, лучше сказать, водворенію въ обществѣ новой мысли. Умъ отрока работаетъ напряженно и не мѣшкаетъ силлогизмами. Схвативъ современную мысль въ видѣ фразы, которой сочувствуетъ единственно, какъ гиперболѣ, онъ непременно выведетъ изъ нея заключенія, и заключенія, разумѣется, нелѣпыя: потому и самая мысль схвачена имъ въ расплохъ, въ моментъ своего крайняго выраженія. Это все равно, что подмѣтить кризисъ въ какомъ-нибудь процессѣ растительной или животной экономіи и по этому моменту заключить о цѣломъ процессѣ. Такимъ промахамъ въ фізіологическихъ наблюденіяхъ нѣтъ конца, а потому нѣтъ конца и нелѣпымъ фізіологическимъ теоріямъ. При появленіи же новой мысли, равно неясной и старикамъ, и отрокамъ, неминуемо тоже самое явленіе: что ни скажете, отроки все пересолятъ, все изуродуютъ обезьянствомъ и энтузіазмомъ и распространятъ вашу мысль въ такой чудовищной формѣ, что вамъ останется сказать съ „молодымъ человѣкомъ“ Тургенева:

Разочарованнаго стонъ  
И бесполезенъ и смѣшонъ,  
Но вдохновенный взглядъ дѣтей  
И ненавистнѣй, и смѣшнѣй.

Очень натурально, что, не принадлежа еще ни къ какому поколѣнію, не занявъ никакого мѣста въ человѣчествѣ, безбородый юноша не имѣетъ еще никакого пункта соприкосновенія съ его жизнью, а потому и не чувствуетъ никакой потребности опредѣлить свое отношеніе къ прошедшему. Кроме того, онъ такъ поглощенъ и обезличенъ благоговѣніемъ къ силѣ, которая по немногу вводитъ его въ колею живого современнаго движенія, такъ запуганъ мыслью о необходимости идти наравнѣ съ минутой вѣка, что спѣшитъ, при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ, выразить свою современность совершеннымъ презрѣніемъ къ прошедшему. Все это очень простиительно школьникамъ; но каковъ комизмъ роли, которую въ этомъ дѣлѣ принимаютъ на себя устарѣлые люди! Замѣтите, что они всегда выдаютъ мысль новаго поколѣнія не иначе, какъ въ томъ видѣ, въ какомъ является она въ умахъ и литературныхъ упражненіяхъ шестнадцатилѣтнихъ мальчиковъ! Загляните въ любую статейку упрямаго старичка: если найдете въ ней толкованія о взглядѣ молодого поколѣнія на прошедшее, можете быть напередъ увѣрены, что этотъ взглядъ внесенъ въ статейку какъ будто совершенно со словъ гимназиста. Бѣдный старичекъ! Уходилъ ты, догоняя быстро-

ногихъ дѣтей своихъ; остается тебѣ ладить съ внуками, пока еще не опушились у нихъ подбородки.

Итакъ, пусть старички клеветуютъ вслѣдъ за школьниками на новое поколѣніе, что будто оно не признаетъ заслугъ прошедшаго и не находитъ никакого толку въ историческихъ занятіяхъ. Это не мѣшаетъ настоящему новому поколѣнію любить исторію, какъ науку, которая опредѣляетъ отношеніе современнаго человѣка къ прожитымъ эпохамъ развитія человѣчества, приводитъ его къ ясному сознанію роли его въ настоящемъ и питаетъ въ сердцѣ его чувство общенія со всѣми людьми—отжившими, живущими и готовящимися жить. Лучшимъ доказательствомъ этой пробуждающейся любви къ исторіи служитъ современная критика: въ наше время почти ни одинъ серьезный разборъ книги не обходится безъ историческаго изложенія вопроса, составляющаго главную тему статьи. Вольно же слушать тѣхъ, которые объясняютъ эту манеру озлобленіемъ на все прошедшее: если новѣйшій анализъ развѣнчиваетъ многія славы, то мало ли же и открываетъ онъ личностей, достойныхъ прославленія и нисколько не оцѣненныхъ современниками? Еще страннѣе было бы искать источника склонности къ историческимъ взглядамъ, проявляющейся такъ часто въ наше время при изложеніи и рѣшеніи самыхъ животрепещущихъ вопросовъ, въ школьной нѣмецкой замашкѣ начинать всякій трактатъ историческимъ вступленіемъ... Кажется на недостатокъ свободы формы меньше всего можетъ жаловаться современный писатель.

Нѣтъ, не то, не то, господа писатели и читатели „золотого вѣка русской литературы“! Вы не замѣчаете или не хотите замѣтить, что только съ вашимъ вѣкомъ и появилась страсть къ исторіи, то-есть, къ изученію постепеннаго развитія человѣчества. Въ ваше время любили въ исторіи или анекдоты о Сцеволѣ и Регулѣ, или оправданіе произвольныхъ теорій, къ чему вы и до сихъ поръ ощущаете особенную склонность; а о законахъ развитія человѣчества думали всего на все пять-шесть человѣкъ, которыхъ мысли теперь только поняты и распространены. Да, впрочемъ, стоитъ ли это доказывать? Всякій изъ насъ знаетъ, какими историками вы восхищались, и легко можетъ рѣшить, какъ сильно билось ваше сердце при созерцаніи хода развитія человѣчества. Извѣстно намъ и то, какъ встрѣтили вы философію исторіи, и сколько пріятныхъ вещей должна она была вамъ высказать прежде, чѣмъ добралась до нашего поколѣнія.

Итакъ, повторяемъ, пусть писатели, пережившіе „золотой вѣкъ“, клеветуютъ на насъ ежедневно, говоря, что мы презираемъ отечественную исторію вообще и исторію отечественной литературы въ особенности; пусть гимназисты пишутъ о ничтожности сочиненій Ломоносова, Державина, Озерова,—мы все-таки будемъ стоять на томъ, что изученіе исторіи Россіи и русской литературы началось очень недавно и ожидаетъ дѣятелей изъ современнаго поколѣнія. „Отечественныя Записки“ съ самаго начала своего изданія не оставались въ бездѣйствіи на этомъ

поприщѣ. Прекрасное изданіе А. Ф. Смирдина должно послужить намъ поводомъ къ новымъ критическимъ разборамъ русскихъ писателей. Не можемъ опредѣлить заранее системы этихъ статей; но, сознавая, какъ мало изучены до сихъ поръ родоначальники нашей литературы и вѣкъ, въ которомъ они жили, поставлемъ себѣ въ обязанность заняться въ теченіе времени разборомъ писателей, особенно замѣчательныхъ въ историческомъ или въ литературномъ отношеніи. Постараемся выполнить эту задачу сообразно съ современнымъ понятіемъ о сущности исторіи литературы.

Вслѣдъ за сочиненіями Фонъ-Визина и Озерова А. Ф. Смирдинъ обѣщаетъ издать сочиненія Ломоносова и Державина. Въ выходѣ остальныхъ томовъ „Полнаго собранія сочиненій русскихъ авторовъ“ не будетъ остановки. Изданіе чрезвычайно красиво и не уступаетъ извѣстнымъ французскимъ изданіямъ Шарпантье. Цѣна за каждый томъ—*рубль серебромъ!* Такая дешевизна у насъ невѣроятна... Но мы рѣшались не писать панегирика почтенному издателю.

## М. В. Ломоносовъ.

### I <sup>1)</sup>.

**Собраніе сочиненій извѣстнѣйшихъ русскихъ писателей. Выпускъ первый.** Избранныя сочиненія *М. В. Ломоносова*, съ его портретомъ, біографіею, снимкомъ съ почерка и съ изложеніемъ содержанія статей о Ломоносовѣ, напечатанныхъ въ разныхъ періодическихъ и другихъ изданіяхъ. Изданіе *II. Перевлѣскаго*. Москва. 1846.

То же, да не такъ. Г. Перевлѣсскій, хотя и во одно время съ Смирдинымъ, предпринялъ свое изданіе, но по другому плану и, какъ видно, съ другою цѣлью. Смирдинъ издаетъ *полное* собраніе сочиненій каждаго русскаго автора, г. Перевлѣсскій печатаетъ только *избранныя*... Избранныя сочиненія русскихъ писателей не новостъ въ нашей литературѣ. Еще въ 1812 году Гречъ издалъ „Избранныя мѣста изъ русскихъ сочиненій и переводовъ въ прозѣ, съ прибавленіемъ извѣстій о жизни и твореніяхъ писателей“. Въ 1815—1817 годахъ общество любителей отечественной словесности (А. Тургеневъ, В. Жуковскій, А. Воейковъ) напечаталъ „Собраніе образцовыхъ русскихъ сочиненій и переводовъ въ стихахъ и прозѣ“, 12 частей, черезъ пять лѣтъ явившееся вторымъ, исправленнымъ и умноженнымъ изданіемъ, въ которому присоединены были исторіи словесности древнихъ и новыхъ народовъ и правила словесности вообще и каждаго рода краснорѣчія и поэзіи въ особенности. Сверхъ того, мы имѣемъ „Новое собраніе образцовыхъ русскихъ сочиненій и переводовъ въ стихахъ и прозѣ“, вышедшихъ въ свѣтъ отъ 1816 до 1821 годъ, изданное А. Воейковымъ, и его же „Собраніе новыхъ русскихъ

<sup>1)</sup> Эта статья напечатана въ „Отечественныхъ Запискахъ“ непосредственно за предш-  
ествующею—о Смирдинскомъ изданіи

сочиненій и переводовъ въ стихахъ и прозѣ“, вышедшихъ въ свѣтъ съ 1821 по 1825 годъ. Прибавьте къ этому значительное количество полныхъ и сокращенныхъ хрестоматій, сборниковъ и учебныхъ книгъ съ образцами, и вы увидите, что мы изстари любили *избранное* или *образцовое*.

Но большимъ объемомъ времени и значенія отдѣлены прежнія понятія объ избранномъ, образцовомъ отъ понятій нынѣшнихъ о томъ же предметѣ. Мы познакомились съ истиннымъ возрѣніемъ на изящное, узнали, въ чемъ состоитъ истинное краснорѣчіе, истинная поэзія, и вслѣдствіе нашихъ знаній не можемъ довольствоваться тѣмъ, чѣмъ довольствовались прежніе собиратели „избранныхъ сочиненій“. Два обстоятельства мѣшали имъ смотрѣть прямо на произведенія литературы: одно—внутреннее, въ самомъ предметѣ лежавшее, другое—внѣшнее, къ творцамъ „избраннаго“ относившееся. Последнее имѣло значительный вѣсъ для издателей, которые сами принадлежали къ пантеону русскіихъ поэтовъ или прозаиковъ и по литературнымъ связямъ, по уклончивости нерѣдко принуждены были смотрѣть снисходительно, даже очень снисходительно на творенія нѣкоторыхъ *живыхъ*, потому только безсмертныхъ, что они тогда еще не умерли. При помѣщеніи писателей въ завидное число „избранныхъ“ происходило своего рода столкновеніе обязанностей: литературная правда шла иногда наперекоръ дружескимъ связямъ, доброму знакомству. Много было знаемыхъ, но мало избранныхъ. Нѣтъ сомнѣнія, что издатели иногда думали не о томъ, какую бы пьесу помѣстить изъ лучшихъ, но о томъ, какъ бы изъ нѣсколькихъ золъ выбрать наименьшее. Второе обстоятельство, внутреннее, заключалось въ неопредѣленномъ, даже ложномъ понятіи о томъ что именно хорошо и что не хорошо въ области краснорѣчія и поэзіи. Стоитъ прочесть „Правила словесности вообще и каждаго рода краснорѣчія и поэзіи въ особенности“, написанныя Срезневскимъ и приложенныя ко второму изданію „Собранія образцовыхъ сочиненій“ (1822—1824), чтобы видѣть, какъ понимали тогда словесность и въ чемъ искали поэтическаго. Одинъ изъ издателей, самъ поэтъ первоклассный, не былъ и второкласснымъ критикомъ: доказательствомъ служатъ его разборы басенъ Крылова и сатиръ Кантемира. Другой, *грозившій* *Виргилію* и постоянно сочувствовавшій Делилю, не былъ ни поэтомъ, ни критикомъ: по его разумѣнію, и Херасковъ былъ „нашъ Гомеръ“. Что же касается до г. Греча, издавашаго „Избранныя мѣста изъ русскихъ сочиненій и переводовъ“, то последнее изданіе его „Учебной книги русской словесности“ показало ясно, какія и теперь имѣетъ онъ понятія о краснорѣчіи, поэзіи, объ избранномъ, образцовомъ. Что же было тогда, за тридцать-четыре года, въ вѣчно достойный памяти двѣнадцатый годъ, и говорить нечего. Впрочемъ, съ неразборчивостью издателей шла за одно и снисходительность легко угомоняемыхъ чтецовъ,

Для коихъ тайнствомъ есть всякая печать.

И потому образцовыя сочиненія принимались за „образцовыя“ каждымъ, кто любилъ читать: для любви, какъ извѣстно, нѣтъ законовъ.

Теперь другое дѣло. Современная теорія изящнаго заставила насъ быть разборчивѣе, строже. Меньше податливые на раздачу мнѳологическихъ титуловъ, мы прежнее расходное слово „знаменитый, знаменитѣйшій“ замѣнили „извѣстнымъ, извѣстнѣйшимъ“. Сочиненіе „образцовое“, отрывокъ „образцовый“, какъ выражающіе понятія о высшей мѣрѣ литературнаго достоинства, уступили мѣсто сочиненіямъ и отрывкамъ „избраннымъ“—эпитету, меньше лестному для автора, меньше общающему читателямъ. И этимъ выборомъ руководствуетъ не имя автора, внизу творенія начертанное, а вкусъ избирателя, направленный здоровымъ воззрѣніемъ на предметъ, изощренный знакомствомъ съ произведеніями не одной отечественной словесности. Измѣнилось многое, и измѣнилось къ лучшему. Но при такомъ движеніи впередъ, когда „избираемые“ подверглись строгой сортировкѣ, не могли же остановиться на одномъ мѣстѣ и сборники „избраннаго“. Они сами должны покоряться теперь новымъ, прежде неизвѣстнымъ условіямъ. Другими словами: понятіе о собраніи избранныхъ сочиненій теперь измѣнилось.

По нашему мнѣнію, „избранныя“ сочиненія могутъ теперь имѣть мѣсто только въ хрестоматіяхъ, при составленіи которыхъ предъявляются различныя цѣли. Сбиратель раздѣляетъ статьи или по предметамъ, чтобы дать юношеству нѣчто въ родѣ энциклопедической книги, или по родамъ слога, желая обратить вниманіе учащихся на выраженіе мысли, или по родамъ краснорѣчія и поэзіи, какъ пособіе для теоріи словесности. Всѣ эти хрестоматіи (энциклопедическая, стилистическая, эстетическая) имѣютъ свою пользу, хотя ни одна изъ нихъ не въ состояніи познакомить съ отличительною физіономіей писателя. Если идетъ дѣло о *такомъ* знакомствѣ, если нужно узнать духъ, направленіе, личность автора, то для этого существуетъ одно только средство—*историческое* изученіе литературы, при которомъ необходимо разсматривать, какъ всѣ письменные памятники вообще, такъ и произведеніе каждаго писателя особенно, въ хронологическомъ порядкѣ, то-есть, по времени ихъ появленія. Необходимымъ пособіемъ при такомъ изученіи служатъ или „историческія хрестоматіи“, въ которыхъ одни литературные памятники предлагаются въполнѣ, а другіе—въ отрывкахъ, или „полное собраніе сочиненій отечественныхъ писателей“. Историческая хрестоматія, какъ сборникъ образцовъ отечественной литературы, не въполнѣ знакомитъ съ нею: полное знакомство возможно только при изученіи всѣхъ сочиненій каждаго писателя.

Вотъ что мы думали, перелистывая первый выпускъ „Собранія сочиненій извѣстнѣйшихъ русскихъ писателей“. Мы думали: общее заглавіе всего изданія стоитъ въ противорѣчіи съ частнымъ названіемъ перваго выпуска. Если это „Собраніе сочиненій“, то почему изъ сочиненій Ломоносова взяты только избранныя? Если это избранныя сочиненія авторовъ, другими словами—хрестоматія, то *зачѣмъ* издатель назвалъ ее собраніемъ сочиненій? Предисловіе жалѣетъ, что

„бѣдные юноши, со всѣмъ пыломъ стремленія къ изученію отечественной словесности, знакомятся съ произведеніями лучшихъ нашихъ писателей по отрывкамъ хрестоматіи“. Противъ этого можно представить два возраженія; во-первыхъ, многія сочиненія писателей нашихъ помѣщены въ хрестоматіяхъ вполне (такъ, напримѣръ, даже въ „Учебной книгѣ“ г. Греча напечатаны цѣликомъ похвальные слова Ломоносова и нѣсколько одъ его); во-вторыхъ, изданіе г. Перевлѣскаго представляетъ многія сочиненія въ отрывкахъ. Слѣдовательно, характеръ хрестоматіи и „Собранія сочиненій извѣстнѣйшихъ русскихъ писателей“—въ сущности одинъ и тотъ же; разница только въ томъ, что послѣднее нѣсколько полнѣе, а первая нѣсколько короче. Да и самъ издатель указываетъ въ предисловіи на причины, почему онъ издаетъ избранныя сочиненія (слѣдовательно, хрестоматію), а не полныя, и что при своемъ изданіи имѣлъ онъ въ виду общедоступность книги по цѣнѣ и знакомство съ писателемъ, сколько оно необходимо всякому образованному человеку.

Итакъ, „Собраніе сочиненій извѣстнѣйшихъ русскихъ писателей“ есть хрестоматія, только издаваемая выпусками. Почему г. Перевлѣскій принялъ такой способъ изданія, почему онъ началъ его съ Ломоносова, а не съ другого писателя, и почему хочетъ помѣстить въ немъ отрывки только изъ *извѣстнѣйшихъ* писателей, объ этомъ мы не имѣемъ права говорить много. Нельзя однакожъ не догадываться, что издатель, который, какъ видно, изучалъ основательно русскую литературу, не вознамѣрился, подобно г. Смирдину, напечатать полное собраніе сочиненій русскихъ авторовъ. Извѣстнѣйшіе русскіе писатели, каковъ, напримѣръ, Ломоносовъ, требуютъ того настоятельно. Пора, наконецъ, изучать отечественную литературу вполне, основательно, всесторонне. Причины, которыя выставляютъ намъ противъ полного собранія сочиненій, не убѣдительны. Первую видитъ онъ въ томъ, что не всякому достанетъ времени изучать всего писателя, но зачѣмъ же издателю заботиться о всякомъ? Каждый располагаетъ своимъ временемъ, какъ можетъ: это ужъ дѣло тѣхъ, которые хотятъ или не хотятъ заниматься серьезнымъ изученіемъ литературы. Вторая, по его мнѣнію, заключается въ томъ, что изданіе полного собранія сочиненій было бы чрезвычайно дорого, слѣдовательно, не по силамъ большинству; но оно было бы несравненно полезнѣе меньшинству, которое ищетъ прочнаго знакомства съ литературой. Притомъ, умѣлъ же Смирдинъ сдѣлать полное собраніе сочиненій всякаго писателя до того дешевымъ, что каждый бѣдный ученикъ въ состояніи пріобрѣсти его.

Смотря съ этой точки на изданіе г. Перевлѣскаго, то-есть, видя въ его трудѣ *хрестоматію своего рода*, и потому нисколько не сравнивая съ упомянутыми выше изданіями Смирдина, мы находимъ такой трудъ очень полезнымъ и рекомендуемъ его всѣмъ учащимся и учащимъ. При выпускахъ „Избранныхъ сочиненій“ будутъ прилагаться біографіи, портреты авторовъ, снимки съ ихъ почерковъ и изложеніе статей, писанныхъ объ этихъ авторахъ. Въ первомъ выпускѣ



между избранными сочиненіями Ломоносова находится болѣе пятнадцати такихъ пьесъ, которыхъ нѣтъ ни въ одномъ полномъ собраніи его сочиненій; сюда принадлежатъ: „Благодарственное слово императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ“, письма къ графу Орлову, Теплову, Миллеру, сестрѣ, три письма къ Шувалову, отрывки изъ донесеній въ правительствующій сенатъ и въ соляной комиссаріатъ. Корректуру издатель держалъ по изданію (1778 г.) Дамаскина, по той причинѣ, что Дамаскинъ печаталъ сочиненія Ломоносова такъ, какъ *они прежде подъ смотрѣніемъ его самого въ разные годы печатаны были*. Варіанты второго изданія удержаны, а варіанты текста одъ, помѣщеннаго въ „Риторикѣ“, нанечатаны въ прибавленіи. Факсимиле содержитъ въ себѣ „Представленіе объ учрежденіи внутреннихъ вѣдомостей“ Последующіе выпуски будутъ выходить въ томъ же самомъ видѣ. Каждый изъ выпусковъ посвящается писателю или двумъ, смотря по значенію писателей въ литературѣ. Число и срокъ выпусковъ не опредѣляются. Первые пять уже готовы къ изданію: они заключаютъ въ себѣ сочиненія писателей XVIII вѣка, какъ свѣтскихъ, такъ и духовныхъ. Послѣ предисловія, содержащаго въ себѣ указаніе плана и порядка изданія, слѣдуютъ шесть статей: подробности жизни Ломосова, исчисленіе всѣхъ доселѣ извѣстныхъ его сочиненій, указаніе на его сочиненія, переведенныя на иностранные языки, сужденіе о сочиненіяхъ Ломоносова (краткая оцѣнка его литературной дѣятельности) и пособія для изученія Ломоносова (подробное сокращеніе того, что сказано различными писателями о Ломоносовѣ). Мы должны говорить о послѣднихъ двухъ статьяхъ.

Статья: „О сочиненіяхъ Ломоносова“, содержащая въ себѣ критическую оцѣнку его ученой дѣятельности, очень кратка. Ломоносову выпала странная участь: цѣлое столѣтіе восхищалось имъ, всѣ называли его преобразователемъ русскаго языка, ораторомъ, поэтомъ, и никто не думалъ опредѣлить заслугъ его въ преобразованіи языка, въ ораторскихъ рѣчахъ, въ стихотворныхъ произведеніяхъ. Когда же, съ теченіемъ времени, безсознательный восторгъ охладѣлъ, и критика позволила себѣ находить пятна даже въ солнцахъ, тогда возвысился только голосъ Пушкина, рѣзкій, но опредѣлительный, которымъ онъ отрицалъ въ Ломоносовѣ воображеніе и чувство поэтическое. Такой опредѣлительности, въ пользу или противъ Ломоносова, нигдѣ не было: всѣ какъ будто боялись высказать свое мнѣніе—можетъ быть, потому, что не имѣли мнѣнія опредѣленнаго. Вопросъ о литературной дѣятельности Ломоносова казался рѣшеннымъ, тогда какъ еще и не принимались за его рѣшеніе. Много, напримѣръ, говорили о его „Грамматикѣ“; но гдѣ же отчетливый разборъ ея? Показано ли ея значеніе и въ отношеніи къ своему времени, и въ отношеніи къ нынѣшнимъ руководствамъ, и въ отношеніи къ современному языкоученію вообще? Ничего подобнаго мы не имѣемъ. Г. Перевлѣскій сказалъ нѣсколько дѣльныхъ замѣчаній объ отличіяхъ „Грамматики“ Ломоносова, но это далеко не полный обзоръ. Между тѣмъ „Грамматика“ Ломоносова не только въ отношеніи къ своему

времени, но даже и теперь стоитъ выше общепринятыхъ учебниковъ, нѣтъ то неотъемлемое достоинство, что показываетъ, во всѣхъ существенныхъ случаяхъ, отличіе языка русскаго отъ церковно-славянскаго, преимущественно въ синтаксическомъ отношеніи: многое отсюда слѣдовало бы удержать и теперь, при современныхъ требованіяхъ. Подобнаго сравнительнаго сближенія мы не находимъ ни у г. Востокова, ни у г. Греча. Сверхъ того, въ „Грамматикѣ“ Ломоносова заключаются постоянныя намеки на особенности и отличительныя свойства русскаго языка, иногда даже заимствованныя изъ народнаго употребленія; а противъ этого, какъ всѣмъ извѣстно, постоянно вооружался г. Гречъ, проповѣдая о чистотѣ русскаго языка, состоящей въ томъ, чтобъ изгнать изъ русской рѣчи всякую живую, самобытную характерность. Касательно общей грамматики или философіи языка слѣдуетъ обратить въ „Грамматикѣ“ Ломоносова вниманіе на дѣленіе частей рѣчи на знаменательныя и служебныя (что нѣмецкіе филологи называли *Begriffswörter* и *Formwörter*); къ послѣднимъ относитъ онъ мѣстоименія вмѣстѣ съ предлогами и союзами: это ученіе совершенно согласуется съ современнымъ взглядомъ на языкъ, подводящимъ подъ одну категорію мѣстоименія съ предлогами и союзами. Извѣстно, что послѣдовавшіе за Ломоносовымъ грамматики не только не оцѣнили этой мысли, но даже и не обратили на нее никакого вниманія. Что касается до „Риторики“ Ломоносова, то хотя онъ и подчинился схоластическому началу, но чтеніе образцовъ и практику ставилъ выше теоріи. Онъ далъ надлежащее мѣсто логикѣ въ теоріи словесности и общую риторику предпослалъ теоріи поэзіи и краснорѣчія вмѣстѣ. Говоря, что г. Перевлѣскій очень кратко оцѣниваетъ ученую дѣятельность Ломоносова, мы не хотимъ этимъ сказать, что онъ оцѣниваетъ ее несправедливо: напротивъ, отзывъ его о Ломоносовѣ, какъ ораторѣ и стихотворцѣ, чуждъ подобострастнаго поклоненія; изъ его словъ прямо видно, что Ломоносовъ не былъ ни ораторъ, ни поэтъ. Намѣреніе издателя представить только „избранныя сочиненія“ освобождаетъ его отъ обязанности оцѣнивать cadaго писателя вполне; но не можемъ не пожалѣть при этомъ случаѣ, что Ломоносовъ до сихъ поръ ждетъ еще подробнаго разсмотрѣнія трудовъ своихъ. Одна только часть его заслугъ выставлена въ надлежащемъ свѣтѣ: какъ профессоръ химіи и экспериментальной физики, онъ напечаталъ себя вѣрнаго и ученаго судью въ профессорѣ Д. М. Перевощиковѣ, который разсмотрѣлъ разсужденіе Ломоносова „О явленіяхъ воздушныхъ, отъ электрической силы происходящихъ“.

Не знаемъ, для чего издатель собралъ, въ подобномъ сокращеніи, критическіе отзывы разныхъ литераторовъ о Ломоносовѣ и назвалъ ихъ „Пособіями для изученія Ломоносова“. Приличнѣе было бы назвать ихъ „Пособіями для историческаго изученія нашей критики“. За исключеніемъ ученаго мнѣнія Д. М. Перевощикова и откровеннаго, звучнаго голоса Пушкина, все прочее написавшіе въ то время, когда критическіе отзывы утверждались на жалкихъ основа-

вѣяхъ, или такими литераторами, которыхъ критическіе взгляды и теперь невѣрны и подчасъ смѣшны. Это просто критическій хламъ, безъ пользы наполняющій книгу. Всего страннѣе, что этотъ хламъ стоитъ въ явномъ противорѣчіи съ положеніями, высказанными въ статьѣ „О сочиненіяхъ Ломоносова“. Статья г. Губера, напечатанная въ „Библіотекѣ для Чтенія“, есть наборъ звонкихъ фразъ, ничего болѣе. Каченовскій, такъ много сомнѣвавшійся въ древнихъ памятникахъ нашей литературы, не умѣлъ быть благоразумнымъ скептикомъ относительно Ломоносова, назвавъ его похвальные слова *памятниками неувядаемой его славы*. По его мнѣнію, приступы похвальныхъ словъ Ломоносова „великолѣпны, роскошно убраны цвѣтами краснорѣчія, изобилуютъ картинами восхитительными и плѣняютъ слухъ доброго слухомъ полнотою періодовъ“. Чтобъ еще болѣе восхвалять оратора, критикъ приводитъ о немъ мнѣніе французскаго оратора Томаса, этого *faiseur d'éloges*, который, по счастливому выраженію Жильбера, *ouvrait pour ne rien dire une bouche immense*. Основываться на приговоръ такого судіи значитъ рѣшительно идти въ сторону, противную цѣли. Не похвалой, а укоризной служить одобреніе Томаса, о которомъ и умѣренный Барантъ не могъ выразиться умѣренно. Разборъ Мерзлякова восьмой оды—то же общее мѣсто. В. М. Перевощиковъ разбираетъ, между прочимъ, драматическія сочиненія и героическую поэму „Петръ Великій“, не связывая понятія о нихъ съ понятіемъ того времени о поэмахъ и трагедіяхъ, не выводя ихъ ложности изъ ложнаго начала подражательности, а просто, дѣлая свои довольно наивныя замѣтки о содержаніи и планѣ этихъ сочиненій Ломоносова, какъ будто бы они составляютъ совершенно отдѣльный міръ, безъ корня въ предыдущемъ. Развѣ такая критика можетъ открыть достоинства или недостатки литературнаго произведенія? Отъ этого и вышло, что критикъ серьезно замѣчаетъ о трагедіи „Тамира и Селимъ“: „единство мѣста соблюдено“, или о трагедіи „Демофонтъ“: „она имѣетъ единство мѣста и времени“!! А похвальное слово Севергина? Не смѣхъ ли это? Принявъ за подражаніе приступъ словъ на погребеніе Бецкаго и на коронованіе Александра I, ораторъ презабавно высказываетъ, подражательнымъ образомъ, свое недоумѣніе, съ чего начать похвалу подвиговъ Ломоносова: „Отъ красотъ ли и возвышенности его стихотвореній? Но онымъ дивится цѣлая просвѣщенная Россія и иноплеменные народы. Отъ чистоты ли слога, правильности и силы выраженій въ похвальныхъ словахъ и другихъ рѣчахъ? Но гласъ оныхъ, кажется, каждое мгновеніе между нами раздается, привлекая къ подражанію онымъ. Отъ тѣхъ ли твердыхъ и купно новыхъ правилъ и основаній, кои преподавъ онъ къ изученію русскаго слова? Но юноши и мужи безпрестанно твердятъ ихъ для достиженія лучшихъ въ ономъ познаній. Отъ изысканій ли историческихъ и древности русскаго народа? Но сильный и купно пріятный слогъ его влечетъ насъ и понынѣ къ чтенію оставленныхъ имъ отрывковъ сихъ изслѣдованій. Отъ наблюденій ли и опытовъ, въ физикѣ и химіи учиненныхъ?“

Но свидѣтельствуесть о нихъ польза, которую онъ ими принесъ отечеству. Наконецъ, отъ похвалъ ли достойныхъ его твореній, раченія и дарованій? Но хвалятъ его науки, прославляютъ его отечество и благословляютъ всѣ отличную отъ трудовъ его пользу пріобрѣвше“. У Сумаркова, хотя онъ свои отзывы критическіе и ограничивалъ словами: „прекраснѣйше“, „прекрасно“, „весьма хорошо“, „изрядно“, есть, по крайней мѣрѣ, дѣльные замѣтки о неправильныхъ удареніяхъ. Подобныхъ замѣтокъ нѣтъ въ позднѣйшихъ критическихъ статьяхъ, наполненныхъ общими мѣстами, пустозвонными фразами, натянутыми сближеніями. Все это, повторяемъ, хламъ, критическій хламъ. Напрасно издатель помѣстилъ его въ своемъ изданіи.

## II.

**Полное собраніе сочиненій русскихъ авторовъ. Сочиненія Ломоносова. Тома второй и третій. Изданіе Александра Смирдина. Санктпетербургъ. 1847.**

Прекрасное изданіе А. Ф. Смирдина продолжается съ утѣшительною быстротою. Въ январѣ вышелъ первый томъ „Сочиненій Ломоносова“, въ прошломъ мѣсяцѣ вышли второй и третій—послѣдній томы. Второй томъ заключаетъ въ себѣ шесть разсужденій изъ области естественныхъ наукъ и изложеніе основаній металлургіи. Въ третьемъ томѣ помѣщены слѣдующія сочиненія: „Краткій Россійскій Лѣтописецъ“, „Древняя Россійская Исторія“, „Россійская Грамматика“ и „Риторика“. Надѣмся въ непродолжительномъ времени представить читателямъ полную и обстоятельную статью о Ломоносовѣ.

## И. А. Крыловъ.

### I.

**Полное собраніе сочиненій И. Крылова, съ біографіею, написанною П. А. Плетневымъ. Три тома. Санктпетербургъ. 1847.**

Вотъ истинно драгоценный подарокъ публикѣ, особенно теперь, въ наше бѣдное литературными новостями время. Вамъ предлагается вполне весь нашъ вѣчно юный дѣдушка Крыловъ въ прекрасномъ, щегольскомъ изданіи гг. Юнгмейстера и Веймара, съ довольно подробною біографіею. Тутъ не однѣ только басни; нѣтъ, басни составляютъ лишь третью часть полного собранія, куда вошли всѣ произведенія Крылова, начиная отъ юнѣйшихъ до позднѣйшихъ, кромѣ комической оперы „Кофейница“, которой самъ авторъ не хотѣлъ видѣть въ печати, и юмористической драмы „Тріумфъ“, никогда не предназначавшейся къ изданію по другимъ причинамъ.

Вамъ, вѣроятно, извѣстно, что Крыловъ началъ писать басни, будучи уже сорока лѣтъ отъ роду, а между тѣмъ онъ выступилъ на литературное поприще еще двадцатилѣтнимъ юношей. Въ продолженіе двадцати лѣтъ онъ писалъ тра-

гедіи, комедіи, оперныя либретто, сатирическія статьи для журналовъ, которые самъ издавалъ, разборы театральныхъ пьесъ, оды, посланія, эпиграммы; словомъ, онъ упражнялся почти во всѣхъ родахъ литературы, не подозрѣвая, что природа создала его баснописцемъ. Но естественно было бы однакожь, чтобъ человекъ, обнаружившій такую силу творчества и ума въ своихъ неподражаемыхъ басняхъ, цѣлыя двадцать лѣтъ не писалъ ничего замѣчательнаго въ тѣхъ родахъ, которые не были исключительнымъ и главнымъ поприщемъ его таланта. Въ самомъ дѣлѣ, все, что писалъ онъ отъ двадцати до сорока лѣтъ, выступало изъ черты посредственности. Особенно комедія его долго пользовалась успѣхомъ на театрѣ. Въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ его встрѣчаются мѣста, запечатлѣнные тѣмъ оригинальнымъ талантомъ, который впоследствии нашелъ себѣ полное выраженіе въ басняхъ. Но изъ всѣхъ произведеній первой эпохи его литературной дѣятельности нельзя не отдать преимущества его „Похвальнымъ рѣчамъ“, въ которыхъ, подъ покровомъ шутки, съ удивительною граціей и злостью высказывалъ онъ свой взглядъ на современное ему общество. „Похвальная рѣчь моему дѣдушкѣ“ можетъ быть названа образцовымъ произведеніемъ въ своемъ родѣ.

Статья о жизни и сочиненіяхъ Крылова, написанная г. Плетневымъ, любопытна по множеству характеристическихъ фактовъ, относящихся къ исторіи русской литературы и русскаго общества.

Впоследствии мы надѣемся поговорить подробнѣе о литературной дѣятельности нашего великаго баснописца, а между тѣмъ совѣтуемъ поскорѣе прочесть всѣ части Крылова отъ доски до доски: въ нихъ столько ума и таланта, сколько не представляютъ вамъ иные цѣлыя годы русской литературы.

## II.

**Жизнь и сочиненія Ивана Андреевича Крылова.** Сочиненіе академика *Михаила Лобанова*. Санктпетербургъ. 1847.

Эта брошюрка появилась въ одно время со статьею того же содержанія, написанною г. Плетневымъ и помѣщенною въ „Полномъ собраніи сочиненій Крылова“, изданномъ гг. Юнгмейстеромъ и Веймаромъ. Сравнивъ обѣ статьи, нельзя не дойти до заключеній, крайне невыгодныхъ для критико-біографическаго произведенія академика Лобанова. Трудъ покойнаго переводчика французскихъ классическихъ трагедій заключаетъ въ себѣ довольно безсвязный сборъ небольшого количества фактовъ, изъ которыхъ весьма немногіе даютъ какое-нибудь понятіе о личности великаго баснописца: большая часть изъ нихъ изображаютъ свойства второстепенныя, мало интересующія при изученіи такого человека, какъ Крыловъ, и даже болѣе достойныя названія привычекъ, чѣмъ характеристическихъ чертъ. Самые анекдоты, рассказанные г. Лобановымъ, почти всѣ уже извѣстны или, по крайней мѣрѣ, въ иной формѣ подтверждаютъ то, что давно уже знаетъ всякій изъ тысячи другихъ анекдотовъ. Кто не знаетъ, что Крыловъ былъ лѣнивъ и

любилъ покушать? Да спрашивается: много ли это намъ его объясняетъ, и стоитъ ли наполнять его біографію рассказами о такихъ вещахъ? Право, чита сочиненіе покойнаго академика, можно подумать, что слушаешь біографію пустѣшаго человѣка, рассказываемую очень добрымъ, но очень близорукимъ его пріелемъ. Случайно въ этомъ разсказѣ попадутся кое-какія интересныя подробности, но чтобъ услышать ихъ, надо выслушать много болтовни. Въ статьѣ г. Лобанова нашли мы два истинно занимательные анекдота, которые и передадимъ далѣе.

Сочиненіе г. Плетнева діаметрально противоположно статьѣ академика Лобанова: прочитавъ его, вы можете составить себѣ самое ясное и живое понятіе, о характерѣ великаго поэта и отдать себѣ полный отчетъ во вліяніи внѣшнихъ обстоятельствъ на его развитіе. Есть, пожалуй, и въ этой біографіи подробности маловажныя, если рассказать ихъ отрывочно, не связавъ ничѣмъ съ главными пунктами картины, какъ это и сдѣлалъ г. Лобановъ; но въ статьѣ г. Плетнева эти подробности имѣютъ смыслъ и жизнь, потому что получаютъ свѣтъ отъ существенныхъ частей жизнеописанія. Сверхъ того, не мало интереса сообщаетъ этой статьѣ то, что въ ней обращено вниманіе и на историческое развитіе общества, окружавшаго поэта, между тѣмъ какъ въ біографіи г. Лобанова нѣтъ и тѣни этого пріема. Наконецъ, огромная разница въ самой оцѣнкѣ произведеній Крылова. Г. Плетневъ выразилъ свое сужденіе прямо и рѣзко, обративъ особое вниманіе на тѣ произведенія, которыя до сихъ поръ оставались безъ оцѣнки. Напротивъ того, г. Лобановъ говоритъ съ увѣренностью только о басняхъ, то-есть, о тѣхъ произведеніяхъ Крылова, которыхъ высокое достоинство признано цѣлою Россіей и отчасти Европой, между тѣмъ какъ обо всемъ, что писано Крыловымъ до 1806 года, выражается уклончиво, двусмысленно, робко, пересыпая свои отзывы общими мѣстами или ограничиваясь изложеніемъ ихъ содержанія. Стоитъ только сравнить отзывы обоихъ критиковъ о прозаическихъ сочиненіяхъ разбираемаго ими автора, чтобъ убѣдиться въ справедливости этихъ словъ. Вотъ что говоритъ о нихъ г. Лобановъ:

„Съ 1790 по 1801 годъ онъ находился въ отставкѣ. Въ это время, то-есть, съ 22-го по 32-годъ своей жизни, онъ занимался словесностью; участвовалъ въ изданіи журналовъ: 1) „Почта духовъ“, которую издавалъ вмѣстѣ съ капитаномъ Рахмановымъ въ 1789 году; 2) „Зритель“, котораго былъ редакторомъ, вмѣстѣ съ Клушинымъ и другими товарищами, въ 1792 году; 3) „С.-Петербургскій Меркурій“, въ 1793 году. Въ этомъ журналѣ напечатаны нѣкоторыя изъ его тогдашнихъ стихотвореній: оды, пѣсни и посланія. Прозаическія сочиненія его молодости, всѣ журнальныя статьи и между ними двѣ похвальныя рѣчи, первая—какъ убивать время, вторая—Ермалофиду, и повѣсть Каибъ, отличаются остроуміемъ и колкостью. Во всѣхъ этихъ сочиненіяхъ и статьяхъ сатирическимъ Крылова осмѣивалъ пороки. Въ введеніи къ „Зрителю“ сказано, что этотъ журналъ издается съ тою цѣлію, чтобъ порокъ, представляемый во всей гнусно-



сти, вселять отвращеніе, а добродѣтель, изображаемая во всей красотѣ, плѣняла собою читателя. Патріотизмъ Крылова, вполне разившійся въ послѣднихъ его комедіяхъ, уже и на 24-мъ году его жизни вездѣ рѣшительно выказывался, и русская душа его, неколебимая въ своихъ правилахъ и дѣлахъ, не измѣнившаяся въ теченіе почти 77-лѣтней жизни ни отъ какихъ постороннихъ вліяній и привокъ иноземныхъ, вездѣ и всегда искала пользы своему отечеству, и нѣтъ сомнѣнія, что перо его не мало содѣйствовало къ смягченію и укрощенію нравовъ“ (стр. 3—4).

Вотъ все, что рѣшился сказать г. Лобановъ о превосходныхъ журнальных статьяхъ Крылова. Хороши ли онѣ, плохи-ли—это, какъ видите, осталось загадкой для читателя. Кажется, покойный академикъ сосредоточивалъ все свое искусство на томъ, чтобы не произнести никакого приговора о предметѣ, не тронутъ другими. Этимъ онъ живо напомнилъ намъ нашу старую до-телеграфскую критику, въ которой главною задачей считалось не сказать ничего рѣшительнаго ни *pro* ни *contra* разбираемаго автора, а между тѣмъ все-таки поговорить, и о достоинствахъ, и о недостаткахъ его. Разборъ сочиненій Крылова, написанный г. Плетневымъ, совершенно чуждъ этой старинной замашки. Вотъ небольшой отрывокъ изъ отзыва его о журнальных статьяхъ, помѣщенныхъ Крыловымъ въ журналъ его „Почта духовъ“:

„Нельзя читать безъ удивленія писемъ этихъ, когда сравнишь съ ними сочиненія прочихъ писателей нашихъ въ прозѣ, относящіяся къ одному съ ними времени, и когда подумаешь, что ихъ писалъ двадцатилѣтній молодой человѣкъ, выросшій въ провинціи, не получившій ни воспитанія, ни даже обыкновенныхъ школьныхъ знаній. Разнообразіе предметовъ, до которыхъ онъ касается, выборъ точекъ зрѣнія, гдѣ становится, какъ живописецъ, изумительная смѣлость, съ какою онъ преслѣдуетъ бичемъ своимъ самыя раздражительныя сословія, и въ то же время характеристическая, никогда не покидавшая его иронія, рѣзкая, глубокая, умная и вѣрная, все и теперь еще, по истеченіи слишкомъ полустолѣтія, несомнѣнно свидѣтельствуешь, что передъ вами группы, постановка, краски и выразительность геніальнаго сатирика. Крыловъ этимъ однимъ опытомъ юмористической прозы своей доказалъ, что, навсегда ограничившись въ послѣдствіи баснями, онъ опрометчиво сошелъ съ поприща счастливейшихъ нравописателей. Тутъ онъ и языкомъ русскимъ далеко опередилъ современниковъ. Въ его стихотвореніяхъ, относящихся къ этому періоду жизни его, вы чувствуете, какъ рабски подчинялся онъ образцамъ, заимствуя изъ нихъ извѣстныя выраженія, изысканность украшеній, обороты и неестественный тонъ. Но въ прозѣ нѣтъ кого независимъ онъ. Кромѣ легкаго, правильнаго и оживленнаго языка, изумляютъ читателя новыя мысли, безъ малѣйшей натяжки связываемыя съ шутками въ разговорахъ“ (стр. XXII—XXIII“).

Этихъ выписокъ довольно, чтобы дать понятіе объ относительномъ достоинствѣ обѣихъ статей. Скажемъ коротко: статья г. Лобанова не даетъ почти никакого понятія ни о личности Крылова, ни о достоинствахъ его сочиненій, между тѣмъ какъ статья г. Плетнева совершенно воспроизводитъ передъ глазами читателей свою исторію этого необыкновеннаго человѣка и заключаетъ въ себѣ совершенно удовлетворительный разборъ его произведеній. По крайней мѣрѣ, что касается до насъ, то статья г. Плетнева совершенно помогла намъ понять характеръ Крылова, какъ человѣка, и разгадать то, что до сихъ поръ казалось намъ въ немъ страннымъ и загадочнымъ. Но результаты нашего изученія такъ близки къ результатамъ самого біографа, выраженнымъ имъ въ началѣ сочиненія, что мы предпочитаемъ привести здѣсь собственные слова его:

„Въ лицѣ Ивана Андреевича Крылова мы видѣли въ полномъ смыслѣ русскаго человѣка, со всѣми хорошими качествами и со всѣми слабостями, исключительно намъ свойственными. Геній его, какъ баснописца, признанный не только въ Россіи, но и во всей Европѣ, не защитилъ его отъ обыкновенныхъ нашихъ неровностей въ жизни, среди которыхъ русскіе иногда способны всѣхъ удивлять проницательностію и вѣрностію ума своего, а иногда предаются непростительному хладнокровію въ дѣлахъ своихъ. Судьба не благопріятствовала Крылову въ дѣтствѣ и лишила его тѣхъ пособій къ постепеннымъ успѣхамъ въ литературѣ и обществѣ, которыми другихъ надѣляютъ рожденіе, воспитаніе и образованіе. Но онъ, какъ бы наперекоръ счастью, въ послѣдствіи времени пріобрѣлъ все, что необходимо писателю и гражданину. Онъ даже успѣлъ развить въ себѣ нѣсколько талантовъ, составляющихъ роскошь и для счастливо-рожденнаго молодого человѣка. Побѣдивши первыя препятствія къ благополучію и удовольствіямъ жизни, онъ на время ослабилъ дѣятельность свою въ расширеніи знаній и съ непонятнымъ равнодушіемъ провелъ нѣсколько лѣтъ почти безъ дѣла. Наконецъ, снова и почти безсознательно принялся Крыловъ за тотъ родъ поэзіи, которому пылъ обязанъ бессмертіемъ своимъ... И вотъ Крыловъ достигнулъ тогда истинной славы, всеобщаго уваженія, самой чистой къ нему привязанности тѣхъ, которые были къ нему близки и вполне оцѣнили даръ его. Счастіе вознаградило его за всѣ лишенія молодости. Онъ былъ обезпеченъ на всю жизнь. Казалось, передъ любознательнымъ, тонкимъ и смѣлымъ умомъ его открылись всѣ пути къ безконечной дѣятельности литератора. Но онъ и своею поэзіею занимался только какъ забавою, которая скоро должна была наскучить ему. Безграничное искусство не влекло его къ себѣ. Дѣятельность современниковъ не возбуждала его участія. Онъ чувствовалъ выгоды и безопасность положенія своего и не оказалъ ни одного покушенія расширить тѣсную раму своихъ умственныхъ трудовъ. *Такъ одинъ успѣхъ и счастье усыпили въ немъ всѣ силы духа!* Въ своемъ праздномъ благоразуміи, въ своей безжизненной мудрости онъ похоронилъ, можетъ быть, нѣсколькихъ Крыловыхъ, для которыхъ въ Россіи много еще празд-

ныхъ мѣсть. Странное явленіе: съ одной стороны—геній, по слѣдамъ котораго уже идти почти некуда, съ другой—недвижный умъ, шагу не переступающій за свой порогъ“ (стр. I—III).

Въ самомъ дѣлѣ, въ началѣ своего поприща, Крыловъ кипѣлъ жаждой дѣятельности, трудился съ жаромъ и не стѣснялся ничѣмъ для выраженія своихъ мыслей. Двадцати лѣтъ онъ сдѣлался журналистомъ и переходилъ отъ одного изданія къ другому, видимо, съ цѣлью усовершенствовать дѣло. Съ каждымъ разомъ расширялъ онъ программу. Что же касается до направленія статей, которыя писалъ онъ для своихъ журналовъ, объ этомъ можно заключить изъ нѣсколькихъ отрывковъ, которые мы здѣсь приведемъ. Вотъ, напримѣръ, отрывокъ изъ письма судьи къ сыну, попавшійся намъ на удачу въ „Почтѣ духовъ“:

„Ты пишешь, что тебѣ несносна приказная служба, и просишь дозволенія ее оставить. Съ чего ты это забралъ себѣ въ голову, другъ мой? Да знаешь ли ты, что твой дѣдъ нажилъ въ этой службѣ болѣе сорока тысячъ рублей; твой отецъ приобрѣлъ большой каменный домъ въ четыре этажа; да и ты, мой свѣтъ, докопѣ не наживешь хотя посредственной деревнишки, дотолѣ я тебя изъ этой службы не выпущу, или не будь надъ тобою мое благословеніе; а ты знаешь, что этимъ шутить дурно.

„Низко ходить на поклонъ къ своему судѣ! Вотъ какой вздоръ! Да я, братъ, и выросъ въ прихожей у своихъ командировъ, за то нынѣ и у себя въ прихожей людей выращиваю. Учтивость, другъ мой, шеи не вывихнетъ, а гордымъ и Богъ противится. Будто велика бѣда въ праздникъ сходить къ судѣ на поклонъ! Вѣдь нечего же дѣлать. Къ обѣднѣ, скажешь ты мнѣ. Къ обѣднѣ, другъ мой, успѣешь и отъ начальника, а если и некогда будетъ, то Богъ не взыщетъ. Онъ до насъ милостивъ и не прогнѣвается, если иногда и прогуляешь обѣдню, а совѣтникъ станетъ сердиться, если не придешь къ нему въ праздникъ по утру и можетъ за это отомстить. Богъ по великой своей благодати, конечно, проститъ, когда покаешься; а бояре вѣдь и покаянія не принимаютъ“ (стр. 130).

А вотъ начало „Похвальной рѣчи въ память моему дѣдушкѣ“, которая помѣщена во второмъ журналѣ Крылова „Зритель“, и которая по нашему мнѣнію, есть образцовое произведеніе въ своемъ родѣ:

„Любезные слушатели! сегодня минулъ ровно годъ, какъ собаки всего свѣта лишились лучшаго своего друга, а здѣшній округъ—разумнѣйшаго помѣщика: годъ тому назадъ въ этотъ точный день, съ неустрашимостью гонясь за зайцемъ, звернулся онъ въ ровъ и раздѣлилъ смертную чашу съ гнѣдою своею лошадыю прямо по братски. Судьба, уважая взаимную ихъ привязанность, не хотѣла, чтобъ изъ нихъ одинъ пережилъ другаго, а міръ между тѣмъ потерялъ лучшаго дворянина и знатнѣйшую лошадь. О комъ изъ нихъ болѣе должно намъ сожалѣть? Кого болѣе восхвалять? Оба они не уступали другъ другу въ достоинствахъ, оба

были равно полезны обществу, оба вели равную жизнь, и наконецъ, оба умерли одинакою, славною смертію. Со всѣмъ тѣмъ дружество мое къ покойнику склоняетъ меня на его сторону и обязываетъ прославить память его, потому что, хотъ многіе говорятъ, что сердце его было, такъ сказать, стойломъ его гнѣдой лошади, но я могу похвалиться, что послѣ нея покойникъ любилъ меня болѣе всего на свѣтѣ, и если бы и не былъ онъ мнѣ другомъ, то одни достоинства его не заслуживаютъ ли похвалы, и не должно ли возвеличить память его, какъ память дворянина, который служилъ примѣромъ нашему окольному дворянству?

„Не думайте, любезные слушатели, чтобъ я выставлялъ его примѣромъ въ одной охотѣ. Нѣтъ! Это было одно изъ послѣднихъ его дарованій. Но онъ, кромѣ этого дарованія, имѣлъ тысячу другихъ, приличныхъ и необходимыхъ нашему брату-дворянину: онъ показалъ намъ, какъ должно проживать въ недѣлю благородному человѣку то, что двѣ тысячи подвластныхъ ему простолюдиновъ вырабатываютъ въ годъ; онъ сильные подавалъ примѣры, какъ эти двѣ тысячи человѣкъ можно пересѣчь въ годъ раза два, три, съ пользою; онъ имѣлъ дарованіе обѣдать въ своихъ деревняхъ пышно и роскошно, когда казалось, что въ нихъ наблюдался величайшій постъ, и такимъ искусствомъ дѣлалъ гостямъ своимъ пріятныя нечаянности. Такъ, государи мои, часто бывало, когда пріѣдемъ мы къ нему въ деревню обѣдать, то, видя всѣхъ крестьянъ его блѣдныхъ, умирающихъ съ голоду, страшимся сами умереть за его столомъ голодною смертію; глядя на нихъ, мы заключали, что на сто верстъ вокругъ его деревень нѣтъ ни корки хлѣба, ни чахотной курицы... Но какое пріятное удивленіе! Садясь за столъ, находили мы богатство, которое, казалось, тамъ было неизвѣстно, и изобиліе, котораго тѣни не было въ его владѣніяхъ. Искуснѣйшіе изъ насъ не постигали, что еще могъ онъ содрать съ своихъ крестьянъ; и мы принуждены были думать, что онъ великолѣпные свои пиры созидалъ изъ ничего. Но я примѣчаю, что восторгъ мой отвлекаетъ меня отъ порядка, который я себѣ назначилъ. Обратимся же къ началу жизни нашего героя: этимъ средствомъ мы не потеряемъ ни одной черты изъ его похвальныхъ дѣлъ, которымъ многіе изъ васъ, любезные слушатели, подражаютъ съ великимъ унѣхомъ. Начнемъ его происхожденіемъ.

„Сколько ни бредятъ философы, что, по родословной всего свѣта, мы братья, и сколько ни твердятъ, что мы дѣти одного Адама, но благородный человѣкъ долженъ стыдиться такой философіи; и если уже необходимо надобно, чтобъ наши слуги происходили отъ Адама, то мы лучше согласимся признать нашимъ праотцемъ осла, нежели быть равнаго съ ними происхожденія. Ничто такъ человѣка не возвышаетъ, какъ благородное происхожденіе: это—первое его достоинство. Пусть кричатъ ученые, что вельможа и нищій имѣютъ подобное тѣло, душу, страсти, слабости и добродѣтели; если это правда, то тутъ не вина благородныхъ, но вина природы, что она производитъ ихъ на свѣтъ такъ же, какъ и подлѣйшихъ простолюдиновъ, и что никакими выгодами не отличаетъ нашего брата.

дворянина: это знакъ ея лѣности и нераченія. Такъ, государи мои! И если бы эта природа была существо, то ей очень было бы стыдно, что тогда какъ самому послѣднему червяку удѣляетъ она выгоды, свойственныя его состоянію, когда самое мелкое насѣкомое получаетъ отъ нея свой цвѣтъ и свои способности, когда, смотря на всѣхъ животныхъ, кажется намъ, что она неисчерпаема въ разнovidности и въ изобрѣтеніи,—тогда, къ стыду ея и къ сожалѣнію нашему, не выдумала она ничего, чѣмъ бы отличался нашъ братъ-дворянинъ отъ мужика, и не прибавила намъ ни одного пальца въ знакъ нашего преимущества передъ крестьяниномъ. Неужели же она болѣе печется о бабочкахъ, нежели о дворянахъ? И мы должны привѣщивать инагу, съ которою бы, кажется, надлежало намъ родиться. Но какъ бы то ни было, благодаря нашей догадкѣ, мы нашли средство поправляясь недостатки природы и избавились отъ опасности быть признанными за животныхъ одного рода съ крестьянами.

„Имѣть предка разумнаго, добродѣтельнаго и принесшаго пользу отечеству—вотъ что дѣлаетъ дворянина, вотъ что отличаетъ его отъ черни и отъ простого народа, котораго предки не были ни разумны, ни добродѣтельны и не приносили пользы отечеству. Чѣмъ древнѣе и далѣе отъ насъ такой предокъ, тѣмъ блистательнѣе наше благородство; а этимъ то и отличается герой, которому я дерзаю сплетать достойныя похвалы; ибо болѣе трехъ сотъ лѣтъ прошло, какъ въ родѣ его появился добродѣтельный и разумный человѣкъ, который надѣлалъ такъ много прекрасныхъ дѣлъ, что въ поколѣніи его не были уже болѣе нужны такія явленія, и оно до теперешняго времени прибавлялось безъ умныхъ и безъ добродѣтельныхъ людей, не теряя ни мало своего достоинства“ (стр. 265—268).

Чего бы, кажется, можно было ожидать отъ двадцати-четыrehлѣтняго молодого человѣка, которому принадлежать эти страницы? Алкидова сила дышетъ въ каждой строчкѣ приведеннаго нами отрывка; а почти таковы и всѣ журнальныя статьи его... Но, не достигнувъ еще и тридцатилѣтняго возраста, нашъ Алкидъ совершенно измѣняется. Добившись извѣстности, онъ бросился въ омутъ свѣтскихъ развлеченій, тратилъ время и нравственныя силы свои за карточными столами, но протекціи вступилъ, наконецъ, въ службу, потомъ долго жилъ въ деревнѣ одного вельможи въ двойномъ характерѣ—любезнаго нахлѣбника и учителя княжескихъ дѣтей. Такъ прошло *одиннадцать лѣтъ*! И во весь этотъ періодъ времени не писалъ онъ ничего, кромѣ нѣсколькихъ стихотвореній да каррикатурной комедіи „Тріумфъ“, о происхожденіи которой простодушный біографъ его г. Лобановъ, рассказываетъ слѣдующимъ образомъ: „Въ 1798 году Крыловъ находился въ помѣстьѣ князя Сергія Ѳедоровича Голицына, бывшаго впоследствии рижскимъ военнымъ генералъ-губернаторомъ. По приглашенію хозяина, чтобъ молодые люди, находившіеся тогда въ его домѣ, выдумывали бы какія-нибудь забавы и веселились, Крыловъ, будучи въ самомъ юмористическомъ расположеніи

духа, написать „Тріумфъ“. При чтеніи его, говорилъ онъ, всѣ помирали со смѣху“ (стр. 24).

Наконецъ, въ 1806 году, наскучивъ пошлою жизнью, Крыловъ поѣхалъ изъ симбирской деревни князя Голицына въ Петербургъ. Проѣздомъ провелъ онъ нѣсколько времени въ Москвѣ, гдѣ жили въ то время Карамзинъ, Дмитріевъ и Жуковскій. Онъ познакомился съ ними и особенно сблизился съ Дмитріевымъ. „Желая“, говоритъ г. Плетневъ,—„войти съ нимъ въ такія сношенія, которыя бы касались предмета, для нихъ обоихъ равно занимательнаго, Крыловъ въ свободное время перевелъ изъ Лафонтена двѣ басни: „Дубъ и трость“ и „Разборчивую невѣсту“. Дмитріевъ, прочитавъ ихъ, нашелъ переводъ Крылова очень счастливымъ и достойнымъ прелестнаго подлинника. Тогда онъ началъ уговаривать будущаго соперника своего не покидать этого рода поэзіи, который, по его мнѣнію, болѣе другихъ удался ему и можетъ со временемъ составить его славу. Крыловъ послѣдовалъ совѣту законнаго судьи въ этомъ дѣлѣ и въ Москвѣ же перевелъ еще изъ Лафонтена: „Старикъ и трое молодыхъ“ (стр. XLII).

По возвращеніи въ Петербургъ, Крыловъ на нѣкоторое время проснулся отъ своей дремоты: въ 1807 году онъ поставилъ на театрѣ двѣ комедіи: „Модная лавка“ и „Урокъ дочкамъ“, а въ 1808 году вышло первое изданіе его басенъ. Но успѣхъ этихъ произведеній снова усыпилъ его проснувшуюся дѣятельность. Въ 1811 году онъ избранъ былъ въ дѣйствительные члены Бесѣды любителей русскаго слова.. Но, можетъ быть, не всякому извѣстно, что такое эта Бесѣда. Надо справиться въ статьѣ г. Плетнева: „Въ 1810 году, въ домѣ пѣвца Фелицы, устроилась Бесѣда любителей русскаго слова. Всѣ извѣстные въ Санктпетербургѣ литераторы, всѣ любители и покровители наукъ приняли участіе въ этомъ патріотическомъ дѣлѣ. Бесѣда образована было на подобіе какого-нибудь судилища. Она раздѣлялась на четыре разряда. Въ каждомъ изъ нихъ находился предсѣдатель, дѣйствительные члены и сотрудники. Сверхъ того, было четыре попечителя и неопредѣленное число почетныхъ членовъ... Ежемѣсячно издавалась особая книжка, въ которой печатано было все прочитанное и одобренное въ Бесѣдѣ“ (стр. LI).

Въ концѣ того же (1811 года Крыловъ избранъ былъ членомъ Россійской академіи, а въ 1812 году поступилъ на службу въ Императорскую Публичную Библіотеку. „Съ этой эпохи“, говоритъ г. Плетневъ,—„начинается для нашего поэта новая жизнь, тихая, беззаботная, однообразная, почти неподвижная. До 1841 года не перемѣнилъ онъ ни службы, ни литературныхъ занятій, ни даже квартиры“ (стр. LIII). „Кромѣ выходовъ къ должности, очень легкой и не головоломной, кромѣ выѣздовъ къ обѣду въ англійскій клубъ (гдѣ онъ послѣ игралъ нѣкоторое время по привычкѣ въ карты, а подъ конецъ только дремалъ) и на вечеръ иногда къ Оленинымъ, Крыловъ ничего не полюбилъ, какъ чело-  
вѣкъ общественный и образованный, какъ писатель гениальный. Онъ продолжалъ



отъ скуки сочинять иногда новыя басни, а больше читалъ самые глупыя романы, особливо старинныя, читалъ не для пріобрѣтенія новыхъ идей, а чтобъ убить только время“ (стр. LVI).

Впрочемъ, лѣнь, неряшество и аппетитъ великаго баснописца такъ извѣстны, что о нихъ нечего распространяться. Лучше приведемъ въ заключеніе нѣсколько рассказовъ, изображающихъ другія черты характера, которыхъ образованіе совершенно объясняется предыдущимъ. На этотъ разъ мы воспользуемся статьею академика Лобанова.

Стр. 57. „Онъ все хлалиль изъ учтивости, чтобы никого не огорчить, но въ глубинѣ души своей немного одобрялъ. Нѣкто изъ писателей напечаталъ въ предисловіи къ плохому и вездѣ отверженному своему сочиненію похвалы, слышанныя имъ отъ Ивана Андреевича. „Вотъ вамъ конфекта за неосторожныя ваши похвалы“, сказалъ ему Н. И. Гнѣдичъ. Но Иванъ Андреевичъ, забывши этотъ урокъ, продолжалъ слѣдовать постоянной своей системѣ“.

Стр. 58 „Физическая ли тяжесть (?), крѣпость ли нервовъ (?), любовь ли къ покою (?), лѣнь и безпечность (?), или чуждость семейныхъ связей (?) были тому причиною, что его не такъ-то легко было подвинуть на одолженіе или на помощь ближнему. Онъ всячески отклонялся отъ соучастія въ судьбѣ того или другого, всѣмъ желалъ счастья и добра, но въ немъ не было горячихъ порывовъ, чтобы доставить ихъ своему ближнему“.

Стр. 63. „На одномъ литературномъ обѣдѣ, на который былъ званъ Иванъ Андреевичъ, и который начался залпомъ эпиграммъ нѣкоторыхъ людей противъ нѣкоторыхъ лицъ, Иванъ Андреевичъ, не кончивши супу, исчезъ... Я взглянулъ: мѣсто пусто! Обращаюсь глазами къ хозяину дома, и его мѣсто пусто. Спрашиваю хозяйку, она отвѣчаетъ: „Ему сдѣлалось дурно, онъ вышелъ вонъ“. Пришедшій между тѣмъ хозяинъ повторилъ то же самое, прибавивъ, что Иванъ Андреевичъ, посидѣвши на крыльцѣ, сказалъ: „Нѣтъ, что-то нездоровится, я ужъ лучше побреду домой“, и ушелъ. Рѣзкія выходки прекратились, обѣдъ продолжался мирно, и вечеръ прошелъ пріятно. Я тотчасъ понялъ моего сосѣда и на другой день зашелъ къ нему. „Вчера вамъ сдѣлалось дурно, Иванъ Андреевичъ?“ „Да“, отвѣчалъ онъ,—„такъ что-то стошнило“. „И! полноте, Иванъ Андреевичъ, я разгадалъ вашу тошноту. Вамъ опротивѣли неприличные разговоры за столомъ; но вѣдь кто жъ васъ не знаетъ: къ чистому не пристанетъ нечистое“ „Нѣтъ“—сказалъ Иванъ Андреевичъ;—„все-таки лучше быть подальше отъ зла! Вѣдь могутъ подумать: онъ тамъ былъ, стало быть, дѣлитъ ихъ образъ мыслей“.

Стр. 67. „Гнѣдичъ, переводчикъ Иліады, ближайшій сосѣдъ, сослуживецъ, всеневный собесѣдникъ и добрый товарищъ его, человѣкъ высокой души и свѣтлаго ума, удрученный болѣзнію, оставляя службу, и оканчивая литературное поприще, удостоился получить 6000 р. пенсіи отъ государя императора.

Вдругъ Крыловъ пересталъ къ нему ходить; встрѣчаясь въ обществахъ, не говорилъ съ нимъ. Изумленный Гнѣдичъ, да и всѣ, видѣвшіе эту внезапную въ Крыловѣ перемѣну, не постигали, что это значило. Такъ прошло около двухъ недѣль. Наконецъ, образумившись, Крыловъ приходитъ къ нему съ повинною головою: „Николай Ивановичъ, прости меня“. „Въ чемъ Иванъ Андреевичъ? Я вижу вашу холодность и не постигаю тому причину“. Такъ пожалѣй же обо мнѣ, почтенный другъ: я позавидовалъ твоей пенсіи и позавидовалъ твоему счастью, котораго ты совершенно достоинъ. Въ мою душу ворвалось такое чувство, которымъ я самъ гнушаюсь“.

Кто бы, кажется, могъ ожидать всего этого отъ издателя „Почты духовъ“ и „Зрителя“? Однакожъ, прочитавъ его біографію, разгадываешь всѣ эти печальные факты.

## М. Б. Чистяковъ.

### I.

**Курсъ теоріи словесности.** *Михаила Чистякова.* Двѣ части. Изданіе *Кораблева и Сирякова.* Санктпетербургъ. 1847.

Словесность, какъ наука, до сихъ поръ еще находится въ жалкомъ положеніи. Между тѣмъ какъ всѣ другія науки, утвержденныя на извѣстныхъ основаніяхъ, заботятся о томъ, чтобы постепенно наполнять истиннымъ содержаніемъ опредѣленные имъ сферы, одна словесность должна еще отыскивать свои основанія, измѣрять свою сферу, пріобрѣтать свое содержаніе. Разверните любой курсъ словесности: что вы тамъ встрѣтите? Нѣсколько заимствованій изъ логики, нѣсколько свѣдѣній психологическихъ и нѣсколько страницъ, собственно принадлежащихъ словесности, хотя законность этого собственнаго владѣнія можетъ быть оспариваема, какъ сомнительная. Отчего же мы не видимъ подобнаго въ другихъ отрасляхъ знанія? Развѣ логика не общая принадлежность наукъ и состоитъ на откупъ у словесности? Развѣ психологія вертится около нея, какъ ея неизмѣнный спутникъ? Геометрія и алгебра необходимо требуютъ знанія ариметики, — однакожъ ариметика не входитъ въ курсы геометрии и алгебры, какъ часть ихъ содержанія. Статистика тѣсно связана съ исторіей и географіей, — однакожъ послѣднія двѣ науки излагаются и преподаются сами по себѣ, не пришиваясь, въ видѣ особенныхъ главъ, къ статистикѣ. Причина такого соединенія разнородныхъ предметовъ заключается единственно въ томъ, что словесность не знаетъ еще опредѣлительно своего дѣла и за неимѣніемъ собственнаго капитала пользуется чужимъ, на основаніи берегового права.

Критика словесныхъ произведеній служитъ вторымъ доказательствомъ шаткаго состоянія словесности. Что такое критика вообще? Приложение правды

науки или искусства къ произведенію этой науки или этого искусства. Что такое критика литературная? Приложеніе теоріи литературы къ произведенію литературному. Но у насъ приложеніе чрезвычайно различно—не по различію воззрѣній на одинъ и тотъ же предметъ, различію, возможному при всей опредѣлительности научнаго содержанія, а по незнанію, гдѣ и въ чемъ это содержаніе. Большая часть аристарховъ или требуютъ больше надлежащаго, или не требуютъ всего надлежащаго. И какъ имъ требовать? У нихъ нѣтъ истинной критической мѣрки; они ощупью отыскиваютъ достоинства и недостатки словесныхъ произведеній, не давъ себѣ отчета, въ чемъ должны заключаться эти достоинства, и что, слѣдовательно, должно называть недостаткомъ.

Въ послѣднее время начитанные и опытные преподаватели словесности пришли къ тому заключенію, что занятія ихъ должны ограничиваться двумя предметами: обученіемъ языку (сюда входятъ грамматика, ономастика и техника, то-есть, умѣнье владѣть языкомъ) и изложеніемъ исторіи литературы. Строгая же система того, что мы называемъ теоріей краснорѣчія и теоріей поэзіи, не возможна да и бесполезна для учащихся безъ знакомства съ матеріалами, которые доставляетъ чтеніе литературныхъ произведеній. Теорія краснорѣчія и теорія поэзіи должны быть выводомъ исторіи литературы, изложенной не критически, а въ порядкѣ хронологическомъ. Отъ этого у нѣмцевъ, страстныхъ охотниковъ систематизировать, писать учебныя руководства, мало руководствъ для теоріи произведеній, относящихся къ краснорѣчію или къ поэзіи. Отъ этого же въ гимназіяхъ нѣмецкихъ учителя словесности не предлагаютъ систематическаго изложенія піитики или прозаики, но читаютъ съ учениками Гомера, Шекспира, Шиллера и при разборѣ читаннаго объясняютъ теорію эпоса, драмы, лирической поэзіи. Это самый полезный и самый естественный ходъ занятій: другого быть не должно. Г. Чистяковъ думаетъ точно также. Вотъ его слова, на стр. 90—91 I-й части: „Безъ исторіи теорія невозможна, потому что исторія представляетъ предметы для наблюденія и соображенія—явленія, дѣйствія, первые матеріалы мысли; безъ теоріи исторія будетъ знаніемъ поверхностнымъ, мелочнымъ, бездушнымъ, потому что не будетъ вести ни къ чему. Слѣдовательно, только въ соединеніи свѣдѣній историческихъ съ теоретическими состоитъ то знаніе, котораго ищетъ умъ нашъ, знаніе полное, живое, потому что только тогда оно есть отраженіе дѣйствительности“. Мнѣніе совершенно справедливое. Однакожъ, какимъ образомъ это мнѣніе прилагается къ дѣлу? Въ книгѣ того же автора, который такъ справедливо мыслить, есть теорія, и нѣтъ исторіи. Откуда же извлечена его теорія, или лучше, какую пользу извлекутъ ученики изъ его теоріи, съ которою знакомятся не чрезъ исторію? Пусть желающій узнать теорію словесности прочтетъ эту умную книгу: онъ все-таки не узнаетъ словесности. У насъ до сихъ поръ господствуетъ теорія краснорѣчія и піитика *отвлеченныя*, которыя излагаютъ ученіе о свойствахъ краснорѣчія и поэзіи вообще о родахъ того и другого, объ ораторѣ и поэтѣ. Но ученія

*историческаго*, которое показало бы, какъ основныя начала краснорѣчія и поэзія въ теченіе столѣтій у различныхъ народовъ различно проявлялись, и въ какомъ видѣ существуютъ они теперь въ современной литературѣ,—такого ученія у насъ нѣтъ, между тѣмъ какъ оно-то и есть главное дѣло, между тѣмъ какъ *абстрактная* пѣнтика, *абстрактная* прозаика изъ него-то и должны выходить, между тѣмъ какъ въ этомъ послѣдовательномъ развитіи словесныхъ произведеній и заключается истинный интересъ науки, между тѣмъ какъ это движеніе родовъ и видовъ краснорѣчія и поэзіи составляетъ, по нашему глубокому убѣжденію, настоящую теорію того и другого...

Будемъ же говорить не о томъ, чему бы слѣдовало быть, а о томъ, что есть. Отвлеченные или абстрактные наши курсы словесности можно раздѣлить на три рода: чисто схоластическіе, съ философскимъ воззрѣніемъ на предметъ и срединные, стоящіе между первыми и вторыми въ какомъ-то умильномъ недоумѣніи. Родонаначальница и чистѣйшая представительница чисто-схоластическаго изложенія реторики (разумѣя подъ нею стилистику и теорію краснорѣчія) и пѣнтика есть книга Кошанскаго. Междоумочные или срединные курсы словесности, принадлежа по духу и сердцу схоластикѣ, хотятъ однакожь прикрыть себя новенькими взглядами, которые пристали имъ такъ же, какъ павлиньи перья пристали извѣстной птицѣ. Современники прошлаго съ ногъ до головы, они мечтаютъ слѣдаться современниками настоящаго движенія идей, точь въ точь безвласые и беззубые старички, воображающіе себя кудрявыми юношами. Но старость измѣняетъ имъ на каждомъ шагѣ: они хотятъ затянуть модную пѣсню и дребезжающимъ разбитымъ голосомъ поютъ: „Всѣхъ цвѣточковъ болѣ“; заговорятъ о Пушкинѣ и кончатъ вздохомъ о Херасковѣ, начнутъ за здравіе, а сведутъ за упокой. Къ такимъ курсамъ принадлежатъ учебники гг. Греча, Георгіевскаго и Плаксина. Курсовъ третьяго разряда, то-есть, съ философскимъ изложеніемъ предмета, мы знаемъ только два: И. Давыдова и г. Чистякова. Первый, по содержанію и объему своему и формѣ изложенія, назначенъ для университетскихъ лекцій; послѣдній болѣе пригоденъ для гимназій. Само собою разумѣется, что ихъ не слѣдуетъ смѣшивать съ первыми двумя отдѣлами, къ которымъ они состоятъ въ отношеніи противоположности. О курсѣ г. Давыдова мы уже говорили нѣсколько разъ въ нашемъ журналѣ, отдавая ему должное: теперь обращаемся къ курсу г. Чистякова.

Г. Чистяковъ извѣстенъ переводомъ „Эстетики“ Бахмана и „Очеркомъ теоріи изящной словесности“, въ которомъ умно и опредѣлительно изложены законы изящнаго вообще и законы изящнаго въ поэзіи. Новый его трудъ принадлежитъ къ числу дѣльныхъ и умныхъ. Въ авторѣ виденъ человекъ мыслящій, который всѣ явленія словесныя подводитъ подъ законы, который ни одного слова не говоритъ безъ достаточнаго основанія и, который при изяществѣ ученаго изложенія, умѣетъ быть математически точнымъ и вѣрнымъ своему взгляду.

Его книгой должны воспользоваться гг. преподаватели для своихъ уроковъ въ гимназіяхъ и другихъ учебныхъ заведеніяхъ. Другого, лучшаго руководства для этой цѣли нѣтъ. Первую часть „Курса“ можно назвать вступительною, предварительною. Въ ней содержатся три отдѣла: свѣдѣнія психологическія, свѣдѣнія логическія и краткое изложеніе эстетики. Допущеніе въ теорію словесности свѣдѣній двухъ первыхъ родовъ объясняется и оправдывается тѣмъ, что психологія не проходитъ у насъ особенно, а логика проходитъ иногда очень поверхностно. Понятія эстетическія суть не что иное, какъ прежде изданный „Очеркъ теоріи изящной словесности“, о которомъ мы упоминали. Вторая часть, или собственно наука о словесности, раздѣляется также на три отдѣла: въ первомъ изложена теорія изящной рѣчи (стилистика или, какъ ее называютъ еще нѣкоторые, реторика); во второмъ—теорія краснорѣчія, въ третьемъ—теорія поэзіи.

Но чѣмъ умнѣе книга, тѣмъ большаго хочется отъ нея требовать, и каждое не исполненное требованіе становится въ такой книгѣ и у такого автора недостаткомъ. Главный недостатокъ „Курса словесности“, какъ мы уже видѣли, состоитъ въ томъ, что онъ принадлежитъ къ числу абстрактныхъ или отвлеченныхъ, а не историческихъ. Но и какъ отвлеченный, онъ слишкомъ сжатъ, теорія не развита съ надлежащею подробностью: вотъ второй недостатокъ, наиболѣе ощутительный въ послѣднихъ двухъ отдѣлахъ второй части, въ изложеніи теоріи краснорѣчія и теоріи поэзіи. Хотя и на нѣмецкомъ языкѣ нѣтъ удовлетворительныхъ курсовъ прозаики и піитики, но авторъ долженъ былъ бы воспользоваться различными монографіями, которыхъ выходитъ въ Германіи такъ много, и которыя такъ подробно развиваютъ теорію и исторію каждаго поэтическаго рода и каждаго рода краснорѣчія. Анализъ драмъ Шекспира далъ бы ему прекрасные матеріалы для драмы; разборъ многихъ эпическихъ произведеній (напримѣръ, разборъ „Германа и Доротеи“ Гете, въ сочиненіяхъ В. Гумбольдта) сдѣлалъ бы то же самое для поэзіи эпической. Въ нѣмецкихъ альманахахъ, каждый годъ являющихся въ значительномъ количествѣ, легко найти историческое изложеніе элегіи, оды и другихъ стихотвореній лирическихъ, а отсюда, то-есть, изъ показанія историческаго хода, легко бы можно было вывести и теорію. Впрочемъ, пересматривая цитаты книги, мы увидѣли, что авторъ почему-то не благоволитъ къ нѣмецкимъ ученымъ и чаще обращается къ французамъ, плохимъ филологамъ и плохимъ эстетикамъ. Даже при изложеніи законовъ языка, предметъ, наиболѣе обработанный германскими учеными, есть ссылки на Шатобріана, Мальтбрена, потомъ на Эдвардса, Блера, Врангеля, и нѣтъ ни Беккера, ни Гумбольдта, ни Гримма. Говоря объ аллегоріи, авторъ свидѣтельствуется Лемьеромъ и Вольнеемъ, а въ общихъ замѣчаніяхъ о переносныхъ выраженіяхъ указываетъ на Дюмарсе. Психологію и логику, науки по преимуществу германскія, авторъ тоже отдалъ французамъ и частью англичанамъ—Бюффону, Дюгальду-Стуарту, Фредрику Кювье, Араго, Гарнье, Сегюру, Вимону, Рейду, Аддиссону, Монтаню, Дежерандо и проч.

и проч. Въ этомъ полагаемъ мы третій недостатокъ. Наконецъ, если ужъ пошла рѣчь о недостаткахъ, мы недовольны (въ одномъ только отношеніи) самымъ выраженіемъ автора. Конечно, рѣчь его не только хороша, но и изящна; одна-кожъ, это изящество не совсѣмъ умѣстно въ учебной книгѣ, въ трудѣ дидактическомъ: оно отвлекаетъ вниманіе отъ главнаго дѣла, отъ мысли и волей или неволей принуждаетъ автора дать лишнее мѣсто словамъ.

Вообще же, книга г. Чистякова принадлежитъ къ числу весьма пріятныхъ и полезныхъ явленій въ русской учебной литературѣ. Желательно было бы, чтобъ авторъ къ этимъ двумъ частямъ своего труда присоединилъ поскорѣ третью, именно исторію русской литературы.

## II.

**Практическое руководство къ постепенному упражненію въ сочиненіи.**  
*М. Чистякова.* Санктпетербургъ. 1847.

Большая часть этой книжечки занята примѣрами для упражненій въ сочиненіи; но примѣрамъ этимъ предшествуетъ статья, подъ заглавіемъ: „Основаніе и развитіе руководства къ упражненію въ сочиненіи“. На эту-то статью, какъ на *основаніе*, и слѣдуетъ обратить особенное вниманіе. Прежде всего мы сдѣлаемъ изъ нея краткое извлеченіе.

Чтобы выучить мальчика хорошо сочинять, г. Чистяковъ предлагаетъ занимать его слѣдующими упражненіями: 1) замѣной однихъ оборотовъ рѣчи другими, 2) разборомъ внутренняго состава сочиненія, 3) различнымъ размѣщеніемъ однихъ и тѣхъ же мыслей въ сочиненіи, 4) подражаніями, 5) сокращеніями, 6) извлеченіями и 7) сочиненіями на заданныя темы. Пройдя эти семь искусовъ, ребенокъ изъ адепта сдѣлается мастеромъ, то-есть; хорошимъ сочинителемъ. Дѣло любопытное, открытіе важное! Разсмотримъ же доводы господина изобрѣтателя отъ начала до конца.

1) „*Замѣна однихъ оборотовъ рѣчи другими.* Воспитанникъ выучиваетъ наизусть отрывокъ или небольшое цѣлое сочиненіе въ прозѣ или въ стихахъ, различнымъ образомъ выражаетъ мысли автора изустно или письменно и каждый разъ замѣчаетъ, какія сдѣлалъ онъ перемѣны и почему. Здѣсь преподаватель имѣетъ случай обратить вниманіе: 1) на большую или меньшую *точность*, 2) на большую или меньшую *живопись*, 3) на большее или меньшее *благозвучіе* выраженія, 4) на собственные или переносные обороты рѣчи, 5) на выраженія, чисто-русскія въ этимологическомъ, синтаксическомъ, и эстетическомъ отношеніи.

„При этихъ условіяхъ такое занятіе не будетъ пустою игрою словъ, а ознакомитъ воспитанника съ особенностями и разнообразіемъ формъ родного языка, приучитъ его къ отчетливости въ выраженіи, пробудитъ въ немъ вкусъ и живымъ образомъ дастъ почувствовать, что такое хорошій слогъ“ (стр. 3).



Не будемъ ничего говорить противъ возможности перваго слѣдствія. Но трехъ остальныхъ мы рѣшительно не понимаемъ. Какъ это такъ? Вы берете чужую мысль, перефразируете пять или десять разъ, и это упражненіе сообщаетъ вамъ отчетливость въ выраженіи? Почему же не на оборотъ? Не приучить ли оповасъ смотрѣть на форму, какъ на условіе, не заключающее въ себѣ ничего необходимаго? Если же г. Чистяковъ имѣлъ въ виду сказать, что сущность упражненія въ замѣнѣ однихъ оборотовъ рѣчи другими заключается въ выборѣ между многими формами такой, которая всѣхъ *точнѣе*, то спрашивается: отчего же не сообщилъ онъ секрета, какъ образовать въ ребенкѣ самую способность выбора лучшей формы? Безъ этого, что за радость—научить его искусству перефразирования? Точно то же можно сказать и объ образованіи вкуса посредствомъ магического способа г. Чистякова. Если вкусъ не образованъ какъ-нибудь иначе, именно вслѣдствіе собственнаго развитія дитяти и обращенія его въ атмосферѣ изящнаго, то неужели вы беретесь развить въ немъ эту способность, *толкую* ему, что вотъ это выраженіе живописно, а это блѣдно, вотъ это благозвучно, а это рѣжетъ уши? Если такъ, то вамъ одинъ шагъ до искусства сообщать слѣпорожденному чувство гармоническаго сочетанія цвѣтовъ... Ради Бога, объяснитесь! Но „Руководство“ не отвѣчаетъ на наше воззваніе и переходитъ къ второму упражненію—къ *разбору внутренняго состава сочиненія*. „Это практическая логика“, какъ выражается самъ авторъ.—„Не утомляясь сухими опредѣленіями законовъ и формъ логическихъ, молодой умъ ознакомится съ этими предметами опытно, на самомъ дѣлѣ, часто въ привлекательномъ покровѣ рѣчи; онъ пріобрѣтетъ навыкъ углубляться во внутреннюю связь прочитаннаго, въ немъ образуется духъ анализа—источникъ прочнаго познанія и самобытнаго взгляда“, и проч. (стр. 4). Что ясно, то ясно! Во-первыхъ, здѣсь мимоходомъ высказана весьма справедливая и всякому понятная мысль о бесплодности схоластическаго преподаванія логики; во-вторыхъ, тутъ нѣтъ уже намѣренія *создать* въ чловѣкѣ ту или другую способность; наконецъ, самое упражненіе безспорно полезно, потому, что заключается въ возбужденіи вниманія—способности, которая можетъ быть отнесена къ разряду пріобрѣтаемыхъ.

Третье упражненіе въ сущности то же, что первое, съ тою только разницей, что „тамъ онъ (ученикъ) смотрѣлъ, какъ другіе располагаютъ свои мысли; здѣсь онъ самъ располагаетъ ихъ и убѣждается изъ опыта, что способы соединенія мыслей могутъ быть разнообразны до чрезвычайности“ (стр. 5). Иными словами, здѣсь онъ собственнымъ опытомъ доходитъ до равнодушія къ формамъ, привыкая смотрѣть на нихъ, какъ на камешки калейдоскопа, которые, какъ ихъ ни перевертывай, все-таки укладываются въ линіяхъ красиваго узора. Нечего сказать, удивительное средство образовать въ юношѣ *отчетливость* выраженія и *строгость* вкуса!

Четвертую ступень къ искусству сочиненія, по мнѣнію г. Чистякова, составляютъ *подражанія*! Вотъ собственные слова педагога:

„Подражаніями начинается, можно сказать, *прикладная часть практической логики и разбора рѣчи*. Чтобы это занятіе не превратилось въ механическую копировку формъ мысли и языка избранныхъ образцовъ, лучше всего заставлять воспитанника самого отыскивать предметы, близкіе къ указаннымъ ему примѣрамъ. Эти примѣры будутъ возбуждать въ молодомъ умѣ близкія къ ихъ содержанію мысли и укажутъ ему приемы для расположенія и выраженія ихъ“ (стр. 5).

На практикѣ эта теорія доведена г. Чистяковымъ до удивительныхъ тонкостей. Во второй части его книги мы нашли примѣры „*подражанія цѣлому сочиненію чрезъ сближеніе предметовъ по противоположности*“ и „*подражаніе чрезъ сближеніе предмета духовнаго съ чувственнымъ по сходству*“. Выписываемъ примѣръ перваго рода подражанія:

#### Вечеръ въ іюнь.

Томительный, палящій день  
Сгорѣлъ. Полупрозрачная тѣнь  
Нѣмого сумрака пріосѣняла дали.  
Зарницы бѣгали за синею горой,  
И, окропленные росой,  
Луга и лѣсъ благоухали.  
Луна во всей красѣ плыла на высоту,  
Таинственнымъ лучемъ мечтанія питая,  
И преклонясь къ лавровому кусту,  
Дышала роза молодая (стр. 14).

#### Подражаніе: Вечеръ въ ноябрь

Холодный и угрюмый день быстро смѣнился вечеромъ. Густой туманъ нависъ надъ землею, и въ пяти шагахъ не видно ни зги на небѣ, ни одной звѣздочки, на полѣ ни одного цвѣтка. Луна свѣтитъ какимъ-то зловѣщимъ, кровавымъ свѣтомъ и наводитъ тоску на сердце; дуетъ сырой, пронзительный вѣтеръ и обрываетъ съ деревъ послѣдніе листья“ (стр. 38—39).

Вникнувъ въ этотъ четвертый секретъ, мы рѣшительно доходимъ до заключенія, что авторъ „Руководства“ обладаетъ особеннымъ взглядомъ на то, что называетъ онъ „сочиненіями“. Въ этомъ взглядѣ нѣтъ ничего общаго съ современными понятіями о разныхъ предметахъ, по видимому, близкихъ къ дѣлу, на-примѣръ, о необходимости таланта въ писателѣ, о необходимости для него имѣть самостоятельный взглядъ на вещи, обладать способностью выражать свои чувства и мысли въ оригинальной формѣ, а не со словъ какого-нибудь образца, и т. п. Вся задача писателя, по мнѣнію словоучителя, заключается въ томъ, чтобы всегда во что бы то ни стало умѣть *написать* или *сочинить* что бы то ни было в

о какомъ бы то ни было предметѣ. Иначе, неужели не остановила бы его, при изъясненіи четвертаго способа, та простая и тысячи разъ повторенная мысль, что подражаніе и подражательность—единственный источникъ плохихъ произведеній во всѣхъ родахъ литературы? Понять это очень не трудно. Кто подражаетъ? Или человѣкъ совершенно бездарный, или человѣкъ съ крошечнымъ талантомъ или съ большимъ, но еще неразвитымъ талантомъ, или, наконецъ, оба послѣдніе до тѣхъ поръ, пока не попали на настоящую дорогу; а этими случаями исчерпывается вся бездна литературныхъ неудачъ. Между тѣмъ *сочиненіе*, в само по себѣ—какъ процессъ, какъ актъ, какъ занятіе, и по послѣдствіямъ для того, кто отправляетъ этотъ процессъ, для *сочинителя*, необыкновенно обольстительно. Если есть люди, которыхъ занимаетъ процессъ чтенія независимо отъ того, что они читаютъ, то между грамотными людьми не менѣе и такихъ, которыхъ занимаетъ процессъ сочиненія независимо отъ того, что и какъ они сочиняютъ. И тѣ, и другіе болѣе всего увлекаются легкостью своего занятія: такъ не трудно что-нибудь почитать или о чемъ-нибудь написать въ свободное время! А что не трудно, то и увлекательно! Но это одна сторона вопроса: а что еще, какъ къ ней присоединится другая, въ дѣтствѣ—успѣхи въ школѣ, въ юности—успѣхи у женщинъ, вѣчно равнодушныхъ къ пошлымъ сочинителямъ, а въ пожилая лѣта—озлобленіе на молодыхъ и даровитыхъ писателей?.. Приучите же тысячу ребятъ упражняться въ подражаніи; сколько разведете вы такимъ образомъ бездарныхъ писаекъ, и сколько талантовъ собьете съ пути истиннаго творчества! Нѣтъ, г. Чистяковъ! Ради благоденствія русской литературы, которая и безъ того довольно терпитъ отъ подражательности, возьмите назадъ свой четвертый секретъ и истребите его въ конецъ, если можете!

Упражненія пятое и шестое заключаются въ *сокращеніяхъ* и *извлеченіяхъ*. Различіе ихъ въ томъ, что первое состоитъ въ сокращеніи одного чужого сочиненія, а послѣднее—въ сокращеніи нѣсколькихъ чужихъ въ одно. Къ чему ведутъ эти упражненія? Послушаемъ автора. Вотъ польза „сокращенія“: „Черезъ это занятіе воспитанникъ привыкнетъ вполне усваивать себѣ прочитанное или рассказанное, отличать красоты выраженія отъ занимательности содержанія, мелкія подробности предмета, важныя для живости его изображенія отъ существенныхъ, характеристическихъ линій, составляющихъ его фізіономію, его отличія; будетъ приучаться давать пріобрѣтеннымъ мыслямъ свою оболочку; слѣдовательно, здѣсь опять многосторонняя работа для памяти, для соображенія, для чувства и стиля“ (стр. 6).

Еслибы г. Чистяковъ хотѣлъ заставить учениковъ сокращать растянутыя сочиненія, то мы могли бы понять пользу такого занятія. Но изъ сдѣланной нами выписки ясно, что сущность его „сокращенія“ заключается не въ чемъ иномъ, какъ въ превращеніи живого литературнаго произведенія въ скелетъ. Какой смыслъ отыщете вы въ словахъ: „отличать красоты выраженія отъ занимательности со-

„ураженія“? Въ приращеніи къ предлагаемому имъ дѣлу не будетъ ли это значить: упражняться въ заимствѣ живого выраженія мысли мертвымъ? И что жъ за польза—пріучить себя къ блѣдности выраженія? Непостижимо! А что такое значить—отличать „мелкія подробности предмета, важныя для живости его изображенія, отъ существенныхъ характеристическихъ линій, составляющихъ его физиономію, его отличія“? Въ образцовыхъ литературныхъ произведеніяхъ не можетъ быть мелкихъ подробностей, которыя не заключали бы въ себѣ чего-нибудь существеннаго и характеристическаго. Попробуйте-ка исключить какія-нибудь *подробности* изъ лучшихъ произведеній Пушкина и Гоголя: можете быть увѣрены, что этимъ „упражненіемъ“ вы непремѣнно исключите какую-нибудь существенную часть цѣлаго. Слѣдовательно, опять-таки повторяемъ, сокращать образцовыя произведенія литературы значить исказить ихъ, мертвить, расхолаживать, однимъ словомъ — портить. И это считаете вы полезнымъ занятіемъ адепта!..

Польза шестого упражненія, именуемаго „извлеченіями“, доказывается г. Чистяковымъ самымъ косвеннымъ образомъ. Вотъ его слова: „Воспитаннику указывается нѣсколько отрывковъ или цѣлыхъ сочиненій, изъ которыхъ онъ долженъ выбрать происшествія или мысли, относящіяся къ назначенной темѣ. Иногда одні и тѣ же статьи могутъ служить источниками для развитія различныхъ предметовъ. Писатели, которыми воспитанникъ долженъ пользоваться, могутъ принадлежать къ весьма различнымъ эпохамъ. Учитель, конечно, почтетъ за обязанность раскрывать передъ нимъ все богатство русскаго ума и поэтическаго генія отъ начала письменности въ Россіи до настоящаго времени. Это будетъ средствомъ ознакомить юношу съ явленіями русской словесности, хотя не вполне, въ отрывкахъ, не въ хронологическомъ порядкѣ, безъ критическаго воззрѣнія, но за то съ сознаніемъ и чувствомъ къмъ, что и какъ написано“ (стр. 6—7).

Далѣе авторъ находитъ нужнымъ доказывать слѣдующую непогрѣшительную мысль: „непростительная ошибка ограничивать чтеніе воспитанниковъ только новѣйшею и современною литературой“ (стр. 7) и, наконецъ, говоритъ слѣдующее: „Учителю представляется много случаевъ, кромѣ умственныхъ и эстетическихъ замѣчаній, указывать воспитаннику на архаизмы, грецизмы, латинизмы, полонизмы, германизмы и особенно на галлицизмы, которые встрѣчаются даже въ перво-классныхъ нашихъ писателяхъ“ (стр. 8).

Спрашивается: гдѣ же доказательство пользы „извлеченій“? Изъ приведенныхъ здѣсь словъ мы заключаемъ только, что г. Чистяковъ находитъ полезнымъ учить дѣтей исторіи русской литературы и русскаго языка. Прекрасно; да что же за необходимость избирать для этой цѣли тотъ способъ, который онъ предлагаетъ, и по которому, какъ самъ же онъ сознается, исторія русской литературы и русскаго языка преподается имъ „не вполне“, „въ отрывкахъ“, „не въ хронологическомъ порядкѣ“ и „безъ критическаго воззрѣнія“. Мимоходомъ спросимъ

также: что такое значить изучить исторію литературы „безъ критическаго воззрѣнія, но за то съ сознаніемъ и чувствомъ, къмъ, что и такъ написано“? Любопытно было бы знать, какое же воззрѣніе можетъ произвести это сознаніе и породить это чувство, кромѣ критическаго?.

Но если и самъ г. Чистяковъ не нашелъ никакихъ прямыхъ доказательствъ въ пользу шестого упражненія, то нѣтъ ничего удивительнаго, что невыгодныя для него доказательства очень легко приходятъ въ голову. Не считая, впрочемъ, нужнымъ останавливаться долго на этомъ предметѣ, замѣтимъ только, что къ нему можетъ быть вполне примѣнено все сказанное нами о „подражаніяхъ“, потому что изготовленіе изъ нѣсколькихъ пьесъ одной есть не что иное, какъ подражаніе, то же, только въ болѣе грандіозныхъ размѣрахъ.

Теперь мы достигаемъ послѣдней высоты сочинительской практики—седьмого упражненія, заключающагося въ *сочиненіяхъ на заданныя темы*.

„Противъ этого рода занятій вооружаются многіе“, говоритъ авторъ.— „Думаютъ, что это приучаетъ дѣтей къ пустому умничанью и къ поддѣлкѣ подъ чужія чувства. Но умничаютъ мальчикъ, когда говоритъ о предметахъ выше своего понятія, поддѣлывается подъ чужія чувства, когда говоритъ о томъ, что не производило на него впечатлѣнія, употребляетъ возгласы безъ участія, безъ душевнаго движенія. Въ первомъ случаѣ, слѣдовательно, все зависитъ отъ умѣнья выбирать темы; на второе я буду отвѣчать вопросомъ: поддѣлывается ли подъ чужія чувства драматическій писатель, который говоритъ то языкомъ старика, то дитяти, то злодѣя, то добродѣтельнаго и честнаго человѣка? Нѣтъ, онъ отгадываетъ ихъ чувство, онъ чувствуетъ самъ за нихъ“ (стр. 8).

Мы уже замѣтили выше, что г. Чистяковъ обладаетъ совершенно особеннымъ взглядомъ на процессъ художественнаго созданія и логическаго развитія мысли. Въ приведенныхъ теперь словахъ видимъ новое доказательство справедливости этой догадки. Можно ли не заключить изъ сдѣланной нами выписки, что г. Чистяковъ совершенно выпустилъ изъ виду временное расположеніе писателя къ тому или другому предмету изслѣдованія и изображенія? Приведя въ доказательство своей теоріи примѣръ драматическаго писателя, изображающаго мысли и чувства людей, съ которыми тотъ не имѣетъ ничего общаго, и довольствуясь этимъ доводомъ, принялъ ли авторъ сколько-нибудь въ соображеніе, что Пушкинъ не могъ бы написать „Бориса Годунова“ въ то время, какъ бѣсъ творчества рисовалъ предъ нимъ образъ Лауры, и на оборотъ? Нѣтъ, этого соображенія вовсе не было въ виду у нашего педагога, а потому-то и доводы его не требуютъ дальнѣйшаго опроверженія.

Сдѣлаемъ теперь нѣсколько общихъ замѣчаній или заключеній о трудѣ г. Чистякова.

Мы увѣрены, что многіе, прочитавъ нашъ разборъ, скажутъ: легко опровергать старое, да трудно замѣнять опровергнутое новымъ. Подобные отзывы о рецензіяхъ „Отечественныхъ Записокъ“ не рѣдки, и пора сказать что-нибудь объ этомъ предметѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, какъ всмотришься въ характеръ нашихъ убѣжденій и въ характеръ нашихъ статей, нельзя не согласиться, что и въ тѣхъ, и въ другихъ преобладаетъ отрицаніе. Но что же дѣлать? Не общая ли это судьба людей нашего времени, разумѣется, тѣхъ, которымъ дороги ихъ убѣжденія, которые не могутъ довольствоваться полусознаваемыми истинами? И не лучше ли же ограничиться сознательнымъ отрицаніемъ того, что представляется намъ неоспоримо негоднымъ, чѣмъ обольщать себя малодушною довѣренностью въ прочности стараго, гнилого зданія, а другихъ—искуснымъ законопачиваніемъ его разсѣлинь? За примѣромъ ходить не далеко: стоитъ только возвратиться къ книгѣ г. Чистякова. До сихъ поръ мы еще не опредѣлили ея общаго характера. А знаете ли, что она такое? Она—реторика ни больше, ни меньше, но такая реторика, которая боится самой себя. Она сдѣлала все, что могла, для того, чтобъ ея не узнали: назвалась „Руководствомъ къ упражненію въ сочиненіяхъ“ да еще прибавила къ этому эпитетъ „практическое“; прикрылась примѣрами изъ новыхъ писателей—Пушкинской эпохи; запрятала очень заботливо и искусно свои обыкновенныя формулы, втиснувъ ихъ куда-то между примѣрами <sup>1)</sup>; а между тѣмъ, какъ вникнешь въ ея ухищренія, нельзя не убѣдиться, что она точно реторика, да еще какая;—самая древняя; самая маститая реторика, та, которая нѣкогда смѣло восклицала: *поэтъ рождается, ораторъ образуется*. Она испытала много бѣдъ и дѣлала много уступокъ, теперь ей осталось одно—хитрость. За это-то послѣднее средство схватилась она, какъ хватается утопающій за соломину, и явилась къ намъ въ видѣ книжки г. Чистякова, которая такъ усиленно старается скрыть свою сущность. Какъ вамъ нравится такое поведеніе риторика? Намъ оно серьезно не нравится, и если заставляетъ иногда улыбаться, то развѣ потому, что нѣтъ ничего забавнѣе неловкой хитрости. Прикрывшись практическимъ характеромъ, реторика г. Чистякова сдѣлала страшное *salto-mortale*. Замѣнявъ обыкновенныя названія главъ риторическаго руководства новыми, какъ, на примѣръ: *подражанія, извлеченія, сокращенія*, она какъ нельзя яснѣе обнаружила самаго, что давно уже приводилось ей въ укоръ, именно—что реторика есть искусство выражать мертвыя мысли въ мертвыхъ формахъ. Мы дважды говоримъ *мертвыя*, потому что чужія мысли и чужія формы не могутъ быть живыми.

---

<sup>1)</sup> Такъ, вслѣдъ за примѣрами на первое упражненіе, въ скромномъ, едва замѣтномъ примѣчаніи изложено извѣстное архиреторическое правило о замѣнѣ одной формы мысли другою (стр. 12): точно также на стр. 35—36 помѣщена еще глава изъ риторики—о *расчлененіи и счечтаніи мыслей*.



Другое замѣчаніе. Если справедливо, что въ идеяхъ нашего времени преобладаетъ отрицаніе, то было бы, однакожъ, совершенно несправедливо придавать этому приговору слишкомъ рѣшительный характеръ. Для примѣра возвратимся опять къ „Практическому руководству“. Опровергая теорію г. Чистякова, мы не замѣнили ея своею. Но слѣдуетъ ли изъ этого заключать, что современная наука не создала ничего въ замѣну ниспроверженной ею реторики? Спросите у нея: на какомъ основаніи вооружается она противъ схоластической теоріи изобрѣтенія, расположенія и выраженія мыслей, и она представитъ вамъ это *основаніе*. Вотъ оно, если угодно.

Каждая отрасль дѣятельности требуетъ врожденнаго таланта, который обусловливается самою организаціей человѣка и обстоятельствами его жизни. Никакія теоретическія внушенія, никакія насилуванія природы не замѣняютъ этого условія, и на оборотъ, человѣкъ, одаренный талантомъ отъ природы, и не встрѣтившій въ обстоятельствахъ жизни могучаго противодѣйствія развитію своихъ способностей, необходимо найдетъ средства проявить свою талантливость въ собственной ей формѣ. Кто рожденъ съ творчествомъ въ душѣ и въ комъ пламя творчества не заглохло подъ гнетомъ непріязненныхъ случайностей, тотъ и будетъ художникомъ, то-есть, будетъ отличнымъ образомъ изобрѣтать, располагать и выражать свои мысли. Точно также человѣкъ, рожденный съ логическою головою, разумѣется, не успѣвшій оглушѣть отъ многого и многого, отъ чего глупѣютъ другіе, будетъ понимать, рассуждать, писать и даже, если встрѣтится надобность, сокращать и извлекать благополучнѣйшимъ образомъ. Итакъ, вмѣсто того, чтобы воздѣлывать теоретически и практически разныя отрасли гевристики (науки творчества), скажите намъ лучше, какъ бы это сдѣлать, чтобы врожденный талантъ не встрѣчалъ препятствій въ развитіи со стороны всего того, что называется обстоятельствами? Мы были бы вамъ очень благодарны, потому что на этомъ-то вопросѣ и остановилась современная мысль.

## К. Гореглядъ-Выласскій.

**О дарѣ слова или словоизяснительности.** Сочиненіе *Карла Горегляда-Выласскаго*. Санктпетербургъ. 1846.

При разладѣ между природой и воспитаніемъ человѣка, между естественными его влеченіями и внѣшними условіями общественной жизни весьма часто приходится встрѣчать людей, обнаруживающихъ въ своихъ мысляхъ и поступкахъ рѣшительное отсутствіе всякой послѣдовательности и безконечное множество непримиримыхъ противорѣчій и несообразностей. Въ образѣ мыслей, въ характе-

рахъ и практической дѣятельности такихъ людей столько разнообразія, что человѣкъ добросовѣстный никогда не рѣшится произнести на ихъ счетъ положительнаго приговора, никогда не въ состояніи будетъ сказать прямо и утвердительно, умны они или глупы, добры или злы, благородны или неблагородны и т. п. Въ этомъ отношеніи сфера умственной и преимущественно литературной дѣятельности особенно отличается предъ всѣми другими: нигдѣ не выражается съ такою силой, нигдѣ не имѣетъ такого обширнаго примѣненія эта способность и въ то же время слабость человѣка совмѣщать въ себѣ качества самыя разнородныя, направленія самыя непримиримыя. Каждому изъ насъ случается безпрестанно имѣть дѣло съ людьми, которые одинъ разъ кажутся чрезвычайно умными и дѣльными, другой разъ совершенно пустыми и ничтожными: объ ихъ особенностяхъ, даровитости и умѣ постоянно спорятъ между собою такіе судьи, которые въ приговорахъ своихъ руководствуются одними и тѣми же принципами и имѣютъ совершенно одинаковый взглядъ на вещи. Еще чаще случается встрѣчать людей, которые не имѣютъ никакого послѣдовательнаго, опредѣленнаго образа, мыслей, которые умѣютъ примирять и соединять между собою самыя противоположныя убѣжденія и понятія, умѣютъ стать въ одно и то же время подъ множество различныхъ знаменъ и выказывать себя приверженцами самыхъ разнородныхъ ученій. Часто къ такому противорѣчію съ самимъ собою человѣкъ приводится совершенно неумышленно и безсознательно вліяніемъ внѣшнихъ обстоятельствъ, обуславливающихъ его развитіе. За то есть много и такихъ, которые очень хорошо понимаютъ сами двусмысленность своего положенія и умѣютъ очень хорошо играть свою роль для достиженія цѣлей болѣе или менѣе похвальныхъ. Иной хлопочетъ такимъ образомъ въ продолженіе цѣлой жизни, стараясь примирить между собою самыя непримиримыя взгляды, единственно для того, чтобы никого не оскорбить мнѣніемъ, высказаннымъ слишкомъ рѣзко, а напротивъ, угодить всѣмъ и каждому уступками, сдѣланными ловко и кстати. Другой, въ случаѣ надобности, бесѣдуя, напримѣръ, съ начальникомъ или какимъ-либо нужнымъ человѣкомъ, умѣетъ съ удивительнымъ самоотверженіемъ и искусствомъ поставить себя на одинъ уровень съ своимъ собесѣдникомъ и воздержаться отъ всякаго неумѣстнаго проявленія своего превосходства въ отношеніи къ уму или образованію, превосходства, которые онъ позволяетъ себѣ выказывать не иначе, какъ съ чрезвычайною осторожностью, въ извѣстномъ только кругу и при извѣстныхъ условіяхъ. Съ такими аномаліями, добросовѣстными, такъ и умышленными, встрѣчаешься весьма часто въ жизни и чаще въ литературѣ. Много есть такихъ книгъ, въ которыхъ достоинство и направленіе труда одинаково неясно, одинаково двусмысленно. Встрѣча съ этими явленіями для нѣкоторыхъ людей рѣшительно ничего не значитъ, въ другихъ же возбуждаетъ она точно такое же ощущеніе, какое производитъ на дилеттанта фильшивая музыка.

Съ перваго взгляда намъ показалось, что книга г. Карла Горегляда-Выласскаго не заслуживаетъ никакого серьезнаго вниманія, и мы готовы были причислить ее къ тѣмъ пустымъ произведеніямъ литературы, безъ которыхъ не обходится ни одинъ мѣсяцъ, и въ которыхъ нѣтъ ничего, кромѣ претензій. Но нѣкоторыя дѣльныя замѣчанія, попадавшіяся намъ изрѣдка при чтеніи ея, заставили насъ обратить на нее особое вниманіе. Мы принялись за нее съ терпѣніемъ, безъ котораго нельзя къ ней приступить, потому что термины, употребляемые авторомъ, странны, а конструкція его періодовъ очень тяжела. Однакожъ, тѣмъ ближе знакомились мы съ трудомъ г. Карла Горегляда-Выласскаго, тѣмъ болѣе вникали въ его содержаніе и направленіе, тѣмъ труднѣе становилось для насъ согласить тѣ разнородныя впечатлѣнія, которыя производило на насъ это чтеніе, и составить себѣ рѣшительное мнѣніе, какъ о достоинствѣ самой книги, такъ и о способности ея автора къ предпринятому имъ труду. Съ одной стороны, сочиненіе г. Карла Горегляда-Выласскаго представляетъ, какъ мы уже сказали, нѣсколько филологическихъ замѣчаній весьма дѣльныхъ и справедливыхъ, нѣсколько довольно мѣткихъ взглядовъ на труды прежнихъ филологовъ и, наконецъ, вообще весьма широкій взглядъ на науку слова и явное, живое стремленіе къ ея усовершенствованію или, вѣрнѣе, къ совершенному ея преобразованію. Но всѣ эти достоинства составляютъ не болѣе, какъ только одну сторону труда г. Карла Горегляда-Выласскаго, и для того, чтобы замѣтить ихъ между недостатками цѣлаго сочиненія, надо имѣть большой запасъ терпѣнія и снисходительности, надо умѣть удерживаться на каждомъ шагѣ отъ порывовъ досады. Сознаемся, что общее впечатлѣніе, производимое этимъ сочиненіемъ, весьма невыгодно для его автора; слабость средствъ и силъ при обширности предположенной цѣли, отсутствіе познаній, потребныхъ для ея достиженія, неумѣніе писать по-русски при стремленіи преобразовать теорію и практику русскаго языка и, наконецъ, самые странные и устарѣлые предразсудки на ряду съ гордыми приговорами несовершенству ихъ прежнихъ ученыхъ трудовъ, всѣ эти недостатки еще ярче и сильнѣе выказываются отъ противоположности съ упомянутыми нами достоинствами и поставляютъ рецензента въ самое непріятное положеніе, вызывая съ его стороны двусмысленный приговоръ, какъ неизбежное послѣдствіе двусмысленнаго достоинства разбираемаго сочиненія.

Книга г. Карла Горегляда-Выласскаго представляетъ, собственно говоря, не болѣе, какъ предувѣдомленіе и вмѣстѣ введеніе въ трудъ болѣе важный и обширный. Она издана имъ преимущественно съ тою цѣлью, чтобъ обратить вниманіе русской публики и русскихъ ученыхъ на то преобразование, которое сочинитель ея намѣренъ произвести въ словесныхъ наукахъ, и которое, по словамъ его, должно дать этимъ наукамъ совершенно новый видъ и новое направленіе. Выступая на это поприще, г. Карлъ Гореглядъ-Выласскій старается прежде всего опредѣлить и объяснить то состояніе, въ которомъ находится филологія въ ны-

нѣшнее время. Состояніе это онъ описываетъ самыми мрачными красками. По его мнѣнію, познаніе языка вообще и русскаго въ особенности далеко не достигло еще той степени совершенства, на которой оно можетъ и должно быть; всякій, кто только излагалъ мысли свои на бумагѣ, желая изъясниться правильно, находилъ и находить на этомъ пути безпрестанныя затрудненія, препятствія и ничѣмъ не разрѣшимыя задачи. Причину такого неутѣшительнаго явленія г. Карлъ Гореглядъ-Выласскій полагаетъ главнымъ образомъ въ недостаткахъ, заблужденіяхъ и ложныхъ взглядахъ ученыхъ, занимавшихся этимъ предметомъ и поставившихъ его на ту степень, на которой находится онъ нынѣ. Въ ихъ сочиненіяхъ находятъ онъ, между прочимъ, слѣдующіе главные недостатки: рѣшительное отсутствіе системы и общепринятыхъ основаній, неудовлетворительность попытокъ, отдѣланныхъ до сихъ поръ для разложенія языка на его составныя стихіи (*éléments du langage*), совершенное незнаніе или непониманіе тѣхъ предметовъ, къ выраженію которыхъ долженъ служить языкъ, неправильность и неясность понятій о существѣ ума и дара слова, несовершенство общепринятыхъ способовъ выраженія и изъясненія мыслей, отсутствіе вѣрныхъ и положительныхъ правилъ при расположеніи предметовъ науки и при раздѣленіи учебныхъ книгъ на отдѣльныя части, упорство въ разъ утвердившихся предразсудкахъ и, наконецъ, привычку слѣпо вѣрить всему, что для сознанія представляется темнымъ и неудобнопонятнымъ, и какъ слѣдствіе того, рабское подчиненіе схоластическому деспотизму. Справедливость этихъ замѣчаній авторъ доказываетъ и подтверждаетъ многочисленными примѣрами изъ сочиненій извѣстнѣйшихъ русскихъ филологовъ и писателей (которыхъ онъ, впрочемъ, не называетъ ни разу по имени, по весьма похвальной предосторожности) и выписками такихъ мѣстъ, изъ которыхъ ясно видно, что нѣкоторые изъ нихъ сами сознаются въ существованіи подобныхъ недостатковъ. Впрочемъ, не одни только русскіе писатели и ученые навлекаютъ на себя упреки и порицаніе автора, не одна только русская филологія представляется ему неполною и неудовлетворительною: по его мнѣнію, всѣ иностранные языки находятся въ такомъ же жалкомъ положеніи, и вся филологія вообще коснѣетъ еще въ дикомъ младенчествѣ. По его мнѣнію, не смотря на то, что въ образованнѣйшихъ европейскихъ государствахъ находится въ настоящее время безчисленное множество филологическихъ сочиненій, терминологія, грамматика и самое значеніе и правила этой науки весьма слабо подвинуты впередъ и основаны не столько на самой природѣ и существѣ языка, сколько на произвольныхъ и безотчетныхъ данныхъ, не имѣющихъ никакого разумнаго основанія.

Указавъ на недостатки всѣхъ предшествовавшихъ трудовъ по части филологіи и на неудовлетворительное состояніе этой науки въ настоящее время, г. Карлъ Гореглядъ-Выласскій признаетъ безусловно необходимымъ приняться немедленно за исправленіе этихъ недостатковъ и за усовершенствованіе науки. „Кажется, пора“, говоритъ онъ, — „раскрыть вѣковыя завѣсы навыка и предубѣжденія“.

ній, пора сбросить съ языка цѣпи, несвойственныя важнѣйшему его предназначенію, пора даръ слова изторгнуть изъ тьмы, незнанія, открыть истинныя его свойства, разяснить его настоящее состояніе и въ наукахъ дать ему естественное направленіе“ (стр. 101).

Выполненіе всей этой программы, по признанію самого автора, составляетъ трудъ огромный, необъятный и, при настоящемъ положеніи науки, превосходящій силы одного человѣка. Но, не смотря на то, исполненный довѣрія къ своимъ средствамъ, г. Карлъ Гореглядъ-Выласскій смѣло берется за этотъ трудъ и, извѣщая о томъ русскую публику, открыто изъясляетъ надежду, что если въ числѣ читателей его и найдутся многіе, несогласные съ его сужденіями и открытіями, то это только на первый разъ, а что впослѣдствіи времени очевидная важность и польза его нововведеній и самая необходимость возьмутъ верхъ надъ всѣми предубѣжденіями и привычками. Цѣль, существо и планъ своего труда г. Карлъ Гореглядъ-Выласскій опредѣляетъ самымъ широкимъ образомъ, не скупясь на обѣщанія и не полагая для своей дѣятельности никакихъ опредѣленныхъ границъ. Обѣщая своимъ читателямъ выказать всѣ главные недостатки нынѣшнихъ филологическихъ сочиненій и открыть или осуществить дѣйствительныя основанія и правила языка посредствомъ *новыхъ* на него взглядовъ, авторъ признаетъ, что все нынѣшнее зданіе филологіи должно быть срыто до основанія, а на развалинахъ его должно быть сооружено новое по совершенно другому плану, соответствующему самой природѣ предмета. При этомъ онъ не хочетъ ограничиваться однимъ перестроеніемъ грамматики, какъ русской, такъ и всеобщей; считая предѣлы этой науки въ томъ видѣ, какъ ее нынѣ понимаютъ, слишкомъ тѣсными и узкими, онъ хочетъ переработать разомъ всѣ словесныя науки, отвергая общепринятое ихъ раздѣленіе и признавая необходимымъ соединить, подъ общимъ названіемъ „словонзяснительности“, всѣ нынѣшнія словоучебныя книги, какъ-то: „буквари или азбуки, Грамматики, Реторики, Піитики, Словесности, Курсы Литературы, Руководства къ словесности, тетради Грамматики, системы грамматики, даже и синтетическія съ аналитическими Грамматики, и др.“ (стр. 110). Впрочемъ, даже и эта обширная программа не удовлетворяетъ вполне честолюбію автора; онъ намѣревается подвергнуть своему изслѣдованію не одни только законы языка и слова, но и законы самаго мышленія, даже всю метафизику, признавая и въ этомъ отношеніи состояніе науки совершенно неудовлетворительнымъ и отзываясь о философахъ и философіи еще съ большимъ презрѣніемъ, нежели о филологахъ и филологіи. „Мнѣ не извѣстно“, говоритъ онъ, — „ни одно сочиненіе подъ заглавіемъ: о существѣ (ens, l'être, das Wesen, istota), сочиненіе, долженствующее содержать въ себѣ все то, что только о какомъ-либо существѣ можно сказать, какъ вообще, такъ и въ особенности. Я предпринялъ и стараюсь довершить трудъ сего рода, трудъ, въ коемъ предполагаю изложить дѣйствительныя и полныя взгляды на предметы познаній.—взгляды, положившіе основаніе

настоящему разсматриванію словоизяснительности“ (стр. 31—32). И далѣе: „Хотя дары ума и слова суть отличительныя способности чловѣка, возвышающія его *надъ прочихъ животныхъ* (!), за всѣмъ тѣмъ, главнѣйшія неурядиства словоизяснительнаго міра происходитъ отъ неправильнаго развитія познаній, относящихся къ обѣимъ этимъ способностямъ чловѣка. Дѣйствія оныхъ еще и до сихъ поръ не разграничены и даже не опредѣлены. Нынѣ, схоластическаго происхожденія существо, Логика, распространила предѣлы свои и въ область словоизясненія, какъ видимъ даже и изъ новѣйшихъ Логикъ. Этотъ предметъ, особливо обрабатываемый, будетъ изложенъ въ отдѣльномъ сочиненіи объ умословіи, гдѣ, на развалинахъ трансцендентальности, индивидуальности, идеальности, реальности, субъективности, объективности и множества другихъ произведеній мечтателей, положено основаніе къ сооруженію самаго простаго и прочнаго зданія объ умословіи, то-есть: умственныхъ способностяхъ и дѣйствіяхъ чловѣка“ (стр. 35—36).

Изъ выписанныхъ нами мѣстъ, кажется, довольно ясно видно, съ какою самоувѣренностью выступаетъ г. Карлъ Гореглядъ-Виласскій на поприще филологіи, и какъ рѣзкимъ тономъ отзывается онъ о всемъ томъ, что сдѣлано было до него на этомъ поприщѣ. Эти строгія и рѣзкія сужденія, это довѣріе къ собственнымъ силамъ, эта обширность и многообъемлемость плана и видовъ автора, по всей вѣроятности, не понравятся большинству читателей его книги. Что касается до насъ, то въ нашихъ глазахъ эта самоувѣренность сама по себѣ еще нисколько не вредитъ автору, и мы готовы отъ всей души сочувствовать намѣреніямъ и цѣлямъ смѣлаго реформатора. Мы совершенно согласны съ тѣмъ, что современное состояніе словесной науки весьма далеко еще отъ совершенства, весьма неудовлетворительно и недостаточно; такъ же, какъ и авторъ, мы съ нетерпѣніемъ ожидаемъ времени, когда наука эта выйдетъ изъ того фальшиваго, неестественнаго положенія, въ которомъ она находится нынѣ, и перестанетъ представлять собою странное сдѣвленіе новыхъ идей и началъ съ старинными предразсудками и нелѣпыми правилами схоластическихъ грамматикъ и реторикъ, потрясенными уже въ своемъ основаніи, но еще не испровергнутыми окончательно. Подобно г. Карлу Горегляду-Виласскому, мы отъ всей души желаемъ, чтобъ явился, наконецъ, геніальный чловѣкъ, который освободилъ бы окончательно эту науку отъ схоластическихъ оковъ и на развалинахъ стараго зданія воздвигъ бы новое, болѣе гармонически цѣлое, болѣе сообразное съ современными взглядами и требованіями. Но при этомъ, какъ говоритъ самъ авторъ,—остается еще вопросъ: „кому принадлежать будетъ величайшая слава открытія сего новаго филолого-философскаго камня и проложенія въ этомъ лабиринтѣ Аріадниной нити?“ Г. Карлъ Гореглядъ-Виласскій надѣется, что эта слава достанется ему, и мы вовсе не расположены спорить съ нимъ въ этомъ отношеніи и доказывать, что его притязаніе и надежды слишкомъ самолюбивы и едва ли сбыточны; мы готовы, какъ уже сказали, совершенно сочувствовать его намѣренію и поощрять его похвальное дѣло, если



только онъ можетъ представить намъ какія-либо положительные данныя въ удостовѣреніе того, что его самоувѣренность не есть послѣдствіе ничѣмъ не оправдываемаго самодовольствія, но признакъ дѣйствительнаго превосходства и отчетливаго сознанія своей силы. Если же, напротивъ, книга, изданная имъ нынѣ, указываетъ только на отсутствіе въ ея авторѣ тѣхъ дарованій и познаній, которыя необходимы для достиженія предположенной имъ цѣли, то найдутся, пожалуй, строгіе критики, которые самоувѣренность г. Карла Горегляда-Выласскаго назовутъ самохваленіемъ, его широкій взглядъ на науку припишутъ неясному понятію объ ея объемѣ, а въ пренебреженіи существующихъ нынѣ ученій увидятъ послѣдствія совершеннаго ихъ незнанія. Разсмотримъ же ближе форму и содержаніе того предварительнаго труда, съ которымъ является г. Карлъ Гореглядъ-Выласскій на судъ публики, и постараемся опредѣлить на этомъ основаніи, чего можно ожидать отъ предпринимаемаго имъ дѣла и до какой степени можно полагаться на его блистательныя обѣщанія,

Обращаясь къ формѣ сочиненія г. Карла Горегляда-Выласскаго, мы должны замѣтить прежде всего, что это сочиненіе читается съ большимъ трудомъ, потому что тяжелый и шероховатый языкъ автора весьма напоминаетъ во многихъ отношеніяхъ слогъ нашихъ прежнихъ писателей эпохи до-карамзинской. Но еще непріятнѣе должно, по нашему понятію, поражать всякаго читателя этой книги множество странныхъ и совершенно не русскихъ оборотовъ, встрѣчающихся въ ней на каждомъ шагу. Сознаемся откровенно, что нѣкоторые періоды г. Карла Горегляда-Выласскаго произвели на насъ самое странное впечатлѣніе и заставили сильно усумниться въ умѣнны его писать по-русски. Съ перваго раза подобное сомнѣніе представляется довольно страннымъ: возможно ли въ самомъ дѣлѣ предполагать такое неумѣнье въ томъ преобразователѣ, который такъ строго отзывается о языкѣ и слогѣ знаменитѣйшихъ нашихъ писателей, и который, какъ въ теоріи, такъ и въ практикѣ русскаго слова, намѣривается совершить такія важныя измѣненія? Это принадлежитъ, впрочемъ, къ числу тѣхъ не объяснимыхъ противорѣчій, которыми изобилуетъ трудъ г. Карла Горегляда-Выласскаго, какъ уже замѣчено было въ самомъ началѣ нашей статьи. Мы ни какъ не надѣемся разрѣшить это противорѣчіе, предоставляя все дѣло суду читателей, но не можемъ однако удержаться отъ одного замѣчанія, которое невольно приходитъ намъ на умъ. Если г. Карлъ Гореглядъ-Выласскій предпринимаетъ совершать реформу въ теоріи и практикѣ языка, то изъ этого надо заключить, что, вслѣдствіе такой реформы, всѣ ея послѣдователи станутъ писать точно такимъ же образомъ, какъ пишетъ самъ реформаторъ, который, конечно, болѣе, нежели всякій другой, обязанъ соблюдать въ своей рѣчи правила, вновь имъ открытыя. Но при этомъ рождается вопросъ: много ли выиграетъ практика русскаго языка, если мы, подражая г. Карлу Горегляду-Выласскому, станемъ употреблять обороты въ родѣ слѣдующихъ: „такое существо, весьма естественно, что

и въ видахъ и въ частяхъ своихъ не могло достигнуть опредѣленности“ (стр. 39),—или: „незнанія сочинителями или непониманія предметовъ, главнѣйшія естественныя послѣдствія суть“ (стр. 36),—или: „по моему мнѣнію, даже и предосудительно, любознателямъ, утверждать: будто бы названіе предмета можетъ быть все равно какое бы то ни было“ (стр. 53) и т. п. Необходимо замѣтить вдобавокъ, что вслѣдствіе реформы г. Карла Горегляда-Виласскаго, вмѣстѣ съ измѣненіемъ правилъ о построеніи рѣчи, измѣнятся и правила объ употребленіи знаковъ препинанія: знаки эти будутъ ставить почти послѣ каждаго слова, и признають необходимымъ отдѣлять всегда запятыми глаголь отъ подлежащаго, ему непосредственно предшествующаго, а существительное имя—отъ прилагательнаго, служащаго ему эпитетомъ.

Но это еще не все. Въ лексикологическомъ отношеніи трудъ г. Карла Горегляда-Виласскаго представляетъ точно такія же странности, какъ и въ отношеніи грамматическомъ. Терминологія, усвоенная авторомъ, составляетъ одинъ изъ важнѣйшихъ недостатковъ его сочиненія. Еслибы самъ онъ не приложилъ къ каждому параграфу книги особыхъ примѣчаній для объясненія употребляемыхъ имъ терминовъ и, кромѣ того, „Азбучнаго показанія особо замѣчательныхъ словъ“ то сочиненіе его было бы совершенно непонятно для русскаго читателя... Это происходитъ оттого, что авторъ не только счелъ нужнымъ замѣнять русскими словами слова иностраннаго происхожденія, получившія уже, впрочемъ, право гражданства въ нашемъ языкѣ, но даже и тѣ термины, которые имѣютъ происхожденіе чисто русское, онъ старался замѣнять новыми словами собственнаго изобрѣтенія на томъ основаніи, что послѣднія болѣе соотвѣтствуютъ сущности выражаемаго ими предмета. Подобными неологизмами испещрена вся книга г. Карла Горегляда-Виласскаго, и нельзя не сознаться, что авторъ въ этомъ отношеніи не одаренъ собственною изобрѣтательностью, и что выраженія, придуманныя имъ въ замѣнъ общепринятыхъ, никакъ не могутъ быть названы удачными; слова: языкъ, выраженіе, аксіома, медицина, математика, взаимный, знаки препинанія, глаголь, филологія, система, имя существительное, терминологія, каталогъ, аналогія, онъ замѣняетъ слѣдующими словами: словоизъяснительность, словоизъясняемость, умоположеніе, врачебничество, количественность, междоусобный, знаки вспомогательныя, дѣзваніе, любословіе, основоположительность, предметозваніе, своесловность, опись книгохранилищная, подобослѣдованіе... При видѣ этого предубѣжденія къ иностраннымъ словамъ и претензіи на введеніе новыхъ терминовъ невольно приходитъ на умъ: не въ этомъ ли собственно заключается смыслъ и цѣль обѣщанной намъ реформы, и не это ли составляетъ настоящую причину того неудовольствія, которое возбуждаетъ въ авторѣ современное состояніе русскаго языка? Эта мысль, говоримъ мы, невольно проходитъ на умъ, потому, что по крайней мѣрѣ, до сихъ поръ этимъ только изобрѣтеніемъ новыхъ выраженій и ограничиваются нововведенія г. Карла Горегляда-Виласскаго; этотъ пунктъ обращаетъ на себя всего болѣе его вниманіе,

мы не можемъ иначе объяснить себѣ ни безпрестанныхъ выходовъ автора противъ писателей, употребляющихъ слова: *индивидуальность, субъективность, гуманность, социализмъ* и т. п., и благоговѣнія къ памяти Шишкова, знаменитаго родоначальника всѣхъ нашихъ филологовъ-пуристовъ. Здѣсь не мѣсто возобновлять старый и уже давно надоевшій всѣмъ споръ о такъ-называемомъ очищеніи русскаго языка, и мы ограничимся только указаніемъ на недостатокъ логической послѣдовательности въ сочиненіи г. Карла Горегляда-Выласскаго, на противорѣчіе между стремленіемъ къ реформамъ, къ обновленію науки посредствомъ новыхъ взглядовъ и идей и приверженностью его къ одному изъ самыхъ устарѣлыхъ и извѣстныхъ предразсудковъ. Впрочемъ, въ этомъ отношеніи сочиненіе г. Карла Горегляда-Выласскаго представляетъ и другого рода несообразность, другой, еще болѣе ощутительный недостатокъ логической послѣдовательности. Сильно вооружаясь противъ допущенія въ русскомъ языкѣ словъ иностранныхъ, даже тѣхъ, которыя заимствованы изъ языка церковно-славянскаго, г. Карлъ Гореглядъ-Выласскій признаетъ необходимымъ очистить нашу рѣчь отъ этихъ незаконныхъ примѣсей, самъ дѣятельно заботится объ этомъ, какъ мы уже видѣли, и необходимость этихъ нововведеній полагаетъ въ число тѣхъ главныхъ правилъ, которыми обѣщаетъ руководствоваться постоянно для того, чтобы „положить основаніе новому зданію словоязъясненія“ Но отъ чего же не достаетъ ему при этомъ смѣлости для того, чтобы остаться вѣрнымъ во всемъ разъ принятому началу? Отъ чего, замѣнивъ, какъ мы видѣли, нѣкоторые общепринятые термины словами собственнаго изобрѣтенія, не прилагаетъ онъ той же методы ко всѣмъ безъ различія словамъ иностраннаго происхожденія? Для чего употребляетъ онъ безпрестанно такія выраженія, какъ *коляція, грамматика, исторія, параграфъ, пунктъ, схоластика, титуль, элементъ, энциклопедія* и т. п.? Развѣ нельзя было употребить вмѣсто ихъ выраженія русскія, подобныя тѣмъ, которыя онъ уже выдумалъ такъ, по его мнѣнію, удачно? Далѣе, если авторъ счелъ нужнымъ замѣнить нѣкоторыя русскія слова, показавшіяся ему неточными, — новыми, болѣе приличными, то почему же не исключилъ онъ и множества другихъ словъ, такъ же не вполне соотвѣтствующихъ сущности выражаемыхъ ими понятій? Это отсутствіе послѣдовательности тѣмъ сильнѣе поразило насъ, что самъ г. Карлъ Гореглядъ-Выласскій сильно негодуетъ на другихъ писателей за подобные же недостатки и, обвиняя всѣхъ ихъ въ такъ-называемой имъ *неединообразности*, говоритъ слѣдующее: „*Неединообразностію* почитаю, если кто пишетъ соединенно: густо—разросшіяся и необыкновенно добрый, а слова: совершенно покрывшія, напишетъ отдѣльно;—если слова: темный (произносимое тѣмный), такъ же: подернутый, тесъ, тесемка, смѣтесъ, впередъ, далеко, слезы—напишетъ безъ точекъ надъ е: а клѣнъ, пѣрстъ, самое (меня), тошнѣхонько, Алѣна, кофеѣкъ, признаѣтесъ, тѣща, пролѣтъ, одинѣхонько, по причинѣ таковаго же произношенія, напишетъ съ двумя точками:—если кто въ одномъ мѣстѣ скажетъ: отъ старости (безъ тире), а

въ другомъ: отъ—того (съ тире);—кто напишетъ: по праву, потому, почему; кто почитаетъ, что должно *писать какъ говорятъ*, а пишетъ: пожалуйста, вмѣсто пожалуста, въ разчетахъ не ращетахъ, услалъ не услалъ, расскажите не раскажите и т. п. Подобные случаи почему нынѣ являются у всѣхъ почти нововводителей? Потому главнѣйше, что изъ законодателей науки словостроенія, до сего времени еще: а) никто не объявилъ основаній коихъ должно держаться въ сомнительныхъ случаяхъ, и б) ни одинъ не имѣлъ довольной рѣшимости въ принятіи *подобослѣдованія (аналогическаго послѣдованія)*, состоящаго въ томъ, что отъ одинаковаго состоянія предметовъ должно производить одинакіе выводы, а отъ одинакихъ дѣйствій должны быть одинакія послѣдствія; при чемъ *употребительность и привычки*, не имѣющія никакихъ основаній, въ грамотномъ мірѣ должны мало-по-малу уступить мѣсто правиламъ“ (стр. 12). И въ другомъ мѣстѣ: „Г. Лажечниковъ пишетъ: „Пора бы согласиться писать по произношенію слова, для которыхъ таковое правописаніе требуется духомъ живова современнова Русскаго языка“. Замѣтимъ, что выше сказано: пора не парѣ; хорошо не харашо; легко не лехко; облегчаетъ не обলেখчаетъ, и др. Стало быть нововводитель и самъ отступилъ отъ себя“ (стр. 24).

Если мы обратимъ теперь вниманіе на *содержаніе* сочиненія г. Карла Горегляда-Выласскаго, то увидимъ, что въ этомъ отношеніи оно представляетъ еще болѣе противорѣчій и несообразностей, нежели относительно формы. Тутъ уже недостатокъ логической послѣдовательности прямо видается въ глаза и вызываетъ собою множество неразрѣшимыхъ вопросовъ. Напрасно читали мы и перечитывали съ напряженнымъ вниманіемъ „О дарѣ слова“; напрасно старались разгадать загадочное направленіе автора. Всѣ усилія наши въ этомъ отношеніи остались совершенно безуспѣшными, и мы до сихъ поръ не можемъ сказать утвердительно, чего именно хочетъ г. Карлъ Гореглядъ-Выласскій, на какихъ началахъ намѣренъ онъ утвердить создаваемое имъ ученіе, и до какой степени можно отъ него ожидать чего-либо полезнаго или дѣльнаго. Мы никакъ не могли объяснить себѣ, не смотря на всѣ старанія, какимъ образомъ широкій взглядъ на науку и гигантскія предположенія автора могутъ уживаться вмѣстѣ съ пустыми придирками къ самымъ ничтожнымъ мелочамъ и съ многословными разсужденіями о предметахъ, не заслуживающихъ никакого серьезнаго вниманія, какъ, напримѣръ, о наилучшемъ способѣ внѣшняго раздѣленія книгъ, о правилахъ для сочиненія заглавій, о бесполезности таблицъ, прилагаемыхъ къ учебникамъ, о содержаніи статей, помѣщаемыхъ на боковыхъ пробѣлахъ, и т. д.? Какимъ образомъ, наконецъ, примирить между собою ненависть къ схоластицизму и осужденіе прежнихъ нашихъ ученыхъ съ благоговѣйнымъ уваженіемъ къ Ломоносову и Шникову, представителямъ схоластическаго обработыванія русскаго языка? Мы отключаемъ отъ себя до времени разрѣшеніе всѣхъ этихъ сомнительныхъ вопросовъ, надѣясь, что въ послѣдующихъ трудахъ г. Карла Горегляда-Выласскаго найдемъ

вполнѣ удовлетворительное объясненіе всѣхъ тѣхъ противорѣчій, которыя встрѣтили мы въ его книгѣ. Мы не хотѣли нисколько сомнѣваться заранее въ дарованіяхъ автора и въ способности его къ предпринятому имъ труду, но вмѣстѣ съ тѣмъ, не можемъ не замѣтить, хотя бы пришлось вынести за то упрекъ въ педантизмѣ, что, по нынѣшнимъ, можетъ быть, весьма ошибочнымъ понятіямъ, одни дарованія и способности, какъ бы ни были они велики, не даютъ еще права человѣку приступить къ коренному преобразованію науки или даже просто къ обработыванію отдѣльных ея частей. Въ настоящее время полагаютъ, что на поприщѣ науки самый геніальный человѣкъ не можетъ обойтись безъ надлежащей эрудиціи и безъ основательнаго знакомства съ трудами своихъ предшественниковъ. Тотъ, кто недостаточно знакомъ съ историческимъ развитіемъ обрабатываемой имъ науки, играетъ обыкновенно самую смѣшную роль и, подобно нашимъ механикамъ-самоучкамъ, доходитъ часто, послѣ долговременныхъ трудовъ и усилій, до такихъ результатовъ, которые онъ считаетъ за совершенно новыя и чрезвычайно важныя открытія, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ они составляютъ истину, давно уже всѣмъ извѣстную. Мы очень боимся, чтобы подобная же исторія не повторилась и съ г. Карломъ Гореглядомъ-Выласскимъ, который, по видимому, пренебрегаетъ современною филологіей только потому, что не имѣетъ о ней довольно вѣрныхъ понятій. Мы рѣшаемся изъяснить такое сомнѣніе на счетъ эрудиціи нашего смѣлаго реформатора на томъ основаніи, что изданное имъ нынѣ сочиненіе вовсе не показываетъ ни обширности, ни современности его филологическаго образованія. Многочисленныя цитаты, которыми наполнена его книга, доказываютъ не болѣе, какъ довольно короткое знакомство съ сочиненіями нѣкоторыхъ русскихъ писателей; труды же нѣмецкихъ ученыхъ по части сравнительной филологіи и философіи языка остались, по видимому, совершенно неизвѣстными г. Карлу Горегляду-Выласскому, который вовсе и не упоминаетъ о нихъ при своемъ обзорѣ нынѣшняго состоянія словесныхъ наукъ. А между тѣмъ едва ли можно въ настоящее время думать о преобразованіи языка и писать о предметахъ филологіи, не познакомившись предварительно съ этими трудами, которые, не смотря на свою неполноту и недостаточность, представляютъ богатый запасъ матеріаловъ для сооруженія новаго зданія филологіи. Все то, что говоритъ въ своемъ сочиненіи г. Карлъ Гореглядъ-Выласскій о нѣмецкой учености вообще и въ особенности о нѣмецкой философіи, заимствовано имъ, какъ видно изъ его ссылокъ, изъ „Эстетики“ Гегеля, передѣланной на французскій языкъ Бенаромъ, или изъ статей, помѣщенныхъ объ этомъ предметѣ въ нѣкоторыхъ русскихъ журналахъ. Но самое положительное удостовѣреніе въ крайней недостаточности филологическихъ познаній г. Карла Горегляда-Выласскаго представляютъ собственныя его слова о тѣхъ источникахъ, которые онъ намѣренъ положить въ основаніе своего труда. При исчисленіи этихъ источниковъ, на первомъ планѣ поставлены: грамматика Ломоносова, грамматика Академіи Наукъ, сочиненіе Шишкова о древ-

немъ и новомъ слогѣ и учебныя книги, изданныя главнымъ правленіемъ училищъ. О всѣхъ другихъ филологическихъ сочиненіяхъ, русскихъ и иностранныхъ, г. Гореглядъ-Выласскій упоминаетъ слегка и въ общихъ выраженіяхъ, не называя ихъ поименно и распространяясь только объ ихъ недостаткахъ. Этотъ странный выборъ источниковъ еще болѣе увеличиваетъ наше недоумѣніе, и мы снова чувствуемъ необходимость ограничиться покуда сдѣланными нами замѣчаніями и воздержаться отъ всякаго рѣшительнаго сужденія объ учености и дарованіяхъ г. Карла Горегляда-Выласскаго до появленія въ свѣтъ обѣщанныхъ имъ сочиненій. А между тѣмъ, для пользы самого же автора, для успѣха его трудовъ, советуемъ ему не слишкомъ полагаться на свои силы и основательнѣе познакомиться съ произведеніями тѣхъ ученыхъ, которые обрабатываютъ науку филологіи въ сосѣднихъ странахъ, а до тѣхъ поръ не произносить слишкомъ рѣзкихъ приговоровъ о трудахъ, извѣстныхъ ему только по слуху, и не ставить, напримѣръ, сочиненій Канта, Фихте и Гегеля въ одну категорію съ сочиненіями алхимиковъ, не узнавъ предварительно содержанія и историческаго значенія нѣмецкой философіи. Иначе, усилія г. Карла Горегляда-Выласскаго будутъ имѣть, пожалуй, самую комическую развязку: найдутся, можетъ быть, насмѣшливые люди, которые припомнятъ ему при этомъ неизвѣстную басню о синицѣ, обѣщавшей зажечь море.

### К. П. Зеленецкій.

**Исслѣдованіе о реторикѣ въ ея наукообразномъ содержаніи и въ отношеніяхъ, какія имѣетъ она къ общей теоріи слова и къ логикѣ. Сочиненіе Константина Зеленецкаго. Одесса. 1846.**

Тотъ же дуализмъ и тѣ же несообразности, только въ другой формѣ. Авторъ „Исслѣдованія о реторикѣ“ имѣетъ то неоспоримое преимущество предъ авторомъ разсужденія „О дарѣ слова“, что ни ученость его, ни умѣнье писать по русски не могутъ быть подвергнуты никакому сомнѣнію. Относительно же направленія и образа мыслей сочиненіе г. Константина Зеленецкаго представляетъ точно такія же противорѣчія, какъ и сочиненіе г. Карла Горегляда-Выласскаго.

„Исслѣдованіе о реторикѣ“ заключаетъ въ себѣ отдѣльныя части: въ первой указывается на историческое развитіе этой науки у древнихъ и въ новыя времена, во второй авторъ излагаетъ свои собственныя понятія о наукообразномъ содержаніи реторики и объ отношеніяхъ ея къ общей теоріи слова и къ логикѣ. Эти двѣ части находятся между собою въ рѣзкой противоположности, и взаимное ихъ отношеніе указываетъ на эклектическое направленіе автора, соединившаго въ своемъ сочиненіи двѣ теоріи, изъ которыхъ одна безусловно отрицаетъ другую. Историческая часть „Исслѣдованія“ написана подъ вліяніемъ современныхъ идей о реторикѣ и обнаруживаетъ въ авторѣ не только



близкое и основательное знакомство съ судьбами этой науки въ разныя эпохи ея существованія, но и довольно вѣрный взглядъ на существенные недостатки того направленія и той методы, по которымъ составлены всѣ прежнія классическія руководства. Въ догматической же части своего разсужденія г. Константинъ Зеленецкій является ревностнымъ приверженцемъ прежней реторической школы и подъ прикрытіемъ строго-научной формы и діалектическаго вывода идей развиваетъ такія понятія и начала, которыя отличаются только въ самыхъ незначительныхъ частностяхъ отъ понятій и началъ, излагаемыхъ въ руководствахъ Вургія, Блера, Кошанскаго et comp.

Сочиненіе г. Константина Зеленецкаго представляетъ намъ новое доказательство того необыкновеннаго упорства, съ которымъ защищаютъ всегда свое право на существованіе старые понятія и предрасудки. При видѣ этого упорства нельзя не сознаться, что въ сферѣ идей давность владѣнія доставляетъ еще большія преимущества, нежели въ сферѣ юридическихъ отношеній. Если какому-либо ученію, ложному по своей односторонности или по самому основанію, удалось одинъ разъ быть признану людьми за истину и пользоваться выгодами такого признанія въ теченіе извѣстнаго времени, то уже этимъ самымъ ученіе это пріобрѣтаетъ необыкновенную силу для охраненія своего бытія и для противодействія напору новыхъ идей и новыхъ стремленій. Господство предрасудковъ надъ людьми болѣе прочно, нежели, какъ думаютъ обыкновенно, и всякая ложная мысль, успѣвшая утвердиться въ сознаніи человѣчества, можетъ быть искоренена не иначе, какъ послѣ долговременныхъ и тяжелыхъ усилій со стороны ея противниковъ. Совершенно несправедлива поэтому та утѣшительная теорія, на основаніи которой истинѣ стоитъ только высказаться и появиться на свѣтъ, чтобъ увлечь за собою человѣчество и побѣдить противоположную ей ложь. Подобныя побѣды не достаются такъ легко и мирно, и дѣйствительность на каждомъ шагу противорѣчитъ этой теоріи. Мы видимъ безпрестанно, что если новой идеѣ и удастся смѣнить въ общественномъ сознаніи идею старую и ложную, то не иначе, какъ послѣ продолжительной и жаркой борьбы, гдѣ упорство, съ которымъ одна сторона защищаетъ свое бытіе, ничѣмъ не уступаетъ энергіи, съ которою отстаиваетъ другая сторона свое право на исключительное господство. Всегда въ подобныхъ случаяхъ мы встрѣчаемъ одно и то же явленіе:

Здѣсь натискъ пламенный, а тамъ отпоръ суровый,

и этотъ *суровый отпоръ* бываетъ иногда такъ силенъ, что иная истина въ теченіе столѣтій остается не признанною человѣчествомъ и бываетъ принуждена, для того, чтобы приготовить себѣ полное торжество въ будущемъ, отказаться отъ всякаго притязанія на безусловное господство въ настоящемъ и согласиться на самыя невыгодныя и недостойныя ея уступки въ пользу существующихъ

предразсудковъ. На подобныя сдѣлки, съ своей стороны, соглашаются весьма охотно послѣдователи устарѣлыхъ и ложныхъ ученій, какъ скоро начинаютъ сознавать, что принципы, ими защищаемые, уже осуждены на смерть, что паденіе ихъ теорій неизбежно, и что будущность должна неминуемо рѣшить споръ въ пользу ихъ противниковъ. Если бъ эти люди могли дѣйствовать добросовѣстно и смѣло, то они должны были бы избрать одно изъ двухъ: или рѣшительно отречься отъ прежнихъ своихъ заблужденій и перейти, не краснѣя, въ ряды своихъ противниковъ, или погибнуть, защищая ту идею, которую они считаютъ справедливою, и тогда не соглашались уже ни въ какомъ случаѣ на малодушное ея искаженіе. Но для подобнаго выбора имъ по большей части не достаетъ то надлежащаго самоотверженія, то надлежащей смѣлости; они предпочитаютъ въ такихъ случаяхъ держаться благоразумной середины и, чувствуя невозможность отстоять свое ученіе во всей его полнотѣ, стараются, по крайней мѣрѣ, продлить какъ можно болѣе его существованіе, соглашаясь мало-по-малу на извѣстныя уступки въ пользу своихъ противниковъ и жертвуя, такимъ образомъ, одною половиною своихъ убѣжденій для того, чтобы спасти другую. Подобныя капитуляціи между старыми и новыми идеями въ настоящее время въ большемъ ходу, и онѣ-то даютъ начало тѣмъ двуличнымъ ученіямъ, въ которыхъ какъ ложь такъ и истина, получаютъ для себя извѣстное, опредѣленное мѣсто и соглашаются на взаимное признаніе, не смотря на то, что въ существѣ своемъ отрицаютъ другъ друга. На эти соединенія не надо смотрѣть, какъ на истинное и необходимое примиреніе между различными сторонами одной и той же идеи, сторонами, которыя не исключаютъ, а дополняютъ одна другую и отказываются отъ своей исключительности и односторонности для того, чтобы образовать въ сліяніи своемъ одно органическое цѣлое. Напротивъ, тѣ эклектическія соединенія, о которыхъ мы говоримъ, суть не болѣе, какъ соединенія внѣшнія, искусственныя, гдѣ начала самыя противоположныя и непримиримыя связываются между собою связью чисто механическою.

Ученіе о реторикѣ въ нынѣшнемъ его состояніи представляетъ безпрестанныя примѣры подобныхъ капитуляцій и сдѣлокъ между погибающими предразсудками и еще не вполне признанными истинами. Съ одной стороны, тѣ схоластическія понятія объ этой наукѣ, которыя нѣкогда господствовали исключительно и безспорно и проповѣдывались молодымъ поколѣніемъ во всѣхъ школахъ Европы, потеряли уже нынѣ свою силу и свой авторитетъ и, подвергшись критическому изслѣдованію, не сумѣли никакъ оправдать свое бытіе и доказать разумность своихъ притязаній. Но съ другой стороны, хотя современные взгляды на реторику уже и поколебали безусловное вѣрованіе въ прежніе авторитеты, хотя они и нашли себѣ жаркихъ и ревностныхъ приверженцевъ во всѣхъ странахъ Европы, однакожъ ихъ нельзя еще назвать аксіомами общепризнанными и несомнительными. При такомъ положеніи вещей весьма понятно, что приверженцы схоласти-

ческой реторики до сихъ поръ еще весьма многочисленны, что они не считаютъ своего дѣла совершенно проиграннымъ и упорно защищаютъ дорогое имъ ученіе, соглашаясь на уступки не иначе, какъ мало по малу и только въ случаѣ крайней необходимости. Сначала, они съ чрезвычайнымъ презрѣніемъ смотрѣли на своихъ противниковъ и надѣялись безъ большого труда поддержать владычество своихъ теорій. Впослѣдствіи времени, видя, что противныя мнѣнія распространялись съ каждымъ днемъ болѣе, они уже рѣшились посягнуть на неприкосновенность своего ученія и выкинуть изъ него положенія, слишкомъ, очевидно, нелѣпыя, сохранивъ всѣ другія, находящіяся однако съ первыми въ тѣсной связи. Первый и блистательный примѣръ подобныхъ сдѣлокъ подалъ Блеръ, руководство котораго остается и до сихъ поръ лучшимъ образцомъ искусства удовлетворять въ одно и то же время и предразсудкамъ старовѣровъ, и требованіямъ новаторовъ. Успѣхъ Блера вызывалъ за собою безчисленное множество подражателей, которые всѣ съ большею или меньшею удачей слѣдовали тому же дуалистическому направленію. У насъ это направленіе нашло для себя также многихъ защитниковъ, и мы могли бы назвать еще множество попытокъ, сдѣланныхъ съ тою же цѣлью. Къ числу такихъ попытокъ должно быть отнесено и вышедшее нынѣ „Исслѣдованіе о реторикѣ“.

Главная задача г. Константина Зеленецкаго состояла, кажется, въ томъ, чтобы показать разумное основаніе старыхъ понятій о реторикѣ и облечь въ строгую логическую форму положенія прежнихъ учебниковъ, положенія, излагавшіяся по большей части безсвязно и бозотчетно. Въ этомъ стремленіи къ развитію и *доказательству* такихъ началъ, которыя провозглашались прежде, какъ истины несомнѣнныя и вовсе не требующія доказательствъ, обнаруживается несомнѣнное превосходство г. Константина Зеленецкаго надъ всѣми его предшественниками на этомъ поприщѣ; но это же самое обстоятельство заставляетъ насъ признать его трудъ не заслуживающимъ одобренія. Г. Константинъ Зеленецкій руководствовался, по видимому, въ своихъ изслѣдованіяхъ знаменитою формулой современной философіи: „что разумно, то дѣйствительно, и что дѣйствительно, то разумно“; но формулу эту онъ понимаетъ такъ, что въ дѣйствительности не должно быть ни одного такого явленія, которое не могло бы оправдать себя передъ разумомъ и доказать законность своего существованія. Мы также совершенно согласны, что нѣтъ такой нелѣпости, въ которой, при помощи искусной діалектики, не удалось бы умному человѣку отыскать критеріумъ истины и признакъ разумности, особенно, если употреблять при этомъ процессъ ту методу, которой слѣдуетъ г. Константинъ Зеленецкій. По общимъ понятіямъ объ этомъ предметѣ, доказать разумность какого-либо явленія значитъ показать, что это явленіе вытекаетъ, какъ необходимое послѣдствіе, изъ такого начала, разумность котораго сама по себѣ очевидна и несомнѣнна. Но г. Константинъ Зеленецкій думаетъ объ этомъ иначе и употребляетъ свой собственный, чрезвы-

чайно оригинальный способ: определяя наукообразное содержание реторики и логики, авторъ доказываетъ справедливость своихъ опредѣленій тѣмъ, что понятія его о реторикѣ обусловливаются необходимо понятіями его о логикѣ, и наоборотъ. Не значить ли это то же самое, что взять одно уравненіе съ двумя неизвѣстными и разрѣшить его такимъ образомъ:  $x + y = 10$ ? Кошанскій полагаетъ,  $x$  означаетъ *шесть*; Кизеветтеръ и Бахманъ думаютъ, что  $y$  равняется *четыремъ*; эти рѣшенія совершенно справедливы, потому что дѣйствительно шесть и четыре составляютъ десять. Не правда ли, такая метода весьма проста и удобна? Всякому извѣстно, съ какимъ успѣхомъ употребляютъ ее обыкновенно тѣ добросовѣстные оптимисты, которые, желая оправдать чѣмъ-нибудь свое безусловное поклоненіе факту, доказываютъ весьма удовлетворительными доводами, что въ явленіяхъ современной дѣйствительности вполне уже осуществилась идея абсолютной правды, и что, слѣдовательно, всѣ рассужденія о прогрессѣ и реформахъ суть не что иное, какъ вздорныя мечты и химеры, не имѣющія никакой цѣны въ глазахъ людей положительныхъ.

Составъ и раздѣленіе логики, наукъ словесныхъ вообще и въ особенности реторики у г. Константина Зеленецкаго опредѣлены точно такъ же, какъ они опредѣлены въ учебникахъ Кошанскаго и Кизеветтера, съ небольшими только отступленіями, не заключающими, впрочемъ, въ себѣ никакихъ существенныхъ отличій. Въ послѣдней главѣ своего сочиненія: „О реторикѣ и логикѣ въ педагогическомъ отношеніи“, онъ также, слѣдуя однажды принятой имъ методѣ, доказываетъ разумность существующаго нынѣ порядка вещей и совершенное соотвѣтствіе его истиннымъ началамъ педагогій. При такомъ направленіи трудъ г. Константина Зеленецкаго, не заключая въ себѣ ничего особенно новаго сравнительно съ прежними нашими реториками, могъ бы быть отнесенъ къ числу тѣхъ бесполезныхъ и вмѣстѣ безвредныхъ трудовъ, которые безпрестанно появляются въ нашей литературѣ, не возбуждая ни малѣйшаго шума, и не обращая на себя особеннаго вниманія критики. Но несомнѣнная ученость автора, наукообразность всѣхъ его выводовъ и претензій на современность взглядовъ придаютъ „Исслѣдованію о реторикѣ“ значеніе не столь ничтожное, какое легко можетъ быть приписано ему съ перваго взгляда.

Употреблять свой умъ и свое діалектическое искусство на служеніе ложнымъ и отжившимъ свой вѣкъ теоріямъ и выдавать устарѣлые понятія и предразсудки за идеи современныя, совершенно согласныя съ требованіями новѣйшей науки, считаемъ мы дѣломъ весьма неблагоприятнымъ. Въ этомъ отношеніи мы готовы даже отдать предпочтеніе „Реторикѣ“ Кошанскаго надъ сочиненіемъ г. Константина Зеленецкаго. Руководство Кошанскаго, несмотря на свою общеупотребительность, въ наше время не можетъ имѣть слишкомъ дурного вліянія на молодые поколѣнія, на тѣхъ, по крайней мѣрѣ, юношей, которые не преклоняются рабски предъ авторитетомъ учителя и не принимаютъ на слово всего того, что слышатъ

въ классѣ или читають въ учебникѣ. На такихъ людей, повторяемъ, книга Кошанскаго не можетъ производить дурного вліянія, потому что произвольность и плохая форма правилъ, въ ней излагаемыхъ, кидаются всякому въ глаза и представляютъ слишкомъ богатое поприще для остроумія. Напротивъ, сочиненія, подобныя „Исслѣдованію о реторикѣ“, развивая тѣ же самыя понятія въ научной формѣ и толкуя безпрестанно о современныхъ идеяхъ и современной философіи, легко могутъ ввести неопытныхъ юношей въ заблужденія относительно сущности современныхъ идей. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ числѣ молодыхъ и даже немолодыхъ читателей г. Константина Зеленецкаго найдется весьма много такихъ, которыхъ обмануть тонъ и форма этого сочиненія, и которые, въ самомъ дѣлѣ, повѣрятъ, что авторъ смотритъ на свой предметъ съ точки зрѣнія современныхъ ученій. Мы не хотимъ нисколько сомнѣваться въ добромъ намѣреніи г. Константина Зеленецкаго, и потому твердо увѣрены, что онъ и самъ не радъ будетъ, если книга его подастъ поводъ къ такимъ страннымъ quiproquo, и если успѣхами и распространеніемъ своего ученія онъ будетъ обязанъ единственно неопытности своихъ читателей.

Въ заключеніе считаемъ не лишнимъ выписать здѣсь изъ „Исслѣдованія о реторикѣ“ одно мѣсто, которое можетъ служить прекраснымъ образцомъ историческаго безпристрастія и вѣрности сужденій. Отзываясь вообще довольно строго о всѣхъ прежнихъ руководствахъ къ реторикѣ, г. Константинъ Зеленецкій щадитъ только одно изъ нихъ—руководство Кошанскаго, и не раздѣляетъ вовсе общаго мнѣнія на счетъ заслугъ этого писателя и достоинства его сочиненій. По словамъ г. Константина Зеленецкаго, „главная заслуга и достоинство Кошанскаго состоятъ еще въ томъ, что онъ, какъ человѣкъ съ умомъ яснымъ и положительнымъ, съ умомъ русскимъ, привелъ всѣ сбивчивыя ученія и толки старинныхъ реторикъ къ положеніямъ, сознаннымъ опредѣлительно и строго“ (стр. 43). Да послужатъ эти слова примѣромъ и урокомъ для молодыхъ писателей, которые дерзаютъ весьма часто говорить съ неуваженіемъ объ одномъ изъ достойнѣйшихъ дѣятелей на поприщѣ русской педагогіи!

### О. М. Новицкій.

**Краткое руководство къ логикѣ, съ предварительнымъ очеркомъ психологіи.** Сочиненіе *Ореста Новицкаго*. Изданіе второе. Кіевъ. 1846.

Г. Ореста Новицкаго никакъ нельзя упрекнуть въ томъ недостаткѣ, который мы замѣтили въ сочиненіяхъ гг. Карла Горегляда-Выласскаго и Константина Зеленецкаго. Въ „Краткомъ руководствѣ къ логикѣ“ нѣтъ и тѣни дуализма, нѣтъ и признаковъ стремленія примирять старыя понятія съ новыми взглядами. Г. Орестъ Новицкій вовсе не считаетъ нужнымъ скрывать свои настоящія убѣж-

денія и дѣлать какія-либо уступки современнымъ требованіямъ. Оттого и книга его не возбуждаетъ никакого недоумѣнія въ читателѣ, не заключаетъ въ себѣ никакихъ противорѣчій или несообразностей и представляетъ одно неразрывное цѣлое, въ которомъ все, отъ начала до конца, остается постоянно вѣрнымъ главной идеѣ, положенной въ основаніе всего труда.

Въ предисловіи ко второму изданію „Руководства“ говорится слѣдующее: „Въ наше время науки быстро движутся впередъ, а потому и учебники имѣютъ нужду въ частыхъ обновленіяхъ. Правда, что логика не подвержена такимъ непрестаннымъ измѣненіямъ, какія испытываютъ на себѣ многія другія науки; однакожь и она не остается чуждою общаго ихъ движенія; въ послѣднее же десятилѣтіе и она измѣнена много: многое въ ней прибавлено, точнѣе опредѣлено, полнѣе развито, лучше размѣщено; не менѣе сдѣлано усовершенствованій и въ области психологій. Между тѣмъ, существующія у насъ начальныя руководства логики, съ психологическими понятіями, составлены по иностраннымъ сочиненіямъ, которыя въ ученомъ мірѣ уже отжили свое время. Этою-то мыслію авторъ побуждался къ составленію новаго предлагаемаго при семъ руководства къ логикѣ съ предварительнымъ очеркомъ психологій, при чемъ, имѣя въ виду преимущественно тѣхъ, которые только что приступаютъ къ изученію этой науки, онъ считалъ для себя долгомъ заботиться также объ упрощеніи предлагаемыхъ понятій и о краткости и ясности ихъ изложенія“.

Эти слова легко могутъ ввести въ заблужденіе какого-нибудь простосердечнаго читателя, который вообразить себѣ, пожалуй, что г. Орестъ Новицкій при второмъ изданіи своей книги отказался дѣйствительно отъ тѣхъ понятій, „которыя въ ученомъ мірѣ уже отжили свое время“, и переработалъ свою логику и психологію въ духѣ современныхъ ученій. Заранѣе слѣшимъ предупредить всѣхъ, что подобное заключеніе будетъ совершенно ошибочно. Г. Орестъ Новицкій вовсе и не думалъ измѣнять своихъ убѣжденій, и всѣ перемѣны, сдѣланныя имъ въ его „Руководствѣ“, ограничились только *частными* улучшеніями и пополненіями, не имѣвшими, разумѣется, никакого вліянія на основныя его понятія о значеніи и коренныхъ началахъ логики и психологій. Это самое обстоятельство избавляетъ насъ отъ обязанности высказывать наше мнѣніе о достоинствѣ „Руководства“, мнѣніе, которое мы уже имѣли случай высказать при первомъ изданіи этой книги.

Несмотря на множество тѣхъ неутѣшительныхъ явленій, которыя ежедневно свидѣтельствуютъ о бѣдномъ состояніи нашей педагогической литературы и подають плохую надежду на скорое ея усовершенствованіе, мы все еще не перестаемъ надѣяться, что рано или поздно наступитъ то желанное время, когда логику, психологію и реторику будутъ обрабатывать и преподавать на совершенно иныхъ основаніяхъ и съ совершенно иными цѣлями. Но такъ какъ въ настоящее время ничто еще не предвѣщаетъ близкаго наступленія этой счастлив-



вой эпохи, то мы нисколько и не удивляемся, что книга г. Ореста Новицкаго вышла вторымъ изданіемъ: мы находимъ даже, что успѣхъ этой книги вполне соответствуетъ ея достоинству, и что она по праву можетъ занимать почетное мѣсто между нашими класовыми учебниками, на ряду съ руководствами Кизеветтера, Бахмана и г. Рождественскаго.

## ВСЕОБЩАЯ И РУССКАЯ ИСТОРИЯ.

Ф. Лоренцъ.

I.

**Руководство къ всеобщей исторіи.** Сочиненіе доктора *Фридриха Лоренца*. Часть II-я, отдѣленіе II-е. Санктпетербургъ. 1864.

Этимъ отдѣленіемъ второй части оканчивается исторія среднихъ вѣковъ: слѣдовательно, литература наша уже обогащена прекраснымъ курсомъ всеобщей исторіи, доведеннымъ до эпохи реформаціи. Утѣшительно по двумъ причинамъ: во-первыхъ, до выхода въ свѣтъ сочиненія профессора Лоренца русское юношество не имѣло руководства къ всеобщей исторіи въ истинномъ смыслѣ; во-вторыхъ существованіе этого курса должно дать возможность вывести изъ употребленія тѣ историческія сочиненія, которыя, по всей справедливости можно сказать, весьма мало способствовали изученію всеобщей исторіи. Многимъ покажутся эти слова преувеличенными, и потому мы постараемся нѣсколько пояснить ихъ здѣсь, откладывая удовольствіе полной оцѣнки труда г. Лоренца до его окончанія.

Много было писано о *пользѣ* и важности исторіи; но многое еще осталось не высказаннымъ объ этомъ предметѣ. Нѣкогда смотрѣли на нее какъ на практическій курсъ нравственности, называя ее *моралью въ дѣйствіи* (*morale en action*). Потомъ этотъ взглядъ отброшенъ другимъ: исторія отъ роли *наставительницы царей и народовъ*, какъ называли ее сначала, вдругъ перешла къ роли рабы: на нее стали смотрѣть какъ на орудіе всякихъ теорій, какъ на средство оправдывать примѣрами изъ жизни человѣчества всякую мысль, какую кому-нибудь вздумается выдать за истину. Но злоупотребленіе скоро открылось, и въ концѣ первой четверти девятнадцатаго столѣтія явилась новая историческая школа, которая возстановила самостоятельность великой науки, опредѣливъ ее изображеніемъ и изслѣдованіемъ постепеннаго развитія человѣчества. На этой *точкѣ* стоитъ и процвѣтаетъ она до сихъ поръ; но съ того времени, какъ ей данъ этотъ видъ, никто не разсуждалъ болѣе о ея пользѣ, кромѣ тѣхъ, кото-

рые остались доживать съ прежнимъ, устарѣлымъ взглядомъ. Это произошло оттого, что въ одно время съ появленіемъ помянутой исторической школы явилась мысль о неосновательности *утилитарнаго* взгляда на науку вообще. Эта мысль, вынесенная французскими учеными изъ Германіи, распространилась повсюду; но можно сказать, что она справедлива только въ половину. Такъ какъ всѣ потребности человѣческой природы равно важны, потому что неудовлетвореніе одной изъ нихъ необходимо влечетъ за собою страданіе, то и удовлетвореній любознательности должно имѣть такую же важность, какъ, напримѣръ, удовлетвореніе потребности питанія. Изъ этого однакожъ не слѣдуетъ, чтобъ удовлетвореніе одной потребности не составляло условія удовлетворенія другой. Напротивъ, въ природѣ всякаго органическаго существа, въ томъ числѣ и человѣка, есть такое стремленіе къ гармоніи, къ всесторонности развитія, что законное удовлетвореніе какой бы то ни было существенной потребности не остается важнымъ само по себѣ, а непременно обнаруживаетъ благотворное дѣйствіе на другія стороны органическаго существа. Это свойство предмета — прямо, *непосредственно* удовлетворять одной потребности и въ то же время косвенно, *посредственно* удовлетворять другой — на обыкновенномъ языкѣ называется его *пользой*. Сознавая эту двойственную полезность предметовъ такъ свойственно человѣку вслѣдствіе стремленія его природы къ гармоніи, къ всесторонности, что мы не можемъ на задавать себѣ вопроса о полезности предмета до тѣхъ поръ, пока, сверхъ прямой, приносимой имъ пользы, не откроемъ еще пользы посредственной. Вотъ почему насъ не удовлетворяетъ то объясненіе, по которому наука полезна исключительно какъ удовлетвореніе потребности знанія: мы требуемъ, или лучше сказать, природа наша требуетъ, чтобы мы объяснили себѣ и вліяніе науки на удовлетвореніе другихъ нашихъ потребностей. Получить такое объясненіе значитъ составить себѣ *полное* понятіе о сущности и значеніи предмета; а при любознательности, можемъ сознавать себя удовлетворенными, пока чувствуемъ, что узнали только часть того, что можемъ узнать.

Итакъ, задавать себѣ вопросъ о посредственной пользѣ исторіи и всякой другой науки не значитъ считать малоцѣнною ея непосредственную пользу — удовлетвореніе любознательности. Слѣдственно, нашъ взглядъ на этотъ предметъ, каковъ бы ни былъ онъ въ другихъ отношеніяхъ, отличается отъ взгляда тѣхъ, которые ищутъ въ исторіи одной посредственной пользы, уже и тѣмъ, что мы прежде всего принимаемъ пользу непосредственную, которой они не умѣютъ цѣнить. Но кромѣ того, и самая посредственная польза этой науки представляется намъ совершенно въ иномъ видѣ. Иначе не можетъ и быть: люди стараго времени, видящіе въ исторіи проповѣдь съ ссылками на факты, чужды того взгляда на сущность ея, который утвердился въ послѣднее время и по которому исторія есть, какъ сказано выше, изслѣдованіе и изображеніе постепеннаго развитія

человѣчества. А кажется, нѣтъ нужды доказывать, что понятіе пользы относится къ понятію сущности, какъ выводъ къ положенію...

По нашему мнѣнію, надо изучить исторію, не имѣя въ виду ничего, кромѣ знакомства съ ходомъ развитія человѣчества, — и посредственная польза этого изученія окажется сама собою въ понятіяхъ, чувствахъ, стремленіяхъ, дѣятельности, однимъ словомъ—въ цѣлой жизни того, кому далось историческое знаніе, хотя, можетъ быть, самъ онъ никогда не сознаетъ этого вліянія. И наоборотъ: стоитъ только изучить исторію по такимъ сочиненіямъ, въ которыхъ идея постепеннаго развитія и совершенствованія человѣчества (два понятія совершенно тождественныя) не проведена сквозь годы и событія, чтобы сдѣлать изъ себя жертву ложныхъ понятій, мелкихъ чувствъ, нелѣпыхъ стремленій и незаконной дѣятельности. Исторія есть единственная наука, прочно утверждающая въ отдѣльномъ чѣловѣкѣ понятіе о неразрывной связи его съ цѣлымъ человѣчествомъ, поселяющая въ немъ живое чувство этой связи и нечувствительно, съ помощью такого понятія и такого чувства, направляющая его къ дѣятельности, сообразной съ тѣмъ и другимъ. Чѣмъ живѣе изображены историческія событія въ тѣхъ сочиненіяхъ, изъ которыхъ приходится намъ знакомиться съ исторіей, то-есть, чѣмъ болѣе пробуждаютъ они въ чѣловѣкѣ чувство связи его съ человѣчествомъ, тѣмъ благотворнѣе или губительнѣе бываетъ для насъ сознаніе нашихъ отношеній къ человѣчеству. И то, и другое прямо зависитъ отъ того, проведена ли въ нихъ идея постояннаго совершенствованія, идея *успѣха*.

Исторія, написанная вчужѣ отъ этой идеи, чаще всего поселяетъ въ чѣловѣкѣ, незнакомомъ съ историческими сочиненіями противоположной школы, или *равочарованіе*, или *оптимизмъ* (такой взглядъ, по которому всякій порядокъ вещей прекрасенъ). Начитавшись такой исторіи и прослѣдивъ судьбу обществъ, исчезнувшихъ съ лица земли, съ ихъ великими основателями, съ ихъ политическими и нравственными двигателями, съ ихъ славой и богатствомъ, съ ихъ науками и искусствами, съ ихъ вѣковою опытностью, нельзя не предложить себѣ такихъ вопросовъ: зачѣмъ жилъ и прославлялся такой-то народъ, зачѣмъ мыслили, страдали и боролись такіе-то геніи, зачѣмъ собирались такія-то богатства, зачѣмъ все это возникало и развивалось? И отвѣтъ на эти тревожные вопросы, пожалуй, будетъ таковъ: народы живутъ для того, чтобъ умирать; великіе люди борются съ препятствіями для того, чтобы школьники твердили наизусть ихъ имена и подвиги; богатства собираются для того, чтобъ обратиться въ прахъ и разлетѣться по вѣтру. Не надо думать, чтобъ эти отвѣты порождались слабоуміемъ. Стоитъ только вспомнить Вико, чтобъ убѣдиться, что и великій умъ, подъ вліяніемъ историческихъ сочиненій, чуждыхъ идеи совершенствованія человѣчества, можетъ сдѣлать такіе выводы. Начитавшись древнихъ греческихъ и римскихъ историковъ, онъ утверждалъ, что каждый народъ въ зародышѣ уже носитъ свою историческую судьбу, которой развязка—смерть безъ наслѣдія; что цивилизація

каждаго общества начинается сама собою безъ всякаго содѣйствія цивилизаціи туземной и проходитъ извѣстные періоды, по истеченіи которыхъ исчезнетъ, уступая мѣсто другому обществу. По его словамъ, исторіи всѣхъ народовъ, всѣ языки и всѣ миры—тождественны; въ древнемъ мірѣ встрѣчается нѣсколько Юпитеровъ, сорокъ Геркулесовъ, потому что все это олицетворенія однихъ и тѣхъ же идей. Когда же торговля уничтожила преграды къ сообщенію между народами, воздвигнутыя варварствомъ, тогда сходство мифовъ и учрежденій поразило умы, принялись объяснять его переселеніями, и народы заспорили между собою объ источникѣ цивилизаціи разныхъ странъ.

Отъ такихъ идей самый естественный переходъ къ *розочарованію*: если все живетъ для того, чтобъ исчезнуть безъ возврата, то зачѣмъ же я, малая дробь человечества, стану мыслить и дѣйствовать? Вотъ гибельный силлогизмъ, который душистъ столько потребностей, останавливаетъ столько дѣлъ и приводитъ столько людей къ безжизненности и ничтожеству! Конечно, огромный талантъ можетъ пробиться и сквозь эту преграду, какъ, напримѣръ, пробился чрезъ нее Кольцовъ. Но прочтите его „Думы“ вы увидите, какъ ужасно тяготѣетъ надъ его бойкимъ и прочнымъ умомъ ужасный выводъ изъ исторіи, не просвѣтленной идеей успѣха. Не онъ ли внушилъ Кольцову эти стихи:

Старѣясь въ сомнѣньяхъ  
О великихъ тайнахъ,  
Идутъ невозвратно  
Вѣки за вѣками;  
У cadaго вѣка  
Вѣчность вопрошаетъ:  
„Чѣмъ кончилось дѣло?“  
„Вопроси друга“,  
Каждый отвѣчаетъ...

Или:

Цѣлый вѣкъ я рылся  
Въ таинствахъ вселенной,  
До сѣдинъ учился  
Мудрости священной;  
Всѣ вѣка были  
Съ новыми повѣрилъ;  
Чудеса земныя  
Опытомъ измѣрилъ.  
Мелкія причины  
Тѣшились людьми;  
Карлы-властелины  
Двигали мірами.  
Райскія долины  
Кровью обливались;  
Карлы-властелины  
Въ бездну низвергались.

Гдѣ пройдетъ коварство  
 Съ злобою людскою,  
 Тамъ, въ обломкахъ, царство  
 Заростетъ травою...  
 Племена другія  
 На нихъ поселятся:  
 Города большіе  
 На нихъ разродятся.  
 Сторона пустая  
 Снова зацаруетъ,  
 И жизнь молодая  
 Шумно запируетъ!...

Истинно-геніальная жизненность спасла его отъ такого разочарованія; но только ей, этой колоссальной жизненности, и уже никакъ не логическому развитію идей, обязанъ онъ своимъ выходомъ изъ плѣненія. Онъ рассуждалъ такъ:

Темна, страшна могила,  
 За далью мракъ густой;  
 Ни вѣсти, ни отзыва  
 На вопль нашъ роковой!  
 А тутъ дары земные,  
 Дыханіе цвѣтовъ,  
 Дни, ночи золотыя,  
 Разгульный шумъ лѣсовъ,  
 И сердца жизнь живая,  
 И чувства огонь святой...

Сведите лицомъ къ лицу оба мотива; переведите ихъ на прозаическій языкъ, вы получите такой силлогизмъ: „если всмотрѣться въ жизнь, игра не стоитъ свѣтъ; однакожъ, въ жизни есть наслажденіе; итакъ, будемъ наслаждаться жизнью“. Со стороны логики силлогизмъ плохъ, со стороны живого результата—спасителенъ. Это, конечно, не значитъ, что логика и жизнь вообще не согласны между собою; изъ этого слѣдуетъ только, что Кольцовъ круто повернулъ дѣло, начатое размышленіемъ, и пошелъ другимъ путемъ, путемъ своего генія, который у него заключался въ могучей любви къ жизни. Но много ли Кольцовыхъ, много ли такихъ *богатырскихъ* душъ, которымъ нѣтъ ни въ чемъ преграды, даже въ собственныхъ идеяхъ?...

Другой результатъ изученія исторіи по сочиненіямъ, чуждымъ идеи постоянного совершенствованія,—*оптимизмъ*, нѣмецкое „все равно“, которое несравненно хуже даже нашего „авось“. Каждый народъ и каждый вѣкъ имѣетъ свои достоинства и недостатки: одно уравнивается другимъ; мы не можемъ изсѣчь такихъ статуй, какія изваявали греки, за то мы ѣдимъ по желѣзнымъ дорогамъ, а которыхъ они не могли и мечтать: греки были удивительно общественны. за то

ихъ общество состояло изъ горсти свободныхъ людей и милліоновъ рабовъ; рыцари среднихъ вѣковъ отличались благородствомъ, за то рѣдкій рыцарь умѣлъ подписывать свое имя и титулъ, и т. п. И какого равновѣсія не находятъ въ исторіи народовъ! Вотъ нѣсколько оптимистическихъ силлогизмовъ: Патріархальность—состояніе животное, но оно имѣетъ ту *хорошую сторону*, что самая *животность*, поддерживаемая этою первоначальною формою общества, препятствуетъ явленію того *человѣческаго зла*, которое уравниваетъ *человѣческое добро*. Героическій періодъ общества есть періодъ ухорства и драки; за то въ немъ нѣтъ той *сухости*, которая отличаетъ эпоху мыслительную и промышленную. Эта послѣдняя эпоха являетъ торжество разумности челоуѣка, но ведетъ съ собою порабощеніе чувства... И много, много подобныхъ злокачественныхъ *фразъ* неотразимою саранчѣй осаждаетъ милліоны умовъ и приводитъ милліоны людей къ покладыванію рукъ. Въ самомъ дѣлѣ, повѣрьте этимъ фразамъ,—что вамъ останется дѣлать? Ровно ничего. Зачѣмъ что-нибудь дѣлать? Все уравнивается само собою: зло родитъ добро, добро родитъ зло, тутъ не дохватить, тамъ перехватить. Вы скажете, что въ основаніи всякой оптимистической фразы, хоть бы, на примѣръ, любой изъ преведенныхъ нами, лежитъ вопіющая нелѣпость. Такъ! Но многіе ли, безъ помощи истиннаго и притомъ современнаго просвѣщенія, могутъ дойти до сознанія этихъ нелѣпостей, принятыхъ большинствомъ за аксіомы и имѣющихъ силу глубоко укорененныхъ и далеко распространенныхъ предразсудковъ? Опять-таки одни исключенія, натуры, равносильныя тѣмъ, которымъ удается избавляться отъ очарованія. Сдѣлаютъ пожалуй, и такое возраженіе: много ли же найдется и такихъ, которые могутъ выводить заключеніе изъ того, что узнаютъ изъ прочитанныхъ сочиненій? Но мы съ своей стороны, замѣтимъ на это, что если бѣ зло, о которомъ здѣсь говорится, и, въ самомъ дѣлѣ, распространялось только на людей логическихъ, на людей, которые не могутъ отказать себѣ въ необходимости вывести всевозможные заключенія изъ того, что однажды принято ими за несомнѣнное, за данное, то развѣ можно оставаться равнодушнымъ къ умственной и нравственной гибели этихъ избранныхъ натуръ? Сверхъ того, не надо упускать изъ виду, что люди вовсе нелогическіе безпрестанно прибѣгаютъ къ оправданію своихъ и чужихъ непохвальныхъ дѣлъ, основывая ихъ на какой-нибудь оптимистической фразѣ...

Итакъ, вотъ два гибельныя слѣдствія изученія исторіи повѣствовательной. И разочарованіе, и оптимизмъ суть не что иное, какъ различные виды *безжизненности*, а безжизненность не есть ли зло злѣе? Не говоримъ о другихъ менѣе важныхъ слѣдствіяхъ фактическаго изученія исторіи; но не можемъ умолчать еще объ одномъ, о пристрастіи къ какой-нибудь эпохѣ, къ какому-нибудь народу или, наконецъ, къ какой-нибудь исторической формѣ общества. Припомнимъ классицизмъ, пристрастіе къ древнимъ писателямъ, которое сначала двинуло челоуѣчество на пути цивилизаціи, а потомъ превратилось для него въ



„пужасную задержку; вспомнимъ выходки Руссо противъ цивилизаціи новыхъ народовъ и мечтанія его о возвращеніи человѣчества къ первобытному состоянію, имѣвшія такое сильное вліяніе на его современниковъ. Конечно, большею частію историческое пристрастіе болѣе каррикурируетъ человѣка, чѣмъ дѣлаетъ его вреднымъ обществу. Кого не смѣшитъ фантазія нѣкоторыхъ очень умныхъ людей, вздумавшихъ въ наше время прикинуться антагонистами реформы Петра Великаго въ Россіи и провозгласить, съ соблюденіемъ всевозможной серьезности, что единственное спасеніе нашего отечества заключается въ возвращеніи его чуть не ко временамъ Аттилы, который по словамъ ихъ, былъ не кто иной, какъ нашъ братъ славянинъ? Кто не проливалъ слезъ эстетическаго умиленія, читая подобные аргументы? Конечно, все это чистый юморъ: но всякій юморъ имѣетъ основаніе въ дѣйствительности, и „Москвитянинъ“ въ своихъ остроумныхъ выходкахъ противъ ложнаго патріотизма, вѣроятно, имѣетъ въ виду классъ жалкихъ ученыхъ, дѣйствительно встрѣчающихся въ нѣкоторыхъ частяхъ Россіи

Но довольно о нелѣпостяхъ. Перейдемъ къ вліянію на умы той исторіи, которая занимается не простымъ повѣствованіемъ о событіяхъ, случившихся въ человѣческомъ мірѣ, а изображеніемъ и изслѣдованіемъ постепеннаго развитія человѣчества. Такая исторія—настоящая исторія—показываетъ весь человѣческій родъ, какъ одно органическое цѣлое, сохраняющее свое единство и жизненность, не смотря на періодическое отпаденіе частей. Она слѣдитъ за процессомъ развитія послѣднихъ, не упуская изъ виду той главной идеи, что въ суммѣ онѣ составляютъ не умирающее человѣчество. Проживъ свой періодъ, общество воскресаетъ въ другихъ обществахъ; его великіе люди, его учрежденія, понятія, мудрость, искусства переходятъ къ другому народу и, сливаясь съ новыми стихіями жизни, являются все въ болѣе и болѣе полномъ и законномъ развитіи. Индія, Египетъ, Греція, Римъ, греческій востокъ, все это подмостки нашей новой германо-славянской цивилизаціи, которая, въ свою очередь, прошла уже много ступеней и не видитъ предѣла своему восхожденію. Много разъ мы отступали и какъ будто падали; но все это для того, чтобы подняться на большую высоту... Индійская цивилизація исчезла на берегахъ Ганга; но во время переданная жрецамъ Египта, явилась она въ неузнаваемой красотѣ подъ небомъ Греціи, которой суждено было очеловѣчить восточный энтузіазмъ, переходящій въ животное бѣшенство, холодною разумностью генія Европы и въ то же время согрѣть эту разумность жаромъ фантазіи. Когда роскошный цвѣтъ греческой жизни сталъ блекнуть, она, въ лицѣ Александра Македонскаго, унесла свои идеи на востокъ, покорно принявшій ихъ въ свои недра, но перемѣшавшій съ своими старческими умозрѣніями, и такимъ образомъ явился въ первый разъ на землѣ эклектизмъ, неорганическая смѣсь греческой мудрости съ мудростью восточныхъ народовъ, переданная новымъ германо-славянскимъ племенамъ вмѣстѣ съ политическими идеями римлянъ, какъ матеріалъ для выработки новой цивилизаціи. Пр.

такомъ взглядѣ на прошлую судьбу человѣчества, человѣкъ нашего времени—будь онъ германецъ или славянинъ, или иного какого племени—пойметъ, что собственно ни одинъ народъ не исчезалъ безвозвратно съ лица земли, что ни одна плодотворная идея не погребена подъ руинами отжившихъ обществъ, что дѣла и мысли великихъ двигателей цивилизаціи того или другого народа продолжаютъ не видимо жить и дѣйствовать въ человѣчествѣ. Такимъ образомъ, сокращается разочарованіе со всѣми его безобразными слѣдствіями!

Съ другой стороны, исторія въ настоящемъ своемъ видѣ наноситъ смертельный ударъ оптимизму: во-первыхъ, она обнаруживаетъ передъ нимъ, что всѣ отрасли человѣческой дѣятельности, взятыя порознь, совершенствовались въ теченіе тысячелѣтій, совершенствовались даже и тогда, когда казались падающими: это были эпохи болѣзненныхъ кризисовъ, за которыми слѣдовало выздоровленіе; во-вторыхъ, она вразумляетъ оптимиста въ томъ, что человѣчество современнаго намъ періода стремится къ гармоническому сліянію ихъ воедино, въ жизнь полную, составленную изъ дружнаго союза всѣхъ стихій человѣческой природы... Такимъ образомъ, усвоивъ себѣ эти взгляды, и укрѣпивъ основательнымъ фактическимъ изученіемъ исторіи, нельзя уже будетъ приводить нелѣпый аргументъ равновѣсія въ оправданіе бездѣйствія и безжизненности. Итакъ, исторія, изображающая и изслѣдующая развитіе человѣческаго рода, призываетъ къ жизни и движенію...

„Руководство къ всеобщей исторіи“ профессора Лоренца есть первый на русскомъ языкѣ и притомъ прекрасный опытъ такого изслѣдованія. Изъ сказаннаго выше можно уже заключить, что оно должно составить эпоху въ нашей исторической литературѣ. Мы сказали уже, что по выходѣ въ свѣтъ послѣдней его части посвятимъ нѣсколько критическихъ статей подробному разбору его достоинствъ и недостатковъ. Теперь же имѣемъ въ виду поговорить только объ одномъ довольно общемъ предубѣжденіи, существующемъ у насъ противъ этого сочиненія. Все до сихъ поръ сказанное о пользѣ исторіи вообще прямо относится къ этому вопросу.

Вотъ въ чѣмъ дѣло. Многіе утверждаютъ, что книга г. Лоренца есть прекрасное ученое сочиненіе, но отнюдь не учебная книга; что ее можно дать въ руки семнадцатилѣтнему юношѣ, но никакъ не десяти-или двѣнадцатилѣтнему мальчику. Мы совершенно согласны съ этимъ общимъ замѣчаніемъ. Но слѣдуетъ ли изъ него, что сочиненіе почтеннаго профессора не можетъ замѣнить всѣхъ до сихъ поръ изданныхъ у насъ руководствъ ко всеобщей исторіи? Мы думаемъ, что вовсе не слѣдуетъ, и представимъ здѣсь основанія такого мнѣнія.

Скажите: какъ вы объясните двѣнадцатилѣтнему мальчику, что такое общество, общественная жизнь, общественные добродѣтели и пороки, общественное развитіе и младенчество, для того, чтобъ онъ могъ понимать все это въ исторіи.

въ живыхъ, движущихся формахъ? Какъ вы проведете въ его сознаніе разныя антропологическія понятія, служащія основаніемъ уразумѣнію характера и дѣятельности лицъ—двигателей историческихъ событій и представителей разныхъ эпохъ и національностей, какого-нибудь Перикла, Алкивіада, Октавія, Карла Великаго, Филиппа II, Лудовика XIV, Наполеона, или великихъ мыслителей—Платона, Сенеки, Эпикура, Августина, Лютера, Бэкона, Декарта, Галилея, Ньютона, Вольтера? Какъ объясните вы ему, что такое наука, искусство, промышленность, и каковы условія успѣшнаго или неуспѣшнаго ихъ развитія? Вѣдь все это необходимо для того, чтобъ онъ сколько-нибудь понималъ важность такихъ фактовъ, каково, напримѣръ, перенесеніе греческихъ классиковъ изъ Восточной имперіи въ Италію и распространеніе ихъ по остальной Европѣ,—фактъ, который былъ слѣдствіемъ взятія Константинополя турками, но который гораздо важнѣе его,—или явленіе въ Греціи „Иліады“, послужившее главною основой греческой самостоятельности,—или освобожденіе общинъ въ западной Европѣ, имѣвшее слѣдствіемъ распространеніе понятія и важности труда, не говоря уже о томъ, сколько умственного развитія нужно для оцѣнки и десятой части благотворнаго вліянія христіанской религіи? Правда и то, что факты исторіи религіи, исторіи наукъ, искусствъ и промышленности обыкновенно считаются какою-то роскошью въ руководствахъ ко *всеобщей* исторіи. Но развѣ въ этомъ есть какой-нибудь смыслъ? Развѣ уразумѣніе такъ-называемой *политической* исторіи доступнѣе мальчику, чѣмъ исторія нравственнаго развитія человѣчества? Отчего же онъ долженъ понять, напримѣръ, что такое *феодализмъ*, если онъ не можетъ понять, что такое язычество, философія, платицизмъ, трудъ, капиталъ, кредитъ? Замѣтимъ, что сколько-нибудь неглупый мальчикъ непременно составитъ себѣ какос-нибудь понятіе о предметахъ, о которыхъ ему всякій день толкуетъ учитель, и которыхъ онъ все-таки не понимаетъ, какъ слѣдуетъ. Эти самодѣльные и, разумѣется, за весьма рѣдкими исключеніями, превратныя понятія вливаются въ сознаніе ребенка со всею ѣдкостью первыхъ впечатлѣній и идей и, при отсутствіи сильной подвижности ума и воображенія, составляютъ ужасную преграду къ усвоенію, въ лѣта юношества, новыхъ, совершенно противоположныхъ идей и образовъ. Чтобы вполне убѣдиться въ этомъ, рекомендуемъ любознательному читателю, при настоящемъ его совершеннолѣтіи и развитіи, почитать Плутарха, писателя, котораго онъ читалъ въ дѣтствѣ. Какое новое, страшное, но пріятное чувство охватитъ его душу, когда онъ вновь пройдетъ по этой *галлерей антиковъ* (такъ воображаетъ онъ себѣ книгу Плутарховыхъ жизнеописаній)! Вдругъ почувствуетъ онъ, что великіе мужи, разоблаченные великимъ біографомъ древности, вовсе не статуи, а живыя совершенно живыя лица, любящія и ненавидящія, важничающія и ползающія, наслаждающіяся и страждущія, лѣнтяи и труженики, черви и герои, однимъ словомъ—то, что называется *вы и я*. Тогда-то вполне пойметъ онъ, какими

призраками наполненъ былъ для него міръ исторіи вслѣдствіе изученія ея въ лѣта его дѣтства.

Но противъ всѣхъ этихъ довольно азбучныхъ, хотя и мало сознаваемыхъ доводовъ могутъ сказать, что изученіе историческихъ фактовъ въ дѣтскомъ возрастѣ необходимо, во-первыхъ, потому что впослѣдствіи, въ юности, трудно ихъ запоминать, и во-вторыхъ, какъ упражненіе памяти. Оба эти возраженія кажутся намъ совершенно неосновательными.

Каждый изъ насъ знаетъ по опыту, что во всякомъ возрастѣ нѣтъ ничего легче, какъ запомнить факты, освѣщенные идеей, иными словами—факты замѣчательные и занимательные. Конечно, восемнадцатилѣтнему юношѣ очень трудно запомнить то, въ чемъ онъ не видитъ никакого значенія, что для него безразлично, и въ этомъ отношеніи мальчикъ окажется несравненно памятливей его, потому что не привыкъ еще отличать предметы замѣчательные, характерные отъ пошлыхъ, безцвѣтныхъ. Но къ чему же и знать то, что безразлично? Міръ каждой науки такъ громаденъ, что при изученіи необходимо наблюдать экономію силъ, разумѣя подъ этимъ словомъ не скупость на трудъ, а соображеніе его производительности, плодотворности. Спрашиваемъ: отчего наши юноши знаютъ чуть не отъ слова до слова (а многіе и совершенно такъ) „Мертвыя души“? Вѣдь они не учатъ же ихъ наизусть, какъ мальчики учатъ какой-нибудь историческій учебникъ. Дѣло просто: здоровый человѣкъ помнитъ хорошо все то, что его занимаетъ. Изъ этого слѣдуетъ, что не только изученіе историческихъ фактовъ не тягостно въ юности, но даже гораздо легче, чѣмъ въ дѣтствѣ, по той простой и дознаваемой опытомъ причинѣ, что юноша ихъ понимаетъ, а мальчикъ не понимаетъ.

Второе возраженіе также имѣетъ мало цѣны, но оно важнѣе перваго, потому что наводитъ на нѣкоторыя мысли, къ сожалѣнію, мало распространенныя педагогическою литературой. Говорятъ, что изученіе историческихъ фактовъ въ дѣтствѣ необходимо для изоцрѣнія памяти. Странный аргументъ, напоминающій намъ аргументъ одного педагога, который въ прошедшемъ мѣсяцѣ издалъ для дѣтей „Тетрадь географіи“, написанную непонятнымъ языкомъ, и увѣрялъ въ предисловіи: что все это придумано имъ, какъ средство для распространенія *области дѣтскаго языка* <sup>1)</sup>. Да помилуйте! Неужели, кромѣ фактовъ исторіи человѣчества нѣтъ здѣсь никакихъ другихъ фактовъ, которые въ одно время могли бы и поощрять память дѣтей, и были бы доступны дѣтскому разумѣнію?

Мы полагаемъ, что факты естественныхъ наукъ могутъ удовлетворить не только этимъ двумъ цѣлямъ, но и многимъ другимъ весьма важнымъ. Начнемъ съ того, что изученіе природы несравненно болѣе занимаетъ ребенка, чѣмъ міръ человѣческой: и не можетъ быть иначе съ человѣкомъ до тѣхъ поръ, пока въ

<sup>1)</sup> М. Тимасъ. Тетрадь всеобщей географіи (приготовительный курсъ), съ прибавленіемъ географическаго обзора древняго міра. С.-Пб. 1846.

немъ не начнетъ развиваться личность, независимость отъ вѣшности вообще. А это даетъ дѣлу большую важность: обративъ ребенка прежде всего къ фактическому изученію естественныхъ наукъ, вы уже много сдѣлали, ибо стали учить его тому, что должно его занимать. Такимъ образомъ, вы легко можете поселить въ немъ любовь къ занятіямъ наукой, а это всего важнѣе въ воспитаніи. Далѣе, не говоря уже объ изощреніи памяти, нельзя не сказать, что естественныя науки сильно изощряютъ логическую способность, приучая человѣка къ строгому изысканію причинъ каждаго обиходнаго явленія, къ всепроникающему анализу. Въ этомъ отношеніи особенную важность изъ естественныхъ наукъ имѣютъ физика и химія, заставляющія искать объясненія тому, что при обыкновенномъ, невѣжественномъ взглядѣ на вещи вовсе не подлежитъ объясненію. Химія имѣетъ еще и то преимущество, что совершенно наглядно, а потому и очевидно показываетъ самый процессъ анализа. Въ этомъ она имѣетъ такую же важность, какъ и математика, являющаяся образцомъ доказательствъ. Что же касается до доступности фактовъ естественныхъ наукъ дѣтскому разумѣнію, то это само собою ясно. Разумѣется, безталанный учитель можетъ и тутъ испортить все дѣло, начавъ объяснять дѣтямъ законы природы отвлеченно и переходя къ опытамъ уже въ подтвержденіе теорій. Это была бы ужасная ошибка: надо непременно начинать съ опытовъ, во-первыхъ, потому что самая теорія можетъ быть скорѣе усвоена, если она выводится, какъ бы естественнымъ путемъ изслѣдованія со стороны самого ученика, то-есть, изъ фактовъ; во-вторыхъ, нарушить этотъ порядокъ значитъ уничтожить то преимущество, о которомъ мы уже сказали, именно—что естественныя науки приучаютъ человѣка отдавать себѣ отчетъ въ причинахъ самыхъ обыкновенныхъ явленій, какъ будто бы не требующихъ объясненія.

Еслибъ естественныя науки и не имѣли никакой другой важности, кромѣ занимательности, доступности и вліянія на развитіе аналитической способности, и этого было бы уже довольно для того, чтобы признать важность ихъ изученія въ возрастѣ дѣтства. Но, кромѣ того, это изученіе имѣетъ неисчислимыя достоинства и по прямымъ своимъ слѣдствіямъ, и, какъ приготовленіе къ наукамъ нравственнымъ и общественнымъ.

Намъ кажется, что изученіе природы въ дѣтствѣ лучше всего бережетъ жизненность и здоровье души, спасая человѣка отъ сухости и нравственнаго безсилія такъ, какъ отъ склонности къ романтическимъ и мистическимъ идеямъ. Неразрывное единство природы и человѣка несомнѣнно; но условія жизни часто отвлекаютъ человѣка отъ сознанія и поддержанія этого единства. Занятіе же естественными науками противодѣйствуетъ этому страшному, болѣзненному разрыву, служащему источникомъ всякой сухости и нравственной порчи. Приучивъ свой умъ безпрестанно находить идею въ образахъ осязаемыхъ, пластическихъ, причину явленій—въ силахъ, также подлежащихъ оцѣнкѣ чувствъ, мы теряемъ склонность къ безжизненнымъ, діалектическимъ отвлеченіямъ, и потому невольно

влечемся ко всему дѣйствительному, живому, не вымышленному. То же самое поселяетъ въ насъ непреодолимое отвращеніе отъ доказательствъ натянутыхъ и хитросплетенныхъ, утверждаемыхъ на пустякахъ, на положеніяхъ, принятыхъ за аксіомы потому только, что никто не подвергалъ анализу: мы дѣлаемся просты и чрезвычайно строги въ своихъ сужденіяхъ и не смущаемся въ изслѣдованіи того, что кажется недоступнымъ изслѣдованію. Въ то же время, и все-таки по той же причинѣ, нашъ умъ привыкаетъ легко находить временную границу между предметами доступными и не доступными человѣческому разумѣнію: онъ хорошо знаетъ пространство и границы своихъ силъ, потому что измѣряетъ ихъ примѣняемостью къ познаваемому предмету строгой методы познанія. Такимъ образомъ, романтизмъ и мистицизмъ со всѣми послѣдствіями, дѣлаются для насъ не бичами, а посмѣшищемъ, такъ, какъ и дѣтское гарцованіе ума въ предѣлахъ, не доступныхъ его владычеству.

Теперь легко представить себѣ, какъ много выиграло бы просвѣщеніе, если бы при воспитаніи можно было соблюдать правильный переходъ отъ изученія наукъ естественныхъ къ изученію наукъ нравственныхъ и общественныхъ. Если изъ послѣднихъ взять въ соображеніе одну исторію и предположить, что она преподается въ томъ духѣ, въ какомъ написано „Руководство“ профессора Лоренца, то можно навѣрное сказать, что такой порядокъ преподаванія наукъ долженъ бы испровергнуть умственные и нравственные чудовища—*романтизмъ, мистицизмъ, систематическое разочарованіе и оптимизмъ*. Тогда можно бы было дышать гораздо свободнѣе!..

## II.

Руководство къ всеобщей исторіи. Сочиненіе д-ра Фр. Лоренца. Часть II-я, отдѣленіе 1-е. Изданіе второе. Санктпетербургъ. 1847.

Нѣкоторые критики (между прочими г. Герцъ, авторъ недавно вышедшаго въ свѣтъ „Историческаго Сборника“) упрекали г. Лоренца за то, что онъ не изложилъ исторіи литературы среднихъ вѣковъ въ томъ видѣ, въ какомъ изложена имъ исторія древней литературы. Въ предисловіи къ нынѣ вышедшему изданію перваго отдѣленія второй части „Руководства“ авторъ излагаетъ причины, заставившія его отступить отъ плана, котораго держался при изложеніи исторіи древней литературы. Вотъ главный аргументъ его: „Развитіе западнаго образованія (въ средніе вѣка) не вездѣ происходило единовременно, ни одинаковымъ образомъ. Поэтому не возможно изобразить въ общихъ литературныхъ обзорѣніяхъ ни того участія, которое принимали въ образованіи отдѣльные народы, какъ скоро въ нихъ пробуждалась свободная дѣятельность духа, ни тѣхъ обстоятельствъ, которыя у однихъ содѣйствовали успѣхамъ образованія, у другихъ же препятствовали имъ: это должно переплетаться съ общимъ движеніемъ исторической жизни“ (стр. VIII—IX).



Что касается до насъ, мы въ этомъ случаѣ совершенно согласны съ Г. Лоренцомъ и полагаемъ даже, что исторія много выигрываетъ разомъ со стороны единства и со стороны разнообразія, если представляетъ въ одной картинѣ развитіе всѣхъ стихій общественной жизни. Поэтому, мы скорѣе готовы радоваться отсутствію въ „Руководствѣ къ исторіи“ литературныхъ обзрѣній, отдѣленныхъ отъ изложенія политическихъ событій.

Второе изданіе перваго отдѣленія второй части не представляетъ никакихъ измѣненій противъ перваго, и потому остается радоваться самому факту его появленія.

## П. А. Кулѣшъ.

Повѣсть объ украинскомъ народѣ. Написалъ для дѣтей старшаго возраста П. Кулѣшъ. Санктпетербургъ. 1846.

Г. Кулѣшъ имѣлъ весьма основательную причину назвать издаваемый имъ очеркъ исторіи Малороссіи „Повѣсть объ украинскомъ народѣ“. Заглавіе это такъ же согласно со взглядомъ автора на исторію его родины, какъ взглядъ этотъ согласенъ съ правильнымъ понятіемъ о словахъ „народъ“ и „исторія народа“. Нѣсколько выписокъ лучше всего могутъ послужить къ объясненію идеи, извлеченной авторомъ изъ безпристрастнаго изученія фактовъ украинской исторіи.

„Испытавши тягость татарскаго рабства, украинцы подпали подъ власть Польши. Скоро поляки стали дѣлать разныя притѣсненія этому добродушному народу; короли Польскіе отдавали свободные города и села украинскіе во владѣніе польскимъ и южнорусскимъ дворянамъ, подъ именемъ *староствъ и камиелянствъ* и т. п., а дворяне, пользуясь своею почти неограниченною властью, начали обходиться съ мѣщанами и поселянами, какъ съ рабами. Народъ бунтовался; дворяне старались усмирять его жестокими мѣрами. Многимъ стало такое житіе несноснымъ, и цѣлыя толпы вольныхъ *юнаковъ*, оставляя свои жилища, уходили въ степи, къ низу Днѣпра, на берега Самары, Конки, Синюхи, гдѣ еще съ девятаго вѣка жили бездомные русскіе выходцы, проводя время въ набѣгахъ на непріятельскія земли. Число ихъ теперь значительно увеличилось. Эти *бездомные* удалцы назывались *казаками*, управлялись, по обычаю всѣхъ славянскихъ племенъ, народными сходками, выбирали изъ среды себя начальника и подъ его предводительствомъ защищали свою свободу. У нихъ было двѣ цѣли: воевать противъ враговъ христіанства—татаръ и турокъ, и освободить родную Украину отъ деспотическаго господства польско-русскихъ дворянъ. Король Стефанъ Баторій, чтобы примирить ихъ съ правительствомъ, подтвердилъ права воинскаго ихъ сословія, далъ имъ устройство, нѣсколько сходное съ устройствомъ рыцарскихъ духовныхъ орденовъ на западѣ, прислать ихъ предводителю, назы-

вавшемуся *гетманомъ*, знаки высшей власти булаву, бунчукъ, знамя, уговаривалъ ихъ жить мирно съ поляками и защищать христіанскія земли отъ набѣговъ татарскихъ“ (стр. 2—3).

„Со временъ короля Баторія казаки стали жить не только по дикимъ степямъ днѣпровскимъ, но и на южныхъ пограничныхъ мѣстахъ нынѣшней Кіевской губерніи. Они имѣли уже и свой городъ Тактомировъ, въ которомъ былъ у нихъ складъ военныхъ припасовъ и резиденція ихъ правительства. Число казаковъ безпрестанно увеличивалось, потому что они принимали къ себѣ всякаго, кто не хотѣлъ сносить тягостнаго господства дворянъ и оставлялъ свою родину. Слово *казакъ* стало у народа любимымъ именемъ во всѣхъ южнорусскихъ областяхъ, какъ имя человѣка свободнаго, не клонящаго головы подъ рабское ярмо. Ихъ противодѣйствіе деспотизму дворянства, ихъ безпристанныя войны съ невѣрными, ихъ воинскія приключенія сдѣлались по всей Украинѣ предметомъ самыхъ пріятныхъ для народа разсказовъ и пѣсенъ. Странствующие пѣвцы складывали о казакахъ, стихотворныя повѣсти и, ходя изъ села до села, распѣвали ихъ народу, сопровождая свой речитативъ игрою на музыкальныхъ струнныхъ инструментахъ. Эти пѣсни, дышащія любовью къ родинѣ, тоскою о ея бѣдствіяхъ и воинственнымъ жаромъ, питали въ украинскомъ народѣ тотъ же духъ, который одушевлялъ и казаковъ, не давая народу забыть свою старинную русскую вольность и внушали сочувствіе ко всѣмъ замысламъ и предпріятіямъ казачьимъ.

„Между тѣмъ, къ корыстолюбивому господству дворянъ украинскихъ присоединилось другое бѣдствіе. Поляки хотѣли обратить православный южно-русскій народъ въ католиковъ и для этого однимъ католикамъ только предоставили право участвовать въ государственныхъ дѣлахъ, а не-католиковъ удаляли отъ всѣхъ служебныхъ мѣстъ. Дворяне южно-русскіе, боясь потерять свои права, всѣ приняли католическую вѣру и вмѣстѣ съ поляками стали принуждать свой народъ отстать также отъ греческой вѣры. Недоставало только этого, чтобы взволновать всю Украину. Дворяне теперь сдѣлались низшимъ сословіемъ еще ненавистнѣе, потому что съ именемъ пана соединялось имя католика и утѣснителя вѣры“ (стр. 5—7).

Такъ объясняетъ г. Кулѣшъ рядъ войнъ за независимость Малороссіи, въ которыхъ, съ одной стороны, дѣйствовали казаки, подкрѣпленные украинскими крестьянами, съ другой — поляки и украинскіе дворяне. Весьма просто и увлекательно рассказываетъ онъ факты, сопровождавшіе борьбу *украинскаго народа* съ его внѣшними и внутренними притѣснителями, борьбу, продолжавшуюся до присоединенія Украины къ Россіи при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ. Этимъ происшествіемъ, по мнѣнію автора, оканчивается исторія украинскаго народа въ истинномъ значеніи слова. Вотъ какъ объясняетъ онъ основаніе такого взгляда.

„Когда въ 1665 году Бруховецкій ударилъ въ Москвѣ челомъ, ему дали санъ боярина, а всѣхъ бывшихъ при немъ старшинъ казацкихъ наградили дворянскимъ достоинствомъ. Эти старшины, вышедшіе съ нимъ на Черную раду изъ Запорожской Сѣчи, были люди неграмотные, грубые, не имѣвшіе понятія с національной чести. Захвативъ обманомъ и вѣроломствомъ въ свои руки высшія должности въ Украинѣ, для своей безопасности предали воеводамъ низшія сословія, а когда увидѣли для себя опасность съ другой стороны, обратились противъ воеводъ. По смерти Бруховецкаго многіе изъ нихъ удалились въ Запорожье; но корень этого дворянства, заслуженнаго столь недостойнымъ образомъ, остался въ Украинѣ и произвелъ свойственные ему плоды. Высшія бѣста стали пріобрѣтать посредствомъ искательства у знатныхъ, посредствомъ лести московскимъ вельможамъ, посредствомъ притворной преданности московскому правительству. Низшія сословія мало по малу удалены были отъ участія въ выборахъ старшинъ и другихъ дѣлахъ, рѣшавшихся прежде большинствомъ голосовъ. Немногіе только думали о сохраненіи правъ Богдана Хмельницкаго, прочіе заботились о личной выгодѣ. Отъ ослабленія демократической партіи московскіе вельможи пріобрѣли великое вліяніе на дѣла Украины и, держа въ зависимости отъ себя недостойныхъ ея представителей, дѣлали съ этою жалкою областю все, что хотѣли. Съ этого-то времени начинается то обезсмысленіе простолюдиновъ украинскихъ, то невѣдѣніе объ отношеніяхъ ихъ къ прочимъ сословіямъ, въ которомъ видимъ мы ихъ въ наше время. При Богданѣ Хмельницкомъ судебныя законы жили въ устахъ народа, который изрекалъ приговоры, будучи созываемъ на небольшія рады въ селахъ и на важныя въ городахъ; каждый зналъ тогда, что онъ дѣйствительный членъ націи, каждый обращалъ въ своей головѣ политическія идеи, не ограничивался только своимъ домомъ, своимъ селомъ, городомъ; мысль его была такъ широка, какъ широка Украина и все, что учреждено было въ Украинѣ, было всякому хорошо извѣстно; избраніе ли гетмана, война ли съ сосѣдями, договоръ ли съ иностранною державою, все это проходило черезъ всѣ головы, проникало во всѣ души. Поэтому образованность народа украинскаго, въ извѣстномъ значеніи этого слова, была тогда на высокой степени, и если бы продолжался порядокъ вещей, установленный Богданомъ Хмельницкимъ, въ Украинѣ цивилизація такъ же прочно развилась бы изъ собственныхъ началъ, какъ и въ западныхъ странахъ Европы. Но ударъ чела Бруховецкаго и порожденное имъ господство одного сословія, вмѣстѣ съ господствомъ воеводъ, ослабили развитіе въ Украинѣ политическаго тѣла въ самой его сущности, а потомъ, чѣмъ дальше, тѣмъ больше народъ становился безсильнымъ, безгласнымъ и, наконецъ, безсмысленнымъ! Вотъ исторія украинскаго народа исторія грустная, печальная какъ поминальная пѣсня! Напрасно наши украинскіе историки вдаются въ подробное изложеніе событій послѣдующихъ: то уже

исторія не народа, а гетмановъ, которыхъ народъ не избралъ, которымъ не сочувствовалъ и о которыхъ теперь уже не помнить“ <sup>1)</sup> (стр. 84—86).

Едва ли найдется на русскомъ языкѣ историческій учебникъ, въ которомъ была бы выдержана такая дѣльная и такъ хорошо изложенная идея. Жалко однакожъ, что г. Кулѣшъ ограничился только политической стороной украинской исторіи. Впрочемъ, и это уже заслуга немаловажная.

Языкъ „Повѣсти“ очень чистъ, слогъ простой и ясный. Мы замѣтили только два или три не совсѣмъ русскія слова, напримѣръ, *сторонникъ* вмѣстѣ *приверженецъ*.

### Н. М. Сементовскій.

Старина малороссійская, запорожская и донская. *Николая Сементовскаго*.  
Санктпетербургъ. 1845.

Что такое старина народа или племени? Не есть ли это минувшая жизнь народа, со всѣми ея тревогами, волненіями, огорченіями, радостями, замыслами? Да, подъ именемъ старины мы именно понимаемъ жизнь народа, уже прожитую и имѣющую свой особенный характеръ, свой взглядъ на вещи, на общество. Она должна быть жизнью исчезнувшюю или, по крайней мѣрѣ, утратившею свой особенный колоритъ, чтобъ имѣть право на названіе старины. Старина есть древняя исторія. Но съ исторіей связаны нѣкоторыя условія, которыхъ мы не въ правѣ требовать отъ описателя старины. Историкъ задаетъ себѣ задачу представить постепенную жизнь народа, ея ходъ и упадокъ, ея причины и послѣдствія; онъ обуславливается въ своемъ изложеніи временемъ; ему непремѣнно должно, начавъ съ извѣстнаго пункта, слѣдить за народомъ постепенно въ теченіе того періода, который онъ описываетъ; для него важно то или другое политическое событіе, потому что оно было порожденіемъ мѣстныхъ или временныхъ обстоятельствъ: между тѣмъ, это событіе можетъ не имѣть въ себѣ ничего характернаго, ничего народнаго, и описатель старины народа можетъ выпустить его изъ виду. Для объясненія старины одна поговорка, пѣсня, сказка иногда важнѣе продолжительной войны; между тѣмъ, и война можетъ занять мѣсто въ старинѣ, но только не всякая война. Одна война выражаетъ народъ и его понятія, другая вовсе не выражаетъ этого и есть слѣдствіе политическихъ расчетовъ. Для описателя старины картина переправы войска, приступа или даже пораженія важнѣе иногда мирнаго трактата, если въ первыхъ онъ можетъ найти болѣе отбѣнокъ характера народнаго, нежели въ послѣднемъ.

<sup>1)</sup> Это фактъ. Въ Украинѣ знаютъ Наливайка, Сагайдачнаго, Богдана Хмельницкаго, Дорошенка, но не помнятъ послѣднихъ, близкихъ къ нашему времени гетмановъ.

Самое изложеніе старины народа не можетъ быть историческимъ, потому что въ этой формѣ трудно будетъ въ одинъ пріемъ объяснить извѣстную черту народа, которая выработывалась въ теченіе многихъ лѣтъ. Писатель старины есть возсоздатель угаснувшей жизни, онъ—творецъ; исторія народа—матеріаль, который онъ долженъ передѣлать по своему, чтобъ объяснить тѣ черты, которыя считаютъ принадлежностію стариннаго времени: онъ, какъ художникъ, долженъ изъ многихъ событій извлечь идею и эту идею объяснить тѣми только фактами, въ которыхъ жили они, однимъ словомъ, для уловленія тайнствъ старины нужно кромѣ учености, много художественности, нужно прибѣгать къ искусству. *Le bon vieux temps* не легко и не всякому дается. Много ли писателей европейскихъ умѣли передать старину запада? Отчего великъ Вальтеръ Скоттъ?.. Для изученія старины еще очень мало знать костюмы народные, умѣть, и притомъ не всегда удачно, поддѣлаться подъ старинный языкъ. Для узнанія старины и для объясненія ея, нужно нѣсколько побольше свѣдѣній <sup>1)</sup>. Еще и теперь многіе, можетъ быть, будутъ довольны такими чертами народа, какія привелъ Карамзинъ, описывая старину славянскую: „Современные историки изображаютъ славянъ бодрыми, сильными, неутомимыми. Презирая непогоды, свойственныя климату сѣверному, они сносили голодъ и всякую нужду; питались самою грубою, сырою пищею; удивляли грековъ своею быстротою; съ чрезвычайною легкостію всходили на крутизны, спускались въ расщелины, смѣло бросались въ опасныя болота и въ глубокія рѣки. Думая, безъ сомнѣнія, что главная красота мужа есть крѣпость въ тѣлѣ, сила въ рукахъ и легкость въ движеніяхъ, славяне мало пеклись о своей наружности, въ грязи, въ пыли, безъ всякой опрятности въ одеждѣ являлись во многочисленномъ собраніи людей. Греки осуждая сію нечистоту, хвалятъ ихъ за стройность, высокій ростъ и мужественную пріятность лица“ (Ист. гос. Росс., т. I, гл. 3).

Но такого описанія народа нельзя уже сдѣлать съ тѣхъ поръ, какъ Пушкинъ въ своей „Лѣтописи села Горохина“ сказалъ, что и „обитатели Горохина большею частію росту средняго, сложенія крѣпкаго и мужественнаго; глаза ихъ сѣрые, волосы русые или рыжіе. Женщины отличаются носами, поднятыми нѣсколько вверхъ, выпуклыми скулами и дородностію... Мужчины добронравны, трудолюбивы (особенно на своей пашнѣ), храбры, воинственны. Многіе изъ нихъ ходятъ одни на медвѣдя и славятся въ околоткѣ кулачными бойцами; всѣ вообще склонны къ чувственному наслажденію піянства. Женщины, сверхъ домашнихъ работъ, раздѣляютъ съ мужчинами большую часть ихъ трудовъ и не уступятъ имъ въ отважности: рѣдкая изъ нихъ боится старосты... Онѣ столь же цѣломудренны, какъ и прелестны; на покушенія дерзновеннаго отвѣчаютъ сурово

<sup>1)</sup> Характеристика народа общими чертами, особенно нравственными, еще негнѣе прижирокъ къ внѣшности, къ стариннымъ шапкамъ, бородамъ...

и выразительно...! Мужчины женятся обыкновенно на 13-мъ году на дѣвицахъ 20-ти лѣтнихъ. Жены били своихъ мужей въ теченіе четырехъ или пяти лѣтъ. Послѣ чего мужья уже начинали бить женъ; и такимъ образомъ оба пола имѣли свое время власть, и равновѣсіе было соблюдено“.

Такія описанія стариннаго быта сдѣлались смѣшны. Нужно заставлять народъ говорить фактами изъ его исторіи, жизни, сказокъ, преданій, пѣсенъ, пословицъ, поговорокъ. Было время, когда даже въ статистикахъ, испещренныхъ арифметическими выкладками, посвящали одинъ отдѣлъ описанію характера народа, его обычаевъ, нравовъ и наполняли этотъ отдѣлъ карамзинскимъ индивидуальнымъ рассказомъ, ничего не показывающимъ и ничего не объясняющимъ. Но

Eheu! fugaces...

Labuntur anni...

говоритъ Гораций, и мы съ теченіемъ времени чувствуемъ новыя потребности.

Уразумѣніе старинной жизни должно прямо вести къ воссозданію ея въ произведеніяхъ художественныхъ. Отъ этого всѣ русскіе историческіе романы наши большею частію такъ пошлы и обнаруживаютъ совершенно незнаніе жизни народной или самое поверхностное изученіе одной наружности, коры общества. У насъ нѣтъ нашей старины, нашихъ древностей (*antiquités*), хотя у насъ есть лѣтописи, акты, сборники, отрывки древнихъ законовъ и проч., и проч.

Все это мы считаемъ нужнымъ сказать, потому что передъ вами лежитъ „Старина малороссійская, запорожская и донская“, которую мы только что прочли и призадумались... Авторъ этой книги говоритъ: „Исторія пространно расскажетъ вамъ про военныя дѣла казаковъ, исчисливъ всѣ угнетенія, какія претерпѣвали рыцари отъ Польши за нарушеніе вѣры православной, и, наконецъ, представить конечную судьбу всѣхъ рыцарскихъ обществъ, поэтому мы отстраняемъ отъ себя историческій рассказъ о казакахъ, ихъ судьбѣ, но представимъ вниманію читателя устройство, военныя и гражданскіе нравы, обычаи, обряды семейную и общественную жизнь малороссійскихъ, запорожскихъ и донскихъ казаковъ“ (стр. 5). Слѣдовательно, авторъ не допускаетъ въ свою книгу историческаго рассказа, потому что исторія пространно рассказываетъ про дѣла военныя: но исторія, какъ ее понимаютъ нынче, рассказываетъ не про одни дѣла военныя: въ нее, въ извѣстной мѣрѣ, входитъ и то, о чемъ авторъ хочетъ говорить въ своей „Старинѣ“. Потомъ авторъ, намъ кажется, не совсѣмъ ясно понимаетъ значеніе старины, когда онъ изъ нея выгоняетъ исторію, то-есть, жизнь народа и лучшее, образное выраженіе этой жизни. Сцены изъ исторіи и, слѣдовательно, историческій рассказъ о событіи—одна изъ формъ для выраженія понятій извѣстнаго времени. Положимъ, авторъ желаетъ изъяснить религіозную жизнь казаковъ: чѣмъ онъ выразитъ ее лучше, какъ не сценами изъ войнъ за крѣпостями поляками? А если ему должно будетъ передать черты храбрости, неустрашимости



мости, самоотверженія народа, откуда онъ возметъ обрисовку для нихъ, какъ не изъ исторіи? Въ противномъ случаѣ, онъ долженъ будетъ ограничиться общими чертами. Мѣста, приведенныя изъ лѣтописей, мемуаровъ, преданій, со всѣми ихъ наивными отгѣнками короче и яснѣе могутъ выразить мысль автора, нежели его собственный рассказъ. Для болѣе образнаго представленія старины г. Сементовскій прибѣгнулъ къ картинкамъ и сдѣлалъ очень хорошо; каковы бы они ни были, но все-таки во многихъ случаяхъ онѣ представляютъ яснѣе то, что не можетъ быть живо высказано словами.

„Старина“ г. Сементовскаго состоитъ изъ описанія казаковъ, ихъ одежды, наѣздовъ, административнаго раздѣленія ихъ общества, ихъ обычаевъ, нравовъ, правъ. Книжка могла бы быть полезною для учениковъ, если бъ она не была написана въ нѣкоторыхъ мѣстахъ языкомъ не совсѣмъ понятнымъ, должно быть, стариннымъ; наримѣръ: „Малороссійскіе казаки искони считались по околицамъ изъ одного селенія въ жилищахъ своихъ (?), другіе по куренямъ, которые (?) были не то, что курени запорожскіе, эти (?) мы опишемъ ниже, но простыя хаты, мазанки съ незатѣйливою утварью, за то всегда чистыя и опрятныя“ (стр. 11). Или далѣе, на стр. 31: „Въ 1706 г. Петръ Великій... даровалъ донскимъ... войсковымъ атаманамъ бунчукъ съ яблокомъ и съ доскою и съ трубою серебряною, золоченъ“. Это рѣшительно старина и по содержанію, и по языку. Или на стр. 52: „Кускомъ шелковой или шерстяной дорогой матеріи богатая пани обвертывали себя вокругъ тонкой холстинной рубахи, узористо вышитой на рукавахъ и внизу красною бумагою или шелкомъ, и подпоясывались дорогимъ кушакомъ около живота“ и пр. Изъ этого окончательно видно, что онѣ подпоясывались по старинному.

Мы еще могли бы привести много, очень много мѣстъ, въ которыхъ языкъ пахнетъ стариною русскою, а содержаніе—стариною малороссійскою, или запорожскою, или донскою. Читатель можетъ себѣ представить, какой дивный букетъ выходитъ изъ этой смѣси старины, букетъ, который можетъ замѣнить вѣнокъ для многихъ изыскателей древности, потому что онъ принадлежитъ имъ по праву.

Авторъ обѣщаетъ продолженіе своего труда, и мы считаемъ нужнымъ сказать, что если онъ будетъ внимательнѣе къ слогу, то книжки его могутъ имѣть интересъ, тѣмъ больше, что онъ и въ этой части обнаружилъ уже нѣкоторое знаніе дѣла. Напримѣръ, онъ очень ясно и коротко описалъ постоянное уменьшеніе власти гетмановъ послѣ Богдана Хмельницкаго тѣмъ, что обозначилъ политику русскаго двора въ отношеніи къ Малороссіи, къ ея управленію и выбору гетмановъ.

„Богданъ (Хмельницкій) не нуждался уже въ покровительствѣ республики Польской) и булаву свою преклонилъ къ стопамъ православнаго Русскаго царя,

котораго хотя казаки, будучи присоединенные къ Польшѣ и не принадлежали, но всегда считали его за законнаго своего государя“ (просимъ извиненія у читателя, что мы не можемъ сдѣлать перевода съ этого стариннаго языка на новѣйшій, удобопонятный) „и только о томъ и помышляли, чтобы подпасть подъ его высокую руку, и царь принялъ ихъ и подтвердилъ всѣ древнія права русскаго рыцарства и въ томъ числѣ подписалъ и шестую статью, въ коей сказано, что въ случаѣ смерти гетмана казаки вольными голосами изъ среды себя избираютъ новаго гетмана и его царское величество извѣщаютъ, чтобъ то его царскому величеству не въ кручину было, понеже тотъ давній обычай войсковой. По смерти Богдана власть гетманская начала мало по малу ограничиваться; въ гетманство Юрія, сына Богдана, въ малороссійскіе (?) городъ Кіевъ, Переяславль, Нѣжинъ, Черниговъ, Брацлавъ и Умань присланы были русскіе воеводы, и власть ихъ надъ малороссіянами была довольно велика; въ гетманство Брюховецкаго она еще болѣе уменьшилась, и, какъ сказано въ московскихъ статьяхъ Брюховецкаго,—чтобъ явно было всему свѣту, что монархъ, а не гетманъ, землею владѣетъ, что всякіе налоги и подати, наложенные на малороссіянъ, гетманъ погодно въ казну государеву собираетъ. Число воеводъ увеличено противъ прежняго: они появились уже, кромѣ прежнихъ городовъ, въ Каневѣ, Новгородѣ-Сѣверскѣ, Кременчугѣ, Галичѣ, Полтавѣ, Миргородѣ, Лубнахъ, Прилукѣ, Стародубѣ, Глуховѣ, Батуринѣ, Острѣ и на Запорожьѣ. Въ прочіе не такъ значительные города отъ воеводъ были разосланы прикащики, цѣловальники, присяжные и сборщики, которые взимали по торгамъ и ярмаркамъ, со всякой продажной и купленной вещи, отъ казака и мужика пошлину... Хотя цари при избраніи новаго гетмана и подтверждали статьи Хмельницкаго, но къ нимъ всегда прибавляли новыя. Уже въ статьяхъ Мазепы опредѣлительно было сказано: воеводамъ, находящимся въ городахъ гетманскихъ, имѣть надзоръ надъ войскомъ и судить ратныхъ людей (казаковъ). Давно уже, начиная отъ Богдана, гетманы не должны были писать ни къ королю Польскому, ни къ другимъ государямъ, ни къ Крымскому хану и отъ нихъ не могли принимать ни пословъ, ни получать писемъ, а если прійдутъ таковыя, то не читая отсылать въ Москву, въ малороссійскій приказъ. Въ девятнадцатой статьѣ Мазепы сказано: „Также гетманъ обязывается всѣми силами соединять въ крѣпкое и неразрывное согласіе оба русскіе народа, всякими возможностями и въ особенности супружескими, чтобы Малороссію не называли землею гетманскою, а единственно признавали землею, находящеюся въ царской самодержавной власти“. И, дѣйствительно, послѣ измѣны Мазепы гетманщина и гетманъ для малороссіянъ были уже пустые звуки“ (стр. 22—23).

Къ этому авторъ прибавилъ еще обрядъ избранія гетмановъ первоначальный, то-есть, до присоединенія казачества къ Россіи, и послѣдующій за тѣмъ, когда въ выборъ начали входить русскіе бояре; отъ этого мысль выиграла еще болѣе, потому что сдѣлалась еще образнѣе. Точно также должно поступать и съ

другими историческими истинами, особенно когда сочиненіе предназначается для начинающихъ учиться русской исторіи и старинѣ. Учащійся не понимаетъ фактовъ, изъ которыхъ выводъ дѣлается самъ собою, и прошедшее является подъ видомъ убѣдительныхъ данныхъ, а не доказанныхъ или не совсѣмъ понятыхъ идей автора. Между тѣмъ г. Сементовскій не всегда держится этого очень простого правила.

## В. А. Иславинъ.

**Самоѣды въ домашнемъ и общественномъ быту. Владиміра Иславина. Санкт-петербургъ. 1847 г.**

По свидѣтельству всѣхъ путешественниковъ, посѣщавшихъ сѣверъ Россіи, архангельскіе самоѣды находятся на крайней степени разоренія. Это обстоятельство обратило на себя вниманіе г. министра государственныхъ имуществъ: по его порученію, г. Иславинъ отправленъ былъ министерствомъ для изслѣдованія на мѣстѣ причинъ бѣдственнаго состоянія дикарей, кочующихъ между рѣкою Мезенью и Уральскимъ хребтомъ, въ странѣ, извѣстной подъ общимъ названіемъ Мезенской тундры. Ему же поручено было г. министромъ составить предположенія съ мѣрахъ къ возстановленію прежняго благосостоянія самоѣдовъ, продолжавшагося до тѣхъ поръ, пока эта небольшая горсть монгольскаго племени не раздѣляла ни съ кѣмъ своего пользованія мшистыми тундрами, необозримыми стадами оленей и удобными мѣстами для рыбной и звѣриной ловли. Сочиненіе, изданное г. Иславинымъ, заключаетъ въ себѣ въ высшей степени любопытное описаніе быта архангельскихъ самоѣдовъ и еще болѣе занимательное изслѣдованіе ихъ отношеній къ русскимъ и зырянскимъ промышленникамъ, поселившимся въ томъ краѣ въ XVI, XVII и XVIII столѣтіяхъ. Сверхъ того, въ книгѣ этой разсѣяно нѣсколько чревычайно важныхъ замѣчаній о промышленности и бытѣ русскихъ переселенцевъ. Чтобъ ознакомить читателей съ прекраснымъ трудомъ г. Иславина, заимствуемъ изъ него нѣсколько чертъ, въ полной увѣренности, что любители живыхъ и умныхъ статистическихъ описаній поспѣшатъ обзавестись ея книгой.

Описаніе быта дикихъ племенъ представляетъ много сторонъ любопытныхъ съ разныхъ точекъ зрѣнія. Для читателей, не привыкшихъ и несклонныхъ углубляться въ смыслъ ежедневныхъ явленій жизни цивилизованныхъ обществъ и наслаждаться анализомъ разнообразныхъ и постепенныхъ успѣховъ ихъ развитія, описанія эти имѣютъ всю прелесть новизны, какъ изображенія предметовъ, очевидно и разительно противоположныхъ тому, что кажется ненаблюдательному и маломыслящему человѣку вполне извѣстнымъ и нисколько незамѣчательнымъ.

Другую крайность представляют люди, доведенные близорукимъ анализомъ и трепетностью малодушной натуры своей до ребяческаго сомнѣнія въ выгодахъ цивилизаціи, которой кризисы или несовершенства приняты ими за нормальное ея состояніе. Первые кидаются на описанія дикихъ народовъ точно такъ же, какъ бѣгутъ въ балаганъ заѣзжаго промышленника, показывающаго человѣка съ двѣнадцатью пальцами на рукахъ. Какъ не проникнуться имъ интересомъ такого зрѣлища, когда въ человѣкѣ съ десятью пальцами нѣтъ для нихъ ничего занимательнаго, загадочнаго, достойнаго вниманія и размышленія! Точно также, какъ не полюбобытсвовать прочесть книгу, въ которой описываются люди, живущіе въ лѣсахъ и пустыняхъ, питающіеся сырымъ мясомъ, не употребляющіе ни ножей, ни вилокъ, ни носовыхъ платковъ? Другіе, приходя въ отчаяніе отъ черныхъ сторонъ образованной жизни и принимая за цивилизацію сумму золъ, сопряженныхъ съ слабымъ ея развитіемъ, обращаются къ тѣмъ же книгамъ въ надеждѣ отыскать въ дикомъ быту элементы того идеальнаго благосостоянія общества, которыхъ не находятъ они въ нѣдрахъ образованности. Авторы „путешествій“ къ дикимъ народамъ часто сами впадаютъ въ одну изъ этихъ крайностей: одни изъ нихъ, заѣхавъ на малоизвѣстный островъ Тихаго океана или дѣвственные лѣса Америки, смотрятъ на новый міръ, открывшійся ихъ праздному наблюденію, какъ на кунсткамеру, въ которой только то и интересно, что заключаетъ въ себѣ уродство и странность. Прочитайте описаніе, составленное такимъ путешественникомъ, и вы увидите передъ собою не людей, задержанныхъ въ развитіи силою враждебныхъ обстоятельствъ мѣстности, климата и исторіи, а какія-то особенныя существа, занимающія середину между человѣкомъ и животными. Другіе не преминутъ потчивать васъ другого рода каррикатурой: засыпая свои рассказы обольстительными терминами—свобода, довольство, простота нравовъ и т. п., они бьются изо всѣхъ силъ, чтобъ опозитизировать передъ вами картины звѣрскаго эгоизма, загложшихъ потребностей и грубаго удовлетворенія животныхъ нуждъ. Но изъ этого, разумѣется, отнюдь не слѣдуетъ, чтобъ изученіе быта дикихъ народовъ не имѣло интереса для людей, не подходящихъ не подъ одну изъ поименованныхъ нами категорій. Дѣло только въ томъ, что образованный и дальновидный наблюдатель интересуется ими съ сторонъ совершенно противоположныхъ. Уродства дикой жизни человѣка занимаютъ его не сами по себѣ, а какъ проявленія началъ, задерживающихъ его развитіе: онъ вовсе не видитъ въ дикарѣ существа особеннаго, обиженнаго природой; напротивъ, вся занимательность изслѣдованія этого существа сосредоточивается для него только на сочувствіи къ *однородному* съ нимъ существу, не имѣвшему средствъ развитъ въ себѣ всю полноту потребностей и силъ, образующихъ *человѣческій характеръ*. Съ другой стороны, никогда не увлечется онъ своею симпатіей до неразумнаго предпочтенія животнаго существованія дикихъ племенъ, не сопряженнаго, конечнаго, съ множествомъ золъ полуобразованности, условіямъ того быта, въ которомъ человѣкъ проявляется *человѣкомъ*. Однимъ

словомъ, сознаніе и живое чувство превосходства цивилизаціи передъ неразвитіемъ не покинетъ его ни на минуту, и наблюдая дикость, онъ будетъ служить все-таки цивилизаціи опытнымъ изслѣдованіемъ силъ, противодѣйствующихъ ея успѣхамъ. Часто это изслѣдованіе открываетъ ему въ первый разъ глаза и на такія проявленія дикости, которыя встрѣчаются и въ обществахъ, называемыхъ образованными. Часто ходитъ онъ этимъ путемъ до плодотворной критики многихъ черныхъ сторонъ полумцивилизациі, прикрытыхъ обманчивыми формами, но въ сущности заключающихъ въ себѣ то же, что во всей наготѣ бросается въ глаза въ обычаяхъ дикаго племени.

Г. Иславинъ, можетъ быть, смѣло названъ искуснымъ наблюдателемъ, насколько не зараженнымъ ни придубѣжденіемъ противъ жалкихъ существъ, которыхъ быть удалось ему изслѣдовать, ни смѣшнымъ пристрастіемъ къ такъ называемымъ преимуществамъ дикаго состоянія человѣка. Въ составленномъ имъ описаніи быта самоѣдовъ всѣ подробности такъ умно выбраны, что между ними нѣтъ ни одной недостойной вниманія мыслящаго человѣка и не исполненной общечеловѣческаго интереса. Такъ, напримѣръ, при описаніи домашняго быта самоѣдовъ онъ обратилъ особенное вниманіе на положеніе женщинъ у этого народа. Нельзя не одобрить этой внимательности, потому что ничѣмъ такъ хорошо не измѣряется степень развитія общества, какъ положеніемъ въ немъ лицъ, слабѣйшихъ по натурѣ своей и тѣмъ самымъ предоставленныхъ природой на произволъ сильныхъ. Вотъ нѣсколько подробностей, показывающихъ, далеко ли ушли самоѣды въ этомъ отношеніи:

„Самоѣдка или, какъ называютъ ее русскіе, *инька* не смѣетъ переступить черезъ *синикуй* (мѣсто въ *чумѣ*, то-есть, шалашѣ самоѣдскомъ, противоположное входу, считающееся священнымъ и служащее хранилищемъ лучшихъ вещей и самыхъ лакомыхъ припасовъ): это значило бы опоганить святыню, и онѣ такъ строго чтутъ этотъ обычай, что рѣдко случается, чтобъ инька погрѣшила противъ него; оно было бы вѣрнымъ предзнаменованіемъ какой-нибудь бѣды, и конечно, послѣ этого промыселъ былъ бы неудаченъ, или же въ слѣдующую ночь волкъ зарѣзалъ бы нѣсколько оленей въ стадѣ: одно средство для предохраненія себя въ такомъ случаѣ отъ бѣды—бросить въ синикуй горящій уголекъ, такъ какъ „огонь все очищаетъ“. Вообще, по понятіямъ самоѣдовъ, женщина почитается столь нечистою, что опоганиваетъ всякую вещь, черезъ которую переступить: веревка ли она, топоръ ли, оленья ли шкура и т. д., все дѣлается нечистымъ и непременно должно быть окурено или верёскомъ, или, что еще дѣйствительнѣе, оленьимъ саломъ. Женщина и у крещенныхъ самоѣдовъ считается нечистою, но они мало по малу отстаютъ отъ обычая курить опоганенныя вещи“ (стр. 25).

Униженіе, которому подвергаются у самоѣдовъ родильницы, возбуждаетъ глубокое негодованіе: „Для родильницы ставится особый чумъ, называемый *сямай-*

*мядик*о, поганный чумъ, если онъ есть, а если нѣтъ, то она родить въ томъ же чуму, въ которомъ живетъ семейство... Для очищенія чума послѣ родиль бабка, наливъ въ котелъ воды, спускаетъ въ него березовую губку, варитъ ее на огнѣ и тою водою кропитъ вещи и людей, находящихся въ чуму.... Въ продолженіе восьми недѣль родильница почитается столь нечистою, что не смѣетъ даже раздѣлять пищи съ мужемъ. По прошествіи этого времени, ее окуриваютъ верескомъ или оленьимъ саломъ, а чумъ переносятъ на другое мѣсто. Отъ этого обычая и крещенные еще совершенно отстать не могутъ“ (стр. 120—121).

Какъ трогательны послѣ этихъ отвратительныхъ подробностей дѣлаются изображенія общечеловѣческихъ чертъ этого униженнаго, втоптаннаго въ грязь существа. Вотъ мѣсто, котораго нельзя читать безъ особенной симпатіи къ бѣднымъ инькамъ: „Волосы самоѣдки заплетаютъ по русски въ двѣ косы, къ которымъ привѣшиваютъ красные и желтые суконные лоскуточки и ленты яркихъ цвѣтовъ, въ ушахъ носятъ серьги, а инья на шеѣ бусы и разнаго рода ожерелья; фероньеры также въ большомъ употребленіи и обыкновенно состоятъ изъ металлическихъ цѣпочекъ, у богатыхъ даже и серебряныхъ, опутываемыхъ въ нѣсколько рядовъ вокругъ головы. Русскіе и зыряне, доставляющіе имъ этотъ товаръ, пользуются ихъ слабостью и, разумѣется, берутъ за все въ три-дорога, а самоѣдки, даже и бѣдныя, не могутъ отказать себѣ въ удовольствіи увѣшаться красными и желтыми суконцами и звонкими побрякушками“ (стр. 32).

Но особенно интересны въ описаніи самоѣдскихъ обычаевъ тѣ черты грубости, которыя невольно рождаютъ въ умѣ читателя любопытныя сближенія съ нѣкоторыми *неровностями* извѣстнаго намъ быта. Вотъ, напримѣръ, какимъ цинизмомъ исполнены понятія самоѣдовъ о бракѣ, и какъ мало заботятся эти дикари прикрывать ихъ пріятными и тонкими продѣлками: „Отецъ женитъ дѣтей своихъ, не спрашивая напередъ ихъ на то согласія, и случается такъ, что родители сосватаютъ сына съ самаго его малолѣтства, иногда даже и на несовершеннолѣтней дѣвицѣ. Тогда отецъ, для переговоровъ съ родителями невесты, посылаетъ къ нимъ родственника или знакомаго сватомъ, по самоѣдски эву, который съ шомполомъ или варильнымъ крюкомъ въ рукѣ отправляется въ невинъ чумъ, по пріѣздѣ туда объявляетъ отцу имя пославшаго его и кладетъ ему на колѣни лисицу красную или бурую, для опредѣленія этимъ состоянія жениха; самъ выходитъ изъ чума, а иногда и уѣзжаетъ тотчасъ же обратно къ хозяину своему. Если подарокъ понравится отцу, и онъ пожелаетъ отдать дочь свою замужъ, то оставляетъ его у себя; если же нѣтъ, то не медля отсылаетъ обратно. Въ первомъ случаѣ сватъ снова ѣдетъ въ чумъ будущаго тестя, на этотъ разъ беретъ только одну бирку и молча подаетъ ее тестю, который намѣчаетъ на ней столько рубежковъ, сколько желаетъ взять за дочь свою оленей, песцовъ и т. д., и отдаетъ ее свату; сватъ, если уполномоченъ въ томъ отъ хозяина, срѣзываетъ съ бирки то число рубежковъ, которое ему кажется лиш-



нимъ. Условившись, наконецъ, въ цѣнѣ, каждый изъ нихъ на обоихъ концахъ палочки кладетъ клеймо свое, раскалываетъ бирку на двое, и тотъ и другой беретъ каждый по половинкѣ. Въ продолженіе всей этой сдѣлки не говорится почти ни слова, и только дѣйствуютъ посредствомъ знаковъ. Цѣны самоѣдскимъ невѣстамъ бываютъ довольно значительныя, соображаясь съ красотою и молодостью невѣсты и съ богатствомъ жениха“ и пр. (стр. 126 и 127).

Богослуженія у самоѣдовъ нѣтъ никакого. Жрецы ихъ, *тадибеи*, занимаются почти исключительно шарлатанскимъ лѣченіемъ болѣзней и разнаго рода предсказаніями. Вотъ что, между прочимъ, рассказываетъ о нихъ г. Иславинъ: „Самоѣды прибѣгаютъ обыкновенно къ тадибею для излѣченія отъ болѣзней, для предсказанія, успѣшенъ ли будетъ промыселъ, указанія, кто похитилъ изъ стада оленей и т. д. Тогда тадибей, чтобъ испытать сперва, въ состояніи ли онъ излѣчить больного, начинаетъ дѣлать надъ самимъ собою разнаго рода истязанія: садится подъ большой пологъ, гдѣ ставитъ подлѣ себя котелъ съ теплою водою; по нѣскольکو человекъ съ каждой стороны попеременно обвязываютъ ему веревкой то руку, то ногу, то голову и тянутъ съ обѣихъ сторонъ: тогда видно, какъ тадибей бьется подъ пологомъ, и слышно, какъ у него будто отрываются члены; если по окончаніи всего этого испытанія тадибей выйдетъ цѣлъ и невредимъ, то значитъ, что въ немъ дѣйствуетъ высшая сила, и что успѣхъ въ лѣченіи несомнителенъ. Во время вдохновенія онъ дѣлаетъ, будто вонзаетъ себѣ шомполъ или ножъ въ одинъ бокъ, а изъ другого вынимаетъ его и даже присутствующимъ позволяетъ дѣлать тоже надъ собою, и если не покажется ни капли крови, а только останутся слѣды на одеждѣ тадибея, то это предрекаетъ счастливый успѣхъ“ и проч. (стр. 110—111).

Прочитавъ рассказы г. Иславина о шарлатанствѣ тадибеевъ, мы не могли не вспомнить нѣсколько фактовъ, которыхъ сами были очевидцами въ странѣ, играющей огромную роль въ просвѣщеніи человѣчества. Одинъ изъ этихъ фактовъ приводитъ Валери въ своемъ „Путешествіи по Италіи“. Выписываемъ нѣсколько строкъ изъ его разсказа: „Въ сентябрѣ 1826 года я присутствовалъ (въ Неаполѣ, въ церкви св. Януарія) при совершеніи *чуда надъ кровью*. Стклянки съ кровью св. Януарія хранятся въ особомъ шкапу позади алтаря. Отъ этого шкапа есть всего на всего два ключа, изъ которыхъ одинъ находится у представителей города, другой—у архіепископа... Случалось, если чудо слишкомъ долго не совершалось, что народъ кидался съ озлобленіемъ на иностранцевъ, которыхъ всѣхъ почитаетъ онъ англичанами и еритиками... На этотъ разъ чудо совершилось въ понедельник, такъ какъ мнѣ предсказали люди, совѣтовавшіе зайти въ церковь именно объ эту пору; пушечный выстрѣлъ возвѣстилъ счастливую новость, „*Voyage en Italie*; I. XII. chap. VII).

Но перейдемъ теперь ко второй задачѣ г. Иславина, къ изсѣдованію отношеній, существующихъ между самоѣдами и переселенцами изъ русскихъ и зырянъ.

Въ продолженіе всего сочиненія, чуть не на каждой страницѣ упоминается о притѣсненіяхъ, претерпѣваемыхъ самоѣдами отъ этихъ промышленниковъ. Авторы не жалѣютъ фактовъ для доказательства той мысли, что эти притѣсненія составляютъ единственную причину разоренія дикарей. Во главѣ защиты идутъ факты историческіе: г. Иславинъ доказываетъ свидѣтельствами лѣтописей и сохранившимися до сихъ поръ грамотами, что самоѣды были первыми обитателями и владѣтелями тундры. Но, по нашему мнѣнію, эти историческія доказательства никакъ не могутъ имѣть силы доводовъ юридическихъ. Они дѣйствительно убѣждаютъ въ томъ, что самоѣды первые заняли Мезенскую тундру; но слѣдуетъ ли изъ этого, что русскіе и зыряне не имѣли права впослѣдствіи также поселиться въ этихъ мѣстахъ? Здѣсь неумѣстно было бы пускаться въ размышленія о разумности или неразумности права завладѣнія землею; но, смотря на вопросъ даже съ общепринятой и тысячелѣтіями утвержденной точки зрѣнія, нельзя не замѣтить, что самоѣды, какъ народъ кочевой, не могутъ претендовать на это право даже и на тѣхъ основаніяхъ, на которыхъ оно приписывается народу осѣдлому, занимающемуся промыслами, предполагающими признаніе поземельной собственности. Ни русскіе, ни зыряне не отнимали у самоѣдовъ ни земли, ни оленей, рѣшительно ничего; а дѣло въ томъ что безпечнымъ дикарямъ, почти незнакомымъ съ торговлею, дѣйствительно пришлось плохо, когда въ пустынь, гдѣ они нѣкогда кочевали одни, вдругъ появились промышленники неутомимые, ловкіе и оборотливые. Изъ одного оленеводства извлекали они такія выгоды, о какихъ и не помышляли ихъ дикіе соперники, ограничивающіеся употребленіемъ въ пищу мяса оленя да приготовленіемъ изъ шкуры и жилъ этого животного одежды, ремней и нитокъ въ домашнемъ обиходѣ. Для русскихъ и зырянъ, напротивъ того, оленеводство служитъ источникомъ множества продуктовъ, которыми они ведутъ дѣятельный торгъ. Одинъ этотъ промыселъ могъ бы уже сдѣлать ихъ значительными капиталистами. Но они не ограничиваются имъ, употребляя часть своихъ капиталовъ на пріобрѣтеніе хорошихъ снастей для звѣриной и рыбной ловли, которая опять приноситъ имъ огромныя выгоды. За неимѣніемъ добрыхъ снарядовъ, самоѣды и въ этомъ отношеніи отстали отъ своихъ осѣдлыхъ соперниковъ: они принуждены бываютъ или брать у нихъ снасти на прокатъ, платя за пользованіе дорогою цѣной, или идти къ нимъ въ долю, что дѣлается также на условіяхъ крайне невыгодныхъ для дольщиковъ. Если присоединить къ этому экономическія преимущества осѣдлой жизни предъ кочевой, то мы получимъ уже много данныхъ, которыми объясняются бѣдственные для самоѣдовъ результаты соперничества съ русскими и зырянами. Г. Иславинъ въ книгѣ своей развиваетъ эту мысль во всемъ ея объемѣ и очевидности. Не понимаемъ послѣ этого, о какихъ же притѣсненіяхъ говоритъ онъ такъ часто. Правда, самоѣды вошли въ долги, и значительная часть ихъ поэтому живетъ въ работникахъ, то-есть, въ кабалѣ, у русскихъ и зырянъ; правда и то, что наши промышленники нѣрѣдко пользова-

лись и до сихъ поръ не перестаютъ пользоваться ихъ страстью къ пьянству, какъ жида въ западныхъ губерніяхъ; но первое обстоятельство—опять-таки неминуемый результатъ превосходства, второго же, какъ оно ни постыдно для сильныхъ, все-таки нельзя назвать притѣсненіемъ, а скорѣе обольщеніемъ. Одну только продѣлку изъ описанныхъ г. Иславинымъ находимъ мы достойною часто употребляемаго имъ названія „притѣсненіе“: это то, что русскіе и зыряне, пользуясь легковѣріемъ самоѣдовъ, забираютъ ихъ въ кабалу подъ предлогомъ долговъ вымышленныхъ, сдѣланныхъ будто бы ихъ отцами и дѣдами. На такое плутовство тѣмъ необходимѣе было указать, что оно легко можетъ быть устранено введеніемъ строгихъ юридическихъ формъ. Какъ бы то ни было, это частный случай, изъ-за котораго не слѣдуетъ выпускать изъ виду, что, вслѣдствіе необходимаго, хотя и довольно тягостнаго общенія съ русскими и зырянскими промышленниками, самоѣды отстаютъ мало по малу отъ своей дикости. Большая часть изъ нихъ приняли уже христіанскую вѣру. Впрочемъ, въ заключеніе своей книги г. Иславинъ обнаруживаетъ взглядъ на отношенія самоѣдовъ къ ихъ соперникамъ, совершенно согласный съ нашимъ. Вотъ собственныя слова путешественника „При этомъ, хотя кратко обрисованномъ очеркѣ настоящаго быта самоѣдовъ, не излишне было бы упомянуть и о состояніи нынѣ существующаго у нихъ административнаго порядка, если бы не предвидѣлось, что частію по замѣчаніямъ мѣстнаго начальства, частію же по моихъ предположеніямъ, прежнія постановленія вскорѣ подвергнутся измѣненію и могутъ быть приняты новыя мѣры для устройства этого народа. Но даже и при новомъ, лучшемъ порядкѣ вещей *нельзя предсказать самоѣдамъ счастливой будущности*: племя это должно въ непродолжительномъ времени слиться съ народомъ сильнѣйшимъ: это слишкомъ естественный ходъ вещей, явленіе, повторяющееся каждый разъ при столкновеніи болѣе развитого народа съ полудикимъ, не образованнымъ племенемъ; и какъ могутъ безпечные, недалёковидные самоѣды устоять противъ нравственнаго надъ ними вліянія бойкихъ, предприимчивыхъ зырянъ и русскихъ? Богатые слишкомъ нуждаются въ нихъ для сбыта промысловъ, бѣдные слишкомъ привыкли считать ихъ своими властителями, и бѣднымъ трудно представить себѣ, *чтобъ они могли существовать безъ зырянъ и русскихъ, а весь народъ слишкомъ страстно преданъ горячимъ напиткамъ, чтобы когда-либо могъ самостоятельно управлять собою и удержать хотя малую часть не утраченнаго еще достоинства своего*“ (стр. 141).

Вотъ это справедливо! Не понимаемъ только, почему же авторъ отказываетъ самоѣдамъ въ счастливой будущности. Вѣдь находитъ же онъ, что при жалкой самостоятельности своей они вполне несчастны: отчего же не допустить, что по сліяніи съ русскими и зырянами, они сдѣлаются счастливѣе, усвоивъ себѣ хоть половину тѣхъ свойствъ, которыя теперь даютъ этимъ переселенцамъ такой важный перевѣсъ надъ дикими обитателями тундры? Вотъ если бы г. Иславинъ принадле-

жалъ къ числу тѣхъ мыслителей, которые въ народѣ больше всего уважають его оригинальность, то-есть, уклоненіе отъ общечеловѣческаго характера, и утверждаютъ, что національная особенность—то же, что личность въ отдѣльномъ чловѣкѣ, тогда мы нисколько не удивились бы его сомнѣнію и объяснили бы его скорбью о предстоящей утратѣ самоѣдской народности... Но мы не замѣтили въ немъ никакихъ странныхъ теоретическихъ предубѣжденій, что и заставило насъ указать на мелкіе промахи, встрѣчающіеся въ весьма маломъ количествѣ въ его прекрасномъ сочиненіи.

Въ заключеніе нашего отзыва не можемъ не заимствовать изъ книги г. Иславина нѣсколько въ высшей степени любопытныхъ фактовъ относительно быта русскихъ и зырянъ, поселившихся въ странѣ самоѣдовъ.

„Трудно повѣрить, чтобы въ такомъ отдаленномъ и, по общепринятому понятію, пустынномъ, заброшенномъ краѣ было столько распространено между крестьянами богатства и благосостоянія: не говоря уже о значительномъ (для крестьянина) состояніи чловѣкѣ 15-ти ижемскихъ крестьянъ, изъ коихъ каждый имѣетъ по нѣскольку тысячъ (до 6,000) оленей и по нѣскольку десятковъ тысячъ чистаго капитала, даже у иныхъ бѣдныхъ печорскихъ крестьянъ болѣе встрѣчаешь довольства, чѣмъ во многихъ губерніяхъ пространной Россіи... Между ижемскими оленеводцами *богатымъ* почитается только тотъ, у котораго отъ 1,000 до 5.000 или 6,000 оленей; тѣ, которые имѣютъ ихъ отъ 500 до 1,000, принадлежатъ къ *среднему* состоянію, а имѣющіе 100, 200, 300 оленей считаются *бѣдными*, между тѣмъ какъ самоѣдъ *бѣднымъ* почитается только тогда, когда имѣетъ менѣе 50 оленей“ (стр. 74—75).

Въ самомъ быту своемъ переселенцы отличаются развитіемъ потребностей, неслыханнымъ между крестьянами внутреннихъ губерній. Но г. Иславинъ весьма справедливо упрекаетъ ихъ въ жадности; эта слабость ведетъ ихъ къ неумѣренному вылавливанію рыбъ и звѣрей, которое имѣетъ слѣдствіемъ своимъ ежегодное уменьшеніе тѣхъ и другихъ. Замѣчательно, что священникъ Веніаминъ говоритъ то же самое о промышленникахъ Алеутскихъ острововъ.

Остается пожелать, чтобъ у насъ появлялось побольше такихъ сочиненій, какъ „Самоѣды въ домашнемъ и общественномъ быту“.

## А. Н. Поповъ.

Путешествіе въ Черногорію. Сочиненіе Александра Попова. Санктпетербургъ. 1847.

Шесть лѣтъ тому назадъ вышла въ свѣтъ очень интересная книга „Четыре мѣсяца въ Черногоріи“, сочиненіе г. Ковалевскаго. Въ предисловіи къ своему

путешествію г. Ковалевскій привелъ слова Гиббонна; „Албанія, которую можно видѣть съ береговъ Италіи, менѣе извѣстна, чѣмъ внутренность Америки“. Онъ былъ правъ, прибавляетъ авторъ,—особенно примѣняя слова свои къ Черногоріи, которая и теперь на географическихъ картахъ носитъ чуждое ей имя турецкой Албаніи. Обстоятельство это послужило достаточнымъ поводомъ для туриста безъ претензій—посѣтить Черногорію и сообщить о ней свѣдѣнія публикѣ. „Четыре мѣсяца въ Черногоріи“ были прочтены съ удовольствіемъ: въ этой книгѣ, кромѣ географическаго и историческаго очерка Черногоріи, заключается много фактовъ, характеризующихъ дикій, уединенный и воинственный народъ. Разсказъ г. Ковалевскаго живъ, простъ и увлекателенъ. Жаль только, что подъ часъ онъ можетъ раздосадовать читателя неумѣстнымъ остроуміемъ. Впрочемъ, это общій недостатокъ слога тѣхъ путешественниковъ, которые разъѣзжаютъ по бѣлому свѣту безъ всякой предварительной идеи объ интересѣ той или другой мѣстности. Для нихъ все равно важно, все равно занимательно, а еще чаще случается такъ, что они и сами не чувствуютъ важности описываемыхъ фактовъ; потому-то и находятъ они нужнымъ *украшать* свой разсказъ надутымъ краснорѣчіемъ, сентиментальными или философическими разглагольствованіями, или, наконецъ, болѣе или мѣнѣе удачными, но почти всегда неумѣстными остротами.

Совершенную противоположность такого рода безпечнымъ туристамъ составляютъ путешественники-теоретики, пріѣзжающіе на мѣсто изученія съ готовыми взглядами, вырощенными въ глуши ученыхъ кабинетовъ и достигшими послѣдней степени фантастической односторонности на пріятельскихъ сходкахъ. Если дагеротипическая непосредственность людей перваго рода имѣетъ свои непріятныя и смѣшныя стороны, то во сто разъ несноснѣе и смѣшнѣе пустозвонное философствованіе другихъ. Если одинъ раздосадуетъ и размѣшитъ васъ иногда своимъ чисто механическимъ воспріятіемъ фактовъ, то что же сказать о другомъ, который приводитъ вамъ факты и потчуетъ васъ въ то же время такою теоріей, которой самые эти факты совершенно противорѣчатъ. Въ отношеніи къ слогу между этими путешественниками то различіе, что непосредственный человѣкъ, какъ мы уже сказали, надобѣдаетъ вамъ такъ-называемыми *литературными украшеніями*, а теоретикъ—туманными фразами и швольными вычурами.

Все это—о путешественникахъ втораго рода—не можетъ не прійти въ голову при чтеніи „Путешествія въ Черногорію“ г. Александра Попова. Г. Ковалевскій издалъ свое путешествіе по причинѣ весьма простой и понятной, именно потому, что этотъ дикій уголокъ Европы слишкомъ мало извѣстенъ остальной Европѣ. Г. Поповъ, пожалуй, также можетъ сказать, что онъ хотѣлъ ознакомить насъ съ неизвѣстнымъ краемъ; но онъ самъ же признается въ предисловіи къ своему „Путешествію“, что „умыселъ другой тутъ былъ“. Но чтобъ убѣдиться въ этомъ, надо пробѣжать его удивительное предисловіе.

„Съ недавняго времени“, говоритъ онъ въ самомъ началѣ,—„пробудился вопросъ о славянахъ и занимаетъ всю западную (?) Европу“!!! Что это такое? Какой это вопросъ о славянахъ, и что это за западная Европа, которая вся занята вопросомъ о славянахъ? Извѣстно, что западная Европа недавно начала заниматься изученіемъ славянскаго племени; но, чтобы на западѣ возникъ какой-нибудь вопросъ объ этомъ племени, и чтобы этотъ вопросъ получилъ тамъ всеобщій интересъ, это такъ ново, такъ противорѣчитъ всѣмъ извѣстіямъ о современныхъ западныхъ вопросахъ, что намъ остается принять слова г. Попова за одну изъ тѣхъ невинныхъ фантазій, которыми, конечно, всякій въ правѣ попомянуть свой досугъ, но которыя нельзя передавать другимъ, не рискуя услышать то, что говаривали одному веселому герою „Мертвыхъ Душъ“, отходя отъ него въ сторону и махая руками.

Пропускаемъ всю середину предисловія г. Попова; она не менѣе любопытна, но не идетъ къ нашему дѣлу. Перейдемъ къ заключенію, въ которомъ онъ опять говоритъ о „славянскомъ вопросѣ“, какъ о чемъ-то совершенно дѣйствительномъ. „Если“, говоритъ онъ,—„мы обратимъ вниманіе на то, въ какомъ видѣ признанъ и понятъ этотъ вопросъ у насъ, то къ несчастію (!), должны будемъ сознаться, что немногіе поняли всю его важность и значеніе, особливо въ отношеніи къ намъ, и еще меньшіе выразили свое сознаніе во всеуслышаніе. Большая часть такъ-называемаго образованнаго класса равнодушна къ этому вопросу, а многіе изъ пишущихъ прямо враждебны. Безъ сомнѣнія, эта вражда не выражаетъ народнаго отношенія къ вопросу и представляетъ не болѣе, какъ случайное явленіе, даже не литературное мнѣніе; ибо и литературное мнѣніе должно быть основано на знаніи дѣла. Причина общаго равнодушія“, продолжаетъ г. Поповъ,—„кажется, зависитъ отъ того, что мы еще мало знаемъ прошлую исторію и современный бытъ племенъ намъ однородныхъ“.

Прекрасно да не значить ли это дуть въ тотъ мыльный пузырь, который сами же вы пустили на воздухъ? Во-первыхъ, если исторія и настоящее положеніе славянскаго племени вообще еще такъ мало изучены, какъ вы утверждаете, то откуда же могъ взяться и вопросъ о славянахъ? Вы скажете, что это относится только къ намъ, русскимъ, что западная Европа предупредила насъ въ изученіи нашихъ единоплеменниковъ. Да какіе же это-именно европейскіе народы такъ перещеголяли насъ въ этомъ дѣлѣ? Извѣстно, что къ нему приступали только нѣмцы и французы; но о первыхъ вы сами говорите не безъ доказательствъ, что „славянскій вопросъ доселѣ не былъ понятъ и оцѣненъ германцами“ (стр. XVI); что же до послѣднихъ, на нихъ выдумывать странно: французская литература у насъ слишкомъ извѣстна; всѣ знаютъ, что интересоваться изученіемъ славянъ во Франціи стали очень недавно, да и то не въ массѣ, а въ ученomъ сословіи, и что труды французскихъ ученыхъ по этой части еще слишкомъ незначительны для того, чтобы можно было назвать удовлетворительнымъ ихъ изученіе славянскаго



племени. Второе, если вы утверждаете, что мы, русскіе, мало знаемъ самихъ себя и своихъ соплеменниковъ, то зачѣмъ же сѣтуете на равнодушіе къ вопросу, который можетъ имѣть смыслъ только при условіяхъ совершенно противоположныхъ, зачѣмъ вы говорите: „немногіе поняли его важность и значеніе“?

Впрочемъ, это мимоходомъ; а дѣло въ томъ, что изъ приведенныхъ словъ предисловія къ „Путешествію въ Черногорію“ нельзя не догадаться, что за путешественникъ г. Поповъ: онъ ѣздилъ въ Черногорію, имѣя въ виду подтвержденіе одной изъ фантастическихъ теорій или вопросовъ, и потому-то книга его можетъ служить образцомъ сочиненій туристовъ-теоретиковъ. Чтобы доказать справедливость этихъ словъ, мы обратимъ вниманіе на двѣ главы изъ этой книги, самыя занимательныя и важныя по заглавію, именно: „Исторія Черногоріи со времени ея отдѣленія отъ Сербскаго царства и до владыки Петра“; „Юридическій бытъ Черногоріи, очеркъ государственнаго, гражданственнаго и семейнаго права“.

Достоверная исторія Черногоріи очень коротка. До завоеванія Сербіи турками она составляла округъ Сербскаго царства, управлявшійся однакожъ собственными князьями. Турецкій султанъ Амуратъ покорилъ Сербію въ 1389 году. Черногорія не поддалась его власти и сдѣлалась отдѣльнымъ государствомъ, которымъ сначала управляли князья, а потомъ духовные сановники, вслѣдствіе завѣщанія князя Георгія Черноевича, предавшаго свою власть митрополиту Герману. Постоянныя войны съ турками поддерживали въ черногорцахъ воинственный духъ и младенческую грубость, горы и отчаянная храбрость спасли ихъ независимость,—и больше почти ничего, кромѣ того, что съ начала XVIII столѣтія Черногорія управлялась рядомъ владыкъ, употреблявшихъ всѣ мѣры для того, чтобы вывести ее изъ состоянія дикости. Мѣры эти однакожъ до сихъ поръ остаются почти безуспѣшными, такъ что, напримѣръ, между черногорцами кровавая месть и теперь еще—явленіе самое обыкновенное. Вы скажете, что тутъ, собственно говоря, нѣтъ никакой исторіи, потому что нѣтъ никакого развитія. И мы согласны съ вами: эта исторія, должно быть, впереди. А знаете ли, къ какому средству прибѣгъ г. Поповъ для того, чтобъ у него въ книгѣ непременно была исторія Черногоріи? Онъ составилъ ее изъ переложенія народныхъ пѣсенъ, въ которыхъ описываются баснословные подвиги черногорскихъ удалцевъ въ борьбѣ съ могуществомъ турокъ. Жаль, что знаменитый романистъ Дюма не знаетъ по-русски: то-то бы покупался онъ въ этомъ источникѣ на удивленіе свой безчисленный публики.

Но настоящій букетъ философіи и языка г. Попова въ главѣ пятой, носящей заглавіе „Юридическій бытъ Черногоріи“ и проч. Сколько можно понять изъ книгъ *понятныхъ*, это бытъ патріархальный, родовой, но съ начала восемнадцатаго столѣтія въ борьбѣ съ государственными началами, которыя старались и стараются внести въ него заботливые владыки. Но какъ представлено это у г. Попова? Отвѣчать на этотъ вопросъ можно только выписками. Послушайте:

„Во время Черноевичей мысль о свободѣ и независимости Черной горы не только не вошла въ общее сознаніе, но даже не была въ инстинктѣ народа. Искони привыкла Черногорія быть одною изъ областей, покорныхъ Сербскому царству. Она дралась съ турками за то, что турки погубили царя Лазаря и Сербію, и за то, что турки гнали православную вѣру. Князь былъ лицомъ уважаемымъ или простымъ предводителемъ войска, *нисколько не сознавая своего государственнаго значенія*. Потому, съ одной стороны, онъ ищетъ опоры и покровительства въ другихъ государствахъ. Во время Черноевичей и послѣдующее за нимъ нѣтъ данныхъ, изъ которыхъ можно бы заключить, что Черногорія останется и окрѣпнетъ, какъ область независимая. Напротивъ, легко ей было починиться другому государству такъ же, какъ подчинялась она Сербіи. Мысль объ этой зависимости еще не прошла. Съ другой стороны, положеніе Черногоріи, оторванной отъ Сербіи, не приставшей ни къ какому другому государству, требовало развитія внутри ея понятій государственныхъ. И они развились и вошли въ общее сознаніе въ смыслѣ государственнаго значенія каждаго черногорца: мысль, которая впоследствии перешла въ понятіе о равенствѣ въ братствѣ всѣхъ черногорцевъ. Это, если можно такъ выразиться, только личное сознаніе государственныхъ понятій, войдя въ семейное устройство черногорцевъ, произвело понятіе о родѣ, родовое устройство. Каждый родъ получилъ значеніе государства. Въ чемъ же могло заключаться общее средоточіе Черногоріи? Что соединяло эти роды, эти многочисленныя государства въ одно цѣлое? Единство происхожденія, народность? Но это единство было имъ общимъ и съ другими сербами, покорными власти турокъ и венеціанъ! Вѣра? Но и вѣра православная принадлежала всѣмъ сербамъ! Однако у покоренныхъ сербовъ православная вѣра потеряла свое исключительное значеніе: въ областяхъ турецкихъ магометанство, въ областяхъ венеціанскихъ латинство занимали первое мѣсто въ общественной жизни. Итакъ, не собственно вѣра, исповѣданіе, но ея значеніе въ общественной жизни, ея, такъ-сказать, государственная сторона, власть церковная, вотъ что могло сосредоточивать разрозненные члены Черногоріи. Прекращеніе княжеской власти въ Черногоріи представляетъ любопытное историческое явленіе. Послѣдній Черноевичъ, какъ бы сознавая, что власть бана вовсе не можетъ имѣть государственнаго значенія въ Черногоріи и быть средоточіемъ общественной жизни, добровольно отказывается отъ власти и удаляется въ Венецію. Выѣстъ съ тѣмъ, тоже какъ бы подвигнутый тайнымъ сознаніемъ, что единственно церковная власть можетъ быть средоточіемъ Черногоріи, ставитъ на свое мѣсто, по общему согласію народа, митрополита. Такъ начинается духовная власть въ Черногоріи, власть владыкъ“.

Что это такое? „Князь былъ лицомъ уважаемымъ или простымъ предводителемъ воска, *„нисколько не сознавая своего государственнаго значенія“*. Да какъ же сознавать въ себѣ то, чего не имѣешь? Далѣе, что такое „личное

сознаніе государственныхъ понятій въ народѣ“? Кажется, это значитъ „сознаніе государственныхъ понятій каждымъ членомъ общества порозь“, что однозначуще съ сознаніемъ ихъ и массой народа; если каждый изъ народа сознаетъ государственныя идеи, такъ и весь народъ сознаетъ ихъ. Отчего же результатъ этого всенароднаго сознанія *государственныхъ* понятій—родовое устройство? Не будемъ разбирать даяѳе; оставимъ въ покоѣ и дивное объясненіе происхожденія духовной власти въ Черногоріи, и всю остальную главу: предоставляемъ это охотникамъ до философическихъ курьезностей.

За всѣмъ тѣмъ, справедливость требуетъ сказать, что въ книгѣ г. Попова все-таки есть любопытныя вещи, именно—черногорскія пѣсни, Судебникъ владыки Петра и свѣдѣнія объ администраціи края. Остается сожалѣть, что фантазія и страсть къ филисофскимъ тонкостямъ увлекаютъ автора далеко за предѣлы дѣйствительности.

### Д. А. Милютинъ.

**Критическое изслѣдованіе значенія военной географіи и военной статистики. Д. Милютинъ. Санктпетербургъ. 1846.**

Есть люди, совершенно предубѣжденные противъ всѣхъ безъ исключеніи трактатовъ о размежеваніи наукъ вообще, и общественныхъ въ особенности. Такое предубѣжденіе—крайность; но въ основаніи его много истины. Едва ли найдется во всей ученой литературѣ, особенно нѣмецкой, тема, на которую было бы написано столько вздору! Причина этого факта проста. Во-первыхъ, нѣтъ нужды прочно усваивать себѣ науку для того, чтобы произвести нѣсколько очень остроумныхъ идей о томъ, чѣмъ бы она должна была быть и чѣмъ не должна, что хорошо было бы отъ нея урѣзать и отдать другой наукѣ, и что пріятно было бы отнять у другихъ отраслей познанія въ ея пользу. Всѣ науки такъ же тѣсно связаны между собою, какъ и части міра, который онѣ изслѣдуютъ, и потому два человѣка съ равными умственными силами могутъ вести другъ съ другомъ безконечную войну, напримѣръ, за границы правъ уголовного, государственнаго и гражданскаго: одинъ умный человѣкъ можетъ очень убѣдительно доказывать всю, свою жизнь, что уголовно право, какъ наука, имѣющая предметомъ дѣйствія частныхъ лицъ—преступленія, должна входить въ составъ гражданскаго или частнаго права. Другой не менѣе умный человѣкъ можетъ съ такимъ же успѣхомъ опровергать мнѣніе перваго на томъ основаніи, что уголовное право разсматриваетъ не одни преступныя дѣйствія частныхъ лицъ, но и наказанія за преступленія, дѣятельность общественной власти, которая составляетъ предметъ изслѣдованій государственнаго права. Можетъ найтись и третій ученый, ни чѣмъ не хуже двухъ первыхъ, который заблагоразсудитъ отбросить мнѣнія того и другого и доказывать, что такъ какъ оба они правы,

каждый съ своей точки зрѣнія, то всего лучше не смѣшивать уголовнаго права ни съ частнымъ, ни съ публичнымъ и сдѣлать его отдѣльною, самостоятельную наукой. Наконецъ, пожалуй, явится и такой критикъ, который, несмотря на эти три равно доказанныя мнѣнія, пробьетъ себѣ путь къ оригинальности хоть, наприимѣръ, такимъ соображеніемъ: „Зачѣмъ“, скажетъ онъ,—„дѣлать то, что сопротивляется дѣленію, подчиняясь нѣсколькимъ противоположнымъ? Не лучше ли слить всѣ три права—и публичное, и частное, и уголовное, въ одну общую теорію права, въ одну науку, изслѣдующую отношенія общественной власти къ членамъ общества, и наоборотъ?“ Что жъ? Чѣмъ худо? Почему бы не принять хоть этой системы... и не остановиться на ней, чтобы, наконецъ, на чемъ-нибудь остановиться и приняться за дѣло! Принять-то можно, но кто поручится намъ, что завтра же не явится новый изслѣдователь, который докажетъ побѣдоноснѣе всѣхъ предшественниковъ, что всѣ они заблуждались, а справедливъ одинъ только его взглядъ на предѣлы политическихъ наукъ, взглядъ, по которому вся область права раздѣляется на двѣ провинціи или частныя науки: одна изслѣдуетъ положительное дѣйствіе власти на общество посредствомъ развитія всѣхъ силъ послѣдняго, другая—отрицательное, то-есть, мѣры къ удаленію всего, что препятствуетъ этому развитію. Немного познаній въ правѣ нужно для того, чтобы продолжать и никогда не окончить этой остроумной забавы, этого безконечнаго переставленія однихъ и тѣхъ же предметовъ такъ, чтобъ изъ нихъ всегда выходилъ новый красивый и отмѣнно хитрый узоръ. Конечно, для составленія его необходимо издержать изрядный запасъ логики; но это-то обстоятельство и увлекаетъ человѣка въ игру; оно же и обманываетъ его: издержавъ довольно умственной силы на свою безплодную работу, онъ сохраняетъ воспоминаніе о понесенномъ трудѣ, объ усердіи, съ которымъ устраивалъ и слаживалъ свои силлогизмы, о тѣхъ пріятныхъ часахъ, которые провелъ въ изложеніи ясно сознанныхъ мыслей, и не вѣрится ему, чтобы вся эта задушевная, сладкая, блестящая и благодарная работа пропала даромъ, безъ пользы для другихъ, безъ содѣйствія къ уясненію истины!

Вы скажете, что слова эти относятся къ тѣмъ мертвымъ и эксцентрическимъ созданіямъ, у которыхъ не хватаетъ жизни и крови, чтобы противодѣйствовать наважденію схоластики, чтобы прочувствовать родство науки и дѣйствительности, чтобы не принять скелета за организмъ и не преклониться передъ мертвымъ, принявъ его за живое? Приговоръ будетъ несправедливъ. Нѣтъ ничего обольстительнѣе и коварнѣе любимаго труда: это—первый, истинный врагъ порядочнаго человѣка, и нѣтъ ничего легче, какъ подчиниться его льстивымъ внушеніямъ, добровольно, съ упоеніемъ отдать себя въ кабалу этому искусному деспоту, не признать надъ собою никакой другой власти и тѣмъ самымъ отдѣлать себя отъ міра. Пристрастившись къ какой-нибудь наукѣ и не будучи въ состояніи дѣйствовать въ той сферѣ, гдѣ она воплощается въ практическую жизнь,

мы начинаемъ сосредоточивать на ней все обиліе своей любви и невольно слѣпнемъ въ привязанности къ ней; намъ начинаетъ казаться невѣроятнымъ, чтобы существовала въ мірѣ прелесть обольстительнѣе ея прелести, интересъ— важнѣе ея интереса. Равнодушіе общества, въ которомъ дано намъ жить, къ тому и другому дѣлается для насъ рѣшительно невѣроятнымъ: страстному натуралисту кажется, что весь міръ только и думаетъ объ его открытіяхъ, только того и ждетъ, чѣмъ-то кончится исторія зернышка, посаженнаго имъ въ удивительный составъ, имъ придуманный; страстный философъ съ замираніемъ сердца помышляетъ о томъ, что люди бросили думать о деньгахъ и повышеніяхъ въ тревожномъ ожиданіи его отвѣта на заданный имъ себѣ вопросъ о сущности жизненной силы, и т. д. Такая любовь непременно влечетъ за собою непомѣрную рачительность въ ученыхъ трудахъ. Мы начинаемъ ухаживать за наукой, какъ страстный садовникъ ухаживаетъ за садомъ; является неутомонная забота о содержаніи ея въ безукоризненной чистотѣ и совершенной цѣлости: мы, не обинуясь, бросаемся на убійственные труды для отысканія какого-нибудь факта, сей принадлежащаго, но затеряннаго другими или оттяганаго чужими науками входимъ въ страшныя издержки собственныхъ средствъ на поиски и на войну съ противниками; мало по малу воспаляемъ въ себѣ, по поводу такой возни, всѣ страсти, въ которыхъ способенъ вылиться запасъ данной намъ жизненности, и тогда уже увлекаемся ими безостановочно, безвозвратно, крутятся въ водоворотѣ до тѣхъ поръ, пока не настанетъ изнеможеніе и смерть, которую встрѣтимъ мы комическимъ сожалѣніемъ о томъ, что не успѣли досказать міру всего, что можно было бы сказать блестящаго, но пустого, а еще чаще и просто пустого... Однимъ словомъ, нуженъ сильный напоръ дѣйствительности для того, чтобы обратить человѣка отъ школьныхъ и бесплодныхъ страстей къ жизни, чтобы во время выхватить его изъ этой бездны, наполненной ничтожными, но увлекательными призраками.

Но этотъ взглядъ на нелѣпую сторону толковъ и споровъ о значеніи и предѣлахъ разныхъ наукъ нисколько не мѣшаетъ намъ, безъ всякаго противорѣчія обстаннымъ словамъ, признать въ нихъ и то, что кажется намъ дѣльнымъ и важнымъ.

Большая разница—спорить о значеніи и предѣлахъ науки изъ страсти къ какому-то формальному порядку или изъ заботы о сохраненіи того свойства, которое можно назвать полнотою (слово, служащее синонимомъ и опредѣленіемъ другаго менѣе опредѣлительнаго—совершенство). Міръ, доступный вашему сознанию, вовсе не похожъ на складную картинку, какою воображаютъ его схоластики, претендующіе на возможность отыскать на поверхности его тѣ вѣчныя линіи, которыя, по ихъ понятіямъ, обрисовываютъ фигуру каждой изъ легко разнимающихся и складывающихся частей его. Рассмотрите какую угодно часть этого стройнаго организма,—вы найдете въ ней тѣ элементы, какъ и во всѣхъ

остальныхъ, только въ другихъ отношеніяхъ одного къ другому. Поэтому, напрасно было бы ломать голову надъ задачей непреложнаго, однообразнаго раздѣленія наукъ, изслѣдующихъ различныя составныя части міра. Но изъ этого не слѣдуетъ еще, чтобы всякое понятіе о значеніи и предѣлахъ каждой науки было непогрѣшимо, и чтобы не было на свѣтѣ мѣста вѣрнымъ и ложнымъ взглядамъ на этотъ предметъ. Самое то, что всѣ безъ исключенія части существующаго заключаютъ въ себѣ, каждая, одни и тѣ же основные элементы подъ условіями различнаго отношенія ихъ одного къ другому, самое это обстоятельство уже ведетъ насъ къ заключенію, что изученіе части можетъ быть полное и, слѣдовательно, удовлетворительное, если оно исчерпываетъ всѣ упомянутые элементы, или неполное, то-есть, неудовлетворительное, если упускаетъ изъ виду нѣкоторые изъ нихъ. Къ этому можно прибавить еще, что понятіе о полнотѣ точно такъ же исключаетъ излишество, какъ и недостатокъ: человекъ съ тремя руками—такое же неполное существо, какъ и однорукій. Поэтому истинный взглядъ на значеніе и предѣлы науки не допускаетъ и того, чтобы одинъ изъ элементовъ изучаемаго предмета былъ показанъ въ ней не въ томъ объемѣ, въ какомъ существуетъ онъ въ дѣйствительности.

При такомъ реальномъ взглядѣ на раздѣленіе наукъ, сообразное съ ихъ предметомъ, нѣтъ никакихъ средствъ впасть и въ схоластическую болтовню, въ переливаніе изъ пустого въ порожнее. Этого взгляда, какъ мы увидимъ далѣе, держится авторъ дѣльной брошюры о значеніи военной географіи и военной статистики. Мы сочли нужнымъ формулировать его для того, чтобы опредѣлить достоинство сочиненія, съ содержаніемъ котораго намѣрены познакомить читателей.

Брошюра раздѣлена на четыре параграфа, объемлющіе собою рѣшенія двухъ спорныхъ вопросовъ: 1) о статистикѣ и географіи вообще, и 2) о военной географіи и военной статистикѣ въ особенности. Оба рѣшенія равно замѣчательны по своей логичности и простотѣ.

Прежде всего авторъ излагаетъ и рассматриваетъ критически мнѣнія о военной географіи тѣхъ писателей, изъ которыхъ одни полагаютъ, что военная географія должна заключать въ себѣ подробное топографическое описаніе каждаго государства, а другіе смотрятъ на нее, какъ на извлеченіе изъ общей географіи, примѣненное къ потребностямъ военныхъ людей. Расчетъ съ тѣми и другими короткій и окончательный. Первымъ авторъ напоминаетъ, что знаніе мѣстности въ той подробности, какая необходима для тактическихъ соображеній, недоступно памяти, и что „какъ ни тщательнѣ стараются правительства въ мирное время собирать свѣдѣнія подобнаго рода о сосѣднихъ странахъ, однако передъ начатіемъ военныхъ дѣйствій и въ продолженіе ихъ необходимо должно еще производить рекогносцировки, обозрѣнія, также снимать маршруты, планы позицій и т. п.“ (стр. 7 и 8). „Нѣкоторые полагаютъ“, говоритъ г. Милютинъ—„что въ военной географіи не только должны быть описываемы всѣ подробности мѣстности, но



что притомъ необходимо разсматривать ихъ въ примѣненіи къ самымъ дѣйствіямъ военнымъ. Опытъ подобнаго рода представляетъ и Вентурини<sup>1)</sup>. Но есть ли какая-нибудь возможность уловить всѣ случаи, при которыхъ каждая черта топографіи края можетъ имѣть вліяніе на тактическія подробности военныхъ дѣйствій? Одинъ и тотъ же мѣстный предметъ можетъ имѣть совершенно противоположное значеніе въ двухъ разныхъ случаяхъ, смотря по связи обстоятельствъ, разнообразной до безконечности. Опредѣлять заблаговременно всѣ пути для движенія колоннъ, позиціи для боя, лагерныя мѣста значило бы гоняться за химерою, болѣе чѣмъ несбыточною, не заслуживающею опроверженія“ (стр. 8).

Что касается до писателей второго рода, то-есть, тѣхъ, которые смотрятъ на военную географію, какъ на извлеченіе изъ географіи общей, примѣненное къ потребностямъ военныхъ людей, то авторъ весьма основательно замѣчаетъ, что нѣтъ никакой причины относить такую выписку къ области наукъ военныхъ. Сверхъ того, „географія“, говоритъ онъ, — „менѣе всякаго другого предмета можетъ образовать какую-либо спеціальную науку, ибо она сама не имѣетъ опредѣленнаго значенія, а состоитъ изъ данныхъ самыхъ разнородныхъ, относящихся ко всѣмъ отраслямъ знаній. Географія есть обширный запасъ данныхъ, служащихъ матеріаломъ для всѣхъ наукъ; сама же никакъ науки особой составить не можетъ. Если географія излагается въ систематическихъ учебникахъ и преподается въ школахъ, то исключительно только въ размѣрахъ и значеніи предмета элементарнаго, котораго изученіе необходимо каждому образованному человѣку. Слѣдственно, если бъ и военная географія должна была состоять только изъ фактическихъ свѣдѣній, извлеченныхъ изъ общей географіи, въ такомъ случаѣ и она могла бы также быть только элементарнымъ учебникомъ, примѣняемымъ къ военнымъ школамъ, или же просто, сборникомъ для справокъ, подобно словарямъ“ (стр. 14).

Второй параграфъ разсужденія заключаетъ въ себѣ превосходный разборъ тѣхъ сочиненій, въ которыхъ выразились попытки разныхъ писателей дать военной географіи характеръ самостоятельной науки, занимающейся критическимъ изслѣдованіемъ мѣстныхъ данныхъ въ отношеніи стратегическомъ. Вотъ заключение автора: „Если, сообразно съ этимологическимъ и общепринятымъ значеніемъ слова, военная географія должна ограничиться тѣми данными, которыя относятся къ виду земной поверхности, то очевидно, что она не можетъ входить въ стратегическія изслѣдованія, а должна по необходимости оставаться простымъ сборникомъ фактическихъ свѣдѣній, подобно большей части нѣмецкихъ сочиненій, выходявшихъ подъ этимъ именемъ; въ такомъ случаѣ, конечно, она не можетъ и составить отдѣльнаго, самобытнаго предмета изученія. Если жъ, напротивъ того, предположенная цѣль должна состоять не въ приобрѣтеніи однихъ факти-

<sup>1)</sup> Авторъ сочиненія „Lehrbuch der Militairgeographie der Oestlichen Rheinländer“.

ческихъ свѣдѣній, а въ критическомъ изслѣдованіи театровъ войны или цѣльмъ государствъ въ отношеніи стратегическомъ, то необходимо уже значительно распространить кругъ соображеній, принявъ въ основаніе ихъ, кромѣ мѣстности, и всѣ данныя, которыя въ каждомъ государствѣ вообще опредѣляютъ его средства и способы къ веденію войны, выгоды и невыгоды географическаго, этнографическаго и политическаго положенія въ отношеніи къ общимъ военнымъ соображеніямъ; а черезъ это изслѣдованія распространятся почти на весь составъ государства и будутъ вести уже къ общей цѣли—къ опредѣленію силы и могущества въ военномъ отношеніи. Подобная цѣль можетъ дѣйствительно составить особый и весьма важный предметъ изученія; но собственно мѣстные данныя, опредѣляющія стратегическія выгоды и невыгоды государства, сильныя и слабыя его стороны, войдутъ въ эти изслѣдованія только, какъ часть обширнаго цѣлаго, а слѣдственно, въ такомъ случаѣ уже нельзя назвать подобный родъ изученія военною географіею, а приличнѣе и правильнѣе ему дать названіе военной статистики“ (стр. 31—32).

Уничтоживъ, такимъ образомъ, самостоятельность и общей, и военной географіи, авторъ, переходитъ къ изслѣдованію значенія общей и военной статистики. Здѣсь по необходимости встрѣчается онъ съ знаменитымъ вопросомъ объ отдѣленіи статистики отъ географіи и исторіи, о которомъ такъ много писано въ разныя времена, и который до сихъ поръ не рѣшенъ. Странно! Есть много статистическихъ сочиненій, которыя признаются единогласно отличными, а между тѣмъ всякій судитъ о значеніи и объемѣ статистики по своему, и нѣтъ согласія въ опредѣленіи ея! Гдѣ источникъ такой путаницы? Г. Милютинъ видитъ его въ противоположности фактическаго и теоретическаго изученія. Онъ полагаетъ, что всѣ заблужденія статистиковъ могутъ быть приведены къ тому, что одни изъ нихъ, ограничиваясь простымъ изученіемъ фактовъ, грубыхъ матеріаловъ науки, низводятъ ее на степень географіи, то есть, на степень сборника, памятной книжки, календаря; другіе же, напротивъ того, возносятъ ее до высшихъ сферъ отвлеченія, до грани науки, занимающейся выводомъ и изслѣдованіемъ общихъ законовъ явленій. Истинный взглядъ на статистику заключается, по мнѣнію автора брошюры, въ соединеніи этихъ двухъ крайностей: „Въ политическихъ наукахъ прежде всего надобно различить двѣ существенно различныя цѣли изученія; какъ цѣлое государство или общество гражданское въ полномъ его объемѣ, въ проявленіи всѣхъ его жизненныхъ силъ, такъ и каждое изъ этихъ проявленій особенно, могутъ быть изучаемы, во-первыхъ, теоретически (или догматически), съ гою цѣлью, чтобы вывести законы, по коимъ всякое государство развивается и должно развиваться для достиженія своихъ цѣлей, или же, во-вторыхъ, въ дѣйствительномъ, фактическомъ проявленіи и развитіи, съ цѣлью изслѣдовать, какъ именно въ томъ или другомъ государствѣ, въ той или другой части рода человѣческаго гражданская жизнь развивалась и развилаь. Первая цѣль изученія обра-

зуетъ рядъ наукъ теоретическихъ, догматическихъ или, еще точнѣе, деонтологическихъ; вторая цѣль рождаетъ два способа изученія гражданской жизни человѣчества: или въ развитіи ея послѣдовательномъ, хронологическомъ—изученіе историческое, или въ проявленіи ея въ одинъ данный моментъ—изученіе статистическое. Такимъ образомъ, статистическое изученіе государства, съ одной стороны, обнимаетъ всѣ разнообразнѣйшія явленія сложнаго организма политическаго тѣла; съ другой же, предѣлъ ея опредѣляется цѣлью изученія, состоящею не въ выводѣ общихъ законовъ, по коимъ всякое государство и всегда должно развиваться, а въ указаніи степени дѣйствительнаго развитія того или другого государства въ одинъ лишь данный моментъ (чаще принимаемый за современную эпоху). При такомъ опредѣленіи статистики разрѣшатся и всѣ прочіе вопросы частные, относящіеся къ опредѣленію ея объема, способовъ изслѣдованія, формы и проч., и проч. Такимъ образомъ, статистика займетъ среднее мѣсто между крайностями двухъ школъ, дающихъ ей два совсѣмъ различныхъ значенія: она не спускается на степень простого описанія данныхъ или явленій, ибо она должна изслѣдовать ихъ аналитически, съ опредѣленною цѣлью; съ другой же стороны, она не переходитъ въ разрядъ наукъ теоретическихъ, предоставляя другимъ отраслямъ политическихъ наукъ выводить общіе законы. Но если она, съ одной стороны, не восходитъ до истинъ отвлеченныхъ, неизмѣнныхъ, то съ другой—не ограничивается исключительно видами практическими, непосредственнымъ примѣненіемъ къ вседневнымъ нуждамъ администраціи, а между тѣмъ и въ томъ, и въ другомъ отношеніи можетъ быть полезною, служа пособіемъ и для выводовъ теоретическихъ, и для примѣненія пракческаго“ (стр. 42—44).

Такое опредѣленіе статистики кажется намъ чрезвычайно вѣрнымъ: оно совершенно удовлетворяетъ той потребности, которая вызвала эту науку, и въ то же время сообщаетъ статистическимъ фактамъ ту полноту значенія, которой они не могутъ имѣть, если не разбирать ихъ критически и не разсматривать, какъ призраки, живописующіе состояніе государства. Если же кто замѣтитъ, что самое умное и самое живописное изображеніе еще не составляетъ науки въ строгомъ смыслѣ, то—есть, изслѣдованія общихъ, непреложныхъ законовъ чего бы то ни было, то на это можно возразить, что такое изслѣдованіе вовсе не удовлетворило бы помянутой потребности. А между тѣмъ логика никому не запрещаетъ обобщать статистическія описанія до какой угодно высоты, лишь бы только обобщали ихъ не съ тѣмъ, чтобъ истребить эти описанія, какъ предметъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ синтетиковъ, не достойный вниманія мыслящаго человѣка. Пора понять, что одни только голые факты, безпутно сваленные въ груду, не составляютъ знанія. Лишь только мысль дала имъ какое-нибудь внутреннее единство, они перестаютъ быть матеріаломъ и составляютъ собою цѣлое, котораго построеніе дѣлаетъ честь всякому уму, а изученіе достойно всякаго мыслящаго человѣка. Прошло уже то время, когда можно было прослыть <sup>м</sup>сликимъ умомъ за умѣнье

довести знаніє до крайнихъ предѣловъ отвлеченности: мы поняли, наконецъ, что неглупому человѣку стоитъ только хорошо пообѣдать и закурить хорошую сигару для того, чтобы на досугѣ самые дубовые факты преобразить въ самую эфирную теорію. Представимъ себѣ, напримѣръ, что кто-нибудь вздумалъ подвергнуть этому процессу статистическіе факты, собранные разными тружениками, чернорабочими науки. Начинаемъ съ того, что приводимъ ихъ въ группы по предметамъ: вотъ факты, относящіеся къ Россіи, къ Франціи, къ Германіи и т. д. Вотъ факты астрономическіе, геологическіе, ботаническіе, зоологическіе, антропологическіе и проч. Вотъ факты политическіе, экономическіе, педагогическіе и т. д. Вникая въ эти группы, мы замѣчаемъ, что въ каждой изъ нихъ выражается небольшое количество однѣхъ и тѣхъ же силъ, сообщающихъ явленіямъ уже весьма стройное единство. Силы эти суть вліянія, означенныя Гердеромъ—космическое, генетическое и историческое, то-есть, вліяніе внѣшней природы, вліяніе племени и вліяніе судьбы—не въ смыслѣ слѣпого случая, но въ смыслѣ необходимыхъ событій, не имѣющихъ начала въ нѣдрахъ того общества, на долю котораго они достаются. Синтетическое развитіе мысли можетъ идти еще далѣе: эти три силы могутъ быть приведены еще къ большому единству; можно доказать, что все—и внѣшній міръ, и сила племени, и сила исторіи (въ тѣсномъ смыслѣ), суть проявленія одной силы, необходимости, зависимости, внѣшности, однимъ словомъ—того начала, которое противоположно свободному развитію человѣка и всего живущаго. Такимъ образомъ, на крыльяхъ синтеза можно взлетѣть на такую высоту, гдѣ стынетъ кровь и мерзнетъ тѣло человѣческое, на такую высоту, какой не достигалъ ни одинъ воздухоплаватель, но куда, съ сигарой въ зубахъ, возносились десятки тысячъ ученыхъ. Отдаемъ долгъ уваженія и благодарности тѣмъ изъ нихъ, которые первые показали намъ путь синтеза, но нисколько не удивляемся тѣмъ, которые думаютъ, что сдѣлали удивительное дѣло, повторивъ чужой подвигъ, давно уже обратившійся въ разрядъ обыкновенныхъ пріемовъ. По современнымъ понятіямъ, истинное достоинство ученаго произведенія заключается никакъ не въ томъ, чтобы мы видѣли въ немъ или безконечное множество фактовъ, добытыхъ терпѣливою эрудиціей, или безстрашный взлетъ мысли на ту царственную высоту, съ которой весь міръ, съ микроскопическимъ разнообразіемъ эго явленій, представляется ей собраннымъ въ одну не разлагаемую эссенцію, заключенную и запечатанную въ маленькомъ пузырькѣ съ латинскою надписью. Мы требуемъ, чтобъ оно удовлетворяло той потребности, которой авторъ его предположилъ удовлетворить, и потому современная логика допускаетъ всѣ степени отвлеченія (разумѣется, за исключеніемъ тѣхъ, которыя выходятъ изъ предѣловъ познавательной способности). Поэтому-то мы не только не потребуемъ отъ ученаго, предположившаго ознакомить насъ съ современнымъ положеніемъ государства, чтобъ онъ возвысился до изслѣдованія общихъ законовъ тѣхъ явленій, которыя будутъ внесены имъ въ его картину, но даже не похвалили бы его.

если бы онъ, напримѣръ, вмѣсто отчета о современныхъ отношеніяхъ капиталистовъ и работниковъ въ Англіи вздумалъ отдѣлаться отъ насъ общою теоріей этихъ отношеній. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы мы отвергали политическую экономію, науку, представляющую высшую степень синтеза, нежели та, которую условились называть статистикой. Все дѣло въ томъ, что она удовлетворяетъ другой потребности, что мы не хотимъ пшеничной муки въ такой хлѣбъ, который требуетъ ржаной: вѣдь это еще не значитъ, чтобы мы не признавали достоинствъ и даже, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, преимуществъ пшеничной муки передъ ржаною. Этимъ соображеніемъ устраняется уже множество различныхъ недоумѣній въ вопросѣ о значеніи статистики. Ясно, что тѣ, которые не хотятъ ограничиваться обработкою ея по способу, описанному г. Милютинымъ, могутъ возводить ее до какихъ имъ угодно предѣловъ отвлеченія, лишь бы не называли они ея статистикой, потому что это слово уже занято. Это простая, но, по нашему мнѣнію, весьма благоразумная мѣра уняла бы много споровъ и сохранила бы много силъ и времени на труды болѣе полезные и занимательные.

Другой источникъ споровъ о значеніи и предѣлахъ статистики заключается въ стремленіи отдѣлить ее отъ географіи. Г. Милютинъ, съ своей стороны, отдѣляетъ ее уже тѣмъ, что смотритъ на нее какъ на „науку прагматическую, исключительно политическую, то-есть, посвященную гражданской жизни государствъ“ (стр. 34), между тѣмъ какъ въ географіи, „какъ въ общемъ резервуарѣ, находятъ себѣ мѣсто всѣ свѣдѣнія о поверхности земной, безъ разбора цѣлей и намѣреній, съ коими свѣдѣнія эти собираются, безъ различія отраслей наукъ, къ которымъ онѣ могутъ относиться,, (ib. выше). Мы согласны съ своей стороны, что статистика—наука политическая, наука, посвященная изображенію и изслѣдованію состоянія государствъ въ данный моментъ ихъ бытія. Но относительно географіи намъ кажется, что авторъ далъ ей роль слишкомъ жалкую, роль, изъ которой она легко можетъ быть выведена и должна быть выведена для объясненной выше полноты знаній человѣческихъ. Если статистика беретъ на свою часть изученіе земнаго шара, какъ территоріи человѣческихъ обществъ, то спрашивается: куда же отнесемъ мы изученіе его: 1) какъ планеты, составляющей часть солнечной системы, 2) какъ органическаго тѣла, составляющаго собою самостоятельное цѣлое, и 3) какъ жилища безконечнаго множества другихъ органическихъ существъ? До сихъ поръ это составляло предметъ географіи астрономической и физической, и по тому самому уже нельзя сказать, чтобы географія и въ настоящемъ своемъ развитіи была сборникомъ фактомъ, сваленныхъ безъ связи и безъ общей идеи, словомъ—безъ внутренняго единства. Правда, обыкновенные географическіе учебники представляютъ собою въ этомъ отношеніи печальное зрѣлище; но, во-первыхъ, астрономическая и физическая географія и въ нихъ часто излагается довольно сносно, по крайней мѣрѣ довольно связно; во-вторыхъ, что касается до такъ-называемой политической географіи, то нѣтъ никакой причины



и существовать ей, когда есть статистика: странно, и болѣе чѣмъ странно, бытъ бы терпѣть совмѣстничество двухъ наукъ одного и того же содержанія, изъ которыхъ одна излагаетъ его въ видѣ картины, одушевленной единствомъ мысли, а другая—въ видѣ сброда фактовъ, снесенныхъ въ нестройную груду! Итакъ, пусть статистика описываетъ состояніе человѣческихъ обществъ, существующихъ на землѣ; это нисколько не мѣшаетъ географіи описывать самую землю, которая, конечно, лучше и гармоничнѣе нашихъ обществъ уже и потому, что она—созданіе Высшей Силы, а не мое и не ваше.

Правда, этимъ нѣсколько стѣсняется программа статистики, которая, по господствующимъ понятіямъ, должна заключать въ себѣ все замѣчательное и занимательное, оставляя географіи питаться остающимся отъ того соромъ. Но въ этомъ стѣсненіи программы и заключается добро. Мы полагаемъ даже, что и тотъ объемъ статистики, который даетъ ей—между прочими изслѣдователями—авторъ разбираемой брошюры, не по силамъ ни одному изъ извѣстныхъ современныхъ ученыхъ, хотя между ними и много принимающихся за выполненіе программъ еще болѣе обширныхъ. Если изъ всѣхъ элементовъ государственной жизни взять въ соображеніе, напримѣръ, одинъ элементъ экономическій (въ тѣсномъ смыслѣ), то для вполнѣ удовлетворительнаго изложенія одной экономической статистики не всѣхъ, а однихъ только европейскихъ государствъ, требуется уже такая обширная эрудиція и столько критическаго таланта, что того, кто сладилъ бы съ одною этою задачею, мы не могли бы не назвать весьма замѣчательнымъ человѣкомъ и по трудолюбію, и по учености, и по таланту. Вспомнимъ только, что такой трудъ требуетъ прежде всего основательнаго знанія политической экономіи и совершенно усвоеннаго взгляда на эту науку. Иначе статистикъ не можетъ быть судьей въ дѣлѣ матеріальнаго благосостоянія народовъ: избранная система политической экономіи также необходима для него, какъ эстетическій принципъ для критика изящнаго произведенія. А нѣтъ нужды доказывать, какъ трудно быть хорошимъ политико-экономомъ въ наше время, когда вопросъ о богатствѣ получилъ столько разнообразныхъ рѣшеній, и когда политическая экономія, подобно всѣмъ другимъ наукамъ, перешла изъ области кабинетнаго умозрѣнія въ сферу опыта, и какого опыта! <sup>1)</sup> Но этого мало: разсуждая безъ всякаго педантизма, нельзя не признать, что статистикъ, посвятившій себя изображенію и изслѣдованію матеріальнаго благосостоянія государствъ, не можетъ ограничиваться знаніемъ общихъ экономическихъ принциповъ и долженъ, сверхъ того, пріобрѣсти основательныя

---

<sup>1)</sup> Извѣстно, что вывести заключеніе изъ фактовъ общественной жизни несравненно труднѣе, чѣмъ изъ явленій внѣшней природы уже и потому, что послѣднія могутъ быть повторены по произволу, между тѣмъ какъ наблюдатель общественныхъ явленій долженъ постигать жизнь въ самомъ ея процессѣ или пользоваться достоверными свидѣтельствами другихъ наблюдателей, которымъ знаніе досталось съ не меньшимъ трудомъ.



свѣдѣнія и въ частныхъ знаніяхъ этого рода—въ технологіи, въ сельскомъ хозяйствѣ, въ коммерціи. Изъ этихъ наукъ нѣтъ возможности изучить первыхъ двухъ безъ помощи наукъ естественныхъ. Но довольно! Страшно подумать, какъ и безъ пятой части всѣхъ этихъ знаній тысячи людей берутся за статистическіе труды, а изъ этихъ тысячъ цѣлыя сотни издають огромныя творенія, изъ которыхъ многія объемлютъ собою Богъ знаетъ сколько государствъ, разсмотрѣнныхъ во всѣхъ отношеніяхъ! Понятно, какъ мастерятся эти статистики: по источникамъ... „Источникъ“! Великое слово, великій секретъ ученой славы значительной части людей, занимающихъ видныя мѣста въ пантеонѣ ученыхъ знаменитостей и полузнаменитостей по праву талантливаго шарлатанства! Въ самомъ дѣлѣ, не учитесь ничему основательно, не имѣйте никакого творчества для ученой дѣятельности, но получите отъ природы надежный талантъ шарлатана, присмотритесь къ какимъ-нибудь наукамъ, схвативъ прежде всего общіе взгляды на значеніе и объемъ ихъ и ознакомившись уже нѣсколько подобросовѣстнѣе съ исторіей нѣкоторыхъ частныхъ вопросовъ (особенно изъ разряда не рѣшенныхъ),—ваша репутация можетъ быть сдѣлана прекрасно при помощи „источниковъ“, то-есть, сочиненій тѣхъ наивныхъ людей, которые находятъ нужнымъ имѣть истинный талантъ и истинную эрудицію для того, чтобы писать и издавать ученныя книги. Согласитесь, что нѣтъ иныхъ средствъ въ наше время, то-есть, пока еще энциклопедическая ученость—синонимъ учености поверхностной, написать удовлетворительную статистику, такъ что, кромѣ шарлатана, на такой трудъ можетъ рѣшиться только тотъ, кто не понимаетъ, за что берется.

Не будемъ доказывать подробнѣе эту мысль, очень хорошо сознаванную въ наше время въ теоріи, но встрѣчающую множество противорѣчій на практикѣ. Изъ сказаннаго можно уже заключить, что даже тотъ объемъ, который опредѣленъ для статистики въ брошюрѣ г. Милютина, слишкомъ обширенъ для одного лица. Но такъ какъ онъ объемлетъ собою правильно очеркнутое цѣлое, составъ котораго совершенно удовлетворяетъ понятію полноты, то мы, не имѣя ничего сказать противъ его опредѣленія, считаемъ себя въ правѣ замѣтить только, что въ настоящее время добросовѣстная, самостоятельная обработка статистики требуетъ весьма дробнаго раздѣленія труда. Самъ авторъ держится такого же мнѣнія объ этомъ предметѣ. Вотъ что говоритъ онъ на страницахъ 48—51: „Никакъ не можемъ согласиться съ тѣми, которые ограничиваютъ цѣль статистики только одною какою-либо стороною государственной жизни—или однимъ внутреннимъ развитіемъ, или даже только матеріальнымъ благоденствіемъ народа“... и т. д. Нѣтъ, такой ограниченный взглядъ на статистику былъ бы столь же одностороннимъ и тѣснымъ, какъ изученіе въ теоретическихъ наукахъ только одной какой-либо стороны государственной жизни, безъ всякаго вниманія къ прочимъ. Какъ въ теоріи должны быть разсматриваемы попеременно всѣ цѣли, коихъ государство должно достигать, и какъ самыя науки должны разграничиваться соотвѣт-

ственно различію сихъ цѣлей и способовъ къ ихъ достиженію, такъ точно и статистика должна въ своихъ изслѣдованіяхъ обнимать всѣ разнородные цѣли и способы государства въ дѣйствительномъ ихъ проявленіи въ данный моментъ. Только тогда статистика, подобно теоретическимъ наукамъ, можетъ получить полноту, связь и единство. Однакожъ, должно сознаться, что черезъ это, при настоящемъ сложномъ механизмѣ государствъ, при многообразіи и дѣятельномъ проявленіи различныхъ силъ ихъ, статистика сдѣлалась бы столь обширною и разнообразною, что изученіе даже одного какого-либо государства со всѣхъ точек зрѣнія было бы столь же труднымъ, какъ соединеніе въ одно цѣлое всѣхъ наукъ теоретическихъ. Мы уже мимоходомъ замѣтили, что въ статистическомъ изученіи каждаго государства должно быть сколько же подраздѣленій, сколько и въ теоріи; каждая часть его должна также составлять особую спеціальность, хотя и повторяемъ, что статистика тогда только будетъ не одностороннею, когда будетъ обнимать всѣ стороны государственной жизни, всѣ цѣли и способы ея. Но для того, чтобы когда-нибудь она могла осуществиться въ подобныхъ размѣрахъ, необходимо, чтобы ей былъ приготовленъ къ тому путь посредствомъ отдѣльнаго разработыванія каждой ея части. Подобно тому, какъ въ изученіи тѣла человѣческаго надобно начать съ отдѣльнаго разбора различныхъ органовъ, а потомъ уже перейти къ совокупному и изаимному ихъ дѣйствованію,--такъ точно и при изученіи тѣла политическаго надобно сперва изслѣдовать особо каждый органъ его. Вотъ почему теоретическая часть наукъ политическихъ никогда не двинулась бы впередъ, еслибы по прежнему оставалась одною сплошною массою изысканій разнородныхъ, еслибы она не раздробилась на особыя науки, изъ коихъ каждая сдѣлалась предметомъ изученія людей специальныхъ. Эпоха, съ которой началось это направленіе ума человѣческаго, такъ-сказать, къ раздѣленію труда въ наукахъ; весьма не далека еще отъ насъ; мы еще теперь находимся въ этомъ періодѣ изученія; мы должны еще обрабатывать части отдѣльно, спеціально, пока не настанетъ другой періодъ наукъ, когда всѣ эти части начнутъ сближаться между собою, когда нужно будетъ изыскивать уже не границы между ними, а напротивъ того, точки соприкосновенія, тѣ общія идеи, которыя должны когда-нибудь слить нынѣшнія политическія науки въ одно стройное цѣлое, ибо предметъ ихъ общій—человѣчество въ жизни гражданской, государство. Та же участь въ нашъ вѣкъ должна пасть и на статистику; она не можетъ двигаться впередъ, пока будетъ оставаться однимъ цѣлымъ. Сколько ни было предлагаемо разными авторами системъ для ея изложенія, всѣ онѣ болѣе или менѣе были односторонними. Большею частью за основаніе этихъ системъ принималась классификація предметовъ ея содержанія, то-есть, по родамъ данныхъ, входящихъ въ ея составъ. Пока статистика была только описаніемъ этихъ данныхъ, естественно, слѣдовало ей и въ порядкѣ описанія основываться на признакахъ описываемыхъ предметовъ; но потому-то каждый родъ данныхъ описываемый особо, изображался только съ

односторонней точки зрѣнія, только въ тѣхъ именно подробностяхъ и частностяхъ которыя болѣе интересовали лично самого статистика. Одинъ описывалъ каждый родъ данныхъ такъ, какъ будто въ государствѣ люди соединились только для того, чтобъ удобнѣе жить, личше ѣсть и одѣваться; другой смотрѣлъ на всѣ предметы, какъ на колеса, приводящія въ движеніе стройный механизмъ; наконецъ нѣкоторыя стороны и цѣли государственной жизни совсѣмъ оставались безъ вниманія статистиковъ, упоминавшихъ о предметахъ, къ тому относящихся, только мимоходомъ. Въ числѣ такихъ пропусковъ въ статистическихъ изслѣдованіяхъ можно указать и на военную силу государства“.

Отсюда авторъ переходитъ къ содержанію и объему военной статистики: изслѣдованіе это занимаетъ послѣдній параграфъ его брошюры. Но объ этомъ спеціальномъ предметѣ мы надѣемся высказать свое мнѣніе при выходѣ въ свѣтъ того сочиненія, къ которому брошюра г. Милютина служитъ введеніемъ. Сочиненіе это, какъ сказано въ концѣ брошюры, будетъ заключать въ себѣ обзоръ „современнаго положенія замѣчательнѣйшихъ европейскихъ государствъ въ военномъ отношеніи“. Въ ожиданіи начала этого труда мы имѣли въ виду при настоящемъ разборѣ познакомить читателей съ общими идеями о наукѣ, которой является онъ столь надежнымъ поборникомъ. Если же и было сказано кое-что по поводу его взгляда на избранную имъ часть, то мы допустили это только потому, что слова г. Милютина о военной географіи и военной статистикѣ могутъ служить образцомъ воззрѣнія его и на другія отрасли этихъ наукъ.

## Д. П. Журавскій.

**Объ источникахъ и употребленіи статистическихъ свѣдѣній.** Сочиненіе Д. П. Журавскаго. Кіевъ. 1846.

Нѣтъ ничего пріятнѣе для рецензента русскихъ книгъ, какъ встрѣтить ученое сочиненіе, рѣзко выражающее собою личность автора и періодъ его развитія. Рѣдко, очень рѣдко попадаетъ въ русской ученой литературѣ книга или брошюра, изъ которой можно было бы увѣриться въ существованіи у насъ людей, постоянно счастливыхъ или страждущихъ отъ прогрессивнаго уразумѣнія избранной ими науки, или даже и такихъ, у которыхъ это уразумѣніе развивается объ руку съ другими стихіями жизни. Горячая любовь къ наукѣ и прогрессивность въ понятіяхъ объ ея сущности и обработкѣ—явленія исключительныя въ русскомъ мірѣ, еще слишкомъ чуждомъ живого общенія съ нею! Не пришло еще то время, когда наука перестанетъ быть у насъ выучкой, когда сознается и почувствуется большинствомъ, что понятіе о возможности проглотить въ теченіе установленнаго курса всю мудрость, подобающую такому-то и такому-то члену общества,—первый признакъ невѣжества и безжизненности. Вотъ почему, при изученіи хода нашей ученой литературы, мы не можемъ не дорожить даже

и заблужденіями, виражающими собою страсть къ наукѣ и подвижность въ идеяхъ о томъ, чѣмъ она должна быть. Съ этой точки зрѣнія сочиненіе „Объ источникахъ и употребленіи статистическихъ свѣдѣній“ достойно полнаго вниманія

Въ наше время, при установившихся понятіяхъ о важности фактическихъ изученія, какъ необходимаго основанія для вывода общихъ истинъ, нѣтъ ничего легче, какъ впасть въ ложныя понятія о добросовѣстности изысканія фактовъ. Эта добросовѣстность очень легко можетъ перейти въ манію весьма опасную и сокрушительную, основанную на такомъ силлогизмѣ: если всякая общая идея, всякій законъ науки долженъ быть утвержденъ на всей совокупности фактовъ, въ которыхъ онъ выражается, то только тотъ и имѣетъ право выводить общіе законы явленій, кто извѣдалъ эти явленія всѣ, сколько ихъ есть и было. Такое разсужденіе неминуемо ведетъ за собою разочарованіе въ обиліи и годности существующихъ матеріаловъ науки, убиваетъ всякую охоту къ возведенію фактовъ въ общіе законы и разрѣшается, наконецъ, или скорбнымъ воплемъ обманутой надежды, или утопическимъ требованіемъ отъ всего міра непомѣрной дѣятельности для восполненія убивающаго ихъ недостатка.

Сочиненіе г. Журавскаго состоитъ изъ трехъ статей: двѣ первыя заключаютъ въ себѣ подробное развитіе той мысли, что до сихъ поръ слишкомъ мало собрано на свѣтѣ достовѣрныхъ фактовъ, могущихъ служить основаніемъ статистики, а въ третьей излагаются условія, при которыхъ, по мнѣнію автора, можно было бы пособить его злу, горю. Все это написано г. Журавскимъ съ большимъ знаніемъ дѣла, то-есть, источниковъ, которыми онъ такъ недоволенъ, и обогащено многими свѣтлыми идеями, развитыми мимоходомъ въ видѣ примѣровъ и подтвержденій.

Чтеніе двухъ первыхъ статей произвело на насъ странное впечатлѣніе, точно такое, какъ если бы кто-нибудь сталъ очень живо, умно и занимательно доказывать, напримѣръ, что человѣческія способности ограничены, что полное блаженство не возможно на землѣ и тому подобныя вещи. Очень пріятно читать все приводимое г. Журавскимъ въ доказательство того, какъ бѣдны до сихъ поръ собранные матеріалы статистики; право, пріятно: бѣда только въ томъ, что въ основной его мысли никто никогда не сомнѣвался. Всякому понятно, что статистическіе факты далеко не всѣ у насъ на лицо и никогда не могутъ быть собраны въ такой идеальной полнотѣ, какую въ состояніи создать воображеніе ученаго подъ вліяніемъ азартной фактоманіи. Извѣстно и то, что не одна статистика, а всѣ безъ исключенія опытные науки находятся въ такомъ же положеніи: нѣтъ ни одной отрасли опытныхъ знаній, которая могла бы похвалиться передъ другими наличностью и половины подчиненныхъ ей фактовъ. Но это обстоятельство не приводитъ въ отчаяніе никого изъ людей, занимающихся съ успѣхомъ опытными науками, и науки эти, какъ извѣстно, съ каждымъ днемъ подвигаются впередъ, непрерывно обогащаясь несомнѣнными истинами.

Впрочемъ, знаете ли? Написавъ эти два слова „несомнѣнные истины“, мы сами чувствуемъ легкій припадокъ скептицизма. Перо пишетъ „несомнѣнные“, а скептицизмъ шепчетъ въ уши: почему же „несомнѣнные“. Мало ли было на свѣтѣ такихъ вещей, въ которыхъ цѣлые вѣка не сомнѣвались, за которыя потомъ все человѣчество ополчалось на ненавистныхъ скептиковъ съ тѣмъ, чтобы на тлѣющихъ угляхъ ихъ костровъ признать разумность ихъ безпокойныхъ сомнѣній? Кто поручится намъ, что вопли фактомановъ, такъ громко и такъ часто раздающіеся въ наше время, не предвѣщаютъ намъ новаго періода въ понятіяхъ о несомнѣнности человѣческихъ знаній? Вѣдь была же эпоха умозрѣній—и прошла: была эпоха, гордившаяся искусствомъ сліянія идей и фактовъ,—и та прошла: мы сами посмѣиваемся надъ ея претензіей. Очень вѣроятно, что мы родились на свѣтъ въ несчастную эпоху перехода отъ логики, созданной Закономъ, къ такой, которая, конечно, еще не создана, но можетъ возникнуть изъ критики идеализма восемнадцатаго вѣка и доктринерства перваго тридцатилѣтія девятнадцатаго. Даже мало сказать: вѣроятно; скажемъ лучше: очевидно, если только очевидно то, что умозрѣніе, не выведенное изъ достаточнаго количества фактовъ, все равно, что—мыльный пузырь, когда дѣло идетъ объ изученіи дѣйствительности, а фактовъ, въ которыхъ можно познавать законы жизни, слишкомъ мало въ наличности, да и никогда не можетъ быть довольно... Вотъ сколько горестныхъ недоумѣній омрачаетъ голову современнаго человѣка при мысли о непогрѣшительномъ способѣ познаній! Вопросъ битый и перебитый, а все-таки не рѣшенный на чистоту. Благо тому, для кого онъ трень-трава; но не легко человѣку, который такъ же близко принимаетъ его къ сердцу, какъ первый сочувствуетъ... кое-чему совсѣмъ въ другомъ родѣ!..

Но точно ли справедливо, что невозможность собрать и изучить всѣ безъ исключенія факты, относящіеся къ той или другой опытной наукѣ, служитъ недолимымъ препятствіемъ ея годности и прочности? Тысячу разъ нѣтъ! Кто представляетъ себѣ задачу опытной науки въ такомъ видѣ, тотъ забываетъ, что одинъ фактъ въ глазахъ человѣка логическаго и наблюдательнаго представляетъ собою тысячи другихъ фактовъ, которые обуславливаютъ его и сами имъ обуславливаются. Въ этомъ отношеніи дѣятельность ученаго сходится съ дѣятельностью художника: нѣсколько хорошо выбранныхъ фактовъ избавляютъ ученаго отъ труда узнавать и изслѣдовать остальные, а художника—отъ египетской работы изображать всѣ безъ исключенія черты избраннаго предмета. Само собою разумѣется, что и то, и другое требуетъ таланта, такъ что жаловаться на невозможность собрать всѣ данныя какой-нибудь науки значитъ жаловаться на свою бездарность.

Считаемъ неприличнымъ распространяться болѣе объ этомъ вопросѣ. Нельзя не спросить однакожь, одного: какимъ образомъ люди логическіе, хотя бы, на примѣръ, самъ г. Журавскій, могутъ забывать такія наивныя истины, какъ та,

которую мы вынуждены были здѣсь напечатать? Мы увѣрены, что это происходитъ отъ совершеннаго равнодушія современныхъ ученыхъ къ логикѣ, то-есть, къ теоріи человѣческаго познанія. Равнодушіе это основано на томъ, что въ курсъ нашего обученія входитъ она въ своемъ средневѣковомъ видѣ и потому самому отбрасывается каждымъ здравомыслящимъ человѣкомъ, какъ хламъ рѣшительно никуда негодный. И давно уже вошло въ обычай обходиться безъ логической системы. Со временъ Бэкона и Декарта логика, какъ наука, какъ полный сводъ законовъ человѣческаго познанія, стерлась съ лица земли: остались отъ нея одни отдѣльные вопросы, вопросы важные и развивавшіеся исторически, но до сихъ поръ не сличенные, не приведенные къ основной аксіомѣ и потому самому въ высшей степени не уясненные. Привычка переносить такое неустройство и довольствоваться отдѣльно рѣшеннымъ вопросомъ вмѣсто цѣлой науки, отъ которой онъ отложился, очень легко приводитъ насъ къ односторонности и близорукости взглядовъ, совпадающей съ маніей. Мы твердо убѣждены, напримѣръ, что такой казусъ г. Журавскаго: онъ просто потерялся въ томъ законѣ, что размышленію должно предшествовать фактическое знаніе, и забылъ на время всѣ остальные логическія истины.

Впрочемъ, въ отношеніи къ статистикѣ фактоманія принимаетъ одинъ очень важный оттѣнокъ: очень часто является она въ видѣ пристрастія къ выраженію понятій математическими величинами. Г. Журавскій вполне убѣжденъ, что статистическія данныя необходимо должны быть приводимы въ цифру. Вотъ его теорія: „Отъ недостатка числа и мѣры—знанія, которыя обходятся безъ нихъ, далеко не такъ полны, связны и ясны, какъ знанія перваго порядка, въ которыхъ понятіе о внутреннихъ свойствахъ предметовъ соединяется съ понятіемъ о количественномъ ихъ содержаніи. Но изъ этого не слѣдуетъ заключать, что число и мѣра не совмѣстны съ предметами, къ которымъ они не примѣнялись доселѣ, и не могутъ быть къ нимъ приложены. Напротивъ, каждая мысль наша, заключающая въ себѣ познаніе какого-либо предмета, какъ бы она ни казалась отвлеченною и безплотною, образуется, созрѣваетъ и живетъ во времени и въ пространствѣ, то-есть, въ головѣ человѣка, но не извнѣ. Поэтому она должна имѣть, относительно къ другимъ идеямъ, объемъ, ширину, глубину и силу, то-есть, степень напряженія, и все это подлежитъ исчисленію и измѣренію, если не прямому, то косвенному, чрезъ другія, болѣе осязательныя произведенія этой мысли. Однимъ словомъ, по нашему мнѣнію, всѣ вообще отрасли знанія безъ исключенія могутъ и должны имѣть свою числительную сторону, свойственную существу каждой. Однимъ предметамъ свойственно прямое приложеніе математическихъ операцій, которыми опредѣляются или величины, или законы дѣйствія силъ и т. п.; къ другимъ предметамъ эти операціи не могутъ быть приложены непосредственно, но требуютъ основанія; и этимъ основаніемъ долженъ служить разрядный счетъ предметовъ, фактовъ, явленій и идей по ихъ родамъ и видамъ. Прямое прило-



женіе чистой математики къ положительнымъ наукамъ составляетъ собственно прикладную математику, которой область можетъ быть безконечно обширнѣе нынѣшней. Косвенное приложеніе математики, основанное на категорической нумераціи всѣхъ предметовъ знанія, со всѣми ея численными комбинаціями, должно составлять предметъ особой, весьма обширной науки—статистики. Слѣдовательно, статистика, въ обширнѣйшемъ смыслѣ, можетъ быть опредѣлена наукою категорическаго вычисленія. Ей подлежатъ всѣ тѣла, существа, силы, явленія, факты мысли и т. п.; которые могутъ быть раздѣлены и подраздѣлены на однородныя и видовидныя части и сосчитаны по каждому роду и виду отдѣльно“ (стр. 172—173).

Идея эта совсѣмъ не новая; многіе ученые требовали приведенія всѣхъ безъ исключенія истинъ въ цифры. И въ наше время часто встрѣчается эта претензія. Но, по нашему мнѣнію, она еще вреднѣе и неразумнѣе простой фактоманіи. Во-первыхъ, чтобы довести законы всѣхъ наукъ до математическаго выраженія, уже совершенно необходима наличность всѣхъ фактовъ прошедшихъ, настоящихъ и будущихъ. Тутъ ужъ нѣтъ никакихъ средствъ выбирать изъ тысячи явленій одно и замѣнять даромъ наблюдательности монотонный трудъ строго послѣдовательнаго обобщенія. Если бы намъ вздумалось опредѣлить математическою формулою вліяніе климата на размноженіе человѣческаго рода, спрашивается: могли ли бы вы убѣдить насъ выводомъ изъ сравненія цифръ народонаселенія даже во всѣхъ обитаемыхъ климатахъ за настоящее время? Нѣтъ мы не имѣли никакого ручательства въ томъ, что настоящее время исчерпываетъ всѣ случаи, измѣняющіе вашу формулу, и вамъ необходимо пришлось бы подкрѣплять ее новымъ доказательствомъ, основаннымъ на кокойнибудь аксіомѣ. А главное, развѣ цифры значать чтонибудь сами по себѣ, даже и тогда, когда ими выражается какое-нибудь отношеніе предметовъ? Положимъ, будто статистика, о которой мечтаетъ г. Журавскій, дошла до того, что опредѣлила, между прочимъ, въ томъ или другомъ народѣ отношеніе теоретическаго ума къ практическому формулой, по которой первый относится ко второму, какъ два къ тремъ. Пояснятъ ли намъ что-нибудь эти цифры? Ровно ничего. Чтобы понять ихъ смыслъ, мы должны перевести ихъ съ математическаго языка на языкъ живыхъ понятій и фактовъ. А въ такомъ случаѣ зачѣмъ же было и биться надъ пріискиваніемъ формулы? Ясно, что она можетъ разыграть роль риторической фигуры, не болѣе.

Перейдемъ теперь къ понятіямъ автора о статистикѣ Россіи. Вся вторая глава его сочиненія посвящена доказательствамъ противъ достовѣрности собранныхъ и собираемыхъ у насъ статистическихъ матеріаловъ. По прочтеніи ея нельзя не убѣдиться, что главный источникъ зла заключается въ томъ, что первые собиратели статистическихъ свѣдѣній о Россіи исполняютъ свою обязанность безъ всякаго сознанія и безъ малѣйшей охоты. Вотъ его заключеніе: „При такомъ состояніи источниковъ статистическихъ свѣдѣній въ Россіи, возможно ли частному

лицу изучить основательно, не говоримъ—свое отечество, но какой-либо отдельный вопросъ, относящійся къ его пользамъ, къ его потребностямъ? Безъ сомнѣнія, нѣтъ! У насъ совершенно неизвѣстны статистическія изысканія въ родѣ тѣхъ, которыми занимаются ученые другихъ государствъ... Частныя статистическія сочиненія наши, въ чрезвычайно ограниченномъ числѣ, суть болѣею частью мертвые, неплодотворные сборники и своды множества погрѣшностей и невѣрностей всякаго рода, заключающихся, во-первыхъ, въ источникахъ, изъ которыхъ взяты первоначальныя свѣдѣнія, и во-вторыхъ въ разумѣніи и воображеніи составителей“ (стр. 169).

Не можемъ оставить безъ вниманія такіе приговоры. Противъ недостоверности первоначальныхъ статистическихъ матеріаловъ о Россіи нечего и говорить. Странно было бы и ожидать, чтобы волостной писарь понималъ пользу статистики и служилъ ей съ усердіемъ г. Журавскаго. Слѣдовательно, не теряя словъ на доказательство вреда, проистекающаго изъ такого порядка вещей, слѣдуетъ подумать о томъ, какъ бы это дѣло могло быть иначе устроено. Хотите ли знать, что придумалъ по этому предмету нашъ авторъ? Вотъ вамъ главные черты его проекта:

„Мы думаемъ“, говоритъ онъ,—„что систематическое, полное собраніе статистическихъ матеріаловъ есть дѣло, дачею превышающее силы и средства не только частныхъ лицъ, но и цѣлыхъ ученыхъ обществъ, которыхъ труды по этой части всегда будутъ односторонни, неполны и безъ авторитета по весьма простой причинѣ, что имъ не могутъ быть доступны всѣ безъ исключенія источники статистическихъ свѣдѣній; напротивъ, весьма немногіе имъ открыты; и притомъ частный трудъ, хотя бы и ученаго общества, никакимъ образомъ не можетъ имѣть того постоянства, систематическаго производства и въ особенности обширнаго размѣра, какихъ требуетъ статистика, какъ наука, и такого государства, какъ Россія. Слѣдовательно, одно только правительство, котораго дѣйствіе распространяется на все, что можетъ имѣть вліяніе на человека въ общественномъ состояніи, имѣетъ средства устроить систематическое, непрерывное собраніе полныхъ статистическихъ свѣдѣній; а устроить это дѣло, кажется, не трудно, напримѣръ, хотя слѣдующимъ образомъ“ (стр. 184):

Не трудно? Разумѣется, не трудно! Стоитъ только: 1) „изъ каждаго оконченнаго дѣла, поступающаго въ архивъ на храненіе, по включеніи его въ существующія нынѣ описи дѣлать тотчасъ статистическія извлеченія его сущности по данной формѣ“ (стр. 185); 2) „такимъ же образомъ составлять постоянныя статистическія таблицы по всѣмъ вообще вѣдомствамъ и присутственнымъ мѣстамъ, комиссіямъ, комитетамъ и т. н. постояннымъ и временнымъ, штатнымъ или не штатнымъ,“ (стр. 186); 3) дѣлать извлеченія изъ счетныхъ книгъ сельскихъ конторъ помѣщиковъ, конторъ купеческихъ, фабричныхъ, заводскихъ, банковскихъ, маклерскихъ, нотаріальныхъ, справочныхъ, разныхъ частныхъ обществъ,

предпріятій и компаній и т. п., „изъ періодическихъ публикацій и мимолетныхъ извѣстій, относящихся къ дѣйствительной жизни народа“, „изъ сенатскихъ объявленій, свода запрещеній и разрѣшеній на имѣнія, адресъ-календарей, мѣсяцеслововъ, объявленій о казенныхъ и частныхъ надобностяхъ, о пріѣзжающихъ и выѣзжающихъ по городамъ и черезъ границу, изъ биржевыхъ прейсъ-курантовъ, театральныхъ афишъ и т. п.“ (стр. 187—188); 4) основать центральное учрежденіе, „въ которомъ сосредоточивались бы отовсюду всѣ статистическіе матеріалы, обсуживались, повѣрялись, распределялись по категоріямъ и принимали общеупотребительную форму“ (стр. 188); 5) дѣлать одновременныя наблюденія: надъ движеніемъ температуры, высотой барометра, направленіемъ и силою вѣтровъ, упругостью паровъ, количествомъ выпадающаго дождя и снѣга, электрическими, магнитными и другими явленіями, надъ вліяніемъ климата на почвы, воды, прозябаніе, органическую жизнь“ и т. п.“ (стр. 192), на географическое, геодезическое, топографическое, хозяйственное, гражданское, геологическое измѣреніе земли (стр. 193), и проч.

Представляя самимъ читателямъ оцѣнить практическое достоинство такого предначертанія, замѣтимъ съ своей стороны одно: неужели г. Журавскій полагаетъ, что придуманная имъ махинація устранить главное зло нынѣ принятой системы собиранія матеріаловъ для статистики Россіи, то-есть, равнодушіе и неспособность первыхъ дѣятелей? О, пристрастіе! Какихъ не создаетъ оно проектовъ!

А что сказать о той идеѣ, будто бы при настоящемъ положеніи дѣлъ русскому человѣку нѣтъ никакихъ средствъ не только изучить основательно свое отечество, но и какой-либо отдѣльный вопросъ, относящійся къ его пользамъ? (стр. 160). Кажется, и тутъ нашъ авторъ увлекся не въ мѣру. Конечно, „земля наша велика и обильна“; нѣтъ спора, что изучить ее вдоль и поперекъ съ цѣлью рѣшать вопросы, относящіеся къ ея пользамъ,—очень трудно. Но трудность не одно съ невозможностью, и мы съ своей стороны очень далеки отъ скептическаго отчаянія г. Журавскаго. Припоминая многія исторически-извѣстныя рѣшенія административныхъ вопросовъ, рѣшенія, состоявшіяся въ такія времена, когда ни въ одномъ изъ европейскихъ государствъ не было еще обращено на статистику почти никакого вниманія, нельзя уже не подозревать, что, кромѣ статистическихъ цифръ, существуютъ какія-нибудь очень прочныя основанія для социальныхъ соображеній теоретическихъ и практическихъ. И чѣмъ больше думаешь объ этомъ предметѣ, тѣмъ больше убѣждаешься, что важность статистики для рѣшенія общественныхъ вопросовъ уже черезъ-чуръ преувеличена энтузіастами. Всѣ благія мѣры администраціи могутъ быть одного рода (какъ бы ни раздѣляли и ни подраздѣляли ихъ составители нѣмецкихъ учебниковъ): всѣ онѣ клонятся къ положительному удовлетворенію потребностей народа. Всѣ такъ называемыя отрицательныя мѣры, то-есть, дѣйствія администраціи, направленные

противъ золь и болѣзней общества, а не къ простому развитію добрыхъ и здоровыхъ сторонъ его, суть заблужденія, уничтоженныя современною наукой. Отъ понятія о разумномъ основаніи такой дѣятельности остались одни слова. Такъ, на примѣръ, безпрестанно слышимъ мы выраженія: „мѣры противъ бѣдности“, „мѣры противъ безнравственности“ и т. п. Но что разумѣемъ мы подъ такими словами? „Мѣры противъ бѣдности“ опредѣляются современными мыслителями, какъ мѣры къ правильному устройству труда и справедливому распредѣленію богатства, „мѣры противъ безнравственности“—какъ мѣры къ водворенію надлежащей пропорціи между потребностями лицъ, живущихъ въ обществѣ, способами ихъ удовлетворенія. И вся дѣятельность общественной власти, по понятію новѣйшей науки, заключается въ содѣйствіи къ развитію въ членахъ общества природныхъ потребностей и способностей и въ доставленіи ими труда, сообразнаго съ тѣмъ и съ другимъ элементомъ ихъ натуры. Послѣ этого нѣтъ нужды доказывать, что и тѣ административныя мѣры, которыхъ цѣль заключается въ ослабленіи въ народѣ нѣкоторыхъ будто-бы до излишества развитыхъ сторонъ жизни, считаются въ наше время неудобноисполнимыми. Понятно, что ослаблять, на примѣръ, экономическое развитіе страны въ пользу умственного или какого другого—все равно, что лѣчить человѣка отъ глухоты, развивая въ немъ слабость зрѣнія, и т. п.

Однимъ словомъ, административная наука достигла въ наше время той простоты и строгости положеній, при которой уже не можетъ быть вопросовъ, подобныхъ, на примѣръ, слѣдующимъ: Полезно ли единовременное или постоянное вспоможеніе бѣднымъ? Полезно ли изустное и письменное увѣщаніе въ безнравственности? Нужно ли, чтобы всякій человѣкъ былъ богатъ? Прилично ли умственное образованіе всѣмъ классамъ народа? Не убиваетъ ли экономическое благосостояніе чистоты нравственныхъ принциповъ и т. п. Еще недалеко за нами время, когда вопросами этого тона наполнялись соціальныя сочиненія всѣхъ европейскихъ ученыхъ. Но въ наше время серьезно обдумывать и рѣшать такіе задачи предоставляется людямъ, совершенно незнакомымъ со строгими приѣмами новѣйшей науки. Спрашиваемъ однакожь: что же приводило людей, не лишенныхъ здраваго смысла, къ тому странному сомнѣнію, которое выражается въ вопросахъ, подобныхъ здѣсь приведеннымъ? Не что иное, какъ статистическія цифры. Не возможно себѣ представить: чтобы человѣкъ вполнѣ проникательный могъ когда бы то ни было, даже и въ эпоху всеобщаго увлеченія, предпочесть статистическое доказательство какому-нибудь другому или удовольствоваться имъ. Если такой человѣкъ разсудилъ, на примѣръ, что бѣдность лишаетъ насъ средствъ къ нормальному развитію, то напрасно стали бы вы стараться поколебать его убѣжденія доводами въ родѣ тѣхъ, что, по такому-то достоверному исчисленію, на число преступниковъ, уличенныхъ въ извѣстный періодъ времени, пришлось семь-восьмь или девять-десять лицъ изъ богатаго класса. Напротивъ того

людей, не сильно одаренныхъ способностью проникать въ отдаленныя причины явленій, такое доказательство ослѣпить совершенно; въ безсиліи своемъ они крѣпко ухватятся за него, какъ за самое удобное рѣшеніе вопроса, и разнесутъ его во всѣ углы и закоулки. Посмотрите на такого человѣка, когда удастся ему вооружиться порядочнымъ запасомъ статистическихъ цифръ, выручающихъ какую-нибудь отчаянную теорію, послушайте его рѣчи; какъ ему легко и ловко съ своими доводами! какъ онъ радъ, что они не умиѣ!

Но совершенно несправедливо было бы причислять г. Журавскаго къ числу ученыхъ такого рода. Вникая въ его сочиненіе, вы убѣдитесь, что всѣ его заблужденія происходятъ отъ временнаго увлеченія и отъ не установившихся понятій о наукѣ. Въ книгѣ его такъ много залоговъ предстоящаго развитія, такъ много противорѣчій, знаменующихъ близость перехода отъ одного періода къ другому, что произносить окончательный приговоръ надъ его талантомъ было бы слишкомъ преждевременно. Вотъ примѣръ: Приступая къ изложенію своей теоріи статистики, онъ не могъ рѣшиться изложить ее безъ предварительной оговорки и не отозваться съ насмѣшкой о составителяхъ досужихъ теорій. Никакъ не хотѣлось ему подпасть подъ категорію этихъ господъ, и онъ рѣшился хоть чѣмъ-нибудь да отличиться отъ нихъ. И вотъ какой онъ придумалъ приступъ: „Обыкновенно *тѣ, кто имѣютъ* (тотъ, кто имѣетъ) притязанія установить новую теорію науки, начинаютъ съ того, что подвергаютъ критическому разбору всѣ предшествовавшія имъ теоріи и о каждой заключаютъ, что потому-то и потому-то нигде не годится, а настоящая, теорія непогрѣшительная, должна быть вотъ такая,—и излагаютъ ее по своему разумѣнію или, скорѣе, по разумѣнію тѣхъ же писателей, которыхъ сначала разгромили, только съ перестановкою отдѣловъ, подраздѣленій ихъ теорій, въ порядкѣ, по мнѣнію нововводителей, болѣе логическомъ. Но выйдетъ и у нихъ все то же, что было прежде, только вывороченное на изнанку; дѣло нисколько отъ новой теоріи не подвинулось; а между тѣмъ являются новые теоретики, которые опять удерживаютъ, что и послѣдняя система—взоръ, и предлагаютъ въ замѣнъ свою новую: „ученье ихъ для насъ пропало, и наше также пропадетъ“. Мы не послѣдуемъ примѣру установителей новыхъ теорій, потому что не имѣемъ ни малѣйшаго притязанія открыть что-нибудь доселѣ неизвѣстное (скромность украшаетъ дарованія!), а еще болѣе потому, что не придаемъ излишней важности какой бы то ни было теоріи, имѣя многія причины думать, что не далеко то время, когда взглядъ на науку и на способы ея приобрѣтенія совершенно измѣнится и обновится, какъ и все прочее, и что тогда нынѣшнія искусственныя формы знанія будутъ имѣть то же значеніе, какое имѣютъ теперь для насъ схоластическія формы среднихъ вѣковъ. Потому мы ограничиваемся здѣсь изложеніемъ собственнаго мнѣнія о натуральныхъ путяхъ, которыми статистическія изслѣдованія могутъ принести наибольшую пользу обществу и наукамъ, при чемъ просимъ извиненія за нѣсколь-

ко отвлеченныхъ разсужденій, необходимыхъ для яснѣйшаго уразумѣнія нашей мысли“ (стр. 163—165),

Конечно, многое въ этой оговоркѣ пересолено, многое напоминаетъ собокригоризмъ провинціала или адепта: къ чему такъ горячиться, на примѣръ, на манеру критиковать чужія теоріи при изложеніи своей собственной? Зачѣмъ скрывать, что онъ, авторъ, совсѣмъ не такъ мало уважаетъ теоріи вообще, какъ это можно было бы заключить изъ нѣкоторыхъ его выраженій? Зачѣмъ извиняться въ отвлеченности своихъ разсужденій, если они „необходимы для яснѣйшаго уразумѣнія“ предмета, какъ самъ онъ сознается? Одкакожь, въ общемъ тонѣ приведеннаго здѣсь отрывка и въ нѣкоторыхъ мысляхъ нельзя уже не замѣтить порыва къ совершенно новому воззрѣнію на науки.

Но всего замѣчательнѣе въ этомъ отношеніи первая глава „О нынѣшнемъ состояніи статистики вообще и о приложеніи ея къ нѣкоторымъ общественнымъ вопросамъ“. Здѣсь авторъ очень часто становится несравненно выше своей теоріи и безсознательно подписываетъ ея приговоръ. Въ доказательство считаемъ долгомъ выписать здѣсь его заключеніе о логическомъ достоинствѣ сочиненій, заключающихъ въ себѣ рѣшеніе вопроса о вліяніи просвѣщенія на нравственность: „Есть ли логическая возможность разрѣшить этотъ вопросъ на основаніи численныхъ фактовъ, діаметрально противоположныхъ по смыслу одни другимъ? И хорошо ли понимаютъ другъ друга защитники и порицатели образованности, грамотности, основывая рѣшеніе цѣлаго вопроса на категоріи полуграмотныхъ, которыхъ одни причисляютъ къ образованнымъ, а другіе—къ совершеннымъ невѣждамъ, и такую натяжкою каждая сторона составляетъ себѣ побѣдоносное большинство въ статистическихъ своихъ цифрахъ? Дѣло въ томъ, что, кромѣ грамотности, въ сущности весьма мало оказывающей вліянія на человѣка есть много дѣйствующихъ на его нравственность, какъ на примѣръ, общественныя права, средства протитанія, уголовные законы, мѣстные обычаи, темпераментъ, климатъ и т. п. Всѣ эти сильные двигатели воли человѣка не взяты въ соображеніе въ вышеприведенныхъ изысканіяхъ о вопросѣ столь сложномъ, какъ польза и вредъ просвѣщенія, а также и то, что само просвѣщеніе заключаетъ въ себѣ источникъ преступленій особаго разряда, вредныхъ обществу не менѣе ножа убійцы, но не подлежащихъ формальному суду и наказанію; ибо наносятъ вредъ нравственный, не осязаемый для закона и не доступный статистическому исчисленію, какъ, на примѣръ, остроумная клевета, коварные совѣты, политическія интриги, порча юной, открытой ко всему доброму души насмѣшкою надъ ея вѣрованіями и стремленіемъ и т. п. Сообразивъ все это, нельзя не заключить, что основывать мнѣніе о столь важномъ предметѣ на нѣсколькихъ статистическихъ числахъ сомнительной вѣрности, неопредѣленнаго значенія (NB), въ высшей степени противно разсудку“ (стр. 14—15). „Можетъ быть, этотъ вопросъ о просвѣщеніи низшихъ классовъ тѣсно связанъ съ нынѣшнею системою



воспитанія классовъ высшихъ, отъ надлежащаго направленія которой зависитъ и практическое рѣшеніе вопроса. Но до этого преобразованія еще далеко, а пока не будемъ, по крайней мѣрѣ, сбивать съ толку благонамѣренныхъ людей звонкими фразами и статистическими исчисленіями, до насъ не касающимися, о пользѣ просвѣщенія, очевидной каждому здравому смыслу“ (стр. 19—20). „По нашему мнѣнію, статистикѣ, при нынѣшнемъ ея состояніи, еще рано вмѣшиваться въ этотъ вопросъ, котораго рѣшеніе требуетъ совсѣмъ другихъ основаній и множества соображеній разныхъ порядковъ“ (стр. 23).

По однимъ этимъ отрывкамъ уже смѣло можно предсказать, что г. Журавскій скоро откажется отъ крайностей своего теперешняго взгляда на условія годности доказательствъ и лучше всякаго другаго начнетъ преслѣдовать мысль о возможности и необходимости изученія всѣхъ безъ исключенія статистическихъ и историческихъ матеріаловъ. Будемъ ожидать отъ него новыхъ трудовъ и увѣрены, что дождемся чего-нибудь очень хорошаго. Человѣкъ съ страстью къ наукѣ и со всѣми данными для развитія—отрадное явленіе въ нашемъ обществѣ!

## В. С. Порошинъ.

**О земледѣліи въ политико-экономическомъ отношеніи.** Сочиненіе экстраординарнаго профессора Санктпетербургскаго университета *Порошина*. Санктпетербургъ 1849.

Заглавіе этой брошюры и имя автора возбудили вниманіе всѣхъ просвѣщенныхъ читателей русскихъ книгъ, по крайней мѣрѣ, въ Петербургѣ. Хотя сочиненіе профессора Порошина и не поступало до сихъ поръ въ продажу, однакожь каждый изъ помянутыхъ членовъ читающаго класса читалъ эту брошюру, или читаетъ въ эту минуту, или собирается читать. Однимъ словомъ, брошюра „О земледѣліи въ политико-экономическомъ отношеніи“ разыграла роль интересной книги, удовлетворяющей предметомъ своимъ довольно сильный запросъ. Утѣшительный фактъ, возлагающій на журналъ обязанность высказать о немъ свое мнѣніе.

Источникъ интереса, возбужденнаго брошюрою, заключается, какъ мы сказали, прежде всего въ ея заглавіи или, лучше, во второй половинѣ ея заглавія. Въ наше время во всей Европѣ вопросъ о земледѣліи составляетъ предметъ всеобщаго, напряженнаго вниманія по отношенію своему къ общей системѣ экономическихъ вопросовъ, точно такъ же, какъ въ началѣ текущаго столѣтія занималъ онъ всѣ европейскія государства со своей технической стороны. Ходъ симпатій самый логическій, вытекающій прямо изъ фактовъ исторіи. Говоря словами профессора Порошина, „древніе, не дорожившіе промысломъ, любили земледѣліе за доброе вліяніе его на человѣка, въ видахъ нравственно-идиллическихъ. Оно да-

еть намъ, говоритъ Ксенофонтъ,—насушный хлѣбъ и цвѣты благовонные, украшающіе жертвенники боговъ“. Въ средніе вѣка оно было презрѣно, какъ удѣлъ низшаго класса народа, который находился почти въ такомъ же положеніи, какъ рабы древняго Рима. Попытки нѣкоторыхъ государей и министровъ возвысить его покровительственными мѣрами остались безъ успѣха. Даже освобожденіе общинъ изъ подъ власти феодаловъ очень слабо содѣйствовало къ достиженію этой цѣли; члены освобожденной общины предпочитали заниматься ремеслами и торговлею, какъ промыслами, которые служили основой среднему классу. Признаніе равной важности всѣхъ промысловъ принадлежитъ концу прошедшаго столѣтія: тогда только мысль о земледѣліи, какъ о трудѣ, достойномъ почтенія наравнѣ со всѣми другими отраслями промышленности, вошла въ общее сознаніе. Изъ этого ясно, что не прежде девятнадцатаго вѣка могла она выразиться въ дѣятельности народовъ. Прежде всѣхъ принялись за земледѣліе англичане. Вотъ агрономическая картина Англіи, нарисованная авторомъ брошюры:

„Подъ сѣкирою просвѣщенія дремучіе лѣса исчезали или замѣнялись рощами, рощи—парками, гдѣ рука искусства на разстояніи нѣсколькихъ верстъ умножила мѣстоположенія; тамъ воздвигла скалы и утесы для того, чтобы засѣять ихъ красивѣйшими изъ растеній, любящихъ каменистую почву; здѣсь уводила низменность, чтобы развести на ней семью узорчатыхъ поростовъ и рѣдкихъ водорослей; вездѣ раскинула густой, зеленый, шелковый коверъ, и кристаллы рѣчки, и свѣжія поляны заселила приличными имъ жильцами. Я видѣлъ тамъ племенныхъ быковъ и барановъ, быковъ великорослыхъ и точно „важныхъ въ сорокъ пудъ“, цѣны неимоверной и непорочной бѣлизны; видѣлъ игривые табуны коней и домашнюю птицу, золотыхъ фазановъ и черныхъ лебедей. Видѣлъ и дома ихъ хозяевъ. Снаружи—грозная стѣна и зубцы бойницъ и башенъ, внутри—почти оранжерейный видъ. Свѣтлыя широкія, низкія до полу окна и стеклянныя двери, изображая миръ, безпечность и довѣріе, какъ будто бы противорѣчатъ окружающимъ ихъ твердынямъ. Такъ настоящее не похоже на прошедшее! Во вкусѣ настоящаго отдѣлана внутренность тѣхъ домовъ, построенныхъ часто въ серединѣ парка, безъ стѣнъ и укрѣпленій, и представляющихъ издали, съ своими принадлежностями, подобіе городка. Просторъ, удобства и непринужденность озолотили тамъ досугъ и дѣятельность благородную. Задача рѣшена, какъ сдѣлать жизнь пріятною и счастливою. Войдите: покои, обитые внутри рѣзнымъ кедромъ или штофомъ и бархатомъ съ позолотою; вьющіяся вокругъ дома галлерей; тамъ красивая мебель и цѣльныя зеркала, здѣсь образцовыя творенія художествъ, китайскій фарфоръ и вазы Этруріи, одушевленные лики предковъ. „Маккиавель“ Тиціана, „Лойола“ Рубенса, бібліотека съ безсмертною строкою Петра и Вольтера; бѣломраморныя каминныя и стѣны нагрѣтыя внутри воздухомъ; благоуханіе въ саду и на дворѣ; тѣнистыя аллеи, провожающія взоръ нашъ изъ дома до синяго небосклона. Вотъ не искусный очеркъ сельскаго приволья. Дан-

наго въ удѣлѣ немногимъ на землѣ! Вы спросите: кто эти поселяне? Вамъ отвѣчаютъ: графъ Бриджватеръ, Варвикъ, Эссексъ, Спенсеръ, дюкъ Бедфордъ, лордъ Фицвилльямъ и др. Вы замѣчаете, что жизнь имъ—не насущное средство, а прекрасная цѣль. И почему мы назвали здѣсь тѣхъ господъ? Потому что они земледѣльцы. Знатоки деревенскаго дѣла, они преобразуютъ ви́шній міръ вокругъ себя. Трудясь и богатѣя они наслаждаются. Глыба земли въ ихъ рукахъ есть начало всего, что мы видѣли: вотъ земледѣліе въ обширномъ, высшемъ значеніи слова и его представители! Они дѣйствуютъ еще другимъ образомъ—своимъ примѣромъ. По подобію ихъ, весь край цвѣтетъ роскошною полнотою и благолѣпіемъ. Фермеры подражаютъ землевладѣльцамъ: они также знаютъ магическую силу свѣтлаго домика въ сѣни каштановъ, акацій и тополей, межъ зеленью луговъ и пашенъ; чистыя, тучныя поля ихъ, засѣяныя пшеницей, обсажены вокругъ деревьями, и трудно выразить, какъ живописный видъ ихъ веселитъ и радуетъ взоръ и сердце. Фермерамъ подражаютъ образованные земледѣльцы другихъ странъ, и вездѣ ввести у себя англійское хозяйство значитъ усовершенствовать свое. Это совершенство состоитъ не въ особомъ какомъ изобрѣтеніи, а вообще въ благоустройствѣ ви́шнемъ и внутреннемъ, въ обдуманной бережливости, при которой ничто не пропадаетъ и все находится на своемъ мѣстѣ, въ дѣятельности ума и тѣла, извлекающей пользу изъ данныхъ способовъ имѣнія“ (стр. 2—5).

Этотъ очеркъ самовидца лучше всего показываетъ, до какой степени въ наше время земледѣліе сдѣлалось предметомъ любви и вниманія одного изъ сильнѣйшихъ и образованнѣйшихъ народовъ. Примѣръ Англіи не остался безъ подраженія. Забота объ усовершенствованіи земледѣлія сдѣлалась одною изъ любимыхъ думъ теоретическихъ и практическихъ умовъ во Франціи, въ Бельгіи, въ Германіи, въ Россіи. Наука, предпріимчивость и практическая ловкость соединились для рѣшенія тѣхъ вопросовъ, которые основываются исключительно на изученіе естественныхъ условій земледѣлія, то-есть, климата и почвы, и на изученіи его внутренней администраціи. Явилось множество агрономическихъ системъ; явились Тэры и Домбали: цѣлая исторія раціональнаго искусства прожита Европой: много въ ней печальныхъ опытовъ, уже обратившихся въ добро; много въ ней азартныхъ крайностей, охолодившихся до степени мудрыхъ принциповъ; много въ ней дознаннаго, рѣшеннаго, добытаго въ вѣчное достояніе человѣчества. И что же? Земледѣльческій промыслъ въ жалкомъ положеніи. Такъ говорятъ и пишутъ въ Англіи, во Франціи, въ Германіи, въ Россіи. Въ Англіи низшій классъ народа умираетъ съ голода отъ дороговизны земледѣльческихъ продуктовъ; Франція не можетъ пользоваться своими агрономическими знаніями по ничтожности капиталовъ, обращаемыхъ на земледѣліе; Германія считаетъ себя въ тяжелой необходимости поддерживать запретительную систему для того, чтобъ усиленіемъ мануфактурной промышленности увеличить способы своихъ земледѣльческихъ произведе-

ній: въ Россіи всѣ землевладѣльцы заняты мыслью о невыгодахъ одновременнаго перерода въ одной части государства и недорода въ другой. Однимъ словомъ, чисто агрономическая мудрость пріобрѣтена; но внѣшнія условія успѣховъ земледѣлія вездѣ противодѣйствуетъ ея благодѣтельному вліянію. Есть и такія государства, которыя, при богатствѣ даровъ природы, могли бы, можетъ быть, обходиться и безъ помощи агрономической науки, могли бы „орать и сѣять и собирать въ житницы“ по предписаніямъ наслѣдственной рутины, еслибы было въ нихъ то, что зависитъ не отъ улучшенныхъ методъ земледѣлія, а отъ общихъ условій общественнаго благосостоянія.

Вотъ почему земледѣліе въ политико-экономическомъ отношеніи составляетъ предметъ такого вниманія въ Европѣ вообще, и у насъ въ особенности, и почему брошюра, написанная объ этомъ предметѣ профессоромъ политической экономіи, была замѣчена нашею читающею публикой между множествомъ ученыхъ статей, пропускаемыхъ ею безъ вниманія. Въ какой же мѣрѣ брошюра профессора Порошина удовлетворяетъ умственному запросу? Постараемся познакомить читателей съ ея содержаніемъ.

Всякій современный вопросъ необходимо рождаетъ два рода сочиненій, изъ которыхъ одни заключаютъ въ себѣ рѣшеніе, другіе—изложеніе его. Если вы знаете личность человѣка, который принимается за обработываніе такого вопроса, вы напередъ можете сказать, къ которому роду будетъ относиться его сочиненіе. Есть люди, не могущіе встрѣтиться съ вопросомъ изъ сферы, доступной ихъ разумѣнію, и не дать ему посильнаго рѣшенія: ихъ мучить, томить этотъ вопросъ, они голодны его рѣшеніемъ, они страдаютъ и ищутъ, безпрестанно ищутъ его. Такіе люди, разумѣется, до тѣхъ поръ не примутся за перо, пока не удастся имъ, наконецъ, найти слова загадки: имъ кажется бесполезнымъ и даже невозможнымъ написать что-нибудь о предметѣ спорномъ, съ тою только цѣлью, чтобы рассказать публикѣ, что вотъ-молъ какой вопросъ возникъ въ человѣчествѣ, вотъ какъ онъ родился и вотъ какъ рѣшаютъ его такіе-то и такіе-то знатоки и не-знатоки дѣла. За то есть и другого рода люди, люди, которые совершенно удовлетворяются знаніемъ и изложеніемъ спорныхъ пунктовъ, пассивнымъ созерцаніемъ борьбы противоположныхъ мнѣній, исторіей и картиной битвы, безъ всякаго участія въ успѣхѣ той или другой изъ враждующихъ сторонъ. Къ первому классу принадлежатъ тѣ ученые, которые не только понимаютъ, но и глубоко чувствуютъ отношеніе науки къ жизни, которые прежде, чѣмъ полюбили науку, полюбили жизнь, такъ что на самую науку смотрятъ они какъ на средство осмыслить и ублажить, существованіе человѣка на землѣ. Ко второму классу относятся, напротивъ того, всѣ тѣ, которые или не только не чувствуютъ, но и не понимаютъ отношенія науки къ жизни, или только понимаютъ его. О первыхъ нечего и говорить: они извѣстны и оцѣненены не разъ. Но послѣдніе еще подлежатъ изученію. Они напоминаютъ

намъ цѣлый разрядъ спеціальныхъ людей, которые, сильно наслышаны, что человекъ долженъ быть прежде всего человекомъ, а потомъ уже чѣмъ хочетъ—чиновникомъ, купцомъ, гладіаторомъ, литераторомъ и т. п., и которые, оставаясь въ душѣ и въ дѣйствіяхъ своихъ совершенно погруженными въ свою маленькую, отвлеченную сферу, всячески стараются во внѣшнихъ мелочахъ не походить на то, что они суть на самомъ дѣлѣ. Ученые, принадлежащіе къ этому разряду спеціальныхъ людей, обыкновенно употребляютъ такое средство къ замаскированію своей особенности: они много говорятъ и пишутъ о живыхъ современныхъ вопросахъ. Это средство доставляетъ имъ репутацію людей, сочувствующихъ жизни и современности; но разберите ихъ слова и писанія,—вы увидите, что вся ихъ жизненность и современность ограничивается выборомъ темъ, между тѣмъ какъ въ развитіи вопросовъ остаются они совершенными схоластиками.

Мы рѣшились высказать здѣсь эту мысль, потому что въ числѣ людей, судящихъ о брошюрѣ г. Порошина, есть и такіе „цѣнители и судьи“, которые относятъ къ ней то самое, что сказали мы о третьемъ классѣ ученыхъ сочиненій. Мы не согласны съ этими цѣнителями и судьями въ ихъ окончательномъ приговорѣ, ибо самый объемъ статьи „О земледѣліи въ политико-экономическомъ отношеніи“ показываетъ, что авторъ не имѣлъ въ виду довести въ ней до рѣшенія всѣ вопросы, представляющіеся любознательному современному человеку по поводу этой темы. Намъ кажется даже, что и для изложенія избраннаго имъ вопроса въ современномъ развитіи объемъ этотъ недостаточенъ. Вотъ почему мы нисколько не ставимъ въ вину г. профессору не только уклоненія его отъ разрѣшенія спорныхъ пунктовъ излагаемаго имъ дѣла, но и самую неполноту изложенія. Притомъ г. Порошинъ, какъ и большая часть нашихъ профессоровъ, такъ мало пишетъ для печати, что мы не имѣемъ еще никакого права произносить свое сужденіе объ общемъ характерѣ его учено-литературной дѣятельности. Ограничимся же на этотъ разъ текстомъ его брошюры.

Г. Порошинъ рассматриваетъ земледѣліе съ двухъ сторонъ—какъ промыселъ и, какъ искусство: „Земледѣліе, рассматриваемое на одной чредѣ съ другими промыслами, съ ихъ меркантильнымъ духомъ и пріемами, есть безспорно занятіе важное, необходимое, какъ свѣтъ и воздухъ, но менѣе тѣхъ занятій прибыльное: потому что оно находится въ.... зависимости отъ внѣшнихъ условій и отъ чуждыхъ успѣховъ рукодѣлія и торговли. Прочность поземельной собственности и другія пріятности, съ нею сопряженныя, возможность усовершенствованій агрономическихъ въ обширномъ смыслѣ слова уравниваютъ нѣкоторымъ образомъ выгоды земледѣлія съ прибылями другихъ промысловъ“ (стр. 53).

Развитію этихъ мыслей посвящена первая и, по нашему мнѣнію, лучшая половина статьи. Вопросъ о важности земледѣлія сравнительно съ другими промыслами рѣшается авторомъ совершенно сообразно съ положеніями современной

науки. Особенно замѣчательнъ взглядъ г. Порошина на нравственное вліяніе земледѣлія; не можемъ не повторить здѣсь этихъ разумныхъ строкъ:

„Мы встрѣчаемъ здѣсь два мнѣнія противоположныя, которыя до сего дня плодятся въ сочиненіяхъ большихъ и малыхъ. То слышимъ громкій диамрамбъ въ честь Цереры: ея плоды—плоды необходимо нужны; трудъ, потраченный на нихъ,—трудъ истинно производящій, и человѣкъ, воздѣлывающій землю,—человѣкъ отмытый, здравый и крѣпкій тѣломъ, и потому грозный для враговъ отечества, вмѣстѣ съ тѣмъ миролюбивый, довольный всѣмъ и собою, умеренный, набожный. То, напротивъ, говорятъ, что земледѣліе—неблагодарное дѣло, что произведенія его—громоздки, не идутъ съ рукъ; чтобы выйти изъ бѣды, помѣщикъ заводитъ „филатуру“, и вѣжливый горажанинъ зоветъ земледѣльца, а иногда и не земледѣльца, въ укоръ просто „мужикомъ“. Очевидно, что всѣ эти положенія pro и contra погрѣшаютъ своимъ абсолютизмомъ. Одно изъ нихъ служить основаніемъ знаменитой системѣ физиократовъ, которая, при несомнѣнномъ своемъ достоинствѣ, представляетъ истину не въ надлежащей полнотѣ: въ томъ и состоитъ ея несовершенство. У физиократовъ земледѣліе относится къ другимъ промысламъ, какъ предметъ относится къ своей тѣни: отношеніе, конечно, неравное, однакожъ необходимое въ философскомъ значеніи слова, слѣдовательно, не всѣмъ ложно постигаемое.

„Тѣ, которые разсуждаютъ безъ системы, впадаютъ въ большія несообразности, выхваляя, напримѣръ, государства чисто земледѣльческія на счетъ другихъ. Но что значитъ государство чисто земледѣльческое? Такое ли гдѣ живутъ подъ открытымъ небомъ и одѣваются шкурами? Народъ, у котораго земледѣліе преобладаетъ, потому только, что всѣ прочія искусства остались безъ развитія, находится въ первой порѣ своего образованія, иначе сказать—онъ ходитъ въ лаптяхъ, жжеть лучину вмѣсто газа, утопаетъ въ грязи на улицахъ и дорогахъ, не имѣетъ ни чистой кровати, ни плошки, ни ложки порядочно сдѣланной. Если же эти средства грубаго потребленія таковы, что нельзя обойтись безъ нихъ, а въ странѣ исключительнаго земледѣлія не могутъ и, по самому понятію такой страны, не должны быть лучше и совершеннѣе, то названіе ея равнозначительно бѣдности и полуобразованности, чѣмъ, конечно, нельзя довольствоваться. Нѣкоторые, наблюдая жаркое развитіе фабричности въ Великобританіи и, болѣзнуя объ участи рабочихъ въ душныхъ городахъ, вывели заключеніе, что положеніе этого класса людей было бы счастливѣе, если бы обширные заводы и фабрики перенести изъ тѣсноты большихъ городовъ на просторъ въ удобныя мѣстности; и повсюдное усовершенствованіе путей сообщенія, сблизивъ центры производительности съ другими важными точками земной поверхности, безспорно облегчило бы исполненіе этой мысли <sup>1)</sup>. Можетъ статься, со временемъ такъ и будетъ; но

<sup>1)</sup> *Études sur l'Angleterre* par *L. Faucher*. Paris 1845. T. I, p. 383



ремесла и торговля останутся всегда городскимъ промысломъ: плоды и двигатели общежитія, отголоски его требованій самыхъ особенныхъ, часто безотчетныхъ, они не иначе могутъ преуспѣвать, какъ въ перекрестномъ огнѣ частныхъ мнѣній, прихотей, модъ, вымысловъ и соревнованій. Итакъ, города составляютъ явленіе само по себѣ необходимое, и политикъ остается лишь найти средства къ ихъ безвредному процвѣтанію. Тщетно и неразумно было бы покушеніе противодѣйствовать умноженію ихъ, или распространять мысль, что въ какомъ-нибудь государствѣ, на примѣръ, въ Россіи, для промышленности неземледѣльческой „вовсе не нужна городская жизнь, которая вообще ни въ историческомъ развитіи, ни въ характерѣ края и народа не свойственна народному русскому быту“<sup>1)</sup>. Все это, кажется, очень трудно доказать. Правда, не нужно желать „насиленнаго“ развитія городовъ. Но когда слышимъ желаніе, „чтобы народъ остался въ сельскомъ быту (хотя и въ улучшенномъ, возрастающемъ состояніи) и продолжалъ заниматься въ семейномъ кругу ремеслами, торговлею и мануфактурами и т. д.“, то позволяемъ себѣ спросить: во-первыхъ, какая разница между городомъ и нашимъ селеніемъ-слободою въ нѣсколько тысячъ душъ обоего пола? Названіе, внѣшній видъ и формы управленія, конечно, не составляютъ главнаго, существеннаго. Не далѣе, какъ въ Московской губерніи, есть города земледѣльческіе, и тамъ же есть селенія фабричныя и ремесленныя. На низкой степени развитія все слитно: слѣдовательно, желать слитности явленій значить не желать развитія. И едва ли тѣ селенія въ такой мѣрѣ сохраняютъ чистоту нравовъ, какъ предполагаютъ нѣкоторые. Во, вторыхъ, рѣшено ли вообще, что деревня выше города въ нравственномъ отношеніи? Для многихъ, правда, это не подлежитъ даже и сомнѣнію, и въ нѣкоторомъ смыслѣ они могутъ опереться на факты уважительные. Еще сильнѣе вступится за нихъ вѣковое предубѣжденіе. Здѣсь, можетъ быть, прежде всего слѣдовало бы привести въ ясность самое основаніе такихъ сужденій, понятіе нравственности. Нѣмецкіе философы различаютъ *Moralität* и *Sittlichkeit*, два слова одного корня, но разныхъ почвъ, такъ что смыслъ влагается въ нихъ философомъ болѣе или менѣе искусственно. Нашъ языкъ, слава Богу, безъ длинныхъ объясненій выражаетъ ту же истину двумя словами: благонравіе и нравственность. Благонравіе свойственно дитяти, нравственность—человѣку зрѣлыхъ лѣтъ. Золотой вѣкъ, сельская жизнь, юность, дѣвственность, благонравіе, все это очень близко по своему значенію. Нравственность есть болѣе зрѣлый плодъ горькаго искуса, плодъ познанія добра и зла; она не достается даромъ, а покупается жертвами и усиліемъ. Иногда, видя ея потуги, ея мозольный трудъ, мы не узнаемъ ея, какъ не понимаемъ рѣчи не досказанной. Есть причины думать, что городъ, явленіе высшаго порядка,

<sup>1)</sup> Москвитянинъ 1845 г., № 2: „О мануфактурной промышленности Россіи въ отношеніи ея къ общей производительности и къ быту низшихъ классовъ народа“.

служить дѣлу нравственности особымъ образомъ: какъ явленіе сложное, онъ не всѣми цѣнится одинаково, съ должною разсудительностію. Впрочемъ, и то надобно помнить, что ни одинъ, можетъ быть, изъ существующихъ нынѣ городовъ не соотвѣтствуетъ вполнѣ своему назначенію, которое, конечно, состоитъ не въ растлѣніи силъ и содержитъ въ себѣ всякое противоядіе. Сохранены кассы, дѣтскіе пріюты, оредства общаго образованія и развлеченія, драма, концерты, публичныя курсы и проч. возможны лишь въ городахъ. Явная безнравственность; всякая жестокость даже съ безсловесными оскорбляетъ незапно чувство горожанъ.

„Изстари хвалятъ земледѣльца, какъ сильнаго, храбраго солдата; но это преимущество имѣетъ цѣну свою лишь для тѣхъ, которые вѣруютъ въ необходимость войны, а не считаютъ ее зломъ временно преходящимъ и уже видящимъ рѣдѣющимъ передъ нами. И та же кисть изображаетъ намъ поселянину кроткимъ, миролюбивымъ... Въ этомъ противорѣчій не таится ли глубокая истина? Въ безвѣстной тишинѣ сельской жизни, онъ живетъ „въ помощи Вышняго, въ кровѣ Бога небеснаго“, покорный судьбѣ, простосердечный, не враждуя съ людьми, потому что почти не знаетъ съ ними <sup>1)</sup>, вмѣстѣ съ тѣмъ равнодушный къ толкостямъ и тревогамъ общежитія, невольно ограниченный въ своихъ понятіяхъ,— и потому легче фанатизировать. Но въ этой способности кочевые народы еще выше его и страшнѣе для враговъ внѣшнихъ. И однакъ, внутренніе враги гораздо опаснѣе; онъ ихъ не знаетъ или несетъ иго съ безчувствіемъ. Напротивъ того, чувство самосознанія всегда живѣе тамъ, гдѣ частыя столкновенія людей между собою опредѣляютъ ясно цѣль общественнаго союза и мѣру принадлежащихъ каждому правъ и выгодъ, а самосознаніе есть пробный камень нравственности и всѣхъ вообще догматовъ общежитія“ (стр. 11—16).

Во второй половинѣ статьи земледѣліе разсматривается какъ искусство, что, по желанію автора, значитъ источникъ особеннаго дохода, ренты (дохода, получаемого землевладѣльцемъ за право пользованія землею). Развивая одинъ за другимъ различныя частныя вопросы, входящіе въ составъ ученія объ исключительной поземельной собственности, авторъ обращаетъ особенное вниманіе на основаніе аристократическихъ привилегій землевладѣльцевъ. Приводя энергичныя доказательства противъ терпимости этихъ злоупотребленій вообще, и въ особенности въ Англіи, какъ странѣ по преимуществу аристократической, онъ въ то же время находитъ сказать кое что въ защиту ихъ. По крайней мѣрѣ, англійская аристократія нашла въ немъ себѣ рѣшительнаго защитника. Приводя изъ рѣчей

<sup>1)</sup> Впрочемъ, большая половина гражданскихъ споровъ и тяжбъ раздѣляется между васильковъ, „барской слѣсы“ и „куричьей слѣпоты“. Хотите ли найти мѣру нравственной утонченности „мирныхъ поселанъ? Посмотрите на обращеніе ихъ съ домашними животными; сочтите хромыя лошадей, на которыхъ развѣзжаютъ они по столичной мостовой.

и сочиненій членовъ основанной Кобденомъ лиги мѣста, показывающія уваженіе англійской націи къ высшему сословію, онъ позволяетъ себѣ слѣдующее заключеніе: „Гдѣ подобные отзывы слышатся изъ устъ демагогическихъ, тамъ, при всей общности ихъ, надобно допустить, что аристократія не безъ заслугъ передъ народомъ, и что заслуги ея неотрицаемы. Тамъ онѣ живо чувствуются даже врагами“ (стр. 51).

Но спрашивается: какое же значеніе можетъ имѣть почтительный отзывъ передъ суммой уликъ въ неумѣренныхъ требованіяхъ и злоупотребленіяхъ, приводимыхъ вслѣдъ за этимъ отзывомъ и предшествующихъ ему въ одной съ нимъ рѣчи? Далѣе г. Порошинъ рѣшается подкрѣплять свои идеи слѣдующею выдержкой изъ Леона Фоше: „Аристократія не осчастливила Англіи, но она возвеличила ее, сформировала народный характеръ. Самообладаніе, рѣшимость и стойкость въ предпріятіяхъ, уваженіе къ чужимъ правамъ, глубоко впечатлѣнное чувство долга: вотъ черты, которыя высшій классъ, усвоивъ, себѣ, сообщилъ другимъ сословіямъ. Благородство изъ гордости—чувство аристократическое—стало въ народѣ проводникомъ добродѣтели. Англичанинъ всегда хочетъ казаться порядочнымъ человѣкомъ и для того избѣгаетъ предосудительныхъ дѣлъ, чтобы не уронить себя. Какая-нибудь неприличность дѣлаетъ болѣе шума въ англійскомъ обществѣ, нежели злодѣйство въ иномъ мѣстѣ. Въ Англіи сколько-нибудь порядочный человѣкъ никогда не лжетъ. Отсюда всеобщее довѣріе, необыкновенно облегчающее механизмъ житейскихъ сношеній: дѣла ведутся на честное слово. Въ такомъ порядкѣ вещей есть нѣчто восхитительное“ (стр. 52).

Не споримъ, что все, исчисленные здѣсь черты дѣйствительно существуютъ въ характерѣ англичанъ; но кто же докажетъ намъ, что онѣ перешли въ низшій классъ отъ высшаго, когда аристократія вовсе не сходится съ народомъ, и когда исторія Англіи ясно указываетъ на другіе источники ихъ образованія, именно—во-первыхъ, на германское происхожденіе англо-саксовъ и норманновъ, и во-вторыхъ, на тѣ стороны политическаго устройства Англіи, которыя противоположны аристократической исключительности?

Наконецъ, авторъ приводитъ собственное доказательство великихъ услугъ, оказанныхъ англійскому народу англійскою аристократіей. Оно заключается въ той пользѣ, которую должны были принести ей заботы о земледѣльческихъ улучшеніяхъ: „Извѣстно“, говоритъ авторъ,—„съ какою пользою англійская аристократія употребляетъ поземельный доходъ свой на усовершенствованіе земледѣлія, на заведенія образцовыя въ хозяйствѣ, на осушку болотъ и проведеніе каналовъ, на улучшеніе породъ рогатаго скота, овецъ, телицъ и лошадей въ своихъ имѣніяхъ, откуда, посредствомъ случки и продажи, улучшенное племя распространяется по цѣлому краю, можно сказать—по цѣлому свѣту; все это дѣлается въ скромной тишинѣ, досужествомъ однихъ лишь частныхъ интересовъ. Посмотрите, какія имена украшаютъ собою списокъ членовъ большого Земле-

дѣльческаго Общества Англіи: лордъ Спенсеръ, Вестеръ, графъ Лейстеръ и другіе не по имени только принимаютъ живое, благотворное участіе въ дѣлахъ общества, предсѣдательствуютъ въ его собраніяхъ, говорятъ въ нихъ умныя рѣчи и обильными вкладами своими поддерживаютъ всякое полезное предпріятіе—составляется ли капиталъ для застрахованія жизни земледѣльцевъ или имущества ихъ отъ огня, града, падежа скота, собирается ли подписка для поощренія въ изобрѣтеніяхъ, къ изданію полезной книги, журнала и т. п. На этомъ основаніи слѣдуетъ считать ихъ участниками въ промыслѣ и, если угодно, его представителями. Они содѣйствуютъ возвышенію общаго дохода, отъ земли получаемому, и берутъ изъ него свою долю въ видѣ ренты“ (стр. 42—43).

Но спрашивается: что позволяетъ англійскимъ аристократамъ употреблять такъ похвально свои капиталы? Наличие огромныхъ капиталовъ и образованность. А развѣ то и другое не можетъ быть достояніемъ не аристократовъ?

Вотъ все, что противопоставляетъ авторъ сокрушительнымъ англійской лиги въ защиту сильнѣйшей въ мірѣ аристократіи! Посмотримъ, что думаетъ онъ вообще о сосредоточеніи правъ на поземельную въ рукахъ касты: „Владѣть землею на правѣ исключительно можетъ быть предоставлено всѣмъ безъ различія, или можетъ сопринадлежать нѣкоторымъ лицамъ и родамъ. Въ первомъ случаѣ капризъ приобрести такое имѣніе и положить въ него капиталъ свой, тоталу употребленіе, обѣщающее со временемъ наибольшую прибыль, и прочія: представится оборотъ еще болѣе прибыленъ капиталъ къ нему обратится. Итакъ, выгодное положеніе землевладелецу случайно то тому лицу, то другому, и хотя эта возможность нѣкогда равняетъ между собою всѣхъ имѣющихъ состояніе, однакожъ сами своей землевладѣльцы и при такомъ порядкѣ вещей, противнымъ классамъ общества, пользуются въ сравненіи съ ними (возрастающаго дохода), о которомъ упомянуто выше. Второй случай намъ то же начало, усиленное еще политическими учрежденіями закономъ положительнымъ. О такомъ законѣ надобно сказать чуждъ естественной основы и потому найдетъ свое оправданіе въ практикѣ онъ можетъ дѣйствовать исключительно въ угожденіе интересамъ или быть проникнутъ понятіемъ общей пользы. Скажемъ законъ писаннымъ, а въ нравахъ и обычаяхъ заключается сила кнѣзскихъ учрежденій. Если исторія и давняя знаменитость отмѣтили и въ государствѣ, и роды, ихъ носящіе, сомкнулись въ тѣсный кругъ чредѣ прямого высшаго достоинства, то другіе тѣмъ охотнѣе счищаютъ преимущество, и такое согласіе, будучи общимъ и благотворнымъ вѣковымъ обычаемъ, обратится ко благу всѣхъ и каждый будетъ сословіе именитое, отмѣненное по своей организаціи, высоко

надѣленное средствами къ его достиженію, уважаемое... если уважаетъ общія права и подлинно стремится къ предназначенной ему цѣли. Утверждаясь на своей самобытности, на прочности своего положенія, оно устроитъ судьбы народа, оградитъ его отъ враждебныхъ покушеній, введетъ въ обѣтованіе правомѣрной жизни, гдѣ законъ господствуетъ, смягчаемый лишь кротостью нравовъ, для всѣхъ равно спасительный, безъ лихвы и лицепріятія, гдѣ чувства, мысли и слова свободны и путь къ развитію открытъ для всѣхъ дарованій. Существованіе такого сословія не есть ли особое счастье для народа, особенно благопріятный случай?" (стр. 47—49).

Кто жъ не знаетъ того, что всякое политическое учрежденіе можетъ быть возвышено и унижено обществомъ, въ которомъ существуетъ, и людьми, которые его составляютъ? Но можно доказывать естественную основу исключительнаго сосредоточенія поземельной власти въ рукахъ одной касты такимъ предположеніемъ, что всѣ члены этой касты, при благопріятныхъ, то-есть, идеально-благопріятныхъ обстоятельствахъ могутъ быть людьми, проникнутыми стремленіемъ къ водворенію и поддержанію общаго блага? Это было бы такъ недостойно той строгой логики, которою отличается первая часть статьи, что мы не позволяемъ себѣ объяснить приведенное здѣсь мѣсто иначе, какъ желаніемъ показать ничтожность тѣхъ доказательствъ, которыя любятъ приводить разные писатели, особенно англійскіе, въ защиту вопіющаго учрежденія. И мы тѣмъ болѣе считаемъ себя въ правѣ смотрѣть на это такимъ образомъ, что приводимые авторомъ доказательства противъ исключительности землевладѣльческихъ правъ, несмотря на свою краткость, слишкомъ достаточны для того, чтобы поколебать доводы самаго искуснаго панегириста. Да, наконецъ, неужели въ наше время еще настоятъ какая-нибудь нужда доказывать нелѣпость законовъ о поземельной собственности, подобныхъ англійскимъ? По крайней мѣрѣ въ Россіи, гдѣ такъ давно уже земля не составляетъ предмета привилегій какого нибудь сословія, изыскивать доводы для убѣжденія въ естественности общаго права гражданъ на поземельную собственность кажется намъ совершенно излишнимъ. Поэтому мы и не находимъ нужнымъ выписывать изъ брошюры г. Порошина тѣ мѣста, которыя уничтожаютъ его же quasi-защиту привилегій землевладѣльческаго класса.

Но что скажутъ читатели, когда узнаютъ, что въ заключеніе своей статьи авторъ высказываетъ развитія въ ней идеи о поземельной собственности слѣдующимъ образомъ: „Многочисленный классъ земледѣльцевъ, неограниченное для всѣхъ право пріобрѣтать недвижимую собственность и располагать ею, переходить отъ одного занятія къ другому безпрепятственно, слѣдовательно, равное уваженіе всѣхъ видовъ промышленности и всякой свободы,—вотъ общія черты одной системы общежитія. Въ другой системѣ земледѣліе становится выше промысла, на степени искусства, дѣломъ государственнымъ. Особый доходъ, рента даетъ начало другому сословію, которое есть начало многого въ народѣ и государствѣ.

Пусть практика изберетъ ту или другую систему по своему разумѣнію: обстоятельства будутъ ей указаніемъ. Надобно только позаботиться о томъ, чтобъ, избравъ одну, ей и слѣдовать, избѣгая той шаткости въ дѣлахъ и узаконеніяхъ, которая есть слѣдствіе неясности въ понятіяхъ. *Principiis obsta*“ (стр. 53—54).

Что-нибудь одно: или авторъ считаетъ свои доказательства въ пользу англійской системы поземельной собственности совершенно удовлетворительными, или наука представляется ему такимъ гимнастическимъ дѣломъ, такою безпослѣдственною забавой ума, что онъ отъ времени до времени не прочь и отъ такихъ выводовъ, которые самому ему забавны?.. Намъ ясно только одно—что вторая половина статьи „О земледѣліи въ политико-экономическомъ отношеніи“ составляетъ какой-то новый, совершенно оригинальный родъ ученыхъ сочиненій.

### С. А. Масловъ.

**О всенародномъ распространеніи грамотности въ Россіи на религіозно-нравственномъ основаніи. Книжка вторая. Москва. 1846.**

Почтенный авторъ лежащей передъ нами брошюры, не принадлежа къ поклонникамъ запада, совѣтуетъ однакожъ—искренно и сильно—распространять грамоту всенародно. Отсюда и видно, что послѣдователи востока не совсѣмъ конквентны въ своемъ ученіи, или существуетъ столько же воззрѣній на востокъ, сколько умовъ.

Въ двухъ пунктахъ мы совершенно согласны съ почтеннымъ авторомъ брошюры, и оба искренно уважаемъ. Одинъ—прекрасное побужденіе, которымъ окъ руководствуется, говоря о всенародномъ распространеніи грамотности въ Россіи. Это побужденіе—любовь къ отечеству, любовь къ тому классу общества, который всего больше требуетъ любви, желаніе внести свѣтъ и въ хижины. Кто лишенъ способности сочувствовать этому желанію, съ тѣмъ нечего и говорить. Второй пунктъ, на которомъ мы сходимся съ почтеннымъ авторомъ, есть тотъ, что учить крестьянъ грамотѣ надобно и надобно. Это ясно каждому, какъ бы ни увѣряли насъ въ противномъ.

Но мы не согласны съ г. Масловымъ въ мнѣніи о тѣхъ слѣдствіяхъ, которыхъ онъ ожидаетъ несомнѣнно отъ предлагаемаго ученія, въ понятіи о тѣхъ плодахъ, которые возростутъ, по его мнѣнію, изъ посѣянныхъ сѣмянъ: „Ученіе, соединенное съ трудолюбіемъ и нравственно-религіознымъ воспитаніемъ“, говоритъ авторъ,—„вотъ чего требуетъ народное образованіе“ (стр. 11). Справедливо; но такое ученіе прилично не однимъ крестьянамъ, а всѣмъ живущимъ въ мірѣ. „Образованіе“, говоритъ онъ же въ другомъ мѣстѣ брошюры,—„приличное значенію каждаго класса работающихъ, соединенное съ трудолюбіемъ и правилами исповѣдуемой вѣры, введенными чрезъ исполненіе ихъ въ привычку, кото-



рая есть вторая натура"—вотъ единственное „основаніе народной нравственности“ (стр. 18). Опять справедливо; но это основаніе необходимо каждому классу общества, не однимъ земледѣльцамъ, промышленникамъ и фабричнымъ.

Каждое ученіе хорошо лишь тогда, когда оно не останется только ученіемъ, но переходитъ въ дѣло, въ жизнь, точно такъ же, какъ нравственность прочна только въ томъ случаѣ, когда она не обязана измѣнять своей сущности при переходѣ изъ одного мѣста въ другое, изъ низшаго сословія въ высшее и наоборотъ. Но если жизнь противорѣчитъ на каждомъ шагу словамъ книги, если одни и знать не хотятъ той нравственности, которую считаютъ чистѣйшею для другихъ, тогда или надобно жить иначе, или учиться не тому. Такъ, напримѣръ, высшій законъ человѣческихъ дѣйствій внушаетъ намъ „не дѣлать того другимъ, чего не хочешь себѣ“, или: „какъ желаешь, чтобы другіе съ тобою поступили, поступай и ты также съ ними“ (стр. 26). Я знаю этотъ законъ, и вамъ онъ очень хорошо извѣстенъ, однакожь оба ли мы равномерно исполняемъ его? Я частію по собственному произволу, частію по невозможности не дѣлаю вамъ того, чего не желаю себѣ; вы же, по волѣ и по возможности, поступаете съ мною такъ, какъ не хотите, чтобы поступали съ вами. У меня въ рукахъ только отрицательный способъ нравственнаго дѣйствія; у васъ и отрицательный, и положительный. Я относительно васъ существо зависящее и пассивное: моя нравственность немного надѣлаетъ подвиговъ; вы относительно многихъ существо активное, и ваша безнравственность натворитъ много проказъ. Конечно, моя чистая совѣсть послужитъ мнѣ утѣшеніемъ, но останавливаться на одномъ утѣшеніи мало. Вы хотите только отирать мои слезы, а я требую веселія, удовольствія, радости. Заботясь о чистотѣ моей совѣсти, позаботьтесь хоть немного о моемъ счастьи, сначала внѣшнемъ, вещественномъ, безъ котораго мнѣ и ученіе не пойдетъ въ голову, а потомъ о внутреннемъ, о счастьи ума и сердца.

Вотъ что мы думали, читая и перечитывая благонамѣренную брошюру г. Маслова. Не напрасно возвращается онъ къ мыслямъ, высказаннымъ прежде, повторяетъ и поясняетъ ихъ: предметъ такъ важенъ, что трудно изъ разсужденій о немъ выйти безъ вопросительныхъ знаковъ, совершенно рѣшившимъ всѣ недомѣнкія. Твердая мысль требуетъ твердаго основанія, а есть такія основанія, которыя никогда не уяснятъ мысли...

### Д. Д. Дмитріевъ.

О духовномъ образованіи земледѣльческаго класса въ Россіи. Сочин. Д. Д. Д. Санктпетербургъ 1846.

Эта брошюра служитъ, по словамъ самого автора (стр. 21), введеніемъ въ трудъ болѣе обширный, состоящій въ начертаніи „идеала образованія нашихъ

крестьянъ“. Не возможно однакожь сказать, въ какомъ объемѣ представляется ему это образованіе, потому что въ концѣ брошюры встрѣчаемъ слѣдующее двусмысленное объясненіе: „Я предлагаю уже съ первыми упражненіями въ чтеніи положить начало развитію духовныхъ способностей ребенка, которыя потомъ должны постепенно совершенствоваться съ возрастомъ его. Не въ ученыхъ знаніяхъ, не въ эстетическомъ образованіи заключается цѣль этого развитія: предосудительно выводить крестьянина изъ его быта и усвоивать ему такой, которымъ онъ не можетъ пользоваться. Но и простой крестьянинъ можетъ имѣть высокую душу, здравый умъ, чувствительное сердце и наслаждаться тѣмъ благополучіемъ, которое Всевышній назначилъ въ удѣлъ не нѣкоторымъ только избраннымъ, а каждому человѣку: не Творецъ же виноватъ, если люди не умѣютъ имъ пользоваться“ (стр. 20 и 21). Сначала, какъ видите, авторъ изъявляетъ явное желаніе не приобщать крестьянина къ тѣмъ благамъ, которыя даютъ человѣку науки и искусства. Вслѣдъ затѣмъ онъ защищаетъ его право пользоваться всѣми благами человѣческой природы. Согласить эти двѣ мысли, эти два желанія едва ли дѣло логики.

Пусть бы приведенныя нами слова г. Дм. Д. играли второстепенную роль въ изданномъ имъ введеніи: къ сожалѣнію, они повергаютъ читателя въ совершенное недоумѣніе относительно сущности его предпріятія. Онъ объявляетъ, что намѣренъ начертать идеаль образованія русскаго крестьянина, а между тѣмъ какъ бы интригуетъ насъ своею идеей о томъ, что разумѣть подъ образованіемъ. Вслѣдствіе такого недоразумѣнія мы не видимъ въ брошюрѣ г. Дм. Д. ничего, кромѣ нѣсколькихъ отдѣльныхъ мыслей объ образованіи земледѣльческаго класса вообще и русскихъ крестьянъ въ особенности. Съ иными нельзя не согласиться, точно такъ же, какъ нельзя отвергнуть другихъ. Такъ какъ народное образованіе въ послѣднее время возбуждаетъ у насъ всеобщій интересъ, то мы считаемъ долгомъ исчислить тѣ идеи автора, которыя кажутся намъ неоспоримыми, и тѣ, съ которыми мы никакъ не можемъ согласиться.

Всего лучше доказана имъ односторонность системы образованія крестьянъ, придуманной г. Масловымъ, авторомъ статьи „О всенародномъ распространѣніи грамотности въ Россіи на религіозно-нравственномъ основаніи“, о которой въ свое время мы изложили уже свое мнѣніе. Вопреки мнѣнію г. Маслова, г. Д. полагаетъ, что гораздо основательнѣе начинать обучать ребенка чтенію по книгамъ гражданской печати, и притомъ по книгамъ, которыхъ содержаніе для него занимательно и доступно его разумѣнію, чѣмъ „толковать ему исключительно о предметахъ религіи и нравственности, да еще на языкѣ, мало ему знакомомъ“ (стр. 23, прим.). Съ этимъ мы совершенно согласны, такъ же какъ и съ общими положеніями автора объ условіяхъ способа обученія дѣтей, которыя по его мнѣнію, заключаются въ легкости и занимательности. Замѣчаніе автора о томъ, что тѣлесное наказаніе—самый не надежный и самый варварскій способъ

собѣ возбуждать прилежаніе ребенка къ ученію, есть аксіома (стр. 11). Точно также назовемъ мы идею о неразрывной связи между благосостояніемъ крестьянъ и благосостояніемъ помѣщиковъ (стр. 4, 5, 6). Наконецъ, нельзя не одобрить и того, что говоритъ авторъ о любви учителя къ ученикамъ, какъ о главномъ условіи успѣшнаго преподаванія (стр. 19).

Но вотъ что кажется совершенно неосновательнымъ и что лишаетъ въ нашихъ глазахъ брошюру не одного г. Д. всякой практической важности. Введеніе его къ неизвѣстному сочиненію объ образованіи земледѣльческаго класса въ Россіи заключаетъ въ себѣ ту гибельную мысль, будто нравственное благосостояніе человѣка возможно при отсутствіи благосостоянія экономическаго, и будто бы первое служить основой послѣднему, а не наоборотъ. Вотъ какъ выражается объ этомъ г. Д.: „Поверхностные мыслители скажутъ, можетъ быть, что прежде надо позаботиться о насущномъ хлѣбѣ крестьянина, что не время думать о его просвѣщеніи, когда онъ умираетъ съ голоду. Они не видятъ, что матеріальное состояніе человѣка тѣсно связано съ его умственнымъ образованіемъ. Можетъ ли неразумный (?) купецъ вести хорошо свои торговыя дѣла? Можетъ ли неразумный (?) аферистъ разбогатѣть своими оборотами? (чѣмъ же иначе?) Можетъ ли крестьянинъ благоденствовать, когда онъ безсознательно занимается своимъ промысломъ, когда закоренѣлые предразсудки невѣжества связываютъ духовную природу его, когда онъ лишенъ способности мыслить, когда онъ всякую заработанную копейку пропиваетъ?“ (стр. 2—3).

Мы охотно готовы причислить себя къ тѣмъ „поверхностнымъ мыслителямъ“, которые думаютъ о народномъ благосостояніи совершенно иначе, чѣмъ авторъ брошюры „О народномъ образованіи“. По нашему мнѣнію, духовное образованіе не только бесполезно, но... какъ бы это сказать?—безпокойно для человѣка, не пользующагося другими условіями благосостоянія. Мы убѣждены, что просвѣщеніе ума усиливаетъ сознаніе тяжести всякихъ лишеній другого рода; мы убѣждены вопреки г. Д., что крестьянинъ тогда только и можетъ терпѣливо переносить эти лишенія, когда онъ безсознательно отправляетъ работу (которую онъ никакъ не можетъ назвать своимъ промысломъ), когда закоренѣлые предразсудки невѣжества связываютъ его духовную природу, когда онъ бытомъ своимъ стѣсненъ въ способности мыслить, когда онъ находитъ въ винѣ средство заглушать просыпающуюся иногда природу съ ея грозными требованіями. Пусть наши идеи очень поверхностны, но онѣ такъ сильно укрѣпились въ нашемъ убѣжденіи, что мы готовы навязать ихъ и другимъ: намъ кажется, что люди, заботящіеся о просвѣщеніи крестьянъ въ Россіи, думаютъ про себя то же, что и мы; намъ кажется, что, толкуя о необходимости учить крестьянъ грамотѣ, они посмѣиваются исподтишка надъ своими слушателями и читателями, точно такъ же, какъ англійскій мануфактуристъ, заботящійся объ учрежденіи воскресныхъ школъ для своихъ работниковъ, истощенныхъ системой задѣльной платы, посмѣивается за

великолѣпнымъ ростбифомъ и за бутылкой тонкаго хереса надъ тѣми наивными журналистами, которые подносятъ ему громкое титуло филантропа. Иначе трудно себѣ объяснить, зачѣмъ бы нужно было, во-первыхъ, доказывать съ такимъ жаромъ необходимость просвѣщенія земледѣльческаго класса, и во-вторыхъ, толковать о границахъ этого просвѣщенія. Вообще, ничто такъ не наводитъ на сомнѣніе въ искренности чьихъ-либо словъ, какъ реторическое развитіе истинъ въ родѣ  $2 + 2 = 4$ ; вслушаешься повнимательнѣе въ эти слова и поймешь, что настоящая-то тема ритора  $2 + 2 = 99$ .

Не сомнѣваемся. что сказанное нами будетъ перетолковано многими, можетъ быть, и самимъ г. Д., изустно и письменно въ совершенно противоположную сторону. Скажутъ и напишутъ, что „Отечественныя Записки“ изъявили желаніе, чтобы русскіе крестьяне оставались безсмысленными и безграмотными дикарями, что попытки „благонамѣренныхъ сыновъ отечества“ вывести крестьянъ изъ этого бѣдственнаго состоянія встрѣчаютъ въ этомъ журналѣ злостное негодованіе и неприличную брань; но мы, съ своей стороны, совершенно увѣрены, что никто не повѣритъ этимъ остроумнымъ антикритикамъ и, прочитавъ нашъ краткій отзывъ о брошюрѣ г. Д., скажетъ вмѣстѣ съ нами, что благосостояніе народа не заключается въ удовлетвореніи одной потребности народа при неудовлетвореніи всѣхъ прочихъ, и что развитіе умъ человѣка, не позаботясь о томъ, чтобы онъ могъ трудиться сообразно съ своими нуждами не для чего иного, какъ для удовлетворенія ихъ, значить только пробудить въ немъ горестное сознаніе той истинны, что потребности его не признаны...

Въ заключеніе скажемъ, что мы вовсе не имѣемъ предубѣжденія противъ труда, обѣщаемаго г. Д., хотя и совершенно увѣрены, что практической пользы отъ него никогда не будетъ. Можетъ быть, задуманный имъ трактатъ обогатитъ педагогическую литературу и когда-нибудь впослѣдствіи пригодится и крестьянамъ нашимъ. Во всякомъ случаѣ, жалѣть будетъ всѣхъ болѣе самъ г. Д., который говоритъ (на стр. 8): „Искреннее мое желаніе заключается не въ теоріи, а въ практикѣ, да еще въ самой скорой практикѣ“. Мы увѣрены, что здѣсь подъ словомъ „практика“ разумѣется не одна возможность исполненія плана, но и существенная польза такого исполненія, и напередъ сожалѣемъ о напрасныхъ усиліяхъ.

## И. С. Вавиловъ.

## I.

**Бесѣды русскаго купца о торговлѣ.** Практическій курсъ коммерческихъ знаній налагаемый въ Санктпетербургѣ публично по порученію Императорскаго Вольно-экономическаго Общества и издаваемый подъ покровительствомъ онаго членомъ его, фридрихсгамскимъ первостатейнымъ купцомъ *Иваномъ Вавиловымъ*. Часть первая. Санктпетербургъ 1846. Съ эпиграфомъ: „Отцы и братія! еже ся гдѣ буду описалъ или переписалъ или не дописалъ, чтите, исправляя Бога для, а не кляните“ (изъ приписки въ Лаврент. списку Нестора).

До сихъ поръ при выходѣ въ свѣтъ выпусковъ этого сочиненія, мы коротко высказывали о нихъ свое мнѣніе. Теперь, когда всѣ десять бесѣдъ изданы цѣлою книгой и названы первою частью „Практическаго курса коммерческихъ знаній“, считаемъ обязанностью поговорить подробнѣе объ этомъ явленіи и оправдать свои прежніе отзывы. Но напередъ надобно сказать нѣсколько словъ о самомъ авторѣ.

Многіе, очень многіе готовы думать, что критика не должна быть строга къ „Бесѣдамъ“ г. Вавилова уже потому, что она не можетъ не уважить въ немъ *русскаго купца*, рѣшившагося публично говорить о торговлѣ и тѣмъ самымъ дать почувствовать нашему купечеству, что торговля, какъ и всякая дѣятельность человѣка, должна быть основана на размышленіи, на законахъ, а не на слѣпой привычкѣ, не на наслѣдственныхъ преданіяхъ. Признаемся, что г. Вавиловъ, при первомъ слухѣ о его лекціяхъ, расположилъ и насъ въ свою пользу по этой же самой причинѣ. Но по нѣкоторомъ размышленіи мы нашли ее совершенно недостаточною для того, чтобы состояніе автора могло лишить критику права высказать свое сужденіе о его книгѣ безъ всякаго особеннаго снисхожденія. Купечество наше образовано не хуже, не лучше дворянства. Купеческія дѣти, точно такъ же, какъ и дворянскія, воспитываются въ уѣздныхъ училищахъ, гимназіяхъ и университетахъ, да сверхъ того, въ нѣсколькихъ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Правда, на число дворянъ, воспользовавшихся и пользующихся гимназическимъ и университетскимъ образованіемъ, приходится несравненно меньшее число купцовъ; но этому есть свои особыя причины, въ разборъ которыхъ входитъ здѣсь не мѣсто. Но образованные люди есть и въ другомъ сословіи, какъ предвѣстники будущаго. Вотъ почему человѣкъ, написавшій книгу о торговлѣ, равно подлежитъ суду критики, къ какому бы изъ двухъ состояній онъ ни принадлежалъ. Спѣшимъ приступить къ разбору „Бесѣдъ“ г. Вавилова.

Начнемъ съ заглавія: въ немъ очень много хорошаго. Заглавіе это (до словъ „практическій курсъ“) такъ идетъ къ дѣлу, такъ точно, мѣтко, знаменательно, что всякій по прочтеніи книги г. Вавилова отказался бы отъ задачи приискать другое болѣе умѣстное. Тутъ г. Вавиловъ ни на волосъ не „описалъ.

ни переписалъ, ни не дописалъ“. Все въ этой книгѣ объясняется и оправдывается заглавіемъ „Бесѣды“. Но авторъ прибавилъ къ нему другое—„практическій курсъ коммерческихъ знаній“, и тѣмъ самымъ, какъ намъ кажется, проигралъ все дѣло. Судите сами.

Въ предисловіи или въ „оправданіи вмѣсто предисловія“ г. Вавиловъ говоритъ между прочимъ слѣдующее: „Что касается до разсужденій, то теперь столько системъ политической экономіи, что нельзя съ увѣренностію заключить, которая изъ нихъ справедлива, почему, не рѣшаясь слѣдовать которой либо изъ оныхъ, и не говоря ни *за*, и ни *противъ*, я излагаю такъ, какъ понимаю самъ и какъ ближе подходитъ къ существу дѣла, имѣя основаніемъ практику, а не теорію. Я бесѣдную о торговлѣ, какъ купецъ, передаю то, что самъ знаю по опыту и сколько указали мнѣ многолѣтнія опытность и наблюденія, не болѣе“ (стр.—I, II).

Изъ этихъ строкъ мы заключаемъ, что г. Вавиловъ—самаго невѣрнаго мнѣнія о современномъ значеніи слова „теорія“ и о современныхъ экономическихъ теоріяхъ. Въ наше время совершенно понято, что отдѣлять китайскою стѣною теорію отъ практики странно,—что сказать, какъ говорили нѣкогда: теорія есть то, что должно быть, а практика—то, что дѣйствительно существуетъ, и противопоставить одно другому, какъ невозможность и возможность, значить допустить невозможность всякаго преобразования. Мало того: извѣстно, что исходная точка современныхъ экономическихъ теорій заключается въ сознаніи ложности старыхъ системъ политической экономіи, системъ кабинетныхъ выведенныхъ не изъ опытныхъ фактовъ, не изъ наблюденія общества, однимъ словомъ—не изъ практики, а изъ діалектическаго, голословнаго толкованія терминовъ. Новѣйшіе политико-экономисты не берутъ за основаніе системъ своихъ отвлеченнаго понятія богатства; ихъ метода заключается въ опытномъ изслѣдованіи причинъ дѣйствительнаго богатства и дѣйствительной бѣдности и въ извлеченіи изъ него общихъ условій того и другого состоянія общества. Ясно, что при такой методѣ теорія и практика совершенно сливаются одна съ другою, такъ что считать ихъ въ наше время противоположными враждебными началами значить быть несправедливымъ или невнимательнымъ къ современнымъ успѣхамъ ума человѣческаго.

Г. Вавиловъ, объявивъ въ предисловіи, что „Бесѣды“ его основаны исключительно на опытѣ, на многолѣтнихъ наблюденіяхъ, въ книгѣ своей оказывается самымъ отчаяннымъ теоретикомъ, и притомъ еще такимъ теоретикомъ, что творенія фізіократовъ, предшественниковъ Адама Смита, могутъ показаться для всякаго, сколько-нибудь знакомаго съ исторіей экономическихъ идей, въ милліонъ разъ свѣжѣе и мужественнѣе его теорій. Въ доказательство этого приведемъ здѣсь одинъ изъ тысячи вариантовъ главной его мысли (стр. 37—38), соблюдая всю оригинальность языка г. Вавилова и даже его знаковъ препинанія:



„Географическое положеніе многихъ странъ благопріятствуетъ развитію самой торговли, случай, необходимость, нужда, заставляетъ народы заняться ею положительнымъ образомъ; одна внѣшняя торговля даетъ средство къ пріобрѣтенію богатствъ втекающихъ изъ внѣ, и этотъ-то притокъ осуществляетъ надежды на благосостояніе народа у котораго при этомъ развивается промышленность, возникаетъ общая дѣятельность, и все это взятое вмѣстѣ приводитъ къ тому, что всякій производитель старается принять въ ней участіе, надѣясь, или на хорошій сбытъ своихъ произведеній за границу, или на выгоднѣйшее оттуда пріобрѣтеніе нужныхъ для него предметовъ. Отъ этого общаго движенія происходитъ то, что внутренній производитель находитъ вѣрный сбытъ своимъ произведеніямъ, а потребитель пріобрѣтаетъ нужные для него предметы по цѣнѣ выгоднѣйшей; оставаясь же при производствѣ одной только внутренней торговли, ни тотъ ни другой богатѣть не можетъ, чтобы повѣрить это, я предложу примѣръ тотъ, что если 100 купцовъ занимаются внутреннею торговлею и каждый изъ нихъ имѣетъ хотя по 10.000 руб., то когда при ихъ дѣйствіи капиталъ этотъ будетъ пущенъ въ оборотъ, то натурально при общемъ круговомъ движеніи этихъ капиталовъ, нѣсколько изъ этихъ купцовъ получаютъ пользу, а другіе напротивъ убытокъ, слѣдовательно одна часть и естественно меньшая дѣлается богаче на счетъ своихъ согражданъ, тутъ видна только случайность и польза частная пріобрѣтаемая внутри государства одинъ отъ другого, ни мало не прибавляя народнаго капитала; напротивъ того если эти же 100 купцовъ займутся внѣшнею торговлею и если при благопріятныхъ обстоятельствахъ она для нихъ будетъ полезна, то полученный ими барышъ получится не отъ ихъ согражданъ, а отъ заграничныхъ купцовъ, слѣдовательно приращеніе капитала послѣдуетъ изъ внѣ, и увеличиваясь болѣе и болѣе даетъ возможность распространять кругъ торговой дѣятельности это опять показываетъ намъ собою, что изъ числа этихъ купцовъ хотя и небольшая часть сдѣлается капиталистами, не на счетъ согражданъ, а на счетъ иностранцевъ“ и проч.

Чтобъ дать читателю возможность еще болѣе ознакомиться съ сущностью теоріи г. Вавилова и понять его тенденцію, выпишемъ изъ его книги еще нѣсколько словъ:

„Если я сказалъ, что внѣшняя торговля у этихъ народовъ (въ западной Европѣ) ограждается преимуществомъ мѣстныхъ купцовъ передъ иностранцами, то въ процвѣтаніи тамъ торговли, какъ слѣдствіи этого можетъ насъ убѣдить не давнее событіе во Франціи которое намъ передала коммерческая газета.— Тамъ возвышена на масляничная сѣмена, и пошлина эта по новому тарифу, на примѣръ: съ льнянаго, какъ Русскаго произведенія взимается съ привезеннаго на кораблѣ подъ Французскимъ флагомъ 4 франка, подъ иностраннымъ 8 франковъ со 100 килограмовъ, слѣдовательно вдвое, и есть ли привезетъ туда это сѣмя Русской купецъ и на Русскомъ кораблѣ, то долженъ платить пошлину

вдвое болѣе, излишекъ этотъ остается въ пользу тамошнихъ купцовъ, при выдерживаніи цѣны въ одинакой степени даетъ имъ пользу, оставляя Русскаго безъ преимущества въ иной, не есть ли это доказательство, что внѣшняя торговля при этомъ условіи будетъ всегда самостоятельностью?“ (стр. 38—39).

Скажите, пожалуйста: чтѣ же это такое, если не возстановленіе старыхъ испанскихъ системъ политической экономіи, которыя выражали собою правила венеціанской и ганзейской торговли и которыя уничтожены наукой еще въ половинѣ прошедшаго столѣтія? Какъ угодно, а г. Вавиловъ въ этомъ случаѣ жестоко *описалъ*.

Считаемъ излишнимъ приводить еще какія-нибудь выписки для доказательства того, какая разладаца существуетъ между идеями г. Вавилова и политической экономіей въ совершенномъ ея развитіи. Скажемъ только, что, говоря о контрабандѣ (на стр. 51), авторъ называетъ ее неизбѣжнымъ зломъ, сопровождающимъ всякую охранительную систему. Поставьте эту мысль лицомъ къ лицу съ тою, которою дышатъ приведенныя нами выписки, и подивитесь послѣдовательности тѣхъ господъ, которыя говорятъ вамъ: „мы, люди *практическіе*, знаемъ только то, что видѣли собственными глазами да слышали отъ вѣрныхъ людей“. Перейдемъ же къ той части „Бесѣдъ о торговлѣ“, въ которой г. Вавиловъ, какъ русскій купецъ и, какъ человѣкъ, занимавшійся, по собственному признанію, многолѣтними наблюденіями надъ ходомъ торговли, долженъ быть истиннымъ мастеромъ дѣла. Посмотримъ, чтѣ думаетъ онъ о русской торговлѣ.

Внутреннею торговлей Россіи г. Вавиловъ совершенно доволенъ; по тону, какимъ повѣствуетъ онъ объ этомъ предметѣ, можно даже заключить, что онъ видитъ въ ней что-то идеально-прекрасное. Рассказывая о ходячихъ, т. е. о торгашахъ, которые расхаживаютъ изъ деревни въ деревню съ запасами мануфактурныхъ товаровъ, большею частію промѣниваемыхъ ими на произведенія сельскаго хозяйства, онъ говоритъ, что „между ходячими есть такіе, у которыхъ весь товаръ помѣщается въ одной подвижной лавкѣ—котомкѣ, и много есть такихъ, которые помѣщаютъ товаръ свой въ нѣсколькихъ повозкахъ, и подѣздъ этотъ представляетъ собою родъ здѣшняго Англійскаго магазина, въ которыхъ можно найти все нужное начиная отъ хряща до батиста, отъ ворвани до шампанскаго, отъ гвоздя до галантерейныхъ товаровъ, и, конечно, все это не самой высокой доброты, по крайности по большей части есть произведеніе Русской промышленности и продается честно Русскими и за Русское“ (стр. 32—33). За то ужъ досталось же русской внѣшней торговлѣ. Впрочемъ, кто прочелъ „Бесѣды“ г. Вавилова, тотъ согласится съ нами, что читатель поставленъ имъ въ пренепріятное недоумѣніе на счетъ мыслей его о причинахъ жалкаго состоянія внѣшней торговли Россіи: изъ множества однообразныхъ толкованій объ этомъ, по крайней мѣрѣ, двѣ три имѣютъ такой смыслъ, что русское купечество стѣснено иностранцами, захватившими въ свои руки русскую внѣшнюю торговлю, между

тѣмъ какъ остальная треть заключаетъ въ себѣ совершенно противоположное и по нашему мнѣнію, весьма справедливое объясненіе печальнаго факта недостаткомъ образованности нашего купеческаго сословія, невниманіемъ его къ обстоятельствамъ минуты, слабостью къ полученію задатка при самыхъ невыгодныхъ сдѣлкахъ, несклонности къ составленію компаній и ничтожествомъ кредита. Можно жаловаться на насиліе, но на соперничество жаловаться не дѣло, и всякія печатныя укоризны такого рода некстати.

Однимъ словомъ, мысли г. Вавилова о русской торговлѣ такъ же шатки, какъ и общія экомическія его идеи, хотя въ книгѣ его разсѣяно довольно много любопытныхъ фактовъ, обнаруживающихъ въ немъ человека бывалаго и довольно наблюдательнаго. Выписывать эти факты мы не будемъ: это значило бы лишить книгу главнѣйшаго интереса; но прежде, чѣмъ разстанемся съ „Бесѣдами“, не можемъ не сдѣлать автору еще одного замѣчанія.

Всѣ произведенія литературы, изящныя и ученныя, какъ уже нѣсколько разъ было говорено нами, раздѣляются на такія, которыя пишутся безъ всякой посторонней цѣли, по безотчетному требованію творчества, и на такія, которыя имѣютъ какую-нибудь внѣшнюю цѣль, напримѣръ, распространеніе въ публикѣ какихъ-нибудь идей или даже просто доставленіе ей минутнаго удовольствія. Странно было бы спрашивать у Пушкина, съ какою цѣлью написалъ онъ „Каменнаго Гостя“. Но нельзя не спросить Сю, зачѣмъ онъ написалъ „Вѣчнаго Жида“. Пушкинъ могъ бы отвѣчать на первый вопросъ я написалъ „Каменнаго Гостя“ потому, что хотѣлъ написать „Каменнаго Гостя“, и былъ бы правъ, на второй вопросъ Сю, съ своей стороны, могъ бы отвѣчать: я написалъ „Вѣчнаго Жида“, чтобы возстановить общественное мнѣніе противъ іезуитовъ, в также былъ бы правъ. Произведеніе г. Вавилова относится, разумѣется, ко второму роду, къ такъ-называемымъ беллетристическимъ произведеніямъ. Но спрашивается: ясно ли опредѣлилъ онъ себѣ цѣль своего сочиненія или, лучше сказать, своихъ лекцій? Выполнилъ ли онъ это первое условіе беллетристическаго произведенія? Можно ли заключить изъ сего книги, что при чтеніи лекцій онъ имѣлъ въ виду ясно сознannую задачу и требованія публики, къ которой обращалась его рѣчь? Нѣтъ, рѣшительно нѣтъ! Не хотимъ думать, чтобы при слабомъ знакомствѣ съ современными системами политической экономіи онъ имѣлъ цѣлью высказать свое сужденіе о торговлѣ вообще. Это тѣмъ менѣе вѣроятно, что, кромѣ идей, уже извѣстныхъ нашимъ читателямъ изъ приведенныхъ выписокъ, во всей книгѣ не сказано объ этомъ предметѣ ничего, кромѣ того, что торговля поддерживается капиталомъ и кредитомъ, да и то изложено г. Вавиловымъ никакъ не подробнѣе и ужъ навѣрное гораздо поверхностнѣе, чѣмъ въ какомъ-нибудь „Катехизисѣ политической экономіи“ Сэ. Вообще мы сомнѣваемся, чтобы авторъ „Бесѣды“ когда-нибудь желалъ развивать мысли свои въ строгой, силлогистической формѣ; помните, какъ онъ отмѣтнулъ отъ себя въ предисловіи

всѣ политико-экономическія системы, и какъ вмѣстѣ съ тѣмъ противорѣчили себѣ въ сужденіяхъ объ одномъ и томъ же предметѣ. Если же вамъ этого мало, то не угодно ли выслупать еще одну небольшую тираду изъ разбираемой книги? Бесѣдуя о капиталѣ, г. Вавиловъ встрѣтился съ такимъ вопросомъ: нужны ли купцу познанія, такъ-называемый невещественный капиталъ? Этотъ вопросъ исполненъ для насъ живого интереса. На западѣ его давно уже не слышно, но у насъ отъ множества умныхъ, въ извѣстной степени даже и образованныхъ людей частенько случается слышать доказательства бесполезности и вреда ученія. Г. Вавилову это обстоятельство, какъ мы сейчасъ увидимъ, совершенно извѣстно въ отношеніи къ купеческому классу, и, какъ одинъ изъ представителей образованной части нашего купечества, онъ не можетъ не принимать его къ сердцу. Можно было бы, кажется, въ „Бесѣдахъ“ ожидать такихъ страницъ, отъ которыхъ не поздоровилось бы господамъ, проповѣдующимъ спасеніе въ невѣжествѣ. Вмѣсто того вотъ что находимъ мы въ книгѣ г. Вавилова на стр. 138: „Весьма ошибочно заключаютъ нѣкоторые, что будто бы познанія купцу не нужны, что де безъ знанія грамоты, и наукъ можно нажить милліоны. Конечно, такіе примѣры хотя и есть, но они рѣдки и случайны, и не менѣе того подобные доводы имѣютъ основаніе весьма шаткое, приводить же ихъ въ нашемъ вѣкѣ уже стыдно! Даже оставленная намъ нашими предками пословица, „что за битаго дають двухъ небитыхъ“, доказываетъ, что въ старинныя времена постигали цѣнность познаній, только закоснѣлость отвергаетъ эту истину“.

Такое доказательство, конечно, очень плохо! Но г! Вавиловъ счелъ нужнымъ прибавить еще къ выписаннымъ здѣсь строкамъ: „Есть ли я сказалъ, что познаніе есть производительный капиталъ, то это весьма естественно.—Предположимъ, что будетъ употребленъ капиталъ на воспитаніе сына (я говорю о купеческомъ сословіи), т. е. на обученіе грамотѣ, приспособленіе къ дѣлу съ отроческихъ лѣтъ и до юношескихъ, положимъ, хотя за 10 лѣтъ по самой умѣренной цѣнѣ 150 руб. въ годъ, то значить издержано будетъ 1,500 р.)—конечно, деньги эти собранныя въ одну массу составляютъ значительное число, которое въ этомъ видѣ и недоступно для многихъ и очень многихъ, но раздѣльное въ теченіе 10 лѣтъ на участки, кажется для каждаго отца семейства занимающагося какою-нибудь промышленностію не можетъ быть тягостнымъ.—Употребленный такимъ образомъ капиталъ приноситъ проценты и какія? сто, на сто, это удивлять насъ не должно не мало! Всѣмъ извѣстно, что дорога, по которой идетъ купецъ скользка, одинъ ошибочный, или невѣрный шагъ сбиваетъ съ пути, а съ пути сбившись оканчивается разореніемъ и въ этомъ положеніи, не зная грамоты, не пріобрѣтая какихъ-либо полезныхъ свѣдѣній, поскользнувшійся долженъ для своего существованія прибѣгнуть за самое скудное возмездіе къ работѣ грубой и тяжелой, къ которой онъ, можетъ быть, даже и не привыкъ.—Напротивъ того, какъ человѣкъ, на котораго при воспитаніи употреблены эти деньги

ги будучи въ этомъ же положеніи, зная грамотѣ и получивъ кой какія познанія, находятъ себѣ занятіе къ которому его признають уже способнымъ, и за его трудъ можетъ получать жалованья въ годъ 1,500 р., уменьшивъ эту сумму на  $\frac{1}{10}$  часть т. е. на 150 р. то это значить то, что употребленный капиталъ при его воспитаніи дастъ ему 10% годового дохода.—Не есть ли это доказательство, что познанія суть капиталъ“? (стр. 38—39).

А мы скажемъ: не есть ли это доказательство, что г. Вавиловъ не видѣлъ ясно, что такое капиталъ, ни того, какъ необходимы купцу познанія (не на случай оставленія торговли, а для самаго занятія этимъ промысломъ). Если же при этомъ принять въ соображеніе слова его предисловія: „Я бесѣдую о торговлѣ, какъ купецъ, передаю то, что самъ по опыту и сколько указали мнѣ многолѣтнія опытность и наблюденія, *не болѣе*“,—то можно утвердительно сказать, что при сочиненіи своей книги г. Вавиловъ не могъ имѣть цѣлью распространеніе идей, хотя и называлъ эту книгу курсомъ коммерческихъ знаній. Чего же онъ хотѣлъ? Не хотѣлъ ли онъ нарисовать картину современнаго состоянія и историческаго развитія русской торговли? Хотя въ „Бесѣдахъ“ и встрѣчаются довольно любопытныя статистическія и историческія замѣтки о русской торговлѣ и о торговлѣ другихъ народовъ, однакожь достаточно взглянуть на оглавленіе, помѣщенное въ концѣ книги, чтобъ убѣдиться, что эти факты приведены авторомъ единственно для оживленія предмета. Онъ самъ говоритъ въ концѣ предисловія, что имъ только положено начало обнародованію „практическихъ свѣдѣній о русской торговлѣ“, и приглашаетъ русскихъ писателей заняться этимъ предметомъ.

Такимъ образомъ цѣль книги г. Вавилова становится все менѣе и менѣе понятною. Остается сдѣлать послѣднее предположеніе: не заключаетъ ли она въ себѣ практическихъ совѣтовъ русскимъ купцамъ? Если угодно, въ „Бесѣдахъ“ русское купечество можетъ найти нѣсколько дѣльныхъ наставленій или, лучше сказать, дѣльныхъ замѣчаній. Къ числу такихъ замѣчаній мы относимъ тѣ, о которыхъ уже упоминали, то-есть, замѣчанія о необразованности большинства, о несклонности къ составленію компаній, о непривычкѣ слѣдить за современнымъ ходомъ торговли и о падкости къ наличнымъ деньгамъ, во-вторыхъ, нѣсколько свѣдѣній объ образѣ веденія торговли иностранными купцами, разсѣянныхъ по разнымъ мѣстамъ сочиненія. Но зачѣмъ было наполнять книгу такими совѣтами, безъ которыхъ рѣшительно можетъ обойтись не только опытный купецъ, но даже и совершенный новичекъ въ торговлѣ? Къ чему, напримѣръ, было говорить (стр. 19), что для познанія товаровъ „должно обращать вниманіе а) на *происхожденіе*, т. е. суть ли они произведенія природы или искусства, б) на *видъ и существо*, т. е. что они грубыя, сырыя или обработанныя, в) на *прочность*, т. е. могутъ ли сохраняться въ не поврежденномъ видѣ долгое время; г) на *свойство*, что они суть жидкія или сухія, жирныя, окрашенные и неокрашен-

выя“, и проч., и проч.? Къ чему также, напримѣръ, было толковать о пользѣ торговли на цѣлыхъ 18 страницахъ мелкой печати, переворачивая двѣ или три аксіомы на всевозможные реторическіе тоны и со всевозможнымъ отсутствіемъ синтактической правильности? Къ чему, наконецъ, было завянуть, по крайней мѣрѣ, четверть книги опредѣленіями такихъ предметовъ, которые совершенно извѣстны каждому купцу и не-купцу, какъ, напримѣръ, вѣсъ, мѣра, деньги, продажа, проценты и т. п.?

Изъ всего этого слѣдуетъ, что г. Вавилову недостаетъ яснаго сознанія предмета своихъ бесѣдъ. Вотъ чѣмъ пришлось намъ, наконецъ, объяснить калейдоскопическій характеръ его quasi-курса. Стало быть, мы имѣли полное право указать въ началѣ нашего отзыва, что изъ всѣхъ мыслей, встрѣчаемыхъ въ сочиненіи г. Вавилова, самая счастливая заключается въ заглавіи.

Въ заключеніе повторяемъ, что все-таки „Бесѣды о торговлѣ“—книгъ, не совсѣмъ лишенная интереса по разсѣяннѣмъ въ ней статистическимъ и историческимъ фактамъ. О несправедливости и неточности языка можно судить изъ издѣланныхъ нами выписокъ. Изданіе довольно опрятно.

## II.

**Бесѣды русскаго купца о торговлѣ.** Практическій курсъ коммерческихъ знаній, излагаемый въ Санктпетербургѣ публично по порученію Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества и издаваемый подъ покровительствомъ онаго членомъ его, фридрихстадскимъ первостатейнымъ купцомъ *Иваномъ Вавиловымъ*. Часть II. Санктпетербургъ. 1847.

При выходѣ въ свѣтъ первой части „Бесѣдъ“ мы довольно подробно изложили свое мнѣніе о принятой г. Вавиловымъ методѣ бесѣдованія. Мы доказали при помощи выписокъ, что главный недостатокъ его сочиненія происходитъ отъ того, что онъ самому себѣ не потрудился уяснить цѣли своего благонамѣреннаго труда и опредѣлить потребности публики, съ которою предпринялъ бесѣдовать о торговлѣ. Въ тоже время мы замѣтили, что „Бесѣды русскаго купца“ могутъ быть занимательны по разсѣяннѣмъ въ нихъ историческимъ и статистическимъ замѣткамъ.

Вторая часть посвящена кредиту и бухгалтеріи. Сверхъ того, въ видѣ эпизода г. Вавиловъ рассказываетъ вкратцѣ исторію „промышленности, торговли и образованности въ Россіи съ древнѣйшихъ временъ до нашего вѣка“. Изложеніе всѣхъ этихъ предметовъ кажется намъ удовлетворительнѣе всего содержащагося въ первой части, ибо заключаетъ въ себѣ много фактовъ, интересныхъ для каждаго образованнаго человѣка, и много практическихъ свѣдѣній, необходимыхъ собственно для русскаго купечества. Особенно достойно похвалы то, что г. Вавиловъ приложилъ къ своему курсу образцы актовъ по кредитнымъ сдѣлкамъ и образцы бухгалтерскихъ книгъ.



Остается надѣяться, что въ цѣломъ своемъ составѣ „Бесѣды русскаго купца“ составятъ книгу полезную для справокъ по нѣкоторымъ предметамъ общаго интереса, а частью и для практической дѣятельности русскаго купеческаго сословія. Можетъ быть, г. Вавиловъ рѣшится также подумать нѣсколько о полнотѣ и единствѣ своего курса и постарается дать ему форму сколько-нибудь систематическую. Мы изъявляемъ это желаніе вовсе не изъ страсти къ формальности: система необходима не для выполненія установленнаго узора, а для ясности и полноты идей и фактовъ, заключающихся въ изложеніи.

Сожалѣемъ, что языкъ второй части „Бесѣдъ“ такъ же чудовищно безграмотенъ, какъ и языкъ первой.

---

### (В. П. Бурнашевъ?).

Руководство для молодыхъ людей, назначающихъ себя къ торговымъ дѣламъ. Санктпетербургъ. 1847.

Авторъ этой прекрасной книги объясняетъ главную ея задачу слѣдующими словами: „На русскомъ языкѣ нѣтъ ни одного сочиненія, которое бы служило руководствомъ къ изученію торговли отъ первыхъ шаговъ ученика въ этой важной отрасли промышленности до зрѣлой дѣятельности купца-хозяина. Само значеніе торговли, никогда не было объяснено на русскомъ языкѣ, такъ что у насъ почитаютъ купцомъ всякаго, кто по дѣламъ своимъ носитъ это званіе. Предназначая сочиненіе наше преимущественно для молодыхъ людей, посвящающихъ себя торговымъ занятіямъ, мы старались прежде всего дать истинное понятіе о торговлѣ, опредѣлить значеніе ея и рѣзко отдѣлить ее отъ всѣхъ другихъ отраслей промышленности. Это необходимо, потому что если почитать купцомъ фабриканта, ремесленника и множество другихъ двигателей промышленности, то нѣтъ границъ изученію, какимъ долженъ приготовиться купецъ къ своему занятію..... Для ремесленника, для фабриканта, покупка не обработаннаго матеріала, и продажа выработаннаго изъ него произведенія суть легчайшія, побочныя части его занятія, которое состоитъ „въ наилучшемъ и выгоднѣйшемъ приготовленіи своихъ произведеній“, тогда какъ все занятіе купца—въ покупкѣ и продажѣ готовыхъ товаровъ. Мы старались объяснить до очевидности эту мысль и, на основаніи истиннаго, прямого понятія о торговлѣ, опредѣляя кругъ занятій торговца, изложили постепенность изученія, какимъ долженъ приготовить себя молодой человекъ къ занятію торговлею. При такомъ понятіи о торговлѣ, кругъ ея замыкается въ свои границы и не представляетъ хаоса, не имѣющаго ни мѣры, ни границъ, ни правилъ для вращающихся въ этомъ хаосѣ, отъ чего, по нашему мнѣнію, всего болѣе страдаетъ русская торговля“ (Предисловіе, стр. III—V).

Постараемся ближе ознакомить читателей съ самымъ исполненіемъ важной задачи, предположенной авторомъ. Для этого мы прослѣдимъ всѣ семнадцать главъ его „Руководства“, останавливаясь на достоинствахъ и недостаткахъ каждой.

Первая глава посвящена развитію прекрасной мысли о необходимости для купца общаго и спеціального образованія. Доказательства необходимости перваго кажутся намъ слишкомъ распространенными: не ограничиваясь простымъ и совершенно удовлетворительнымъ доводомъ, что „купецъ не есть только продающая и покупающая машина“ (стр. 10), авторъ подробно рассматриваетъ его значеніе какъ христіанина, члена общества и члена семейства, выводя на основаніи каждого изъ этихъ значеній необходимость разнообразныхъ познаній. Полагаемъ, что читать „Руководство“ придетъ охота только такимъ молодымъ людямъ, которые чувствуютъ потребность образованія и будутъ искать въ разбираемой нами книгѣ указаній на способы пріобрѣсти его. Поэтому не будетъ ли имъ бесполезно и, такъ-сказать, обидно читать тирады въ родѣ слѣдующей: „Согласимся, что многимъ необразованнымъ людямъ удастся, занимаясь торговыми дѣлами, нажить себѣ состояніе. Но развѣ это можетъ быть окончательною цѣлью купца? Нажить деньги можно многими средствами; но, занимая важное званіе купца въ общественномъ быту, надобно оправдывать его своею дѣятельностью, способностью и исполненіемъ всѣхъ обязанностей, соединенныхъ съ столь важнымъ званіемъ. Истинный купецъ не только тотъ, кто торгуетъ, или кто внесъ въ градскую думу гильдейскія подати, а кто достоинъ этого званія, то-есть, способенъ исполнять всѣ разнообразныя обязанности его. Еслибы нашелся генералъ невѣжда, не знющій своего дѣла, что сказали бы вы о немъ? Что онъ генералъ только по названію, а существенно не достоинъ носить его. Примѣните это и къ званію купца, если онъ не достоинъ его. Какимъ же образомъ можно узнать свои обязанности и сдѣлаться способнымъ къ исполненію ихъ? Надобно учиться“ (стр. 3—4).

Другое дѣло—доказывать необходимость спеціального ученаго образованія: есть много людей отлично воспитанныхъ, придерживающихся однако же такого мнѣнія, что практическая дѣятельность не требуетъ ничего, кромѣ практической же опытности и природной смѣтливости. Поэтому нельзя не дать цѣны доказательствамъ такого рода: „Огромныя предпріятія, доставляющія милліоны основаны всего больше на знаніи мѣстности и мѣстныхъ обстоятельствъ. Отчего заграничная торговля наша въ рукахъ иностранцевъ? Единственно отъ того, что мы не знаемъ иностранныхъ государствъ, не знаемъ тамошнихъ мѣстныхъ обстоятельствъ и не умѣемъ взяться за дѣло, ибо умъ нашъ не развязанъ просвѣщеніемъ и образованностью“ (стр. 7—8). „Образованности нравовъ обязаны происхожденіемъ также иностранныя компаніи, обладающія почти всею торговлею; у насъ, напротивъ, почти нѣтъ компанейскихъ торговыхъ домовъ, потому, что мы

не привыкли къ общежительности, не умѣемъ ясно вести свои дѣла и оттого не довѣряемъ другъ другу. У насъ даже есть какое-то повѣрье, что одному гораздо лучше вести свои дѣла, тогда какъ, напротивъ, одинъ хозяинъ не можетъ никогда имѣть такихъ капиталовъ, какіе составляются компаніями, не можетъ распространять своихъ дѣлъ, потому что одного человѣка не достанетъ на нихъ, если бъ и достало его капитала, и, наконецъ, онъ не можетъ имѣть дѣлъ въ разныхъ городахъ и въ разныхъ государствахъ или принужденъ будетъ ввѣряться въ такомъ случаѣ прикащикамъ, изъ которыхъ у насъ, къ сожалѣнію, очень немного достойныхъ и образованныхъ людей“ (стр. 9—10). „Страшно сказать, что у насъ въ Россіи едва ли найдется нѣсколько торговыхъ домовъ, которые существовали бы три поколѣнія, то-есть, чтобы дѣдъ, отецъ и сынъ сохранили свое достояніе, занимаясь купеческими дѣлами! Отчего же это прискорбное явленіе? Почти всегда оттого, что богатство достается недостойнымъ сынамъ. Наслѣдникъ, воспитавшись въ богатствѣ, думаетъ уже, достоинъ ли онъ его, не занимается своимъ дѣломъ, даже не знаетъ его ни практически, ни теоретически и предается разсѣянной жизни или какимъ-нибудь пагубнымъ страстямъ. Надолго ли станетъ тогда его богатства? Но, если онъ практически проходилъ школу опыта, не былъ баловнемъ своихъ родителей и при первоначальномъ христіанскомъ воспитаніи былъ увѣренъ, что богатство родительское не принадлежитъ ему, покуда онъ не заслужитъ его своимъ трудомъ, прилежаніемъ, личными достоинствами, тогда навѣрное сохранились бы многіе изъ старинныхъ, знаменитыхъ, купеческихъ домовъ, (стр. 12—13). „Богатство не дастъ ему ни способностей, ни свѣдѣній, безъ которыхъ всегда останется онъ рабомъ чужеземныхъ купцовъ и бесполезнымъ членомъ своего общества. Покуда продолжится его жизнь, онъ, можетъ быть, и сохранить свои деньги; но дѣти его, оставленные безъ образованности, не приготовленные надлежащимъ образомъ къ своему занятію, сдѣлаются вѣрными жертвами отцовскаго эгоизма и невѣжества. Итакъ, невѣжество губитъ не только себя, но и слѣдующія поколѣнія, передавая имъ свои предразсудки, заблужденія и подрывая благосостояніе цѣлаго сословія“ (стр. 15)

Вторая глава называется „Знанія, необходимыя для купца вообще, и въ особенности русскаго“. Особенно необходимыми знаніями почитаетъ авторъ красивое и скорое письмо, грамматику, купеческую ариметику съ метрологіей, товаровѣдѣніе въ связи съ химіей и технологіей, географію и исторію. Доказательства необходимости этихъ знаній основательны, но нѣкоторые черезъ-чуръ распространены и наивны, какъ напримѣръ, доказательства необходимости знанія правилъ отечественнаго языка. Встрѣчаются подробности и совершенно излишнія, напримѣръ, такая: „Лѣнивѣцъ... тратитъ драгоцѣнное время на починку пера, на приготовленія, ошибается, поправляетъ себя и нечего не можетъ кончить къ назначенному сроку“ (стр. 22). Распространяясь въ такихъ бесполезныхъ мелочахъ, авторъ не сказалъ ничего обстоятельнаго о необходимости изу-

ченія политической экономіи. Вотъ подлинныя слова его: „Кромѣ всего исчисленнаго нами, купцу необходимо знать еще много другого, относящагося непосредственно къ его занятіямъ. Къ такимъ свѣдѣніямъ принадлежитъ познаніе разныхъ учрежденій и произведенныхъ общежительностью предметовъ, каковы банки разнаго рода, векселя и вексельные обороты, значеніе денегъ вообще и монеты въ особенности, торговые обычаи благоустроенныхъ государствъ и тому подобное, что относится частію къ особой наукѣ, называемой политической экономіею, частію можетъ быть пріобрѣтено только практикою, потому что въ книгахъ мало находится о томъ свѣдѣній“ (стр. 37). Вѣроятно, авторъ хотѣлъ сказать: „въ тѣхъ книгахъ, которыя, удалось мнѣ прочесть прежде, чѣмъ я принялся за составленіе своего руководства“. Жаль, что онъ забылъ эту оговорку!

Слѣдующія три главы (III—VI) посвящены воспитанію и обязанностямъ купеческаго мальчика.

„Прежде всего“, говоритъ авторъ, — „должно избрать лучшее по способностямъ своимъ занятіе и вникнуть въ будущія свои обязанности“ (стр. 45). Противъ выбора занятій по способностямъ каждый мальчикъ можетъ возразить почтенному автору, что этотъ роковой шагъ въ жизни нисколько отъ него не зависитъ; худо ли это, или хорошо, — только въ дѣйствительности дѣти купческія и не купческія находятся въ полномъ распоряженіи своихъ родителей; а многіе ли изъ послѣднихъ считаютъ нужнымъ вникать въ склонности и способности своихъ дѣтей и обращать ихъ къ труду, сообразному съ этими условіями? Автору, конечно, извѣстно, что такіе отцы и матери семейства составляютъ блестящія исключенія изъ общаго правила. Поэтому не мѣшало бы и родителей привлечь какимъ-нибудь образомъ къ чтенію „Руководства“; не худо бы даже написать для нихъ особенную книгу о воспитаніи дѣтей. Въ „Руководствѣ для молодыхъ людей“ они найдутъ много полезныхъ совѣтовъ по этой части. Вотъ, напримѣръ, одинъ изъ нихъ: „Многіе не свѣдующіе думаютъ, что въ большихъ торговыхъ домахъ, имѣющихъ огромные дѣла, обширныя связи, разнообразныя обороты и вообще большой капиталъ, можно лучше узнать торговлю во всемъ ея разнообразіи. Это сущій предразсудокъ, напрасно обольщаются огромностью и блескомъ такихъ торговыхъ домовъ. Въ нихъ всего труднѣе молодому человѣку пріобрѣсти свѣдѣнія и опытность по разнымъ торговымъ дѣламъ. Ему поручаютъ какое-нибудь одно занятіе (потому, что и оно будетъ тамъ поглощать все его время), и оно надолго останется при немъ въ самомъ печальномъ однообразіи: его заставятъ копировать, отправлять и получать письма, и онъ цѣлые годы будетъ заниматься этимъ однимъ. Ему велятъ быть при амбарномъ прикащикѣ, и онъ проведетъ тамъ годы, дѣлая все одно и то же. Между тѣмъ общій ходъ дѣлъ и различныя обороты ихъ останутся совершенно чуждыми для него. Въ большихъ домахъ рѣдко есть кому-нибудь время заниматься, мальчикомъ, наставлятъ его въ разныхъ занятіяхъ, даже имѣтъ присмотръ за его поступками. и онъ

Большую часть предоставленъ бываетъ самому себѣ: занимайся, какъ хочешь, только исполняй что поручено. Такимъ образомъ, съ самаго начала требуютъ отъ него отчетливости въ одномъ занятіи и не заботятся объ его общемъ образованіи, *какъ будто не надобно воспитывать его для торговли*“ (стр. 47—48).

А вотъ какъ объясняетъ „Руководство“ преимущества воспитанія мальчика въ торговомъ домѣ средней величины: „Тутъ мальчикъ имѣетъ надежду, если можетъ показать свои способности и усердіе, постепенно принимать участіе во всѣхъ торговыхъ занятіяхъ и, узнавши ихъ изъ опыта, перейти къ дѣятельности болѣе обширной. Тутъ онъ всегда самъ въ виду и всегда видитъ весь оборотъ дѣла своего хозяина. Кромѣ того, большое преимущество, что онъ не привыкнетъ къ слишкомъ обширнымъ размѣрамъ дѣла и не станетъ съ неуваженіемъ смотрѣть на дѣятельность торговцевъ среднихъ, которые составляютъ истинное основаніе торговли и показываютъ примѣръ, какъ не съ большими средствами можно достигать послѣдствій самымъ счастливымъ. Это есть драгоценнѣйшее пріобрѣтеніе, какое только можетъ сдѣлать ученикъ въ торговлѣ“ (стр.—49).

Эти двѣ выписки могутъ служить образцомъ взгляда автора на воспитаніе торговаго класса. Онѣ показываютъ въ немъ человека опытнаго и проникнутаго духомъ истинной нравственности. Тѣмъ болѣе удивляетъ насъ его страсть къ голословнымъ наставленіямъ, бесплодность которыхъ слишкомъ хорошо извѣдана каждымъ на практикѣ. Такого рода голословіемъ наполнена, на примѣръ, вся пятая глава: „Нравственные качества мальчика.—Благочестіе.—Правила для поведенія его“. Къ чему ведутъ, на примѣръ, слѣдующія разглагольствованія:

„Трудолюбіе, прилежаніе неперемѣнно и необходимо требуются отъ мальчика. Дѣятельность есть истинная жизнь, и какъ во всѣхъ отношеніяхъ только трудомъ и борьбою можно достигнуть великихъ послѣдствій, такъ и въ купеческомъ званіи только прилежаніе и неутомимый трудъ могутъ доставить выгодное положеніе. Прилежаніе не ослабляетъ силъ, а укрѣпляетъ ихъ, и способность къ работѣ усиливается и утверждается только непрерывнымъ упражненіемъ. Въ купеческой жизни бываютъ особенно трудные дни, гдѣ, при множествѣ работы, необходима еще совершенная осмотрительность, то-есть, при вещественной работѣ надобна и дѣятельность ума. Но такіе дни всего лучше научаютъ мальчика и укрѣпляютъ его юношескія способности. Впрочемъ, въ торговыхъ занятіяхъ всегда много дѣла, и этому надобно особенно радоваться, потому что при полезномъ занятіи, какъ говорится, не пойдетъ на умъ ничто дурное. Только тунеядцы и бездѣляи дѣлаются негодяями, и праздность есть мать всѣхъ пороковъ“ (стр. 97—98).

Развѣ читатели „Руководства“ не знаютъ всего этого изъ азбукъ и прописей? Развѣ не дѣлались эти наставленія всѣмъ бременящимъ землю тунеядцами и негодяямъ, когда они были еще дѣтьми? Развѣ обратили они хоть одного человѣка къ трудолюбію и нравственности? Вопросите-ко нашу практическую опытность, господинъ руководитель юншества, что-то она вамъ отвѣтитъ! Помните наше слово: она скажетъ вамъ, что всѣ ваши голословныя увѣщанія купеческимъ мальчикамъ—плодъ дурной привычки читать мораль и слабая сторона составленной вами книги. Даже языкъ вашъ, простой и ясный тамъ, гдѣ пишете вы со словъ опыта и живого чувства, дѣлается чрезвычайно страннымъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ вы впадаете въ азбучныя поученія: „очень пріятно и полезно имѣть добрыхъ пріятелей, друзей, если можно, и проводить съ ними иногда свободные часы; но въ выборѣ знакомствъ надобно быть крайне осмотрительнымъ. Всего чаще скрывается подъ цвѣтами змѣя. Особенно надобно избѣгать знакомства съ молодыми людьми, которые проводятъ свободные часы въ куренья табаку, въ пустыхъ разговорахъ, пересудахъ и насмѣхаются надъ старшими“ (стр. 115).

Еще разъ просимъ автора вспомнить, что такія вещи говорятся молодымъ людямъ въ миллионъ-первый разъ, а они, какъ ни въ чемъ не бывали, продолжаютъ себѣ „проводить свободные часы въ куренья табаку, пустыхъ разговорахъ, пересудахъ и насмѣхаются надъ старшими“, особенно надъ тѣми изъ старшихъ, которые надѣдаютъ имъ моралью, вычитанною изъ устарѣлыхъ хрестоматій.

Но статью „Переходъ къ занятіямъ прикащика“ оканчивается перевѣсъ морали надъ дѣльными соображеніями и совѣтами. Изрѣдка только проглядываетъ она еще на нѣсколькихъ страницахъ, далеко не составляя преобладающаго элемента.

Глава VIII-я заключаетъ въ себѣ разсмотрѣніе разныхъ родовъ торговли внутренней и внѣшней, впрочемъ, разсмотрѣніе весьма краткое, ограничивающееся опредѣленіемъ каждаго рода и самыми общими замѣчаніями о состояніи ихъ въ Россіи. Слѣдующія затѣмъ семь главъ (IX-я—XVI-я) составляютъ занимательнѣйшую и полезнѣйшую часть сочиненія, или лучше сказать, онѣ-то собственно и дѣлаютъ его полезнымъ и важнымъ приобрѣтеніемъ для нашей коммерческой литературы. Главы эти посвящены разсмотрѣнію дѣятельности и обязанностей всѣхъ родовъ купеческихъ прикащиковъ. Прежде всего авторъ старается яснить разумное основаніе каждой изъ должностей, извѣстныхъ подъ общимъ названіемъ прикащика. „Никакъ не должно“, говоритъ онъ,—„почитать произвольнымъ изобрѣтеніемъ, и тѣмъ менѣе модными или пустыми словами названій бухгалтера, кассира, корреспондента и прочихъ..... Должно убѣдиться въ то, что, кажется, понимаютъ вообще слишкомъ неопредѣленно, а именно, что торговля имѣетъ свои непремѣнныя правила, даже неизмѣнныя въ основаніяхъ“



коны; слѣдовательно, отступленіе отъ нихъ нарушаетъ порядокъ и ведетъ въ гибельнымъ послѣдствіямъ. Напротивъ, встрѣчаются такіе торговцы, которые думаютъ, что всякій хозяинъ можетъ устроить дѣла по своему произволу, и оттого они не примѣняются къ порядку, извлеченному изъ самой сущности торговли“ (стр. 157). Любопытна черта изъ дѣйствительности, приводимая авторомъ по поводу этихъ размышленій: „Мы еще помнимъ, что прикащики, бывало, подносятъ чай гостямъ, даже становятся за карету, когда хозяинъ съ супругою дѣлаютъ почетный визитъ, и возвратившись должны опять приниматься за торговые дѣла. Мы видимъ въ этомъ не что-нибудь унижительное для прикащика, ибо онъ—лицо подчиненное и обязанъ дѣлать все, что прикажетъ ему хозяинъ (однакожь!..); но это вредно для дѣлъ самого хозяина и показываетъ, что онъ самъ не понимаетъ ни своего дѣла, ни своихъ пользъ. Онъ смѣшиваетъ двѣ разныя должности—слугу и прикащика, и хотя ни мало не унижительно быть слугою, но обязанности его совершенно различны отъ обязанностей прикащика, и смѣшивая ихъ, уже нельзя требовать хорошаго исполненія ни въ той, ни въ другой должности“ (стр. 157—158).

Что касается собственно до изложенія дѣятельности разныхъ родовъ прикащиковъ, то съ перваго раза можетъ показаться, что изложеніе черезъ-чуръ подробно до мелочности. Но нельзя не убѣдиться, что эта подробность въ высшей степени полезна въ практическомъ руководствѣ: молодой человѣкъ, „назначающій себя къ торговымъ дѣламъ“, увидитъ, какъ на ладони всю подноготную должностей, между которыми предстоитъ ему сдѣлать выборъ, сообразный съ его наклонностями и способностями. Съ другой стороны, и для посторонняго читателя такимъ только образомъ представляется возможность составить себѣ полное и живое понятіе о дѣятельности лицъ торговаго класса: изъ всѣхъ этихъ мелочныхъ, по видимому, предписаній необходимо составляется въ умѣ его самая вѣрная картина особаго міра полезныхъ труженниковъ. Нельзя не похвалить автора и за общую мысль, проводимую имъ по всѣмъ семи главамъ. Мысль эта заключается въ томъ, что при надлежащемъ состояніи торговли всѣ должности прикащиковъ равно почтенны и равно требуютъ образованія и способностей. Развитиёмъ этой мысли онъ уничтожаетъ гибельный предразсудокъ, заключающійся въ предпочтеніи одной должности, считающейся благороднѣйшею, передъ другими, которыя съ перваго взгляда кажутся чисто механическими. Наконецъ, превосходныя страницы посвящены въ „Руководствѣ“ краткому, но совершенно удовлетворительному изложенію бухгалтеріи, приноровленному прямо къ практической пользѣ.

Послѣдняя (XVII-я) глава, по заглавію своему, исполнена истинно-драматической занимательности. Она называется такъ: „Общественное положеніе и будущее прикащика.—Отношенія къ хозяину и виды на самобытность“. Волшебное слово произнесено! Роковой вопросъ предложенъ! И какъ эффектно въ про-

писанномъ здѣсь заглавіи отвѣтъ проглядываетъ изъ-подъ самаго вопроса! Отрадна ли будущность прикащика? Да, если трудолюбіе его непременно вознаградится самобытностію; нѣтъ, если вѣкъ останется ему работникомъ. Отвѣтъ простъ, и, кажется, въ наше время никто не сомнѣвается въ его справедливости, даже и тѣ, кому крайне непріятно всеобщее ея сознаніе. Посмотримъ же, что скажетъ намъ объ этомъ „Руководство“.

Начало главы обѣщаетъ мало утѣшительнаго. „Положеніе прикащика“, говоритъ авторъ, — „во многихъ отношеніяхъ представляетъ довольно выгодъ и удобства для жизни. Занятія или должность его, если только онъ исправляетъ свое дѣло съ знаніемъ и усердіемъ, всегда доставятъ ему средства для содержанія себя въ приличномъ видѣ, и даже, при расчетливомъ образѣ жизни, онъ можетъ каждый годъ сберегать изъ своего жалованья что-нибудь для будущаго“ (стр. 274).

Что и говорить! Чѣмъ не жизнь? Говорятъ, въ Ирландіи работники рѣшительно умираютъ съ голоду, а тутъ, какъ бы то ни было, „бухгалтеръ, кассиръ, корреспондентъ, главный сидѣлецъ, коммиссіонеръ получаютъ даже не въ большихъ торговыхъ домахъ, такое жалованье, которое равняется жалованью значительнаго чиновника. „Почему же не обезпечивать имъ своей будущности благоразумными распоряженіями?“ (стр. 275) „Бываетъ“, говоритъ то же „Руководство“, — „что прикащикъ обязанъ содержать своими трудами семейство свое—мать, сестеръ, малолѣтнихъ братьевъ; тогда, конечно, не достанетъ ему и большаго жалованья“ (стр. 275).

Что жъ? Вы думаете, дѣло принимаетъ печальный оборотъ? Нисколько! „Исполненіе долга, успокоеніе близкихъ сердцу, развѣ не есть отрада и услажденіе во всякихъ трудахъ?“ (стр. 275), Вотъ что значитъ уметь говорить складно и краснорѣчиво! Вѣдь срѣзалъ, наплеваль, срѣзалъ насъ г. авторъ „Руководства“: Что ему возразишь? Нечего возражать: лучше будемъ слушать его; не скажетъ ли онъ еще чего-нибудь утѣшительнаго? Но что же это мы слышимъ?

„Но, проведя нѣсколько годовъ разнообразной дѣятельности, достигнувъ большаго совершенства въ отправленіи въ своей должности, узнавъ торговья дѣла вообще и обороты своего дома въ особенности, видя и понимая ясно всю связь и всѣ отношенія торговли, прикащикъ можетъ иногда задуматься о своемъ положеніи. Въ душѣ его непременно должно являться иногда желаніе употребить съ новою пользою для себя пріобрѣтенныя имъ свѣдѣнія и оытность. Самобытность—любимая мечта человѣка; независимость кажется ему всегда первымъ счастьемъ. Пусть будутъ это желаніе, несбыточные мечты, но онѣ не только простибельны и естественны—онѣ похвальны и показываютъ въ молодомъ человѣкѣ стремленіе къ лучшему, къ высшему противъ того, чѣмъ онъ обладаетъ“ (стр. 276—277).

Какъ говорить, какъ говорить этотъ писатель! Одно только немножко конфузить насъ въ этомъ дѣлѣ: какъ согласить начало и конецъ послѣдней тирады? Въ началѣ авторъ, кажется, искренно сожалѣетъ о безвыходномъ положеніи вѣчнаго труженика и представляетъ всю основательность его грустнаго раздумья, а потому отзывается о стремленіи его къ выходу изъ печальныхъ условій задѣльной платы, какъ о мечтахъ несбыточныхъ, извольте видѣть, однакожь извинительныхъ, даже похвальныхъ, хорошо рекомендующихъ молодого человѣка. Воля ваша, дѣло не совсѣмъ ясно! Дослушаемъ до конца. Вотъ и конецъ; слушаемъ:

„Кто не имѣетъ собственнаго капитала или не можетъ быть распорядителемъ капитала, отдаваемого въ полное его распоряженіе на неопредѣленное время, тотъ не долженъ начинать своихъ собственныхъ дѣлъ. Если угодно Богу, то случай къ самобытности откроется непременно; но если нѣтъ его, то надобно видѣть въ этомъ волю Бога, лучше насъ самихъ управляющаго нашею судьбою. Что не угодно Ему, того не должны мы желать, и упорное стремленіе на перекоръ Его воля будетъ въ такомъ случаѣ преступленіемъ, которое никогда не останется безъ наказанія“ (стр. 281).

Теперь все объясняется.

### Э. Рейнталь.

**Мысли о существѣ и значеніи чиновническаго быта.** Сочиненіе *Эрнста Рейнталья*, дерптскаго окружнаго начальника управленія государственныхъ имуществъ въ Лифляндіи, члена Ученаго Эстскаго общества и Лифляндскаго къ поощренію сельскаго хозяйства и ремеслъ: Перевелъ съ нѣмецкаго *О. Мазингъ*. Дерптъ. 1846.

Нѣмецкій взглядъ и русскій взглядъ на вещи—два начала противоположныя и враждебныя одно другому. Если суждено имъ когда нибудь сойтись, то сойдутся они развѣ вслѣдствіе существенныхъ преобразеній съ той и съ другой стороны, такъ что свидѣтели этого сліянія, можетъ быть, и не признаютъ въ немъ примиренія двухъ старыхъ враговъ. А между тѣмъ, нѣтъ ничего желательнѣе такого примиренія въ будущемъ, потому что и то, и другое начала суть части одного живого цѣлаго, насильственно разорваннаго исторіей.

Неудержимая склонность нѣмецкаго ума къ отвлеченію выражается во всемъ бытѣ нѣмца. Онъ тогда только доволенъ жизнью, когда можетъ оправдать ее силлогизмомъ; а такъ какъ нѣтъ такого факта, который не могъ бы быть оправданъ какою-нибудь системой, то въ результатъ выходитъ, что нѣмецъ—по природѣ своей оптимистъ, то-есть, человѣкъ, который не чувствуетъ неудобства ни въ какомъ условіи жизни, если признаетъ въ ней какое-нибудь разумное значеніе, хоть самое одностороннее. Поставьте его въ какія угодно обстоятельства,—ему все ни почемъ, если только удастся вплести эти обстоятельства въ

какую-нибудь діалектическую канву, а канву эту онъ непременно отыщетъ, если не въ собственной головѣ, то въ какомъ-нибудь сочиненіи новаго или стараго писателя, или услышитъ за табльдотомъ отъ сосѣда. Такимъ образомъ, нѣмецъ непременно олицетворяетъ собою какую нибудь систему, которая оправдываетъ въ его глазахъ окружающую его дѣйствительность. И каждая такая система, встрѣчаясь съ другою совершенно противоположною, нисколько не беспокоитъ его, точно такъ же, какъ человѣкъ, предпочитающій ростбифъ ветчинѣ, не беспокоитъ того, кто больше любитъ ветчину, чѣмъ ростбифъ. Конечно, двѣ нѣмецкія системы ѣкогда не уступятъ случая поспорить между собою за кружку пива или въ печатныхъ брошюрахъ; но все это изъ удовольствія сдѣлать въ тысячу-первый разъ смотръ и парадъ своимъ силлогизмамъ. Вѣдь точно также любятъ поспорить между собою и партизаны двухъ различныхъ блюдъ не для того, конечно, чтобъ обратить другъ друга къ тому или другому кушанью, а просто изъ удовольствія излить свою любовь къ предмету. Вотъ почему въ Германіи, какъ замѣтилъ еще Гизо, много философовъ и нѣтъ философіи, или вообще говоря, много ученыхъ системъ, но вовсе нѣтъ науки. Молодой человѣкъ поступаетъ въ университетъ и слушаетъ философію, право, медицину по какой-нибудь одной системѣ, и любознательность его совершенно удовлетворяется такимъ курсомъ: фактъ совершенно невозможный ни въ какой другой странѣ Европы, но самый обыкновенный въ Германіи. Отчего нѣмцы такъ прославились аккуратностью, воздержанностью, бережливостью, осторожностью, терпѣніемъ, обдуманностію въ предпріятіяхъ, любовью къ спокойствію и порядку? Все отъ того, что первая потребность нѣмецкой натуры—система, оправдывающая самое себя. Нѣмецъ аккуратенъ, потому что трудно представить себѣ человѣка, который не былъ бы теоретически убѣжденъ въ пользѣ аккуратности. Французъ, русскій, италіанецъ легко увлечется какою нибудь потребностью, которая введетъ его въ неаккуратность. Съ нѣмцемъ этого почти не можетъ быть, потому что первая потребность его заключается въ томъ, чтобы дѣйствовать по силѣ принятой имъ системы. По той же самой причинѣ онъ воздержанъ, бережливъ и остороженъ. Терпѣніе нѣмца совсѣмъ не то, что другіе народы называютъ терпѣніемъ, соединяя съ этимъ словомъ понятіе страданія: нѣмецъ въ ожиданіи какого-нибудь результата не переноситъ никакихъ мученій: онъ слишкомъ удовлетворяется *мыслью*, что дѣло не дѣлается вдругъ, что всякій процессъ требуетъ постепенности—*возникновенія, развитія и совершенія*. Скорѣе можно допустить, что онъ придетъ въ отчаяніе, если результатъ, котораго онъ ожидаетъ, окажется прежде того срока, который онъ рассчиталъ; это разстроитъ его теорію и поставитъ его въ необходимость создать новую, поставитъ его въ положеніе водяной улитки послѣ того, какъ мальчишки разобьютъ раковину, въ которой ей такъ ловко было сидѣть. Что предпріятія нѣмца всегда отличаются обдуманностію, въ этомъ меньше всего загадочнаго, потому что въ дѣлѣ, въ которомъ хоть малѣйшая подробность не предусматрѣна, нѣмецъ

видитъ нарушеніе системы, а это для него главный источникъ страданія. Чтѣ же касается, до любви его къ спокойствію и порядку, то и любовь эта—не чтѣ иное, какъ слѣдствіе незавидной способности оправдывать всякую дѣйствительность силлогизмами. Такимъ образомъ, съ помощію всѣхъ этихъ *добродѣтелей*, нѣмцы, вырабатывая ежегодно на всю Европу милліоны мыслей, остаются въ практической жизни народомъ почти неподвижнымъ. Отъ времени до времени эту мглу мертвыхъ отвлеченій прорѣжетъ молніей живая мысль геніальнаго человѣка, отрѣшившагося отъ оковъ народности; иногда среди монотоннаго филистерскаго довольства послышится стонъ сердца, жаждущаго движенія и жизни... Но мало плодотворнаго приносятъ съ собою эти личности для самой Германіи. Смотришь,—брошенные имъ сѣмена на лету подхватилъ уже какой-нибудь *внутренній французъ*: онъ искусно возвращаетъ ихъ на своей почвѣ, собираетъ плоды и задумывается о новыхъ посѣвахъ. А между тѣмъ у самихъ нѣмцевъ, *im Deutschen Vaterlande*, промелькнувшая метеоромъ живая мысль уже закуталась саваномъ системы, а геній, бросившій ее міру, ушелъ отъ дѣйствительности въ страну логическихъ фантомовъ или, что всего хуже, сторговался съ нѣмецкою частью своей натуры и силу, двинувшую нѣсколько государствъ въ ихъ всестороннемъ развитіи, повелъ на рабское служеніе застою.

Русская голова устроилась совершенно иначе: мы поклоняемся факту и, принимая его за роковое начало, за необходимый исходный пунктъ мысли и дѣятельности, истрачиваемъ столько же силъ, сколько тратятъ ихъ и нѣмцы въ своихъ безконечныхъ системахъ. Эту черту давно выставилъ Гоголь во многихъ мѣстахъ „Мертвыхъ Душъ“, между прочимъ въ затрудненіи помѣщицы Коробочки, которая никакъ не хотѣла рѣшиться на выгодную для нея сдѣлку потому только, что „товаръ“, за который Чичиковъ предлагалъ ей взять деньги, „такой странный, *совсѣмъ небывалый*“. Извѣстно, что по той же причинѣ русскіе мужики не хотѣли ѣсть картофеля, который потомъ принялись разводить съ большимъ усердіемъ, когда употребленіе въ пищу этихъ „нѣмецкихъ яблокъ“ получило силу обыкновеннаго факта. Въ большемъ размѣрѣ эта вѣчная исторія разыгралась и до сихъ поръ разыгрывается въ ходѣ русской цивилизаціи. Петрово преобразование встрѣчено было всеобщимъ ропотомъ и бунтами: учить русскаго человѣка разнымъ наукамъ, когда и священники довольствовались разумѣніемъ церковной грамоты, посылать его въ ассамблеи, когда онъ привыкъ въ свободное время лежать на лежанкѣ, брить ему бороду, когда онъ не могъ представить себѣ человѣка безъ бороды иначе, какъ чѣмъ-то въ родѣ собаки безъ хвоста, все это казалось въ свое время верхомъ неразумія. Но въ личности и въ санѣ Петра было много такого, что скоро заставило русскихъ преклониться предъ его распоряженіями, какъ передъ фактомъ, и скоро цивилизація, по крайней мѣрѣ, внѣшняя, стала имъ не въ диковинку. Но тутъ опять проявилась русская натура со своею вѣчною слабостью. Привнявъ, при помощи внѣшней силы, за не подле-

жащій апелляції фактъ какое-нибудь нововведеніе, русскій человѣкъ схватывается за него руками и ногами и по той же причинѣ, по которой сначала отвергалъ его, а потомъ принялъ, по той же самой приверженности къ настоящему отказывается итти далѣе и воображаетъ, что и безъ того уже надѣлалъ столько чудесъ, что всякій новый шагъ только испортитъ дѣло и уменьшить возбужденное имъ удивленіе вселенной. Часто принятое имъ нововведеніе производитъ страшное разстройство во всѣхъ остальныхъ частяхъ его обстановки; но ужъ вы нитѣмъ не уговорите его перестроить эти остальные части. Тутъ у него является дивная способность прилапить новую стихію къ старымъ: Богъ знаетъ, какъ и чѣмъ онъ ихъ свяжетъ, только свяжетъ. Вы скажете, что это—лѣнь: помилуйте, да въ прилаживаніи, о которомъ здѣсь говорится, у русскаго человѣка столько издержится силъ, что коренная перестройка приплась бы ему въ десять разъ легче. Не вздумайте также объяснять этого недостаткомъ ума: смѣтливость русскаго человѣка извѣстна, и очень часто случается, что маневръ, придуманный имъ при улаживаніи того, чего совсѣмъ не надо было бы улаживать, изумитъ, уничтожитъ иностранца, точно такъ же, какъ нѣмецъ поразитъ его своими діалектическими тонкостями. Можетъ быть, вы возразите, что все сказанное нами относится только къ низшему, не образованному классу. Но и съ этимъ никакъ нельзя согласиться. Что составляетъ отличительный характеръ многихъ нашихъ молодыхъ людей, учившихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, читавшихъ и читающихъ разныя иностранныя книги? Каждый изъ нихъ считаетъ свой университетскій курсъ или какую-нибудь книгу, прочитанную имъ по выходѣ изъ учебнаго заведенія, или, наконецъ, свой собственный выводъ изъ слышаннаго и читаннаго какимъ-то предѣломъ изученія, за который онъ почитаетъ себя въ правѣ не выступать. Все же выходящее изъ этой роковой черты называется онъ утопическимъ, вздорнымъ, недостойнымъ серьезнаго вниманія. Гдѣ источникъ этого явленія? Въ поклоненіи факту, въ трудности, съ которою русскій человѣкъ принимаетъ въ сознаніе идею безконечнаго развитія мысли у жизни; а вѣдь между тѣмъ, въ силу этого развитія, каждый фактъ, каждое состояніе индивидуума, общества и человѣчества въ какой-нибудь данный моментъ есть одна изъ безконечнаго множества формъ, которыя суждено перейти имъ. Какъ принимается у насъ новая мысль образованною частью общества? Непремѣнно отрицаніемъ и сужденіемъ. Тотъ, кому выпадаетъ тяжкій жребій провозгласить ее, долженъ вынести страшный отпоръ неворотливой массы, самую слѣпую ненависть, самыя черныя клеветы,

Кривые толчки, шумъ и брань.

Рѣдко, очень рѣдко удается ему провести взлелѣянную имъ мысль въ сознаніе тѣхъ, у которыхъ мозгъ уже пріобрѣлъ злокачественную крѣпость (хотя бы имъ было не болѣе тридцати лѣтъ отъ роду), то-есть, тѣхъ, которые успѣли уже прицѣпиться къ какимъ-нибудь понятіямъ. Силой логики, а болѣе всего



силой популярности въ молодомъ поколѣніи, онъ, можетъ быть, и успѣетъ обратить ихъ къ нѣкоторымъ своимъ мыслямъ, но цѣлаго ученія они ни за что не примутъ, не смотря на то, что изъ смѣси ихъ прежнихъ убѣжденій съ нѣкоторыми принятыми вновь выходитъ такой хаосъ, что пятнадцатилѣтій мальчикъ можетъ натѣшиться ихъ логикой; повторяемъ, это явленіе замѣчается въ головахъ самыхъ умныхъ людей. Вы спросите: въ чемъ же проявляется ихъ умъ? Да въ томъ же самомъ прилаживаніи, привинчиваніи, въ которомъ проявляется и умъ простого русскаго мужика, съ тою только разницею, что образованный русскій человѣкъ изумляетъ искусствомъ слагивать уже не вещи, а идеи, не совмѣстимыя по обыкновенной человѣческой логикѣ.

Сколько есть умныхъ русскихъ людей, которые обнаруживаютъ въ идеяхъ своихъ совершенный дуализмъ, которымъ одинъ и тотъ же предметъ представляется и бѣлымъ, и чернымъ, и которые истрачиваютъ весь свой умъ на то, чтобы доказать, что дѣйствительно этотъ предметъ разомъ и бѣлъ, и чернъ. Въ теоріи мы, русскіе разумѣется, вполнѣ согласны съ обыкновенною человѣческою логикой, по которой два противоположныя свойства, взаимно исключаютъ другъ друга, не могутъ приписываться одному и тому же предмету. На дѣлѣ же дуализмъ имѣетъ у насъ ходъ неимовѣрный, между тѣмъ какъ радикализмъ (то-есть, объясненіе явленій однимъ какимъ-нибудь началомъ, отрицаніе возможности совмѣстнаго существованія двухъ противоположныхъ началъ въ одномъ и томъ же предметѣ) пользуется у насъ самою плохою репутаціей: мы всегда смѣшиваемъ его съ односторонностью; онъ насъ возмущаетъ, рѣжетъ намъ глаза. Есть множество патріотовъ, которые въ этомъ недостаткѣ русскаго ума видятъ превосходство его предъ умами другихъ европейскихъ народовъ, и часто толкуютъ они о томъ, какъ бы полезно было основать въ Россіи журналъ *средній* между „Отечественными Записками“ и „Москвитяниномъ“, журналъ, который издавался бы чисто въ *русскомъ духѣ*, то-есть, смотрѣлъ бы на вещи съ двухъ противоположныхъ сторонъ, стараясь согласить ихъ между собою. Издавать такой журналъ въ самомъ дѣлѣ было бы очень выгодно: онъ непременно пришелся бы по вкусу большинства тѣмъ, что помогаль бы русскому уму въ египетской работѣ соглашенія, сглаживанія діаметрально-противоположныхъ понятій, изъ которыхъ каждое получило силу факта и по тому самому свято для русскаго человѣка. Но не значило ли это соглашать начала не согласимыя?

Чтобы идти далѣе, считаемъ нужнымъ привести еще одно доказательство лавического свойства русскаго ума. Чѣмъ объяснить себѣ въ исторіи русскаго общества ту необыкновенно быструю смѣну поколѣній, которая поражаетъ самихъ русскихъ? Отчего на нашей почвѣ въ какихъ-нибудь десять и менѣе лѣтъ всходятъ какъ будто совершенно новое племя, съ новыми потребностями, съ новыми идеями? Отчего у насъ двадцатилѣтній не знаетъ, какъ сговориться съ тридцатилѣтнимъ, отчего тридцатилѣтній не имѣетъ ничего общаго съ сорокалѣтнимъ и

т. д.? Отчего такъ скоро останавливается русская натура? Отчего такъ рано русскій человѣкъ начинаетъ разлаживаться съ современными интересами общества и вслѣдствіе того скучать и сердиться? Люди, склонные къ объясненію дѣйствительныхъ явленій фантомами, видятъ въ этомъ явленіи распоряженіе судьбы, которая ведетъ Россію къ указанной ей цѣли *ускореннымъ маршемъ*, позволяя ей, въ стремительномъ переходѣ своемъ изъ варварства къ идеально-совершенной цивилизаціи, бросать на пути безъ пищи и безъ крова всякаго, кто почувствуетъ малѣйшую усталость, лишь бы только передовой отборный отрядъ достигъ мѣста назначенія. Это марціальное объясненіе хода нашей цивилизаціи очень бойко, но смысла въ немъ нѣтъ. Увеличивая число отсталыхъ работниковъ въ дѣлѣ просвѣщенія, природа увеличиваетъ новичкамъ препятствія къ достиженію цѣли, слѣдовательно отодвигаетъ ихъ отъ цѣли. Сверхъ того, объясняя дѣло такимъ образомъ, господа метафизики теряютъ изъ виду то, что человѣкъ, перемѣнившій свои убѣжденія, съ большимъ жаромъ устремляется на разрушеніе прежнихъ своихъ понятій, чѣмъ тотъ, кто дошелъ до одинаковыхъ съ нимъ результатовъ со свѣжею головой, безъ сильной борьбы съ собственной мыслью (совершенной страдательности вообразить объ этомъ случаѣ нельзя). Первый подвигается къ дѣятельности разрушителя и создателя самымъ могущественнымъ рычагомъ—желаніемъ загладить передъ сямимъ собою *вину* своихъ прежнихъ заблужденій, ибо каждый *непремѣнно чувствуетъ* себя виновнымъ въ тѣхъ ложныхъ убѣжденіяхъ, которыя нѣкогда раздѣлялъ, хотъ и *знаетъ*, что въ этомъ дѣлѣ нѣтъ вѣняемости. Равно несправедливо и другое объясненіе изслѣдуемаго здѣсь факта, объясненіе, основанное на томъ, что русскій человѣкъ слишкомъ горячо принимаетъ къ сердцу свои убѣжденія и потому скоро *надрыгается*, какъ молодой ретивый конь, запряженный въ тяжелую телѣгу съ вѣскою кладью. Это объясненіе совершенно противорѣчитъ опыту. Во-первыхъ, упрекать русскаго человѣка въ излишней горячности къ своимъ убѣжденіямъ—все равно, что сердиться на нѣмца за излишнее пристрастіе къ практической примѣняемости идей. Человѣкъ съ жаркимъ убѣжденіемъ составляетъ у насъ самое *рѣдкое* исключеніе; на него указываютъ пальцами и называютъ его вольнодумцемъ, хотъ бы онъ былъ самый смирный гражданинъ. Если же и случается найти тако-го человѣка, то, узнавъ его исторію, почти всегда убѣдишься, что горячность его развилась не отъ чего иного, какъ отъ противодѣйствія равнодушнаго и *заснанаго* большинства. Во-вторыхъ, мы можемъ указать на народъ, котораго отличительный признакъ заключается именно въ горячемъ, задуневномъ сочувствіи идеямъ, и у котораго замѣтенъ результатъ, совершенно противоположный тому, каковой производитъ у насъ равнодушіе къ убѣжденіямъ: этотъ народъ—*французъ*. Ихъ способность проникаться идеей до конца ногтей, *jusqu'au bout des ongles*, какъ сами они выражаются, извѣстна всему міру, жующему плоды этой способности и называющему ее вѣтренностью, легкомысліемъ, взбалмошностью и другимъ *мо-*

вами болѣе или менѣе точными, смотря по степени благодарности и гуманности. А между тѣмъ, нѣтъ народа, представляющаго болѣе индивидуумовъ, развивающихся до той поры, которая у насъ называется *старостью*. Довольно сказать, что главные распространители новѣйшихъ ученій во Франціи—все люди пожилые, люди, перешедшіе нѣсколько разъ чрезъ отрицаніе собственныхъ убежденій. За то ихъ слова и мысли дышатъ неподдѣльною свѣжестью.

Все это убѣждаетъ насъ, что быстрая смѣна понятій и дѣятельныхъ поколѣній въ нашемъ обществѣ (выражающаяся преимущественно въ литературѣ) не объясняется ни распоряженіями какой-то ложной судьбы, ни темпераментомъ русскаго человѣка. Остается искать разгадки въ особенностяхъ русскаго ума, и по нашему мнѣнію, она заключается въ той особенности, которую мы старались изъяснить другими фактами, то-есть, въ склонности русскаго ума преклоняться передъ фактомъ, въ его немощи противодѣйствовать чему-нибудь данному, хотя бы оно въ сущности и не заключало въ себѣ ничего рокового, неодолимаго. Русскій юноша (отъ восемнадцати до двадцати-пяти лѣтъ) запасается на всю жизнь свѣдѣніями, которыя образуютъ въ немъ убѣжденія. Пусть послѣ того встрѣтится онъ съ убѣжденіями совершенно противоположными; общая человѣческая логика увѣряетъ его, что въ этихъ новыхъ для него идеяхъ гораздо больше смысла, чѣмъ въ тѣхъ, которыми онъ запасся; но онъ не рѣшается принять ихъ и разстаться со старыми: старыя идеи являются ему въ образѣ какого-то великана, схватившаго его за воротъ, показывающаго ему страшный кулакъ и ревущаго ему: „Слушайся меня!“ Съ этимъ великаномъ русскій человѣкъ не смѣетъ сразиться; напротивъ, онъ употребляетъ всѣ силы ума, чтобъ увѣрить себя, что любо ему ежиться подъ этой лапой, что другія условія мысли—навѣрное какой-нибудь вздоръ, что они только издали привлекаютъ къ себѣ своюю змѣиною чешуей. И въ такомъ блаженномъ убѣжденіи проживаетъ онъ весь вѣкъ, гордый своимъ плѣненіемъ, встрѣчая въ теченіе жизни нѣсколько свѣжихъ поколѣній, изъ которыхъ каждое въ свою очередь каменѣетъ также быстро, какъ окаменѣлъ и онъ со своими школьными товарищами. Отчего этотъ панизмъ ума идетъ объ руку съ удалствомъ въ русскомъ народѣ, — на это можно отвѣчать только сравненіемъ: вспомните Индію, гдѣ наравнѣ съ самымъ отвратительнымъ матеріализмомъ развивается не менѣе отталкивающій аскетизмъ; вспомните Францію временъ Людовика XV, гдѣ Вольтеръ и его школа явились въ одно время съ непомѣрнымъ ханжествомъ; вспомните Римъ, гдѣ эпикуреизмъ и стоицизмъ не только существовали въ одно время, во даже жили другъ другомъ. Полное же объясненіе гармоніи между русскимъ панизмомъ и русскимъ удалствомъ можетъ дать только исторія русскаго народа. Излагать ее здѣсь, конечно, не мѣсто, тѣмъ болѣе, что надо же когда-нибудь отдать читателямъ отчетъ о сочиненіи г. Рейнталя, по поводу коего такъ заговорились мы о націи, къ которой тѣломъ и духомъ принадлежитъ нашъ авторъ, и о той, для которой

счелъ онъ полезнымъ изложить мысли свои о существѣ и значеніи не чиновническаго *быта*, какъ гласитъ переводъ его брошюры, а чиновническаго званія, какъ можно заключить изъ самаго содержанія ея <sup>1)</sup>.

Въ предисловіи къ брошюрѣ г. Рейнталь изъясняетъ цѣль ея слѣдующими словами (здѣсь приводятся слова перевода): „Небольшая статья сія, составленная въ родѣ (?) краткихъ разсужденій, есть *плодъ собственныхъ наблюденій и опытовъ сочинителя, созрѣвшій въ продолженіе двадцатидевятилѣтней службы*. Цѣль моя та, чтобъ указать юношамъ, приготавливающимся къ посупленію въ государственныя должности, на требованія государя, правительства, будущихъ сослуживцевъ и согражданъ (чьихъ?) отъ ихъ нравственныхъ и умственныхъ силъ и *намекнуть*, сколь велико должно быть ихъ стараніе, чтобы вполнѣ соответствовать, въ духѣ чести и долга, сему требованію. Для сочинителя послужить великою наградою, если онъ успеетъ побудить и немногихъ *сдѣлаться вѣрными посредниками между правительствомъ и народомъ, совершенно понимать и достигъ своего назначенія*“.

Брошюра г. Рейнталь состоитъ изъ двѣнадцати параграфовъ, которые мы рѣшили представить читателямъ въ извлеченіи, для того, чтобы поставить ихъ лицомъ къ лицу съ разбираемымъ нами произведеніемъ, и въ томъ убѣжденіи, что чтеніе экстракта никогда не лишаетъ охоты прочесть цѣлое сочиненіе, если оно имѣетъ сказочный интересъ.

Въ первомъ параграфѣ и въ началѣ второго (стр. 7—10) авторъ доказываетъ, что классъ чиновниковъ составляетъ въ государствѣ звено соединенія между высшимъ правительствомъ и народомъ, и что потому всякій чиновникъ долженъ „*неутомимо укрѣплять согласіе*“ между этими двумя элементами. Вотъ сущность системы г. Рейнталь. Принадлежи онъ къ другой націи,—онъ, безъ сомнѣнія, подумалъ бы прежде всего о томъ, должно ли высшее правительство нуждаться въ *укрѣпленіи* его союза съ народомъ, и о томъ, въ какихъ случаяхъ такое укрѣпленіе можетъ быть оправдано. Но, какъ нѣмецъ, онъ проявился иначе. Поступивъ на службу по управленію государственными крестьянами и увидавъ, что крестьяне по безопасности своей и по причинамъ, изложеннымъ выше, неохотно принимаютъ полезныя нововведенія нашего правительства, онъ поспѣшилъ обобщить этотъ фактъ, рѣшилъ, что вообще правительство и народъ—два начала противоположныя (стр. 10 на строкахъ 8-й и 9-й), и построивъ изъ этомъ зыбкомъ основаніи свою систему чиновничества, сдѣлался очень доволенъ

<sup>1)</sup> Мы не имѣли случая видѣть подлинное сочиненіе г. Рейнталь; но нельзя не догадаться, что переводчикъ его, г. Мазингъ, введенъ былъ въ ошибку нѣмецкимъ словомъ, *Wesen*, которое значитъ иногда *сущность*, а иногда *бытъ*. Въ заглавіи сочиненія г. Рейнталь оно не можетъ значить послѣдняго.

собою и окружающими его явлениями, увѣренный, что всяко бы онъ былъ и не нѣмецъ, стоитъ только теоретически принятъ чтобы стать такимъ же прекраснымъ чиновникомъ, какъ онъ такого убѣжденія, прямо вытекающаго изъ національности, г. остальные одиннадцать параграфовъ.

Во второмъ параграфѣ (стр. 10—12) развивается пре: чиновники должны обходиться съ народомъ кротко и человѣкоизбави возставать противъ такой мысли. Желаемъ только, чтобы они проницались ею хорошенъко.

Третій параграфъ (стр. 12—13) крайне замѣчательнъ европеецъ, кромѣ нѣмца, назоветъ его наивнымъ и совершенн что говоритъ авторъ о необходимыхъ *тѣлесныхъ свойства* отношеніи тѣлесныхъ свойствъ вообще онъ не долженъ бытъ завѣдыванію должностію—по недостатку одного или другого несовершенству того или другого члена. Потому не надо оир профессоромъ, глухаго допрошикомъ, хромага сторожевымъ, между тѣмъ какъ каждый изъ нихъ въ соотвѣтственномъ кругу дѣйствія, напримѣръ, заикливый въ качествѣ редактора важныхъ журналовъ, глухой въ качествѣ сочинителя, слѣпой въ государственномъ совѣтѣ, хромой въ званіи судьи, могутъ отличатся службою, если они обладаютъ умомъ и дарованіями. Везобразная и незначительная наружность не должна никогда быть единственною причиною отказа въ опредѣленіи къ должности человѣка, впрочемъ способнаго. Часто подъ суровою, незначительною наружностью скрывается благороднѣйшая душа“.

Вы скажете, что  $2 \times 2 = 4$ . Такъ! Но разверните любой нѣмецкій трактатъ о предметѣ изъ области какой-нибудь практической науки, —вы непременно найдете тамъ точно такія же наивности. И все это происходитъ не отъ чего иного, какъ отъ потребности соблюсти *систему*, голую систему.

Четвертый параграфъ (стр. 13—19) заключаетъ въ себѣ весьма пріятное развитіе слѣдующихъ темъ, также весьма краснорѣчиво выраженныхъ: „Нравственныя качества чиновника должны быть слѣдующія: 1) непоколебимая любовь къ истинѣ и вѣрность, соединенная съ такою добросовѣстностію, коей неотмѣнная потребность та, чтобы дать Владыкѣ Владыкъ, Царю Церей строгій отчетъ во всѣхъ поступкахъ; 2) искренность безъ притязанія, вѣжливость и откровенность съ начальниками, твердость и снисхожденіе къ подчиненнымъ; 3) спокойная твердость и неутомимая дѣятельность въ исполненіи своего долга; 4) неподкупность въ обширнѣйшемъ смыслѣ слова“.

Пятый параграфъ (стр. 20—22) совѣтуетъ чиновникамъ не вступать ни въ **какія** тайныя общества. Рускій чиновникъ, конечно, не нуждается въ этомъ наставленіи, потому что за поступленіе въ тайныя общества наши уголовные законы налагаютъ наказаніе, вполне достаточное для предотвращенія преступле-

нія. Но авторъ также не могъ обойтись безъ этого параграфа, какъ и безъ третьяго, потому что это нарушило бы его *систему*.

Въ шестомъ параграфѣ (стр. 22—27) доказывается, что чиновники должны быть приготовлены наукой къ отправленію своихъ должностей. „Если принять въ соображеніе“, говоритъ авторъ,—„что для пріобрѣтенія нужныхъ познаній въ разныхъ отрасляхъ наукъ—въ богословіи, правовѣдѣніи, врачебномъ искусствѣ, камеральныхъ, естественныхъ, военныхъ и дипломатическихъ наукахъ, по предварительномъ окончаніи начального ученія, необходимы четыре и болѣе года прилежныхъ занятій въ университетѣ, въ тѣхъ лѣтахъ, гдѣ понятливость и память сильнѣе всего,—и что въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ недостаточно, если отличные профессора и учителя сообщаютъ свои познанія учащемуся юношеству въ однѣхъ лекціяхъ, а напротивъ, должны быть непрерывныя умственные сношенія между преподавателями и слушателями посредствомъ пріятельскихъ разговоровъ и обхожденія, чтобы мудрость наставника переходила къ воспитаннику двоякимъ путемъ и, понятая при непосредственномъ вліяніи учащихся, сдѣлалась богатымъ достояніемъ послѣдняго,—наконецъ, для учащагося необходимо еще доступъ къ богатымъ библіотекамъ для узнанія и другихъ мѣтъ по изучаемому предмету и для развитія критическаго дарованія, важнаго въ каждой наукѣ;—если, какъ сказано, принять все это, то легко можно понять, что нужно весьма много, чтобы сдѣлаться знатокомъ въ какой бы то ни было отрасли управленія“. Человѣку, вовсе не знакомому съ міромъ русскаго чиновничества, можетъ показаться, что этотъ параграфъ не скользнетъ по умамъ нашихъ чиновниковъ, не бросивъ въ сердце желанія послѣдовать совѣту г. Рейнталя. Но кому сколько-нибудь извѣстенъ этотъ міръ хоть по наслышкѣ, тотъ, конечно, согласится съ нами, что всякій русскій чиновникъ осмѣетъ краснорѣчіе почтеннаго автора разбираемой брошюры и перечислитъ всѣхъ извѣстныхъ ему чиновниковъ въ доказательство того, что безъ университетовъ, безъ библіотекъ и безъ критическаго дарованія они „сдѣлали свою карьеру такъ, какъ дай Богъ и ему сдѣлать свою“. Вотъ какъ на приверженца факта дѣйствуютъ слова поклонника системы.

Въ седьмомъ параграфѣ объясняется отношеніе чиновника къ общественному мнѣнію. Это мѣсто такъ замѣчательно по живописнымъ образамъ, въ которые облакаетъ авторъ понятія свои объ общественномъ мнѣніи, и по искусству г. Мазинга сохранять въ переводѣ нѣмецкій букетъ рѣчи г. Рейнталя, что мы не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи подѣлиться имъ съ читателями. Послушайте, какъ все это хорошо написано и переведено: „Олицетворяя общество юе мнѣніе, мы видимъ оное въ непосредственномъ сопровожденіи молвы, имѣю цей свое начало повсюду и нигдѣ“. Немного темно, но за то какъ великолѣпно! Послушайте далѣе: „То въ быстромъ полетѣ, то медленнымъ шагомъ являгся она въ чертогахъ и въ хижинахъ, въ храмахъ и на базарахъ. Уста ея прѣиз-



носятъ то громогласно, то змѣннымъ шипѣніемъ тайны, глубоко хранящіяся, событія и небылицы, истину и ложь. Примѣняясь къ ней, общественное мнѣніе слѣдуетъ ей по пятамъ, какъ отголосокъ звуку, какъ свѣтъ и теплота воспаляющей искрѣ, рассыпаясь въ похвалахъ или осуждая, а въ послѣднемъ случаѣ, какъ челобитчикъ, свидѣтель и судья въ одномъ и томъ же лицѣ. Съ вѣсами правосудія въ одной рукѣ, съ кровавымъ мечемъ въ другой требуетъ онъ, чтобы каждый предсталъ къ его суду, ужаснѣйшему послѣ тайныхъ судилищъ среднихъ временъ, оказывать небесное правосудіе, то сатанинское притѣсненіе. У Ахилла было одно мѣсто, доступное уязвленію; у общественного мнѣнія нѣтъ ни одного“ (стр. 28). Изъ всего этого г. Рейнталь выводитъ, что чиновникъ не долженъ ставить себя въ слишкомъ сильную зависимость отъ общественного мнѣнія, что „непоколебимая честность, добросовѣстность въ исполненіи долга, и благосклонность ко всякому—лучшій щитъ противъ явнаго и тайнаго его оружія“.

Нашелъ же, однакожь, о чемъ хлопотать почтенный авторъ брошюры! Неужели въ продолженіе своихъ двадцатидевятилѣтнихъ наблюденій не дозналъ онъ того, что общественное мнѣніе въ Россіи очень рѣдко является врагомъ чиновника, который умѣетъ хорошо *обработать свои дѣла* на службѣ, не забывая тѣхъ, которые ему помогаютъ, что гораздо чаще вооружается оно противъ того, который не умѣетъ, а главное—не хочетъ пользоваться такъ-называемыми *доходами* по службѣ (въ протрвоположность жалованью),—что, наконецъ, общественное мнѣніе въ дѣлѣ службы скорѣе готово вооружиться противъ правительства, если оно выгоняетъ изъ службы отъявленнаго взяточника, чѣмъ противъ самаго взяточника, особенно если онъ человѣкъ *семейный*.

Параграфъ восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двѣнадцатый (стр. 30—38) заключаютъ въ себѣ слѣдующія мысли: 1) чиновникъ долженъ производить поручаемыя ему слѣдствія съ совершеннымъ безпристрастіемъ; 2) повиновеніе подчиненнаго начальникамъ не должно выходить изъ предѣловъ долга и чести превращаться въ безотчетное рабство; 3) подчиненный долженъ быть аккуратенъ въ своихъ служебныхъ занятіяхъ, но начальникъ не долженъ обременять его требованіемъ слишкомъ строгой формальности; 4) начальники не должны увлекаться при опредѣленіи людей на службу ни связями, ни родствомъ, ни дружбой, ни состраданіемъ ко слабымъ старцамъ или малолѣтнимъ дѣтямъ, ни богатствомъ, ни привлекательною наружностью; 5) чиновникъ, вынужденный къ подачѣ въ отставку несправедливостями и кознями, непременно долженъ оправдать себя судомъ. Не достаетъ намъ той милой нѣмецкой наивности, которою дышатъ эти пять послѣднихъ параграфовъ, чтобы достойно отвѣчать г. Рейнталю на предложенные имъ совѣты отъ лица русскаго практическаго взгляда на вещи. Впрочемъ, мы слишкомъ увѣрены, что у каждаго изъ нашихъ читателей уже готовъ отвѣтъ никакъ не хуже того, который мы могли бы здѣсь напи-

сать. Скажемъ лучше нѣсколько словъ въ защиту автора „Мыслей о существѣ и значеніи чиновническаго быта“.

Въ защиту? Да, мы увѣрены, что брошюра эта, не смотря на свои „національныя“ достоинства, встрѣтитъ весьма не лестный пріемъ въ русской публикѣ. Всѣ русскіе скажутъ, что въ ней нѣтъ ровно ничего новаго; что авторъ, наблюдавшій русское чиновничество цѣлыя двадцать-пять лѣтъ, не наблюлъ въ немъ и тѣхъ фактовъ, которые извѣстны у насъ каждому; что человѣкъ, желающій противодѣйствовать разнымъ видамъ общественнаго зла, долженъ предлагать дѣйствительныя мѣры къ предотвращенію и искорененію его, не рассчитывая на дѣйствіе своего краснорѣчія и т. п.; однимъ словомъ, г. Рейнталь подвергается всѣмъ тѣмъ упрекамъ, какимъ обыкновенно подвергается на Руси риторъ, предположившій себѣ истребить беззаконіе великолѣпнымъ панегирикомъ добродѣтели. Но мы спѣшимъ съ своей стороны повторить, что всѣ недостатки сочиненія г. Рейнталь, вся безполезность его оправдываются національностью автора, въ которой должно искать источника самаго ея происхожденія. Вспомните, что говорили мы въ началѣ отзыва о свойствахъ нѣмецкой натуры, сличите эти слова съ подробнымъ извлеченіемъ изъ брошюры г. Рейнталь, которое мы для васъ сдѣлали,—и вы увидите, что написана она не по чему иному, какъ по неудержимой склонности нѣмца попарадировать своею системой. Вѣдь извиняемъ же мы себѣ слабость поклоненія факту, наиримѣръ, слабости быть какъ-то особенно вѣжливымъ передъ милліонщикомъ безъ всякихъ видовъ изъ него милліоны, отмѣченную Гоголемъ въ „Мертвыхъ Душахъ“: отчего же не извинить и нѣмцу желанія написать книжечку, въ которой была бы изложена его система? Можетъ быть: вы все-таки скажете на это: зачѣмъ же нужно было г. Рейнталю прилагать къ своей брошюркѣ такое предисловіе, что прочитавъ его, читатель въ правѣ ожидать отъ автора дѣльныхъ, истинно полезныхъ практическихъ совѣтовъ относительно отправленія служебныхъ должностей, особенно — зачѣмъ было хвастать своею двадцатидевятилѣтнею опытностью, основанною на наблюденіяхъ? Что сказать вамъ противъ этого обвиненія? Да все то же: предисловіе г. Рейнталь обманываетъ читателя также, какъ и большая часть нѣмецкихъ предисловій. Но хотите ли знать, какъ возникаютъ они въ головахъ нѣмецкихъ писателей? А вотъ какъ. Написавъ книгу совершенно безполезную, такъ просто для самоудовлетворенія мысли, нѣмецъ начинаетъ разсуждать самъ съ собою слѣдующимъ образомъ: „Нравственная философія научаетъ, что всякое произведеніе дѣятельности человѣческой должно имѣть цѣль втутреннюю и внѣшнюю. Внутренняя цѣль заключается въ удовлетвореніи той потребности, которая подвигла къ дѣятельности самый индивидуумъ, виновника произведенія. Внѣшняя цѣль „сего послѣдняго“ заключается въ пользѣ, которую оно можетъ принести другимъ индивидуумамъ. Первая цѣль мною достигнута вполне: я удовлетворенъ своимъ трудомъ. Что же касается до

пользы, которую книга моя должна принести другимъ, то узнать ее можно изъ любой „методологіи“ избранной мною науки“. Развертывается „методологія“, гдѣ между прочимъ подробно изъяснены польза и способъ обработыванія науки. По этой мѣркѣ выкраивается предисловіе, въ которомъ во что бы то ни стало доказывается, что предлагаемое публикѣ твореніе должно принести такую-то и такую-то пользу, и что авторъ его по личности своей и по умѣнью налагать свой предметъ вполне достоинъ довѣренности читателей.

Такъ поступаютъ почти всѣ нѣмецкіе писатели; такъ поступилъ и г. Рейнталь. Слѣдовательно, винить его одного изъ тысячъ было бы несправедливо. Но оттого-то мы и остановились на его брошюрѣ, что она ни лучше, ни хуже всего несмѣтнаго множества нѣмецкихъ сочиненій, не выходящихъ изъ обыкновеннаго уровня. Это—типъ нѣмецкаго сочиненія, книга книгъ наивной Германіи. Для насъ же она тѣмъ болѣе интересна въ своей типичности, что большая часть нашихъ ученыхъ совершенно подчинила себя нѣмецкому направленію и нѣмецкой формѣ науки. Но объ этомъ предоставляемъ себѣ поговорить при болѣе удобномъ случаѣ. А теперь считаемъ нужнымъ сказать нѣсколько словъ въ оправданіе той мысли, которая выражена нами въ первыхъ строкахъ нашего отзыва.

Мы сказали, что нѣмецкій и русскій взглядъ на вещи суть два начала враждебныя, но изъявили желаніе, чтобы когда-нибудь эти взгляды, преобразовавшись порознь, сошлись, то-есть, уподобились одинъ другому, потому что въ сущности и тотъ, и другой суть не что иное, какъ части одного цѣлаго, разорванныя разумною силою исторіи. Въ самомъ дѣлѣ, что такое нѣмецкій взглядъ на вещи? Бунтъ личной мысли противъ внѣшняго міра, дающаго ей матеріалъ для дѣятельности, потребленіе этого матеріала, бесплодное потому, что потребительница — мысль не обращаетъ на него никакого вниманія, гнушается анализомъ его свойствъ, не признаетъ его требованій, однимъ словомъ—аристократствуетъ, барится. Съ другой стороны, что такое поклоненіе факту, характеризующее собою русскій взглядъ на вещи? Не что иное, какъ младенчество мысли, совершенное погруженіе ея въ міръ внѣшній, въ то, что должно служить ей матеріаломъ для собственной ея дѣятельности, излишнее раболѣпство передъ дѣйствительностью, однимъ словомъ—самоуничженіе, илотство. Говоря языкомъ философіи, первое есть я, отторгшееся отъ не-я; второе есть я, подчинившееся не-я. Нѣтъ нужды доказывать, что истина, доступная человѣку, вытекаетъ изъ гармоніи этихъ элементовъ. Слѣдовательно, и нѣмцы, и русскіе тогда только сойдутся и уподобятся другъ другу, когда нѣмецкая страсть къ умозрѣніямъ умѣрится вниманіемъ къ дѣйствительности, а русское благоговѣніе къ факту—самодѣятельностью мысли. Новѣйшая литература нѣмцевъ и русскихъ заставляетъ насъ надѣяться, что когда-нибудь наступитъ для обоихъ народовъ этотъ желанный періодъ развитія.

# БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ СПИСОКЪ СТАТЕЙ

В. Н. Майкова,

помѣщенныхъ въ журналахъ 1845—1847 годовъ <sup>1)</sup>.

(Заимствовано изъ изданія, выпущеннаго журналомъ „Пантеонъ Литературы“).

**Финскій Вѣстникъ.**

1845.

Томъ I

Науки и искусства.

Общественныя науки въ Россіи. Статья первая. (Продолженія этой статьи не появлялось).

Библіографическая хроника.

Сочиненія князя В. Ѳ. Одоевскаго. С.-Пб. 1844. Три части.

Томъ II.

Библіографическая хроника.

Разговоръ. Стихотвореніе *Ив. Тургенева* (Т. Л.). С.-Пб. 1845.

**Отечественныя Записки.**

1846.

Томъ XLVI.

Библіографическая хроника.

Бесѣды русскаго купца о торговлѣ. Практическій курсъ коммерческихъ званій, изложенный купцомъ *Иваномъ Вавиловымъ*. Часть первая. С.-Пб. 1846.

Мысли о существѣ и значеніи чиновническаго быта. Соч. *Эрнста Рейтала*. Перевелъ съ нѣмецкаго *О. Мазингъ*. Дерптъ. 1846.

---

<sup>1)</sup> Статьи, помѣченныя звѣздочкой, не перепечатаны въ настоящемъ сборникѣ.

О духовномъ образованіи земледѣльческаго класса въ Россіи. Сочиненіе *Дм. Д.* С.-Пб. 1846.

\*Тетрадь всеобщей географіи (приготовительный курсъ) съ прибавленіемъ географическаго обзора древняго міра. *М. Тимаева.* С.-Пб. 1846.

\*Новыя грамматическія упражненія въ постепенныхъ переводахъ съ русскаго языка на нѣмецкій. Въ двухъ отдѣлахъ. Изданіе *Якова Лангена* С.-Пб. 1846.

\*Усачъ. Повѣсть *П. Фурмана.* С.-Пб. 1846.

Стихотворенія *Кольцова.* Съ портретомъ автора, его факсимиле и статьею о его жизни и сочиненіяхъ, писанною *В. Бѣлинскимъ.* С.-Пб. 1846.

\*Стихотворенія *Д. Аксеновскаго,* придворнаго мастера водоочистительныхъ машинъ. С.-Пб. 1846.

Векфильдскій священникъ. Романъ *Оливера Гольдсмита.* Переводъ съ англійскаго *Яковъ Гердъ.* С.-Пб. 1846.

Николай Алексѣевичъ Полевой. Соч. *В. Бѣлинскаго.* С.-Пб. 1846.

Руководство къ изученію исторіи русской литературы, составленное *Василіемъ Пласкинымъ.* Второе изданіе. С.-Пб. 1846.

Руководство къ всеобщей исторіи. Соч. д-ра *Фридриха Лоренца* Часть II. Отдѣленіе II. С.-Пб. 1846.

#### Томъ XLVIII.

#### КРИТИКА.

Краткое начертаніе исторіи русской литературы, составл. *В. Аскоченскимъ.* Кіевъ. 1846.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.

Обозрѣніе русской исторіи до единоподержавія Петра Великаго. Сочиненіе *Николая Полеваго.* С.-Пб. 1846.

Повѣсть объ Украинскомъ народѣ. Написалъ *Ц. Кулешъ.* С.-Пб. 1846.

О земледѣліи въ политико-экономическомъ отношеніи. Соч. профессора *Прошина.* С.-Пб. 1846.

\*Описаніе Вологодской губерніи. Составлено и издано *Иваномъ Пушкаревымъ.* (Томъ I, книга IV Описаніе Россійской Имперіи). С.-Пб.

\*Грѣхи грамматки. За ними правильная основа умѣнію писать. С.-Пб.

Стихотворенія *А. Плещеева.* 1845—1846. С.-Пб. 1846.

Стихотворенія *В. Аскоченскаго.* Кіевъ. 1846.

Объ источникахъ и употребленіи статистическихъ свѣдѣній. Сочиненіе *Д. П. Журавскаго.* Кіевъ. 1846.

Исторія консульства и имперіи во Франціи. Сочиненіе *А. Тьера.* Перев. *О. Кони.* Томъ II. Часть четвертая. С.-Пб. 1846.

## Томъ XLIX,

## КРИТИКА.

Стихотворенія *Кольцова*. Статьи первая и вторая. С.-Пб. 1846.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.

Полное собраніе сочиненій русскихъ авторовъ. Сочиненія *Озерова*. Изданіе *Александра Смирдина*. С.-Пб. 1846.

Собраніе сочиненій извѣстнѣйшихъ русскихъ писателей. Выпускъ первый. Избранныя сочиненія *М. В. Ломоносова*. Изданіе *П. Перевлѣскаго*. Москва 1846.

Слово о полку Игоря. Перевелъ *Д. Минаевъ*. С.-Пб. 1846.

Картина, или Похожденіе двухъ человѣчковъ. Шутка. Соч. *В. П. Алферьева*. Часть первая и вторая. С.-Пб. 1846.

Похожденіе Чичикова или Мертвыя Души. Поэма *Н. Гоголя*. Изданіе второе. Москва. 1846.

О дарѣ слова или словоизъяснительности. Сочиненіе *Карла Горегляда-Выласскаго*. С.-Пб. 1846.

Краткое руководство къ логикѣ, съ предварительнымъ очеркомъ психологіи. Сочиненіе *Ореста Новицкаго*. Изданіе второе. Кіевъ. 1846.

Старина малороссійская, запорожская и донская. *Николая Сементовскаго*. С.-Пб. 1846.

\*Практическая англійская грамматика для русскихъ, составленная проф. *Эдуардомъ Гласко*. Въ двухъ частяхъ. С.-Пб.

\*Курсъ англійскаго языка, составленный *И Броуномъ*. Часть II. Грамматика. С.-Пб. 1846.

1847.

Томъ L.

## КРИТИКА.

Нѣчто о русской литературѣ въ 1846 году.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.

*Зиновій-Богданъ Хмельницкій*. Сочиненіе *Александра Кузьмича*. Эпоха первая. Молодость *Зиновія*. Пять частей. С.-Пб. 1846.

\*Историческій сборникъ, составленный *К. Герцомъ*. Книжка первая. С.-Пб. 1847.

\*Новый руководитель русско-французско-англійско-нѣмецкій и методическій словарь, составленный д-ромъ *Липертомъ*. Лейпцигъ и С.-Пб. 1847.

\*Практическіе уроки для основательнаго изученія грамматическихъ правилъ англійскаго языка. Составленные *Е(Э)двардомъ Ро*. С.-Пб. 1847.



Курсъ англійскаго языка, составленный *И. Броуномъ*. Часть III. Отрывки для упражненія въ переводахъ. С.-Пб. 1846.

\*Анемподистъ Акепсимовичъ Честоновъ. Допотопная пошехонская повѣсть *Демокрита Терпиновича*. С.-Пб. 1846.

\*Воспоминанія Ѳаддея Булгарина. Отрывки изъ видѣннаго, слышаннаго и испытаннаго въ жизни. Часть третія. С.-Пб. 1847.

Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями *Николая Гоголя*. С.-Пб. 1847.

Сто рисунковъ изъ сочиненія Н. В. Гоголя: „Мертвыя Души“. Изданіе *Е. Е. Бернардовскаго* и *А. Г. Рисоваль А. Агинъ*, гравироваль на деревѣ *Е. Бернардовскій*. С.-Пб. 1846.

Полное собраніе сочиненій *И. Крылова*, съ біографіей, написанною *П. А. Плетневымъ*. Три тома. С.-Пб. 1847.

Опыты въ стихахъ *И. Бартдинекаго*. Тетрадь первая. С.-Пб. 1846.

Зимняя дорога. Сочиненіе *И. Аксакова*. Москва. 1846.

Талисманъ, или Кавказъ, въ послѣдніе годы царствованія императрицы Екатерины II. Историческій романъ въ двухъ частяхъ. Соч. *Платона Зубова*. С.-Пб. 1847.

Донъ-Жуанъ. Поэма лорда *Байрона*. Переводъ *Н. Жандра*. С.-Пб. 1846.

\*Иезуитъ. Характеристическая картина изъ первой четверти восемнадцатаго столѣтія. Соч. *К. Шпиндлера*. Въ трехъ частяхъ. Переводъ съ нѣмецкаго. Изданіе *П. И. Мартынова*. С.-Пб. 1847.

\*Чаромутіе, или Священный языкъ маговъ, волхвовъ и жрецовъ, открытый *Платономъ Лукашевичемъ*, съ прибавленіемъ обращенныхъ имъ же въ прямую истоту чаромути и чарной истоти языковъ русскаго и другихъ славянскихъ и части латинскаго. Петръгородъ. 1846.

\*Собраніе правилъ сохранной и ссудной казны при Московскомъ и Санкт-петербургскомъ Императорскихъ воспитательныхъ домахъ. С.-Пб. 1847.

\*Дѣтская бібліотека, или собраніе дѣтскихъ повѣстей, басенъ, разговоровъ и сказочекъ, въ стихахъ и прозѣ. Изданныя на нѣмецкомъ языкѣ *Г. Кампе*, переводъ *А. С. III*. Съ 20-ю картинками. Въ двухъ частяхъ. С.-Пб. 1846.

\*Елка. Часть вторая. Осемнадцать уроковъ постепеннаго чтенія для начинающихъ. Составила *Анна Дараганъ*. С.-Пб. 1846.

Древняя исторія для юношества, соч. *Ламе-Флери*. Переводъ съ французскаго. Исторія древнихъ африканскихъ и азіатскихъ народовъ и исторія Греціи. Изданіе второе, исправленное. С.-Пб. 1846.

\*Александръ Даниловичъ Меншиковъ. Историческій романъ для дѣтей. Въ грехъ частяхъ. Соч. *П. Фурманна*. С.-Пб. 1847.

\*Путешествіе съ дѣтьми по Святой землѣ. Переводъ съ французскаго. Съ 32 видами. Часть первая. С.-Пб. 1847.

\*Кончака, царица Татарская. Соч. *А. Ишимовой*. С.-Пб. 1847.

\*Гирлянда. Двѣнадцать нравственно-поучительныхъ повѣстей и разговоровъ, лучшихъ иностранныхъ писателей. Съ 12-ю картинками, литографированными *К. Шрейдеромъ* и раскрашенными подъ его надзоромъ. Въ двухъ частяхъ С.-Пб. 1847.

\*Записки куклы. Переводъ съ французскаго *К. Е. Ольскаго*. С.-Пб. 1846

\*Дочь дровосѣка. Волшебная сказка. С.-Пб. 1846.

Похожденіе плутовки-лисицы. Повѣсть, рассказанная для дѣтей *Ф. Гофманомъ*, переводъ съ нѣмецкаго, съ 24 картинками. С.-Пб. 1846.

\*Книжка для маленькихъ дѣтей Новая французская азбука, содержащая въ себѣ: различныя начертанія буквъ, постепенныя упражненія въ чтеніи и проч С.-Пб. 1847.

\*Нѣмецкая азбука, или руководство къ правильному чтенію. Соч. *Александръ Звѣревой*. С.-Пб. 1847.

\*Сказка о Невеличкѣ-Птичкѣ, или о двухъ счастливицахъ, Соч. *В... Л...* С.-Пб. 1847.

\*Храбрый полковникъ. Повѣсть. Соч. *В... Л...* С.-Пб. 1847.

\*Подарокъ милымъ дѣтямъ. Русская азбука съ постепенными упражненіями въ чтеніи, молитвами, краткой священной исторіей и новыми дѣтскими повѣстями Съ 40 гравированными картинками. С.-Пб. 1847.

\*Album Blätter der Erinnerungen Deutschlande Dichter der neueren und neuesten Zeit. Gesammelt von *Theodor v. Pauly*. С.-Пб. 1847.

\*Gedichte von *Wilhelm Baum*. St.-Petersburg. 1847.

\*Elementarduch der Deutschen Sprache zum Gebrauch der intern Klassen der St. Petri-Schule, von *Theodor Hecker*. Третье изданіе. С.-Пб. 1847.

\*Das Nothwendigste aus der Geographie, zum ersten Unterricht zusammengestellt von *A. C. Jacobsen*, С.-Пб. 1847.

## Томъ LI

### Критика.

Романы Вальтера Скотта. Переводъ съ англійскаго. С.-Пб. 1845—1846. Изд. *М. Ольхина* и *К. Жернакова*.—Айвенго.—Антикварій.—Гей-Менирингъ.—Квентинъ-Дорвардъ.

Юрій Милославскій, или русскіе въ 1612 году. Соч. *М. Загоскина*. Трѣ части. Изд. седьмое. Москва 1846.

Полное собраніе сочиненій русскихъ авторовъ. Сочиненія *Ломоносова* Тома второй и третій. Изданіе *Александра Смирдина*. С.-Пб. 1847.

Жизнь и сочиненія Ивана Андреевича Крылова. Соч. академика *Михаила Лобанова*. С.-Пб 1847.

Слава о Вѣщемъ Олгѣ. Сочиненіе *Д. Минаева*. С.-Пб. 1847.

Шекспиръ. Съ англійскаго. *Н. Кетчера*. Выпускъ четырнадцатый. Все хорошо, что хорошо кончилось. Москва 1846.

Матильда, записки молодой женщины. Соч. *Евгенія Сю*, автора „Парижскихъ тайнъ“ и „Вѣчнаго Жюда“. Переводъ съ французскаго, пересмотрѣнный и исправленный *В. Строевымъ*. С.-Пб 1847.

\*Черкешенка. Романъ *Александра де-Лавернья*. Переводъ съ французскаго, С.-Пб. 1846.

\*Музей современной иностранной литературы. С.-Пб. 1847.

О всенародномъ распространеніи грамотности въ Россіи на религіозно-нравственномъ основаніи. Книжка вторая. Москва 1846.

\*Діететика беременныхъ, родильницъ и дѣтей, составленная докторомъ медицины *Александромъ Никитинымъ*. С.-Пб. 1847.

\*Дополненія къ русской нумизматикѣ средняго вѣка. Издалъ *Я. Рейхель 1-й*. С.-Пб. 1847.

Самоѣды въ домашнемъ и общественномъ быту. *Владимира Иславина*. С.-Пб. 1847.

Руководство къ всеобщей исторіи. Соч. орд. профессора д-ра *Ф. Лоренца*. Часть II. Отдѣленіе I. Изданіе второе. С.-Пб. 1847.

\*Картина земли для наглядности при преподаваніи физической географіи, составленная *А. Ф. Постельсомъ*. Съ литографированнымъ большимъ рисункомъ С.-Пб.

\*Комедія съ дядюшкой. Оригинальная шуточная оперетка-водевиль въ одномъ дѣйствіи. *П. И. Григорьева 1-го*. С.-Пб.

Москва. Поэма въ лицахъ и дѣйствіи, въ пяти частяхъ. *Н. В. Сушкова*. Москва. 1847.

\*Путешественникъ (Южный берегъ Крыма). *Николая Сементовскаго*. С.-Пб. 1847.

\*Страшный гость. Литовская поэма, взятая изъ народныхъ преданій. Варшава. 1844.

\*Алфавитный указатель къ отысканію полицейскихъ узаконеній. Составилъ *Николай Цыловъ*. С.-Пб. 1847.

\*Курсъ эстетики, или Наука изящнаго Соч. *В. Гегеля*. Перевелъ *Василій Модестовъ*. Двѣ части. С.-Пб. 1847.

\*Исторія древняго міра. Курсъ, составленный для среднихъ учебныхъ заведеній. *Я. Туруновымъ*. С.-Пб. 1817.

Руководство для молодыхъ людей, назначающихъ себя къ торговымъ дѣламъ. С.-Пб. 1847.

\*Essai sur la médecine dans ses rapports avec l'état, par *M. F. C. Markus*, Dr. en Med. et Ch., Médecin ordinaire de S. M. l'Impératrice de toutes les Russies, etc. etc. Première session: Organisation Médicale. С.-Пб. 1847.

\*The Primer. Adapted to the study of the english language at the Peter School. By *Edmund Wistinghausen*. С.-Пб. 1847.

#### Томъ LII.

##### БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.

Донъ-Жуанъ. Поэма лорда *Байрона*. Вольный переводъ *В. Любича-Романовича*. Въ двухъ частяхъ. С.-Пб. 1847.

#### Томъ LIII.

##### БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.

Курсъ теоріи словесности. *Михаила Чистякова*. Двѣ части. С.Пб. 1847.

Практическое руководство къ постепенному упражненію въ сочиненіи. *М. Чистякова*. С.-Пб. 1847.

Нѣсколько словъ на отзывы жуналовъ о поэмѣ: Москва. Соч. *Н. Сушкова*. Москва. 1847.

#### Современникъ.

1847.

#### Томъ III.

##### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ.

Шутка. Исторія въ родѣ комедіи. *Н. Н. Меншикова*. С.-Пб. 1847.

Путешествіе въ Черногорію. Сочиненіе *Александра Попова*. С.-Пб. 1847.

#### Томъ IV.

##### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ.

\*Справочный энциклопедическій словарь. Изданіе *К. Крайя*. Томъ первый. А—Аѳ. С.-Пб. 1847. (*В. Н. Майкову* принадлежитъ только первая половина этой статьи).

# ОГЛАВЛЕНІЕ

## ВТОРОГО ТОМА.

---

### II. Научныя статьи:

Общественныя науки въ Россіи:

Статья первая . . . . .	3
„ вторая . . . . .	38
Объ отношеніи производительности къ распредѣленію богатства . . .	50
Отрывки изъ недоконченныхъ статей . . . . .	84

### III. Библіографія:

<i>И. С. Тургеневъ. Разговоръ, стихотвореніе . . . . .</i>	<i>92</i>
<i>Ю. В. Жадовская. Стихотворенія . . . . .</i>	<i>96</i>
<i>А. Н. Плещеевъ. Стихотворенія. Съ эпиграфомъ: Homo sum, et nihil humani a me alienum puto . . . . .</i>	<i>102</i>
<i>И. С. Аксаковъ. Зимняя дорога (Licentia poetica) . . . . .</i>	<i>109</i>
<i>Н. В. Сушковъ. Москва. Поэма въ лицахъ и дѣйствіи, въ пяти частяхъ . . . . .</i>	<i>111</i>
<i>В. И. Аскоченскій. Стихотворенія. . . . .</i>	<i>125</i>
<i>А. И. Штуненбергъ. Сибирскія мелодіи . . . . .</i>	<i>129</i>
<i>Е. В. Карнѣевъ. Священныя пѣснопѣнія древняго Сіона, или стихотворное переложеніе псалмовъ, составляющихъ Псалтирь. . . . .</i>	<i>136</i>
<i>И. Бартдинскій. Опыты въ стихахъ. Тетрадь первая . . . . .</i>	<i>139</i>
<i>А. П. Кузмичъ. Зиновій-Богданъ-Хмельницкій. Эпоха первая: Молодость Зиновія. Пять частей . . . . .</i>	<i>143</i>
<i>П. П. Зубовъ. Талисманъ или Кавказъ въ послѣдніе годы царствованія императрицы Екатерины II. Историч. романъ въ двухъ частяхъ .</i>	<i>150</i>

<b>Н. В. Гоголь.</b> Походженія Чичикова или Мертвыя души. <i>Поэма</i> . . . . .	154
„ Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями . . . . .	154
<b>П. Н. Меншиковъ.</b> Шутка. Исторія, въ родѣ комедіи . . . . .	157
<b>Шекспиръ.</b> Переводъ съ англійскаго <b>Н. Х. Котчера.</b> Выпускъ четырнадцатый: „Все хорошо, что хорошо кончилось“ . . . . .	166
<b>Ол. Гольдсмитъ.</b> Векфильдскій Священникъ. <i>Романъ.</i> Перевелъ съ англійскаго <b>Яковъ Гердъ</b> . . . . .	167
<b>Байронъ</b> въ переводахъ <b>Н. А. Жандра</b> и <b>В. И. Любича-Романовича</b> Донъ-Жуанъ . . . . .	171
<b>Смирдинское изданіе русскихъ авторовъ:</b>	
Полное собраніе сочиненій русскихъ авторовъ. Соч. <b>Фонъ-Визина</b> „ „ „ „ „ „ <b>Озерова</b> . . . . .	173
<b>М. В. Ломоносовъ.</b> Собраніе сочиненій извѣстнѣйшихъ русскихъ писателѣ. Избранныя сочиненія <b>М. В. Ломоносова.</b> . . . . .	179
<b>И. А. Крыловъ.</b> Полное собраніе сочиненій И. Крылова, съ біографіей, написанною <b>И. А. Плетневымъ</b> . . . . .	186
Жизнь и сочиненія <b>Ивана Андреевича Крылова.</b> Сочиненіе академика <b>Михаила Лобанова.</b> . . . . .	187
<b>М. Б. Чистяковъ</b> Курсъ теоріи словесности. Двѣ части. . . . .	196
„ Практическое руководство къ постепенному упражненію въ сочиненіи . . . . .	206
<b>Н. Гореглядъ-Вылассній.</b> О дарѣ слова или словоизъяснительности . . . . .	207
<b>Н. П. Зеленецкій.</b> Изслѣдованіе о реторикѣ въ ея наукообразномъ содержаніи и въ отношеніяхъ, какія имѣетъ она къ общей теоріи слова и къ логикѣ . . . . .	218
<b>О. М. Новицкій.</b> Краткое руководство къ логикѣ, съ предварительнымъ очеркомъ психологій . . . . .	223
<b>Ф. Лоренцъ.</b> Руководство къ всеобщей исторіи. <i>Часть II-я, отдѣленіе II-е.</i> . . . .	225
<b>П. А. Кульшъ.</b> Повѣсть объ украинскомъ народѣ. <i>Для дѣтей старшаго возраста</i> . . . . .	237
<b>Н. М. Сементовскій.</b> Старина малороссійская, запорожская и донская . . . . .	240
<b>В. А. Иславинъ.</b> Самоѣды въ домашнемъ и общественномъ быту . . . . .	245
<b>А. Н. Поповъ.</b> Путешествіе въ Черногорію . . . . .	252
<b>Д. А. Милютинъ.</b> Критическое изслѣдованіе значенія военной географіи и военной статистики . . . . .	257
<b>Д. П. Журавскій.</b> Объ источникахъ и употребленіи статистическихъ свѣдѣній . . . . .	269
<b>В. С. Порошинъ.</b> О земледѣліи въ политико-экономическомъ отношеніи . . . . .	279
<b>С. А. Масловъ.</b> О всенародномъ распространеніи грамотности въ Россіи на религіозно-нравственномъ основаніи . . . . .	290



<b>Д. Д. Дмитриевъ.</b> О духовномъ образованіи земледѣльческаго класса въ Россіи . . . . .	291
<b>И. С. Вавиловъ.</b> Бесѣды русскаго купца о торговлѣ . . . . .	295
<b>(В. П. Бурнашевъ?)</b> Руководство для молодыхъ людей, назначающихъ себя къ торговымъ дѣламъ . . . . .	303
<b>Э. Рейнталь.</b> Мысли о существѣ и значеніи чиновническаго быта . .	311—333

---

Открыта подписка на новое изданіе  
Книгоиздательства Б. Н. Фунса.

КІЕВЪ, В. Владимірская, 49.

# Сочиненія Георга Брандеса

Съ портретомъ автора и вступительной статьей М. В. Лучицкой.

Переводъ съ датскаго подъ общей редакціей  
*М. В. Лучицкой.*

---

Имя Георга Брандеса пользуется вполнѣ заслуженною извѣстностью во всемъ образованномъ мірѣ. Это, безспорно, самый выдающійся критикъ нашего времени. Его характеристики современныхъ литературныхъ теченій отличаются живостью изложенія, замѣчательно глубокимъ философскимъ пониманіемъ обсуждаемыхъ произведеній и вопросовъ и возвышенностью идеаловъ, съ точки зрѣнія которыхъ Брандесъ разсматриваетъ всю современную общественную жизнь.

Многіе изъ ея наиболѣе видныхъ представителей подверглись его оригинальной, талантливой критикѣ:

Лассаль, Зудерманъ, Гауптманъ, Берне, Гейне, Ренанъ, Милль, Бьернсонъ, Ибсенъ, Зола, Толстой, Тургеневъ, Достоевскій и многіе другіе выдающіеся руководители умственныхъ движеній современнаго общества.

Издавая сочиненія Брандеса я продолжаю рядъ своихъ изданій извѣстныхъ критиковъ. Данному выбору способствовало еще и то, что Брандесъ замѣчательно хорошо понималъ и высоко цѣнилъ русскую литературу, въ которой видѣлъ типъ новаго, оригинальнаго творчества.

Изъ всѣхъ изданій сочиненій Брандеса, выходившихъ на русскомъ языкѣ, наше изданіе является первымъ по своей полнотѣ и близости къ подлиннику, такъ какъ оно представляетъ переводъ непосредственно съ датскаго, тогда какъ почти всѣ прежнія изданія давали переводы не съ оригинальныхъ, а переводныхъ (нѣмецкихъ) изданій.

---

„Сочиненія Брандеса“ будутъ выходить ежемѣсячно книгами въ форматъ изданія „Сочиненія В. Г. Бѣлинскаго“, но, напечатанныя болѣе четко, на плотной глазированной бумагѣ.


**Все изданіе будетъ состоять изъ 12 книгъ.**

*Первая выйдетъ въ ноябрь 1901 года, послѣдняя въ ноябрь 1902 года.*

**Цѣна всего изданія съ ежемѣсячной пересылкой 8 руб.**

Допускается разсрочка платежа на такихъ условіяхъ: при подпискѣ 1 руб. и затѣмъ ежемѣсячно не менѣе 50 коп. до полной уплаты подписной суммы.

Мелкія деньги удобнѣе всего высылать сберегательными марками.

 Съ подпиской обращаться по адресу:

**Кіевъ. Книгоиздательство Б. К. Фукса.**

Б. Владимірская, 49.

---

*По выходѣ изъ печати цѣна изданія будетъ повышена.*



**Книгоиздательство Б. Н. Фукса въ Кіевѣ**

---

Вышли вторымъ изданіемъ

—•— **СОЧИНЕНІЯ** —•—

**В. Г. ВЪЛИНСКАГО**

съ портретомъ и письмами автора, статьей Г. В. Александровскаго и указателями, въ пяти большихъ томахъ, каждый въ 330—380 стр. убористой печати.

При всей своей дешевизнѣ изданіе это отличается сравнительной полнотою содержанія, опрятною внѣшностью и оригинальнымъ расположеніемъ статей безъ посягательства на ихъ первоначальный текстъ и объемъ.

Первое изданіе, выходившее выпусками съ марта сего года быстро разошлось въ громадномъ количествѣ экземпляровъ еще до выхода своего изъ печати.

Цѣна за всѣ пять томовъ: 1) на дешевой неглазированной бумагѣ—2 руб.; 2) на плотной глазированной—2 р. 50 коп. Пересылка по почтѣ—50 коп.

При требованіяхъ необходимо прилагать не менѣе 1 руб.

---

Съ требованіями обращаться по адресу:

*Книгоиздательство Б. Н. Фукса.*

Кіевъ. Б. Владимірская, 49.

---

3 333 D











